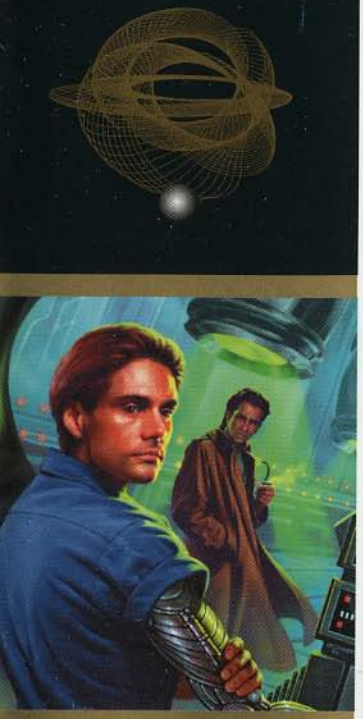
ВЯЧЕСЛАВ РЫБАКОВ

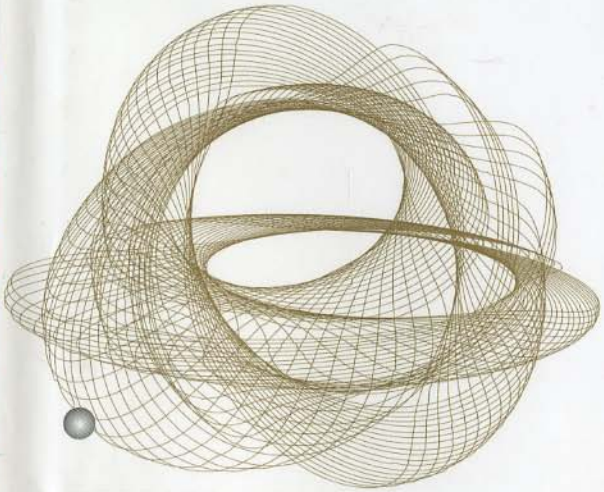


Катаклизмы минувшего века

ОЧАГ НА БАШНЕ

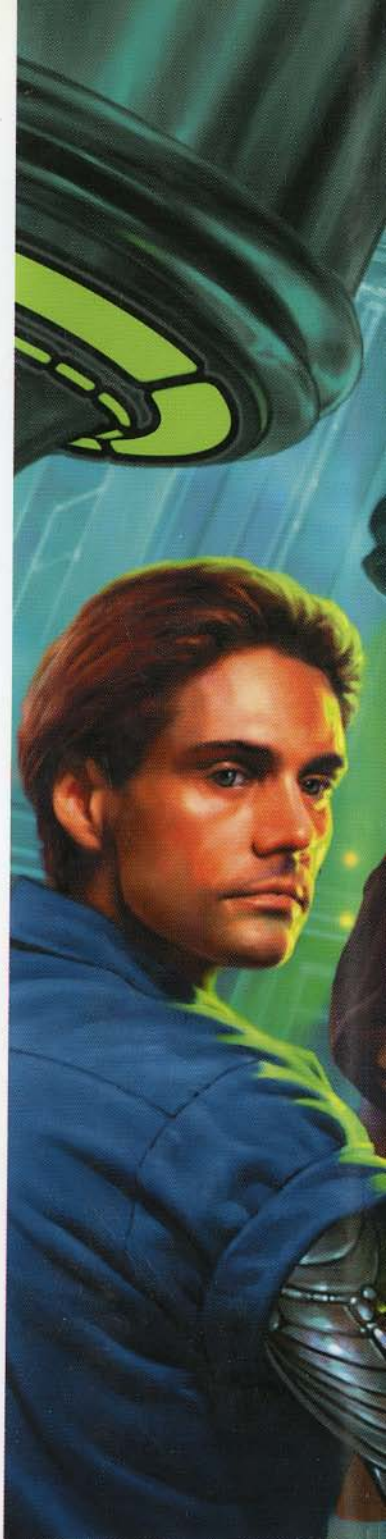
Эксмо

ВЯЧЕСЛАВ РЫБАКОВ



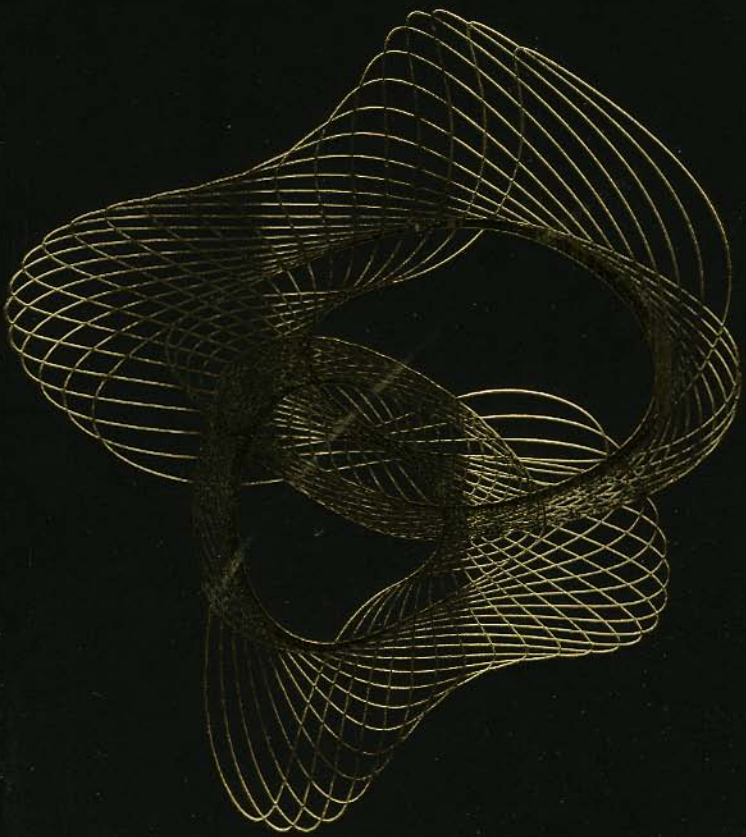
ШЕДЕВРЫ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ФАНТАСТИКИ

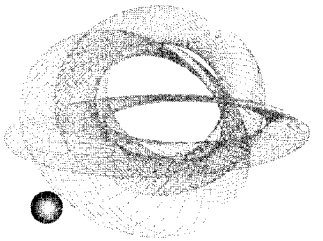
ОЧАГ НА БАШНЕ



ВЯЧЕСЛАВ
РЫБАКОВ

ОГНЬ НА БАШНЕ





ШЕДЕВРЫ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ФАНТАСТИКИ

ВЯЧЕСЛАВ
РЫБАКОВ

ОЧАГ НА БАШНЕ

Эксмо, Москва
2006

УДК 82-312.9
ББК 84(2Рос-Рус)6-4
Р 93

Оформление серии *Е. Савченко*

Серия основана в 2002 году

Рыбаков В.М.

Р 93 Очаг на башне: Фантастические романы. — М.: Изд-во Эксмо, 2006. — 960 с. — (Шедевры отечественной фантастики).

ISBN 5-699-15273-3

Вячеслав Рыбаков — популярный писатель-фантаст, ученый-востоковед, публицист, киносценарист. Обладатель множества литературных премий, лауреат Государственной премии РСФСР за сценарий фильма «Письма мертвого человека» (1987). *Автор идеи и один из участников книжного проекта* «Хольм ван Зайчик. "Плохих людей нет (Евразийская симфония)"».

В этот том вошла трилогия «Сага о Симагиных», рассказывающая о фантастической истории одной семьи, в которой отражаются ключевые моменты нескольких эпох. Роман «Очаг на башне» был награжден премией «Старт» в 1991 году, роман «Человек напротив» — призом Ассоциации русскоязычных писателей Израиля в 1997 году, роман «На чужом пиру, с непреоборимой свободой» — АБС-премией в 2001 году.

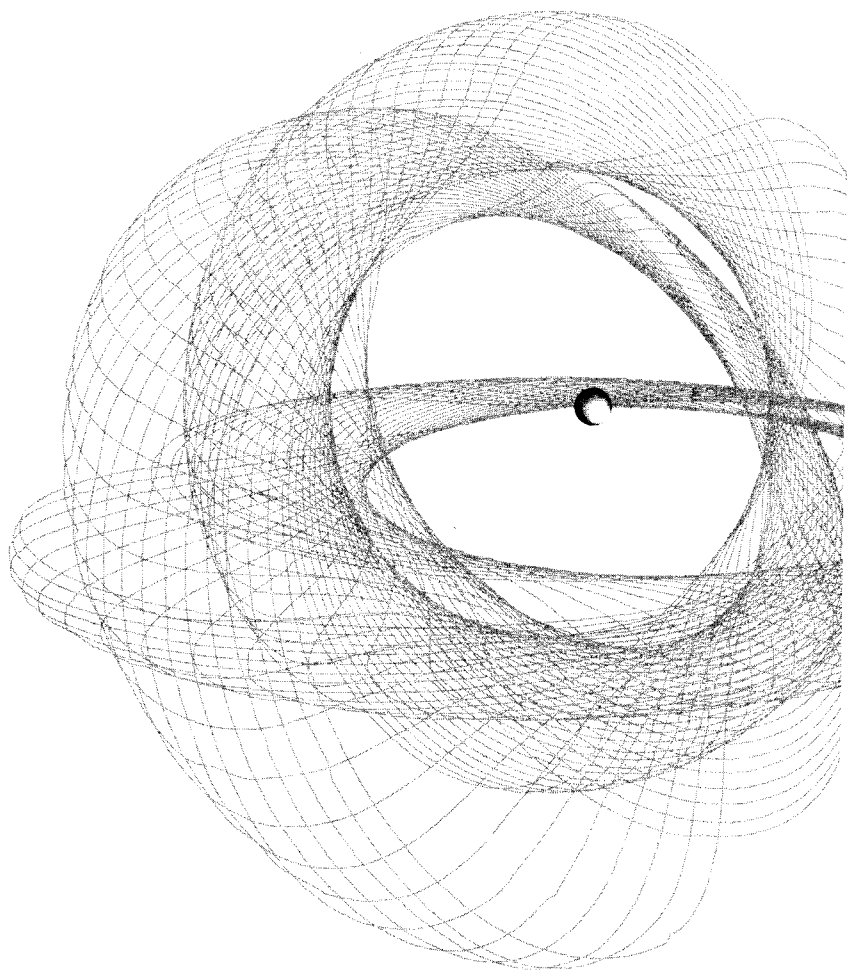
УДК 82-312.9
ББК 84(2Рос-Рус)6-4

ISBN 5-699-15273-3

© Рыбаков В.М., 2006
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2006

ОЧАГ НА БАШНЕ

РОМАН



Жизнь дает человеку три радости...
Друга, любовь и работу.

А. Стругацкий, Б. Стругацкий

ГЛАВА ПЕРВАЯ

ЖИЗНЬ

1

А как эта травка называется? А куда шмель полетел? А почему шмель мохнатый, а оска гладенькая? Он что, что ли, оскин муж? А можно его поймать? Зачем же, собственно, его ловить, пусть летит себе, ты не находишь, Антон? А он жужжит здорово, как трансформатор. Он тока не вырабатывает? Нет. Надо говорить: «вырабатывает», изволь запомнить, стыдно. Большой уже. А почему нельзя? Потому что это неправильно, существует общепринятая разговорная норма. А кто первее всех норму придумал? А до него молчали или тоже говорили, только не так, как он потом придумал? А может, я другую норму придумал! Некоторое время Антошка азартно вопил по-тарабарски. А вы чего не отвечаете, обиженно спросил он затем. Вот именно поэтому, отвечал Симагин, именно поэтому, понял теперь? Затем нормы и создаются, чтобы разные люди могли друг друга понимать и не было так: кто в лес, кто по дрова. А как же понимали того, кто первее всех придумал? Видишь ли, Антон, такого никогда не было. А как было? Все сразу заговорили одинаково? А ведь правда, человек от обезьяны произошел? А если один человек уже произошел, а другой еще нет, как же они разговаривали? А у обезьян есть разговорная

норма? Есть. А у собак есть? И у собак есть. А почему у нас нет собаки? Потому что маме не успеть и нас кормить, и ее. А надо в столовую ходить. Некогда. А пусть домой принесут. Невкусно. А что такое «Обед на дом со скидкой десять процентов»? Это когда несут и по дороге десять процентов на землю скидывают. А процент — это сколько? Это одна сотая.

Они пришли. Симагин начал раздеваться, но увидел, как Ася заламывает руки за спину, чтобы расстегнуть свои две голубые пуговички, и прыгнул к ней:

— Помочь?

Ася с готовностью уронила руки и ответила кокетливо:

— Если тебе не трудно.

Симагину не было трудно. Ася, извиваясь змейкой, вылезла из платья, и Симагин положил ладони на ее смуглую спину, но в этот момент Антошка, хохоча на весь парк, принялся дергать за полуснятые симагинские штаны и вопить: «Помочь?!» Симагин поспешно ухватился, но опоздал. Ну и пусть. Он вышел из упавших штанов. Он был тощий, белесый, словно травинка, росшая без света; сквозь сметанную кожу отчетливо проступали все кости. Ася не удержалась и ткнула ему меж ребер пальцем — Симагин взвизгнул, съежился и сказал перепуганно: «Не тронь мои лебры». — «А тебе можно меня за холку хватать, да? Тебе можно?» — «Мне можно», — уверенно сказал Симагин. «Видишь, Тошенька, — пожаловалась Ася, — ему все можно. А мы — рабы подневольные...» Она поднесла к устам воображаемую чашу с ядом, пригубила и с легким скорбным стоном красиво повалилась на покрывало. Симагин полюбовался ею, но она кожей почувствовала его взгляд, застеснялась, как-то сжалась, прячась сама за себя, и он засмеялся, садясь с нею рядом.

Лес дышал покоем. Между яркими стволами сосен дотаивал туман; в нем плыли, слегка дымясь, косые снопы золотого света. Спокойно теплились искры росы, спокойно перекликались в гулкой тишине птицы. Сверкающее небо летело высоко-высоко.

Дурацкий я все-таки человек, сообразил Симагин. Вот пришел ничего не делать, а не могу. Мечтал, чтоб Антон хоть пять минут не звенел, а вот не звенит — и мне чего-то не хватает. Он оглянулся — Антошка сидел на корточках и внимательно смотрел в траву.

— Антон, — позвал Симагин, — кого ты там узрел?

— Муравьи гусеницу несут, — отозвался Антошка сосредоточенно.

Симагин покосился на Асю. Ася лежала на спине, чуть улыбаясь. Шея какая красивая. Живот ввалился... Купальник. Это же сплошное искушение, а не купальник. Симагин встал и, прихрамывая на шишках, раздвигая машущие влажными листьями ветви кустов, ускользнул от искушения к канаве. Вода текла, умиротворенно журча и помаргивая солнечными переливами. Вернувшись, Симагин достал из сумки Антошкину лопатку и громко сказал:

— Займемся-ка, Антон, трудотерапией.

На краю канавы он вырезал пласт дерна и вырвал из земли. Обнажился песок, мелкий и красноватый, как медная пыль.

— Будем воздвигать Анадырскую ГЭС, — сообщил Симагин и передал лопатку Антошке. — Давай.

Тот, пыхтя, принялся за работу.

— А я пока займусь промерами глубин, — сказал Симагин и, осыпаясь босыми ногами на колких от хвои песчаных склонах, спустился к воде.

— А для чего?

Симагин стал объяснять.

Ася приподнялась на локте и, приставив ладонь ко лбу, чтобы не слепило бьющее в глаза золотое пламя, поискала глазами. Антошки не было вовсе, а от Симагина торчала лишь голова и увлеченно бубнила: «А вот здесь у нас будут шлюзы... Их надо бдительно охранять, чтоб не пробрался диверсант...» Почаще бы такие воскресенья, подумала Ася. А то работает, работает. Сидишь одна. Как в той жизни. И сразу испугалась своей мысли. Кощунство думать так. Грех. Она украдкой, будто за ней следили, поплевала через левое плечо. Интересно, где теперь тот? А нет. Даже уже не интересно. Но пусть бы посмотрел. Пусть бы позавидовал. У него никогда не будет так хорошо. Как хорошо, подумала она и вдруг поняла, что улыбается. Совершенно непристойной, щенячьей улыбкой. Ну и ладно. Симагин вообще вон

ГЭС воздвигает. Она достала из сумки книжку, раскрыла и уставилась на страницу. Поспешно свалился откуда-то пытливый муравей и принялся страницу исследовать. Ася аккуратно сдула муравья, но читать не стала. Жалко было читать. Читать можно дома. Она отложила книжку, не закрывая, — вдруг муравей опять придет. Ему там что-то надо было. Муравей не шел.

— Мураве-ей, — тихонько покликала Ася. — Я больше не буду.

Читать можно вечерами. Пока Симагин в институте. Как он радовался, когда выхлопотал разрешение работать допоздна. Пойти к тому, кто разрешил, и прищемить голову дверью. Сам, наверное, шпарит домой раньше всех. А Симагину интересно. Ребенок. Был у меня один ребенок, теперь двое. Не миновать и третьего. Сказать? Нет, не пора. Почему-то страшно было сказать. Наверное, рефлекс. У человека рефлексы вырабатываются с первого раза. Вот и выработался. Ой, как хорошо, что сберегла Антошку тогда. На что надеялась? Ни на что. На чудо. И ведь произошло! Ася заметила, что муравей опять ползет по странице, и очень обрадовалась.

— Читай, — материнским сказала она муравью. — Знаешь, какая книжка? Про любовь.

Если бы муравей был Симагин, непременно бы зафырчал. Насчет узости женских интересов. Но муравей не зафырчал, он был муравей, и все. Он молчал и шустро прочесывал страницу. Будто принюхивался своим крохотным черным носиком. Ася встала и пошла к строителям. Симагин все объяснял да объяснял Антошке про плотину, в ход пошли уже уравнения какого-то Бернулли. Фу ты, ну ты — Бернулли. А Достоевского со школы не раскрывал. Ася шумно пошла через кусты. Антошка, завопив: «Диверсант!», пал за пнем, стискивая в руках воображаемый трахтомат. Вообще-то всего лишь лопатку. Ася, грозясь по-иностранному, отскочила за сосну. «Отсекай! — азартно закричал Симагин. — Не видишь, что ли, — уходят золотые погоны!» Огонь прекратился не скоро — слышно было, как визжат пули и хрипло бухают разрывы. Потом Симагин скомандовал:

«Отбой по отрядам военизированной охраны! Возвращаемся в русло мирного строительства...»

На странице валялась шишка. Ветер уронил. А может, дятел. Ася смахнула ее и вздрогнула. Шишка раздавила ее муравья. Тьфу, проклятая... Стало неприятно на сердце. Пустяк, конечно, муравей — но Ася же сама его позвала. И книга-то, по совести, мура. Посмотрела на часы. Еще рано. Еще много-много дня. Еще не скоро вечер. Чудесный день, подольше бы он не кончался. Чудесный вечер, скорей бы он настал.

Часа в два надо уходить. Бутерброды — не еда для мужиков. Дольше чем до двух Симагин не протянет, супу запросит. Тяжела доля женщины, подумала Ася с удовольствием и опять посмотрела туда, где в спокойном зеленом кружеве, в мягком свечении бликов помелькивали две головы — большая светлая и маленькая темная.

Это отдых, думал Симагин и дурачился от души. Антошка что-то сочинял вслух. ГЭС неожиданно оказалась самой могучей в мире, и на нее из Метагалактики прилетели пришельцы обмениваться опытом. Дно водохранилища уже провалилось в подводный сумрак. Будто вклеенные в темный блеск поверхности, стояли на ней хвоинки и пылинки. Запруда начала подтекать, и Симагин снова объявил тревогу. Вода просачивалась между пластами дерна — шустрые выплески быстро уходили во влажный песок обнаженного дна, а сзади набегали новые. Антошка засуетился, стал сгребать песок горстями и зашлепывать им щели, отпуская нелестные реплики в адрес подхалтуривших пришельцев. «И вы все на дачи растащили? — бурчал он. — Щас вот Гдлян приедет...» Симагин постоял, наблюдая, а потом вылез из канавы.

Ася лежала на животе, спрятав лицо в ладонях. Она будто не слышала, как Симагин подошел, но что-то в ней изменилось неуловимо — она лежала уже не для себя, а для него. Он лег рядом и обнял ее своей длинной бледной рукой. Удивительно, какой она оказывалась тоненькой, если обнять. На спине ее кожа была горячей и задорной, а на груди — прохладной и нежной до беззащитности. Ася глубоко вздохнула

и чуть приподнялась на локтях, чтобы Симагину было удобнее. Прямо под его ладонью билось и звенело ее сердце.

— Наигрался? — тихо спросила Ася.

— Да.

— Теперь хочешь со мной поиграть?

— Хочу.

Она подняла лицо. Губы ее подрагивали.

— Я тоже хочу, — и вдруг погасла: — Смотри, идут. Разбони меня, пожалуйста, — виновато попросила она.

С аллеи на поляну свернули, глазея на Симагина и Асю, трое пожилых мужчин в строгих темных костюмах, быстро посовещались о чем-то и устремились в лес. От канавы доносилось бормотание Антона. Когда он повышал голос, становилось понятно, что он творит разнос снабженцам за поставки некондиционных стройматериалов. «Партия доверила нам великое дело — дать людям тепло и свет!» — гремел он. Точь-в-точь как вчера в программе «Время».

— Хочешь бутерброд? — спросила Ася.

— Тебя хочу, — тихо ответил Симагин.

У нее опять дрогнули губы. Она взяла его ладони и с силой прижала одну к груди, другую — к утлому треугольничку купальника на животе. У Симагина перехватило дыхание.

— Вот я, — сказала Ася.

В ее голосе светилась та нежность, которой он сначала даже не подозревал в ней — опаленной, скорченной, и которая потом так потрясла его и приворожила навсегда.

— Ты чудо. Я тебя люблю, как сумасшедшая.

На поляну из кустов вылетел Антошка, вопя:

— Она утекает!

Симагин вскочил.

— Не уберег! — воскликнул он трагически. — Эх, товарищи!

Когда Симагин с лету спрыгнул в канаву, на месте оставался лишь один боковой пласт. Остальные раскрепощенная стихия захлестывала и перекатывала там, где только что сохло обнаженное дно. Антошка глядел обиженно, глаза его стали быстро намокать.

— Да, — сказал Симагин, как бы этого не замечая. — На сей раз природа оказалась сильнее. Прощай, плотина. Ты

честно служила людям. Салют, товарищи! — И он изобразил несколько орудийных залпов.

Антошка утешился, стал подносить заряды и глядеть в небо, восхищаясь россыпями фейерверка, а потом они вернулись к Асе, слопали по бутерброду и запили холодным чаем.

Симагин лег на спину и закрыл глаза, подставив лицо текущему с неба густому, горячему меду солнца. Под веками было тепло и ало. Возникло странное ощущение, будто жар мягко, но неодолимо припечатал его к земле. Тело отяжелело, отделилось от сознания, и Симагин задремал.

Проснулся он минут через двадцать и обнаружил, что, как маленький, пустил слюни от сладкого сна. Покосившись на Асю — не видит ли она его позора, — он плечом утер подбородок и сел.

Бронзовая, сверкающая Ася читала, лежа на боку к нему спиной и подперев голову рукою, и Симагин опять залюбовался летящим изгибом линий ее тела. Антошка что-то благоустраивал в кустах. Симагин зевнул, едва не разорвав рот, и Ася, как раз обернувшаяся в этот момент к нему, испуганно отодвинулась.

— Заглотишь, — сказала она. — Живоглот... Бармаглот.

— Да, я такой, — пробормотал Симагин и принялся тереть глаза. — Книжка-то как? — Он опять протяжно зевнул, скуля горлом.

— Дрянь, — коротко ответила Ася.

— Эк ты. Никогда не скажешь: по-моему, плохо. Всегда: плохо, и баста... В общем, надо прочесть.

— Симагин! Есть замечательные книги, на наших же полках стоят! Но тебе некогда! А эту макулатуру станешь читать потому только, что сидел с автором за одной партой! Смотри — поглупеешь.

— Елкин корень, о чем хоть там?

— А... — Она безнадежно шевельнула ладонью. — Что называется, из жизни. Знаешь, как халтурщики для реализьму и психологизьму подонка нарочно этак в одном месте чуть позолотят, а хорошего человека этак чуть гноем мазнут... Чтоб были якобы сложные натуры. Вот ты бы мог мне изменить?

Симагин вздрогнул.

— Ну... не знаю... — тухлым голосом выговорил он и почувствовал, как в горле, само собой формируясь, заерзало и закопошилось вранье. Невыносимо тошно стало, даже солнце как бы присыпалось золой. Он сглотнул, разорвав уже готовую шевельнуться и зазвучать словами пакостную пелену. Словно из распоротого тюка со старой почтой выпорхнуло пожелтевшее письмо, единственное до сих пор не востребованное адресатом: — В сентябре я тебе изменил два раза.

Ася окаменела, а потом резко отвернулась.

— Я в нее в девятом классе был жутко влюблен. Так, знаешь, молча... издали. Я рассказывал тебе. Потом они уехали — я даже не знал куда. И вдруг, представляешь, идет навстречу. Завернула в Ленинград на три дня, из отпуска. Разговорились... И вдруг оказывается, она тогда... я ей... как она мне. Понимаешь?

— Ай да ты, — мертво сказала Ася. Она по-прежнему сидела отвернувшись. — Я же ничего не заметила. — Она вспомнила, с каким восторгом встречала его каждый вечер в сентябре. И в октябре. И в августе, и в июле. Кровь бросилась ей в лицо, она затрясла головой. — Ай да ты! Я думала, меня уж не провести.

Она никак не могла прийти в себя. Ей почему-то было нестерпимо стыдно — хоть живой в гроб ложись.

— Ты не могла заметить ничего, — тихо проговорил Симагин. — Я ни на миг не переставал тебя любить.

— Ой, да хватит!

— Да, — настойчиво сказал он. — Да. Но это было так... — Он беспомощно замолчал, подбирая слово. Наверное, следовало бы сказать, что там все было случайно и неважно, но он проговорил: — Так светло.

— Мне можно еще спросить? — после паузы выговорила Ася.

— Да.

— Вы переписываетесь?

— Нет.

— Скучаешь?

— Как по юности. По бесшабашности, распахнутости во все стороны... понимаешь?

— Еще бы. А если она снова приедет?

Он не ответил.

— Она любит тебя, — выговорила Ася, и тут впервые в ее голосе прорезалась тоска. — Она любила тебя все эти годы.

— Нет! — ответил он то ли с негодованием, то ли с испугом.

— Откуда ты уверен? Она тебе сказала?

— Да...

Ася, вздохнув, повернулась наконец к нему.

— И ты поверил? — спросила она совсем уже не гневно, лишь печально.

— Зачем ей врать?

Чтобы совесть твою не перенапрячь, свинья, подумала Ася. Чтобы побыть с тобой хоть три дня. Хоть два раза. Ты не знаешь, что́ это для женщины. Неужели до сих пор ты не понял, что для приключеньиц не годишься? Что любая дура это видит за сто метров? Уж если тебя любят, то как я.

— Она замужем?

— Нет. И детей нет, она сказала...

Бедная, подумала Ася. Как она теперь, с кем? Уж сколько времени прошло. Девять месяцев. Ее опять обожгло. А если ребенок? Свинья, свинья, даже не пишет ей! Из-за меня не пишет? Ой, что же делать-то? Тут напрыгнул Антошка и затормошил Симагина строить укрепленный вигвам. Ожидался набег расистов.

— Может, еще по булке, мальчишки? — спросила Ася. Антон нетерпеливо некнул, торопя Симагина. Симагин медленно поднялся, все заглядывая Асе в лицо. Потом уступил, побрел строить.

Светло. Как он хорошо сказал — было светло.

До этого Симагина я даже не знала, что такое светло. Все было. Светло не было.

— Андрей, — чуть слышно, почти стесняясь, позвала она. — Тебе со мной светло?

Но Антошка излагал историю открытия золотых россыпей, из-за которых его племя теперь сгоняли с земель предков, и Симагин ее не услышал.

От кустов он оглянулся. Ася смотрела в небо. Она поняла, подумал он, она все поняла, как всегда. Только зачем она придумала, что Лера без меня будет мучиться? Опять ему отчетливо вспомнился, почти ощутился, мглистый осенний день, налетающая волнами дробь дождя за гостиничным плоским окном и чистый, немного печальный разговор о несбывшемся. Об уже неуместном, но все равно человеческом и поэтому нескончаемо живом. По сердцу будто полоснули бритвой, Симагин задохнулся и едва не заплакал от нежности ко всем. Он бы, наверное, заплакал, но надо было быстро и справедливо распределить томагавки.

Вечер случился очень скоро.

«...Таким образом, в указанных условиях постоянная «ро» уже не является постоянной в собственном смысле этого слова, а приобретает ряд свойств функции напряженности информационного поля». Лихо, подумал Симагин. И как стройно! С книгой в руке он сидел на скамейке перед домом. Под раскидистой, благоуханной сиренью возились ребятишки. «Я птица, и крылья у меня диаметром двадцать метров!» — объяснял Антошка двум другим мальчикам и девочке. Те завороженно слушали.

— Антон! — позвал Симагин, оторвавшись от статьи. — Можно тебя отвлечь на минутку?

Антошка оглянулся, постоял секунду, размышляя, и опрометью бросился к нему.

— Антон, что такое диаметр? — прямо спросил Симагин. Антошка моргнул. Симагин положил сборник на скамейку и, поискав глазами, подобрал застарелую обгоревшую спичку. Нарисовал на земле круг и провел диаметр. — Вот эта линия в круге так называется, — сообщил он. — Не хочешь ли ты уверить своих друзей, что ты — птица с круговым крылом?

Антошкины глаза вспыхнули звездами.

— Да! — заговорил он так торопливо, что слова запрыгивали друг на друга. — Я такая птица с круговым крылом, потому что живу в горах, летаю высоко и мне нужны большущие крылья...

— Ничего не выйдет, — сожалеюще сказал Симагин и отбросил спичку. — Ты будешь не маневренная птица, сможешь только парить. А во-вторых, ты будешь не быстрая птица, потому что возрастет сопротивление воздуха.

— А как же? — разочарованно спросил Антошка.

— Давай разберемся. Если бы размах крыльев у тебя был этак втрое больше длины тела, тогда бы все, наверное, получилось. Только помни, что ты не можешь просто взлетать. Крылья длинные, не взмахнуть, сидя. Ты прыгаешь с уступа твоих гор и раскрываешь крылья уже в воздухе. А еще у тебя, как у летучей мышки, ультразвуковой локатор. Так что ты можешь ночью спокойно прыгать вниз, летать и находить гнездо с безошибочной точностью.

Антошкины глаза разгорелись вновь. Собственную безошибочную точность и прочие колоссальные возможности он очень любил.

— А где локатор?

Симагин вкратце объяснил.

— Во здорово! — Антошке уже не терпелось бежать к ребятам, но он ждал, что Симагин еще что-нибудь придумает.

— Ну и, наконец, совершенно необходимая птице вещь — руки, — поразмыслив, добавил Симагин. — Лапами да клювом много не наработаешь. Предположим, у тебя сохранились пальцы в изломе крыла, вот здесь, — Симагин похлопал себя по локтю. — Раньше действительно бывали такие птицы. Ты можешь заниматься делом, не занимая рта, и постоянно все вокруг прощупывать локатором, чтобы не подкрались охотники.

— А что, что ли, охотники меня боятся?

— А собственно, зачем им тебя бояться? Ты ведь не людоед.

Антон прыгнул с уступа и, плавно размахивая громадными крыльями, повизгивая локатором, полетел в горы. «Я вас вижу! — тоненьким голоском закричал он. — Ночь, вы меня не видите, а я вас вижу!» — «Это почему?» — подозрительно спросил Вовка, не любивший новаций. Антон принялся объяснять, захлебываясь от восхищения собой. Симагин послушал: удовлетворительно. Наверное, я через Антошку доигрываю то, что в детстве сам не доиграл, подумал он и обернулся на дом. На их этаже было еще солнечно, часть стены просторной солнечной пластиной вываливалась из синевы

неба. Симагину показалось, что он увидел Асину голову, мелькнувшую за стеклом. Подошла Вовкина мама, Симагин никак не мог запомнить ее имени. Они поздоровались. Она стала рассказывать Симагину, какой Антоша фантазер, и спрашивать, не боится ли Симагин столь быстрого развития. Симагин сказал, что боится только медленного развития. Она стала вкрадчиво допытываться, как это Симагину удалось полюбить чужого ребенка, — удивительно нудная женщина. В это время детишки начали ссориться. «Я в тебя стрельнул и подранил, подранил!» — въедливо кричал Вовка, размахивая своим невыносимо трескучим пластмассовым автоматом. «Меня нельзя ранить! — возмущался Антошка. — Я самый могучий, я все вижу и летаю быстрее пули, и оружие от меня отскакивает!..»

— Антон! — громко сказал Симагин. Антошка, осекшись, обернулся. — Друг мой, что делают с хвастунами?

Антошка надул губы, поняв, что Симагин принял сторону его противников, но ответил правильно:

— Выкидывают в безвоздушное пространство.

— Не забывай об этом, — мягко сказал Симагин и назидательно поднял замотанный лейкопластырем палец. Антошка умолк и стал мрачно слушать, как охотники обсуждают, куда могла спланировать подраненная гигантская птица и как добраться до нее по кручам, покуда она не очухалась. При этом оба изображали, что смотрят в бинокли. И девочка долго слушала, а потом, очень стесняясь, тихонько сообщила: «А я тоже буду птичка, Тошина сестренка, и его отнесу в гнездышко...» Парни запротестовали: охотники не хотели упускать случай добраться до птицы, Антошка не хотел терять свою неповторимую индивидуальность. Симагин открыл было рот поведать ему о коллективизме и о том, что уникальная птица, как бы она ни была могущественна, в конце концов обязательно достанется охотникам, но сдержался — он и так вмешивался слишком часто. Вовкина мама говорила что-то о том, какой Тошенька послушный. Симагин кивал.

Ася сняла пену с кипящего бульона и подошла к окну. Вкусный завтра суп будет, подумала она с удовольствием. Погруженный в тень зеленый двор со свечками молодых берез и цветными разливами сирени и шиповника был как на

ладони. Бегали дети. Симагин, отложив книгу, беседовал с Викторией из двадцать шестой квартиры. Стоит Симагину выйти с Тошкой на улицу, она тут как тут. Ася опять почувствовала мерзкий холод. Симагин, подумала она. Он разговаривал, Виктория слушала. Гусыня рыжая. Ася прикрутила газ под бульоном. Оглядела лежащие в раковине мокрые бурые картофелины, поверх которых жутко скалился окровавленный нож. Симагин вызвался почистить картошку, тут же раскроил себе палец и был изгнан из недоступного ему быта. Стремительно Ася вышла из кухни. В спальне, запустив руку в «свой» ящик, среди колготок, женских таблеток и прочей требухи нащупала припрятанную пачку. Выдернула сигарету. Потом, махнув на все рукой, — вторую. Нелепо боясь, что кто-то — Симагин, кто ж еще! — гневно рявкнет сзади, она затолкала ящик, содрала с вешалки платье, в котором ходила сегодня в парк, и, закрывшись на кухне, бросила платье под дверь, чтобы дым не просочился в комнаты. Торопливо закурила. Долго полоскала легкие отравой. Выдохнула к форточке. Какая узкая форточка! Светящийся в лучах солнца дым клубился безмятежно, не спеша. Его медлительность сводила с ума. Симагин придет — а он тут клубится! Руки дрожали. Прямо кур воровала. Ох, Симагин. Ася стала прикуривать вторую сигарету от первой и вдруг порывисто, злобно скомкала ее вместе с окурком. Окурок ужалил. Притопнув от боли и досады, Ася ткнула им в мокрую картофелину, а затем кинула всю грязь в ведро и, пустив холодную воду, с полминуты держала ладонь под струей. Ладонь жгло. Дым клубился. Ася чуть не плакала. Было так стыдно. Будто это она изменила Симагину. Без любви. Такая мерзость — изменять без любви. А с любовью? Симагин — замечательный. Без любви он бы ничего не смог. Я знаю. Та, раз его любит, замечательная тоже. А если опять объявится? Что же мне — постель им стелить? Ася почувствовала, что и губы у нее дрожат. Нервы стали с этим Симагиным ни к черту. Как раньше просто было. Вокруг никого, волки и змеи. А я одна, и надо спасти глупыша Антошку. Не оглядываясь ни на кого. Лишь свой интерес в расчет. Хотела бы так теперь? Как же! На один день вернись такое — пропаду. Голова плыла — давно не травилась. Вспомнила того. Восемнадцать лет, за-

валила вступительные, д-дура! Девушка-ромашка. Пристроилась в деканат. Думала, на год... И вот. Ухоженный, умный, интеллигентный. Красивый. Перспективный. Комсомольский деятель. Страшно, сладко — не светло. Буря, землетрясение, секунды исступленного восторга, дни и ночи черной тоски. Все было. Сколько всякого потом было. Света не было, счастья. Счастье и свет — теперь. Вот и делай, что хочешь. Изгоняя проклятый безмятежный дым, она помахала руками, наскоро почистила зубы, чтобы отшибить запах, и занялась картошкой.

Посвежело. Вовкина мама поднялась, и Симагин облегченно вздохнул — неловко беседовать с человеком и не помнить, как его зовут. Застенчивая девочка взяла-таки Антона в оборот: она уже высиживала яйца, а невинный Антошка барражировал вокруг гнезда и охранял сестренку от настырных охотников. Те смотрели в бинокли. «По леднику, — солидно говорил третий мальчик, у которого папа увлекался альпинизмом, — до морены, а там разобьем ночной лагерь...» Вовка все размахивал автоматом.

После Леры Симагин никак не мог влюбиться, а окрестные девчата его тоже, что называется, «мелко видели» — чистоплюй, рабочая лошадь, скукотища; но небо вдруг раскололось, оттуда выхлестнуло пламя, сверкая на привольно льющихся по ветру черных волосах. Отблескивая в стеклах светозащитных очков с клеймом «Озма». Он еще успел удивиться, с какой это стати название полузабытого эксперимента по установлению радиоконтакта с внеземными цивилизациями оказалось на очках, пусть даже импортных, — но подкатил автобус, толпа с остановки мрачно поперла в его душные потроха, и он, просто шедший мимо, полез туда же, вслед за хлесткой, надменной девушкой, которая была отдельно от всего. Ее стиснули в заднем углу салона, она отвернулась к окну, излучая презрение — последнее, что остается тем, кто не согласен, но бессилен. Вокруг привычно потели, задыхались, переругивались, пытались шутить и били друг друга сумками под колено те, от кого она была отдельно. Автобус развернулся, выруливая с набережной на Дворцовый мост, все повалились друг на друга, и она обернулась, поняв, что ей почти свободно. Симагин, а-ля Атлант, упершись своими не бог весть какими руками в поручень справа и слева от нее, принимал на себя толпу. Она удивленно спросила, что это значит. Он сдавленно ответил, что охраняет ее. Она смерила его гадливым взглядом модных очков, и от этого взгляда погасло желание быть сильным, мышцы размякли — ему едва не сломали спину. «Да перестаньте же». — «Не могу, меня сразу к вам притиснут». — «Вы так боитесь? Я не колючая, я очень даже гладкая. Не хотите разве попробовать?» Он покраснел. «Напротив, — ответил он с отчаянной храбростью, — настолько хочу, что не могу позволить этому произойти из-за давки». Она опять глянула на него, как на клинического, и безразлично отвернулась. Умирая от стыда, он продолжал надсаживаться. Она не выдержала. «Ну, пожалуйста, — попросила она. — Я разрешаю». Он замотал головой. Так они заговорили, но ему понадобился год, чтобы оттаять ее. Она всего боялась, ожидая лишь зла. Не верила ни словам, ни поступкам. Можно было биться головой о стену — смотрела насмешливо... Лишь через одиннадцать месяцев она призналась ему в Антошке, и он понял, что победил — но то была пиррова победа. Еще полгода прошло, прежде чем Ася переехала к нему — просто переехала, так и не приняв предложения. Ты же видишь, я злая, говорила она, давно перестав быть злой. Я уже не смогу любить, клялась она, уже любя. Я жуткая эгоистка, предупреждала она первого человека, о котором думала не меньше, чем об Антошке, и уж во всяком случае больше, чем о себе. Ты со мной не уживешься. Я тебя вылечу, и ты меня прогонишь... И у Симагина возник дом. Здесь он родился, здесь и жил при родителях весь свой век, но никогда не чувствовал так явно и вещественно, что у него — дом. Девочка под цветущей сиренью кормила с ложечки воображаемых цыплят, а Тошка, свирепо рыча, смахивал охотников в пропасть — защищал свой дом.

Симагин опять оглянулся на окна, потом посмотрел на часы. Пора, подумал он и, сладко потянувшись, встал.

Высокий синий купол, отдыхая, парил над миром. Улыбаясь, Симагин глубоко вдохнул сиреневый воздух. Он любил дышать.

— Антон, — позвал он. — Я пойду, знаешь. Ты остаешься? Или, может, айда вместе?

Антон задумчиво присел на край уступа и сложил крылья.

— Мне пора, знаете, — солидно объявил он затем и поскакал к Симагину. Симагин дождался его, и они неспешно, как взрослые, проследовали к дому.

Без Антошки все рассыпалось. У парадного их обогнал вооруженный Вовка. Девочка еще с минуту потютюшкала птенцов, потом тоже ушла.

Войдя, Симагин сразу учуял ненавистный запах. Но Ася встретила их такая лучезарная, такая домашняя и желанная, что он смолчал, лишь сдержанно покрутив носом. Не таков был Антошка. Он с порога принялся дергать Симагина за руку, а когда тот нагнулся, свистяще, оглушительно зашептал: «Она опять! Чувствуешь? Она опять!» Ася помрачнела и ушла на кухню. Приходилось держать марку. Чеканной поступью, неотвратимый, как само Возмездие, Симагин последовал за нею и строго спросил:

— Откуда вонища?

— Мам, — проникновенно сказал Антошка сзади, — ты что, что ли, не знаешь, что одна капля никотина убивает лошадь? Курить же вредно.

— Где покорность? — вопросил Симагин. — Муж я тебе или не муж?

Она подняла на него широко открытые, честные глаза и ответила:

— Муж объелся груш.

— Антон, — сказал Симагин твердо, — изволь нас оставить.

— Только не шлепай ее больно, — попросил сердобольный Антошка и вышел, аккуратно притворив дверь.

— Прости, — тихо сказала Ася. — Я что-то переволновалась сегодня.

Она смотрела чуть исподлобья, моляще, и чуть приоткрыла губы, словно ждала. Она стояла хрупко, очень прямо. Она была. Он осторожно положил ладонь на ее гладкую шею, и сердце скользнуло в горячую бездну; стены, крутясь, сухими картонками отлетели куда-то, Ася едва не упала, за-

прокидываясь, целуя, сразу загораясь в его руках... но вот уходит, отрывается, вот уже стоит у окна и так дышит, будто ныряла за жемчугом... и что-то шипит на плите.

— Ну вот опять... — У нее не хватило воздуха. У нее кружилась голова, все упоительно плыло. — Ведь бульон же убежал!

У двери оскорбленно скребся Антон, бубня: «Вы что, что ли, целуетесь, да?»

— Заходи! — позвал Симагин еще чуть перехваченным голосом.

Антошка вошел независимой расхлюстанной походочкой, руки в брюки, и некоторое время прогуливался как бы ни при чем. Потом, обвинительно тыча в Симагина указательным пальцем, сказал:

— Вот если бы я курил, ты бы меня уж не целовал!

— Наверное, — улыбнулся Симагин.

— Не знаю, — сказала Ася, — что это на нашего папу иногда находит. Вдруг возьмет и поцелует ни за что ни про что.

— Я ведь уже старенький, — жалобно стал оправдываться Симагин. — Какие у меня еще в жизни радости? Это вы можете летать на крыльях диаметром двадцать метров, а мне...

Антошка победно взревел и запрыгал поперек кухни:

— Ты что, что ли, не знаешь, что такое диаметр?!

— ...Чай будешь пить? — спросила Ася, отрываясь от книги.

— Буду, — ответил вошедший в кухню Симагин.

— С булкой будешь?

— С булкой буду. И с маслом.

Она встала, подошла к хлебнице.

— Городская есть и бублик.

Симагин сел верхом на табуретку.

— С кр-рэнделем буду, — веско сообщил он и разинул рот в ожидании.

— Уснул? — спросила Ася, намазывая ему бублик маслом.

— Ага. Морского змея половил минут десять, и привет. А змей, между прочим, оказался разумный.

— Тошка так изменился.

— Мы все изменились.

— Что-то еще из нас выйдет... — проговорила Ася. — Что из него выйдет? И что, — она лукаво улыбнулась, — из тебя выйдет? Вот, кстати, это про тебя... Покрепче?

— Покрепче буду.

Она налила ему покрепче, свободной рукой пролистав свою книгу на несколько страниц назад.

— Вот. «Почему самые талантливые натуры в нашей жизни не дают того, что они, наверное, дали бы в Европе? Вероятно, причина в общем низком уровне интеллектуального развития; успех слишком легок, нет стимулов, точек опоры, нет пищи для сравнения, нет ничего, что бы поощряло развитие умов и характеров; вот почему самые одаренные натуры долго остаются детьми, подающими большие надежды, чтобы сразу затем, без перехода, стать стариками, ворчливыми и выжившими из ума». Вот бублик.

— Это что еще за клевета? — деловито осведомился Симагин, принимая у нее кр-рэндель. Ася молча показала ему тертую, трепаную обложку: «При дворе двух императоров», записки А.Ф. Тютчевой, Москва, двадцать восьмой год. — Болтает баба, — сказал Симагин и слизнул кусочек масла, грозивший сорваться с бублика на стол. — Успех ей легок... Проехалась бы на работу — с работы в «пик». Да через весь город. А потом по очередям! — Он разошелся, Ася морщила нос от сдерживаемого смеха. — Неактуально! — вынес Симагин вердикт и даже прихлопнул ладонью по столу для вящей вескости.

— Пей, — проговорила Ася нежно. — Остынет.

Он послушно отхлебнул и обжегся, но виду не подал.

— А Вербицкого ты бросила? — спросил он, отдышавшись украдкой.

— Угу.

— Тебе ж нравилось то, что я раньше давал, — насупился он. — Из школьного... Сама говорила: какой одаренный.

— Он был талантлив, бесспорно, — сухо ответила Ася. — Мне действительно нравилось, Андрей. Но теперь что-то ушло.

— Ребенком быть перестал, — ехидно ввернул Симагин и укусил бублик, испачкав в масле кончик носа. Вытер тыльной стороной ладони.

— Кстати, может быть. — Ася серьезно глянула на него. — Слова, слова, а под ними — скука.

— А это — не скука?! — уже не на шутку возмутился Симагин, тряся обеими руками в сторону Тютчевой. — Того нет, этого нет...

— Да ты что — совсем тупой? — разъярилась Ася. — Сравнил! — Она поспешно залистала книгу. — Вот послушай сюда. Какой глаз, какая четкость! Мозгом же думала, а не карманом... Ага, вот. Это про Николая. «Это был худший вид угнетения — угнетение, убежденное в том, что оно может и должно распространяться не только на внешние формы управления страной, но и на частную жизнь народа, на его мысль, на его совесть, и что оно имеет право из великой нации сделать автомат...» Ах, почему мне бог не дал!

— Она славянофилкой числится, да? — спросил Симагин.

— Тьфу! Классификатор! Она умница, и все! — Ася перевернула страницу. — «Отсюда всеобщее оцепенение умов, глубокая деморализация всех разрядов чиновничества, безвыходная инертность народа в целом. Вот что сделал этот человек, который был глубоко и религиозно убежден в том, что он всю жизнь посвящает благу родины, который проводил за работой восемнадцать часов в сутки. Он лишь нагромоздил вокруг своей бесконтрольной власти груду колоссальных злоупотреблений, тем более пагубных, что извне они прикрывались официальной законностью и что ни общественное мнение, ни частная инициатива не имели права на них указать, ни возможности с ними бороться. И вот, когда наступил час испытания, вся блестящая фантасмагория этого величественного царствования рассеялась, как дым». Дай куснуть, тоже хочу. Ты так аппетитно лопаешь...

— Да, — грустно согласился Симагин, протягивая ей остаток кр-рэнделя. — Крымского поражения я этому паразиту все детство простить не могу. — И, совсем ерничая, добавил: — Проливы, опять же...

— Да ну тебя, — с готовностью улыбнувшись, Ася аккуратно откусила у него из руки. Нет, подумала она. Сейчас вовремя. Тоже в кавычках — как бы в струю. Упрекнуть прямо она так и не могла. Да и не в чем, не в чем. Не в чем, хоть

плачь. Но ведь не только он ее создал. И она его. И когда он распоряжается собой — значит, и ею. Всем, что в нем от нее. А это нечестно. Хотя упрекнуть нельзя. Тогда получится, что она создавала его для себя. Корыстно. А это неправда. Для него. И для всех. И он может делать, что хочет. Но ведь больно — он должен знать. Ведь смертельно потерять ту громадную, главную часть себя, которую он унесет, если уйдет. Но упрекнуть нельзя. Только в кавычках.

— А вот еще мудрая мысль, — сказала она. — Еще более древняя и потому еще более мудрая, — и она на память медленно проговорила из Екклесиаста: «Иной человек трудится мудро, со знанием и успехом, и, умерев, должен отдать все человеку, не трудившемуся в том, как бы часть себя. — Она, словно заклиная, заглянула Симагину в глаза: — И это суета и зло великое...»

Обидела, с ужасом подумала она, еще не договорив. Его лицо смерзлось, ушло. Она задохнулась от ненависти к себе. Тщеславная, бестактная дура! Симагин спрятался в чашку с чаем — обеими руками поднес ко рту, почти нахлобучил на лицо, шумно прихлебнул и сказал:

— Вкусный какой.

Она хотела что-то нейтральное ответить, но не нашлась. Он опустил чашку и некоторое время смотрел, как млеет за окном белая ночь. Потом попросил вдруг:

— А теперь, Асенька, еще это напомни, пожалуйста... ну... — Указательными пальцами он растянул глаза к вискам, шутливо изобразив монголоидность. — Про ларцы.

У Аси гора с плеч свалилась. Не то с досадой, не то с облегчением — но уж во всяком случае, с радостью — подумала она, что он ее просто не понял. Отнес ее слова совсем не к тому. Потому что думал совсем не о том. Потому что о той не думал. Ну и слава богу! Смеясь, она метнулась в комнату и уже через мгновение неслась обратно, листая томик древнекитайской философии. Но Симагин сидел нахохлившись. Тут до нее дошло, что, значит, и она чего-то не поняла, попала своими кавычками во что-то больное.

— «О взламывании ларцов»! — театрально объявила она и села у ног Симагина, виском — с трудом удержавшись, чтобы не грудью — прижавшись к его колену. Он положил ладонь ей на голову — но не так. Благодарно, но отстраненно. Он был не здесь. Совсем стемнело, и она едва различала буквы. — «Чтобы уберечься от воров, считают необходимым завязывать веревками, ставить засовы и запирать замки. Это обычно называют мудростью. Однако, когда приходит сильный вор, то он кладет на плечо сундук, ларец или мешок и уходит. Не значит ли это, что называемое мудростью является лишь собиранием добра для сильного вора?» — Она вещала с трагической аффектацией, но Симагин был уже вне игры. А когда она мельком глянула вверх, то увидела, что он по-прежнему бесстрастно смотрит в наполненное пепельным свечением окно. — «Между четырьмя границами государства везде соблюдались совершенные, мудрые законы. И все-таки однажды министр Тянь Чэнцзы убил правителя и украл его государство. Но разве он украл одно лишь государство? Он украл его вместе с его совершенными, мудрыми законами. Поэтому, несмотря на то что Тянь Чэнцзы прослыл как вор и разбойник, правил он в полном покое. Не значит ли это, что государство и его совершенные, мудрые законы, когда он украл их, лишь охраняли его, вора и разбойника? Разбираясь в этом...»

— Спасибо, Асенька, — спокойно сказал Симагин. — Какая ты умница. Как Тютчева.

Она осеклась. Опять заглянула ему в лицо — но он уже улыбался и встречал ее взгляд своим. Уже вернулся оттуда, куда вдруг улетел, не предупредив.

— Что теперь угодно принцу? — спросила она. — Прочесть? Сыграть? Сплясать? В программе танец семи покрывал.

Он не ответил, и молчание опять казалось каким-то неловким.

— Работать еще будешь? — спросила она, вставая.

— Работать... — проговорил он со странной интонацией. — Если все время работать, подумать не успеешь.

Она, снова чуть тревожась, пожала плечами:

— Тогда я стелю?

— Угу, — ответил он. — Посуду я сполосну.

Выходя из кухни, она оглянулась. Он, пересев вплотную к окну, снова уставился наружу. На высоте окон, тяжелыми черными сгустками скользя в серо-синем подспудном свечении, мотались чайки — добывали майских жуков.

Когда минут через двадцать Ася вернулась, в кухне горела лампа, и Симагин, спиной к ослепшему провалу окна, сдвинув грязную посуду на край, торопливо строчил на листке бумаги. Карандаш прерывисто шипел в ночной тишине. На звук шагов Симагин поднял глаза.

— Понимаешь, если «ро» действительно функция, то... это очень интересно. Надо посчитать.

— Чаю налить еще? — спросила Ася спокойно.

— Нет, я скоро.

— Тогда я ложусь.

— Три секунды. Прости, Асенька, — с виноватой, но мимолетной улыбкой он снова ткнулся в свои листки. — Вдруг пришло...

— Ты успел подумать, о чем хотел?

Симагин не ответил, не поднял головы — только карандаш запнулся.

— Успел? — после паузы повторила она.

Он все-таки вскинул беззащитные глаза.

— Ох, Аська, — выговорил он. — Я же все понимаю. Непредсказуемость последствий есть фундаментальный принцип и главнейшее условие всякого развития. Убрать его — все равно что лишить эволюцию мутаций. Так и плавали бы мы спокойненько в виде органической мути... да и муть бы уже прокисла, ведь что не развивается, то гибнет. Нужны скачки. Но ты не представляешь, — у него даже голос задрожал от волнения и потусторонней тревоги, — как хочется, чтобы... чтобы все было только хорошо!

Нежность и желание затягивали Асю горячим водоворотом. Ребенок мой, подумала она. Любимый мой ребенок. Ну как тебя успокоить? И, помедлив секунду, детским голосочком вдруг запела обращенную к Христу арию Магдалины из знаменитейшего во времена ее детства зонга: «Ай донт ноу хау ту лав хим...» Симагин заулыбался, а потом, даже не выпустив карандаш — тот так и остался торчать из его пальцев здоровенным граненым гвоздем, — раскинул руки и обвис, свесив голову набок, высунув язык и смешно вылупив глаза: распяли, мол. Ася засмеялась, видя, как оттаяло его отрешенное лицо, и пошла из кухни.

— Не заходи туда! — крикнул Ляпишев утробно. Вербицкий отшатнулся, вытолкнув из пальцев потертую львиную морду дверной ручки. — Он с Алей.

— Если мужчина не липнет к женщине, оставшись с нею наедине, — вкрадчиво пояснила Евгения, — он ее оскорбляет.

— Жаль, — сказал Вербицкий. — Я говорил о его вещи с Косачевым. Старик подрядился помочь.

— Мы другого и не ожидали, — проговорила Евгения.

— Косачев тебя еще терпит? — спросил Ляпишев. Вербицкий пожал плечами.

Его не любили, и он это знал. То ли потому, что он был здесь, за исключением Ляпишева, единственным профессионалом. То ли потому, что слишком часто просили его помощи, когда надо было дотянуть или пробить рукопись. То ли потому, что за пять лет сам он сумел сделать — и продать! — три повести и десяток рассказов.

То ли потому, что он презирал их.

Одни и те же сплетни, дрязги, замыслы, которые не удаются из-за дефицита времени, редакторского непонимания, а то и личных психологических нюансов — «старик, пока лежу, гениальный текст перед глазами, а за столом все рассыпается...» Раньше не умели писать, какой социализм хороший, теперь не умеют писать, какой Сталин плохой. Проморгали момент, когда подростки в парадняках перестали бренчать «Корнет Оболенский, налейте вина» и стали бренчать «А я съем бутылочку, взгромоздюсь на милочку». Теперь шлют убогие соображения на несуществующий адрес. И не туда, куда направляют издательства. И не туда, где впопыхах перекидывает страницы реальный читатель. В пустоту.

Беспокоить Грига, конечно, не следовало. Не так давно он подобным же манером уединился то ли с журналисткой, то ли с публицисткой, и нагрянула жена. Бывает. Но какой-то шутник, оставшийся неизвестным, направил ее точнехонько. Григ, развлекавший даму тем, что кругами гулял по комнате на четвереньках — на его голой спине, как горбы на верблюде, тряслись два полных бокала, и он на спор старался не пролить ни капли, — узнал супругу, нетвердо встал

и, заглушая звон и плеск, радостно воскликнул: «Заинька пришла!»

Мысль о том, что пока он, Вербицкий, выламывался перед мэтром и лауреатом, расхваливая пошленькую новеллку приятеля, сам приятель — выпускник двух университетов, работающий кочегаром и посвятивший себя бессрочному вынашиванию грандиозной тетралогии об Ироде Великом, — хихикал в это время с Алей, ощущалась, как бальзам. Она была столь обидной, что совесть не посмеет теперь даже пикнуть, если он, Вербицкий, подставит где-нибудь ногу иродствующему кочегару. Совесть у Вербицкого еще пикала, он ненавидел ее за это, частенько цитировал как бы в шутку Твена: «Знаешь, Том, если б у меня была собака, назойливая, как совесть, я бы ее отравил», — но ничего не мог поделать пока и вынужден был, пользуясь каждым удобным случаем, глушить ее вот такими припарками. Ведь даже не волновался, старательно растравлял себя Вербицкий, не бросился навстречу, когда я вошел, — нет, безмятежно увеселялся, уверенный, что не хватающий звезд с неба работяга обслужит его, гения, в лучшем виде... Н-ну ладно.

— Косачев меня не терпит уже давно, — сказал Вербицкий. — Косачев меня любит. Как сына.

Евгения, улыбаясь в свечном полумраке, поднесла мерцающий бокал к мерцающим губам, но пить не стала — прикрылась им, как во времена Леонардо дамы прикрывались веерами; эта улыбка в стиле Моны Лизы и этот жест означали: вы не все знаете об отношении вашего покровителя, а вот я, как всегда, знаю все. Дура.

Косачев. Это он вознес обуянного священным трепетом юнца на Олимп, где обитают борцы за Человека. Они же властители дум, целители душ, сеятели Разумного-Доброго-Вечного, превозмогатели непонимания и невзгод, жизнью своею пишущие свой самый лучший и самый светлый роман... Боже, в сотый раз подумал Вербицкий, какой я кретин. Я конченый человек, ведь я даже Косачева ненавижу, и именно за то, за что был ему благодарен по гроб жизни... Он вспомнил дачу, с которой уехал полтора часа назад; два этажа, два гаража... До пупа расстегнутая рубаха. Фиглярский

золотообразный крестище на заросшей крестьянским мохом груди. Старый болтун.

— Видите, — сказал Вербицкий, — какой я искренний.

— Вижу и люблю вас за это, — томно произнесла Евгения. — Ведь неискренность — это ненастоящее, рассудочное, искусственное. Вы же знаете, я исповедую даосизм, я даоска до глубины души.

Ну, началось, с тоской подумал Вербицкий. Вот прямо только что от Даодэцзина.

— Мне казалось, вы тоже к нему склонны. Но вы только пишете и бегаете по издательствам. А есть вещи, которые обязан прочувствовать каждый культурный человек.

— Да, конечно, обязан, — сокрушенно признал Вербицкий. — Но вот... Дао кэ дао фэйчан дао, — нараспев сказал он, — мин кэ мин фэйчан мин... Вот вы это, наверное, понимаете. Я — ни в какую. — Евгения захлопала глазами. — Наверное, потому что вы читали не по переводам... Кстати, как «дао» пишется?

Евгения опять загадочно, но как-то бледновато, улыбнулась и прикрылась бокалом.

— Бесполезно искать спасения в лабиринтах знакомых систем, — раздался голос сзади, и Вербицкий обернулся. Это был поэт Широков — кареглазый, давно не мытый красавец с вечными напластованиями перхоти на плечах. — Дао не знак. Дао — мироощущение. Единственно творческое восприятие мира. Слияние со всем миром сразу и спонтанное познание всей его самости внутри себя. Человек, осознавший дао, становится тотальным творцом уже непосредственно из акта осознания. Он может сказать о себе: я художник. Пусть я не умею рисовать. Я не срифмовал и двух строк — но я поэт. Я философ, хотя не читал ни одного трактата и читать не умею и не хочу. Понимаете вы?

— Да... — ответил Вербицкий, изображая мыслительное усилие. — Я знатный сталевар, Герой Социалистического Труда, хотя всю жизнь только лазаю на Фудзияму и обратно... Правильно?

— Вы идиот, — надменно сказал поэт и удалился. Ляпишев загоготал и показал Вербицкому большой палец.

— Вы действительно нынче не в настроении, — заметила Евгения и улыбнулась с кошачьим коварством. — Что вам все-таки наговорил Косачев?

Вербицкий пожал плечами и побрел к столу.

Доктор наук Вайсброд, вздумавший на склоне лет написать назидательный роман из жизни советских ученых, смирно кушал диетический салат. Его лысина блестела в свете свечей. Вот за это меня не любят, подумал Вербицкий, за то, что сей гриб старый принес рукопись именно мне. Как-то вышел на меня, попросил прочесть и, если сочту возможным, подыскать площадку... Конечно, я ему не скажу, что получился у него пшик. Казалось бы, парадокс — сорок лет старец в своей науке, вроде без всякого таланта и без всяких выкрутас мог бы просто интересно рассказать. Но нет — розовая вода, и даже не понять, чем они там, в сущности, занимаются. Слишком хорошо доктор знает, сколько неприглядного быта в его, видимо, любимой науке; слишком много острых углов пришлось обходить. Морщинистое дитя застоя...

Где время, когда душа кипела, а первая страница столистовой тетради в клетку молила: возьми! вспаши! И обещала то, чего никто, кроме меня, не знает и не узнает никогда, если я не увижу и не расскажу; вспыхивали миры, оживали люди, копеечная ручка была мостом в иную Вселенную... Белая бумага! Как вы не слышите, она же кричит: вот я! Укрась меня самым чудесным, самым нужным узором: словами. Драгоценными, звенящими, летящими словами. Спасающими словами. Побеждающими смерть, убивающими боль, знающими мудрость!

А едва дописав главу, бежал через улицу к Андрюшке и читал вслух, а он слушал, разинув рот, и подгонял... и пытался советовать, лопушок... Где-то он сейчас? Переехали мы тогда — и концы в воду, хотя город тот же; город тот же, да мы другие. Наверное, инженерит теперь, телевизор смотрит, дремлет, накрывшись газеткой...

— Вы не заскучали, Эммануил Борисович?

Вайсброд поднял голову — блеснули его очки, челюсти еще двигались, и маленький рот то выявлялся, то западал среди морщин и дряблых, вислых щек.

— Я опоздал, извините, — продолжал Вербицкий. — Как вас тут встретили?

— Чрезвычайно радушно, — ответил профессор, аккуратно и без спешки проглотив прожеванное. — Я очень признателен вам, Валерий Аркадьевич. Я услышал много интересного. К тому же мне довелось познакомиться с вашим другом, поэтом Широковым. Я кое-что читал и с уважением отношусь к некоторым его стихам.

— Приятно слышать, — с мгновенной старательной улыбкой ответствовал Вербицкий. — Смычка физиков и лириков есть давно назревшая процедура...

Какой бред, подумал он и неприкаянно двинулся обратно — но Ляпа, и Шир, и дура Евгения уже шли навстречу. На столике у тахты все кончилось, и троица летела на дозаправку.

— ...Провались с концепциями, — договорил Ляпишев и шлепнулся в кресло. Пригубил, потом закурил. — Ты не права, — уже расслабляясь, произнес он и снисходительно поболтал сигаретой. Малиновый огонек выписал сложную петлю, развесив по густому черному воздуху слои дыма. — Просто мировое сообщество закономерно поднялось на принципиально новую ступень организованности. Раньше придумывали богов, потом чудодеев, гениев... Чудодеи исчезли, гении исчезли... что говорить, Бога и того не стало! А ведь только авторитет божественности служил гению защитой от давления мещанской массы...

— Трепло, — сказал Шир, но Ляпа крутнулся вдруг, чуть не угодив сигаретой ему в глаз, и крикнул:

— Нет, не трепло!

— За всех не говорите! — заорал, тоже сразу заводясь, Шир. — Гениям на вашу экономику начхать!

Ляпишев озверело ткнул сигаретой в скатерть, мимо пепельницы, и размял, размазал ее пальцами. Казалось, он сейчас заплачет. Но он лишь снова закричал:

— Право на самостоятельное осмысление отобрано у художника навсегда! Введение в культуру новых сущностей может производиться только государственной администрацией! Тему дает она!

Слабый, испуганный, голый человечек... Стадо человечков. Им голодно и холодно в вонючих пещерах. Ничего не понимают, всего боятся. Все обожествляют. Это они придумали! Малевать на стенах, высасывать из волосатых грязных пальцев сказки и песни... Зачем? Слабость ли была тому единственной причиной? Уже тогда требовалось обманывать, измышлять нечто более высокое, нежели каждодневное прозябание. Слабость!!! Сон золотой. Духовный новокаин. Позор! Мы не станем больше лгать!

Мы честны. Мы суровы в наш суровый рационалистический век, мы перестали приукрашивать и навевать сон. Даже лучшие из нас — грешники, говорим мы, и худшие из нас — святые... Кто? Моэм. Мы обнажаем в доброте — трусость, в мужестве — жестокость, в верности — леность, в преданности — назойливость, в доверии — перекладывание ответственности, в помощи — утонченное издевательство. Да, но тогда исчезает наш смысл, и мы остаемся в пустоте, ибо вдруг видим: нуждаются в нас не потому, что мы сеем Доброе, а потому, что Доброе мы вспороли, открыв на посмешище и поругание его дурнотное, осклизлое нутро; нуждаются в нас не те, кто нуждается в Добром, а те, кто нуждается в его четвертовании, то есть наши же собственные вековечные враги!

И тогда бросаемся в другую крайность — уже потерянные, растоптанные — придумываем новый смысл и сами объявляем себя винтиками организованного мира, и начинаем снова воспевать, но уже не то, о чем грезим сами, а то, что велят. Веками не могли этого добиться от нас короли, султаны, эмиры... Никто не мог. Только мы сами.

— Валерик, посмотрите, какая лапушка, — сказала Евгения, с намеком в голосе протягивая Вербицкому какой-то журнал.

— Ух ты, — не видя, ответил Вербицкий, — действительно.

А другие?

Да где они, другие эти? Отэпилепствовались! Отпневмонийствовались! Отстрелялись! Отпрыгались — в пролеты лестниц! Поразвесились, чистоплюи, по Елабугам да «Англетерам»! Вот все, что от них осталось, — не то даосы, не то

альфонсы... вот они, вот! Потому я и с ними — не с теми, кто штампует страницы, как шурупы для прикрепления мозгов к доскам почета, со стандартным шагом да шлицем, заранее подогнанным под отвертку... Хотя они-то меня как раз держат за такого...

— Свеженькая, правда? — настойчиво допытывалась Евгения.

На обложке сияла молодой улыбкой девочка лет шестнадцати, чистая, как первая страница тетрадки. Ветер трепал ее рыжеватые волосы, зашвырнул за плечико длинный конец пионерского галстука — она была настоящей, точно голубое небо над ее головой.

— Одну вожатую я трахал прямо в пионерской комнате, — сообщил Шир сбоку. — Среди горнов и знамен...

Ах, как сладко подойти и треснуть между глаз! Мышцы Вербицкого свернулись тугими винтами. Он уже видел свой кулак, врубающийся в переносье Широкова, слышал звук удара — и головенка смердящей гниды откинется назад, выломив острый, плохо пробритый кадык. Честный удар по настоящему врагу...

Но он же сказал, наверное, правду.

Мы честны, мы не станем больше лгать.

Поэт, от поспешности давясь, хлебнул из пиалы и, держа ее у лица, забубнил, мужественно рубя слова и строки: «Ты плоть от плоти золотых лесов, ты плоть от плоти деревенской школы, ты плоть моя...» Господи, ужаснулся Вербицкий, что за бред? «Благослови звериный чистый зов...» Звериная чистота, думал Вербицкий. До какой же степени нужно опоганить в себе все человеческое, чтобы мечтать о звериной естественности? Не о человечьей, моральной — о звериной, физиологической... Евгения восхищенно шевелила ресницами, Ляпа издевательски корчил лицо и курил так, будто хотел отравиться никотином, а потом привстал, оттопырив руку с окурком, и злорадно заорал явный экспромт: «Когда б вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда, стреляли бы поэтов без разбора — с бедра, навскидку, ныне и всегда!» Шир, не задумываясь, с холодной ненавистью плеснул Ляпе из пиалы в лицо — тот едва успел заслониться рукой. Окурок захлебнулся, и сразу стало как-то тем-

нее, но было видно, что Ляпишев, шипя матом, выковыривая горячий кофе из глаз, вырос над столом. Евгения с удовольствием завизжала. Вербицкий, хохоча примиряющим хохотом, ухватил Ляпишева за плечи и весело закричал школьное: «Люблю грозу в начале мая, когда весенний первый гром так долбанет из-за сарая, что не поднимешься потом!» Ляпишев дергался, нехотя вырываясь, Вербицкий без напряжения держал. Чертов Косачев, думал он, разбередил душу. Из памяти высунулась та же дача девять лет назад — а за нею и вся лучезарная зима непрокуренных надежд. И он, Вербицкий, шел дарить журнал с первой повестью ее крестному отцу. Один этаж там был только, один гараж, а старик весел, бодр, отзывчив... и страстно работал.

— Почему мы так любим именно жестоких, именно равнодушных мужчин? — томно спросила Евгения, когда поэт победоносно дорубил свою ахинею. — Неверных, капризных...

— Жестокость — атрибут силы, — немедленно отреагировал тот. — Сила — то, что вы вечно обречены искать. Равнодушие, самовлюбленность, подлость, предательство — суть атрибуты силы. Душевность, искренность, верность — суть атрибуты слабости. Слабый несамостоятелен, ему нужно быть при ком-то, и чтобы его, в общем-то, ни на что не способного, неинтересного и бесполезного, не гнали, он подкупает сильного, принося ему себя в жертву. Всякий, кто нарушает этот закон природы, обречен на одиночество, он выпадает из круговорота стихий Инь и Ян. Камасутра учит: наслаждениями мужчин являются причинение и владение, но женщины — терпение и отдавание...

А ведь эта дрянь иногда пишет приличные стихи. Уму непостижимо — дрянь пишет приличные стихи! Несправедливо! Ну да, как же, как же, гений и злодейство — вещи несовместные, слыхивали. Очень даже совместные, представьте! Да, но если б я не знал автора, я, как Вайсброд, время от времени восхищался бы... Вздор, я уж забыл, когда восхищался; души нет, а мозг лишь хладно анализирует: мастеровито; замысловато; неумело...

Запретная дверь вдруг распахнулась.

— Всем привет! — раздался веселый, звонкий голос, и Аля — раскрасневшаяся, с возбужденно сверкающими глазами — выступила из тьмы в колышущийся курной полусвет. Прекрасный брючный костюм безупречно сидел на ее безупречной фигуре.

— Не стой, не стой, давай к столу, подкрепись! — хлебосольно закудахтала Евгения. — А собеседник-то твой где?

Все дружно засмеялись. Аля подошла к столу, секунду постояла, выбирая место, и села рядом с Вербицким.

— Дрыхнет, — сообщила она, присматриваясь к тарелкам и бутылкам. — Я ему говорю: резвость, говорю, норма жизни, а он — брык.

— Ну до сердца-то хоть дошел? — с интересом спросил поэт.

— Не-а, — ответила Аля и хлопнула себя по животу. — Дай бог досюда... Валерик, милый, налей.

Общий смех. Аля засмеялась тоже; от нее несло жаром, как от печки. Вербицкий с силой укусил себя за верхнюю губу.

— Да ладно вам, — сказала Аля. — Неинтересно. Валерик, — она уставилась на Вербицкого пылающими, чуть туманными глазами, — ты меня прочитал?

— Что он с тобой сделал? — немедленно встрял поэт. Аля отмахнулась от него, как от мухи. Все опять засмеялись. Кроме профессора. Вербицкий сообразил, что профессор и раньше не смеялся.

— Конечно, прочитал, — пробормотал он. Ему неприятно было смотреть на Алю — на ее живое лицо, на запекшиеся, алые до вишневого губы. Ему казалось — это стыдно. Знаешь, Том... — Ты молодец, Алка. Но, прости, в подробностях — не сейчас.

— Как скажешь.

— Договоримся о встрече. Там есть о чем поговорить.

— А чего договариваться? Заезжай в любой вечер, как домой. Когда-то ты любил бывать у нас.

Любил, подумал Вербицкий. Сосунок, всех меривший по своей мерке, — думал, ты мне и впрямь рада. Как же! Я молодой, я талантливый, удачливый, людей люблю... Красавицу мне! Красавица и талант — какое сочетание может

быть естественнее? Кто? Пу Сунлин. Вздор, красавицам доброта да талант нужны, как съеденный хлеб, — нужны им деньги, нужны знакомства в сферах, кубах и многомерных октаэдрах обслуживания. На твою валюту, пентюх, покупают теперь лишь часами нудящих о своей драгоценной персоне недоваренных интеллектуалок, у которых что душа, что грудь — все плоско...

Я оскорблен этим несуразным государством не только как гражданин, но стократ — как мужчина, потому что оно не только вырастило возможностью бесконтрольной власти двух-трех-пятерых Рашидовых, но отнимающим все силы, выматывающим душу скотским бытом, мало-мальски улучшить который можно единственно приближением к той или иной кормушке, поголовно сделало красавиц проститутками, пусть и разных сортов: от толкающихся при интуристах до толкающих в мужнину спину: «Вступай в партию, ученым секретарем назначат...»

Потом он ел и пил. Потом его развезло, как всех. Он прижал в углу Ляпу. Ляпа не понимал, чего Вербицкий хочет, и порывался бить морду, но не мог то ли вспомнить, то ли придумать кому. Вербицкий домогался: «Почему я не сделал «Идиота»? Почему ты не сделал «Фауста»? Почему, Ляпа?»

В начале первого стали расходиться. На Шира натянули его супермодное пальто до пят, поверх поднятого воротника накрутили, как положено, многометровый яркий шарф; Евгения помогала поэту спускаться, Вербицкий помогал ей. Улицы были пустынны и чисты. Вербицкий жадно дышал, прокачивая целебное молоко белой ночи сквозь клоаку легких, а Евгения львицей металась поперек проспекта, отлавливая поэту такси. Поэт, откинувшись на стену, излагал кредо. Этот мир был не по нему, он не принимал мира и не шел на компромиссы. «Зеленый глаз», хрюкнув тормозами, остановился поодаль. Шофер высунулся, Евгения принялась что-то втолковывать ему, потом оглянулась и замахала руками, призывая. «Ху-уй!» — заорал поэт и попытался гамлетовски запахнуться в суперпальто, но едва не упал. «Да помогите же ему!» — надрывалась Евгения. Вербицкий с нарочитой незаинтересованностью прогулялся мимо. Маленький профессор подсеменил, протягивая ручки, но поэт, рявкнув: «Кыш, пархатый!», завез ему локтем в лицо — только брызнули импортные очки с переменной светозащитой; если б Вербицкий не подхватил профессора, тот повалился бы, как сноп. Шофера будто всосали обратно в окошко, «Волга» тронулась. «Стойте!!!» — отчаянно закричала Евгения и, обламываясь на каблучках, загребая руками воздух, бросилась вслед. Аля хохотала — всласть, до слез. Вайсброд белоснежным платком стирал текущую из носа кровь, Вербицкий продолжал его поддерживать, храня в другой руке профессорские очки, которые поднял с асфальта. Очки выдержали. Такси остановилось, Евгения, не сумев затормозить, с размаху врезалась в багажник. «Пусть подъедет!» — орал Широков. На Евгению жалко было смотреть — шофер, видно, тоже встал на принцип. Вербицкий плюнул с досады, бережно вставил очки профессору в лицо и, ухватив поэта сзади за шарф, поволок к машине. Поэт сипел и отбивался, меся руками воздух, потом попробовал лягнуть Вербицкого в пах, но потерял равновесие, упал мордой вперед и повис на шарфе. «Ты его задушишь!!» — истерически крикнула Евгения и рванулась к ним. Вербицкий, как азартный рыбак, подсек за шарф обеими руками, и поэт, уже собравшийся лечь на асфальт в знак протеста, выровнялся. Евгения подбежала. «Отпусти, слышишь?! — злобно прошипела она. — А ну, отпусти! Зверь!» Она подсунулась плечом под поэта. Поэт всхлипывал, хрипя и раздирая шарф на шее: «Сволочи... За что? Топчут... душат...» Евгения впихнула поэта в такси, влезла сама и захлопнула дверцу. «Вербицкий! — заревел из уносящейся «Волги» поэт. — Я тебя зар-режу!» Вербицкий некоторое время стоял, глядя машине вслед, потом на нем кто-то повис, он обернулся, но сообразить ничего не успел. Ослепительно горячие губы расплавленным золотом хлынули ему в пересохший рот. Вербицкий замычал, отпихиваясь, его руки угодили в упругое и тоже горячее, и он понял, что это — Аля. В ужасе он забился из последних сил, и она, сжалившись, отступила. Чуть переведя дух, Вербицкий проверил языком нижнюю губу — нет, на месте. Аля ждала совсем близко, и Вербицкому захотелось вновь ощутить горячее и упругое, но он сказал себе строго: не валяй дурака.

Аля это поняла. Страстная полуоткрытость ее губ неуловимо сменилась веселой товарищеской улыбкой.

— Ты прелесть, Валерик. Я тебя люблю, честное слово.

— И я тебя люблю, — еще чуть задыхаясь, ответил Вербицкий, — но нельзя же так, без предупреждения...

— Вероломно, — сказала Аля. — Не предъявляя каких-либо претензий. Ну что я могу поделать? Захотелось.

Вербицкий оглянулся. Профессор дожидался поодаль.

— Вас метро устроит? — спросил его Вербицкий. Вайсброд осторожно кивнул. Чувствовалось, он еще побаивается шевелить головой.

— И меня устроит, — поспешно примкнула Аля, а потом честно предложила: — И вообще — поехали ко мне. Поговорим наконец без стихов и матерщины.

— А семья? — подозрительно спросил Вербицкий.

— Какая семья? Галинка в летнем лагере, мужик в госпитале, он после испытаний вечно туда грохочет. Так что я свободна. — Она легко и упруго изобразила какой-то канкан.

— Ну кто я буду завтра? — жалобно спросил Вербицкий.

— Спать будешь до обеда, — соблазнительно сказала Аля. — Я специально отпрошусь и обед подам в постель.

— У меня в одиннадцать встреча.

— Деловой, — вздохнула Аля. — Ну, насильно мил не будешь. Проф, как вы себя чувствуете? — Она повернулась к Вайсброду. Тот смутился. Аля, улыбаясь яркими своими губами, достала душистый платок, послюнила и принялась, как заботливая мама, стирать засохшую у профессорского носа кровь. — Вот ведь сволочь, — приговаривала она. — Вот бандит...

— Он неплохой поэт мог бы быть, — жмурясь от удовольствия, задумчиво проговорил Вайсброд. — Но очень болен.

— Таких больных стрелять пора, — убежденно сказала Аля. — Профилактически. Не надо благодушествовать, проф, это плохо кончается. — Другим углом платка она утерла Вайсброда насухо.

— Благодарю вас, Алла... э-э...

Они двинулись к метро.

— Слава богу, я в стихах не понимаю, — браво сказала Аля. — Никаких противоречий. Навоз — навоз. Милый Валерик — милый Ва...

— Хорошая ты, Алка, баба, — проговорил Вербицкий. Аля, как дружку, доверительно откомментировала профессору:

— Слышите? Приласкал, наконец.

— И умница ты. И пишешь неплохо. И товарищ отличный. И кандидат своих бионаук, я слышал, по заслугам — откуда только силы берутся. И дочка у тебя симпатяга. Но стоит мне подумать, со сколькими ты... м-м... целовалась, так у меня все опускается.

— Да я знаю. Думаешь, ты один такой чистоплюй болотный? От меня приличные люди уже шарахаются, никакие телеса не помогают. Все равно ничего поделать не могу. Вдруг как стукнет! Любовь до гроба, с ног бы воду пила! — Она вздохнула. — А через месяц отвращение такое, что на десять шагов не подойти. Сейчас уж притерпелась, а в молодости — ревела-а...

Профессор, с предположением в голосе и просветлением в лице, вдруг пробормотал:

— Плавающий резонанс... Четная диссипация Хюммеля? — Аля с беспокойством повернулась к нему, но он уже очнулся и проговорил: — Я весьма благодарен вам, Валерий Аркадьевич, за ваше любезное приглашение. Было очень интересно.

— Вот уж не могу поверить, — скривилась Аля. — Гнусные рожи...

— Помилуйте, — вежливо проговорил Вайсброд, — я ведь не сказал, что было приятно. Я сказал, что было интересно.

— А, да, — согласилась Аля. — Простите, не поняла.

Вербицкому стало досадно, что Аля перестала говорить с ним и стала говорить с профессором. Интересно, видите ли, ему. Так он, стервец, изучать нас ходил!

— Не обессудьте, что прерву вашу беседу, — произнес он с изысканной язвительностью, — но хотелось бы узнать, что за вереница ученейших терминов скользнула в вашей речи, уважаемый Эммануил Борисович?

Профессор поправил очки.

— Видите ли, — с академической неспешностью ответил он, — уважаемый Валерий Аркадьевич... Биоспектральный резонанс эротических уравнений чаще является более или менее устойчивым или, увы, еще чаще, вообще не возникает. А здесь я вижу узкое, интенсивное спектральное лезвие, плавающее в весьма широких пределах. Беда... — Он опять поправил очки, после травмы они все время сползали. Аля смотрела на него странно. — Андрюша Симагин очень собирается выявить причины подобных неустойчивостей — они возникают, к сожалению, на самых разных уровнях, не только на эротическом, — но нас в первую очередь, и вполне правомерно, ориентируют на лечение более распространенных и опасных органических расстройств.

Последних слов Вербицкий уже не слышал — ему показалось, что Аля опять бросилась на него.

— Симагин?! — переспросил он, перебив что-то хотевшую сказать Алю.

— Да, Андрей Андреевич Симагин. Золотая голова...

Андрюшка, что ли, с неожиданным раздражением подумал Вербицкий. Когда это он обзавелся золотой головой?

— Очень дельный ученый, — сказал Вайсброд.

Собственно, что это? Я завидую — кому? Кто мне завидовал все детство? Вербицкий уверенно обнял Алю — она с готовностью прильнула — и удовлетворенно стал впитывать плавное колебание под ладонью. Жар проступал сквозь тонкую ткань.

— Он молод? — спросил Вербицкий равнодушно.

— Приблизительно вашего возраста. Несколько моложе.

— И, разумеется, живет анахоретом — не ест, не пьет, ночует на работе?

— Да, почти. Даже теперь.

— Даже когда?

— Это была чрезвычайно романтическая история, — улыбнулся Вайсброд. — Он горячо полюбил женщину с почти взрослым сыном, лет пяти. По-моему, они очень счастливы...

В метро уже никого не было, и дежурная посмотрела на них с укоризной, когда они, торопливо шагая, встали на эскалатор.

— Так что это за спектры? — спросила Аля.

— Спектр... Ну, как вам...

— Попонятнее, — язвительно сказал Вербицкий, но профессор не понял иронии.

— Я и стараюсь, — произнес он вежливо. — Сверхслабыми взаимодействиями, и в первую очередь биоспектрами, в мире стали заниматься совсем недавно. Их открыли совсем недавно. Это сложнейшая производная психофизиологических состояний. Собственный спектр взаимодействует с окружающими излучениями, главным образом — со спектрами находящихся рядом людей. Наиболее интересным и загадочным из взаимодействий является резонанс. И наиболее мощным. Ну, понятно — взаимная энергетическая подпитка... Причем, поскольку всякий спектр расчленен на целый ряд уравнений, а те, в свою очередь, на регистры, полосы, участки — возможны одновременные локальные резонансы-диссонансы внутри одной пары взаимодействующих спектров... Помилуйте ради бога, я бестолково говорю, я не готовился и... не имею опыта популярных выступлений...

— Ну, мы довольно-таки квалифицированная аудитория, — с раздражением бросил Вербицкий.

— Да, но все же... Ну, например, с чего мы начали. Немотивированные любовь или отвращение, приязнь или неприязнь мы представляем как возникающие на уровнях высших эмоций проявления резонансно-диссонансных эффектов. А болезни? Любое органическое или психическое расстройство колоссально деформирует соответствующие уровни или регистры спектра, и это может быть использовано в целях утонченной безошибочной диагностики. Более того. Мы убеждены, что эти расстройства могут провоцироваться излучениями извне. Рост некоторых заболеваний, в том числе психических, мы объясняем ростом электромагнитного загрязнения среды, который постоянно увеличивает вероятность случайных патогенных резонансов. С другой стороны, возникает реальная возможность лечения непосредственно через спектр огромного числа недугов, от рака до шизофрении, путем подавления патологических участков излучением извне. Вероятно, станет возможной и парирующая иммунодефицит спектральная стимуляция...

На станции было свежо и пустынно, с грохотом утягивался в темноту тоннеля голубой поезд. Ай да старец, потрясенно думал Вербицкий. Ему, видите ли, у нас интересно... Однако забавными штучками они там занимаются, вдруг сообразил он и хотел сказать об этом, но Аля его опередила:

— А вам не кажется, что ваши исследования безнравственны?

Вайсброд устало усмехнулся.

— Я ждал этого вопроса, Алла... э-э... Нет, не кажется.

— Но высшие эмоции, — пробормотал Вербицкий, — это же...

— Святая святых, — перебил профессор. — Но и святая святых зачастую нуждается в лечении. И необходимость лечения только увеличивается оттого, что это — святая святых.

Из тоннеля повалил шумный, рокочущий ветер.

Теперь профессор почти кричал:

— Дефекты воспитания! Личные катастрофы! Длительное унижение! Наконец, случайное попадание в точки, где интерференционная картина на какой-то миг сложилась в патогенную подсадку! Разве человек сам виноват? Не виноват! Нуждается в помощи! Но — опасен! Как заразный больной! Величайшее несчастье, безысходное горе — неспособность к высоким чувствам! Мы вправе предположить теперь, что это — болезнь! Мы хотим ее лечить!

Пустой, сияющий изнутри поезд остановился, и они вошли в мягко раздвинувшиеся двери.

— До этого еще далеко, признаюсь. Мы очень, очень многого не знаем...

— Вы совсем потеряли чувство меры, — повышая голос, в грохоте вновь помчавшегося поезда сказал Вербицкий. — Не вы лично, Эммануил Борисович, а вообще. Вот вы произнесли: святая святых. Но вы совершенно не понимаете, что эти слова значат. У вас не осталось святого. Свято лишь препарирование. Вы ничего не хотите знать, кроме него, а про такую высшую эмоцию, как совесть, и думать забыли!

— В вас говорит эгоизм, — мягко и почти неслышно ответил Вайсброд. — Исследование душ вы считаете своей монополией.

— Это в вас говорит эгоизм! — закричал Вербицкий. — Вы разрушили человека на лейкоциты и биотоки, и человек перестал существовать. Любое надругательство над ним оправданно, поскольку выглядит надругательством лишь над какими-то лейкоцитами. А человек един, нерасчленим и — каждый — бесконечно ценен! Искусственно привносить что-то средненормальное в индивидуальность есть преступление!

— Это не так.

— Это так!

— Грипп есть особенность гриппующего, Валерий Аркадьевич, но она мало чем увеличивает его творческую самобытность. Слепота тоже индивидуальная особенность слепого, но ни один слепой еще не отказался лишиться ее из боязни лишиться индивидуальности. Больных нужно лечить!

— Нужно! — закричал Вербицкий. — Опять это слово! Мы все забыли слово «важно», помним только «нужно»! Но от слова «важно» происходит слово «уважение». Уважать — значит считать для себя важным то, что другой человек думает, чувствует, делает, хочет, а от «нужно» даже нет слова, обозначающего отношение! «Унужать». Это же почти «унижать»! «Старик, ты мне нужен»! Значит, мне нужно от тебя то-то и то-то, а сам по себе катись ты ко всем чертям. Мы разучились уважать друг друга целиком, потому что нам друг от друга всегда лишь нужно что-то! Нужно строить БАМ — даешь! Построил — живи как знаешь. Нужно врезать по культу — даешь «Один день...». Не нужно — выметайся!

— Помилуйте! Все это так, это и есть синдром длительного унижения, и его тоже нужно лечить! Но сейчас-то речь о другом! Вот пример, хорошо. Простите, если я покажусь вам бестактным, но вы сами именно таким образом заострили вопрос. Возьмем эротический уровень. Бывают люди, у которых он не выражен или замкнут внутрь, и резонансов практически не возникает, — так, блеклый случайный зацеп. Бывает, что при богатой эмоциональной жизни, развернутой в мир, уровень интенсивен и широк, это неизбежно приводит к возникновению одного или даже нескольких чрезвычайно мощных и чрезвычайно устойчивых резонан-

сов. Таков Симагин, по-моему. Но вот иной пример — Алла... э-э... Судя по тому, что я слышал, — уровень редкостной интенсивности и концентрации. Лезвие — это термин, не метафора. Отсюда резонансы поразительной силы.

— Мечта поэта, — с неожиданным даже для себя раздражением съязвил Вербицкий.

— Мечта кого угодно, — одернул его Вайсброд. — Но — плывет! Откуда такая беда? Что сломано, когда? Пока мы не знаем. Но разве не хотели бы вы... не хотели бы... — Он замолчал, вдруг потерявшись. Аля с помертвевшим лицом смотрела на свое темное отражение, летящее вместе со стеклом поверх тьмы, прорываемой слепящими взмахами ламп. Потом очнулась.

— Следующая — моя, — сообщила она. — Валерик, неужели не проводишь даже?

— Да нет, Аль. У меня действительно завтра трудный день.

— Поздно ведь. Одной идти почти километр, — лукаво пожаловалась она. — Меня же ограбят. Или изнасилуют.

— Ну, этому ты будешь только рада, — улыбнулся Вербицкий. Ему было приятно, что она его просит, но идти он не хотел.

И еще ему было приятно, что разговор стал нормальным. То, о чем рассказывал Вайсброд, было слишком чудовищным. Слишком было больно. Каким-то дьявольским чутьем разгадав рану Вербицкого, он всяким словом нарочито и злорадно проворачивал торчащий в ней зазубренный нож.

Аля весело рассмеялась.

— И то! Что мне сделается. Пойду, — она тепло покосилась на Вайсброда, — поплаваю резонансом.

Профессор покраснел и вдруг, пошатываясь от того, что поезд тормозил, неловко поцеловал ей руку.

— Вы мужественная женщина, — выдавил он.

Вербицкий удивленно смотрел на них. Аля опять засмеялась и с изумительной грацией молниеносно поцеловала сморщенную стариковскую лапку, которую Вайсброд, опешив, не успел отдернуть. Двери с мягким шипением разъехались, и, продолжая улыбаться, Аля легко скользнула на перрон. Цокая по пустому, гулко шуршащему залу, она пошла прочь — не спеша, не оглядываясь, ослепительно женственная и безукоризненно элегантная.

Поезд помчался с грохотом — снова все смахнул тоннель.

— Что это на вас нашло, Эммануил Борисович? — спросил Вербицкий. Профессор отвернулся наконец от закрытой двери, за которой мчались черные стены и провода.

— Она же очень несчастна, — сказал он.

— Алка? — изумился Вербицкий, а потом захохотал. — Да ну вас! Она самый жизнерадостный человек, какого я знаю!

Вайсброд пожал плечами.

— Странно, — проговорил он. — Вы же писатель... Сейчас моя остановка.

Рассказать ему, скольких эта мужественная перекалечила, подумал Вербицкий. Скольких славных, одаренных мужиков перессорила, гоняясь то за одним, то за другим, а потом в катарсисе самоотдачи рассказывая жалобно каждому про всех. На годы перессорила, если не навечно... Этот малахольный ответит: что ж поделаешь, четная диссипация, плавающий резонанс... будем лечить... Пошел к черту.

— А мне до упора, — сказал Вербицкий.

ГЛАВА ВТОРАЯ

РАБОТА

1

Поутру Вербицкий хмуро сидел над заезженной своей «Эрикой», выдавливая на бумагу серый, сухой текст, шуршащий, как шелуха, и думал: скучно; и вспоминал, как Косачев некогда добродушно высмеивал его: «Вдохновение? А, ну как же, как же! В форточку влетела муза и, вцепившись в люстру, забренькала на арфе. Литератор Косачев, роняя шкафы, ринулся к машинке. Муза смолкла и хитро прищурилась. Литератор Косачев опустился на ковер и, уныло

подперев голову кулаком, замер в ожидании. Так, что ли, вы это представляли? Смешной вы мальчик».

К одиннадцати — это и была та якобы встреча, о которой он вскользь упомянул, открещиваясь от Али, — он помчался в Литфонд поклянчить бумаги; это было до тошноты унизительно, но в итоге удалось набить полный портфель, а Вербицкий любил хорошую белую бумагу, на ней даже писалось легче. Чуть-чуть.

То и дело перекидывая из руки в руку тяжеленный портфель, сильно смахивающий на готовый загореться от первой же искры цеппелин, Вербицкий махнул в издательство — там, как на оборонном заводе, все было индустриально, никакой литературщины: пропускной режим, милиционер у лестницы, осоловев, блюл литературно-публицистические секреты; приглушенный стрекот машинок за дверьми, страшно озабоченные, бегают взад-вперед люди с какими-то бланками, у окон курят, в кабинетах покрикивают... Атмосфера была донельзя деловой, поэтому ни черта не делалось: зав еще не смотрел, когда посмотрит — вопрос; позвоните в начале августа; нет, лучше в середине; к сентябрю. Есть ряд замечаний. На замечания-то Вербицкий плевал — он их любил, это только по молодости лет он горячился и ругался из-за каждого слова, однажды даже забрал почти принятую рукопись из-за явного, как он теперь понимал, пустяка — концовку требовали другую; на освободившийся листаж тут же юркнул закадыка Ляпишев. Теперь отработку замечаний Вербицкий считал едва ли не самой интересной и значимой частью своего дела: обыграть и себя, и всех в эти дьявольские шахматы, сказать не по-своему, но свое, как угодно, шиворот-навыворот, чтоб ни одна собака не раскусила, но — свое! Все чаще Вербицкому приходило в голову, что возникает некая новая эстетика, согласно которой левое ухо надлежит чесать непременно правой рукой, и всякая попытка называть вещи своими именами воспринимается как неумелость, торчит из страницы, как голая задница: и неприлично, и некрасиво, и смысла нет... Не исповедь, не проповедь — шарада, шизоидная текстологическая игра. Что ж, почешем правой.

Затем он перескочил в БДТ и, поставив на стол недавно узнакомленного администратора бутылку экспортного «Нистру», поболтал о том о сем. Не то чтобы он числил себя в театроманах, однако понимал, что надо, черт возьми, держать руку на пульсе, и ушел, отоварившись парной контрамаркой на весь следующий сезон — парной, хотя кто эту пару составит, он понятия не имел; ну да свято место пусто не бывает.

Последний путь вел в детский журнал, куда следовало доставить трехстраничную фитюльку, подписанную, чтоб не позориться, В. Сидорчук. Час Вербицкий ругался с болваном из правки, болван пытался сократить до двух страниц, а Вербицкий до хрипоты кричал, что это нарушит композицию и порвет художественную ткань, сам прекрасно понимая, что какая, к черту, ткань! У него отнимали не страницу — живые рубли выдирали из клюва, не то пять, не то семь, пара обедов; он боролся свирепо, как питекантроп на пороге своей пещеры, и победил, текст был урезан лишь на пять с половиной строк. Обычные потери в наступательном бою, Вербицкий и писал с запасом.

Выйдя на бульвар, он плюхнулся на скамейку, рядом обрушил портфель и стал дуть на слипшиеся полосатые пальцы. Болван допек. Когда пальцы раскрючились, Вербицкий достал бумажник, а из него извлек уже сильно потертую записку, навсегда вошедшую в его жизнь полтора года назад, когда он пытался пристроить свой довольно ранний и до сих пор на редкость любимый рассказ. Редактор, жилистый и жизнерадостный работяга, долго толковал ему о неоправданно усложненной форме, о ложной многозначительности, о необходимости писать понятно для широкого читателя, а в заключение предложил зайти послезавтра. Послезавтра его вообще не оказалось, и папку он оставил у секретарши, приложив к рукописи рассказа записку с окончательным отказом и пожеланием дальнейших творческих успехов, которая кончалась на редкость доброжелательно: «До новых встречь». С того дня Вербицкий не расставался с запиской и, когда очень уж допекало и начинало казаться, что правы — те, а сам он и впрямь бездарен и не понимает ничего ни в формах, ни в содержаниях, он доставал ее и целовал мягкий знак; то был ритуал самоочищения.

Это было все. Без рук, без ног он добрался до дому, но, стоило войти, затрезвонил телефон — Вербицкий подождал, стоя у порога и как бы еще не придя, но телефон был непреклонен, пришлось поднять трубку. Свет померк у Вербицкого перед глазами — Инна. У нее был удивительный дар всегда звонить и появляться на редкость не вовремя. В двадцатый раз занудным своим голосом — от волнения еще более занудным, нежели обычно, — она стала рассказывать ему, какую фатальную он совершил ошибку. Ты просто не понимаешь, насколько я тебе нужна. Ты поймешь, но будет поздно. Я тебе не нравлюсь, но ты должен себя преодолеть, и я тебе понравлюсь. Наступит момент, когда ты поймешь, что ты один. Ты сейчас не понимаешь, но ты поймешь, когда наступит момент. Так она могла часами. С Вербицкого текло; мысленно проклиная все на свете, свободной рукой он стаскивал прилипшие брюки и рубашку, чтобы, как только пытка закончится, прыгнуть в душ. Он дождался паузы в ее монологе, коротко и корректно ответил и положил трубку.

И лишь грузно горбясь в горячей струе, он понял, что ему мешало, что беспокоило с самого утра. Симагин. И его вивисекторская работа.

Вербицкий вылез из душа, распахнул окна в парную ленинградскую духоту и, остывая, некоторое время ходил по квартире голый. Эти чертовы технари не ведают, что творят, — старательно не ведают, прячась за «нужно». Они не отвечают за последствия, эти слабоумные гении, подобные уже не флюсам, как специалисты времен Козьмы Пруткова, но грыжам, которые наживает цивилизация, поднимая все выше непомерную тяжесть неуправляемого прогресса. Их совершенно не заботит, выдержит ли человечество искушение техникой, искушение ростом искусственных возможностей. Ведь кто хватается за искусственные возможности? В первую очередь тот, кто уже не может сам. Тот, кто не в силах создавать и потому стремится заставлять. «Унужать». А ведь то, что дает тебе кто-то другой, никогда не будет тебе дорого и важно; оно всего лишь нужно, пока его нет. И, значит, подлецы, которые вооружают нас средствами, лишают нас целей. Нас... Неужели я тоже когда-нибудь так устану, что начну «унужать»? Нет, нет! Я человек человечества и отвечаю за все, что творится на планете. Да, я отравлен, разбит, но права на борьбу у меня никто не отнял и отнять не сможет.

Эти мысли наполняли его силой. Казалось, вернулась молодость. Молодость? Это цель и цельность, это перспектива. Должна же быть главная цель, главный смысл. Вербицкий подошел к столу, где ютились битые литерами страницы бумаги. Взял одну из них. Неужели в этом мой смысл? Единственный, предельный результат меня и моей бездны, моего пламени? Он порывисто разодрал страницу пополам, потом еще пополам и чуть театральным жестом выпустил обрывки из рук. Обрывки, виляя, вразнобой спланировали на пол.

Как бомбардировщик, холодно и гордо пикирующий на цель, он с юга на север прошил город грохочущим тоннелем метро, и в груди его тоже клекотало и грохотало, словно и там неслись поезда, тянулись бесконечные эшелоны к фронту, где готовилось долгожданное наступление. Но пока он летел, на тусклом верху зарядил омерзительный злой дождь. Хмурясь, Вербицкий раскинул зонт — его в свое время привезла ему из ФРГ Инна — и брезгливо вышел в серый вертящийся кисель. Хорошо хоть ветер ослабел, подумал он и тут же поймал себя: мне остались только негативные радости — не оттого, что есть приятное, а оттого, что нет неприятного. Вербицкий шел медленно, и в какой-то момент осознал, что идет медленно, и попробовал идти быстро — не вязалась эта бесконечная поступь с той задачей, которую он взял, — но сдался. Почему я должен и тут заставлять себя? Даже когда никто не видит? И без того я все время заставляю себя. Спать и то заставляю — не потому ложусь, что хочу, а потому, что, если не лечь, завтра будет тупая башка. Как хочу, так и иду. Затея казалась теперь бессмысленной, он никому и никогда не сможет помочь, лучше бы сидел дома в эту собачью погоду, но ведь дома нужно либо писать, либо читать, что написали другие.

Липкий брызгливый дождь остудил и испачкал воспрянувшую было гордость, наверное, это было предзнаменование, природа не пускала его к Симагину — и снова накатила тоска.

Отчего я мучаюсь так?

О-о, талант! Эта сволочь пострашней всего! Он по определению обращен не к двум-трем-пятерым, с которыми нормальные люди, норовя урвать, что можно, у всех остальных, строят нормальный, жральный и жилплощадный быт, а ко всем! Ко всем остальным! Он так и норовит не дальних употреблять на пользу ближним, а наоборот, двух-трех ближних употреблять на пользу миллионам дальних. Брать из горла у ближних и униженно предлагать дальним, которым, как правило, ничего этого не надо, и самые лучшие из ближних раньше или позже кричат: вор! И начинаешь, чтобы не сосать кровь из тех, кто дорог, держать их на расстоянии, но они не понимают природы преграды, рвутся ближе, а потом, не прорвавшись, уходят, крикнув напоследок: эгоист! И понимаешь вдруг, что после десяти лет, когда тебя рвали на кусочки, кроили ломтями, каждый себе в индивидуальное пользование, давили виной, выкручивали твою совесть показной, словесной преданностью, рядом-то с тобой — никого, и когда ты будешь действительно нуждаться в помощи, когда подыхать будешь один в пустой квартире, глотка воды никто не принесет.

И все это ради того лишь, чтобы время от времени целовать мягкий знак.

И уже нет ни любви, ни таланта; только боль, боль, живешь, будто по привычке, как иногда едят в обеденный перерыв — раз уж время пришло, надо поесть... Раз уж перерыв между рождением и смертью пришел... Не трогайте меня, отойдите, ведь вам же на меня плевать, я знаю, почему же вы обижаетесь, когда мне плевать на вас, уйдите, Христа ради, — вот последнее желание, которое теплится едва-едва, но даже оно тщетно — не уходят. Сто лет здесь не бывал. Лужи, лужи... А если он переехал? Кажется, сюда. Да, здесь мы стояли, во-он там я жил, а вот здесь он, а здесь стояли после школы и болтали по часу, по два о космосе, о коммунизме, о контрольных, о Китае, об учителях, о машинах времени, о лазерах, о рутине и не могли разойтись. Боже, как разрослись деревья. Вербицкого душило отчаяние. По зонту барабанил дождь.

2

Его «надо посчитать» затянулось до двух. Ася легла, как обещала. Опять ткнулась в Тютчеву, но читать уже не смогла. Зная, что не уснет, погасила свет. Просто ждала. Просто вслушивалась, как губы ждут, как ждет грудь...

Дождалась.

Забылась, казалось, на минуту. Но, когда открыла глаза, надо было вставать. Упоительно тяжелая рука Симагина так и заснула на ней. Сейчас она была трогательной и беззащитной, как у ребенка. Ася осторожно выскользнула из-под нее, а потом, не удержавшись, лизнула ее ладонь. А потом ее локоть. Симагин не просыпался. Даже если поцеловать легонько в затылок. Даже если грудью погладить его острое плечо. Вот спун какой. До чего же я страстная, важничала она, готовя завтрак и радостно прислушиваясь, как Симагин и Антон вежливо пропускают друг друга умываться первым. Скорей бы отпуск, думала она, сквозь ранний солнечный жар несясь к метро. Играть с Антоном и соблазнять Симагина. И больше ничего. Всю дорогу она только об этом и мечтала. И на нее оборачивались, потому что счастливое лицо стояло как-то отдельно в замордованной толкучкой и гонкой каше.

Сейф слева. Несгораемый шкаф справа. Семь ящиков письменного стола. Скрепки, скоросшиватель, печати. Клей. Где-то тут я кинула бланк... Татка, ты бланки у меня не брала? Да погодите, молодой человек. Максим, вы спешите? Гляньте, пожалуйста, сшиватель, он опять заклинился. Девушка, ну не волнуйтесь так. Раз заполняем документы, значит, все уже в порядке. Приняли вас, приняли, вот, черным по белому — и печать. Всего хорошего, Виктор Владимирович... Ай! Нет, ничего, скрепкой укололась... Виктор Владимирович! Почему нам бланки выдают так скупо? Я трижды сегодня бегала в большую канцелярию, и опять все, абитура валом валит. А кого послать — все зашиваются, сезон. Вас? Три ха-ха. Замдекану шутки, а девушки ваши плачут. Паспорт, юноша, что вы стоите? Без паспорта не могу. Вдруг вы шпион — только что из Невы, акваланг под сфинксом закопали. Знаете, я тоже очень далеко живу. Вы завтра приходите еще разок, не горит ведь? Устали и не со-

бирались в город? Ну, что же делать, бывает. В «Баррикаде», между прочим, с завтрашнего дня новый итальянский фильм, все хвалят. Это рядом, через мост. Как раз можно совместить. Эй, очередь, без нервов! С кем хочу, с тем любезничаю. А станете мешать моей девичьей жизни — вообще уйду обедать, по времени сейчас перерыв. Ой, Томочка, лапочка, где ты такое оторвала? Это ж с ума сойти... У кого шить будешь? Ах, частная, из старых... Завидую. Не порекомендуешь при случае? Дай чмокну!! Отойдите от окна, дышать темно! Спасибо, Максик, теперь он не скоро поломается, правда? А почему здесь нет печати? Девушка, милая, ну это же не я придумала, поверьте. По мне, провались пропадом все печати и все подписи, они мне уже в печенках сидят. Надо, девушка, надо. Нет, нельзя — сначала я, потом они. Надо — сначала они, потом я. Иначе мир рухнет, понятно? Мор, неурожай, социализму конец. Виктор Владимирович, вы уже уходите? Ага... хорошо. Передам. А если не позвонят? Правильно, и пес с ними. Да-да, не беспокойтесь, все запомнила, как автоответчик. Ой, шоколад очень люблю. Девчонки любят марафет и жить не могут без конфет! Спасибо. Девушка, говорите яснее. О, простите. Что вы, я сама в детстве заикалась. Хотите верьте, хотите нет. А теперь смотрите, как барабаню. Плюйте на всех и не волнуйтесь — все как рукой снимет. Ну, где ваши бумажки? Так... так... все правильно. А теперь — шлеп! Вот как сразу стало красиво. Не хухры-мухры, а документ! Счастливо... Девки, налетай, соображим на троих. Замдекана от щедрот кинул, с орешками. А я знаю? Наверное, свежий. Как меня не любить, я хорошая. Не хорошенькая, а хорошая, язва ты, Татка! Кто бы говорил! Молодой человек, вы бы хоть побрились. Ах, это будет роскошная корсарская борода? Северный флот? Это замечательно. Такой тельник! Видно, в нем наплавали не одну тысячу ледовитых соленых миль. Конечно, флот надо укреплять. Моряков тоже надо укреплять, согласна. Нет, вечером занята. Таких, как вы, у меня легион. Вот так своим хрупким телом и выдерживаю, всех до единого, такая моя героическая работа, и хамить мне — глупо. Татка, дай сигаретку, не могу больше. Несть им числа... Ну, хоть «Опал»... Тьфу, опять курю, Симагин с Тошкой меня убьют. Как же, не унюхают! Томочка, ты бы шлепала потише, а? Ничего не соображаю под такой аккомпанемент. Пять экземпляров? На нашей раздрыге? Бедные твои пальчики... Нет, за июнь не получили еще, а что? Серьезно?! Ну, до чего перестройка дошла! Порезали сильно, не знаешь? Да, на английском читала, сравню... Татка, ты бланки у меня не брала?

Ф-фу!

В магазинах в этот час кошмар: кроме толпы и духоты, ничего. Все после работы усталые, взмыленные, остервенелые. Ни одного лица — руки и рожи. Асе, однако, повезло. Едва не подравшись с какой-то бронеподобной дамой, лезшей без очереди, она ухватила очень приличную сахарную косточку. Потом всякая мелочь. Симагин ее, конечно, и сам мог бы купить, да специально из-за этого гонять его не стоило — полхлеба, масло, кр-рэндель. Метро. Пожилой и с виду вполне благообразный мужчина, пользуясь давкой, полез Асе под юбку. Ладонь была мозолистая и мокрая от пота. И по морде не дать — упакованы все, как сигареты в пачке. А по пачке «КамАЗ» проехал. Деться некуда, рук не поднять, сумка пудовая. Ася извернулась-таки и подставила гниде сумку вместо себя. Вот странно, если вдуматься. Чтобы Симагин так потрогал — хоть здесь же, в метро, молча и в сторону глядя, — чего бы только не сделала. А тут как бы такая же мужская рука — пять пальцев, кожа. А тошнит. И злость — убить могла бы... Уже невдалеке от дома кишела, вываливаясь на мостовую с тротуара, очередь за чем-то. Ася приподнялась на цыпочки — не видно. Подпрыгнула и обомлела — на лотке роскошная медовая черешня, может, последняя в этом году. Не встать было нельзя. От лотка доносились вопли — кто-то выбирал, кто-то уличал, кто-то доказывал, что стоял не после, а перед...

Ф-фу!

Стервец Симагин, натурально, опять вечерял. Антон негуляный. Это в такую-то погоду! Учуяв черешню, немедленно стал напрыгивать на Асю. Да погоди, помою! Затем, плюясь косточками, героически вызвался помочь с ужином. Три ха-ха. Нахватался от Симагина. Тот тоже вчера рвался картошку чистить — чем это кончилось? Гулять! Только чтоб видно из окна и чтоб к восьми дома! Антону только того и

надо было — Вовка уж дважды свистел снизу и в негодовании трещал из автомата по окнам.

Так. Теперь в душ. Наконец. Симагин придет, а я не благоухаю — криминал! Пять лет строгого режима! С черешней с этой так задержалась... Скорей бы пришел. Ася вертелась и плясала в будоражащем горячем потоке. Любовно выглаживала себя мыльными скользкими ладонями. И сладко знала: здесь будут его ладони. И вот здесь. А я — чистая, гладкая, упругая. Гибкая. Совершенно молодая. Совершенно шальная. Вот здорово — я совсем шальная! Вытираясь, мимоходом кинула в рот сразу несколько замечательно сладких черешен. Не зря стояла. Подбежала к окну и глянула зорко — Антон честно резвился, как сказал бы Симагин, в зоне визуального контакта. Тут тоже порядок. Одеваться не хочу, я так лучше. Набросила халат. Мальчишка. Гений. Приходи скорее, а? Хоть бы ты поскорее пришел. Хоть бы успеть сделать вкусный ужин. Хоть бы тебе было со мной светло.

3

Трехэтажное детище отечественной биоспектралистики громоздилось до потолка. Первый этаж занимали великолепные компьютеры седьмого поколения — любой из них сам по себе мог быть предметом гордости. Выше, напоминая богоподобные конструкции органа, возносились комплексы анализаторов, перекрестные блоки спектрографов — трехмерное кружево блинкетных цепей, каждый кристалл которых, запросто называемый здесь «блином», выращивался специально, в течение недель, с заранее заданными уникальными параметрами, и был неповторим и незаменим. А сияющие рефлекторные кольца! А звонкие винтовые лестницы, уходящие к куполам энергосистемы! Гимн! Честное слово, гимн, застывший в воздухе! Кельнский собор!

— Готов! — доложил со второго этажа Володя Коростовец.

— Тоже! — звонко откликнулась Верочка с самого верха.

— Тогда врубаю, — ответил Симагин.

Врубить было непросто. Симагин в последний раз пробежал глазами по млечным путям индикаторов, бескрайним шахматным полям сенсоров, джунглям тумблеров.

— Кассеты?

— На исходящих.

— Вера?

— Генеральная готовность.

— Вводи, — велел Симагин и перекинул несколько тумблеров.

— Пошла кассета, — ответила Верочка. Зажегся рой индикаторов, и большой овальный экран внезапно пронзила ровная, как бритва, зеленая черта.

— Форсирую, — сообщил Симагин, чуть наклоняясь. Его руки замерли, пальцы растопырились и собрались вновь, примериваясь, и упали на пульт. Едва слышно зашлепали переключатели в недрах машины.

— Отсчет семь и двадцать четыре, — сказал Володя после короткой паузы.

— Блеск, — пробормотал Симагин сквозь зубы. — Матереем. Еще полгода назад как мучились с синхронизацией... Наложение?

— Полное, — восхищенно отозвалась Верочка.

— Блины?

— Разброс нормативный, как на параде...

— Внимание! Раскрываю.

Беззвучно разинулись и тут же снова сомкнулись ирисовые диафрагмы люков. Снова разинулись и снова сомкнулись в убыстряющемся темпе. Скоро они пропали, как пропадает в собственном мерцании пропеллер самолета; по залу лаборатории, дыша сухим шелестом, повеял легкий ветерок.

— Помехи?

— Ноль шумов, — отозвался Вадим Кашинский сбоку.

— Объединение.

Зеленая черта на овальном экране, не теряя безупречной прямизны, поднялась на два деления вверх.

— Есть рабочий режим, — сказал Симагин и встал. — Володя, от греха подальше, последите, пожалуйста, минут пять...

— Угу.

По звонким металлическим ступеням уже спускалась, размахивая полами белоснежного халата, надетого на что-то наимоднейшее и наимолодежнейшее, Верочка — маленькая, удивительно хорошенькая, чуть кокетливая и веселая,

как всегда, — и, как всегда, глядя на нее, Симагин невольно заулыбался.

— Веронька, — спросил он, — проф сегодня собирался быть?

— Он звонил, Андрей Андреевич, что приедет ко второй серии.

Симагин покивал. Эммануил Борисович последнее время стал всерьез прихварывать...

— Из биоцентра не звонили?

— Звонили еще в пятницу, но вы так нервничали с перегревом того блина, что я не стала беспокоить. Все равно выходные. Я все записала в журнале. — Она стояла в позе пай-девочки, и видно было: сейчас начнет отпрашиваться в читальный зал, чтобы посидеть в мороженице с Лопуховым из техотдела.

Вадик Кашинский, смеясь, поспешно двигался к ним.

— Опять любезничает с талантами! — громко сказал он. — Вера Автандиловна, я старый тертый ловелас и скажу без обиняков: это безудержный флирт!

Верочка отчаянно смутилась, покраснела даже.

— Да, — храбро сказала она.

— Лучше бы со мной, — трагически вздохнул Вадик. — Или аспирантке Карамышева с такой мелочью флиртовать зазорно?

— Неинтересно, — сказала Верочка. — Ты не душевный.

И, к удивлению Симагина, побежала по звонкой лесенке обратно.

— Достаются же кому-то такие девчата, — со вздохом сказал Вадик, провожая ее масляными глазами. — Я уж и так, и этак...

— Так Лопух же, — удивился Симагин.

— А что — Лопух? Если и было что, так давно кончилось.

— Да перестаньте, будет вам! Как это — кончилось...

Симагин волновался. В некотором роде сегодня генеральная баталия. Он подошел к результирующему блоку и бесцельно потрогал мертвые пока барабаны. Сюда через два-три часа пойдут спектрограммы раковых моделей, построенные совместно с онкологическим центром. Вайсброд не мелочился, он взял сразу рак — хотя на него смотрели как

на психа, в министерстве не верили долго, что Машина может быть не только диагностом. А с чего начиналось? Смешно и стыдно вспоминать, с чего начиналось, когда на Вайсброда показывали пальцем и шикали: «Мистик!» — и достоверным шепотом сообщали, что он вот-вот попросится в Израиль... а он был один-одинешенек, и как его не зашикали вовсе, просто невозможно понять. И на меня показывали пальцами, когда я писал у него диссер «Подавление патоинформативных участков биологических спектров как метод лечения органических расстройств»... Даже защищаться было негде, и не медицина, и не биофизика, а так, чертовня какая-то из двадцать первого века... Мистика. В этот момент ноздри Симагина уловили запах дыма. Сердце упало, но тут же Симагин понял.

— Володя, — сказал он спокойно, — пожалуйста, не курите совсем уж у пульта. Меня же чуть кондрат не хватил.

— Простите, — раздался сверху покаянный голос. — А с контроля уже можно уйти?

— Да, пожалуй, — задумчиво сказал Симагин, и сейчас же Верочка, перегнувшись через перильца площадки управления третьего этажа, звонко крикнула с головокружительной высоты:

— Я послежу, Андрей Андреевич, хотите?

Симагин освобождающе махнул рукой. И, глядя на спускающегося долговязого парня в стираном-перестираном халате, произнес:

— Володя, а ведь года через два, может, даже раньше, мы эту вашу вонючую привычку сможем снять на корню. Любую наркоманию, на любой стадии, а?

Володя, держа в желтых зубах «Беломорину», уставился на мертвые пока барабаны.

— И Митьку моего вылечить... — пробормотал он.

Симагин положил руку ему на плечо и мягко сдавил.

— Да, — сказал он. — Никаких болезней обмена. На корню.

К одиннадцати стянулись все и стало шумно. Гоняли безропотную Верочку за кофе и бутербродами — в буфете ее тоже обожали и давали без ограничений, а зачастую и без очереди. Представительный, сухопарый Карамышев как во-

шел, так уселся за свой стол у окна затылком к суете и прямо-таки утоп в вычислениях — только бумажки отлетали. Трясущийся от бешенства Аркадьев крутил на Симагине пуговицы халата: «Опять перерыты все бумаги у меня на столе! Кто?!» Вадим смеялся рядом: «ЦРУ, конечно!» С руганью прошла приемка запасного комплекта микропроцессоров. Считали, сколько часов и минут осталось до отпуска. Рассказывали байки и сплетни, хохотали возбужденно. А где-то в невообразимо сложных недрах Машины раковый пичок — чуть раздвоенный, характерный, как жало, — неспешно разглаживался под воздействием подсадочного излучения. Разглаживался. Иначе быть не могло. Через полчаса спектрограф покажет это, выдав на барабаны сотни метров тугой металлизированной ленты. Симагин волновался.

Но это поверхностное волнение, как плеск листьев на ветру, не могло даже раскачать ветвей — откуда эта глубинная уверенность в неважности, случайности плохого и в грандиозной неизбежности хорошего, он сам вряд ли мог бы толком объяснить.

— ...Вы еще остаетесь? — раздался позади несмелый голосок. Симагин резко обернулся. Он думал, все разошлись, и в мертвой тишине звук ударил.

— Да.

— Принести вам кофе?

— Да ну что вы... бегите уж.

— Вы не огорчайтесь так, Андрей Андреевич.

— Я не огорчаюсь. Я злюсь, Вера. — Он покрутил пальцем у своего виска. — Чего-то мы опять не поняли.

Она стояла.

— Идите-идите, — улыбнулся Симагин. — Спасибо.

Она послушалась. В огромном безлюдном зале она выглядела особенно маленькой. Казалось, она никогда не пересечет лаборатории. Потом массивная дверь беззвучно открылась и закрылась; гулкий звук докатился с ощутимым опозданием и, рокоча, увяз наверху, в блинкетной вязи.

Первая серия, в общем, оказалась обнадеживающей. Кричали «ура», поздравляли пришедшего Вайсброда, трунили над недоверчивым медиком из онкологического центра. Медик смущался, огрызался — озирая Машину, спрашивал

ядовито, сколько же будет стоить такое лечение. Ему, хохоча, втолковывали, что дорого строить подсадки, а лечение — не дороже УВЧ. «Пленки-то мы вам будем присылать. Тиражировать, как кино. На все случаи жизни. А у вас просто картотека и излучатель в каждой поликлинике. Заряжай кассету и лечи». Когда восторги достигли апогея, Машина выдала вторую серию, и она оказалась совершенно неудачной. Медик тут же уехал, Вайсброд принялся глотать таблетки. Еще одна серия была отработана к концу дня. Тоже пшик.

Следовало подумать. Ритм трансформаций в первой серии был сложным, неравномерным. На подсадку загадочно реагировали участки, совершенно, как до сих пор считалось, с онкоскопией не связанные, — в двадцати семи километрах первой спектрограммы компьютеры выявили более сотни таких точек. В других сериях спектр вообще не реагировал, словно все проваливалось мимо, без малейшего зацепа. Симагин, подогнув одну ногу под себя, присел к столу.

Когда он очнулся, то сразу бросился вон. Ася, наверное, клянет его последними словами — оттого и работа не клеится. Привычно все опечатал, на вахту позвонил, чтобы поставили на сигнал — вахта отвечала сухо, не любила она Симагина за его вечера, — и скатился на улицу.

Вот дела, дождик. Душный ветер наволок тучи — мокрое серое месиво заполнило небо, из него сыпал косой и частый душный ливень. Симагин поежился и пошел.

Асфальт холодно кипел. Развешивая по ветру туманные клубы раздробленных капель, проносились мокрые машины. Спешили, пряча лицо и руки, мокрые люди. И Симагин спешил — нелепо открытый дождю и оттого какой-то неуместно солнечный, не разбирая дороги шагал по плещущимся лужам между плащами и зонтами. Не промокла ли Ася, думал он, до дождя успела ли домой?.. Прислонился плечом к серебристой трубе, на которой была вывешена остановка, и поставил тяжелый портфель. Видно, автобус только что ушел. Автобус был вековечным врагом Симагина, год за годом уходил из-под носа. Даже если Ася успела до дождя и сразу выпустила Тошку, все равно тому совсем не осталось времени на выгулеж — дождик хлынул... А когда же он хлынул-то? Теплый, правда... За шиворот текло ручьем,

по груди тоже. Волосы мокрой паклей залепили лоб и уши. Вокруг скапливались когтистые зонты. Все-таки я свинья, думал Симагин, зачем не ушел вместе со всеми... Был бы дома пораньше. И главное — зря. Ни черта не понять. Что это за точки, которые реагируют на подсадку сами по себе, мы же их не трогали — значит, между ними и онкорегистром существует какая-то связь... Помаргивая, подкатил «Икарус», народ прыгнул от него, спасаясь от выброшенной на тротуар мутной воды, а потом, наоборот, к нему. Симагин прыгнул тоже, его сдавили, кто-то равномерно, точно колесный пароход, бил его локтем в бок, пропихиваясь вперед, все друг другу мешали и судорожно маневрировали хлопающими, сыплющими брызгами опасными зонтами. Уже у дверей Симагин вспомнил, что при нем был портфель, и, ахнув, стал пропихиваться назад. Его крыли на чем свет стоит и били, не стесняясь. Симагин извинялся. Портфель был на месте. Симагин обнял его, прижал к себе — с портфеля текло, и тут просевший автобус ядовито зашипел и стартовал, до колен окатив Симагина бурой волной. Симагин покорно вернулся к трубе. Он ругал себя последними словами. Остолоп. Простофиля. Дубина стоеросовая. Разве можно такому жить на свете. Он вспомнил, как, всем затрудняя жизнь, толкался противоходом, и его затрясло от стыда. Ну ведь всех же утром солнце жарило, вспомнил он, почему же все догадались взять зонтики, а я — нет? Настроение испортилось окончательно. Как меня Ася терпит? Эта мысль иногда приходила ему в голову, если он долго не видел Асю. Надо скорей ее увидеть. Да, я-то ей обрадуюсь, а она? Симагин побежал к цветочному ларьку. В ларьке еще возился кто-то, Симагин стал клянчить и канючить. Это было до тошноты унизительно, власть внутри ларька не стеснялась показать, что она власть, она, и никто другой, но в конце концов сжалилась, открыла окошко и сунула тройничок обтруханных, последних гвоздичин. Что они обтруханные — это видел даже Симагин, а значит, дело было с ними совсем худо, но не мог он сейчас вернуться домой без цветов.

Нет, думал он, рассеянно глядя, как заливаемый потоками дождя битком набитый автобус отваливает от остановки. Надо обязательно настоять, чтобы после онкоскопии или

даже в параллель с нею нам утвердили в плане эндокриноскопию. Если кто и поможет Володиному сыну, так это только мы. Он прислонился к трубе, поставил портфель на асфальт и, подышав на измочаленные лепесточки гвоздик, стал закрывать их собой от дождя и ветра.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

ЛЮБОВЬ

1

Куда ж они оба подевались, раздраженно думала Ася. Ну, Тошка, наверное, сбоку дома гоняет по лужам, Колчака марсианского ловит. Ладно, дождик теплый. Но Симагин-то где, повелитель-то, горе луковое? Она оглянулась на часы. Шло к девяти. Ничего себе. Ходить одной в невесомом балахончике на голое тело было зябко и глупо. Ну, он обнаглел. Сегодня скажу, решила она.

Вспомнилась предродовая. Стонущей соседке принесли записку от мужа: «Как дела? Если можешь, черкни». Соседка закричала бессильно и злобно: «Чурбан, до писем мне?!» Ей стали сочувствовать — мужики, мол, что понимают, только, мол, о себе... Ася, чувствуя кровь на закушенной губе, молчала и жгуче завидовала. И записке. И всему. И всем. Зависть пропала, лишь когда все неважное пропало. Когда, раздирая мир, нечто непредставимое, с ошеломительной жестокостью выворачивая ее наизнанку, устремилось наружу. И дикий страх, намертво слитый с дикой болью: я умру. Сейчас умру!!! И Антошка. Незнакомый еще. Лысый, мокрый. Красный...

Кто-то вышел из-за угла, и сердце ударило сильней. Но это оказался снова не Симагин. Это никак не мог быть Симагин — элегантный, да еще под зонтом. Ася вздохнула. Ей очень хотелось, чтобы Симагин научился быть элегантным. Хотя бы иногда. Ну и что было бы, вдруг подумала она. И ей представилось, как Симагин вот сейчас вымахнет из-за угла. Стремительный, немножко нескладный и в то же время как бы парящий в светлом летнем ливне. Вдруг ее словно током

ударило. В глаза свирепым клеймом упал опрокинутый на скользкий мокрый асфальт Симагин. Вокруг — кровь, на обочине — сбивший грузовик, зеваки, а она, жена, ничего не знает! И думает бог весть о чем! Симагин! Шорох дождя из умиротворенного сразу стал зловещим. Надо куда-то бежать! Звонить, узнать... Хлестнул дверной «Гонг». Сердце облегченно обмерло, и Ася, еще не веря счастью, полетела из кухни. Как же это я проглядела? Ну, я ему, хищно клялась она, а длинные полы освобожденно, крылато бились далеко позади. Ох, я ему — а кожа уже ждала взгляда, который, как полуденная волна, даже не заметив ткани, окатит, огладит упруго и сверкающе каждую выпуклость тела, и в нем снова можно будет плыть. Всегда. Ласкаясь, бранясь, молча... Она распахнула дверь и кинулась в волну...

И в ужасе выскочила, ошпаренная невыносимым морозом, колко чувствуя беззащитность и тщетность наготы на снегу. Это был тот, элегантный. Вежливо приподнял шляпу:

— Добрый вечер. Простите, я не ошибся? Андрей Андреевич Симагин здесь живет?

— Да, — через силу ответила Ася, пытаясь съежиться. Голая! Голая!

— Я могу его видеть? — глядя ей только в лицо, с безупречно вежливой интонацией осведомился незнакомец.

— Пройдите, — ответила Ася, уже почти не соображая, движимая одним порывом: убежать немедленно! — Вам придется подождать. Пройдите. Одну минуту...

Она отпрянула в комнату, захлопнула дверь и придавила ее обеими руками. Прыгнула к шкафу, раскрыла и спряталась за дверцы. Словно дверь комнаты могла стать прозрачной. С ненавистью содрала халат. При одном виде которого глазенки Симагина становились как у котенка, стащившего сосиску. Которым она так часто дразнила Симагина на манер корриды, хохоча и подзадоривая: «Торо!» Запаковалась наглухо. В самые бесформенные, только для уборок, джинсы. В свитер с высоким воротником. Поверх, успокаиваясь, дотушивая в себе желание помыться сызнова, симагинскую старую рубашку застегнула на все пуговицы. Скомкала халат, швырнула в шкаф и еще прикрыла чем-то. Чтобы, если этот попадет в комнату и если почему-либо откроется шкаф, не мог заметить. Захлопнула дверцы. И, случайно глянув в окно, увидела Симагина.

Симагин стоял у дома напротив. Под дождем. Из какого-то букета целился в небо, упираясь бутонами в плечо. Антон и компания завороженно следили. Под дождем. Симагин азартно ударил по невидимой гашетке раскрытой пятерней. Могучая отдача кинула его плечо назад. Дети с восторгом запрыгали. У Аси обмякли ноги, она нетвердо шагнула к креслу и села. На глаза навернулись едкие, злые слезы. Веселится. В игрушки играет. А я жратву ему грей пятнадцать раз!

В тот момент, когда женщина отпрянула и грудь ее упруго и открыто, словно у бегущей навстречу влюбленной, заколебалась под прозрачным шифоном, горло Вербицкого сжалось от неожиданно возникшего и, казалось, уже давно забытого и давным-давно недоступного чувства желания. Но женщина исчезла мгновенно, вспыхнув перед глазами на миг; с шаркающим звуком дверь глотнула, едва не прикусив отставший в полете язык черных волос. Бедняга, поспешно догадался Вербицкий, успокаивая себя; родила по глупости, ошалела от хлопот и пошла за первого, кто подвернулся; теперь стирает симагинские трусы, штопает носки, отбирает зарплату и тупо, замужне копит на новую мебель. Вербицкий знал такие семьи; беспросветной тоской, непролазной и уже неосознаваемой скукой, затхлостью укатанной погибели был пропитан самый воздух квартир, где они обитали, — Вербицкий избегал заходить туда и дышать, это выбивало из колеи, все начинало казаться бессмысленным: и честность, и настойчивость, и белая бумага. Ну, на большее Андрюшка вряд ли мог рассчитывать, подумал Вербицкий, вероятно, он доволен... Дверь не открывалась; та самая дверь, в ту самую комнату, где мы играли, придумывали, спорили, где я читал ему вслух свои опусы... боже!

Не дожидаясь приглашения, он снял плащ, аккуратно стряхнул его у двери и, повесив на вешалку, прошел на кухню, где раскрыл зонт и по-хозяйски поставил его сушиться. Потом достал сигареты, но, поискав глазами, с обидой понял, что пепельницы не предусмотрено. Стерильная идиллия. Стериллия. Ничего, чистенько — как во всех мещан-

ских гнездышках. На плите булькает. Куда хозяюшка-то делась? Ему хотелось скорее увидеть ее снова и убедиться в правильности того, что понял. За спиной наконец раздались шаги, он обернулся и едва сумел сохранить серьезный вид, как бы не заметив ее нелепого преображения, и подумал только: «Она что, с ума сошла?»

— Простите, я вас оставила ненадолго, — сказала Ася. Голос был ледяной и очень вежливый. — Вы правильно поступили, что разделись и пришли сюда.

Она подняла крышку с кастрюли. Пар жестоко окатил руку. В сердцах и это стерпела. Все выкипает. Ну, и сколько еще ждать? Достала из холодильника сметану, принялась мыть огурцы, редиску. Что за хмырь? Холеный... Впрочем, ощущение безупречной элегантности, возникшее при виде издалека, улетучилось. Холеность была одутловатая. Несмотря на ухоженность, незнакомец имел сильно употребленный вид. Ну, чего молчишь. Расселся и молчит. Нож ее легонько и шустро клацал об изрезанную деревянную дощечку.

— У вас пепельницы не найдется? — спросил Вербицкий.

— Нет, — ответила женщина с непонятным ожесточением. — Здесь не курят.

— Понятно, — сказал Вербицкий. — Я, извините, не успел представиться. Мы с Андреем старые друзья и черт знает сколько не виделись. А тут оказался рядом, дай, думаю, загляну. Вербицкий меня зовут, Валерий. Андрей не рассказывал?

— Ася, — ответила женщина, безжалостно четвертуя огурец, и Вербицкий подумал с привычной тоской: разумеется, таких писателей двенадцать на дюжину, откуда ей знать...

Только этого не хватало, думала Ася. Легок на помине. Лучше бы Тютчева пришла. Хотя нет, женщин Симагину пока хватит, совсем зазнается. Лучше бы пришел Екклесиаст.

А ведь где-то должен еще быть и ребенок, вспомнил Вербицкий, ну, вероятно, гуляет — и пусть гуляет. Хорошо, однако, Андрюшке иметь детей. Можно, пожалуй, позволить себе иметь и чужих детей, если дома только спишь, а весь день — на работе; но вот что, скажите на милость, делать тому, у кого работа — дома и только дома? Где, интересно, работает эта женщина? Вербицкий попытался вспомнить, как она выглядела в первый миг, но не смог, и только горло вдруг снова сжалось, и под ложечкой екнуло, словно опять он, восьмиклассник, упившийся портвейном на патлатой вечеринке, в первый раз прижал свой локоть к горячему бедру двадцатилетней соседки, старшей сестры одноклассника Бори, виновника торжества, — и в первый раз в своей мальчишеской жизни почувствовал, как женское бедро откликается мужскому локтю. Зачем я это вспомнил, попытался спохватиться Вербицкий, я же не хочу, не люблю, ненавижу это вспоминать. Поздно — мысли покатились; Катя ее звали, точно. Было так тревожно, он болтал не с ней, и она не с ним, но они ощущали друг друга, они загадочно, даже не встречаясь взглядами, взаимодействовали и уже перемешивались, а потом в комнате стали гасить лампы и зажигать свечи, начинались танцы — танцы делятся на скаканцы и обжиманцы, шутил Боря... И, покуда гремели скаканцы, Вербицкий скакал нещадно, так что глаза лезли на лоб и пот катился градом; позже музыка стала медленной, медоточивой, и в первый раз в его мальчишеские руки небрежно скользнуло нечто и не дрожащее от робости, и не пацански пресное, но — пьяняще женственное... Она вела его, а он лишь одеревенело храбрился, непонимающе шевелил руками, но она, играя им и веселясь, повела его дальше, еще дальше, совсем далеко, и, оставшись с ним вдвоем, похохатывала, когда он — злой, самолюбивый, уже ненавидящий, путался в ее застежках, а потом не умел войти, и снисходительно бормотала: «Да ниже... вот мальчишка неловкий...» Ловкость. Это он запомнил навсегда. Умение, сноровка, навык. Не важно, что чувствуешь — важно, как делаешь. Он пришел домой в два ночи, он совсем не чувствовал себя победителем, в пути его вырвало; он долго вытирал лицо, ладони и забрызганные выходные брюки, заботливо выглаженные мамой пять часов назад, только что выпавшим снегом — брал чистое и отбрасывал грязным, и снова брал и отбрасывал, и снова... И навсегда погасла Настя с параллельной колонки, и глупым, тошнотворным стало то, что вызывало трепет. Она долго не могла понять перемены, даже звонила

сама и, запинаясь, как запинался полгода он, просила что-то объяснить по литературе, позвала в кино, сама, и он пошел — он хотел воскресить трепет, без трепета было пусто; в темном зале взял Настю за руку, совсем не стесняясь, со странным и пустым хозяйским чувством, но ее неумелые пальцы по робости ли, по лености были как мертвые. Трепет не вернулся. Он выпустил руку и лишь усмехнулся злорадно, заметив, что рука не ушла — осталась, неудобно свисая с подлокотника, готовая нырнуть в ладонь Вербицкого, если Вербицкий снова захочет подержаться. С какой-то жалостью, но наспех проводив прежнюю сильфиду, он поволокся туда. На звонки не ответили, но теплилось окно, из форточки доносилась медоточивая музыка — Вербицкий, разодрав пальцы о железо, по водосточной трубе вскарабкался, и, едва не разревевшись, закусив губу, завис напротив щели в занавесках, и висел, пока там не завершилось...

А потом холодно и свысока любовался пунцовым Андрюшкиным лицом, небрежно объяснял про эрогенные зоны, про безопасные дни и с чьих-то слов доказывал, что поначалу отвращение для мужчины естественно и физиологично...

Хмырь глядел оценивающе. Стараясь двигаться некрасиво, Ася залила салат сметаной. Посолила. Быть привлекательной для хмыря — Симагина предавать. А он? Она опять вспомнила, и опять на миг стало темно. Наставить ему рога, остервенело подумала она. Пока он в игрушки играет. Она представила себя в ресторане. Дорогой коньяк под носом. Сигаретка. Нога на ногу. Темное облегающее платье, в разрезе недоступно мерцает бедро. На эстраде полупьяные сморчки с голубыми лицами. Виляют сверкающими робами и узкими грифами электрогитар. Неразборчиво орут в усилители. То про честный труд, то про первую любовь. Иногда про демократизацию. Ослепительные улыбки, ударяющиеся друг о друга, как бильярдные шары. Случайные касания. Кафка — Виан — жизнь тяжела — я провожу — не хотите ли подняться, выпить чаю. Неожиданно Асе стало смешно. Фу, гадость какая, искренне подумала она. Симагин. Ну когда же ты придешь. Надо как-нибудь поносить платье с разрезом.

— Андрей всегда так задерживается? — спросил Вербицкий.

— Очень часто, — ответила женщина, не оборачиваясь.

Ну, разумеется, Симагин нравится шефу: приходит раньше всех, уходит позже всех, с восторгом делает черновую работу — это ж не голова золотая, ребята, это, простите, золотое седалище; и всегда Симагин был таким, и всегда, видно, будет, бедняга. Тут он заметил сборник со своей повестью.

Он сразу напрягся. Интересно, кто читал, подумал он и нервно спросил шутливым тоном:

— Чья это настольная книга?

Женщина обернулась, и Вербицкому показалось, что углы рта ее презрительно дрогнули.

— Ничья, — ответила она. — Андрей взял почитать, да так получилось, что я успела, а сам он не успел. Но рвется. *Он все-таки помнит, что дружил с автором.*

— Вот как, — произнес Вербицкий. — Ну, и каково мнение?

Она помедлила и призналась:

— Не очень.

— Вот как, — повторил он и облизнул пересохшие губы.

Он знал, что его проза не приводит в восторг тупарей, но от неожиданности растерялся все же, потому что ведь Симагину должно было нравиться!

— Ну, там есть, конечно, эпизоды, которые дописывались с целью... как это было в редзаключении... прояснить позицию автора. Вы же понимаете, иначе повесть вообще не вышла бы.

— Ну и не надо, — просто ответила женщина.

Он вздрогнул, как от пощечины. Пол мещанского гнездышка зыбко *поехал под ногами. Эта женщина — не простодушная маленькая дурочка, она злобная дура;* а ты беззащитен, потому что полагаешь собеседника не глупее и не хуже себя. Сколько раз повторять, заорал себе Вербицкий, думай о них хуже! Еще хуже! Совсем плохо — как они о тебе! Он перевел дыхание.

— Это весьма субъективно.

— Хорошо. — Женщина опять нервно заглянула в окно, а потом решительно шагнула к плите и выключила газ под бубнящей кастрюлей. — Тут я не судья. В чем ведущий лирический конфликт? Он и она. У него опасное дело. Он обдумывает, как лучше сделать. Она в угаре бабьей жертвенности бросается и делает его дело благодаря, как затем выясняется, редчайшему стечению обстоятельств, на которое он рассчитывать не мог. Он унижен. Он считает, что все сочтут его трусом, и она — в первую очередь. Разрыв. Занавес. Ваш герой ведет себя, как торгаш. Честный торгаш, я согласна, — но трусливый и мелкий. Ему выдали аванс, а он не уверен, сможет ли погасить долг эквивалентным изъявлением чуйств. И позорно драпает, прикрывая высокими словами свою ущербность — чтобы не платить по счету. Любящую подругу он воспринимает как кредитора. Ведь жуть!

От этой уродливой бабы, одетой, как пугало, веяло холодной, жестокой силой — над Вербицким будто нависла гусеница танка.

— Это все очень спорно, — беспомощно пролепетал он.

— Это спорно только для тех, — ответила она, — кто никогда не любил. И не был любим. Женщина всегда вкладывает больше в мужчину. А мужчина — в мир. И уж через это — и в женщину, и в ее детей. Чтобы не просто им было лучше, а мир их стал лучше.

Кто не был любим. Она все знает? Иметь хотели, да. Но не любил никто. Вторая пощечина была зверской. Так нельзя! Эта женщина слишком жестока. Если понимаешь все, нельзя быть столь жестокой, мудрость добра! Что же это? Она — жена Андрюшки, который всегда смотрел на меня снизу? Да нет, она не любит его, этого муравья, вечного мальчика, нет, она говорит о том, от кого сын, — только о нем! Конечно, ей нужен был отдых, тихая заводь на пару лет, и она нашла эту заводь, женив на себе Андрюшку, а теперь честно выполняет взятые обязанности, сама прекрасно понимая, что это — ненадолго...

Резко говорю. Может, ошибаюсь? Помрачнел. А зачем пришел? Опять накатило гнойное ощущение его взгляда. Нет, не ошибаюсь. Но он симагинский друг ведь.

— Я, наверное, резко говорю, — произнесла Ася. — Но, наверное, знаете почему? Обидно. У Андрея остались многие ваши школьные рукописи, я их читала, простите. Они очень честные, понимаете? Очень чистые. Я говорила Андрею — такое понимание, такая боль за людей, даже странно для мальчика. А тут этакое...

Она, видно, думала, что его успокоила, — она его добила. Вербицкий сидел неподвижно, с приклеенной снисходительной улыбкой, ему было страшно, потому что женщина снова оказалась права — как всегда правы враги, как всегда правы накатывающиеся гусеницы танка, и он уже ненавидел ее. Она упивалась его беззащитностью и, сладострастно пользуясь тем, что он рискнул обнажить душу в мире панцирных существ, изощренно точно расстреливала эту душу, хохоча. Понятно, что первый ее сбежал, только беспомощный Андрей, которому не с чем сравнивать, способен выносить такое в собственном доме, да и то — не случайно же он чуть ли не живет в институте; а ведь еще ребенок, который наверняка умен и беспощаден, матери под стать. Ее бесит обреченность жить с постылым ничтожеством, выполнять хотя бы минимальные обязанности перед тем, кто ее приютил. Бедный Андрей! Теперь я просто обязан его дождаться, обязан помочь ему — он должен порвать с нею, еще до того, как она бросит его, ведь она его растопчет. Нет, она не права, эта женщина, — как все враги.

Ну вот. Обиделся. Ася не любила обижать. Теперь стало казаться, она и впрямь наговорила лишнего. Не такая плохая повесть, публикуют и хуже. Она смутилась. Как улыбается-то жалко, подумала она с раскаянием.

— Ну, не дуйтесь, пожалуйста, — сказала она. — Вы ярко пишете, только где-то потеряли ощущение настоящего... по-моему. Стали реконструировать от ума и перемудрили, что ли...

— Вы судите чисто по-женски, Ася, — ответил Вербицкий с достоинством и дружелюбно. Ася облегченно вздохнула. Нет, не обиделся. Просто удивился, наверное. Я хороша, конечно. Будто с цепи сорвалась. Повеселевшим голосом она ответила:

— Так я вообще-то женщина и есть.

Вербицкий заметил ее смущение и усмехнулся про себя: видимо, она поняла, что он ее раскусил, почувствовала, что он сильнее, — и потерялась. Он молчал и снисходительно улыбался, глядя прямо ей в лицо, и заметно было, как она смущается все больше и больше; он уже знал, она сейчас опустит глаза и постарается любой ценой перевести разговор на другую тему, потому что не победила.

О чем он думает? Расселся и думает. А я развлекай. Да еще психанула, как на грех. Психанешь тут! Полдесятого, Антон мокрый где-то шастает, а затемпературит — кому с ним сидеть? Не скажу сегодня. Она опять вспомнила — томительный горячий шар возник и мягко взорвался в животе, разлив по телу солнечное тепло. Ася прикрыла глаза, потаенно вслушиваясь в себя.

Ну, вот, удовлетворенно подумал Вербицкий и, расслабляясь, откинулся на спинку стула. Сдалась.

— У вас есть дети? — спросила Ася.

И тему сменила — да как неловко! При чем тут дети?

— Нет, — благодушно ответил он и процитировал, подняв палец: — «Ибо дом мой, возникший отчасти против моей воли, уже тогда распался, и, не расторгая брака, который длился два года, я вернулся к естественному для меня одинокому состоянию».

Ася вскинула на него испытующий взгляд и прищурилась на миг, как бы что-то припоминая.

— Переписка Цветаевой? Люблю Цветаеву до дрожи, но... письма читать было тяжело.

— Почему? — поднял брови Вербицкий.

— «Первая собака, которую ты погладишь, прочитав это письмо, буду я. Обрати внимание на ее глаза», — произнесла Ася, чуть завывая. — Н-не знаю. Полтора пуда слов про любовь, самых изысканных, какие только может придумать крупнейшая поэтесса, — и не понять, что Рильке умирает. Старикан ей: я, мол, при смерти, а она долдонит: будет все, как ты захочешь, мой единственный, но не станем спешить со встречей, отвечай только «да»...

— У вас прекрасная память, — барски польстил ей Вербицкий.

— А узнав о смерти единственного, пишет шестое, посмертное письмо — исключительно чтобы цикл закончить — и отправляет Пастернаку, которого только что послала подальше... Живой человек — лишь повод для литературы. Бр-р! Знать этого не желаю!

— Но это действительно так, Асенька! Глупо прятать голову под крылышко. Да, закон страшный и болезненный, но непреложный. Он и дает таланту его привилегию — быть жестоким по праву.

— Не знаю. Мне кажется, привилегия таланта — это возможность работать с наслаждением. Думаю, вы даже не представляете, какая это бесценная привилегия. Вот сидеть в канцелярии...

— Вы, как я погляжу, много общались с талантами, раз все так доподлинно выяснили. — Сарказм был столь тонок, что женщина, как сразу почувствовал Вербицкий, его даже не заметила.

— Это у меня врожденное знание. — Ася улыбнулась, отвечая шуткой на шутку. Кажется, замирились, думала она. И радовалась.

— Человек, который творит, — заглублен в себя. Он слушает себя постоянно, он живет в себе, а внешнее оценивает лишь по тому, как оно влияет на созидательный процесс внутри.

Ася снова опустила глаза. Созидательный процесс внутри, подумала она. Что мужчины могут знать об этом?

— Талант не просит привилегий. Необходимо и естественно он порождает крайний индивидуализм, и навеки свят тот человек из внешнего мира, который поймет это и примет. Это нужно либо боготворить, либо уходить в сторону, навеки отказав себе в счастье быть сопричастным...

Она не выдержала.

— Вероятно, вы больше интересуетесь привилегиями таланта, чем им самим.

Третья пощечина была нокаутом.

Эта женщина... Ее следовало убить.

— По-своему вы правы... — услышал он свой далекий, глухой голос и понял, что сдался. Она нашла его болевую точку и, как Вайсброд вчера, как все враги всегда, била, не

подозревая даже, каково это — изо дня в день целовать жирную похотливую мякоть хозяйски глумящегося мягкого знака.

В дверь позвонили.

Асю словно швырнуло с места. Словно смело. На один миг Вербицкий увидел летящее мимо озаренное лицо. Сияние чужой радости прокатилось, опалило и ускользнуло — а в коридоре знакомый, забытый, совершенно не изменившийся голос уже бубнил елейно: «Асенька, я задержался, ты уж пожалуйста... А смотри, какие гвоздички, это тебе...» Вербицкий перевел дух. Этот дурацкий голос помог ему очнуться, он снова расслабился, и лишь где-то в самой сердцевине души тоненько саднило — постепенно затухая, как затухает дрожание отозвавшейся на крик струны.

— Совесть есть? — резко выговаривала Ася. — Я пятнадцать раз разогреваю ужин, ведь сам же будешь ломаться, что невкусно! Конечно, невкусно! Сейчас же снимай пиджак, я сушиться повешу! Куда ты Тошку дел? Он же мокрехонек!

— У Вовки, — вставлял Симагин. — Звездный атлас побежал смотреть. Виктория обещала обоих высушить... Дождик-то теплый, Асенька, от него растут только, а не болеют... Когда же это я ломался, что невкусно, Ась?

— Ах, Виктория?!

Голоса удалились, и Вербицкий усмехнулся облегченно, сразу поняв, что Симагин-то не изменился, остался телком телок, и ни о какой золотой голове речи быть не может. Торговка, заключил он. Они кого угодно переговорят и переорут. Забавно, этакий вот крик, по ее разумению, выражает заботу и ласку; а Симагин, разумеется, благодарен: ругает — значит, любит. Да, улыбочки лучезарные — это на зрителя, разумеется; ох, тоска, с удовольствием подумал Вербицкий, но вдруг словно вновь ощутил щекой горячее дуновение проносящегося рядом солнечного сгустка — и вновь зазвенела проклятая струна. Вербицкий досадливо замотал головой. По скандалам соскучился. Да что я, картошки себе не изжарю?

В ванной грохнуло, и голос Андрюшки возопил: «И ты молчишь?» И вот уже, всклокоченный, в трениках и выцветшей клетчатой рубахе навыпуск, с разинутыми глазами и распахнутыми руками, в дверях воздвигся «золотая голова» Андрей Симагин.

Вербицкий с натугой улыбнулся и встал, пытаясь выглядеть обрадованным — ему сделалось скучно, как сразу делалось всегда, когда он не испытывал эмоций собеседника и вынужден был по каким-либо причинам притворяться ему в унисон; он тряс симагинские руки, хлопал его по плечам в ответ на его хлопанье, и тот нелепо приплясывал на радостях и хихикал, удивлялся, спрашивал. Совершенно не изменился, думал Вербицкий. И в каком виде встречает меня, меня, мы же друзья и двенадцать лет не виделись — да, это уже не благодушие, не инфантильность даже, это неуважение! Как можно не меняться столько лет? Жизнь спокойная; живет себе, и все. Работа, дом, цветов приличных купить не мог. А может, все не так просто, может, он знает свое унижение; может быть, купить вот такой вызывающе облезлый букет — единственная форма сопротивления, которую он еще позволяет себе в собственном доме? Рад мне. Будто я Нобелевку ему принес.

Вот так сюрприз, слегка обалдев от радости, думал Симагин и оглядывался на Асю, ему хотелось, чтобы она тоже порадовалась. Но она все еще дулась. Надо же так опоздать именно сегодня, черт... А Валерка совершенно не изменился. Породистый, сдержанный, только усталый. Валерка, собака, где ж тебя носило все это время! Как всегда, прикидывается надменным, знаем мы эти штучки! Одет-то как, паршивец, и лосьоном ненашинским воняет. Зонтик притащил — Аська теперь долго будет ставить мне в пример. Симагин задыхался от счастливого смеха.

Вот его и отняли у меня. Просто. Быстро. Ася стояла, стиснув влажные цветы. Антон в доме, не на улице. Хорошо. Почему я начала браниться? Ведь обнять же хотела! Он так улыбался! И теперь улыбается. Но не мне. Все из-за хмыря. Притворяется обрадованным. Плохо притворяется, лениво. Скользкий, слизистый. Чувство тревоги и близкой опасности нарастало. Я ревную. Ревную, да? Да. К той женщине не ревновала, только грусть и боль за всех. Потому что та Симагина любит. А этот не чувствует ничего. Настолько не чувст-

вует, что даже притворяться не может. Не представляет этих чувств. А Симагин — не видит. Я боюсь. Ревность — это страх?

— Идемте ужинать, — сказала она громко и ровно.

— Да, пошли полопаем. Я, знаешь, есть хочу, обедал в три и с тех пор ни маковки во рту.

— Право? Ну, если хозяйка столь любезна и угостит меня тоже, я с удовольствием подключусь. Только, Андрей, я чертовски хочу курить.

— Конечно! Асенька, ты дай нам что-нибудь под пепельницу. Наконец к тебе собрат пришел, да? Знаешь, Валер, она тут тишком дымит иногда...

Привели мальчика и, как и ожидал Вербицкий, принудили знакомиться с папиным старым другом дядей Валерием. Мальчик немедленно поведал дяде Валерию, что паника, которую мама устроила из-за дождя — с переобуванием в шерстяные носки и чаем с медом, — совершенно никчемушная. Он говорил это, прихлебывая чай. Вербицкий взялся было посюсюкать в ответ, но понял, что фальшивит, и умолк, благодушно улыбаясь. Мальчик выглядел взрослее отчима — он смотрел серьезно, выжидательно. Мать его быстро уволокла: «Здесь накурено».

Потом они ели и пили. Вербицкий курил, царил. Язвил. Ему было даже хорошо. Посижу немного и пойду, думал он. Симагин тормошил его: а помнишь? а помнишь? Вербицкий, кривясь, поддакивал; он не любил прошлого себя, вспоминать всегда оказывалось либо больно — несбывшиеся надежды, либо унизительно — как с Катей. Не хотелось начинать то, из-за чего он пришел, — бессмысленно было начинать, но Вербицкий знал, что потом месяцами будет глодать себя, что память обогатится еще одним нескончаемо унизительным воспоминанием поражения, капитуляции, если сейчас он даже не попробует подступиться к цели, которая теперь ощущалась как отжившая свое игрушка. Ну, подожду еще, думал он — и одновременно думал: даже не выходит к нам, увела ребенка и исчезла. И опять летела мимо, мимо горячая лучезарная комета, опять звенела вспугнутая струна...

Стемнело. Блекло-синее, похожее на хищную актинию пламя под чайником бросало на стены призрачный, чуть дрожащий свет.

— Злой, желчный, — говорил Симагин, — слушать противно.

— Писатель не может не быть желчным, — говорил Вербицкий. — Не равняй желчность и злобу, это удел глупцов, Андрей. Самые добрые люди становятся со временем самыми желчными.

— Да, — задумчиво ответил Симагин. — Помню, меня потрясла фраза — знаешь, у Шварца в «Драконе»: три раза я был ранен смертельно, и как раз теми, кого насильно спасал... Только, Валер, ты говори потише, пожалуйста. Антошка так чутко спит — как будто в меня, прямо странно...

Блаженный, думал Вербицкий о Симагине, — и это мой противник, ух, какой страшный... уж лучше бы с Широм драться, право слово, из того хоть злоба брызжет — а когда имеешь дело с ничтожеством, все как кулаком в подушку.

Ему, наверное, тяжело живется, думал Симагин о Вербицком. Умницам тяжело живется. Ну, пусть отдохнет сегодня, выговорится... Сейчас чаек заварим покрепче — вот же как вовремя заказы дали — индийский, со слоном. Что я еще могу? Аська так и не показывается. Обидно — она здорово умеет снять боль.

— Не разбужу, не разбужу. Доброта — это ответственность. Когда нет ответственности — легко быть добрым, кормя голубков хлебушком. Захотел — покормил, надоело — бросил. Доброта — это поиски выхода, это нескончаемое чередование ситуаций, в которых долг и ответственность борются со слабостью, эгоизмом, неумением! Когда каждый выбор производится не инстинктивно, а после миллиона самооправданий и самобичеваний! Когда любой поступок, в том числе и самый распредобрый, совершается осознанно, после отбора вариантов. Иначе основа его — не человечность, а трусость, глупость, этому добрячку просто в голову не приходит иное — так он забит и задавлен. Он внутренне несвободен, он запрограммирован, он не человек, по сути дела!

Симагин смотрел на Вербицкого грустно и понимающе, а у того голос срывался от неподдельного волнения:

— Понимаешь? В голову не приходит!

Симагин молча поднялся и стал заботливо заваривать чай.

— А это мне преподносят как доброту. Да я чихать хотел на доброту, которая не закалена ежесекундной борьбой с дьяволом, которая ничего не знает, кроме себя, не побеждает тьму снова и снова... Помнишь, в «Очарованной душе» цитируется притча: бодхисаттва спросил ученика: а лгать ты умеешь? Нет, ответил ученик, я не способен лгать! Иди и научись, сказал бодхисаттва, потому что всякое неумение есть не добродетель, а бессилие...

— Да, — сказал Симагин, когда Вербицкий умолк, — ты прав, конечно. Но как-то странно не на том делаешь упор...

— Нет, ты молчи пока. Я тебе слова не давал.

Симагин улыбнулся и заслонился, как бы показывая: ладно, устраняюсь.

— Существует три уровня реакции на окружающий мир. Первый наиболее простой. То, что в просторечии зовется добротою, а на деле является конформистской ленью. Вот как ты. Я пришел в твой дом, сожрал твой ужин, а когда тебе нахамил, ты уступил мгновенно и без борьбы. И еще подумал: ах, какой я добрый, уступил другу, пусть болтает...

— Чем это ты мне нахамил?

— Тебе даже в голову не пришло — именно! — стукнуть кулаком и сказать: я буду говорить, а иначе брысь, пошел из моего дома!

— Валерка, да побойся бога...

— Второй уровень более высокий. Стремление сопротивляться и преобразовывать. Это прогресс. Но выглядит регрессом, ибо по недостатку умения активность такого человека болезненна для окружающих, она разрушает больше, чем создает. Этих людей твои добрячки ненавидят. Только на третьем уровне, до которого поднимаются лишь титаны, происходит синтез. Активность и умение применить ее, не калеча. Доброта действия, доброта вмешательства. А эти твои добренькие... На них и опирается тьма. На таких, как ты! Не ведающие, что творят. Их нельзя переубедить. Доводы разума на них не действуют за отсутствием у них разума, а чувства в порядке: мы же добренькие, значит, все хорошо, жизнь прекрасна... Их нужно брать за шиворот, вот так, — Вербицкий стал показывать, — и бить. По морде! По морде!

— Погоди, о чем ты?

— О чем?! Да все о биоспектралистике твоей! Думаешь, я не знаю, что это за отрава?

— Бога ради, Валер, не кричи... Тошка...

— Да не кричу я!

Он кричал, конечно. Ася сквозь двери слышала каждое слово. Ее била дрожь от ненависти и тоски. Симагин, звала она. Ну Симагин! Зачем же ты это слушаешь. Книга лежала у нее на коленях. Но она не могла читать. Могла лишь звать. И надеяться, что в комнате Антона все же не так шумно.

— Да нет, — говорил Симагин, почти наугад разливая по чашкам чай, черный в темноте, будто нефть. — Ты на бегу просто не так понял Эммануила Борисовича, — поставил чайник на подставку, уселся на свое место напротив Вербицкого, подпер голову кулаками. — Варенье, мед... не стесняйся.

— Не буду.

— Вот... Конечно, бывает тревожно. Когда получаешь в руки принципиально новое средство воздействия на мир, прикидываешь, разумеется: а вдруг из этого выскочит новое оружие? Я об этом много думал, Валера, потому что очень этого не хочу. Ну, казалось бы, чего проще — зарядил в мощный излучатель спектрограмму инфаркта и полоснул радиолучом. Хоп! На сколько глаз хватает — трупы, да? — Он прищелкнул языком. — Нет, не получается.

— А тебе жалко? — язвительно спросил Вербицкий.

— Ты опупел совсем. Я рад-радешенек. Конечно, теоретически все возможно, но практически современный уровень знаний не позволяет предположить, что возможно военное применение теории подсадок. Большего и требовать нельзя — ведь терапевтическое применение уже реально достижимо! Уникальный случай! Созидательная функция более достижима, чем разрушительная.

— А почему не получается-то?

— Спектр инфаркта — а он один из самых коротких — пришлось бы крутить семнадцать минут. И все это время расстояние между излучателем и объектом должно быть одинаковым, причем — не более трех метров. Иначе сигнал зашумляется вне зависимости от мощности. Микроискажения. Но с другой стороны, ты подумай только, мы же посчитали: уже сейчас на один кубокилометр приповерхностного слоя атмосферы в среднем пятьдесят четыре раза в секунду спонтанно мелькает раковая подсадка. Через десять лет это число утроится. Это не атомные бомбы, разоружение тут не поможет. Мы не можем отказаться от электромагнитного аспекта цивилизации. Пятьдесят четыре раза в секунду — это немного, вероятность попадания в человека, который отреагировал бы патогенным образом, очень мала. Но она растет! И ведь это только рак — а сколько всего еще!

— Да, об этом Вайсброд рассказывал.

— Вот видишь. Нас ведь даже не засекретили. Хочешь, приходи завтра в лабораторию — я похлопочу с утра, спущу пропуск.

Теперь говорил Симагин. Тихо. Ася слышала только голос, не разбирала слов. Но ясно: о спектрах. Это надолго. Мертвой рукой она отложила книгу и стала стелить. Странно, что Вербицкий слушает. Он ведь говорить пришел. Надо уснуть. Обязательно надо. Он войдет — а я устала. Сплю, и все. Я правда устала. А неделя только начинается. И ведь вчера еще смотрела на свет под дверью и ждала — вот так, лежа... Ничего не жду. Пусть делает, что хочет. Пусть унижается.

— Векторные эмоции — это очень интересная штука, — рассказывал Симагин. — Мы обратили внимание, что на спектрограммах высших эмоций есть пики одинаковой конфигурации, но разных интенсивностей и у разных людей противоположные по знаку. Дело в том, что разум и сознание со всеми их сложностями изначально все-таки рабочий орган. Но, с другой стороны, сознание — субъективный образ объективного мира, помнишь?

— Да уж помню.

— Стремление вывести обратно в мир и овеществить свое представление о нем присуще всем — стоит только

взглянуть на детей. Творчество — естественная форма работы развивающегося сознания. Другое дело, что области сознания, через которые наиболее успешно происходит выплеск, у каждого свои. У тебя словесность, у меня вот — биоспектралистика... Мы их называем конструктивными областями. У Аськи, наверное, любовь... Именно конструктивная область связывает личность с миром, через нее срабатывают обратные связи. Но... Я не очень занудно говорю, ты не устал?

— Пока нет, — сквозь зубы ответил Вербицкий, — но скоро.

— Вот. Если, однако, каждое движение, например, руки доставляет боль, в подсознании быстро возникает устойчивый блок: не шевели рукой, нельзя... То же и здесь. Бывает, что внешние факторы долго блокируют творческий выход. Чаще всего он запрессовывается неверным воспитанием, конечно. Не дают творить, хоть тресни! Мы называем это синдромом длительного унижения — СДУ. Тогда, стараясь приспособиться к миру, сознание отторгает конструктивную область. Вокруг нее воздвигается кордон стереотипов мышления и поведения, который подсознание, стремясь уберечься, создает, чтобы убедить сознание в ненужности творческого взаимодействия с миром. Обычно кордон основан на неадекватном занижении собственной значимости: ничего не могу, плетью обуха не перешибешь, оставьте меня в покое. Или, наоборот, завышении: я гений, все канальи, никто мне не судья. Но задача одна и та же, единственная: разорвать обратные связи. Потому что из мира по ним постоянно течет невыносимая боль. А отталкивая конструктивную область, сознание отталкивает мир в целом. Это понятно? Отношения сознания с конструктивной областью мы назвали векторными эмоциями. — Симагин все время деликатно говорил «мы», имея в виду лабораторию, ибо с его легкой руки эти термины действительно прижились, хотя высшими эмоциями он занимался лишь от случая к случаю, вне плана. — Хочу — не хочу, приемлю — не приемлю, интересно — не интересно. Пока есть обратные связи и сознание развивается, доминируют эмоции типа «верю», «интересно»,

«люблю», которые отражают стремление сознания к расширению деятельности. Когда конструктивная область отторгается, развитие прекращается и личность разом теряет двуединую способность усваивать новое из мира и привносить новое в мир. Остается лишь более или менее беззастенчивое употребление мира. Использование того, что уже в нем есть. Доминировать начинает «не верю», «не люблю»... Интенсивность эмоций субъекта Икс по поводу объекта Игрек — а объект здесь все, что угодно: государство, книга, работа, женщина, сын — можно грубо представить в виде отношения изменений, вызываемых в «Я» субъекта объектом, к изменениям «Я» Икса в целом.

Симагин огляделся и, зацепив с подоконника салфетку, торопливо написал на ней карандашом:

$$L_{x(y)} = \frac{\Delta Я_{x(y)}}{\Delta Я_x} .$$

— Видишь? Здесь числитель всегда меньше абсолютной величины знаменателя, но ни в коем случае не отрицательное число. Во-вторых, знак знаменателя — а знаменатель отрицателен при регрессе сознания — определяет знак всей дроби. И, в-третьих, если знаменатель стремится к нулю, то, каким бы мощным ни было воздействие Игрека, оно не вызовет интенсивной реакции... — Симагин осекся и смущенно махнул рукой. — Черт, я тебя совсем забодал. В общем, что я хочу сказать-то? Что контакт, например, личностей с разнонаправленными векторами невозможен. Тот, кто развивается, увидит, скажем, в бестактной назойливости — преданность, в злой издевке — дружескую шутку... потому что все накладывается на собственные фоновые процессы, на знаменатель. А тот, чье конструктивное взаимодействие с миром прервано, наоборот, увидит в преданности — назойливость, в шутке — издевку... Именно тут и расцветают всякие комплексы и мании. Если бы научиться раскрывать кордон и вновь менять знак векторов! — Симагин мечтательно уставился во мрак мимо окаменевшего в снисходительной усмешке лица Вербицкого. — Ведь ты подумай, как обидно: чем выше потенциал сознания, тем отторжение вероятней...

Больно, думал Вербицкий. Больно, больно, больно... Сволочи, они и сюда уже добрались со своими формулами. И это омерзительное, привычно-высокомерное ученое «мы». Мы, Симагин, царь всея Руси... Все, пора атаковать.

— И это не кажется тебе подлостью?

— Что? — опешил Симагин.

— Разработка методов механизированного манипулирования психикой... Ч-черт, — сказал Вербицкий, тронув опустевшую пачку сигарет. — Курево кончилось.

Симагин виновато развел руками, а потом с осененным видом вскочил.

— Аська где-то прячет, наверное, — проговорил он и, заговорщически подмигнув, вылетел из кухни.

А Вербицкий вдруг представил, как Симагин входит в комнату, а женщина эта — в постели. Ждет. Когда он придет. Когда я уйду, ждет.

— Ась, ты ведь никоциану прячешь где-то, а? — просительно сказал Симагин, войдя и прикрыв дверь. — Я отвернусь, а ты, пожалуйста, подари штучки три. У Валеры кончились.

Ася холодно глядела исподлобья.

— Вы шумите, — сказала она отчужденно. — Он скоро уйдет?

— Да тише, — испугался Симагин. — Там же слышно все.

— Антошке тоже все слышно.

Симагин смущенно помялся.

— Так дашь?

— Когда я чуть подымлю, ты вопишь полдня, что квартира провоняла и ты не ощущаешь себя дома. И я, как дура... А этот твой уже целую пачку...

— Ужас, — признался Симагин шепотом. — Как паровоз. Аж глаза слезятся...

Ася секунду смотрела на него, потом сказала:

— Можешь не отворачиваться. Я больше не буду никогда. — Она откинула одеяло и тут же вновь резко набросила на себя. — Нет, отвернись.

— Ася, да что с тобой?

— Отвернись, я сказала. И скорей, Вербицкий заскучает.

Симагин отвернулся. Он стоял лицом к двери и ничего не мог понять.

— Возьми, — раздался Асин голос.

Она уже укуталась до шеи, будто мерзла, и на журнальном столике лежала полупустая, покомканная пачка.

Он подошел и сел на край постели. Ася отодвинулась.

— Асенька, — произнес он тихо. — Что-то случилось?

Она взялась за книгу, будто не видя и не слыша.

— Он чем-то тебя обидел, пока меня не было? Да? Нет?

— Симагин, — сказала Ася устало. — Ну кто он мне, чтобы мочь меня обидеть? Это можешь только ты.

— Я? Асенька, ну это правда, совершенно случайно я заработался, сегодня же у нас впервые...

— Андрей! Ты ему рад-радешенек, а у него глаза мертвые, он подлец. Он смеется над тобой, презирает, он враг тебе и нам. Он через труп твой пойдет!

Симагин встал.

— Ася, — сказал он серьезно, — я не знаю, почему у тебя такое идиотское настроение, но либо объясни, либо держи его при себе. Я с ним десять лет не виделся, а ты все портишь! Стыдно! — Он захлебнулся негодующе.

— Какой же ты дурак, — потрясенно ответила она, глядя ему в глаза.

Он вздрогнул.

— Мы поссоримся, — отчеканил он.

Он ушел. Она чуть не расплакалась. Он ушел. И в дверях взглянул на часы. Он даже не подозревал, что этим ее добил. Его «Полетик» давно стал символом. Она всегда ловила момент, когда Симагин, ложась, снимал часы. Это значило: сейчас. На миг она словно бы ощущала раздвигающее, пронзительное движение, с которым Симагин входил в нее, — и сердце валилось в звонкую глубину. Она уткнулась в подушку.

Вербицкий презрительно повертел пачку, выщелкнул сигаретку, закурил.

— Дамская травка...

— Что же ей, махру сандалить? — пробурчал Симагин.

Вербицкий усмехнулся.

— За это время ты научился разговаривать, — похвалил он. — Поздравляю.

— Да-да, — ответил Симагин, думая о чем-то своем.

— Так вот. Подавление собственных мотиваций — преступно и подло. Ладно, пусть вы не способны создавать людей запрограммированных — хотя не факт, что не научитесь попозже. Но вы научитесь создавать людей одинаковых. Нормальных. А всякая гениальность — это отклонение, уродство. Вы сделаете всех жизнерадостными кретинами без малейшей ущербинки, без индивидуальности, без всякой способности к творчеству!

— Да я как раз хочу, чтобы не гибла возможность к творчеству!

— У кого? У согласных и веселых? Что они могут?

— Погоди. А обычное лечение нервных болезней ты принимаешь?

— Да. Здесь разница. Вы лишаете человека способности выбирать, бороться с собой, побеждать себя...

— Ну, знаешь, есть куда более интересные и нужные занятия, чем постоянная борьба с собой.

— Да-да. Маршировать во славу рейха, например. Электронный фашизм ты предлагаешь. Насилие над сознанием!

— Да ведь к хорошему же!..

— Кто скажет, что хорошо, а что нет? Местком? Партком?

— Да погоди, Валерка, очнись! При чем здесь местком? Если человека лечат, ле-чат от болезни, если он мучиться перестает — хорошо это или нет?

— Смотря от чего он мучился! Не мучаются только идиоты. Вы лишите человека индивидуальности. Пусть уродливой, больной — но только такие и способны к творчеству!

— Как раз больной-то уже мало способен к творчеству! Он, знаешь, только болячки свои лелеять способен. А если этот твой сильно индивидуальный параноик башку кому-нибудь раскроит кирпичом — это не насилие? Кто ответит за преступление?

— Дело не в преступлении! Дело в том, что этот параноик, как ты говоришь, видит мир так, как, быть может, никто

до него и никто после него! И этим он важнее, нужнее миллиона добреньких обывателей!

— И ты еще обвиняешь в фашизме меня?!

— Вы перестанете орать или нет?! — болезненно крикнула Ася из темноты коридора. — Как же можно?..

И исчезла, призрачно мелькнув светлыми крыльями халата.

У нее, оказывается, роскошные ноги, смятенно осознал Вербицкий.

С побитым видом Симагин встал.

— Сволочи мы... — прошептал он. — Слушай, Валер... малгаб проклятый... прости. Может, мы пойдем, а? Я провожу...

Вербицкий издевательски усмехнулся. Так издевательски, как только сумел, — потому что опять звенела проклятая струна.

— Ну, проводи, — разрешил он.

Дождь перестал, но было промозгло, и темень стояла такая, что хоть глаз коли, в белые-то ночи; одно название от них осталось, небо чугунное, а тошнотворный, липкий воздух будто напустили из газовой плиты. Да, не забыть бы, завтра в институт идти, в симагинский институт, а ведь встречаться-то с Симагиным мне больше не хочется; вся жизнь — это далеко не то, что хочется, это всего лишь «надо», и вечно взбадриваешь себя тем, что в результате очередного «надо» может появиться нечто интересное, но интересного не появляется... будь проклято и бетонное «надо», и трухлявое «интересно», не могу больше, не могу, правда.

Дождь перестал, было темно, тепло и душисто, как в южном саду. Симагин с удовольствием вдыхал влажный стоячий воздух, напоенный запахами влажной июньской зелени. С Асей бы выйти погулять на сон грядущий... Ася. Ах, как неладно, и что это на нее нашло? А посидели здорово, как встарь, всласть — только объясняю я неумело. Надо было не горячиться, а сразу оговорить, что потенциал сознания — то есть несовпадение воспринимаемого мира и представления о мире — есть один из базисных параметров личности. Ноль — человеку, в общем-то, несвойственная, чисто животная адекватность, влитость в окружающее. Ни о каком

творчестве тут и речи быть не может. Дальше область малых рассогласований, которые встречаются чаще всего, но не обеспечивают выраженного творческого выхода. Еще дальше — область рассогласований оптимальных. Человеку кажется, будто он мыслит и действует единственно возможным образом, а на деле чуть ли не каждым поступком и представлением нарушает стереотипы и создает новое, иногда нелепое, а иногда очень нужное миру. И область патогенных рассогласований. Они настолько велики, что не имеют с миром точек соприкосновения, отвергаются им. Вот тут-то отторжения конструктивных областей неизбежны. Проблема в том, что с ростом экономического перенапряжения и политической централизации нарастает жесткая организованность, регламентированность поведения, а это сдвигает группу патогенных рассогласований все ниже, заставляя ее откусывать от группы рассогласований оптимальных самые лакомые куски. И противопоставить этому жуткому процессу, кроме ахов и охов, пока нечего... Надо было сказать. В следующий раз обязательно скажу. Валерке должно понравиться, раз уж он так за шизиков горой. Сейчас, пожалуй, уже не стоит все сначала — он устал чего-то, вон лицо какое больное...

Они разошлись у остановки — автобус подъезжать не торопился, и Вербицкий милостиво отпустил Симагина домой. Тот почти побежал и сразу пропал в парной мгле между домами. Вербицкий смотрел вслед и думал: к ней, к ней... Обида жгла.

Он круто развернулся и подошел к будке телефона. Этого еще не хватало, с бешенством думал он, шевеля губами и припоминая номер. Никакой хандры, на это у меня ни сил, ни времени. Клин — клином.

— Аля? — спросил он ласково и задушевно, когда певучий женский голос откликнулся на том конце. — Ты меня еще ждешь?

— Я всегда тебя жду! — страстно выкрикнула она.

— Правда? — Он вдруг даже растрогался.

— Конечно, — ответила она обычным голосом. — Черт возьми, кто это?

Ты совсем захирел, произнесла она, когда он, весь в мыле, откатился на другую сторону широченной тахты. Потом неспешно, будто была одна, закурила. Он вырвал у нее сигарету, жадно затянулся несколько раз и отдал брезгливо. Тебе всегда мало, хрипло сказал он. Она усмехнулась и для верности спросила: могу считать себя свободной, полковник? Он не ответил, скривился издевательски — так издевательски, как только сумел, — и она ушла в душ. А он закинул руки за голову и стал смотреть в высокий, с лепным бордюром и лепной розеткой, потолок. Переносье горело от подступивших слез.

Когда она вернулась, Вербицкий спал. Он утробно, глухо всхрапывал, его веки влажно и как-то гнилостно отблескивали в сочащемся из далекого коридора свете хрустальных бра. Ироничная маска расклеилась на его лице — лицо обвисло и стало тестообразным. Быстро он стареет, подумала Аля, стоя над ним и щурясь. Вербицкий вдруг застонал во сне — тоненько-тоненько, как ребенок, которому приснился Бармалей. Ее передернуло. Бродя по громадной квартире, среди смутно мерцающих глыб помпезной сертификатной мебели, она еще долго курила. Чувство, будто в нее выплеснули целое ведро гниющих нечистот, не удавалось снять — ни душем, ни сигаретами. Хотелось разодрать себя и тщательно прополоскать изнутри. Больше я так не могу, думала она. Нет, нет, нет. Вайсброд. Или как там тебя, не помню, кажется, Андрей. Сделайте что-нибудь, пожалуйста. Сделайте чудо. Ведь нельзя, чтобы это продолжалось — до старости, до смерти, всегда, ничего иного; нельзя, я же ни в чем не виновата, я не могу так больше. Она натянула пижаму на отвратительное безупречное тело, зажгла везде свет и, заглядывая в бумажку, где по пунктам было аккуратно зафиксировано, что просил по телефону муж, собрала сумку на завтра — завтра в госпитале был впускной день. Спать она пошла в комнату дочери.

Задыхаясь от бега, Симагин влетел домой. Свет не горел нигде. Чувствовалось, Ася проветривала, но дымом провоняло все — занавески, одежда... На столе в кухне стояла ваза с аккуратно усаженными в нее гвоздиками, и сердце Симагина подпрыгнуло: помирились! Он босиком пошлепал в комнату, на цыпочках приоткрыл дверь к Антошке. Антошка едва слышно, равномерно сопел. Спит.

Ася спала тоже.

Затаив дыхание от осторожности, он заполз под одеяло. Кажется, не разбудил.

Она была рядом. Даже не прикасаясь, он ощущал, какая теплая и нежная она, та, что рядом. Он долго смотрел ей в затылок, разбросавший по белеющей во мраке подушке непроницаемо черные вихри. Разбудить? Просто сказать, что вернулся, и все. Будто не ссорились. Или она еще сердится — и рассердится, что я не даю ей отдыхать?

Она слышала каждое движение. Как раздевается. Как ходит, заглядывает к сыну. Как дышит — стараясь не дышать. Потом диван оглушительно заскрипел и ощутимо прогнулся под осторожной тяжестью его тела. Ася нелепо позавидовала дивану. Прильнуть хотелось так, что внутри будто бы обозначилась и набухла судорожно скрученная, готовая лопнуть пружина. Она была накалена, наверное, докрасна. Затылком Ася чувствовала его взгляд. Но я же сплю. Сплю, и все.

Или повернуться и обнять, будто ничего не произошло?

А он объяснит снова, какой Вербицкий замечательный и какая я эгоистка... Так они уснули.

2

Ощущение бессмысленности только усилилось после визита в симагинский институт, и совершенно унизительной стала память о вчерашнем припадке альтруизма, о приподнятом чувстве, с каким он шествовал к Симагину в его вылизанный трехклеточный скворечник — чувстве, близком к светлой гордости; боже, какие глупости может подчас вбить себе в голову взрослый, трезвый, умный человек, какие нелепицы. Он снова подбросил на ладони кассету. И была-то она не больше кассеты от фотоаппарата, хотя весила, словно отлитая из свинца. Ему снова захотелось швырнуть ее в стену — обшарпанная кирпичная стена тянулась слева, уходя в смрадную хмарь. Мышцы напряглись, в них возникло горькое, исступленное ожидание — когда же мозг, нако-

нец, даст желанный приказ; но мозг, стыдясь истерики мышц, не давал приказа. «Вот и вся твоя любовь, — уже откровенно издеваясь, пояснил Симагин. — Только не говори никому, что я позволил вынести спектрограмму». Он же буквально навязал мне кассету, ему же приспичило добить меня, дотоптать, сначала превратить в подопытного кролика, а затем сделать так, чтобы свидетельство этой роли потянулось за мною через всю жизнь резиновой клейкой цепью. Он мстит мне, мстит за детство, за те благословенные светлые времена, когда в рот мне смотрел, слушал, как оракула; верхом на своем чудовищном механизме, вооруженный киловаттами, байтами, блинкетами, берет реванш у меня, у которого — ничего, кроме израненного сердца и белой, белой бумаги. Два часа в электродах! И Вербицкий повиновался, сам не понимая, отчего он, такой гордый обычно, позволяет бывшему другу и нынешнему врагу унижать себя; все в нем бунтовало, сопротивлялось, требовало ударить наотмашь и исчезнуть с торжествующим медным криком — но он был словно под гипнозом, подчинялся и даже подшучивал в тон кретинически улыбающемуся садисту. «Аппараты для облучения практически уже есть. Применяются они совсем не в медицине, но мы хорошенько подумали и пишем теперь на унифицированные кассеты. Представляешь — за полгода, с минимальными затратами, можно оборудовать все поликлиники. А вот сам спектрограф стоит не меньше авианосца...» Симагин стал прокручивать спектрограмму — на экране потянулись бесконечные, однообразные кривые. «Думаешь, я знаю, что это за пик? — кричал он, размахивая руками и тыча в экран. — А вот эта серия всплесков? Где-то здесь чувство прекрасного... Но где? Что именно? Как прочесть?» Вербицкого затошнило, когда он покосился на свое чувство прекрасного. Молодой хлыщеватый парень, прислушиваясь, прогуливался рядом. «Вадик, — спросил Симагин, — вам нечем заняться?» И небрежно, выламываясь в роли большого начальника, дал ему какое-то поручение. Зато подклеилась совсем уже юная девчонка, гроза младших научных — губки бантиком, грудки торчком — уставилась на Симагина огромными пустыми глазами, спросила, не хотят

ли тут кофе, потом стала встревать в рассказ, подчеркивая личный Симагина вклад; Симагин картинно смущался, махал на хитрую девчонку руками, но было очевидно, что каждое ее слово он принимает всерьез и что грубая эта лесть доставляет ему, как всякому ничтожеству на коне, неподдельное удовольствие. Было очевидно, что сексапилочка из кожи лезет вон, чтобы понравиться Симагину, — это было уже какое-то извращение, и не сразу Вербицкий сообразил, что она просто подлещивается к тому, кто на данный момент в лаборатории главнее всех, а сообразив, даже посочувствовал ей — насчет Симагина это гиблое дело. «Возьми тот же рак, — бубнил Симагин, даже не замечая ее отчаянных потуг. — Дай мне незнакомую регистрограмму, и я сразу скажу, есть рак или нет. Но я не смогу определить, рак желудка это или, скажем, рак матки!» Девчонка отчаянно покраснела, но Симагин видел лишь бегущие кривые. «Разве меня можно подпускать к живым людям? — хныкал он. — Надо каждый пичок отождествить, каждую морщинку. Это ж такая механика, Валера. Ты даже не представляешь, какая это сложная механика — человек. Как в нем все переплетено. И мы туда — со своей кувалдой...» Высоченный парень, проходивший мимо с какой-то папкой, остановился поодаль, остервенело дымя «Беломором». Наверное, ждет не дождется, когда его вылечат спектром от папирос, подумал Вербицкий. Или от рака. От рака матки. «Вот это пичище», — сказал парень. «Да», — согласился Симагин как-то неловко, покосившись на Вербицкого с какой-то виноватостью в глазах. «А помните, какая блямба была здесь у того? — тактично вставила пацанка. — Раза в два повыше...» Симагин облегченно вздохнул. «Еще бы. У чиновников синдром ДУ — профессиональная болезнь». Они засмеялись чему-то своему. Вербицкий чувствовал себя болезненно голым, уродливо голым, синюшным и поэтому, стрельнув «Беломорину» у верзилы, тоже закурил и стал, кутаясь в дым, снисходительно улыбаться. «Вот здесь где-то садомазохистский регистр, — сказал Симагин угрюмо и оперся обеими руками на пульт. Ссутулился. — Если я буду лечить садиста, мне же надо давать сюда какой-то блик... А куда?»

Потом Вербицкий ушел.

Низкое небо снова собиралось пролиться тяжелым нечистым дождем, с Обводного несло какой-то заразной химией, карболкой, что ли, — запах был тошный, поганый, означал гангрену. Кассета готова была, казалось, прожечь пиджак; невыносимо тяжелым грузом она моталась в кармане и глумливо вопила оттуда о всемогуществе науки — всемогуществе вторжения металлической шестерни, победитовой циркульной пилы в беззащитную живую плоть, от рождения не знавшую колеса, но познавшую колесо и покатившуюся в пропасть, ибо колесо, как бы ни было оно совершенно, может катиться только вниз. Что они все делают со мной, кричал Вербицкий, идя вдоль бесконечной обшарпанной стены, зачем я-то должен катиться вместе с ними, ведь я твержу: не надо, а он твердит: надо, и слушают его, потому что верхом на его «надо» удобнее, удобнее катиться! А катиться — всем! И мне!

Ведь это иллюзия, это сон золотой: будто мы любим и не любим точь-в-точь как прежде, покуда грохочущие колеса и шестерни исторических процессов перепахивают и перемалывают пространство отдельно от нас, на далекой периферии переживаемого мира — мира друзей, подруг, детей; нет, они медленно мнут нас и плющат, и выкручивают, а мы лишь чувствуем смутно, что любим и не любим как-то иначе. Пугливей, бесплотней, бессовестней. Господи! Да ведь даже рабы, столь же мягкие, слабые, ограниченные религиозной этикой, сколь и их хозяева, одним фактом своего рабства развратили и развалили античность — что же говорить о не знающих ни преданности, ни ненависти, вне добра и зла кроящих любую органику циркульных пилах, которые равным образом может включить кто угодно, зачем угодно! Какой соблазн! Как мы клянем свою рефлексию, как хотим себе действенной тупости нами же созданных орудий! И как привычно требуем от друзей, подруг, детей, а уж подавно от подчиненных и подданных покорности орудий: нужно — включил, не нужно — выключил, забарахлили — с глаз долой, в ремонт, в комиссионку, на свалку, пусть разбирается, кто умеет, а я не мастер, мое дело —нажимать кнопки!

И он еще хвастается, недоумок! «Мы не в состоянии отказаться от электромагнитного аспекта цивилизации...» Полтора века играть с магнетизмом, набить атмосферу излучениями, убедиться, что включать и выключать друг друга куда легче при помощи телевизоров, радаров, лучей наведения, помехосистем и помехозащит, вещания и глушения — и открыть, наконец, что беззащитная живая плоть не выдерживает этих удобств! Боже, какой аспект! А еще через полста лет гниющий заживо, пузырящийся обрубок с мозгами набекрень от постоянного лучевого самосовершенствования скажет: мы не в силах отказаться от биоспектрального аспекта цивилизации. Выход один — биоампутация!

А ты, спросил он себя, судорожно стискивая влажными пальцами скользкую от пота и духоты кассету, что можешь предложить ты? Представь, тебе дали власть решать, ну на минутку представь себя снова, как в детстве, справедливым и чутким императором мира — что сможешь ты сказать? Что изначально все пошло наперекосяк? Но это пустые слова. Начало — клубящаяся в темноте загадка, над началом даже ты не властен. Что сможешь ты велеть сейчас — когда есть уже и рак, и ракета, и радар, и регистрограмма в кармане? Пусть все изменится! Пусть все станут иными! Но какими? Как? Не знаю, не знаю, не трогайте меня; литература — не врач, литература — боль... Кто? Герцен... Бо-о-оль?! Ни у кого не болит, а у тебя болит? Барахлишь, машинка? Лечись. До новых встречь.

Поутру не стало лучше. Симагин наспех умял пару бутербродов под кофе с молоком. Отчужденно молчавшая Ася чуток поклевала и ушла из-за стола. Симагин пытался поймать ее взгляд, но глаза она прятала. Когда она чего-то хотела, она всегда умела это сделать, и вот сейчас она хотела прятать глаза. И Антон, который мог бы, наверное, сломать лед, еще спал. Симагин даже начал злиться — короткими наплывами, недоуменно, робко. Уходя, он так и не сказал ни слова, лишь попробовал осторожно обнять Асю за плечи. Она молча, холодно высвободилась.

Запустили Машину, пошла очередная серия. Потом Симагин принялся хлопотать Вербицкому пропуск, дело оказалось волокитным. Он подписывал бумажки и думал: но ведь

она же поставила гвоздики в вазу. Голова не работала, все валилось из рук. Только приход Валеры его как-то отвлек.

Приятно рассказывать о любимом деле человеку, которому дело это интересно. Вербицкий снова напускал на себя равнодушие, делал вид, будто скучает, но ясно было, что он страшно заинтересован, чуть ли не потрясен. Еще бы. И забавно — стоило Верочке подойти, как он сразу постарался ей понравиться. И, конечно же, ему, чертяке, это сразу удалось. Бывают же такие — Верочка от него уже не отходила... Ладно, думал Симагин, глядя, как Вербицкий изображает царственное небрежение, пусть притворяется. Смешной. Все равно то, что чувствуешь, скрыть невозможно. Только не залезать в научные частности. Писателю частности малоразумительны и не нужны совсем — он впечатлений алчет... Будет тебе впечатление. Что может быть изумительнее, чем заглянуть в себя? Ведь сам Валера только этим и занимается, у него работа такая — словами срисовывать копии со своих мыслей и чувств. А вот копия, срисованная иначе, посмотри, я ведь знаю, ты за этим пришел. Он предложил Вербицкому снять, чем трепаться беспредметно, спектрограмму с него самого, хотя бы один эро-уровень. Гуманитару любовь, конечно, интереснее всего. Понимая, что уже и так доставил Симагину кучу хлопот, Вербицкий принялся отнекиваться, но Симагин настоял, потому что видел, как загорелся этой идеей Валера. У него даже глаза потемнели от возбуждения. После съемки они стали вместе просматривать спектрограмму. Симагин объяснял и все совестился, что многого еще не понимает. Чудовищно сложен человек... Зато когда по экрану пробегал отождествляемый всплеск, от гордости у Симагина даже дыхание теснило. Подошел Володя, угрюмый и напряженный. Он не просто работал — он воевал. Каждая серия была для него атакой, он боролся за больного сына. Он смотрел, слушал, курил... По молчаливому уговору сотрудников Володя имел право курить прямо здесь. Правда, сейчас он допустил небольшую бестактность: глядя на экран, вслух отметил то, что отметил про себя и Симагин, — чрезвычайно мощный Валерин СДУ. Верочка, умничка, спасла положение, но Симагин вдруг с ужасом сообразил, что вообще никому нельзя было показывать душу

своего друга. Он готов был сквозь землю провалиться. Но Валера, как всегда, оказался на высоте. Он ничего не знал про Володю, но, видно, тоже почувствовал его трагическое напряжение, потому что попросил у него закурить и заглянул в глаза, словно говоря: все будет хорошо. А ведь ему самому несладко приходится, судя по тому же пику. Осел я бесчувственный, грыз и глодал себя Симагин, Асю чем-то обидел и даже не понимаю чем; теперь Валеру... Чтобы впредь даже возможности для подобных случаев не могло возникнуть, он тайком от всех отдал Вербицкому кассету. И подарок на память достойный, и уж верная гарантия, что никто чужой не подсмотрит к нему в сердце. Он еще спросил Валеру: «Может, теперь сотрем?» — «Жалко», — ответил тот, подбрасывая кассету на ладони и явно не желая выпускать ее из рук. Вроде обошлось, не обиделся.

Симагин полетел домой, едва дождавшись окончания рабочего дня. Подкатил автобус сразу. Зеленая улица. Скорей. Ну что там, светофор сломался, что ли? Граждане, побыстрее на посадке... Правильно шофер говорит, копошатся, как неживые. Погода замечательная, можно взять бадминтон и — в парк. Воздух влажный, напоенный... Оденемся легко-легко. У нее есть платье, коротенькое и тонкое, как паутинка. В нем она совсем девочка, большеглазая и шальная — но стоит присесть за воланом, невесомая ткань рисует округлые бедра; напевные линии звучат нескончаемым зовом, чистым, как белый бутон в стоячих высверках росы. Там, укрытое платьем и сдвинутыми ногами, — солнце. Оно мое.

Дома было тихо и пустынно. На кухонном столе лежал небрежно оторванный клок бумаги. «Картошка на плите. Мясо в духовке. Мы в кино». Рядом письмо — от родителей.

Мама писала, что яблоки и крыжовник в этот год уродились, а клубнику улитка сильно поела; что в реке опять появилась рыба; что у Шемякиных занялся было пожар, но тушили всей улицей и потушили еще до пожарных, так что сгорели только сарай, поленница и часть штакетника, да старая липа («Помнишь, ты маленький лазил, и Тошенька тот год лазил») посохла от близкого огня; что она, мама, очень скучает по городу, но вернутся они не раньше ок-

тябрьских, потому что впятером в квартире тесно, — и тут же, испугавшись, что проговорилась, стала доказывать, что летом и осенью в городе отвратительно и для здоровья не полезно, а в деревне — рай.

Симагин прочел письмо дважды, а потом принялся за еду — еще теплую. Видно, ушли совсем недавно. Кусок не лез в горло, но Симагин послушно сглотал все, что было ему оставлено, потому что не съесть было бы обидеть Асю, она ведь приготовила. Значит, не поссорились? Но ушла в кино, ушла демонстративно, глупо, хлестко, и Антошку взяла... Симагин написал ответ и побрел в парк один.

Здесь тишина не угнетала, а успокаивала. Дымчатый воздух стоял среди темных сосен. Присыпанные хвоей дорожки текли под ногами беззвучно и мягко; в одном месте кто-то разрыл дорожку, и выглянул песок, рыжий, как зимнее солнце. Симагин набрал полную горсть, будто он золотоискатель, а песок золотоносный. Жаль, Антона нет, развернули бы эпопею... Одному играть было неинтересно. Он отвык отдыхать один, один он только работал.

Из-за поворота аллеи выбежала голенастая девочка в коротеньком платье и белых гольфах. Симагин вздрогнул — ему почудилась Ася. Совсем с ума сошел. Девочке было лет двенадцать. Следом, размахивая ушами, катился смешной, как Антошка, щенок; его крохотный язычок светился добрым розовым светом. Потом показалась женщина в синем плаще, она сливалась с сумраком леса. Девочка светлым пятном замелькала в деревьях, а щенок задумчиво замер, заурчал и бросился под ноги Симагину.

— Здравствуй, — сказал Симагин. — Ты кто?

Щенок остановился и перевесил лобастую голову на другой бок, пытливо заглядывая Симагину в глаза. Он был такой плюшевый, что просто нельзя было его не погладить. Симагин протянул руку, щенок припал к земле и завилял коротким упругим хвостом.

— Ав! — сказал Симагин, бросая ладонь к курчавой спине то слева, то справа. Щен елозил пузом, играя в то, что уворачивается от страшных ударов, и от удовольствия подпрыгивал, как мячик на коротких лапах. — Р-р-р-рав! Съем!

Щенок не принял угрозы всерьез и принялся быстро-быстро лизать Симагину пальцы.

— Белка! — крикнула женщина. — Белка, догоняй Марину!

Белка снова задумалась, а потом мотнула головой и поскакала в лес, высоко вскидывая задние лапы. Девочка выглядывала из-за сосны и тоненьким голоском повелительно кричала:

— Ко мне!

— Так ты, оказывается, Белка, — удивился Симагин и пошел навстречу женщине. Они улыбнулись друг другу, и Симагин чуть поклонился, как бы здороваясь. Ей было лет сорок, она прихрамывала слегка, и через левую щеку ее шел старый, тонкий шрам. Симагину захотелось сказать ей что-нибудь приятное, но он не придумал что. Обрадовать Белку было легче.

Он свернул с дорожки. Подошел к сосне и погладил ее теплую коробчатую кору. Задирая голову, осмотрел ветви, нависшие в серой тишине, и опять улыбнулся. Ему хотелось улыбаться и ласкать. Ему казалось, если приласкать мир, мир станет ласковым. Но это он придумал потому только, что любил ласкать — так же, как любил дышать.

Он набрел на затерянную в мелколесье скамейку. Такие скамейки были установлены вдоль главных аллей, но их порастащили в укромные места. Кругом набросана была бумага, ржавели пустые консервные банки, колко отблескивали бутылочные стекла. Симагин поддал осколок — тот черной молнией мелькнул в кусты и ударил. Куст шумно встряхнулся.

Симагин сел и достал блокнот. Отыскав свободную страницу, нарисовал инициирующий пик онкорегистра, а ниже по памяти расписал формулы его конфигурации и движения. Все было очень изящно и совершенно не вязалось со следующим пиком. Описать математически область их сопряжения так и не удалось. Тут была какая-то загадка, какой-то странный разрыв, и он, конечно, что-то значил, может, даже многое значил. Дьявольское место. И ведь мелочь, кажется, — но сколько их, таких мелочей, все и состоит из них. Давно и быстро пролетело время первых осмыслений — всеобъемлющих, но поверхностных. Так же давно и так же быстро, как то

время, когда Антон на вопрос «Кем ты хочешь быть?» без колебаний отвечал: «Я буду Ленин». Вся динамика психического реагирования укладывалась тогда в интегродифференциальные уравнения второго порядка; Симагин помнил, как в восторге плясал по квартире, когда они вдруг легко сплеснулись на бумагу с его пера — а теперь это детский лепет... Математика! Размашистые прыжки преобразований! Бесконечной спиралью они выворачиваются, выстреливаются одно из другого — непреложно, как прорастает зерно. Лучшие стихи немощными жидкими медузами расползаются в пальцах, дрябло обвисают от вычурности, претенциозности, авторского кокетничания и самообожания — только в чеканных ритмах уравнений мир перекатывает обнаженные мускулы своей предельной, виртуозной реальности, той, где можно нащупать массивные выступы его истинных рычагов, ощутить их твердость в кромешной тьме... Постепенно все пропало. Симагин забыл, где он, окружающее сузилось до листка бумаги, потом угасло совсем, и остался лишь мир атаки — мир, где были только мысль и бесконечная обшарпанная стена поперек ее дороги. Не обойти — надо в лоб. Симагин атаковал, задыхаясь, а все, что он ненавидел, чего боялся, чего не хотел, — все это, обозначенное сейчас, словно всеобъемлющим иероглифом зла, мизерным отрезком кривой, защищалось, отстреливалось, глумилось из-за стены. И уже казалось, что, стоит лишь расшифровать этот иероглиф, разом все зло сгинет, покорится, как покоряется дух тьмы тому, кто назовет его истинное имя...

Атака захлебнулась.

Стемнело. Бумага белела смутным пятном. Сквозь черную вязь ветвей теплился лежащий на пасмурном небе красноватый отсвет города. Где-то вдалеке бренчали на гитаре, и молодой надорванный голос истошно вопил: «А ду ю лав э рашн водка? А ду ю лав э рашн водка? О, йес, ай ду! О, йес, ай ду!»

Симагин не успел рук помыть, как звякнул ключ в замочной скважине; задирая мокрые, мыльные ладони, он рванулся к двери встречать, но опоздал — Ася уже входила, надменно глядя мимо.

Зато Антошка сразу вцепился.

— Ты почему на пол капаешь? — спросил он. — Меня вот мама ругает, когда я на пол капаю!

— Не ему ведь мыть, — уронила Ася.

Симагин медленно отступил в ванную. Все продолжалось, обшарпанная стена между ними стала еще толще.

— Я только что пришел, — оправдываясь, сказал Симагин Антошке. — И так спешил вам навстречу, что не успел вытереть.

— А мы какой фильм смотрели! — сообщил Антошка. — Две серии! Я так жалел, что тебя нету! Там один наш очень сильный комиссар...

Ася, не переодеваясь в домашнее, стояла у окна строгая и чужая. Симагин смотрел ей в спину, она не могла не чувствовать его взгляда. Но не оборачивалась. Наверное, она хотела курить.

— А он как подскочит и между глаз плюху — бемц!

— Да, — сказал Симагин, — какая жалость, что я не знал про кино. Я бы с вами пошел.

— А я маме сказал, чтобы тебе позвонить, а она сказала, тебе надо работать и ты поздно придешь... А он все равно еще не упал, а выхватил «маузер»!

— Я сегодня как раз рано пришел. Еще ужин не остыл.

— Ты что, что ли, меня не слушаешь? — обиделся Антошка.

— Еще как слушаю.

Она окаменела. Взгляд жег спину. Но обернуться не могла. Днем сто раз набирала телефон симагинской лаборатории. Но сразу вешала трубку. А теперь не могла обернуться. Ей непрерывно мерещился Симагин в толпе, она стискивала руку Антона, готовая подхватить его и броситься навстречу, и сердце сходило с ума. А теперь не могла обернуться.

Ладони Симагина беззвучно и мягко охватили ее плечи. Где-то на границе сознания мелькнуло, тая, «...он обидел...» и погасло. Она запрокинулась, прильнула затылком к его плечу — веки упали. Он.

— Асенька, — сказал Симагин. Его пальцы повелительно и нежно напряглись на ее узких плечах. — Асенька, ну что ты?

— Симагин, — прошептала она, почти не слыша себя. — Что же ты делаешь, Симагин. Вместо того чтобы сразу меня высечь, мучил целый день...

Послышался звук закрывшейся двери, и приглушенный голос Антона сказал солидно и с пониманием дела:

— Целуйтесь, я ушел.

Симагин проглотил ком в горле.

— Не-ет, — возразил он изумленно и убрал руки. — Что это ты выдумал? Ты же мне фильм не досказал!

Ася беззвучно смеялась, затылком ощущая, как движется его кадык.

Стены не было.

Некоторое время Антошка и Симагин разбирали варианты борьбы комиссара со все возрастающими количествами белобандитов. Когда комиссар в одиночку очень убедительно положил целую дивизию каппелевцев, усиленную десятком британских танков и двумя аэропланами, причем ни одного человека не убил до смерти, а всех только оглушил и взял в плен, Антон, потрясая руками, возопил: «Ну почему они вот так не показывают?!» Глаза у него горели. Время, однако, поджимало, и Ася стала загонять Антошку в постель. Он резонно отвечал, что в переломные моменты мировой истории истинному коммунару не до сна. Ася, не растерявшись, заметила, что долг доблестного борца — использовать для отдыха краткие затишья, иначе в ответственный момент силы могут изменить борцу. Переодевавшийся Симагин подхватил и, прыгая на одной ноге, из коридора привел несколько примеров из деятельности крупных коммунаров Азии, Африки и Латинской Америки, когда они попадали в трудные положения из-за недооценки роли отдыха. Убежденный Антон немедленно дал себе совершенно секретный приказ идти спать и начал вымогать у Аси честное слово, что его разбудят сразу, если произойдет нечто решительное. Ася торжественно поклялась, и через десять минут Антон ровно сопел.

Симагин пил чай с кр-рэнделем. Чай был замечательно вкусный. Симагин удовольственно прихлебывал, опять ощущая непоколебимую уверенность в благополучном исходе решительно всего, и в этот момент в дверь кухни несмело постучали.

Симагин удивленно поднял голову.

— Можно? — спросил женский голос; разумеется, Асин, и все-таки какой-то не Асин, напряженный и робкий.

— Э-э, — ответил Симагин, — конечно...

Дверь медленно отворилась.

Ася была в том белом платье, о котором он мечтал. Она была в белых девчачьих гольфах, на голове ее громадной ласковой стрекозой уселся белый бант. Она стояла, скромно сдвинув щиколотки, и теребила ремешок сумочки.

— Простите, пожалуйста, что я так поздно, — сказала она застенчиво. — Ужасно поздно, да? — Она на секунду подняла веки, стрельнула глазами и опять потупилась.

Симагин перевел дух. Начиналась игра, но какая — он пока не понимал. Когда он увидел такую Асю, ему стало не до игр.

Ася терпеливо ждала.

— Нет, вы совсем мне не помешали, только я... тут по-домашнему, простите...

— Ой, это ничего! — поспешно сказала она.

— Тогда проходите, прошу вас. Хотите чаю?

— Благодарю вас, Андрей Андреевич, я не голодна, — скромными шагами она вошла в кухню, и от движения грудь ее, обещая, открыто заколебалась под тонкой белой тканью. Симагин опять на миг позабыл все слова, и Ася, чувствуя прикосновение его взгляда, смутилась не шутя, ее шею и подбородок залила краска.

— А откуда вы знаете, как меня зовут? — спросил Симагин.

— Так я же к вам и пришла. Меня зовут Таня, я учусь в десятом «бэ» классе сто третьей школы — той самой, в которой учились вы. Мы собираем информацию о наших выпускниках, ставших великими людьми.

У Симагина отвалилась челюсть, но он тут же мобилизовался.

— Ну, разве я такой уж великий, — сказал он небрежно. Школьница Таня вся так и подалась к нему, распахивая свои замечательные глазищи:

— Конечно! Я про вас сочинение писала — «Наш современник»! — Она осторожно, одним пальцем обнаженной руки тронула вчерашнюю гвоздику. — Какие замечательные цветы, — сказала она благоговейным шепотом. — Это вы купили?

— Я.

Она покивала — бант напряженно замахал полупрозрачными крыльями.

— А ваша жена уже спит?

— Э... — отозвался Симагин. — Знаете, Танечка, ее нет дома.

— Где же она в такой поздний час? — наивно удивилась школьница Таня. Симагин неопределенно пожал плечами. — А она не обидится, если застанет здесь молодую девушку?

— Она не вернется сегодня, — решился Симагин. — Видите ли, они с сыном поехали в гости к ее маме и там переночуют.

— Правда? — с восторгом произнесла прекрасная десятиклассница.

— Правда, — заверил ее Симагин. Он понял свою роль. — А вас не будут ругать дома? — заботливо спросил он. — Ведь уже действительно поздно.

— Я родителям сказала, что мы всем классом идем смотреть мосты. Так что я хоть всю ночь могу... Ой! — Она как бы испугалась. — То есть я не то хотела...

Возникло колдовское ощущение — будто все и впрямь впервые. Будто они оба новые и могут быть такими, какими захотят; или такими, какие они сейчас, вне нажитых опухолей и шрамов; будто позади — ничего, зато впереди — все: неведомое, сверкающее, без рутины и шлака... Воркуя, они перешли в комнату. Симагин зажег торшер, включил магнитофон тихонько. Таня прохаживалась, будто бы осматриваясь, а на самом деле показывая себя — держась очень прямо, грациозно переступая стройными ногами. Платьице туго охлестывало их при каждом шаге.

— Замечательная музыка. Так и хочется танцевать, — остановилась и сказала искусительно: — Я вас так стесняюсь.

— Правда, давайте потанцуем, — вдруг тоже как-то застеснявшись, предложил Симагин.

— А ваша жена? — спросила Таня. — Она вас поймет?

— Не знаю, — честно сказал Симагин.

— Скажите, Андрей Андреевич. — Она огладила платье на груди и спросила едва слышно: — А я... вам нравлюсь?

— Очень. Вы же видите, Таня.

— Я красивая, да?

— Да.

— Я же совсем молодая.

— Совсем, — ответил Симагин, все больше волнуясь. Это была еще игра — и уже не только игра, и он опять не понимал что.

— Вы этого еще не знаете, но вы поверьте мне: я очень нежная и добрая девочка.

— Глядя на вас, Таня, — чуть перехваченным голосом сказал Симагин, — в это нельзя не верить.

— Я в вас влюблена по уши.

Он смолчал.

Она глубоко вдохнула воздух и отчаянно спросила:

— Вы бы хотели, чтобы я стала еще другой вашей женой?

У него совсем перехватило горло.

А она, мягко и жарко сверкая взглядом ему в лицо, спросила еще:

— Не просто до утра, а надолго? Чтобы и я, и она? Нет, не так, простите, — всполошенно прервала она себя и поправилась: — И она, и я?

— А вы бы хотели? — только и смог спросить он, но она, не давая ему ни секунды передышки, сказала просто и просяще, словно это разумелось само собой:

— Господи, да я бы все за это отдала, я же вас люблю. А вы?

То была не игра — волшебство. Юная фея нашла тон с таким пронзительным чутьем, что в ответ нельзя было ни отшутиться, ни сфальшивить. И Симагин, раздираемый сладкой болью соединения, сказал, как говорят иногда в миг тоски или счастья со случайными собеседниками, но почти никогда — с теми, с кем пылесосят квартиру и считают трешки, оставшиеся до зарплаты:

— Я был бы очень горд, Таня... очень... счастлив. И очень бы всех любил. И... очень много мог бы, гораздо больше... — Он с силой провел ладонью по щеке и вдруг улыбнулся беспомощно: — Значит, хотел бы?.. Но только если бы нам всем не приходилось друг другу врать. А это, наверное, невозможно...

Она смотрела на него с восхищением и печалью.

— А жена вас часто не понимает?

— Случается... Наверное, как и я ее.

— Не сердитесь на нее. Пожалуйста.

— Я никогда на нее не сержусь. Не умею. Только очень страшно, и все валится из рук.

Она пошла в его руки.

Сквозь неощутимое платье, лишь усиливающее близость наготы, замерцало в его ладони ее тепло. Перед глазами покачивался огромный бант. Он ласково передвинул одну ладонь ей под мышку, а другой осторожно потянул к себе, как бы поворачивая, — она поняла, она удивительно понимала его руки: продолжая переступать в танце, изогнулась гибко, и в распахнутую ладонь Симагина преданно вошла прохладная выпуклость, увенчанная твердой, набухшей короной. Симагин потерял дыхание, и Ася не сразу смогла произнести то, что хотела, — настолько оглушающим оказалось это простое прикосновение.

— Вы не осуждаете меня?

— Я преклоняюсь перед вами.

— Я очень долго не решалась прийти. Но не смогла не прийти. Потому что любить надо только того, кого любишь, правда? Что бы там ни было. Иначе жить незачем.

— Моя жена часто повторяет одну фразу: люблю — это значит помогаю, пока не сдохну.

— Эту фразу она впервые услышала от вас. Вы просто забыли.

Он хотел спросить: «Откуда вы знаете, Таня?» — но спросил:

— Мне можно поцеловать вас?

Она засмеялась тихо, как мама подле засыпающего ребенка, и плотнее вжалась грудью в его ладонь.

— Вам все можно.

— Все?

— Таким, как вы, должно быть можно все. И я жизнь положу, чтобы этому помогать. Чем больше вы сможете, тем лучше будет людям. Всем-всем.

Ослепительной алой молнией касание губ распороло тьму в закрытых глазах. Мир закружился, закачался, как сверкающий колокол. Симагин стал снимать с Аси платье, и без памяти влюбленная девочка, почти не защищаясь, лепетала: «Нет, нет, подождите чуточку...» — а он уговаривал шепотом, властно и нежно умолял; глубинно светясь, будто белая яшма в лунном мерцании, Ася упала на колени, помогая раздеться уже ему, прижимаясь лицом, страстно ловя открытыми губами, а потом, прошелестев, развернулись, как почки весной, свежие простыни, и Ася стала маленькой, вся поместившись в его руках, ее можно было лепить, как глину, как воск, и он слепил из нее живой цветок; счастливый цветок расцвел от тепла, раскрылся, и Симагин вольно упал в его трепетную горячую глубину, с гортанным всхлипом Ася выгнулась дугой, раскинув восхищенные, но по-прежнему таинственные лепестки рук и ног — терпкая судорога била его и ее друг о друга долго, долго, и когда, казалось, исступленное двуединство стало вечным, грянул тянущий взрыв, огненная вспышка извергающегося протуберанца; они еще обнимали друг друга, но чувствовали: удаляется... отламывается... гаснет.

— ...Какая ты актриса, — сказал Симагин. Ася тихонько засмеялась и ответила:

— Лиса Патрикеевна. По должности положено.

— Ничего себе по должности. — Он озадаченно покрутил головой. — Хорошенькие же у вас там должности... Лиска-Актриска.

Она польщенно сказала:

— Ты сам, между прочим... Казанова. Такое мне нашептывал!

— Правда? — глупо гордясь, спросил Симагин.

Она встряхнула головой и задорно продекламировала:

— С неба сыплется снежок! Жить на свете — хорошо!

— Неужели помнишь?

— Самый светлый день, — сказала она его словом и повторила, чтобы он вспомнил наверняка: — Мне было так светло.

Он вспомнил. Она поняла это по свету в его глазах.

— Расскажи мне мой стих, — попросил он.

— Думаешь — забыла? — Она уселась, обняв колени руками, и старательно, как первоклашка, стала читать:

С неба сыплется снежок,
Жить на свете — хорошо.
Я слепил себе снежок,
А потом слепил ышшо.

— Здорово! — восхитился Симагин. — Даже про «ышшо» запомнила!

— Не мешай.

Я снежком в тебя попал,
А другой тебе отдал.
Ты промазала в меня
И сказала: жизнь — фигня.
Я еще снежок скатал
И опять тебе отдал.
Ты отнекиваться стала,
Это что-то означало.
Я нагнулся мало-мало,
Как бы что-нибудь нашел.
Ты стрельнула, и попала,
И победно закричала,
Заплясала и сказала...

Она сделала паузу, стрельнув на Симагина озорным взглядом, и закончила:

Жить на свете — хорошо.

Симагин слушал, улыбаясь до ушей. Потом перевел дух — оказалось, он не дышал, пока она читала, — и благодарно прижался щекой к ее упругому бедру.

— Ты мог бы стать большим поэтом, — сказала она лукаво.

— Будешь издеваться — побью.

— Это мысль. Знающие женщины говорят, что, когда любимый бьет, — это ни с чем не сравнимо.

Он легонько шлепнул ее.

— Давай отложим, — сказала она мягко. — Я же никуда не денусь. А сейчас спи, любимый.

Он закивал, гладя щекой ее гладкую кожу.

Самый светлый день... Симагин был истерзан стыдом, уже две недели не встречался с Асей, даже не звонил — и вдруг она позвонила ему на работу сама, как ни в чем не бывало. Куда ты пропал, солнышко? Я соскучилась ужасно. Знаешь, мама сейчас в творческом доме в Комарове, переводы свои переводит, мы с Антоном едем к ней на субботу. Присоединяйся, сейчас красотища. Пообедаем там, оставим ей Тошку и побродим всласть! Не пожалеешь!

Мир был скован бесснежным морозом, беззвучным и голубым. Покрытый изморозью, твердый, как дерево, песок глухо отстукивал под ногами. Нескончаемый напевный шелест стоял над морем, затянутым стеклянной чешуей трущихся друг о друга льдинок, рубиновый свет декабрьского солнца переливался в них и скользко сверкал.

День угасал, когда Ася и Симагин свернули в лес. Снежная крупа тонким слоем припорошила песок и хвою на открытых местах; под огромными елями угрюмо темнели неукрытые бурые пятна. Розовый отсвет неудержимо таял, воздух заполняли прозрачная синяя мгла и тихая печаль не то умирания, не то освобождения. Здесь, вдали от плоского шелестящего простора, было потусторонне тихо, и Асе взгрустнулось; Симагин, чувствуя себя виноватым за все, начал придуриваться, как умел, смешить, пытался залезть на дерево, затеял игру в снежки... а стих сложился сам собой после того, как Ася влепила ему нашпигованным песчинками и хвоинками снежком в аккуратно и якобы невзначай подставленную филейную часть.

Возвращались, почти не разговаривая, и были так всеобъемлюще, так по-зимнему нежны друг с другом, что в тот вечер Симагин смог взять ее.

Вспоминая и улыбаясь, он заснул.

Она некоторое время сидела, не двигаясь, и коротко взглядывала на его мальчишескую спину с выпирающими лопатками и позвонками. Смотреть было нельзя — он хоть и отвернулся, но спал невыносимо чутко. А ей нравилось

смотреть. Очень осторожно она легла и укрылась. Как сегодня чудесно. Даю счастье. Никто так не может, одна я. Был хмурый, усталый. И вот засверкал. Ей хотелось еще прильнуть, почувствовать кожу кожей. Он спал. Как он выматывается. Как он красиво спит. Хочу все время быть женщиной. Не просто человеком, который заботливо маячит рядом, — желанной. Всеми желанными. Хочу, чтобы Вербицкий больше не приходил.

Она уснула, и ей снилась радуга. Ася скользила между ее неощутимыми, туманными слоями, сама бесплотная и невесомая, как воздух, и ей казалось, что в детстве она уже бывала здесь, да позабыла дорогу — а теперь нашла и останется уже навсегда среди праздничного великолепия и тишины, тишины...

Отчаянно зевая, Симагин ворвался в лабораторию.

— Аристарх Львович, — позвал он, — я бы хотел поговорить с вами перед запуском. У вас найдется время сейчас?

Математик группы сумрачно поднялся из-за своего стола.

— Объявляется отпуск на четверть часа! — громко возвестил Симагин. — Покидать помещение разрешается!

— Есть! — бодро воскликнул Вадик Кашинский. И лукаво осведомился: — А отпускные где можно получить?

Смеясь, Симагин шикнул на него, и Вадик пулей выскочил из лаборатории.

Карамышев с отрешенным видом озирал бездействующие приборы; мощные очки его посверкивали холодно. Он был очень дельный математик, Карамышев. Только нелюдимый. Отгороженный. Ему уже шло к сорока.

— Помните? — спросил Симагин, показывая ему вчерашнюю страницу блокнота. Математик всмотрелся.

— Разумеется, — ответил он сдержанно, — странно было бы не помнить. Наши неудачи мне памятны. Это прогиб в начале онкорегистра, не так ли?

— Так, — подтвердил Симагин. — Только никакой это не прогиб.

— Простите? — Бровь математика удивленно высунулась из-за тяжелой оправы.

— Знаете, это, наверное, что? Здесь в момент контакта резонабельных спектров и возникает резонанс. Тут вымах-

нет здоровенный пичище. Никакой это не прогиб, а пик, только потенциальный. Пока спектр не в резонансе, фиксируется лишь момент ожидания. Естественно, стандартный матаппарат его не описывает.

— Одну минутку, — чуть нервно попросил Карамышев.

— Участок ожидания аппарат не способен охватить, — пояснил Симагин, — поскольку этот участок не несет обычной биоспектральной информации. Мы долдоним: резонанс, резонанс. Мечтаем о нем... Вот тут он, тут! Ежику же понятно: резонирующий спектр должен отличаться от несрезонировавшего. В первом случае спектрограмма обязательно отразит всплеск, вызванный резонансной накачкой!

— Остроумно, — отрывисто сказал Карамышев, хмуря свой широкий, с залысинами, лоб.

— Согласны?

— Как рабочая гипотеза ваше...

— Тогда погодите. Есть еще одно. Мы провели пять серий, так? Пять онкорегистров по восемь полос в каждом — сорок полос. Из них тридцать семь остались без изменений, три претерпели некие изменения, которые мы истолковали как частичную подсадку...

— Андрей Андреевич, статистика далеко не набрана, и, по-моему, выводить закономерности пока преждевременно. Нужна по крайней мере сотня серий, прежде чем элемент случайности...

— Да нет же, Аристарх Львович, при чем тут сотня! Тот же резонанс! Что мы делаем? Берем один спектр и сажаем на другой. А он летит себе мимо, не зацепляется. Потому что зацепиться он может, только если участки ожидания обоих спектров срезонируют. Мы, как ослы, разорвали подсадку и резонанс, а это одно явление, внерезонансной подсадки нет и быть не может, только резонансная накачка и обеспечит энергетический приоритет внешнего спектра. Вот здесь, — Симагин ткнул в сопряжение пиков, — резонанс, а уж дальше по всей полосе — подсадка. Подсадить можно что угодно, но в запальных-то уж точках будьте любезны удовлетворить требованиям объекта! Постулирую: по чистой случай-

ности, вероятность которой, очевидно, не слишком велика, в первой и четвертой сериях так и случилось.

Карамышев медленно кивал, сосредоточенно глядя куда-то в сторону.

— Понимаю, — проговорил он после паузы. — Но, простите, это не частное уточнение, а фундаментальная поправка теории, качественный скачок. Вы говорили с Эммануилом Борисовичем?

— Не успел еще. Только что придумал, пока ехал.

У Карамышева дрогнули уголки тонких губ.

— Как вам это пришло в голову?

Симагин смущенно улыбнулся и пожал плечами. Откуда он знал как. Потел в автобусе, думал обо всем сразу; если сильно пихали — отпихивался...

— Следовательно, — уточнил Карамышев, — подсадки надлежит конструировать с учетом этих вот участков каждого объекта?

— Именно! У них своя структура, и мы ее не поймем, пока все эти точки до единой не выявим. Главное сейчас — разработать методику обнаружения в спектрограмме этих... потенциальных пиков, запальных точек, участков ожидания — назовите как хотите.

— Симагинских точек, — серьезно предложил Карамышев. Симагин замахал на него руками.

— Ну уж! Симагинских дочек...

Они дружелюбно посмеялись. Обычно между ними стоял холодок, но сегодня они говорили, как соратники, и было вдвойне приятно. И даже Володя улыбался из папиросного дыма, из-за частокола мутно-желтых ногтей. Он все слышал, и в глазах его, под вечно насупленными, лохматыми, смолоду седыми бровями, вновь плясало пламя. Он бы кожу дал с себя нарезать ремешками, чтобы скорее был получен результат, — но умел лишь контролировать частотные характеристики блинкетов, а в прорыв, в бой за жизнь его сына первыми опять шли другие. Посторонние теоретики.

В этот вечер Симагин остался в лаборатории вдвоем с Карамышевым.

Придя домой с проклятой кассетой в кармане, Вербицкий сказал себе: хватит, и взялся за дело — задернул шторы,

отключил телефон, тщательно сел за стол; от клавиатуры его воротило, и от того, что получалось на бумаге, воротило, но надо, надо было сделать нечто вещественное, наконец, я тоже могу делать! Тоже!! Он работал без перерыва до позднего утра, и мог бы, вероятно, чувствовать удовлетворение: полтора десятка истоптанных литерами страниц лежали на столе, сложенные аккуратной стопкой; но боже мой, как горько, как мерзостно было смотреть на это смердящее изобилие, что за ремесленные поделки перепрыгивали на бумагу с тупо пляшущих пальцев! Раздуваясь от важности — из грязи в князи, от своей обретенной незаслуженно, как бы за взятку, увековеченности, они монументально хохотали над всем невысказанным, застенчивым настоящим. Разучился, гвоздило в висках, разучился... Он встал попить. Конечно, за взятку; что такое магистральная тема — это тема, дающая взятки; а уж в чем эта тема заключается, все равно. Она может воспевать фанатизм тридцатых, инфантилизм шестидесятых, может витийствовать о вечных ценностях и возвращении к истокам, но если она становится привилегированной, ее захлестывают серость и ремесло. В привилегированный слой всегда прорывается серость, алчущая, напрягаясь поменьше, получать побольше единственно благодаря статусу. В баре было много чего помимо минералки, и Вербицкий едва подавлял желание намешать чего-нибудь оглушительного — может, тогда отхлынет вязкая трясина немоты? Но это уж последнее дело, стоит начать работать так, и через год-другой от человека остается нечто кишечнополостное, нет, нет, гордость не позволяла ему, гордость и воля, он перемелет, он превозможет, он будет сильнее, черт возьми, и повалит эту глухую обшарпанную стенку... между чем и чем? Что ушло? Он не мог понять, но чувствовал: что-то ушло, и жуткий, первобытный страх охватывал его при мысли, что в его тридцать с маленьким хвостиком лет это ушло уже навсегда. Как молодость. Как любовь. Слова, слова... Но неужели явления, обозначенные ими, сродни друг другу и растут из одного корня? Неужели это уже старость? Нет! Нет! До новых встречь, говорите? Я вам покажу до новых встречь! Сожрете! Пальчики оближете! Я не капитулирую! — тряся ста-

каном, вслух закричал он, вспомнив ионесковского «Носорога». — Будьте вы прокляты, я молод, молод, молод! — Он вернулся за стол. Пулеметно выстреливал фразу-две и вновь надолго замирал, глядя в потолок, курил до одури, вставал, пил кофе, ходил по пустой квартире — шесть шагов по комнате плюс два с половиной по кухне; если идти зигзагом, то плюс еще три шага. Ничего, кроме работы! Делать! Делать!

Он закончил главу, выдернул лист из машинки и опять закурил, опять выпил теплой солоноватой шипучки, принял две таблетки феназепама.

Подушка и простыни были горячими, липкими — он долго варился в них в каком-то сумеречном состоянии, отчетливо понимая, что не спит, но не в силах пошевелиться. Потом сверху упала темная штора, и все погасло.

Очнулся вялый, разбитый, больной. Сердце вздрагивало редко и немощно. Рот был полон мерзости, голова гудела. Некоторое время Вербицкий припоминал, кто он и что с ним происходит. Пот время от времени проступал то на груди, то на ногах. Затем он принял душ. Затем сделал несколько бодрящих асан. Захотелось есть, он полез в холодильник, но обнаружил лишь заветренный, закраснелый ошметок колбасы.

Войдя в до тошноты знакомое кафе, на черном фоне стен он сразу увидел знакомые лица. За крайним столиком сидел Ляпишев — уже на взводе, со съехавшим галстуком и расстегнутым воротником, ворочал мутными глазами, а напротив него аккуратно кушал яичницу миниатюрный Сашенька Роткин. Завидев Вербицкого, Ляпишев вскочил и закричал, размахивая руками:

— Вот он тебе скажет! Он скажет тебе! Иди к нам, Валериан!

Сашенька, продолжая кушать, поздоровался с Вербицким приветливым кивком. Вербицкий сел.

— Чем кормят нынче?

— Яйцами! — сказал Ляпишев, утирая губы ладонью, и вдруг коротко заржал.

— Понятно.

— Ты, Валериан, читал последний сборник этой мрази? Читал, говори? Не читал?!

— Тише, господа, тише, — поморщился Сашенька брезгливо.

— Не читал, — пробормотал Вербицкий, озираясь в поисках официантки.

— Он не читал! Это же сволочь!

Сашенька опять поморщился, жуя, и позвенел вилочкой по тарелочке.

— Он мне еще стучит! — заорал Ляпишев и грузно потянулся через стол, но Сашенька, продолжая равномерно и как-то чрезвычайно культурно двигать челюстями, проворно откинулся на спинку кресла и выставил испачканную в желтке вилку. Ляпишев с размаху напоролся на нее пятерней, зашипел и повалился назад.

— Прости, — спокойно сказал Сашенька, на миг перестав жевать.

— Хорошо у нас на БАМе! — завопил Ляпишев, растирая ладонь. Показалась официантка и подозрительно стала к нему присматриваться. Вербицкий указал ей на стоявшую перед Сашенькой яичницу и потыкал себя пальцем в грудь. Официантка кивнула и удалилась. — В молодом задорном гаме! В гуле рельс и шпал бетонных, в р-реве «КР-РАЗов» многотонных!

— Только вот прораб наш новый слишком тон забрал суровый, — спокойно и чуть удивленно добавил Сашенька.

— Он неопытен, да строг, еле держит молоток! — заорал Ляпишев.

— Да, это мои стихи, спасибо, — сказал Сашенька, — я помню. Но, прости, никак не возьму в толк, отчего ты к ним прицепился? — Он докушал яичницу и теперь тщательно подбирал остатки маленьким кусочком хлебного мякиша. — Критика приняла сборник довольно благосклонно... во всяком случае, пропаганду оппозиционных КПСС политических структур мне никто не инкриминировал. Что же касается поэмы, начало которой ты столь любезно нам сейчас цитируешь наизусть, было сказано, что она верно ставит вопрос об авторитете непосредственного руководителя на производстве.

— Валериан! — Ляпишев всплеснул руками и едва не упал со своего стула. — Он не понимает! Всякую меру потерял! Всякую!

— Всякую? — Сашенька проглотил напитанный желтком и маслом мякиш и, приятно улыбаясь, аккуратными движениями стал раздирать обертку на сахаре. — Это комплимент.

Он был такой чистенький, изящненький, в ухоженной бородке с ранней благородной проседью — так бы и дал ему между глаз.

— Сволочь! — пробурчал Ляпишев и сунул наколотое место в пасть — пососать.

— Чего ты, собственно, от меня хочешь, Ляпа? — спросил Сашенька, побалтывая ложечкой в чашечке. — Разве я придумал затыкать литературой организационные прорехи? Разве я придумал: где не справился зеленый патруль — давай для воспитания книжку, как он справился...

— Слушать тебя тошно, Вроткин! — басом гаркнул Ляпишев. — Болтать ты горазд, а вот писать — не тянешь!

— Ах, ты так ставишь вопрос! — звонко произнес Сашенька и резким движением положил ложечку на стол рядом с блюдечком. Ложечка звякнула. — Ты полагаешь, например, что «Гамлета» я не потянул бы? А вот представь — я вспомнил детские мечты, чуток напрягся — и потянул. И что я слышу?

Тут изнемогавшему от голодного урчания в животе Вербицкому принесли благоухающую, еще чуть шипящую яичницу.

— Погоди, Валериан, не жри, — пробурчал Ляпишев, наклоняясь к Вербицкому. Вербицкий отшатнулся. — Я отлучусь — понял? Хочешь — со мной? Угощу!

— Куда? — поразился Вербицкий.

— В туа-лет, — заговорщически выдохнул Ляпишев и нетвердо подмигнул всей щекой.

— Ты что, с ума сошел?

Ляпа потыкал вниз, указывая на свой кейс, а потом приложил палец к собранным в гузку губам.

— Так что же ты услышишь, Саша? — спросил Вербицкий, и Ляпишев с досадой крякнул. Сашенька холеной рукой поднес к выпестованной бородке чашечку и отпил глоточек кофе.

— Примерно следующее, Валера, — ответил он затем, изящно возвращая чашечку на блюдечко. — Во-первых, длинноты. Две трети текста не работают на сюжет. Краткость — сестра таланта, сказали бы мне. Надлежит беспощадно убирать из текста все, что не имеет непосредственного отношения к поднимаемой проблеме, — лишь так можно стать подлинным мастером. А если бы я, подобно своему августейшему герою, завернулся бы в плащ и сказал: «Я отнесу это к цирюльнику вместе с вашей бородой», а потом, обернувшись к редколлегии, пояснил бы: «Он признает лишь сальные анекдоты, от остального засыпает», — уже не принц Полония, заметь, а Полоний, слегка приподнявшись из редакторского кресла, чикнул бы меня ножичком...

Вербицкий ел, усмехаясь, и с наслаждением чувствовал, как горячие куски ползут по пищеводу вниз и заполняют сосущую пустоту. Ляпишев встал, горбясь, со второй попытки взял кейс — там тупо звякнуло стекло — и, загребая ногами, удалился. До двух оставалось меньше часу, но ему, видно, было невмоготу. А может, переплачивать наценочный процент не хотел. Сашенька с невыразимым презрением проводил его взглядом выпуклых умных глаз, а потом отпил еще глоточек кофе.

— Ладно, — сказал он. — Убрали длинноты, вырезали мистику... нет, ссылки на аллегории и метафоры не проходят — читатель может не понять, вы ж не классик какой, чтоб над вами долго думали... мистику вырезали. Теперь главное: о чем, собственно, произведение? — Он красиво повел рукой — зеленым и розовым огнем полыхнула дорогая запонка. — О каких-то абстрактных материях: право на месть, право на любовь... добро и зло, флейты какие-то... А, нет, флейты мы вырезали как длинноты. Все равно. Как опытный редактор, скажу вам попросту: белиберда. Ложная многозначительность. Сколько уж об добре и зле-то говорено! Что воду в ступе толочь, молодой человек? Где связь с жизнью? Где, например, борьба за оздоровление управленческого аппарата? Вам с вашим сюжетом и карты в руки — а у вас отражено настолько туманно, что читатель может не

понять. — Сашенька раздухарился не на шутку. Его лицо нежно порозовело, речь лилась четко и плавно, сардоническая улыбка не покидала полных, ярких губ. Вербицкий ел. — В чем конфликт? Чем Клавдий-то плох? Если убрали мистику — так лишь тем, что спит с мамой героя. Это не аргумент. В законном же браке спит! Герой-то ваш с гнильцой получается, эгоистически препятствует счастью матери. Вам бы вот что — вам бы прояснить политические платформы. Пусть покойный папа вашего героя, опираясь на широкие слои населения, отстаивает независимость страны, самобытную национальную культуру, смело выдвигает одаренных выходцев из низов, масонов душит, строит мануфактуры... А дядя, наоборот, — колос, пораженный спорыньей в сравнении с чистым: ставленник реакционной дворцовой камарильи, марионетка зарубежных лож, крепостник, олигарх... Как еще вы привлечете симпатии читателя? Как вы докажете, что этот ваш дерганый неврастеник — ну это между нами, я-то понимаю, что вы писали героя с себя, все так делают, — что он лучше Лаэрта, у которого, в общем-то, и цельная натура, и активная жизненная позиция... Стоп! Позитивную социальную программу должен отстаивать близкий и понятный народу персонаж. Знаете, молодой человек, надо поменять этих парней местами. В общем, тут есть над чем поработать.

— А ты пробовал, Саша? — спросил Вербицкий.

— Только дураки учатся на собственных ошибках, Валера, — чуть прихлебнув кофе, ответил Сашенька. — Я учусь на чужих.

— Саша, эту фразу какой-то штурмфюрер придумал, — вежливо напомнил Вербицкий.

— Нет, Валера, он был адмирал, — столь же вежливо поправил Сашенька.

Размашистым зигзагом влетел оживившийся Ляпишев. Глаза его горели, как у влюбленного. Он стукнул уже безмолвный кейс на пол и плюхнулся на стул.

— Все бубнишь, Вроткин? — сипловато спросил он, и из него пахнуло свежевыпитой водкой. — Мели, Емеля!.. — И вдруг он громко икнул. А Сашеньку было не остановить, он даже внимания на Ляпу не обратил.

— Великие культуры рождались великими социальными противоречиями, — чесал он, как по писаному, и все активнее прибегал к хорошо поставленной, пластичной жестикуляции. — Рабовладение: Гильгамеш, Махабхарата, «Илиада», Библия. Феодализм: «Песнь о Роланде», «Речные заводи», «Гаргантюа»... Проклятое буржуинство: «Карамазовы», «Война и мир», «Форсайты», Маркес, Сартр... При долговременном и непримиримом антагонизме двух-трех громадных групп населения весь арсенал культуры творцы бросали в битву — латать или крушить эти немногочисленные, но грандиозные стыки: правитель — подданный, бог — человек, совесть — польза, абсолютно свой — абсолютно чужой... И апология, и бунт были фундаментальны и апеллировали к обществу в целом! Сразу — миллионы соратников и миллионы противников! А теперь? Как вести сварной шов? Как ущучить завмага? Расстрелять альбо помиловать ослепшего и оглохшего от старости сталинского палача? Предупредить или не предупредить население провинциального городка о приближающемся сильном порыве ветра? Противостояния хозяйственных, административных, псевдополитических ячеек мелки, кратковременны и бесчисленны, они должны устраняться чисто правовым путем. А если они не устраняются правовым путем, значит, дело совсем не в них, а в каком-то ином, весьма крупном и весьма секретном противоречии. А мы читаем: Вася выступил против Пети из-за некондиционного асфальта, а как поправили асфальт, тут и сказке конец!

— Ох, гнойник ты, — сказал Вербицкий. С приятной улыбкой и легким поклоном Сашенька развел руками: дескать, что ж поделаешь, извини. Или даже: не обессудь, дескать, на том стоим. — Не надоело, Саша?

— Надоело, Валера, — ответил Сашенька. — Давно и навсегда. Если культуру сводят к иллюстрированию конкретных задач, если литература по уставу обязана описывать не то, как есть, а то, как надлежит быть, — общественное сознание теряет перспективу. Конкретные задачи заслоняют смысл и цель продвижения от одной из них к другой. Никто уже не помнит, для чего их решать, — важно решить, а еще лучше просто изобразить, что решили. Ни-

кто уже не спрашивает: «зачем?» или «что потом?» — в лучшем случае самые что ни на есть добросовестные спрашивают: «как ловчей?». Мораль уступает место результативности. Совесть не тянет против успеха. Нравственность подменяется умелостью. Но умелость применяется каждым в его личных, живых интересах. А когда вечные ценности в виде набора штампов используются как словесная вата для набивки чучел, симулирующих решения конкретных задач, — не обессудьте! Каждый видит, что они — лишь разменная монета, пошлый набор инструментов, которые каждый волен употреблять по своему разумению. Не поднимать до них свой интерес, а опускать их до своего интереса! А уж тогда индивидуальный интерес обязательно превратится в индивидуалистический, и любое новое средство будет использоваться в старых целях. Революционный террор? Для меня. Революционная перестройка? Обратно для меня! И ведь обрати внимание, Валера. Тех, кто рассматривает нынешние веяния как рычаг, понимаешь ли, возрождения Отчизны, создания общества нового типа, — тех бьют и консерваторы, и максималисты, те захлебываются, пытаясь втолковать бандитам, что такое совесть. А кто воспринял эти веяния как очередной кистень, как новые правила старой игры, — те процветают, те набирают большинство голосов, те создают организации и объединения, в литературе в том числе, — и их ни в коем случае не причисляют к оппозиционным структурам!

— Очень ты умный, Саша, — сказал Вербицкий. — Этакую-то бездну ума нешто можно на пустяки тратить? Все понимаешь, а делаешь как раз то, чего нельзя...

— Позволь, Валера, я не усматриваю тут никакого противоречия, — возразил Сашенька и, допив кофе, тщательно утерся салфеточкой. Ляпишев опять икнул, глаза его быстро стекленели. — Я понимаю некий закон природы, но это понимание отнюдь не есть возможность его изменить. Оно лишь есть возможность его использовать. Кто-то должен заполнять словесное пространство. Кто-то должен создавать шумовую завесу. Почему не я? Я умею писать. Я умен. Я молод. Имею я право не быть дураком и не прошибать лбом стенку? Имею право на не-унижение? Имею право на

не-инфаркт, нет? Имею право на не-писание кредо на заборе и на не-метание бисера перед свиньями? Имею я право — пардон, господа, все мы здесь свои — сам подкармливать своих любовниц, а не клянчить у них колбаски, сидя в рваных носках? И потом, Валера, тут еще одно. Когда я говорю от души и меня не понимают, мне, поверишь ли, делается очень больно. А вот когда я плету ахинею — я неуязвим. Я рассеял твое недоумение?

— Вполне, Саша.

— Я рад, Валера.

— Чертово ваше семя! — вдруг утробно высказался Ляпишев. — Ни себе, ни людям!

Сашенькины глаза недобро блеснули.

— Ошибаешься, — сказал он, обращаясь по-прежнему к Вербицкому, словно Ляпишева вообще не было за столом. — Это ваше семя — чертово. Именно я — и себе, и людям. Себе — то, что хочу. А людям — то, что они берут. А это, Валера, тоже большой талант — предлагать хлам с серьезным видом. Сначала ведь тошно, стыдно людям даже показать то, что навалял в минуту, которую еще оцениваешь как минуту слабости, — хотя на самом деле это как раз минута силы. Кажется, засмеют, на улицах станут пальцами в тебя тыкать. — Его ноздри нервно подрагивали. — И вдруг выясняется, что именно это и нужно. Глядь — и пошло, пошло, уже и не отвратительно, уже и весело, дерзко: жрите! Громоздишь нелепость на нелепость, серость на серость: пускай подавятся! Ведь не могут же не подавиться!! — Он страстно сцепил хрупкие белые пальчики. — Я смеюсь над ними, в лицо издеваюсь — а им некуда деться, правила игры за меня, они хвалят меня и дают мне денег. Британия шестнадцатого века сделала Шекспира. Не моя вина, что Россия восьмидесятых сделала меня. И потом... Знаешь, в истории довольно много было талантливых людей, которым было плохо, — Гомер, Вийон, Пушкин... А вот талантливых людей, которым было хорошо — а мне хорошо, — раз-два и обчелся.

— Да нет, Саша, — сказал Вербицкий дружелюбно. — Просто имен подобной моли история не хранит. В истории живут Платонов, Пастернак, Гроссман...

Сашенька сразу же поднялся и аккуратно задвинул на место свой стул.

— Было очень приятно, господа, — сказал он с улыбкой. — Не прощаюсь, вы меня не любите. Но вы меня полюбите.

Затем он слегка поклонился, повернулся упруго — маленький, напряженный — и пошел к выходу с гордо поднятой головой.

У самой двери, не выдержав, обернулся. Улыбки уже не было, глаза горели ненавидяще.

— От застойников по морде получал? И от перестройщиков будешь получать! Потому что еще не сдох и пишешь не о бывшем, а о нынешнем! Потому что, верно, корячился на Родине и за кордоном не прославился антисоветчиной, опубликовав которую здесь можно продемонстрировать Бушу и Тэтчер, как у нас теперь все изменилось! И на тебя здесь плевать! И всегда будет плевать! Ты и в историю не попадешь, и в жизни никому не понадобишься! Ты — моль, не я!

Ушел.

Ляпишев, дыша перегаром, навалился на плечо Вербицкого.

— Валериан, — беспомощно и жалобно, как ребенок, проговорил он. — Ты скажи. Он сволочь?

Вербицкий чуть пожал плечами. Одной яичницы ему явно не хватало. А на повтор денег не было.

— Конечно, сволочь, — ласково сказал он. — Успокойся, Ляпа.

Ляпишев облегченно, прерывисто вздохнул и опрокинулся на спинку стула.

— За Европами погнались, — забормотал он, свесив жирную голову и косо уставясь в потолок. — А что мы без Бога? Пшик! Человеку нельзя без веры — а во что? Чудо где? Нету! Чудодеев нет, гениев нет, а ведь только автор... ритет божест... жественности... Простак! Ты не понимаешь! Россия без Бога... Нет ни хорошего, ни плохого, понимаешь? Каждый сам решает, каждый для себя... Тебе на все это — тьфу! У тебя одна проблема — свой пуп! У всех — свой пуп! А у Сашки всем пупам пуп — пуп обиженный! Конечно... легче легкого ругать Россию. Да только, если ты не сволочь,

Россия тебя сволочью не сделает. А если сволочь, никакая... Атлантида не исправит... Валериан, когда человеку предлагают: откажись от совести, он что? Он может огорчиться, а может и обрадоваться. Сашка обрадовался. С моим удовольствием, сказал, сию секунду-с... да-авно дожидаюсь... Уведи меня, тут плохо...

— Зачем ты его Вроткиным-то в глаза зовешь? — спросил Вербицкий.

— А кто же он? — спросил Ляпишев, бессмысленно моргая.

Он был уже готов. Как бы не сгрябчили нас, с тревогой думал Вербицкий.

— Верить, — опять завел Ляпа, елозя по тесному для его зада стулу. — Во что-то нужно верить! Я же детский! Долдоны эти, думаешь, читают меня? Слыхом не слыхивали! Они вообще не читают! Хватит им плеера в ухо да видика в глаз... Мне приятель говорил, учитель он... шмакодявки с седьмого класса сосать приучаются. Ее спрашивают: зачем? Скучно, говорит, — уроки, собрания... Ей говорят: ну, любили бы друг дружку по-человечески. Он чего, настаивал? Нет, я сама, говорит. До брака надо хранить чистоту, это же ка-пи-тал! Одна добавила: не будет последствий. Чет-тырнадцать лет, Валериан! А я пишу: гуляли ученики ПТУ Надя и Сережа, ему нравилось, какая она красивая, какая у нее кожа чистая, нежная, и он наломал ей сирени и, преодолевая застенчи... чивость, взял за руку, а она спросила: «Тебе нравится твоя работа?» — «Да, я горжусь своей работой, только мастер у нас немно-ожечко консерватор». И мне говорят: все очень неплохо, но есть сексуальные передержки. Например, кожа. При чем тут кожа? Поймите, это же де-ети! Подростки! Пусть ему понравятся ее глаза... Валериан, кого от кого мы бережем? Мы себя от них бережем, мы их боимся и делаем вид, что ничего не замечаем...

— Ты тоже сволочь, — сказал Вербицкий.

Пахло бензином, гарью, печеным асфальтом. Ляпишев не стоял. Он неразборчиво бубнил о вере и вис на Вербицком. Черт, думал Вербицкий, куда его денешь? Бросить бы на асфальт, пусть валяется, хлам проклятый. Ляпишев начал икать совсем уже исступленно, и Вербицкий, загнанно ози-

раясь, привалил его к ближайшей стене. Как по заказу, по переулку поперли прохожие, таращась, будто пьяного не видели. Один даже прямо сказал вслух: «Давненько я таких бойцов не видел! А если я милицию вызову?» — «Ради бога!» — искренне ответил Вербицкий. Ляпишев навалился двумя руками на стену, спросил удивленным и совершенно трезвым голосом: «Да что же это такое?» — а потом переломился пополам, свесив голову ниже выкрутившихся рук, и в горле у него заклокотало. Вербицкий бессознательно пытался сделать вид, что не имеет к происходящему никакого отношения и стоит тут просто так, любуясь ландшафтами. Выцветшая, как моль, скрюченная бабка проползла мимо с туго набитой кошелкой, глядя укоризненно и опасливо. «Ты — моль, не я!..» Ляпишев отбулькал свое и заперхал, пристанывая; лицо его было зеленым, глаза спрятались. С каждым выдохом из него вырывалось: «О господи... О господи... О господи...» Бога ему подавай, подумал Вербицкий. Ему хотелось убить Ляпишева. И всех прохожих. И всех. Из-за угла вывернули парень с девушкой, у нее в руках был огромный букет сирени. Прямо Надя и Сережа, подумал Вербицкий. Они увидели Ляпишева и брезгливо перешли на другую сторону.

В такси Ляпишев ехать не мог — мутило; в трамвае не хотел. Он рвался в бой и падал, когда Вербицкий его отпускал, чтобы, например, пробить талон. «Я его отключу! — грозно ворчал он. — Я детский!» От него разило невыносимо. На них смотрели. Чудом их не сгрябчили по дороге.

Жена Ляпишева равнодушно глянула на висящего мужа и сказала:

— Бросьте на диван.

Вербицкий бросил. Ляпишев, вылупив кадык, завалил голову назад; рот у него разинулся, нога свешивалась на пол.

— Противно? — спросила жена.

— Приятно.

Она понимающе кивнула.

— Спасибо, Валера. Зайдите.

— Не стоит, пожалуй.

— Ну хоть на пять минут. Я вас кофейком побалую. На вас лица нет. Да и мне одной тут с ним...

Они прошли на кухню. За стенкой вдруг раздался оглушительный храп, и жена вздрогнула, лицо ее перекосилось гримасой животного отвращения.

— Уйду я от него, — сказала она вдруг. — Хватит.

— Опомнитесь, Рита, — ответил Вербицкий, рефлекторно принимая вид сострадающего. — Столько лет вместе...

— Вот именно. Восемнадцати, дура, вышла за него. Такая любовь — ах! Молодой, талантливый, добрый. Глаза светятся, детей ласкает. С братом моим младшим души друг в друге не чаяли, только и разговору: когда пойдем опять играть к дяде Коле? Ну, думаю, судьба. Теперь брат приходит из плавания, сквозь зубы цедит: брось, пока не поздно, эту падаль... Нет, не поздно. Мне двадцать восемь только, и я твердо знаю теперь, что главное в мужчине — ум и деньги.

— Рита, — спросил Вербицкий, с нетерпением глядя на кофейник. — А почему у вас нет детей?

— От этого? — с искренним ужасом произнесла Рита. Вербицкий пожал плечами. — Ну, сначала, знаете: рано, я хочу любить только тебя... Потом — субсидии. Я, девчонка, кормила этого гада, и училась, и работала, и тексты его вычитывала, пока он форсил и не мог пристроить ни одной рукописи. Какие тут дети. Теперь-то он пожиже стал — то ли водка, то ли на роду так написано... Да и слава богу. Надо, надо сначала. Громадные деньги по стране ходят — а этот сидит и буковки пишет!

— Вот как, — проговорил Вербицкий.

— А вот вы почему до сих пор один? — спросила она чуть ли не с намеком. — Неужели не нашли женщины настоящей?

— Нашел, — ответил Вербицкий. — Знаете, совсем недавно.

Он замолчал. Что я леплю, промелькнуло у него в голове. И вдруг будто ощутил снова, как проносится мимо недоступный сгусток животворного огня. Дохнул солнечным жаром и улетел... Вербицкого затрясла нервная дрожь. Да что это я, подумал он смятенно. И небрежно уронил, тщась развеять наваждение:

— Она, правда, замужем...

— Вы так спокойно это говорите.

— Потому что мне это не помешает.

— Как вы в себе уверены, — проговорила Рита мечтательно.

— Да, — просто ответил Вербицкий, — я в себе уверен.

Она вздохнула и сняла кофейник с плиты. За стеной раскатисто, жирно храпел Ляпишев.

— Я любуюсь вами, — призналась она. — Вы настоящий. Сильный, но не подонок. Сейчас таких мало, все дергаются, пыжатся... Завидую той женщине.

Я устал. Я устал, устал, устал же. И от тех, и от этих. Устал быть на грани, на острие, одной ногой здесь, другой — там; я уже знаю все, что происходит здесь, все угрозы и язвы, что вызревают здесь, выгнивают; но я хочу до сих пор того, чего хотел там, люблю, что любил там... И потому меня не слушают нигде. Устал, устал, устал. Что меня добьет? Ведь это не может длиться долго. Я уже не возмущаюсь ими, лишь боюсь, что сам стану таким же. Страшно же! Я так больше не могу, помогите хоть кто-нибудь!

Мне ничего не надо. Ничего. Почему я должен плутать в этом гноилище вечно, ведь есть же иное. Хочу туда. Я ни на что не претендую, ничего не попрошу, ничего, клянусь, лишь вздохнуть, почувствовать воздух чистый и живой, убедиться, что есть совершенно иной мир, пусть по-своему несовершенный, но совершенно иной, пронизанный светом, радостью бытия...

Он думал так, но сам бежал все быстрее и прикидывал, есть дома Симагин или еще, дай боже, все-таки нет.

3

Симагин был.

Он был розовый и улыбающийся. Он был в синих пузырящихся трениках, в майке. В его руке был шланг воющего пылесоса.

— У-у-у! — радостно взвыл он пылесосу под стать и, выпустив звякнувший шланг, вцепился в ладонь Вербицкого. — Привет! Ну ты просто как летучий голландец! Влетай, влетай! Только я закончу, а? Три секунды... Пока мои гуляют. — Он наклонился за шлангом, треники обтянули поджарый мальчишеский зад. Вербицкий отчетливо ощущал неприязнь. Он тщательно, почти демонстративно вытер ноги — Симагин этого не заметил — и прошел в комнату. Ты тоже сволочь, мысленно сказал он Симагину и от нечего делать принялся рассматривать книги на полках.

Осмотр удручал. Особенно нелепо выглядела «Четыре танкиста и собака», вбитая между двумя томами польского издания лемовской «Фантастики и футурологии».

Нудный вой затих.

— Аське сюрпризон, — радостно сообщил Симагин, свинчивая шланг. Палец себе прищемил, что ли, — зашипел: — У, зараза... Валер, ты замечал, что для кого-то что-то делать гораздо приятнее, чем для себя? И получается лучше...

— Заметил, заметил... Нельзя так обращаться с книгами, Андрей. Себя не уважаешь, так хоть их уважай! Что это такое?

— А! — засмеялся Симагин. — Это я фотографии распрямляю. Глянцевателя нет, так я дедовским способом... — Он с трудом, едва не выдрав полку из стены, извлек раздутого Пшимановского.

— Варвар!

— Хочешь посмотреть? — спросил Симагин, вытряхивая фотографии из книги. — Это мы в конце мая на перешеек выбрались. Тепло, березулечки зеленые такие, как в дыму...

Вербицкий увидел Симагина. Ты мне здесь-то поперек горла уже, подумал он. Симагин, в тех же трениках и завязанной на пузе узлом безрукавке, стоял, приставив ладонь ко лбу, и картинно всматривался в даль. На плечах его сидел этот мальчик... Антон. И всматривался так же. На следующей фотографии Ася раскладывала на траве какие-то припасы. Здесь Вербицкий задержался чуть дольше. Волосы ее свесились вперед, и лица не было видно.

— Там есть место чудесное, — рассказывал Симагин, — маленькое озеро, понимаешь, вокруг сплошной лес, а оно маленькое и глубокое, как чашечка, изумрудное такое...

Затем Вербицкий снова увидел Симагина и Антона. Они стояли лицом друг к другу и козыряли, одинаково выставляя грудь. Рядом торчала воткнутая в землю коряга, на которой развевался не то носовой платок, не то косынка. Играют, подумал Вербицкий. И у них свой пуп — игра. Сашеньку бы

на них натравить. Он взял следующую фотографию и ощутил болезненный, тупой толчок. Ася, в светлом купальнике и пиратски повязанной косынке, стояла, подбоченясь, и подмигивала объективу. Она улыбалась. Это была та самая улыбка. Асю никто не видел, кроме Симагина, — она улыбалась для него. От него. От него, мучительно осознал Вербицкий, оттого, что рядом — этот... Он отвел глаза, а потом снова уставился на фотографию, пытаясь привычным животноводческим разбором статей успокоить себя. А она ничего, думал он старательно. Не Аля, разумеется, да и не та лабораторная мурмулетка, но — ничего. Тонкая талия. Грудь маловата, пожалуй. Взгляд. Проклятье, подумал Вербицкий, поспешно хватая следующую фотографию. В застывшем полыхании брызг, взламывая сверкающее зеркало воды, плыл Антон — у него были надуты щеки и зажмурены глаза. Потом он же болтался на толстом суку приземистой корявой сосны, пытаясь, как видно, подтянуться. Потом на этом же суку, поджав длинные тощие ноги, на одной руке висел Симагин и делал героическое лицо, Антон же стоял рядом, задрав голову, и завистливо кусал палец. Потом...

С паническим вскриком Симагин выхватил пачку.

Перед мысленным взором Вербицкого медленно появилось мелькнувшее изображение: Ася, нагая, сидела на полотенце и улыбалась смущенно и неярко. Мокрые волосы длинными острыми языками скатывались на грудь.

— Дай сюда, — с деланой непринужденностью протягивая руку, велел Вербицкий. Он был уверен, что Симагин отдаст. — От нее же не убудет.

— Нет-нет-нет-нет, да ты... ты-ты-ты что, — забормотал Симагин, заикаясь от волнения. Он спрятал фотографии за спину и даже отбежал. — Ты что! Вот черт... Да нет же!

— Ханжи вы, — опуская руку, равнодушно сказал Вербицкий. Сердце его колотилось.

Симагин удрал в другую комнату, и слышно было, как он лазает по каким-то ящикам, пряча фотографии подальше. Когда он вернулся, лицо и уши у него пылали по-прежнему.

— Ты только ей не говори, ладно?

— Да перестань. Только мне и разговору с твоей женой. Там что, вся пачка такая?

— Да нет... — Симагин с силой провел по лицу ладонью.

— Смотреть на тебя противно.

— Ладно... Вот что я лучше покажу! — Он опять побежал в соседнюю комнату. — Смотри, какая бумага красивая!

Бумага была действительно хороша — тонкая, приятная на ощупь, со светло-зеленым узором в виде стилизованных веточек сосны.

— Это специальная бумага для дружеских писем, — проговорил Симагин. — Мол, дружба наша крепка и не теряет цвета, несмотря на зиму... Хочешь, я тебе на ней письмо напишу?

— Откуда у тебя?

Симагин взял у него листок и перевернул — там были иероглифы, небрежно и изящно написанные то ли очень тонкой кистью, то ли хорошим фломастером.

— Видишь, написано красиво: Такео Сиратори. Это их главный биоспектралист.

— Так ты что же, — со злобой спросил Вербицкий, — и по-самурайски наборзел?

— Да нет, — смутился Симагин, — по специальности чуток... Помню, первое письмо писал ему, так две фразы ухитрился иерошками. Ну, а потом по-английски, тут мне Аська первый друг. Она ж на европейских, как на родных, и Антона дрессирует вовсю... А Такео уязвился! В Касабланке подскочил потом и обращение по-нашенски исполнил...

— А как ты в Марокко-то попал?

— Чудом, признаться. Это отдельная эпопея... Собственно, там был первый наш международный конгресс. А второй через месяц в Москве будет.

— И как Касабланка?

— Как-как... — Симагин помрачнел. — Аська уж ругала меня за нее. Ни черта не видел. Бланка и есть бланка, все белое, сверк. Западные немцы тогда потрясающую методику вводили, мы из них вытрясали, что могли. Треп до посинения. Есть там такой мужик — фон Хюммель его фамилия. Ох, башка, доложу я тебе!

Эта болтовня уже прискучила Вербицкому. Вот чем оказывается на поверку мир, наполненный радостью бытия, — миром инфантилизма. Ася не возвращалась.

— А вот и мои! — вдруг вскрикнул Симагин и с просиявшим лицом кинулся к двери.

— Где?

— А на лестнице. Лифт громыхнул. По-Аськиному...

Вербицкий поджал губы — он ничего не слышал. Но Симагин уже распахнул входную дверь с криком: «Я вас учуял!» — и голос женщины отвечал ему весело, и дверь лязгнула снова, и в коридоре зашептались. Помолодевшее сердце тревожно пропускало такты. Вдруг показался мальчик — вдвинулся неловко, прижался к косяку и серьезно уставился на Вербицкого своим невыносимо взрослым взглядом. Вербицкому стало не по себе.

— Здравствуйте, — сказал он.

— Здравствуйте, — ответил мальчик. — А вы будете про папу книжку писать?

В пятнадцати томах, мысленно ответил Вербицкий. Черт боднул его в бок.

— А кто твой папа?

Мальчик отлепился от косяка и посреди дверного проема принял что-то вроде боевой стойки.

— Папа Симагин — самый лучший папа в мире, — сказал он сдержанно. — Меня зовут, — добавил он затем и ушел, хотя его явно никто не звал.

Вербицкий перевел дух. В комнату вбежал Симагин, бормоча: «Черт, я же пылесос не убрал...» Вербицкий молча смотрел, как он, спеша, упихивает пылесос в ящик, а ящик задвигает за диван.

— Аська мне выговор сделала, — сообщил он, распрямляясь. — В каком, говорит, виде гостей встречаешь...

— Правильно сделала, — кивнул Вербицкий.

— И ты считаешь так? — огорчился Симагин и убежал. Вербицкий снова остался один. Его тянуло в кухню, но он сдерживался из последних сил, ознобно чувствуя присутствие этой женщины за тонкой стеной. Как мальчишка, подумал Вербицкий. Странное дело — эта мысль показалась ему приятной.

— Мальчишки, ужинать! — раздался ее голос. Вербицкий осторожно прокашлялся, чтобы вдруг не перехватило горло, и пошел.

В узком коридоре он столкнулся с Симагиным и вынужден был пустить его вперед, так как идти рядом не хватало места. Симагин шествовал в серых, очевидно, парадных брюках, светло-голубой рубашке и широком галстуке, который почему-то висел у него на спине. Подмигнув Вербицкому, он с серьезным видом проследовал на кухню. Раздался восторженный вопль. Вербицкий вошел — Антон прыгал вокруг Симагина, стараясь дотянуться до узла на симагинском загривке.

— Такова новая аглицкая мода, — чопорно сообщил Симагин.

Ася щурилась от сдерживаемого смеха.

— А ну, прекрати сейчас же! — сказала она Антону. — Здравствуйте! — поспешно кивнула она Вербицкому. — Ты что это?

— Кес-кесе? — жеманясь, спросил Симагин. Изящнейшим балетным жестом он поддернул брючины, сел и, держа воображаемый лорнет у глаз, принялся лорнировать стол. — Где фрикасе?

— А ты есть не сможешь! — закричал Антон и стал драть с Симагина галстук. — У тебя горло веревкой передушится!

— Прочь с глаз моих! — воскликнула Ася. — Срамота! Взрослый академик, глава прекрасной семьи — хомута прилично навязать не может! — Она схватила половник и грозно двинулась на Симагина. Тот вскочил, пискнув: «Консерваторы!» — и, опасливо подтягивая зад, порскнул из кухни.

— Весело вы живете, — сказал Вербицкий. Грызущий яблоко Антон закивал и проурчал с набитым ртом:

— Ага!

— Тебя кто приучил так разговаривать? — спросила Ася. — Проглоти, тогда разговаривай!

Антошка проглотил и вдруг заорал:

— Ага-а!

Вошел Симагин, уже без галстука. Глаза его искрились. Антон, закусив яблоко, показал Симагину два больших пальца.

— Салат покамест ешьте, — сказала Ася, тронув Симагина за локоть. — Мясо неудачное, никак не ужарю.

Симагин и Антон, будто бравые солдаты, захрустели салатом. Это получалось у них как-то на редкость задорно. Вербицкий подключился, глядя на Симагина исподлобья, едва умея скрыть ненависть. Даже поздороваться толком с нею не дал, идиот...

Салат был вкусный.

— Ты-то расскажи что-нибудь, — произнес Симагин с набитым ртом, и Антошка рыпнулся было сделать ему замечание — мол, проглоти, потом разговаривай, — но всепонимающая Ася легонько обняла сына за плечи, и тот смолчал.

— Ну что я могу рассказать, — улыбнулся Вербицкий. — Я человек скучный, за рубеж не выезжаю...

Женщина стала оделять их едой, повеяло сытным, душистым запахом. Антошке — ласково, по-матерински, тут все ясно. Вербицкому — нейтрально, спокойно: ешь, мол, не жалко. Но Симагину... Эта ведьма даже картошку умудрялась положить так, что каждым движением кричала: я твоя. Мое тело — твое, моя душа — твоя, и вот эта моя картошка — тоже твоя... Вербицкий заговорил о новой повести, о муках творчества, о писательской Голгофе. Украдкой он взглядывал на Асю. Странно: язык сковало. Не рассказывалось. Самому было скучно слушать кислую тягомотину. Только с Сашенькой пикироваться да Ляпу утешать — вот что я могу... Она слушала. Прежней враждебности не было в ней, но это еще хуже. Безразличие. Вербицкий понял: она приветлива с ним из-за Симагина. Я его друг, вот и все, она приветлива, кормит, слушает, ждет, когда уйду. У Вербицкого перехватило-таки горло, картофель едва не пролетел в легкие. Он достал сигареты.

— Вы же все нуждаетесь... спички дай.

— Валер, прости, не дам, — сказал Симагин. — Антошка... и вообще. Не надо курить, ладно? Вот и Ася у меня уже завязала.

Вербицкий опять ощутил холодное напряжение злобы. Он поспешно спрятал сигареты и засмеялся:

— Это ты меня прости! Забыл! Правильно говорят: в чужой монастырь... Здорово потравил вас в тот вечер, да?

Симагин облегченно улыбнулся.

— Так вот. Вы же все, говорю я — все! — нуждаетесь в лечении. Но уверены, что здоровы. Ты вот возишься со своими спектрами и знать не хочешь, что готовишь гибель человечества...

— Валер, — укоризненно покачал Симагин, — послушать тебя, так только писатели не готовят гибель человечества.

— Звучит нахально, да? Но это так и есть. Всякая конкретная деятельность, кроме пользы, приносит и вред. Но человек, который в нее втянут, кормится от нее и продвигается по службе, слепнет. Ее успех есть его успех. Ее престиж есть его престиж. Она занята не миром, а его осколком. Поэтому нужен человек, не участвующий ни в чем. Не сторонник и не противник. У него и будет эта самая общечеловеческая позиция, понимаешь? Он разводит всех по их местам, одергивает всех, кто теряет меру... Поэтому, кстати, писателя бьют все.

— Да я понимаю... Но, знаешь, человек не может быть абсолютно сам по себе, — покрутил головой Симагин.

— Именно! Повторяй за мной! Я — человек человечества! Не семьи. Не профсоюза. Не расы. Я — член вида. Только такой подход дает возможность не делить людей на своих и чужих, а значит — понимать всех, сочувствовать всем, любить всех...

— Чихать на всех, — сказала Ася. Симагин вздрогнул.

Они помолчали. Из комнаты доносился захлебывающийся гул реактивных двигателей, прерываемый отрывистыми командами по-марсиански.

— Такое впечатление, — сказал Вербицкий, криво усмехнувшись и ни на кого не глядя, — что весь мир против меня!

— Да побойся бога! — взвыл, как пылесос, Симагин. — Я, что ли? Или Аська? У нее язык просто...

— Конечно, против. — Вербицкий глянул ему в глаза. — Потому что ты не понимаешь меня.

Симагин только руками всплеснул.

— И ты меня!

— Да, но тебе это не важно. Тебе важны твои машины, а не люди — вот в чем разница. А для меня нет ничего важнее, что с людьми из-за машин будет... и не могу тебе объяснить.

— Объяснить — или перекроить по себе? — спросила Ася.

— Всякий, кто объясняет, перекраивает по себе.

— Да, но цели! Один хочет помочь. Другой хочет создать подобие себе и так выйти из одиночества. В первом случае думают о другом, во втором — только о себе.

— Никто никогда не думал бы о другом, если бы не нуждался в нем для себя. Предсмертное раскаяние, и покаяние, и просветление воспевалось в религии и в искусстве столь долго именно потому, что они для большинства людей есть единственный момент обретения реального бескорыстия и вызванной им переоценки. Живой корыстен, потому что собирается жить дальше.

— Живой собирается жить дальше и, чтобы его жизнь не превратилась в дуэль с каждым встречным, ради собственной же корысти он должен любить заботиться. Тогда будут любить заботиться о нем. Это не гарантирует от врагов, но гарантирует друзей.

— Ася! Ну разве вы не слышите, это даже звучит нелепо: должен любить! Разве можно любить по долгу?

— Хорошо, — улыбнулась Ася, — поменяйте слова местами, и все станет совсем ясным. Не должен любить, а любит быть должным.

Вербицкий лишь головой замотал:

— Ах, как вы...

Она пожала плечами, а потом неторопливо поднялась и стала мыть посуду.

— Знание того, что все угаснет, — проговорил Вербицкий, — подтачивает всякое желание иметь дело с этим всем. И люди отказываются знать. А кто не отказывается, от того шарахаются: ой, холодно! Вот как Ася сейчас.

— Одно дело, — полуобернувшись, сказала Ася, — зная, что угасание неизбежно, раздувать огонь. Другое — сложить руки. Раз все уйдет — пусть уйдет безболезненно и дешево! А как обесценить? Да не вкладывать себя. И не вбирать в себя. Значит, будет вкладывать лишь тот, кто с вами, а вы соблаговолите попользоваться. А когда начнется угасание: эгоисты! Плохо старались! Не сумели! Это удел очень слабых людей.

Симагин сделал Асе предостерегающий жест. Она чуть улыбнулась ему, потом поправила свесившиеся на лоб волосы тыльной стороной мокрой руки. С лязгом поставила последнюю тарелку в сушилку и, накрепко завернув кран, взялась за полотенце.

— Поймите: вы не один. Вы не один.

— Человек всегда один, — устало сказал Вербицкий.

— Человек и один, и не один. Он неповторим, поэтому один. Неповторимость теряет смысл, если он консервирует душу, не делясь ею.

— Вы когда-нибудь пробовали делиться с теми, кому это не нужно, Ася? — резко спросил Вербицкий. — Знаете, что получается в итоге? Выжатый лимон со слабым чувством исполненного долга.

Замолчали. Раковина, напряженно заклекотав, всосала остатки воды, и сделалось совсем тихо.

— И в то же время, — вдруг проговорил Вербицкий, с храбростью обреченного взглянув Асе прямо в лицо, — не покидает надежда, что когда-нибудь кому-нибудь понадобится то, что ты есть. Она-то и помогает хоть как-то хранить себя...

— Кто-то из древних, — ответила Ася, — мудро заметил: если бы брошенное в землю зерно только и старалось сохранить себя, оно бы просто сгнило в темноте, не дав ни ростка, ни новых зерен. Прорастать, конечно, больно, но ведь и гнить больно, да вдобавок еще и бесполезно!

Вербицкий опустил голову, машинально разглаживая клеенку на столе. Глухо сказал:

— Все бесполезно.

— Ну, вы даете, — проговорил Симагин после долгой паузы. — На уровне мировых стандартов... Махаянская колесница спасения с паровым двигателем...

— Нет, мальчишки. — Ася медленно подошла к окну и встала, глядя на закат, иссеченный тонкими темными лезвиями облаков. — Эта трепотня улетает, как пух, если люди получают возможность воздействовать на свою жизнь, творить ее... Социальное творчество, да? Без следа улетает. Лишь когда жизнь становится неуправляемой, начинаются

разговоры об одиночестве, некоммуникабельности... Висела мочала — начинай сначала...

— Конечно, сначала! — звонко выкрикнул Вербицкий. — Конечно! Самые страшные феномены истории выскочили из этого вашего творчества, Асенька! Творчества толпы, не умеющей знать и предвидеть! Ей просто сказали: твори свою жизнь — бей! И она бьет радостно и изобретательно. Творчески! И все понимает. Полная коммуникабельность! Слева заходи, справа вяжи!.. Но когда проходит угар, люди начинают озираться по сторонам, силясь понять, что с ними случилось и отчего это после творчества столько трупов кругом, аж не продохнуть... Тогда возвращается осознание бесконечной беспомощности и бесконечной бесценности индивидуума.

— Опять индивидуума, — безнадежно пробормотала Ася. — Вашего индивидуума или не только?

— Да при чем здесь это? — в отчаянии крикнул Вербицкий.

— При том. — Она повернулась к нему. — Ничто так не отгораживает, как твердить: люди плохие. — Она выразительно глянула на него, и он отшатнулся, словно в глаза ему полыхнул близкий, грозный огонь. — Конец неизбежен? Ну и что? Именно поэтому ничего нельзя жалеть. Бессмысленно думать, будто сердце может иссякнуть, — наоборот! Кажется, уже нет сил — а тут распахивается такое!.. И сам становишься богаче!

— Резонанс, — пробормотал Симагин. Она обернулась к нему, чуть улыбнулась нежно. Мгновение помедлила.

— Если эти собаки все-таки устроят войну... или без всякой войны нас перетравят заводами, дамбами... я буду помирать и жалеть только об одном: что не знала когда. И не успела ни Антона покормить повкуснее, ни Симагина обнять... напоследок. А если Симагин женится не на мне...

Симагин, буквально подскочив на стуле, ахнул:

— Да ты что?!

Она неторопливо, почти яростно махнула на него рукой:

— Да мало ли какие у тебя могут быть причины! Думаете, я шарахнусь? Я буду плакать, и целовать, и любить — если он позволит. Я только недавно поняла. Я буду хотеть остаться

его... любовницей, вы бы назвали. Не знаю, может, не на всю жизнь, но на годы. — Ее голос дрогнул, глаза влажно заблестели. — А! На всю. Потому что он всегда был мне не средством, а целью. И я ему. Я не себя в нем люблю, а его в себе. Почти все лучшее во мне из-за того, что мы вместе. Знаете, почему так много? Потому что мы никогда не притворялись и не врали, шли друг в друга целиком, по-настоящему, какие есть. И связь уже нерасторжима.

— Аська... — благоговейно выговорил Симагин.

Она очнулась. Медленно угасли глаза.

— Что-то я стихом заговорила, — смущенно пробасила она и вдруг подмигнула раздавленному, дрожащему Вербицкому, прямо в его снисходительную улыбку: — Первая собака, которую ты погладишь, буду я... Пора Антона в постель гнать, простите. Пойду разумным астероидом прикинусь.

И легко пошагала из кухни, уже в коридоре забубнив: «Найт, найт, найт...» Слышно было, как восторженно загугукал Антошка и спешно стал командовать, по-американски хрипло и азартно вылаивая слова: «Ап ту зэ бластерз! Кэч зэ таргет, ю бойз!»

Вербицкий сразу же встал.

— Я отправлюсь, пожалуй, — сообщил он.

Ему до смерти надоел гной — но здесь сам он был гноем. Этой женщине все казалось пошлым и далеким. И его слова. И он сам. Он спорил с ней, вкладывал и вбирал — а ей не было дела ни до чего, кроме своей любви. К этому.

Симагин, дурацки размахивая руками, принялся его задерживать. Но Вербицкий, улыбаясь, непреклонно шел к двери. Симагин бросился переодеваться снова, чтобы броситься провожать. Вербицкому хотелось убить Симагина.

Женщина тоже вышла в коридор, слегка провожая, пока Симагин менял штаны.

— Вы тут как дети, — сказал Вербицкий, боясь взглянуть ей в глаза. Улыбнулся почти застенчиво: — Или я старый дурак?

Ася помедлила.

— Заболтала я вас. Но, знаете... ваша эта общечеловеческая позиция... будто вы от ума оправдываетесь за то, что сердцем ни к кому не привязаны. Но от ума никого не поми-

рить. Только сердце объединяет бескорыстно. Сердце дает цель, а ум способен лишь изыскивать для этой цели средства. Поэтому цель всегда человечнее средств...

То, что она говорила, не имело к Вербицкому никакого отношения. Стенка — сродни той, обшарпанной, вдоль которой он полз с чугунной кассетой в провисшем кармане. Разговор был разговором двух глухих. Наверное, если бы записать его, а потом, подумал Вербицкий, смонтировать ее реплики отдельно, а мои — отдельно, получилось бы два несвязанных монолога. И все-таки он не сдержался и спросил:

— Вы верите в свои слова?

Она ответила серьезно, даже подумав несколько секунд, будто ум ее мог взвесить цель ее сердца:

— Вы о... любовнице? Верю.

— Вы умница.

— Не надо. Я вам столько навозражала, вам же, наверное, придушить меня хочется.

— Мне целовать вас хочется.

Он сказал — и пожалел, еще не успев договорить. Сработал рефлекс: женщина, будь она хоть кристальной чистоты, хоть семи пядей во лбу, узнав, что случайный знакомый хочет ее, делает вид, будто оскорблена, — а сама мечтает поиграть с огнем. Но только брезгливость отразилась на ее лице, бывшем так близко, преступно близко от его губ. И он, сгорбившись, с горящим лицом, пряча глаза от непонятного стыда, рванулся прочь, как бы видя два мерцающих, долгих изображения: одно лицо на обоих. Улыбка преданности — легкая гримаса отвращения. Легкое отвращение, и больше ничего.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

ДРУГ

1

Много лет он не творил столь безоглядно. Страницы слетали с каретки, как вылетают из клеток птицы в ослепительную лазурь. В полуденную свободу неба. Сердце готово лопнуть — но страха нет, восторг, прорыв; клокочущее торжество

извергающегося протуберанца — не в пустоту безответности, не в затхлый склеп немоты, не в кристаллические теснины незатейливых, апробированных клише, сквозь которые продергиваешься извилистой безмолвной змеей, оставляя черные лоскутья змеиной кожи на острых холодных гранях, нет, только в нее. Живое в живое. Сами собой, инстинктивно и безошибочно, вскидывались над бумагой живые люди, разворачивались один из другого, набухали кровью — его кипящей расколотой кровью, осколков которой хватало на всех; осколки рвались соединиться, но обретали единство лишь в те мгновения, когда живые люди на белой бумаге начинали прощать и болезненно боготворить друг друга. Резкими фехтовальными взмахами, звеня, соударялись и перехлестывались судьбы. Казалось, опрокинуло некую плотину, и все, что он узнал или почувствовал за эти годы, вдруг обрело смысл, получило наконец вещество и лихорадочно принялось распоряжаться им, строя себя. Даже то, что, пока он — в одиночестве и прокуренной трескучей тишине, она — там, кормит того, спит с тем, вызывало лишь добродушную улыбку, ибо самое главное, что может женщина, она все равно делала здесь, и он лился в нее, как муж, падал в нее, как зерно, как звезда, и через нее — в полуденную свободу неба, в ослепительную лазурь. В людей.

Он любил ее.

Что он объяснял? Боль жизни? Жизнь боли? Тоску осколков по единству? Он понятия не имел. Себя. Наверное, это было просто письмо — но разве просто письмо способно породить новое чувство? Оно лишь цепляется за чувства, которые есть, за щупальца, которые уже выросли у сердца и в ожидании тянутся навстречу. Взрастить сердцу новые щупальца и новые глаза способны лишь перехлесты новых судеб. Пусть на бумаге — лишь бы живых. Сердцам не хватает щупалец и глаз, громадные темные вихри мира летят мимо сердец и проваливаются в невозвратное прошлое, и сердца подспудно чувствуют это, им бедно, им тесно и пусто, они нуждаются в щупальцах и жаждут глаз, а если не дать им — они закисают и тупеют, зная лишь себя; а сердцу нельзя тупеть, ведь оно рождает цель, и когда сердца тупеют, в то же мгновение тупеют и цели. Как еще оправдать то, что я не

сею хлеб, не строю дом, не гонюсь за убийцей — что они еще могут, мои слова, моя белая бумага, ну что? Ничего? Только дарить глаза тем сердцам, у которых достанет широты для новых глаз и мышц, чтобы в первый раз напряженно поднять непривычные веки. А что суждено глазам увидеть, открывшись, — то дело мира, не слов.

Он сделал два крупных рассказа за пять дней. Он почти не спал. Страницы лежали на столе, плывущем в ночном сигаретном дыму, и над ними играла радуга, как над алмазным ребенком. Из-за этой радуги Вербицкому было плевать, опубликуют их или нет.

Он спал до полудня, а вечером, радостно насвистывая что-то, со страницами в папке пошел к ней. Спускаясь по лестнице, мельком подумал: а ведь единственный экземпляр. Если с ними что-то случится... Но даже не запнулся в беззаботном мальчишеском беге по ступеням. Будь что будет. Будь, что она сделает. Он полностью отдавал ей себя, вверял целиком — так же безоглядно, так же естественно, как творил.

Он не помнил, о чем они говорили в тот вечер, — совсем не помнил, в памяти осталось лишь ощущение своей высокой, почти отцовской власти, столь безоговорочной, что она не требовала и не искала подтверждений. Удивительно и чудесно, сегодня он даже Симагина любил, словно вернулось детство и вновь они, двое подростков, не разлей вода, не могли и не могли разойтись после уроков, говоря обо всем. Вербицкий ушел — и не ушел, остался с нею. Папка осталась в их доме, словно очаг возбуждения в мозгу; люди ходят вокруг, как ходят неважные, случайные мысли, а она, подобно неугасимому воспоминанию, напряженно неподвижна и сталкивает, сталкивает женщину в его мир, в его жар, едва лишь взгляд ее скользнет по серому картонному сосуду, запечатанному соломоновой печатью титульного листа.

И, никуда не спеша, он долго скитался в прозрачном синем мерцании. Он был восхитительно одинок. Уже не в старой вселенной и еще не в новой — отстегнут от всего, счастлив. Пуст, но чреват всем. Черное зеркало Невы без плеска шло под мост. Рыжие вымпелы фонарей горели в воздухе и в воде на равных. Он долго стоял над бездной, потом пошел

дальше, прошел мимо дома Аси и подумал с мирным превосходством, как не о себе: спать с нелюбимой женщиной — все равно что писать, как Сашенька Роткин. В душе протаивала крупная повесть. Широкое, темное и спокойное чувство собственной реальности переполняло его, затопляло, как весенний паводок, — оно было сродни чувству парения.

Он вновь пошел через четыре дня и, чуть войдя, понял, что она не преображена.

Не было восхитительного дуновения, когда женщина начинает тянуться сама, уже понимая, уже отдавая; когда физическая близость служит лишь подтверждением, предельным выражением возникшего сопереживания. Мир затрясся, обваливаясь и крошась, потом запылал. Вербицкий держался почти сорок минут; оборвав какой-то пустяк едва ли не на полуслове, спросил прямо. «Да некогда, было много всего, простите, Валерий. Не сосредоточиться. Андрей вот начал один рассказ, тот, что побольше, а мне пока никак». Он хотел закричать. Он хотел отобрать страницы — но не смог решиться, это было бы слишком страшно. Непоправимо. Тек дальше разговор. Симагин и мальчик вертелись рядом. Он ушел. Уснул со снотворным. Через пять дней поплелся опять, она выглядела приветливо. Но была за стеной. Была приветлива лишь оттого, что он — друг мужа. Сам по себе он не существовал. Вербицкий выкладывался, уже не обращая внимания на то, что, вероятно, выглядит смешным и ничтожным, домогаясь любви, как прыщавый шпендрик, — да что там любви, хоть интереса, привязанности, влечения! Он дошел до того, что попытался подружиться с ее сыном! Не помогало. Она была с Вербицким, как с прохожим. Ее огонь оставался за семью печатями, отданный на откуп одному лишь — и кому! Кому!! Он ведь даже не понимает, что за сокровище, что за волшебный талисман выиграл в лотерею у жизни — случайно, незаслуженно выиграл просто потому, что прошел рядом и протянул руку в должную секунду. О, если б это был я! И она не понимает, что произошло, она любит и слепа! Какое страшное надругательство над нею! Какая чудовищная эксплуатация! Тратить на быт, на мертвый вой циркульной пилы ту, для которой каждый взгляд любимого — праздник, которая все поймет и

простит, даст силы на любой поступок и проступок, в любую геенну без колебаний шагнет рядом; а может, даже забежит вперед, потому что любит. Любит. Симагина любит! Вкладывает и вбирает. Она же должна любить меня! Меня, меня, меня, меня, меня!!!

Она, наверное, все понимала — но не подавала виду. Он не знал, что она рассказывает этому недоумку. Может быть, все. Может быть, они хохочут над ним, когда остаются вдвоем. Он читал ей Бодлера: «Навеки проклят будь, мечтатель, одержимый бесплодной мыслью первым разрешить — о, глупый человек! — вопрос неразрешимый, как с честностью любовь соединить!» Она смеялась ему в лицо: «Ну и гниют они там на Западе!» Он читал ей Ионеско, моляще, как побитый верный пес, заглядывая снизу ей в глаза: «Писать в России — это героизм. Писать — это почти приближаться к святости». Она лукаво щурилась, присматриваясь: «Да, уже нимбик светится!» Он давился смехом от ее остроумия, заходился до слез. Он слушал, когда начинала рассказывать она, — но ему плевать было, какие места в Ленинграде ей дороги, какое мороженое она предпочитает, во что играла в детстве, как была влюблена в девятом классе... Пришел Симагин, однообразно заулюлюкал при виде старого друга:

— Слушай, Валер, я прочитал. Запоем. А-а-атличные рассказы! Вот талант ты все-таки, черт, аж завидно. Как-то я даже по-новому на тебя глянул... У тебя что, полный стол гениальных рукописей? Принеси еще что-нибудь такое, пожалуйста...

Ему понравилось, боже мой, ему!! Да кто ты такой, чтобы тебе нравилось?! Полный стол, кретин! А знаешь ты, чего стоит это?

— Валер, ты Аську прости, она хотела прочесть, честно — не успела просто. Мы тут в Токсово ездили, и Тошка перекупался — подкашливал, температурил...

— Да что вы, ребята, в самом деле, какое еще «извини», пес с ними, с рассказами, таких писателей двенадцать на дюжину, не Достоевский же... Я просто думал, вам интересно.

— Да, нам интересно! Ася, ну скажи ему что-нибудь, видишь, обиделся же человек!

— Андрей, прекрати, не мучай жену. Да и обо мне ты говоришь, как о больном ребенке, — ты меня, часом, не перепутал с Асиным сыном?

Ее лицо окаменело, когда он сказал именно «с Асиным», — и ему стало чуть легче.

— Единственно, почему мне действительно жаль, — потому, что я не могу дольше держать у вас первый экземпляр. Для дела нужен.

— Да, — согласилась она уже снова с улыбкой, — жаль, ну, ничего, я прочту, когда опубликуют. Вас ведь, наверное, быстро публикуют.

— Конечно, — смеялся он, — и обязательно с золотым обрезом.

Он шел по улице, шатаясь от горя. Слепые глаза сухо кипели от невозможных слез — как забытый на ненужном огне чайник, из которого давно выжгло воду. Меня нет, захлебываясь, кричал Вербицкий. Меня нет! И подошел милиционер. Гражданин, вы пьяны. Нет, товарищ сержант, я не пьян. Вы пьяны, пройдемте. Я не пьян, клянусь, просто репетирую роль. Репетируйте в отведенных для этой цели местах. Как называется ваш спектакль? «До новых встречь». Хм, не слыхал. Ладно, идите, но кричать так страшно не следует. Зрители с вашего спектакля разбегутся. Спасибо, я буду тихо-тихо, все тише, с каждым шагом тише. Гражданин, по-моему, вы все-таки пьяны. Нет, сержант, я трезв. Как никогда трезв. Раз и навсегда трезв. Позвольте на всякий случай документик. Извольте на всякий случай документик. Вербицкий? Вербицкий. Валерий Аркадьевич? Валерий Аркадьевич. Ну, до новых встреч, Валерий Аркадьич. Творческих успехов. До новых встречь, товарищ сержант, вам того же.

— Уснул, — сказала Ася. — И сегодня не закашлял ни разу, слава богу. К субботе будет в полной форме, тьфу-тьфу-тьфу.

— Вовремя захватили, — сказал Симагин. — Все-таки против простуды лучше дедовских способов наука так ничего и не придумала. Молоко да мед...

— Хороший мед у вас в Лешаках.

— Э-э! Вот до химкомбината был мед — это да...

— Ну, что ж поделаешь... Это мой чай? — спросила она.

— Угу.

— Спасибо. — Она отхлебнула. — Слушай, открой секрет. Почему у тебя всегда заваривается вкуснее, чем у меня? И не крепче даже, а именно вкуснее.

— Потому, — польщенно ответил Симагин, — что я по кухне больше ничего не умею. Но зато уж чаю отдаю всю душу.

— Наверное, — вздохнула Ася. — Вот что значит настоящий талант. Все, на что хватает времени, делаешь лучше простых смертных. И если чего не делаешь — значит, просто не хватает времени.

— У таланта должно хватать времени на все, — грустно сказал Симагин.

— Три ха-ха. Тогда ему будет никто не нужен.

— Ох, Ась, ты с этими афоризмами... Валерка-то ведь обиделся. Тебе не показалось?

Ася пожала плечами.

— Понимаешь, Андрей, — проговорила она нехотя, — я на этих легкоранимых сволочей насмотрелась досыта. В ранней молодости.

Симагин перестал жевать.

— Опять. Ась!

— Ну что — опять? — спросила она устало.

— Ты же сама сказала: ничто так не отгораживает от людей, как твердить себе: они плохие.

Она запнулась, припоминая, где и когда могла это сказать, а потом весело рассмеялась:

— Ущучил! Ущучил! С поличным поймал!

— Я очень боюсь, Ася, — сказал Симагин серьезно, — что твой богатый негативный опыт сыграл с тобой дурную шутку.

— А я очень боюсь, — ответила она, тоже посерьезнев, — что благодаря твоему Вербицкому твой небогатый негативный опыт значительно обогатится.

Симагин покачал головой.

— Упрямая ты...

— Упрямая, ленивая и тупая, — ответила она.

— Он что, — осторожно спросил Симагин, — за тобой... ухаживает, что ли?

Она досадливо поджала губы и ответила не сразу.

— Да черт его разберет... Завидует он тебе зверски, это точно, — решительно добавила она. — И из-за меня — в том числе.

— Он хороший, — сказал Симагин. — И рассказы хорошие. Я хоть и не шибкий знаток, но когда сердце щемит — это понимаю.

— Андрей, я женщина. Мне нужно только то, что мне нужно.

— Ч-черт! — Симагин опять мотнул головой. — А мне... мне очень неловко. Рукопись — это ж такое доверие...

Ася опять смотрела на него восхищенно и печально.

— Ну попросим у него потом, — сказала она.

После водки комната заколыхалась и поплыла. Из глаз хлынули наконец слезы. Некоторое время корчился в кресле. Встал и, время от времени размазывая жидкую соль и горечь по лицу, по обиженно открытым губам, развязал тесемки на папке, вытащил оба рассказа и начал рвать — каждую страницу отдельно. Когда страницы кончились, с ворохом норовящих спорхнуть на пол клочков, натыкаясь то левым, то правым плечом на стены короткого коридора, проковылял в свой совмещенный санузел и запихнул, безжалостно уминая кулаком, весь ворох в ящичек для туалетной бумаги. Долго стоял, пошатываясь и пытливо глядя в унитаз. Белое керамическое сверкание клубилось перед глазами, разлеталось бликами. Неловко повернулся спиной. Путаясь дрожащими, потерявшими чувствительность пальцами, расстегнул джинсы и взгромоздился, едва не повалившись носом вперед. Пыхтя и плача в мертвой тишине маленькой ночной квартиры, мучился минут десять, но все-таки добился своего, как добивался всегда, если дело зависело только от него самого. Тщательно размял побольше хрустких неповторимых клочков и употребил по назначению, а остальные спустил им вслед.

Было очень больно.

2

Бачок еще шипел, а Вербицкий уже выгреб из глубины письменного стола тяжкую кассету.

Она выглядела как-то инопланетно. Пугающе — как все абсолютно чужое. Полированный металл был прохладным и приятным на ощупь. По вороненому верху шли маленькие, изящные буковки и цифирки, означавшие невесть что: «Тип 18Фх». Ниже: «Считывание унифицировано для всех эндовалентных адаптеров».

Вербицкому стало страшно. Он вышел на кухню, в назойливо зудящей кофемолке намолол себе кофе, засыпал в кофейник, залил водой. Оставил. И потянулся к телефону.

— Привет, Леха, — сказал он внятно и безмятежно. — Узнал? Вербицкий это, Валера. Ну, конечно! Прости... да, сто лет.

Некоторое время они говорили о том о сем.

— Да, черт, чуть не забыл, — спохватился Вербицкий. — Знаешь, мне одна штука нужна. Мог бы помочь?

— Какая штука? Опять импортный видик сломался?

— Смотри-ка, даже это помнишь! — засмеялся Вербицкий. — Только он был не мой... Нет, поднимай выше. Потребности масс неуклонно растут. Нужен небольшой излучатель... с эндовалентным адаптером для считывания с кассеты восемнадцать эф икс.

— Ты что, с ума сошел? — спросили там после долгой паузы. — Это же не игрушки, не бытовая электроника...

— Потому и прошу, что не бытовая, — нагло ответил Вербицкий. Он едва не запрыгал по комнате от восторга — там поняли! Что его могли понять не так и дать не то, и это «не то» оказалось бы опасным, ему не пришло в голову — для этого он недостаточно разбирался в технике.

— Да нет, Валерка, — на том конце нерешительно мямлили, не отказывая, впрочем, сразу. — Такого даже нет, это не серийка. Нет, не могу. Имей совесть...

— Альбомы Босха и Дали тебя дожидаются, — быстро сказал Вербицкий. Там опять долго дышали.

— Полиграфия чья? — спросили затем.

— Милан.

— Милан... — прозвучало сквозь шорохи мечтательное эхо. — Валер, но ведь, помимо прочего, техника будет стоить денег, даже если... Как ты сказал? Адаптер эндовалентный?

— Угу. Собственно, у меня есть кассета, которую надо прокрутить. Можешь посмотреть сам.

— Да знаю я эти типы, их сейчас широко вводят... Если считывание унифицировано...

— Во-во, тут так и сказано.

— Позвони через недельку. Пока ничего не обещаю... Слушай, но зачем тебе? Подался с вольных харчей в ихтиологи? На этих системах изучают поведение высших рыб в полях.

— Угу, — сказал Вербицкий. — Рыб, ага. Высших.

— А что на кассете? — для очистки совести спросили там.

— Да не бойся ты, шутка одна. Сюрприз хочу другу сделать, именно ихтиологу.

— Ну, черт с тобой. Через недельку позвони.

Он нажал на рычаг и затем сразу набрал номер Инны. Она ответила сразу, будто сидела у телефона и ждала.

— Здравствуй, — сказал он просто. — Это я. Узнала?

— Узнала, — после заминки, совсем спокойно ответила она.

— Прости, что побеспокоил в такую поздноту.

— Ничего. Ты же знаешь, мне можно звонить очень поздно.

— Никогда не посмел бы тебя затруднять лишний раз. Но мне больше не к кому обратиться. Не сердись.

— Я никогда на тебя не сержусь.

— Мне нужны Босх и Дали.

— Опять кого-то очаровываешь?

Я зачахну и умру, любимый, если ты не будешь купаться в выгребной яме. Я умою тебя своими слезами, вытру насухо гидропиритной гривой и, постоянно зажимая двумя пальчиками свой нос, вслух не скажу ни разу, как от тебя разит, — но, умоляю, купайся...

— Это подарок для мужчины, — честно сказал Вербицкий.

Она помолчала. Затем произнесла тем же бесцветным голосом:

— Будут тебе Босх и Дали. Через три дня. Устроит?

— Разумеется! Можно даже через три с половиной!

— Я позвоню тебе, когда сделаю. Можно?

— Конечно, Инна.

— Все? Ты ничего мне больше не хочешь сказать?

— Не-ет, — с досадой поморщившись, ответил Вербицкий. — А что-то нужно? Ты мне скажи что, и я тут же скажу, — пошутил он.

— А... — проговорила она, и он по голосу почувствовал, что она улыбнулась своей слабой, беззащитной и беспомощной улыбкой, которую он так ненавидел. — Хорошо, забудь. Только, пожалуйста, Валерик, не пей больше. Я слышу, ты пил.

Пошли гудки. Он глубоко вздохнул и положил трубку на рычаги. И выпил еще.

А в воскресенье уже шагал с огромным, тяжелым портфелем.

Симагин с утра пораньше отправился в химчистку, и Антон увязался за ним. Химчистка назревала давно, а с приближением конгресса и отпуска стала неизбежной. Симагина покачивало от хронического недосыпа. Каждое утро, с трудом раздирая глаза, он клялся и божился, что ляжет сегодня пораньше, и каждый вечер не получалось. Ну, все, думал он, слушая Антошку. Никаких сегодня чаепитий. Антона уложим — и завалюсь. Он представил, как сладко будет завалиться часов этак не позже десяти... одиннадцати... Всегда что-нибудь мешает. Вчера, например, Ася ускакала на какой-то день рождения, а к Симагину пришел Карамышев — вечеров в институте им уже не хватало. Часов шесть кряду, сделав перерыв лишь для перекуса и для того, чтобы загнать в постель Антона, который весь вечер напролет рвался им помогать, они думали, спорили и черкали, кроша карандаши. Ничего у них не получилось, спорь не спорь, и в начале двенадцатого им стало невмоготу. На их головах, по Асиному выражению, можно было кофе варить — так раскалились. Выражение есть, а кофе нет. Дефицит. Симагин разлил чаю, они пошабашили, и разговор пошел, к вящему симагинскому удовлетворению, про рыбалку. Как теперь было видно, своим приглашением Симагин пробил брешь в скорлупе математика, и тот раскрылся. Это было черт знает как приятно. Они протрепались бы, наверное, до утра, но тут заявилась веселая Ася, Карамышев оробел опять и удрал. Тогда Симагин сразу почувствовал, как вымотался — он был точь-в-точь, по Валериному выражению, выжатый лимон со слабым чувством исполненного долга, — и поспешно начал стелиться. Ася размашисто громыхала на кухне, недовольно бормоча: «Раз в жизни не могу прийти на все готовенькое...» Вернувшись в комнату за сервизной чашкой — вот сегодня ей вдруг не захотелось пить чай из ежедневной, — она заметила, что сервиз был задействован, и возмутилась: «Это называется, он остался, чтобы работать! Это называется, ради науки я сидела, как холостая! Это как же называется?!» Симагин, таская простыни и подушки, сонно отшучивался. «Знаю я теперь вашу работу, — брюзжала Ася, с чашкой в руке разгуливая, как привязанная, за Симагиным по квартире и время от времени прихлебывая. — Работать он остался. Там такие девочки, а он тут — с лысым мужуком... Симагин, ты мне лучше скажи сразу честно, ты кого больше любишь — нежных девочек или лысых мальчиков?» Симагин подхихикивал, глаза у него слипались. Ася поняла, что он отключается, и сразу сменила тон, поспешно допила чай и, как Антошку, стала Симагина укладывать. Симагин уложился мгновенно, а она, вспомнив про хозяйство, даже зашипела и уселась спарывать пуговицы с подлежащей чистке одежды. Симагин засыпал и опять просыпался, слушал, как она дудит и бубнит себе под нос. «Чтоб тебя», — урчала она, пиля какую-то особенно неподатливую нитку; улыбался от чувства уюта и опять задремывал. Потом он проснулся от взгляда — Ася светлой статуэткой стояла у постели и ждала, когда он почувствует и проснется. Увидев, что он открыл глаза, она робко попросила разрешения полежать с ним рядышком. Я буду тихонько-тихонько. Можно? Симагин разрешил. С полминуты она действительно вела себя обещанно — только с бесконечной осторожностью, едва касаясь, рисовала что-то у него на груди подушечками пальцев, — а потом не выдержала, разумеется: уселась, подтянув колени к под-

бородку, и начала. А у них бельчонок дома живет, представляешь? И не в клетке, не в колесе, а по квартире скачет, веселый такой, рыжий! Провода погрыз. К людям сам пристает — на спинку опрокидывается и требует, чтобы пузень шекотали. Пушистый, ушастенький такой, хвостатенький! И она принялась руками показывать, какой он ушастенький, а всем остальным — какой он хвостатенький. Глаза у нее сверкали звездами. Валентина такую пеньюрашку отхватила — я сразу подумала: вот бы тебе понравилось! Совершенно безнравственный: прозрачный-прозрачный, и две пуговки всего, одна на груди, другая вот тут, чуть шагнешь, и он вразлет. По твоей милости, между прочим, меня за одинокую приняли! Один хмырь все танцевал со мной... Ну-ну, и что дальше, подозрительно спросил Симагин, слегка просыпаясь. А ничего, посмеивалась она. Целоваться хотел. До дому меня подвез. Такой интеллигентный, непьющий, с машиной... Ты что, с ума сошла? Конечно, сошла. Знаешь, как торопилась? Думала, ты волнуешься, почему не иду, от окошка к окошку скачешь. Нет, погоди, Аська, — он что, тебе понравился? Здра-асьте! С каких это пор мне кто-то нравится? Я тебе русским языком говорю — к тебе торопилась. А тут человек предлагается. Думаешь, мне интересно одной в первом часу трамвай искать? Авантюристка ты, Аська... А ты не знал? В детстве я всегда была миледи. Черта лысого меня Д'Артаньян догонял!

Еще минут пять Ася тараторила, а потом вдруг осеклась, растерялась и сказала удивленно: «Вот и все». Симагин засмеялся, счастливо глядя на нее, и спать ему совершенно уже не хотелось — спать ему хотелось, когда, покидав барахлишко в чемодан, он шел с Антошкой по улице, до краев залитой солнцем. Антон старательно помогал ему нести, так держась за ручку чемодана, что приходилось тащить и чемодан, и Антона. Ничего, тешил себя Симагин, скоро отдых. Конгресс, вдвойне приятный оттого, что мы наверняка впереди, а потом отдых. Воздух, напоенный душистым сиянием луга... и узенькая Боярынька, укутанная зарослями орешника, ивняка, благоуханной крапивы — с нею так любит воевать Антон, лихо прорубая ходы к речке, где вековые ветлы, увитые хмелем, роняют ветви к таинственной сумеречной

воде... и сияющий туман Млечного Пути, призывно распахнутые созвездия, оранжевый факел громадной луны над серебрящимися яблонями, неистовый стрекот ночных кузнечиков, сеновал... и Ася, Ася — в телогрейке, которая ей велика; в купальнике, покрытая искрами капель!.. И — покой. Можно спать вволю, никуда не торопясь, безмятежно чинить что-то, стругать, пилить, и опять Антон мельтешит под ногами, тискает пахучую желтую стружку, делится соображениями, что она живая, только спит, оттого и свернулась колечком, и сам смеется и не вполне верит себе, и просит дать ему задание... и Ася кричит из оконца: «Мужики-и-и!» И мужики идут обедать, с сожалением оставив неторопливую работу, и маленькая мама оспаривает с Асей право разливать томленные в русской печке щи, и Ася, конечно, побеждает. А потом — степенные послеобеденные беседы, отец курит, присев на ступени крыльца и держа папиросы как-то по-особенному, по-деревенски — в городе он держит совсем иначе, а Ася в Лешаках не курит никогда, а Антон грызет морковку... В подполе перегородки подгнили, но в этот год подновить уж не успеем; белые-то отходят, надо сходить, сходим-ка завтра за Мшаники, помнишь, там еще Гришки-то Меньшова кобель ногу подвихнул в то лето, как ты диссертацию к защите подал... ну, на Купавино через бор, от развилки налево, сосна там молнией побита... А у сосны — Симагин помнил с детства — просторная поляна: трава по пояс, цветы, цветы. Воздух горячий, смоляной, медовый, обстоятельные шмели с гулом плавают в мареве...

— Ты чего молчишь? — спросил Антон. — Ты засыпаешь? Или ты не рад, что меня взял?

— Да нет, — возмутился Симагин. — Просто подумал: мама проснется одна, кто ее покормит?

— Нас она кормит, а себя что, что ли, не сможет?

— Да ведь это другое дело. Других кормить приятно, а себя — скучно. Детеныш ты, Антон.

— Нет, — возразил Антошка, — я взрослый.

— Это почему?

— А все говорят. Совсем большой и не по годам развитый.

— Ты им не верь, — твердо сказал Симагин. — Ты сам подумай: разве настоящему взрослому так скажут?

Антон призадумался. Потом нерешительно проговорил:

— Нет, наверное...

— У тебя есть еще время взрослеть, и я тебе в этом даже завидую, Тошка. Тяжело работать, как взрослый, когда еще не вполне взрослый. Взрослость измеряется силой человека, а сила измеряется тем, скольким людям человек может помочь.

— Да-а? — удивился Антон. — А я думал — сила это когда... ну... и драться тоже...

— Это совсем другая сила. Она измеряется в лошадиных силах — помнишь, я рассказывал? Она тоже нужна, правильно. Но сейчас я не про лошадиную силу, а про человеческую. Чем человек слабее, тем меньше умеет помогать. Он хороший, не злой — но не умеет. Например, друг ногу сломал, а тот стоит рядом и говорит: «Ах, как я тебе сочувствую, ах, как тебе больно, ах, да кто же нам теперь поможет?..»

— Это только старые бабушки так говорят, — обиделся Антон. — Надо не болтать, а наложить шину.

— Ну, и как ее накладывать?

Антон насупился, а после паузы сказал с просветлением:

— А хорошо быть врачом. Приходит больной, мучается — а ты что-то такое сделал, и он уже здоровый. Засмеялся и побежал на работу. Здорово, правда?

— Правда, — сказал Симагин.

— Я буду врач, — сообщил Антошка. — А ты почему не врач?

— А я врач. Я самое лучшее лекарство изобретаю.

— А когда ты его изобретешь?

— Не знаю, Антон. Это трудно.

— Ты его изобретай скорей. Девочка Лиза из нашего класса очень часто простуживает гланды и заднюю стенку, а когда ее нет, мне скучно и даже уроки хуже учатся.

— Извини, Антон, но ко второму классу я не поспею, — улыбаясь, сказал Симагин. — Однако ты не думай, я стараюсь.

— Да уж я знаю, — важно поверил ему Антон. — Уж ты работаешь. Вовка меня и то спрашивает: твой папа всегда с

вами живет или не всегда? — ехидновато-приторным голоском Виктории передразнил он. — Его папа всегда приходит с работы в семь, садится к телевизору и больше никуда уже не девается до следующей работы. — Антон подпрыгнул, меняя шаг, чтобы пристроиться с Симагиным в ногу. — А мама почему не врач?

— Она тоже врач, — не задумываясь, сказал Симагин. — Помнишь, я часто прихожу усталый, грустный... А она меня сразу вылечивает.

— А еще помню, как мы с мамой пошли в кино без тебя, и она только и смотрела кругом, и у нее все время делалось такое лицо, как когда ты приходишь. И сразу пропадало. А ты был дома грустный, а когда мы пришли, сразу вылечился.

У Симагина стало горячо в горле.

— Ну, вот, — проговорил он мягко. — Ты же все понимаешь. Плохое настроение — это болезнь. Опасная и заразная.

— Да-а? — Антон задрал голову, заглядывая Симагину в лицо, пытаясь сообразить, не шутит ли он. Сразу споткнулся, конечно.

— Да-а! — в тон ему ответил Симагин, и Антон заулыбался. — Мама и на работе всех вылечивает, кто грустный и нервный, я видел. Только меня ей лечить приятнее, поэтому она всегда со мной.

— А тебе ее лечить приятнее, поэтому ты всегда с ней, — заключил Антошка.

Интересно, что он думает сейчас, прикидывал Симагин, глядя сверху на темную Антонову макушку. Сколько из того, что сейчас сказано, отложится там? И даже не сколько, а — как? Совершенно не могу представить. Он думал так, а разговор катился: как лечат друг друга мама и папа, как лечат друг друга знакомые, как лечит друга друг... и что это — друг...

— Представь, что вы где-то делаете революцию. И министр обороны старого правительства вроде бы человек хороший и прогрессивный. Может, даже вас поддержит. А может, и нет. Может, он специально притворяется, чтобы войти к вам в доверие, все выяснить и предать. И вот ты ему веришь и считаешь, что надо все рассказать, — тогда он вас

поддержит армией. А твой лучший друг не верит, он считает, что министр вас обманывает.

— Какой же он друг, если по-моему не считает? — обиделся Антошка.

— Твой самый лучший. Вы с ним вместе выросли, вместе сидели в тюрьме у старого правительства, вместе бежали. Он тебя спас от смерти, потом ты его спас от смерти. А теперь ты говоришь, что он погубит дело, а он говорит — что ты. Как быть?

— Собрать большое собрание и проголосовать, — со знанием дела, уверенно ответил Антошка. Симагин даже опешил на миг.

— Нельзя, — сказал он затем. — Нельзя об этом говорить всем. Вдруг есть какой-нибудь ме-елкий предатель. Тогда он погубит министра. А если министр станет вам товарищем? Как же можно будущим товарищем рисковать? А во-вторых, кто будет на собрании? Деревенские повстанцы в основном. С министром они не знакомы. Разве можно заставлять их решать? Решать тем, кто знает.

— Так а что же делать-то? — нетерпеливо спросил Антошка.

— А ты как думаешь?

— Не знаю, — произнес Антон после долгого размышления.

— Вот понимаешь? Кроме вас двоих — в общем, некому решать. И ты говоришь одно, а твой лучший друг — другое. А если вы поступите неправильно, могут погибнуть все революционеры. И вы сами. Оба, понимаешь? И тот, кто ошибался, и тот, кто был прав.

— Да как же быть-то, папа?! — Антон был в отчаянии.

— Никто не знает, — ответил Симагин. — Это называется — неразрешимый вопрос. Сколько бы их ни было — всегда приходится заново мучиться. И помочь никто не может. И никогда не знаешь, прав ты или нет. А действовать надо. И отвечать, если ошибся. И хоть как-то спасать тех, кто из-за твоей ошибки пострадал. Это часто бывает, и всегда очень больно.

— А вот... пап, а пап! А вот есть такая работа, чтоб все время думать над неразрешимыми вопросами?

— Есть. Писатель.

Этого Антошка явно не ожидал.

— Как дядя Валерий? — разочарованно спросил он, с недоверием оттопырив нижнюю губу.

— Да, — твердо ответил Симагин.

Они уже входили в химчистку, когда Антошка сообщил:

— Я буду писатель.

В химчистке было душно и тесно, резко пахло химикалиями. Очередь тянула эдак часа на полтора. Работали пять барабанов из восьми, два подтекали — по металлу, покрытому облупившейся синей краской, от круглых люков тянулись вниз ржавые полосы, а на полу, прислоненные к этим полосам, кренились старые погнутые ведра со смутно уцелевшими надписями: на одном «Для пищевых отходов», на другом — вообще «Компот». Героическая приемщица — красная от жары, задыхающаяся, оглохшая и обалдевшая от постоянного шума агрегатов — стойко, но нервно делала свое дело, и Симагину даже подумать было страшно, что ее рабочий день еще только начинается. Как всегда в таких случаях, ему хотелось подойти и сказать: «Давайте я за вас постою, идите погуляйте часок...» На улице очередь тоже была — внутри в основном старушки, снаружи в основном мужчины, которые группировались на солнышке вокруг пивного ларька и, как слышал, проходя, Симагин, с большим знанием дела обсуждали перспективы предстоящей встречи в верхах. Они сдували пену, похохатывали, хлопали друг друга по плечам и спинам и никуда не торопились, но время от времени откомандировывали кого-нибудь из своих проверить, как идут дела и не пролез ли кто без очереди. Антон, едва войдя, подобрался и стал принюхиваться — он был здесь впервые. Он так и впился взглядом в круглые иллюминаторы машин — ему, вероятно, уже мерещилось, что там вращается по меньшей мере терпящая катастрофу Метагалактика. Или, наоборот, самая лучшая наша подлодка попала в повышенные тур-бу... пап, я помню, молчи!.. ленции и нужно срочно принять решение, которое всех спасет. Симагин дал Антошке насладиться, ответил подошедшей женщине, что он — последний, а потом осторожно потянул сына за плечо.

— Пошли в уголок. Оттуда видно.

— Пошли.

Они начали ждать, и разговор из-за шума как-то сам собой прервался. И сразу мысли Симагина стали сползать на методику выявления. Похоже, ничего не оставалось, как расписывать всю спектрограмму, и там, где аппарат не срабатывает и роспись не удается, предполагалось наличие латентной точки — метод, совершенно фантастический по трудоемкости и длительности. Симагин не мог с этим смириться. Еще вчера он подумал, что неверен сам подход. Они еще очень смутно представляли себе природу латентных точек. Они оперировали спектрограммой, будто она была конечной реальностью, а не ограниченным отражением далеко еще не понятных процессов. Тут следовало разобраться. Точки. Что в них? Резонанс есть всплеск затаенных возможностей, энергетическая буря. В обычном состоянии эти возможности никак не заявлены. Спектрограмма фиксирует любой идущий реально процесс, от зубрежки стихов до час назад подцепленного СПИДа. Можно ли момент ожидания считать реально идущим процессом? А что это — момент ожидания? Назвали — и как будто уже понимаем. Ожидания чего, собственно? Какие свойства возбуждает резонансная накачка? Да-да, именно, попробуем с обратного конца — какие качественно иные состояния организма нам известны? У Симагина среди духоты вдруг мурашки забегали по спине — дрожь озарения легонько коснулась кожи и отступила, потом коснулась вновь. Черт, тут могут таиться самые неожиданные сюрпризы, вроде способностей к чтению пальцами и тэ дэ, если они вообще существуют...

Идея скользнула как бы невзначай, на пролете — и лишь через несколько секунд Симагина обожгло.

Он очнулся оттого, что Антошка, приподнявшись на цыпочки, осторожно потянул его за локоть. Симагин нагнулся.

— Ты посмотри, — встревоженно прошептал Антошка, не отрывая взгляда от иллюминатора одного из барабанов. — Там только что были вещи. А теперь их нет.

Симагин посмотрел. Чистка закончилась, жидкость откачали, и центрифуга раскрутилась до предельной скорости. В иллюминаторе, за которым только что вразнобой плавали

рукава и штанины, виднелось теперь лишь стремительное стальное мерцание.

— И воды тоже нет, — сказал Симагин.

— Воду откачали, — нетерпеливо прошептал Антон. — Надо скорее сказать вон той бабушке, что у нее вещи растворились.

— Подумай сначала чуточку, — попросил Симагин. — А если они все-таки там?

— А где?

— А про центробежную силу я рассказывал?

Несколько секунд Антон напряженно всматривался в иллюминатор — казалось, мерцание отражается в его немигающих глазах.

— А! — сказал он потом. — Воду откачали, и на воздухе все прижалось к стенкам. Барабан больше окошка, и стенок не видно.

— Соображаешь, — одобрил Симагин, но Антошка пригорюнился — отвернулся и стал меланхолически чертить на окне узоры. Симагин подождал-подождал, а потом спросил осторожно: — Эй! Чего приуныл?

— Да ну! — ответил Антошка, дернув плечом.

— Это что еще за «да ну»?! — грозно спросил Симагин.

— Ведь сам же мог догадаться! А стал спрашивать.

— Это не беда. — Симагин ласково обнял Антона. — Пока был маленький, привык. Скоро отвыкнешь. Если бы меня не оказалось, ты бы спрашивать не стал и догадался сам. Важно не перестать думать, если сразу ничего не приходит в голову. Понимаешь?

— Понимаю, — вздохнул тот. — Но хорош бы я был, если б к бабушке побежал. Она бы сказала: какой глупый!

Когда Симагин очнулся во второй раз, подходила их очередь.

— Антон, — спросил Симагин, стараясь говорить совсем спокойно, хотя его колотило. — Хочешь сам сдать вещи?

— Хочу! — не веря счастью, выпалил Антон.

— Держи деньги. Помнишь, за кем мы?

— Аск! — взросло возмутился Антон. Симагин бросился к телефону.

Карамышев был дома.

— Доброе утро, Аристарх Львович, — сказал Симагин.

— Доброе утро, Андрей Андреевич, — сумрачно отозвался Карамышев. Судя по голосу, он был в дурном расположении духа.

— Мы с вами остолопы, — весело сообщил Симагин.

— Отрадно слышать, — ответил Карамышев. — Признаться, я тоже с утра за столом и тоже пришел к аналогичному выводу.

— Да я не за столом, я в химчистку стою... Знаете что? В латентных точках мы напоремся на экстрасенсорную дребедень. Лечение руками. Ясновидение, телекинез. И, может, еще что похлеще. Все качественно иные состояния организма, которые в истории фигурируют как чудеса. А возможно, и такие, которых еще никто не наблюдал или не описал. Если эта чертовщина вообще существует, то только здесь. На резонансе. А знаете, что будет, если мы это ухватим?

Карамышев молчал. В трубке слышалось его напрягшееся, сразу охрипшее дыхание. Он молчал долго.

— Господи, — вдруг сказал он.

— Будет новый мир, — сказал Симагин. — Совсем новый.

— Но метод! — отчаянно, словно его вдруг стали резать, закричал математик. — Метод поиска!

Симагин засмеялся.

— Не нужен никакой метод. Я же говорю — качественно иные состояния. У них и спектр качественно иной. То ли частоты другие, то ли темп... Там же не текущее состояние регистрируется, а, так сказать, предпочтительная будущая возможность. Мы этот спектр просто не ловим, хотя он обязательно должен быть, в каждой точке — свое, специфическое ожидание... Но на нашей спектрограмме здесь просто дырки. Понимаете? А у нас сплошная линия. Это электронное эхо. Сигнал прерывается и тут же возникает в иной позиции. Луч исправно заполняет пробел, а мы дурью маемся. Нужен какой-то фильтр на катодах, что ли... Если снять эхо, дырки будут видны с ходу, прямо на экране. Приходите завтра в институт на часок пораньше, если можете.

Карамышев опять долго молчал.

— В химчистку, значит, — пробормотал он хрипло.

— Да, очередюга, знаете... И вот еще. Если вам не трудно, предупредите еще Володю, у меня больше двушек нет. Пусть он придет тоже, он же по электронике у нас...

— Я позвоню ему, — пообещал Карамышев. — И, разумеется, приду сам. Поздравляю вас, Андрей Андреевич. Это... До завтра. — Он резко повесил трубку.

Ну, вот, думал Симагин, несясь к химчистке. Ну вот. До завтра. Вокруг все сияло. В золотом мареве рисовались странные видения — чистые, утопающие в зелени города, небесно-голубая вода причудливых бассейнов и каналов, стрелы мостов, светлых и невесомых, как облака. Сильные, красивые, добрые люди. Иллюстрации к фантастическим романам начала шестидесятых шевельнулись на пожелтевших страницах и вдруг начали стремительно разбухать, как надуваемый к празднику воздушный шарик. Лучезарный дракон будущего в дымке у горизонта запальчиво скрутился нестерпимо сверкающими пружинистыми кольцами, вновь готовясь к броску на эту химчистку и этот ларек. А ведь, пожалуй, накроет, сладострастно трепеща, прикидывал Симагин. Неужто накроет наконец?! Или опять химчистка и ларек увернутся и, переваливаясь по-утиному, неуклюже, но шустро отбегут в сторонку?

А вокруг Антошки толпились бабульки и причитали, какой он взрослый да смышленый. Антошка стоял, нахохлившись, глядя исподлобья, и, едва завидев Симагина, бросился к нему, чтобы спрятаться от похвал.

— В седьмом барабане, — деловито отчитался он. — Уже пять минут вертят. С антиста... татиком. Ты им не вели меня так хвалить. Как будто я очень глупый, что вещи сдать мне подвиг.

На них умильно смотрели со всех сторон. Симагин поднял взвизгнувшего Антона на руки и подбросил к отечному трещиноватому потолку.

— Ты чего?! — на всю химчистку с восторгом завопил Антон.

— Жить на свете — хорошо! — на всю химчистку с восторгом завопил Симагин.

Дверь открыла Ася. По ее глазам Вербицкий сразу понял, что пришел не вовремя, и заулыбался еще приветливее, втаскивая в квартиру невыносимо тяжелый портфель.

— Здравствуйте, Асенька, — произнес Вербицкий задушевно и с облегчением поставил портфель на пол. — Можно войти?

— Здравствуйте, Валерий, — отчужденно сказала она, не скрывая неприязни. — Вы слышали передачу?

— Какую передачу?

— По радио. И по телевизору.

— Я ехал... Мы будем разговаривать на пороге?

— Проходите, — сказала Ася сухо.

— Я, собственно, на минутку. — Приоткрыв портфель, он тронул кнопку включателя и вынул небольшую, еле поместившуюся книгу. — Брал у Андрея справочник, для работы... вот. Что за передача? У вас такой вид, будто кто-то умер.

— Умер.

А, черт, подумал Вербицкий. Не повезло. Мне всегда не везет.

— Простите, — нерешительно выговорил он. — Тогда, может, мне действительно лучше уйти?

Она пожала плечами. Вербицкий сглотнул.

— Ну хоть полчасика дайте отдохнуть, — попросил он, принуждая себя заискивающе улыбнуться. — Я с таким трудом ехал.

— Конечно, полчасика дам, — ответила Ася. — Присаживайтесь.

Вот и все.

Вербицкому стало хорошо и спокойно. Все труды остались позади. Словно он сел наконец в вагон поезда, на который никак не мог достать билет, и поезд тронулся, перрон скользнул за окном, провожающие машут и пропадают... Он почти видел, почти ощущал стремительное биение прозрачных полей вокруг портфеля. Это должно было длиться около двадцати четырех минут. Через полчасика, дорогая, ты уже не захочешь, чтобы я ушел; никогда не захочешь. Его подмывало позлить эту женщину, увидеть ее неприязнь — тем разительнее и сладостнее будет преображение. Интересно,

как это будет выглядеть? Симагин говорил — до трех метров. И расстояние должно быть постоянным. Она села у стола. Достает. Или далеко? Нет, все будет хорошо. Должно же хоть что-то быть хорошо. Он смотрел на Асю из-за вагонного стекла и сам не мог понять, что чувствует, мысленно видя, как его воля, вековечная воля самца, проросшая из архейских болот и вооруженная двадцатым веком, сквозь тщетную одежду, сквозь обреченную, беспомощную наготу вламывается прямо в душу и проворачивает там какой-то сокровенный рычаг, непоправимо переключая эту стройную гордую женщину, как стиральную машину или телевизор, — с программы на программу... Поезд набирал ход.

— Неужели Андрей и по воскресеньям ходит в институт?

— Они с Антошкой ушли в химчистку. Очередь, конечно...

— Надо же... — бессмысленно проговорил Вербицкий. Две минуты прошло. — Так что у вас случилось, Ася?

— Витя Лобов погиб.

— Лобов... погодите. Космонавт? Позавчера улетели.

— Да. Передали только что. Витя и еще двое вышли из станции — они же начали собирать этот громадный телескоп. Микромодуль сманеврировал чересчур резко, что ли... цапфы скафандра не выдержали. Разгерметизация.

— Какой ужас, — сказал Вербицкий. Три минуты. Минуты тянулись, распухали. Ведь две были уже так давно!

— Они с Андреем славно так дружили... хоть и редко виделись. При мне — только однажды. Сидят на кухне — сплошной хохот. — Ася подняла голову, увидела устремленный на нее взгляд, и лицо ее захлопнулось. — Андрей и Виктор вместе учились в институте, — сухо сообщила она.

— Вот оно что... Да... Космос... Мы с Андреем зачитывались фантастикой в школе... Тогда это было модно, помните, быть может... — Пять минут. Ася встала, взяла откуда-то тряпку и стала неторопливо, почти демонстративно, стирать пыль со стола, с серванта, с полок книжного шкафа. Вербицкий едва не вскочил, чтобы силой усадить ее на место. Боже, неужели сорвется? Из-за пыли?! — И плакали, когда погиб Комаров... Вы бы сели, Ася.

Занимаясь своим делом, она опять пожала плечами. Потом повернулась к нему.

— Знаете, — чуть смущенно сказала она, — Андрей меня так ругал, что я не успела прочесть ваши рассказы, Валерий. И правильно ругал. Вы простите меня, Валерий, я действительно как-то не успела... Если у вас будет возможность, пожалуйста...

«Уже!!» — размашисто крутнулось в голове у Вербицкого и тут же утекло в какую-то щель, потому что продолжения не последовало и Ася, постояв, вновь принялась за проклятую пыль.

— Да пес с ними, Асенька, — сказал Вербицкий хрипло. — Вы слишком на этом концентрируетесь. Пустяки. Бумажки. Захотите — так прочтете, когда опубликуют. Меня же быстро публикуют.

Зачем я это, подумал он. Из-за чего горячусь? Через четверть часа я стану для нее богом, молча и без усилий — уже одиннадцать минут... Да сядь ты, дура!! Откуда я знаю, можно тебе ходить или нет?!

Она отложила тряпку.

— Пойду чай поставлю, — сказала она и двинулась из комнаты, и Вербицкий, уже не владея собой, вскочил с воплем:

— Не надо!

Она остановилась, изумленно глядя на него.

Эта заминка ее спасла. Микроискажения подсадки и без того уже были на грани летальности. Положение усугублялось тем, что внешний спектр подсаживался без фильтрации, всплошную, через случайные резонансы отнюдь не всех латентных точек, зато вместе с участками, не имевшими отношения к делу, — такими, например, как садомазохистский регистр, — отламывая и перекрывая недопустимо обширную для одного сеанса область психики. Если бы Ася к тому же вышла из зоны облучения до окончания операции, ее смерть была бы неминуема.

— Правда, — выдохнул Вербицкий. — Не стоит. Я не хочу. Я уже пойду сейчас.

Она пожала плечами и сказала:

— Ну, мои захотят. На улице духота, а Симагин чай любит...

И пошла, пошла мимо...

И вдруг запрокинула голову, накрыв лицо рукой. Видно было, как ее качнуло, — она едва не упала. Что это с ней, с испуганным раздражением подумал Вербицкий и тут же сообразил — Симагин ведь хвастался прошлый раз, она ждет ребенка. Затошнило, наверное. Будь я женщиной, невольно подумал он, ни за что бы...

Ася напряженно опустилась на краешек кресла и обмякла, окунув лицо в ладони, уложенные на стол. Ее волосы растеклись бессильной темной пеной.

— Что с вами, Асенька? — озабоченно спросил Вербицкий. — Вам нехорошо?

Она с усилием подняла голову и исподлобья глянула на него.

— Мне хорошо.

У нее была восковая кожа и потухшие глаза — оставалось только удивляться стремительности перемены. Эта перемена решила все. Мгновения отслаивались, отщелкивались все быстрее. Вербицкий всей кожей ощущал их упругое проскальзывание. И с каждым мгновением эта женщина становилась его. Быть сторонним наблюдателем этого было легко и странно. Пощелкивали рельсы, он ехал в вагоне, работал машинист, тепловоз работал, он лишь ехал. Они молчали.

Словно какой-то будильник прозвенел. Время истекло.

Вербицкий дрожал от возбуждения, лицо его горело.

— Я ухожу, но... запомните. Я не хочу оставлять вас. Мне страшно оставлять вас. — Он облизнул губы. Теперь она должна понять, ведь все это правда. Ведь у них одна правда уже. — Здесь вы разучитесь чувствовать и мыслить, я же знаю...

Ася встала и тут же опять рухнула, со всхлипом втянув воздух.

— Господи, — едва не плача, пробормотала она, — ну где же Симагин?

— Что?! — не веря себе, переспросил Вербицкий. Внутри у него все оборвалось. — Что?!

В замке звякнул ключ, и, совсем как в первый день, непостижимым и неподвластным сверкающим сгустком женщина пронеслась мимо, черный костер волос опалил Вербицкому щеку своим летящим касанием.

Он. Долгожданный, надежный. Она льнула к Симагину, пытаясь, как вода, растечься по нему, чтобы не быть самой. Теперь все будет хорошо. Пришел — и сразу легче. Так и всегда. Прогони его, прогони. Я так ждала. А теперь что-то случилось. Но я все равно ждала. Только у меня нет сил, даже стоять не получается, идем скорее в комнату, только прежде прогони, я не могу видеть этих пустых глаз, мне хочется драться, но сил не стало, я сперва решила, что это твой, наш, во мне, подал первый знак, но это не он, ну скорее...

— Дядя Витя погиб, — сообщил Антошка из-за спины Симагина.

— Да. — Она шевельнула губами, но даже не услышала себя.

— Валерка... Здравствуй, Валерка. Ты давно здесь?

— С час.

— Знаешь?

— Ася сказала.

Прогони его, милый! Ты даже не увидишь, что мне так плохо, только если умру, увидишь, но я не умру, как же я могу тебя оставить, я же знаю, что тебе нужна, прогони...

— Асенька... Заждалась нас? У, ладошки-то какие холодные. — Он взял ее руки в свои, поднес к губам, и она зажмурилась даже, запрокинулась, перетекая в свои ладони навстречу его целительному дыханию. — Сейчас кофейку выпьем. Представляешь, на углу растворяшку выбросили. Из окон траурное сообщение, а народ банки хватает, по штуке в руки... И я схватил... А ты что, уходишь? С ума совсем!

— Да знаешь, я просто по пути зашел — справочник вернуть.

— Брось, Валера, посиди еще, куда спешить. Воскресенье.

— Это у вас воскресенье отдых. Работаете от звонка до звонка. Наш рабочий день не нормирован, и выходных нет.

— Да перестань...

Их голоса доносились как сквозь вату. Ася почти лежала на груди Симагина, ноги подгибались. Мир кружился то быстрее, то медленнее — она боялась открыть глаза.

— Нет, Андрей, я спешу. Спешу! Ну не уговаривай!!

Вербицкий не мог здесь больше оставаться. Он был на грани истерики — воздух жег, жег пол через подошвы туфель; хотелось истошно завыть и расколошматить об стенку, нет, об симагинскую самодовольную морду этот нестерпимо тяжелый портфель. Сволочь! Подлец! Обманул — меня, друга, мы же с детства вместе! Что он соврал мне, чего недосказал — разве выяснишь теперь? Какой позор! Какое унижение — не удалось!!

Ничего не могу, ничего. Одни словеса, не нужные никому.

— Ну, как знаешь, — грустно сдался Симагин. — Я понимаю... Ты извини, мы сегодня неприветливые. Заходи, как сможешь.

— Конечно! — в лихорадке кричал Вербицкий. — Обязательно!

Симагин бережно отстранил Асю и протопал на кухню. И недомогание накинулось снова. Она даже застонала или ахнула протяжно, когда тошнотворный ком вдруг болезненно скользнул в горло, а оттуда толкнулся в голову и превратился в ледяной обруч, натуго стянувший виски. Удивленная и напуганная, она откинулась на стену спиной. Сейчас, уговаривала она себя. Потерпи. Вот он вернется, и все опять пройдет. Погода замечательная, пойдем в парк. Ему же надо сил набраться. До конгресса неделя, а знаю я эти конгрессы, прошлый раз вернулся от усталости сизый. С чего это я расхандрилась? Свинство какое! Дрыхла чуть не до полудня, пока мужики по очередям маялись, — и привет. А ну, Аська, кончай дурить! Ох, я тоже так устала.

— Слушай, гений, — громко и развязно спросил Вербицкий, — ты никак опять меня провожать собрался?

— Угу, выйдем вместе. Я до почты дойду, телеграмму дам Витиной жене. Ох, Валера! Как Витьку-то жалко! Он ведь сам этот телескоп и конструировал. Не один, конечно... Все кричал: орбитальный! Уникальный! Разрешающая способность! Вот как бывает. Сам придумал, и сам...

— Кто на Голгофу лезет, крест для себя всегда на себе тащит... Уж если лезешь — будь готов...

Лязгнула, закрываясь, дверь, и стало тихо. Это хорошо. Прошлепал к себе Антошка. Это хорошо. Стены валились на Асю, ее знобило. Пока он вышел, надо выздороветь. Что бы принять? Анальгин? Корвалол? Корвалол, кажется, кончился... Успею. Успею-успею. Она ничком упала на диван. Витя погиб, а тут еще я отсвечиваю... Надо было взять подушку. Надо было укрыться. Уже не встать. Да что я, не болела никогда? Миллион раз! А кто это видел? Никто. И сейчас не увидит. Он вернется, я встану, как ни в чем не бывало, и все будет хорошо. Все будет хорошо. Он войдет, я встану и улыбнусь, и даже не надо будет себя заставлять — просто он войдет. Головокружение не ослабевало, Асе было очень холодно, и вдруг резкая, короткая боль прошила ее по позвоночнику. Она вскрикнула, судорожно распрямившись на диване. Боль тут же прошла, и лишь слабый ее отголосок, память тела о внезапном страдании, медленно таял там, где полыхнул стальной огонь. Ася осторожно вздохнула, и тут ее ударило еще раз — она, не издав ни звука, скорчилась и прокусила губу. Да что же это?! Она была в панике. Что вдруг?! Из глаз выхлестнули слезы — от страха, и негодования, и бессилия. Он сейчас уже придет! Она с усилием раздвинула веки — свет был болезненным и едким, она не успела разобрать, что показывают часы, глаза захлопнулись вновь. Еще удар, сильнее прежних, грубо и подло распорол ее ослепляющим лезвием. «Симагин!!» — закричала она в ужасе, но не услышала себя. Язык был громаден и сух, чудовищной шершавой массой загромождал рот. Кровь гудела в ушах, нестерпимый колючий обруч снова стиснул голову так, что перед зажмуренными глазами брызнули искры. Господи, да что это? Откуда? Я умираю. Симагин, я умираю! Как же так вдруг?.. Словно издалека она услышала звук двери и, не в силах разорвать сросшиеся веки, вышвырнула себя из дивана, поставила на ноги. Глаза открылись, ломающийся в диком танце пол бросился в лицо, руки сами нашли какую-то опору — кажется, стену... устояла. Вошел Симагин — маленький, изогнутый, словно в перевернутом бинокле.

— Наконец-то, — проговорила Ася, едва проворачивая удушающую глыбу языка в ссохшемся рту. — Я уж заждалась, Андрюша. Дал телеграмму? От меня не забыл подписать? Как погода?

Далекое лицо Симагина странно дергалось. Ася хотела еще что-то сказать, но тут стену будто вышибли. Диван косо налетел снизу. Что так смотришь? Видишь, не могу. Мне казалось, я все могу, но что-то смещается, и ничего нельзя сделать. Ну не смотри, я не должна быть такой, когда ты рядом, ты же чудотворец, ты всегда мог снять любую усталость и любую боль, и теперь это из-за меня, это я виновата, что ты не можешь... посиди тихонько, с Тошкой поиграй... Обед разогрей, я полежу — и пройдет. Она уже ничего не видела. Тело разламывалось от блуждающих взрывов ослепительной боли, стало чужим, и сквозь эту чужесть она ощущала бесконечно далекие, бесконечно слабые прикосновения. Кажется, подложил подушку. Кажется, укрыл. Ласковый, ласковый — а я!! Даже сейчас она чувствовала, с какой пронзительной заботой его руки укладывают и укутывают ее сломанное, измочаленное непонятной бедой тело — проклятое, оно предало эти руки, оно не отзывалось, оно не могло!

— Симагин, — напрягаясь, выговорила Ася. — Ты не беспокойся, я сейчас... — Он, прильнув к ее губам ухом, едва разбирал мучительный, надтреснутый шепот. — Ты поешь пока... Ты не бойся, у меня так уже было, когда Тошку ждала... Ничего особенного.

...Ася проснулась и долго не могла понять, почему она спит, а за окном светло. Потом вспомнила. Происшедшее казалось кошмарным сном — нигде не болело, мир был тверд, ярок. Дикое желание, словно сладким уксусом, пропитывало плоть. Она осторожно, еще боясь, еще не веря, откинула одеяло и спустила ноги с дивана. Ничего не произошло. Она тихонько засмеялась. И встала.

Дело шло к шести. Наползли лохматые красивые тучи и повисли, готовые пролиться. Ася опять засмеялась. На кухне едва слышно бубнили. «А вот эти фото передал «Пайонир». Видишь, как здорово. Называется Красное пятно. Никто не знает, что это за штука такая». У Аси даже во рту пересохло

от симагинского голоса. Все сжималось внутри, горячо обваливаясь вниз, навстречу... Покрутилась по комнате, размахивая руками. Чуть подташнивало, но от этого уже не уйти. Интересно, он чувствует, что я проснулась? И зову? Я всегда чувствую... Сима-гин.

— Пойду гляну, как мама спит, — сказал на кухне Симагин. — Посиди пока.

Слышит, ликовала Ася. Он все понимает, все чувствует... Да разве есть еще такие люди в мире? Она спряталась за дверью, и, когда Симагин вошел и замер, растерянно уставившись на покинутый кокон одеяла, Ася закричала и бросилась ему на спину. От неожиданности он чуть не упал.

— Аська! — ахнул он. Она взахлеб целовала его в затылок, в шею, по коже у него побежали заметные мурашки. — Аська, черт! Ты живая? Подожди...

Она отпрыгнула, смеясь, и он сразу повернулся к ней.

— Ничего не хочу ждать, — заявила она. — Все сейчас.

— Аська... — Он еще не мог прийти в себя и озадаченно, опасливо улыбался.

— Все прошло, — не задумываясь, сказала она. — Это я вчера перевеселилась. — Она воровато глянула на дверь и лихо захлопнула ее ногой; одним рывком расстегнув рубашку, сдернула к подбородку захрустевший лифчик. Восторг переполнял ее, организм ликовал, празднуя какую-то одному ему известную победу. С девчачьим взвизгом она опять бросилась на Симагина, обхватив коленями, повисла на нем и самозабвенно запрокинула голову, выгибаясь, вдавливаясь ему в лицо, — он прижал ее к себе, целуя в грудь. — Жуй меня... Ешь скорей... живьем глотай, пожалуйста... — умоляла она. Из коридора послышались скребущие звуки, и Антошкин голос спросил: «К вам можно или как?» — и Симагин уронил ее, она отпрыгнула к окну, стремительно приводя себя в порядок, и звонко закричала: «Еще бы нельзя! Только тебя и ждем!» Тошка вошел, и тогда она подхватила его, как только что ее — Симагин, и принялась начмокивать в макушку, в затылок, в щеки, а он растерялся сначала, потом стал отбиваться, но она все крутила его, кружила, что-то приговаривая, а Симагин смеялся рядом, и глаза его сверкали.

— ...А не поздно гулять-то?

— Время детское, не дрейфь!

— Аська! — Он смеялся. — Ну, тебя кидает! Тошку возьмем?

— Натурально. Анто-он! — закричала она, как в лесу. — Пойдешь гулять?

Антошка высунулся из своей комнаты.

— Пойду, — заявил он и скрылся.

— Неужели все прошло? — спросил Симагин. — Ты такая веселая... А ведь было что-то ужасное. Ты не притворяешься?

— Я тебе сейчас за такие слова!.. — свирепо воскликнула Ася и стала дергать Симагина за нос. Симагин мычал и нырял головой. — Ах ты, слоненок! Ты кому не веришь? Разве есть такой закон — чтоб любящим женам не верить? Ты скажи! Есть? Если есть, я к депутату пойду, пусть отменит!

— С пустяками к депутату не пускают...

— Прорвусь! Ты что, не знаешь, что для влюбленной женщины нет препятствий? Попру, как бульдозер! — Она изобразила бульдозер и, взревывая моторами, покачиваясь на ухабах, поползла на Симагина. Загнала в угол и опять стала целовать в подбородок, в шею, в расстегнутый ворот рубашки, потом упала на колени, прильнула. Он смеялся, запрокидывая голову:

— Нет, ты с ума сошла. Правда, ты с ума сошла...

— Да! — отпрянув, закричала Ася и начала делать страшные гримасы. — Я с ума сошла! Я Клеопатра, — величественно возвестила она, принимая позу. — Нет, я мадам де Богарне, — сказала она с французским прононсом, принимая другую позу. — Ой, я же вся с поросячьими ресничками!

— Не надо! — безнадежно взмолился Симагин.

— Ничего не понимает, — деловито сообщила она в пространство. Она уже стояла у зеркала, раздирая косметичку, движения были поспешны и суетливы. — Тупой, грубый, неотесанный. — Она выставила один глаз к зеркалу. — Неужели тебе не сладостно видеть, как я становлюсь красивее? Лицезреть. Вот я... — доверительно призналась она немного странным голосом, потому что лицо ее было неестественно

напряжено, — вечно обмираю, когда ты бреешься. Мужское таинство, вот что это такое. А ты... эх ты.

— А браво у тебя выходит раздеваться, — завороженно следя за ней, сказал Симагин. — Я думал, все пуговицы брызнут.

Ася хихикнула и тут же ойкнула, потому что где-то что-то положила не так.

— Женщина, — справившись с аварией, сказала она, — которая не умеет мгновенно раздеваться, не стоит и кончика мужского мизинца. Вас же надо на испуг брать. Лови момент и рви пуговицы. Тогда еще есть надежда на ломтик простого бабьего счастья. Не надо печалиться, вся жизнь впереди — разденься и жди...

— У нас парни пели — напейся и жди.

— Каждому свое... Все, готова! — Она отшвырнула косметичку и стала моргать на Симагина новыми ресницами. — Здорово? Где Тошка?

— Жду, когда позовете, — ответил Антон, высовываясь из приоткрытой двери. — Меня отпустили, — сообщил он важно, — хотя момент очень ответственный. Микромодуль маневрирует неправильно, — пояснил он в ответ на вопросительный взгляд Симагина. — Хорошо, что цапфы выдержали.

Было начало девятого, когда они вошли в парк.

Ну надо же, думала Ася, слушая Симагина. Он опять открытие сделал. Вот так вот болтаем, целуемся, за нос его дергала — а он что, и впрямь гений? С ума сойти. Телепатия. Только телепатии и не хватало. Вербицкого бы протелепать — что это он тут вьется. Она попыталась всерьез представить то, о чем рассказывал Симагин, и не смогла. Это было совершенно несовместимо с обыденным миром. Не может этого быть все-таки. А вдруг все-таки может? На краю какой бездны он стоит, подумала она и даже головой качнула, представив. И лицом разрубает ледяной ветер этой жуткой беспредельности. Кажется, так все тепло можно растерять, а он — вон какой. Живой и весь светится. Она прильнула к нему. Вот какой. Теплый. Нежный. И как я заслужила эту честь — быть ему ближе всех? А сколько времени не верила, что он такой. А он и не был. Он бы таким и не стал, если бы меня не оживил. Потому нам нельзя теперь врозь, разрежь — и все. Странно, надо бы ущербность чувствовать, что сама по себе не можешь, — а вот поди ж ты, гордость.

Странно, думал Симагин, рассказывая. Быть рядом с такой женщиной — это... это... Надо горы сворачивать, чтоб хоть как-то оправдать это. Чтобы быть достойным ее. Как она чувствует все, как откликается на красоту — вечерний лес вокруг, и она сразу, как этот лес, тиха, отуманена нежностью и покоем. Как бы я жил без нее? Как я жил до нее? С полуденной ясностью он понял, что весь прорыв последних лет, позволивший лаборатории Вайсброда далеко обогнать всех биоспектралистов мира, возникновением своим обязан Асе, и только ей.

Антон чинно двигался рядом и даже не пытался обследовать, как обычно, беличьи скворечники — постучать по стволу дерева, прижав ухо к твердой коре, поглядеть вверх и отойти, по-хозяйски отметив: спит... Тоже заслушался.

— ...Опять все раскидал, — укоризненно сказала Ася, складывая Антошкины штаны и рубаху и вешая на спинку стула.

— Я забыл, — ответил Антошка виновато и, предвосхищая следующий пункт вечерней программы, накрылся одеялом по грудь и положил руки поверх. Победно глянул на Асю. — Мам, а мам... Я спрошу, ладно?

— Ладно. — Ася присела на краешек постели, и Антошка немедленно ухватил ее за ладонь.

— Мам, а у меня правда скоро будет братик?

Ася улыбнулась потаенно и счастливо. Нагнулась и поцеловала Антошку в лоб.

— Правда, — ответила она. — Или сестричка.

— А почему так — не было, не было и вдруг будет?

— Когда мама и папа очень любят друг друга, раньше или позже у них обязательно появляется сынок или дочка.

Лоб Антошки собрался маленькими, симпатичными морщинками. Антошка размышлял.

— А тогда... мам, — нерешительно спросил он. — Значит, ты... раньше очень любила не папу?

Ася прикусила губу и тут же улыбнулась.

— Я была чуть старше тебя и гораздо глупее, — объяснила она. — И мне показалось, понимаешь? Если кажется, то некоторое время оно будто есть на самом деле. Это чтобы поскорее учились отличать настоящее от того, что кажется. По-настоящему я всегда очень любила папу. Только мы не сразу встретились.

Антошка внимательно смотрел на нее.

— Тут есть что-то, чего я не понимаю, — совершенно по-симагински сказал он. — Наверное, это неразрешимый вопрос... Мам, а мам?

— Что, милый?

— А ты никого больше не полюбишь?

— Да ты что, Антон? — Ася звонко рассмеялась. — Кого? Ты разве не видишь?

— Вижу, — ответил он. — Я почему-то уже плохо помню, как было до папы, вроде папа всегда был. Но когда вспоминаю, вижу, что ты стала веселее и добрее.

Ася почти с испугом всматривалась в его лицо. Тошка, думала она, клопик мой... Кажется, вчера родила тебя — и вот уже.

— Я тоже, когда вырасту, буду добрый, — сообщил Антон.

— Разумеется, — ответила Ася.

— Мам, — опять спросил он, — а ты больше не заболеешь?

— Ну кто же болеет два раза на дню? — засмеялась Ася. — Спи спокойно, Тошенька.

— Мы очень испугались, — сказал Антошка. Глаза у него стали как у засыпающего Симагина — щелочками.

— Ничего не бойся, — сказала Ася и потрепала его по голове. Он зажмурился от удовольствия и открывать глаза уже не стал.

Симагин старательно делал вид, что спит. Ждет, с восторгом поняла Ася. Сердце колотилось все отчаяннее. Будто впервые. Она бросилась в ванную и несколько минут извивалась под душем — сначала горячим, потом холодным, чтобы Симагин ее отогрел. От душа головокружение, усилившееся к вечеру, прошло напрочь. Спеша, дрожа, Ася сорвала купальное полотенце и прехитро в него замоталась — как бы

наглухо, но при каждом шаге левая нога во всю длину выпрыгивала из таинственных складок и, заманивая, мгновенно утягивалась вновь. С видом блистательной куртизанки она проследовала к Симагину, погуляла по комнате под его жадным, ощутимо разгорающимся взглядом. Бесцельно потрогала что-то на полке, переставила чуть-чуть русалочку. Потом повернулась к постели.

— Симагин, — спросила она едва слышно, — ты спишь?

Глядя на нее во все глаза и улыбаясь, он захрапел, изображая беспробудный сон. Она сделала шажок к нему.

— Можно я тебе приснюсь?

— Какой чудесный сон, — произнес он блаженно. Мягким шажком Ася подошла вплотную и замерла; Симагин обеими руками потянулся к ней, но ее улыбка лопнула, словно взорванная изнутри, руки вскинулись изломчато и страшно, полотенце мягко повалилось на пол, но в этом не было уже ничего, кроме боли и катастрофы, и Ася, простояв еще секунду с судорожно бьющейся, исступленно натягиваемой обратно на лицо улыбкой, гортанно закричав, упала. Раскинулась. Вновь закричала, ее бросило на бок, потом на спину. Симагин был уже рядом, подхватил запрокинутую голову в ладони, но Асю ударило вновь, она вывернулась из его рук, со стуком ударилась затылком и обмякла. Он поднял ее, перепуганно бормоча: «Асенька... Ты меня слышишь? Ася!!!» Словно мертвая, она висела у него на руках, только дыхание выдавало жизнь — короткое, скрипучее, сухое, рот был страшно разинут. Он уложил ее, укутал, что-то еще бормоча. На лице ее выступил ледяной пот, и тогда Симагин кинулся в коридор, набросил на голое тело плащ, бормоча: «Сейчас, Асенька! Сейчас!» Последнее, что он увидел в квартире, был Антошка, выбегающий из своей комнаты. Уже с лестницы, в закрывающуюся дверь он крикнул сыну: «Маме плохо!»

Когда Симагин вернулся, Антошка напряженно стоял у постели, по-Асиному прижав кулаки к щекам. Он повернул голову, и Симагина встретил взрослый, напряженный взгляд.

— Когда приедут?

— В течение двух часов. Что тут?

— Успокаивала меня, а потом опять...

Симагин взял Асю за руку — рука была холодной и рыхлой, как талый снег.

— Симагин... — выдохнула она.

— Асенька! — закричал он, едва не плача. — Я врача вызвал, сейчас приедут. Что мне делать? Может, ты попить хочешь?

Она послушно сказала «да», чтобы хоть чем-то наполнить его желание помочь. Ей была отвратительна самая мысль о питье. Симагин метнулся на кухню, но, когда вернулся, всю душу вложив в этот чай — ровно той крепости, сладости и теплоты, что предпочитала Ася, — она снова была невменяема.

— Она велела мне уйти, — глухо проговорил стоявший поодаль Антон.

— Выйди, Тошка, выйди, да, — пробормотал Симагин. — Асенька... Я принес...

Она открыла глаза. На Симагина глянули одни белки. Симагин вскрикнул, едва не выронив чашку — Асину любимую, голубую, с узорчатой ручкой... Веки упали.

— Сим... — выдохнула она. — Сим, холодно. Ляг рядом. Приласкай. Зачем я гулять... Надо сразу. Как я по тебе соскучилась... — Распухший язык едва шевелился между лиловыми губами. Он, не глядя, ткнул на столик плеснувшуюся чашку. Ася была промерзшая, влажная, напряженная, словно в постоянной судороге; он стал гладить ее плечи, грудь, живот, ноги, она не чувствовала. Судорога усилилась, Симагин обнял Асю, бережно согревая, — она хрипела и время от времени выдыхала: «Сим...», и он отвечал: «Я здесь, радость моя...» Она не слышала.

Потом опять что-то изменилось. Дрожь погасла. В свистящих выдохах угадывалось: «Не дам... не дам...» — словно в ней рушилось нечто и она из последних сил сопротивлялась разрушению. «Что ты, солнышко, что?» Она не отвечала, но вдруг он почувствовал, как она принялась лихорадочно и бессильно ласкать его влажными, ледяными ладонями. Он заплакал. Пробормотал: «Я принес, ты пить просила, чайку...» — «Нет, — сипела она, не слыша. — Нет. Ведь не

так. Я тебя люблю». Симагин осторожно высвободился, чтобы налить грелку, принести рефлектор — Ася страшно мерзла. Огляделся, растирая щеки. Комната была чужая.

В дверях стоял Антон.

— Папа, — позвал он.

— Да?

— Мама не умрет?

Симагин вздрогнул.

— Ты... ты не смей так говорить! Так говорить нельзя!

— А если мама умрет, — упрямо выговорил Антошка, — мы с тобой тоже умрем?

Симагин замер с пустой грелкой в руке.

— Да, — сказал он негромко, — мы тоже.

Антон кивнул.

В начале третьего приехал молодой, пахнущий кэпстэном и «Консулом» широкоплечий парень и стал спрашивать, одергивая Симагина: «Спокойнее... у страха глаза велики...» Ася лежала тихо, ей вроде полегчало, только, несмотря на грелки и одеяла, она дрожала по-прежнему. Врач смерил давление, выслушал сердце, как-то еще поколдовал, потом вернулся к столу и начал писать. Он был спокоен, уверен. Написав, задумался, с прищуром глядя на свет торшера, и вдруг резким движением скомкал бумажку.

— Надо госпитализировать, — сказал он, и сейчас же тишину комнаты распорол визжащий, протяжный крик:

— Не-е-е-ет!!!

Кричала Ася.

Симагин рухнул на колени у постели; врач, морщась, обернулся к ним.

— Нет... не надо... не поеду, — быстро-быстро, едва различимо, говорила Ася. — Не отдавай. — Он ничего не понял — она цеплялась за его ладонь ломкими пальцами, заглядывала в глаза, умоляла. У нее опять стали колотиться зубы. — Мне надо с тобой...

— Вы же взрослая женщина, — сказал врач. — Вы должны понимать...

— Доктор, — сказал почерневший Симагин, — что с ней?

Лицо врача чуть исказилось пренебрежением и досадой.

— Какой-то нервный шок, — нехотя ответил он. Казалось, все это ему надоело. Давно. — У меня еще много вызовов, — сообщил он. — Я не могу полночи вас уговаривать. — Он достал бланк и опять стал поспешно писать. — Когда передумаете, вызовите транспорт.

— С каким диагнозом ее отправят? — тихо спросил Симагин.

Перо врача запнулось на серой бумаге.

— Я же сказал — нервный шок, — проговорил он.

— Ну тогда хоть успокаивающий укол, — просяще сказал Симагин. — И сердце поддержать. У нее сердце слабое...

— Со слабым сердцем у вас уже был бы инфаркт, — вставая, ответил врач. — Вот направление, в уголке — телефон.

Симагин не ответил, но вдруг неуловимо стал непробиваемой стеной на пути. Скулы его прыгали. Не двигаясь с места, врач покусал губу.

— Я хочу того же, чего и вы, — сказал он. — Чтобы ей помогли. Понимаете?

Стало тихо. Всхрипывая, дышала опрокинутая на подушки Ася.

— Какая больница дежурит? — спросил Симагин с усилием, и опять раздался крик:

— Не-е-ет!

Симагин резко обернулся и успел увидеть, как выгнувшееся тело опало под одеялами.

— Ася, — жалобно выговорил он, но она выдохнула:

— Ни-ку-да...

Врач молча раскрыл ящичек и стал готовить шприц. Он работал нарочито спокойно, но чувствовалось, что нервы у него тоже сдают. Симагин наблюдал.

— Что это?

— Снимет напряжение, — сквозь зубы бросил врач. — Она уснет.

Ася с усилием выпростала руку. Симагин погладил предплечье — вся кожа дрожала мелкой, едва уловимой дрожью.

— И кордиамин, — сказал Симагин. Врач коротко оглянулся на него и выполнил приказ, ни слова не говоря.

— Направление действительно до утра, — сказал он затем и решительно прошел мимо Симагина.

— Хорошо, — ответил Симагин. — Благодарю вас.

Врач коротко склонил голову и вышел.

Симагин снова опустился на колени. Вошел Антошка и встал, прижавшись плечом к косяку.

— А попить у тебя можно? — напрягаясь, спросила Ася. — Только не чаю, простой воды...

Выпадая из тапок, Симагин рванулся на кухню. Только тогда Антошка решился подойти к постели.

— Мам, — сказал он. — А мам.

И больше ничего. Но она сразу поняла.

— Да я же не заболела, Тошенька, — выговорила она и улыбнулась, а потом закрыла глаза. — Я просто немножко устала.

Странно, думала она. Неужели можно вот так вот, дома, умереть? Антон стоял рядом, она смутно припомнила, что у нее закрыты глаза, но она прекрасно видела его, и пошла на кухню, и сказала: что же ты возишься, и Симагин, роняя чашку, обернулся, но чашка не разбилась, а покатилась, будто пластмассовая, и у Симагина не было лица, Ася отшатнулась, нет, лицо было, странно знакомое, не его, одутловатое, отвратительное...

Когда Симагин вернулся, Антон сказал:

— Мама закрыла глаза и уснула.

В пять Симагин запихал сына в постель, а сам вернулся в спальню. Асино дыхание выровнялось, и щеки порозовели — к шести она была обыкновенная спящая Ася, безмятежная, разметавшаяся, теплая. У нее даже улыбка промелькнула на сонных мягких губах, и Симагин заулыбался в ответ. Он задремал прямо в кресле.

Первыми в лабораторию пришли Карамышев и Володя, а чуть позже — Вайсброд, которому Карамышев тоже позвонил вчера. Около часа они молча ждали, все больше беспокоясь. Ровно в девять, как всегда, задорно цокая каблучками, влетела Верочка. «Привет! — улыбаясь, сказала она Володе. — А где маэстро? Ты что, один в такую рань?» И тут увидела стоявших за изгибом пульта Вайсброда и Карамышева. Ее оживление как рукой сняло, даже румянец пропал.

Поникнув, она подошла к окну и осталась стоять, глядя наружу. Там шел спокойный, прямой дождь.

К половине десятого собрались все. Кроме Симагина.

Без четверти десять Вайсброд не выдержал. «Как же он разговаривал с вами?» — «Очень бодро, — тихо ответил математик. — Чувствовалось, что кипит». — «Вы никому не рассказывали?» — спросил Вайсброд после паузы. Карамышев отрицательно покачал головой. Потом наклонился к Вайсброду и совсем тихо проговорил: «Я даже Володе сказал только об идее электронного эха». Вайсброд кивнул и предостерегающе шевельнул бровями. Карамышев, не меняя тона и не оборачиваясь, тихо произнес: «И главное, ради чего эти хлопоты? Чтобы вместо обыкновенной, удобной, нормальной стенки загромоздить комнату престижной махиной». Вадим Кашинский, неслышно подошедший сзади, остановился было и вдруг опять двинулся куда-то в сторону, пробормотав: «А, вы же некурящие...» Вдруг Верочка рывком отвернулась от окна и звонко, свирепо крикнула: «Ну неужели ни один не мог пойти в местком и стукнуть кулаком по столу, чтоб ему поставили телефон?! Знаменитости!» Разговоры затихли. Верочка, словно от сильной боли, замотала головой и опять отвернулась. А потом с грохотом растворились двери, и влетел Симагин.

Когда улегся шум, Вайсброд подошел к нему и сказал негромко:

— Андрей, когда пройдет первая серия, давайте пообедаем вместе. Тут за углом есть пельменная. Вы не против?

В пельменной было чадно, людно и шумно. Они нашли свободный столик, отгребли на край гору грязной посуды и осторожно, боясь испачкаться в крошках и лужицах на столе, расселись.

Вайсброд разломил пополам кусочек хлеба и опасливо попробовал бульон.

— У меня к вам два приватных разговора, — сообщил он.

— Я догадался, — ответил Симагин после паузы. — Только не знал, что целых два сразу.

— Целых два сразу. Первое. В Москву я не еду.

— Что случилось?

— По состоянию здоровья, — сказал Вайсброд.

— Так, — сказал Симагин, и ложка вывернулась у него из пальцев, плеснув бульоном на стол. — Ч-черт... Действительно?

— Чувствую я себя погано, — признался Вайсброд. — Так или иначе, Андрей, вам надо учиться обходиться без меня. В этом плане я очень рад, что вы сошлись с Аристархом Львовичем, — он в высшей степени интеллигентный и знающий человек.

Некоторое время Симагин энергично ел.

— Кто-то поедет вместо вас или мы отправимся с Аристархом вдвоем?

— Нет, — сказал Вайсброд, — поедет вместо меня Кашинский.

Симагин ошеломленно воззрился на Вайсброда.

— А что он там будет докладывать? Он же...

— Нет, — сказал Вайсброд, — докладывать он будет не там.

— Что?

Вайсброд пожевал губами и отодвинул бульон. Есть это он не мог.

— Вадик неплохой специалист. Ему будет очень полезно побывать на столь представительном форуме, это его поощрит, даст перспективу. Самостоятельного доклада ему не ставят. Он будет у вас на подхвате. А по возвращении тщательнейшим образом, помимо ваших официальных отчетов, проинформирует дирекцию обо всем, что говорилось и делалось на конгрессе.

Секунду Симагин смотрел на Вайсброда, не понимая, а потом сморщился, как от кислятины.

— О гос-споди, — сказал он с мукой, — так вот в чем дело!

— Н-ну, — ответил Вайсброд.

— Только дирекцию или выше?

— Не имею представления.

Симагин принялся за еду. Вайсброд сидел, сцепив руки на животе, и смотрел на него.

— Аристарх знает?

— Да, разумеется. Аристарх Львович и в этом отношении необычайно тонкий человек.

— Ладно, — сказал Симагин, принимаясь за второе. — Что второе?

— Вот что второе. Кому вы успели рассказать о своей идее?

— Какой именно идее? — раздраженно спросил Симагин.

— Вчерашней, — терпеливо сказал Вайсброд и пригубил компот. От компота отчетливо пахло дезинфекцией. Он отставил стакан. — Относительно телекинеза и прочей мистики.

— А, — мрачно произнес Симагин. — Ну, вырвалось в пылу... Карамышеву да Асе. Хотя, если хотите знать, я убеж...

— Речь не об этом, — сказал Вайсброд. — Я вполне доверяю вашей уникальной интуиции. Но я настоятельно просил бы вас не расширять круг посвященных. Держите, Андрей, эту странную мысль в стратегическом резерве.

— Эммануил Борисович! — почти сердито воскликнул Симагин, с возмущением глядя на Вайсброда красными от бессонной ночи глазами. — Я когда-нибудь давал основания подозревать меня в прожектерстве?

— Помилуйте, — улыбнулся Вайсброд. Болели уже все внутренности. Следовало срочно ехать домой. — Дело совсем в ином. Если сейчас пойдет разговор о подобных перспективах, нас всех либо объявят пустомелями, что не будет способствовать работе, либо посадят на совершенно иной режим, что тоже не будет способствовать работе. Потом выяснится, что никакой телепатии нет, а режим останется. Поймите меня правильно. Когда и если подобные эффекты действительно обнаружатся, нашим долгом будет обуздать любую мистику и отдать ее стране. Для применения во всех областях народного хозяйства. Но раньше времени привлекать...

— Я понял, — угрюмо и безнадежно сказал Симагин.

— Вот и отлично, — опять примирительно улыбнулся Вайсброд и тронул Симагина за локоть. — Ваша идея латентных точек блистательна. Впрочем, что я говорю — идея. Это уже целая теория.

— Да будет вам, — буркнул Симагин.

Больше они не разговаривали. Вайсброд смотрел на Симагина. Симагин поспешно дожевывал люля. Он поднял голову, лишь когда за соседним столиком стали кричать. Там стояло только два стула; один занимала женщина лет не более тридцати, расплывшаяся, размалеванная, а другой — ее большая сумка. Обескураженно озираясь, стояли с подносами в руках парень и девушка, их лица были пунцовыми. «У меня скоро подойдут! — остервенело голосила сидящая. — Я что, зря сижу? Я для дела сижу! Занято, говорю!!» — «Ну мы же с едой, — нерешительно вставил парень. — И сесть некуда, посмотрите сами...» — «Ва-ась! Меня тут гонют!» — крикнула, оборотясь к очереди, сидящая. Девушка, потянувшись к уху парня, что-то тихо сказала.

— Какого черта, — пробормотал Симагин и поднялся. Обогнул столик и вдруг ногой сшиб модную сумку на пол.

— Вот так надо, — пояснил он парню.

Сидящая онемела.

— Тебя мне пинать не придется?! — с бешенством, побелев, спросил Симагин. — Нет?! Вижу, что нет, — одобрил он, когда та с разинутым ртом выползла из-за стола.

— Банда!! — завизжала она. — Тут их банда! Ва-а-а-ась!!

Пельменная заинтересованно затихла. Перемахнув через перильца, из середины очереди вылетел дюжий смуглый Вася в расстегнутой до волосатого пупа рубахе и джинсах, украшенных верхолазным поясом. Парень поставил поднос, пригладил волосы и встал с Симагиным плечом к плечу. Вася остановился, морщась и озираясь.

— Что ж ты, дура, — сказал он и вернулся в очередь.

Симагин поднял с пола сумку и подал женщине. Та, не глядя, вырвала ее, открыла и, всхлипывая, принялась перебирать содержимое.

— Доедайте быстрее, Андрей, — брезгливо пробормотал Вайсброд.

Парень смущенно сказал Симагину:

— Спасибо, друг.

Симагин чуть улыбнулся белыми губами:

— Не за что, друг.

ГЛАВА ПЯТАЯ

ДЕТИ ГИБНУТ

1

Ну вот, это и пришло, думала Ася. Она сидела у окна троллейбуса, с окна текло, и Ася время от времени пыталась отодвинуться, но сидевший рядом толстяк, уткнувшийся в газету, не пускал ее своим мягко-тугим мокрым боком и только подозрительно косился, сопя, — кажется, подозревал, что Ася к нему жмется. Что они все за дураки, с тоской думала Ася. Было зябко и как-то пусто. Странно — в этом состоянии женщина всегда одна.

Она вспомнила, как тот растерянно лепетал: «Надо убрать немедленно, все только начинается... куда спешить... мы друг к другу-то еще не притерлись...» И, вдруг все поняв по ее окаменевшему лицу, резко сказал, загасив сигарету о стену возле двери деканата: «Если пойдешь на авантюру, на меня и мое имя не рассчитывай. Я ни за что не отвечаю». Она крутнулась на каблуках, бросив язвительно: «А ты и так ни за что не отвечаешь! Это мое!» А может, зря? Надо было как-то... Как? Ведь я ему нравилась... И пошла прочь, исступленно ожидая, когда окликнет. И ревела в три ручья, колотила мокрую подушку, кричала. И назвала сына именем отца — единственное, чего Симагину не сказала. И вечерами моталась туда, еще на девятом месяце моталась, тяжело переваливаясь, опасно оскальзываясь на вечном гололеде, стояла, мерзла, ждала чего-то, глядела на пронзительное окно, которое по весне весело и преданно мыла, чтоб он не тратил время; к которому, казалось, только вчера подходила с той стороны, как хозяйка: голая, гордая, взрослая, с сигаретой в руке. «Родопи». Как сейчас помню — «Родопи». Сто лет не вспоминала, надо же, думала — стерлось. Ну и что? Хочу и вспоминаю. Наверное, по-настоящему я и любила-то только того. Потом одна дрянь. Ну, и Симагин, конечно, с ним светло. Тепло, светло и мухи не кусают. Не одна. Все равно как будто одна. Интересно, тот по мне скучает? Много женщин у него было с тех пор?

Странно, ничего не болит, не тошнит почти. Но что-то неуловимо меняется, и главным становится другое, и мужчина уже чужой, и только легкое отвращение испытываешь к тому, чего раньше ждала с погибельно сладкой дрожью. Интересно, с тем было бы так же? Только б Симагин не догадался. Или сказать? Мы же все друг дружке говорим. Он заботливый. Как он грел меня позавчера. Что же все-таки со мной было?

Как резко, как жутко началось. Правильно он меня к врачу гонит. Надо сходить. Завтра. Сегодня некогда, сегодня великий день. Идем выкупать штаны. Она улыбнулась, попытавшись представить Симагина в новых модных брюках. Но неожиданно поняла, что не испытывает ни нежности, ни умиления. Да, тоскливо подумала она, надо привыкать. Приходить в дом, ставший чуточку чужим. Симагин, подумала она с раскаянием. Не сердись. Я сама не ожидала. Все равно ты самый заботливый, самый мой. Смешной. Даже не притронулся ночью. Маялся, вертелся рядом — берег. Надо сегодня что-то изобрести, чтобы он ушел в комнату родителей спать. Странно. Еще позавчера смотрела, как на бога. Ждала, как растрескавшаяся земля ждет дождя. И все-таки одной хуже. Надо притвориться, может, это не слишком противно. Заставить себя пару раз, и все пойдет само собой, станет привычным — терпеть, старательно стонать, и ждать, когда он кончит, и смывать липкую грязь не благоговейно, а брезгливо. Она вдруг поймала себя, что так и подумала: грязь. Надо же, все переменилось. Неужели не смогу? Ох, противно. И кого — Симагина! Его же ребенок обманет! Но ведь ради него. Все ради него. А ради меня? Только то, что я сама выгрызу. Она едва не пропустила остановку. С трудом выбралась из-за толстяка, который, пропуская ее, пыхтел, неуклюже поджимал короткие ноги, не желая встать, и все берег свою газету, чтоб Ася не намочила ее и не помяла. С первой страницы «Правды» из середины страшного пятна траурной рамки улыбался Виктор.

Вода покрывала асфальт сплошной струйчатой пленкой, блестящей, как стекло. Ася шагала по холодному стеклу и думала: немножко доверия, немножко привычки, немножко притворства — вот и любовь. Нет. Не надо так. Все нормаль-

но ведь. Она стала вспоминать лучшие их дни. Хотя бы вечер, когда прикинулась Таней. Но поняла, что лишь тоскует по той себе, по солнечной яркости собственных ощущений. Она даже испугалась. Поправила капюшон. За шиворотом холодило, словно туда затекла вода. Но просто плащ настыл от беспросветного дождя и перестал быть защитой. Даже собственный организм. Она вспомнила вечер в декабре, когда впервые отдалась Симагину. Весь день назавтра ходила потерянная, умиротворенная. Несла на себе горячую печать его долгожданной власти... Ее передернуло от гадливости. Отдалась. Четыре месяца отдавалась, да он взять не мог. Едва слезу не пускал. Гнал ее — тебе противно. А она, измученная жутким ощущением своего, именно своего бессилия, льнула к великовозрастному мальчишке и шептала, задыхаясь: «Что ты, милый, это я виновата, я так долго мучила тебя, ты теперь мне не веришь, вот и все — а ведь я твоя, смотри... у тебя такие руки, я не могу жить без них, обними меня просто — и я уже счастлива...» Сейчас ее буквально корчило от запоздалого унижения. Просто я человек очень хороший, подумала она. Ради него даже на притворство шла, хотя ложь ненавижу. Школьница — притворство, терпение — притворство... Все лучшее происходило после того, как я притворялась Симагину в угоду. Тоска...

После работы они встретились на Горьковской. Ася издали заметила Симагина. Среди блестящих суетливых зонтов он стоял каким-то марсианином — расстегнутый, открытый. Мокрые волосы на лбу. На улыбке — капли.

— Здравствуй, — сказал он нежно и озабоченно. — А ты чего так опаздываешь?

— Разве? — Она глянула на часики, привычно взяла его под руку и хозяйски поволокла из щелкающей зонтами толчеи. — Не заметила. С Таткой заболтались...

— Ты не ври, — сказал он строго и прижал ее руку к себе. — Нездоровится, да? Может, домой?

— Господи, Симагин, — с досадой сказала она. — Когда я тебе врала? Слушай, ты мне вот что скажи. Неужели ты дождь любишь больше солнышка?

— Ась, — проговорил он виновато и будто сам себе удивляясь. — Я как-то все люблю. Когда солнышко, я думаю: ух, здорово — солнышко. А когда дождик, я думаю: ух, здорово — дождик...

— Вот будет у тебя замечательный новый костюм. Ты в нем под дождиком пробежишься, и все превратится в тряпку.

— Нет! Я его не стану надевать, когда дождик.

— А что станешь? Это? Ведь стыдно!

— Ну есть же у меня выходной!

— Которому тоже сто лет!

На автобус он сесть отказался. Что ты, Асенька, из-за одной остановки! Да они же битком, посмотри! Если ты правда в порядке, давай лучше погуляем. Воздух какой хороший, пыль всю прибило... До самой улицы Рентгена, где ателье, они волоклись под дождем, по пузырящимся, мутным лужам. Симагин благостно дышал, напоминая какое-то отвратительное земноводное, и все ласкал Асину ладонь, все нудил, не холодно ли. Она почти не отвечала, и он наконец замолчал, поскучнев. Некоторое время шли молча. Видимо, он ждал, когда она спохватится и начнет болтать, хихикать — веселить его. Притворяться. Ему в угоду.

— Ася, — не выдержал он, поняв, что не дождется, — случилось что? Или тебе нездоровится все же? Ты что таишься-то, как не родная?

— Симагин, — ответила она, внутренне кипя, но сдерживаясь. — Привыкай, что мне все время будет нездоровиться, понимаешь? И не спрашивай по сто раз, не раздражай меня попусту. Жилы не тяни!

Он наклонился к ней под капюшон и чмокнул в щеку. Естественно, намочил. И ресницы задел — дай бог, чтоб не потекли. Губы были холодные, мокрые. Нечеловеческие. Чужие губы.

— И не требуй, чтоб я хихикала и придуривалась, как всегда!

— Да я и не требую... — растерянно ответил он.

Она почувствовала, что говорит резковато. Ох, Симагин, горе луковое... Надо было произнести что-нибудь ласковое, но ничего не приходило в голову. Тогда она плотнее просунула руку под его локтем, устраиваясь поуютнее, как бы лас-

тясь, и спросила, стараясь говорить прежним, влюбленным голосом:

— Лучше ты расскажи что-нибудь. Как дела у вас сегодня? Как твоя телепатия?

Он недоверчиво покосился на нее. Она поджала губы. Он же еще и недоволен. Даже сейчас стараться, чтобы не было ссоры, должна я!

— Ну, как, — он пожал плечами. — Знаешь, ничего нового... А частности, наверное, неинтересны.

— С каких это пор? — осведомилась она ледяным тоном. — Я твоей гениальной работой интересуюсь всегда.

И вдруг поняла, что действительно неинтересно. Надоело. Все так не важно по сравнению с тем, что происходит с ней...

Брюки не были готовы. Ася взбеленилась. Все шло наперекосяк в этот мерзкий день — и вот последний аккорд. Крещендо. Позвоните через несколько дней, виновато говорила приемщица, мастер прихворнул... Несколько дней! Вы понимаете, что говорите?! Муж едет на конгресс! Международный!! На нее глядели все, кто был в ателье. Симагин, перепуганный и красный от стыда, за локоть выволок Асю под дождь. Она бешено вырывалась, но он держал крепко и выпустил лишь на улице. Она едва не ударила его.

— Асенька, — тихо спросил он под заунывный плеск падающей серой воды, — что с тобой? Даже губки побелели...

— Губки!! — злобно закричала она. — О губках позаботился! Ты на себя посмотри!

— Ася... — потрясенно пробормотал он. — Да побойся бога. Из-за тряпки... Пожалей ты себя!

— Пожалел!! — кричала Ася. — Если бы ты меня жалел, ты бы сам разнес всю эту лавочку! Как мужчина! Нет, тебе стыдно! А им не стыдно! Прихворнул! Запил он, а не прихворнул! И не стыдно! А тебе ходить, как гопник, не стыдно? Мне с тобой под руку идти стыдно! Ведь я о тебе забочусь, тебя ведь даже в ателье нельзя отпустить одного, вечно что-нибудь сделаешь не так!

По дороге домой они враждебно молчали, не обменялись ни словом. Время от времени Симагин настороженно,

словно бы чего-то ожидая, взглядывал на нее и опять уставлялся себе под ноги. Ася не взглянула на него ни разу.

Антошка встретил их радостным визгом, но тут же стушевался, ощутив разлад. Ася сразу принялась за стряпню. Симагин, тщась облегчить ей жизнь в ее положении, поел, как и обещал, в столовой. Позаботился. То, что мы с Антоном тоже есть хотим, ему и в голову не пришло. Как будто я для него одного готовлю. Пуп земли. С ненавистью возясь над душной плитой, Ася краем уха слушала, как в комнате Антошка шепчется с Симагиным. Открытие сделал. Не отстает от приемного папы. Яблочный огрызок, оказывается, потому коричневеет, что в яблоках ведь, мама сказала, много железа. Кожура — это покрытие, а стоит ее прогрызть, железо ржавеет. Логично, одобрял Симагин. Теория очень стройная. Но самые стройные теории должны подкрепляться экспериментом. Давай-ка знаешь что сделаем? Ты пойди, попроси у мамы яблоко и слопай, а огрызок положим в стакан. Рядом в другой стакан положим что-нибудь железное, это будет контрольный объект. А завтра сравним. Сам чушь выдумывает и из парня делает блаженного фантазера, неприязненно думала Ася. По своему образу. В ее сердце раскаленным буравом крутилась ревность. Нет. Это не только хандра. Это пришла трезвость. Неужели я была так глупа?

Она вдруг как бы очнулась. Да что это со мной? Ведь это же мой самый близкий, самый любимый... Муж!

Ее обожгло стыдом и страхом. Не муж, вспомнила она и едва не выронила сковородник от унижения. Любовник! Томка вон до сих пор похихикивает, а остальные, хоть и привыкли, — все равно проскользнет иногда ироничное: «Неужели все еще так и живете? И рожать так будешь?» Дескать, склеила, да не доклеила. Что я отвечала? Смеялась, кажется. Кажется, бесшабашно говорила, что все равно. Мне действительно было все равно. А в самые сумасшедшие минуты, например, когда выпендривалась перед ним в банте и гольфах, казалось даже, что так лучше: никакой формы, одна сущность... Кретинка. А он у меня за это сына отнял.

Перестань, снова осадила она себя и закричала:

— Эге-гей! Лопать подано!

И передернулась, почувствовав, как фальшиво прозвучал этот веселый зов.

Но Симагин ничего не заметил — все-таки лопух он — и, таща Антошку, влетел на кухню с удивленно-радостной миной.

— Есть будем я и Антон, — весело сказала Ася. — А ты так сиди. В столовке ведь вкуснее, правда? — Она засмеялась, тщась выглядеть лукавой и обычной, но в голове свербило: опять мирюсь я, а он только пользуется. Опять я строю вид, будто он меня не обидел. Вдруг на границе сознания мелькнуло сомнение — а чем, собственно, обидел? Да всем, тут же поняла она.

Симагин честно не притронулся, хотя Ася потом и предложила. Антон непонимающе ел, поглядывая то на Асю, то на Симагина.

Мирный ужин не унял тоски. Ну, я расклеилась всерьез, подумала Ася почти с испугом. Симагин, взмолилась она, ну сделай что-нибудь! Верни все. Неужели не видишь, как мне плохо? Он видел, конечно, не настолько уж он был лопух. Но, уже получив за расспросы, только старательно делал вид, что все чудесно. Пока они ели, он с неестественным оживлением описал вчерашнюю стычку в пельменной, и Ася опять, помимо воли, стала его корить: сорвал хандру и неприятности на женщине. Не такие уж крепкие у тебя кулаки, чтоб размахивать ими направо и налево, только людей смешить... Симагин снова поскучнел, Ася мысленно выбранила себя — она права, конечно, но хватит на сегодня правильных упреков. Симагин вдруг встал и произнес задумчиво: «Пойду-ка я погуляю». Антошка вскочил, не допив чай: «Я с тобой!» — «И не вздумай! — крикнула Ася. — По аспирину соскучился? А ты, — она повернулась к Симагину, — иди, поплавай. Выходной костюм у тебя еще остался». Симагин глубоко вздохнул и попытался улыбнуться — якобы это просто шутку он услышал. С деланой пристальностью он вгляделся за окно, оценивая силу дождя, и сообщил: «Пожалуй, ты опять права. Что-то он разошелся...» — «Нет-нет-нет, — поспешно возразила она, — ты иди. А то потом опять выяснится, какие жертвы ты мне приносишь». И снова ужаснулась. После каждой реплики она давала себе

слово больше не язвить. Но не могла остановиться. Антошка, втянув голову в плечи, сидел на своем месте и глядел в стол. Ася вдруг изумленно поняла, что не хочет мириться. Не хочет. То, что последует — притворство, игра во влюбленных детей, сюсюканье, — опротивело ей. Симагин поднялся выйти из кухни, но, зайдя Асе за спину, как-то на редкость мерзко ухватил ее за плечи. Спасибо, не за грудь, с него бы сталось. Он любил хватать ее сзади. И стал целовать ее в затылок. Так мог целовать любой прохожий. В Симагине что-то пропало — то ли нежность, то ли страсть, то ли доверие. Доверие? Ко мне? Да я все ему отдала! Даже сына! А стоило мне чуть расклеиться — опять ведь из-за него, из-за того, что во мне новый Симагин, — он же перестает мне доверять? Это пройдет, Асенька, сказал он тихо. Ты только не убивайся. Так и должно быть. Она чувствовала лишь неприязнь. Пытается что-то сделать, подумала презрительно. Пытается! И не может. А должен мочь!

Она мыла посуду. Текла вода, кран верещал. Противный жир сходил с тарелок. Так всю жизнь. Ей захотелось шваркнуть тарелку об пол. Чтоб грохнула и разбрызгала белые молнии осколков. Даже мышцы напряглись. Всю жизнь. Ничего кроме. Какая тоска — хоть в петлю. В чем-то этот Вербицкий прав — человек всегда один. А она еще ерепенилась. Какой ерунды намолола — стыд! Дура! Ой, дура! Хотелось прижаться к кому-нибудь большому и мудрому, который одним движением, как паутинку с лица, снимет безотрадную пустоту.

Пошла было к Симагину. Нет большого и мудрого, но есть хотя бы маленький и глупый. Мой. Что бы там ни было, я же люблю его. Люблю. Я-то люблю. Она похолодела. Внутри жутко оборвалось, она поняла. Не дождь, не дурнота... Не любит! Да это давно видно! Как можно быть такой слепой? Я обязана готовить и ублажать, а он взамен хвастается. Открытиями какими-нибудь. И все. И еще деньги. Через год ляпнет: когда ты ждала ребенка, мне было очень светло семьдесят четыре раза. Откуда знаю, что у него сейчас никого? Откуда знаю, что вытворяет в институте по вечерам? Да и в институте ли? Ведь он имел наглость в глаза заявить, что меня ему уже не хватает для вдохновения. А я, идиотка, рас-

сиропилась до того, что прямо разрешила ему заводить любовниц! И подтвердила при Вербицком! И сама чуть не разревелась от умиления! Дура, срамная дура! Дурой была, дурой и осталась!

Прижала кулаки к щекам и так стояла, потрясенная. Поинтересовался здоровьем. Не ответила. И слава богу, можно не беспокоиться. Все в порядке. У ребенка нет ответственности, играет, и все. Раз игрушка, два игрушка. Одна поднадоела — взял другую. Это в благодарность за все, что я сделала. Я же мужиком его сделала! Чего стоило терпеть его бесконечную нервную слабость? Чего стоило нежно успокаивать, а домой ехать потом в боли неудовлетворенности, как в огне? Я же не девчонка! А теперь в любой момент скажет: тебе с твоим Антоном надо съехать. И я ответить-то ничего не смогу — действительно, живу здесь бесправно, по милости...

Поняла, что плачет. Какая подлость все! Чем кончается!

Ну, нет! Она вытерла слезы углом фартука, злобно шмыгнула носом. Я тебе не Лера твоя! Я тебе не позволю!

Она не обернулась, когда он вошел, и лишь с тоской вздохнула. Даже достоинства нет. Прогнали, он повременил чуток и опять идет. Его бьют, а он не плачет, веселее только скачет. Детская загадка. Думаете, мячик? Нет, глупенькие, — мой сожитель.

— Ну, как ты тут? — весело осведомился он. — Помощь не нужна?

— Симагин, — спросила она прямо, — ты меня еще любишь?

Он издал горлом какой-то странный звук.

— Или как? — спросила она и повернулась к нему.

А он упал на колени и прижался лицом. Потом задрал платье и с какой-то деланой страстью принялся целовать ее сомкнутые бедра, трусы на лобке. Вот и все, думала она, глядя в стену и машинально придерживая подол. Интересно, что сделал бы Вербицкий? А этот не умеет. Не испытал, не знает, не может. Где мудрый, сильный, способный спасти? Я устала, думала она, с досадой чувствуя, как отвратительные ладошки похотливо поползли вверх по ее голым ногам. Устала заботиться. Хочу, чтобы заботились обо мне. Меня

лелеяли, как ребенка. Но этого не будет. Никогда. Выбор сделан, вот он. По-мальчишески меня раздевает, словно постель — панацея от всех бед.

— Подожди. — Она резко отстранила его руки, оттолкнула голову. — Подожди. — Он растерянно, как побитый щенок, смотрел снизу. — Встань! — Она отступила на шаг, почти злобно поправляя одежду, и он медленно поднялся. — Ты мне словами скажи!

— Люблю, — сказал он. — Ася! Побойся бога, что вдруг...

— А тогда почему ты на мне не женишься?! — звонко выкрикнула она.

— Как не женюсь? — И вдруг до него дошло. — Аська! И в этом все дело? Как ты меня напугала! — Он облегченно засмеялся. — Погоди. А кто отказывался? — Он лукаво, как идиотик, погрозил ей пальцем.

Ася почувствовала, что сейчас опять заплачет.

— Полтора года! — закричала она рвущимся голосом. — Я столько сделала для тебя! Ну я же хотела, чтоб ты меня упросил!

— Асенька, милая. — С тупой ухмылкой он попытался ее облапить, и снова она отпрянула. — Ну хорошо, хорошо, упрошу!

— Нет уж, хватит разговоров! Завтра же!

— Ася... — озадачился он. — Что такое стряслось? У меня же часа свободного нет... Вот с конгресса вернусь. Как раз и костюм поспеет, — опять заулыбался. — Будет тебе компостер!

— Ну, разумеется, — зло усмехнулась Ася. — Опять работа.

— Ася! — Он развел руками. — Ну посуди сама... Мне не ехать? Ну хорошо, завтра я... Ой, что будет. Хорошо. Завтра я пойду и...

— Нет-нет. Ехать надо. Тем более Вайсброд отказался — ты должен продемонстрировать лидерство...

Остаток вечера прошел в обоюдных усилиях изобразить покой и беззаботность. Ася заботливо налила Симагину чаю, с ужасом ощущая приближение ночи. Муж, думала она тоскливо. Муж объелся груш...

— Я буду скучать без тебя, — говорила она, сидя напротив него и подпирая подбородок кулачком. — Ты позвони своему Вербицкому, пусть рассказы принесет. Хоть читать буду. Хоть о тебе с ним поговорю.

— Обязательно. Ты в книжку переписала телефон с карточки, что он оставлял?

— Да, — подтвердила Ася со странным чувством, будто что-то украла и обсуждает кражу с ничего не подозревающим потерпевшим.

— Только ты не шипи на него...

Непонятное раздражение полыхнуло в ней.

— Никогда я на него не шипела и не собираюсь! — крикнула она. — Он мне не нравится, вот и все! Но он твой друг, и я не хочу, чтобы ты говорил: любовница перессорила меня с друзьями!

— Ну ладно, ладно, — промямлил Симагин, ошарашенный этой необъяснимой вспышкой. — Не надо ради меня...

— Нет, надо! — отчеканила Ася, успокаиваясь. — Надо делать кое-что и опричь души, если хочешь, чтобы была семья, а не так, лужайка. Тебе это еще предстоит понять.

Чаепитие закончилось в молчании, и лишь когда они пошли в спальню, Ася в отчаянии решилась:

— Симагин, — сказала она почти виновато и на удивление фальшиво. — Знаешь что? Не ложись сегодня со мной.

Он остановился.

Она изготовилась врать о том, будто ему необходимо отдохнуть перед конгрессом, будто ради него она отказывает себе и ему в радости — в голове замелькали спешно примеряемые слова и фразы, но сказать она ничего не успела. Его лицо вдруг словно осветилось и стало немного похоже на то, каким было прежде всегда.

— Милая, — проговорил он. — Милая Ася. Жена моя...

И все.

Она чуть оттаяла. Захотелось сказать что-нибудь такое же теплое в ответ.

— Что, солнышко мое? — Она засмеялась. — Что, дождик?

Сфальшивила.

С тяжелым сердцем уезжал Симагин в Москву. Ася проводила его до поезда, дав по дороге массу полезных советов, — он почти не отвечал. С рук на руки она передала его Карамышеву и Кашинскому, курившим у вагона. Постояли вчетвером, потом те ушли. Перрон мокро блестел, было зябко; тревожно пахло дымом, вокзалом. Прощанием. Симагин держал холодную Асину руку, и ему казалось, что он никогда больше не вернется сюда. Надо было всей грудью броситься на стеклянную стену, которая внезапно разделила их всерьез; швырнуть себя, распарывая кожу, и вместе с фонтаном острых осколков, вместе с потоками крови вылететь к ней... Но он уже не знал как. Он только мял ее отрешенную ладонь, старался поймать взгляд — но ладонь не отзывалась и взгляд улетал в сторону. Казалось, Ася ждет не дождется, когда поезд отправят и тягостный ритуал будет завершен... Но этого же не могло быть!

Могло. За неделю он стал чужим. Совсем. Угар прошел. Начиналась взрослая жизнь. Она — жена, и все. Пусть нет пока штампа. Будет. Пользоваться собой на дармовщинку она не позволит больше. Не те года. Собрала, не терпя возражений, его чемодан. Поехала провожать. Несла портфель с бумагами. Семья — это добросовестное выполнение долга. Да, до некоторой степени — ритуал и навык. Работа. Независимо от настроения. А я не привыкла халтурить ни в чем. Теперь они стояли на мокром перроне. Симагин маялся. Еще не понял, что жизнь не праздник. Еще хотел, чтобы то вернулось. Ничто не возвращается. Не могу я скакать влюбленной дурочкой всю жизнь. И не хочу. Наворотила глупостей, хватит. Пора заняться собой. Идиотство: болтаю на четырех языках, подрабатывала переводами, покуда не пошла к Симагину в содержанки, — и без диплома. Она думала об этом уже не впервые, и всякий раз эти мысли обрывал тот, внутри, накрепко прибивший ее к беспросветности. И снова жуткая тоска подступала к горлу. И тоска, и дождь были бесконечны. Как стояние на перроне. Симагин всегда будет требовать невозможного. Привык. Надо поставить его на место, когда вернется. Ох, ведь через две недели он уже вернется. Надо будет встречать его и слушать...

За исхлестанным окном неслась рокочущая дождливая мгла, изредка проплывали размытые огни. Сзади беседовали Карамышев и Кашинский, они что-то обсуждали, смеялись, а вокруг многообразно коротал вечер весь плацкартный вагон: гомонил, гулял, ел кур, перекидывался в картишки и в шахматишки... Летом купе не достать, хоть удавись, а Симагин еще уступил место какому-то старику в протезе, и теперь у него было нижнее боковое — его задевал всяк проходящий. Он так ничего и не сказал. Полез в вагон, неловко чмокнул Асю в мокрую холодную щеку, которая была ему с готовностью подставлена, — словно Ася заранее знала, что он будет целовать в щеку, а не в губы. Он сразу вспомнил, как прошлым летом они ехали свердловским поездом к нему в Лешаки, — снаружи летел теплый, пышущий розовыми отсветами вечер, и Ася стояла у окна взволнованная, гордая... что я не так сделал?! Что?! Ну не мог я не ехать! Он замотал головой, катаясь по настывшему стеклу лбом. А в ночи плыли белые пятна и тонули в пелене, поезд длинно и равномерно летел, раздвигая дождь приземистым лбом, плавно изгибался, грохотал, наматываясь на мокрые рельсы. Зачем я такой в Москве? А за семьсот километров одинокая Ася и одинокий Антошка — зачем? Невозможно, пробормотал он. Невозможно. Что невозможно? Подсел Кашинский; посасывая ароматный леденчик, стал рассказывать, какая, оказывается, замечательная у Симагина жена. Поезд рокотал глухо и влажно, будто шел по морскому дну, Ася уплывала, как размытый огонь в ночи, неотвратимо надвигалась Москва, Симагин чувствовал ее наползание из-за прочеркнутого рельсами горизонта и катался лбом по холодному стеклу.

Когда дверь за Вербицким закрылась, Ася несколько секунд не могла пошевелиться. Потом прижала к щекам ладони и медленно вздохнула. Не может быть. Но уже знала, что может. Душа кипела от восторга и сладкой тревоги. Какая я глупая! Решила, что эта серая тюрьма и есть жизнь навсегда. А жизнь, как волна, лишь откатилась на миг, оставив биться на песке, — и с громом нахлынула снова. Снова! Жизнь — снова! Главное впереди. Главное всегда впереди. Ей было страшно. Она из последних сил пыталась думать. И понимала, что зря. Почему это случилось? Бессмысленно спрашивать. Почему полюбила Симагина? Почему разлюбила? Это приходит и уходит само собой. Разве Симагин стал хуже? Он просто оказался не таким, но разве от этого я его разлюбила? Наоборот, лишь разлюбив, я это поняла. Да и любила ли? Душа ждала отдыха — но не может отдыхом быть вся жизнь.

И как удержалась и не бросилась ему прямо тут на шею?

Я нужна ему. Он ни словом не обмолвился, только в тот раз, полунамеком. Как он скажет первым? Я — возлюбленная его друга, почти жена. Он скован своей замечательной, но уже бессмысленной порядочностью. Страшно. Как страшно. Я должна ему помочь. О том, что ей хотелось быть слабой, она уже не помнила.

Симагин. Ты сам виноват. Нельзя притворяться хорошим. Но я не отплачу тебе той же монетой, не обману. Я не могу, как ты. Жить с женщиной, есть ее стряпню и ей же хвастаться, как тебе светло с другой. Я могу только честно. По-настоящему. Ты ненастоящий, Симагин. Ты не можешь обижаться на меня. Ведь я не обижаюсь. Что тут обижаться. Это жизнь. Когда ты приедешь, все уже произойдет. Чтобы быть честной, нужно быть свободной.

Я не могу взваливать на него все сразу. Нам и так будет трудно. Мы друг к другу-то еще не притерлись! Он сам как ребенок. Я не могу льнуть к нему с младенцем на руках — рожденным даже не от него! От чужого человека. От тебя, которого мы с ним оба знаем и оба не уважаем. Это был бы просто чудовищный эгоизм с моей стороны.

Он не привык к помощи, не станет ее принимать. Он будет гнать меня к тебе — ведь ты его друг. Но я пробьюсь. Ты даже не понимаешь, что это — когда любимый гонит, потому что любит, и надо пробиться. Ты не способен этого представить, Симагин. Ты привык, чтобы все шло само. Чтобы все делали все за тебя и тобой же восхищались — а чем, в сущности? Тем, что ты не попался в зубы миру и оттого решил, будто у мира нет зубов, — только теплые, ласковые губы?

— Антон! — спохватилась она. — Ты ужинать-то будешь?

Антошка высунулся из своей комнаты.

— Еще бы, — сказал он. — Я уж решил, ты про меня забыла.

Асю бросило в жар. Она подхватила Антона на руки и понесла в кухню, целуя в обе щеки и весело приговаривая:

— Ух, какой ты у меня язвительный! — Антошка смущенно отворачивался. — Как же я могу про тебя забыть? Ты мой самый родной, самый любимый..

— А папа? — спросил Антошка, обнимая ее за шею.

— А что папа? — тем же веселым голосом продолжала Ася, опуская сына на пол. — Папа — другое дело. Сравнил — папа. Ты мне вот что лучше скажи. Почему, когда дядя Валерий приходит, ты так дичишься? Показал бы ему карту пятой планеты Эпсилон Эридана, маршрут твоей экспедиции...

Антошка, заинтересовавшийся было содержанием персональной своей кастрюлечки, поднял на Асю недоверчивые глаза.

— Ему неинтересно, — угрюмо ответил он.

— Почему ты решил? — спросила Ася, берясь за электрическую зажигалку. Она долго боялась искрового треска зажигалки, несколько раз ее ломала, и Симагин добродушно чинил, подтрунивая... Ася отложила зажигалку, нашла спички и спичкой зажгла газ. Ей не нравился собственный тон. Будто она подлизывалась к сыну. Будто она перед ним виновата. Будто Симагин — его отец. Насупленный Антошка молча ковырял пальцем щербину в подоконнике.

— Ему очень даже интересно, — продолжала она панически веселым голосом и вдруг вспомнила, как обещала Антошке никого больше не полюбить.

Да за что же все это, надрывно закричало что-то в ней. Только честно. Только честно. Все лгут, поэтому им спокойно. Не стану лгать никому и никогда, ни за какие блага!

— Дядя Валерий тебя очень любит и папу очень любит!

Антошка молчал и глядел в пол.

— И всегда спрашивает, во что ты больше всего любишь играть, — с ужасом продолжала лгать Ася. — Он знает очень много интересных игр. Они же с папой вместе играли в детстве, а во что играть, всегда придумывал дядя Валерий, папа только слушался!

— Дядя Валерий меня не любит, — нехотя возразил Антошка. Ася окаменела.

— Неправда, — выдохнула она.

— Дядя Валерий никого не любит, — сказал Антошка решительно и наконец поднял на Асю взгляд. Взгляд был беспощаден. — Он только себя любит и только про себя спрашивает.

Ася ударила Антошку.

И испугалась больше, чем он.

И поэтому закричала с остервенением:

— Не смей так говорить!! Ты ничего не понимаешь!

Антошка молча смотрел на нее. Глаза его оставались сухими, это было страшнее всего.

Она снова подхватила его на руки и снова стала целовать — исступленно, воспаленно, словно в нем, в Антошке, было дело и, если он сменит сейчас гнев на милость, все сразу станет хорошо. Он не отбивался и не ласкался в ответ — просто висел на руках. Она захлебывалась:

— Прости, мой радостный, я сама не знаю, что со мной, мне очень одиноко... без папы... — лицемерно добавила она, чтобы он наконец простил ее. Но он все равно смотрел так, будто его глазами смотрел Симагин. Нет, какое Симагин — этот сразу стал бы сюсюкать, слюнявить, бессильно утешать; не Симагин, а тот, всезнающий, самый сильный и самый мудрый, и поэтому не прощающий ничего. — Давай будем кушать! — весело сказала она, отпуская Антошку. — Сегодня мама сготовила твою любимую кашку. Вкусную кашку! — Она лихорадочно собирала на стол. — С изюмчиком!

— Мама, — серьезно проговорил Антошка, — ты зачем так разговариваешь? Ты когда так разговариваешь, мне тебя жалко и хочется плакать. Ты что, что ли, не знаешь, что я большой?

— Конечно! Конечно! — визгливо засмеялась Ася. — Вон какой большой, мне тебя уже и не поднять! Надо больше кушать, и тогда скоро станешь совсем большой!

В эту ночь она не спала, и подушка промокла, как когда-то.

— Вот пришел великан, большой такой, смешной, руки у него толстые, ноги толстые, пришел и упал, ногой зацепился за ступеньку — и упал, большой такой, смешной, смешной же!..

— Никак молится, — сочувственно сказала подошедшая нянечка. — Ну девки пошли — под кустами трахаются с кем ни попадя, а посля к нам молиться идут. Все, дочка, кончай молиться. Пошли скоблиться.

Было очень больно.

2

В тот день Симагин делал доклад.

В зале гроздьями лопались беззвучные вспышки, перекатывались волнами сполохов, будто репортеры решили зафиксировать каждое движение испачканной мелом руки. После доклада Симагина с полчаса не отпускали с кафедры — пытались допрепарировать вопросами. На обеде в Симагина вцепился Такео, желая порастрясти на предмет того, о чем не было сказано, — умный профессионал понимал, что не сказано многое. Ассистентка, очаровательная киска в жестком платье до пят, но с разрезом, прелестно лопотала по-русски, так что разговор клеился. За столом она оказалась между Симагиным и Такео; твердые створки платья раздвигались, как створки люка над боевым ангаром, обнажая умопомрачительные, матово мерцающие ножки, — японочка, перехватывая симагинский взгляд, очень мило ему улыбалась и кокетливо сдвигала края, чтобы через минуту они разъехались снова. Рядом мельтешил и встревал в разговор возбужденный Кашинский — совершенно напрасно встревал, потому что его буквально распирало; иногда он уточнял Симагина так, будто нарочно хотел, чтобы Симагин, продолжив в пылу его мысль, ляпнул лишнее. На Карамышева насели западные немцы, а потом стало окончательно весело, потому что начали подзуживать Маккензи, требуя, чтобы тот немедленно ел свою бороду, — дескать, в Касабланке он обещал это сделать, если на следующем конгрессе не утрет нос русским; а после такого доклада всем уже понятно заранее. Маккензи решительно не хотел есть бороду и бурчал, что заранее ничего не может быть понятно и его доклад еще впереди. Бурчал он это довольно-таки безнадежным голосом, и все смеялись. Такео стал как-то многозначительно интересоваться здоровьем Вайсброда и сожалеть, что не сможет его повидать. Странная сверлящая боль, возникшая с час назад, еще во время доклада, внезапно поднялась до нестерпимых высот. У Симагина потемнело в глазах, все стало ненужным и лишним. Главное находилось в Ленинграде, и с этим главным происходило нечто ужасное. Оставив Карамышева, слева к Симагину подсел фон Хюммель — аристократичный, седой — и стал расспрашивать относительно режимов трансфокации. Также его интересовали предварительные соображения Симагина по поводу странного поведения раковых серий. Такео смотрел на фона ревниво. Симагин с очевидным простодушием отдал фон Хюммелю все режимы, а по второму вопросу ответил, что соображения, разумеется, есть, но чисто спекулятивного характера, делиться ими, пока статистика не набрана, было бы преждевременно и даже безответственно. Молодые глаза старого ученого полыхнули фотовспышками, он уселся поудобнее и непринужденно стал шарить вокруг да около, как в игре, когда можно отвечать лишь «да» и «нет». Игра была веселой и рискованной. Через полчаса фон отлепился от Симагина явно без удовлетворения. Своими вопросами он сказал Симагину больше, чем Симагин ему — своими ответами. Промокнув лоб платочком, фон Хюммель встал с бокалом клюквенного сока в руке и громко заговорил. По-видимому, раздосадован он был изрядно. «Очевидно, что красная полоса в спектре биоспектралистики, — возвестил он, — за истекший период, к удивлению многих, окончательно стала преобладающей. Я, — сообщил он, — с радостью выпил бы красного вина в честь красных ученых, но с еще большим уважением выпью бокал ярко-алого сока тех замечательных ягод, которые стали одним из шутливых символов великой страны». Все зааплодировали; престарелый фон, сохраняя трагическую серьезность, стал медленно пить, но тут Кашинский, которому по недостатку опыта, видимо, почудилось, что сказана была дипломатическая любезность, храбро решил обратить внимание на себя, любезностью и ответив, и закричал на весь зал, что наука не имеет границ. Глупо, скажем, называть теорию относительности немецкой, а биоспектралистику — русской. Они интернациональны. Они принадлежат человечеству. Симагин едва за голову не схватился: Вадик натаскался выступать на институтских собра-

ниях, и теперь никому здесь не нужные штампы так и сыпались из него. Фон Хюммель медленно повернулся к Кашинскому и — чувствовалось, что он в заводе и не пожалеет на молокососа главного калибра, — согласился, что тем более глупо это делать, поскольку, если припомнить, и Эйнштейн, и Вайсброд в пятой графе знаменитой русской анкеты написали бы одно и то же. Кашинский стал как клюквенный сок и смолк намертво, будто его отключили от сети. Елкин корень, думал Симагин. И это фон Хюммель, который пятнадцатилетним долдоном, презрев свой аристократизм, бил стекла еврейских магазинов в «хрустальную ночь» тридцать восьмого года...

Попробуй теперь пошути ему в тон с намеком на такое обстоятельство! Он только разозлится пуще: как, дескать, бестактны эти русские. В лучшем случае недоуменно разведет руками: ну, это же было при Гитлере — будто Гитлера ему свят дух поставил, как мы для изучения реакций ставим крысам то такой лабиринт, то этакий. Конечно, глупо ему этим тыкать — и дети за родителей не отвечают, и в девяностом году за сороковой не отвечают... и все-таки отвечают. Мы вот отвечаем. И не потому даже, что они-то нам тычут беспрерывно, — а сколько раз в такой вот балаганной форме меня подкалывали тем, что творилось в стенах древнего Кремля в ту пору, когда отец мой без штанов карасей удил в Боярыньке да в Ласьве... Просто по совести. Просто потому, что, когда относишься к своей стране не как к средству для себя, а как к цели себя, чувствуешь за любой момент ее жизни ответственность. Это как с человеком, которого любишь. Его обидели когда-то, в детском саду еще — а тебе больно, тебя не было рядом, чтобы защитить... Нельзя любить частями. Конечно, число болевых точек возрастает неимоверно — зато появляется цель. А у тебя нет цели, фон, и вот пей теперь клюквенный сок за клюквенных ученых, а пока ты будешь в целях моциона интеллигентно стричь газоны на своей вилле, мы дешифруем латентный спектр, и ты вообще штопором пойдешь.

Он позвонил Асе на работу, но ее не было на месте. «И не будет сегодня, она отпросилась», — сказали ему. «Она здорова?» Но уже повесили трубку. Он перезвонил, но было занято. Потом снова было занято. Потом уже никто не подошел. Телеграмму он отправил в восемнадцать двадцать семь: «АСЕНЬКА ЛЮБЛЮ ВСЕГДА ТОБОЙ ЛЮБЛЮ УЖЕ СКУЧАЮ СИМ» и даже забыл упомянуть, как прошел доклад.

Но боль не унялась. Опять он сделал не то. То есть то, но мало. Он побрел от Главтелеграфа по Горького. Он любил центр Москвы — в этих могутных зданиях была, как ни крути, какая-то нашенская экзотика. Наскоро поужинал в кафе, которое раньше называлось «Марс». Выходя, столкнулся с девочкой лет семнадцати, лизавшей мороженое, и испачкал в мороженом рукав; девочка стала его чистить, они обменялись соображениями о погоде, о том, что мороженое нужно чистить сразу, пока не засохло, равно как и есть сразу, пока не растаяло. На Пушкинской площади удивительно красивый старик тактично осведомился у Симагина, как добраться до магазина «Ванда», и Симагин обстоятельно ему разъяснил, вспоминая, как до Аси понятия не имел об этаком магазине, а потом все «Ванды»-«Власты» заучил мигом. На углу двое мальчишек тиранили котенка, и Симагин немедленно его спас, а потом некоторое время шел с котенком на руках и беседовал с ним об Асе и об Антошке, но котенок не отвечал и даже не пытался вникнуть, а только пищал и царапался. Симагин выпустил его — щуплой полосатой молнией он стрельнул в сторону и сразу пропал. На Страстном бульваре Симагин от души посмеялся над отчаянным рукописным объявлением, прилепленным изнутри к стеклу двери маленького кафетерия: «Туалета и стакана нет!!!!!» На Петровке его облаял кургузый лохматый дворняг, Симагин удивился было, но вспомнил, что нес котенка. «Ты думаешь, я кто? — спросил Симагин. — Ты думаешь, я такая большая кошка?» Дворняг захлебывался лаем и поджимал хвост — сам ужасно трусил. Но делал свое дело, как его понимал. Симагин стал читать ему стих о собаке, который Антошка и Ася вечно рассказывали в Лешаках доброй соседской Альме. Дворняг притих. «Но как он может взглядом теплых глаз и языком, блестящим глянцевито, напоминать мне день за днем, за разом раз, что я живой еще пока. Я не убитый...» Дворняг слушал, свесив голову набок и подметая асфальт

рыжим мохнатым ухом. Из подворотни на Симагина вышел рослый парень в заляпанной краской спецовке и джинсах и сумрачно попросил выручить — дать семнадцать копеек. Симагин выручил и дал двадцать. Боль не унялась.

В гостинице на Октябрьской площади Кашинский и Карамышев вдвоем продолжали банкет. «А я думал, вы с Юрико», — озадаченно сказал Карамышев, когда Симагин вошел. «А я думал, вы с Юрико», — в тон ему ответил Симагин. «Тогда кто же с Юрико?!» — воскликнул Кашинский. Потом, хохоча, они стали усаживать за стол Симагина, причем именовали его не иначе как героем дня и гордостью отечественной науки. Выпили, обсудили ситуацию на конгрессе. Интересно, Ася получила ли уже телеграмму, прикидывал Симагин. Потом Карамышев, извинившись, вышел. Симагину не хотелось ни смеяться, ни беседовать. Кашинский мотал головой, что-то говорил и сам ухмылялся своим словам — он сильно размяк.

— Вадим, — неожиданно для себя спросил Симагин. — Вы по собственной инициативе старались, чтоб я что-нибудь сболтнул? А?.. Или все-таки в дирекции просили прощупать, не полный ли я идиот?

Кашинский поперхнулся и отставил рюмку. Потом после ощутимой заминки возмущенно вскочил.

— Андрей Андреевич, — сказал он угрожающе, — что вы, собственно, имеете в виду?

— Мне это важно, — объяснил Симагин. — Не обижайтесь.

— Что «это»? — холодно осведомился Кашинский.

— Да сядьте вы, сядьте...

— Что за чушь вы порете, герой дня? — начав улыбаться, выдавил Кашинский. Первый шок у него миновал, но губы чуть дрожали, растерянность в глазах сменилась гневом и презрением. Симагин задумчиво смотрел в эти глаза несколько секунд, потом, смутившись, отвернулся.

— Ну, простите меня, — сказал он. — Жаль...

— Что — жаль? — вдруг спросил Кашинский каким-то новым голосом. — Что все у вас по маслу идет, вам жаль? — Симагин поднял голову. В хмельных зрачках Кашинского плясала азартная ненависть. — Знаете, как бьют банки? Нет?

Жаль! Это действительно жаль. Вдвоем зажимают за шею в положении «раком», а третий лупит табуреткой. В ней килограмма четыре! Мне отбили почки за то, что не стал чистить сортир за «старика»! Вы знаете, что такое сидеть в конце стола? Вам никогда не наесться! Все два года! Мне сразу сказали: а, влип, Абрам! Не помогла тебе твоя синагога, придется Родине послужить, служи, Абрам! Если не откликался на Абрама, били ночью. Почему они решили, что моя фамилия еврейская? Она польская! Мой дед бежал из Польши строить коммунизм! А через семь лет его расстреляли как панского шпиона! А я не еврей! Я сам их теперь ненавижу!! — с триумфом выкрикивал он, надсаживаясь от волнения, спеша, глотая слова, будто боясь, что не успеет высказать всего. — Вам хорошо, у вас талант! И везение! А у меня ни везения, ни таланта! Ни здоровья, чтобы брать задницей! А вы всегда отгрызете свой кусок. И вы еще говорите! Вы еще смеете! — Он задохнулся.

— Но я же ничего не отгрызаю, Вадик, — тихо сказал Симагин.

— Потому что вам все само плывет, — просипел Кашинский и перевел дух. — Да, — вдруг сказал он. — Я хотел, чтобы вы прокололись хоть как-нибудь.

Симагин покивал.

— Я так и думал. Но прокололись-то, Вадик, вы.

— Что вы знаете? — хрипло спросил Кашинский и вдруг опять закричал: — Вы же ничего не знаете! Вы чужой! На вас всем плевать! — На лице его мелькнул испуг и исчез, сорванный исступлением. — Я вам все, все... — Он лихорадочно наплескал себе еще водки, разлив половину на скатерть, и одним духом опрокинул в себя. — Думаете, вас кто-то любит? — просипел он. — Вас ненавидят! Думаете, Карамышев? Он завидует зверски и радуется любой вашей промашке! Вайсброд?! Он все начал, а вы, русский, талантливее! Он вас боится! Жена? Она вас в грош не ставит, я поручусь, что изменяет вам! Вот сейчас изменяет! Вы что, не видели на вокзале? Вы же ничего не видите! У вас ведь нет друзей! Вы ничего не можете! Даже ненавидеть! Я, сопляк, бездарь, оскорбляю вас, а вы, гений, терпите, словно я ребенок и не отвечаю за слова! А я отвечаю! Больше, чем вы!

И вы не сможете мне ответить!!! — Он захлебнулся криком и, схватившись за горло, надсадно закашлялся. Симагин потрясенно смотрел на него.

— Вадик... — проговорил он. — Господи... Да почки мы вам вылечим... Мне очень жаль, что я завел этот разговор, простите меня... — Кашинский, замерев в какой-то странной позе и продолжая держаться за горло, смотрел на него бешеными глазами. — Идите-ка сюда, — мягко позвал Симагин. Кашинский повиновался, словно под гипнозом. — Сядьте. Успокойтесь. Ну вот, хорошо. Почки мы вам вылечим. Рак, инфаркты, дефекты обмена, наркомания, генетические болезни... да что я вам перечисляю, вы все это знаете... это четверть дела. Мы на пороге возникновения человека, которого нельзя будет ни обмануть, ни изолировать, ни запугать. Поверьте, Вадик, это правда, я знаю, что говорю. Миллион лет человек совершенствовал средства, находящиеся вне его. Которые могут ему дать и могут отобрать. И его унижали, отбирая, отбирая... Не пройдет и двух лет, как мы начнем совершенствовать средства, присущие человеку неотъемлемо. Это скачок, сопоставимый разве лишь с тем, когда обезьяна окончательно встала, высвободив руки. От архейских бактерий, мезозойских ящеров — к человеческим рукам. Что она только не делала потом этими свободными руками! И мадонн, и клипера, и бомбы...

Кашинский молчал, странно глядя ему в лицо.

— Да, я очень мало могу, — тихо сказал Симагин. — Но смогу больше. И все смогут больше. Все или никто — иначе нельзя, вы же понимаете. И, понимаете, я уже не смогу распоряжаться тем, что станут с моим подарком делать другие. Так же как мать, родив ребенка, не может распорядиться его будущим. И ведь это и плохо, и хорошо. Но тут решит статистика: если из десяти трое будут ломать, пятеро сидеть сложа руки и двое делать, мир рухнет обязательно. Обязательно. Но будет дан шанс делать. Представьте: через несколько лет и вы, и я, и все, даже те, кто вас когда-то так унизил, станут всемогущими. Плохо это или хорошо? И плохо, и хорошо. Суть не в этом. Суть в том, что это неизбежно. Наука дошла — шабаш. Обратного хода нет. И так же как сейчас, каждый будет заниматься, чем захочет. Ни вы мне, ни я вам не

сможем помешать. Но вы представьте, Вадик, вы только вдумайтесь: до чего же разными вещами мы с вами, всемогущие, станем заниматься! Вам не будет жаль?

Кашинский молчал, но у него вдруг снова задрожали и губы, и веки, и даже прочные, но как-то по-стариковски волосатые пальцы.

— А вот другая сторона, — совсем тихо закончил Симагин. — Помельче. Мы проговорили с вами четверть часа. Там четверть, здесь четверть, и все вода в ступе, и все нервы. И все плюсуется. И в итоге, представьте, вы ходите с больными почками лишний год, а то и два. И лишних десять лет не умеете, например, летать... — Он помолчал, но Кашинский не ответил и ни о чем не спросил. — Вот этих двух вещей мне жаль, — сказал Симагин.

Боль не унялась.

3

Ася не давала о себе знать. Симагин слал телеграмму за телеграммой — будто в пустоту. Конгресс, которого он так ждал, проходил теперь мимо него; на заседаниях, время от времени ловя на себе прозрачный, какой-то апостольский взгляд Кашинского, Симагин думал о доме; ему снились Ася и Антошка, на улице, в метро, даже в гостиничном буфете то и дело мелькали Асины лицо, или прическа, или сумочка, или вдруг накатывал запах ее духов, и Симагин озирался, как в бреду, — он видел лишь прохожих...

Не сразу сообразил он позвонить в Ленинград хоть кому-нибудь и попросить узнать, в чем дело. Так. Вайсброд старый и больной, неудобно. Бондаренки в отпуске. Тоня курганы ковыряет, Жорка на полигоне до осени. Занятые все, как черти... Елкин корень, Валера! Я же знаю теперь его телефон! Ну я и ворона.

— Привет! — сказал Симагин. — Слушай, как здорово, что я тебя застал!

— Здравствуй, коли не шутишь, — отвечал сквозь шумы тоненький, родной голос Вербицкого. — Как там? Потряс мировую науку? Родные и близкие уж заждались...

Это об Асе, конечно, благодарно догадался Симагин.

— Ты с моими виделся? — выпалил он.

— Разумеется, — ответил Вербицкий. — За подотчетный период бывал у твоей половины дважды, причем во второй раз — по старому адресу. Покуда тебя нет, она к матери переехала.

Обмякли ноги. И только-то! Ну, разумеется — ей одной и одиноко, и тяжело... Ни одной телеграммы, разумеется, не получила. И теперь сама же дуется, конечно: я вестей не подаю. Но как я подам, если она не сообщила о переезде! На работе нет, дома нет... Так ведь она телеграмму с адресом тоже наверняка не получила и не знает, где нас поселили! Ох я, нескладеха! А страхов-то напридумывал! Как всегда, все разъяснилось самым простым, безобидным образом.

— Ф-фу, — вырвалось у Симагина. — Спасибо, слушай... ты меня спас. А то уж я тут... да. Ты к ним еще собираешься?

— Зван, — светски ответствовал Вербицкий. — Не гнан.

— Как она себя чувствует?

— Не знаю, Андрей. Мы с нею, как ты легко можешь догадаться, на подобные темы не судачим.

— Ну выглядит-то как?

— Да как... Наверное, по тебе скучает — грустная...

Симагин только глубоко, шумно втянул воздух и так остался стоять, забыв выдохнуть и забыв добросить монетку. Спохватился, когда их чуть не разъединили.

— Ты долго еще там? — спросил Вербицкий.

— Да, — печально ответил Симагин. — Скукота, знаешь. Для нас это, в общем, пройденный этап. А она правда скучает?

— Замечательная у тебя жена, — ответил Вербицкий. — Всю жизнь искал, а она тебе, чертяке, досталась. Ты береги ее, понял?

— Да я берегу! — отчаянно воскликнул Симагин. — Но ведь работа!

— Из болота тащить бегемота...

— Ладно тебе... юморист нашелся. Как она себя чувствует?

— Ты что, не выспался? — раздраженно спросил Вербицкий. — Уже спрашивал!

— Ой, да-да, прости, из головы вон... А я тут передрейфил. Она такая печальная была, когда я уезжал, нездоровилось ей... Почему она на работу не ходит?

— Не знаю... Разве не ходит?

— То нет, то занято... Ладно. Увидишь — передай: скучаю жутко! А я вот из кабинки вылезу и сразу телеграмму дам.

— Давай, давай. Передам.

— Счастливо, Валерка! Спасибо!

Вербицкий повесил трубку, улыбаясь. Бедный самоуверенный глупыш, с удовольствием думал он снова. Думаешь, если ты открыл или усовершенствовал колесо, все должны радостно носить тебя на руках? Жизнь была прекрасна. Лишь одно омрачало ее — в то жуткое воскресенье Вербицкий в отчаянии бросил портфель прямо в Неву с моста. И сам едва не прыгнул следом... В нем ли дело, нет ли — но следовало бы иметь аппарат под рукой на будущее. Жаль... Ася преобразилась — он понял это, лишь только она позвонила. Это было спустя одиннадцать дней после воскресенья, вряд ли дело было в аппарате — но... Она была его, в его власти, в его пользовании, от него зависела ее судьба. Теперь он не спешил. Он, как гурман, смаковал ее растерянность, преданность, восхищение... Он блаженствовал, царил. Он делал все, чтобы она поняла наконец, какую удивительную душу унизила и отвергла. Теперь она должна была понять. Он рассказывал, какой Андрей замечательный человек. «Что греха таить, — говорил он, — Симагин куда больше, чем, например, я, заслужил семейное счастье. Я неприкаянный». Он видел, она ждет зова — и не звал. Словно бог, он кроил ее будущее; видел, как наяву, ее прозябание возле опостылевшего мужа, когда, заслышав звонок, она бросает недотепу за столом, у телевизора, в постели — и сверкающей кометой летит открывать...

Он пошел к ней назавтра.

— Андрейка мне звонил, — сообщил он между прочим. — Беспокоится. Я ему сказал, Ася, что вы переехали.

— Да, — ответила Ася. — Вот, телеграмму прислал. — Она покопалась в бумагах на столе. — Слова. Люблю — у-лю-лю.

— Суховато, конечно, — примирительно сказал Вербицкий, просмотрев текст. — Но ведь он очень занят.

— Он всегда занят.

— Асенька, — увещевающе произнес Вербицкий. — Он, конечно, человек довольно тяжелый, капризный... Но небесталанный, это оправдывает многое. И он вас любит. Это главное. Когда он показывал мне ваши фотографии — те, на озере, — он прямо сам не свой был от гордости, он хвастался вами, как ребенок!

— Ребенок, — ненавидяще повторила Ася и вдруг вспыхнула. Растерянно глянула на Вербицкого. — Но ведь там...

Вербицкий успокоительно положил ладонь ей на руку, и Ася вздрогнула.

— Я смотрел как художник, — сказал он. — Вы замечательная, Асенька, вам нечего стесняться.

— Свинья, — сказала Ася. — Какая свинья!

— Ну, не надо. Вот — думал, вам приятно будет, а вы рассердились, — мягко улыбнулся Вербицкий.

— Все-все. Это меня не интересует.

— Что не интересует?

Она молчала, покусывая губу. Потом сказала ровно:

— Он. Я ушла от него. Совсем.

Вербицкий испугался.

— Асенька, — облизнув губы, проговорил он еще более мягко. — Да что вы! Вы же так любите...

— Нет, — ответила Ася, глядя ему в лицо влажными горячими глазами. — Уже нет. Да, наверное, и никогда не любила.

Вербицкий опять нервно улыбнулся. Ему стало не по себе. Он совершенно не собирался отбивать эту женщину у Симагина. Он лишь хотел, чтобы она презирала Симагина! Не замуж ли она за меня собралась, в самом деле? Черт, да ведь она еще и беременная...

— Асенька, опомнитесь. У вас же... Вы же ждете...

— Нет, — снова сразу поняв, о чем он мямлит, ответила она. И вдруг улыбнулась ему нежно и безоглядно. — Уже нет.

Ну и хватка у нее, с ужасом понял Вербицкий. Сладкое чувство обладания пропало. Опять что-то сокрушительное

происходило вне его ведома и разрешения, но — вот ведь подлость — как бы в его ответственности. Опять его насиловали.

— Вы шутите... — произнес он чуть хрипло.

— Этим очень трудно шутить, — ответила Ася все с той же безоглядной улыбкой.

Вербицкий взмок. Даже на лбу проступили капли пота, он вытер их ладонью.

— А Симагин? — тупо спросил он.

Лицо Аси презрительно скорчилось.

— Ася, вы жестоки! — от души сказал Вербицкий. — Андрей — прекрасный человек. Даже если любовь начала угасать — все равно, надо терпеливо и тактично...

— Ну хоть вы не мучайте меня! — умоляюще произнесла Ася, прижимая руки к груди, словно в молитве.

И стала ему омерзительна.

Он именно такой. Я вижу. Измученный, озлобленный. Но сохранивший — наперекор всему — лучезарную свою доброту. Броситься к нему, зацеловать... Ну, скажи что-нибудь. Умоляю, скажи. Мне ведь тоже трудно. Не надо о Симагине. Хватит. Я сто раз все передумала. Перевспоминала всю жизнь, перечла письма. Ничего не нашла. Мне мерещилось. Я тебя люблю! Тебя! Неужели не видишь? Ты же взрослый, сильный, опытный. Помоги мне. Забудь, что я не поняла тебя сначала, прости меня. Помоги. Я не могу сказать сама. Хотя бы дай знак, что хочешь, чтобы я сказала сама. Ну, хочешь? Тебе будет приятно? Я люблю тебя! Слышишь? Я люблю тебя!! Скажи что-нибудь...

— Ну, я пойду, пожалуй, — выдавил Вербицкий. — Я и так занял у вас массу времени. Все еще вернется, Асенька. Приедет Симагин. Вы снова почувствуете, что он ваш, со всеми его недостатками. Пусть нет прежнего пыла — но ваш, родной...

— Я полюбила другого человека, — произнесла она, глядя Вербицкому прямо в глаза. У нее был молящий, затравленный взгляд.

Сейчас ляпнет, в панике понял Вербицкий. Сейчас ка-ак ляпнет! Им овладело знакомое чувство тягостной, безнадежной скуки, и он вспомнил: так всегда было с Инной.

— Это, конечно, сложнее, — забормотал он. — Но и это еще не причина для столь решительного шага. Любовь преходяща, а семья — свята...

— Что?! — почти крикнула Ася.

Он опять облизнул губы, а потом озадаченно пожал плечами, показывая, что речь идет о пустяках, о бытовых мелочах.

— Да что тут особенного? Знаете, — он улыбнулся, — в народе говорят: муж любви не помеха... Он часто уезжает, доверяет вам абсолютно, задерживается в институте каждый вечер — вы могли бы встречаться с вашим избранником достаточно часто.

Секунду они молчали, потом Ася тихо и твердо сказала:

— Это не для меня. Я так не хочу... не могу. Это не любовь.

— Ошибаетесь, — строго и укоризненно возразил Вербицкий. — Это и есть любовь. Влечение к данному человеку в данный момент времени. Чистое. Бескорыстное. Не завязанное на быт. А семья, построенная на любви, — простите, Асенька, это чистый блеф.

Он пожалел о том, что сказал последнюю фразу. Женщина мгновенно ухватилась за нее и разыграла в свою пользу.

— Вы не верите, — прошептала она, со страдальческим видом мотая головой. — Как мне вас убедить...

Она запнулась, и он поспешно встал.

— Я буду заходить.

— Конечно!! После работы я дома. Мне еще не так здоровится... — Она смутилась и не договорила.

— Берегите себя, — посоветовал Вербицкий. — И запомните, что я сказал. Не осложняйте жизнь себе... и вашему избраннику.

— Я... я не осложню. Я постараюсь. — Она отбросила свесившиеся на лицо волосы. — Я докажу...

Когда Вербицкий ушел, она, уже не сдерживаясь, уткнулась в подушку и заплакала навзрыд — на том же месте, что и девять лет назад. Мама вышла из соседней комнаты и стала, как маленькую, гладить ее по голове. Потом спросила:

— Это он?

— Да, — жалобно пролепетала Ася, всхлипывая и вытирая лицо. — Он не верит, мам! Он весь в шрамах, мне не добраться... Мам, я докажу! Мам, он тебе понравился?

Мама едва заметно пожала плечами.

— Мама! — отчаянно выкрикнула Ася. — Он чудесный! — Слезы опять закипели у нее на глазах, но тут в дверь позвонили — Антошка вернулся с унылого, без привычных друзей, гулянья. Ася, спешно вытирая глаза и натягивая улыбку, пошла открывать.

— Ради Антошки, — сказала мама бессильно, просяще. Ася остановилась, будто ей выстрелили в спину.

— Мама, не надо, — с мукой и угрозой выговорила она. Близкие слезы делали ее голос низким и хриплым.

И, когда Антошка вошел, она сняла со шкафа купленный по пути с работы игрушечный вертолет, о котором сын давно мечтал.

На миг Антошка остолбенел, глаза у него загорелись. Он бережно взял вертолет и стал рассматривать, завороженно приговаривая:

— Вертолетик... это тяжелый транспортный вертолет... нет, спасательный. Для планет с разреженными атмосферами... — Он поднял на Асю глаза. — Это папа прислал?

— Ну, что ты! — заходясь от смеха, сказала Ася и присела на корточки рядом с сыном, обняла его. — Папе не до нас. — Антошка крутил вертолет, изучая со всех сторон. — Вот ты гулял долго, а сейчас дядя Валерий заходил, это он тебе принес, потому что он знает, как ты любишь тяжелые транспортные вертолеты!

Антошка опустил руку с вертолетом, недоверчиво глядя на Асю. Глаза его погасли.

— Ну да... — баском пробормотал он.

Ася шутливо погрозила ему пальцем:

— Разве можно маме не верить?

— Мам, — позвал Антошка нерешительно. — А мам?

— Что, милый?

— Помнишь, вечером, перед тем как ты заболела один раз тогда? Ты мне обещала. Я тебя просил, а ты мне обещала.

— Что обещала, Тошенька? — с беззаботной улыбкой спросила Ася и крутнула пальцем пропеллер. Пропеллер завертелся. — Ж-ж-ж-ж-ж, — сказала Ася.

— Нет, ничего. Прости, мама, — сказал Антон и перехватил под мышку вертолет. — Ничего.

4

Хотя Симагин дал телеграмму о приезде, он был уверен, что Ася не встретит. Только в глубине души теплилась надежда увидеть ее на перроне — но она и раньше не обязательно встречала его, не всегда удавалось убежать с работы. Это все были пустяки, главное — он вернулся. Самое страшное позади.

Комнаты имели нежилой вид. Чувствовалось, уезжая, Ася тщательно прибиралась. Как-то встревоженно Симагин несколько раз прочесал квартиру — непонятно было, отчего все выглядит так чуждо, не из-за порядка же... Понял — не было Асиных вещей. И Тошкиных. Ну, ладно, расхожее на них... Но зимнее пальто? Но статуэтка, тоненькая русалочка, которую Ася привезла от мамы, когда перебралась сюда? Игрушки? Он еще раз все перерыл и облегченно вздохнул — помстилось. Ну, нервы стали... На месте платье, которое он подарил ей в мае. На месте его любимый купальник — голый-голый. На месте планетоход, который он купил Антону на день рождения...

С улицы он опять, как с вокзала, позвонил ей на работу — там опять было занято. Девки треплются, окаянные. Сгорая от нетерпения, он помчался к Асиной маме, может, Ася там его ждет и волнуется, поезд-то два часа как приехал! А уж Антон-то наверняка там! Вот обрадуется! В портфеле у Симагина погромыхивал купленный в Москве сложный радиоконструктор.

Никто не открыл. Ошеломленный, он давил и терзал кнопку звонка, из-за двери слышался приглушенный, гневный перезвон. Никого.

Уже тревожась не на шутку, он зашел в первую же кабину и снова позвонил Асе на работу. И снова было занято. Он набирал две минуты, три, четыре, крутил мерно журчавший, иногда западавший диск тупо и озверело. У него дрожали

пальцы. Происходило что-то непостижимое и ужасное, он чувствовал, надвигалась какая-то мрачная опасность, он не узнавал Асю. Что с ней случилось? Она нездорова? Она... она — умерла? Господи, что за чушь? Валерка заходил, все в порядке, ждут... Звонко щелкнуло в трубке, и сердце Симагина замерло.

— Здравствуйте. Асю можно к телефону?

— А кто спрашивает?

— Да Симагин же!

— А... Аська... — Шум в трубке заглох, словно микрофон зажали ладонью. Потом снова возник тот же женский голос: — Она вышла сейчас. Что передать?

— А... она там? — беспомощно спросил Симагин. — Она просто вышла? С ней все в порядке?

— Раньше надо было думать, — враждебно ответили оттуда и повесили трубку.

Симагин вывалился из кабины. В разрывы плотных облаков прорывались скупые белесые лучи, холодный ветер нес пыль, охлестывая лицо порывистым колючим хлыстом. Что-то случилось.

— И уехал в такой момент? — потрясенно раскрыв глаза, спросила Татка. Ася пожала плечами.

— Работа, — сказала она язвительно и закурила. — В общем-то, я сама его избаловала. Ну, он и привык.

— Это просто свинство какое-то, — немного недоверчиво проговорила Татка. — А теперь звонит, будто так и надо. А знаешь, я сразу поняла, что вы... ну... — Она выжидательно глянула на Асю, потом отвернулась, поняв, что продолжения рассказа не будет, и потянулась к телефону.

— Тат, Тат, — сказала Ася поспешно и чуть смущенно, — ты погоди телефон занимать, а?

Татка опять повернулась — с нездоровым любопытством в глазах.

— А что? — жадно спросила она. — Ждешь, что он еще позвонит? Теперь тебя звать?

— Да он не позвонит, — пренебрежительно сказала Ася и помахала сигаретой. — Он теперь сверкает пятками в свой институт. Я живая, волноваться не о чем.

— Так ты другого звонка ждешь? — восхитилась Татка.

Ася неопределенно улыбнулась.

В полдвенадцатого обещал позвонить Валерий. Они должны были сговориться, как встретятся вечером. Он хотел повести ее куда-то в гости. Валерий оттаивал. Он сам этого еще не понимал, бессознательно сопротивлялся, пытаясь не пустить Асю в себя. Но она побеждала. Он начинал ее любить — той любовью, о какой она мечтала всю жизнь. Ровно, мужественно, чуть снисходительно. Ася снова надеялась и ждала. То, что Валерий позвал ее к своим друзьям, она расценивала как важный этап. Он уже связывал себя с нею. Она гордилась тем, что он ее позвал.

Телефон зазвонил в одиннадцать двадцать восемь, и Ася быстрее молнии метнулась к нему.

— Это ты? — выдохнула она, с восторгом отмечая, что Валерий наконец-то становится точным и не заставляет ждать себя по полчаса, по часу...

— Ну кто же еще? — сказал полузабытый, болезненно знакомый голос. — Слушай, где тебя носит? Я чуть с ума...

— Меня нигде не носит, — произнесла Ася, мгновенно окаменев. — Ты подбирай слова, будь добр.

— Ась, ты что? Ты еще... — он помедлил, — дуешься?

— Нет, — ответила она удивленно. — С чего ты взял?

— Не отпустили с работы, да? Как ты себя чувствуешь-то?

Татка слушала, делая вид, что заполняет какой-то документ.

— Нормально.

— Ася, — сказал Симагин после едва заметной паузы. — Ася, я в Ленинграде!

— Да, я догадалась. А из Москвы ты не мог позвонить?

— Ой, Аська, да я сто раз звонил! — заторопился он, словно обрадовавшись тому, что она наконец в чем-то его упрекнула. — То тебя нет, то занято — хоть плачь. Тебе не передавали разве?

— Ладно, — сказала Ася. Сердце билось судорожно. Оказалось труднее, чем она полагала. Не поворачивался язык. Зачем упрекнула? Сама же не подходила. Валерий может позвонить. А ведь не дозвонится с первого раза и больше не станет. Обидится. И будет прав. Слов она ему наговорила с

три короба. А мизерное дело — свободный телефон вовремя — не сделала.

— Вот что, Симагин. Трепаться мне некогда, я ведь на работе, между прочим.

— Да-да, конечно, мне тоже надо... скажи только — ты в порядке?

— В порядке.

— Ну и ладушки. — Голос Симагина мигом повеселел. — Слава богу. Я встречу тебя после работы, и вместе поедем к тебе, чтобы сразу перетащиться. Ага? Соскучился — жуть. Я закажу такси...

— Нет, — ответила Ася ровно, — не надо меня встречать после работы и заказывать такси. Не траться. Я ушла от тебя, Симагин.

В трубке безлюдно хрустело. Ася сделала движение повесить трубку, но там все-таки раздалось:

— А?

— И хватит. Ты меня предал и звонишь, как ни в чем не бывало. Уверен, что я опять завиляю хвостиком. Еще бы — гений осчастливил! Аська должна с голыми пятками бежать, как верная собачонка, да? Я больше не буду вилять хвостиком.

— Ася, да что случилось?

— Я тебя больше не люблю.

— Ася!!! — отчаянно закричал он.

— Я хочу повесить трубку, — сказала она и, как всегда, сделала, что хотела.

— Ты молодец, — решительно сказала Татка. — С этими сволочами только так и надо.

— Ладно, все. — Ася затрясла головой. — Дай огня. Гадость.

Она достала сигарету. Пальцы все-таки дрожали. Попробовала работать. Буквы валились друг на друга. Ася подошла к окну и стала смотреть, как желто-серая Нева тяжко прогибается под ударами ветра.

Она успела выкурить две сигареты и вернуться к работе, когда дверь хлопнула как-то по-особенному. Тревожное чувство оторвало Асю от бумаг. Симагин стоял перед нею — как всегда, встрепанный, нахлестанный ветром. Какой-то

недоделанный. Она болезненно сморщилась и опустила голову. Симагин стоял и смотрел. Она что-то писала и чувствовала его взгляд, опущенный ей на темя тяжелой, горячей ладонью. И Таткин взгляд она тоже чувствовала. Татка не встречалась с Симагиным, но могла узнать его по фотографиям, которые Ася приносила хвастаться, — Симагин удачно ее снимал и изредка попадал в кадр, когда их вдвоем снимал отец Симагина или Антон. Не поднимая глаз, Ася почувствовала, как Татка беззвучно вышла из деканата. Симагин молчал.

— И долго ты собрался стоять? — не отрываясь от дела, спросила Ася.

— Всю жизнь, — не задумываясь, ответил Симагин.

— Три ха-ха.

— Асенька. Что случилось?

— Ничего. — Она устало вздохнула и подняла голову. Телефон молчал. Но мог позвонить в любую секунду. — Я все сказала. Что ты снова меня мучаешь? Нельзя меня беспокоить.

Он медленно опустился в кресло для посетителей. Абитуриент из провинции. Кто его слушает на конгрессах? Не могу представить.

— Ты знаешь, — тихо сказал он, — я всегда знал, что так будет. Ты была... таким подарком... Я всегда чувствовал, что не заслужил, не... — Он замотал головой, с силой провел ладонью по щеке.

— Перестань, — брезгливо одернула его Ася. — Противно. Ты же мужчина, в конце концов. Держи себя в руках.

— Ася! — выкрикнул он. — Так нельзя!

— Мне надо работать, — сказала она.

— Вот как, — выговорил он. — Но ведь... ты говорила — не можешь без меня...

Ася чуть скривилась. Ей было неприятно, унизительно вспоминать об этом. Да, говорила...

— Да, говорила, — согласилась она. — Много чего говорила. Слова — это знак состояния, Симагин. Как сердцебиение, расширение зрачков... пот... С женщиной нельзя договориться, запомни. Когда женщина влюблена, ты будешь слышать от нее то, что хочешь. Но это вовсе не значит, что

она так думает. Это значит лишь, что она влюблена. Ты совсем не знаешь женщин, Симагин. Ты детеныш. А мне нужен мужчина.

— Ты меня никогда не любила? — тихо спросил он.

Она пожала плечами. Он мучительно всматривался в ее лицо, пытаясь найти хоть след былого, хоть один луч улетевшего в бесконечность света — и не находил.

— А как же... — сказал он. — У нас... Там? — Она сразу поняла и на миг почувствовала чудовищную боль, причиной которой тоже был Симагин, — словно все внутри намоталось на стремительное раскаленное сверло и теперь отрывается, живое от живого... Ей хотелось ударить его изо всех сил.

— Там давно ничего нет.

— Как?! — с ужасом пролепетал он. — За что?!

Телефон молчал.

— А Антон? — спросил Симагин. Голос был серым и безнадежным.

— Антон с бабушкой. У знакомых на даче. Пусть он тебя не заботит, это мой сын. Ты совершенно ничем ему не обязан.

Он помедлил.

— Ася моя... Я тебя чем-то обидел? Не представляю... Но так же все равно нельзя.

— Что ты болтаешь? — спросила Ася. — Ты ужасно много болтаешь, Симагин. Я встретила другого человека.

— Ты ни с кем не будешь счастлива, — услышала она издалека.

Телефон молчал.

— Нет, ну это просто смешно! — сердито воскликнула она. — Самовлюбленный мальчишка! Неужели ты думаешь, что мог всех заслонить? Уходи, — сказала она легко.

Он послушно поднялся.

— Ася, — сказал он.

— Все-все-все, — ответила она. И, чтобы покончить, добавила: — Ты мне стал физически неприятен.

Он будто даже обрадовался.

— Это пройдет! Оттого тебе и кажется остальное. Все будет хорошо. Ведь было хорошо — правда?

Она нехотя шевельнула плечом.

— Ты глупышка, — сказал он нежно. — Ты даже не понимаешь, что так легко поверила тому... кого встретила... лишь оттого, что нам было хорошо. Ты привыкла верить... Все вернется, Ася. Я буду ждать тебя, ты очнешься. Любимая, родная моя, бесценная... — Он задохнулся. — Настоящее не уходит!

Слушать этот вздор было жалко и стыдно. И ведь я когда-то думала, что люблю его... Ее передернуло. Та жизнь казалась выдуманной. От нее ничего не осталось. Хоть бы Татка пришла. Телефон молчал.

— Настоящее не кончается, Ася! Настоящее...

Что еще он хотел поведать о настоящем, осталось его личным делом. Дверь с грохотом распахнулась, и деканат заполнила гомонящая молодая ватага. Ася облегченно вздохнула. Внимать Симагину было совершенно невыносимо. Будто любовь ей предлагал гниющий труп. Теперь Симагин смотрел издалека, его будто свежим ветром смело в угол, и Ася сразу стала энергичной, раскованной, говорливой. Она испытывала странную легкость, работа спорилась в ее руках, мелькали печати, бланки... Вернулась Татка и стала описывать презабавный инцидент в буфете. Не очень вслушиваясь, Ася от души смеялась. Это был ее мир. Живой, невымудренный. И только телефон молчал.

Симагин ушел минут через пятнадцать.

Она посмотрела в окно, как он бредет по набережной, шатаясь от яростных ударов ветра. Плащ бился на нем, точно хотел улететь. Много курю, подумала Ася, сминая в пальцах сигарету. Может, от этого заживает медленнее. А нужно быть готовой. Может, он уже скоро скажет: хочу. Симагин стоял на набережной, обвалившись на парапет, и все оборачивался — будто ждал, что, как встарь, Ася выскочит из дверей в наспех наброшенном пальто и бросится бегом поперек мостовой. Сияющая. Счастливая. Нет уж, увольте. Хватит унижаться.

Валерий позвонил в начале второго. Он работал всю ночь, сделал двенадцать очень качественных страниц и, заснув лишь под утро, попросту проспал. Они договорились. Какое счастье, он все-таки позвонил.

Кажется, их поздравляли. Кажется, Вайсброд расспрашивал. Кажется, приезжали из центра с новыми записями — их надо было принять. Наверное, он сделал и это — кроме него, просто некому было это сделать.

Он ушел с работы вместе со всеми. Но отдельно. Вышел в ветер. Горбясь под неимоверной тяжестью неба, прошел мимо закрытого цветочного киоска, мимо автобусной остановки.

Он не помнил, где плутал. Забрел, кажется, в маленький кинотеатр. Ему стали что-то показывать. Он ушел с середины.

Он пришел домой в половине десятого. Ноги омертвели от скитаний. Кружилась голова. Он не ел с Москвы. Вот теперь — казалось, триста лет прошло после того, как он утром приехал сюда с вокзала, — он понял, что произошло. И одновременно понял, сидя на стоящем в коридоре нераспакованном чемодане, что в глубине души весь день носил сумасшедшую надежду — придя домой, встретить здесь ее. Потому и не шел допоздна — давал ей время. Было пусто. Было много места — три маленькие комнаты, узкий коридор, кухонька, и повсюду одинаково — пусто. Все дышало ею, мерцало отблесками. Но отблески угасали. Промозглая ночь сочилась в окна. Ему казалось неоспоримым, что лишь тогда он начал жить, когда на остановке увидел прекрасную девушку с ослепительно черным костром волос. И, значит, сегодня — кончил жить. Ему было страшно. Ведь впереди, наверное, еще много лет. Голова разламывалась, он принял баралгин, напился воды из крана. Подошел к окну. Город спал. Громоздились темные, мертвые контуры. Ледяная луна стремительно летела над ними, гибла в тучах, взрывая их края серебряным блеском, и вновь вырывалась в бездонную черноту, падала в глаза жутким бельмом. Ее пронзительный свет был непереносим. Симагин задыхался. Он пошел обратно. Гулко, непривычно звучали на ночной лестнице выходящие шаги. Завывал ветер. В почтовом ящике белело, Симагин машинально вынул — письмо. «Здравствуйте, наши дорогие! Что-то давно от вас нет ничего. Сеновал мы приготовили, погода стоит отменная, и верандочка ваша ждет не дождется. Тошенька, поди, вырос за лето совсем большой, мы купили ему велосипедик, пусть

катается, тут просторы. Как Асино здоровье? Ты, Андрюша, ее сейчас береги. Не знаешь, какие женщины в такой момент капризные, так то не со зла». На улице черный свирепый ветер ударил Симагина по лицу, закрутил плащ. Симагин разжал пальцы — маленький светлый призрак мелькнул в темноте и пропал, проглоченный водоворотом. Сгибаясь, Симагин побрел. Он не знал, куда идет. Он не знал даже, что идет. Но шел безошибочно и в сером свечении рассвета пришел. Долго стоял под неживыми окнами. Потом вспомнил — там, внутри, она тоже одна. Может быть. Если не с тем. Взбежал на седьмой этаж. Едва дыша, опрокинулся на дверь и несколько минут стоял, закрыв глаза, унимая боль в сердце, затылком чувствуя среди пухлого дерматина льдистую твердость кругляша с цифрой «47», который он сам прикручивал в сентябре, потому что прежний совсем облупился. Ася была за дверью, он ощущал ее, слышал ее сон, видел ее дыхание, струйчато дрожащее в зазорах, в замочной скважине... Это напоминало марево над полуденным лугом. Его рука потянулась к звонку и отлетела. Не надо ее будить. Но я же здесь. Она не чувствует? Она уже не чувствует. В окна тек скупой илистый свет. Стекла стонали под напором ветра, по лестнице крутился сквозняк. Симагин прижался губами к звонку. В квартире квакнуло. Симагин отпрянул, зажав рот обеими руками. Потом стал медленно пятиться. Оступился и едва не упал. Ася не проснулась. Наверное, она устала. Наверное, она очень много курит. Наверное, ей еще нездоровится. Он бросился вниз, словно за ним гнались, потерял равновесие и упал-таки, разбив локоть и колено, ссадив щеку о заплеванный пол. Сильно хромая, выбрался на улицу. Шипя и упруго подскакивая на выбоинах в асфальте, проламывая густые, песчаные потоки ветра, мчались утренние машины. Симагин перешел улицу и опять долго смотрел на окна, машинально размазывая кровь и грязь по лицу. Потом пошел на работу.

Но когда долгожданное произошло наконец, Ася испытала странное, горькое разочарование. Нет, она ни о чем не жалела, ей не о чем было жалеть. Она любила Валерия смертельно, и, конечно, куда Симагину было до него. Но все творилось где-то вдали. Она вбирала навсегда и целиком, до легчайшего вздоха, до мельчайших бисеринок пота. А вложить ничего не могла. Старалась изо всех сил, ласкала, как только могла. Но ничего не могла. Была марионеткой. Самой можно было ничего не хотеть, только слушаться. Казалось, на ее месте сгодилась бы любая. Не пылкой нимфой, радостно и безоглядно упавшей в полдень на зеленую траву, чувствовала она себя, нет. Просто искалеченной абортом женщиной, на грани отчаяния, с широко разведенными ногами. Наверное, так и должно. Сказки ушли, пришла жизнь. Но когда все кончилось, они с Валерием не стали ближе, остались порознь, каждый на своей стороне постели. Она долго лежала, глядя в прокуренную тьму чужой квартиры. И не могла уснуть. И не могла понять, почему ее преданность, ее восторг скатывались с него, как капельки воды с промасленной бумаги. Она едва не плакала, но лежала тихо, привычно боясь разбудить спящего рядом мужчину. Он был разочарован. Она не смогла! Наверное, он не может забыть той, предавшей. Он часто рассказывал. Инна. Ася ненавидела ее. Надо бороться. Он же целовал меня, целовал! Ему нравилось! Пусть хоть немножко...

Что за удовольствие, что за блаженство он испытал, произнеся наконец вслух фразу, которую столько времени мечтал произнести вслух кому-нибудь, кто от него зависит, с превосходственным идиотизмом и жирной незаинтересованностью, с какими она была когда-то обрушена на него самого, о, что за блаженство — платить миру его же монетой, не сдерживаясь, не щадя и не размышляя. До новых встреч, сказал он ей, снисходительно чмокнул в горящую щеку, мимо подставленных запекшихся, робко приоткрытых губ, и захлопнул за нею дверь, и тихонько засмеялся, когда эта невыносимая женщина, все утро глядевшая на него огромными, чего-то требующими глазами, наконец ушла. Право, я дурак хуже Симагина, думал он, тихонько смеясь, тот хоть просто дурак, а я все понимаю — и тем не менее продолжаю искать чего-то этакого... Ну и богиня! Ну и муза, боже правый! Он никак не мог понять, что же, в конце концов, померещилось ему в ней, что приворожило? Кем она сумела притвориться, чтобы он, собаку съевший

на этих вывертах, заметил ее и захотел, как она добилась этого, хитрая тварь? Требовательный взгляд, требовательные руки, требовательные, слащавые бесконечные поцелуи, как если бы он, Вербицкий, благодаря тому, что она разделась и легла с ним, стал ее маленьким сыном, которого она имеет право зацеловать до того, чтобы велеть потом: так делай, так не делай... Сколько суматохи, вожделений, надежд — и денег, между прочим, на этот идиотский прибор — и все ради того, чтобы наставить рога обормоту Симагину, которому разве что отпетый лентяй или евнух не наставил бы рогов, да повесить себе на шею очередную женщину. Слова те же, движения те же, все по безграмотному трафарету, и смотрит голодно и выжидающе, будто я у нее по гроб жизни теперь в долгу, будто не сама бросилась в постель ко мне...

Сердобольный кретин! Вешаются на шею убогие куры — а настоящего, хоть убейся, нет. Уж сидела бы дома со своим Симагиным — как же, взалкала африканской страсти, высокодуховной аморалки, истосковалось мещанское сердечко по запретным плодам, остренького захотелось; разумеется, от Андрюшки она побежала только пальцем щелкни, но на кой же ляд я щелкнул-то? Кретин, портфель этот таскал, надрывался, поверил в этот бред; какие-то железки — и в глазах вспыхивает огонь самосожжения, несносно требовательного, как у всех кур, которые жаждут только отдаваться, стряпать да стирать, и от всех требуют того же. Крепилась, покамест муж торчал дома, а стоило ему отъехать на какие-то две недели, она рванула под одеяло к первому, кто подвернулся...

Хватит, ребята. Больше я в эти игры не играю. Как-то вдруг Вербицкий понял наконец, что они — удел богом тюкнутых, неуверенных, ищущих себе костыли. Пропадите вы пропадом, вруны, не способные есть, пить, спать без миражей, под каждый чих подводящие моральный фундамент, прячущие голову под крыло. Мне пора работать. Кончай перекур, начинай приседание. Повесть, которую он придумал тогда на мосту, казалась ему теперь сентиментальной, инфантильной, надуманной. Но, слава богу, голова еще пашет. Мне есть что сказать, думал Вербицкий, отключая телефон и

заправляя в машинку лист белой, белой бумаги. Заглавными литерами, по знаку через три пробела, он настучал заглавие: «До новых встреч». А ниже, откровенно уже хохоча от прилива сил и чувства полной свободы, прострочил страницу эпиграфом: «Он неопытен, да строг. Еле держит молоток!»

Весь день не отходила от телефона. Каждый звонок бросал с места. Сердце обмирало, а потом неслось так, что темнело в глазах. Когда телефон занимали девчонки, не могла работать, отвечала невпопад, путала печати. Думала лишь — только б он не позвонил сейчас. Только б он позвонил потом. Только бы скорей перестали они трепаться. Смутно вспоминала, что никогда так не волновалась, ожидая звонков Симагина: тот бы прозвонился, что ему...

После работы позвонила сама. Не могла больше ждать. Эта ночь, наверное, решила судьбу их отношений — а ведь Ася проявила себя не лучшим образом. Ответь, заклинала Ася. Я опять прибегу. Позволь мне попробовать еще, ну позволь. Станет так светло. Я сготовлю вкусный ужин; ты будешь рассказывать мне все-все, потому что я пойму все-все; потом ты побудешь во мне, потом уснешь спокойно, не одиноко. Разве ты сам не хочешь?

Поздно вечером позвонила снова. Сил не было сидеть в пустой квартире. Не отвечали. Надвигалось ужасное, непоправимое. Кажется, она проиграла. Я неумелая, черствая дура, я холодная рыба, я не сумела. Это Симагин виноват! Он отучил бороться, он сюсюкал и берег, и заваливал цветами, стоило слегка помрачнеть. После полуночи она вышла на пустынную улицу и позвонила в последний раз. У Вербицкого не отвечали. Тогда она заплакала. Не будь Антошки, она покончила бы с собой.

5

Листья летели навстречу.

Вскипая недолгими водоворотами, всплескивая и опадая, в грудь била стремительная золотая река. Осень стряхивала листву, и от косых лучей не по-теплому яркого, сухого солнца некуда было укрыться.

Со странным чувством бродил он по городу. Память играла с ним злую шутку — ему некуда было укрыться.

Вот остановка — здесь познакомились. Вот площадь Искусств — здесь договорились встретиться, и оба ужасно опоздали, но так были уверены друг в друге, что приехали оба час спустя и встретились. Вот Финляндский, отсюда уезжали в тот волшебный день на залив. Вот полнолуние, ее так волновала луна. Вот вода, она любила плавать. Мир был полон ею. Она присутствовала всюду — в воздухе, в воде, в цветах, которые он не успел ей подарить... Она сама была воздухом, водой и цветами, и воздух стал теперь душен, вода — суха, и цветы — бесцветны.

Он не знал, не старался узнать, где она и что с нею. Он был уверен, что она счастлива.

Он больше не задерживался в институте. Это тоже было странно и глупо: когда его ждали дома и он спешил домой — работа увлекала, и он засиживался допоздна. Теперь его не ждал никто, но он уходил со всеми. Голова обеспложена.

Он листал книги. Смотрел кино. Обедал где придется и заходил домой, как в гостиницу. Все потеряло смысл — и работа, и книги, все.

Получил письмо от Леры — ровно через год после того, как они повстречались на набережной. Сцепив руки и глядя на лежащий на столе белый конверт, Симагин долго сидел в густеющих сумерках, пока пустая квартира валилась в ночь. Потом, не читая, сжег. Умом понимал, что это, может быть, жестоко. Но не хотел равнодушно приятельского письма. И не хотел влюбленно преданного письма. И то и другое было бы больно. Ничего не хотел. Нелепо, гротескно — при Асе он стремился, и мог, и даже чувствовал себя вправе ласкать другую женщину. Теперь нет. Не чувствовал себя вправе, не стремился, не мог.

Полюбил заходить в женские магазины. Нравилось мучить себя, прикидывая, что бы он подарил, что пошло бы ей, чему бы она обрадовалась. Он так любил, когда она радовалась. Она так любила, когда он дарил. И так любила дарить сама. Почему я мало ей дарил? Почему мы мало бывали вместе? Все думал — потом... Какая глупость! Ведь нет никакого «потом». Только «сейчас». Жизнь — это то, что «сейчас». Больше ничего нет и не будет. Эти годы были мимолетны,

как взмах ресниц. Уже мчались последние дни, а я благодушествовал: потом. Будет отпуск... Будет зима... Ничего не будет, будущего нет. Сверкающая тонкая змейка сникла и погасла на горизонте.

На щеке, от лестницы, остался едва заметный шрам. Пятнышко.

И, кроме, ничего не осталось.

Это было, пожалуй, самым противоестественным. Что от трех лет — трех этих лет! — ничего не осталось. Плоские, холодные фотографии. Немного одежды, которую он покупал ей и ее сыну. Планетоход, коробка пластилина, радиоконструктор, привезенный из Москвы поздно. Ее скромные подарки ему. Все. Да — еще много-много боли и пустоты.

Если бы можно было уехать...

Как это писал Энгельс брату: «Я рекомендую каждому, кто чувствует себя слабым или утомленным, предпринять путешествие по океану и провести две-три недели у Ниагарского водопада, и столько же в Андирондакских горах, на высоте двух тысяч футов...» Я читал это вслух, и мы смеялись, и Ася, прижимаясь щекой к моему колену, глядя звездными глазами, подшучивала: «Неплохо жили классики! В этаких условиях не грех великое учение создать. Но в Лешаках лучше...»

Как-то зашел Валера. Очень огорчился, узнав, что произошло. Долго молча курил, глядя неподвижными глазами. Симагин закурил тоже. «Ты прости меня, но этого следовало ожидать». — «Да?» — «Да. Есть лишь одно средство, чтоб от тебя не уходили, — уходить самому. Почувствовал хоть тень неудовлетворенности — бросай без колебаний. Не бросишь — она же первая тебя станет презирать и уж покуражится над тобой всласть». — «Да подожди, Валер. Если любишь — как-то бороться надо...» — «Борются только за повышение производительности труда. Это либо есть, либо нет». — «А знаешь, я все думаю — может, сам в чем-то ошибся...» — «В этих делах, Андрей, не бывает ошибок. Поверь старому греховоднику. Если женщина на тебя поставила, можешь по ней сапогами ходить — она будет благодарна. А если нет — хоть из кожи лезь, ей все будет не так. И еще одно. На будущее, когда очухаешься. Твой возраст и поло-

жение таковы, что бабы слетятся на них, как на мед. Не чтоб тебя любить и помогать, разумеется, а для супружества. Ведь с одного взгляда на тебя ясно, кем нужно прикинуться, чтоб ты сомлел. Будь уверен — тебя дешево покупают, а в мыслях у богини — твоя квартира, твои иностранные конгрессы с прилагающимся к ним иностранным шмотьем, твоя карьера. А в сердце — Вася из пивбара. Ищи женщин, которые не притворяются. Они, правда, честно говорят тебе, кто ты есть, и честно изменяют — но не предают, как эта фифа тебя предала». — «Мне никто не нужен». — «Не смеши. Курить начал?» — «Начал». — «И по бабам бегать начнешь. Просто ты катастрофически задержался в развитии». — «Я правду говорю, Валера, — никто». — «Ой, ну пойди тогда, облучи ее своим спектром! — Вербицкий захихикал и ткнул Симагина кулаком в бок. — Нет, ей-богу! Вдруг и впрямь подействует!»

Был получен спектр с латентными точками. Все завороженно толпились у экранов, а по ним головокружительно неслись бесконечные линии спектрограмм, то и дело разрываемые едва заметными паузами... Их было много, этих пауз, куда больше, чем ожидали. Симагин огляделся, чтобы отдельно поздравить Володю, и тут только обнаружил, что Володи нет. Он спросил.

Все помрачнели, будто темный ветер окатил головы и плечи.

— У него умер сын, — сказала Верочка. — Вчера.

Симагин с трудом узнал его — Володя одряхлел. Они молча стояли, глядя друг на друга, — Володя, кажется, тоже не сразу узнал Симагина. Потом он отступил в сторону, пропуская Симагина внутрь. Они прошли в комнату, молча сели к столу. Зияла раскрытая постель, поперек нее корчился женский халат. Пахло лекарствами. На полу белело крошево растоптанных таблеток, колко отсверкивали осколки ампул, и сами ампулы глумливо, нагло лежали на блюдце посреди стола. У стены вверх ногами валялся осиротевший плюшевый медвежонок. Рыжий. Симагин смотрел в черное лицо Володи, изжеванное внезапно раскрывшимися морщинами, а в голове гвоздило: не успеваем. Володины щеки вдруг бессильно задрожали, и он, так и не сказав ни слова, уткнулся лбом в лежавшую на столе симагинскую ладонь и горько,

по-детски безутешно заплакал. И Симагин, как Антошку, стал гладить Володю по тяжелой, седеющей голове.

Не успеваем, пульсировало в мозгу, когда полтора часа спустя он вышел на лестницу. Раскаяние душило его, он повторял и повторял: не успеваем. Ничего не успеваем. Бессилие. Было сумеречно, снаружи шумел и плескался нескончаемый осенний дождь, и, кроме унылого беспросветного плеска да гулкого шарканья шагов, в мире не было звуков. Симагин вспомнил другую, тоже едва освещенную лестницу и тронул щеку. Бессилие...

Он остановился у окна. Из тьмы наверху сыпал косой остервенелый ливень, асфальт в узком дворе безжизненно блестел, и сомкнутые стены домов, тускло освещенные одиноким фонарем, были в пятнах и потеках. От ровного шума воды хотелось повеситься. Не успеваем... Эти слова казались бессмысленными. Если бы Антон умирал... Антон меня помнит? Дети быстро забывают. Сколько людей страдает и умирает от болезней, которые мы научимся лечить? Научимся. Это слово тоже не имело смысла. Нет «потом». А я, из-за какого-то там себя, не могу сейчас. Голова пуста.

Хрупко, хрупко... Только пустота не хрупка. Невозможно выбрать поведение до опыта — и поэтому оно всегда возникает с опозданием, вместе со шрамами и переломами на своем теле и на телах близких. Но альтернатива — равнодушно повиноваться тому, что велят большие дяди: ходи влево, ходи вправо — и в это время думать о чем угодно, кроме дела, а вне приказов быть способным лишь, соответственно темпераменту, благодушно сдувать пену с пива или вопить «влип, Абрам!..». И где гарантия, что эти большие дяди выстрадали то, что велят, а не были выдрессированы такими же оболтусами? Да, да, все так, но ведь шрамы! Переломы! Ведь так хрупко! И память тут же рассыпала соцветия грациозных формул, повествующих об исчезающе малой вероятности и младенческой беззащитности всех без исключения антиэнтропийных процессов Вселенной. Но формулы лишь подтверждали неизбежность бед для всех, кто пытается противостоять накоплению хаоса, — выход следовало искать вне формул. Выход... Человек ломается, чуть надави. Несломанный человек — это ребенок, он еще не боится каж-

дую ситуацию решать творчески, вкладывая всю душу, как совершенно неизвестную и жизненно важную. Он еще уверен, что, если ошибка и беда, кто-то любящий поможет. А у взрослого — лишь внеэмоциональный инструментарий, технический набор стереотипных подстраховок. Не хочу в стереотипы! Создавать хочу, создавать!

Как странно. Бежишь, бежишь — и вдруг...

Конь на скаку и птица влет.

Вспомни, как было. Не бежать невозможно. Каждая мышца поет, звенит, словно парус. А теперь? Насилие над собой, становящееся привычным, но не способное радовать. Истошный бег не к радости, а от стыда. Радость дают лишь результат и его оценка — но не бег. А тогда какая разница: бежишь ты, превозмогая боль, или причитаешь, лежа в луже, — ведь всегда найдутся те, кто, лежа в соседней, смогут лестно оценить, сколь мелодически ты стонешь, сколь оригинален колер твоей крови, выставленной напоказ. В этом всхлипе именно фа-диез, совершенно справедливо; и кровь хлюпает так зычно, так жидко — и в то же время так, знаете ли, кроваво, лучше настоящей... Дело лишь в том, с кем ты.

Шум дождя был мутным и зыбким. Внизу на лестнице стоял кто-то, упрятанный в капюшон. Он прижимался спиной к облупленной, крошащейся стене и, казалось, спал. Но когда Симагин наконец двинулся вниз и прошел мимо, спящий поднял голову.

— Эммануил Борисович... — вздрогнув, пробормотал Симагин.

— Я давно вас жду, — сказал Вайсброд и чуть улыбнулся. Проваленные глаза его лихорадочно блестели.

— Зачем? — ошеломленно спросил Симагин. — В такую погоду... Вы же совсем больны!

— Подождите, — досадливо шевельнул рукой Вайсброд.

Он помедлил. Симагин напряженно ждал.

— В самое ближайшее время мне придется оставить должность и заняться досужей беллетристикой, — сказал он. — Я совсем раскис, так что все справедливо. Если вы, Андрей, в течение лет полутора не разработаете методику резонансного лечения нефритов, вам придется проститься со мной навсегда. Тише, не перебивайте! — Он резко махнул в

сторону Симагина. — Я приехал не дискутировать, а информировать. Вам известно, вероятно, что заместитель директора давно и серьезно питает ко мне ярко выраженную антипатию. Известно?

— Известно, — после паузы сказал Симагин.

— Я полагаю, от его пика СДУ зашкалило бы все наши приборы, но это сугубо мое личное мнение. Во всяком случае, я плачу ему той же неприязнью, и у нас обоих есть к тому уходящие в глубь веков причины. Так что тут опять-таки все справедливо. Но я имею веские причины полагать, что эта антипатия перейдет — и начала было переходить — с меня на вас, как на моего ближайшего ученика. Подобный ход дел чрезвычайно повредил бы работе. Академическая карьера Вениамина Ивановича начиналась с борьбы против кибернетики, с доносов — такие люди остаются опасными при любом политическом раскладе в стране.

— Эммануил Борисович...

— Вы в состоянии три минуты помолчать?

— Да, — после паузы ответил Симагин.

— Очень рад. Так вот. С тем чтобы парировать этот процесс, я уже довольно давно начал муссировать слух, согласно которому мы с вами находимся в натянутых отношениях. Согласно этому слуху, в частности, вы ждете моего ухода с нетерпением. С вашей мальчишеской невоздержанностью выражений вы, надо сказать, делали этот слух чрезвычайно доказательным.

— Эмману...

— Мне вполне сознательно помогали Аристарх Львович и Верочка... Вера Автандиловна, которые полностью в курсе этих сложных обстоятельств. Кроме того, я уж не знаю как, но в Москве вам явно удалось нейтрализовать Кашинского, до конгресса он просто-таки ядом исходил в ваш — лично ваш! — адрес, а теперь стал как-то очень выжидательно объективен. Мы берегли вашу голову от этих дрязг, сколько могли, но теперь тянуть невозможно. Мой уход на пенсию — дело недель. Все, что от вас требуется, Андрюша, — сказал он с неожиданной мягкостью, — это, кто бы с вами ни беседовал... директор ли, наш куратор ли, или кто-либо из райкома, — не разрушать уже созданного впечатления.

Шумел дождь, и в лестничном воздухе висела промозглая сырость. Оставляя темные следы, с улицы вошел человек, отряхнулся, подозрительно глядя на Вайсброда и Симагина, пошарил глазами по их рукам — не распивают ли, и полез вверх, по крутым истертым ступеням. Слышно было, как он идет, идет, хрипло дышит, накручиваясь на полутемные отсырелые пролеты, потом где-то высоко-высоко стали гулко звенеть ключи, протяжно грянула дверь. Эхо забилось между этажами, раскалываясь и дробясь о твердые своды, и снова наступил заунывный плеск.

— Я его разрушу, — сказал Симагин бесстрастно.

— Это преступно. Вы подведете двух, а то и трех хороших людей. Не считая меня.

— Вы мой учитель. Я не могу...

— А я могу?! — вдруг сорвавшись, старчески надсаживая дряблый голос, крикнул Вайсброд и затряс бессильными кулачками. — Щенок! Если бы я так!.. — С тяжелым хрипом он втянул воздух. — Вы бы корпели в каком-нибудь ВЦ или — в самом лучшем случае! — читали, как сказку, работы японцев и немцев. И отставали бы на десять лет! Но я дрался! Я маневрировал, да! Мой лучший друг двенадцать лет делает вид, что меня не знает! Он уже академик! А мы служили вместе! В одном артрасчете карабкались через Хинган в сорок пятом! Другой мой друг, когда я тайком приехал его проводить, плюнул мне в лицо. Теперь, между прочим, он работает у того Маккензи, о чьей бороде вы говорили столь умильно! И бомбардирует конгресс штата письмами, согласно которым биоспектральные исследования в России ориентированы на создание лучевого оружия! И уже я плюнул бы ему в лицо! — Он немощно ударил себя в узкую грудь несколько раз. — Но он далеко! Но я выиграл! Я нашел вас! И выучил вас! И мы обгоняем их на пять лет! Не сметь испортить! Сопляк!! Эта страна получит амбулаторные резонаторы первой! Эта!! Тем и так неплохо!!

Он был страшен. Он задыхался. Он полез в карман, долго не мог в него попасть, потом вытащил какие-то таблетки и кинул их в рот трясущейся ладонью. Откинулся на стену и закрыл глаза.

— Эммануил Борисович... — прошептал испуганный Симагин. — Эммануил Бо...

— Не желаю больше слушать вас, — сорванным голосом просипел Вайсброд, придерживая валидолину языком. — Вон отсюда, мальчишка. Слюнтяй.

Они долго молчали. Все было сказано. Дело в том, с кем ты, думал Симагин. Для кого ты. Дыхание Вайсброда постепенно выравнивалось.

— Хорошо, — сказал Симагин. — Я подумаю.

Вайсброд открыл глаза.

— Расходиться, господа, будем по одному, — вдруг проговорил он. — Вы — направо. Я, — он горько усмехнулся, — налево... Я на машине, Андрюша. Вас подвезти?

— Благодарю вас, Эммануил Борисович, — безжизненно ответил Симагин. — Я хочу пройтись.

— Дождь.

— Какая разница.

Они медленно вышли в сетчато дрожащую темноту.

По крыше и капоту бежевой «Волги», выколачивая глухую дробь, густо плясали фонтанчики. Вайсброд открыл дверцу — внутри, в мягкой уютной подлодке, затеплился свет. Молча сделал приглашающий жест. Нахохлившийся Симагин, пряча руки в карманы, отрицательно покачал головой.

— Жаль, вы не умеете водить машину, — сипло сказал Вайсброд, садясь. — Гонщик из меня сейчас... аховый.

Звонко ударила в корпус дверца и защелкнулась в пазах. Заурчал стартер, вскрылись алым светом габаритные огни. Едва различимый за мокрым стеклом Вайсброд снял левую руку с баранки и помахал Симагину — Симагин в ответ покивал внутри поднятого воротника. Проливной дождь увесисто сыпался ему на плечи, барабанил по обвисшей шляпе. Заходили, поскрипывая, «дворники». «Волга» дрогнула и, расплескивая протекторами воду из луж, покатила к арке проходного двора. Следом пошел Симагин.

Он обещал подумать. На углу Большого и Двенадцатой линии его едва не сбил грузовик. На мосту Шмидта было просторно и ветрено, твердый дождь гвоздил щеки, грохотали в рыжем свете фонарей трамваи, и мост упруго подскаки-

вал над водянистой бездной. На набережной Красного Флота, прогремев парадными дверями, навстречу вывалилась компания, весело и нестройно вопящая под гитару: «Гоголь, Гегель, Бабель, Бебель — жидовня проклятая! Бля, и ты, моя Маруська, сделалась пархатая! Гоголь, Гегель, Бабель, Бебель — классика опальная! Бля, до жопы надоела их брехня моральная!» На Театральной, из приоткрытых окон первого этажа консерватории, слышалось с какой-то репетиции удивительно красивое девичье многоголосье: «У девицы в белом лице румяны играют. Молодого, холостого парня разжигают. А женатому тошно цаловать нарошно!» Симагин шел сквозь дождь и даже не спешил — все было далеко. Так далеко. Резонаторы были еще далеко. Но ближе остального. Дождь утихал. На канале Грибоедова — в Никольском уже пробило одиннадцать — Симагин вошел в будку телефона и позвонил Карамышеву.

— Простите, Аристарх Львович, — сказал он. — Не разбудил вас?

— Нет, что вы! Да-да, он, — добавил Карамышев в сторону, а потом опять Симагину: — А мы просто-таки чувствовали, что вы позвоните. Я слушаю вас, Андрей Андреевич.

— Я, собственно, у вас под окнами. Случайно, честное слово. Я просто гулял. И, кажется, придумал, как спровоцировать развертывание.

— Немедленно поднимайтесь! — взволнованно крикнул Карамышев. Симагин помедлил, потом спросил осторожно:

— Но ведь вы, как я понимаю... не один?

— Мы с Верой Автандиловной занимаемся математикой дважды в неделю... она будет очень рада вас...

— Прос-стите! — страдальчески сказал Симагин и рывком повесил трубку. Вышел из кабинки. Мотая головой от стыда, отошел к парапету и неловко, поломав три спички, закурил. Только теперь он понял, как продрог. Карамышев. Сухарь. Молодец, Карамышев. Верочка, легкая и радостная, как олененок.

«Завидуешь?» — спросил он себя и, затягиваясь, честно ответил: завидую. Хотел бы целовать ее? Да. Но, наверное, не смог бы. Целовать и не чувствовать, что чувствовал, целуя Асю, — обман. Она-то может подумать, что я чувствую

именно так! Подло целовать женщину, не ставшую целью. Но ведь и средством я не сделаю ее никогда! Значит, не подло? Не цель, не средство — просто. Как ласкают ребенка. Как согревают в непогоду. А стоит улечься пурге — улыбнуться и продолжить путь, каждый — свой. И даже если путь един — все равно как-то вчуже, как-то отчасти порознь: шажок вместе, шажок врозь... Но еще страшнее и несправедливее — если, сам лишь согревая в непогоду, для нее станешь целью. Достойно ли это? Или совесть уже кренится под напором продуктов работы желез? Опершись на парапет локтями, нависнув над каналом, он жадно курил и чувствовал, как медленно растворяется, рассасывается стыд, стянувший сердце тугим полиэтиленовым мешком. Укол был слишком внезапным.

Резко ударила дверь во влажной ночной тишине. Симагин оглянулся. Верочка, ослепнув со света, в наспех накинутом пальто — как Ася когда-то, — озиралась у парадного. Потом, заметив, бросилась прямо через брызжущие лужи, по-девичьи трогательно всплескивая в воздухе каблучками. Она так разогналась, что едва не налетела на Симагина.

— Вы... — проговорила она, задыхаясь. — Вы неправильно подумали! Совсем!..

Он смотрел сверху на ее гневные и виноватые глаза, на приоткрытые губы, темно-алые и нежные — действительно как спелые вишни. Хотел бы, окончательно понял он, и горло сжалось от непонятной жалости к ней. Вспомнилась фраза из Цветаевой, которую любила повторять Ася: я не живу на своих губах, и тот, кто целует меня, — минует меня... Вычурно, но точно. Потому что те, кого она целовала, не были целью. Ее душа знала это, стыдилась и страдала — но ничего не могла поделать. Цели непроизвольны. Их было только две — слова из сердца и сын. А у губ — свои цели, своя жажда. Расползаюсь по всем швам, подумал Симагин, и перед его глазами вновь поплыла горькая улыбка Вайсброда: «Мне — налево...» Вот и еще один шов затрещал, между душой и губами. «Нечего ждать тебе. Нечего — мне. Я — на Луне. Заяц нефритовой ступкой стучит. Смотрит. Молчит. Он порошок долголетия трет — но не дает. Я свою жизнь всем, кто спросит, пою. Но не даю...»

Окурок обжег пальцы. Симагин отщелкнул летящую оранжевую дугу, и та медленно втянулась в надтреснутое мусором черное зеркало канала.

— Идемте, Верочка, — сказал он, пряча руки за спину, чтобы не коснуться ее даже ненароком. — Идемте вместе. Сейчас я расскажу совершенно удивительные вещи. — И уже у парадного добавил: — Послезавтра мы получим спектры латентных точек и приступим к их дешифровке. Обещаю.

— Вы совсем промокли, — тихо сказала Верочка.

На лестнице удушливо пахло кошками.

Он обманул Верочку лишь на сутки. Назавтра стало ясно, что понадобится не два дня, а три.

Один в темной квартире он лежал на диване, закинув руки за голову, и смотрел на голубоватую полосу, мягко прочертившую потолок. Сквозь щель в занавесках сочился с улицы свет, сокровенно озаряя комнату. Как и полгода, и год назад...

Мелодично пропел звонок.

Симагин никого не ждал. Он полежал еще, но робкий звонок не повторялся. Он расслабленно встал и пошаркал к двери. Хотя никого не ждал.

На площадке, съежившись, стоял Антошка.

— Ты... — выдохнул Симагин.

Несколько секунд они молчали. Антошка прятал глаза.

— Да заходи же! — закричал Симагин и, подхватив его, втащил в квартиру. Ногой захлопнул дверь. Антон мешком висел у него на руках и только цеплялся хрупкими пальчиками за симагинские ладони. — Ты что? — вдруг осипнув, спросил Симагин. — Что-то случилось? Антон!!

— Ты испугался? — спросил Антошка.

— Я? Конечно. Господи... — Симагин перевел дух.

— Я по тебе соскучился, — сообщил Антошка, насупясь, и впервые, неуверенно, скользнул взглядом по лицу Симагина.

— Тошка... — Симагин облегченно прижал его к себе, и тот, поняв наконец, что здесь он по-прежнему дома, рывком обнял Симагина за шею, засунулся лицом к нему за ухо и притих.

Так они стояли с минуту.

— Откуда ты? — глупо спросил Симагин.

— А я оттуда, — ответил Антошка, не разнимая рук.

— Пошли! — Симагин внес Антошку в Антошкину комнату и осторожно поставил на пол. Антошка озирался.

— Тут все как было, — сообщил он.

— Конечно. А ты что же, думал, тут другой мальчик живет?

— Откуда я знаю, — едва слышно пробормотал Антон. Симагин сглотнул.

Антон нагнулся и вдруг, со стремительностью котенка нырнув под диван, выволок за провод покрытый пылью планетоход.

— Вездеходик... — произнес он дрожащим голосом.

— Ты возьми его, — попросил Симагин.

Антон замотал головой, с испугом выпустив игрушку из рук.

— Мама выбросит...

Симагин молчал.

— Мы с бабушкой гостили на даче у ее друзей, а когда приехали, мама сказала, что ты не велел нам возвращаться, — сказал Антошка, искоса глянул на Симагина и заплакал.

Это продолжалось недолго. Шмыгая носом, он виновато подошел к Симагину и уткнулся горячим, влажным носом ему в живот. Симагин положил ладони на Антошкину голову.

— Мама знает, что ты здесь?

— Нет, — ответил Антошка. Подумал и объяснил: — Я сказал, что пойду в кино.

— В какое кино? — бессмысленно спросил Симагин.

Антошка помедлил и ответил:

— Еще не придумал.

Симагин сел и посадил сына себе на колени. Тот вцепился в его руку изо всех сил.

— Как вы?

— Мы? Так... Бабушка болеет. Мама курит, дарит игрушки и приходит поздно.

Симагин опять прижал его к себе.

— Ты должен заботиться о ней.

— Как?

— Ты должен ее слушаться. Чтоб она не волновалась лишнего.

— Я старался. Но тогда она стала говорить, что у Симагина я от рук отбился, а теперь стал хороший.

— Это ничего, — сказал Симагин сквозь острый, режущий ком в горле. — Это не со зла.

— А от чего?

— От боли.

— Боль — это болезнь?

— Да, — твердо ответил Симагин. — Это я точно знаю.

— Ты вылечишь маму?

Симагин молчал.

— Ты еще не умеешь, — сказал Антошка, гладя его руку. — Я ведь знаю — если бы умел, пошел бы и вылечил. Да?

— Да.

— Я все время жду, когда ты что-то сделаешь и это кончится. — Антошка помедлил. — А это не кончается.

— Да, Антон. Не кончается.

— А я могу тебе помочь?

— Конечно. Ты можешь заботиться о ней пока. Вместо меня. Понимаешь, мне будет гораздо спокойнее, если я буду знать, что рядом с нею мужчина, на которого я могу положиться.

— Хорошо, — серьезно сказал Антон. — Полагайся.

Он постепенно оттаивал, лицо его смягчилось, и вдруг он заболтал ногой, пытаясь носком ботинка достать лежащий на боку планетоход. Симагин, не выпуская Антошку, нагнулся и поднял пультик. Планетоход начал перебирать резиновыми гусеницами, крутясь на месте и уютно жужжа; одна из гусениц загребала воздух. Он раскачивался из стороны в сторону, наконец повалился на живот и сразу пополз, уставя вперед низкий настойчивый лоб.

— Дай, — жадно сказал Антошка, протягивая обе руки.

Симагин вложил в них пульт. Планетоход, вращая лепесточком локатора, объехал вокруг кресла, порыскал вправо-влево и остановился. Антошка выпустил пульт, и с приглушенным стуком тот упал на ковер.

— Нет, — сказал Антошка. — Знаешь... Неинтересно.

Замерев, Симагин ждал.

— У тебя было так, когда ты был мальчик? — спросил Антошка. — Что все игрушки становятся скучными... — Он помедлил, подбирая слово: — Стыдными?

— Да, — сказал Симагин. — Было.

— Знаешь, пап, не могу забыть. Когда погиб дядя Витя, я в тот же день играл в их аварию. Понимаешь? И у меня все спасались. А ведь они по-настоящему погибли. Навсегда. А я в это играл. Я только недавно понял, что все происходит по-настоящему и навсегда. Ты меня понимаешь?

— Конечно, — тихо ответил Симагин.

— Играть стыдно, потому что чего захотел, то и стало. Но не по-настоящему. А значит, этого и нет. И только ты такой глупый, что притворяешься, будто есть. Сделать не можешь, а только притворяешься. Понимаешь? Я это понял и пошел к тебе.

— Спасибо, Антон. Ты мне очень помог. Правда.

— Вот и хорошо, — сказал Антошка.

Он затрепыхался, и Симагин поспешно выпустил его. Антошка съехал на пол с его колен, взял планетоход и бережно задвинул на прежнее место. Поднялся и вдруг замер спиной к Симагину.

— А ты по нам скучаешь? — напряженно спросил он.

— Очень.

— Я спрошу, ладно?

— Конечно, Антон.

Он помедлил и совершенно чужим голосом спросил:

— Мама меня обманула?

Симагин смотрел ему в спину. Сын ждал ответа.

— Нет, — сказал Симагин. Антошка молчал. — Нет, Антон, не обманула. Она сама верит в то, что говорит. Она больна.

— А ты веришь в то, что говоришь?

— Да.

— А ты здоров?

Симагин сглотнул.

— Немножко здоров, — сказал он.

Антон начал поворачиваться к нему и вдруг завозился под курточкой, расстегнул рубашку и достал из-за пазухи скрученную школьную тетрадку с таблицей умножения на задней стороне обложки. Протянул Симагину. Симагин взял. Тетрадка была теплой.

— Я написал рассказ, — проговорил Антон. — Про один неразрешимый вопрос. Я когда вырасту, обязательно стану писатель и решу их все. Я их ненавижу.

— Спасибо, — тихо проговорил Симагин, не решаясь открыть. — А мама... читала?

— Нет. Я же не хочу, чтобы она опять плакала. А знаешь, пап. Если я у тебя останусь, мама ведь за мной сюда придет. А?

— Нельзя так делать, — с трудом выговорил Симагин.

Потом они молча ехали в метро. Потом — в пустом трамвае. И тоже молчали, обнимая друг друга. Зажужжала невесть откуда взявшаяся пчела и с размаху ударилась о стекло. Заметалась.

— Глупая, — нежно сказал Антошка. — Все твои сестрички спят давно, а ты что?

Симагин будто собственным телом ощущал боль и отчаяние бессильных, смехотворно легковесных щелчков о непостижимую прозрачную преграду. Он порылся в карманах, вырвал из блокнота листок со старыми формулами и, свернув из него кулечек, поймал пчелу. Попытался открыть окно, но окно, конечно же, не открывалось. Пчела обреченно бесновалась внутри. Приговаривая что-то ласковое и успокаивающее, Симагин подошел к дверям и, когда на остановке они раскрылись, выпустил пчелу. Она косо пошла вверх, мелькнула темным прочерком на фоне освещенных окон и пропала.

Антон восхищенно смотрел на Симагина.

— Она не умрет? — спросил он. Симагин молчал. — Папа! Теперь она не умрет?

— Умрет, — сказал Симагин. — Все когда-нибудь умрут, Антон.

Антон помолчал и проговорил опять совсем чужим голосом:

— А зачем тогда все?

— Никто не знает, — ответил Симагин.

— А как думаешь ты?

— Я... Я думаю, Антон, что раз уж так получилось и все, что есть, уже есть, самое лучшее, что мы можем, — это помогать друг дружке. Ведь если бы нас не было, кто спас бы пчелу?

— А зачем ее спасать? Она все равно умрет.

— А затем, что она успеет кого-нибудь еще спасти.

— А если бы нас не было, трамвая бы не было, и пчела бы в него не зашла.

— А если бы нас не было, Альме в Лешаках стало бы некому лизать руки, она бы от этого очень обозлилась и всех бы старалась покусать. И людей, и уток, и зайцев.

Антон нахмурился.

— Как все путается, — сказал он. — Это неразрешимый вопрос?

— Да.

Антон вздохнул.

— А вообще бывают разрешимые вопросы?

— Бывают. Но их так легко решить, что их даже не замечаешь.

— А скажи, пап. Она правда успеет кого-нибудь спасти?

— Правда, — твердо ответил Симагин. — Это я точно знаю.

Из трамвая он вынес Антошку на руках. Подержал немного и осторожно опустил. Антон чуть отодвинулся, глядя на него по-Асиному, звездными глазами.

— Возьми мой рабочий телефон, — сказал Симагин. — Если что, звони. И приезжай почаще.

— Как смогу, — взросло и просто ответил Антон, тщательно упрятывая клочок бумаги. Потоптался еще и, шепнув: — Пожалуйста, вылечи маму... — опрометью кинулся к дому.

— Антон! — не выдержав, крикнул Симагин. Антошка застыл в темном провале входа, обернулся. — Хочешь уметь летать?

Асины глаза смотрели серьезно с маленького лица. У него был красивый отец, вдруг подумал Симагин впервые в жизни, и по сердцу опять будто полоснули бритвой. Антон помедлил, потом коротко посмотрел вверх, в черноту, где пропала пчела. Если с ней опять случится беда, чтобы помочь, нужно лететь следом.

— Хочу, — сказал он.

— И я хочу, — сказал Симагин. И ободряюще улыбнулся сыну: — А крылья у нас будут диаметром двадцать метров.

6

Он долго стоял, будто его пригвоздили. Привела — и увела, думал он, каким-то чудом продолжая ощущать в ладонях и на коленях худенькое, смешно увесистое тело. Привела — и увела.

Тот человек предал ее. Она несчастна.

Неужели нельзя решиться ради счастья трех людей?

Но разве это счастье — с грохотом вклепанное паровым молотом! Ощущать ласку, зная, что это я сам ласкаю себя ее руками, будто тряпичными ручонками куклы вожу по собственной коже... Как если бы, отчаявшись обрадовать друзей, взял автомат, поставил их к стенке и под дулом заставил кричать: «Мы рады! Спасибо! Нам хорошо!»

Ненастоящая любовь — ежедневное напоминание того, что настоящей добиться не смог, нескончаемое свидетельство собственной несостоятельности...

Свинья! О чем ты думаешь? О себе, о себе! А Антон? А она сама? Какое право я имею из-за себя не лечить ее?

Выдался погожий день.

Морозно светящиеся облака медленными грядами плыли по ярко-синему небу. Тени печатались длинно и густо. Ледяное солнце ослепительно гравировало город, остро полыхая стеклами проносящихся машин.

Симагин издалека увидел Асю. Воздух застрял в горле, кровь приклеилась к стенкам сосудов. Он боялся встретить ее с мужчиной — нет, она шла одна, не торопясь, спокойная, во всем прежнем, очень похожая на себя, но совсем другая.

Он вспомнил ее слова, адресованные его другу: мне нужно только то, что мне нужно, — и понял, что обречен. И решительно пошел навстречу.

— Здравствуй, Ася, — сказал он. — Видишь, солнышко специально, чтоб на лето похоже было...

Он сразу понял, что начал фальшиво. Это были слова из прежней жизни — прежнего Симагина прежней Асе, о прежнем солнышке. Симагин тосковал по тому себе смертельно, больше всего на свете он хотел стать прежним, и при виде Аси прежние слова так и рвались из горла. Но солнце было иным, осенним. Права на прежние слова он еще не заслужил.

— Смотрите-ка вы, — ответила Ася. — Шляпу надел. Кто ж это тебя надоумил?

— Ты не скучаешь?

— По кому? — спокойно парировала она.

— По нам с тобой.

— Нет.

— Я плохой?

— Ты никакой. Ты ничтожный, как моль. Вайсброд дал тебе идею и работу, я дала тебе любовь и ребенка — а сам ты не можешь ничего.

Он покивал.

— Скажи. Тот человек. Он не любит тебя?

— Мне неинтересно рассказывать.

— Я спрашиваю не из пустого любопытства. Это очень важно.

Она молчала. Но по ее лицу он понял. Он взял ее ладонь и поцеловал. Она позволила.

— Мне холодно, — с вызовом сказала она, позволяя.

— Ну, пойдем потихоньку, — предложил он.

Они пошли потихоньку. Мимо монументального белоколонья Академии наук, мимо облупленного салата Кунсткамеры.

— Я на пять минут. Надо поговорить, Ася.

— Неужели ты не понимаешь, Симагин, что мне больно и неприятно тебя видеть?

— Понимаю. Но это необходимо, я объясню. Только успокойся.

Она презрительно скривилась.

— Я спокойна. Это у тебя руки дрожат. Мадам твоя к тебе являлась?

— Нет, — ответил он, не сразу поняв. Разговор все время шел не туда. Он видел, что ее неприязнь нарастает, и это делало совсем бессмысленным его отчаянный подход.

— Странно. Я была уверена, что она должна как-то отметить годовщину своего апофеоза. Даже двух апофеозов, если мне не изменяет память. Уж не умерла ли родами?

— Ася. Ты сейчас любишь кого-нибудь?

— Я вас всех ненавижу, — сквозь зубы проговорила она.

Это было то, что он надеялся услышать, и, видимо, она заметила тень непонятного ей удовлетворения, скользнувшую по его лицу, потому что остановилась — он остановился тоже — и, смерив его унижающим взглядом, добавила:

— Не беспокойся, спать мне есть с кем. А подштанники ему пусть жена стирает.

Она больна, одернул себя Симагин. Если бы он не знал этого прежде, то с очевидностью убедился бы теперь. В родном ему теле поселился другой человек. Но можно ли сказать о зарезанном, что он стал другим? Его просто зарезали. Пока не ускользнули минуты клинической смерти — надо лечить.

— Тебе было плохо со мной?

Ася неопределенно повела рукой.

— Дура была.

— Почему?

— По кочану, по капусте. Отстань от меня.

— Я хотел спросить, в чем это выражалось?

— Сидела в розовом сиропе и квакала.

— А как ты думаешь, Ася, Антону было...

— Антошка — мой сын! — крикнула она, сразу срываясь. — Мой! Ему хорошо!

— Да, я знаю. Ты чудесная, умная, заботливая мать. Разве я мог это забыть? Но с нами обоими ему было все-таки лучше. Или нет? Как ты думаешь?

— Я не дам тебе искалечить парня. Он мужчиной вырастет, а не пентюхом. Он только-только стал приходить в себя.

Он отрывисто рассмеялся и тут же оборвал себя.

— Прости.

— Не прощу. Иди смейся где-нибудь в другом месте. Хоть раз в жизни подумай обо мне.

— Я думаю о тебе.

— Ты обо мне не думаешь. Ты думаешь, как бы вернуть лестную игрушку. Ты ведь у нас ребенок. А если у ребенка отбирают игрушку — пусть даже не очень любимую, достаточно, что привычную, — он клянчит, на пузике ползает. Чтоб потом потешиться пять минут и на месяц кинуть в угол.

— Ты не хочешь, чтобы все вернулось?

— Упаси бог. Опять караулить у окошка и трястись: то ли тебя автобусом переехало, то ли ты аспиранток портишь в творческой тиши лабораторий...

— Да, — сказал Симагин, — признаться, именно это я и думал услышать. Но все-таки мне кажется, что по... не по мне, не по нам, но хотя бы по себе ты тоскуешь. По той себе. Не отвечай. Послушай теперь ты меня еще чуть-чуть, только спокойно. Без ненависти, головой.

— Я совершенно спокойна. Если ты думаешь, что способен меня взволновать, — ты сильно обольщаешься на свой счет.

— Хорошо. Так вот. Сейчас это еще невозможно, во всяком случае, опасно. Придется подождать... ну, полгода. Я буду как вол пахать, ты меня знаешь. Я сделаю это абсолютно безопасным. Отфильтрую все, не относящееся к делу. Твоя личность, Ася... твое «я», которое, Ася, я очень люблю... — он глотнул, потому что горло опять грозило сжаться и не пропустить главные слова, — не пострадает. Не исказится ни на бит. Я обещаю.

— Что ты лопочешь?

— Я подсажу тебе свой спектр, и ты снова меня полюбишь. И мы снова будем счастливы, все трое. Трое, Ася!

В устремленных на него глазах серыми облаками заклубился мистический ужас.

— Ты... серьезно? — выдохнула она.

— Абсолютно. Сегодня у нас двадцать третье октября. Обещаю уложиться, — он чуть улыбнулся, — к Восьмому марта. Праздник, как и в эту весну, мы встретим вместе. Ненависть и злоба улетят далеко-далеко, Ася. И мы с Антоном опять подарим тебе много цветов.

Она закусила губу и с ледяной ненавистью наотмашь ударила его по лицу. Сузившимися глазами проследила за реакцией. Его голова чуть мотнулась, веки дрогнули, и от боли в уголках глаз сразу проступили слезы. Тогда она ударила снова.

Набережная была полным-полна народу.

— Ты мне не ответила, Ася, — сказал Симагин.

— Послушай, — низко, хрипло сказала она. — Если я когда-нибудь почувствую, что ты становишься мне хоть вот настолько... интересен, — она показала кончик мизинца, — я сразу пойму, что ты сделал! И я перережу себе вены! — с угрозой выкрикнула она. — Запомни!

Резко повернувшись, она почти побежала. Он стоял. Она прошла шагов пять и будто налетела на стеклянную стену. Вернулась. Запрокинув голову, изо всех сил ударила его еще раз и снова бросилась прочь, и больше не возвращалась.

Она легко вскочила в автобус и на миг исчезла, потом появилась уже за стеклом. Симагин смотрел ей в лицо и ждал, что она хотя бы поднимет глаза, автобус никак не решался закрыть двери, словно тоже ждал чего-то, и Ася равнодушно ждала отправления, расплющенная толпой, — ведь теперь ее никто не прикрывал; наконец громада «Икаруса» утробно взревела, обдав Симагина черным перегаром, вписалась в поток плывущих по Дворцовому мосту машин и была видна очень долго.

Он брел по Менделеевской, загребая устилающие асфальт золотые листья. Мерз. Слепо вышел на мост Строителей. Вот и все, думал он. Вот и все. Вот и перевернулись мои вектора.

Это станет привычным. Я очерствею, оглохну. Перестану видеть, как сияет и зовет в сияние морской прибой. А если меня почему-либо полюбит женщина, я и этого не увижу...

Был вечер. Алый закат наполнял пространство. Симагину хотелось кричать. Он не чувствовал земли, словно катящийся ему под ноги огонь поднял его и нес в бережной кровавой руке. Вокруг были только безбрежный свет и гулкий огненный ветер. И Симагин влился в этот ветер, глядя, как исполинский рубиновый диск опадает в невообразимо далекую алую реку.

— Как легко, — пробормотал он. — Как высоко.

Ветер стянул слова с лица, свирепо размотал их длинные клейкие нити и поволок в пустоту.

Созидающий башню сорвется,
Будет страшен стремительный лет,
И на дне мирового колодца
Он безумство свое проклянет.

И он взмыл в напряженно бьющийся, гудящий зенит.

— Подожди, — борясь со страхом, сказал он. — Подожди!

Все замерло. Ветер остекленел, и Симагин, впечатанный в него, словно в янтарь, исчезающе малой точкой повис над городом, прервав исступленный полет.

Разрушающий будет раздавлен,
Опрокинут обломками плит.
И, всевидящим Богом оставлен,
Он о муке своей возопит.
А ушедший в ночные пещеры
Или к заводям тихой реки
Повстречает свирепой пантеры
Наводящие ужас клыки.

Лиловое небо длинным языком плеснулось ему в лицо — он сердито мотнул головой.

— Сейчас-сейчас, — пробормотал он. Ему казалось, что сию вот минуту почти непостижимая истина откроется ему; он уже чувствовал, как некое боковое мерцание, примериваясь, шершаво клюнуло мозг.

Не избегнешь ты доли кровавой,
Что земным предназначила твердь.
Но молчи! Несравненное право —
Самому выбирать свою смерть.

— Ну, нет, — сказал Симагин.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

ЖИЗНЬ
(продолжение)

А назавтра были развернуты разом все латентные точки рабочей спектрограммы. И лаборатория сгрудилась и замерла у считывающих пультов. И постаревший Володя, не знающий, куда девать пустые руки с желтыми ногтями. И Вадим, со взглядом, молящим: «Не обмани». И сдержанный, одухотворенный Карамышев. И Вера, пытливо прикусившая вишневые губы, с восхищением смотрела на экран. Благоговейно умеряя дыхание, следили, как бьются под масштабными сетками загадочные, непривычной конфигурации всплески, в которых было... что?

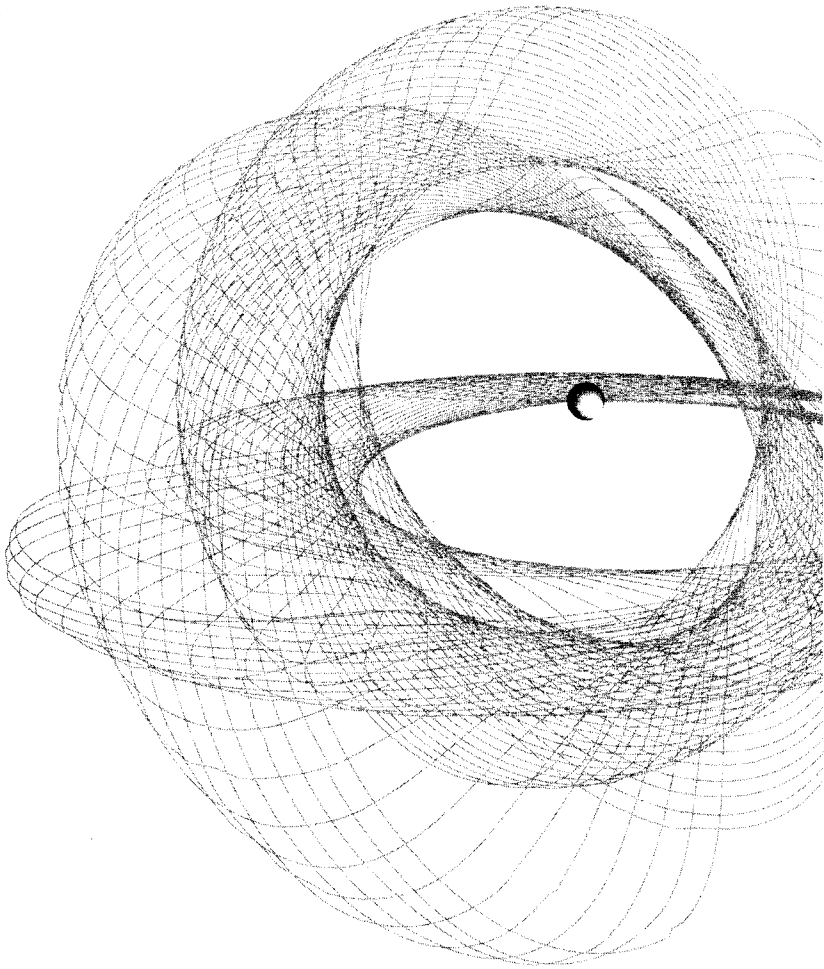
Качественно иные состояния...

«Нелинейная стереометрия», — бросил Симагин стоявшему рядом Карамышеву. Тот был прям и напряжен, как струна. Кивнул: «Вечером я попробую разложить пару пиков по Риману». Мы успеем, думал Симагин, сгорбившись и опершись обеими руками на пульт. На экране трепетала жизнь следующего мира, и в этом мире уже начинали вызревать следующие счастья и несчастья. Антошкины, быть может. Мы успеем. Я все узнаю, думал Симагин. Господи, как тяжело. Когда-нибудь я все узнаю и пойму. Наверное, тогда станет еще тяжелее. Потому что рывком выдвинутся из мглы недомыслия давящие глыбы прежних ошибок. Скорее бы.

Август 1977 — июль 1978, январь — апрель 1986
Ленинград

ЧЕЛОВЕК НАПРОТИВ

РОМАН



Утрата, утрата, утрата!
Томас Вулф

Вот я, как наученный самим опытом, говорю, что, если бесы не имели бы сотрудниками своей злобы и лукавства людей, никоим образом, хотя это и смело утверждать, не могли бы они повредить кому-нибудь.
Святой Симеон Новый Богослов

Печально люблю вокзалы.

Конечно, существуют и морские порты, они древнее. Бриз, волнующий одежду, кожу и душу так же, как и сверкающую синюю зыбь, привольно распахнутую до пределов мира — а словно бы даже и за них. Крики людей и вопли чаек. Разноязыкий говор, запахи жареного мяса, водорослей, оливкового масла... да разве перечислишь! Миллион запахов. Паруса. О паруса! Триремы — размашисто и нечеловечески ритмично взлетающие над прорубленной водой ряды весел; солнце полыхает на них, будто они из стекла. Узкие сходни; кажется, упруго подпрыгивая у тебя под ногами в ответ на каждый твой шаг, они озорно и заботливо подгоняют тебя от суетной, душной суши туда, туда... Тюки и бочки, пифосы и амфоры. Или: вибрирующий, могучий рокот машин под серым балтийским небом, уханье клаксонов. Стрелы голенастых кранов, склевывающих контейнеры, материнski склоненных над угольными ямами. И эта даль — ослепительная, искусительная, словно бы уже не вполне от мира сего... Этот засасывающий лазурный простор, который то выкатывает тебе навстречу белогривую конную лаву Посейдона, то предлагает прохладную, безмятежную, бескорыстную ласку Тетис, слаще которой не бывает ласки...

Есть еще аэродромы, они величественнее. Отпечатки пальцев века на земной поверхности; плешины, прожженные в живой коже мира беспорядочно разлетающимися угольками,

которые мечет полыхающий непонятно для кого грандиозный костер технологической цивилизации. Строгое, линейное движение людей, строгие голоса громкоговорителей. И потрясающий, иерихонский рев лайнеров. Я обмираю, словно ребенок, стою завороженный и минуту, и две, когда вижу противоестественно тяжко ползущую поперек неба, натужно орущую тушу. Я все знаю, могу написать все уравнения, вычертить параллелограммы сил — аэродинамика, элероны, закрылки, неисчислимые табуны лошадей, бьющихся в теснинах турбин... но все равно, хоть убейте, не понимаю, как могут летать эти чудовищные стальные глыбы. Эти неодушевленные, ни целей, ни желаний своих не имеющие, пустотелые и безмозглые пирамиды Хеопса на крыльях... Ни одна птица, даже спасаясь от смерти и надрывно вкладывая всю отмеренную ей на годы жизни силу в одну секундную попытку быть быстрой, не догонит «Ту» или «Боинг». Ни один ураган, как бы ни торопился он пригнать ливень туда, где его ждет сожженная, умирающая земля, где люди с безнадежно погасшими глазами и сердцами готовятся к голодной смерти, — не перегонит «Конкорд». Куда они так спешат?

И все-таки железнодорожные вокзалы, которых за последние два века так много насыпалось на жилые континенты, проще и ближе душе. Там нет попирающего небеса громового величия, там нет будоражащего кровь гипноза бескрайней лазури. Там все как в жизни — только наглядней, концентрированней и гротескней. Тревожно и тесно. Толпы, толпы; каша голов, плеч, барахла. Все всех обходят, все пропихиваются сквозь всех. Жизнь. Кто-то вежливо, не без неудобства для себя, уступает кому-то дорогу. Кто-то слепо, а то и нарочито, нахраписто не уступает, прет, будто хочет всех столкнуть с перрона — хотя, если вдуматься, зачем сталкивать с перрона жизни того, кого ты видишь в первый и в последний раз? Просто так. Мешает. На вокзале сразу видно, кто с кем. Сразу видно, кто — с кем-то, а кто — сам по себе. Если человек ждет, то это заметно с первого взгляда: он ждет, а не просто так стоит, задумавшись или любуясь пейзажем. Если уж человек уезжает, ему нипочем не сделать вид, что он остается и просто на минутку отвлекся; вы уж, дескать, извините, я с вами, вот я, просто отошел купить сигарет, просто задержали на работе, просто засиделся у друзей, разминаясь пивком, — нет; он делает бесповоротный шаг, зачастую не оглядываясь даже, и вот его уже нет здесь, он в тамбуре, он в пути. Если уж человек приехал, ему ни за что не притвориться, будто он случайно забрел сюда, будто все здешнее ему совсем не нужно; ни за что ему не удастся смотреть свысока — он делает шаг, необратимый, словно прыжок младенца из материнского чрева, выходит на перрон и спешит куда-то, где ему действительно необходимо быть. Как правдив вокзал! Если кого-то хоть сколько-нибудь всерьез любят — ему рады, и это видно сразу; его непременно встречают, отбросив, чего бы это ни стоило, все иные дела, его хлопают по плечам, целуют, выхватывают чемодан или рюкзак, чтобы облегчить его путь хотя бы теперь; чтобы помочь. Если кому-то действительно жаль уезжать, он стоит до последнего у врат пути, у входа в вагон, чаще всего — мусоля сигарету за сигаретой, а потом, уже внутри, с холодной и отрешенной тоской смотрит на покинутый мир сквозь прозрачную, еще почти символическую, почти ненастоящую преграду, предвестницу настоящей; или плющит о нее нос, стучит ладонью и машет, машет тем, кто остался: я вернусь, я правда вернусь!

Может быть, именно от этой обнаженности так грустно? Такие вихри ничем не прикрытых страстей — и, несмотря на эту спрессованную теснотой интимность, все не твои, все не имеют к тебе ни малейшего отношения; ты идешь, проталкиваясь сквозь них, как сквозь теснящиеся тела, и все-таки они не просто суетливые преграды на пути, они — жизнь, которая никогда, ни за что, ни под каким предлогом не станет твоей. Но — только грустно, ни толики тоски, ибо здесь, как нигде, ты можешь ощутить, что жизнь, пусть чужая, все-таки — есть.

А может быть, грустно от зависти к вокзалу? К его искренности? Так хочется, чтобы все эти самые простые и самые главные, самые важные вещи всегда и для всех были бы столь же наглядны, столь же неоспоримы и однозначны, как здесь! Ведь по большей части люди живут словно вслепую, наугад, на ощупь; им остается лишь уповать на то, что мечты их не обманут, а иллюзии — не подведут, что миражи, их собственным зрением измышляемые в зыбких потемках бытия вза-

мен его невидимых реальных очертаний, окажутся не слишком отличными от того, что при каждом новом шаге в неизвестность грозит ударить по лбу. Или, наоборот, уже не уповать, уже вовсе утратить божественную — ибо лишь Ему дано творить лучшие миры — способность измышлять мечты и миражи. Но ведь только они и в состоянии дать силы жить так, как, в сущности, единственно подобает жить человеку, — так, как в своих прекрасных миражах в какой-то момент увидел тебя и во что бы то ни стало хочет видеть впредь тот, кто тебе ценен. Подчас драгоценен.

И драгоценен-то, наверное, оттого, что именно он ухитрился нарядить тебя в самый прекрасный, самый воздушный и самый трудноисполнимый из миражей. А как со всякой драгоценностью, именно с этим человеком больше всего хлопот, напряжений, страданий. Но тот, кто решается разрушить свой идеальный образ, созданный другим, и предстать перед ним якобы настоящим — то есть таким, каким он в данный момент считает себя или каким его считает кто-то из тех, с кем проще и легче, — напоминает человека, который, боясь мороки обладания драгоценным алмазом, выбрасывает его в болото; дескать, обойдусь чем поплоше. Нет. Плохая аналогия, алчная... Напоминает человека, который боится смотреть на сверкание неба после грозы, на разметнувшуюся среди улетающих туч пленительную радугу — дескать, все равно мне таким никогда не стать; и вообще радуга не настоящая, ведь она через пять минут пропадет. Вот грязь под ногами, это — жизнь, это — правда; мне ее месить, мне идти по ней. Равнение — на грязь! Грязному не страшно мараться. Особенно если и не смотреть ни на что, кроме помоек.

А потом и небо начинаешь видеть как одну громадную и весьма высокопоставленную помойку. Но дурацкую какую-то; если на нормальной помойке всегда можно разжиться заплесневелой горбушкой хлеба, или почти целым полиэтиленовым пакетом, или еще чем-то, столь же необходимым в повседневной жизни, то с небесной помойки — никакого проку...

Однако, скорее всего, на вокзалах грустно оттого, что вокзал — это начало пути. Куда, какого — не важно. Просто пути. Сколько бы он ни длился, этот переезд, или пусть перелет, или пусть переход — все равно здесь ты отстегнут, отрешен.

Отлучен. Три часа ли, три дня или три месяца — в это время ты уже не здесь и еще не там, все кончилось, а не началось ничего; междуэтапье, междуцарствие, междужизнье. И надежда: а вдруг там что-то получится лучше, чем получалось до сих пор? И страх: а вдруг там что-то получится хуже? И как бы ни манила, как бы ни вдохновляла надежда — новая иллюзия, которую про неведомое и чужое всегда измыслить легче, чем про якобы уже ведомое — хотя, как правило, ничего ты толком не изведал, лишь по поверхности чиркнул едва-едва; и как бы ни возбуждал страх, выбрасывая в кровь невозможные в обыденности, почти Посейдоновы валы адреналина, все равно давит безысходное предчувствие того, что бывшее здесь — кончается. Кончается навсегда. Путь — это момент, когда переворачивается страница. Прежнего текста уже не видно, лишь память его держит, у кого лучше, у кого хуже; а новый еще не открылся. И возврата нет, ибо даже если отлистнуть страницу назад и перечесть ее сызнова — разве это то же самое, что читать впервые, не подозревая, что принесет следующее слово, следующая фраза? Нет сил сопротивляться иногда, и отлистываешь жизнь назад, вопреки рассудку пытаясь поймать то чувство, с которым читал впервые, пытаешься догнать его, стремительно падающее в давно пересохший колодец прошлого, — но догоняешь лишь нынешнее чувство о том чувстве, не более. Пытаешься воскресить ощущение — но ощущаешь лишь невозможность его воскресить. Кажется, прежние переживания совсем рядом, ведь умом я помню их, прекрасно помню — но переживаю теперь не их, а их отсутствие, унылую пустоту на том месте, где их ищу.

Возврата нет... Этому правилу подчинено все — от самомалейших мелочей до самой жизни; но именно с ним труднее всего смириться человеку, именно против него он чаще всего восстает. Не брошу! Не уеду! Никогда никуда не уеду! А если судьба увезет — вернусь! Непременно когда-нибудь вернусь!!

Но что это такое — вернусь?

Распадается великое государство, вандалы крушат Рим, упиваясь уже не победой и не обретенной свободой, а именно и только возможностью запросто крушить то, что вызывало восторг или, по крайней мере, уважение на протяжении нескольких веков... и возврата нет. Умирает мать — и возврата

нет. Я говорю другу: «До завтра», — и возврата нет. Женщина говорит: «Мне все равно», — и возврата нет. Приятель предлагает: «Пройдемся по набережной?» — «Лучше к скверу», — отвечаю я, и мы неторопливо шагаем туда или туда, и возврата нет. Мой нынешний сын подбирает разбросанные игрушки, аккуратно складывает их в коробку, идет спать — и возврата нет. Страница перевернута, ее можно перечесть еще хоть двадцать раз, но нельзя пережить заново. Каждым поступком нашим, каждым движением, словом и взглядом мы переворачиваем, сами того не замечая, маленькие странички чужих жизней — и возврата... Да-да. Возврата нет.

Какие стрелки щелкнули на рельсах жизни моего друга, когда я сказал: «До завтра»? В какой пункт назначения, в столицу блистательной империи или на затерянный в сугробах полустанок отправила меня женщина своим коротким «Мне все равно»? Куда, по каким ухабам приходится катить, засыпая, мальчишкам и девчонкам после бездумно властного отцовского «Собери игрушки и иди спать»? В зэки или в вертухаи норовит отправить тебя жующий резинку жлобяра, с наслаждением пихающий тебя в перронной тесноте?

Человек человеку — конечно, не волк. И уж конечно, не друг, товарищ и брат. Человек человеку — вокзал.

На этом вокзале не горит ни одна свеча, ни одна лампа. Ни одна лампада. Там не найдешь расписания поездов или схемы маршрутов. О, если бы хоть на пять минут в год там загоралось табло с перечислением прибывающих и убывающих экспрессов, если бы хоть раз грянул из вечно темного поднебесья глас Диспетчера: провожающим туда-то, встречающим — наоборот...

Иногда уезжаю.

ПРОЛОГ

ОКТЯБРЬ 1987

А назавтра были развернуты разом все латентные точки рабочей спектрограммы. И лаборатория сгрудилась и замерла у считывающих пультов. И постаревший Володя, не знающий, куда девать пустые руки с прокуренными до мутной желтизны ногтями. И Вадим, со взглядом, молящим: «Не обмани». И сдержанный, одухотворенный Карамышев. И Вера, пытливо прикусившая вишневые губы, с восхищением смотрела на экран. Благоговейно умеряя дыхание, все следили, как бьются под масштабными сетками загадочные, непривычной конфигурации всплески, в которых было... что?

Качественно иные состояния...

«Нелинейная стереометрия», — бросил Симагин стоящему рядом Карамышеву. Тот был прям и напряжен, как струна. Кивнул: «Вечером я попробую разложить пару пиков по Риману». Мы успеем, думал Симагин, сгорбившись и опершись обеими руками на пульт. На экране трепетала жизнь следующего мира, и в этом мире уже начинали вызревать следующие счастья и несчастья. Антошкины, быть может. Мы успеем. Я все узнаю, думал Симагин. Господи, как тяжело. Когда-нибудь я все узнаю и пойму. Наверное, тогда станет еще тяжелее. Потому что рывком выдвинутся из мглы недомыслия давящие глыбы всех прежних ошибок. Скорее бы.

Первый день

В июне лило, и потом лило тоже. Дожди были злые, холодные. Сумасшедший ветер обрывал со скачущих ветвей еще зеленые листья, с треском обрывал ветви с кренящихся городских деревьев, гонял лохматые тучи то на запад, то с запада, то с юга или обратно, но ни с какой стороны света не мог пригнать их края, и только капли, тяжелые и твердые, как щебень, секли с разных направлений. От ветра ныло сердце; холодновато-тошнотный валидольный вкус; казалось, навеки облепил язык и пропитал гортань. Хотелось молчать.

Но в первых числах последнего летнего месяца природа зачем-то сжалилась. Уже никто не ожидал от нее подарков, никто не верил в хорошее, и потому, когда начало проглядывать солнце, а потом как-то с утра небо сплошь оказалось голубым, в народе шутили: «Лето в тот год пришлось на пятое августа...» Однако и шестого на небеси повторилось то же чудо и ветер из холодного хама, расплескивающего всем и каждому мокрые пощечины и оплеухи, превратился в робкого, ласкового любовника, едва касающегося теплыми ладонями то шеи, то щек, то ног. В тот день Ася впервые, наверное, с прошлого года надела не брюки, а платье; и, торопясь поутру к всеядной глотке метро, с удовольствием чувствуя, что при ходьбе ткань не давит и не трет, а лишь вольно и легко колышется и ветер-любовник то и дело заигрывает с обнаженной, даже без колготок, кожей бедер, целых минут пять ощущала себя женщиной.

Часы обязательного присутствия, казалось, не кончатся никогда. Абитура теперь пошла не та; вместо юной уверенности и веселья — жлобство и наглость, вместо нормальной человеческой робости — оценивающая и какая-то мышиная по мелочности выжидательность: кому и когда дать? и дать ли? тот ли это уровень, где уже надо давать? Собаке дворника, чтоб ласкова была... На статус более высокий, нежели собака дворника, Ася никак не смела претендовать, она это знала; она даже укусить не могла. Но и вилять хвостом не собиралась, если кто-нибудь из будущих светил отечественной

науки, отсверкивая обязательным комсомольским значком, предлагал ей отхлебнуть пивка. За них все заранее дали родители, или родственники родителей, или знакомые родственников; и потому они вели себя так, будто весь факультет ими куплен на корню. Они были недалеки от истины. Те, кто шел более-менее сам, как правило, пролетали со свистом; не помогали ни медали, ни нашивки за ранения. Всех повоевавших приравнять к имеющим особые права ветеранам ВОВ и воинам-интернационалистам было невозможно — но ветераны Великой Отечественной в середине девяностых поступать в Университет как-то уже не шли. А если попадался среди грядущих светил какой-нибудь решивший круто переломить свою жизнь «афганец» — попытки реализовать свои законодательно презентованные особые права наверняка, думала Ася, воскрешали в его памяти ежедневные зачистки гористой местности где-нибудь близ Чарикара или Джелалабада. Или где там еще. Сейчас те названия, когда-то — совсем недавно, в сущности! — звучавшие вроде жутких бесовских заклинаний, уже вымывались из памяти потоком новых, куда более многочисленных — и куда более родных. География СССР. В шестом классе мы ее проходили... или в седьмом?

Уже не вспомнить. Четыре геологические эпохи назад.

Совсем недавно Ася буквально молилась: Господи, ну сделай так, чтобы в Афганистане все уже кончилось к тому времени, когда Антон подрастет. Хоть как-нибудь, все равно как. И вот — закончилось, ага. И вот — подрос.

Сразу — иголка в сердце.

Сразу — валидол в рот. Сразу — две. И не думать, не думать. Думать о чем-нибудь другом.

Хорошо, хоть народу поступает сейчас немного. Просто поступить в Универ и просто закончить — дело нелепое, бестолковое, если не разработана долгоиграющая программа, в которой Универ этот несчастный — лишь первая ступень. Если семья не чувствует уверенности в том, что сможет сразу после окончания обеспечить отпрыску что-нибудь вроде долгосрочной стажировки — так это теперь скромно называется — в Сорбонне, или Оксфорде, или, наоборот, Токио. И, если уж возвращаться, так сразу беря под длань свою ка-

кое-нибудь могучее КБ, или кафедру посытнее, а лучше институт, или хотя бы филиал института, или, как минимум, членкором. Что делать с новеньким дипломом здесь?

Хорошо, что народу поступает немного и бумажки деканатские почти не отрывают от, скажем, очередной порции техперевода, заказанной очередным совместным. Иначе было бы совсем не вытянуть. То есть как раз вытянуть. Ножки по дорожке. Но уходить с работы нельзя — в штат тебя сильные мира сего не возьмут, хорошо, хоть на птичьих правах держат, подбрасывают деньжат за ишачий труд; а за тунеядство нынче снова не жалуют. Даже ввели во всех анкетах графу: «постоянное место работы». Да и продуктовые заказы до сих пор иногда подбрасывают. Конечно, не как на заводы или управленцам — однако же хоть что-то съедобное.

Крепостная актриса.

Улыбайся, Настенька, улыбайся... Асенька. Господи, как давно меня никто Асенькой не называл.

Нет, спасибо, молодой человек, пива не хочу. В моем возрасте, извините, от пива живот слабит. Не доработаю дня. Нет, не шучу. То есть про живот шучу, конечно, какая же интеллигентная женщина в наше время не ругается матом и не любит казарменных шуток; а про возраст не шучу. Ну-ну, экий вы воспитанный. Не надо. Я свой пост заняла раньше Горбачева и этим горжусь. Вы, наверное, такого уже и не помните. Помните? Хм... Ну конечно, изменник. Везде написано. Нет, я думаю, он действительно своей смертью умер. Всего доброго.

Так я тебе и скажу, что я на самом деле думаю.

Ладно, проехали. Что там у нас? Э-э... так... так... Зачем райкомовской фирме перевод по военной тематике? А, плевать. Мне-то что. Все нормально... понятно... Скелитн кампани. Компания скелетов, хорошенькое дело. И что сей сон значит? Чертовы спецтермины. Фолкнера бы попереводить или Дос Пассоса, да кому они теперь потребны. А! Рота неполного состава... как это... недоукомплектованная... кадрированная... Ну зачем, скажите на милость, райкому про кадрированные роты?

А насколько была укомплектована рота, в которой оказался Антон? И кем? Заморышами и дурачками, которым

нечем было откупиться... А еще — шпаной, которая от тюрьмы в армии спасается.

Я дрянь, а не мать, тварь, тварь!! Не суметь придумать ничего! Не найти денег! Не найти мужика, под которого лечь не просто так, а чтобы вытянуть хоть немного денег! У военкоматских врачей в прошлом сезоне такса была еще довольно умеренная — и не наскребла!

Не реветь, дура! Тушь потечет!

Так. Скелитн кампани...

Может, сегодня хоть что-нибудь узнаю.

Ох, ну и бред. Сказал бы мне кто-нибудь пару лет назад, что я понесу трудовые деревянные ведунье... Я — ведунье. Идиотизм. А что теперь — не идиотизм?

Спасибо Татке, подкинула адресок. И откуда она все знает? И главное, сама ведь никогда туда не заходила, наоборот, обмолвилась при мне — и сразу, стоило мне за идею ухватиться, принялась отговаривать: что ты, что ты, это же бесовщина! И глаза — во-от такие сразу. Она же теперь у нас отчаянно верующая, как и полагается верноподданной гражданке. Странно, что графу «вероисповедание» в анкетах еще не ввели. Как это митрополит вчера утречком гундосил из репродуктора, пока я завтракала, среди прочих выступавших по поводу приближения славной годовщины: «И Россия, возлюбленная невеста Христова, вновь устремится всеми помыслами своими к вечному жениху...» Форменный идиотизм: вечный жених — это тот, кто никогда так и не женится, что ли? В общем, советское — значит, православное. Экономика должна быть православной. Народ и партия единосущны во Христе. Дальше каждый может продолжать сам хоть до опупения... Что ты, Аська, побойся Бога, это же смертный грех! Это же не энергии там какие-нибудь, это только для соблазна так говорится, что энергии, поля разные, — на самом деле все через падшие души идет, через бесеняк! Ты же не измолишь потом никогда! Ты просто молись и жди, Аська, молись и жди, Бог поможет, Бог милостив. Я вот молилась, молилась, не поверишь, сколько на коленках выстояла, — и смотри, как замуж выскочила удачно, в наши-то с тобой годы! Ибо милостив и человеколюбец.

А мне плевать, даже если и так. Мне надо знать, что с Антоном. Где он. Жив ли. Я не могу ждать. И уж не совсем я темная в этих делах, я же знаю, что по теории-то их, молись не молись, все равно: хотят — дадут, хотят — не дадут. Будь ты хоть трижды добродетелен, проторчи хоть с колыбели до седин на коленках, обливаясь слезами, абсолютно без разницы: даруется не человечьим молением, а Божьим соизволением. Точь-в-точь как в партийных органах. И вообще. Попы, похоже, любого, кто действует, а не ждет на коленках, сразу зачисляют в какие-нибудь Сатаны. Как там в книжке, которую Татка мне подсунуть пыталась... как ее... типично шпионское название, раньше в этаких обложках обязательно что-нибудь про абвер было или про ЦРУ... «Невидимый фронт»? «Невидимая война»? «Невидимая брань», точно! Шлемом тебе послужат совершенное в себя неверие и совершенное на себя ненадеяние, щитом и кольчугой — дерзновенная вера в Бога и твердое на него упование, мечом — непрестанная молитва, как словесная, так и мысленная... Ну какой нормальный человек, если он человек, а не червяк, не слизняк полураздавленный, это выдержит? Может, потому религия и делает свое дело так худо, что всякий, кто по складу ума и души, по характеру, по темпераменту, в конце концов, хотел делать и не мог клянчить и ждать, внутренне сам был готов, что его объявят Антихристом, и вынужден был, если и впрямь хотел чего-то добиться, жить с сознанием того, что он — ставленник адских сил. Ну, а раз так, дескать, то все одно пропадать, семь бед — один ответ... и жил соответственно.

Нет, девушка, так не пойдет. Это филькина грамота, а не документ. Подписи нет, печати нет, извольте это все изобразить, а потом уже ко мне. И не надо смотреть так, будто вы меня приобрели вместе с прочей движимостью и недвижимостью. Как и этот скоросшиватель, как и этот стол, как и этот Университет, я принадлежу нашей славной Советской Родине. И вдобавок, в матери вам гожусь. У меня сыну столько, сколько вам. Ах, вы думали, у меня давно уже взрослые внуки? Спасибо, вы очень любезны. Будут и внуки, не сомневайтесь. Не сомневайтесь!

Ох, сил моих больше нет!!!

Не реви, Аська, только не реви. Лапочка моя, Асенька. Никто нам с тобой не поможет, если мы сами себе не поможем. Ни Бог, ни царь, ни... Сатана.

Час остался.

Симагин всегда говорил так ласково: Асенька... А его как звали? Вот забавно, не помню. Сергей, кажется. Или... Андрей? Дурацкая манера была в те времена: именно близким людям надо было этак залихватски называть друг друга по фамилиям. Только он, как и в остальном, был вне мира. Он мне: Асенька, а я ему: Симагин да Симагин, Симагин да Симагин.

Хоть бы кому-нибудь можно было сказать сейчас: Сереженька... Андрюшенька... Да что ж сегодня глаза-то так на мокром месте?

Ладно. Значит, скелитн кампани... Кадрированная компания... сволочей.

И Тучков мост, и мост Строителей были почему-то перекрыты уже недели три. Говорили, ремонт. А был еще очень достоверный, почти официальный слух, что в целях безопасности; якобы контрразведка получила данные, будто то ли из Украины, то ли из Эстонии специальная диверсионная группа будет заслана или уже заслана, с целью взорвать почему-то именно один из этих мостов. Сильно на ерунду смахивало, конечно. Украине сейчас вообще ни до чего, западные и восточные области сцепились насмерть, а в подбрюшье еще Крым висит, от которого неизвестно чего ждать, потому что крымские русские — за Харькивщину, татары им в пику, разумеется, за Запад; хотя, как поговаривали в народе, единственное, что хохлы способны делать даже и без выгоды для себя, — это пакостить. Из одной вредности. Эстония вроде тоже — напрягая всю свою суверенную мощь, упоенно делит с Латвией еще не выловленных балтийских снетков... Но в наше время, если сказано «украсть», «захватить», «убить», «взорвать», — любая ерунда может оказаться правдой.

Поначалу Ася хотела попользоваться редкостно хорошей погодой и пройтись до Щорса пешком: как-нибудь просочиться через один из некогда любимых, а теперь ремонтируемых мостов — лучше, разумеется, через Строителей, —

потом пройти по набережной к Заячьему острову; продефилировать, не заходя в крепость, по его зеленой окраинке напротив Артмузея, а потом, скажем, пойти дальше по Кировскому или, если силы подведут, сесть, скажем, на сорок шестой. Насколько Ася понимала, записанные ею на клочке бумаги номера означали, что Александра Никитишна — и имечко-то какое! почти бабка Ванга, только а-ля рюс — живет где-то совсем рядом с площадью Льва Толстого, первый или второй дом по Щорса. Очень хотелось погулять часик по этим обожаемым исстари, еще с последних школьных лет, а уж тем более — с первого университетского года местам. Попробовать переплавить в горне тихого предвечернего света, медленно высыхающих луж на асфальте и успокоительно неизменной красоты невского простора мрачную, жуткую, раздирающую грудь тоску в мягкую грусть и хоть так утихомирить нервы перед этой странной встречей, которая то ли удастся, то ли нет. Сколько они по этим местам гуляли с будущим Антоновым отцом! Как смеялись! Как уток кормили булкой с мостика перед крепостными воротами! А они крякали, пятерными такими потешными кряками, одна за другой, и каждый кряк чуть тише предыдущего: кря-кря-кря-кря-кря! кря-кря-кря-кря-кря! Будто хриплые черти хохотали... И он здесь ее фотографировал. Одна фотка случайно сохранилась; вообще-то Ася их все разорвала потом и выбросила — это когда Антону, наверное, уже с полгода было и она поняла наконец, что возврата нет; но одна фотография случайно сохранилась у мамы в бумагах и после маминой смерти — вынырнула вот. В последнее время Ася иногда ее доставала и разглядывала — почему-то стесняясь, будто подсматривала в замочную скважину за совершенно чужим молодым счастьем. В откровенно призывной мимо-юбке и водолазочке, такой тугой, что грудь будто голая. Гибкая, тоненькая еще. Глаза сверкают, и рот до ушей. Вдали на заднем плане — тяжкий угол музея за протокой; сразу за спиной — какой-то куст, их сейчас уже нет, давно зачем-то раскорчевали... Несколько раз порывалась и ее разорвать, но так и не решилась.

А у красной крепостной стены лежал тогда поваленный или спиленный, что ли, тополь — и Ася любила взобраться

на него и пройтись, с вопиющей наглядностью виляя девчоночьими бедрами, якобы чтоб сохранить равновесие, а Антон-старший, тогда еще просто Антон, — чтоб ее поддерживал... Подонок. Вот уж поддержал так поддержал.

Ничего не вышло из ее затеи; не пройти было даже пешком по перегороженному дощатыми заборами с торцов и мирно дремлющему в ожидании начала ремонта — или в ожидании наряда охраны — мосту. Пробовать дойти до Тучкова Ася не стала — наверняка и там то же лиходейство: передавили, так сказать, транспортную артерию двумя удавками и решили, что три четверти дела сделано, можно полгодика отдохнуть. Или неразворованного остатка средств, отпущенных на ремонт, — или что там у них было запланировано? зенитки ставить? противолодочные сети? — хватило исключительно на косые щелястые заборы, а для остального надо уже ждать следующего финансового года... Нам, простым смертным, — без разницы.

Даже непонятно было, как добираться — близок локоть, а не укусишь. Вроде вот она, Петроградская сторона, вот, за речкой... прямо хоть вплавь пускайся. И так красиво янтарное солнце мреет над той стороной, небо пепельно-розовое, теплое, и вся река тоже янтарная и розовая... Ася довольно долго стояла у забора в десятке метров от Ростральной колонны — то ли в растерянности, то ли в каком-то забытьи. Ей казалось, что именно здесь, на этом месте, она должна вспомнить что-то, что-то найти в себе; казалось, здесь она когда-то шла и поняла нечто очень важное, а теперь забыла и надо во что бы то ни стало вспомнить — но мысль ни за какую зашербинку в прошлом не могла уцепиться и бессильно проскальзывала мимо неосязаемого важного по осточертевшему накатанному: не пройти... значит, дорога займет больше времени, чем думала... значит, готовить себе ужин не останется уже никаких сил... куда бы зайти перекусить?.. завтра с утра пораньше надо обязательно успеть в ректорат, выяснить наконец, что они имели в виду тем дурацким распоряжением... Ничего так и не удалось нащупать, и только раздражение на ранний склероз вдруг нахлестнулось новым жгучим охлестом поверх тупо ноющих постоянных бед. Ася сердито притопнула, крутнулась на каблуках и пошла к мет-

ро. Собственно, больше и рассчитывать было не на что, хотя крюк дурацкий: до «Василеостровской» пешком, потом до «Гостинки» одну остановку, потом пересадка и потом до «Петроградской» еще две остановки. Кажется, в это время «Петроградская» на выход работала. Или наоборот, только на вход? Забыла. Вернее, запуталась, сейчас почти на всех станциях какие-то ограничения. Ничего больше не оставалось, как ехать проверять. В крайнем случае вернусь до «Горьковки», подумала Ася, и оттуда пройду пешком по Кировскому, как собиралась. Хотя без зеленой окраинки Заячьего прогулка утратила всякий смысл.

Все получилось. Потная давильня заглотила ее, покрутила по своим грохочущим кишкам, туго набитым дурно пахнущей аморфной массой, которая, возвращаясь наружу, распадалась на людей, причем, как ни странно, очень разных, — и срыгнула там, где надо. Один эскалатор работал на подъем. Приехала куда хотела, вышла где хотела. Много ли надо интеллигентной женщине для счастья?

Движение по Кировскому было перекрыто, так что очень даже правильно и замечательно она решила ехать на метро. К ДК Ленсовета, в быту — к «Промке», с песней выворачивала откуда-то с Карповки бесконечная колонна то ли солдат, то ли курсантов. Похоже, в ДК их и вели. Народ на тротуарах кто глазел, кто, ругаясь в голос, пропихивался. Ася тоже взглянула, время было. Мальчишки все маленькие, заморенные, обтруханные какие-то; мордочки глупые и беззащитные. Компания скелетов. Взгляд сам собой забегал по этим мордочкам в поисках Антона — Ася даже не сразу это поняла. А когда поняла, ядовито жгучие слезы опять заплескались под самой переносицей, грозя проесть глаза изнутри и хлынуть. Столько кислятины в душе накопилось, что даже слезы уже не слезы, а прямо-таки серная кислота, так жжет... Ася отвернулась и побежала, чтобы не видеть и не слышать, в подземный переход. «Комсомольцы, добровольцы, надо верить, любить беззаветно, видеть солнце порой предрассветной — только так можно счастье найти...» — на одной ноте тянули ребята и почти в ногу лупили асфальт сношенной пыльной кирзой.

Поднявшись из перехода на той стороне, Ася заглянула в афиши и сразу поняла, куда ведут ребят; даже не надо было сопоставлять сегодняшнюю дату и дату над названием лекции. «Советская Республика в кольце фронтов и причины ее конечной победы. 1918 — 1921. Читает доктор исторических наук А.Токарев». Ася даже с шага сбилась. Фамилия — как у Антонова отца. И первая буква имени тоже совпадает. А второго инициала нет... ну да я все равно бы не вспомнила, как сволоча по батюшке. С него бы сталось, с краснобая, такие лекции сейчас читать. Какой факультет он кончал? Не исторический ли? А тоже не помню... Ведь выписки же ему делала, редактировала и перепечатывала бумажки его драгоценные, с французского, с английского переводила для него... а ни черта не помню. Да что ж у меня в душе осталось-то? Один шлак, жмых... сточные воды. Но уж их зато — да-астаточное количество. Вот и норовят устроить залповый сброс через глаза, слезами.

Нескончаемым потоком, стискиваясь в дверях ДК, как вода в узости горной речки, ребята втягивались внутрь. Тут они уже не пели, только кое-кто разговаривал вполголоса. «Заныкал?» — «Не успел...» — «Серя сказал, завтра опять на даче забор мастрячим...» Серя — это, наверное, сержант, не сразу догадалась Ася. Или, может, просто какой-нибудь чрезвычайно осведомленный Сергей? Но вряд ли... Она боялась, ей не удастся провильнуть сквозь поток и придется либо ждать, когда колонна втянется в двери вся, либо возвращаться и огибать Промку по периметру, но ребята были вежливые, тихие — потеснились, втянули несуществующие животики, она и юркнула. От солдатиков пахло немытым молодым. От Антона так пахло, когда он, нагонявшись в футбол с одноклассниками, приходил домой... но он сразу лез в душ, Ася приучила. Да он и сам любил поплескаться. «Хоть бы раз боевые дали. Всё сборка-разборка, сборка-разборка. А если стрельнуть придется? Я ж с десяти шагов, может, не попаду». — «Патронов не хватает. Экономия...»

А ведь я сегодня напьюсь, подумала Ася, сворачивая с Кировского за угол. Полбутылки коньяку уже месяца два скучает в холодильнике после Таткиного прихода. Приду от

экстрасенсорихи и выдую, и провались все пропадом. Не могу больше.

Действительно, оказалось совсем недалеко. Еще с полминуты Ася нерешительно потопталась у парадного, потом, борясь с дурацким желанием перекреститься — но она все равно не помнила точно, как это надо делать, слева направо или справа налево: были, она помнила, в истории с этим какие-то сложности, — шагнула внутрь.

Поднялась на второй этаж.

Здесь было уже почти темно; лестничное окошко, мутное, как бельмо, белело где-то дальше и выше, и Ася не сразу разобралась со света, на какой двери какой номер.

Позвонила, как уговорено.

Дверь была широкая, просторная, обитая истертым черным дерматином. Пахло не слишком вкусной стряпней — то ли из-за этой двери, то ли откуда-то еще. Подгорело, мельком подумала Ася. И масло прогоркло, наверное. Странно, она совсем не волновалась, но ее буквально корчило от дикой нелепости всей ситуации. Фарс. Сердце ни вот на столечко не частило.

Наконец изнутри раздалось неторопливое шевеление, а потом неуклюже, в несколько приемов прозвякала вытягиваемая из паза цепочка — затея сельской простоты, кого теперь такой цепочкой остановишь — и дверь со скрипом, медленно отворилась.

В пожилой женщине, которая стояла на пороге напротив Аси, не ощущалось ничего сверхчеловеческого. Впрочем, опыта общения с экстрасенсами у Аси не было ни малейшего. Ничего, наверное, и не должно ощущаться? Во всяком случае, когда лет девять назад по телику начали показывать всяких Глоб и Кашпировских, в них тоже сверхъестественная суть как-то не сквозила; просто один — вроде бы мелкий комсомольский работник, другой вроде бы тупой майор, вот и вся разница. Господи, как она тогда хохотала над этими мессиями! С Антоном вместе хохотала... И вот — колесо судьбы свершило свой оборот. Что говорить-то?

— Александра Никитишна? — спросила Ася, решив не тянуть. Как можно меньше времени надо потратить на эту ерунду, мельком подумала она, коньяк выдыхается.

— Да, — негромко, басисто-раскатисто сказала женщина и слегка наклонила голову с седыми кудряшками. В правой руке ее дымилась сигарета, вставленная в длинный темный мундштук. Значит, курить можно будет, удовлетворенно отметила Ася. Курить хотелось отчаянно. Но каков имидж! Обязательно с мундштуком, как полагалось в начале века, когда так модны были все эти спиритические идиотизмы... И глухой темный халат до полу.

— Меня зовут Ася, я звонила вам позавчера, и мы договорились. По поводу выкройки.

Несколько секунд Александра Никитишна неподвижным взглядом остужала Асю, потом затянулась долгим затягом и чуть посторонилась.

— Заходи, милочка, — сказала она. Асю передернуло, и она с трудом сдержалась. Повернуться и вон отсюда, и ни слова больше с этой комедианткой... Нет. Всякую дорогу нужно пройти до конца.

Квартира была коммунальной, вот почему три звонка, и вот почему конспирация насчет выкройки. Висели плащи и пальто, висели мокрые простыни, наволочки и совсем неопределенные тряпки, висели тазы. Телефон — коридорный, и возле него с прижатой к уху трубкой, взгромоздив одну ногу на стул, стояла, молча и размеренно кивая, какая-то коза в застиранном халате, неинтересно разъехавшемся на тощей коленке, и с обмотанной трухлявым полотенцем свежепомытой головой. Синий чад, который Ася учуяла еще на лестнице, плавал плотными слоями, и оттого весь коридор казался чуть призрачным, удушливо мерцал. Снятся людям иногда голубые города... у которых названия нет. Нет им названия. И несть им числа.

Александра открыла перед Асей крашенную белой краской дверь, потрескавшуюся и облупленную, и пропустила Асю впереди себя.

В комнате было чистенько, ухоженно и почти не воняло кухней. На широком щербатом подоконнике — естественно, горшочек с алоэ. Открытая форточка, как часто случается в старых домах, была почти недоступна — неудобно, высоко, да еще у окна стол, через который надо лезть... Наверное, на стол и следует влезать, чтобы отворить или затворить сей

живительный клапан, поняла Ася. Впрочем, клапан, похоже, никогда не закрывался. Скатерочки, салфеточки, слоники. Не хватало только картинки с лебедями. Смех и грех. Впрочем, книги; много книг. И масса толстых папок, стоящих рядами на открытых навесных полках, грудой лежащих на столе... Наверное, труды какие-нибудь экстрасенсорные, каких не публикуют. И разумеется, самопалы. Кастанеда этот пресловутый наверняка во всех видах. А ведь, похоже, выкройки — не только конспирация. Действительно, повсюду альбомы выкроек, и обрезки тканей там и сям, и ножницы поверх...

— Присаживайся, Асенька, — сказала Александра, указывая Асе на продавленное кресло, обтянутое, как в больнице, белой простыней. Ася опять едва не скривилась в ядовито-горькой ухмылке, опять сдержалась едва-едва. Только сегодня мечтала, чтобы Асенькой называли, вот и дождалась. Но как-то не тот контекст. Сама Александра уселась напротив Аси, у стола, и подвинула по столу пепельницу с горкой окурков так, чтобы она оказалась ровно посередине между Асей и ею самой. — Кури. Ты ведь обрадовалась, когда увидела, что я курю? Уже невмоготу, сигарета сама в руку просится?

Сердце ударило сильней. Ася сощурилась.

— Вы ошиблись, — сказала она сдержанно. — Я не курю и никогда не курила. В молодости баловалась, конечно... и только.

— Вольному воля, — сказала Александра неторопливо. — Я смотрю, тебя коробит, что я обратилась к тебе на «ты».

Это, наверное, нетрудно было заметить, подумала Ася.

— Наверное, нетрудно было это заметить, — сказала она.

— Нетрудно, — согласилась Александра и медленно, тщательно стряхнула в пепельницу пепел. — Но ведь ты сама назвалась Асей и ни разу не назвала своего отчества. Что же мне было делать?

Правда, подумала Ася. Ей все-таки стало не по себе.

— Исправим твою оплошность или уж пусть идет как идет?

Ася запнулась.

Александра Никитишна еще раз цепко оглядела сидящую напротив нее женщину. Да, незаурядная особа. Когда-то была красива, возможно, даже очень красива. Не той модной нынче красотой, которая сразу вся на ладони, не тупенькой миломордашкостью ногастых акселераток, которые умеют кое-как ездить на мотоциклах, целуются и отдаются, не вынимая жвачки изо рта, и с пеленок знают все о гинекологии и о том, что от них надо парням, которые тоже только и умеют, что ездить на мотоциклах и сурово, мужественно бить тех, кто слабее; и что им самим надо от этих парней. Нет. Не броской, но бесконечной переливами духовной красотой, перед которой всегда, кроме последних лет, так преклонялись на Руси; красотой, от которой щемит сердце, как от скрипичной сонаты или от освещенных закатом сосен над темным зеркалом озера, затерянного в лесу. Ни съесть, ни выпить, ни поцеловать... Иконописное лицо. Любовь, порыв, бесшабашная радость, самоотречение и сострадание — вот из чего была соткана эта женщина. А мир изжевал все это и сплюнул под мотоцикл. Она и сейчас могла бы быть красива, если бы не находилась в последнем градусе отчаяния и усталости. Сердце, конечно, и желудок, конечно. Сердце — от постоянных адских стрессов, желудок — от многолетней дрянной еды на бегу. Даже не еды, а так называемого перекусывания. Жуткое слово. Перекусил... кого? чем? Совершенно не следит за собой, мимоходом подкрашивается какой-то дешевой дрянью, просто по привычке, как зубы чистят, — и к станку... Нет, не к станку, конечно; к столу. На столе... телефон и бумаги на столе, очевидно. Секретарь. Мужчины нет. Под глазами синяки, мешки. Ранняя седина, которую даже не пытается скрыть. Неужели такое горе — из-за мужчины? Нет, наверняка что-то более серьезное. Ребенок пристрастился к наркотикам? Уже ближе. А мужчины — мужчины просто нет, и ей это уже все равно. С ее характером у нее действительно должны быть проблемы с мужчинами. Не курю, видите ли. Мой дым буквально весь готова была заглотить, грудь ходуном заходила... грудь красивая до сих пор. Гордыня. Но сейчас это — так, от отчаяния, отчаяние подчас удесятеряет гордыню; ежик, ежик, спрячь иголки... Сразу всплыл Достоевский: самые гордые

самыми пошлыми рабами-то и становятся! Нет, эта женщина не могла быть рабой и совершенно не могла быть пошлой. Просто она делалась частью того, кого любила. С радостью делалась, счастлива этим была... А ее кто-то ампутировал, эту часть. Но здесь она не потому. Скорее всего, и впрямь что-то с ребенком — ушел из дому и пропал или... вляпался в какую-нибудь секту? Ищет ребенка, очевидно. Охо-хо, ничем я ей не помогу...

Интересно, помирился Витька со своей змеей или нет еще? Четыре дня не звонил; по-прежнему, вероятно, весь в грустях. Ничего, деньги кончатся — позвонит. Нормальный жизненный цикл уж который год. Мам, ты знаешь, как-то так получилось, что я опять совершенно пустой...

Но было тут еще нечто. Нечто очень странное, и едва ощутимое, и совсем, совсем нестандартное. Оно не укладывалось в шаблоны, наработанные многолетней практикой. Александра Никитишна была даже благодарна сидящей напротив женщине за то, что та молчит и никак не решается перейти к делу, хотя обычно старалась тратить как можно меньше времени на этот свой не вполне честный приработок. Вот шить ей нравилось, в шитье был реальный процесс и реальный результат, и результат этот — положительный, материальный, возникал в конце концов всегда. Так приятно сделать своими руками что-то настоящее! Так приятно его потом отдать — зная, что это действительно одежда, ее будут носить, гладить, стирать, вешать в шкаф, доставать из шкафа и надевать сызнова... А тут... мыльные пузыри. Но лишних денег не бывает, и если есть хоть какой-то дар, скромненький, задрипанный, сродни жульничеству, да, сродни, пусть! — нельзя не выкачивать из него хоть малость. Не те времена.

Было еще нечто... ощущался какой-то радужный отсвет дальнего сияния... И тут у нее буквально перехватило дыхание, сердце зашлось.

Ася решительно вынула из сумочки перетянутую резинкой пачку десятирублевок и кинула ее на стол рядом с пепельницей.

— Я не верю вам, — глядя мимо собеседницы и чуть наклонив голову, сказала она ровно, но так напряженно, что

казалось, голос вот-вот сорвется. — Я не верю в ведовство. Я не верю ни в Бога, ни в черта, ни в инопланетян, ни в Шамбалу и ни в какую вообще дребедень. Раз в жизни я поверила человеку, который сам, наверное, верил в то, что ухватит жар-птицу... впрочем, к делу это не относится.

— Возьмите-ка пока деньги назад, — негромко предложила Александра Никитишна. — Незачем ими так царственно разбрасываться.

Ася запнулась и поглядела на нее исподлобья. Видимо, неожиданное обращение на «вы» выбило ее из едва нащупанного ритма. Потом, ощутимо напрягшись, проигнорировала услышанное.

— Но мне сейчас уже больше некуда пойти. Я везде побывала. В военкомате, в штабе округа с какими-то ярыжками в погонах провела, кажется, полжизни. Унижалась, чуть ли не отдавалась... сто раз писала в часть, бегала по материнским комитетам — и разрешенным, и неразрешенным, и полуразрешенным... Да. — Она глубоко вздохнула, потом с силой провела ладонями по щекам, уродливо натягивая их на почти спрятавшийся в складках рот. Опустила руки. Лицо неторопливо расправилось. — Простите. Мой сын Антон был призван в армию осенью прошлого года. Последнее письмо я получила от него в феврале. В нем, кроме прочего, определенно говорилось, что его часть отправляют на Закаспийский фронт...

Да, подумала Александра Никитишна, тут я дала промашку. То есть все правильно, проблема в ребенке... но мне и в голову не пришло, что ее сын уже год назад достиг призывного возраста. Раненько же она родила. А можно было бы догадаться, что именно и только так она и должна была бы... Характерец. Да, девочка, представляю, сколько наломала ты дров с тех пор, как начала подкладывать ватку в штанишки. И сколько тебя ломали. А сломали? Интересно, сломали — или просто сожгли? А интересно — совсем сожгли? Я же чувствую, что не совсем. И пожалуй, даже не совсем сломали. И эта переливчатая, медленно тающая пуповина, давно уже оборванная, но еще чуть теплящаяся тем же светом, каким горит тот светляк...

— У вас есть с собой какие-нибудь вещи сына? — спросила Александра Никитишна, чтобы хоть что-то сказать, потому что женщина замолчала и молчала уже, наверное, с полминуты, строго и недоверчиво глядя ведунье в глаза.

— Да, разумеется, — сказала Ася и снова полезла в сумочку. — Вот. Это его записная книжка.

— Не верите в ведовство, но подготовились самым надлежащим образом, — не удержалась Александра Никитишна.

Ася пожала плечами:

— Взялась делать, так надо делать. Вне зависимости от того, как к этому делу относишься...

— Откуда вы узнали, что надо прихватить с собой что-то из вещей? По книжкам?

— Не знаю... не помню. Пара любимых вещей, фотография... наверное, действительно из какой-то бульварной книжонки. В детстве мы все такое читаем иногда.

Бульварные книжонки... Характерец, снова подумала Александра Никитишна, беря из Асиных рук строгую черную записную книжку. Мельком полистала. Мало телефонов, мало имен. Очень ограниченный круг общения. Нелюдимый? Мама подавила? Такая может... Представляю, когда она влюблялась и пыталась стать частью своего беззаветно любимого — мужику надо просто глыбищей быть, чтобы под тяжестью этакой части не опрокинуться... Или, наоборот, в маму — чересчур разборчив, как золотоискатель? Почерк уже вполне мужской, не надломленный и не сдавленный — колючий, стремительный. Значит, скорее, в маму. Интересно бы взглянуть на почерк мамы, подумала Александра Никитишна. Впрочем, и так очевидно: парень серьезный, суровый и от мамы взял немало. А от папы? Да какое мне дело, собственно... Но бабье любопытство пересилило:

— Простите, Ася, но это существенно... Папа ваш где?

Ася на секунду замерла с нависшей над сумочкой рукой.

— А пес его знает, — спокойно ответила она затем. — Папа у нас не уродился. Это Антонов любимый галстук. На выпускном вечере он был в нем.

Галстук как галстук.

Зачем я продолжаю этот шутовской допрос? Зачем мучаю ее? Почему сразу не скажу, что это все для меня слишком серьезно? Что ей обращаться сейчас ко мне — все равно что поручать планирование десантной операции ковровому клоуну? Что я — просто балаболка?

— Это — его последняя фотография.

Очень неплох. Глаза — от мамы, несомненно. Вон громадные какие. Взгляд — открытый, чистый... щедрый. Представляю, как она этими вот глазищами, этим вот чистым щедрым взглядом снизу вверх смотрела на того, кто этого Антона ей делал. Какого Бога она в нем видела. Я все тебе отдам, мой князь. И ведь без обмана, без лицемерия, наверняка только им и дышала. А у князя пропускная способность на порядок ниже, чем требуется, чтобы столько переварить, он девяти десятых даримого просто не замечал; чтобы столько взять, нужно жить качественно иной жизнью, более высокой, более интенсивной, — а тот только чувствовал смутно, что происходит нечто характеризующее его не лучшим образом, для него даже унизительное... В дребезжащий моторчик от серийного мопеда залили ракетное топливо. Но мопед не стал ракетой — просто не завелся. Да, обидно было бы моторчику, имей он хоть толику чувствительности: ведь не пустой, что-то булькает в трубках, и явно не вода, явно что-то чрезвычайно калорийное — а ехать не получается... Впрочем, чуток поразмыслив, моторчик понял бы, что ему еще повезло — да, не завелся, но ведь и не взорвался! А ведь на волосок был. Немедленно слейте этот ужас! Пока не сольете — даже и не пробуйте меня завести! Представляю, как парень в конце концов начал ее бояться... Похоже, подбородок у мальчика оттуда, от князя; да, смазлив был князь. Александра Никитишна украдкой глянула поверх фотографии на Асю; та сидела, рассеянно глядя в сторону, положив ногу на ногу — ноги красивые до сих пор; сколько же все-таки ей лет? тридцать пять? тридцать шесть? тридцать семь? — и зверски хотела курить.

Ну зачем ты себя мучаешь, Ася, зачем эта гордыня? Вот уж точно диавольская... Все мы пытаемся казаться лучше, чем мы есть. И о других думаем лучше, чем они есть, — если только не думаем о них хуже, чем они есть. Но всему нужна

мера. Как ощетинилась на мою догадку про курево — так и держишь теперь планку. Передо мной-то зачем? А влюбилась в козла. А может, и не в козла? Просто не сдюжил он быть хоть вполовину таким, каким ты его видела. Но хоть попытался он напрячься — или шарахнулся сразу? Пожалуй, это — вопрос вопросов. От ответа зависит и оценка. Пытается человек или нет? Мужественное поражение — или инфантильное «чурики»? Это у Шекспира, кажется: коль бедный друг бессилен, благородство должно ценить старанье без успеха... А ведь сколько приличных, пусть даже и не крупных людей наверняка вздыхало по тебе, Ася, в последующие годы. И сразу из памяти подал голос незабвенный Шарапов: красивая женщина, хорошего человека могла бы осчастливить... Могла бы, могла бы... все, пошли вязать Ручечника.

Я-то уж не буду держать планку перед нею? В мои годы глупо... Покажу-ка я тебе пример, Ася. И свою душу облегчу. Собственно, ничего, кроме правды, я тебе сказать и не могу, потому что настрадалась ты неимоверно, а я твое страдание — уважаю... а ты мое? Вот мы и проверим.

И ведь есть еще этот невероятный, загадочный светлячок, с которым ты, похоже, как-то связана. Я скажу тебе про него, хотя ничего не понимаю. Но, возможно, это будет лучшим, что мне выпадет сделать в жизни.

И здесь Александра Никитишна оказалась права. Но никогда не узнала об этом.

Аккуратной стопкой Александра Никитишна сложила записную книжку, фотографию, пачку денег, стянутую медицинской резинкой; вокруг этой стопки проворной, привычной к тканям рукой пустила галстук и протянула все Асе.

— Я буду совершенно перед вами откровенна, — проговорила она спокойно и доброжелательно. — Возьмите все это. Я ничем не могу вам помочь. Никакая я не ведунья. Я самая натуральная шарлатанка, приноровившаяся подрабатывать еще и таким вот образом, потому что у меня сын — шалопай и бездельник, а я его люблю. Собственно, я и живу-то только им.

Асю будто ожгли кнутом. Она резко выпрямилась в кресле, глаза полыхнули. Секунду она приходила в себя, потом

выхватила вещи, пихнула в сумочку и попыталась встать. Александра Никитишна удержала ее, мягко положив ладонь ей на колено.

— Почему вы так рассердились? Вы же с самого начала были уверены, что я шарлатанка. Да вы и начали с того, что мне не верите и вообще ни во что не верите.

— Потому что... — быстро ответила Ася и запнулась. И поняла, что не знает, как продолжить фразу и как ее закончить. — Вы... — сказала она после паузы и опять осеклась.

С минуту они молчали. Потом Ася сгорбилась в кресле. Потом закрыла сумочку — щелкнул замок. Заложило в груди, чуть выше сердца. Откуда-то из-за стены или из коридора ритмично, буквально на одной басовой ноте, долбил по-английски магнитофон. «Ай кэн фак — бам, бам-бам, бам-бам — ю кэн фак — бам, бам-бам, бам-бам — хи кэн фак — бам, бам-бам, бам-бам — ши кэн фак — бам, бам-бам, бам-бам — уи кэн фак — бам, бам-бам, бам-бам — зэй кэн фак — бам, бам-бам, бам-бам...» Опять надо ловить слезы за хвост, чтобы не выскочили наружу.

— Я пойду, — сказала Ася с чуть заметной вопросительной интонацией. И только тут поняла, что на самом деле — надеялась на чудо. Надеялась. Потому и начала так резко с декларации недоверия — чтобы ее разубедили с той же неистовостью, с той же искренностью и столь же сразу. Потому и отреагировала так болезненно на признание ведуньи. Но говорить этого вслух уже не стала.

— Подождите, — чуть помедлив, ответила Александра Никитишна. — Я не закончила. Я все-таки немножечко эмпат. Обнаружила это лет двенадцать назад, а убедилась окончательно — лет семь... шесть... Я чувствую, просто чувствую кое-что... что обычно люди не чувствуют. Таким, как я, в милиции цены бы не было. Я действительно очень много сразу про вас поняла. И это не только как... ну, как Шерлок Холмс — все подмечает внимательным, острым взглядом и делает выводы. Большую часть того, что я подмечаю, я подмечаю не глазами. И выводы делаю не только из того, что подмечаю. Я — чувствую. Иначе я не смогла бы работать. Я чувствую, что люди хотят слышать, — и им это говорю. Им

приятно. И они платят мне за это удовольствие. Я буквально почувствовала, как ваши легкие затрепыхались навстречу дыму. Я чувствую, что вам совершенно необходимо сейчас принять еще одну валидолину, но это вы тоже стесняетесь при мне. Вот здесь у вас тянет, с минуту назад затянуло, да?

— Да, — тихо сказала Ася и послушно полезла за валидолом.

— И еще много про вас чувствую, поверьте мне... я уж не буду все перечислять, это просто ни к чему. А теперь другая история, послушайте и постарайтесь поверить. Просто на слово. Я работаю вообще-то. Есть такое объединение «Позитрон», я там... не важно. Клерк. И я езжу туда каждый день. И много чего чувствую про людей, которые едут со мною рядом, проходят мимо по улицам, иногда — даже про тех, кто живет в домах, возле которых я иду. Сунулся человек открыть форточку или стоит у окна, поливает цветочки на подоконнике — и вдруг на меня будто падает: у этого тромбофлебит. Не название болезни слышу, а чувствую симптомы, и тут уж несложно самой поставить диагноз. А этот боится откровенного разговора в первом отделе, на него там еще со времен перестройки досье. А эта — влюблена, но мелко, грошово... ей нравится, что у парня такая модная щетина на обворожительно тупом рыле, и такие крепкие пальцы, и такая попсовая куртка, и что какая-то подружка ей из-за куртки ее парня завидует. Какая это на самом деле куртка, я не вижу. Конкретной информации нет. Но то, что девчонка ощущает ее как попсовую, я чувствую.

— Я... н-не верю, — с трудом выговорила Ася.

— И я не верила, пока не почувствовала сама. Не важно. Пришли же вы ко мне, не веря. Взялась делать — так делай, вы сами сказали. Так вот уж доделайте. Потому что... потому что... не знаю, как сказать. — Александра Никитишна неторопливо вынула из мундштука давно погасший окурок, положила его в пепельницу, потом вставила новую сигарету. Щелкнула зажигалкой. Пальцы у нее чуть дрожали. Этого не было поначалу, отметила Ася и вдруг сказала:

— Я закурю.

— Естественно, — ответила Александра Никитишна. И протянула ей зажигалку с маленьким огонечком, прыгающим поверх. Ася достала из сумочки сигареты — снова щелкнул в тишине замочек. «Ши кэн писс — бам, бам-бам, бам-бам — уи кэн писс...» Уже из-за одного этого бам-бам нельзя было допускать тишины; следовало разговаривать без пауз.

— Понимаете, все это что-то очень естественное. Посустороннее, так сказать. Просто, скажем, атавизм... или повышенная, аномальная чувствительность. Есть люди близорукие, а есть дальнозоркие, так вот я дальнозоркая. Вы же заметили сейчас, что у меня пальцы дрожат, а в начале разговора тремора не было и в помине, потому что я не волновалась. А дальше вы уже можете поразмыслить и понять: это было оттого, что я думала, будто у меня обычная клиентка, с какой-нибудь ерундой, я ей сейчас наплету про ее хахаля или про ее киску, и дело с концом. Поверьте, с такими проблемами, как у вас, ко мне еще не приходили. Вот. Видите, как просто. Ну, а я замечаю и чувствую еще чуть больше. Никакого секрета, никакой мистики. И чувствую только на очень близком расстоянии. Если в окно — то в ближайшее. Только первый этаж. Иду мимо — чувствую, и то далеко не всегда. Прошла пару шагов — все растворилось. Как запах.

Обе женщины приникли к своим сигаретам одновременно. Почти одновременно выдохнули дым. Потом Александра Никитишна поднялась — разом обвалились к полу складки длинного халата — и медленно пошла поперек тесной, уставленной допотопной мебелью комнаты.

— Но есть одно исключение, — отрывисто произнесла она. Пошла обратно. Ася завороженно следила за нею и ловила каждое слово; ее проняло-таки — и теперь познабливало от волнения. Происходило нечто сверхъестественное.

— Там в глубине, где-то во дворах есть дом... обычный жилой дом, один из прочих... И в нем есть одна квартира. Про остальные я ни разу не чувствовала ничего и не могла, разумеется, потому что далеко, метров семьдесят от моей обычной дороги от остановки к проходной... А там... все время свет. То есть не окно освещено, а — свет! Вы понимаете?

— Нет.

Александра Никитишна печально усмехнулась.

— И я — нет. Сколько раз я хотела туда пойти! Просто — пойти, позвонить в дверь... или хотя бы подойти поближе, может быть, что-то пойму, почувствую... Не решилась. Это... совершенно иное. Мне просто страшно. Если соприкасаешься с качественно более высоким уровнем, то либо поднимаешься на него, либо сгораешь. Вот... вы уж извините... вот отец вашего Антона. Насколько я понимаю, вы ничего не требовали от него, наоборот, как бы только дарили... но это были такие подарки, которые не всякий может взять, от которых можно надломиться. И тут — что-то подобное, только где-то там... — На мгновение она даже поднялась на цыпочки и беспомощно повела вверх старческими руками, словно пытаясь поймать нечто, парящее под потолком; в ее пальцах дымила сигарета в длинном мундштуке а-ля начало века, и под потолком не осталось ничего, кроме медленно перетекающего из никуда в никуда извилистого следа.

— Откуда вы это все знаете? — спросила Ася медленно.

Александра Никитишна растерянно посмотрела на нее, а потом пожала плечами.

— Поняла... — как-то удивленно ответила она.

Бам, бам-бам, бам-бам.

— Все так называемые экстрасенсы, — торопливо сказала Александра Никитишна, — в лучшем случае вроде меня. Или вовсе жулье, я с такими тоже сталкивалась. А там... Если вам где-то и могут помочь, то только там. И... еще. Я не знаю, но... Вы с этим уже как-то связаны. Понимаете? Уже.

— Не понимаю.

— И я не понимаю. Над вами будто отсвет. Тоненький извилистый лучик, остывший такой... По-моему, он не живой. Рудимент.

— Это бред, Александра Никитишна, это какой-то бред! Я обыкновенная взбалмошная баба без особых изысков и даже без особых устоев... Никогда ни с какими магами не общалась даже мельком. Всю жизнь бумажки перебирала, всех ненавижу... Какой лучик? Какой отсвет?

«Ай кэн килл — бам, бам-бам, бам-бам — ю кэн килл — бам, бам-бам, бам-бам — хи кэн килл...»

— Я дам вам адрес, — устало проговорила Александра Никитишна. — Просто напишу вам на бумажке номер дома

и номер квартиры, так, как их себе представляю... как чувствую. А дальше вам решать. Я не знаю.

«Уи кэн килл — бам, бам-бам, бам-бам — зэй кэн килл — бам, бам-бам, бам-бам...»

— Напишите, — сказала Ася. — Напишите мне, пожалуйста, этот адрес.

Но, стоило ей выйти на лестницу — обычную советскую лестницу, пропахшую кошками, с перегорелой лампой, стертыми, словно ими пользовались много веков, ступенями и расшатанными перилами, за которые все равно, хоть это и рискованно, приходится цепляться, потому что в потемках ни черта не видно, — настороженно-благоговейный трепет стал быстро оседать, словно пена в выключенной взбивалке. Узкий прямоугольник далекого лестничного окна теплился рыжим закатным светом, но здесь этот свет не освещал ничего; наваливаясь на хлипкую опору, Ася медленно, все время боясь оступиться и переломать ноги, перемещалась от ступеньки к ступеньке. Путь вниз занял, наверное, минут десять.

На улице было немногим светлее, но здесь, по крайней мере, можно было дышать без отвращения и впускать воздух в легкие настолько, насколько легким хочется. Небо еще светилось. И разноцветные окна квартир светились тоже. В этом смешанном свете крохотный внутренний дворик дома — одно кривое дерево с обломанными от частого лазанья нижними ветками, два с половиной чахлых куста, песочница, скамейка и один покосившийся столб — остаток когда-то радовавших тут ребятню качелей — был сносно виден. Ася пересекла тротуар — и, оступившись-таки на выбоине в асфальте, едва не упала. Хорошо, что не на каблуках. Настороженно выщупывая ногами место для каждого следующего шага, она все-таки доковыляла до скамейки; провела по ней кончиками пальцев и поднесла руку к глазам. Вроде не нагажено. Села.

Надо было еще раз как следует перекурить и как следует все обдумать. Покамест мыслей не приходило никаких. А трепет, который так неожиданно накатил на Асю у Александры, когда та принялась откровенничать, попутно все-таки показывая свое могущество как бы в опровержение

всего, что рассказывала столь откровенно, — трепет сей за время лестничной и дворовой эквилибристики пропал начисто.

Цирк, ну чистый цирк. Дешевка. Я такая обыкновенная — и сразу демонстрация того, что она совершенно необыкновенная...

Да, но зачем? Денег не взяла...

А не гипноз ли? Ася судорожно дернулась в сумочку. Якобы отдала, а на самом деле всучила пачку резаной бумаги или вообще какашку какую-нибудь... и взятки с нее гладки: вы, милочка, сами виноваты, я не взяла с вас ни копейки...

Нет, деньги были на месте.

Ася расслабилась. Вытряхнула из пачки сигарету, вставила ее в губы, в которых почему-то бегали мурашки — но, собственно, так часто бывает, когда сердце плохо справляется, Ася уже года три знала это неприятное ощущение, однако оно, по крайней мере, не было страшным; просто надо спокойно посидеть. Много курю, это да. Но от такой жизни и ангел закурит и запьет.

Зажигалка тоже была на месте. Хотя, вспомнила Ася, зажигалку она и не вынимала, Александра дала ей прикурить от своей.

На самом деле, симпатичная баба. Весьма симпатичная. Если бы не надо было стараться уверить себя в том, что она действительно прямо-таки ведьма, стараться поверить ей...

Отсвет, видите ли. Свет! Не окна освещены, понимаете ли, а — свет...

Бред.

Да, но несколько раз она с ювелирной беспощадностью попадала по болевым точкам. Никто не мог ей рассказать. Значит...

Жутенький холодок, сродни тому, какой ощущаешь, когда одна дома вдруг слышишь с кухни чье-то невозможное шевеление, снова затоптался по ребрам. Словно на голую кожу под платьем посыпался мелко накрошенный лед.

Значит, она и впрямь как-то чует? Да, но если это правда, то почуяла она про меня наверняка куда больше, чем озвучила. Ох, сколько же она всякого могла почуять! Гадай теперь, что она про меня знает, а что — нет!

Тут уж не мистическая дрожь ударила — просто скорчило и перекрутило от стыда. По Невскому легче пройтись в неглиже, чем вот так... выставить голую задницу души перед совершенно чужим человеком.

Но ничего уже не сделать было, оставалось только затянуться поглубже. А потом, без паузы, еще раз.

Ох, много курю.

Ладно, действительно, сделанного не воротишь. Надо думать, как быть дальше. Не в прошлое надобно смотреть, а в будущее, как учит нас родная партия. Что там у нас в будущем?

Свободной от сигареты рукой Ася достала и развернула, потом разгладила на колене четвертушку тетрадного листа и уставилась на едва видные в совсем уже сгустившихся сумерках, крупно начертанные аккуратным почерком Александры цифры. И что мне с этим делать?

Как быстро сигарета кончается. И совершенно не хочется вставать. Ноги не идут. Этот вечер добил меня, такие встряски мне уже не по сезону.

Значит, ближайшее наше будущее определено. Это — еще одна сигарета.

Ася прикурила вторую сигарету от первой, а окурок нахально бросила прямо себе под ноги и, прежде чем придавить его носком туфли, некоторое время боковым зрением — смотрела-то она все еще как бы на цифры на бумажке — отмечала его потаенное оранжевое свечение.

Свет, понимаете ли... Отсвет. Остывающий лучик.

Окурок погас сам. Был, был — и вдруг исчез в темноте. Забавно, однако, вдруг сообразила Ася. Это же до «Мужества» тащиться. Где-то в тех краях мы с Симагиным жили... убей, не вспомню сейчас, где именно. Но каждое утро на эту самую «Мужества» галопом неслась, счастливая сожительница, дурында... И каждый вечер на ней вылезала и от нее куда-то туда... в кусты. Зелени там много, что правда то правда. Хороший район. Хотя, говорят, до него стало очень сложно добираться после той жуткой диверсии в метро, когда между «Мужеством» и «Лесной» чеченцы прямо в час пик взорвали бомбу и сколько-то тысяч народу заживо утонуло в жидкой глине прямо в поездах, в подземных вести-

бюлях... Чуть ли не десятки тысяч. Это же самая загруженная ветка была, потому ее и выбрали для теракта... Если, конечно, это действительно был теракт. А то кто-то мне рассказывал, что вроде по «Немецкой волне» передавали, это просто авария, головотяпство наше обычное; плывун подтекал-подтекал, а слугам народа плевать-плевать, лишь бы не менять ничего, поддерживать в гражданах чувство стабильности и уверенности в завтрашнем дне; ну и дотянули до того, что все прорвало с хрустом. Да замдекана же рассказывал, бравируя своим свободомыслием и бесстрашием! Но — вроде и арестовывали кого-то потом, и сажали, и какие-то ребята кавказского вида по телевизору признавались, что — да, мы... сама видела. И целую компанию комитетчиков за мастерски проведенное расследование кого наградили, кого повысили — тоже показывали по ящику. Шут его знает. В наше время чем версия гнуснее, тем ей веры больше; но тут обе гнусны примерно одинаково, каждая по-своему. Да, скучновато было бы мне сейчас ездить в Универ от Симагина...

Хотя от Петроградской в ту степь, кажется, какой-то троллейбус ходит... вернее, в ту пору ходил, а теперь — бог весть.

Сигарета кончилась снова. Ася побаюкала дотлевающий окурок между пальцами, размышляя, не прикурить ли от него третью, но вместо этого, решительно отбросив очередной оранжевый светлячок, впотьмах выдавила на ладонь еще одну горошинку валидола и кинула в рот, а потом поднялась со скамьи. Довольно дурью маяться. Ночевать здесь собралась, что ли? Хватит тянуть, и так час поздний. Поехали. Я-то знаю, отчего ты тут приплясываешь на месте. Решиться не можешь. Но не откладывать же до завтра. И вообще незачем продлевать знакомство с миром парапсихологии, магии и колдовства. Каждую дорогу нужно пройти до конца, это так — но не идти же вот именно этой дурацкой дорогой целую неделю, хватит для нее и одного вечера. А ежели в полпервого ночи, когда возвращаться буду, пьяндыги зарежут на улице, так спасибо скажу.

Перед тем как спрятать листок бумаги с адресом, она еще раз вгляделась в него, с трудом разобрала цифры. Да,

цифры запомнились, можно будет больше не смотреть. Цифры ничего не говорили ей. Мене, мене, текел, упарсин...

Она вовремя вспомнила, что, помимо сомнительного, почти мифического троллейбуса, к площади Мужества от «Пионерской» совершенно точно ходит пятьдесят пятый трамвай. Может, и крюк, зато надежнее, и вдобавок никого спрашивать не надо. Она очень не любила спрашивать, как пройти. Тошнило от бестолковых разговоров. Хотелось молчать.

Улицы были пустынны, и почти порожний трамвай, океанически раскачиваясь с боку на бок и гремя, с недневной скоростью легко летел сквозь темноту по прямой; Ася забыла, как проспект называется. Но что-то такое смутно знакомое узнавалось в окна, если получалось разглядеть это что-то по ту сторону собственного отражения в темном стекле. Кинотеатр? Точно, кинотеатр, типовой кинотеатр постройки середины шестидесятых, мы сюда ходили с Симагиным, смотрели что-то, целомудренно держась за ручки в темноте; потом с Антоном и с Симагиным, а иногда — просто с Антоном, когда гений творил нетленку и ему было не до нас. Другая жизнь. Три геологические эпохи назад. Эра рептилий, мезозой... Точно, сейчас поворот, вот и площадь; здесь посветлее. Ага, вон метро. На выход, мадам. Мадемуазель. Дебилка. Одиннадцатый час — самое время звонить в дверь незнакомой квартиры. Ну, точно, а когда дверь откроет какой-нибудь заспанный хмырь или голая поддатая парочка, осведомиться у них: простите, что у вас тут за свет Фавора? Соблюдайте светомаскировку!

А ведь я сбрендила, поняла Ася, когда двери трамвая, перепончато подергиваясь, расползлись в стороны. Она даже заколебалась: выходить, не выходить... Потом, смертельно испугавшись того, что двери снова поползут навстречу друг другу, почти выпрыгнула наружу.

Было тепло. В Питере почти никогда не бывает тепло, когда темно, и теплая густая тьма навевала какие-то сладостно-южные ассоциации. Судак, Гурзуф... Понт шумит... Если выпало в империи родиться — лучше жить в глухой провинции у моря. Детство, пальмы, возбуждающе ароматные ночи, покой. Да. Сейчас там не очень-то подлечишь

нервы. Интересно, все уже пожгли или что-нибудь осталось? Пару лет назад по сердцу с неожиданной силой резануло — Ася даже удивилась тому, что еще способна испытывать столь сильные эмоции по отвлеченным поводам — когда во «Времени» мелькнула главная улица Судака и среди развороченных прямыми попаданиями, прокопченных пожарами зданий Ася узнала кафе, где она, восьмиклашка еще, захлебываясь от удовольствия, ела с папой и с мамой мороженое... Из пролома в ополовиненной фугасом стене свешивалась чья-то неподвижная нога. Одна. И тут же кадр сменился. И для контраста — вот что у них, а вот что у нас — бодро заговорили про договор о дружбе и взаимопомощи между Российским Советским Союзом и Уральским Советским Союзом, который буквально на днях будет заключен... А я так и не смогла привыкнуть, что Украина или, скажем, Армения — это у кого-то «у них». Хоть в Армении и не бывала никогда, и уж теперь не побываю... Для меня это все равно «у нас». А в Российском Союзе — это, наоборот, не «у нас», а в какой-то нелепой и чужой, нарочно выдуманной стране... Ох, как шипела на меня в свое время факультетская демократуха: шовинистка! имперское сознание! правда же, Ася, русский герб — Купидон? вооружен до зубов, нечем задницу прикрыть, ко всем пристает со своей любовью...

Антон тогда еще был дома.

А теперь мне плевать и на то, что у нас, и на то, что у них. Все равно эти сволочи что хотят, то и творят... нервов не напасешься. Им же на нас с Антоном плевать! Так чего же мне-то за них волноваться!!

Так. Спокойно. Сходим с ума спокойно. Ну, куда?

Сейчас, надо вспомнить. Ведь я же тут, пардон, жила. Интенсивной и регулярной жизнью. Вот это, кажется, Непокоренных. А вот оттуда я приехала. Слева темно, там завод, который провалился, когда метро взорвалось... или прорвалось, что для завода — совершенно все равно. А вон на той стороне — кусты. Похоже, мне в кусты.

И потом — налево, по этому, как его... Тореза. По нормальным русским правилам речи она должна была бы называться просто Торезовской улицей; а это — дурацкие европейские кальки, расцветшие уже при большевиках: рю де Торез... Авеню де Навоз.

Кустики потемнее и поуединеннее, кстати, действительно не помешали бы. Последний раз я была в сортире часов пять назад, и это уже дает себя знать. Прежде чем идти к свету Фавора, следовало бы морально подготовиться. Погоди, помнится, возле кинотеатра был сортир. Забавно... кое-что все-таки помнится. Ну что, для бешеной собаки семь верст не крюк? Все равно уже пол-одиннадцатого, плюс еще пять минут — один черт. Конечно, следовало бы соображать быстрее и выйти на предыдущей остановке. Ну, что сделано, то сделано. Однако пустыня какая. На остановке еще кое-кто шевелится, а чуть в сторону — мрак и туман. Ася перешла спящую в рыжем мареве фонарей асфальтовую реку будто вымершего проспекта Тореза и, озираясь, пошагала к угловатой темной глыбе кинотеатра.

Сортир действительно был — но оказался заколочен и с дамской стороны, и с джентльменской. Вероятно, за банкротство. Как это сейчас называется — несамоокупаемость... самонеокупаемость... Ася, стервенея, несколько раз с нарастающей силой дернула за ручку двери — дверь даже не шелохнулась, будто декоративная. Два проходивших поодаль парня, прихлебывающих пиво из одинаковых бутылок совершенно одинаковыми и одновременными движениями, одинаково загоготали, глядя на Асю. Ни раньше ни позже их принесло, проклятых. С противоположной, джентльменской, стороны вдруг донеслось характерное журчание — похоже, какой-то джентльмен, не осложняя себе жизнь, зажурчал прямо снаружи. И тут этим сволочам проще жить.

Ладно, идем до первого куста, и провались все пропадом. Ну и денек.

До дому я доберусь сегодня или нет?

Аська, ты сама этого хотела. Могла бы сразу после Александры драпать до хаты.

Чего я там не видала... Тут все-таки — приключение.

Переждав в сторонке, пока по Тореза с шипением пронесутся одна за другой две крутые тачки, явно превышающие допустимые в городе скорости по крайней мере вдвое —

разборка, что ли? погоня? а и провались они все пропадом! — Ася снова пересекла уснувший проспект.

Светло было только здесь, на магистрали. В пучинах между домами, там, куда надо было сворачивать, там, где были кусты, — царила непроглядная тьма.

А ведь действительно пора сворачивать.

Интересно, и как я в темноте буду рассматривать номера домов?

Вот будет смех, если парадная дверь кодирована!

Слушайте, а ведь действительно где-то здесь. Конечно, впотьмах ни черта не понять... да я и при свете не вспомнила бы точно... но действительно где-то здесь. Вот там, в глубине, должен быть продуктовый магазин, там я всегда покупала Симагину кр-рэндель к чаю. С ума сойти.

Ладно, покуда он не показался — сделать бы наши дела, что ли. Темень вполне достаточная, только вот менталитет не тот. Говорят, хорошо воспитанная собака скорее доведет себя до разрыва мочевого пузыря, чем выгуляется дома. Вот и Аська тоже... сука воспитанная. Может только дома, а во время прогулки — ни-ни.

Слишком много окон светится. Чего они не спят, черти? Дорогу хоть немножко освещают — это плюс. Но меня будет видно любому прохожему — это минус. Что толку твердить себе, что покамест не встретилось ни одного прохожего? Кусты неубедительные, ненадежные.

Дом — даже не понять было, сколько в нем этажей, — на углу которого отсвет из окон соседнего выявил тот самый номер, возник внезапно, сам собой. То есть Ася уже несколько минут шла вдоль него, тупо таращась себе под ноги в попытках вовремя замечать очередные выбоины в крошащемся древнем асфальте; потом, остановившись, в очередной раз огляделась, чтобы оценить степень густоты ближайших зеленых насаждений, — и смутно высвеченный кусок теряющейся в темноте кирпичной стены с крупно выведенной на нем цифрой сам ударил в зрачки.

Сердце пропустило такт.

До сих пор поход был игрой. Она просто коротала время, не желая возвращаться в пустую, пропитанную застарелой тоской квартиру. И вдруг оказалось, что дом этот, дом, в ко-

торый непонятно зачем послала ее ведунья — подумать только! ведунья! — два с небольшим часа назад... а будто уже несколько месяцев прошло... действительно существует. Вот он. А в нем наверняка есть та самая квартира. И дальше что?

Ну, идиотизм! Такой момент... того и гляди джинны покажутся или привидения цепями затрясут, как пролетарии; в жизни никогда ничего подобного не испытывала. И к тому же вообще — где-то тут я жила чуть не полтора года, даже, помнится, ощущала себя до идиотизма счастливой — нет бы присесть на лавочку, закурить, смахнуть скупую девичью слезу... дескать, где ж ты, где, мой голубь сизокрылый... А на уме лишь одно — найти отвечающий моим высоким запросам куст. В такие моменты кажется, что человек и впрямь состоит из одной физиологии. Старость. Ай кэн писс — бам, бам-бам. А я вот кэннот.

Надо быть полной дурой, чтобы сейчас ломиться в совершенно чужую дверь.

Ладно. Не стану ломиться. Поднимусь и тихохонько постою, попробую послушать, что творится внутри.

Ну например, там пьяными голосами песни поют. Тогда с чистой совестью поворачиваюсь и еду домой.

Да я не доеду до дому, лопну.

А если из-за двери будут слышны мрачные заклинания, крики нетопырей и вой ветра? То-то радость. Тогда сразу звоню. Здрасьте, я ваша тетя. У вас продается славянский шкаф?

Хозяйка, стакан есть? Вынеси на чуток, мы из горла хлебать не привыкши.

Простите, товарищ, вы не подумайте дурного, я приличная женщина. Я сразу уйду, только можно на минутку забежать к вам в туалет?

Вход не кодирован.

Двери распахнуты, а изнутри тускленькая лампочка желтизну изливает. Странно, что еще не выбили или не вывинтили.

Впрочем, может, ее этим вечером вставили.

Краешком сознания панически понимая, что до такого идиотизма она не доходила еще ни разу в жизни, Ася медленно вошла в подъезд и неторопливо, как бы даже в своем

праве, поцокала вверх. Пролет... еще... еще... И вот навстречу ей вывинтилась из-за лестничного поворота дверь, на которой виднелся тот самый номер.

Ася остановилась.

На лестнице было тихо. И, как обычно в этих относительно не старых домах, почему-то совсем не воняло ни стряпней, ни метаболизмом. И казалось, особенно тихо было за той самой дверью.

С минуту Ася прислушивалась, чуть вытянув шею от напряжения и едва дыша. Ну хоть намек. Хоть бы собака меня учуяла и гавкнула, хоть бы замяукала кошка...

А что я скажу, если кто-нибудь пойдет мимо, сверху или, наоборот, наверх?

Да что она меня, черт возьми, и впрямь загипнотизировала? Какого дьявола я тут делаю?

Ужас перед тем, что она, возможно, себе уже не принадлежит, снова заставил ее сжаться, как на морозном ветру. Неужели... Но нет, нет, я контролирую себя! Вот сейчас повернусь и уйду. Вот. Сейчас.

И она, повернувшись, легко пошла вниз по лестнице, и никакая сила ее не держала; никакой шайтан или демон не завыл с разочарованием ей вслед «Сто-о-ой!!!» и не стал хватать за волосы когтистой всемогущей лапой. Она запросто спустилась на один пролет и немного успокоилась.

Ну да, уйду. И никогда не узнаю, что это такое?

Что — что такое?

Ну — это... Вот это. Куда она посоветовала мне прийти. Ведь она же... как ни крути, а у нее есть какой-то сверхчувственный дар... слова-то какие гнусные, но как еще назвать? В общем, она наделена чем-то, чем я обделена, чем все мы обделены, и значит, в ее словах может таиться некий смысл.

Ну и что там? Большой круг магов заседает? Изба на курногах? Гэндальф какой-нибудь — или, наоборот, Люцифер типовые договора предлагает на подпись? Что?!

Там же что-то!!!

Теперь сердце уже молотило, как бешеное. Не хватало дыхания. Ася беспомощно, затравленно обернулась. Вон она, та самая дверь. Еще шаг вниз — и она снова скроется.

И я никогда не узнаю.

Не позволяя себе больше ни секунды колебаний, на подламывающихся от волнения ногах Ася взбежала обратно и ударила ладонью по кнопке звонка. За дверью отчетливо квакнуло.

Ася, как нахулиганивший пацан, оглушительно топоча в гулкой лестничной тишине, рванула вверх по лестнице. Взбежала еще на пролет; задыхаясь, с всхлипами втягивая воздух, вжалась спиной в стену. Осторожно выглянула.

Дверь была неподвижна.

Наверное, с минуту Ася стояла так; а потом разочарованно обмякла.

Еще раз глубоко вздохнула и медленно, погашенно побрела вниз. Там просто никого нет. Или дрыхнут. Но еще раз она ни за что не позвонит.

Она уже прошла мимо, уже шагнула на ступеньку вниз, когда из-за тонкой, буквально картонной двери раздалось быстро приближающееся покашливание, дверь легко звякнула хорошо промасленным замком и отворилась настежь. Ася ничего не успела сделать — только, приоткрыв рот, обернулась через плечо. Ее будто припечатало к месту.

— Кто тут? — уже видя Асю, по инерции спросил отпер-ший дверь худой, почти щуплый и немного сутулый человек, которого Ася когда-то знала. Но вспомнила она его не сразу, и он, оторопело глядя ей в лицо так же, как и она ему, узнал ее первым. — Здравствуй, Ася, — сказал Симагин.

Ася закрыла рот. Потом опять открыла, желая что-то сказать. Но сразу забыла что. Стиснула зубы. А потом петушиным голоском спросила наконец:

— Как ты здесь оказался?

— Я здесь живу, — серьезно ответил Симагин. — И прежде жил, и впредь намерен.

— Зачем эта бабка меня сюда послала?

— Какая бабка, Ася?

— Да как вы ухитрились сговориться?! Какое право...

Тогда Симагин, не говоря больше ни слова, вышел на лестницу, взял Асю за локоть и несильно потянул за собой в квартиру. Ася, яростно передернувшись, высвободила руку. Но шагнула внутрь. И когда картонная дверь щелкнула зам-

ком у нее за спиной, поняла, что больше не может. Сработал рефлекс дома.

— Сергей, — чувствуя, что краснеет, как пойманная за руку начинающая воровка, и оттого нагло, почти злобно, сказала она. — Если ты немедленно не напомнишь мне, где тут нужник, одной рукой тебе придется вызывать неотложку, а другой — подтирать громадную лужу.

Симагин, ни слова не говоря, сделал два шага по узенькому коридору к одной из разместившихся в его торце белых дверец, пригласительно распахнул ее и щелкнул выключателями, разом зажигая свет в обеих клетушках — и в туалете, и в ванной. Обернулся к Асе и поманил ее двумя движениями пальца.

— Ванная — вот, рядом, — сказал он и тем же пальцем показал. — Ручное полотенце на змеевике.

А потом вышел на кухню, включил и там свет и плотно притворил за собою дверь, чтобы Ася не стеснялась. Приподнял чайник, на вес проверяя, достаточно ли в нем воды. Зажег газ электрической зажигалкой и поставил чайник разогреваться. Выплеснул в раковину опивки из заварочного чайника. Полез в навесной шкафчик за заваркой. В ожидании, когда чайник закипит, отошел к окну и уставился в него, обеими руками опершись на подоконник и ссутулившись сильнее обычного. Ничего в окне не видно было, кроме блекло-темного отражения маленькой кухни. Его прорезал черный контур человека, неподвижно уставившегося в окно.

Чайник на плите начал шуметь, когда Симагин почувствовал, что Ася вышла в коридор и стоит там, не зная, что делать. То ли бежать, не прощаясь, то ли соблюсти минимум приличий. Потом отражение кухонной двери медленно отворилось, и отражение Аси вошло в отражение кухни. Симагин обернулся.

Ася была похожа на королеву, неожиданно для себя проснувшуюся в свинарнике. Растерянность и исступленное высокомерие.

— По-моему, родная, — серьезно сказал Симагин, — ты все эти годы только и думала, как бы поэффектнее явиться. Получилось гениально.

Ася едва не закричала на него. Она даже пискнула горлом было — но увидела, что Симагин чуть улыбнулся. Улыбка у него была прежней: спокойная и мягкая улыбка мудрого ребенка. Ася неуверенно улыбнулась в ответ. И тогда Симагин тихонько засмеялся.

Все. Это было все, край. Ася рухнула на ближайший стул так, что едва не слетела туфля с левой ноги, и, запрокидывая голову, всплескивая руками и всхлипывая, захохотала. Слезы брызнули сразу.

— Симагин! — давясь истерическим смехом, время от времени выкрикивала она. — Да пошел ты к черту! Дурак! Да я вовсе не к тебе шла!

Так они и смеялись: Ася — словно кто-то судорожными движениями, впопыхах, насухо вытирал скрипящее и взвизгивающее от чистоты окно, и Симагин — словно негромкий седой колокольчик позвякивал.

А тут и чайник поспел. Отвернувшись от Аси и тем оставив ее как бы в одиночестве досмеиваться, утирать слезы и поплывшую краску, Симагин принялся за дело, приговаривая:

— Лавандочки положим, это от нервов. Мяты для вкуса, ты всегда любила ментоловые сигареты... Живи-ительный будет напиток...

Ася, медленно успокаиваясь, смотрела в его худую спину. Чем-то он вдруг напомнил ей Офелию — розмарин, это для памятливости...

Почему он так спокоен? Он что, ждал ее? Это и впрямь заговор?

Тоже мне, свет...

Бред. Вот чем кончился этот сумасшедший вечер. Полным бредом и полным сумасшествием.

Как он мог сговориться с Александрой? Да и зачем?

А не так уж все и забылось, кое-что всплывает помаленьку, проявляется. Розмарин для памятливости... Точно. Вот на этом стуле я всегда и сидела. А ведь Симагина не Сергей зовут. Все-таки, кажется, Андрей. Почему он меня не поправил?

Пренебрегает. Действительно, какая ему разница, как я его зову. Симагин, и точка. Вот ведь мистика, только сего-

дня мечтала говорить: Сереженька... то есть Андрюшенька... тьфу!

— Симагин, — сказала Ася, — а ведь тебя не Сергей зовут, а Андрей, правда?

— Правда.

— Какого же лешего ты меня не поправил? Ну — забыла... так ведь сколько лет прошло, имела я право забыть?

— Имела, — невозмутимо ответил Симагин, колдуя с заваркой. — Потому и не поправил.

Логично, подумала Ася. Кошмар. А я — кретинка кретинкой. Ноги гудят... А ведь еще обратно как-то выбираться. Ну, я устроила себе вечер воспоминаний. Не удалось в Петропавловке погулять — зато тут нагулялась на всю оставшуюся жизнь. Редкостный идиотизм! Скорее бы домой — и забыть, забыть все это скорее. Всех ведьм, всех ведуний, всех колдунов и магов, всех бывших и настоящих любовников...

Но не так все было просто. Она ощущала свое тело, которое не требовало больше ничего, не вопило панически, а лишь тихо радовалось, отдыхая от соковыжималки метро, от напряженной ходьбы вслепую, от привычного, почти неосознаваемого, но изматывающего бабьего страха перед одиноким перемещением по ночному городу; и кухня, на которой она когда-то женственно, семейно, радостно варила суп, и мыла посуду, и ела этот суп из этой посуды с этим Симагиным и с Антоном, и пила с ними чай, вдруг стала чувствоваться как самое спокойное, самое надежное, самое защищенное место на свете. Не хотелось никуда идти. Вкусно пахло свежим чаем. И домом. Дома у нее пахло тоской. А здесь — пахло вкусным чаем и домом.

Но что же все-таки произошло? Что-то совершенно невозможное... нереальное.

— Ну, объясняй! — потребовала Ася.

Симагин обернулся:

— Я?

Она только молча втянула воздух носом. А потом, когда он снова отвернулся и она поняла, что больше он ничего не скажет, спросила:

— Курить у тебя по-прежнему нельзя?

— Можно. Но уже чай готов. Попей сначала, Ась. Бутербродик сделать?

Ась... Бутербродик... Сю-сю-сю. Симагин во всей красе.

Она вытянула ноги, откинулась на спинку стула и, запрокинув голову, даже прикрыла глаза. Хорошо... Ничего не ответила. И Симагин молчал. Только позвякивала посуда. Наверное, он чашки доставал, и Асе стало немного интересно их увидеть — вспомнит она эти чашки или нет; но не было сил поднять веки. Забулькал разливаемый чай. Она по-прежнему сидела с запрокинутой головой и закрытыми глазами. Медленно, почти равнодушно произнесла:

— Я же домой добраться не успею.

— Такси позовем, — услышала она голос Симагина. — Я тебе денег дам, если что. Отдыхай.

— Такси теперь тоже разные бывают...

— Ну хочешь — я тебе в Антошкиной комнате постелю. Утром двинешься.

У Аси перехватило горло, и глаза открылись сами собой, она уставилась на Симагина.

— Андрей... Для тебя это по-прежнему... Антошкина комната?

Симагин, осторожно и сосредоточенно несший к столу дымящиеся чашки на блюдцах, бросил ей в лицо удивленный взгляд.

— Знаешь, Ася, — проговорил он и поставил одну чашку перед нею, другую — на противоположный край стола. — Вот сахар... если хочешь. Вот ложечка... Знаешь, Ася, среди прочих легенд о знаменитом академике Орбели есть такая. — Он ногой придвинул второй стул и сел напротив Аси. — На каком-то административном действе некий хмырь обратился к нему: «Вы, как бывший князь, должны понять...» Величавый академик величаво повернулся к хмырю и пророкотал: «Князь — это не должность, а порода. Вы ведь не можете сказать о собаке: бывший сенбернар».

Некоторое время они молча смотрели друг другу в глаза. Потом сквозь комок в горле Ася сказала:

— Спасибо.

Симагин чуть улыбнулся и пожал плечами.

— Может, все-таки бутерок?

— Знаешь, я так устала и задергалась, что́ не смогу есть. Может, чуть позже. Ты себе сделай, если хочешь.

— Я ужинал.

Она улыбнулась, украдкой разглядывая его. Она, собственно, до сих пор толком и не успела его разглядеть. Как-то он, похоже, и не изменился совсем. На мне, подумала она, время сильнее сказалось, чем на нем, это точно. Ну еще бы. Без детей... Впрочем, доподлинно я этого знать не могу, конечно. Но, во всяком случае, явно без живущих с ним под одной крышей детей... Только некий флер аскезы на физиономии. От этого глаза и лоб кажутся больше, а улыбка — светлее.

Бабы, похоже, в доме нету, консервами питается. Бульонными кубиками.

— Вижу я, как ты ужинаешь. Кожа да кости остались.

Симагин смолчал.

— Я сейчас расскажу... Слушай, мы никому не мешаем? Ты один?

Симагин покивал. Потом сказал:

— Старики совсем в деревне осели. Там же теперь приграничная зона, режим. А чтобы сесть на поезд, нужно переместиться в город, потому что вокзал в городе, значит — за границу, значит, письменные заявления, оформления, очереди, визы, за все плати... Не наездишься.

— А женщины у тебя что, нет?

— Я тебе ложечку дал? Ага, вижу, вон она.

— Нет, правда. Тебе что, никто не нравится?

Симагин только головой покачал от такой назойливости. Потом картинно поднял чашку.

— Мой прадэд гаварыл: имэю вазможнаст купыт казу — но нэ имэю жилания. Имэю жилание купыт дом — но нэ имэю вазможнасты. Так випьем за то, чтоби ми даже пад давлэнием наших вазможнастэй ни-ка-гда, — он назидательно повел указательным пальцем левой руки, — нэ паступалы напирикор нашым жиланиям!

— Максималистом остался, шестидесятник недобитый...

И осеклась. Что-то меня чересчур несет, подумала она. Не в тех мы отношениях, чтобы вот так вот откровенно спрашивать и дружески подтрунивать...

Вдруг с кромсающей резкостью ударила в глаза и даже в кожу ладони их последняя встреча на набережной. Как при всем честном народе по морде его колотила... и через бог знает сколько лет явилась — не запылилась: где тут нужник? А он как ни в чем не бывало. Наверное, у него так и осталось: от этой мелкой твари можно ожидать чего угодно. Человек же не обижается на муравья, если тот заползет куда не надо. Просто не обращает внимания; а если слишком уж надоест — сдувает. Или давит. Неужели он так меня видит? Наверное. Даже не поправил, когда я, кретинка, имя перепутала... Ой, стыдуха!

А я — слишком расслабилась. И впрямь как-то нелепо по-домашнему. Равнодушное благодушие. Да и не вполне равнодушное... Безопасность и покой. Интересно, такое мое состояние — это ему поклон или плевок? То, что мне при нем ни с того ни с сего так спокойно и свободно — это значит, что я его совершенно не воспринимаю как мужчину? Или наоборот, что я его воспринимаю именно как мужчину, а не как кобеля, с которым, если не дошло еще до предслучечных поскуливаний и обнюхиваний, уже и делать нечего?

Надо как-то сосредоточиться. Я же по делу шла!

— Шестидесятник... — повторил Симагин. — Ты мне льстишь.

— Ну уж нет, — сказала Ася. — Мечтатели и болтуны, не способные ни гвоздя забить, ни врага убить. Вообще не способные ни к какому действию. Именно они страну прогадили. Ждали, что Политбюро им рай на блюдце поднесет. Дескать, чем больше мы про рай будем болтать, чем более сладким мы его выдумаем, тем быстрее нам его дадут и тем слаще он окажется...

Симагин пригубил чай.

— Не созрела еще для бутерка?

— Нет, спасибо... Андрюша, — старательно вдавила она во фразу его имя, и он, ощутив это, с пониманием взглянул ей в глаза и улыбнулся как-то особенно тепло.

— Не за что... Асенька, — ответил он ей в тон, и у нее стало совсем легко на душе. Нет, подумала она, я для него не муравей. — Понимаешь, какой-то смысл в твоих словах есть, безусловно... Но все же есть в них что-то и от сермяжной

правды человека, который грамоте не знает, оттого и проку в этих закорючках, которые буквами зовутся, не видит ни малейшего. Не ровен час, для такого наблюдателя дергающийся в петле висельник покажется человеком куда более активным и способным к действию, нежели сидящий с отсутствующим взглядом заморыш, сочиняющий: ту би, ор нот ту би — зэт из зэ куэсчн...

— Ну, знаешь, — Асю задело за живое. — Помимо способности писать «Гамлетов», этот заморыш еще и довольно неплохо шпажонкой помахивал, кажется! Если в том возникала нужда!

— Что такое — нужда? — спросил Симагин.

— Ой, вот только этой метафизики не надо!

— Хорошо, на тебе физику. Все мы уже много десятилетий живем как на зоне, и система ценностей зоны нас просто подмяла. Даже таких вроде бы культурных, интеллигентных людей, как ты. Причем ты сама даже не отдаешь себе в этом отчета. Просто активностью ощущается теперь лишь активность барака: махоркой разжился, стукача в нужник спустил, вертухая обманул, мастырку классную поставил, так что пару дней теперь на работы не погонят... Не выше.

Ася помолчала, потом ответила с тихой тоской:

— Но что же делать, если мы действительно живем как на зоне? Выжить бы — а остальное уже роскошь. Ведь нельзя чувствовать нарочно. Я не могу заставить себя мечтать о том, о чем в действительности не мечтаю, любить того, кого в действительности не люблю...

И опять она осеклась. Не следовало, наверное, при Симагине говорить о любви... вернее, о нелюбви. Бестактно. Но Симагин был, похоже, непробиваем. Он изменился, подумала Ася. С виду — нет, а на самом деле такая железяка внутри чувствуется...

— Влюблен по собственному желанию, — невозмутимо сказал Симагин. — Добр по собственному желанию. Щедр по собственному желанию. Сострадателен по собственному желанию. Звучит абсурдно, согласен. Парадоксально, вернее. Но ПО ЧЬЕМУ ЖЕ ЕЩЕ желанию мы можем стать добрыми, щедрыми и прочее? Мир всегда, Ася, всегда будет стараться сделать нас злобными и скупыми. Конечно, невозможно враз, сей секунд, почувствовать то, чего не чувствуешь. Мы привыкли, что это злостное и, как правило, подлое лицемерие — делать вид, будто чувствуешь то, чего не чувствуешь. Потому что мы всю сознательную жизнь прожили среди предельного лицемерия. Это одна правда. Сиюминутная такая, митинговая. Но, по большому-то счету, история культуры есть история развития действенных методик переплавки естественных, то есть животных, желаний и ощущений в так называемые человеческие, то есть по отношению к простому выживанию как бы лишние. Умирание культуры — это ситуация, при которой такая переплавка начинает давать сбои. Именно тогда воспитанное поведение оборачивается лицемерным. Ну, и самые искренние люди, искренне стремясь к добру, начинают кричать: долой лицемерие! А тут уж моргнуть не успеваешь, как все с удовольствием начинают оправдываться необходимостью выжить — потому что по законам джунглей жить проще. Страшнее, но проще, ведь не требуется духовного напряжения. Обрати внимание: ты же не вздохнула с тоской по поводу того, что мечтать, как в детстве мечтала, теперь не можешь. У тебя, наоборот, сразу агрессия: болтуны! Не способны гвоздя убить! То есть, пардон, врага забить...

— А что же делать? — тихо спросила Ася. Симагин вздохнул.

— Зэт из зэ куэсчн, — сказал он и прихлебнул чай.

А Ася вдруг подумала, что очень давно она не разговаривала ни с кем вот так, о глобальном и не насущном, не бытовом. Да ведь даже и не с кем! Странное ощущение, будто вдруг лет десять-пятнадцать скинула... и разжались жуткие клещи вчера-завтра; распахнулись какие-то годы, даже десятилетия, по бескрайней, как сверкающий океан, глади которых можно было то в шторм, то в штиль плыть долгую, огромную жизнь, а не колотиться в мелких судорогах: пора масла купить, а булки нынче не надо, сойдет и завтра, все равно мне еще одну очередь уже не выстоять, рухну... водопроводчика опять вызывать надо, трубы в сортире сгнили совсем, и кран горячий пора менять, с получки позвоню в жилконтору... а сколько от них всегда грязи в доме, моешь потом, моешь... а на сон грядущий можно минут двадцать

книжку полистать, от-дох-нуть... на каком поцелуе мы остановились, выходя из метро? «Виконт оторвался от ее губ и, безмятежно улыбнувшись, одним легким, изящным движением извлек шпагу из ножен». До зарплаты дотяну? не дотяну? штаны Антону удастся еще раз заштопать или все-таки уже придется выбрасывать? вот и весь куэсчн. Позавидовала Симагину — прямо до стона. Неужели и я бы так могла? Неужели, останься я здесь, меня бы тоже до сих пор могло занимать, как в юности горячей, озабоченной мирозданием и презирающей сермяжные заботы, что-нибудь вроде... ну... Господи! А я ведь даже придумать уже не могу что-то не сермяжное! Что там было... Марсианские каналы. Экология... озонные дыры, перенаселение, «Грин пис»...

Ай кэн писс — бам, бам-бам... И тут она вспомнила.

— Андрей... Извини, что напоминаю... А вот что ты тогда на набережной говорил, лучи любви какие-то, помнишь? Это было всерьез?

Симагин помолчал, сосредоточенно глядя в сторону.

— Это было всерьез.

— И вот сейчас ты мог бы...

— Нет, — сказал Симагин.

— Почему?

Он чуть сдвинул брови.

— Нельзя совершить чудо для себя. Чудо — такая хрупкая штука... Требует полного бескорыстия. Чудо можно совершить только для кого-то — иначе сам не заметишь успешного результата, он утечет между пальцами.

— Как сложно, — сказала она.

— Что делать, — ответил Симагин. — С чудесами просто не бывает.

— Нет, я в том смысле, что это все лирика, а ты мне физику скажи. Ты же мне тогда обещал чуть ли не за полгода все закончить...

— К Восьмому марта, — улыбнулся Симагин.

— Ну, может быть... ты лучше меня все помнишь. Мог бы ты сейчас уже взять свой прибор, или что там...

— Нет, Ася, нет. Успокойся, нет.

Ей вдруг показалось, что она поняла, почему он так настойчиво отнекивается.

— Боже мой, Андрей, мне и в голову не пришло, что ты можешь что-то такое со мной... надо мной... Я просто так спрашиваю, мне интересно!

— Ася, не мог бы, — терпеливо проговорил Симагин. — Когда-нибудь я тебе подробно расскажу, если захочешь, но это отдельный долгий разговор. По-моему, у нас сегодня иная тематика.

Понятно, подумала Ася. Еще одна мечта обманула. Наверное, для него это была трагедия. Он ведь только и жил этой... биоспектралистикой, что ли. Бедный Андрей. Она отпила чаю. Чай и впрямь был живительный. Только уже начал остывать. А мне действительно ничего не остается, как заночевать тут, подумала она, и немедленно бабий бесенок в душе многозначительно подмигнул и завертел пятачком: ой, как интересно... Ася вздохнула. Нет, увы. Ничего интересного. Клещи опять сдвинулись; на миг мелькнувшая в иллюминаторе широкая и ослепительная жизнь хрустнула и разлетелась мелкими твердыми крошками.

— Андрей, ты... только честно... когда в последний раз видел Антона?

Симагин молчал, глядя ей в лицо прозрачными глазами.

— Ну не конспирируйся, пожалуйста. Я знаю, что после нашего разрыва он некоторое время к тебе бегал. Поначалу скрывал... года два... а потом рассказал мне и спросил, как я отношусь. Я сказала, что мне это в высшей степени не нравится. Как он повел себя потом, не знаю. Мы больше не говорили на эту тему.

— Это, извини, я просил его тебе рассказать, — чуть помедлив, проговорил Симагин. — Я сказал, что хватит ему тебя обманывать, привычка к постоянному обману до добра не доведет. Когда он перестал приходить, я понял, что разговор с тобой у него состоялся и что ты все-таки опять запретила нам видеться... а он повел себя максимально честно по отношению к тебе. Но, откровенно говоря, предлагая ему покончить с враньем, я рассчитывал, что за два с половиной года ты могла бы уже и остыть, и не устраивать таких свирепств.

— Нет, не остыла, — задумчиво сказала Ася. — Что-то такое на меня нашло тогда, даже сама не понимаю. Рывком. Как будто меня выключили... или, наоборот, включили ка-

кой-то генератор душевного дерьма. Или выключили систему очистки. Да, собственно, я и до сих пор по-настоящему-то не остыла... То есть вот именно, что совсем остыла... Ой, несет меня. Ну, ты понимаешь?

— Понимаю, — медленно проговорил Симагин. У него было такое лицо, будто он услышал нечто очень важное — но не в ее словах, а... откуда-то с улицы или... непонятно откуда. И это услышанное было — жуткий крик. Кого-то резали. У Симагина расширились зрачки, как от дикой боли, и лоб прорезали страдальческие складки.

Никогда его таким не видела — ни сегодня, ни тогда.

— Ты что, тоже экстрасенс, что ли?

— Упаси бог! — замахал руками Симагин и сразу принял обычный вид. Хотя откуда, подумала Ася, я знаю, какой вид теперь у него обычный? Что я о нем знаю? Может, это он сейчас о своей нынешней семье подумал?

И снова накатила смертельная усталость. Наваждение кончилось. Шок неожиданной встречи выбил на полчаса из сатанинской пляски насущных забот, но полчаса истекли. Что я здесь делаю? Зачем здесь оказалась? Ну, с Александрой я еще разберусь. А сейчас пора уходить. Здесь мне явно не помогут. Поговорить о судьбах мироздания — это да. А вот что-то конкретное... Смешно даже и начинать разговор.

Она украдкой посмотрела на мерно тикающие на стене над столом часы. Часы были те же, что и тогда. Двадцать минут первого. Плохо.

— Не смотри на часы, Ася, — сказал Симагин негромко. — Уже поздно. Никуда ты не поедешь, и давай-ка перестанем терять время. Ты что-то хотела у меня узнать. И какая-то бабка тебя ко мне послала. Давай-ка, пока еще не совсем засыпаешь и язык еще шевелится, рассказывай вкратце.

— Андрей, нужно ли?

— Откуда нам знать заранее, что нужно, а что нет? Пробуй. Всякую дорогу нужно пройти до конца. Но поскольку, строго говоря, ни одна дорога конца не имеет — иди, пока не упадешь.

— Какой ты философический... — неприязненно проговорила она. — Видно, жизнь тебя не заела. Это и понятно, ты же ни за кого не отвечаешь.

— Хорошо, молчу и внемлю.

— Андрей, — устало попыталась Ася высвободиться в последний раз, — если я потеряю сейчас еще минут пятнадцать, мне действительно придется сидеть тут до утра.

— Может быть, мы и до утра не успеем, — ответил Симагин.

Да, он изменился. Железяка внутри. Но это ничего не меняет.

— Вот таких штучек не надо. Честное слово, я попала к тебе совершенно случайно, против воли.

— Случайно или против воли?

— Случайно! — рявкнула Ася. — И против воли!

Он помедлил, а потом мягко улыбнулся. И ее опять будто швырнули с обрыва в кипящий гейзер.

— Симагин, почему ты позволяешь мне на себя орать? — тихо спросила она.

— А кто тебе сказал, что позволяю? — Он вдруг встал. — Вот что я придумал. Тебе надо выпить двадцать грамм коньяку. У меня есть приличный коньяк, без подмесу, без обману. Через пять границ и три линии фронта...

И она сдалась. Молча, даже с некоторым любопытством — охмуряет или просто заботится? — смотрела, как достает он почти полную бутылку и малюсенькие рюмки, как ставит одну рюмку перед нею, аккуратно выплескивает туда один-единственный глоток, потом ставит другую рюмку рядом со своей опустевшей чашкой... Сбылась мечта идиотки, вдруг вспомнила Ася. Я же сегодня коньяк хлестать собиралась... Нет, Симагин человек сугубо положительный, зануда чертов, вдеть как следует не даст. Симагин вбил пробку в бутылку, поставил бутылку на место. Перехватил Асин взгляд и усмехнулся. Экстрасенс не экстрасенс, подумала Ася, но какой-то он стал, помимо прочего... всепонимающий.

— Ну, — сказал он, садясь напротив Аси и поднимая гомеопатическую рюмку, — со свиданьицем.

— Почему ты так уверен, что я буду пить? — спросила Ася, сопротивляясь уже совершенно для проформы.

— Да ни в чем я не уверен, — честно ответил Симагин и улыбнулся. — Просто как все, что называется, люди доброй воли, я надеюсь, что здравый смысл возобладает над древними предрассудками и политическими амбициями.

Ася тоже улыбнулась. Улыбка вышла бледноватой.

— За тебя, — сказала Ася, поднимая свой наперсток.

— О-о! — ответил Симагин. — Рахмат боку.

Они выпили. Коньяк действительно был хорош. Прежде Симагин в таких вещах не разбирался совершенно. Впрочем, в ту пору и разбираться особо не требовалось, в магазинах стояло везде одно и то же и, пока с пьянством бороться не начали, даже довольно пристойное одно и то же...

И через минуту усталость немного отпустила, кровь забегала бодрее. Как писали в старых романах, подумала Ася, после глотка бренди щеки ее порозовели, грудь задышала чаще... Генриетта открыла глаза и сказала: «Ах!» Вот интересно, что будет делать Симагин, если я, наоборот, закрою глаза?

— Поскольку единственное, о чем ты за весь вечер спросила меня по-настоящему заинтересованно, было «вижусь ли я с Антоном», — сказал Симагин, — я так понимаю, что ты хочешь о нем поговорить. Что-то случилось?

А ведь если я сейчас заговорю с ним об Антоне, поняла Ася, пути назад уже не будет. И даже если он ничего не сможет сделать... то есть он, конечно, ничего не сможет сделать, как он может что-то сделать, он же не командарм какой-нибудь... но зато он отныне сможет мне, например, звонить и спрашивать: не нашелся ли Антон? И, чтобы его отучить от звонков, придется огрызаться не менее резко, чем тогда. А у меня уже силы не те и нервы не те. Хочу я, чтобы он мне звонил и спрашивал? Хочу я вообще, чтобы он мне звонил? Зэт из зэ куэсчн. Еще с работы уходя и помыслить не могла, что буду задаваться подобным вопросом. А вот пришлось. Значит, нужно понять, хочу ли я его видеть когда-либо впредь. Она попыталась прислушаться к себе, но ничего не ощутила, кроме теплого свечения коньячной капли, повисшей на краю желудка, как на краю крыши — перед тем как сорваться и полететь вниз. Ася старательно попыталась представить, как сидит это она в деканате, а он

вдруг звонит: «Асенька...» Но только вспомнить смогла, и воспоминание было двойным, будто его рассекало зеркало: то, что в одном воспоминании было левым, в другом было правым; он звонит — и ее будто выбрасывает в коридор звонкая сверкающая катапульта, и она бежит на улицу в наспех накинутом пальто ему, Симагину, ангелу Господню, навстречу, и льнет обниматься, точно год не видала — хотя расстались лишь утром; он звонит — и ее тошнит от одного лишь голоса, принадлежащего жалкому, отвратительному, худшему в мире человеку, и хочется этого человека гадливо раздавить ногой. Симагин ждал, не торопил, не подгонял, не канючил; лицо было сосредоточенным и серьезным. Вероятно, он ждал бы так и еще полчаса, и час. Но не сказал бы ни слова. Нет, не жалкий, не отвратительный. Налево пойдешь... направо пойдешь... Ася глубоко вздохнула, словно собираясь нырять.

— Антона призвали той осенью, — начала она, — и я ничего не смогла с этим сделать. Дергалась туда-сюда, а не получилось ничего. Да и он такой, знаешь, вырос... от этих уверенных блатных его буквально тошнило, не хотел он среди них оказаться — ну, и оказался в итоге среди желторотиков...

Вот так, думал Симагин, с трудом сохраняя лицо спокойно сочувствующего слушателя. От боли и отвращения к себе в груди его будто сжались какие-то ледяные тиски. Вот так, чистоплюй болотный. Это тебе не о поколениях рассуждать, не об общих тенденциях. Это был твой личный выбор. И ты предпочел ничего о них не знать. Спрятался за очень благородное: раз я им не нужен, значит, я не имею права вторгаться в их жизнь, не имею права совать свой нос в дела, к которым они... она... если бы я ее спросил, меня бы ни за что не допустила. Один раз, дескать, я спросил. Получил по морде — и успокоился. Не в том смысле успокоился, что стал спокоен, а в том, что решил не брать на себя ответственность за непорядочный поступок: выяснение ее обстоятельств против ее воли. Я в замочные скважины за любимой женщиной не подглядываю! А если бы подглядел, увидел бы вещи, которые дали бы тебе право на многое... Должен был подглядеть, тварь!!! А теперь уже поздно. Поздно? Поздно.

Ах, поздно! Хоть вешайся, хоть башку себе раскрои об асфальт — это можно, это никогда не поздно. А спасти ее — поздно. А что же теперь? Теперь — Антон. Про него я тоже не счел себя вправе что-то знать, раз она решила его ко мне не пускать. Ах, тряпка. Она была права тогда, права кругом и во всем: тряпка, ничтожество. А теперь — Целиноградский котел. Ну, Антона я вытащу. Клянусь. Асенька, девочка моя, Тошку я спасу, обещаю. Значит, Целиноградский котел... Конечно, ей ничего не сообщили. У нас вообще о котле не сообщали, и в Уральском Союзе тоже ни слова в официальных СМИ. Мясорубка. Две российские дивизии, полученные по военной статье договора о взаимопомощи, Уральский Союз кинул на юг, тщась удержать хотя бы те лоскутья северного Казахстана, которые в основном населены русскими; но в марте Шестой тумен казахских волонтеров внезапно — разумеется, лишь для окружающих внезапно, не для себя — перешел на сторону таджикских талибов, полностью оголил тургайский фланг и сам ударил уральцам и их союзникам в спину.

— Андрей, у тебя что-нибудь... болит? — осторожно спросила Ася.

— Н-нет... почему ты так решила?

— У тебя такое лицо...

— Нет-нет.

— Ты извини, я надоедаю тебе со своими проблемами... я понимаю, что ты в этих делах ни бум-бум... Очень долго рассказываю?

— Я тебя внимательно слушаю, Ася. А в списках пропавших без вести его тоже не было? — спросил Симагин, чтобы оживить разговор и тем раскрыть начавшие было в очередной раз смыкаться створки Асиной раковины.

— Не-ет, в том-то и дело! Вообще ничего! — Она была счастлива уже оттого, что вдруг нашелся человек, которому все это можно рассказывать. Не сухую сводку из трех фраз, покороче, поинформативнее, как, скажем, той же Александре, а от души, так, как выговаривается. Симагин. Надо же, Симагин. Кто бы мог подумать. — В одном комитете матерей, правда, какой-то капитанчик-регистратор намекнул... именно намекнул, понимаешь, ничего конкретного... будто

некий теплоход, на котором по реке Белой транзитом перевозили новобранцев из России, был то ли захвачен пограничниками башкир, то ли потерпел аварию... Знаешь, у нас теперь, по-моему, там, где авария, сваливают на диверсию, а там, где какой-то военный провал, сваливают на аварию. Вот помяни мое слово!

— Похоже на то, — сквозь зубы проговорил Симагин.

Сволочи! Сволочи!! Несчастные бабы сутками, неделями обивают пороги, ночуют в приемных, на коленях стоят и молят об одном: скажите! Уж не спасите, ладно, бог с вами — хотя бы просто скажите! И не говорят. Крутят-вертят, намеки, понимаете ли, как бы невзначай разнообразные подкидывают, чтобы у всех мозги пошли наперекосяк от обилия противоречивых и невнятных версий, чтоб никто уже ничему не верил и все махнули бы на все рукой. Капитанчик-регистратор...

— У тебя тоже такое впечатление? Ну, вот... А раз захвачен или раз авария на чужой территории, значит, надо еще несколько месяцев ждать, пока поступит информация. Пока там вся эта дипломатическая переписка провертится... Понимаешь? Ну с ума сойти! Письмо от него последнее было в феврале, я говорила, да? Сейчас — август. И еще несколько месяцев ждать!

Антон, думал Симагин. Антошка. С которым мы ходили в тогда еще работавшую химчистку, его рука в моей, — и потом, беря Асю за руку, я в первый момент всегда удивлялся: какая у нее рука большая. Который хотел стать писателем, как мой друг дядя Валерий Вербицкий, чтобы решить все на свете неразрешимые вопросы — потому что решать неразрешимые вопросы есть профессия писателей, так ему сказал я... У меня до сих пор лежит тетрадка с его первым рассказом, он подарил. Рассказ о том, как у маленького мальчика поссорились мама и папа и мальчику стало так одиноко и страшно, так худо и так жалко их обоих, что он начал умирать; и, спасая его, мама и папа вынуждены были встречаться, посменно дежурить у его постели, советоваться, как лучше сделать то или это, все время быть вместе, и они даже не заметили, как опять помирились, и тогда мальчик поправил-

ся... Целиноградский котел. Без малого семь тысяч мальчишеских трупов.

— Ну, я понял, — сказал Симагин. — Завтра попробую начать дергать за ниточки. Ты не думай, кой-какие возможности у меня есть.

— Да ладно... — сказала Ася. — Знаешь, я уж забыла, зачем тебе это рассказываю. Просто так... Делюсь с не вполне чужим человеком.

— Спасибо, — проговорил Симагин. У него болели скулы — так стиснулись челюсти, пока слушал.

— Симагин, — внаглую попросила Ася, — а давай еще коньяку треснем.

— Давай, — улыбнулся Симагин и поднялся.

— А давай я закурю, — сказала Ася, внимательно глядя, как он разливает свою гомеопатию.

— Конечно, кури, Ася, какой разговор. Будь как дома.

— О-о! — сказала Ася. Теперь она просто блаженствовала. Ай да Александра. Тут и впрямь свет, подумала она, пригубив коньяк. С удовольствием раскурила сигарету. Выговорилась. До чего же славно выговорилась. Надо же, на сердце легче.

— Ась, — попросил Симагин, — а теперь расскажи все-таки, как тебя ко мне занесло.

— Ох, Андрюшка, это отдельный цирк. Ты сейчас просто обалдеешь! Значит, в полном бабьем отчаянии я хватаюсь уже за какие только подвернутся соломинки, и надо ж такому случиться...

Симагин слушал. Вот это да, думал он. Вот это да. Эмпатка, разумеется. И очень сильная, могла бы на эстраде выступать. Был такой Вольф Мессинг во времена моего детства и ранее... Но что, собственно, она почувствовала? Я же как пень сижу. Дерево деревом. Не очень понятно. Неистовое, на уровне инстинкта самосохранения старание так вести себя, чтобы застраховаться от любых этически нежелательных последствий, — как свет воспринимается, что ли? Интересно. Надо было бы с нею поговорить... Только вот разберусь с Антоном. Нет, нет, Антона я вытащу. Это реально. Я чувствую, что это реально, это мне по силам. Хоть какая-то польза от тебя будет в этом мире, Симагин.

— И вот я здесь, граждане судьи, — закончила Ася и вдруг почувствовала, что у нее слипаются глаза. Вторая рюмка ее добила, сработала не как тоник, а как снотворное. Сейчас ей море было по колено, и разлучаться с так по-доброму слушавшим ее Симагиным никак не хотелось, но очень хотелось спать. И Симагин, чертяка, снова все почувствовал.

— Дело к двум идет, — мягко сказал он. — Давай-ка я тебе покажу, где именно ты будешь нынче смотреть сладкие сны.

— Почему ты думаешь, что я буду смотреть сладкие сны?

— Потому что коньяк был сладкий.

Ася засмеялась. Ужасно хотелось сказать сидящему напротив человеку что-то ласковое. Или даже по руке погладить, что ли. Но... вдруг он решит, что она вот этак вот и впрямь пытается к нему вернуться?

И не примет?

— Симагин, Симагин, ты не зазнавайся... — сонно пробормотала она.

— Ни в коем случае, — серьезно сказал он. — Пошли.

Они пошли. Это было поразительно. Как будто он нарочно готовился к ее приходу. Может, они с Александрой все-таки удивительнейшим образом сговорились? Ох, чушь. Но не может же этого быть: мебель та же, стоит так же... книжки те же, что Антон тогда читал. Закладки Антоновы торчат. Боже мой! Вот эта, с утенком... мы десяток таких купили, когда Антон пошел в школу. Я про них и забыла, а теперь вспоминаю, узнаю — точно, те... Мемориал. Даже нарисованная когда-то Антошкой картинка, совсем выцветшая, висит, приколотая кнопками — наверняка теми же самыми! — на своем тогдашнем месте. Наверное, ее и снять теперь нельзя — на обоях останется темное пятно по форме листа. Висит тут все эти годы... как укор. Мне укор, подумала Ася и помрачнела. Я ушла. Это что же, я — просто-напросто стерва? Вот так открытие! Стоило за этаким открытием сюда тащиться... Симагин достал из комодика постельное белье, кинул на кресло. Достал рыжую подушку, взялся за наволочку. Он что, мне еще и стелить будет?

— Я сама, Андрей.

— Хорошо, — ответил Симагин и, выпрямившись, повернулся. На какой-то момент они оказались очень близко друг к другу — и неловко замерли.

— Когда завтра нужно проснуться? — спросил Симагин потом. Тогда Ася сделала маленький шажок назад.

— Путь из твоего угла неблизкий, так что часов в семь продрать глаза надо обязательно. А лучше — в полседьмого.

— Понял. Бу зде.

— Андрей, ты можешь не вставать, если тебе это рано. Я тихохонько удеру, а ты спи...

— Еще не хватало. Покормлю, провожу, платочком помашу.

Он повернулся и пошел из комнаты.

— Андрей... — позвала она, еще не зная, как продолжить. Она очень хотела спать — но как же не хотелось ей, чтобы кончался этот вечер!

Симагин остановился на пороге:

— Что, Асенька?

— А... у тебя и в других комнатах мебель та же, что тогда? — Ничего умнее она не смогла придумать. Но и это было глупо донельзя.

Он улыбнулся.

— Да. Спокойной ночи.

И плотно притворил за собою дверь.

С полминуты она стояла неподвижно и только скованно, почти робко продолжала осматриваться, постепенно вспоминая сначала книжные полки: мы их тоже с Симагиным вместе покупали, сколько гонялись тогда по магазинам в поисках полок для Антона и набрели наконец... потом — прочие, совсем уже мелкие мелочи... Нет, не мемориал, конечно. На столе, как сейчас помню, всегда стоял пластмассовый стакан с карандашами — его нет. В угол Антон всегда кидал мячик — нету мячика... Здесь он спал маленький. А большим эта комната его уже не видела. Сюда я заходила на цыпочках поправить одеяло, проверить, спокойно ли спится зайчику нашему, а потом... потом шла — туда. И мы с Симагиным гадали: если вдруг Антон проснется, слышно ему будет отсюда или нет, как мы... Что — мы? Что?! Перестань. Ничего не было.

Мало ли с кем было.

А ведь Андрей, наверное, продолжает встречаться с Вербицким. Да-да, Вербицкий. Странно: я даже не вспомнила о нем здесь сегодня, даже в голову не пришло спросить этак невзначай... А впрочем, ничего странного. Злое наваждение длилось тогда месяца два, от силы три; Вербицкий осыпался с Аси, как высохшая грязь. Но последствия злого наваждения оказались непоправимы. Радость не вернулась, и мир, во времена Симагина бывший цветным, ярким и гулко просторным, так и остался тускло-серым и тесным навсегда. Да-да, действительно, припоминаю; я сегодня сидела на том месте, где сидел Вербицкий, когда пришел в первый раз, и меня тогда, помню, просто крутило и плющило чувство близкой беды... Вот вам женское сердце.

Какие все это бури в стакане воды, если посмотреть с мертвой, стратосферной высоты нынешних лет. Нынешних бед.

А ведь Симагин, наверное, постелил мне то белье, на котором тогда спал маленький Антошка. Наверняка.

Лечь на Антошкину простыню...

А ведь надо сначала раздеться. Здесь. Вот картонная стеночка, за нею — Симагин. Тоже, наверное, уже лег. Ася проверила, плотно ли закрыта дверь, не может ли вдруг распахнуть ее какой-нибудь невероятный, откуда ни возьмись, сквозняк. Потом погасила свет — и опять пережила легкий и отчего-то приятный шок: рука сама привычно пошла к выключателю; тело потихоньку начало вспоминать, будто пробуждаясь после многолетней спячки или приходя в себя после катастрофы, повлекшей долгую потерю памяти... В полной темноте и все равно стесняясь, словно Симагин мог видеть и в темноте, и через стену, начала медленно сощипывать, слущивать с себя одежду. Ни пижамы здесь, ни ночной рубашки... Она долго колебалась, снимать ли лифчик. Все-таки сняла — грудь облегченно стала собой — и несколько секунд растерянно и нелепо держала за тонкий длинный хвост, как драгоценную крысу, не представляя, куда его положить так, чтобы он не перемешался с этой комнатой, чтобы комната его не заметила. Сунула под подушку. Когда-то она раздевалась по ту сторону этой тоненькой

стенки. В трех шагах от того места, где стоит сейчас. И мужчина, лежащий сейчас по ту сторону этой стенки, смотрел, любовался и был счастлив... Сама не понимая, что делает и зачем, она подошла к стене вплотную, медленно провела по ней ладонью. Решительно содрав трусики, швырнула их на пол и прижалась к стене грудью, животом, ногой, щекой; потом подложила под щеку сложенные одна на другую ладони. Закрыла глаза. Смотри, квартира. Вот я. Бывшая женщина твоего хозяина. Состарилась очень? Казалось, стенка слегка колышется. Казалось, Симагин глазами своих стен все-таки видел ее. Может, он своей стеной даже немножко ее чувствовал. Зачем-то она прижалась плотнее. Обои сначала были прохладными, но скоро согрелись.

Симагин, как и два часа назад, опершись ладонями на подоконник и ссутулившись, стоял на кухне и смотрел в окно. Теперь свет не горел, но за окном все равно была только тьма, лишь кое-где — освещенные прямоугольники в соседних домах. Вон там болеют, кашель не дает уснуть, а либексин не найти, хотя ведь оставались же две таблетки, точно помню... А там сбегали за добавкой, купили втридорога и теперь с руганью делят остатнее по справедливости, потому что опять не хватает и уж в такой час нигде не купить, ни за какие деньги; не дошло бы до мордобоя. А там к экзамену готовятся. А там целуются.

Что же ты наделал тогда, Симагин.

Либо выть от боли и отвращения к себе, кататься по полу, словно обезумевшее животное, либо относиться к жизни как к черновику, в котором не все, но многое, многое можно поправить. Честнее, конечно, выть от боли. Но тогда не сможешь поправить даже то, что поправить действительно можно.

А Вербицкий и не виноват почти. Я виноват. Ибо сказано: не вводи во искушение. А я... Сделал подарочек.

И все ж таки не мешало бы поговорить с ним по душам.

Может быть, позже.

Ну почему я не узнал всего этого сразу?

Впрочем, сразу я и не мог. А когда смог... ну, узнал бы четыре года спустя... Какая была бы разница?

Дитятко мое, ласково шептала мне Ася тогда — но это оказалось слишком правдой.

Всякий творческий человек — и, боюсь, мужчина в особенности, потому что мужчины вообще более инфантильны — пока сохраняет творческие способности, остается немного ребенком. В чем тут дело — кто его знает, можно было бы много и долго рассуждать на эту тему, но, хоть железной логикой это опровергай, хоть умнейший трактат напиши о том, что так быть не должно, факт все равно останется фактом, и никуда от него не уйти. Так называемый взрослый человек притерт к миру и потому уже не ощущает его, а лишь живет в нем. Так называемый ребенок еще не живет в мире, а лишь познает его.

Как откликнулась тогда Ася на объективную потребность такого ребенка в младшей маме! Которая, как и подобает маме, практически полностью освободила бы от быта, которая никуда не денется, никогда не предаст, ничего не требует и за все благодарна. Которая отвечает за тебя, но за которую не отвечаешь ты. При которой можно все. И которая, вдобавок, была бы и беззаветно влюбленной, одухотворенной любовницей. Если ты разбил коленку, хорошая младшая мама, как и всякая хорошая мама, никогда не закричит: «Видишь, чем эти шалости кончаются! Никогда больше так не делай! Ты надрываешь мне сердце!» — а скажет только: «Пожалуйста, будь впредь осторожней. Любовь спасает от многих бед, но, к сожалению, не от всех. Твои коленки нам нужны здоровыми». Однако если ребенок ухитряется разбить коленку об мамин висок, даже мама ничего уже не сможет сказать ему в утешение.

Пока мне можно было все, я и мог все. Я познавал мир стремительно, точно и безоглядно, как играющий ребенок. Не сейчас я всемогущ, а тогда был. Сейчас я лишь собрал урожай, а сеяли мы давным-давно вместе с той женщиной, которая спит сейчас за стеной; прекрасной женщиной, которую я — я, не Вербицкий — почти убил своей детской убежденностью в том, что подлость, гнусность, мерзость человеческая есть, конечно, в книгах, фильмах и газетах, но там, где я, — их нет, а там, где мама, — их и в помине быть не может. Верой в то, что взрослые никогда меня не обидят, ведь я

такой хороший, такой послушный и ласковый, и учусь на одни пятерки, и всегда вымою посуду или вынесу ведро на помойку, если мама меня попросит...

У него скрипнули зубы.

Так. Только без рефлексии.

Две минуты свободного самобичевания привели к необходимым результатам. Ты понял, в чем именно оказался когда-то дерьмом, — значит, понял, что должен сделать, чтобы хотя бы отчасти перестать им быть. Отвращение к себе — тому, который дерьмо, — дает эмоциональный посыл, необходимый для предстоящей сложной и тяжелой работы. Продолжать угрызаться теперь — это уже саботаж. Закольцованное самобичевание — не более чем мазохистская разновидность нарочитого безделья.

Легко сказать. Наверное, повеситься мне сейчас было бы куда проще. И честное слово, если бы не надежда на то, что я сумею хоть как-то помочь этой женщине и ее сыну, настоящему, ею рожденному сыну, жалкий дебил Симагин не заслуживал бы ничего, кроме вонючей петли.

А ведь она не спит.

Он понял это внезапно; казалось, просто ощутил щекой. Казалось, сквозь две стены да вдобавок сквозь расположенную между Антошкиной комнатой и кухней спальню до него долетело горячее женское дыхание. Несколько секунд он крепился, осаживал себя — потом не выдержал; рывком повернулся в ту сторону и посмотрел.

С какой-то завораживающей преданностью прильнув к стене, обнаженная Ася словно бы робко вживалась в комнату, где не бывала так много лет, словно бы отдавалась ей...

В горле и в низу живота вспучилось густое пламя.

Та самая Ася, вот она какая... и вот...

Я ее люблю.

Симагин, судорожно сглотнув, заставил себя отвернуться. Нельзя так подглядывать, грех.

Потом. Все остальное — потом. Антон.

А ведь я никогда не ощущал, что он — сын, существо иного поколения. Он просто был мне самым близким, пусть и слегка младшим, другом; я с ним просто-напросто впадал в детство на законном основании, доигрывая то, чего в собственном детстве не успел сыграть, потому что читал не по возрасту умные взрослые книжки...

Впрочем, что я знаю? Возможно, это лучший из вариантов отцовства — не строгий, вечно правый дрессировщик-всезнайка, одним лишь гордым осознанием качественной возрастной границы лишенный способности по-настоящему понимать близкого человека, а немного взрослый товарищ, вместе с которым можно общими усилиями разобраться в хитросплетениях любой игры, в том числе и той, которая, сколько бы лет тебе ни было, всегда накатывает из будущего, всегда требует от тебя стать более умным, чем ты есть сейчас, и называется жизнью...

Антон погиб семнадцатого марта и даже похоронен толком не был — всех, кого разодрало железо у той высотки, фундаменталисты впопыхах свалили в овраг и слегка присыпали мерзлой глиной. Поднять его оттуда — самое простое; это можно сделать за сутки. Но надо состряпать ему легенду жизни от семнадцатого марта до сегодняшнего дня, надо провести его по этой легенде, надо, чтобы он эту легенду помнил... Надо решить: дать ему прожить эти полгода реально или выдернуть прямо сюда, а легенду вкрапить в память... Пожалуй, второе. Чтобы исчислить и выстроить в реальности мировую линию такой протяженности и сложности, понадобится энергия порядка полного двухмесячного излучения Солнца; это слишком. И, кроме того, подвергать Антошку превратностям случайных флюктуаций, способных деформировать мое хрупкое создание... Лучше пусть в реальности будет пятимесячная дырка. Но — окончательно решим завтра. Надо отдохнуть как следует — работа предстоит действительно сложная, ювелирная, я ничего подобного не делал. Завтра. А сейчас...

Только не смотри туда. Ведь не выдержишь, пойдешь, а это нельзя. Даже подойти к двери и — просто чтобы голос ее услышать в ответ — шепотом спросить, не нужно ли одеяло потеплее... нельзя. Не спугни. Она не твоя. Возможно, никогда уже не будет твоя.

В ночи погасло еще чье-то окно. Еще кто-то решил, что на сегодня — хватит. Освещенных окон не осталось; все заснуло. Неподвижность и тишина.

Позади что-то произошло. Словно беззвучный мощный хлопок коротко дунул Симагину в затылок. Симагин обернулся.

На том самом стуле, где какой-то час назад отдыхала его Ася, сидел человек.

Он был худощав, и смугл, и красив. Горбатый нос, полные улыбчивые губы, блестящие живые глаза. Благородная седина на висках; волосы слегка курчавились. Одет Симагину под стать: мягкие вельветовые джинсы, пузырящиеся на коленях, безрукавка навыпуск, черные матерчатые шлепанцы. Свой парень.

— Так вот ты какой, — чуть хрипло проговорил Симагин.

Тот, кто сидел напротив, покровительственно улыбнулся и встал. Подошел к Симагину легкой, упругой походкой; подал руку. Симагин машинально протянул свою. Рука гостя была сухой и очень горячей, пожатие — удивительно дружелюбным.

— Рад наконец-то познакомиться и лично засвидетельствовать свое почтение, — произнес гость. Бархатный, медоточивый голос. — Добрый вечер.

— Добрый вечер, — машинально ответил Симагин.

— Откровенно говоря, еще с момента твоего появления на нашем горизонте я ждал, что ты захочешь как-то пообщаться. Но... если гора не идет к Магомету, то Магомету ничего не остается, как записаться в секцию альпинизма. — Гость рассмеялся, а потом вернулся на свое место и удобно развалился напротив Симагина. — Я не гордый, — заявил он, а потом со значением добавил: — В мелочах.

— Я тоже не гордый, — ответил Симагин. Он был ошеломлен и не мог пока справиться с собой. Оставалось принять предложенный тон и ждать, когда что-то разъяснится. Мистический ужас улегся, улеглись вставшие дыбом волосы; осталась тревога. Сердце билось мощно и часто. — Просто не пришло в голову, знаешь. Сижу тихохонько в своей щели, — сказал он на пробу, — наблюдаю мироздание...

— Вот это ты правильно поступаешь, — проговорил человек напротив с неожиданной серьезностью. Так, подумал

Симагин. Уже понятнее. Я же никогда ни во что всерьез не вмешивался до сих пор — а тут решил. И сразу удостоен визита.

— Мне ты чаю с лавандой и мятой не предложишь? От нервов?

— С удовольствием. А ты разве пьешь?

— Странный вопрос. Мне ничто человеческое не чуждо. Как и тебе, насколько я понимаю. — Не отрывая от Симагина взгляда, он мотнул головой в сторону Антошкиной комнаты. Симагин лишь сощурился чуть-чуть и даже не покосился туда. Воровать у Аси ее наготу, да еще в присутствии этого... — Все мы где-то люди.

— Я сейчас согрею чайник, — сказал Симагин и шагнул к плите. Гость хохотнул почти с умилением.

— Ты великолепен. Эта женщина будет последней дурой и психопаткой, если уже через несколько дней не начнет целовать твои следы. Как ты цепляешься за человеческое... Скажи-ка, сколько наносекунд тебе понадобилось бы, чтобы вскипятить Средиземное море?

Электрической зажигалкой Симагин зажег газ и поставил чайник на огонь.

— Надо посчитать, — сказал он задумчиво. — Но, собственно, какая разница. Я все равно никогда этого не сделаю. И вот что: есть предложение. Не надо даже взглядами Асю беспокоить. Она думает, что она там одна — пусть так и будет.

— Как скажешь. Хотя я на твоем месте спровадил бы незваного гостя поскорее и обеспокоил ее не только взглядом. Она ведь ждет тебя, неужели не видишь? Поверь моему опыту. Она никогда не простит тебе, если ты позволишь удивительному вечеру закончиться просто так, мирным сном. Или... прости за нескромный вопрос, но я чисто по-соседски... может, от большой возвышенности души ты опять стал импотентом?

— Не знаю, — хладнокровно ответил Симагин. — Давно не проверял.

— Тут я могу помочь практически в любой ситуации, причем совершенно бескорыстно, — заботливо похвастался

гость. — Ты же понимаешь, на плотских утехах я поднаторел, как, наверное, никто. Что, действительно проблемы — или ты просто отшучиваешься?

Прислонившись спиной к холодильнику, Симагин сложил руки на груди и пристально, совсем спокойно оглядел гостя.

— Так вот ты какой, — повторил он уже без дрожи в голосе. Даже с каким-то удовлетворением: интересно ведь, как ни крути.

— Что, странно? — опять хохотнул тот. — Не вонючий, не хромой... Ну сам посуди: ты, с твоим могуществом, стал бы ходить прилюдно, скажем, со стригущим лишаем? Только если бы это понадобилось тебе самому. Так и я.

Он снова встал и вдруг страшно преобразился: не человек, но жуткая глыба беспросветного, засасывающего мрака. Красноватым огнем полыхнули треугольные глаза. Картинно запахнувшись в длинный плащ, он величественно поковылял поперек маленькой кухни, приволакивая ногу и тяжело опираясь на постукивающую по линолеуму массивную трость с инкрустированным исполинскими бриллиантами набалдашником. Бриллианты колко отсверкивали в обыденном голубом свете газовой горелки; паутина выбрасываемых ими при каждом движении трости синих лучей, казалось, похрустывала, как хрустит под ногами промороженный чистый снег.

— Я — часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо! — пророкотал он почти на инфразвуке. Жалобно запела посуда. Надсадно задребезжало в раме оконное стекло, словно отзываясь на дальнюю канонаду. Миг — и жидко потекшие контуры сгустка вселенского мрака вновь слепились в поджарого дружелюбного парня, чуть фатоватого, но обаятельного. Лукаво глядя на Симагина через плечо, он дурашливо, откровенно кривляясь, спросил: — Воланд, а?

И уселся опять. Положил ногу на ногу и сплел пальцы на колене; шлепанец обвис в воздухе, обнажив голую пятку.

— Грешен, люблю иногда пустить пыль в глаза экзальтированным дамочкам и великим поэтам, забывшим, чему равна культура, помноженная на корень квадратный из минус человека. Но между своими-то выпендриваться — себя

же радости общения лишать. — Он вдруг совершенно по-мальчишески сложил два кукиша и завертел ими в сторону Симагина. — Вот вам благо!!

— Не сомневался, — сказал Симагин. — Можешь этим не бравировать.

— Да я и не думал! Наоборот, говорю как на духу. С противником, по крайней мере равным мне по возможностям, хочется болтать запросто, без лицемерия и театральных эффектов. Знаешь, в Китайской империи во времена ее расцвета для обозначения немногочисленных соседних государств, за которыми самовлюбленные китайцы признавали равный себе статус, использовался иероглиф «ди». Основные его значения: «равносильный» и «вражеский». Изящно, правда? Кто равен мне по силам, тот наверняка мне враг, хотя бы потенциально. Но зато только с ним я могу побыть самим собой, с обоюдной пользой пообщаться на равных...

— Отвратительно, — сказал Симагин.

— Зато правда, — проговорил гость и коротко, но цепко впился в лицо Симагина взглядом: — А может, даже и не равен, а сильнее, а?

Симагин пожал плечами.

— Ты так и не знаешь, кто ты?

— Так и не знаю. Симагин.

— На нашем уровне Симагиных нет и быть не может.

— И на нашем Симагин, и на вашем Симагин.

— Будь по-твоему, зануда.

— Зато в тебе веселья на двоих.

— Да, я самый галантный и остроумный собеседник в истории человечества, — просто сказал гость. Симагин засмеялся, глядя на него с нескрываемым удовольствием. — Но, повторяю, я к тебе заглянул не для куртуазностей, а поговорить.

— Давай, — сказал Симагин. — Умному собеседнику здесь всегда рады. Ты чай сладкий пьешь?

— Сделай как себе, — небрежно ответил гость. — «Ди», так уж «ди».

Симагин выключил газ под зашумевшим чайником и вновь принялся расставлять чашки.

— Знаешь, — начал между тем гость, — когда ты вылупился, мы с товарищами, — при этих словах он ослепительно сверкнул открытой, дружелюбной улыбкой, — даже слегка растерялись. Внезапное и совершенно неожиданное появление новой мощной силы спутало все давно сложившиеся расклады. Странные времена настали, — вздохнул он. — Какие-то кнопочки, электроны какие-то, био-спект-ралисти-ка... — произнес он нарочито по складам, как малограмотный провинциал, — и вот кургузый человечек, довольно жалкий, хороший по мещанским понятиям, то есть безвредный — хотя подчас вреда окружающим от него больше, чем от самого старательного подлеца, — вдруг прыгнул на такую высоту...

— Это обо мне? — спросил Симагин, держа свою чашку в руке и ногой придвигая еще один стул к столу вплотную. — Тогда прошу заметить, что разница есть. Подлец вредит сознательно, преднамеренно и извлекает из этого пользу. А безвредный человечек...

— Понял-понял! — жестом остановил его гость. — Но ведь это — еще хуже! В ситуации с подлецом хоть кому-то хорошо от нанесенного вреда — самому подлецу! Хоть кому-то выгода! А тут вообще нелепость: ни себе ни людям. Я считаю, что непреднамеренно вредящий дурак куда виноватее, чем нарочно вредящий подлец.

— Ясно, — сказал Симагин. — Варенья положить?

— Все, что себе, — нетерпеливо сказал гость, — и не более того.

— Тогда пас, я не сластена.

— Да хорошо... На высоту, сказал я, где в течение невесть какого времени обреталась буквально горстка персон, оказавшихся там исключительно благодаря своим личным достоинствам!

— Ну, — улыбнулся Симагин, — разработать методику биоспектральной стимуляции латентных точек... потом, понятия не имея, чем это кончится, провести тайком от всех эксперимент на себе, не спятить от результата, превзошедшего, мягко говоря, все ожидания... Положа руку на сердце скажу — все это тоже могло произойти исключительно благодаря моим личным достоинствам.

— М-да, — проговорил гость и подул на чай. Потом прихлебнул осторожно. — Скромность ты изжил, — удовлетворенно отметил он.

— Да при чем тут скромность? — картинно удивился Симагин. — Я уж не знаю, как там кто из твоей компании добивался вожделенной высоты... охотно верю, что въехали вы туда, скажем, на колоссальной гордыне... Но все равно не могли не пользоваться присущими эпохе техническими, так сказать, средствами... Ну, я не знаю, например... громкое, с употреблением матерных слов изрыгание хулы в адрес Творца в присутствии последнего.

Сидящий напротив Симагина человек захохотал — но какая-то горечь померещилась Симагину на этот раз в его смехе.

— У нашей эпохи — иные средства, но, чтобы ими пользоваться, нужны все те же исключительные личные достоинства.

— И между прочим, — поймал его на слове гость, — гордыня не меньшая.

— Возможно, — мирно сказал Симагин. — Впрочем, прости, ты ведь не об этом собирался говорить...

— Не об этом, но мне отступление понравилось. Ты — го-ордый! — И он погрозил Симагину пальцем. — Не пытайся теперь уверить меня, что не хочешь и никогда не захочешь луну с неба. Теперь я знаю, что ты из нас. И меня гораздо меньше удивляет твое появление...

Симагин оттопырил губу и с аффектированным сомнением покачал головой.

— Так вот. Растерялись мы с товарищами, — человек напротив опять белозубо улыбнулся, — но, поскольку ты сидел тише воды, ниже травы, решили никаких превентивных мер не предпринимать. И признаться, стали уже забывать о твоем возникновении, но сегодня ситуация резко изменилась. Я почувствовал, что ты собрался перейти к активному образу жизни, — он так и сыпал теперешними штампами, и оттого улыбка буквально не сходила с его чувственных губ, взблескивала то и дело, — а это, честное слово, опять меня настораживает. А вдруг ты войдешь во вкус? Вдруг мне когда-нибудь придется еще и с тобой воевать или делить сферы

влияния? Ну совершенно мне это не надо. А тебе? И тебе не надо. Ты не представляешь, какая это изнурительная штука — войны, особенно наши, многотысячелетние... Ведь ты не боец. Сила — да, есть, сила у тебя неимоверная, можешь галактики гасить, насколько я понимаю. Или, наоборот, скручивать новые, если очень постараешься... Но — не боец. Это как с людьми. Теоретически ты можешь выучить все приемы, скажем, карате, можешь натренироваться на снарядах, грушах, тренажерах, что там еще... Но, встретившись с живым противником, пусть более слабым, но привычным к мордобою, ты проиграешь, потому что твоя рука невольно запнется, прежде чем впервые ударить по живому, а его рука — и не подумает. Тебе и в голову не придет вместо того, чтобы провести очередной красивый прием, плеснуть противнику в глаза серной кислотой из подвернувшейся под руку склянки, а он сообразит сразу. Ты сам не понимаешь, во что можешь вляпаться.

— Пожалуй, — нехотя согласился Симагин.

— И главное, чего ради? Тебе так нужен этот парень? По-моему, это у тебя просто память молодости, а вовсе не реальная потребность. Даже я себя иногда ловлю на том, что мне хочется иметь не нынешнее, реальное и, в сущности, очень нравящееся мне окружение, а то, что было... когда-то. Ностальгия. Но я делаю глубокий вдох и говорю себе: не дури. И все кончается. Сын не твой. Давно не любит тебя, давно забыл. Вспомни: когда он сам-то хотел пообщаться с тобой в последний раз? Даже и не вспомнишь. А он этого не вспомнит и подавно. Ну если бы он действительно к тебе что-то чувствовал, неужели так слушался бы маму? Да нет! Как все нормальные люди, тебе говорил бы, что мама разрешила, а маме бы говорил, что пошел к приятелю мутофон крутить. Поверь моему опыту. Когда человек чего-то не делает якобы по столь красивым причинам — значит, он нашел возвышающее его в собственных глазах оправдание, а причина — в элементарном нежелании делать это что-то.

— Антон действительно очень не любил врать, — задумчиво сказал Симагин.

— Но не настолько же, чтобы отказываться от желаемого! Если отказался — значит, не хотелось, это элементарно.

Чужой тебе и по телу, и по духу человек. Которому ты совершенно не нужен. Который к тому же давно истлел. Зачем огород городить? Может быть, ты таким образом хочешь завоевать эту женщину? Так все гораздо проще. Уверяю тебя, она и так никуда не денется. — Гость снова покосился в сторону Антошкиной комнаты, и снова Симагин стоически не поддался на эту провокацию, даже глазом не повел. — Ну, она легла уже... но еще не спит. Минимум усилий — и она сегодня же будет твоей. Придется разве что рюмку ей налить еще одну. — Гость улыбнулся. Симагин улыбнулся тоже. Он решил поддакивать или, по крайней мере, изображать колебания как можно дольше, чтобы гость успел сказать как можно больше. Обычные люди с их мыслями, желаниями и ощущениями были для сидящего напротив прозрачны так же, как и для Симагина — только Симагин старался не злоупотреблять этими своими возможностями, а для гостя злоупотребления были в порядке вещей, — но друг от друга собеседники могли экранировать свой внутренний мир со стопроцентной гарантией и вынуждены были попросту разговаривать: веря на слово, не веря на слово, пытаясь понять, что стоит за словом...

— Искушаешь? — спросил Симагин, все еще продолжая улыбаться. Гость возмущенно всплеснул руками.

— Да никоим образом! — воскликнул он. — Я слишком уважаю тебя, чтобы пускаться на такие простенькие уловки! Просто рассуждаю. Представь: вот вы встретились. Когда вы в последний раз виделись, ему было, кажется, двенадцать. Сейчас почти девятнадцать. Тогда это был ребенок, который вдобавок по привычке называл тебя папой — это подкупает, понимаю... Сейчас — молодой мужчина. Биологически — самец-конкурент, психологически — чужак, с которым тебе двух слов сказать не о чем, социально — еще одна, причем совершенно лишняя, головная боль на всю оставшуюся жизнь. Искушать... — Гость как бы задумался, словно эта мысль лишь теперь пришла ему в голову. — Если уж искушать, то гораздо более масштабно, — проговорил он. — Хочешь, попробую? Не стану тебе предлагать все царства земные и прочее злато-серебро — сам возьмешь, если захочешь. Тут главное — захотеть. Научиться хотеть, вот что тебе нуж-

но в первую очередь. Твоя способность хотеть спеленута атавистическими привычками... вроде привычки зажигать газ под чайником.

Симагин покусал губу. Он был в себе уверен — и все-таки червячок сомнения в своих силах точил, точил сердцевинку души. Нельзя капитулировать перед червячком; надо точно знать, как выглядит мир наизнанку. Я справлюсь, уверен; я выдержу, подумал Симагин. Уверенность и гордыня — это одно и то же? Нет. Чтобы идти дальше, ученый должен быть уверен в промежуточных результатах своей работы на все сто.

Решился.

— Ну, попробуй, — сказал он.

Гость не сдержал удовлетворенной улыбки.

Он не сделал, разумеется, ни единого движения; даже лицо не напряглось, выдавая какое-либо внутреннее усилие. Это был не удар — так, дуновение. Подсадка продержалась в Симагине не более секунды — но этого оказалось вполне достаточно.

Мир стал каким-то... съедобным, иного слова не подберешь. Все разнообразие Вселенной вдруг скрутилось до разнообразия титанического пиршественного стола; желанная женщина — нечто вроде нежной фаршированной индейки, обильно политой острой, пряной приправой... зыбкое розовое зеркало моря на рассвете — это на сладкое... салатные листья моральных принципов, такие широкие, а стоит взять в рот — хрусь, и нет ничего... неимоверно сложный, кропотливый и вкрадчивый танец частиц и полей, испускающий клубы невнятных логарифмов и дифференциалов, ждущий, когда я его пойму, — как хлеб. Стол был круглым и плоским, Симагин один-одинешенек торчал посредине, на единственном возвышении, каким могла похвастаться уныло гладкая поверхность; с этого подобия трибуны он мог дотянуться до любого лакомства, и казалось, единственной проблемой жизни является сообразить, который именно из аппетитнейших кусков просится в рот в данный момент. Но то и дело мимо проносились или проплывали какие-то малоодушевленные уродцы, внешними очертаниями отдаленно похожие на человека, то есть на Симагина; и каждый из

них иногда по дурости своей, по слепоте, а иногда и намеренно, злобно, злорадно заслонял от Симагина одно из предназначенных для него блюд. Время от времени какой-либо из уродов, обнаглев уже вконец, разевал свою отвратительную, мелкозубую зловонную пасть, чтобы откусить или от индейки, или от торта, или хрупнуть салатным листом, хотя салат мог быть настоящей высокой моралью, лишь когда его ел Симагин, в уродливых пастях он сразу превращался в притворство и лицемерие... Или пытался ломоть хлеба стащить прямо из-под симагинского носа, и приходилось, не размышляя ни мгновения — будешь размышлять, голодным останешься! — бить жадную тварь наотмашь. Каждая из тысяч салатниц, гусятниц, супниц, соусников, тарелочек, чашечек, ложечек и вилочек требовала постоянного присмотра. В сохранности ни одного предмета нельзя быть уверенным. От каждого из безмозглых, но хитрых и прожорливых уродов исходила угроза, но передушить их разом по каким-то сложным и не вполне понятным причинам было нельзя — поэтому приходилось все время быть настороже, готовым к подвоху, к удару, к отпору, к бою... Но как все вкусно! Как пахло! Как отблескивал жирок на ветчине, как красиво разложена была петрушка по краям...

Симагин встряхнулся.

— И этим ты пытаешься меня соблазнить? — с искренней иронией спросил он.

Сидящий напротив, казалось, чуть растерялся.

— Ну, — проговорил он, — чем богаты, тем и рады.

— А хочешь почувствовать, как это видится мне? — спросил Симагин.

— А ты сможешь? — после долгой паузы спросил гость с легким недоверием и, похоже, с опаской.

— Попробую...

— Ну-ка, ну-ка. — Гость уселся поудобнее.

Симагин тоже фукнул лишь в сотую долю силы. Он не хотел ни смутить, ни обескуражить, ни, тем более, ошеломить противника. Это был еще не бой, не поединок — лишь чуть позерское преддуэльное метение булыжников плюмажами.

Несколько мгновений гость сидел совершенно неподвижно, потом его передернуло, как от лимона.

— Ну и мир, — сказал он с неподдельным отвращением. — Кошмар, а не мир. Да как ты в нем живешь? Всем должен, всем недодал, перед всеми виноват... Будто забитый ребенок — ничего без спросу взять нельзя... — Он с облегчением захохотал, окончательно приходя в себя. — Да лучше сразу сдохнуть! Это постоянное унизительное напряжение, ни секунды роздыху...

— У тебя там тоже постоянное напряжение и, с моей точки зрения, — еще более унизительное. Держи ухо востро, не то добычу прямо из клюва выдернут!

— Это — естественное напряжение, спокон веку присущее всякому живому организму. А у тебя — выдуманное, вымученное! И вдобавок — совершенно излишнее, ведь и мое напряжение тебя не покидает, тебе тоже приходится охранять свою добычу!

— Неужели тебе и впрямь нравится вот так вот, в полном одиночестве, всех бояться и со всеми бороться? Причем считать это единственно возможным состоянием, навсегда данным, от которого не деться никуда?

— Я никого не боюсь! — гордо и звонко отчеканил сидящий напротив. — Нирваны нет, я не обещаю снулой безмятежности. Жизни без борьбы не бывает. Но, по крайней мере, я даю свободу!

— Свободу рвать у всех из глотки то, чего они не хотят отдать по доброй воле?

— А разве свобода подразумевает что-то еще?

Симагин только головой качнул. Потом отхлебнул чаю.

— Как тебе сказать... Свобода — это возможность быть с теми, кто в тебе нуждается, и помогать тем, кому нужна помощь.

— Нуждаются и ждут помощи только паразиты. И вы, проклятые праведники, своим сочувствием и своей помощью только развращаете людей. Плодите паразитов, которых и без того слишком много. Самостоятельный, сильный и гордый человек ни в ком не нуждается и ничьей помощи не ждет.

— Все нуждаются — каждый в ком-нибудь. И помощь подчас нужна всем — каждому, кто попал под давление, действительно превышающее его способность к сопротивлению. Каждому, кто погибает, но не сдается. А иногда даже тому, кто сдается — из страха утащить своей гибелью за собой кого-то еще. Бывают сильные люди, бывают слабые люди — но и давление бывает разным, и даже самый сильный человек может оказаться под таким прессом, из-под которого не выбраться в одиночку.

— В одиночку! Вот ты и сказал самое страшное для таких, как ты, слово... Вы долдоните: любовь, сострадание, помощь, вы напяливаете на себя эти сделанные из соплей с сиропом цепи только из стадного инстинкта, а значит, вы не стали людьми по-настоящему, вы все еще животные, для которых самостоятельность — смерть... Для вас самостоятельность — синоним одиночества! Синоним изгнания из стаи!

Симагин перестал отвечать. Этот обмен любезностями подкосил мирную непринужденность и казавшуюся неоспоримой еще пять минут назад умозрительность разговора. Стало очевидно: им не договориться.

— Это правда, — негромко сказал сидящий напротив, глядя на Симагина с какой-то недоуменной жалостью. — Правда. Человек, выпущенный на свободу, занят только тем, что рвет из глотки у всех, до кого в состоянии дотянуться. А если кому-то кажется, что он устроен иначе, — ему это именно кажется, и он опаснее и отвратительнее остальных, потому что он рвет из глотки так же, как и остальные, но при этом еще произносит красивые слова. Неужели тебе хочется быть этим обманщиком, этим... подонком? Ведь если бы не было так, никогда, например, не возникла бы европейская цивилизация. Или, по крайней мере, никогда не стала бы доминирующей... Потому что доминирующей может стать лишь та цивилизация, которая наиболее соответствует природе человека.

— А может, она всего лишь пошла на поводу у животного начала в человеке? — уронил Симагин.

— Ну да, а цари и большевики не пошли! — язвительно подхватил гость. — Они к духовному воспарили! То-то приличный чистый сортир теперь только у президентов и оты-

щешь! Вождям, значит, простительны животные слабости — но вот уж если простой строитель коммунизма окажется столь морально нестоек, что, презрев положенное ему духовное пыланье, унизится до метаболизма, то пусть гадит на свой страх и риск где и как сумеет! Я уже не говорю о сексуальных коллизиях в коммунальных квартирах... А меж тем если там, где человек вынужден быть животным, ему не позволять этого, он превращается в скота! Так что не надо ля-ля! — простецки возмутился он. — Духовность... Помнишь, Макиавелли писал: «Если вы рассмотрите людские дела, то увидите, что те, кто достиг великих богатств и власти, добились их силой или обманом, и захваченное с помощью лжи и насилия они приукрашивают фальшивым именем заработанного, чтобы скрыть мерзость своего приобретения. И те, кто по наивности или по глупости избегает такого рода действий, остаются навечно в рабстве, ибо верный раб — все равно раб, а добрые люди всегда бедны; из рабства помогает выйти только измена или отвага, а из бедности — погоня за наживой и обман».

— О-о, — засмеялся Симагин, — если уж мы начнем за спины великих прятаться... Помнишь, Конфуций говорил: «В государстве, в котором царит порядок, стыдно быть бедным. В государстве, в котором царит беспорядок, стыдно быть богатым».

Гость в сердцах даже прихлопнул себя ладонью по колену:

— Опять эта окаянная ваша русская зависимость от государства!

— Ну, ты в пылу полемики уже и Конфуция в русские зачислил! — от души засмеялся Симагин, с облегчением и удовольствием чувствуя, что сидящий напротив, не на шутку разволновавшись, напрочь утратил свою снисходительную неуязвимость. — Это лестно, честное слово!

Гость оторопел на мгновение, потом тоже рассмеялся — чуть принужденно. Потрепал Симагина по колену неожиданно вытянувшейся поперек кухни рукой:

— Ну азиатская! Азиатская, я хотел сказать. Ну почему, скажи на милость, мне должно быть дело до состояния государства, если у меня, у меня как такового, мое дело спорится? Да лишь бы это государство мне не мешало — и пропади оно пропадом!

— Дом пропадом, семья пропадом, дети-родители пропадом... Лишь бы мое дело спорилось! Так, что ли?

— Знаешь, для нищих духом это очень привлекательно все звучит, конечно, но на деле попытки создать социальную организацию, основанную на лучших человеческих чувствах, на сыновней любви, отцовской заботе, братском бескорыстии и так далее — на этике! — всегда кончаются диктатурой. Нет организаций более тоталитарных, чем те, которые основаны на этике! Потому что в любой этической системе люди не равны. Одного уважаю больше, другого меньше, одного люблю, другого нет, и этот разброс объективно оправдан тем, что один, скажем, суровый талант, а другой — добряк, а третий — только к бутылке прикладывается. Кому-то родней первый, кому-то — третий... И всегда кончается тем, что Юпитеру можно то, чего никоим образом нельзя простому быку из народа. Ну а дальше уже вопрос техники — кто первей успеет пролезть в Юпитеры.

— Складно звонишь, — кивнул Симагин.

— Поспорили проверенный товарищ с десятилетним партстажем и буржуазный спец. Кто прав? Ну конечно, проверенный товарищ, тут и разбираться нечего! Как же он может быть не прав, ежели он проверенный? Какой же он проверенный, если может быть не прав? Расстрелять спеца без лишних разговоров! Поспорили добрый прихожанин и нехристь — кто прав? Ну разумеется, прихожанин, он же заповеди блюдет, он причащается регулярно, а нехристь — всем понятно, что за фрукт! Само собой, в железы нехристя и в острог! И пусть только попробует судья рассудить иначе... Вот тебе и вся твоя этика! — Он довольно и гордо сверкнул улыбкой, наслаждаясь неуязвимостью своей логики и умением красно формулировать мысли. — Альтернатива одна-единственная, и ты знаешь это не хуже меня. Никаких проповедей, никаких заклинаний, никакого кликушества, никаких призывов к доброте, состраданию, чувству долга... Элементарно: один для всех закон и равенство особей, за которыми признано право на равный эгоизм, перед законом. А уж если равенство перед законом — значит, равная само-

стоятельность, а если самостоятельность — значит, никто в этой жизни никому ничего не должен, а если никто никому не должен — значит, каждый сам по себе, а если каждый сам по себе — значит, каждый сам за себя!

— Да, — вздохнул Симагин, — зэт из зэ куэсчн.

— Это для тебя... куэсчн! — вконец разъярился гость. — И для таких, как ты! Слепоглухонемых с идеалами! Даже человечество... этот затерянный в бездне муравейничек... и то уже ответило на этот твой куэсчн, и закрывать глаза на то, что ответ давно дан, — малодушно, глупо, недостойно тебя!

— Да ты не переживай за меня так, — сказал Симагин.

Некоторое время гость молчал и только вглядывался Симагину в лицо, покусывая губу. Потом, совладав с собой, улыбнулся с прежней обаятельностью.

— Похоже, — сказал он негромко, — я понапрасну трачу цветы своего красноречия. У меня возникло страшное предчувствие, что нам не договориться. Чем больше я стараюсь тебя убедить, тем больше ты задираешь нос. Неужели мой приход был ошибкой?

— Извини, — сказал Симагин, — если тебе так показалось. У меня совсем другое чувство. Я был очень рад наконец с тобой познакомиться. И разговор такой содержательный...

Гость покачал головой.

— Нет... То есть это-то да, я с удовольствием с тобою пофилософствовал, и еще бы пофилософствовал, редко встретишь оппонента, у которого от первых же моих слов не стыла бы кровь в жилах... Но смысла в продолжении разговора я не вижу. Пока мы не начали, ты и не помышлял о драке. А сейчас, чем убедительнее я говорю, чем меньше у тебя доводов в ответ, тем сильнее тебя подмывает скрестить шпаги. Это же не шутки, пойми! Ты ведь даже не вдумываешься в мои слова, ты отметаешь их с ходу!

— Не все, — сказал Симагин.

Присвистнув сквозь зубы, гость смерил его взглядом.

— На чью помощь ты рассчитываешь?

— Честное пионерское, ни на чью.

— Ты безумец. Ведь стоит мне всерьез разозлиться — а я уже начинаю злиться, потому что это очень унизительно: честно пытаться убедить и уберечь, а напороться на презрительное неприятие... Если я разозлюсь, мне стоит только дунуть...

— А вот это не надо, — проговорил Симагин. — Не будем портить наш товарищеский вечер... наш высокодуховный и высокоинтеллектуальный диспут дешевым запугиванием.

— Да, правда, — сказал гость и поднялся со стула. — Хорошо. Значит, официальный вызов.

Симагин, как вежливый хозяин, сразу тоже встал.

— Да не хочу я никаких вызовов и никаких дуэлей! — от души сказал он, и тут же ему показалось, что его слова могут быть восприняты как попытка пойти на попятный. Но он говорил правду. Хотя и страшновато было. Да что там страшновато — попросту страшно. — И оспаривать у тебя ничего не хочу, ни кусок колбасы, ни власть над тварным миром! Честное слово. Но Антошку я вытащу. Помимо того, что я Асе обещал это сделать, я еще... и сам хочу. Вот попроси меня объяснить, почему я хочу, — не смогу. Тут моя позиция чрезвычайно уязвима. Никаких разумных доводов привести я не в состоянии. Хочу — и все. Я тоже умею хотеть. И... вот еще что, — он помедлил. Красноречием ему было не равняться с самым галантным и остроумным собеседником в истории человечества. Он и пробовать не хотел. Но сказать надо было. Скорее для себя, чем для того, кто стоял напротив. — С тех пор как возник человек, он мечтает быть лучше. Не просто ЖИТЬ лучше — БЫТЬ лучше. Стать лучше. Он напридумывал для этого уйму способов. В том числе и весьма кровавых. Почему массы людей так слепо повиновались диктаторам столько раз? Потому ли, что очень их боялись? Нет. Из страха становились покорными только приближенные, точно знающие, что им грозит и почему... осведомленные о целях и способах насилия, сопричастные ему микродиктаторы у главного трона. А телята из народа просто были уверены, что в этом огне становятся лучше. Их делают лучше. Они так страстно и так вечно хотели стать лучше — но не знали как. А вот сейчас, вот-вот, это произойдет. И когда давление снималось, они скучали отнюдь не только по сильной руке, отнюдь не по хозяину, как о них зачастую думают снобы. Оскорбительно и несправедливо, неумно думают. Их брала тоска оттого, что их

сняли с наковальни, на которой, как они были уверены, из них куют нечто более совершенное. Пропадала внутренняя духовная цель. Не внешняя — завоевать жизненное пространство, построить Турксиб или что-то подобное, — а внутренняя.

— Так ты же лучше меня все понимаешь! — почти в восторге воскликнул гость.

— Погоди... да. Вот такие страшные штуки выкидывает желание стать лучше. И тем не менее оно никуда не пропадало в течение полумиллиона лет. Что оно такое, откуда в человеке взялось — не нам с тобой судить. Есть, вероятно, уровни по отношению к нам, дружище, — старательно вдавил во фразу это панибратское обращение Симагин, — еще более высокие. Это их компетенция. Но, думаю, означенному стремлению мы не в меньшей степени, чем открытию колеса, плуга, бронзы, железа, парового котла и банковского кредита, — обязаны тем, что вышли из пещер, потом из землянок, потом из катакомб... Много чем мы ему обязаны. Все искусство возникло из него. Все религии сформировались под его воздействием. Между прочим, почти все юридические нормы именно им продиктованы. И все те области человеческого бытия, куда нормы эти не могут дотянуться и где, тем не менее, отнюдь не царит поножовщина, — тоже облагорожены именно им. Но в последние несколько десятков лет — а что такое несколько десятков лет по сравнению со всей историей! — люди определенного цивилизационного типа стали утрачивать это стремление. Видимо, в рамках системы ценностей их цивилизации человек достиг возможного в сем мире предела совершенства. В том числе и этического. Стремление жить лучше, присущее любому животному, вплоть до креветок каких-нибудь, дрыгающихся по морям, по волнам в поисках пищи пообильней и воды потеплей, — оно осталось. А человеческое стремление самому стать лучше — начало пропадать. Оно, конечно, совершенно правильно Сервантес заметил: «Человек таков, каким его создал Господь, а порой и много хуже». Но дело-то в том, что мы НЕ ЗНАЕМ, нам не дано знать, НАСКОЛЬКО хорошим создал человека Господь. — Симагин с невольным удовольствием, но и с сочувствием отметил, как при

слове «Господь» и раз, и два скрючило стоящего напротив. Ладно, сказал себе Симагин, мелко это. Больше не буду вредничать, пусть слушает спокойно. — А потому никогда не можем быть уверены, что дальше уже некуда. И куэсчн этот самый, вопрос вопросов, вот в чем: действительно ли человек достиг предела возможного духовного совершенствования? Если да — ему каюк, потому что, действуя в соответствии со стремлением жить лучше, не становясь лучше, лет за пятьдесят-семьдесят мы сожрем Землю окончательно. Сожрем, переварим и утонем в продуктах собственного метаболизма. Если нет, тогда... тогда стремление становиться лучше следует беречь, лелеять и пестовать. Чем я и намерен заниматься, не делая никаких поблажек и для себя, — вздохнул. Жуть брала от того, что надо произносить гостю в лицо эти бесповоротные слова. — Понимаешь, твоя так называемая самостоятельность лишает вид перспективы. Ты же чувствуешь: ты самый лучший, и ни пятнышка на тебе, ни помарочки; идеал, а не существо. Тебе не за кем тянуться и не для кого. А моя, так сказать, зависимость дает шанс карабкаться от ступеньки к ступеньке. Вверх.

Гость сунул руки в карманы джинсов и несколько секунд разглядывал Симагина чуть исподлобья. Покивал едва заметно — то ли изображая понимание, то ли своим каким-то мыслям.

— Я тебя просил? — проговорил он потом.

— Просил, — ответил Симагин.

— Я тебя убеждал?

— Убеждал.

— Я тебя предостерегал?

— Предостерегал, — устало улыбнулся Симагин.

— Пеняй на себя, — сухо сказал гость и исчез. Несколько секунд Симагин стоял неподвижно, пытаясь унять сумятицу чувств и мыслей, потом залпом допил остывший чай с лавандой от нервов.

Оглянулся все-таки на Антошкину комнату. Свернувшись под одеялом уютным, ничем не обеспокоенным эмбриончиком, подложив ладонь под щеку, Ася спала. От греха подальше Симагин укрыл ее, а потом, поразмыслив мгновение — и далеких родителей, энергетическими коконами

безопасности. А потом — и братский овраг в Казахстане. От этого красавца можно любой подлянки ожидать.

Но как ему хотелось меня убедить! Не победить — это совсем другое, до этого еще не дошло — именно убедить. Сделать своим сторонником, единомышленником... Действительно хотелось. Именно поэтому он так взъярился. Я вот совершенно не надеялся его обратить в свою веру и потому ни гнева не испытываю, ни возмущения, а он — он всерьез надеялся. Странно.

Впрочем, я ведь с самого начала знал, кто он. А он — и понятия не имеет, кто я. Потому что я и сам понятия не имею. Я — Симагин.

Отчего-то снова вспомнилось начало — будто память о том, как был сделан первый шаг, могла помочь понять, куда этот шаг привел...

Уже с восемьдесят девятого года над лабораторией сгущались тучи. Нараставшее скотство быта отнимало все больше сил; все сильнее сказывались недостаток средств и убожество оборудования. Работа буксовала. Зато появились все признаки того, что высшее руководство стало понимать: в финале проекта речь пойдет уже не только о мирной медицине, далеко не только. Стайками увертливых мальков проносились слухи. Ужесточался режим. Месяц от месяца Симагину все труднее делалось выпрашивать в дирекции разрешение задерживаться в лаборатории по вечерам — видимо, его не хотели оставлять у машин без присмотра. Потом грянул августовский переворот, и перспективы стали очевидны. Рисковать было больше нельзя. Во вторник двадцатого, ровно в девять тридцать утра, как теоретически и полагалось, Симагин под осуждающим взглядом пожилого охранника, известного своим редким для людей его круга якобинством — все порядочные люди на Дворцовой баррикады строют, или, по крайности, дома сидят, прижавши ухи к радио, а этот даже нынче на работу приперся! — вошел в почти пустое здание института и поднялся в лабораторию. За почти четыре года, истекшие после рука об руку с Асей пронесшегося по жизни Симагина победного, но горестно короткого шторма идей, Симагин потихоньку все же двигался дальше и отнюдь не всеми наработками делился с коллегами; поначалу он еще обсуждал с Карамышевым каждую мысль, потом, на всякий случай, замкнулся совершенно. Он готовился загодя, совсем не будучи уверен, что ему пригодится эта подготовка — но двадцатого решился и обрушил на себя все, что только мог, так построив программу волновой самообработки, чтобы все отработавшие резонансные биоспектрограммы, сконструированные им вместе с Карамышевым, а потом и им самим, в одиночку, безнадежно вирусились, превращаясь в очень похожий на серьезную науку, но ни на что не годный хаос сигналов. Просто уничтожить все результаты — не поднялась рука. Хотелось напоследок попробовать понять, что же все-таки удалось сделать и удалось ли... Неделю с лишним он болел. Болел тяжело и непонятно. Где-то вдали от него, почти не зацепляя сознания, петардами и шутихами взрывались ежедневные сенсации. А когда он выздоровел, то был уже неизвестно кем. И первое, что он понял в этом новом своем состоянии, — то, что возможности, которые по человечьим меркам кажутся всемогуществом, отнюдь не облегчают жизнь. Скорее напротив, они словно стиснули его своей мощью, словно спеленали. Слон в посудной лавке... Диплодок в магазине электротоваров — как ни встань, как ни пошевелись, все равно сотнями захрустят раздавленные лампочки, брызнут по сторонам люстры и торшеры...

И вот сегодня, когда эти возможности могли бы наконец обрести смысл, когда им наконец-то нашлось бы достойное применение, — Симагину пригрозили войной. Оказывается, он, сам того не ведая, со своим чисто человеческим характером и чисто человеческим кругозором, со своей психологией бесхитростного и насмерть влюбленного в воспоминание талантливого Андрюшки вломился в мрачный хоровод матерых древних сил — и сразу бросил им вызов.

На поддержку рассчитывать не приходилось. Ведь должен же где-то быть, ошеломленно говорил себе Симагин, некий столь же древний, как эти силы, и куда более могущественный, чем я, противник того, кто четверть часа назад сидел здесь, на маленькой кухне, на стуле напротив — но никаких признаков, никаких следов его существования Си-

магин, как ни странно, не ощущал. Расчет мог быть только на себя.

Голова шла кругом. Обязательно надо было отдохнуть хотя бы те три часа, что оставались до рассвета. Симагин пошел спать.

Второй день

Формально отмечали выход в свет нового Сашенькиного, что называется, бестселлера, разоблачающего злоупотребления и подлости продажной горбачевско-ельцинской клики. Опираясь на некие весьма секретные документы, доступ к которым ему открыла лишь его литературная известность — так, по крайней мере, сам Сашенька утверждал, — он доказывал, что Меченый снял Борова с Московского горкома лишь оттого, что какую-то там тонну золота очередную они в Швейцарии не поделили, а весь шум на пленуме был для блезиру. Сюжет был вполне захватывающий, как положено. Честный капитан КГБ вдруг, сам того не ожидая и просто-напросто с максимальной добросовестностью выполняя приказы начальства, оказывается в жерновах жуткого механизма, созданного и отлаженного перестройщиками с целью развалить партию и продать страну за бесценок. Смириться он с этим безобразием не может, конечно, — ну и пошла писать губерния: подслушка, наружка, пальба, автомобили так и бьются друг об друга, и в кюветы тоже постоянно ныряют на скоростях под полтораста по мокрому покрытию; и разумеется, насквозь коррумпированные грушники периодически пытаются то одним, то другим извращенным способом выпустить кишки из подруги главного героя, но попадают не в нее, а то в кого-то слева, то в кого-то справа. Лишь главный герой в промежутках между подвигами попадает подруге туда, куда надо, и тем, чем надо. Подруге обалденно нравится, и поэтому она после каждого очередного попадания тоже обязательно совершает какой-нибудь вспомогательный подвиг. В конце концов собранные капитаном сведения оказываются на столе непосредственно товарища Крючкова; товарищ Крючков вызывает капитана к себе пред ясны очи и долго с ним беседует о судьбах многонационального и многострадального Отечества и о том, что сейчас сделать ничего нельзя. Потом, доверительно положив капитану руку на плечо, товарищ Крючков со значением говорит, не в силах всего открыть, но подбодрить желая: «Однако такое положение не может длиться вечно. Оно скоро кончится». И Горбачев уезжает на отдых в Форос. Занавес. И всем приятно, потому что все знают, что было дальше. Сашенька всерьез, и не без оснований, рассчитывал на литературную премию Ленинского комсомола за этот год.

Штампы, штампы... Конечно, думал Вербицкий, коммерческая литература, она же развлекательное чтиво, по определению состоит из штампов и не может состоять ни из чего иного, потому что только штампы как по маслу входят в сознание усталого, озабоченного, как правило — трясущегося в трамвае или автобусе, или, пуще того, — застрявшего в сортире массового читателя; только штампы не напрягают, а приятно расслабляют: ага, вот опять все то же самое, такое полюбившееся, такое родное, но чуточку иначе, так что опять не знаешь, из-за какого именно угла на сей раз выскочит враг... И все-таки в нашей штамповке остается нечто неизбывно соцреалистическое. Вечная политизированность красно-белого мироздания — надо только поскорее дать понять, кто за белых, а кто за красных, и дальше симпатии читателя возникают автоматически там, где надлежит, — политизированность, помноженная на инфантильность американских мягких обложек... Но вслух говорить все это было абсолютно ни к чему. Он лишь ограничился тем, что, поздравительно подняв рюмку, отчеканил:

— За твой роман! — И тут же процитировал Твардовского: — Глядишь, роман, и все в порядке: показан метод новой кладки, отсталый зам, растущий пред и в коммунизм идущий дед. Она и он передовые, мотор, запущенный впервые, парторг, буран, прорыв, аврал, министр в цехах и общий бал!

— А завидовать, — с кошачьим сытым удовлетворением проговорил Сашенька, тоже поднимая рюмочку, — грешно.

Ляпишев нетвердой рукой сгреб рюмку; заглянув в нее, удивленно сказал:

— А у меня уже нет! — и, щедро орошая скатерку, наплескал себе очередной дознячок.

— Ляпа, — досадливо сказал Вербицкий, — ты бы переждал. Мы ведь поговорить хотели.

— Мы поговорим! — пообещал Ляпишев почему-то несколько угрожающе и погрозил Сашеньке полусогнутым пальцем. — Мы еще так с ним поговор-рим!

— Ох, — сказал Вербицкий, и они с Сашенькой аккуратненько сделали по глоточку, а Ляпишев, естественно, одним размашистым движением, будто таблетку с ладони, кинул сразу все пятьдесят желанных грамм себе в широко, как у птенца при виде мамы с червячком, разверстую пасть.

Назывался бестселлер почему-то «Труба», и на подходе, как не чинясь сообщал сам Сашенька, уже был второй том, так называемая «Труба-2».

— Почему «Труба»? — недоумевал Вербицкий. — Что ты к трубам-то пристал? Может, надо было «Канализацией» назвать?

Вальяжно, как из их тройки умел только он, развалившись напротив Вербицкого, Сашенька с ухмылочкой помахивал сигареткой.

— Не-ет, Валера. Именно «Труба». Имеющий уши да услышит. Это я так намекаю, что в сей стране всякому порядочному человеку — труба.

— Так чего ж ты тут... в сей стране! по сю пору околачиваешься? — гневно вопросил Ляпишев, передразнив формулировку про страну с убийственным сарказмом, хотя и несколько невнятно. Он, как всегда, опьянел быстрее всех, с двух рюмок. На него и сердиться никто уже давно не сердился — невнятное состояние сделалось у него постоянным. Люди еще только разгоняются, только во вкус входят — а Ляпа уже вылетел за пределы атмосферы, уже дремлет на сгибе уложенной на стол, в какую-нибудь лужу, руки. Ну и пусть дремлет... Пока, однако, Ляпа пребывал в активности; практика показывала, правда, что этой активности он назавтра никогда не помнил, хоть зарежь.

Сашенька коротко обернулся к Ляпишеву и сказал, сверкая улыбкой:

— А я не порядочный.

Правила хорошего тона требовали хотя бы изредка отвечать на Ляпины реплики: правда, на кой ляд нужно это делать, если через пару часов Ляпа уже все равно не помнил ни своих реплик, ни ответов на них, ни один человек не смог бы объяснить. Абстрактный гуманизм какой-то. Пока человек в состоянии разговаривать, мы к нему относимся как к человеку.

— Ну как же тебе, Вроткин, не совестно Горбачева-то с дерьмом мешать?

Фамилия Сашеньки была Роткин, и до третьей рюмки Ляпишев еще мог произносить ее должным образом, но потом специфическое чувство юмора брало свое. Сашенька, казалось, давно и к этому привык — но один лишь какой-нибудь Элохим знал, что за скрытые страсти бушуют в его иудейски закомплексованной душе, когда ему приходится, как ни в чем не бывало, откликаться на Вроткина. Сто раз Вербицкий, когда Ляпа был в сознании, просил его не добавлять к Сашенькиной фамилии букву «В», и всегда Ляпа тупо моргал, а потом заявлял убежденно: «Да он не обижается!» Подставив кулаки под подбородок и растекшись по ним рыхлыми щеками, Ляпа сидел напротив Вербицкого и, напрягая остатки своей некогда железной воли, тщился изобразить на одутловатой роже умное ехидство.

— Ведь Горбачев евреев отпустил, с Тель-Авивом помирился...

Сашенька картинно пожал плечами:

— Я же не для себя книги пишу и не для потайного ящика в своем письменном столе. Ляпа, дорогуша, для себя я только гонорары получаю! Мы для читателей пишем, Ляпа, а значит, пишем то, чего они хочут! Личным чувствам тут воли давать никак нельзя!

Да, подумал Вербицкий с тоской, читатели, похоже, и впрямь только этого хочут — как выражается утонченный Сашенька, хоть неправильным глагольным оборотом, а ввинтивший-таки в свою реплику замаскированное, но неизбывное к этому читателю презрение. В последние годы заметным публицистом можно было стать, только копошась в грязном белье лидеров перестройки и прикормленной ими средней демокрухи. И детективный жанр переключился почти исключительно на это злосчастное пятилетие.

Сейчас вот принялись сызнова трепать антиалкогольную кампанию — под весьма нетривиальным углом зрения. Дескать, эти, как выражались газеты, «горе-реформаторы», решив большевистскими темпами, семимильными, так сказать, шагами повести сдуру поверившую им страну к капитализму, не нашли иного способа создать отечественного предпринимателя, как взрастив его исключительно из теневой экономики. Кампания была не маразмом, а тонким и вполне логичным ходом, стопроцентно учитывавшим опыт «сухого закона» в США. К чему привел «сухой закон»? К возникновению и невероятному усилению мафии навечно. К тому, что она начала ворочать миллиардами и отнять у нее эти миллиарды не смог и не сможет уже никто. Посмотрим, дескать, на себя. Где у нас есть капиталисты? Только в преступном мире. Они себя уже проявили, утвердились, доказали, что у них есть хватка, навык, мужество действовать и рисковать. Уже имеют свои структуры. Но им катастрофически не хватает средств, чтобы начать играть в экономике сколько-нибудь значительную роль. Как напитать их деньгами и одновременно привязать к себе, к высшей партноменклатуре? Ведь не станешь выявлять по милицейским досье и собирать в Кремлевском дворце съездов всех воров в законе, чтобы от лица партии обратиться к ним с проникновенной речью: берите, отцы крестные, льготные ссуды, и бог вам в помощь. Некрасиво как-то. И потом, надо же было, чтобы они поработали сами и лишний раз показали себя: кто сорвет куш, тот и достоин его, а кто проворонит птицу-счастье, тому и делать нечего в кругу новоиспеченных капитанов экономики великой державы. Ясно было, как божий день, что дебильная борьба с водкой приведет к ураганному росту нелегального ее производства и распространения. Прибыли, получаемые спасителями народа от трезвости, напавшей нежданно-негаданно, как Гитлер двадцать второго июня, наверняка окажутся колоссальны. И это правильно. Года не пройдет, как — гоп-ля! — откуда ни возьмись расцветет и наберет силы рыночная экономика, которую потом надо будет лишь легализовать, затем внедрить в нее тяжелую промышленность — продав оную промышленность уже не бандитам, а самим себе, внутри Кремля, и бес-

кровная революция свершится. Сколько человеко-веков проведет страна в очередях у винных магазинов, сколько народу окочурится или сбрендит от самодельных напитков, сколько детей-уродов родится — не важно. Главное, революция будет продолжаться! Вечно живой Лигачев, которого одно время считали главным инициатором тогдашнего безумия, теперь разговорился наконец, благо уже некому было поймать его на возможном вранье: «Я прямо говорил Михаилу Сергеевичу, что будет очень много отравлений, и наверняка некоторые — со смертельными исходами. А он только улыбался. Много — это сколько? Тысяча? Десять тысяч? У нас в автомобильных катастрофах гибнет в десять раз больше. И потом, Егор Кузьмич, говорил он мне, будем откровенны: порядочные люди травиться не станут, потому что они не пьют. Травиться станет всевозможный сброд, являющийся обузой для страны. А это хорошо или плохо? Ну а потом Бакатину специально было поручено силами его ведомства наладить распространение слухов, в которых вина за все случившееся возлагалась бы персонально на меня...» Кровь стыла в жилах от подобных откровений. Вот же аспиды нами до девяносто первого правили, а?! Следовало, вероятно, ожидать в скором будущем появления увлекательнейших остросюжетных произведений на эту тему. Даже странно, что они заставляли себя ждать; будь Вербицкий в силах писать такое, мигом бы набуровил. Тем более что алкогольный уклон давал потрясающие возможности для легкого и надежного обеспечения читательского сопереживания; том за томом можно заполнять добродушным, а по временам даже уважительным подтруниванием над неунывающими, симпатичными, немудряще сметливыми, в глубине души добрыми и патриотичными, русскими в лучшем смысле этого слова алкашами, пассивно сопротивляющимися кремлевскому произволу. Их на мякине не проведешь! Они воробьи стреляные! Будет и на их улице праздник!

Формально отмечали «Трубу-1», но фактически просто совпало так, что всем троим захотелось натрескаться. Загрунтовали в кабаке писательского дома, в родных сумеречно-черных стенах, прямо под знаменитым, подсвеченным изнутри витражом с гербом бывшего владельца особняка

графа Шереметева: большая буква «А», представленная в виде шагающих армейских сапог, узоры какие-то и надпись: «Деус консерват омниа». С первого своего полудетского посещения кабака Вербицкому не давал покоя вопрос, что точно значит этот девиз — «Бог хранит все» или «Бог сохранит все»? Но никто не смог ответить с уверенностью, да, в сущности, и черт с ним.

— Благодарите бога, коллеги, — говаривал прозорливый и циничный Сашенька, — что мы живем в тоталитарном государстве. Будь мы просто писатели, а не работники идеологического фронта, не видать бы нам сих апартаментов как своих ушей. С писательских гонораров при демократии нам даже на воду в сортире не хватит, не то что на трубу, по которой эта вода течет...

Но по случаю летнего сезона кабак закрывался в семнадцать ноль-ноль, то есть именно тогда, когда все нормальные люди как раз взяли разгон и только-только перестают застенчиво лепетать: «Ну пожалуй, по чуть-чуть можно, но вообще-то мне сегодня еще работать...» — и без четверти пять, после второй рюмки, резко встал вопрос о том, где продолжить. Вопрос осложнялся тем, что Ляпе оставалось быть в сознании еще рюмки три, от силы четыре, а потом он упадет с неизбежностью яблока, благодаря которому так прославился Ньютон. Ни Сашеньке, ни Вербицкому не улыбалось тащить потом Ляпино бесчувственное тело к нему домой. Но сам же Ляпа и спас ситуацию, пригласив друзей к себе. Вариант был оптимальный: и жил Ляпишев относительно недалеко, и упасть сможет прямо на родную мебель, и в квартире, с тех пор как жена ушла от бывшего одаренного литератора, ни души — то есть можно расслабиться по-настоящему.

Сказано — сделано. Прямо на Литейном, отстояв каких-то минут сорок — все-таки в последнее время стало полегче, что правда то правда, — затарились двумя фуфырями «Пшеничной». Чистоплюй Сашенька, разумеется, принялся брюзжать, что это перебор, что хватит и одной, мы же, дескать, не надираться, а поговорить хотели; Вербицкий согласился бы и на одну, хотя сильно подозревал, что одной не хватит и, когда покажется донце и Ляпа, если будет еще в состоянии это заметить, обязательно перевернет пустую бутылку, потрясет и споет а-ля Германн: «Она пуста! А тайны не узнал я!» — после всех этих неизбежностей настанет очередная, а именно неизбежность бежать за добавкой. Но поскольку надираться он действительно не хотел — только, в отличие от Сашеньки, не сообщал об этом через каждые пять минут, — то рассчитывал в душе, что естественное нежелание стоять в какой-нибудь новой очереди во второй раз послужит добавке преградой; и, посокрушавшись, что вечно не хватает, можно будет разойтись более или менее дееспособными. Но раздухарившийся Ляпишев решил и тут все проблемы, заявив: «Одну? Да вы что, мужики, охренели? Ну не допьем, и ладно, мне же наутро все равно понадобится!» Пришлось покориться, хотя Вербицкий был уверен, что до утра вторая не дотянет и на рассвете Ляпе придется разбираться со своими потребностями отдельно. Как-то раз, еще в относительной молодости, Вербицкому довелось в них разбираться с Ляпой вместе — это оказалось незабываемо. Утро красит нежным светом стены винного ларька, я пришел к тебе с приветом, ты, как Родина, крепка, как поля ее, душиста и чиста, как родники, ты сама убьешь фашиста — мне же не поднять руки! Это они громко пели хором на всю улицу и маршировали, браво чеканя шаг, а навстречу шли в школы школьники, шли в работы рабочие, и все с симпатией и пониманием улыбались и даже расступались; это было еще до перестройки, и потому далеко идти не понадобилось, а жаль, маршировать было приятно, люди кругом были так добры...

Не прошло и полутора часов, как они уже вступили на лестницу, по которой им предстояло карабкаться до четвертого этажа. За время пути Ляпишев, который все клянчил, чтобы ему дали отхлебнуть из горлышка, но желаемого так и не получил — Вербицкий подозревал, что не так уж он и страждет, просто отыгрывает давно уже прикипевшую роль, без которой Ляпа оказался бы в компании абсолютно безлик, просто-таки незаметен; и к тому же идти ему пришлось бы самому, а не опираясь то на брезгливо ежащегося Сашеньку, то на кореша Вербицкого, — несколько прочухался, и стало думаться, что до донца первой бутылки, по крайней мере, он сознание сохранит. Но на лестнице он сразу как-то

нарочито упал; с ним снова принялись возиться, как с малым дитем, тормошить, предлагать держаться за руку, поднимать за плечи, но он громко отклонял всякую помощь, а только некоторое время потоптался на четвереньках и заявил рыкающим голосом Клавдия: «Я пал, чтоб встать!» И действительно встал минуты через три, опираясь на испещренную надписями и рисунками стену. И даже ключ от квартиры нашел в кармане.

Пока Ляпа совершал все эти сложные эволюции — хотя, уныло поиграл про себя словами Вербицкий, в процессе этих эволюций он отнюдь не эволюционировал, — Сашенька и он сам терпеливо ждали, предлагались помочь и утешали, что уже совсем немножко осталось. Добряк Роткин, вероятно, тоже самоутверждаясь через роль, давно выбранную им для себя — нарочито циничный и вызывающе удачливый, не боящийся говорить друзьям об их промахах и недостатках, но, в сущности, заботливый друг, не обращающий на эти промахи и недостатки ни малейшего внимания, — даже предложил Ляпе хлебнуть из горлышка, если ему всухую никак не подняться до квартиры. И Вербицкому, грешным делом, показалось, что — да, конечно, Сашенька заботливый и попрет мешок по фамилии Ляпишев столько, сколько надо, и туда, куда потребуется; а все-таки Сашеньке сладко, когда Ляпишев теряет человеческий облик. А Ляпе сладко, что тащит его именно чистоплюй Сашенька, и он висит на нем и то и дело говорит: «Вроткин!» Потому они нынче и квасят вместе, прихватив Вербицкого в качестве общего приятеля, то есть амортизатора, — в который раз уже квасят. Хотя для стороннего человека эти двое рядом и с одной бутылкой на двоих представляют собою зрелище удивительное и даже, если смотреть под определенным углом зрения, зловещее. Просто-таки фотографируй и публикуй в любом антисемитском издании, и даже никаких коллажей-монтажей не надо — натуральный кадр поразительной силы: «Евреи споили русский народ». Но просто облюбованные каждым из них и уже сросшиеся с ними так, что не оторвать, способы самоутверждения подходили друг к другу, будто вилка и ножик, кромсающие один и тот же ломоть тоски.

Ляпа гордо отказался от по-доброму предложенного Сашенькой глотка: когда просил, не дали, а теперь сам не стану унижаться, пускай, дескать, вам будет хуже. Вот ведь ужас, вконец расфилософствовался Вербицкий, стоя с увесистым от бутылок «дипломатом» в руке; страдал-страдал Ляпа, наверное, от собственной постоянной косноязыкой бестактности, но вместо того, чтобы научиться быть тактичным, научился быть настолько пьяным, чтобы с рук сходило все, что слетает с языка; страдал-страдал от того, что он не очень интересный собеседник и вынужден в основном помалкивать в уголку, — и научился безобразно ужираться, чтобы быть в центре пусть брезгливого, но внимания... Кто бы с ним так цацкался, оставайся он, как пятнадцать лет назад, застенчивым, почти не пьющим, ничем не выделяющимся и не очень быстро соображающим парнишкой, к которому льнут собаки и дети! Теперь собаки его терпеть не могут, запах; да и дети тоже — впрочем, дети у всех нас, у кого были, уж подросли, — но зато его носят на руках, а это ли не мечта литератора?

Простое, непритязательное и даже не очень обильное приятельское возлияние — а в каких глубинных трюмах психики ревут моторы, из каких адских пучин прут с грохотом тысячетонные поршни, надувая и накачивая людей стремлением, что бы они ни делали, делать это заметнее и ярче всех окружающих. Стремление к самодостаточности, которую мы не мыслим иначе, как победу над конкурентами — пусть даже в способности выпить много, пусть даже в способности бескорыстно подставить плечо ближнему своему, все равно — конкурентами... Самостоянье человека! Я! Я! Я! Нет, я!

А я?

Ох, нет, лучше не думать. Лучше выпить. Да что же Ляпа-то так копается?! Собственную дверь уже пять минут открыть не может!

В холостяцкой квартире царил бардак. Пахло тухлятиной и кислятиной, по полу от колыханий воздуха перекатывались, как привидения, лохматые полупрозрачно-серые сгустки пыли. Пыль покрывала и мебель таким плотным белесым слоем, что впору писать неприличные слова, как часто пишут на забрызганных грязью задних стеклах автомоби-

лей и автобусов. Только на письменном столе пыли не было, там вперемешку валялись скомканные и еще не скомканные листы какой-то очередной незаконченной рукописи — ручкописи, как называл это Вербицкий, чтобы отличать от машинописи; и еще словари, справочники, непонятно зачем нужные писателю, — синонимов, омонимов, антонимов... зачем-то карта Тихого океана... Господи, да что же это детский писатель Ляпа пытается сляпать такое? Каких детей нынче заинтересуешь Тихим океаном? Всякой этой романтикой? Героическая подлодка «Пионер» давно закончила свой героический ремонт у острова Пасхи, давно всех героически победила и давным-давно, пересекши Пасифик, героически пришла в порт назначения Владивосток — да вот только Владивосток теперь стал столицей другого государства, формально хоть и дружественного, но год от года все откровеннее и все плотнее ориентирующегося на Японию и Южную Корею...

Расположились, как положено угнетенным интеллигентам, на кухне. Вербицкий отворил бутылку, Ляпа тем временем разложил вилки, для вящей чистоты одну из них поскреб ногтем — а только что пятернями по лестнице ходил; потом нырнул в холодильник, чуть не потеряв равновесия и не занырнув в него и впрямь всем телом. Восстановив устойчивость и покопавшись в заледенелых и пустынных, как Антарктида, потрохах — полгода не размораживал, наверное, — он щедро достал единственную банку сардин, протер ее рукавом и водрузил на стол.

— Кто-нибудь откройте! — потребовал он.

Наверное, подумал, не в силах остановиться, Вербицкий, у Ляпы с юности были какие-то нелады с консервными ножами. То ли руку повредил и страх остался, то ли забрызгал плеснувшим из разреза маслом новый, только что справленный родителями костюмчик... Но, будь он трезвым, кто бы позволил хозяину дома, гостеприимцу, поставить банку на стол и не открыть? Это же хамство! А так — все в ажуре, и чистоплюй Сашенька послушно, ни слова не говоря, берет консервный нож, изящно одергивает манжеты, в которых ручными — наручными и приручеными — радугами полыхают запонки, и принимается чикать банку; а Ляпа радостно

сидит напротив, сцепив ручонки на брюхе, и жмурится от удовольствия...

— Человеческой еды у тебя вовсе нет, хлебосольный ты наш? — спросил Вербицкий. Сашенька пыхтел, стараясь произвести вскрытие как можно аккуратнее, не повредив своего изысканного туалета. От напряжения он даже губу закусил, и холеная бородка его с благородной проседью смешно встопорщилась. Ляпа зареготал, а потом вскочил и с воплем: «Есть, да только ее нельзя съесть!» — стащил с навесного кухонного шкафа — светящиеся на солнце плотные клубы пыли медленно посыпались оттуда на стол — затрепанную, разваливающуюся «Книгу о вкусной и здоровой пище» еще, наверное, сталинских времен. Показал употевшему от напряжения Сашеньке, а потом Вербицкому роскошный стол на иллюстрации, открыл где-то в начале и стал читать громко и с выражением, довольно мастеровито подпуская в голос нравоучительные интонации:

— «В выборе ассортимента, говорил товарищ Микоян, могут быть две линии: консервативная приспособляемость к тому, что есть, и революционная настойчивость в деле воспитания новых вкусов. Бурный рост социалистического колхозного сельского хозяйства, создание и развитие могучей общенародной пищевой индустрии дали возможность уже немало сделать для коренной революционной ломки отсталых привычек и навыков в питании»! Поняли? Консерваторы! «Важнейшее дело государственного значения — развивать у населения новые вкусы, создавая спрос на новые пищевые продукты!» Поняли? — Он с треском захлопнул книгу, из нее порхнули листочки с какими-то ручкописными записями — вероятно, кулинарными рецептами, в незапамятные времена задиктованными кем-либо еще бывшей Ляпишевой супруге. Ляпа нагнулся было их подбирать, но выронил уже всю книгу, а потом, оттопырив широкий зад, обтянутый измызганными еще на лестнице штанами, и сам упал на четвереньки. — А ну, развивайте новые вкусы у себя по-быстрому! — сдавленно скомандовал он, даже не пытаясь подняться самостоятельно. Вербицкий, естественно, ему помог. Сашенька тем временем завершил свой тяжкий труд и теперь стоял, аккуратно промакивая лоб носовым платоч-

ком; затем принялся тщательно и неторопливо протирать руки — каждый пальчик со всех сторон. Похоже, перстень на безымянном пальце левой руки ему страшно мешал; протирать этот палец пришлось особенно долго — отдельно выше перстня и отдельно ниже.

Наконец разлили, выпили. Ляпишев оживился еще пуще. Но радости от этого никому не было; съехались поговорить, то есть и впрямь поболтать неторопливо о том о сем, не напрягаясь, — а Ляпа буквально рта не давал раскрыть; все острил, все вызывал внимание на себя. Как умел, чем мог. Сашенька начал было говорить что-то про последнее свое хождение по врачам, рассказывал негромко, без занудства и вымученных хохм, но смешно, Вербицкий любил его слушать; Ляпа тут же сбегал в комнату, мотаясь в коридоре от стены к стене — кто-то из коллег, увлекающийся маринистикой, очень точно сказал о таком способе перемещения: идет противоводочным зигзагом, — и тут же вернулся с папкой старых газет. Урча себе под нос сосредоточенно и, главное, громко, нашел искомую вырезку, а потом всех перебил и окончательно заглушил:

— Ну а ты чего от них ждал? Какие здесь могут быть врачи? Вот посмотри, как их учат! Это газета пишет, газета, всерьез! — и сунул друзьям под нос несвежий номер «Красной звезды», на первой странице которого красовался действительно убойный заголовок: «Партийность в преподавании нормальной анатомии — испытанный принцип обучения военных врачей».

Но смешно не стало. Некоторые люди умеют и не очень смешную историю подать так, что животики надорвешь, — а несчастный громогласный Ляпа даже этаким перлом ухитрился лишь раздражение вызвать; Сашенька только плечами пожал и досказывать ничего уже не стал.

Потом зашла было речь о перспективах дальнейшего членения страны. Вербицкий был уверен, что все, что могло развалиться, уже развалилось, что могло разделиться — разделилось; Сашенька же со своим апокалипсическим видением мира ждал дальнейшего дробления, вплоть до того, что, скажем, у железных дорог одна колея окажется в одной стране, а другая — в другой, и границы лягут по шпалам,

вдоль. Но он даже не успел доразвить этот блистательный образ. Ляпа тут же залистал, роняя вырезки, свою заветную, заменявшую ему собственное остроумие папку и закричал:

— А вот вам зато пример сквозной интеграции! Я в восемьдесят третьем не поленился, этикетку с пачки отодрал и сберег как раз вот для такого случая! Вот угадайте, что это было и где? — И с выражением, медленно прочел: — Эр Эс Эф Эс Эр. Росдиетчайпром. Аютинская фабрика кофейных продуктов Ростовского макаронно-концентратного комбината города Шахты. Чай черный байховый номер триста, сорт первый грузинский.

И захохотал, утирая заслезившиеся уголки глаз суставом указательного пальца. Опять-таки, бумажка была роскошная, цены б ей не было, покажи ее кто-нибудь нормальный и вовремя; но сейчас Вербицкий лишь кивнул, и даже очень воспитанный Сашенька ограничился тем, что вежливо растянул губки и тут же потянулся к бутылке. Разговор не клеился, и Сашенька разлил.

— Ну вот! — размахивая руками, закричал Ляпишев, хотел отложить папку и уронил ее; летите голуби, летите — уже не отдельные вырезки и выписки, а все ее тысячелистное нутро вывалилось на свободу и, распадаясь в падении, как Советский Союз, с мягким шумом засыпало кухню. — Я же и говорю, давно еще принять пора!

Невозможно было разговаривать.

Помолчали, несколько пригорюнившись. Потом Ляпи́шев укоризненно произнес:

— Чего-то не клеится разговор. Старые мы стали, что ли? Сейчас приемник принесу, может, враги чего веселое скажут... Не пошутишь — так и не весело!

И опять, мужественно преодолевая бортовую качку баллов уже в восемь, противоводочным своим зигзагом утек в комнату.

Вербицкий и Сашенька молча, не сговариваясь, заглянули друг в другу в глаза непроизвольно; казалось, оба разом захотели спросить: «Что мы тут делаем?» И оба застеснялись своей единовременности и одинаковости, взгляды брызнули друг от друга. А тут и Ляпа возвернулся со своей древней, битой-перебитой, перебинтованной изолентами вдоль и попе-

рек «Спидолой». Наверное, он по ней еще про Чехословакию слушал. «Спидола» урчала, и выла, и ревела на ходу, потому что Ляпа ухитрялся на ходу ее крутить.

И ведь нашел врагов, окаянный! Вот уж воистину, Господь пьяненьких любит. Буквально через минуту из монотонного, тусклого рева глушилок высунулся жиденький голосочек:

— ...Преступный Кремлевский режим... в очередной раз несущий порабощение едва-едва... успевшим свободно вздохнуть народам...

Опять Ковалев, наверное. А может, Новодворская. Ну почему у самой крутой демокрухи у всей такие одинаково тошнотворные гермафродитские голоса? Совершенно невозможно понять, кто именно на сей раз обличает, предостерегает и клеймит. Ква-ква пару слов; потом подумает. И опять — ква-ква... И штампы, с тоской подумал Вербицкий, опять штампы...

Ляпишев быстро багровел. Он и приемник-то принес только затем, чтобы на него ополчиться безо всякой необходимости напрягать интеллект в реальном споре и к тому же без малейшего опасения обидеть живого собеседника. Враг ведь наверняка скажет то, что можно громогласно опровергнуть. Вещать приемнику он позволил не более минуты, потом его, разумеется, прорвало.

— Послушать этих, так не преступных режимов у нас и не бывает! — сказал он саркастически и потянулся за бутылкой; Вербицкий мягко отобрал у него бутылку и отставил подальше. Ляпа будто не заметил; он сделал попытку, ему не позволили, значит, все в порядке: его видят и о нем заботятся. — Если есть какая-то власть, то уж обязательно преступная! Не преступные у нас только они! И всех, здесь еще живущих, по-ихнему, наверное, надлежит поголовно расстрелять на благо нацменьшинств и прочего мирового сообщества! За исключением пра...равозащитников, разумеется... Правозащитников, — как он умудрился дважды подряд довольно-таки разборчиво и почти без запинки выговорить такое сложное слово, осталось загадкой; одной из многих загадок загадочной русской души, — надлежит с чадами и домочадцами распределить по средиземноморским, —

прозвучало это как «средиземрским», — курортам и западноевропейским университетам, — прозвучало это как «западноевропским унисьтетам». — В награду за труды по спасению человечества от русского медведя. — Он перевел дух. — Вот такие, такие ждали Гитлера! Чтоб он от большевиков освободил! А интеллигентные европейские эсэсовцы, поди ж ты, вместо того, чтоб пострелять комиссаров, а всем остальным выдать по корове, принялись почему-то за геноцид...

Ну почему, почему, с тоской думал Вербицкий, когда несчастный Ляпа даже то говорит, что, в принципе, я и сам думаю, он ухитряется озвучить это так, что уж и не возражать ему хочется, а просто дать по морде и заткнуть? Потому ли, что он любую мысль доводит до лохматого, буквально пещерного абсурда и становится, как на ладони, видна ее однобокость и напоенность злобой? И завистью... На курорт-то средиземрский как хочется!

Сашенька собрал губы гузкой, потом пригубил водочки из своей рюмочки. Но Ляпишев так разошелся, что этого даже не заметил и потому не сделал очередной попытки прихлебнуть — теперь уж с полным основанием, поскольку за компанию.

— От Союза, да и от России, один лоскуток остался, клочок... клочочек... но они знай долбят: тюрьма народов! Угроза демократии! А эта мелкая сволочь уже лопается от того, что у нас натырила... ходят — поплевывают свысока, и везде русские у них за людей второго сорта, как негры в Алабаме... и все равно! Маленькие свободолюбивые народы, нуждающиеся в защите от нескончаемых посягательств Москвы!

Никаких глушилок не надо было. Ляпа ревел.

Вербицкий встал — как бы в туалет. Ноги немножко размякли; водчонка все ж таки сказывалась исподволь. Не надерись, Валерий, только не надерись... Года уж не те. Болеть потом будешь дня два... И депрессия, самое страшное — депрессия, сиречь попросту адова тоска, от которой никуда не спрятаться, ничем не отвлечься, разве что следующей бутылкой. Утро красит нежным светом... Вербицкий спрятался в ванной, не зажигая света — довольно было серого свечения, теплящегося в маленьком, выходящем в коридор окош-

ке под потолком. Протер лицо холодной водой. Мешаясь одно с другим, повалили воспоминания.

Как он неторопливо шел в июне девяностого по Мцхете, раскаленной, тихой, древней и прекрасной, шел по залитой ослепительным солнцем улице Сталина к великому собору Светицховели, плавящемуся в благоуханной жаре, воткнувшему прямо в радостную синь свой громадный островерхий купол, и думал: интересно, знал ли знаменитый автор «Покаяния», невольный застрельщик перестройки, в свое время задолбавший страну якобы многозначительным вопросом «Ведет ли эта улица к храму», — не без помощи журналистов, разумеется, в восемьдесят седьмом уж раз в неделю-то обязательно в какой-нибудь газете мелькал заголовок, склонявший улицу и храм, — помнил ли, делая свой фильм, о том, что к главному храму Грузии так и ведет до сих пор улица Сталина? И лишь буквально в полусотне метров уходит в сторону, и эти последние полсотни нужно пройти уже по улице Калинина... ну, Калинина-то они давно, наверное, переименовали — а вот Сталина вряд ли.

Из ларька с какой-то бижутерией высунулся пожилой грузин, позвал: «Эй, русский!» Вербицкий подошел. «Ты откуда?» — «Из Ленинграда». — «Как зовут?» — «Валерий». — «А меня Георгий». Он выставил в окошко руку, и они обменялись рукопожатием. «Давай выпьем, Валерий», — предложил Георгий и, не дожидаясь ответа — да и что тут ждать ответа, разве отказаться можно? — налил на треть стакана душистого домашнего коньяку и протянул в окошко Вербицкому. Они выпили. «Я тоже русский, — сказал Георгий. Он говорил неторопливо, спокойно, очень дружелюбно и почти без акцента, лишь гортанные перекаты отдавали жарким сиянием над горами. — В Сталинграде работал, в Свердловске работал... Теперь домой вернулся. Сижу тут, торгую... Я грузин, но я русский!» — «Красиво здесь», — с честным восхищением признался Вербицкий; напиток был столь же вкусен, сколь и могуч, и голова поплыла почти сразу после того, как в желудке бережно, но властно поднялся огонь. «Переезжай к нам», — ответил Георгий. Вербицкий только усмехнулся. Георгий снова разлил, и они выпили снова. Ну и темп, подумал Вербицкий, стараясь не дать лицу

размякнуть. Не прилечь бы тут с ходу. «Ты не бойся, — чуть покровительственно, но явно от всего сердца стремясь успокоить гостя, сказал Георгий; казалось, ему неловко и совестно за своих. — Всю эту политику столичные умники придумали. Какие вы оккупанты? Все будет хорошо». Неторопливо беседуя, они в полчаса допили фляжку коньяку, и Георгий сразу же, так ничего и не продав никому, спокойно запер ларек на висячий замок и, еще раз обменявшись рукопожатием с Вербицким, пошел, не торопясь, куда-то по залитой солнцем площади... А Вербицкий еле успел добрести до гостиницы «Мцхета» — кажется, единственной гостиницы в городке, маленькой и уютной, с балкончиками, нависшими прямо над Курой, — и рухнул спать...

Как там теперь этому Георгию? Пережил ли звиадистский террор? Пережил ли войну? Никогда не узнаю. И никогда больше не увижу тех мест...

Как еще во времена оны, когда Союз нерушимый и впрямь казался таковым, они с Маринкой катили от Симферополя к побережью в пропыленном, прокаленном автобусе — счастливые, влюбленные, молодые, а от предчувствия сверкающей южной свободы и совсем шальные... только очень сонные после ночного полета и долгого предрассветного бдения в очереди у аэропортовских касс «Крымтроллейбус». Маринка уютно дремала у Вербицкого на плече, а он не позволял себе отключиться — жалко было отключаться, ведь целый год об этих минутах мечтал — и вполглаза впитывал долгожданную встречу с блеклыми в мареве, лысыми холмами и выжженной степью. Впереди сидели молодой папа, больше похожий на старшего брата своего сына, и симпатичный, задорный, но серьезный мальчишка лет девяти, которые, похоже, как и сам Вербицкий, уже не в первый раз двигались этой дорогой. Мальчишка не отлипал от окна. «Папа, папа, уже Старый Крым!» — «Правильно. А как он по-татарски назывался, помнишь? Красивое такое название... Я тебе говорил». — «Не помню... Папа, вон уже гора Клементьева!» — «Да, совсем уже немного осталось. А как она называлась по-татарски? Я говорил тебе в тот раз». — «Не помню... Пап, вот уже Насыпное!» — «А как оно по-татарски?» — «Да не помню, что ты пристал? Что мы, татары,

что ли? Ты, что ли, татарин?» Пассажиры, кто слышал, замерли. «Понимаешь, — спокойно и вполголоса начал молодой папа, даже не замечая того, что они с сыном оказались в центре настороженного внимания, — когда Россия сюда пришла, все эти места уже имели названия. И потому они для нас — настоящие, а наши — нарочно придуманные. Это вроде как мы с мамой назвали тебя Миша — так ты и будешь Миша на всю жизнь. А уж как тебя приятели называют: или за рост — Длинный, или за волосы — Рыжий... а года через два другие приятели другую кличку почему-нибудь придумают, скажем, Кашалот. Конечно, приятели тебя чаще Кашалотом будут звать, им это и понятнее, и ближе. Но все-таки то, что ты Михаил, им следует помнить, иначе они и не приятели тебе. Другое дело, что, когда татары сюда пришли, все эти места тоже уже имели свои названия... Но то, что они их не сберегли, — это уж не наша вина». Слушатели вздохнули облегченно — но тут сидящий наискось через проход пожилой коренастый мужчина с резким загорелым лицом вдруг обернулся и, ничуть не сомневаясь в своем праве вмешиваться в чужой разговор, выставил на молодого папу обвиняющую жилистую руку. «Тебя арестовать надо! — бешено гаркнул он. — Ты чему мальца учишь? Эта земля русская, я тут кровь проливал! И деревни тут все русские! И горы русские!!»

А как Вербицкий в последний раз рискнул навестить Крым, без которого, казалось, и жизнь уже будет не в жизнь, ведь невозможно оторвать себя от мест, с которыми связано столько самых молодых, самых пронзительных, самых мужских воспоминаний; такой пласт души, такой ломоть... Заехал по старой памяти в Бахчисарай. На безлюдной площади перед исковерканной аркой выбитых ворот ханского дворца грузно пеклись на солнце два бронетранспортера с жовто-блакитными налепухами на броне. «Эй, Москва! — весело крикнул, высунувшись из люка, молодой парень в пятнистом комбинезоне; Вербицкий отчетливо видел, как теплый ветер перебирает его выгоревшие волосы. Вербицкий ни глазам, ни ушам своим не поверил: парень, несомненно, был русский. — Чего шляешься тут без штанов, Москва? Гляди, яйца отстрелю!» Стиснув зубы, Вербицкий молча по-

вернулся и пошел в своей завязанной узлом безрукавке и совершенно, казалось бы, не вызывающих, абсолютно смиренных шортах, построенных из старых джинсов путем усекновения штанин, вверх по Марьям-дере, ущелью Марии Богородицы, к бренным останкам скального Успенского монастыря. Не таким ему помнился Бахчисарай; не такой помнилась живописная, отполированная тысячами еще совсем недавно, пару лет назад, ежедневно ходивших тут ног тропа к монастырю и дальше, к знаменитому пещерному городу Чуфут-кале. Лишь как встарь, как при Советской власти, как при тюрьме народов, истошно вскрикивали и заливались жутким хохотом психи в сумасшедшем доме на дне ущелья под Успенским монастырем; Вербицкий остановился, постоял немного, борясь с собой, и дальше, к любимому Чуфуту с его грандиозной панорамой, открывающейся через головокружительный провал Ашлама-дере в сторону далекого, как темное облако, Чатыр-дага, он так и не пошел — стало страшно. Хотелось поскорее унести ноги. На автобусной станции одинокая женщина — молодая, смуглая, классическая «чорноока, чорнобрива» — уныло сидела в полном одиночестве на солнцепеке, чем-то, видно, торгуя. Увидев Вербицкого, она тоже, как и он сорок минут назад, не поверила глазам. «А вот кукуруза горячая, — с робкой надеждой затянула она как бы в пространство, хотя на площадке перед станцией они с Вербицким были вдвоем. — Молодая, молочная кукуруза!» Вербицкий купил у нее початок и долго, обжигая руки, втирал мелкую сероватую соль в его янтарные фасетчатые бочка. «С России?» — спросила красавица. «Из Петербурга». — «И как вы так не боитесь, однако...» — «Боюсь», — честно признался Вербицкий. «И я боюсь, — сказала женщина и протянула Вербицкому обратно ворох купонов, которыми Вербицкий с нею расплатился. — Та ж скушайте за так». И, когда он повернулся, чтобы идти к подрулившему со скрежетом запыленному автобусу — билетов в кассе, конечно, не было, но автобус пришел наполовину пустой, и это просто-напросто означало, что надо платить втрое непосредственно шоферу, — не выдержала: «Ой, та ж заберите нас обратно! Ради Христа, хоть как! Ой, бо-

женьки мои!» Что с нею там теперь? Никогда не узнаю. И мест тех никогда не увижу больше...

Как во времена оны, в первый горбачевский год, его в составе группы молодых литераторов занесло в Среднюю Азию, и он, пресытившись нескончаемым банкетом, любопытный, легкий на подъем и действительно надеявшийся писать, а не делать литературную карьеру, пустился в одиночное плавание. Он не мог теперь вспомнить, какая то была республика — грешным делом, он всегда их путал, да и какая, в сущности, разница была для петербуржца? Советский Союз, Средняя Азия — все сказано... Вот соловьевский «Ходжа Насреддин» помнится почти наизусть: Бухара-и-Шериф, Коканд-и-Лятиф, Канибадам, Ходжент...

Кто не ездил в среднеазиатских поездах местного сообщения — тот не знает наслажденья. Если уж ты внедрился в вагон, если закрепился среди мешков, тюков и прочих хурджунов, а уж тем паче если сел — то ехать тебе в раз занятой позе до конца. Во-первых, ходить практически невозможно — ногу некуда поставить. Во-вторых, стоит тебе отойти, твое место займут, каким бы неудобным оно тебе ни казалось. В-третьих, вещи твои испарятся, будто их джинн слизнул...

Еще на, мягко говоря, перроне Вербицкий с изумлением увидел среди атакующих вагоны аборигенов даже на расстоянии очевидно несчастную молодую женщину неместного вида — единственную женщину на весь перрон — с чемоданом в одной руке и кульком в другой. Она его тоже заприметила сразу и подбежала так быстро, как позволяли обе драгоценные ноши. Фраза, которую она, задыхаясь, выпалила, до нелепости походила на название одно время популярной кинокомедии. «Вы будете моим мужем, хорошо?» Скоро выяснилось, что она — жена лейтенанта-связиста, радиолокационщика, что ли, который отслужил тут лет пять и которого перевели теперь в Белоруссию. Заботливый наркомат обороны ниспослал один-единственный билет, исключительно для своего; восемь месяцев назад родившая супруга защитника Отечества, разделявшая с ним радости службы на точке все пять лет, вынуждена выбираться в Европу сама, как сумеет. В кульке оказался младенец. Вербицкий проявил

себя. Пропихавшись сквозь суетливые ряды и толкающиеся стены пыльных, орущих, пытающихся влезть в тамбуры с козами и ишаками богатырей в халатах, он сумел даже усадить свою Люсю, или, может быть, Марусю — Вербицкий не мог уже вспомнить имени... Через какой-нибудь час, заржав, как горячий степной конь, поезд тронулся. Сначала Вербицкого чуть не зарезал сосед напротив. Окна в поезде, разумеется, не открывались, данная особенность наших поездов нам и по средней полосе России хорошо известна — только там, в этой самой республике, плюс сорок пять в тени. А поезд едет не в тени. Впору умирать в этой раскаленной консервной банке, но ведь не хочется. А сосед принялся еще курить что-то отчаянно ядовитое. «Вы бы в тамбур вышли, — сдуру сказал ему рыцарственный Вербицкий. — Все-таки ребенок здесь...» Богатырь вспылил и схватился за кинжал. «Ти мне указыват будишшь? А вот пашли тамбур с мной!» — «Вася! Вася, не ходи!» — хватая Вербицкого за штаны свободной от кулька с младенцем рукой, истошно заголосила Люся-Маруся, забывшая имя Вербицкого сразу; впрочем, может, он просто не назвался в суматохе? А может, у Люси-Маруси уже мутилось в голове от духоты, и она впрямь начала путать Вербицкого со своим ненаглядным, которого и звали, вероятно, Василием — и которому, задержись он, чтобы вывезти жену, грозил бы трибунал. По-советски не веря, что его могут вот так за здорово живешь зарезать при всем народе среди бела дня, Вербицкий успокоил Люсю-Марусю и поднялся. С трудом выбирая места, чтобы поставить ноги, то и дело наступая на кого-то, они вышли в тамбур, богатырь открыл дверь в гремящее и темное — особенно со света — межвагонье, сделал пригласительный жест и, вынимая кинжал, шагнул туда. Похолодевший от ужаса Вербицкий, уже занесший ногу, опоздал буквально на секунду — и эта секунда оказалась решающей. Богатыря подвела экзотика, о которой Вербицкий и представления не имел, а богатырь то ли забыл, то ли отвлекся не вовремя. Туалеты в поезде были закрыты так же, как и окна, намертво и навсегда, и поэтому все ходили справлять свои надобности именно туда, в укромный сумрак межвагонья с его опасно покатым металлическим полом. Богатырь поскользнулся и

вместе со всем своим благородным возмущением рухнул в темноту, как подкошенный; с лязгом улетел в сторону кинжал. Когда богатырь вновь показался на свету, он был уделан с головы до ног, с него текло, и он смердел. Подобрав кинжал и скрежеща зубами, он проговорил: «Ти гост. Иди ти первый». У Вербицкого отнялись ноги. Положение спас косо сидевший на мешках у самого тамбура и потому все видевший маленький седенький аксакал. Он что-то резко, гортанно крикнул не по-русски, и богатырь мгновенно сник. Очень интересны были жесты. Вербицкий знал, что, например, в Китае, если старший внедряет младшему в сознание какую-нибудь укоризну, то назойливо тычет в него указательным пальцем. А тут — резкое, рубящее движение раскрытой ладони вверх, от груди на уровень лба. Голос аксакала был суров. Что уж он сказал уделанному богатырю — Вербицкий никогда не узнает, но остаток пути богатырь проделал в том самом межвагонье и только время от времени с оглушительным лязгом открывал дверь изнутри, перехватывал взгляд вернувшегося к Люсе-Марусе Вербицкого, жутко скалился из темноты, высверкивал глазами и показывал полуобнаженный кинжал... Часов через пять куда-то рассосался. Но к этому времени началась новая напасть — сосед слева перевозбудился от близкого пребывания молодой женщины. Глядя в пространство, он с отсутствующим видом ни с того, казалось бы, ни с сего начал петь на одной ноте: «Матрас, матрас, какая женщина мне даст...» Пауза. «Матрас, матрас, какая женщина мне даст...» Пауза. «Матрас, матрас...» Так прошло минут сорок. Люся-Маруся и Вербицкий сидели будто аршин проглотив, делали вид, что ничего не слышат, и время от времени принужденно ворковали. Новоявленный Меджнун не выдержал. «Эй, русский, — пихнул он Вербицкого в бок локтем. — Ты мужчина, я мужчина, ты поймешь. Два дня еду, женщины не было. Вели жене, пусть пойдет в тамбур со мной на пять минут. Я тебе пять дынь дам». Он говорил очень чисто, почти без акцента, но взаимопонимания это не прибавляло. «У нас так не принято, друг», — выдавил Вербицкий, истекая холодным потом; второй раз за день лезть на вполне, видимо, вероятный кинжал у него уже не было никаких моральных сил.

Да еще за совершенно чужую Люсю-Марусю. А ведь придется... «Матрас, матрас... Шесть дынь дам». — «Друг, нам так вера не позволяет». — «Матрас, матрас... Два дня еду, не могу больше ехать так!» Это длилось еще часа полтора. Дело шло к вечеру; поезд еле плелся, больше стоял, чем плелся, и Вербицкому даже подумать жутко было, что начнется в темноте. Теоретически прибыть они должны были засветло, но... По счастью, объявилась какая-то очередная богом забытая станция, очередная Бетпак-Дала, или что-то в этом роде; сраженный Амуром путешественник взвалил на себя свои мешки и пошел к выходу, без видимого огорчения напевая на одной ноте: «Бетпак-Дала — не дала, не дала... Бетпак-Дала — не дала, не дала...»

И вот там Вербицкому в душу впервые закралось подозрение: а моя ли это страна? Как-то не похоже. Нечего делать здесь белому человеку. Стыд, срамотища жуткая, и он старался потом этого состояния не вспоминать, но факт остается фактом, примерно так он тогда и подумал: нечего здесь делать европейцу. Пусть они живут тут как хотят, как привыкли, как им нравится — нас-то сюда зачем? Люсю-Марусю с ее несчастным невольником воинской чести?

А как он в девяностом году собрался наконец заехать на несколько дней в Баку, в гости к доброму старому другу, который уж сколько лет его звал; хорошо, что все-таки успел собраться, еще годом позже это оказалось бы уже невозможно. Как они сидели на просторном, овеваемом ветром, затканном зеленью и все равно жарком даже по ночам балконе и предавались блаженному ничегонеделанью: неторопливо пили ледяное благоуханное «медресели» — по крепости почти компот, однако все-таки вино, и если без сутолоки выпивать десять бутылок за вечер, то весь вечер легко и весело; закусывали потрясающей сладости и сочности арбузами, бледно-зелеными снаружи и ярко-рубиновыми внутри; и, то и дело безмятежно хохоча, с каскадом шуток и прибауток неопровержимо доказывали друг другу, что еще годик-другой — и кончатся безобразия, все нормализуется... Ходили смотреть город — роскошный, необъятный; цвели олеандры, пальмы размахивали на ветру лохматыми ветвями, в пронзительной синеве то ли моря, то ли неба не-

весомо парил остров Наргин... мудрые уже одной своей неторопливостью старики в папахах часами сидели в открытых маленьких кафе над ормудиками с чаем, и друг гордо водил Вербицкого по широким прямым и узеньким причудливым улицам, по грандиозным площадям и набережным, по удивительным дворам, замкнутым и всеобъемлющим, как Вселенная, — такой довольный и счастливый, будто сам, специально к приезду Вербицкого, за один день и одну ночь выстроил и дворец Ширван-шахов, и Девичью башню, и все остальное... «А вот здесь раньше стояло кафе Наргиз, в которое Ихтиандр заглядывал, когда сбежал в город — помнишь?» Еще бы Вербицкому не помнить! Мальчишки по всей стране пели в начале шестидесятых: «Нам бы, нам бы, нам бы, нам бы всем на дно!» — «Так это что, здесь снимали?» — «И здесь тоже...» Вербицкий смотрел и не мог насмотреться, всей кожей впитывал — и не хватало, хотелось еще и еще; и все пытался запомнить хотя бы самые элементарные слова, они звенели так возбуждающе, иноземно, инопланетно, за ними ощущалась многомерность мира; это вам не занюханный английский, на котором говоришь — будто горячую картошку во рту наспех перекатываешь, а за которым — по сути, только крутые дюдики да осточертевший музон на пьяных вечеринках. «Су» — «вода», «сулар» — «воды»; «китаб» — «книга», «китаблар» — «книги», и показатель множественного числа нужно произносить напевно, чуть протяжно, а гласная — и не «а», и не «я», а что-то среднее... Комендантский час уже был, и уже была аллея вахидов, но не ощущалось ни малейшей враждебности, даже напряженности почти не ощущалось, и Вербицкий облегченно стал подумывать, что, может, и впрямь все рассосется; все — лишь досадное, пусть трагичное, да, но — недоразумение. А потом, бродя по городу, они запнулись возле черного от копоти остова неизвестно кем взорванной несколько дней назад армянской церкви. Плотными потоками шли мимо люди — и влево, и вправо; но запнулись лишь они двое. И тут же рядом остановились две лижущие мороженое яркие юные красавицы, унизанные от ушей до запястий не слишком дорогими драгоценностями — отнюдь не в чадрах, наоборот, в плещущих на

горячем ветру мини-юбках, и одна сказала поясняюще: «Это их Бог наказал!» — «С ними со всеми так будет!» — поддакнула другая и со стремительностью поймавшей муху лягушки слизнула грозившую стечь ей на изящную смуглую руку струйку подтаявшего мороженого.

А как он в ноябре восемьдесят восьмого на последние деньги купил путевку в писательский дом творчества «Дубулты»! Он был тогда в жестоком кризисе, с тех пор, в сущности, так и не преодоленном, просто превратившемся в привычный вялотекущий. Повесть «До новых встреч», которую он осенью прошедшего года задумал и дал себе строгое задание набуровить как заведомую халтуру, чтобы победить наконец свое чистоплюйство и инфантильное желание глаголом чего-то там сжечь или зажечь, не писалась ни в какую; он не мог. Он не мог находиться в должной степени озверения и презрения ко всем настолько долго, чтобы успеть в этом настроении написать целую повесть; а в ином настроении бороться с желанием жечь — а вернее, жалеть — глаголом он тоже не мог. Опять он не мог того, что хотел. Чего хотел захотеть. Душу скрутило в тугой ком проволоки, и по проволоке днем и ночью пускали высоковольтный ток. Было очень больно. И чем больше времени проходило с момента, когда он прогнал ту странную женщину, которую невесть как отбил у Симагина, тем сильнее, и грознее, и безысходнее ему чудилось, что не все с нею так уж просто. Что не требовательной и приторно-липучей занудой она оказалась, но последним шансом — а он, отравленный тоской, суетой и быдлом, в штампованных мечтах своих о палочке-выручалочке представлял свой последний шанс совсем иначе: грубей, приземленней, вульгарней. Что он не понял чего-то и потому не одолел некую высоту, не вскарабкался на некую стену, отделявшую его от иного, просторного и яркого мира; или, быть может, вершину какую-то не взял, с которой на весь свет можно было бы глянуть совсем иначе... Так или не так? Он не знал. И знал, что уже никогда не узнает; и дергало, дергало душу электричеством сквозь пережженную изоляцию.

Почему он повел себя так нелепо, так грубо? Слишком легко ему эта женщина досталась, вот что. Сердца своего не

истратил, не отдал — значит, и чужого оценить не смог, это элементарно; жаль только, что про самого себя начинаешь понимать такие вещи обязательно лишь тогда, когда уже поздно. А вдобавок, как он постепенно понял, присутствие этой женщины — Ася ее звали, Вербицкий помнил, как сейчас, Ася — наверняка служило ему подсознательным напоминанием о собственной подлости, совершенной по отношению и к ней, и к Симагину, и даже к сыну ее, Антону, который Симагина любил, — и, значит, постоянным укором; вот он и поторопился от нее избавиться. Подействовало или не подействовало симагинское колдовство — об этом он и думать боялся, потому что тогда разверзалась бездна; но даже если и без колдовства — все равно через подлость. А коли нету ее рядом — как бы и не было ничего, и я опять хороший... Черта с два хороший — дергало, дергало душу. Встретить бы ее снова, присмотреться, прислушаться к себе, как впервые; проверить... Нет. Нет. Возврата нет. И он решил, от всего оторвавшись, оказаться в тихом и утонченном одиночестве, в неброской осенней тишине и, прогуливаясь по взморью, успокоиться наконец, что-то продумать, понять и поделиться этим с бумагой... Но соседом его в столовой, усевшимся за столик прямо напротив Вербицкого, оказался компанейский весельчак-сценарист из Москвы — говорливый, бурлящий, уверенный. Они дополняли друг друга наподобие Сашеньки и Ляпы — с трудом улыбающийся, замкнутый, инфернальный Вербицкий и громогласный, молниеносный общий друг... как же его? «Я в партию вступил еще в институте, — гремел он на всю столовую, — чтобы иметь возможность бороться с гадами на их же поле, изнутри!» Они выпили вместе в первый же вечер.

Ни одиночества не получилось — ни тишины. Какая там тишина. Даже в курортных пригородах то тут, то там вскипали митинги под национальными флагами, и по взморью, меся знаменитый песок Юрмалы, взад-вперед бродили марши и колонны того или иного протеста... Для сценариста все это были хохмы. Он бережно трескал коньячок, сыпал прибаутками и анекдотами и, если заходил разговор о чем-то серьезном, гремел: «А нам, татарам, все равно! А мы их бомбой! А мы их целлюлозным комбинатом!» В какой-то из дней они

вдвоем выбрались в Ригу, посмотреть наконец город, погулять по советской Европе, принять на грудь культурно и в цивилизованном кафе, а не просто в номере или в кабаке творческого дома. Город был сер, и сумеречен, и печален, душе Вербицкого под стать; то и дело срывался мелкий дождик, и оказалось красиво. Они прошли мимо Домского собора, увидеть который — хотя бы увидеть! — было мечтою Вербицкого еще класса с восьмого, когда он влюбился в органную музыку и какое-то время буквально бредил токкатами и хоральными прелюдиями. На углу Муйтас и Кронвалда, заслышав русскую речь, к ним буквально подбежал ошалевший от бесприютности, со смешно торчащей из воротника шинельки длинной тоненькой шеей русский солдатик и, неловко крутя в пальцах разомлевшую во влажном воздухе папироску, с робостью в голосе попросил прикурить. Откуда он там взялся один — кто знает? откуда в ту пору брались русские солдатики и там, и там, и там? Прежде чем Вербицкий успел достать зажигалку, веселый сценарист, блистательно сыграв акцент, громко и строго сказал: «Найти сепе ф этом короте русскоко и у нефо прикурифай!» Солдатика как ветром сдуло. И ражий обалдуй залился довольным смехом, с некоторой искательностью заглядывая Вербицкому в глаза — видишь, какой я вольномыслящий, ни вот настолечко не великорусский шовинист; и какой в то же время остроумный!

А Вербицкий долго потом не мог смеяться. Совсем не мог.

— Поделом нам, — прошептал он и, набрав горсть воды из-под крана, плеснул себе в лицо. Потом еще раз. Лицо горело. — Поделом... Поделом нам всем!!

Когда он вернулся на кухню, там наблюдался апофеоз любви. Ляпа сидел уже не напротив Сашеньки, а рядом с ним — даже стул ухитрился передвинуть — и крепко держал его за локоть, а подчас и встряхивал с силой. Вербицкий, остановившись, прислонился плечом к дверному косяку — за спиной у сидящих.

— Мы же за них переживали! Как за себя! Как за своих! А для них мы — чужие! Вот я! Я — переживал! Переживал, что они дружка с дружкой режутся, переживал, что им че-

го-нибудь зимой не хватит и они замерзнут в своих горах... Переживал, когда мы их разнимали силком... Как мы все про саперную лопатку эту несчастную бесились, помнишь? А Прибалтика? — Он тряхнул угрюмого Сашеньку так, что тот едва не слетел со стула. — Телецентр этот проклятый? Сейчас уж никто и не помнит, а ведь на заборах брань про самих себя писали, с лозунгами по улицам бегали как ошпаренные: «Братья, мы с вами!», «За вашу и нашу свободу!». А им на это все насрать!! Наши переживания им на хрен не нужны! И когда мы теперь тут друг друга режем, они все — радуются! В ладошки хлопают! Понимаешь, Вроткин? Я за них за всех переживаю, сердце надрываю себе, за жену так никогда не переживал, как за Сумгаит какой-нибудь, за Лачинский, блин, коридор — а им на хрен это не надо!

Он замолчал, тяжело дыша и бешено вращая остекленевшими глазами. Потом, слегка придя в себя, зарыскал взглядом по столу. Нашел. Схватился за свою рюмку, там еще сохранилось чуток. Сплеснул себе в пасть.

— Когда отец переживает за сына, — медленно и негромко заговорил Сашенька, глядя в пространство перед собой, — кому это надо? Сыну? Нет, главным образом — отцу. Потому что жизнь отца, который не переживает за сына, становится абсолютно пустой и, как правило, отвратительно грязной. Когда сын переживает за отца, кому это надо — отцу? Отцу, конечно, приятно, но нужно это — сыну. Потому что сын, который не переживает за отца, вырастает чудовищем. Гордись, Ляпа, что сохранил способность переживать за тех, кому на твои переживания плевать. По-настоящему это может только Бог.

Ляпишев прямо-таки окаменел на несколько мгновений. Да и Вербицкий слегка ошалел, не ожидал он, что Сашеньку так прорвет. Видимо, и на него водка хоть и вкрадчиво, не впопыхах, но действовала.

— Вот... — сипло выговорил Ляпишев, а потом, обняв Сашеньку, навалился на него сбоку и даже головой рухнул ему на плечо. — Вот... Я знал, ты поймешь... Ты... — в голосе у него заплескались обильные слезы, — ты... прости меня, Сашка... Я не хотел... Я же честно думал, что вы враги. Я только недавно понял... Еврейский космо... политизм и

наша отзывчивость всемирная — это почти что одно и то же! Знаешь... Русские лишились Родины в семнадцатом году. Взамен им подсунули Советский Союз, а там, дескать, живет единый советский народ. Но только евреи да русские в эту сказочку и поверили. Да еще кой-какие латышские стрелки... чтоб им на том свете их пулями икалось!! Но вот ведь, Сашка, подлость какая! Если украинец, или латыш, или чукча какой-нибудь заявляют, что они никакие уже не советские, а гордые, блин, латыш и украинец, — это возрождение нации. Весь мир рукоплещет. А стоит русскому сказать, что он русский, — он уже фашист. Это справедливо? Чего стоит после этого твоя Европа? Демократия твоя долбаная? Не лучше коммуняк. Ты-то понима-аешь... Сколько лет... сколько лет! Стоило еврею выговорить слово «Израиль», он тут же был сионист. Стоило шепнуть, что евреям надо держаться вместе, сразу: хлоп! — масонский заговор, хотят мир захватить. И теперь мы все евреи! — с каким-то мазохистским восторгом взревел он и принялся размашисто и нетвердо загибать пальцы. — Прибалтийское пленение — раз! Украинское пленение — два! Кавказское пленение — три! Азиатское пленение — четыре! Рассеяние русского народа... Только по-вашему помогать дружка дружке пока не выучились, на государство свое рассчитывали, как на Бога... всяк за себя, одно государство за всех. А оно — вон чего! И ведь двух тыщ лет учиться нам — не даду-ут... Хохлов надо было давить!! — выкрикнул он внезапно с опаляющей ненавистью, так что Вербицкий и Сашенька одинаково вздрогнули. — Чухну! Чурок всяких!!

Сашеньку аж скрутило, будто от боли; сморщившись, он отчаянно замотал головой и тоже почти закричал:

— Да зачем вообще кого-то давить, Ляпа? Зачем?!

— Ты узкоглазым это скажи!

— Доведется с ними пить — скажу... Чехи словаков давят? Или словаки — чехов? Норвежцы шведов или шведы норвежцев? Посередь Италии есть государство Сан-Марино, население двадцать тысяч. Плевочек такой. Между прочим, древнейшее из европейских государств, образовано в триста первом году. Никто никого не давит. Живут-поживают, в гости друг к другу ездят... Посмотри на Европу!

А ирландцы, а корсиканцы, а баски, тут же подумал Вербицкий. Не все так просто... И гипнотически уставился Ляпе в затылок: ну ответь же ему. Ведь есть же что ответить!

— Да не люблю я твою Европу! — попросту гаркнул Ляпа. — Сытые, самодовольные... киберы... Три команды в программе: пожрать, поспать, улыбнуться... поспать, пожрать, улыбнуться... Души-то — шиш!! Акции какие-то, дивиденды... А большего праздника, — надсаживаясь, заревел он, — и нету для них, чем когда русских режут! Не нра-вит-ся мне Европа твоя!!!

Сашенька коротко и неожиданно громко в наступившей после крика тишине хохотнул, замогильно всхлипывая, а потом проговорил с беспредельной, смертной тоской:

— Моя милая в гробу. Я пристроился — ебу. Нравится не нравится — спи, моя красавица...

Вербицкий внутренне сжался, ожидая взрыва, который опять разрушит едва обретенный хрупкий интернационал. Но Ляпа, видимо, исчерпал на последней вспышке остаток сил и отключился напрочь.

— Думаешь, поспать? — едва слышно пролепетал он, только последние слова, видимо, и разобрав. — Да, наверное... Только ты не уходи. И Валерке скажи... Посидите еще, я сейчас подремлю чуток, а потом опять... чтобы весело было...

Он с трудом поднял голову с Сашенькиного плеча — Сашенька тут же обернулся к Вербицкому и беспомощно заглянул ему в глаза. Вербицкий чуть покивал. Ляпа уже замер в обычной своей позе: рука на столе, в водочной луже, голова щекой на сгибе локтя, глаза закрыты.

— Вы простите, ребята... — округляя губы, как засыпающий ребенок, прошептал он едва разборчиво. — Я опять опьянел немножко... Я бы рад не пить... но все время боюсь — не так скажу, не так сделаю... обижу... а со страху молчать стану, так вообще ничего не скажу, будто и вовсе нету меня...

И на следующем вдохе уже всхрапнул.

Некоторое время Вербицкий так и стоял, подпирая плечом косяк; и Сашенька, обессиленно сгорбившись, так и сидел к нему спиной. Потом Вербицкий оттолкнулся плечом и

медленно, с напряженной осторожностью выбирая, куда поставить ногу, чтобы не наступить ни на одну из разлетевшихся по полу кухни драгоценных вырезок и выписок, вернулся к своему стулу и сел. Взял свою рюмку, поболтал то, что там еще оставалось, принюхался. Его едва не вырвало на стол.

— Даже пить не хочется, — сказал он.

— Еще бы, — негромко, точно боясь разбудить Ляпу, проговорил Сашенька. — Имея перед глазами такой пример, все время подмывает объявить пьянству бой.

— Точно. И все-таки мы сначала еще треснем.

— Несомненно, — сказал Сашенька и с готовностью ухватил свою рюмку. В ней тоже еще было на донышке.

— Только маленько переждем.

— Переждем, — согласился Сашенька.

Помолчали. Потом Вербицкий с надрывом проговорил в пространство:

— Ну почему мы все такие несчастные?

Сашенька поджал губы, а потом отрицательно покачал головой.

— За всех не говори, — мертво произнес он. Лицо у него было будто вот сейчас — в петлю. — Я себя несчастным не считаю.

И решительно допил то, что у него было в рюмке. Передернулся.

— Больше не стану, — сказал он сипло. — Хватит на сегодня. Повеселились.

— Слушай, Саш, — сказал Вербицкий. — Не дает мне покоя «Труба» твоя... Ведь хороший чекист всех врагов победил, Крючков его обнадежил, мы так понимаем, что вот буквально через неделю после концовки настанет светлое будущее... И в то же время — «Труба». И ты так объяснил, что, дескать, всем нам труба и стране труба. Ты что, не понимаешь, что в свете этого разъяснения все плюсы в книжке меняются на минусы и наоборот? Издевательство же получается над честным чекистом и его честным начальством!

Сашенькины губы медленно растеклись в улыбке.

— Ну вот, и ты понял, — сказал Сашенька. — И еще кто-нибудь поймет. А потом — еще...

Вербицкий некоторое время осмыслял.

— Саша, но это же такая фига в кармане...

— Лучше фига в кармане, чем клеймо на лбу, — ответил Сашенька. — И тем более дырка в затылке.

Помолчали.

— А про что «Труба-2»?

— О-о! Это будет штучка посильнее «Фауста» Гете... Я там с нахальной наивностью намекаю, что двадцать восьмого августа Горбачев умер в Форосе от инсульта и впрямь отнюдь не естественным образом. Мой бравый герой постарался. Лихо преодолев все препятствия. Там и цэрэушники будут, и грушники будут — а он их всех а-адной лева-ай! Ведомый мудрыми указаниями будущего первого всенародно избранного президента Российского Советского Союза товарища Крючкова. И это было правильно, это было нужно людям! И те люди, которые это знают или, по крайней мере, догадываются, всячески выражают моему герою признательность. Впрямую ничего не говорится, естественно, но все же умные, читатель у нас такой искушенный, соображает. Да, вот так, ну что ж... зато спасли страну от иностранного капитала. Увидишь, они мне еще Госпремию дадут. За наглость. Ведь ни одна сволочь не признается, все прячутся за медицинское заключение. А я почти в открытую заявлю — угробили, и молодцы. Давно пора было. Им и деваться будет некуда, опубликуют и поблагодарят. А называется — «Труба». И кто-нибудь опять поймет...

— По краю ходишь, Сашка.

— Ой, да брось ты...

— Молодец, — Вербицкий помотал головой. — А я, грешным делом, думал — ты совсем исхалтурился.

Сашенька крутил в пальцах пустую рюмку, сосредоточенно заглядывая в ее нутро. Лоб его пошел складками.

— А я и в натуре исхалтурился.

— Ну вот, здрасьте!

— Хоть здрасьте, хоть прощавайте. Даже тысячетонная фига в кармане не делает писанину литературой. А литературой у меня и не пахнет.

— Неправда. Там иногда очень удачные фразы попадаются...

— Перестань!! — вдруг выкрикнул Сашенька, и голос его сорвался на визг.

Вербицкий осекся. Видимо, сам того не ведая, он задел гарпун, застрявший в какой-то невидимой, но почти смертельной ране. Он повел головой, втянул ее в плечи и пролепетал с интонациями Ляпишева:

— Не так скажу, не так сделаю... обижу...

Сашенькины губы снова немного растянулись. Улыбнулся. А прекрасные карие глаза были печальны, словно прозревали конец мира.

— Ах, Валерка, Валерка... — проговорил он. И вдруг потянулся за непочатой бутылкой. — Давай...

— Давай, — ответил Вербицкий.

Распечатали и выпили по полной. Сашенька потянулся к консервной банке — зажевать отраву остатками сардин, но Вербицкий остановил его руку.

— Давай-ка я это в холодильник уберу, — сказал он. — Мы не упадем, я надеюсь... А Ляпа проснется, похмелится, а даже и закусить нечем. У него ж, кроме этой банки, в дому, похоже, еды ни черта. Опять завинтится.

— Справедливо, — согласился Сашенька. — Ты настоящий друг. А я вот не сообразил. Только ведь, знаешь, он не вспомнит в холодильник посмотреть. Давай ему депешу напишем, печатными буквами.

— Точно!

На вырванном из блокнота листке Сашенька написал крупно: «Ляпа, мы все убрали в холодильник! Закусь тоже!» А потом они действительно все убрали в холодильник.

— Чует мое сердце, завинтится, — обеспокоенно сказал Сашенька. — Фуфырь почти не тронутый.

— А давай еще по полтинничку. Мы не упадем, а ему на сто грамм меньше останется.

— Как ты о друзьях заботишься...

— Аск! — Вербицкий картинно расправил плечи. — Я такой!

Сашенька тихонько засмеялся. И они приняли еще по полтинничку. В голове окончательно затуманилось, стул под задницей раскалился и куда-то поехал.

— А как ты? — спросил Сашенька, закуривая. Речь его стала несколько невнятной — тоже пробило, видать. — Ты-то пишешь что-нибудь?

— Нет, — ответил Вербицкий и, добыв из скомканной пачки предпоследнюю «пегаску», тоже закурил. Сигареты уж который год были отвратительные, хуже, казалось бы, некуда, и тем не менее они все-таки становились все хуже и хуже — но совсем бросить курить у Вербицкого так и не получалось пока. Ляпа всхрапнул — видимо, на слово «нет». — Так... статейки. Не могу, Саш. Тошнит. Все слова уже сказаны. И как об стену горох. Те, кто стреляет дружка в дружку, читать не станут. А кто станет читать — так они и так не стреляют.

Сашенька запретительно помахал сигареткой в воздухе. Косой, медленно пульсирующий зигзаг дыма серо засветился в лучах бьющего в кухонное окошко заходящего солнца.

— Тебе надо определиться наконец, — проговорил он. Потом вдруг улыбнулся, как бы извиняясь, и повторил в тон уже Вербицкому: — Не так скажу, не так сделаю... обижу...

— Обидь, — тоже улыбнулся Вербицкий.

— Крупным писателем ты уже не стал. Крепким ремесленником — еще не стал. Есть опасность, что так и не станешь. А надо стать, иначе — кранты. Другого пути уже нет, но хотя бы этот путь надо пройти до конца. Ты понимаешь это?

— Нет, — ответил Вербицкий с нетрезвой убежденностью и твердостью. — Не понимаю. И никогда не пойму.

— Все мечтаешь мир улучшить? Ну-ну... По краю ходишь, — вернул ему его фразу Сашенька.

Крупным писателем уже не стал, повторял Вербицкий про себя, нетвердо бредя от остановки автобуса к дому. Было сумеречно и тепло, и безветренно; зрелая листва августовских деревьев таинственно и уютно мерцала в свете только что затеплившихся фонарей. В ближнем скверике, на лавочке, которую время от времени то опрокидывали, то сызнова ставили на раскоряченные ножки, по случаю погожего вечера веселилась молодежь — тупо постукивали стаканы, булькали напитки, бренчала расстроенная гитара, и несколько голосов с кретиническим весельем орали, не попадая ни в

одну ноту: «Повсюду танки! Повсюду танки! Жена, стирай мои портянки!»

Не стал, не стал... Матрас, матрас... Бетпак-дала — не дала, не дала... Не далась мне высота. Крупным писателем уже не стал. Вербицкий немножко гордился собой — не надрался сегодня. Опьянел, да, разумеется, но ведь для того и пьем. А вот не надрался. Завтра будет вполне нормальный, полноценный день. Запись на радио, гранки перевода, обработка воспоминаний этого косноязыкого партайгеноссе... Все успею. Все сделаю. Любую халтуру. Чужую. Но сам халтурить не стану. Просто не сумею, это уже ясно. Не знаю, как вам, а мне ясно. Пробовал. И раз пробовал, и два, и три. Да не так уж это и сладко — халтурить. Не в смысле делать заведомую дрянь, отнюдь нет; в смысле шабашить. Зашибать. Калымить. Велик могучим русский языка! Вон, по Сашеньке видно — уж как он старался научиться быть крепким ремесленником еще каких-то лет пять-семь назад! Ну, научился. И затосковал — для души теперь чего-то хочется. Вот, начал фиги показывать. А я это просмотрел; не скажи он — не заметил бы. Но это тоже чушь. Тоже не выход. Это он, наверное, скорее в оправдание себе придумал; и строит теперь такое лицо, будто совершил подвиг. Сначала пишет текст, который с гарантией издадут и со свистом пролистают в сортирах и трамваях, а потом придумывает к нему подтекст. Чтобы в душе еще и гордиться собой. Впрочем, зачем я гадости измышляю... что я знаю? В конце концов, если человеку только кажется, будто он совершает подвиг, если он только думает, будто совершает подвиг, — мужества ему требуется не меньше, чем для настоящего подвига. Но дали бы ему свободу писать, что хочется? А дали бы мне свободу писать, что я хочу — мне бы стало легче? Да нет же! Я ни о чем уже писать не хочу! Раньше-то в основном только про то и хотелось писать — что нельзя писать о том, о чем хочется писать. А если бы было можно... Стало бы не о чем? Вот ужас! Порочный круг. Но сейчас, хотя ни о чем нельзя, все равно стало не о чем. Атрофировалось от постоянных и многолетних биений об стену. Куда ни кинь — всюду клин. А было ли чему атрофироваться-то, а, Валерка? Перед самим собой, чест-

но, положа руку на сердце! Не знаю, не знаю... не мне судить...

Что же делать?! Что же делать?! Отчаяние пульсировало в висках в такт коротким словам не имеющего ответов вопроса. И мысль уже хваталась за спасительную соломинку, выруливая на проторенную дорожку страхующих от мыслей штампованных острот: ага, вечные вопросы российской интеллигенции! Где делать, с кого начать? Но не помогало. Уже и это не помогало. Не смешно, не весело. Глупо просто.

Я же совсем один, вспомнил он. Потому и не клеится. Не для кого — потому и не о чем.

Может, она вернулась к Симагину? Мысль его обожгла, он сбился с шага. А ведь могла. Она же его так любила, так... Дурацкое слово, не из наших времен, но тут иного не подберешь — обожала. Это значит, делала из него себе Бога. О-бож-ала... Сколько лет я Симагина не видел? Лет восемь... Может, надо его навестить? Вдруг она там? Просто попытаться понять, выдумал я все это про нее и про невзятые высоты уже теперь, с тоски — или тогда оказался тлей?

А ведь я боюсь Симагина. Мы всегда стараемся избегать встреч с теми, кого предали, это так — но я еще и боюсь. И не того, что он мне как-то чудовищно отплатит, нет... Это было бы даже правильно. Боюсь узнать, что он добился успеха в своей науке, что у него получилось все и, значит, я действительно всего лишь железками, только ими, перевернул их жизнь... не перевернул — сломал...

А сам не сумел даже кусочек отъесть от украденного у них пирога.

Ох, нет, лучше не думать. Лучше бы выпить, но все осталось у Ляпы, и слава богу, а то уже не он, а я мог бы завинтиться...

До подъезда оставалось метров десять, и пальцы Вербицкого уже начали сами собой складываться в некую «козу», чтобы одновременным нажатием трех кнопок — голова уж и не помнила, каких именно, помнили только пальцы — открыть кодированную от лихих людей дверь. И тут Вербицкий почувствовал тупой горячий удар в живот — неожиданный и абсолютно необъяснимый. В следующее мгновение раскинулась дикая, невообразимая боль. Вербицкий ахнул,

теряя равновесие, и выронил «дипломат». Взгляд, уставленный вперед, на долгожданную дверь подъезда, упал вниз, на себя; с отчаянным изумлением, ничего не понимая, Вербицкий успел увидеть, как сама собой, ничем видимым не продырявленная, расселась на животе одежда, а из-под нее... из узкой, как от кинжального лезвия, дырки...

Кровь. Почему кровь?

Это же моя!! И как больно... Что это? Нет!!!

Ноги обмякли, и Вербицкий повалился на асфальт.

Минут десять он лежал совершенно неподвижно — только кровь медленно цедилась и натекала. Затем жутко, как марионетка, шевельнулся; опираясь на руку, сел. На ощупь, но очень деловито достал из «дипломата» блокнот и ручку. Резко щелкали в вечерней тишине замки. Мертвые глаза были широко открыты, смотрели мимо. Изломанным невнятным почерком, как бы из последних сил, Вербицкий с сомнамбулической аккуратностью вывел прямо на бумажной обложке блокнота: «Меня Андрей Симагин из-за Аси Опасе». Последнюю букву в слове «опасен» он не дописал явно нарочито, для вящей натуральности. Стискивая ручку в одной руке, блокнот в другой, он снова лег и торопливо — кто-то уже приближался — повозился немного, словно бы устраиваясь поудобнее, а на самом деле стараясь улечься так, чтобы послание на блокноте, зажатом в судорожно скрюченных пальцах, было хорошо видно. И больше никогда не двигался.

Из-за поворота ведущей к подъезду дорожки, обсаженной густо разросшимся шиповником, показалась пожилая женщина с овчаркой на поводке. Овчарка встала как вкопанная, потом встопорщила шерсть на загривке и глухо заворчала. Потом завизжала женщина.

Давным-давно Ася не спала так крепко и спокойно. И сон снился какой-то неконкретный, но сладкий — будто молодость вернулась, что ли, и все плохое куда-то делось. Она помнила во сне, что было плохое, много плохого, годы и годы плохого — но все осталось в прошлом. А теперь будет хорошее — много хорошего, годы и годы хорошего... Почувствовав, что просыпается, она едва не заплакала, ощутив, что чем ближе к яви, тем ближе к плохому, тем стремитель-

нее теряло плоть хорошее — проваливалось, истаивало, улетучивалось... Потом она поняла, что лежит под одеялом голая. Это ее поразило. С чего это она вдруг спала голая? Ни с кем вчера ничего не было, она могла поручиться, она это-то уж помнила наверняка. Алексей месяца полтора носу не кажет, а со случайными я не трахаюсь. Вот так провал! Она открыла глаза и испытала очередной шок: сон продолжался. Она ночевала не дома. Она уж и забыла, когда в последний раз ночевала не дома — две, а может и три, геологические эпохи назад. Она терпеть не могла просыпаться не дома. Но дело было не в этом даже — она проснулась не просто не дома, а куда более чем дома; невыразимо и почти невыносимо родным, забыто радостным дышали стены... И тут сердце взорвалось, как граната. От удара крови потемнело в глазах, и пульс заколотился даже где-то в глубине щек, даже в пальцах. Она судорожно дернула одеяло к подбородку, к носу и замерла, панически прислушиваясь. Она у Симагина. И Симагин где-то здесь; за той стеночкой, которую она вчера гладила так, как уж незнамо кого. Уж Алексея она точно никогда так не гладила, даже поначалу.

В квартире было тихо, и минут через пять Ася немного успокоилась. Надо же было вставать. Она сообразила посмотреть на часы наконец — да, время поджимало. Разоспалась женщина. Но какой ужас! У Симагина!

И сейчас надо будет разговаривать с ним... опять.

А вчера-то как хорошо было...

Коньяк?

Вряд ли только коньяк. Сейчас никакого коньяка уже не ощущается, а все равно; взглядом вожу по стенам — и таю, и млею, и хочется лежать тут и лежать.

А ведь если я, скажем, попрошу завтрак в постель, Симагин только улыбнется, как добрый мудрый дедушка, и принесет. Взять сейчас и крикнуть как ни в чем не бывало, как будто и не было этих лет врозь: Андрюшенька, лапонька, принеси мне кофе, пожалуйста, — что-то мне не встать, очень умоталась вчера... Она подумала это, а потом поняла, что это действительно, действительно можно сделать; он ведь и впрямь принесет, да еще и спросит заботливо, сколько сахару положить, — и сердце взорвалось снова.

Сейчас выйду, а он сидит и смотрит. Сгорю. Одни угольки останутся. Невероятная история.

Непостижимая. Идиотская на редкость. Удивительная. Обыкновенное чудо?

Как он теперь ко мне относится, хотела бы я знать... Кофе-то он принесет, а вот как относится?

Неужели он, именно он — что-то сможет узнать про Антона? Если так, то...

Просто издевательство, если так. Меньше всего я хотела бы, чтобы мне помог как раз Симагин.

Честно? Ой, Аська, а не кривишь ли ты душой? Может быть, уже — больше всего?

Да вставать же надо!

Не хочется... Как не хочется...

Ну!

Она выпрыгнула из постели и натянула белье с такой стремительностью, словно квартира горела. Словно вот именно сейчас он взял бы да и вошел без стука. В панике она едва не оторвала пуговицу на лифчике, но лишь сломала об эту пуговицу ноготь. Потом, уже спокойнее и только шипя, когда этот ноготь задевал за ткань особенно неприятно, надела верхнее. Умываться ж надо... краситься... При нем? Кошмар!

Как уютно и славно было когда-то все это делать при нем...

Все делать при нем. С ним. Для него.

Достала из сумочки зеркальце. Критически осмотрела свою физиономию, причесалась, насколько это было возможно в полевых, так сказать, условиях. Интересно, если в Антошкиной комнате такой мемориал, может, и везде — мемориал? Может, у сентиментального Симагина и моя зубная щетка сохранилась?

Под стеклом, ага. Экспонат номер один, руками не трогать. Тщеславная и самовлюбленная дура ты, Аська, вот ты кто. Она поглубже вздохнула, как если бы ей предстояло некое запредельное физическое усилие — прыжок в воду с вышки или из самолета с парашютом... без парашюта.

Открыла дверь и вышла в коридор.

Симагин будто и не уходил с кухни, оказывается. В том же джемпере и тех же вельветовых джинсах сидел на своем месте спиной к окошку, а на плите поспевал чайник, и бутера были уже нарезаны и намазаны.

— Доброе утро, — просто сказал он, подняв глаза от книги. Книга лежала у него на коленях, ниже столешницы, и Ася не могла разглядеть, что именно он читает. А сразу стало интересно. И от его спокойного, даже, кажется, чуть небрежного — во всяком случае, абсолютно обыденного тона Ася вздохнула снова, на сей раз облегченно. Словно гора с плеч свалилась. — Тебе с сыром, с колбасой? Свежее полотенце я на крючок на двери повесил в ванной... Чай будешь или кофе сварить?

— Доброе утро, — ответила она так же запросто. Она была признательна ему за найденный и предложенный тон. Не ляпнул ничего вроде «Я помню, на завтрак ты предпочитаешь крепкий чай». Ни малейшего намека на то, что в этой ванной она когда-то умывалась каждое утро, и принимала душ, и эти самые полотенца — ну, пусть не эти, пусть предыдущие — она стирала миллион раз, и сдувала, смеясь, со щеки плеснувшую пену, а когда Антон спал или, наоборот, был в школе, с удовольствием разгуливала по этой квартире нагишом... и месила воздух пятками, и заходилась криком от счастья, от благодарности и нежности к этому Симагину, жадно и преданно впуская его в себя... Так, просто приятельница зашла; даже не приятельница, а почти приятель. Молодец, Симагин. Спасибо тебе. Сильно изменился. Повзрослел.

Они завтракали быстро, но без спешки. Почти не разговаривали, а если и говорили, то об отвлеченных пустяках. Например, о травяных чаях. Мята, лаванда, чабрец, душица. Смородиновый лист, малиновый лист, брусничный лист. Потрясающе содержательная беседа для нежданно-негаданно оказавшихся вдвоем мужчины и женщины, которые были когда-то мужем и женой и просто-таки боготворили друг друга. Да не были мы мужем и женой, старательно напомнила себе Ася, начиная уже злиться на себя за то, что, кажется, сама рассиропилась. Любовниками были, из-за этого я и ушла — когда осточертела неопределенность! Но бесполезно

было распалять себя ядовитыми припарками. Теперь, с высоты нынешних лет и нынешних бед, Ася отчетливо понимала, что такую определенность, как у них тогда, днем с огнем не враз сыщешь, и многие получившие на совместную жизнь одобрительный штемпель сволочного, проклятого государства, с которым любой порядочный человек старается встречаться как можно реже, старается вообще не иметь ничего общего, — живут на самом-то деле куда неопределенней; и что ушла она — не из-за этого. Не понимала только, из-за чего. Но уж точно не из-за этого.

Симагин даже по мелочам не позволял себе лезть к ней в душу — скажем, каким-нибудь якобы заботливым, а на самом деле оказавшимся бы бестактным, как его ни задай, вопросом типа «Как спалось на новом месте?» или даже просто «Как спалось?». Хотя... Может, ей и было бы приятно услышать такой вопрос — но вспылила бы она, по крайней мере в душе, обязательно. Нет. Ничего. То ли полное равнодушие, то ли железная воля — вот и гадай. Да не буду я гадать! Какая мне разница! Ни малейшей! Так она уговаривала себя, почти заклинала — и первая не выдержала. Совершенно неожиданно для себя. Только когда слово вылетело, она с запозданием сообразила, что проговорилась. Глядя, как Симагин аккуратно покусывает свой бутерброд, она машинально спросила:

— А с кр-рэнделем ты теперь не пьешь?

И тут же у нее перехватило дыхание от того, что этим незамысловатым вопросом она ни много ни мало — разрешила памяти быть. Признала, что ее жизнь когда-то была туго, до самой последней мелочи, сплетена с жизнью сидящего напротив человека и, что бы ни происходило впоследствии, они не чужие. Сердце опять панически задергалось так размашисто, будто кроме сердца у нее под тонюсенькой перегородочкой кожи и не осталось ничего; и эта-то перегородочка вот-вот лопнет... Даже в глазах потемнело. Ну и дура ты, Аська. А уж нервы стали — никуда! Вот он сейчас как примется за столь любимые им воспоминания... А здорово мы ночью в речке купались, а? А помнишь, как мы познакомились? А помнишь, как мы с сеновала падучие звезды смотре-

ли? А я помню, где тайная родинка у тебя... Ох! Язык тебе, Аська, отрезать надо!

— Бублики теперь очень невкусные стали, Ась, — будто ни в чем не бывало, ответил Симагин. — Как опилки.

И все.

С минуту она унимала дыхание, изо всех сил стараясь, чтобы он ничего не заметил.

Как ни старалась она жевать помедленнее, делать глотки пореже и поменьше — не прошло и четверти часа, как завтрак иссяк. Она зачем-то заглянула в свою чашку, потом нерешительно отодвинула ее. Непонятно было, что теперь делать. Уйти? Вот так вот встать и уйти? Она не хотела уходить. Она хотела быть здесь. Более, чем дома. Там, где она не одна.

Ведь если я уйду, это, наверное, опять навсегда.

Она поймала себя на том, что подумала именно так: опять навсегда; и то, что любое из двух этих слов исключало другое, почему-то ее немного успокоило. Но все равно. Даже разговор прервался. Она напряженно сидела на своем всегдашнем месте, набираясь сил для того, чтобы наконец придумать какие-то прощальные слова и подняться. И ничего не приходило в голову. А Симагин каким-то образом ухитрился еще не съесть свой бутер — хотя делил он снедь ровно пополам, она обратила внимание — и теперь спокойно шевелил челюстями.

— Ась, — произнес он, не дожевав, — ты не стесняйся. Если хочешь перекурить — ради бога.

И придвинул ей блюдце вместо пепельницы.

Она едва не засмеялась от облегчения. Ну дура дурой, все уловки с этим Симагиным забыла. Ведь, действительно, можно еще перекурить и не вставать целых пять минут. Симагин, лапонька, какая же ты умница... И как хорошо, как естественно теперь объясняется то, что она сидела будто аршин проглотив — конечно, просто-напросто хотела курить, но не решалась в некурящей квартире. Стараясь все делать очень спокойно и неторопливо, она достала из сумочки поганые сигареты и зажигалку и с удовольствием затянулась. Первая сигарета на дню — это вообще всегда сказка.

А тем временем и Симагин покончил с трапезой и, чуть улыбаясь глазами, уставился на нее.

— У тебя крошка прилипла, — сказала Ася и мизинцем ткнула в свой собственный подбородок.

— Спасибо, — сказал Симагин, смахивая крошку. И тут же добавил, улыбнувшись уже по-настоящему: — «У вас ус отклеился». — «Спасыбо...»

Ася засмеялась. Ей было удивительно хорошо. И только очень не хотелось уходить.

— Значит, так, — сказал Симагин. — Я ничего не забыл и сегодня же займусь делом. Думаю, что все будет в порядке, и уж, конечно, раньше чем через несколько месяцев, на которые тебе намекал капитанчик-регистратор.

— Ох, Андрей, — проговорила Ася, — ты уж лучше не обещай ничего. А я и ждать не буду ничего. Когда получится — тогда и получится. Если вообще.

— Получится, Ася, получится. Тебе звонить с докладами, как дело продвигается, или только представить заключительный рапорт?

Вот оно, подумала Ася, снова на миг теряя дыхание. Со вчерашнего вечера она много раз задавала себе похожий вопрос. Но тот ответ, который раз за разом, сам собою, выкатывался ей на язык, был настолько удивителен, что она не решалась даже мысленно произнести его, уверенная, что это наваждение... а вот теперь надо было наконец произнести, и даже не мысленно, а вслух. Некуда деваться. Она медленно затянулась, держа сигарету у самых губ — так, чтобы Симагину не видно было ее лица. И сдалась.

— Звони почаще, — едва слышно сказала она.

— Хорошо, — ответил Симагин после едва уловимой паузы. — Хорошо. Бу зде, — опять улыбнулся. — Телефон у тебя не сменился? Мне, извини, Антон его дал еще тогда... когда вам поставили.

Опять — вот оно. Вот и Симагин произнес фразу, сутью которой было признание того, что они с Асей отнюдь не вчера познакомились.

— Нет. Запиши, — поспешно ответила Ася. — Чем искать старые записные книжки, лучше...

— Я помню, — прервав ее лепет, уже без тени улыбки сказал Симагин.

С перепугу она ткнула в блюдце недокуренную сигарету; размяла ее, размолотила в коричневую, издыхающую дымом труху. Почти вскочила. Симагин, ни слова не говоря, тоже поднялся. Цок-цок-цок по линолеуму коридора — это она. Шлеп-шлеп в своих шлепанцах — он. Уже у двери она обернулась:

— А ты не идешь в институт сегодня?

Он смотрел ей в глаза серьезно и спокойно и, казалось, все понимал.

— Я давно ушел из института, Ася, — ответил он. — Но это совсем другая история. Потом.

Неожиданное сочувствие, как к родному, болезненно ткнуло душу. Видно, и его жизнь не щадила. И наука, видно, изменила ему... как я. Эх, Симагин, Симагин. Ну почему мы все такие несчастные?

— Значит, жду звонка, — сказала она, опять никак не находя сил, чтобы протянуть руку к защелке замка и открыть дверь. Было такое чувство, будто снаружи пустота, вакуум и стоит лишь нарушить герметичность — воющий поток воздуха высосет ее отсюда навечно. Смущенно улыбнулась:

— После восьми я обычно дома. Сижу и жду звонка.

— Может, я действительно позвоню уже сегодня. А рабочий у тебя тоже прежний?

— Да, — сказала она и сразу снова вспомнила, как назойливо и жалко звонил он ей на работу после возвращения из Москвы и ей хотелось его убить. Теперь ей хотелось убить себя. — Тоже помнишь?

— Тоже помню.

Она даже не знала, что ответить. Будто ни в чем не бывало уронить идиотское «Надо же» или «Ну, я пошла» — было бы бестактно, грубо, подло даже; она совсем не то хотела бы ему сказать. Но ответить ему в тон было нечем. Пока нечем. Лихорадочно она дергала то за одно слово, то за другое, но цепочка ответа не выдергивалась. Тогда она порывисто поднялась на цыпочки — щуплый-то он щуплый, но выше ее почти на голову! — и, покраснев, как девчонка минувшей эпохи, поцеловала его в подбородок. А потом опрометью бросилась вон. Потому что боялась, что он ее задержит, может, после поцелуя — даже обнимет. И боялась, что он даже

после поцелуя — все равно ее не задержит. И не могла понять, чего боялась больше.

Только на лестнице она вспомнила — и, потеряв ногой ступеньку, едва не покатилась кубарем вниз. Да откуда же знала про него Александра-то эта Никитишна? Как же это она умудрилась меня сюда послать?

А Симагин, стараясь дышать как можно медленнее и глубже, будто встарь провожал Асю, стоя у окна. Смотрел, как она стремительно, нервно, до сих пор словно бы убегая, пересекает тянущуюся вдоль дома разбитую асфальтовую дорожку. Как, сокращая дорогу, срезая угол — помнит, помнит! — уходит по тропинке через детскую площадку и кустарник. Как пропадает между серыми пятиэтажками, выходящими на Тореза. Только прежде, если он оставался дома работать — думать, а она уходила, у детской площадки она всегда оборачивалась и, улыбаясь, махала ему снизу рукой. И он ей махал.

Все мы где-то люди, сказал мой ночной собеседник.

Могу погасить Солнце. Могу расплавить Марс, а могу, наоборот, напитать его кислородом. Могу превратить Асю в без памяти влюбленную в меня рабыню. И ничего этого не сделаю. Потому что ничего этого не могу. Сил-то хватит, хватит и на большее — но дело не в силах. Не могу. Солнышко должно светить и греть, Марс, как он есть, должен бегать по своему эллипсу. А она должна чувствовать то, что чувствует. Миру должна. Чтобы мир рос сам, во всей своей невообразимой, хитроумно и намертво сплетенной сложности, а не утеснялся чугунной клеткой наших примитивных вожделений, наших куцых представлений о том, что для мира хорошо, а что нет. И мне должна. Чтобы мне было за кем взлетать.

Но вот Антона я вытащу.

Ему так и не удалось заснуть в эту ночь. Не было сна. Слишком резко переломилось существование, которое Симагин так старался сделать по возможности ровным и размеренным, по возможности не связанным с действительностью. Он знал пределы своих возможностей и не хотел, чтобы боль сопереживания заставила его переступить эти пределы.

Но в глубине души он всегда был уверен, что не устранился он вовсе, а просто ждет и не разменивается по пустякам. Можно сделать то, можно — это... однако по-настоящему можно ведь обойтись и без того, и без этого. И вот дождался. Без Антона — нам не обойтись.

И тревога не давала заснуть; он ждал удара. Но все было спокойно. На удивление спокойно.

Симагин не обольщался. Он знал, что удар последует обязательно, его собеседник слов на ветер не бросал. Возможно, он ждет, когда я начну работать, решил Симагин, но все равно не перестал вслушиваться.

Лежа без сна, глядя в потолок и буквально всей кожей, всей кровью, безо всяких сверхчувственных чудес ощущая теплое и беспомощное Асино бытие совсем рядом, он уже наметил основные вехи легенды, которую теперь оставалось выстроить посекундно, а затем подогнать и подшлифовать под нее те из фактов, те из реальных событий, которые вообще поддаются столь избирательной, точечной подгонке и подшлифовке. Он намеревался закончить с этим к завтрашнему дню, в крайнем случае — к послезавтрашнему, денек резерва он себе накидывал, потому что одна бессонная ночь все-таки уже была; но что-что, а работать он умел, особенно если прижимало. Советская закваска. До пуска домны осталось семьдесят шесть дней! И семьдесят шесть дней никто, по сути, вообще не спит и, в сущности, вообще не живет, все только вкалывают с веселыми прибаутками вместо обедов и ужинов, чтобы задуть домну на восемь часов раньше, чем через семьдесят шесть дней. Потому что ведь тогда получится, что еще на восемь часов раньше планового срока настанет коммунизм...

Ко времени завершения подшлифовки, пожалуй, как раз и закончится запущенное Симагиным перед рассветом цепное микропросеивание грунта в братском овраге. Симагин не знал и даже не задавался вопросом, какими методиками пользовался, скажем, Иисус, воскрешая Лазаря, или, например, дочь Иаира, но подозревал, что там было попроще. В конце концов, их тела были совсем свеженькими; при склонности к сомнительным остротам можно было бы сказать — с пылу с жару. А в овраге сотни трупов вперемежку

гнили с марта по август. Но в принципе молекулярная реконструкция не была чем-то совсем уж сомнительным — лишь бы хоть одна Антонова генная цепочка сохранилась. А Симагин по опыту знал, что найдет их десятки. Так что план битвы или, скорее, фронт работ — что в данной ситуации было одним и тем же — он уже прикинул и первоочередные пункты программы уже выполнил. Пришел день, и надо было подумать о делах дневных, а вернее — повседневных. Довлеет дневи злоба его.

Решительно уйдя из института после того, как стало ясно, к чему идет лаборатория и куда вгоняет биоспектралистику новое руководство, Симагин постарался жить, как люди живут, и не более. На пропитание и минимально необходимые шмотки он зарабатывал теперь тем, что натаскивал по точным наукам золотую и серебряную молодежь, жаждущую поступать в вузы или уже поступившую, но чувствующую себя в указанных науках не вполне уверенно. Спрос, как ни странно, был. Те, кто уж решился связаться с высшим образованием, не лоботрясничали теперь, а рыли, что называется, землю. Поскольку в основном связывались дети богатых и влиятельных, платили за репетиторство прилично. А Симагин с его терпением, уважительностью, умением объяснять просто и тактично — ну и, не в последнюю очередь, с его знаниями — оказался прекрасным педагогом; правда, в клинических случаях он легонечко применял абсолютно безвредные, никаких веерных последствий не влекущие микроподсадки. Так что в определенных кругах Симагин за истекшие несколько лет стал знаменит. Андрей Андреича пригласите, он подтянет. Знаю, что говорю. Да честное партийное! У него дураков не бывает, а уж неспособных — и подавно. Не было случая, чтоб он не справился. Кого он натаскивал — у всех мозги просветлялись, все поступили. Сколько берет? Да представьте, вполне по-божески. Я бы при его репутации... м-да.

Как ты цепляешься за человеческое, сказал ему сегодня ночной гость. Да, он цеплялся. И получал некое немного извращенное, но вполне невинное и, главное, несомненное удовольствие — будто взрослый человек, неторопливо прогуливавшийся мимо с детства знакомой песочницы и, вдруг

обнаружив, что ни детей, ни взрослых кругом нет, умильно присевший поиграть в куличики, — когда ходил, позвякивая увесистым скоплением мелочи в кармане, за булкой, или творогом, или суповыми пакетами, когда бежал за автобусом, вот-вот готовым захлопнуть дверцы, когда зажигал — да-да! — зажигал газ надрывно стрекочущей электрической зажигалкой... И сейчас он, по объему памяти способный при известном напряжении дать фору всем компьютерам планеты, вместе взятым, с приятной, какой-то викторианской обстоятельностью всматривался в красиво расчерченный лист, всегда лежащий на письменном столе, — график занятий. Фамилия, адрес, день, время. Сегодня у него было три урока, все в разных концах города. От одного лоботряса до другого днем можно пешком пройтись по Питеру, по любимым местам непарадного центра; на ходу думается лучше всего. Улица Декабристов, Пряжка, проспект Маклина, площадь Тургенева... Исконный Петербург, и на отшибе на тихом; ни метро, ни безумных толп — красиво. Былым пахнет. Каналы... Калинкин мост. О Калинкин мост! А слева на берегу — больница, и еще на заре их знакомства Ася туда попала на десять, что ли, дней — ранний гастрит, нервная она девушка была всегда; и он к ней бегал... В ту пору от Финляндского ходил замечательный автобус «двойка»; кому мешал? Ох, сколько лишнего в башке, сантиментов всяких! Любовь к родному пепелищу не заглушит его вонищу... Прогуляемся. Как раз и легенду Антошке достроим.

А вечером — она всегда договаривалась с ним на вечер; Симагин так понимал, что именно по вечерам чаще всего не бывает дома ее неработающей матери, а вкалывающий за четверых отец раньше одиннадцати никогда не появляется, и девочке посвободнее, поспокойнее работать с Симагиным вдвоем — предстоял визит к Кире.

Она была славная, очень миленькая и на личико, и на фигурку, и при всем том — умница. Конечно, с массой, как теперь говорят, прибамбасов, свойственных молодым и балованным, из непростых семей — но каким-то удивительным образом ее эти прибамбасы не испортили, редкий случай. Своей искренней, безмятежно храброй открытостью она напоминала Симагину арканарскую Киру из любимой

книги детства. И вот ведь ухмылка жизни: даже имя совпадало. С нею было и уютно, и легко, и интересно; а чтобы и интерес, и легкость могли ощущаться одновременно — такое не часто встретишь. Симагин занимался с нею с апреля и получал от занятий совершенно искреннее удовольствие: у девочки был жадный и сильный ум, все она схватывала на лету — и, похоже, в обыденной молодежной жизни ей было с этим умом тесно. Часто она с восхищением всплескивала руками: «Ну ведь как просто! Ну почему нам учителя никогда так не объясняют?» — «Потому что далеко не у всех учителей есть чувство юмора, — отвечал Симагин. — Они слишком серьезно относятся к своему предмету. А надо понимать, что все это не важно, главное — чтобы человек был хороший. Умных у нас хватает, а вот добрых — не густо...» — «А таких, как вы, Андрей Андреевич, наверное, и вообще нет». — «Ни единого, — договаривал фразу Симагин. — И меня давно уже нет, откровенно вам скажу... Вымер». Она смеялась заразительно и звонко и махала на него ладошками. Она не боялась восхищаться, не боялась говорить человеку в глаза хорошее, но лести или лицемерия тут и в помине не было. Просто есть люди, к которым, скажем, чашку или пепельницу поближе пододвинешь, а они даже не заметят или, в лучшем случае, угукнут коротко и опять примутся долдонить свое. А есть люди, которые совершенно непроизвольно просто-таки расцветут: «Ой, спасибо! Как сразу удобно стало!» Кира была из вторых. Нередко они с нею, покончив с интегралами, начинали беседовать за жизнь; обменивались книгами, с одинаковым отвращением обсуждали текущий, так сказать, момент. Всех ее подруг и приятелей Симагин уже знал наперечет, знал, кто с кем и что, знал в подробностях, как она прошлым летом впервые всерьез втрескалась и через два месяца разочаровалась. Поразительно, но поначалу она и от него ожидала такой же открытости в ответ, один раз даже запросто спросила что-то такое весьма для внутреннего пользования — и тут же, натолкнувшись на его «э-э... мэ-э...», все сразу поняв и смертельно перепугавшись, уже не смешливо, а панически замахала на него ладошками: «Нет, нет, если вы скрытный, то не говорите ничего!» Потом подождала и вдруг добавила очень серьезно:

«Но если вам захочется выговориться или просто поделиться — то вот она я вся, пользуйтесь». Это прозвучало по меньшей мере двусмысленно, и Симагина черт боднул ответить в тон: «Хорошо, если уж очень захочется — немедленно припаду». Еще не договорив фразу, он с отвращением и раскаянием ощутил себя старым козлом и выругался мысленно последними словами — но с совершенно недостойным пожилого мудреца удовольствием отметил, как порозовели ее щеки и шея.

Школу она закончила, имея по всем предметам, которых хоть как-то касались их занятия, блестящие пятаки, но сразу же попросила Симагина дотянуть ее до вступительных; а теперь, когда вступительные вот-вот должны были начаться, уже несколько раз говорила, что хотела бы продолжать заниматься с ним и по вузовской программе: да разве они смогут, как вы? да я к вам привыкла уже, никого и слушать больше не буду! а что, у вас с осени уже не окажется для меня времени? Симагин был более чем согласен. Ему нравилось с нею; к ней он уже с мая, наверное, дважды в неделю шел не как к ученице, а как к родственнице, что ли. Иногда ему приходило в голову, что он, в общем-то довольно одинокий человек, в глубине души ее невольно удочерил. По возрасту — почти в самый раз; и о такой дочке он мог бы только мечтать. А иногда ему приходило в голову, что он в нее немножко влюблен. Иногда ему даже приходило в голову, что и она к нему неровно дышит; что, во всяком случае, он стал для нее несколько больше, чем просто репетитором. Кем именно, он старался не гадать, чтобы даже в сослагательном наклонении не льстить себе — но все мы где-то люди, и предвкушение того, что послезавтра или даже завтра она будет сидеть напротив него за громадным овальным столом, глядеть восхищенно, ловить каждое слово, а потом поить сногсшибательно настоящим кофеем из породистых закордонных чашечек, невесомых и изящных, как лепестки роз, и очаровательно спорить, исподволь тешило его замшелое мужское самолюбие. Подслушать ее чувства и мысли напрямую, чтобы узнать все про нее наверняка, он, конечно, не позволял себе; да ему и так было хорошо.

С приятным чувством хорошо сделанного дела он мысленно перебирал по пунктам все, что успел наработать за день, а ноги сами собой, без малейшего участия разума, несли его к Кириной двери — точнехонько к семи, минута в минуту. По Симагину всегда можно было проверять часы. И Кира, казалось, в урочное время уже ждала его прямо за дверью — дверь начинала лязгать многочисленными замками буквально сразу после того, как Симагин тренькал звонком. Сначала трижды приглушенно лязгала внутренняя дверь, затем еще трижды, уже отчетливее, резко и громогласно — внешняя, лестничная. Очень эти звуки напоминали Симагину соответствующие кадры из «Бриллиантовой руки» — как неведомый шеф унизанной перстнем лапкой растворяет перед Папановым и Мироновым свой жилой сейф изнутри; но, когда он попробовал пошутить на эту тему с Кирой, она не поняла юмора. Пожалуй, это был единственный раз, когда в разговоре с ним она не поняла юмора. Симагин даже опешил от неожиданности и плохо запомнил, что именно она ответила; что-то вроде «Еще бы, а как же? Знали бы вы, что сейчас по богатым домам творится... никакие вахтеры не помогают».

Заранее улыбаясь чудесной, солнечной своей улыбкой, она настежь распахнула люки своего убежища. Нет, все-таки она, наверное, нарочно к моему приходу причепуривается, в который раз подумал Симагин; не может девушка вот так сама по себе, одна, сидеть дома. Хочет нравиться. Ну да, наверное, в ее возрасте и с ее данными девочка всем хочет нравиться, это естественно. Длинные, пышные, явно только что чуть подвитые волосы благоухают молодой чистотой. По случаю наконец-то случившегося лета юбочка — длиной даже не как шорты; как купальник. Лифчиков Кира, похоже, отродясь не носила — во всяком случае, в симагинском присутствии, — и тугая тонюсенькая футболка обтягивала грудку с рекламной откровенностью. Симагин старался не смотреть. Сегодня это было бы особенно нехорошо.

А все равно приятно.

— Андрей Андреевич, вот и вы! Добрый вечер!

— Добрый вечер, Киронька.

— У вас лицо усталое и озабоченное. Разувайтесь, вот шлепки... Что-нибудь случилось? Может, у вас дела и вам не до меня сегодня? Так вы скажите!

— Что вы, Киронька, все в полном порядке.

— Да вы разве признаетесь! Я уже ни одному вашему слову не верю! Все в порядке, все в порядке — а сами отработаете со мной и, наверное, бегом в больницу, куда, может, ночью жену с приступом увезли. А я сиди, как дура, с вами два часа и не знай, можно смеяться или нет.

— Разумеется, можно.

— Не знаю, не знаю... Бабу, Андрей Андреевич, не обманешь, баба — она сердцем видит! Вы со мной как с чужой, честное слово!

— Кокетка вы, Кира.

— Я? Я? Да побойтесь бога! Да я сама простота!

— Ну, тогда сбацайте «Мурку».

— Да сбацала я вашу «Мурку»... Все, что вы задали, расщелкала, Фихтенгольца от сих до сих превзошла... Хотите — требуйте вдоль, хотите — поперек... Хотите — задом наперед. Все могу в любой позиции.

Вот так она с ним. Что прикажете думать? Может, молодежь теперь вообще этаким манером всегда разговаривает и, наоборот, считает полным и круглым дураком того, кто воспринимает текст осмысленно? Ну, как если бы я, услышав «Здрасьте, я ваша тетя!», начал всерьез размышлять о том, что у меня-де никогда не было такой тети, или, по крайней мере, я никогда не знал, что у меня есть такая тетя, и как же это моя тетя так хорошо сохранилась... Симагин засмеялся только.

Они прогулялись по квартире — не как по Эрмитажу, конечно, но на одно из крыльев какого-нибудь Монплезира обиталище уже вполне тянуло; уселись к теннисных размеров овальному столу возле широкого окна, выходящего прямо на тускло мерцающее оранжевыми и розовыми отсветами просторное зеркало Невы. За Невой царственно клубился сумеречный Летний сад. Доставая и раскрывая тетрадку и какие-то свои вспомогательные, промежуточные бумажки — Симагин всегда требовал все материалы до последнего листочка, чтобы прослеживать, как он говорил, этапы восхождения к истине, — Кира неловко сказала:

— Андрей Андреевич, вы извините, но я вас еще огорчу.

— Что такое? — удивился Симагин. — Меня пока еще никто не огорчил.

— Ну... тогда я буду первая. Мне же хуже. Понимаете, у нас ведь сегодня день выплаты, да?

— Да вроде... — ответил Симагин. Он и забыл об этом.

— Не вроде, а точно. Четвертое занятие после того, как я с вами последний раз расплачивалась. Я прекрасно знаю... вы не думайте, пожалуйста, — у нее даже голос задрожал, — что я буржуйка и мыслю на уровне французской королевы, дескать, если уж у народа и впрямь нет хлеба, то почему он не ест сладкие булочки...

— Да вы о чем, Кира?

Не поднимая глаз, она упрямо продолжала:

— И я прекрасно знаю, как у таких замечательных людей, как вы, всегда трудно с деньгами. Может, вам хлеба купить не на что. А у нас по сравнению с вами как бы куры не клюют. И вот сегодня, — совсем напряженным, без интонаций голосом закончила она, — я не смогу вам заплатить.

Она перевела дух. Самое трудное было сказано. Теперь она умоляюще взглянула ему в лицо и выкрикнула с отчаянием:

— Ну просто дурацкое стечение обстоятельств! Папа больше полугода шустрил и добился-таки, что ему предложили должность коммерческого директора в «Аркадии»...

— Поздравляю, — автоматически сказал Симагин, хотя что такое коммерческий директор и, тем более, что такое «Аркадия» — ни малейшего представления не имел.

— Да я не к тому! Понимаете, все бумаги уже подписаны, оформлены, он уже и заступил фактически, и тут всплывает, что по лукьяновской росписи от февраля девяносто второго для поста этой категории у батьки не хватает четырех месяцев партийного стажа! Представляете? Каких-то поганых четырех месяцев, он уж и сам забыл давно, когда именно вступал в эту Кэ Пэ Сэ Сэ — и вот такая плюха!

— М-да, — сказал Симагин сочувственно. — Партийные тоже плачут.

— Еще как! Ох, что тут вчера было! Я так жалела, что вы не видите... с ваших заоблачных высот на все это посмот-

реть — живот бы надорвали. Всю наличку, какая есть, сгреб подчистую — и ночным поездом в Москву, в комиссию партконтроля... чтоб ему там как-то приписали эти месяцы, что ли, или наоборот, его назначение переоформили более поздним сроком... я не знаю.

— А деньги-то ему там зачем? — спросил Симагин и тут же сообразил: — Подмасливать, что ли?

Она посмотрела на него даже с некоторым недоверием.

— Ну вы даете, — сказала она. — Конечно! Партконтролю же коммерческая деятельность запрещена, поэтому, скажем, взаимозачетом там ничего не сделать, они только наличку признают... Папка считал тут — человекам шести совать придется! Бумажки одна к одной по пачечкам раскладывает, по числу потенциальных получателей... а с самого пот градом, и на кончике носа капля пота болтается... И деваться некуда, он уже два документа как директор подмахнуть успел, теперь, если что — семь лет с конфискацией, как минимум! Представляете? — И она засмеялась, не испытывая, разумеется, ни малейших опасений. Ведь всевозможные законы — где-то вдали, а они с папой — здесь, в жизни.

— С трудом, — честно ответил Симагин.

— Я тоже. Поэтому дико даже подумать, тем более сказать — но в доме ни копейки. Это буквально на пару дней, правда. Я в следующий раз расплачусь. Честное комсомольское! Если что — сама у ребят настреляю... стекляшку какую-нибудь заложу... или продам. Да если б не вчера все стряслось, а хотя бы позавчера, я бы уж как-нибудь раскрутилась и вам ни словечка бы не сказала!

— Да Кира же! — рыдающим голосом сказал Симагин. Он видеть не мог, как девочка убивается. — Да не принимайте вы это так близко к сердцу! Я совсем не бедствую!

— Не верю, — твердо сказала она.

— Ну хотите, я вас ссужу?

— Если вы будете так шутить, — ровным голосом предупредила она, — я разревусь.

— Вот только этого не надо. Давайте лучше займемся...

— Сейчас займемся, я... я только закончу. А то второй раз к этому возвращаться у меня смелости не хватит. Я ведь не зря насчет хлеба. Я из остатков былой роскоши сбацала

плотнющий и вкуснющий ужин, мы с вами вместе поедим, и я вам еще с собой дам. — Ее щеки и даже шея стали пунцовыми. — И вот только вздумайте отказаться!! Буду с вот таким свертком бежать за вами всю дорогу до дома... кстати, узнаю, где ваш дом... и вопить благим матом: милый, любимый, ненаглядный, ты не доел курочку и трусы забыл. Вы меня еще не знаете. Я женщина без предрассудков, у меня не заскорузнет!

Симагин улыбнулся и чуть покачал головой, глядя на девочку с самой настоящей и ничуть не скрываемой нежностью. Кира сидела напротив него очень прямо и на него глядела прямо-прямо, и ее глаза сверкали, как звезды. Словно у Аси когда-то.

— Не отказывайтесь, Андрей Андреевич, — тихо сказала она. — Не обижайте меня.

— Меньше всего на свете, Кира, — так же тихо ответил Симагин, — я хотел бы вас обидеть.

Она опять облегченно вздохнула и улыбнулась тоже.

— Но вы меня не бойтесь, я не сумасбродка, — заявила она. — Я вас, вообще-то, во всем слушаюсь. С полуслова. Вот вы недели три назад обмолвились, что в моем возрасте обожали фантастику. Так я уж так на эту фантастику набросилась! Если у вас потом время будет, я и об этом хотела бы с вами поговорить. За ужином, например.

— Вы же знаете, что будет, — ответил Симагин.

Тут она вообще расцвела.

Без малого два часа они работали плотно и увлеченно. Умница, с умилением думал Симагин, какая умница... Вот ведь берутся же откуда-то такие в нашей суматошной и мелочной мгле. И сословие не искалечило ее. И нежное, милое личико, и эта фигурка прелестная, которую она показывает мне с такой гордостью, словно собственноручно проектировала ее и вытачивала, — ее не искалечили. Как это говорили китайцы про Тао Юань-мина: в грязи вырос лотос...

— Все, Киронька, баста, — сказал наконец Симагин. — Полный блеск. Старик Симагин вас заметил и в вуз сходить благословил. Когда начинаются вступительные?

— А они уже начались, Андрей Андреевич, — просто-таки сверкая от упоения собой, ответила Кира и принялась складывать бумажки. — Сочинение мы вчера писали.

— Оценки еще нет?

— Нет. Послезавтра, на следующем экзамене, скажут.

— А что за темы нынче пишут, интересно? Вот вы — что писали?

Она смутилась. На секунду спрятала глаза, а потом с деланым оживлением воскликнула:

— Ну что? Ближе к камбузу?

Не получилось у нее замять вопрос для ясности. Симагин удивился:

— Кира, темы экзаменационных сочинений теперь секретные, что ли?

— Да не секретные... — Она поняла, что отвертеться не удастся, и с безнадежностью в голосе призналась: — Дурацкие просто. Срамиться перед вами неохота. Первая, конечно, посвящена близящейся славной годовщине. «Историческое значение ГКЧП и его победы над деструктивными силами».

— Ну, это понятно, — сказал Симагин. — Вам еще повезло, Кира. В мое время все подобные события имели не просто историческое, а всемирно-историческое значение.

— Кишка у них теперь тонка на всемирное, — презрительно сказала Кира. — Потом, значит, «Образ Юрия Владимировича Андропова в публицистике последних лет». Ну, и собственно литература: «Поднятая целина» и «Петр Первый».

— Да, выбор богатейший, — сказал Симагин. — Можно сказать, на любой вкус. И что вы писали, если не секрет?

Она покраснела так, что глаза заблестели проступившей влагой. Едва слышно ответила:

— Андропова...

— Как интересно! — восхитился Симагин. Он откинулся на спинку стула и даже пальцы сцепил на животе. — Расскажите мне, пожалуйста, каков его образ в публицистике последних лет. Я совсем не знаю.

— Ну, — избегая смотреть на Симагина и оттого бегая глазами по полу, по потолку, по стенам, начала Кира, — что он уже тогда все понимал и начал было укреплять страну, как теперь Крючков... но те, которые замышляли перестройку, его вроде бы отравили... Ой, да перестаньте вы меня казнить! — не выдержала она. — Не станете же вы меня расспрашивать, как я в сортире сидела, когда у меня желудок расстроился. Сколько раз бегала да как кряхтела... А тут, извините, точно такой же физиологический акт. Надо было пойти и опростаться. Я и пошла.

Смеясь, Симагин поднял руки, как фриц под Сталинградом:

— Все, Киронька, все! Больше не буду! Ваше несравненное и изысканное красноречие меня полностью убедило и даже пристыдило. Простите бестактного дурака.

— А у вас было сочинение, когда вы поступали? — вдруг спросила Кира.

— Дай бог памяти... было, кажется, — ответил Симагин.

— А что вы писали?

Симагин оттопырил нижнюю губу.

— Кира, вот как на духу: не помню. Сейчас... да-да-да... Что-то по Чехову. Счастье и несчастье маленького человека в ранних рассказах Чехова, вот как это называлось.

Кира, качнув головой, завистливо поцокала языком.

— Это я бы написала... это я бы так написала... А что вы получили?

— Вот это точно помню: четыре — четыре.

— Врете!

— Нет, правда. Я тогда на эти темы двух слов связать не мог. На маленького человека мне было плевать, потому что люди меньшего масштаба, чем Эйнштейн, или Софья Ковалевская, или, скажем, Кибальчич, меня абсолютно не интересовали. А четверка за русский потому, что я всегда сначала писал весь текст, всё, так сказать, содержание, а потом щедрой горстью, в произвольном порядке, рассыпал по нему запятые. Странно еще, что не трояк...

Кира засмеялась и уже с явным, нескрываемым, даже подчеркнутым кокетством стрельнула на него глазками.

— Что ж, придется стать Софьей Ковалевской...

— У вас есть все шансы, — честно сказал Симагин.

— Стать светилом математики или заинтересовать вас? — спросила Кира.

Симагин только засмеялся — и ничего не ответил. Кира, напряженно выждав какое-то мгновение и сразу сама же смутившись, поспешила прервать паузу:

— Ну, прошу к столу!

Кухня тоже выглядела как один из малых залов Монплезира; но в зале обосновалась сверхсовременная секретная лаборатория. Возможностями, экономичностью и дизайном кухонное оборудование, казалось, могло бы дать фору симагинскому институту в лучшие его годы. Симагин даже не старался выяснить, какая электроника предназначена, чтобы чистить картошку, а какая — чтобы сок давить; микроволновку только и признал. Сколько-то там камерный холодильник выглядел как суперкомпьютер, но строже. Ася бы здесь растерялась, подумал Симагин, а мама вообще бы струсила и убежала к себе, туда, где печка без угару — и слава богу, а у плитки спираль еще не вывалилась — вот и ладно. Здесь готовить было — как сверхзвуковой истребитель вести. Сплошные кнопки да шкалы.

Ас Кира подняла свой «МиГ» проворно и твердо. Только руки замелькали — и только индикаторы один за другим начали загораться и помаргивать на загадочных приборах. Ужин она, наверное, действительно завела из десятка блюд, не меньше; чтобы довести их до кондиции, ей понадобилось целых минуты две. На протяжении подлетного времени она, тихонько напевая нечто чрезвычайно бодрое и от избытка накопившейся за часы ученого сидения энергии то пританцовывая в такт мелодии одной ногой — «ногу эдак, ногу так, получился краковяк», тут же всплыло в памяти Симагина совсем из раннего детства, наверное, еще бабушкино, — то легонько постукивая носком туфли об низ одной из антикварных мебелей, стояла к Симагину спиной, и тот мог не стесняясь, без помех, с отчетливым удовольствием и смутным сожалением рассматривать ее от пышной светлой гривы до каблучков.

— Ножки у вас, Киронька, просто прелесть, — расчувствовавшись, честно сказал Симагин.

Девочка коротко обернулась и глянула на него через плечо с веселым изумлением.

— Ну какой вы наблюдательный, Андрей Андреевич, прям спасу нет! — ответила она. — Полгода не прошло, а вы уже заметили!

— Хм, — сказал Симагин.

Она снова отвернулась, но уняться еще не могла:

— У меня появляются довольно веские основания для самых радужных надежд. Через каких-нибудь пять-семь лет вы вполне можете заметить, что я и вся в комплекте зверушка очень даже ничего. Вы соевый соус любите?

— Не знаю, — ответил Симагин.

— Значит, надо попробовать, — уверенно сказала она и шагнула к холодильнику. Отворила массивную, тягуче-медлительную дверь, стремительно присела на корточки, так что юбчонка, и без того-то длиной с купальник, как бы беззвучно и невесомо взорвалась, на мгновение взлетев вверх и вспышкой показав Симагину почти нематериальные Кирины трусики и то, на что они были надеты. Симагин не успел отвернуться и только подумал: «Ох!», ощущая так, как давным-давно не ощущал, что ничто человеческое ему не чуждо. Дразнит она меня, негодяйка, дразнит, усмехнулся он в душе — но был совершенно искренне благодарен девочке за доверие и щедрость. Кира тем временем уже вскочила с какими-то яркими и причудливыми пластиковыми флакончиками в руке, уже закрыла холодильник и принялась метать на стол посуду. Щеки у нее раскраснелись, грива ходила ходуном, глаза сверкали.

— Твои мальчики, — сказал Симагин, — должны тебя звать солнышком. От тебя действительно и тепло, и свет.

Она опять стала совсем пунцовой. Было ясно, что ей приятно это слышать, — но ответила она как ни в чем не бывало:

— Чем на каких-то там мальчиков такое ответственное дело сваливать, вы бы, Андрей Андреевич, сами начали уже сегодня.

— Права не имею, — серьезно сказал Симагин. Кира тут же встала в позу Ленина на постаменте — левая рука зацеплена большим пальцем под мышкой, правая указующе-призывающе простерта пятерней вперед.

— В борьбе обретешь ты право свое! — воскликнула она, по-ленински картавя. И тут же на стол вновь запрыгали ложки, вилки и чашки.

— По-моему, — задумчиво произнес Симагин, — это не ленинская фраза.

— Да какая разница? — Кира опять прервалась и, пару секунд идиотски порубив воздух руками, как Троцкий, выкрикнула, на этот раз гортанью раскатывая «р» по-еврейски, как полагается в соответствующих анекдотах: — В бор-рбе обр-рэтешь ты пр-раво свое!

Симагин от души засмеялся, и Кира, уже неся на стол какую-то раскаленную чугунную посудину, засмеялась вместе с ним.

— Вы меня вконец задразнили нынче, — сказал Симагин.

Кира сняла с посудины крышку, и повалил распаренный дух роскошной еды.

— И не думала даже, — серьезно сказала она. — Просто я из кожи вон лезу, чтобы вам понравиться.

— Зачем? — негромко спросил Симагин.

Она вскинула на него честные глазищи и улыбнулась как-то беззащитно. Пожала плечами.

— Сама не знаю. Хочется очень. Все, очнитесь, уже можно есть!

Симагин обнаружил, что окружен невероятным количеством разносолов, которых хватило бы человек на пять как минимум. Про некоторые из них он даже не понимал, что это и что с ними делать. Кира уселась напротив него, стала аккуратно подсыпать себе на тарелку того и этого — и он, как умел, принялся обезьянничать.

— Ну вот, — сказала Кира, напряженно проследив, как он отправляет первую ложку в рот, — теперь я хоть немножко успокоюсь. Вкусно?

— Угу, — ответил Симагин с набитым ртом. Мотаясь по городу на одном завтраке, он действительно проголодался уже часам к четырем; потом, как всегда, голод притупился, но сейчас жевать вкуснятину оказалось на редкость сладостным занятием. Набью брюхо, подумал он, и сразу в сон поведет... — Мне и половины не съесть, — предупредил он.

— Таких скромных и тактичных убивать надо, — ответила Кира, орудуя вилкой с тем же юным проворством, с каким собирала на стол. — Придется мне самой вам все в рот запихивать. И самой разжевывать, может статься...

Минут семь-восемь они, как говорится, в молчании воздавали должное Кириному кулинарному мастерству. Потом Кира, явно беспокоясь, опять спросила:

— Вкусно, Андрей Андреевич?

— С ума сойти... — от души ответил Симагин, жуя. — Где вы это все берете?

— Известно где, — грустно ответила Кира. Поставила локти на стол, а подбородочек уложила на сцепленные пальцы. — Так вот, послушная девочка Кира, несмотря на абсолютное отсутствие свободного времени, прошу это отметить в протоколе, Андрей Андреевич... исчитала за это время уйму так называемой фантастики и несколько очумела. Вы ешьте, ешьте... вот это попробуйте... Ну укусите хотя бы! Вот... умница Андрей Андреевич... как хорошо кушает...

Симагин замычал возмущенно. Она засмеялась.

— Во всех книжках все куда-нибудь идут с боем и ищут какую-нибудь железяку. Кольцо, меч, шлем... мезозойскую шестеренку, на которую великий волшебник питекантропов Ук-Плюк магически высморкался. А на ходоков этих, натурально, то чудо-юдо нападет, то инородцы какие, то уже, наоборот, юдо-чудо. Вот, последнюю я читала этой ночью, как ее... ну все одинаковые, невозможно запомнить! Я уж думала — хоть эта поприличнее, потому что узнала ее по обложке, пару раз видела, как в метро листают. Двести страниц какие-то уроды рубятся в капусту, потом двое хмырей встречаются, оказывается, волшебники могучие. Ах, так это ты? Да, но не называй меня по имени. Я пришел, потому что надо наконец решить, что нам делать с силами зла. Они совсем распоясались. Расходятся, договорившись об этом поразмыслить. Еще двести страниц людишки какие-то никакие суетятся, рубятся, потом опять уже тот приходит к этому. Ах, неужели это ты?! Да, но ни в коем случае не называй меня по имени. Нам надо наконец решить, что нам делать с силами зла. Они распоясались совсем. Еще двести страниц... Я не дочитала, честно скажу. При всей моей... — И тут она, осекшись, в одно мгновение вспыхнула так, будто полвечера провела у пышущей жаром русской печи, а не микроволновкой рулила. — При всем моем громадном к вам уважении, — старательно, почти по слогам выговорила она, — я этого чи-

тать не могу и не буду. Я не знаю, как остальные товарищи это выносят, а на меня книги производят очень сильное впечатление. И от вот этих я ощутимо глупею.

Симагин уже давно прожевал последний кусок и только ждал паузы, чтобы вставить хоть слово.

— Киронька, да я тут ни при чем! — покаянно воскликнул он. — Ну вы сами подумайте — разве в вашем возрасте я мог читать это? Тогда не было ничего подобного! Тогда Петя-пионер на атомной ракете на Луну летал! И честное слово, когда мне было лет двенадцать-четырнадцать, я бы, наверное, с гораздо большим удовольствием читал про Ук-Плюка, чем про Петю-пионера!

— Ну, не знаю... — задумчиво сказала Кира. — Ох, Андрей Андреевич, вы ешьте, пожалуйста!

— Некуда уже.

— Опять кокетничает, — сообщила Кира в пространство. — Ну, я сейчас действительно начну принудительное кормление.

— Погодите, не надо так свирепо. Я передохну маленько и еще чего-нибудь понадкусываю...

— Уж сделайте одолжение. Так вот... Мне как раз показалось, что, когда вам было двенадцать-четырнадцать, вам было гораздо лучше. Среди прочего мне попалась одна старая... как ее... — Она обаятельнейшим образом сморщила гладкий девчоночий лоб и с непритворной яростью сказала: — Ну все перепуталось! Не помню! Ну вы, наверно, помните... про НИИЧАВО...

— А! — От очередного избытка чувств Симагин всплеснул руками и едва не опрокинул пару тарелок. — Ну дак! Это ж перл!

— Я так и подумала. Я лучше стала понимать вас и... ваше поколение? Как сказать... вашу касту? Ученых, которые были молодыми тогда, когда... — Она беспомощно повела рукой. — Когда... Ох, это отдельный долгий разговор, я и об этом ужасно хочу с вами поговорить. Вообще мне все время хочется с вами разговаривать, Андрей Андреевич. — Ее голос стал просительным, почти умоляющим, и просительным стал взгляд — без малейшего привкуса кокетства, всерьез. — Вот сдам экзамены, — грозно предупредила она, — и приглашу вас, скажем, на загородную прогулку. На дачу к нам. Лес, озеро — и никого. Нас двое. Поедете?

— Не знаю, Кира, — честно ответил Симагин. — Как карта ляжет.

— Вот не отказал мужик сразу, и то уже на сердце легче... спасибо на добром слове. Я вот еще что спросить хотела. Все не могу поверить. Неужели вы... тогда... действительно такие были?

— Кира, что значит — вы? Я — или мы? Одинаковых людей не бывает.

— Это понятно. И все-таки...

— Мне трудно говорить, я был помоложе и то время застал уже на излете. Но в школе, в старших классах, многие из нас были такими. Хотели стать такими. И мне лет на пятнадцать заряда хватило. Но мне повезло, у нас довольно интеллигентная школа была. Не спец никакая, просто так подобралось в тот момент. И в старших классах две учительницы, математики и физики... помирать буду, не забуду — Тамара Григорьевна и Клара Наумовна. Не поверите, но до них я по этим предметам из троек не выбирался...

— Вы?! — Она была совершенно потрясена.

— Ну! До них мне и в голову не приходило, что это может быть так интересно! Для мальчишки интересно! Будто путешествие по Амазонке, будто плавание на парусник от одного неизвестного острова к другому... Мне и в голову не приходило, что можно испытывать буквально физическое наслаждение... нет, не просто физическое, а и физическое, и духовное одновременно, как при настоящей любви, уважительное, и властное, и благодарное... когда уравнения так естественно, так послушно перетекают одно в другое у тебя под рукой! Все дальше, дальше! И все равно, даже при полной покорности, все равно впереди неизвестность, сладкая загадка, насколько бы далеко ни пошел!

— Как вы заговорили...

— И разве только это... От них двоих мы о реальной истории и реальной литературе узнали, наверное, больше, чем на уроках истории и литературы. Так, в прибаутках между решением задачек. В болтовне на переменках... Разумеется, сдать литературу или историю по этим разговорам и расска-

зам было абсолютно невозможно, но... да что говорить. Книжками менялись... как вот теперь мы, Кира, с вами... настоящими. Повезло. Даже для того времени — повезло.

Несколько секунд Кира молчала, потом встряхнула головой.

— Всегда знала, что вы еще и поэт. Но вот что вы мне скажите. Это все прекрасно, но ведь и наивно до кретинизма! Вы хоть знали, откуда деньги берутся?

Симагин слегка опешил от такого поворота. Потом улыбнулся.

— Знали. Из зарплаты.

Кира презрительно фыркнула.

— Знаете, Киронька, в то время шутили: наука — это удовлетворение личного любопытства за государственный счет.

— Вот и дошутились, — сказала Кира.

— Да, — медленно повторил Симагин, — вот и дошутились.

— Понимаете, — сказала Кира, — меня что поразило... Я даже не могу сказать, что мне это нравится... просто поражает. В этой книжке, по-моему, слово «деньги» не встречается ни разу. Неразменный пятак — есть, да и то только для экспериментов дурацких... Выдача зарплаты действительно один раз упомянута. В ряду излишних и непроизводительных трат времени, куда нормальные люди не ходят, а посылают дублей. А слова «деньги» — нет.

— А нам тогда это казалось естественным, — сказал Симагин.

— Вы что же, святым духом питаться собирались?

Симагин улыбнулся:

— Похоже, что да. Да, Кира. Именно.

Ее лицо стало суровым. Она хотела что-то еще сказать, но Симагин взмолился:

— Теперь уж вы перестаньте меня казнить! Вы же не будете меня расспрашивать, как я в сортире сидел, когда у меня желудок расстроился!

Она ошеломленно шевельнула губами, не издав ни единого звука, а потом обезоруженно засмеялась.

— Мы же коммунизма вот-вот ждали, Киронька! А при коммунизме денег вообще не полагалось бы! Только для музеев!

Она покачала головой, все еще улыбаясь, но уже не смеясь.

— Хотела бы я так пожить... — задумчиво проговорила она. — Не знаю, смогла бы... Не знаю даже, понравилось бы мне или нет. Но попробовать очень бы хотела. Андрей Андреевич, через пять лет, когда я кончу институт... вы к тому времени, наверное, уже разглядите, что я вся неплохая, а не только ножки. Возьмите меня к себе. Вы же, наверное, и сами в каком-нибудь НИИЧАВО работаете?

— Нет, Кира.

— Правда? А почему?

Симагин секунду помолчал, подбирая слова.

— В этой книге нет еще некоторых очень существенных слов, — сказал он. — Слов «куратор от комитета госбезопасности» нет, слов «первый отдел», слов «оборонные исследования»... Слова «переворот» там нет...

Кира что-то хотела сказать, но только шевельнула губами. Сжала их, опустила глаза. Потом вскинула — и снова опустила. Потом снова вскинула. Какие у нее прекрасные глаза, в сотый раз подумал Симагин. Кира потянулась к нему через стол и, едва доставая кончиками пальцев до одного из блюд, с которого Симагин еще ничего не взял, подтолкнула его к Симагину.

— Милый, любимый, — тихо сказала она, — ты курочку не доел.

— Да, солнышко, — сказал Симагин жизнерадостно.Она вздрогнула. — Ты права, солнышко. Хватит мне болтать, пора и мужским делом заняться. Мяса съесть.

— Вот это правильное решение! — воскликнула Кира. — Вы ешьте, а я вам вот что еще пока скажу. Я вас там нашла.

— Где? — спросил Симагин, жуя.

— В НИИЧАВО.

— Ну да?! Небось Привалов?

— Ничего подобного. Этого одноклеточного я бы нипочем кормить не стала. И никуда бы с собой не позвала. Сдался он мне. Знаете, вы кто? — Она улыбнулась, в то же время

явно пытаясь вспомнить все в точности уж хотя бы на этот раз. — Саваоф Баалович Один, — старательно выговорила она. — Помните? Самый могучий из магов. Собственно, всемогущий — но только с условием, чтобы ни одно из его чудес не повредило ни единому живому существу во Вселенной. А такого чуда даже он представить не мог — и устранился. Вот уж точно, баба сердцем видит. Я это сразу про вас почувствовала — а теперь вы как сказали про кураторов, так все и подтвердили.

Симагин, не торопясь, проглотил вкуснятину. Поразмыслил и, глядя девочке в лицо, заговорил:

— Никто всемогущим условий не ставит.

Любопытная девчонка сразу включилась в игру. Она думала, это игра.

— Что же вам мешает, Саваоф Баалович?

Симагин еще помолчал, потом усмехнулся немного неловко.

— Кира, я вам страшную тайну открою. Никто ее не знает. Только я. А теперь будете знать еще и вы. Хотите?

— Да! — завороженно выдохнула Кира.

— Но только...

— Да пусть хоть на кусочки режут! Ни слова никому!

— Хорошо. Представьте себе, что вы видите тонущего человека. Вы хорошая, добрая и умелая. Вы его спасаете.

— Раз плюнуть, — азартно согласилась Кира.

— Приводите его домой, чтобы он отдохнул и обсох. Он соблазняется вашими драгоценностями и, когда вас нет, убивает ваших престарелых родителей, вашего малолетнего ребенка, тырит камушки и скрывается.

— Сучонок какой!

— Хорошо, пусть не сучонок. Пусть чуть сложнее. Просто он болен чумой. И сам еще не знает этого. Но уже заразен. Отдохнул, обсох, поел — и с благодарностями удалился, искреннейшим образом собираясь всю жизнь за вас Бога молить. И через неделю умер. Сам того не ведая, он заразил ваших родителей и вашего ребенка. Предвидеть это было невозможно никоим образом. Но то, что чуму принес он, вы впоследствии узнали. Вы добрая, сильная духом. И все-таки, поплакав на могилке своего младенца, повспоминав, как тащили, надрываясь, незнакомца из потока, как радовались и гордились, что спасли его, вы надолго утратите всякий интерес к жизни, и к добрым делам в особенности. Не злоба, не подлость будут вами руководить, не корысть. К этому вы все равно не способны, вы хорошая. Но от дикой апатии вам не уйти. От желания скрыться от всех и ничего не делать. Вам просто руки не поднять, так больно и тошно. Мускулатура у вас прекрасная, отменная реакция, прекрасные легкие. Но вам рукой не пошевелить. Понимаете?

Глаза Киры от ужаса стали совсем громадными.

— Кажется, понимаю... — проговорила она.

— Причем чем крепче ваша мускулатура, тем разительнее контраст между тем, что вы, абстрактно говоря, могли бы с ее помощью творить, и тем бессилием, которое возникло на самом деле. Понимаете?

— Да, — она несколько раз кивнула. — Да, Андрей Андреевич, теперь понимаю.

— Теперь представьте, что вы могучая волшебница. Добрая. Королева фей. Об этом, по-моему, ни в одной сказке не задумывались — ну, да на то они и сказки, чтобы не ставить таких ужасающе реальных проблем. В городе начался пожар. Пламя перекидывается от дома к дому, вот уже четверть города в огне... Вы не выдерживаете и гасите пожар.

— Естественно.

— Вот именно. Абсолютно естественно. Вы не в состоянии, просто физически не в состоянии видеть, как гибнут люди. Люди, которых вы считаете плохими, — и люди, которых вы считаете хорошими. И люди, которым от роду пять месяцев, и пять лет, и пять дней... Не спасти их вы не можете. У вас и выбора-то нет. Но через годы и годы выясняется, что среди спасенных детей был Гитлер. Предвидеть это вы не могли никоим образом, несмотря на все свое могущество. Но потом вам не отделаться от чувства вины за все, что Гитлер натворил. Ведь вы его спасли. Вы спасли, кроме того, двести шестьдесят восемь человек. Вот какая вы замечательная. Но погубили вы, так вы чувствуете, пятьдесят миллионов. Каково будет вам дальше жить и творить добро?

— Да я этого Гитлера придушу, как только выяснится, кто он такой!

— Да? Хорошо. Это уже ваш сознательный, целенаправленный поступок. Его последствия — целиком на вашей совести. Фашизм в Германии не победил, не возникла эмиграция интеллектуалов из Европы. Война не началась. США остались мировым захолустьем, просторным, богатым, но замкнутым и квелым. Каким были в тридцать девятом году. Никакой атомной бомбы они не сделали. Ее сделал Сталин в пятьдесят первом. Рассказывать, что было дальше?

— Нет, — тихо ответила Кира.

Симагин перевел дыхание. Что-то я разошелся не в меру, подумал он. А работа не движется. И тут он ощутил мимолетный укол тревоги. Прислушался. Но все было спокойно: с Асей порядок, и самопросеивание идет своим чередом. Уже две молекулы найдено.

— Вот так, Киронька, нам, всемогущим, живется, — сказал он.

— И ничего нельзя сделать?

— Можно иногда. Но это такая нейрохирургия... Одно утешает. Те, кто не феи, а, наоборот, ведьмы, сталкиваются с аналогичными проблемами. Представьте, что вы злобная карга, из вредности спалившая город. И там сгорел малолетний Гитлер. И карга каким-то образом — не будем сейчас углубляться в то, каким именно, но примем как данность — впоследствии выясняет, что, так славно погубив в огне почти три сотни человек, спасла пятьдесят миллионов. Что будет?

Мгновение Кира размышляла, потом ее лицо прояснилось. Она даже хлопнула в ладоши:

— Карга лопнет от злости!

— Ну, может, и не лопнет, — улыбнулся Симагин, — но уж надолго выйдет из строя. Будет по полу кататься с завываниями, будет полвека сидеть в своей пещере и горько плакать: бедная я, несчастная! Это ж надо так опростоволоситься! И знаете, Кира, вряд ли еще раз когда-нибудь отважится устраивать пожары.

— А то, следующее... Ведь Сталин...

— Наши примеры, Кира, предельно упрощены и схематизированы. Ведь, сгори Гитлер во младенчестве, Веймарская республика все равно выродилась бы в какую-то форму

диктатуры. И, если бы не война и затем не Хиросима, Сталин вряд ли заинтересовался бы атомной оборонкой. Ему бы, как и прежде, кавалерии хватало... Попытайся мы сейчас говорить всерьез, разговор получился бы куда более сложным и... научным. Лучше просто постарайтесь почувствовать, что это такое — шок от принципиально непредсказуемых в момент совершения поступка, нежелательных вторичных его последствий. Шок от принципиального несоответствия желаемого результата поступка его реальному результату. Особенно если вы — всемогущая фея. Для фей такой шок куда ужаснее, чем для людей обычных. Потому что, во-первых, для обычного человека девяносто процентов последствий его поступков навсегда остаются неведомы. И во-вторых, обычный человек, как правило, слишком незначительно влияет на мир, и его поступки редко имеют серьезные последствия. Но все меняется, стоит вам только... взять в руки волшебную палочку.

Они помолчали.

— Андрей Андреевич, — тихо сказала Кира, — что-то мне не по себе. Слишком уж вы серьезно все это рассказываете. Слишком уж со знанием дела.

— Мысленный эксперимент, Кира, — ответил Симагин. — Каков вопрос, таков ответ. Это вам за Бааловича. Но я все равно жалею, что завелся. Чувствую, что скучно стало. Математикой вас мучил, теперь ахинею какую-то развел...

— Мне скучно не стало. Я же сама просила, мне очень хочется с вами обо всем разговаривать. Интересная игра. Очень... К следующему разу я обязательно придумаю методику, как помогать, не вредя. Не может быть, чтобы ее не было...

Наоборот, подумал Симагин, никак не могло быть, чтобы она была. Как придумать автомобиль, который в принципе не способен давить пешеходов и отравлять воздух выхлопами? Только придумать его без колес и мотора... Но до чего же я тебя понимаю, дочурка. Смириться с этим очень трудно. Невыносимо трудно. Как с внезапным неизлечимым увечьем. Как с тем, что тебя ни за что ни про что продали в рабство на всю жизнь, продали, пока ты спал; думал —

ты свободный, а повзрослел всего-то на несколько часов, и оказывается — раб...

Вслух он ничего не сказал. Пусть придумывает. Так, именно и только так люди становятся божественны не только по образу, но и по подобию. Мы знаем, взъярился Кристобаль Хозевич, что эта задача не имеет решения, — мы хотим знать, как ее решать! Или совсем из других времен, две с лишним тысячи лет назад. Один из студентов Конфуция зашел поужинать в харчевню на окраине столицы, и там его спросили, кто он. Услышав ответ, хозяин харчевни поклонился и сказал с благоговением: «А, так ты ученик того Кун-цзы, который знает, что хочет невозможного, и все-таки хочет этого!»

Кира тоже еще поразмышляла несколько секунд, но сколь-либо длительной «грусти томной» ее темперамент, видимо, не переносил. Она стрельнула на Симагина озорным взглядом:

— А на Марсе вы бывали, Саваоф Баалович?

Симагин усмехнулся:

— Бывал.

— А на Венере?

— Заглядывал. Но, Кира, опять же почти все внимание уходит на то, чтобы не наследить. Вы представьте: когда-нибудь прилетят же нормальные, обыкновенные космонавты-астронавты, увидят следы одинокого туриста в кроссовках — ведь с ума сойдут!

— А на других звездах?

— Конечно, — Симагин усмехнулся опять. Шутим... — Особенно по молодости. Любопытно же. И потом, Кира, бывают удивительно красивые миры. Удивительно красивые... Перенесся я, помню, как-то раз в Туманность Андромеды. Лечу это я, лечу...

Долго, свирепо позвонили в дверь — «Гонг» захлебнулся и прерывисто заклекотал. Кира вздрогнула, ее лицо озадаченно вытянулось.

— Кого это принесло на ночь глядя? Интим наш, можно сказать, нарушают! Никого нет дома!

— Может быть, мама? — предположил Симагин.

— Вряд ли... С чего ей сегодня возвращаться, раз отец уехал. Да и ключ у нее есть... — Она встала. — Сейчас, Андрей Андреевич. Извините. И не вздумайте, пожалуйста, пока меня нет, глядеть на часы и собираться уходить. Лучше поешьте еще.

— Курочку, — добавил Симагин.

— Вот именно. — Улыбаясь, она прошла совсем рядом с ним и коротко, пролетающе, но удивительно ласково погладила его плечо. До чего же приятно. Его рука непроизвольно дернулась догнать ладонью ее ладошку, но он сдержал себя. В борьбе обретешь ты право свое... Баловница голоногая. Легкой, медлительной волной пропутешествовал мимо Симагина чистый, приветливый запах ее духов — и ее самой.

— Кира, так просто не открывайте... обязательно спросите, кто там.

— Почтальон Печкин, — сказала Кира уже из прихожей. Звонок зашелся снова.

И в это мгновение где-то очень далеко словно бы лопнула басовая струна. Звука нет, и, кажется, не произошло ровным счетом ничего — но кожа слышит прилетевший из бездны отголосок удара. Симагин сосредоточенно сгорбился, уставясь в тарелку перед собой. Но его вмешательства уже не требовалось. Силовой кокон принял удар на себя. Прогнулся, спружинил; справился. Ася осталась невредима и вряд ли ощутила хоть что-то. Так ведутся теперь бои.

А я молодец, удовлетворенно подумал Симагин и чуть расслабился. Верно предугадал и верно поставил экран. Если бы не сообразил заранее — сейчас не успел бы среагировать. Двенадцать тысячных секунды инверсия в состоянии оказалась скомпенсировать полностью; в координатах линейного времени вообще ничего не произошло. Но какой подонок! Безо всяких попыток просто пригрозить или поторговаться еще — сразу насмерть! Мне повредить кишка тонка — так на женщине моей отыграться захотел! Тварь. Взрыв? Да. Взрыв газа на кухне. Бедняжка моя. Чайку захотела себе разогреть на сон грядущий... Был бы пожар, и кто-то вполне мог бы еще погибнуть или обгореть... Пей свой чаек спокойно, Ася. Аська. Даже не знаешь, что по энергии... так, энергия темпоральной инверсии, энергия

двух, его и моего, операционных каналов, энергия двух же информационных каналов, энергия взрыва, энергия поглощения... где-то штук восемь предельно мощных водородных бомб, каждая мегатонн на полсотни, пронеслась сейчас у тебя, Аська, над головой, и — ни малейшего дуновения, даже прическа не колыхнулась... А звонок-то звонит и звонит. Ого! Это уже не звонок! В дверь просто-таки ломятся... Да что случилось? Еще пожар?! Почему Кира молчит и медлит?

— Кира! — крикнул он, и только тогда догадка, иззубренная и горячая, как внезапно рухнувший в спину осколок авиабомбы, швырнула его из кухни.

Привычка. Глупая человеческая привычка. Что бегать теперь? Уже в прихожей он одернул себя и перешел на шаг, с закушенной до крови губой взглядывая сквозь стены влево и вправо. На лестничной площадке трое милиционеров с пистолетами наготове попеременно и совершенно безнадежно бились плечами в мощную, окованную металлом наружную дверь; в прихожую едва доносились их голоса: «Симагин! Открывайте! Мы знаем, что вы еще здесь, вахтер вас узнал! Будем стрелять!» Гостиная носила, что называется, явные следы борьбы: разбита большая напольная ваза с цветами, цветы вывалились и рассыпались, и растеклась вода. Опрокинуты два стула, расколото зеркальное стекло серванта, или как там это называется... горка... Кира лежала навзничь, и на ее лице остывала судорога отчаяния и страдания. Юбчонка задрана к груди, разодраны и невесомым комочком отброшены подальше трусики. Неподвижные ноги широко и мертво раскинуты; лоно и внутренние своды бедер — в крови. И очень много крови на ковре... ну конечно, живот распорот. А вот и нож — здоровенное перо с выпрыгивающим лезвием, какого у Симагина никогда не водилось — но на рукоятке отчетливо, услужливо оставлены симагинские отпечатки пальцев, первая же экспертиза обнаружит. Стереть отпечатки? Зачем? Не в отпечатки играем... Изнасиловал, зверски изнасиловал и зарезал.

А вот чего экспертизы не покажут. Мозг вычищен, как донце автоклава. Регенерировать ткани можно запросто, но оживет даже не младенец, потому что не осталось не только памяти, не осталось и тени рефлексов. Оживет просто тело.

Ком белка. Вот этого людям было бы уже не под силу — так отрезать девочку от ее души; но именно поэтому люди и не поймут, сколь глубока ее смерть. Весь объем уничтоженной информации мне с налету не восстановить. Предусмотрел, подонок.

Темпоральная инверсия? Девяносто четыре секунды... Исключено. Чтобы заштопать такую дистанцию, нужно сжечь начисто, до угольков, по крайней мере пару голубых гигантов, а где я их найду сейчас? Да еще без планет? Если с планетами — лучше сразу покончить с собой, потому что, не ровен час, через миллиард лет на какой-то из них зародилась бы жизнь... а я цап ее солнышко и уволок. Солнышко... Симагин опять прикусил губу, чтобы не тряслась. А пока буду искать, дистанция будет возрастать... да еще на экстренную перекачку энергии издалека может уйти чуть не половина этой энергии... Нет. Тоже не выход. Проиграл. Как тот сказал: ты проиграешь, потому что твоя рука запнется, прежде чем ударить по живому, а его рука — и не подумает. Тебе и в голову не придет плеснуть противнику в глаза серной кислотой, а он сообразит сразу...

Солнышко...

Симагин заплакал.

У него бессильно подогнулись ноги. Он опустился на колени, потом скорчился, вжался мокрым лицом в хрупкое плечо убитой маленькой феи — которую он подставил. Которую не уберег. О которой ему даже в голову не пришло позаботиться, потому что он не считал ее своею. Но тот разобрался лучше.

Кира, сказал Симагин. Это еще не смерть. Не совсем смерть. Тебе было очень больно, я знаю, этот уж наверняка постарался, чтобы тебе было очень больно и очень страшно в те секунды, когда я, купившись, как дворовый, на его наверняка всего лишь отвлекающий удар, радовался, что так вовремя и так правильно сумел Асю прикрыть... Я никогда этого не узнаю наверняка, но уверен: он постарался — просто из любви к искусству, для удовольствия — сделать так, чтобы тебе сначала было больно там... там, где ты, еще когда выходила из кухни, была девочкой; наверное, ты даже видела и чувствовала кого-то, кто кинулся на тебя и стал терзать,

а потом заколол в твоей же квартире, в которой, как ты точно знала, нет никого, кроме нас двоих, и ты, конечно, кричала и, может быть, звала меня, а может, и нет, может, он именно мною и прикинулся, чтобы сделать тебе совсем страшно и больно, и поставил экран, так что я, не сцепив заранее нас с тобой информационным каналом, уже ничего не мог услышать; или была десинхронизация, и за то мгновение, пока я прислушивался, что там произошло вдали, где едва не взорвался газ, — ты здесь, у меня под носом, успела промучиться десять или даже двенадцать минут... Я не прошу прощения. Это бессмысленно. Я просто обещаю, солнышко, обещаю: ему так просто нас не взять. Ты будешь живая. И ты не будешь помнить ни единой секунды из тех двенадцати минут. Ты будешь такая же веселая, и красивая, и солнечная, и такая же умница, как была, родненькая моя...

А ведь в дверь ломятся. Откуда они-то взялись? Он прислушался, и через мгновение у него опять зажало горло. Еще и Валерий... Ну конечно. «Меня Андрей Симагин из-за Аси Опасе». И Ася вчера как раз была у меня, и ночевала. Пришла она поздно, этого, наверное, никто не видел — но утром наверняка ее видели соседи, и кто-то обязательно вспомнит, что это та самая женщина, которая когда-то здесь, у меня, со мной жила... Хорошо он сплел удавку.

Значит, еще и Вербицкого спасать. Как?

Хотелось завыть, лбом колотясь об напитанный кровью ковер. Расшибут ведь плечи, бедняги. Кто-нибудь ключицу повредит... На ватных ногах, пошатываясь, Симагин поднялся — едва сумел. В глазах все плыло. Сделал шаг к входной двери. Потом повернулся к Кире снова. Не мог он оставить ее так, сейчас придут чужие. Ножки у вас, Киронька, прелесть... Какой вы наблюдательный, Андрей Андреевич, спасу нет! Через пять-семь лет заметите, что я и вся зверушка очень даже ничего... Симагина опять затрясло, лицо скомкало плачем — уже сухим. Взять ее и перебросить вместе куда-нибудь подальше, на необитаемый остров в Тихом океане, и уж там поразмыслить, что делать дальше... пусть в пустую квартиру хоть до утра ломятся... Проклятый болевой шок отнял силы. Да и... нельзя. Ведь вломятся, и — никого. Без толку, безо всякой на то нужды плодить пучности вероятностей... Нет, нет, надо все обдумать. Просчитать. Ситуация резко изменилась. Он нагнулся; стараясь не смотреть на ее взломанную наготу и жестоко стесняясь, словно девочка могла очнуться и влепить ему пощечину за то, что он тянет лапы невесть куда... нет — словно он, и пальцем не дотронувшийся до нее, покуда она была жива и могла дать отпор, теперь надумал воспользоваться ее беспомощностью, — кончиками пальцев бережно взял Киру за острые гладкие коленки и сдвинул ей ноги. Поправил окровавленное платье. Потом пошел открывать двери — пока кто-нибудь и впрямь не сломал себе ключицу. Руки его висели, как плети, он не сразу справился со сложной процедурой открывания.

Они ворвались, грозя пистолетами, — словно не он им отворил, а они сами высадили обе двери под огнем врага.

— К стене! Руки!

Один нырнул в комнату и тут же замычал, зарычал:

— Поздно! С-сука! Девочку!..

Стоящий рядом будто ждал этого крика — и с размаху ударил Симагина рукояткой пистолета по зубам. Голова Симагина мотнулась назад, зубы хрустнули, и рот наполнился кровью и крошевом эмали. Потом выскочил из комнаты первый и что было силы ударил Симагина ботинком в пах. С воплем Симагин скорчился, а потом повалился на пол, суча ногами и скуля от ослепительной боли.

Личный обыск, проезд в наручниках по ночному городу, жуткие, прокисшие коридоры следственного изолятора — все это осталось в сознании какими-то летучими, полупрозрачными обрывками. На Симагине живого места не осталось. Ментов можно было понять. Два очевидных убийства за вечер, второе — с изнасилованием совсем молоденькой, милой даже после смерти девчонки... К тому же из высокопоставленной семьи.

В камеру Симагина швырнули как ворох тряпья.

Первым делом — Ася. Время? А времени-то прошло совсем немного. Начало первого всего лишь. Всего лишь час с небольшим назад я рассказывал Кире, что бывал на Марсе. А потом она пошла открывать дверь. И нежно коснулась моего плеча. И через мгновение кричала — а я не слышал.

Еще не поздно, вполне можно позвонить. Наверняка еще не легла.

Пластом лежа на холодном, пахнущем дезинфекцией и тухлятиной полу, Симагин вошел в телефонную сеть. Телефон в Асиной квартире зазвонил.

Она сняла трубку сразу, будто ждала. Хотя почему «будто»? Конечно, она ждала.

— Андрей?

— Да, Асенька, это я, — не раскрывая рта, сказал Симагин в ее телефонной трубке. Хорошо, что он мог сейчас разговаривать именно так, не ртом. Ртом бы он не смог, Ася вряд ли поняла бы хоть слово. Разбитые, покрытые коркой запекшейся крови лепешки губ не размыкались, зубов осталась половина, а язык был толстым и тяжелым, как жаба. Не говоря уже о паре сломанных ребер и прочем. Впрочем, прочее разговаривать не мешает... От боли сердце заходилось, сбоило, и время от времени темнело в глазах. Но он не отключал болевых центров. Совесть не позволяла. Кире было больнее. И обиднее, и страшнее. Антону было больнее и страшнее. Валерию было больнее и страшнее. — Обещал позвонить, вот и звоню.

— Спасибо. Как дела? — Ася старалась говорить спокойно и даже чуть иронично. Но по голосу — она-то говорила голосом, а не наводила на мембрану тщательно выверенные колебания тока! — чувствовалось, чего это ей стоит.

— Ну, этак сразу я не могу отрапортовать об успешном выполнении правительственного задания, — бодро заговорил в трубке Симагин, — но кое-что я тут предпринял, и пока все в порядке. Не буду тебя утомлять подробностями, но...

— Антон, — больше не в силах сдерживаться и перебив Симагина, чужим голосом спросила Ася, — жив?

— Да, — ответил Симагин.

— Ты уверен?! — крикнула она, и в голосе ее полыхнуло такое счастье, что на какую-то секунду даже боль Симагина отпустила.

— Да, Асенька, уверен. Жив. Просто он в спецчастях каких-то, я не успел выяснить доподлинно, в каких именно... Потому и не может дать о себе знать... И наши чертовы секретчики не могут по долгу службы, понимаешь ли... — Симагин работал соответственно отшлифованной днем легенде, хотя было ясно, что от нее придется резко отходить, ведь на нем был теперь не только Антон. А еще и то ли почти дочка, то ли почти возлюбленная. И бывший друг, бывший предатель. Бой местного значения неудержимо превращался в битву, и Антон, как бы кощунственно это ни звучало, становился не более чем ее эпизодом. А выиграть эпизод, битву проиграв, — нельзя, так не бывает. Наоборот, эпизоды надо выигрывать будто бы невзначай по ходу достижения главной победы. Как — Симагин еще не знал. Но Асю обязательно нужно было успокоить. И он говорил ей то, что еще каких-то два часа назад намеревался в ближайшие дни сделать истиной.

Но уже не теперь.

Все равно, пока — сойдет.

— Как тебе удалось это узнать? Я за четыре месяца не смогла, а ты...

— Наука, Асенька, умеет много гитик.

Ася молчала. Полминуты спустя Симагин услышал, как она начала всхлипывать — сначала робко, едва слышно, потом все громче, потом — навзрыд.

— Гады! Ну какие же гады!! Я с ног сбилась, с ума схожу... поседела вся... — время от времени выдавливала она сквозь рыдания. — А у них — тайны их! Спецвойска!

— Асенька, успокойся, — мягко сказал Симагин в трубке. — Пожалуйста, успокойся. Все уже хорошо. Почти.

Если бы он просто ворковал успокоительно — она плакала бы еще долго. Но аккуратное «почти» задавило истерику в зародыше. Ася сразу насторожилась. Затихла, потом шмыгнула носом, окончательно беря себя в руки.

— Что еще такое? Почему — почти? — мокрым басом спросила она.

— Да, понимаешь, тут каша такая заварилась...

— Не понимаю, Андрей. Какая каша? Что ты... мелешь? — В ее голосе прорвалось раздражение.

Ну разумеется. Неумеха Симагин; в кои-то, дескать, веки пообещал и взялся помочь — и, едва-едва что-то успев, едва обнадежив, опять собирается все испортить и сообщить, что не все слава богу. Можно было Асю понять.

— Ась, я из автомата звоню, с улицы. Тут особенно не поговоришь. Но вот что я хочу тебе сказать. Тут... заварилась и впрямь одна попутная каша. К тебе со дня на день наверняка придет следователь и будет расспрашивать про меня, про нас, про все. Ты его не бойся. И не думай ничего плохого. Ничего не пытайся скрывать, не думай, что говорить, а что нет. Все, что ты захочешь сказать сама, то и будет правильно. Не пытайся, скажем, прикидывать, повредишь ты Антону или мне тем или иным ответом или нет. Знай: все в порядке.

— Андрей! — В ее голосе послышалась уже тревога. Настоящая, неподдельная тревога. За него, Симагина?

Да.

На душе стало тепло и нежно, и слезы закипели внутри глаз.

— Андрей, я ничего не понимаю! Какой следователь? При чем тут следователь?! Что с тобой? У тебя очень напряженный голос. Что-то случилось?

— Асенька, — Симагин чуть трансформировал модуляции так, что по голосу казалось — он улыбнулся. — Когда вся эта катавасия придет к благополучному завершению, мы сядем друг напротив друга, заварим крепкий чай, и я тебе долго-долго буду все рассказывать. А сейчас, даже если бы не дефицит монеток, я все равно бы о многом умолчал.

— Почему? — тихо спросила Ася. И после долгой паузы: — Ты мне не доверяешь?

— Мы еще не доросли, — сказал Симагин серьезно.

Она помедлила еще мгновение. Тихонько спросила:

— Что ты имеешь в виду?

Он ответил:

— Всё.

— Андрей, — сказала Ася, и он ощутил, как она нервно тискает трубку, как пляшут по пластмассе ее тонкие, от напряжения чуть влажные пальцы. — Надо так тебя понимать... ты думаешь, мы опять будем... вместе?

— Думаю, да.

Зашелестел в микрофоне ее глубокий вздох.

— Наверное, это было бы хорошо, — неуверенно проговорила она.

— Это БУДЕТ хорошо, — ответил Симагин. — Но сейчас, пока — ты запомнила, что я тебе сказал? Будут спрашивать — ничего не скрывай. Будут про меня или про Антона говорить ужасы или гадости — ничему не верь и ничего не бойся.

— Ну что ты туману напускаешь? — плачуще выкрикнула она. — Скажи прямо! Ты ведь крутишь, ты скрываешь что-то, Симагин, ну я же чувствую! Он что, дезертировал, да?

— Как ты могла так подумать, женщина? У тебя ничего святого нет! О горе мне! О горе! О позор моим сединам! Ты что, Тошку не знаешь?

— Да у меня уже просто мозги враскорячку! Лучше бы я и не просила тебя ни о чем!

— Нет, Ася. Было бы не лучше, а хуже. Гораздо хуже, это я могу тебе совершенно точно сказать. Очень хорошо, что ты меня попросила. Низкий поклон передавай при случае этой твоей Александре. Когда разгребем дела, надо будет обязательно с нею повидаться, цветов подарить...

Она помолчала, потом выговорила:

— Ох, Андрюшка... Ты неисправим. Поклянись, что Антон жив.

— Клянусь, — сказал в трубке Симагин. — Так ты поняла меня, Ася?

— Ничего я не поняла. Поняла только, что ты собрался воспользоваться моим беспомощным состоянием и наложить на меня лапу. Неблагородно это, Симагин.

Он засмеялся в телефоне.

— Тогда приезжай уж прямо сегодня, — вдруг сказала она. — Что-то мне... не по себе. А после таких разговоров и совсем страшно стало. Успокоил ты меня, муженек бывший, на славу.

— Ничего не бойся, — повторил Симагин. — А приеду я... завтра или послезавтра. Сегодня уже очень поздно.

— За эти годы у тебя, оказывается, появились совершенно отвратительные хозяйские манеры. Ты что же думаешь, я все это время сидела и ждала, когда ты меня пальчиком поманишь? И впредь намерена?

Симагин опять засмеялся.

— А нет разве? — ответил он. — И кроме того, знаешь, с тем, что у хозяина появляются хозяйские манеры, поделать вряд ли что-нибудь можно.

— Не зазнавайся, Симагин, не зазнавайся!

— Ладно. Я шучу. Балагурю.

— А я думала — всерьез. Уже почти поверила, что ты и впрямь мне хозяин.

И рассмеялись оба.

— А теперь — спокойной ночи, Асенька.

— Спокойной ночи, Андрей. И запомни... Если ты хоть в чем-то... хоть в чем-то сейчас меня обманываешь... это такое скотство! Такое...

— Тут уже кому-то телефон нужен. Спокойной ночи.

Она опять прошелестела по мембране вздохом.

— Ну ладно. Звони.

— Непременно, — сказал Симагин.

Третий день

Бардак — он и в Африке бардак, а в Российском Союзе — тем более. Одни ордена получают, другие речи говорят, и только остальные — по неизбывному нашему остаточному принципу — занимаются делом. Носятся, как наскипидаренные, по городу и миру, наживают ранения в перестрелках и геморрои над протоколами, и домой дай-то бог добираются к ночи, чтобы уж даже не поесть — на работе перекусили бутербродиком каким-нибудь, или так, в первой попавшейся забегаловке на улице, — а только чтобы рухнуть в постель, не имея уже никаких желаний и возможностей. И разумеется, дома обязательно... опять же бардак. Вот вчера, ну стыд и срам, ну с мелочи же начали, и даже не вспомнить, как оно слово за слово цеплялось, а дошли до полного безобразия. В кои-то веки спокойно прилег — и ведь на каких-то полчаса, не больше! — перед окаянным ящиком, окном в большой, будь он неладен, мир, посмотреть окончание второго тайма кубковой же, черт побери, игры, так нет, вынеси ведро. И даже не сказал «нет», сказал «после». Ну, куда там. Либо сейчас, либо враг. И пошло-поехало. И вот уже от ведра перешли на то, что меня вечно дома нет, у других — да где она видала этих других? — мужья получают по-

больше, а вечерами всегда дома, а я, дескать, где ж это так старательно за те же гроши отыскиваю настолько аккуратных убийц и грабителей, чтобы с ними разбираться нужно было именно после окончания рабочего дня? Ну а тут уж элементарная, так сказать, дедуктивная цепочка к тому, что дочь-шалава в восьмом своем классе ухитрилась пузо нагулять исключительно из-за того, что я — отвратительный отец, и на семью мне всегда было плевать, с самого начала плевать, и я за любой повод цепляюсь, только чтобы сбежать из дому; а уж если прихожу, все должны быть мне за это благодарны и счастливы, что ли, так я думаю? Так нет же, не будут они счастливы, не будут мне благодарны за то, что я заглянул на огонек и прилег на полчаса перед окаянным ящиком! Знаю я, что такое аборт? Нет, куда мне, я, конечно же, не знаю, что такое аборт! Мужики никогда даже не задумываются над тем, что такое аборт, да еще в столь нежном возрасте! И вместо того чтобы хотя бы своим постоянным услужливым присутствием, хотя бы исключительно повышенной заботливостью и вознесенным до небесных высот чувством такта способствовать заживлению душевных — душевных, ёхана-бабай! — ран, я не могу вынести помойное ведро, когда меня — в первый раз за год, между прочим! — об этом рискнули попросить! Рискнули — и опять же напоролись на сухость, черствость и полное невнимание ко всему, что прямо не касается моего желудка! Видно, так уж на всю жизнь воспитала меня моя дражайшая мамочка...

И так — до самой ночи. И дщерь вторит, естественно, подпевает, как всегда, вторым голоском, то за кадром — то бишь из своей комнаты, то полноправно вступая в дуэт на соседнем с мамочкой стуле.

Как Листровой не расколотил об башку жены что-нибудь тяжелое — это удивительный факт его биографии. Подвиг гуманизма. Тем более что и ночью обструкция продолжалась — дражайшая половина, едва улеглись, повернулась к нему в постели изрядно раздобревшей в последнее время задницей и задрыхла, видимо, утомившись от собственного крика, сном праведницы — едва голову донесла до подушки. Даже захрапела, тварь. Что может быть хуже храпящей женщины? Только в хлам пьяная женщина. А он провалялся без

сна минут двадцать и глупо, сентиментально, нелепо вспоминал — не нарочно, естественно, этого уж от него не дождутся, но совершенно непроизвольно, — как в молодые годы такие вот темпераментные ссоры будто бы обновляли их с женой обоих и, накричавшись вдосталь, наблестевшись друг на друга полубезумными глазами, наколотившись кулаками по столу, а то и швырнув об пол под перепуганный визг дочурки что-нибудь не слишком тяжелое, но бьющееся позвонче, они, оказавшись в постели, набрасывались друг на друга с особенным неистовством. До чего же сладко было притиснуть только что непримиримо, казалось бы, оравшую на тебя женщину, вновь становясь хозяином, доказывая себе и ей неопровержимо, что кромешные эти выяснения и счеты — чушь, а главная власть — вот она. И всегда ему было до смерти интересно — а что чувствовала она, с такой готовностью и с таким пылом, как никогда после мирного вечера, раздвигая ноги перед мужчиной, в которого каких-то полчаса назад прицельно кидала блюдцем, а потом, давясь рыданиями, кричала: «Развод! Развод! Сегодня же съезжаю к маме!» — и принималась собирать чемодан? Прошли те времена. Выяснения и счеты оказались главнее.

Так и не заснув, Листровой пошлепал босиком на кухню, мимо двери в комнату дочери — оттуда слышались приглушенные всхлипывания, и ясно было, что про осеннюю переэкзаменовку дева и не вспомнила за весь вечер, а между прочим, ох как следовало бы! — уселся на кухне в одних трусах и, безнадежно сгорбившись у круглого стола, символа семейного уюта и счастья, долго курил папироску от папироски.

Невыспавшийся и злой явился он на следующий день на работу — и там обратно же здрасьте-привет. Плюс к трем явным «глухарям», которые на него в разное время навесили — похоже, что навечно, — новый подарок. «Дело очевидное, — сказал Вождь Краснорожих, которого, как правило, сокращали просто до Вождя, что имело свой глубокий смысл — можно было не бояться, что полковник услышит редуцированный вариант кликухи, потому что вариант был не обидный, он Вождю даже и льстил; как же, ведь только вожди мирового пролетариата были, а теперь и он тоже вождь! —

Сбросишь его дня за четыре и вернешься к своим висякам. Реабилитируешься за них, между прочим, быстрым и высокопрофессиональным проведением нового расследования. Знаешь, кто у пацанки папа? Во-во. На самом виду окажешься. Я ж о тебе забочусь, Пал Дементьич! А то из-за висяков на тебя уже косовато поглядывать стали!» Как у нас здорово научились подставу выставлять за заботу! И не возразишь. И он знает, что подстава, и ты знаешь, и все вокруг знают, а — не возразишь. Потому как забота. Очень заботливый у нас Вождь. Знал бы он, что кличка возникла всего лишь из-за его свойства делаться рожей багровым, как бурак, после первой же рюмки... А с какой стати именно Листровой должен реабилитироваться за переданные ему уже в глухом состоянии дела — переданные от мастеров побеждать в соцсоревновании и блистательно об этом рапортовать под аплодисменты актового зала? Ништо, Листровой, реабилитируйся! «В чем хоть дело-то?» — мрачно спросил Листровой, уже сдаваясь — в который раз. Как всегда. «Двойное убийство, — с готовностью ответил Вождь Краснорожих. — Второе с изнасилованием. Редкое везение — взяли с поличным, буквально с конца еще у гниды капало. Говорю тебе — раскрутишь со свистом и еще доволен будешь. Грамота, считай, обеспечена. Не исключено, кстати, что и в июле этот же голубчик резвился...» — и он со значением заглянул Листровому в глаза. Намекнул, значит, что не грех бы навесить на взятого ночью архаровца три абсолютной безнадежности изнасилования с убийствами, совершенные в районе в прошлом месяце. Листровой совсем помрачнел. Черт бы его побрал с его намеками. Что же, я сам до такой элементарщины не дотумкаю? И тошно, и противно, и даже где-то совестно — но ежели представится возможность, придется навешивать, куда денешься. Раскрываемость аховая. Тем более что, может, это и впрямь тех же, так сказать, рук дело. С маньяками с этими ни в чем нельзя быть уверенным — но, если уж один попался, полной дурью было бы не раскрутить его на всю катушку. Ему все равно — что одна, что четверо, а райуправлению уже легче. Да и родителям погибших девчат приятнее.

Папочка с делом была покамест тонкой, как фанерка, на которой дома режут хлеб да колбасу. В ближайшие дни ей предстояло распухнуть до объемов, излюбленных авторами сериалов, а желательно стать и еще посолиднее — но... Побыстрее, побыстрее! Но потолще... Чтобы не дуркой на процесс выходить, а властелином мира.

Листровой обстоятельно поговорил с бравшими убийцу ребятами, а потом шустро пролистал папочку. Да, гнусное дельце. И одновременно — из тех, когда, кажется, сам Господь ведет органы охраны правопорядка за руку: вот, чада мои возлюбленные, невинно убиенный литератор успел письменно указать имя своего убийцы. Чудо? А как же! А нашли литератора скоро? Да, чада мои, буквально еще с пылу с жару. Вот, пожалте, заключение: с момента смерти прошло не более четверти часа. Чудо? Ну, так себе; иногда бывает. Но в общем рисунке, в общей веренице чудес — да, чудо. *Имя есть, фамилия есть — отчего же не выяснить адрес?* Выяснили, рванули туда, никто не открыл; ввиду очевидности улик взломали квартиру и — очередное чудо: прямо на письменном столе, не отягощенном, вообще-то говоря, обилием бумаг, лежит один-единственный листок, и на нем — график уроков, и из этого графика совершенно ясно, где, по крайней мере теоретически, злодей должен пребывать в настоящий момент. И злодей-то совершенно такой, какой надо, чтобы остались довольны — ну, насколько они вообще способны теперь испытывать довольство — родственники погибших девочек: тухлый интеллигентик, а они в наше время все с нарезки слетели; с работы ушел, значит, наверняка на выезд просился, да не отпустили, надо это точно выяснить, когда и в какую страну хотел; ныне без определенных занятий, значит, тунеядец и непонятно на что живет, не может быть, чтобы какими-то уроками был в состоянии прокормиться... Листровой и сам не заметил поначалу, только потом поймал себя на том, что так уже и думает: не «родственники погибшей девочки», то есть той, при трупе которой изврата повязали, а именно «родственники погибших девочек». Морально, значит, уже изготовился к тому, что этот маньяк у нас ответит за все... Да и действительно — кому

еще, как не ему? Вот и в оставленной убиенным записке *какая-то баба упоминается... свихнулся на бабах отказник.*

Ножик с такими отпечатками, что любо-дорого, прямо хоть в музей дактилоскопии неси, тут же, при трупе, валяется — чудо?

Йес.

Бдительные старушки-соседки видели, как поутру от гнойного этого Симагина баба уходила, и одна вспомнила даже, что вроде эта баба тут когда-то жила, и довольно долго жила как жена, и сын был, школьник, но вроде бы сын только бабы, Симагин у них был за отчима... Как звать ту якобы жену не помните, гражданочка? Да Ася, что ли... Оп! И в записке — Ася упоминается. Вот и мотив. Чудо? Безусловно. Значит, писатель — знаем мы этих писателей, художников, музыкантов и прочих властителей дум, все блядуны записные — клинья той якобы жене подбил, удачно ли, нет ли, бог весть — но с бабой у Симагина пошел раздрай. А тут каким-то манером опять ее к себе залучил. И: два на выбор. Либо трахались они по старой памяти всю ночь, а как рассвело, баба встряхнулась, подмылась и опять его на хрен послала; может, и рассказала на сладкое, что у них с литератором в каком-то там затертом году получилось, а может, Симагин и прежде это знал, но до сего дня терпел, надеясь, что в конце концов бабу все-таки перетянет обратно к себе... а тут уж окончательное не пиши, не звони, сегодняшняя ночь ничего не значит. Стандартный вариант. Вот он и озверел. Либо, наоборот, баба прийти-то к нему пришла, но не размякла, а только этак покуражиться заглянула, убедиться, что без нее тут жизнь не в жизнь, — тоже прихват известный; и опять же ученый муж с цепи сорвался. Очень может быть. Правда, июльские девчата сюда не вписываются, но... Будет возможность — впишем, куда деваться от этой долбаной жизни; но пока у нас на повестке поиски истины.

Одно плохо. По-человечески не вяжется как-то: уж больно давно эта баба ушла от Симагина. Если бы полгода назад, ну даже год — тогда можно было бы понять все эти страсти роковые. А старухи твердят в один голос — лет восемь назад или девять... Чтобы так с ума сходить из-за бабы, которую восемь лет не видал, чтобы волноваться из-за того, кто ее во-

семь лет назад раскладывал, — это же... Ну, да впрочем, вот и видно, что псих. И потом — с этими интеллигентами бывает так. Они, с ихней гордостью, с ихним самомнением, с ихними из книжек вычитанными утонченными чув-вс-с-ствами под себя уже ходят, а всё уверены, что их первые школьные девочки — или мальчики — до сих пор их помнят и неровно дышат от воспоминаний; и попробуй скажи что-нибудь против. Так что вписывается, вписывается...

Значит, перво-наперво нам нужно: найти эту самую Асю — эх, жаль господин литератор ее фамилию не успел в записочке черкнуть! — и как следует с ней побеседовать; побеседовать, когда у нее истерика притухнет, с мамой убитой пацанки; и побеседовать также с бывшими коллегами этого Симагина по работе — что он за человек и почему ушел. Не исключено, между прочим, что пацанка так или иначе нашего Симагина провоцировала, только перестаралась или просто не отдавала себе отчета, что человек не в себе. Или наметила для себя веселый вечерок, в последний момент сдрейфила или просто передумала, а мужикашку уже так запросто не выключишь, если завелся... Этих интеллектуальных девочек из высокопоставленных семей мы тоже оч-чень неплохо себе представляем. Поискать бы в квартире как следует — наверняка травка обнаружится или что-нибудь еще поядреней. Нельзя, жаль. Чинами не вышли устраивать обыски на квартирах у таких товарищей. Но не все с пацанкой чисто, чует мое сердце, вот и из протокола видно — чтобы математикой заниматься с репетитором, девушка так никогда не оденется, оденется она так для мил-дружка, причем, как правило, когда мил-дружок чего-то не мычит не телится и надо его подразогреть... м-да, вот уж подразогрела так подразогрела. Математикой своей они там действительно занимались, что правда то правда, нашли ребята бумажки; но и не только математикой, вкусностей девчонка на стол накидала выше крыши, ублажала педагога вовсю. Выпивать — не выпивали, даже странно; ну да, может, не успели просто. Зуб даю, ежели бы педагог намекнул девке, что, мол, замерз, устал, она бы ему весь распределитель выкатила. Ребята полюбопытствовали — в комнате, в папашкином баре, чего только не было. Так что с выпивкой напряга бы у них не возникло — но педагог предпочел получить удовлетворение иным способом. Нет, ну точно псих. Извращ гнойный. Девка бы сама ему дала по первому слову, чувствуется. Можно даже предполагать, она этого слова с нетерпением ждала. Видно, есть некий особый кайф в том, чтобы этак вот именно силком, под совсем даже несладострастные, но уж наверняка предельно громкие крики... и потом ножичком чикнуть.

Чтоб уж точно не забеременела.

Вот так посмотришь-посмотришь на жизнь из этого кабинета — и начинаешь понимать всему истинную цену. Еще и спасибо скажешь дочкиному Митьке, еще и пожалеешь, что накостылял ему во дворе, при всем народе. Да, надул пузо однокласснице — но ведь не зарезал же!

Ладно, соображения о роли пацанки в происшедшем, о том, что у нее у самой рыльце наверняка в пушку, я пока оставлю при себе. Вероятно, им и вообще суждено у меня под черепушкой навсегда застрять — в серьезном уголовном деле им не место, тем более, опять-таки, обком... Преступник есть, трупцы на местах, теперь только бумаги в папку навалить побольше — и вперед.

Между прочим. Крики, крики... Звукоизоляция в этих хоромах — не то что в наших многоэтажных бараках, где скрип кровати, особенно если скрипят вдвоем, не то что сквозь стену — через лестничную площадку слышен. Но ведь и там не просто скрипели — там вопить должны были, ведь не сперва же педагог ученицу прирезал, а уж потом, как в анекдоте Отелло Дездемону, поимел, пока тепленькая. Надо бы потормошить соседей, кто что слышал... А, чушь. Никто мне не позволит тамошних жильцов не то что допрашивать, но даже расспрашивать. Мешать им своими неважными мелочами. Отрывать от служения Отечеству. Ну и ладно, не больно и хотелось. И то премного благодарны-с, что на лестнице вахтер сидит и все-о-о видит. Сразу, с вечера, опознал Симагина по предусмотрительно захваченной оперативниками из симагинской квартиры его фотоморде. Да, поднялся давно и до сих пор там. Будем крутить-раскручивать Симагина с его Асей. Может, сия Ася сама бывшего мужа на, скажем, бывшего любовника навела? Или, по крайней мере, натравила аккуратненько? Властитель дум ее, ска-

жем, отправил навечно за продуктами, а она мужу стук-стук, зная, что муж псих... Ладно. Подождем теоретизировать. Хотя все возможно, все возможно...

Так-так. Между прочим, неувязочка.

Листровой вдруг сообразил, что именно так неприятно зацепило его внимание несколько минут назад, когда он, думая отчасти о своем, отчасти о происшедшем, пробегал по второму разу немногочисленные пока еще листочки. Показания вахтера.

Поднялся давно.

Так. Ну-ка снова. Вахтер показал... так, так... вот. Бред. Что за бред.

Получается, что этот Симагин пришел к своей, так сказать, ученице — чему он там ее учил, кроме математики, никто теперь не узнает, разве что товарищ следователь Листровой — ровно в семь часов, так, как он и всегда приходил. И уходил он обычно поздно — хотя вчера, похоже, особенно засиделся, но разница невелика, полчаса каких-то. Но ничего странного в этом нет, раз всегда уходил поздно... Странно другое. В семь часов вечера, простите за нескромность, властитель дум Вербицкий был еще жив-живехонек. Где он был, где выпивал — вскрытие показало наличие алкоголя в крови, и немалое, — этого мы пока не знаем, но знаем точно, абсолютно точно, что в семь часов, и в половине восьмого, и в восемь он еще вполне самостоятельно перебирал ножками. А Симагин, с другой стороны, мы это тоже знаем абсолютно точно, потому что, если бы он уходил и потом снова возвращался, вахтер не проморгал бы ни за что; и по стене через окошко с шестого этажа он тоже бы не вылез на набережную и, тем более, не вернулся бы назад, даже если б и уговорил девочку обеспечить себе алиби... ну да, уговорил обеспечить алиби, а потом в благодарность за покладистость изнасиловал и зарезал... ох, бред! Симагин, мы это знаем точно, пребывал в приятном тет-а-тете с полуголой ученицей, трескал обкомовскую снедь — и не было ему слаще и доступнее дела в этот час, понимаете ли, чем с ножичком караулить пьяного писателя в подворотне! Из-за ушедшей восемь лет назад жены! Это когда восемнадцатилетняя свежая лапочка под рукой! Да еще из такой семьи!

То есть лапочку употребил, безусловно, он, тут и действительно думать нечего. Но литератора Вербицкого, исключительно благодаря записочке которого — такой предсмертной, такой просто-таки самим Богом нам посланной — мы на Симагина и вышли... этот Симагин зарезать, получается, никак не мог?!

С другой стороны, экспертиза показывает полную идентичность ранений, полученных литератором Вербицким и лапочкой, и то, что именно эти ранения могли быть нанесены именно тем перышком, каковое было обнаружено с симагинскими отпечатками в квартире потерпевшей — ох, потерпеть ей пришлось, это точно! Экспертиза показывает наличие в пазах рукоятки следов крови не только лапочки, но и некоей другой, каковая по всем параметрам совпадает с кровью убиенного властителя дум.

Началось. Пр-ростое дело!

Листровой, опять вконец помрачнев, закурил и уставился в окно. Некоторое время дымил, стараясь не думать ни о чем и просто дать роздых извилинам, но все равно в голове злобно пульсировало: простое дело. Простое дело. Простое дело... Ну да. За четыре дня раскрутишь, реабилитируешься, и благодарность обеспечена. А если не раскрутишь? То не реабилитируешься? И что тогда обеспечено?

По опыту он знал, что, если в первый же день работы вдруг выпрыгивают такие нестыковки, их либо удается разъяснить тут же, в ближайшие часы, ближайшим же уточняющим допросом — это редко; либо они напластовываются друг на друга, постепенно всё начинает противоречить всему, дело плывет и в итоге через две-три недели превращается в «глухаря».

Тоска.

Значит, нужно первым делом потрясти вахтера как следует. И уже повыяснять про самого вахтера — а не пересекались ли когда-то в прошлом их пути с господином отставным ученым или господином литератором? Простое дело, очень. Завал.

А червь сомнений, раз поднявши свою тоненькую отвратительную головку, теперь уже продолжал мало-помалу бу-

равить яблоко фактов. Еще одна нестыковка проявилась уже сама собой, даже без третьего прочтения папочки.

Ребята ворвались в квартиру потерпевшей — тьфу! — буквально через три, а то и две минуты после нанесения ранения, не совместимого с жизнью. Фактически она была еще в состоянии клинической смерти, только реанимировать ее было некому. Да и вряд ли возможно, но это другой разговор. Вождь сказал, что Симагина сняли буквально с девчонки, у него, дескать, еще с конца капало. Но удосужился ли кто-нибудь действительно проверить, что там у него капает с конца и капает ли? Вот звездануть от души по этому концу — на такой подвиг у нас ума хватило, это мы завсегда...

Ах, черт его дери, да ребят можно понять: пустая квартира, девчачий труп налицо, вот перед ними явный, очевидный убийца и насильник... Но вот теперь вы мне объясните, господа-товарищи, коллеги мои дражайшие: почему этот убивец, мучитель невинных дев, идет и сам вам двери открывает? Вы бы их автогеном резали, как я понял из документов, еще час. И объясните мне заодно: как это злодей за две, ну пусть даже три, минуты — в общем, захваченный врасплох, едва, можно сказать, вставши с унасекомленной девицы, уже одет-застегнут? А какие телесные повреждения у него имели место в сей момент, кто проверил? Теперь-то насчет телесных его повреждений все ясно... нам придется их валить как раз на девицу, которая, как будет косвенно явствовать из материалов дела, защищала свою честь, будто три дюжих мента, вместе взятых, — но тогда, не исключено, встанет вопрос: как это задохлый ученый в таком плачевном состоянии ее все ж таки девичества-то лишил? Простите, чем?

На девочке множественные ушибы и лохмотья кожи под ногтями — найдены же, черт возьми! Так кого она царапала-то?

Простое дело. Будь все проклято.

Значит. Во-первых, опять врача к убийце — и пусть хоть задним числом посмотрит, есть ли на нем такие повреждения, которые могли бы быть нанесены именно и только девицей, защищающей свою честь. Ногтевые царапины, укусы... Конец осмотреть, или что там от него осталось. Анализ

спермы непременно. Потому что, исходя из тех материалов, которыми на данный момент располагает следствие, убить Симагин при всем желании мог только кого-нибудь одного. Если он убил и изнасиловал девчонку — тогда не он убил Вербицкого. Если Вербицкого убил он — тогда девчонку не он убил и не он изнасиловал. И вдобавок, даже если не он убил Вербицкого — все равно НЕ ПОХОЖЕ, что он насиловал девчонку!

Но больше-то некому!

Или был какой-то настоящий козел, он и потрудился? За минуту до прихода Симагина? Но тогда как Симагин попал в квартиру? Да мало ли как — что мы знаем об их отношениях с пацанкой, может, она ему давно ключи дала? А настоящий козел слинял за минуту до того, как ребята налетели? А Симагин его отпустил? Но показания вахтера... Вдвоем насиловали? Тогда где второй? Ох, клубок! Простое дело... Надо как можно больше узнать об отношениях Симагина и пацанки... без пацанкиной мамы тут не обойтись. Но мама в отходняке. Значит, пока — только вахтер. Проходил ли по лестнице вверх-вниз на протяжении вечера, когда угодно на протяжении вечера, кто-то ему незнакомый? А может — знакомый, из этого же партийного дома, а? Вот глухой вариант! Какой-нибудь член со стажем, живущий на той же лестнице, девчонку уделал, а Симагина подставил — и рой теперь землю, реабилитируйся... Ладно, хватит гадать пока. Вахтер. Это я сам. И — найти женщину Асю. Расспросить бабулек, может, кто-то из них помнит по каким-нибудь древним соседским разговорам или сплетням, кто она, откуда, где работает... Этим у нас займется Шишмарев, Шишмарев бабушек любит. И они его. У него лицо пионерское.

Ну, вроде на ближайшие часы план сформировался. К преступнику — врача. Шишмарева — по месту жительства преступника. Я — по месту жительства потерпевшей. Вернусь — так мало того, что, может, вахтер даст какую-то зацепку или, паче того, ущучу старпера на неточностях; к тому же и заключение о состоянии преступника окажется на столе. А уж тогда призову гада под ясны очи. Говорить с ним надо, имея побольше карт на руках. Любопытно, конечно, на него глянуть и послушать; иногда чем раньше возьмешь кли-

ента за жабры, тем откровеннее он болтает, покуда не очухался... Но тут есть дополнительный момент. Пусть его хоть слегка приведут в себя — не годится мне официально видеть, как ребята его изукрасили. Пусть сперва попудрят подонку нос и яйца.

Вахтер уже сменился, и пришлось подергать его за язык непосредственно на дому. То есть в его вполне приличной и во вполне приличном состоянии содержащейся комнате в малонаселенной коммуналке на Карла Маркса, в том конце проспекта, что выпирает к отелю «Ленинград», — относительно недалеко от места работы. Пешком можно ходить, плюнув на общественный, будь он неладен, транспорт, подумал Листровой — и буквально через пять минут выяснил, что железный телом и духом дед и впрямь ежедневно, в любую погоду любого сезона, ходит из дому на работу и обратно пешком, да еще и умиляется всегда, маршируя непосредственно близ «Авроры». Мужик нормальный, можно доверять — пожизненный вохровец, этакий верный Руслан, только на двух ногах. Не просто наблюдательный, но еще и любознательный, и явный блюститель нравственности всех и каждого; подведомственных своих слуг народа знает как облупленных — без малого четыре года хранит покой их жилищ. С великолепным этим дедом можно было проговорить и час, и два, и три — в зависимости от того, насколько ты спешишь. Листровому время было дорого, но ушел он лишь часа через полтора, быстрее никак не получилось — а не продвинулся ни на шаг; наоборот, только мозги окончательно встали раком.

Значит, во-первых, девочка Кирочка. Лапочка, ласточка, кисонька, персик, маков цвет. Добрая, умная, приветливая, веселая, не задавака, не шлюшка. Милая, красивая, трудолюбивая, заботливая, родителей обожает, хотя и чуток снисходительно. Редкая девочка, удивительная девочка... Да ты садись, капитан, садись вот сюда, напротив. Обожди, закурю. Не могу. Шибко переживаю, капитан. Этого аспида, что над такой девочкой надругался, четвертовать мало; надо его полгода циркульной пилой пилить, тонюсенькими ломтиками, чтоб хоть как-то восстановить мировую справедливость. Хотя, между нами говоря, аспид-то как раз, по всем понятиям... Ну хорошо, капитан, раз потом, то потом. Но сказать я обязательно скажу, потому как свое мнение имею.

Кирочка, значит. Чтоб шебутные компании какие, или пьянки, либо парни чтоб допоздна у ней засиживались, или, тем более, утром выкатывались с помятыми мурлами — как, между нами говоря, то и дело выкатываются от многих и многих здесь обитающих, — такого никогда. Появился у ней было хахаль тогоднишним летом, что да, то да, врать не стану; да только такой уж фик-фок, такой уж себе на уме, с лапами загребущими да глазами завидущими... я сразу и решил про себя: или Кирочка отошьет его со дня на день, или вообще уже конец света близок и ни в кого верить нельзя. Ну и получилось так, что конец света таки не очень близок, потому как покатился хахаль колбаской по Малой Спасской. И ни черта ему не успело обломиться; может, конечно, и целовались они, дело молодое, не знаю, потому и говорить определенно не стану; может, куда и добрался хахаль шустрой своей пятерней, да только не больше, вот никак не больше. Интуиция. Я еще когда там... ну — там... ну не понятно, что ли? — там! — когда в охране служил, так с первого взгляда распознавал, кто с кем учинил чего. Мужеложества я страсть не одобряю, ну да там — понимаешь, там! — это было как бы и норма жизни... А? Намекаешь, что и самые славные девчата — все ж таки девчата, и не более того? А я против и слова не скажу. Могла Кирочка влюбиться, могла. А уже коли такая девочка влюбится, так поперек всей Антрактиды — вахтер так и выговаривал: Антрактиды — с улыбочкой босиком проскачет, только чтоб своего ненаглядного как-нибудь потешить. Это жизненный факт. Но только аспид-то... Ну хорошо, капитан, хорошо, про аспида потом.

Нет, никогда я их на улице вместе не видал. Не гуляли, не провожались, не встречались. Все чин-чинарем. Да, только по вечерам. Ну, этого сказать не могу, не знаю. Может, он только после работы мог приходить, а может, ей самой по вечерам удобнее. У нее же школа, потом экзамены выпускные, а вечер — он посвободней... Вдвоем, да, как правило, вдвоем. Это ты верно сообразил — чуть не всегда они вдвоем на два, на три часа в дому оставались. Мать-то у ней такая шкода — как вечер, так то в театр, то в филармонию... одно

слово, гулёна. И, между нами говоря, возвращалась иногда — под хмельком. Не в хлам, этого не скажу... но — так, веселенькая. Всегда провожал кто? То один, то другой. А батька? Батька у них пахарь, домой только спать приходил, да и то, коли каждый день являешься за полночь — не больно-то отоспишься. Пьяный? Нет. Очень редко употреблял и всегда только по официальным праздникам. Или Девятое мая, или Седьмое ноября, или Восемнадцатое августа... или объект какой принимал. Редкий мужик, славный мужик... При товарище Сталине-то они все так вкалывали — зато и были мы сильней всех в мире. А потом распустил их Хрущ... Один с сошкой — семеро с ложкой. И ложка-то у каждого — ого-го! Таких, как я, цельный город прокормить можно. А на том одном с сошкой вся держава еще тридцать лет ехала. Если бы они там, наверху, у себя все так вкалывали, как Кирочкин батька, — давно бы мы коммунизм построили. Вот ты скажи, капитан. Отчего Господь именно таких людей всегда наказывает? Я всю жизнь об этом думаю — ничего путнего придумать не могу. Не, в Бога не верю. И в черта не верю. Ну может, товарищ Крючков уже и верит, его должность обязывает, он и с патриархом вась-вась, а я — по старинке, как товарищ Сталин... Да вот только никаких иных соображений у меня на этот счет не имеется, кроме как — дьявольские козни. Скажем, на той же лестничной площадке семейка обитает, вот их бы всех... Ну, не относится, так не относится.

Наконец-то! Так вот про аспида я тебе так скажу — кабы не вчерашний случай, кабы не своими глазами я видал, как он туда шел, а больше — никто не шел и как его выводили, а больше — никого не выводили... Обожди, капитан, закурю. Трясет. Стало быть, так. Кабы сам всего этого не видал — не поверил бы. Никому. Мужчина этот... Да что ты заладил: положительный, положительный! Нашел словцо! Положительные — они нынче в «Вольвах» ездют, партейный стаж себе накручивают от Полтавской битвы, и все при деле при таком, что только в газетах пишут да по телевизору показывают, а своими глазами — не видать. Погоди, капитан, слов не подобрать мне, вот ведь как... Чего в жизни часто встречается, для того и слово быстро на ум вскакивает: начальник,

трамвай, говно... А тут такая, понимаешь, петрушка... Я так скажу. Вот когда я там работал, уголовка таких перво-наперво выбивала. Скажем, этап прибыл, и я уж вижу: ага, вот этот не жилец, у него глаза. Не знаю, какие глаза! Просто — глаза. Но уж коли выживет — так весь барак вокруг него хороводится. За советом идут, или поговорить по душам, или даже просто всплакнуть. Именно у него на плече. Да, навроде попа. Попы, точно, такие бывали, но не только попы. Писатель был, помню. Ну, тот недолго протянул. За кого-то он заступился сдуру, так сам понимаешь... ойкнул ночью на своих нарах, поелозил маленько, а к утру уже остыл. А еще, помню, ученый один, и вот он-то, кажись, выжил; как в конце войны ракетчиков стали по зонам собирать, его из Москвы сам товарищ Берия спас. Да и из простых бывали... он хошь крестьянин, кулак, а глаза у него! Все кругом жмурются, а он смотрит и болеет. Да-а... Вот как раз в такого могла Кирочка влюбиться по гроб жизни, это точно. Именно она, и именно в такого. А я бы рад был. Какая пара бы получилась, капитан, какая пара! Конечно, он шибко старше, да только все одно как мальчишка — тощий, резвый, приветливый; но серьезный... Всегда веселый, но всегда грустный. А вот как хочешь, так и понимай, не знаю я, как еще сказать. Остановится этак напротив — и улыбнется, и пошутит с тобой, и словцо соленое поймет, совсем вроде свойский... а только будто не весь он здесь... Может, конечно, и женатик, может, и детей у него мал мала меньше, не знаю, так и говорить не буду. А только какая пара бы получилась! Я уж, между нами говоря, так и прикидывал, что у них сладится. Ничего я в этой жизни не понимаю, капитан. Ни-че-го. Чтобы он... да с ней так... Обожди. Я рюмашку дербалызну... Не будешь? Ну да, ты ж при исполнении... святое дело. А я дербалызну. Не могу. Как выносили ее вчера... Будь, капитан.

Значит, так. Конкретно, говоришь. В апреле он туточки появился, и с тех пор как штык — два раза в неделю к девятнадцати ноль-ноль. И что характерно: всегда с пустыми руками. То есть ни сумки, ни порфеля, ни «дипломата» этого нынешнего... И потому я определенно могу сказать: ни цветов, ни бутылок, никакой заразы не носил. Иногда книжки. Какие — этого сказать не могу. Не разбирал. Про него ниче-

го конкретного не знаю. Да какие промежду нас разговоры — он ученый, а я пес в конуре... Здоровались непременно. Иногда про погоду или про какое уж очень животрепещущее событие в мире. И я тебе так скажу, капитан: шибко он за все переживал. Вроде и улыбнется, и рукой этак махнет: а, дескать, пока тут не стреляют, то и слава богу; лампочка, дескать, горит, вода из крана бежит — значит, перезимуем... а я ж вижу — у него сердце кровью обливается. Уходил? Между десятью и одиннадцатью. Но не случалось промежду ними ничего. Точно. Я бы учуял. Ну что ж, я не знаю, как мужик идет, когда девочку поимеет? Да еще такую? Самодовольный, нахальный, розовый; может, и счастья-то никакого не испытал, может, этой и не захочет больше, а все равно на лбу у него написано: во я какой! Не, никогда... не понял ты, капитан, видать, ни слова из того, что я тут тебе про него рассказывал. Ну каким спиртным? Вот за кого я никогда не беспокоился, так это за них. Вчера-то? Ох, капитан... Да я уж все рассказывал твоим. Пришел он, как обычно... да по нему часы проверять можно было. Без двух минут семь он мимо меня прошагал, или без трех. И не выходил никуда. Да не отлучался я! Я работник ответственный... Незнакомые? Да откуда ж там возьмутся незнакомые-то? Ты, капитан, видать, специфики не знаешь. Тут тебе не малина, тут суверенный дом... Никто, кроме аспида, к ним вчера не приходил. Жильцы? Не... их как с работы привезут, так — мертвяк. Ни погулять, ни за бутылкой... Чего им ходить-то? Им все привозят...

С отчаяния или уж невесть зачем — вдруг чудо случится и откроется некая совершенно подноготная связь внутри этих бессвязиц — Листровой показал вахтеру фотографию Вербицкого. Не припомнишь ли, отец, вот такого? Отец смотрел долго. И Листровой отчетливо ощутил в нем профессионала, хоть и стоящего одной ногой в могиле. Взгляд, несмотря на рюмашку — да, наверное, не первую, в комнате припахивало, видно, вахтер всерьез переживал за Киру, — стал цепким, острым, будто стеклорезный алмаз, и чувствовалось, что дед сам себе по фотографии составляет словесный портрет на предмет сверки со словесными портретами, которые он, наверное, составлял на всех ходивших по вве-

ренной ему лестнице. Никогда не видел, сказал он затем, возвращая фото Листровому, и тот понял: ошибки быть не может.

Вот и весь разговор. Что хочешь, то и думай.

Из машины Листровой позвонил в управление — узнать, нет ли новостей. Оказалось, есть. Нашли женщину Асю. Шишмарев, умничка, разговорил-таки бабулек, одна и вспомнила: дека, дека, дека... в общем, милок, там, где студентов учат. Обзвонить все деканаты города не заняло много времени. Чтобы не тратить времени, Листровой сразу погнал в Университет.

Цитадель знаний, она же кузница кадров, была в таком состоянии, будто Питер опять в блокаде. Причем какие там девятьсот огненных дней и ночей — лет десять, а то и пятнадцать здание кисло и лущилось на всех ветрах, дождях, снегопадах и солнцепеках. Следов прямых фугасных попаданий, правда, не было — и то хорошо. Стекла почти все целы, иногда только треснуты; трещины, как в глухой деревне, забраны то картонкой, то изолентой заклеены; редко встретишь неровно вырезанную, словно обгрызенную, заплатку из настоящего стекла. На подоконниках и по углам — пустые жестянки из-под пива, или сока, или джин-тоника... богатый студент пошел. На стекло в аудиториях у нас нет — а на пиво завсегда отыщется... Серые от копоти и вековой пыли потолки. Полы горбылями, а иногда и ходуном ходят, словно зыбучие пески или незабвенные по фильмам и книгам партизанские болота ныне независимой Белоруссии, — делаешь шаг и ждешь, что вот-вот лопнет под ногой тонкая простынка сросшихся трав и провалишься по горло в ил безо всякой надежды на спасение... ну, тут не в ил, а на нижний этаж — тоже неплохо. Штукатурка стен выкрошена до деревянных решеток основы, исписанных, как и полагается в цитадели знаний, на иностранных языках — «фак ю», «май прик из зэ оунли уан прик» и тому подобное... а то и, например, арабской вязью. Листровому не часто доводилось бывать в таких культурных местах.

Он зашел в деканат и некоторое время прикидывался шлангом, тщательно изучая написанные от руки и кнопками приколотые то к шкафу с папками, то прямо к изнанке две-

ри расписания занятий разных курсов. На него не обращали внимания: одно существо женского пола дребезделo на скачущей, как пулемет, доисторической «Ядрани», другое то вбегало из-за двери, на которой косо висела тщательно написанная печатными буквами этикетка «Декан», то выбегало обратно, и третье, завесив лицо буйными черными кудрями, мрачно восседало над какими-то бумагами за письменным столом как раз напротив Листрового. Листровой попытался угадать, кто из них — предмет его вожделений. Анка-пулеметчица за «Ядранью»... я бы, ей-ей, не резал того, кто меня от нее избавит, а бутылку ему поставил, и не просто водки, а породистого коньяку. Бегучая взад-вперед — ничего, пригодна к употреблению, но, наверное, слишком суетлива. Впрочем, неплохая наседка, должно быть; все в дом, все в дом... И как раз тут хохлатка, выбежав в очередной раз, наклонилась над мрачной брюнеткой и возопила, словно от ответа жизнь зависела: «Аська, у тебя скрепок не осталось?»

Да. Из-за этой дамы могли разгореться страсти роковые. Не первой молодости, правда, и даже, скорее всего, не второй... но... Нет, Листрового эта женщина не привлекла бы. Он от таких, буде подобные попадались на его, как в старой песне пелось, жизненном пути, — шарахался с максимально возможным проворством, потому что с такими всегда трудно, напряженно, маетно, всегда будто на крепостную стенку карабкаешься. Вот-вот, кажется, уже вскарабкался, еще одно усилие, ну еще одно, уже совсем чуть-чуть осталось, и будет твоя власть, твоя победа — ан черта с два: она опять только плечами пожимает и с легким недоумением округляет губы... Знаем таких. Ни слова в простоте. Ни минуты расслабона. И всегда есть риск втюриться всерьез и, что называется, надолго, до умопомрачения; именно от подобных дам очень даже можно ожидать такой пакости.

Королева нетоптаная.

Против обыкновения, Листровой с минуту не мог сообразить, как начать с нею разговор. И, фактически, разговор начала она — обратив наконец внимание на бестолково топчущегося возле расписаний чужака, она подняла лицо от бумаг, уставилась трагическими глазами, под которыми отчетливо темнели круги усталости, измотанности даже, и спросила равнодушно и, как показалось Листровому, чуточку высокомерно — хотя по форме абсолютно предупредительно: «Вы что-то хотели?»

И уже с первого обмена фразами у Листрового возникло четкое убеждение: она его ждала. Она знала, что он придет. То есть не он, Павел Листровой, коренастый шатен, один из лучших стрелков в райуправлении и все такое, — что к ней придут из милиции и будут спрашивать о ее дражайшем Симагине.

Совершенно не удивляясь и не тушуясь, совершенно ничего не прося объяснить, она сразу предложила перейти в коридор — там удобнее разговаривать. И там можно курить. И сразу закурила, едва только они остановились под открытой форточкой у ближайшего подоконника, на котором обнаружилась воняющая застарелым пеплом распоротая пивная жестянка, превращенная — богатый студент пошел, богатый — в пепельницу. Листровой едва успел поднести зажигалку; Цирцея чуть кивнула — так и впрямь какая-нибудь королева могла поблагодарить пажа за вовремя и с надлежащей услужливостью поданный плед. Листровой ощутил глухую, совершенно безотчетную, но, по всей вероятности, уже непреодолимую неприязнь. Фигура у нее под стать физиономии, почти с негодованием отметил он, — когда выходили они из деканата, он пропустил ее в дверь впереди себя и смог оценить ее стати без помех. И не корова, и не коряга. И не манекенщица какая-нибудь, не сработанная на скорую руку по импортным чертежам машина дорогой любви, у которой обтянутые холеной кожей шатуны и кривошипы и ерзают, и скачут, стоит лишь пропихнуть в щель монетку. А тот редкий случай, когда тело — образ характера: высокомерное, усталое совершенство; непрерывно длящийся снисходительный, но безоговорочный отказ: дескать, ну сам посуди, ну куда тебе со мной рядом, да тебе и в десяти метрах-то делать нечего!.. и фанатичное ожидание того, что вот прольется наконец золотым дождем какой-нибудь Зевес, и вот ему-то, только ему, вместе с моим необозримым внутренним миром, в качестве бесплатного приложения — если, конечно, Зевес будет так добр, что снизойдет до бабьей слабо-

сти, до плотских утех, если ему для разнообразия вдруг захочется повладеть не только моей распрекрасной душой, но и всем неважным прочим — достанется то, что под одеждой, то, на что ты сейчас так похотливо и так тщетно пялишься: изящная грудь, осиная, несмотря на возраст, талия, широкие, вполне сладострастные бедра... Не приведи бог оказаться у такой в любовниках. Забодает духовными запросами. Постоянно будешь чувствовать себя тупой, примитивной обезьяной, а вдобавок еще и кастратом.

И снова Листровой некоторое время молчал и курил на пару с женщиной Асей молча, не зная, как приступить к делу. Возможно, подумал он, следовало бы вызвать ее в управление по всем правилам, спесь-то согнать слегка, но время, время!

— Фамилия Симагин вам говорит что-нибудь? — идиотски начал Листровой. Сам сразу почувствовал, что — идиотски. И, мимолетно разозлившись на себя, тут же разозлился на стоящую напротив женщину.

— Да, — ответила она. И все. Листровой с трудом сдержался.

— Что? — спросил он ровным голосом.

— Очень многое, — сказала она. Листровой уже был готов к тому, что она опять на этом замолчит и придется опять начинать как бы сначала; презрительного хладнокровия этой Семирамиде, этой царице Савской, черт бы ее побрал, было не занимать. Но она улыбнулась, и он понял, что она решила снизойти. — Такую фамилию, в частности, носит один замечательный человек. Человек, который был моим мужем. Человек, которого я очень любила. Человек, которого я, возможно, до сих пор люблю. Я могу до ночи о нем говорить. Что конкретно вас интересует?

Листровой отчетливо почувствовал, как покрывается потом от унижения и бешенства. Ну вот, мельком подумал он. Сейчас еще от меня и вонять начнет, как от козла. Никогда до сих пор подобные проблемы его не беспокоили при допросах — а с этой... Он свирепо всосался в папиросу. Хоть дымом заглушить...

— Тоже довольно многое. — Он старался попасть ей в тон и спрашивать спокойно, этак благорасположенно и в то

же время свысока. И опять подумал: она знала, что я явлюсь. Не мое появление для нее неожиданность, а ее поведение — для меня. Но кто мог ее предупредить? Что еще она знает? Может, она и про убийства уже знает? А может, она про них знает куда больше меня?

— Вас, мне кажется, совершенно не удивляет, что я вас о нем расспрашиваю, — не удержался он.

— Совершенно не удивляет, — согласилась она.

— Почему?

Она помолчала.

— Я лучше сама вам в двух словах обрисую ситуацию, — сказала она и очень воспитанно, с подчеркнутой аккуратностью — но даже этой аккуратностью ухитряясь унижать — выдохнула дым в сторону от Листрового. — А то мы полчаса будем ходить вокруг да около. У меня пропал сын. В армии. Я нигде ничего не могла выяснить в течение нескольких месяцев. С отчаяния начала дергать за все ниточки, какие только могла придумать. И позавчера вечером зашла к Симагину по старой памяти, в жилетку поплакаться. Ну и, — тут она даже соизволила улыбнуться; улыбка получилась, что ни говори, и ослепительная, и обаятельная одновременно, — по бабьей, знаете, вечной надежде: мужчина, конечно, существо хрупкое, уязвимое и трепетное, лишний раз его лучше не беспокоить, самой справляться — но если уж приперло вконец, вдруг именно мужчина совершит чудо? И Симагин сказал, что попробует, но как — ни гу-гу. Обещал позвонить следующим вечером. И действительно, вчера вечером позвонил, рассказал, что ему удалось узнать, и предупредил, что, возможно, ко мне придут из милиции, потому что там какая-то дополнительная каша, как он выразился, заварилась. Просил меня не волноваться, не удивляться и отвечать на все вопросы спокойно и честно. Я так поняла, это из-за того, что Антон... это сына моего так зовут... служит в спецчастях, так он сказал.

У Листрового закружилась голова.

— Во сколько он вам звонил? — медленно спросил он. И тут же, несмотря на чудовищность ситуации, буквально всей кожей ощутил, что его «во сколько» эта дама однозначно восприняла как замусоренный русский. И снисходитель-

но сделала вид, что ничего не заметила. Он натужно переспросил: — В котором часу?

— Поздно, — сказала женщина. — Уже после полуночи. В половине первого или чуть раньше.

Так, очумело подумал Листровой и некоторое время больше ничего не мог подумать. Только где-то в мозжечке издевательски пульсировало: простое дело... простое дело...

В половине первого ее Симагин пластом лежал в камере и рукой-ногой шевельнуть не мог.

Да если б даже и мог!

— Вы уверены, что это он звонил? — хрипло спросил Листровой.

— Да, — отрезала Цирцея и решительно смяла окурок об истоптанный круглыми пепельными свищами бочок жестянки. А может, какая-то чудовищная путаница? Может, их два — Симагина-то?

— А как его отчество? — спросил Листровой.

— Андреевич.

Совпадает.

Простое дело!

— Откуда он вам звонил?

— Откуда-то с улицы. Он так и сказал — из автомата. Дома-то у него телефона нет. Пожаловался, что монеток мало и потому толком ничего объяснить не может, но расскажет все в подробностях, когда заедет.

— А когда он обещал заехать?

— На днях, — просто сказала женщина. — Сегодня или завтра.

— Что?! — пискнул Листровой.

— Сегодня или завтра. Так он обещал. Вообще-то он человек слова. — Женщина снова улыбнулась. Она словно не замечала, что Листровой даже на стену оперся плечом; у него ослабели колени. А может, наоборот, замечала и решила как бы по-свойски с ним побеседовать, чтобы он имел время прийти в себя. — Знаете, есть люди, которые легко обещают с три короба, а потом начинается: этого я не смог по таким-то объективным причинам, а этого — по таким-то... А Андрей... когда мы познакомились, я не сразу поняла, и поначалу меня это раздражало как-то, — ну ничего никогда

не пообещает, слова лишнего не выжмешь. А потом сообразила — он сначала сделает, а уж потом про это скажет: да, пожалуй, я это смогу. Органическая неспособность нарушить обещание, подвести... — Она опять улыбнулась, на этот раз потаенно, по-русалочьи, и даже покраснела немного. — Он очень хороший человек.

— Место жительства вашего Симагина? — не совладав с собой, гаркнул Листровой и с ужасом и стыдом заметил, как на них обернулись сразу несколько проходивших мимо людей — две шмакодявки, парень в могучих очках и какой-то полуживой профессор с клюкой. Но женщина так-таки и не сделала ему замечания — только чуть поморщилась: дескать, что с плебея взять. И назвала адрес без запинки.

Совпадает.

Листровой глубоко вздохнул, стараясь взять себя в руки.

— Хорошо, — сказал он. — Давайте по порядку. Когда вы познакомились с этим замечательным человеком?

— В восемьдесят пятом.

— Восемьде... Но тогда этот ваш Антон...

— Ему было в ту пору уже семь лет.

— А...

— Я очень рано родила и к моменту знакомства с Андреем уже давным-давно не общалась с отцом мальчика. Что с этим человеком теперь — не имею ни малейшего понятия.

Она говорила об этом совершенно спокойно и совершенно не стесняясь. Как о муравье каком-нибудь.

— Как... ваши мужчины относились друг к другу? — стесненно спросил Листровой.

— Антон и Андрей? — переспросила женщина для пущей ясности, и на какой-то миг ее лицо тоскливо поблекло. — Они... они души друг в друге не чаяли.

— Когда разошлись?

— В восемьдесят седьмом.

— Почему? — Листровой с каким-то болезненным интересом задавал все более бестактные вопросы и ждал, когда же наконец ее спокойствие иссякнет, когда она хотя бы поинтересуется, зачем ему все это знать. Но она была невозмутима.

— Я виновата. Влюбилась в другого человека. И влюбилась-то ненадолго, и человек-то оказался... так себе. А Симагина предала.

У Листрового на несколько мгновений язык присох к гортани. Он недоверчиво глядел на нее и думал: вот этак вот, наверное, патрицианки не стеснялись раздеваться в присутствии рабов. Раб же, что с него взять. Не мужчина, не человек даже. Как это... говорящее орудие.

Отвратительная баба.

Или она так кается? Публичное самобичевание. Как это, бишь, назывались средневековые придурки, черт бы их побрал, которые бродили по дорогам и сами себя хлестали в кровь? Фла... блин. Флагелланты. И откуда я это помню?

— Вам не... неловко мне все это рассказывать? — не удержался Листровой.

Женщина печально усмехнулась. Помолчала, потом произнесла:

— Андрей велел мне отвечать честно.

— Вы, как я погляжу, чрезвычайно высокого мнения об этом Симагине.

— Чрезвычайно высокого, — согласилась она.

Рассказать бы ей, что натворил вчера ее кумир...

А что, собственно, он натворил? Я же ничего, ничего теперь уже не знаю и ни в чем не уверен! Вот же кошмар. Простое дело...

— Вы пытались к нему вернуться?

— Нет.

— Почему?

— Я как бы... как бы умерла на несколько лет.

— А сейчас ожили?

Она помолчала.

— Еще не знаю.

— А если бы он предложил вам вернуться?

Она опять помолчала.

— Не знаю. Страшно.

Ему показалось, что вот наконец высунулся хвостик, за который можно ухватиться.

— Почему страшно? — проворно спросил он. — Вы его боитесь? Симагин мстителен?

Женщина посмотрела на него с удивлением, равнозначным презрению, словно он громко рыгнул или пукнул.

— Быть с ним — огромный труд и огромная ответственность, — сказала она, чуть помедлив. Чувствовалось, как старается она объяснять попроще. Будто напротив нее — не следователь, а умственно отсталый ребенок, но вот это надо ему втолковать обязательно. — А я уже... основательно уездилась. Уже не та. К сожалению.

Какие-то они все пыльным мешком отоваренные.

— А если бы он вас попросил о чем-то? Если бы ему нужна была ваша помощь?

— В лепешку бы расшиблась, а сделала.

Это уже что-то. Сообщница в тщательно продуманной игре? Но тогда она не стала бы так афишировать свою преданность. Вот уж в этом можно теперь быть уверенным, в этом одном, больше ни в чем пока — влюблена она в него сейчас как кошка. Такая, пожалуй, и впрямь все простит и во всем поможет. Помню, был во времена моей молодости аналогичный случай: на суде давала показания законная и верная супруга сексуального маньяка, угробившего несколько женщин. Нет, я ничего не знала, я только топорик от крови мыла... Да, но телефонный звонок?!

И тут он вспомнил, что не задал еще один очень важный вопрос.

— Вы уж извините, что в такие интимные глубины забираюсь... — Неожиданно для самого себя начал он с неловкой фразы, вдруг застеснявшись того, что лезет явно не в свое дело; интересное кино! потаскуха эта не стесняется, а я стесняюсь! однако он ничего не мог с собой поделать. — Как звали того человека, который... так покалечил вашу с Андреем Андреевичем жизнь?

— Вербицкий, — с равнодушной готовностью ответила женщина. — Валерий Вербицкий.

В мозгах у Листрового со скрежетом провернулся некий объектив, и изображение вроде бы попало наконец в фокус.

— Вы с ним разошлись давно?

— Да. Собственно, мы с ним вместе и не были. Просто на меня дурь напала. Отвратительная, непростительная дурь.

— Вы с ним хоть изредка встречаетесь? Или просто видитесь в компаниях, или...

— Нет. Нигде, никогда. Совершенно не представляю, что с ним и где он.

Показать бы ей, что с ним и где он, опять подумал Листровой.

— Вы его ненавидите?

Да не под силу ей было бы его зарезать, не под силу...

— Нет, — снова помолчав, ответила женщина. И улыбнулась беззащитно: — Я себя ненавижу.

Ну форменная достоевщина. Только вот как это увязать с двумя трупами? С изнасилованием девочки? Которая, если я правильно понял и если вахтер прав — а у таких дедов глазок-смотрок! в людях они понимают побольше любого Достоевского, потому что Достоевские людей выдумывают, а деды людей знают! — тоже была влюблена в нашего аспида как кошка. Ай да аспид! Султан, а не аспид!

Где две, там и три? Может, заигрался наш ученый Казанова? Может, девочку-то его очередная подруга прирезала из самой что ни на есть обыкновенной, безо всякой достоевщинки ревности, а он ее застукал по случайке и выгораживает теперь?

Ага, ну да. Подруга прирезала, подруга и изнасиловала.

Вот ведь бред. Ничего не увязывается. Ничего.

Может, тут вообще теплая компашка извращенцев подобралась? Скажем, пришли они вдвоем к девочке Кирочке, с этой самой очередной... а может, даже и не с очередной, а вот с этой самой высокомерной и хладнокровной, до отвратительности откровенной Асей, и Симагин, значит, девочку Кирочку по полу пластал, а эта, которая ради него в лепешку якобы готова, хихикала и возбуждалась, наблюдая, а потом резала? Топорик, так сказать, мыла?

И куда она потом из квартиры делась? И почему ее вахтер не видел?

Да. От полной безнадеги в башку лезет такая чушь, что пора на пенсию по маразму.

— Позавчера, когда вы беседовали с Симагиным после довольно долгого перерыва в общении... я правильно понял, что был долгий перерыв в общении?

— Да, совершенно правильно. Более чем долгий.

— Говорили вы о Вербицком?

— Нет. У нас было довольно более интересных тем.

— Симагин знает, кому он обязан крушением семьи?

У нее сузились глаза. Ага, все-таки ты, красотка, живая, не статуя...

— Нет.

— Вы уверены?

— Да.

— Но откуда вы можете быть уверены? Ведь вы не встречались с ним несколько лет! И затем, повстречавшись, вообще, как вы только что заявили, не разговаривали на эту тему!

Ася не ответила.

Так. Так-так.

А что, собственно, так-так? Теоретическая возможность того, что Симагин зарезал Вербицкого из ревности, существует, она допускалась с самого начала. А вот что физической возможности этого не существует — мы узнали не сразу, но узнали вполне достоверно. И даже то, что она сейчас молчит, никак не меняет дела. Абсолютно никак не меняет.

И почему, собственно, Симагину приспичило резать соперника — да какой там, снова-здорово, соперник, лет-то сколько прошло! — именно вчера? Мы-то предполагали, что именно Ася именно накануне ему что-то сказала, и после этого он взбеленился...

— Вы абсолютно убеждены, что фамилия Вербицкого не всплывала во время вашего последнего разговора?

Ох, ведь был же еще разговор по телефону. Как это могло произойти? Ведь врет, врет, врет!!!

Но откуда тогда она знала, что я приду? А ведь знала, была готова, я это сразу почувствовал...

— То есть... предпоследнего?

— Абсолютно убеждена. — И тут она все же не выдержала: — Ну при чем тут Вербицкий? Что вы все про него?

Ах, как было бы сладостно, как эффектно ответить ей с этакой небрежностью: «При том, что Вербицкий был зверски убит вчера вечером и оставил предсмертную записку, в которой обвинил в убийстве вашего Симагина». И удалить-

ся, не слушая ни рыданий, ни воплей: «Нет!!! Этого не может быть!!! О боже!!! Нет!!!»

Нельзя.

— Не могу вам пока ответить, — сказал Листровой, но, не удержавшись, все-таки подпустил невидимую Асе, только ему самому понятную шпильку: — Возможно, ваш Симагин вам объяснит, когда зайдет сегодня или завтра.

Посмотрим, как он к ней зайдет, думал он, возвращаясь в управление. Для начала посмотрим, как он ко мне зайдет. В кабинет. Как он до кабинета дойдет.

Настроение было отвратительным. Женщина так и не спросила, зачем, собственно, он приезжал и все это выспрашивал. Когда он прощался и стандартно-официально благодарил за содействие, предупреждал, что, ежели чего, мы вас еще вызовем — похоже, хотела... но так и не спросила.

Бестолковый и томительный разговор с нею не продвинул дело ни на шаг — наоборот, окончательно все запутал. Ну, заглянул в замочную скважину к нормальной сумасшедшей семейке, к двум придуркам, витающим в облаках. Понятно, что колобродить они будут, покуда кого-нибудь одного не разобьет паралич. Тогда тот, кто уцелел, мигом позабудет и незабвенное имя, и ангельский лик. Правда, может, и наоборот: бросит дурить наконец, плюнет на все, что казалось прежде не менее важным, нежели этот самый лик, и примется истерически дневать и ночевать у постельки болящего; и, естественно, надорвавшись в процессе самозабвенного ухаживания, сам загнется куда раньше того, за кем судно выносил... Но убийцами такие не бывают. Можно, конечно, руководствоваться нехитрой истиной: чем более не от мира сего человек выглядит, тем он на самом деле подлее. Чем более высокие слова произносит, тем низменнее и гнуснее его реальные мотивы. Листровой знал некоторых своих коллег, которые на этой аксиоме работают всю жизнь. И раскрываемость у них не сказать что худая. Такая же худая, как и у всех прочих.

Листровой ощущал полную безнадежность. Интуиция и опыт вопили хором: «глухарь», «глухарь»! То есть засудить Симагина за девочку Кирочку, конечно, можно. Можно. А гражданин властитель дум? Писателя-то на кого повесить?

Ёхана-бабай, а ведь еще июльские изнасилования велено сюда же сплюсовать... Да. Будет мне благодарность за быстрое раскрытие очевидного преступления, вот чует мое сердце; такая будет благодарность... во все дырки.

На столе его уже дожидалось заключение медэкспертизы, а поверх — размашистая записка: «Вождь телефон оборвал. Звони ему немедленно!» И Листровой, стараясь не глядеть в заключение, чтобы не отвлекаться от разговора с начальством, позвонил немедленно.

У Вождя даже голос в трубке был потным от нервного перенапряжения. Объявился папа жертвы. Все уже на ушах. А мама жертвы — по-прежнему то ли в истерике, то ли в обмороке. Что только усугубляет папину жажду справедливости. Возмездия, справедливого возмездия к завтраку! И согласись, папу можно понять. Плюнь пока на писателя, понял, Пал Дементьич? Потом разберемся, если руки дойдут... задним числом. Сейчас надо немедленно выходить на процесс по дочке, и чтобы вышка извращенцу была обеспечена с полной гарантией. Понял? Немедленно! И хрен с ними с июльскими, в этой ситуации уже не до них. Желательно, конечно, но... Как дело-то движется?

Испытывая неколебимую уверенность в том, что извращенец — это он сам и что Симагину вышку с полной гарантией он то ли обеспечит, то ли нет, это еще бабушка надвое сказала, а вот себе — обеспечит непременно первым же словом, Листровой невозмутимо ответил:

— Да не все так просто оказалось. Выявились кое-какие нестыковки, так что придется повозиться.

Полковник некоторое время обалдело молчал и только сопел. Потом спросил проникновенно:

— Паша, ты что? С ума сошел?

А потом он орал. На протяжении ора Листровой смог лишь однажды вставить «Но...», дважды «Никак нет», пятижды «Так точно» и семижды — «Слушаюсь». После седьмого «Слушаюсь» Вождь удовлетворенно всхрапнул и швырнул трубку. Тогда Листровой вытер лоб ладонью и взялся за заключение.

И вот тут духота насквозь простреливаемого солнцем кабинета окончательно стала такой густой и вязкой, что Лист-

ровому пришлось снять пиджак, расстегнуть, благо никто не видит, рубаху до пупа и кинуть под язык белое колесо валидола.

Кранты, ребята.

Все, абсолютно все телесные повреждения, каковые имеют место на преступнике, могли быть нанесены только при задержании. Только при задержании. Преступник оказал ожесточенное сопротивление, и поэтому на его теле имеют место многочисленные телесные повреждения. Такие, и вот этакие, и еще вот разэтакие. Мирно, покорно отворил дверь и начал оказывать ожесточенное сопротивление. Ни одно из обнаруженных телесных повреждений не может быть квалифицировано как нанесенное потерпевшей при сопротивлении насилию.

Раз.

Ну а два — это вообще туши свет. Можно ли предположить, что преступник, прежде чем приступить к своему ужасающему злодеянию, на глазах у ничего не подозревающей потерпевшей аккуратно разделся догола и отложил шмотки подальше? Можно ли предположить, что, унасекомив невинную девицу и заслышав, как ломятся в дверь бравые защитники правопорядка, преступник пошел в душ, тщательно помылся, насухо вытерся и аккуратно оделся, а уж потом пошел открывать дверь? А ничего иного и предполагать нельзя, потому как ни на верхней одежде, ни на исподнем, ни на собственной коже окаянного аспида нет ни малейших следов крови жертвы! Более того — и ни малейших следов семенной жидкости! Девочка Кирочка этой жидкостью наполнена буквально до ушей — а вот на мужике, который якобы девочку ею наполнял, ни малейших следов нету!

И — последний аккорд. «Произвести сравнительный анализ спермы, обнаруженной на теле потерпевшей, и спермы подозреваемого на предмет ее отождествления не представилось возможным ввиду телесных повреждений, полученных подозреваемым».

Тупо глядя в стену, Листровой закурил. На пенсию, пора на пенсию... Хватит. Это сумасшедший дом. Может, для кого-то это все просто: взглянет орлиным взглядом — и факты

выстроятся в единый ряд, кончиком указывающий на суть дела. А я, ребята, пас.

Ну, предположим, что не было там никакого изнасилования, а была, так сказать, дефлорация к обоюдному удовольствию. И не за минуту до прихода ребят, а за полчаса. И замечательный человек Симагин, оставив девочку лежать на полу в сладостной прострации и упиваться своим новообретенным женским счастьем — в каковом положении ее и нашли, действительно успел принять душ... Ага, ну да. И, только заслышав звонок в дверь, зачем-то решил подружку зарезать и инсценировать изнасилование. Видимо, чтобы строгая мама ее не ругала за излишнюю уступчивость.

Все, кранты. Ничего не понимаю.

И писателя-то кто зарезал?!

Относительно прежней симагинской работы покамест никакой информации ребята наскрести не успели, но это уже как-то и не взволновало Листрового. Ну что за разница, как называлась, скажем, тема его кандидатской и сколько раз он уклонялся от поездок на картошку? Ну, работал такой восемь лет назад, ну, пусть даже пять; ну, проявлял себя как способный работник и активный общественник... Провались пропадом.

Все произошедшее вчера — физически невозможно!

Только по отдельности. Но не разом, не вместе.

Листровой надавил кнопку звонка. И, когда вошел дежурный, с каменным лицом процедил:

— Давайте ко мне этого Симагина.

Дежурный нерешительно потоптался, а потом, пряча глаза, пробормотал:

— Да он, знаете...

— Ничего! — заорал Листровой, в бешенстве приподнявшись со стула. — Доковыляет!!

К тому моменту, как доставили подозреваемого, он выкурил еще пару папирос и немного успокоился. Перестал пытаться строить предположения, которые вывинчивались из извилин одно уродливее другого. Рефлекс, просто рефлекс — пытаться выстраивать факты в непротиворечивую картину. Но тут сей рефлекс мог довести до психушки. Ни-

чего, успокаивал он себя, вот поговорю сейчас с этим уникумом — может, и прояснится что-то. А может, осенит.

Ввели Симагина, и Листровой подумал: да. Основательно же он оказывал, так сказать, сопротивление. Почему-то стало тошно. Еще он подумал: на Зевеса, которого дожидается женщина Ася, этот шибздик никак не тянет. Хотя кто их разберет, этих малахольных баб с идеалами... И еще он понял сразу, что имел в виду вахтер, когда сказал, что у него — глаза. Да, это трудно описать словами, особенно если словарный запас — вохровский; надо быть поэтом, что ли... Глаз-то почти не видать, все заплыло раздутым лиловым, а — глаза.

Убивайте меня, кроите на ветчину — не насиловал он и не резал никого. На пенсию меня, ради Христа.

До пенсии еще трубить и трубить... Деньги-то где брать, если в отставку? Опять домой не приду вовремя.

— Присаживайтесь, Андрей Андреевич, — напряженно и негромко сказал Листровой.

Широко расставляя ноги, будто в промежности у него болталось нечто размерами по крайней мере с чайник, подозреваемый подошел к стулу и осторожно, затрудненно сел напротив Листрового.

— Хотите закурить?

Симагин молчал.

Значит, в молчанку играть собрался. Ну-ну...

— Я разговаривал с вашей подругой час назад. Она сказала, вы ей звонили ночью.

Симагин разлепил бурые ошметки губ. Корка на нижней губе сразу треснула, проступила кровь.

— Раз вы так говорите, значит, так и было, — не очень внятно, но, по крайней мере, явно стараясь, чтобы получилось внятно, произнес он.

Что-то этот ответ смутно напомнил Листровому. Он даже головой затряс — но не вытряс ничего, кроме дополнительного раздражения. Слишком глубоко утонуло то, что он тщился вспомнить, под ссохшейся слоенкой обыденных, деловитых, суетливых мыслей и впечатлений. Из институтского курса, нет? Какой-то знаменитый судебный прецедент... Вроде вот так же вот кто-то кого-то допрашивает, а тот то-

же — либо молчит в тряпочку, либо: как ты сам сказал, так и есть... Нет, не вспомнить.

Черт с ним.

— Откуда вы ей звонили, в таком случае?

Молчание.

— Не могли бы вы рассказать, что произошло вчера вечером на квартире, где вы были задержаны?

Подозреваемый молчал и смотрел щелками глаз Листровому прямо в глаза. Листровой попытался выдержать взгляд, но не смог.

— Так, — сказал он, старательно суровея голосом. — Когда вы в последний раз видели Валерия Вербицкого?

Симагин молчал.

Листровой вскинул глаза и тут же опустил, снова напоровшись на взгляд Симагина.

— Послушайте, — сдерживаясь, заговорил Листровой. — Я не уверен в вашей виновности, несмотря на очевидность многих улик. Но только вы можете прояснить ситуацию и мне помочь. В каких отношениях вы были с потерпевшей?

Симагин молчал. Листровой снова начал закипать всерьез.

— Откуда у вас этот бандитский нож? Кто его дал вам?

Молчание

— В котором часу, — вот уж неожиданно выскочил классический оборот, навеянный на Листрового женщиной Асей, — вы пришли к вашей ученице?

Симагин молчал. Увесистая капля крови скатилась наконец с его губы, прочертила подбородок и повисла, не в силах оторваться. Стала подсыхать. Симагин даже не пытался ее стереть.

— Она сама? — попытавшись разыграть лицом и голосом мужское понимание, спросил Листровой. — Она спровоцировала вас сама?

Симагин молчал и смотрел не мигая. В его глазах отражалось бьющее в окно предвечернее солнце.

По-настоящему Листровому закипеть так и не удалось. Вместо ярости он ощутил вдруг безмерную, растворяющую все мышцы и кости усталость.

— Хорошо, — сказал он. — Есть ли у вас жалобы?

— Нет, — внятно ответил Симагин.

Это только и смог зафиксировать Листровой в протоколе. На вопросы подозреваемый отвечать отказался, жалоб не имеет.

— Прочтите и распишитесь, — угрюмо сказал он, придвигая жалкий листок к Симагину.

Оставшись один, Листровой угрюмо подпер голову ладонями и с минуту сидел, уже не пытаясь ничего выдумать. Он просто не знал, что выдумывать. И не знал, что делать.

Вернее, знал. Но он знал также, что делать этого — нельзя. Никак нельзя. Немыслимо. Невозможно.

Затрезвонил телефон. Листровой сорвал трубку.

— Листровой! — рявкнул он. Из трубки забубнили, и буквально через полминуты лицо Листрового вытянулось, а потом — сморщилось, словно он разжевал лимон.

Подполковник Бероев запер сейф и уже шагнул было к двери, направляясь в буфет пообедать — хотя какой там обед, перекусить просто, — как вдруг дверь открылась сама, и в проем засунулась улыбающаяся физиономия коллеги из кабинета напротив. Фамилия коллеги была Васнецов, и стоило только Бероеву ее услышать или даже просто мысленно произнести, как сразу мерещились ему сказочно-сладкие, из иных времен и иной жизни, репродукции в «Родной речи», лежащей на не по росту второклашки высокой и большой парте. Иван Царевич на Сером Волке, три богатыря, витязь на распутье, Снегурочки и Аленушки всевозможные... Но наш Васнецов был покруче того. Снегурочки и Аленушки к нему сами ходили — живьем, стадами — и аккуратно, обстоятельно рапортовали устно и письменно, что, как, когда и с какими интонациями произносили интимно ими обслуживаемые в гостиницах интуристы, с кем они, сердешные, встречались, что ели, что пили и чуть ли не какой был у них стул.

— Денис, Денис! — с улыбкой сказал майор Васнецов. — Тебе сюрприз!

— Что такое? — остановился Бероев. По совести сказать, он терпеть не мог васнецовской бесцеремонности. Хоть бы постучался, художник хренов!

— Помнишь такую фамилию — Симагин? Андрей Андреевич?

— Андрей Симагин? Помню... Неудавшийся гений из вайсбродовской лаборатории.

— Во. То-то я смотрю — знакомо звучит...

— А что это ты вдруг? Дело давнее. От лаборатории одно, похоже, название осталось, результат нулевой...

— А вот глянь. Как там у Экзюпери? — Васнецов слыл интеллигентом и старался поддерживать этот имидж в глазах коллег, хотя на черта ему это надо было, не смог бы и сам ответить. Видимо, привык пускать Аленушкам пыль в глаза, и даже когда Аленушки его не слышали, уже не мог остановиться. — Встал поутру, умылся, привел себя в порядок — и сразу приведи в порядок свою планету. Вот и я: проснусь, приду, сяду за стол — и обязательно требую сводку происшествий по городу за истекшие сутки. Трачу каких-то полчаса, а иногда встречаются любопытные материальчики к размышлению. Вот и нынче... — И Васнецов протянул Бероеву обширную распечатку, а потом, для вящей понятности, провел ногтем, полным так называемых «подарков» — белых пятнышек, якобы авитаминозных, — по надлежащей строке.

Бероев прочитал, и у него волосы дыбом встали.

— Ни фига себе, — потрясенно сказал он.

— Листья дуба, — улыбаясь, сказал довольный собой Васнецов, — падают с ясеня. Ни фига себе, ни фига себе...

— Это точно, — проговорил Бероев, повторно вчитываясь в скупые фразы сообщения — одного из многих и многих. — Дуба с ясеня... Ну, спасибо. Удружил.

— Рад стараться, господин подштандартенфюрер.

— Тогда уж унтер...

— Точно. Как ты быстро соображаешь!

— Ни черта я не соображаю. Чтобы этот теленок учинил двойное убийство...

— Теленок-то теленок, а дятла твоего чуть не перевербовал, ты сам рассказывал.

— Да, было что-то... А! Он ему отбитые в армии почки пообещал вылечить посредством успешного завершения работ. Можно понять.

— Вылечил?

— Мабуть, и вылечил бы, да воз и ныне там... Наоборот, лекарь с воза давно спрыгнул... Я уж его и потерял, признаться.

— А он обиделся и решил о себе напомнить.

— Похоже на то. Может, конечно, это действительно чистая уголовка, но проверить надо. Прости-прощай мой бутерброд!

— Хочешь, я тебе прихвачу? С икрой, с карбонатом?

— И с икрой, и с карбонатом... Спасибо, живописец.

— Не за что. Любуйся на здоровье.

Васнецов ушел, оставив распечатку — «Мне уже не надо, я все просмотрел», — а Бероев вернулся за стол и принялся почти без запинки нащелкивать на клавиатуре — клавке, как все они теперь с гордой небрежностью говорили, постепенно начиная ощущать себя продвинутыми пользователями, — нужные ключи. И одновременно роясь в памяти.

Да, с этой лабораторией он имел в свое время немало головной боли. Курируя весь институт, он попервоначалу на вайсбродовских мечтателей и внимание-то не очень обращал, в институте занимались проблемками, казалось бы, и более серьезными. Во всяком случае, более практическими. А тут биоспектралистика какая-то, волновая диагностика, борьба с биологическими последствиями радиозашумления среды... Если бы не Вадик Кашинский, Бероев, возможно, и не обратил бы внимания на этого Симагина, который ни карьеры не делал, ни от овощебаз не уклонялся, штаны просиживал, как ненормальный, — словом, был самой, пожалуй, незаметной фигурой в коллективе. Вайсброд — руководитель и зачинатель, ученый с мировым именем, старый еврей твердокаменной советской выпечки, хлебом его не корми, дай только послужить Родине; естественно, все время за ним глаз да глаз. Карамышев — серьезный работник, талант, очевидный кандидат на место Вайсброда, когда тот сойдет с круга. Конечно, под неусыпным... Юная красотка Вера Автандиловна. Чрезвычайно общительная и обаятельная, попробовали было ее даже к делу приспособить, но на контакт не пошла... родственники в Грузии, а уже к концу перестройки, когда грузины принялись бухтеть о независимости, этот фактор, прежде совершенно не значимый, стал

обретать вес; Бероеву ли не знать! Под колпаком красотка... Технарь Володя, золотые руки, сын все время болен, а лекарства дороги — мало ли, что он там из лабораторного имущества намастерит своими золотыми руками и загонит невесть кому, чтобы на лекарства хватало... значит, иди, Бероев, и смотри. В оба. Ну, и все остальные — тоже с каким-нибудь настораживающим изъянчиком. А Симагин — что... ученик Вайсброда, преданная собачонка при учителе, бегает, суетится, высунув язык. Служи! Служит...

И вдруг — стремглав! Ни с того ни с сего! Оказывается, Симагин этот — уже не собачонка при учителе, а его правая рука, фонтан идей, скромный гений, и вокруг него все вертится. За какой-то год! Конечно, пришлось его как следует попросвечивать. И, что самое забавное, он в долгу не остался и на целых семь, а то и восемь месяцев совершенно нейтрализовал абсолютно преданного и даже со вкусом, с удовольствием, не за страх, а за радость обо всех сообщавшего все гадости и подозрительности Вадима Кашинского. Как он это ухитрился — Кашинский поведал лишь годом позже, да и то с той поры все его доклады, рапорты, рассказы и байки обрели какую-то невнятность; и невнятность эту не удалось изжить, даже когда Вайсброд в сентябре девяносто первого сошел-таки с круга, ляпнулся-таки со вторым инфарктом, — и не без активной помощи Бероева именно Кашинского, а не какого-нибудь Карамышева или Симагина, удалось провести через дирекцию института в завлабы... Как потом сдержанно охарактеризовал Кашинский причины своей попытки сменить хозяина и вместо бероевской задницы начать лизать симагинскую: «Я ему поверил». — «А почему же опять разуверился?» — издевательски спросил тогда Бероев. Кашинский сумеречно глянул на него, тогда еще майора, из-под реденьких бровишек и ответил глухо: «Смеяться будете... но мне плевать. Жена ему рога наставила с его же приятелем. Так говорят. Все знали, с кем, только он не знал. И унижался, бегал за ней... как пальцем деланный. Такой человек ничего не сможет».

Чутье стукача не обмануло. Весь фонтан идей кончился пшиком; весь энтузиазм, длившийся года три, если не четыре, сошел на нет. Сенсационные намеки Кашинского о том,

что Симагин надеется разработать методику, которая окажется чуть ли не заявкой на создание биологического, или, лучше сказать, биофизического, оружия, не оправдались ни в чем. В ту пору много говорили о психотронике, уж так ее все жаждали... Как в хрущевское время, помнится, бредили термоядом; казалось, год-два — и в дамки! Ан нет... И тут — ан нет аналогичное.

После того как поснимали и пересажали перестройщиков и демократов, вконец расхлябавшееся финансирование института удалось немного улучшить, но и это не помогло. Вайсброд, калека, доживал дни свои, ничем, кроме таблеток, не интересуясь; Симагин уволился, потом Володя перешел в какую-то полузакрытую фирму при Гатчинском горкоме, заколачивал там от души, втрое против прежнего, и каждый выходной, как и положено золоторукому советскому работяге, надирался до посинения; лаборатория, хоть и влачила еще существование, не привлекала уже ни малейшего внимания курирующих организаций, разве только самое формальное. Конечно, сверхоружие стране бы сейчас очень не помешало — как, собственно, и всегда, — да только никогда его не оказывается почему-то, а денег и на обыкновенные пули не хватает. Порядка ради Бероев не выпускал Симагина из поля зрения еще года полтора, но убедился, что фонтан идей напрочь иссяк, неудавшийся гений потихоньку тунеядствует, зарабатывая на жизнь репетиторством, высокопоставленные родители абитуриентствующих балбесов его ценят, а сам он живет как трава, день да ночь — сутки прочь... и плюнул на него.

А он — вон что отчебучил. Подоспели подробности. И были они настолько жуткими, что Бероев даже как-то поежился, не вполне веря дисплею; да не может быть. Тихоня Симагин? Но и отчество, и адрес, и фотоморда, любезно срисованная милицейским сканером с найденного при обыске квартиры симагинского паспорта и теперь предоставленная в распоряжение Бероева в углу экрана, — все совпадало.

С ума он сошел, что ли?

Подробности были жуткими, но совершенно неисчерпывающими: чистая фактография, и вдобавок устаревшая

уже часов на пятнадцать. А еще они были какими-то... Бероев несколько секунд не мог, вернее — не решался подобрать слово, потом решился-таки: какими-то подстроенными. Так лихо ментяры прошли по цепочке за считаные полтора-два часа: и записочка им, да еще такая, понимаешь, тщательная, с именем, с фамилией, с мотивом — прямо-таки Лев Толстой в Ясной Поляне, а не истекающий кровью пьяндыга с беллетристическим уклоном; и график занятий им прямо на столе на видном месте, и труп девчоночки, светлая ей память, еще, можно сказать, ножками подрыгивает... Интуиция? А хотя бы? Но — проще: ни во что хорошее, подумал Бероев, я давно уже не верю. Даже в такое хорошее. Если тебе кажется, что тебе не везет, значит, у тебя все в порядке. Но вот если вдруг показалось, что тебе везет, значит, кто-то водит тебя за нос и куда-то собирается за этот нос привести и сунуть им в какое-нибудь дерьмо. Если следствию с самого начала такая пруха — грош цена этому следствию.

Бероев посмотрел на часы. Начало третьего, менты сейчас землю роют, вероятно. В конце дня надо их встряхнуть и выяснить в подробностях, что на самом деле произошло и что они за сутки следствия наковырять успели. А пока... Ах, Симагин, Симагин, как ты меня подвел.

Или — тебя подвели... под монастырь? Зачем? Кто это у нас такой ушлый завелся в городе? Вспоротым писателям посмертные записки подбрасывает — написанные, заметьте, собственным же писательским почерком, хотя и несколько искаженным по вполне уважительной причине: агония ж у меня, начальник, оттого и чистописание хромает! — не оставляя при этом ни малейших отпечатков, кроме как отпечатки самого же писателя... А нож? Ой, не могу, голубь сизокрылый Симагин с бандитской финкой!

Так что же — я идиот, что перестал брать его в расчет? А кто-то, значит, оказался не идиот? И теперь пытается таким образом из Симагина что-то выцедить? Или, по крайней мере, думает, что из него есть что цедить?

Ах, Бероев, Бероев! Таких ошибок у нас не прощают. А ежели проштрафитесь, и начнут вас ковырять... и выяснится ваш тщательно скрываемый грех... не грешок, а по нынешним временам именно Грех, самый, можно сказать,

смертный... то и будет вам смертный... приговор. И страну разваливал не я, и не скрывал я ничего, а просто в ту пору, когда я поступал на работу, никого это не интересовало — но теперь, если вдруг всплывет и вспомнится, что офицер КГБ, курирующий более чем серьезные темы, скрыл — то есть вовремя сам не напомнил руководству, что его надо вышвыривать в отставку, — факт наличия родственников за границей... пусть даже этой границе от роду и пяти лет не исполнилось... М-да. Боль моя, ты покинь меня. Лагерь? Может, и лагерь. Но все равно. В лагере бывший сотрудник органов не живет дольше первой же ночи. Мне ли не знать.

Бероев поднял глаза от дисплея. С левой стены на Бероева хоть и понимающе, но пронзительно и сурово глядел Андропов. Пока не попался, говорил его взгляд, — работай. Попадешься — значит, плохой работник, а значит, и не нужен ты нам. С правой — ничего не выражающими маленькими глазками буравил Генеральный секретарь ЦК КПРСС, первый по-настоящему всенародно избранный президент Российского Советского Союза товарищ Крючков. А сзади — можно было и не оборачиваться, все равно на затылке как бы лежала раскаленная чугунная гиря — уставился, будто прицеливаясь, висящий прямо над головой железный Феликс: прогадил сверхоружие, Бероев?

Ну нет. Так просто я не дамся. Я это дело проясню.

Может, конечно, у страха и впрямь глаза велики и несостоявшийся гений и в самом деле попросту свихнулся? В это я готов поверить. А вот в чудеса вроде записок и графиков... нет.

Бероев потянулся к телефону.

В дверь просунулся — и опять без стука, черт бы его побрал! — Васнецов. Сказал удовлетворенно:

— Ага. Уже на проводе. С кого стружку снимаешь?

Бероев сдержался. Даже положил трубку обратно. Повернулся к двери на своем головокружительно вращающемся кресле и сделал улыбочку.

— Жрать принес?

— Натюрлихь! А также запивку! — И он, войдя уже с полным правом, поставил на бероевский стол пластиковый стаканчик с черным, еще слегка дымящимся кофе, а рядом положил сверток с двумя бутербродами, небрежно скрученный из листа с какой-то уже никому, видимо, не нужной статистической цифирью.

А не приглядывает ли он за мной? — подумал Бероев. Эта мысль уже закрадывалась ему, но он не давал ей ходу. Относил на счет нормальной профессиональной паранойи. А теперь... на воре шапка горит? Но: не пойман — не вор!

Какой вы знаток русских поговорок, гражданин Бероев... Ох, не поможет это вам!

— Спасибо, дружище, — подпустив побольше души в голос, сказал Бероев. — Умничка, что запить принес, я действительно сухомятки не жалую. А звоню я сейчас не кому иному, как заведующему лабораторией сверхслабых взаимодействий Кашинскому Вадиму Батьковичу.

— Думаешь, он продолжает поддерживать отношения с неудавшимся кумиром?

— Да он из одной ненависти к этому кумиру всю жизнь за ним бескорыстно следить должен. Из одной надежды застукать его на чем-нибудь непотребном...

— Психолог... Ладно, не буду мешать. С тебя четыре тридцать семь.

— Кр-рохобор!

Васнецов засмеялся, с удовольствием глядя, как Бероев отсчитывает ему медяки.

— Захочешь отдохнуть, — предложил он, утрамбовывая полученные деньжищи в кошелек, — заходи. Ко мне в шестнадцать такая лебедушка должна с отчетом прийти... из «Прибалтийской».

— Какой ты щедрый.

— При чем тут щедрость! Она же не моя, а казенная... Общенародная собственность!

Васнецов сделал ручкой и удалился.

Кобелиная жизнерадостность Васнецова была неприятна Бероеву, так же как и его бесцеремонность. И, словно чтобы очиститься от гнусного осадка, оставленного гоготом и подмигиванием, в которых, по меркам Бероева, не было ни толики достойной человека веселости, одни лишь похоть и кривлянье, он позвонил прежде не в лабораторию эту распроклятую, а домой.

— Машенька? Привет, родная... Как ты? Голова побаливает? Ну, духота, конечно. Жара такая ударила, в городе трудно... Ты сегодня гуляла? Ну и правильно, ну и не обязательно. Что за прогулки сейчас, по солнцепеку? Я приду, жара спадет — вместе сходим. Нет-нет, в твоем положении нужно гулять, нужно ходить, двигаться, как можно больше двигаться, ты разве забыла? Обязательно выйдем хотя бы на полчаса. Только знаешь, милая, я, наверное, немножко задержусь. Ну, часа на два, не больше... ну, на три. Все равно успеем, а ужинать я не буду, я тут перекушу. Вот сейчас мне друг бутербродиков натащил... Хорошие бутерброды, свежие, не беспокойся. Ты же знаешь, у нас очень приличный буфет. Катька как? Что-о? И сучок обломился? Вот паршивка! Ей парнем надо было родиться! Ну, не буду, не буду, не переживай... Может, сейчас парень объявится... а нет, так тоже хорошо. Я к девочкам, как ты по себе должна помнить, не равнодушен...

Бероев женился поздно, и Машенька была на двенадцать лет младше его. Подружка сына приятеля — жутко и помыслить; у мальчишки девчонку отбил. Приятельство, разумеется, тут же кончилось, и случилось много иных передряг — но ничего нельзя было поделать, любовь. Долго она не могла достать Бероева с тех юношеских лет, когда он, тогда еще студент Политеха, и не помышлявший о работе контрразведчика, и думать не думавший о том, что, не ступив и шагу из родного Питера, скоро окажется в своей же стране тайным полукровкой — а сказал бы ему кто-то умный, только пальцем у виска покрутил бы умному в ответ и пошел, посвистывая, своей дорогой, в библиотеку или в спортзал, — был сначала смертельно, а потом счастливо влюблен в Люську Старовойтову с параллельного потока. Весь четвертый курс они безумствовали на зависть друзьям и подругам; и, наверное, боги тоже позавидовали и приревновали, как это у них, всемогущих сволочей, всегда водится. Всемером — четыре парня и три девчонки — пошли они на каникулах перед пятым курсом на байдарках, и уж так было хорошо, так... сосны, озера, костры, гитары, палатки, свобода; счастье. Пока на очередных порогах — и пороги-то были тьфу, проходили и куда поершистей, но несчастный случай

на то и случай, что случается почти всегда буквально на ровном месте, — не опрокинулась байдарка и не ударило Люську течением о камень. Виском. Насмерть. Наверное, часа полтора, не слыша никого и ничего и только глухо мыча, когда его пытались оттащить, Бероев делал ей искусственное дыхание... ну невозможно было поверить, невозможно, ведь не война, не переполненная автострада, никого злого... ведь по-прежнему лето, и птицы безмятежно звенят в напоенном солнцем лесу, и только что, вот только что Люська хохотала: «Дениска, смотри, как пенится! Ух, нас сейчас и покрутит!» и он ворчал в ответ: «Тихо ты... женщина с веслом...» Тихо. Да. Тише некуда теперь. И та же штормовка на ней, расписанная и разрисованная шариковой ручкой, как водится — ну, пусть насквозь промокшая, эка беда...

Долго боялись, что Бероев сойдет с ума. Но он сдюжил.

И теперь сдюжит. И всегда сдюжит.

Машеньку волновать нельзя, на седьмом месяце девочка...

Успокоенный и размягченный ее щебетом, он позвонил в институт.

— Будьте добры заведующего лабораторией.

И когда Кашинский взял трубку — так и виделось его лицо, погрузневшее, раздобревшее за последние несколько лет, но так и не ставшее ни мужским, ни хотя бы солидным, Бероев сказал:

— Привет, Вадик.

Тот прокудахтал что-то, возмущаясь фамильярностью звонящего. Не узнал. Давно я их, сирых да убогих, не дергал. Зажирели. Успокоились, что ни черта у них не получается, а значит, и взятки с них гладки, и ответственности никакой; даже не надо решать, что сказать, а что скрыть, потому что ни говорить, ни скрывать нечего. Прервав убогого на полуслове — «Возможно, вы не туда попа...» — Бероев проговорил:

— Туда, туда я попа. Не туда попа у нас не быва. — Выждал еще секунду, опять-таки буквально видя, как растерянно шлепает отвратительно мягкими, бесцветными губами жалкий, не настоящий и не имеющий уже ни малейших шансов стать настоящим завлаб, и сказал: — Это Бероев. Надо нам повстречаться, но не сразу, а часика так через два. На

эти часики у меня будет к вам нэбалшое, но атвэтственное паручение, — произнес он, привычно изобразив для непринужденности товарища Саахова, и сразу же струйкой сладкой, будто газировка в стоявшем искусительно близко от школы ларьке, туго полилось из памяти, как в шестом классе они всей мальчишьей стаей бегали смотреть только что покатившуюся по прокату «Кавказскую пленницу» и раз, и два, и три, и хохотали уверенно и безоблачно... но без запинки из той же памяти выскочил в ответ Грех, давя воспоминание о радости, как давит танк голову еще живого, но раненого и потому не способного откатиться человека; и сразу Бероев осекся: не ему, не ему играть с акцентами! — Надо вам вспомнить, когда и при каких обстоятельствах вы встречались в последнее время с вашим бывшим сотрудником Симагиным, — сухо принялся отвешивать он. — Надо вам припомнить, что вы слышали от ваших нынешних сотрудников о нем и о их контактах с ним. Наконец, надо вам самому ненавязчиво, но быстро и точно опросить всех, кто под рукой, — а в дальнейшем и тех, кого сейчас под рукой нет, — кому и что известно, кто и что говорит и думает о нынешней жизни Симагина, о том, почему он ушел, как объяснял неудачи лаборатории и какие у него были, если были, соображения относительно дальнейшей работы по теме. Поняли?

Кашинский некоторое время напряженно и уныло дышал.

— Да, понял. Что-то... что-то случилось?

— Жду вас в семнадцать ноль-ноль в Таврическом садике, на нашем пятачке, — сказал Бероев и положил трубку. Не обмочился бы заведующий лабораторией с перепугу, подумал он с каким-то непонятным злорадством. Впрочем, его проблемы. То-то он сейчас засуетится!

Пригладив обеими руками жесткие черные волосы, красиво тронутые сединой, — Машеньке они так нравятся! но если кто-то начнет присматриваться и призадумываться, они же просто-таки вопиют о Грехе! — Бероев задумчиво оглядел кабинет. И ему показалось, что взгляд Андропова на портрете слегка подобрел.

— ...Понимаете, это, по сути дела, был единственный... единственный разговор. А я — я был пьян. Не в стельку, разумеется, но... довольно-таки нагрузился с досады, что его так... чествовали на конференции. Собственно, если б я не нагрузился, меня бы и не... не боднул черт откровенно высыпать ему все в лицо, и разговора вообще бы... вообще бы не было. Меня же тогда все мелко видели... Как, впрочем, и теперь...

Они расположились на скамеечке в Тавриге, неподалеку от массивной и угловатой, как Эльсинор какой-нибудь, громады кинотеатра «Ленинград». Бероев предпочел бы на солнышке, но Кашинский попросился в тень — сердце у него, то, се... Бероев уступил. Почти все скамейки были заняты, они с трудом нашли, где уединиться. Мирно беседующие и играющие кто в шахматы, кто в карты пенсионеры оккупировали посадочные места и на солнце, и в тени — еще бы: ни с того ни с сего лето настало и уж три дня как длится. Сочно сияла в безоблачной синеве зеленая, напоенная дождями листва. Бегали дети и собаки, гомонили и лаяли. Откуда-то от пруда мирно доносилась ритмичная музыка. Громадная киноафиша обещала в «Ленинграде» с двенадцатого августа двухсерийную эпопею, только что снятую по знаменитой брежневской «Целине». Первым экраном — только здесь! С любимым народом Матвеевым в главной роли, естественно. Как Ульянов у нас теперь пожизненный Жуков, так Матвеев — пожизненный Леонид Ильич. Вот только Сталина достойного после Закариадзе не удается отыскать; все какие-то не величавые получаются... Опять будут былым интернационализмом умиляться до розовых соплей, мельком подумал Бероев, слушая жалкий лепет нездорово одутловатого, совсем уже облысевшего, и не молодого, и не старого человека, сидящего напротив. Будто вся нынешняя резня не из этого интернационализма произросла, а сама собой из-под земли выскочила. Интересно, где они целину снимали? Черта с два их сейчас казахи на свою натуру пустят, ни за какие деньги. Да, впрочем, киношники и сами не поедут — пальба...

— И дело-то в том, что я... я не очень внимательно слушал, и уж подавно не смел спросить ни о чем... Он как сказал мне про почки — я и поверил... Как, впрочем, и вы... вы мне потом обещали, а я и вам поверил...

— Вы неизлечимы, — жестко прервал Бероев. — Телепаетесь еще кое-как — и благодарите Бога за это. По крайней мере, получаете завлабовский оклад, так что вам на лекарства хватает — в отличие от многих и многих. Не в Кремлевку же вас класть. На всех стукачей — Кремлевки не хватит. И перестаньте рыдать, давайте к делу.

Кашинский помолчал, отведя взгляд. Не было у него больше сил смотреть на вольготно развалившегося напротив тяжелого, широкоплечего красавца, на его крупное, сильное лицо, роскошную смолянисто-серебряную шевелюру, мощные загорелые руки, поросшие короткими, частыми черными волосками. От него буквально веяло уверенной, безжалостной силой. Он не поймет, вяло и тоскливо подумал Кашинский в который раз, он никогда не поймет... Но ненавидел он Бероева не за это — просто за то, что тот есть.

— Потом мы с Симагиным не возвращались... не возвращались к этому разговору, — заговорил Кашинский. — Какое-то время мне казалось, что он вот-вот сотворит чудо. То самое чудо... то самое, на которое намекал тогда, в московской гостинице...

— Какое именно чудо? — цепко уточнил Бероев.

— Месяцев через восемь после... после конференции... когда я избавился от симагинского... гипноза, иного слова не подберешь... я все подробно — насколько мог, подробно — вам описывал. По свежим следам. Добавить сейчас я... я вряд ли что-то смогу. У вас же должны храниться все мои отчеты...

— Я их просмотрел, — нетерпеливо сказал Бероев. — Ничего конкретного. Поэзы влюбленного в науку мальчишки. Мы начнем совершенствовать средства, которые присущи человеку неотъемлемо, — процитировал он по памяти. — Мы на пороге создания человека, которого нельзя будет ни обмануть, ни изолировать, ни запугать. Это скачок, сопоставимый лишь с тем, который совершила обезьяна, когда встала и высвободила руки. Чего только потом она не делала этими руками — и мадонн, и клипера, и бомбы... Хотите уметь летать? Мне жаль, что из-за суеты и склок вы лишних десять лет не умеете летать...

— Вы лучше меня... лучше меня все помните... — выговорил Кашинский. У него перехватило горло от тоски по несбывшемуся прекрасному — но показать было нельзя. Потому что для этих — прекрасного нет. Они просто не понимают, что это. Они не любят, не грустят, не страдают. Не стремятся. Они только ловят, допрашивают и унижают. У них всегда все сбывается.

— Тут и помнить нечего, — сказал Бероев. — Что конкретно имелось в виду?

— Он не говорил... не говорил ничего конкретного.

— А может, вы умолчали тогда о конкретном? А, Кашинский? — прищурившись, спросил Бероев; как выстрелил. — Решили и с нами возобновить отношения, и Симагина не подводить. И нашим, и вашим? Ласковый теля двух маток сосет?

Какой вы знаток русских пословиц, гражданин Бероев! Бероев даже осекся на миг, словно эта негромкая страшная фраза звучно ударила по ушам откуда-то из-за куста сирени, сверкающего, словно зеленый фейерверк, в лучах долгожданного солнца.

Надо быть более осторожным при этом подонке. Если начнут его раскручивать на предмет наших с ним бесед, он вполне может припомнить мою непроизвольную любовь к идиомам — и мои бывшие коллеги за милую душу состряпают настораживающий вывод о том, будто бы я намеренно и заблаговременно разыгрывал этакого русака. Он, конечно, сам по себе не смертелен, этот вывод, но как дополнение, как острая приправа — ух как сойдет, мне ли не знать.

— А теперь уже вынуждены держаться тогдашнего варианта, чтобы не всплыла ваша тогдашняя ложь? — взяв себя в руки, докончил Бероев.

Это неуязвимое и беспощадное чудовище может сделать со мной что угодно, с унылой тоской подумал Кашинский. Ничего ему не объяснить, ничего не доказать. Если он вобьет себе в голову, что я соврал, — значит, я соврал.

Он промолчал. У него начали трястись губы.

— Хорошо, — смилостивилось чудовище. Или сделало вид, что смилостивилось. — Давайте попробуем зайти с дру-

гой стороны. В общем контексте тогдашнего энтузиазма, тогдашних разговоров — что могло иметься в виду?

— Почти наверняка стимуляция так называемых латентных точек, которые якобы... якобы открыл Симагин, — стараясь, чтобы хотя бы голос не дрожал, ответил Кашинский. Он уже пожалел, что отказался сесть на солнце. Его бил озноб. — И он же... он же закрыл. То как раз был первый год, когда... когда начали носиться с этими... точками. Старик Эммануил... Вайсброд, то есть...

— Я помню, кто такой Эммануил Борисович, — уронил Бероев.

— Он, и Карамышев тоже, всерьез... всерьез предлагали их назвать симагинскими точками. То-то смеху было бы! — И Кашинский неожиданно даже для самого себя вдруг коротко, с поросячьим привизгом, засмеялся. Это было уже на грани истерики. — Чуть ли не четыре года их искали, время от времени даже... даже находили, пытались воздействовать. Считалось, что в них могут быть... могут быть сосредоточены... некие паранормальные возможности. Потом все... все оказалось плешью.

— Напомните, что это за точки, — потребовал Бероев.

— Ну, мне не очень просто так, в двух... в двух словах... — замялся Кашинский.

— Если уж вы поняли, то я пойму, — жестко сказал Бероев.

Кашинский стерпел и это.

Неторопливо и академично, стараясь хотя бы узкоспециальной терминологией уязвить неуязвимого владыку, он принялся рассказывать, одновременно сам не без ностальгического удовольствия припоминая и произнося в течение нескольких лет казавшиеся неоспоримыми истины, которые на поверку вывернулись таким же мыльным пузырем, как и вся жизнь.

Вполуха слушая слизняка и даже не стараясь вникнуть в детали, Бероев думал: нет, в домашних условиях Симагин этим заниматься не потянул бы. Дома у него такой машины не было и быть не могло. Это ясно. Надо, кстати, поинтересоваться у ментяр вот этим еще: не было ли найдено при обыске квартиры Симагина каких-то приборов, самодельных или ворованных из института, и если да, то потребовать немедленной передачи к нам для осмысления. И бумаги, бумаги все посмотреть. Ну, да ментяры — следующий пункт программы. Сразу отсюда.

И кстати сказать, бумаги и приборы — не только здесь. Он ведь мог решить, что он ух какой хитрый, и что-то оставить и даже припрятать у родителей в деревне, где ж это там... не помню... Надо узнать, когда он в последний раз ездил к ним в отпуск. Под Пермью, вроде... И тут Бероева бросило в жар.

Граница же рядом!!

— Ну хорошо, — сказал он. — А что говорят коллеги?

— Все... все говорят одно и то же, — развел руками Кашинский. — Давным-давно никто не видел и не слышал. Чем занимается теперь Симагин — никто... никто не знает. А дольше всего отношения поддерживал с ним — Карамышев... Карамышев. Но и он уже года три как... потерял бывшего друга из виду. Такое впечатление, будто... будто Симагин нарочито... да, нарочито обрывал все связи.

— Ах вот даже как. Послушайте, Кашинский... — задумчиво произнес Бероев. — Скажите мне простым и ясным русским языком. Я же помню ваши отчеты, в них такие же расплывчатые и трескучие фразы, как во всех лабораторных официальных планах и соцобязательствах. Усиление, повышение, всемерное развитие. Чего конкретно ожидали ваши лучшие умы от стимулирования этих латентных точек?

— Наша тематика в основном была... была медицинской. Соответственно... — Кашинский облизнул губы, и быстрое движение мокро отблескивающего острого кончика по блеклым пересохшим губам на мгновение сделало его не просто отвратительным, а отвратительным невыносимо. Бероева едва не стошнило. — Соответственно и ожидания концентрировались в области диагностики и тера... терапии. Вы, вероятно, недопоняли. Извиняюсь... Локация латентных точек, их развертывание... поиск, так сказать, чуда никогда не были среди официально... официально закрепленных за лабораторией тем. Симагин и Карамышев занимались этим в основном вдвоем, факультативно, посвящая в

свои достижения только... только Вайсброда, да и то не слишком его... утруждая. Старик уже тогда болел.

— Вадик, что вы мне голову морочите? — теряя терпение, спросил Бероев. — Вы же писали, что на повестке дня — резкое увеличение всех возможностей организма. Качественное повышение сопротивляемости микробам, вирусам, радиации, отравляющим веществам и вообще всему на свете. Качественное повышение физических и умственных способностей. Качественное повышение возможностей борьбы со стрессами. Что еще? Нечувствительность к боли... Вы же, в сущности, нам суперменов печь обещали! Мы же засекретили вас, исходя из этих отчетов!

— Я... — дрожащим голосом начал Кашинский, — я... ничего не скрываю. Не скрывал и не скры... скрываю! Но не мог же я... вы вообще сочли бы меня психом, или всех нас — психами... Спрашивайте с Симагина или с Карамышева! Помню, они, думая, что я не слышу, беседовали о... о телекинезе. А вот эта точка у нас наверняка ведает телекинезом! А как вы думаете, Андрей Андреевич, световой барьер нам не помеха? Убежден, что не помеха, Аристарх Львович! Это мне... это пи... писать?

Задыхаясь, он замолчал. Лоб его жирно, болезненно искрился от проступившего пота. Губы тряслись, он опять их облизнул.

— Да, — сказал Бероев, — это написать было очень трудно... Телекинез — такое сложное слово, без орфографического словаря его никак не написать... Идиот! Кто вам ставил задачу оценивать информацию? Кто вам ставил задачу просеивать информацию и сообщать только то, что вы, идиот, считаете возможным, достоверным, достойным упоминания? Я? Пушкин?

Кашинский бессильно растекся по скамейке и размашисто трепетал. Стука его зубов не было слышно лишь оттого, что у него отвисла челюсть. Карамышев, думал Бероев. Если кто-то что-то знает — то Карамышев.

— Я же написал, что он... он хотел научить меня... летать...

— Из вас получился бы замечательный Икар, — процедил Бероев. — Мифологический герой Кашинский. Только, Вадик, не летайте слишком близко к солнцу. Не ровен час, товарищ Гелиос решит, что вы посягаете на его прерогативы.

Мало того, что кагэбэшник все аккуратно согласовал с Вождем, он и перед Листровым извинился с редкой корректностью. Я вас надолго не задержу, товарищ капитан. Я понимаю, уже конец рабочего дня; ну конечно, я и сам спешу домой. Бедные наши домашние, да? Как они нас еще терпят? И голливудская улыбка. Симпатичный кагэбэшник, только киношный слишком. Ну, вот как Тихонов был слишком красив и элегичен для эсэсовца, так этому Бероеву в кино про контрразведку место, а не в самой контрразведке.

Впрочем, его начальству виднее.

Раздражение, вызванное звонком, понемножку улеглось. Надо отдать должное красавцу — умело пригасил. Хотя, в сущности, ситуация не изменилась и осталась совершенно отвратительной: мало того, что и так ни хрена не понять, так еще и эти налетели, как мухи на мед. Или на говно. Как посмотреть. Совершенно невозможно догадаться, чем их привлек Симагин, но уж привлек так привлек, если в первый же день узнали, что он натворил, и уже к вечеру их представитель — тут как тут; и, судя по сдержанному и столь же тактичному, сколь и властному поведению — в немалых чинах представитель, в немалых... Я ваша тетя, буду у вас жить. А ведь будет, думал Листровой, обязательно будет тут и дневать, и ночевать, стоять над душой, ни хрена работать не даст.

Ага, вот еще выдумал. Повторный обыск. Ну, понятно. Мы, разумеется, бумажек научных там не искали; если и были какие бумажки или приборчики, внимания не обратили бы ребята на них ни за что, не до приборов им было; нам все больше подавай острые, равно как и тупые тяжелые, предметы... рубящие и колющие. А не показалось ли нам, что кто-то до нас эту квартиру уже вскрывал? Нет, не показалось, товарищ... извините, не знаю вашего звания... товарищ Бероев, хорошо. Прямо сейчас? А я-то вам зачем? Ах наша пломба на двери... надо же, какие они предупредительные нынче. Не иначе, этот Симагин у них давно на карандаше. А я-то, дурак, ломлюсь в открытую дверь. Шпион, что ли? Или, наоборот, великий гений, которого не уберегли?

Но ни на то, ни на другое не похоже. А похоже, что человека подставили. Да так ловко подставили, что не подкопаешься. Да и не вполне подставили — все ж таки он был, причем один-одинешенек был в квартире несчастной девочки Кирочки, хотя не он насиловал, не он, зуб даю!.. Но и кроме него, больше некому. И кроме него, там никого больше не было! Но не он! Ну как это, блин, кагэбэшнику объяснить?

А вот так, простыми словами. Спокойно слушает, без усмешек, без недоверия; даже наоборот, с каким-то странным ухватистым пониманием, и даже уголок рта этак улыбочкой норовит стать то и дело: дескать, да-да, мы и ожидали чего-то похожего. Ох, знает он что-то, этот товарищ без звания; знает что-то такое, что дает ему возможность видеть всю ситуацию сверху, а не односторонне в профиль, как я. Честное слово, Вождю было бы объяснять куда сложнее и натужнее... ну да, впрочем, именно от Вождя зависит, по шапке мне дадут, или в покое оставят, или наградят... как говорил в «Бриллиантовой руке» Никулин — посмертно. А впрочем, вот за это как раз поручиться нельзя — может, именно от товарища без звания куда больше все это теперь зависит. И это плохо. Очень плохо. Бандитов я худо-бедно понимаю, Вождя худо-бедно тоже понимаю, даже офонаревшего папашу из обкома понимаю вполне... а что на уме у этих борцов с диссидой, корчевателей врагов народа, заклинателей скрытых инородцев... не могу представить. Опасно, Листровой, опасно!

А Симагину-то моему как опасно... Вдесятеро опаснее.

Вот этого уж никак не расскажешь, никак не объяснишь — ни Вождю, ни товарищу без звания... даже самому себе объяснить невозможно. А ведь с самим собой не словами разговариваешь, а только ощущениями — отдал себе отчет в том, что то или это почувствовал, или почувствовал и не заметил, или заметил что-то, а что именно — и сам не в силах уразуметь... Ну а когда требуется все это переложить на общеупотребительные слова, да еще желательно из протокольного словарного запаса — все, кранты. Невозможно. Разговоры эти два. С женщиной Асей и в особенности с этим... у которого глаза. Информации, казалось бы, ноль. А ощущений — три вагона с каждого. И чем дальше, тем

сильнее, тем накатистее эти ощущения начинают ощущаться, будто фотография проявляется, проявляется... Только вот что на фотографии — словами не выразишь.

Товарищ Бероев без звания пролистал пополневшую с утра папочку и раз, и два, и три. Задумался. Листровой предложил ему закурить — отказался; не курит. Положительный какой. И не пьет, конечно. И семьянин, наверное, отменный. И бабам, естественно, нравится. А вот мне — нет. И не потому, что он лично мне не нравится; похоже, мог бы мужик человеком стать. Но только знаю я наверняка, что от этих — добра не жди. И уж конечно, не ждать теперь добра ни взбалмошной этой Асе, ни Симагину моему. Все. Кранты их сложным переживаниям, их утонченным чувствам, их скачкам и вывертам, не понятным ни одному нормальному человеку, но, наверное, невероятно дорогим для них и единственно для них возможным. Эти им не дадут. Эти их живо приведут к единому знаменателю.

— Ну, и как же вы, Павел Дементьевич, объясняете подобные несообразности? — спросил товарищ Бероев без звания, оторвавшись наконец от своих глубоких размышлений, уже показавшихся Листровому нескончаемыми или, по крайней мере, имеющими все шансы продлиться до утра. Ох и устроят мне дома головомойку, в сотый раз подумал Листровой — уже по инерции, не сразу в силах перестроиться на разговор после долгого, томительного ожидания в тишине. Да. Вот как я объясняю подобные несообразности: ох и устроят мне дома головомойку.

— Ну, товарищ Бероев, когда вы здесь, мне объяснять ничего уже не приходится, — скромно сказал он. — Мое дело собрать... э-э... руду фактов. А уж выплавлять из нее чугун выводов — дело ваше. С рудой вы ознакомились.

— Потрясающе, — проговорил Бероев. — Одевшись в халат терпения и подпоясавшись поясом внимания... Просто Омар Хайям какой-то, Саади, а не капитан милиции. Ваше ведомство, коллега, использует свои кадры с поразительно низким капэдэ. Тем не менее, досточтимый Листровой-баши, — и улыбнулся такой лучезарной улыбкой, что Листровой даже при желании не смог бы обидеться, а только невольно улыбнулся в ответ, — чья мудрость может быть упо-

доблена лишь его же проницательности, а та, в свою очередь, — лишь изумруду на рукоятке парадной сабли нашего эмира, да продлятся вечно его годы... Как раз в подобных ситуациях скорее мне пристало смиренно внимать вашим словам, ибо они навеяны опытом. Я же не сыскарь, Павел Дементьевич.

— Знаете, товарищ Бероев, — неожиданно для себя признался Листровой; как ни крути, а он ощущал к кагэбэшнику расположение, хотя и отдавал себе отчет, что вызывать расположение, даже симпатию — вероятно, один из профессиональных навыков сидящего напротив него человека и что расположение это втридорога может потом ему, Листровому, обойтись, — я часа два назад, не пытаясь никаких даже выводов формулировать, попробовал касательно этого дела при своем начальстве произнести слово «несообразности». Ну, если быть точным, я сказал «нестыковки». Меня чуть на месте не расстреляли. Так что я лучше помолчу.

— Павел Дементьевич, — серьезно сказал Бероев, — у меня и оружия-то при себе нет.

Листровой молчал. Бероев подождал немного, потом спросил:

— Вы составите мне компанию?

— Какую?

— Надо все-таки наведаться на квартиру к Симагину.

— Обязательно сегодня?

— Обязательно, Павел Дементьевич.

Листровой почесал щеку.

— А ордер?

Товарищ Бероев без звания картинно изумился, даже вытаращил свои красивые, романтического раскроя зенки.

— А у вас ночью был ордер?

— У нас срочность была, — хмыкнул Листровой.

— А кто вам сказал, что у меня ее нет? Кто сказал — пусть бросит в меня камень.

Листровой опять почесал щеку. Резонно...

— Вы, конечно, на машине?

— Конечно.

— Ну, поехали. Я, признаться, сам еще и не был там, только по бумажкам...

— Странные бумажки, — начал раскручивать его Бероев, когда они уже вышли из кабинета и потопали, обгоняя расходящихся по домам сотрудников, по коридорам и лестницам управления. — И главное, чем дальше, тем страннее, правда, Павел Дементьевич?

— Я молчу, — сказал Листровой.

— Да-да. Я говорю. Три вопиющих противоречия, не считая более мелких. Я просто-таки поражен вашим самообладанием, говорю совершенно серьезно. Вы, наверное, об эти противоречия еще с утра или, по крайней мере, с середины дня лбом бьетесь — и еще не спятили. Я бы, наверное, спятил... особенно если б меня начальство подгоняло, как вас, и орало: папа приехал! папа приехал!

Листровой недоверчиво покосился на товарища Бероева. Можно было подумать, он под столом в кабинете Листрового весь день сидел... без звания. Бероев невозмутимо шагал рядом, глядя вперед. Кабинет мой на прослушке, что ли?! Или просто у аса интуиция такая многопудовая?

— Первое: Симагин не мог находиться одновременно и в квартире, где было совершено убийство, и на другом конце города, где он якобы зарезал писателя. Но если бы не предсмертная записка писателя, вы никогда бы не соотнесли убийство и Симагина, значит, не взломали бы квартиру Симагина, не нашли бы расписания уроков и не поспешили на квартиру, где было совершено убийство. Второе: факт насилия, учиненного в этой квартире над девочкой, очевиден, и практически столь же очевидно то, что Симагин его не совершал. Но совершить его, кроме Симагина, было некому. И третье: Симагин никак не мог из изолятора звонить своей женщине. Но, очевидно, он ей звонил, поскольку, кроме него, никто — ведь не ваши же следователи? — не мог предупредить ее о том, что к ней придут, что надо отвечать честно и так далее. Верно?

— Верно, — вынужден был ответить Листровой. Как ухватывает, скотина, с невольным восхищением подумал он, как формулирует! Песня!

Они уселись на заднее сиденье «Волги», друг с другом рядышком, аки голубки. Листровой успел поймать изумленные взгляды двух своих сослуживцев, как раз выходящих из

подъезда. Небось решили, что — все, отпрыгался Листровой, подумал Листровой с внутренней ухмылкой. А вот хрен вам. На задание еду. Государственной важности.

— К площади Мужества, Коля... — сказал Бероев своему шоферу.

— Яволь, — ответил тот, и «Волга» покатила.

— Какие же можно сделать отсюда выводы? Выводов можно сделать три. По крайней мере. Таких расплывчатых кустовых выводов, каждый из которых может сам дать, в свою очередь, несколько версий... Во-первых, Симагиных несколько. Функционирует двойник или двойники, и тот Симагин, который настоящий Симагин, который сейчас зализывает травмы, полученные при сопротивлении задержанию, — и Бероев испытующе огрел Листрового неожиданно тяжелым взглядом; тот едва сумел сохранить отсутствующий вид, — это самый незначительный из Симагиных, сданный своими старшими коллегами вам в качестве козла отпущения. Второй вывод: Симагина кто-то самым тщательным образом подставил, навел вас на него. Но чтобы так филигранно и, я бы сказал, необъяснимо с научной точки зрения организовать подобную подставу, организатор должен быть поистине дьяволом во плоти. И третье...

Он замолчал, с несколько деланым вниманием разглядывая пробку при въезде на Литейный мост. Внимательно слушавший Листровой с досадой покосился на Бероева. До первых двух он и сам уже додумался и отступил, поняв всю неподъемность отработки этих версий находящимися в его распоряжении средствами, да еще в пожарном порядке; третьей версии у него не родилось.

— И третье? — наконец не выдержал он, когда «Волга» уже катила мимо Военно-медицинской.

— Третье... — задумчиво проговорил Бероев. — Это то, что преступник Симагин сам является дьяволом во плоти. И его возможности неизвестно на сколько превышают возможности обычного человека.

Листровой разочарованно расслабился и отвернулся к окошку. «Волга» с трудом продиралась сквозь потоки машин, юлящие по узеньким проспектам сикось-накось, как бог на душу положит. То на тротуар приходилось выезжать,

распугивая и доводя до окончательного остервенения людей, устало мечущихся по магазинам после успешного завершения рабочего дня, то скакать по рельсам, безбожно подрезая и так еле плетущиеся, дергающиеся на метр-два вперед и снова тормозящие переполненные гробы трамваев... Только ходили вверх-вниз широкие лопатки молчаливого шофера Коли, обтянутые тугой, пропотевшей под мышками футболкой. Улицы города на Неве, колыбели, блин, трех революций, были рассчитаны на вдесятеро меньший объем перевозок.

Третья версия оказалась бредом. Не бывает таких возможностей, чтобы вылезти с пятого этажа по гладкой стене никем не замеченным, сбегать за полгорода убить осквернителя и порушителя семейного очага, потом по стене же вернуться, убить девочку и, мирно помывшись и отутюжившись, дождаться милиции. Специально, чтоб по морде получить?

Минуту спустя Листровой заколебался. Уж что-что, а бредить офицер КГБ не стал бы. Просто он что-то знает — то, чего не знает Листровой. И от того, каким должно быть это знание — чтобы товарищ Бероев мог ляпнуть такое, — Листрового пробрала дрожь.

Он покосился на Бероева. Бероев сделал вид, что не почувствовал взгляда, смотрел вперед. А ведь он склоняется к третьей версии, обжигающе накатило на Листрового понимание. Не знаю, почему и зачем, ничего не знаю и ведать не ведаю вовсе, что там за очередного дьявола они опять выдумали в своих застенках... но явно товарищ Бероев без звания намерен выстругать из Симагина злодея, наделенного какими-то там фантастическими способностями. Он и на квартиру к нему для этого едет сейчас. Вот это да. Это во что же я влип? Это куда же меня вмазали? Это что же, я сейчас косвенным... да и не очень-то косвенным! — образом способствую тому, что из нормального придурошного интеллигентишки будут делать, скажем, супершпиона?

А из бабы его — кого сделают? Ох, женщина Ася!.. Это тебе не в свой необозримый духовный мир вслушиваться: ожила совсем или еще не совсем? еще люблю или уже не люблю?

— Павел Дементьевич, — просительно сказал Бероев, — расскажите мне, если можно и если есть что, о своих личных, неформальных впечатлениях о Симагине и этой его... подруге. То, что в протокол не помещается.

Ну как в воду глядел. Подруга-то зачем тебе, товарищ без звания?

— А вы сами не хотите с ними встретиться?

— С женщиной не хочу. Может быть, захочу потом, но сейчас не хочу. А с Симагиным хочу, но чуть позже. Дело в том, что он меня знает или, по крайней мере, вспомнит. А это мне пока не нужно.

Ах вот какие пироги с котятами. Коллеги, что ли? В разведшколе ЦРУ, понимаете ли, вместе обучались, а потом судьба развела.

— Вряд ли я смогу многое добавить к тому, что вы, вероятно, и так прочли между строк протокола, товарищ Бероев, — сказал он с невиданным для себя красноречием. Бероев даже покосился чуть иронично: опять Саади... — Обыкновенные блаженные.

— И Симагин? — цепко спросил Бероев.

— В меньшей степени... — пробурчал Листровой. Он лихорадочно пытался продумать, как разговаривать с товарищем без звания дальше. Сказать ли, что он на самом деле думает? Или крутиться, как угорь на сковородке? От решения, похоже, зависело многое. Но ему не хватало духу. Было страшно выбрать первое — и было противно выбрать второе.

— По-моему, вы никак не можете решить, — сказал Бероев, — в чем именно соврать мне и насколько. — Бероев помолчал, потом ослепительно улыбнулся: — Можете быть во мне уверены, Павел Дементьевич, я ничего не передам вашему начальству.

— С меня и вашего начальства за глаза хватит... — пробурчал Листровой. — Я же чувствую, что у вас против Симагина во-от такой зуб.

— А у вас — нет? — Товарищ без звания опять удивился с максимально возможной картинностью. — Человек совершил два убийства, изнасиловал милую, славную девочку — и у вас нет на него зуба?

— Нет, — отрезал Листровой.

— Очень интересно, — проговорил Бероев. И вдруг по памяти процитировал Листровому его же слова из составленной им по памяти записи разговора с Асей: — Вы, как я погляжу, чрезвычайно высокого мнения об этом Симагине.

Листровой опять с уважением посмотрел кагэбэшнику в лицо. Вот это подготовочка... Фотопамять.

— Чрезвычайно высокого, — процитировал он Асю в ответ.

— Откуда же оно взялось, Павел Дементьевич?

— А хрен его знает, — сказал Листровой честно. — На самом-то деле я и двух слов с подозреваемым не сказал. А он мне — и одного не ответил. Вы же читали.

— Жалоб нет, — процитировал Бероев с такой интонацией, словно сказал: да, читал. — Но впечатление-то было?

— Было.

— Какое?

Листровой помедлил. «Волга» проскочила мимо бассейна и нырнула под мост. И вот уже Лесной.

— Такое, — сухо и очень официально, будто выступал свидетелем на суде, заявил Листровой, — что никого он не убивал и никого не насиловал.

— Ах вот даже как, — после паузы сказал Бероев задумчиво.

— Да уж вот так, — вызывающе ответил Листровой.

— Вы почувствовали к нему необъяснимое, но мощное и мгновенное расположение, — подсказал Бероев. — Да?

— Нет.

— Будто бы?

— Будто не будто, а... не преступник он, и все.

Бероев тихо посвистел сквозь зубы. Опять мост. Кушелевка. Кое-как залатанный завод с вертолетом во дворе... впрочем, нет, вертолета давно нету — чуть под землю не ушел во время прорыва метро, хвост отломился...

— Павел Дементьевич, а вы когда-нибудь подвергались гипнозу?

Приехали, ёхана-бабай! Так вот он к чему клонил! Дьявола во плоти ему подавай, как же я забыл-то! Это, значит, Симагин своими заплывшими от фингалов глазами меня за-

гипнотизировал, и мне теперь кажется, будто он не похож на убийцу! Ну, удумали, госбезопасность хренова!

Все расположение к товарищу без звания, еще державшееся кое-как на протяжении разговора, испарилось мигом.

— Вы из меня идиота-то не делайте, — сухо сказал Листровой. — На одном гипнозе на пятый этаж по гладкой стене с набережной не запрыгнешь.

Наверное, это самый храбрый мой поступок в жизни, подумал он. Этак вот запросто сказать ему: не делайте из меня идиота. На второй такой меня сегодня уже не хватит. Доломает он меня, ох доломает...

— Вы меня не так поняли, — закрутился товарищ без звания. — Конечно, гипноз этого не объясняет... но...

Листрового, однако, хватило и на второй. Не слушая, он перебил Бероева, обратясь не к нему, а прямо к шоферу — как свой к своему, когда начальство в нетях:

— Коля, сейчас налево и вон по Тореза метров триста, а потом между домами направо во двор. Мне план ребята чертили... — поясняюще снизошел он до Бероева.

Тот вник и больше с вопросами не приставал. Нет, мужик все ж таки мог бы стать человеком, если бы... если бы... Листровой не знал что. Вернее, знал, но не решался сформулировать это знание даже мысленно. Впрочем, с ним такое сегодня уже было.

Листровой не знал, что самый храбрый поступок в этой жизни он совершит завтра.

Обиталище преступника с фантастическими способностями было типичной холостяцкой квартиркой, а изначально — трехкомнатным блаженством шестидесятников: одна, на самом-то деле, приземистая, расплющенная комнатища, перегороженная трясучими ширмочками стен; Листровой знал такие дворцы — ни вздохнуть, что называется, ни пернуть. Да, ребята навели тут вчера порядок, подумал Листровой, критически и с каким-то смутным негодованием оглядывая бардак. Впрочем, могло быть гораздо хуже, у ребят просто времени не было развернуться как следует — буквально минут через семь они наткнулись на расписание и рванули туда, кое-как вправив на место и запломбировав дверь. Аккуратно тут было, вылизано — пока мы не ворвались; и книг-то, книг... Господи, названия такие, что не понять ни слова. Стол письменный занял половину самой большой комнаты... как звучит — самая большая комната! Если всю мебель вынести, то в длину можно будет сделать шагов пять. Вот на нем, на этом-то столе, вероятно, и лежала эта злополучная бумажка. Если бы не она, Симагин спокойнехонько ушел бы от девочки Кирочки, она бы спокойненько остыла к маминому приходу, и имели бы мы еще один обыкновенный безнадежный «глухарь», а не нынешнее безобразие... А вот здесь — явно комната ребенка. Сына, судя по вывернутому, похоже, из-под дивана планетоходику, по книжкам... Странно — про сына ничего не... Ёхана-бабай! Ася же говорила про сына, пропавшего в армии! А тут, выходит, музей тех лет, когда они еще вместе жили... ну, чокнутый, ей-ей, чокнутый. Фетишист. И картинка какая-то, карандашом рисованная, сорвана со стены, на полу валяется... Кто-то, разумеется, уже успел встать, вон каблук отпечатался — иначе уж мы не умеем; на копейку сделаем, на рупь насрем... Нет, не хочу я ничего осматривать, ничего выдвигать и выворачивать, и переворачивать, и вытряхивать... Пусть вон товарищ без звания рыщет, если ему так приспичило, — а я усядусь напротив, кину ногу на ногу, будто миллионер на собственной яхте, и как бы ни при чем. А ведь приспичило ему, ох приспичило! Шифровки надеется найти, что ли? Рацию бундесверовского производства? Здрасьте, дети, я ваш папа, я работаю в гестапо...

Бероев понял, что Листровой как союзник потерян. Он тщательно и аккуратно просматривал содержимое письменного стола, стараясь ничего не пропускать и одновременно очень стараясь не терять времени, потому что Машенька уже могла начать беспокоиться, а здесь, в квартире Симагина, даже телефона не было. Следовало позвонить из машины, конечно, но почему-то он постеснялся при Листровом; а теперь уже поздно. Никак он не мог предположить, что в квартире ученого, чуть было не приобретшего мировое имя — да приобретшего, конечно, приобретшего, только быстро ушедшего в тень и потому не отложившегося в долгосрочной памяти зарубежных коллег; а вот в долгосрочной памяти зарубежных разведок наверняка отложившегося, — никак Бе-

роев не ожидал, что в его квартире не окажется телефона. Ну, живем... И еще он старался не выпускать хотя бы из бокового зрения славного, симпатичного, но туповатого ментяру — почему все симпатичные люди туповаты, кто мне ответит? А именно такие люди подчас очень легко поддаются психическому воздействию. Другое дело, что факт воздействия не доказан; но эта его искренняя и не имеющая никаких объяснений убежденность в том, что Симагин не убийца и не преступник вовсе... Откуда она? Даже я в этом еще не убежден.

Результат осмотра был странным.

Ничего.

Ровным счетом ничего относящегося к прежней работе. Вообще очень мало бумаг, но если и есть — все с какими-то конспектами по математическому ликбезу, по его урокам, так надо понимать; а то, что хотя бы приблизительно напоминало ему о прежней работе, было, видимо, тщательнейшим образом уничтожено. Или спрятано. Где-то. Где?

А может, уже кем-то изъято? Кем-то, кто Симагина и подставил? Это очень хорошо увязалось бы.

А может, самим Симагиным уже переправлено куда-то? Куда? И значит, тот, кому он переправил, вместо того чтобы переправить и его, решил таким сложным, но вполне надежным образом от него избавиться.

Значит, так. Если Листровой подвергся психическому воздействию, из этого следует, что Симагин и впрямь каким-то образом воздействовал на эти свои латентные точки, воздействовал успешно, и один бог знает теперь, чего можно от него ожидать. В этом случае бумаги уничтожены или спрятаны им самим и не переданы никому. Никто третий не вторгается в ситуацию, факта измены нет. Но зато сам Симагин превращается в абсолютно неизвестную величину, возможности которой и степень опасности которой не поддаются даже приблизительной оценке. Если же на беднягу Листрового просто-напросто подействовало естественное обаяние личности подозреваемого... вот ведь бред!.. тогда бумаги, скорее всего, кем-то изъяты, я отстаю, по крайней мере хода на три, но зато противник у меня пусть и сильнейший, пусть и неизвестный — однако, по крайней мере,

предсказуемый и понятный. Но как разобраться с Листровым?

Пока, похоже, никак.

Показать бы его под каким-нибудь благовидным предлогом нашим психиатрам... протестировать всласть... Ладно, завтра проконсультируюсь у себя.

Рано строить версии, рано. Слишком мало материала. Поехали-ка домой, пора. Пусть Листровой ведет свое расследование, мешать не буду — буду только следить за результатами, и очень пристально. И надо, чтобы Листрового не слишком дергало его начальство. Мужик он въедливый, чувствуется — будет выковыривать истину до последней возможности, а это вполне в моих интересах. Или забрать у них Симагина совсем? Нам, в конце концов, папа несчастной Киры не указ... то есть, конечно, тоже может нервы попортить, но все-таки не так, как Павлу Дементьевичу и его непосредственному начальству. Может быть, имеет смысл. Надо подумать. Ночью подумаю.

— Что ж, поехали, Павел Дементьевич, — сказал Бероев.

Уже на лестнице Листровой не выдержал и, стараясь, чтобы вопрос прозвучал как можно небрежнее, спросил:

— Ну как, нашли что-нибудь?

— Ничего, — с готовностью ответил товарищ без звания. — И это-то, Павел Дементьевич, не нравится мне более всего.

— Почему?

— Ну представьте: вы работали лет десять, работа вам не то что нравилась, вы от нее просто, как говорят, балдели, вы были фанатиком этой работы... И у вас ничего дома от этой работы не осталось. Ни конспектов, ни черновиков, ни вычислений... Не знаю даже... Ничего. Естественно это?

Листровой помедлил, размышляя.

— Так ребята фотографии и письма любимых девчонок в молодости жгут. Если девчонка отвалит.

— Возможно, Павел Дементьевич... — сказал Бероев задумчиво, когда они вынырнули с прохладной сумеречной лестницы и спертый цементный воздух, раскрывшись, превратился в большой и теплый, желтый и золотой от лучей заката. — Вы где живете? Давайте я вас подвезу. А то я и так

много времени у вас отнял... — И Бероев ослепительно улыбнулся Листровому.

Карамышев поставил тяжелый, набитый бумагами «дипломат» у двери и с наслаждением стащил пиджак. От пота Карамышев был мокрый, как мышь. Духота и нервы, и переполненный транспорт. И нервы. И нервы... Сначала в душ. Он раздернул удавку непременного галстука — никогда он не мог понять тех, кто ходит в институт, словно на приусадебном участке чаи гоняет: свитерок, джинсики... шпана шпаной! — и принялся расстегивать рубашку.

— Как самочувствие, Верок? — громко спросил он.

Вера уже выдвигалась из глубины квартиры — едва причесанная, в явственно мятом халате, с уже на века, видимо, приклеившейся унылой миной на лице. А какая красотка была. Трепетная лань... горная серна... солнечный лучик... Автандиловна, южная кровь. Южанки стареют рано. Полнеют рано. Если только ежедневно и ежечасно не следят за собой. А как заставить женщину следить за собой, если она не хочет? Почему она не хочет?!

На эту тему можно было поразмышлять, да он не раз и размышлял, особенно когда устал, раздражен, настроение плохое — но сегодня даже мысленное произнесение слов «следить», «следят» и в особенности слов «следят ежедневно и ежечасно» вызывало совсем иные чувства. От каждого подобного повтора угловатый кусок льда проворачивался в животе и норовил всей своей тяжелой холодной массой скользнуть куда-то вниз.

— Выше тридцати семи и трех сегодня не поднималась, — ответила она, прислонившись плечом и головой к косяку двери и с привычной, ничего не означавшей внимательностью следя, как Карамышев выпрастывается из липнущей к влажной коже рубашки, потом стряхивает штанины с ног; сначала с одной, потом с другой... — Так, знаешь... ничего, слабость только. Лежала бы да лежала, даже читать не хочется.

Это надо же, летом, в августе, ухитриться где-то подхватить грипп. И как раз когда погода наконец выправилась. Издевательство. Ведь молодая же баба, едва за тридцать перевалило — а уже такая, как в народе говорят, раскляченная!

Может, ее генам гор хочется? Пальм, лазурных небес, цветков граната? Губа не дура у генов...

Все, матушка, увы. Не надо было старшему брату твоего папы воевать тут всю блокаду, геройствовать в прорыве... не своей волей, конечно, все понимаю; так ведь и все мы не своей волей на свет появляемся — а отвечать за это появление всей своей последующей жизнью приходится именно нам, не кому-то. И женился-то он здесь на санитарке Дусе — по своей воле! И братца своего, пацанчика, из Рустави сюда выманил — по своей воле! Значит, терпи теперь, как все мы терпим. Я, может, тоже предпочел бы жить во времена Александра Освободителя — но никому не дано повернуть вспять колесо истории... Мне, думаешь, легко — оказаться женатым на почти иностранке, да еще из почти враждебного государства? Терплю же! Хотя наслышан, что там с русскими вытворяют; и даже с полурусскими, с четвертьрусскими! А Олежке, думаешь, легко? И сейчас, и потом, и всю жизнь... Во второй класс человек перешел — а уже знает, как дразнят не за поступки, не за хилость, не за смешной выговор — с этим у него все в порядке! — за происхождение. Полукровка! Метис!

— Понятно, — сквозь зубы проговорил Карамышев. — А как чадо? Не надышала ты на него вирусом?

— Да нет, как будто... А ты почему такой раздраженный?

А почему, собственно, я должен от нее скрывать? Изображать домашнюю безмятежность, когда на душе кошки скребут? Беречь, беречь... все равно не убережешь, если что-то серьезное грянет. В конце концов, она мне жена, а значит, как бишь там: в горе и в радости... Значит, любой груз — пополам.

— На завтра на утро вызывают к куратору, — сказал он угрюмо и пошлепал босыми ногами в ванную. Сначала в душ. Пусть она переварит, проникнется, каково ему сейчас — пока она тут лежала бы да лежала, и даже читать не хотела... Потом продолжим. Если она заведет об этом разговор. А если нет — я тоже больше ни слова не скажу... но и вообще больше ни слова не скажу; о чем-то другом разговаривать уже не смогу сегодня, не обессудьте.

— Суп будешь? — раздался ее голос с той стороны тонкой двери. Интересно, а как она себе думает? В тощих забегаловках мне черствые бутерброды глодать без конца, так, что ли? А она будет дома лежать, лежать и даже не хотеть читать?

— Да, Вера, конечно! — крикнул он и пустил воду. Теперь я ничего не услышу. Хоть кричи. Пока не очухаюсь немножко после этой немытой, прогорклой от пива массы, которая плющит меня дважды в день ежесуточно, за исключением выходных — да и то далеко не всех, а только тех, когда не требуется бегать по магазинам; пока не отмою подмышки от этого скотского духа, с которого меня самого тошнит и которым разит от всех, от всех и в метро, и в автобусе... ничего не услышу.

Интересно, завтрашняя беседа — это из-за нее?

Как мы привыкли к слову — беседа. Даже сам с собой не называю: допрос. Фи, фи, допрос — это же совсем другое; это когда из камеры и обратно в камеру, это когда лампа в лицо, когда не дают спать, ломают пальцы, грозят пересажать всех родственников до седьмого колена... в перестроечные годы мы это все по сто раз прочли, так что из ушей уже лезло, и сердца надрывались вхолостую: полвека прошло, помочь все равно никому не можешь, изменить все равно не под силу ничью судьбу, и только журналисты и мемуаристы словно бы упиваются с этаким садистским схлебыванием слюны: а меня еще вот как мучили! А вот такого-то генерала еще во как, во как, вы, уважаемые читатели, до такого нипочем бы не додумались сами!

А тут — беседа. Просто беседа.

Как будто бы ничего ни в газетах, ни по телику не было относительно очередного обострения с грузинами...

Но тогда из-за чего?

Когда он, кутаясь в купальный халат, вышел из ванной — распаренный, слегка размякший и немного подобревший, — на столе уже дымилась тарелка какого-то очередного брандахлыста, а рядом умлевал под теплой ватной бабой заварочный чайник.

— Сейчас, Верочка, — сказал Карамышев жене, терпеливо и послушно сидящей у обеденного стола — подперев

щеку кулачком, напротив обычного карамышевского места, — и поспешно нырнул в другую комнату, где гардероб. Не мог он выйти к обеду в халате. Воспитание есть воспитание; возможно, это последнее, что нам еще оставили. Впрочем, просто потому, что не могут забрать полностью и одним движением — так только, откусывают по кусочкам; рявкнул в ответ какой-нибудь истеричке в очереди — кусочек; не глядя отлягнулся от навалившегося хама в метро — еще кусочек; смолчал, выслушав чушь, которую в очередной раз с государственным видом изрек заведующий лабораторией товарищ Кашинский, — во-от такой кусочек...

А ведь после ухода Вайсброда это казалось неплохим выходом — пусть начальником станет добросовестный исполнитель, ну хоть и с комитетом, вероятно, связанный, все равно ведь уже не те времена. Горбачевское пятилетие со счетов не спишешь, народ вдохнул шального воздуха прав человека, и теперь нас голыми руками не возьмешь... Мы, ученые, будем заниматься наукой, не отвлекаясь на административные бумажки, а Вадик пусть хлебает эту жижу, все равно от него другой пользы нет и быть не может.

Ха-ха-ха.

Интересно, сколько кусочков завтра отстрижет от меня товарищ Бероев?

Мягкие домашние брюки, свободная рубашка, застегнутая все равно на все пуговицы, светлый домашний галстук, не тугой, но и не болтающийся на пузе...

— А себе что ж? — спросил Карамышев, садясь за стол. На столе был лишь один прибор.

— Не хочется. — Вера блекло улыбнулась. — Я чаю попила часа полтора назад.

— Витамины принимала?

— Ой, Арик, забыла! Извини... Сейчас.

Она встала и пошаркала на кухню. Откуда у нее взялась эта отвратительная старушечья походка? Ведь бегала по лаборатории и впрямь как серна!

Ох, это ж сколько лет прошло... И каких лет.

— Веронька, ну нельзя так! Я же не могу все время тебе напоминать! Хоть что-то ты могла бы сама!

Она уже возвращалась.

— Хорошо, Арик, постараюсь.

Какая дурацкая кличка, подумал он в миллионный раз. Арик... Шарик. Бобик.

Взялся за ложку. И взялось за ложку его выцветшее, слегка идущее волнами отражение в стоящем в углу комнаты громадном зеркале, оправленном в темное дерево. Зеркалу было лет сто, наверное; Карамышев помнил, как корчил ему рожи в детстве. На задней стороне деревянной рамы были процарапаны инициалы, Карамышев обнаружил их, когда ему было года четыре — их процарапал в детстве дедушка.

— А из-за чего вызывают, не сказали?

Он поперхнулся.

— Нет.

— Думаешь, что-то серьезное?

— Понятия не имею.

— В лаборатории никаких... нештатных ситуаций?

— Нет. Тишь да гладь.

— Но ведь и толку никакого, правда?

Он опять поперхнулся.

— Не стоит так говорить, — произнес он, прокашлявшись. — Это взгляд обывателя. То от Бога ждали чудес, потом от науки, а теперь — хоть от кого-нибудь, лишь бы чудес. Чудес не бывает, и ты-то уж должна это понимать. Диагностику мы отработали и, если бы государству было до нас, уже могли бы запускать в серию прекрасные, компактные и дешевые аппараты, которые сто очков вперед давали бы всем этим дорогущим импортным томографам и цереброскопам... А то, что волновая терапия пока не удается, — может быть, она и вообще невозможна, может быть, это утопия, придуманная Вайсбродом и Симагиным...

— Как интересно тогда было, — с мечтательной миной произнесла Вера, опять подпершись кулачком.

— Ну, знаешь... вранье всегда интереснее правды, если врать умело и увлеченно.

— Да, наверное. А все-таки странно, правда? Всего-то два человека ушли... Ну, потом Володя еще, но это уж потом, когда все скисло и так...

— Да ничего не скисло! — раздраженно возразил Карамышев.

— Не злись, ты и сам понимаешь, что скисло. Ведь как мы мечтали, помнишь?

— Да мало ли про что дурачки мечтают? — Он окончательно разъярился. — Про коммунизм, про братство народов — ах, ах, помнишь, как мечтали в окопах наши деды и прадеды?! Мы делаем дело! Просто обыкновенное и по-обыкновенному очень нужное дело! Хватит с нашего народа мечтаний — ему нужны цели!

У нее дрогнуло лицо. Он запнулся. Не надо было про братство народов; наверняка она и так все время ощущала, что с некоторых пор превратилась для него в подобие ядра, прикованного к ноге каторжанина. Но извиняться нельзя, это еще хуже. О таком не принято говорить — просто делается вид, что ничего подобного не существует. Нету.

— Ну, ладно, ладно, — сказала она и опять улыбнулась — совсем уже блекло. — Конечно. Я и сама знаю. Что же, я не коллега тебе? Просто приболела вот...

Да. Приболела. Это я приболел из-за тебя. На всю жизнь. И Олежек — на всю жизнь. И нельзя об этом даже слова сказать вслух. Потому что для воспитанных людей национальных проблем не существует; национальные проблемы — это удел быдла, безумие быдла, блевотное нутро быдла... А у нас проблемы исключительно духовные и немножко бытовые — грипп, Олежкины отметки...

К сожалению, Бероев и его коллеги не столь воспитанны. Были вопросы с их стороны уже, были и комментарии... были и определенного свойства сомнения. Пока удавалось снимать и сглаживать. Иногда кажется, что — все; что удалось наконец окончательно снять и сгладить, что больше это не повторится — но проходит полгода или восемь месяцев, и опять какая-то подвижка в их большой, отвратительно большой и попросту отвратительной политике, и опять: вы уверены, что ваша супруга не поддерживает ни малейших связей с оставшимися за рубежом родственниками? Вы действительно уверены? Может быть, все-таки лучше было бы ей уволиться? В конце концов, это же просто разумная предосторожность; к вам, Аристарх Львович, у нас ПОКА претензий нет, вы работайте себе, Аристарх Львович, как работали, и совет вам да любовь с вашей супругой, брак — дело свя-

тое... но ей самой со всех точек зрения лучше было бы стать просто домохозяйкой... Нет, она очень ценный работник, что вы — незаметный, но незаменимый; а что касается возможных родственников в Грузии, то я уверен, что у Веры с ними нет никаких контактов, даже если там и действительно остались какие-то родственники; она же родилась здесь, она наша-наша-наша-наша!.. Ни звонков, ни писем, ни вообще никаких поползновений я не наблюдал ни разу за весь период нашего брака... Период брака... Какие слова!

Уж не знаю, беседовали ли они и с тобой, женушка, на эти темы; подозреваю, что беседовали. Но ты же не расскажешь, и я не расскажу, мы воспитанные...

Пришел с гулянья Олежек, и Вера немощно заторопилась на кухню — разогревать обед второму мужчине в семье. А Карамышев взялся за газету и, дохлебывая безвкусный суп — или он вообще-то был обычным, как всегда, в меру съедобным, и только сегодня ощущался таким безвкусным, потому что страх продолжал угловатой ледяной глыбой скользко перекатываться внутри, и кроме ощущения этого беспокойного, непоседливого льда не осталось больше никаких ощущений вовсе, — стал просматривать колонки международных новостей, ища что-нибудь про Грузию. Ничего, как на грех, не было; ни строчки. Но разве это, в конце концов, показатель? Кто знает, что там могло на самом деле произойти? Или здесь? Или где?

А вообще-то новости были одна другой страшней и отвратительней. Неужели страна так и не выправится? Неужели все-таки закусают ее, затравят по мелочам? Вот и пожалеешь, что не сбылось то, чего они с Симагиным когда-то, по наивности и мальчишеству, больше всего боялись, — что из биоспектралистики, из этих несостоявшихся латентных точек выскочит-таки какое-нибудь сверхоружие на радость маразматическим московским маршалам, и тогда творцам его останется только саботировать или вешаться. Конечно, пока мы были сильны и, теряя голову от этой силы, теряя ощущение того, что она все-таки не беспредельна, забывая о том, что следовало бы и на дела домашние побольше обращать внимания, лезли и в Афган, и в Анголу, и в Мозамбик со своим уставом, — можно было изображать интеллигентское негодование. Этакого сахаровского толка. Отдать телепатию или нуль-транспортировку Ахромееву да Варенникову! Боже мой, что будет с правами человека! А теперь, когда от силы не найдется даже воспоминаний связных, когда страна — да и сколько той страны осталось! — на ладан дышит, когда со всех сторон кто только не гложет ее с радостным упоением — налетай, братва! дорвались! три века мечтали, да кишка была тонка, а вот нынче настал наконец праздник!.. и всем-то мы должны, перед всеми-то виноваты, всем обязаны компенсировать, прощать, входить в положение, уступать, только б не подумали, что мы все еще империя, только бы доказать в тысячный раз, что мы хорошие, добрые, честные, никого не хотим завоевывать сызнова, и все равно все уверены, что хотим, и правильно уверены... отдал бы. Отдал бы? Отдал бы!

Да только вот отдать нечего.

А ведь если бы что-то такое начало наклевываться, я бы в три секунды вылетел из лаборатории. И ребрами все ступени всех институтских лестниц пересчитал. Из-за Веры. Или пришлось бы прогнать ее, попросту прогнать. Мне бы это, возможно, из уважения к таланту даже предложили сначала, дали бы пять минут на размышление: или великое открытие, спасительное для родной страны, секретная слава, подземный почет — или окончательная бессмысленность бытия, окончательный духовный тупик, полное прозябание плюс вечно недомогающая ненаглядная с ее блеклой улыбкой, мировой скорбью во взоре и безвкусным супом?

И зачем бы мне было пять минут? Я не колебался бы ни секунды.

А ведь я был без ума от нее...

И тут Карамышев похолодел. Отражение в зеркале замерло с нелепо разинутым ртом и ложкой, зависшей на полпути.

А что, если завтра мне как раз и предложат такой вот выбор? Что, если где-то... не знаю где, но ведь не мы одни ведем, вероятно, подобные исследования... возник какой-то новый прорыв, новый взгляд... Может, разведка наша выловила что-то у Маккензи или Хюммеля? Может, анализируя наши же собственные материалы, они увидели то, чего сво-

им каждодневным взглядом не вижу я? Может... может быть, в конце концов до чего-то доперли, сидя в своих уединенных берлогах, Вайсброд или Симагин! А теперь нужна лаборатория! Нужна машина! И нужен я! Но — без нее... без Автандиловны моей. И мне завтра скажут: или — или! Что... что я отвечу?

Со вторым прибором на подносике вошла Вера, мягко ступая по распластанному на всю комнату, местами протертому едва ли не до основы ковру — он был таким, еще когда Карамышев играл на нем в кубики. Тоненько, прерывисто, нервно застрекотала от шагов какая-то плохо поставленная на блюдце чашка за ограненными стеклами в древнем, необъятном посудном шкафу.

— Ты что-то медленно ешь, — озабоченно произнесла Вера, перекладывая на скатерть ложку, вилку, нож. Почему-то только потом переставила тарелку. — Остыло, наверно, Арик? Может быть, подлить горячего? Я для Олежки все равно подогревала...

Он только промычал что-то. И лихорадочно начал дохлебывать безвкусный, теперь уже точно — безвкусный, на редкость противный ее суп, чтобы не говорить, не говорить с нею. Потому что знал, что ответит там, когда ему предложат выбирать.

Вошел Олежек. Сел за стол напротив Карамышева, сказал отцу: «Привет». — «Привет», — ответил Карамышев, умильно оглядывая сына. Нет, у парня нормальное, открытое лицо, типично русское. И манеры уже привились; от горшка два вершка, а как держится, как садится за стол и как берет вилку с ножом, чтобы нарезать на меленькие ломтики — по вкусу, по размеру ротика, наверное, — безобразно большой кус мяса, который мама щедро вывалила ему прямо в тарелку весь. Самому Карамышеву мяса не досталось. Как аккуратно носит одежду! Котенок мой, думал Карамышев, с наслаждением ощущая, как тепло и умиротворение маслянистой волной окатывают душу. Мой, мой. Тебя-то я уж никому не отдам. Пусть Автандиловна наша что хочет делает. И пусть товарищ Бероев что хочет делает. Тебя — никому не отдам. Никто не имеет права требовать, чтобы я и от сына отказался! Зачем?

А если предложат? А если — настоятельно предложат? Вот возьмут — и предложат?!

— Папа, — сказал Олежек.

— Олег, — сказал Карамышев терпеливо и назидательно, — помнишь поговорку? Когда я ем, я глух и нем.

— Да я же еще не ем! — возмутился Олег.

— Да? А мне показалось, ты одну ложку уже проглотил, — мягко обличил Карамышев.

— Это я только попробовал, — мгновенно вывернулся Олег. — Горячо. Надо минутку постудить.

— Ну тогда говори, — разрешил Карамышев.

— Что такое ширево?

Карамышев поперхнулся.

— Крошка сын к отцу пришел... — пробормотал он, откашлявшись. Цитата была знакомая, Венька Хорек часто эти слова повторял с хихиканьем или даже с хохотом, поэтому Олег сразу смог мысленно продолжить. И сказала кроха: пипка в пипку — хорошо, пипка в попку — плохо. Олег чуть было даже не произнес этого вслух, чтобы показать, какой он умный и эрудированный — папа любил, когда он показывал эрудицию, то есть знал то, чего ему вроде бы и неоткуда было узнать, и вообще помнил всякие лишние слова, вроде этой самой «эрудиции», — но вовремя осекся. Речь в стихотворении шла о вещах не совсем вразумительных — ну как это пипку можно засунуть в пипку? Сколько Олег ни пытался это себе представить, разглядывая себя, а при случае — и других мальчишек, ничего не получалось; и главное, он понятия не имел, почему, собственно, одно хорошо, а другое — плохо? А если папа поймет, что он говорит, чего не знает, а просто повторяет за другими, как попугай, — засмеет. И Олег благоразумно смолчал. Надо сперва самому разобраться. Только странно как-то: папа, оказывается, читает те же стихи, что и Венька Хорек...

— А откуда ты этот термин поймал? — спросил Карамышев несколько косноязычно. Но очень уж он растерялся. Непонятно, что отвечать. Он вообще часто терялся в разговорах с сыном и срывался то на уже отжившее сюсюканье, то на академическую, будто на симпозиуме, речь. Вот и сейчас — вылетело совсем не к месту дурацкое слово «термин», которого Олежек наверняка не знает; зачем? И тут же, будто

пытаясь выправиться и приблизиться к ребенку, ляпнул, как дворовая шпана, нелепое слово «поймал». То ли дело было совсем недавно: это листик, смотри, Олеженька, какой красивый листик, а осенью он пожелтеет и станет еще красивее, станет как золотой... Ну-ка, листик в носик, ну-ка, носик в листик!.. И сразу начинает клевать носом, и сразу улыбка, смех — полное взаимопонимание. А это — подъемный кран, а это — автомобиль: чух-чух-чух!.. ж-ж-ж! поехал автомобиль, поехал! Теперь напротив него сидел человек, целый человек, не знающий снисхождения; от него нельзя отказаться, на него нельзя опереться, с ним нельзя договориться по-взрослому, на взаимном обмане или совместном умолчании, нельзя передоверить ему даже часть ответственности за него же; и что там в голове, и что там в сердце у этого человека делается — не уследить, не проконтролировать, не отштамповать. Спасение лишь в том, чтобы он любил тебя и верил тебе больше, чем всем остальным, — а как этого добиться?

— Венькин старший брат с нами сейчас часто играет, — объяснил Олег со взрослой обстоятельностью. — Его кореша на лето все разъехались, а одному ему скучно. И он то и дело говорит: ширево. А я не понимаю.

— Ясно, — проговорил Карамышев, внутренне холодея от ужаса перед теми играми, в которые мог играть с Олежком этот, по всей видимости, чудовищный Венькин старший брат. — Ну, видишь ли... это всякие вредные вещества, которые люди принимают.

— Зачем? — искренне удивился Олег. — Они разве не знают, что вещества вредные?

— Ну... как тебе... Они об этом забывают. Потому что получают на какое-то время удовольствие, и до всего остального им уже нет дела.

— А! — с просветлением на лице воскликнул Олег. — Это вроде водки!

Карамышев, едва не поперхнувшись, совсем смешался.

— Ну да... — выдавил он. — Только еще вреднее.

— Тогда я понимаю, — серьезно и солидно протянул Олег, — почему Ромка говорит, что его телка на джеффе сторчалась!

Карамышев поперхнулся. А потом, прокашлявшись, со злостью хлопнул ладонью по столу и почти крикнул:

— Ты по-человечески можешь разговаривать или нет?

Олег растерялся и даже испугался слегка. Вот никогда не знаешь, за что получишь на орехи, подумал он. Разве я не по-человечески говорю? Почему, скажем, слово «эрудиция», которое я только от папы и слышал, — человеческое, а те слова, которые все говорят, — нет? Он искательно заглянул сидящему напротив папе в глаза; папа рассердился всерьез. Лучше, наверно, его вообще поменьше спрашивать.

— Надеюсь... — проговорил Карамышев, стараясь взять себя в руки, — надеюсь, вам он еще не предлагал... как это ты говоришь... торчать?

— Нет, — на всякий случай соврал Олег. Если Ромка опять принесет ширево, опасливо подумал он, и хоть кто-нибудь согласится на этот раз, мне придется пробовать тоже. Иначе ко всему прочему еще и труса навесят.

Верочка сидела на кухне, уложив голову на лежащие на столе ладони. Голова кружилась, и хотелось плакать. Все время хотелось плакать. Это после гриппа, пыталась успокаивать она себя, после гриппа всегда слабость и депрессия. Но она знала, что это — не от гриппа. По крайней мере — не только от него. Из столовой слышались приглушенные голоса, слов было не разобрать. Воркуют. Мужчины воркуют. И на том спасибо.

Бероев отпустил машину и, привычно прицелившись пальцами в покрытую буроватым налетом клавиатуру дверного кода — только нужные кнопочки сияли от постоянного в них тыканья, — размашисто распахнул дверь, ворвался на полутемную лестницу и легко понесся вверх, прыгая через две, а то и три ступени. Лифт опять не ездил. Да в него и войти-то противно; измалеван весь и вечно воняет мочой. Пусть немощные ездят. Машенька уже заждалась, конечно. Ну может, еще успеем погулять хотя бы полчаса?

Перед третьим этажом из-за поворота лестницы вывернулся незнакомый человек — в сущности, темный, но массивный и до невежливости неповоротливый контур человека, — и Бероев, не успев вовремя понять, что идущий навстречу безликий контур даже символически не собирается

принять вправо, задел его плечом и рукой. «Что там у него острое такое?» — мельком успел удивиться Бероев, ощутив царапающее движение по коже тыльной стороны ладони, на пролете коснувшейся полы расстегнутой ветровки идущего навстречу человека, и в следующее мгновение ноги у него обмякли, голова характерно онемела, и он, не в состоянии произнести ни звука, беспомощно осел на ступени лестницы, привалившись спиной к исписанной похабщиной стене.

Человек, мимо которого он так лихо пропрыгал, обернулся и, возвышаясь, стоял напротив Бероева вновь лицом к нему, и лицо это было теперь слегка подкрашено сочащимся в лестничное окошко мутным серовато-розовым световым раствором. Знакомое лицо.

— Извините, Денис Борисович, — сказал человек, стоящий напротив. — Через четверть часа все пройдет. Безвредно и бесследно. Не нервничайте. Я прибег к этому... сознаю, не очень вежливому способу возобновить знакомство, так как опасался, что вы не сможете сразу оценить ситуацию и под влиянием момента совершите какую-нибудь роковую глупость. Ну, и еще чтобы вы сразу поняли, что разговор идет всерьез. Я боялся, что вы меня не вспомните, а если и вспомните, то этого окажется недостаточно.

Бероев попытался ответить, но язык не ворочался. Казалось, он распух и забил весь рот плотной, бесформенной массой. Бероев лишь промычал что-то — очень коротко, ибо сразу понял полную бесперспективность попыток говорить.

— Видите, как славно. Теперь вы волей-неволей меня выслушаете, не перебивая. А к тому времени, как я закончу, вы уже сможете отвечать.

Юнус Гумерович Гарифов его звали. Во всяком случае, так его звали тогда, когда они познакомились — встретились и познакомились на конференции офицеров комитета в Москве в восемьдесят шестом. Конференция была по обмену опытом. В гостинице они оказались соседями и, с подобающей коллегам и почти ровесникам быстротой перейдя на Дениса и Юнуса, после заседаний еще долго и с удовольствием обменивались опытом под добрый коньячок прямо в номере. Это звучало забавно, приятно для слуха и как-то очень по-доброму и по-товарищески: Юнус — Денис,

Юнус — Денис... Гарифов работал в Казанском управлении и специализировался тогда на своих же кровных татарских националистах.

Бероев понял, что — все, конец настал.

— Вижу, что вы меня узнали, Денис, — сказал Юнус. — Вот и совсем все в порядке. Рад встрече. Можете не верить, но я действительно рад. Хочу надеяться, что при всех, безусловно, сложных и смешанных чувствах, которые вы испытаете при следующих моих словах, немножко неподдельной радости вам тоже перепадет. Ялкын — троюродная бабушка ваша по матери — жива-здорова, понимает, почему вы так давно не давали о себе знать и даже не попытались ни разу хоть как-то выяснить, жива она или уже нет... Она прощает вас за это и передает, что желает вам всего самого наилучшего. Мы не успели переправить написанное ее рукою письмо, но, если вы захотите, это будет сделано в ближайшие дни. Если захотите, можете и сами написать ей несколько строк, когда пройдет обездвиженность. На словах же она просила передать вам о себе, что жизнь, конечно, не сахар, но она надеется на лучшее, любит свою страну, усердно молится Аллаху и, если вам это по каким-либо причинам понадобится, всегда готова принять вас в своем доме. Но, разумеется, только вас, вас одного. Бабушкины дядья Фатих и Закир тоже передают вам приветы. Ну, журят, конечно, но в меру.

А если сейчас кто-нибудь пойдет по лестнице? — подумал Бероев. И тут же сообразил: ноль проблем. Во всяком случае, сам он на месте Юнуса не растерялся бы в подобной ситуации ни на секунду. Ну, поддали вечерком два друга, один на ногах не устоял, другой его пестует... Стоит ему наклониться, закрыть мое лицо собой и забормотать: «Вась, да блин, да ты чо? да подымайся, Вась...» — и никто не обратит внимания, отвернутся, не узнают, даже если соседи. Машенька — та узнала бы, конечно... А ведь она ждет! Беспокоится, наверное! Может выглянуть...

Не дай бог, чтобы она выглянула сейчас и меня узнала! Не дай бог, не дай бог, не дай бог!

Не дай Аллах...

— Теперь по сути, — сказал Юнус. — Не важно как, не важно от кого — мы же были одной страной когда-то, так

что ничего удивительного и сверхъестественного тут нет... Приблизительно мы представляем себе масштаб и направленность проводившихся в лаборатории Вайсброда изысканий и в особенности замыслов Симагина — замыслов, оставшихся якобы не реализованными, а на самом деле — теперь уже и непонятно, оставшихся или нет. Я правильно формулирую? Мы вас давно пасем, простите. Сами понимаете, такой случай упускать было никак нельзя. Вы бы и сами не упустили. Выявить ваши родственные корни не составило большого труда. Немножко вы мне сами еще тогда, в Москве, обмолвились, остальное — дело техники. Конечно, Российскому Союзу биофизическое сверхоружие не помешало бы, мы понимаем, — но маленькому Татарстану, зажатому со всех сторон Российским Союзом, Уральским Союзом, Башкортостаном, Чувашией, Удмуртией... да не перечислить, кем еще! — оно необходимо просто позарез! И уж отнюдь не в наших интересах делиться им с Российским Союзом, — он усмехнулся, — даже если оно не достанется и нам. И вот сегодня, как мы поняли по вашему поведению, события начали разворачиваться с невероятной быстротой, и я... — он снова усмехнулся, — и я у ваших ног. Вернее, покамест, извините, вы у моих, но это, как я уже говорил, через несколько минут пройдет. Мы крайне настоятельно просили бы вас информировать нас тщательнейшим образом о ходе дела Симагина и о том, что вам и вашим коллегам удастся выяснить. Дело очень странное — даже на мой взгляд, а я, разумеется, знаю куда меньше вашего. И очень наводит на размышления. И очень похоже, что не обошлось тут без неких запредельных возможностей. А их возникновение у Симагина или, наоборот, еще у кого-то... у некоего Икса, который с Симагиным так страшно разделался... может быть, вероятнее всего, результатом не известного ни нам, ни пока даже вам биоспектрального вмешательства в деятельность человеческого организма. Верно? Верно.

Он помолчал. Бероев попытался напрячь хоть какую-нибудь мышцу. Бесполезно, он не ощущал ни одной; лежал как медуза.

Юнус присел рядом с ним на корточки.

— В случае вашего отказа информировать нас, — мягко сказал он, — с одной стороны, у ваших ни в чем не повинных и весьма пожилых родственников в Казани сразу могут возникнуть очень серьезные неприятности. Возможно, даже связанные с угрозой здоровью и самой жизни. С другой — ваше здешнее начальство испытает, вероятно, ощутимый шок, когда ему так или иначе ненавязчиво напомнят, что один офицер, уже много лет курирующий довольно серьезные, небезынтересные для оборонки исследования, в свое время скрыл факт наличия родственников в иностранном государстве, вот-вот имеющем войти на правах полноправного члена в исламодоблестный альянс Великий Туран. Последствия этого шока для самого офицера и для его здешней семьи я просто-таки боюсь себе представить. Вам, как человеку, живущему и работающему здесь, это сделать гораздо легче.

Бероев попытался ответить — но опять смог лишь промычать идиотское «у-ы-м-м!». И опять утихомирился на время. Возможно, Юнус врет насчет того, что паралич пройдет сам собой, подумал он. На самом деле, возможно, нужна вторичная инъекция — с антидотом. Скажет все, что вознамерился сказать, даст переварить — тогда кольнет. Зачем ему собеседник. Ему слушатель нужен.

Или не кольнет.

Что тут переваривать. Стрелять, и все. Или стреляться.

Оружия при себе, разумеется, нет.

Юнус печально заглянул ему в глаза и проговорил еще мягче — так врач у постели тяжелобольного говорит:

— Мне, признаюсь, очень неприятно, что мы, бывшие коллеги и соратники, оказались в таком вот положении... относительно друг друга. Быть шпионом в этом городе... куда я еще задолго до знакомства с вами приезжал на стажировку, который очень люблю... всегда восхищался им и его величием, поверьте. — Он на миг поджал губы и чуть качнул головой, словно сам не веря в происходящее, сам не понимая, как могло до такого дойти. Встряхнул головой. — Но я прекрасно знаю... просто даже по долгу службы знаю, да иначе и быть не могло, что и вы располагаете множеством аналогичных агентов в нашей стране и во всех странах, которые

были раньше братскими республиками и автономиями... только у нас им труднее, чем нам — у вас. Потому что у нас есть общая цель и общая вера — как было когда-то в СССР. А у вас теперь — только карьера. Звания, шмотки, деньги. Конечно, ваше руководство осознает опасность такого положения и пытается что-то сделать по поводу веры... Но, простите, когда я вижу по телевизору, как ваш президент, у которого руки по локоть в крови, на торжественных богослужениях торчит во храме чуть ли не рядом с патриархом...

Бероев не выдержал — замычал. И тут только почувствовал, что язык и челюсти начали оживать. «В-ва... ш-ш...» — яростно сказал Бероев. Поразительно, но чуткий Юнус понял.

— Согласен, — ответил он. — Наш президент не святее. Правда, наша религия несколько иначе относится к крови, так что ему это простительнее... но — согласен. Чем меньше президентов — тем лучше, это истинная правда. Скажу вам по чести: в глубине души я за Союз и по-прежнему ощущаю себя советским офицером, никем иным. Но раз уж эта... эта сенокосилка заработала, причем нас с вами никто не спросил, верно? Верно... раз уж она заработала, то надо косить, а не тарахтеть попусту, пуская сизый вонючий дым в чистый воздух.

Бероев начал ощущать боком и спиной крепкие углы ступеней. Чувствительность возвращалась. Еще минут пять. Не соврал Юнус...

— Вы поймите, я не разглагольствую и не глумлюсь над вашим, Денис, беззащитным и неподвижным телом. Наоборот, я пытаюсь вам помочь взглянуть на все шире, оптимистичнее и увидеть, что никакой катастрофы не произошло. Наоборот, перед вами открываются совершенно новые и куда более широкие перспективы. Вот что вы должны понять. — Он глубоко вздохнул и вдруг заговорил с неожиданной страстностью: — Русская империя выполнила свою историческую роль. Она так старательно и безоглядно натравливала мусульманский мир на империалистов... ну, Америка тоже в долгу не оставалась, но она — далеко... И потом, все-таки русская империя тут обогнала всех. Это ведь еще с Ленина пошло, верно? Верно. И до семидесятых годов, по крайней мере. Восток пробуждается. А где не пробуждается, там мы пихнем и разбудим. А зачем он пробуждается? Чтобы покончить с империалистами — то есть, говоря современным языком, уничтожить европейскую цивилизацию. И действительно, разбудила. Помогла нам вновь начать уважать себя. Избавила от навязанных европейцами комплексов. Вооружила, вырастила офицерство. Научила воевать. И умерла. В отличие, скажем, от тоже смешанной американской нации — не состоялась в национальном смысле. Мы ее не убивали, она умерла сама, заметьте. Но уж не призывайте нас участвовать в гальванизации этого трупа, у нас достаточно дел. Ведь после краха коммунистической идеологии и в смысле религиозном всерьез противопоставить хоть что-то — хоть что-то! — потребительской цивилизации Запада, давно зашедшей в духовный тупик, может опять-таки лишь мусульманский мир. Конечно... — Он опять глубоко вздохнул. И заговорил уже спокойнее: — Конечно, если бы славянские или, по крайней мере, православные страны... народы сохранили способность координировать усилия и сливаться воедино, как это умеют мусульманские... и уж во всяком случае — хотя бы держаться друг друга!.. Родственные конфликты решать в доме, по-семейному, а не бежать на сторону, к первому попавшемуся сильному чужаку, чтобы тот помог повернее ущучить братца... Но что заниматься болтовней? Если бы да кабы... Аллах судил иначе и, как всегда, — судил верно. Не сохранили они этой способности — а это и есть смерть. Вы согласны?

Руки Бероева были распластаны по лестнице, будто обескровленные мертвецы; но пальцы левой, в сантиметре от которой красовался тщательно начищенный черный полуботинок Юнуса, начали оттаивать. Напрягшись так, как, наверное, только на порогах напрягался, когда тянул к берегу Люську — тело Люськи, но он тогда этого не знал, — Бероев ухватил врага за штанину.

Юнус осторожно, почти бережно, но чуточку гадливо высвободился. Словно прищепку стащил с одежды. Не состегнул, а именно стащил.

— Драться хотите? — спросил он, сочувственно сдвинув брови. Помолчал. — Как я вас понимаю! И как, собственно, уважаю за это...

Бероев начал чувствовать свои ноги.

— Я... — вполне внятно сказал он. — Я — а-а...

Юнус поднялся с корточек.

— Завтра вечером я вам позвоню домой. Пытаться засечь мой номер, как вы понимаете, бесполезно, я не в игрушки играю. Ну, а предпринимать что-то очень масштабное против меня... то есть, конечно, можно меня ущучить, но... что будет с вами? И с вашими родными? И здесь, и там? Подумайте как следует. А завтра в двадцать два часа я вам позвоню.

И он, повернувшись, мягко и беззвучно пошел по лестнице вниз. Было уже почти темно, и его мерцающий затылок быстро погрузился в густой сумрак и погас в нем; Бероев перестал видеть его еще до того, как Юнус скрылся за поворотом лестницы. Бероев остался лежать.

Ему повезло — на лестнице так никто и не показался.

Он смог подняться уже минут через семь — на трясущихся ногах, цепляясь за перила вареными руками, под кожей которых, от кончиков пальцев до подмышек, прокатывались кипящие волны горячих мурашек. До двери квартиры было полтора пролета. Смешно. Первые полпролета он карабкался, будто восходил на Джомолунгму без кислородной маски; в глазах темнело, стоило лишь выдавить себя на очередную ступень вверх, и приходилось с полминуты отдыхать, приводя дыхание в то, что сейчас можно было бы назвать нормой. Потом стало легче; он быстро оттаивал. Добрая химия, щадящая. Гуманист Юнус. Когда он дошел до двери, то почти без усилий смог достать из кармана ключи, а потом, переждав для надежности еще минутку и вразнобой подвигав так и этак мышцами лица — получается улыбка или еще нет? — вогнал ключ в замочную скважину.

— Папа!! — Заслышав лязг ключей и звук открываемой двери, паршивка Катька с визгом вылетела Бероеву навстречу, взахлест обняла его за ноги обеими руками и уткнулась в него лицом. Потом, не размыкая объятий, запрокинула голову. — Ты где? Ты чего? А мы ждем, ждем!

Осторожно неся пышный живот и капризно надув губы, вышла Машенька.

— Ну ты совсем с ума сошел, Дениска, — с возмущением сказала она. — Взрослый человек уже, а не соображаешь.

Хоть бы позвонил! Ты же обещал меня не волновать! Забыл? Забыл, а?

— Не забыл, — хрипло ответил Бероев. — Не забыл, ласточка моя. — Он осторожно потянулся к ней и так, чтобы не коснуться ее грязной ладонью, только что ощупывавшей лестничный пол в полутора пролетах от домашней двери, обнял жену за плечи внутренним сгибом локтя; потом, нагнувшись, поцеловал в висок. — В последний раз, Машенька. В последний раз.

— Ты правда не голодный? А то я никакого ужина не делала. Как ты и сказал. Могу бутерброд намазюкать, хочешь?

— Не надо, ласточка. Правда не голодный.

Он поспешно нырнул в ванную. Тщательно вымыл руки, потом долго плескал в лицо горячей водой. Мельком подумал: хорошо, что горячую воду успели дать; целый месяц не было. Как всегда летом. Горячая вода окончательно разогнала мурашки, толпами плясавшие в глубине щек и лба. Отряхнул рубашку и брюки, осмотрелся в зеркало. Нет, ничего. Неподвижно лежал — вот если бы пытался елозить, изгваздался бы куда хуже. Стреляться. Стреляться, стреляться... немедленно. Но нельзя. При Машеньке нельзя. И вообще. Но надо. Но нельзя. Но нельзя и ничего другого. Он пошел в кабинет, открыл свой бар и, достав бутылку, натужно вдавил в себя несколько полновесных глотков водки прямо из горлышка.

— Папа! — крикнула паршивка Катька из-за двери. — Мы ведь сегодня уже не пойдем гулять?

— Нет, Катушка, — отозвался он перехваченным голосом, и тут же в горле булькнуло, он громко рыгнул и едва удержал рвоту; водка не хотела укладываться в желудке и брыкалась, просясь обратно. Вытер губы тыльной стороной ладони. — Сегодня уже не успеем. Завтра.

Симагин думал.

Ася ждала.

Болело все, и надлежащие таблетки в надлежащей последовательности Вайсброд принимал, уже не надеясь ни на выздоровление, ни на облегчение, а просто чтобы обеспечить себе хоть какую-то активность позиции, сохранить хотя бы иллюзию власти над тем полуразложившимся трупом,

который все еще вынужден был носить в качестве тела. Он никогда и ни в малейшей степени не был религиозным человеком, не стал им и теперь, к старости; даже смерть жены не сделала его более восприимчивым к поповским бредням, хотя с чужих слов он знал: часто потеря близких так бьет по нервам старого человека, что он начинает юродствовать, чая воскресения на небеси. Но вот это Вайсброд понимал очень хорошо: носить тело. Я устал носить это тело. Мне осточертело унижение, связанное с этой бренной оболочкой. Все внимание, все силы, весь остаток разума уходят на то, чтобы заставить как-то еще шевелиться этот продолговатый сгусток отвратительной слизи, весь червивый, весь гнилой, весь смердящий, весь жестоко и бессмысленно страдающий — в сердцевинке которого, словно некая тайная святыня, оберегается от внешних воздействий и нескромных взглядов сгусток еще более отвратительных и совсем уже не имеющих никакого смысла нечистот.

После смерти жены силы длить каждодневное мучительное прозябание давала ему лишь надежда дожить когда-нибудь до истечения срока секретности, который приколол его, словно насекомое, к столь долго любимому им дому, городу, миру, — и уехать к сыну. Умом он понимал, что эта надежда иллюзорна; ему столько не прожить, а если судьба будет милостива и он дотянет до времен, когда можно будет начать хлопоты, и даже дотянет до получения визы, то ни при каких обстоятельствах не переживет тягот перемещения с Васильевского острова в Бейт-Шемеш. Но он понимал также, что все на свете надежды иллюзорны и тем не менее только они, эти сусальные несбыточные грезы, во все века и для всех людей всегда являлись и будут являться основным источником сил, необходимых для какого угодно дела. Пусть даже для дела просто прожить еще несколько месяцев или несколько лет. И потом, иногда принимался он подбадривать себя воспоминаниями, в феврале сорок третьего года, когда после окончания артиллерийского училища младший лейтенант Вайсброд впервые попал на фронт, победа над немцами тоже казалась несбыточной грезой, теряющейся в туманно-розовом сверкании будущего чуть ли не где-то рядом с построением коммунизма. Но когда в сорок пятом

капитан Вайсброд вместе со своими рядовыми пер на себе свои пушчонки через Хинганский хребет, коммунизм оставался столь же бесплотным и далеким сверканием, как и был, — а вот победа уже стала тварной, то есть стала сотворена; хочешь — щупай, хочешь — нюхай. Может, так и на этот раз получится? Счастья все равно не будет, а Бейт-Шемеш все-таки будет. Вечная асимптота...

Ему очень хотелось доехать к сыну — хотя бы для того, чтобы, когда он умрет наконец, было кому присматривать за могилой. Ничего религиозного не коренилось в этом желании, ничего мистического — чисто земная, аккуратистская потребность знать перед смертью, что гроб не зарастет бурьяном и чертополохом. Что хоть раз в месяц, если не будет времени или возможностей для более частых посещений, кто-то придет посидеть или, по крайней мере — постоять на земле сверху. Прополоть, полить, посадить, протереть пыль... Сам он, как бы плохо ни чувствовал себя, раз в неделю обязательно отправлялся поперек города с «Василеостровской» на «Ломоносовскую» — машину водить он давно уже не мог и, каждый вечер ругательски ругая сына за малодушие и измену Родине, наспех, по дешевке продал свою «Волгу» в ту еще пору, когда сын собирал деньги на отъезд; сын тогда очень торопился, потому что эмиграцию опять зажимали, — потом втискивался, кряхтя и задыхаясь, объедаясь валидолом и прочими не идущими впрок стариковскими кушаньями, в автобус — семидесятый, девяносто пятый или сто восемнадцатый, какой первым подойдет, и тащился до проспекта Александровской Фермы. Волоча едва отрывающиеся от земли ноги, равнодушно проходил мимо вечно закрытой, год от году ветшающей привратной синагоги на кладбище, добредал до могилы и — полол, поливал, сажал, протирал пыль... Потом, смутно подозревая почему-то, что правоверные его осудят, и оттого выбирая момент, когда никого не наблюдалось поблизости, доставал из кармана специально принесенную из дома фляжку и выпивал пару глотков водки. Он и стакан засадил бы залпом без отрыва; впервые ему такое удалось после форсирования Днепра осенью сорок третьего, и этих способностей, в отличие от многих прочих, у него с той поры не убавилось — но тогда уж точно

он не дополз бы до дому. А потом, ощущая, как теплеет в желудке, и от этого тепла иллюзорно молодея, он — тоже обязательно — брел к стоящему поодаль от могилы памятнику погибшим в войну и, тоже почему-то немного стесняясь, с кряхтением гнул негнущуюся спину и клал к памятнику каких-нибудь недорогих цветов.

Вот чего-то такого же он хотел для себя — а здесь уже не было ни души. Правда, стоило всерьез представить, что ему удастся дожить до отъезда, сразу начиналась достоевщина: ведь если он уедет, к Фанечке и к родителям тогда уже никто не сможет приходить и — пропалывать, поливать, сажать и протирать пыль. Тогда Фанечка и родители останутся совсем одни и зарастут бурьяном и чертополохом. Имеет ли он право? Но сын ведь уехал. Его эти соображения не остановили. Значит ли это, что он предатель? Если он предатель, тогда и я буду предатель. Но разве мой сын может быть предателем? Да как мой язык поворачивается так говорить о моем сыне? Он же самый добрый, самый славный и самый талантливый! Но если он не предатель, тогда и я не буду предатель. Хорошо, но как же тогда Фанечка? И мама с папой? Значит, все-таки предатель? Но ведь Даня уехал, понимая — во всяком случае, смог бы понять, если бы хоть на миг задумался, — что, когда я тут умру, к Фанечке и ко мне никто не сможет прийти. Даже раз в год, даже раз в пять лет — потому что, кроме Дани, у нас никого не осталось, а тех, кто уехал, обратно не впускают. И все-таки при этом он не предатель, потому что... я ведь это уже доказал... не помню как... а! Вспомнил! Потому что он самый добрый и самый славный! Но тогда не буду предателем и я? Или ко мне это не относится? Так он зачастую винтился по кругу очень долго, словно гайка с сорванной резьбой, и мог проехать свою «Василеостровскую» или забыть вовремя принять очередное лекарство — в зависимости от того, в какой именно момент начинал завинчиваться. Только одно средство могло пресечь медленное, но верное нарастание шизофрении, сопровождавшее, как он был всерьез уверен, долгие размышления на сей предмет, — вспомнить, что проблема имеет чисто умозрительный характер; что, положа-то руку на сердце, не доживет он.

В тот день он как раз снова совершил свой сладкий подвиг. Тринадцатого — а уж совсем недолго осталось — был Фанечкин день рождения, и надлежало прибраться к дате, навести порядок и глянец. Глянец он оставил на следующий раз, он обязательно пойдет туда именно тринадцатого и уж глянец этот самый наведет; но и порядок, и глянец навести за раз не под силу, так что надо делать по разделениям. Погода была редкостно прекрасной; еще неделю назад он буквально плыл туда по лужам, протискиваясь сквозь хлесткий ливень, и едва сумел поковыряться в грязи на пронизывающем ветру, одной рукою кое-как удерживая над собой рвущийся в небеса зонтик — а сегодня прогулка была одно удовольствие. И могила, будто улыбаясь солнцу, наконец запестрела высаженными бог весть когда и по сию пору никак не распускавшимися цветами — казалось, Фанечка, мама и папа рады приходу Вайсброда и, что греха таить, попросту веселятся от хорошей погоды, как и все обычные люди.

Теперь Вайсброд сидел усталый в уже много-много лет назад умятом до пружин кресле у открытого окна, выходящего почти на кинотеатр «Балтика», и дышал. Напоенный вечерним солнцем тюль у окна медлительно, широко колыхался от теплых дуновений снаружи; его паутинки перебирали солнечные лучи так по-летнему, так безмятежно, что Вайсброд, решив отдохнуть на всю катушку, достал свою флягу, сделал еще глоток, а потом положил флягу на журнальный столик так, чтобы можно было в случае необходимости достать ее, не вставая. И снова иллюзорно сбросил лет пять. Он сидел, и ему было необъяснимо хорошо, когда в дверь позвонили.

Недоумевая, кто бы это мог быть в такой час, без предварительного звонка по телефону — да его и по телефону-то уже очень давно не беспокоили, кому нужен ком слизи, — он поднялся, на всякий случай убрал грешную флягу с глаз долой и пошаркал, приволакивая ноги, к входной двери.

— Кто там? — старческим фальцетом громко осведомился он.

— Эммануил Борисович, откройте, пожалуйста! — раздался голос с той стороны. — Это Вадим Кашинский!

Кустистые, почти брежневские брови Вайсброда взлетели вверх на мгновение — но, когда он, неловко возясь и звеня цепочками, будто освобождающийся пролетарий, отворил дверь, его лицо уже было невозмутимым.

— Здравствуйте, Вадик, — вежливо, но с отчетливой прохладцей сказал он отвратительному доносчику и подонку, погубившему дело его жизни.

— Добрый вечер, Эммануил Борисович, — ответил лысый сикофант. — Извините, ради бога, за вторжение, но я предполагал, что вам, кроме как у себя дома, быть негде, а дело срочное... Можно я войду?

— Входите, — сказал Вайсброд, отступая на шаг в сторону, а затем закрыл за мерзавцем дверь. — Вот тапочки.

Они прошли в так называемую гостиную, Вайсброд снова опустился в свое еще теплое кресло. Оказалось неудобно. Тогда он, не вставая и только немощно упираясь ногами в пол, чуть развернул кресло так, чтобы сидеть хотя бы вполоборота к Кашинскому, который, не колеблясь ни секунды, уже взял стул от вайсбродовского письменного стола — одновременно, как успел заметить Вайсброд, кинув проворный взгляд на лежащие на столе бумаги — и уселся напротив Вайсброда.

— Ужина я вам не предлагаю, как вы понимаете, — сказал Вайсброд. — Нечего. Я живу очень скромно.

Кашинский замахал руками и затряс нездорово одутловатыми щеками.

— Что вы, что вы, Эммануил Борисович! Разумеется! Я не голоден! Я на минутку!

— Ну хорошо. Выкладывайте, что у вас стряслось.

Вайсброду ужасно захотелось сделать еще глоток из фляжки. Но при этом негодяе было неловко. Как только он уйдет, предвкушал Вайсброд, первым делом, что бы там ни было, чем бы он ни испортил мне настроение, — встану, вытащу флягу из-за книг и дерябну.

— Очень трудно объяснить, Эммануил Борисович, — произнес Кашинский, заметно нервничая, но нервничая, как показалось Вайсброду, как-то сладостно, предвкусительно. Вожделеюще. — Тем более что я и сам многого не знаю... Эммануил Борисович, кстати. Когда вы в последний

раз виделись или хотя бы по телефону общались... с Андреем Симагиным?

— Н-ну, — сразу насторожившись, раздумчиво протянул Вайсброд, — мне трудно припомнить точно... голова-то уже не та. Знаете, Вадим, я лекарство-то, не помню, принял нынче в два или это было вчера, а сегодня принял только с утра, в десять... и гадаю хожу, вчера я принял в два или сегодня? Или, может, позавчера? — и даже улыбнулся. Кашинский с готовностью заулыбался ему в ответ. Улыбка у него была такая же отвратительная, одутловатая и замученная, сладенькая и жирненькая, как он сам.

— Ну, это я понимаю, конечно, Эммануил Борисович, — с подозрительной покорностью поддакнул он. — И все-таки...

— Первое время мы с Андрюшенькой регулярно общались, сын-то у меня далече, так Андрей мне как-то вроде сына стал, что ли... — Лишний раз Вайсброд дал Кашинскому понять, что ни в какие игры против Симагина, если таковые затеваются, его не втянуть. — Потом, постепенно, он как-то отдалился. Из лаборатории ушел, делом не занимается... Уж не так интересно стало ему со мной, да и мне с ним... — Лишний раз он дал понять сикофанту, что не скажет ничего.

— А вы уверены, что он, уйдя из лаборатории, и впрямь делом перестал заниматься? — спросил Кашинский. — Он ведь теоретик, мозга! — с панибратским снисходительным уважением произнес он с ударением на последний слог. — Мог и дома что-то измышлять. Как на ваш взгляд?

Ага, подумал Вайсброд. Это что-то новенькое. Интересно.

— Нет, ничего не могу сказать. Он мне не рассказывал. Мы и по первости-то, когда встречались, сплетничали в основном по поводу судеб страны да науки в целом, а еще — сотрудникам лаборатории косточки мыли, — опять улыбнулся Вайсброд. — Он знал, чем меня развлечь. Дело стариковское... Научными своими соображениями, ежели у него они и возникали, он со мной не делился. И правильно. Я уже отстал, Вадим. Тут болит, там болит... Одно время мы даже пошучивали: дескать, давай, Симагин, скорее волновую терапию, а то не доживет старик Вайсброд. Но все наоборот: я

прожил, наверное, уже вдвое дольше, чем рассчитывал, а никакой терапии так и не получилось.

— А чего-нибудь более интересного? — пристально глянул Вайсброду в лицо Кашинский. — А, Эммануил Борисович?

— Вадик, вы, по-моему, что-то знаете и на что-то намекаете, а я в полной растерянности. Вы мне скажите толком, на что намекаете, — и тогда я вам толком скажу, слышал я об этом от Андрюши или нет. И весь разговор. Я устал сегодня.

— Да в том-то и дело, Эммануил Борисович, что именно толком-то я и не могу ничего сказать! — сокрушенно покачал головой подлец. — Вызывает меня сегодня мое по главной линии начальство, — сообщил он с откровенностью, означавшей уже неприкрытую угрозу: видишь, старик, не в бирюльки играть пришел к тебе! — И тоже толком-то ничего не говорят. Но видно, что там, у ловцов человеков-то, прямо муравейник разворошенный. И соображаю я себе, Эммануил Борисович, что гений наш чего-то сильно напортачил. Натворил творец, скажем так. И натворил, похоже, с применением каких-то наших средств. То ли воздействие на психику посредством биоспектрального облучения, то ли... то ли еще что-то похлеще. И вот мне поручено, просто-таки поручено у вас узнать как можно тщательнее и подробнее, не знаете ли вы... а вы наверняка знаете, он же в свое время без вас шагу ступить не мог, похвастаться — к вам, поплакаться — к вам, посоветоваться — к вам...

Кашинский ходил вокруг да около просто потому, что не знал, как правильно и четко сформулировать вопрос. Грубо говоря — о чем, собственно, спрашивать. Прямо спросить про телепатию, или телекинез, или про умение летать у него не хватало духу. Сошлется старпер на то, что я псих, думал он, и вообще ничего не скажет, будет беседовать как с психом, и не подкопаешься к нему. Посоветует к врачу обратиться...

Он вообще пришел сюда на свой страх и риск. Бероев совсем не поручал ему беседовать с Вайсбродом. Бероев давно списал немощного, больного старика со счетов, и вообще — чисто по-человечески не хотел беспокоить едва живого человека, которому осталось коптить небо... неизвестно сколько, но уж явно немного; да и не в сроке дело, а в том, что и некрасиво, и настоятельной необходимости нет. Была бы — другой коленкор, тогда бы стало, как часто бывает, не до красоты поступков; но в нынешней ситуации Бероев на Вайсброда ставки не делал и просто его жалел.

А вот Вадим этих соображений не ведал. После жуткого разговора в Тавриге, от которого он не меньше получаса не мог очухаться, он решил, что попытка — не пытка. Ему необходимо было реабилитироваться перед Бероевым... но главное — перед самим собой, в собственных глазах. Судьба, похоже, дала шанс все-таки победить Симагина. А может, и Вайсброда заодно. Выпотрошить и утопить. Он не собирался упускать этот шанс.

Он знал, чувствовал, помнил — что-то тут есть. Никакой отчет, даже самый подробный и добросовестный, никакой, даже самый эмоциональный рассказ не может заменить личного присутствия; а он, Кашинский, лично присутствовал там, в гостинице, когда Симагин, глядя всепрощающе и всевластно, как Бог — даже у Бероева никогда не проскальзывало взгляда, в котором угадывалась бы ТАКАЯ сила! — что-то мягко и убедительно ворковал ему, а он — он плакал и на какие-то недели стал другим человеком. Верящим, ждущим... Он, Кашинский, лично присутствовал в лаборатории, когда удавались попытки развертывания латентных точек — со временем эти удачи становились все более редкими, пока наконец окончательно не сошли на нет, — и помнил лица Симагина и Карамышева, и помнил их слова, короткие обмены непонятными непосвященным репликами...

А потом он перестал быть верящим и ждущим. Он стал язычником, дикарем, желающим во что бы то ни стало втоптать в грязь, расколошматить вдребезги изваяние божка, который не откликнулся на обращенные к нему мольбы и не совершил чуда.

Он знал, чувствовал — что-то там есть. Что-то они придумали, эти проклятые таланты, эти сильные и умные, которые никогда и нигде не подпускали его к себе и не давали ему ни крошки со своего изобильного, задарма заваленного снедью стола... а когда он робко пытался схватить хоть кусочек, хоть крошечку — нещадно били по рукам. И теперь он

имеет право на все. На все, что стоит на столе; на все, до чего сумеет и сможет дотянуться. До чего у него хватит духу дотянуться.

И еще посмотрим потом, что он расскажет Бероеву, а что оставит при себе... Для себя.

Старик что-то плел; крутил, юлил, изворачивался. Врал. Скрывал. Выгораживал. Ну что ж, и я повру немножко, и посмотрим, как вам это понравится, Эммануил Борисович. Кто кого переврет.

— Вот что, Эммануил Борисович, — прервал он Вайсброда, постаравшись придать своему голосу властную жесткость. — Я все понял. Понял, что вы мне хотите сказать. А вот вы меня не поняли. Речь идет о деле государственной важности. Оно было важным уже тогда. Но стократ важнее оно стало теперь, когда у нас нет ни тех ракет, ни тех танков, ни тех пехотных полчищ... Вы прекрасно понимаете это. Ради такой цели государство может пойти на многое. И не только наше государство. Мы живем теперь, как и в первые годы Советской власти, во вражеском окружении. Почти в кольце фронтов. И должны особенно озаботиться тем, чтобы шансы, которые дает биоспектралистика, не уплыли к нашим бывшим коллегам и нынешним врагам.

— У таких, как вы, все враги, — мягко и негромко, но уже без маразматического сюсюканья, не то что в начале разговора, произнес Вайсброд. — А у меня старая закваска. Люблю Украину, Кавказ и Поволжье...

— Это вы можете делать сколько вашей душеньке угодно, но вряд ли они ответят вам взаимностью, — издевательски усмехнулся Вадим. — А речь-то идет как раз не о том, любим мы их или не любим, а о том, чтобы заставить их любить нас. И не только их, разумеется, а и тех, кто подальше. — Он перевел дух. Надо решаться, подумал он. Кто кого переврет. Старик все равно не сможет поймать меня на слове, никак. Не проверить ему моих слов. — Ваш сын, — сказал он и с удовольствием отметил, как старый еврей сразу вздрогнул, — неплохо устроившийся где-то, если мне память не изменяет, неподалеку от Иерусалима, решил, видимо, что улетел на Марс и теперь ему все позволено. А вы, как человек старой закваски, — он опять холодно усмехнулся, —

не можете не понимать, что такая маленькая и такая значимая страна просто-таки должна быть нашпигована агентами различных спецслужб. Ну, как, скажем, Швейцария во время Второй мировой войны. И со стороны вашего Данечки... кажется, теперь надо произносить — Даниэль? А впрочем, не знаю и знать не хочу... было весьма неосторожно и просто-таки неосмотрительно настораживать публику заявлениями, что в секретной русской лаборатории, в течение многих лет возглавлявшейся его отцом, вот-вот овладеют телекинезом, телепатией, левитацией... Бог ведает, чем еще.

Он куражился от души. И чувствовал себя таким сильным, каким никогда еще не бывал в присутствии Вайсброда. Он свалил все опасные, запретные, невероятные слова на другого, и теперь с него, Вадима, взятки были гладки. И вот мы проверим сейчас, насколько эти слова невероятны. Если старик захихикает мне в лицо, посмотрит как на придурка — все, попал пальцем в небо, и можно понуро уходить в задницу. Но уж если отнесется серьезно...

Он едва сдержал ликование, когда увидел, что старик дернулся и начал задыхаться.

— Этого не может быть, — сипло выговорил Вайсброд. — Вы лжете.

— Хотите — верьте, — Кашинский небрежно пожал плечиком, — хотите — проверьте. Но мне неоткуда было бы это узнать, если бы мне не передали те, кому передали наши сотрудники, слышавшие все собственными ушами. И согласитесь, не только наши сотрудники могли это слышать. Ах, как было бы хорошо, Эммануил Борисович, если бы вы сами все подробно и связно рассказали! Нам не было бы никакой нужды верить слухам и обрывочным, непрофессиональным фразам... А так... вы же понимаете, чем ваш сын рискует. Если вы не расскажете, возникнет угроза, что нас опередят там и получат информацию не от вас, а от того, кто под руками, то есть от Дани... Откуда мы знаем, сколько ему известно? Что вы в свое время ему рассказывали по-семейному? Мы не знаем, и вы ничего не говорите. Приходится предполагать худшее... А речь идет о деле государственной важности, повторяю, значит, все средства хороши. Значит, нашим сотрудникам, возможно, придется предотвратить утечку ин-

формации самым радикальным образом. Вы же понимаете, мусульманских фанатиков, арабских террористов там пруд пруди, и еще одна смерть во время взрыва в магазине или в автобусе... или просто выстрел на улице...

Как это было сладко! Как это было величественно! Он от души говорил «мы», «нам» — сейчас ему грезилось, будто он и впрямь вещает от лица одной из могущественнейших организаций мира и вся ее сила — работает на него. Подчинена ему. Он мог вертеть этой силой, как хотел. Он повелевал ею, а не она — им. Впервые. Такое впечатление было, будто бы он вдруг начал жить впервые. Что по сравнению с этим великолепным, ослепительным ощущением всемогущества были даже те недели, когда он, убогий, но просветленный, смиренно ждал и надеялся, когда Симагин совершит для него персональное чудо. Теперь чудеса творил он сам.

— Вот что, Вадим, — едва слышно просипел Вайсброд. Грудь его ходила ходуном, и голова бессильно откинулась на спинку кресла. — Поднимайтесь немедленно и уходите отсюда вон.

— Вот уже и вы сильно рискуете, Эммануил Борисович, — произнес Кашинский с той мягкостью всевластия, с которой иногда говорили с ним Симагин, Бероев или сам Вайсброд. Сейчас он платил им их монетой. — Причем не только собой, но и жизнью единственного сына.

— Вон, я сказал! — всхлипнув нутром, выкрикнул Вайсброд на надрыве.

Кашинский поднялся со стула и постоял немного, с наслаждением глядя с высоты, как бывший великий корчится, словно полураздавленный червяк.

— Действительно, мне сейчас лучше уйти, а то вы невменяемы, — сказал он. — Первая реакция может быть самой нелепой и самой опасной. Эмоции, эмоции... Вы успокойтесь, поразмыслите, а утречком я к вам зайду. Позвоню и зайду.

— И не вздумайте, — просипел Вайсброд.

— Вздумаю, Эммануил Борисович, вздумаю. А теперь — до свидания. Вам, я погляжу, нездоровится? — участливо осведомился он. — Водички принести?

— Немедленно вон, — упрямо сказал Вайсброд, не в силах и рукой шевельнуть, и только косо боднул головой.

— Ну хорошо, хорошо. Не надо так горячиться. Потом сами жалеть будете. Дверь захлопывается, да? Тогда не провожайте меня, отдыхайте. До завтра, Эммануил Борисович. Не расхворайтесь, смотрите.

Грохнула дверь — но Вайсброд почти не слышал. Уши заложило, и перед глазами бушевала черная метель. Раскаленная боль в животе и груди стремительно распухала, словно некий стеклодув-садист виртуозно выдувал прямо Вайсброду внутрь длинный пузырь расплавленного стекла. Вайсброд все понял и даже не сделал попытки встать и добраться до лекарств. Нитроглицерин, сустак форте, нитронг мите... какие пустяки. Третий инфаркт. Вот и чудесненько.

Фанечка, здравствуй, успел подумать он. Видишь, я не предатель. Никуда я не уехал, мы ведь с тобой, девочка, всегда это знали. Умираю, где жил.

И умер.

Симагина будто ожгли кнутом. Вот и еще одна кровь на мне, ощутил он.

Он растерялся. Он не поспевал за событиями. Слишком быстро разбегались круги по воде.

Он уже нашел энергию. Энергии теперь было — завались, как говорили они в детстве. Восемь беспланетных, абсолютно изолированных голубых гигантов в Малом Магеллановом Облаке, чье исчезновение не скажется даже на структуре интегрального гравиполя Галактики и не поведет к сколько-нибудь значимому изменению траекторий звезд. И, что особенно ценно, две сытные, наваристые черные дыры относительно неподалеку — одна близ Мю Змееносца, другая на полдороге от Солнца до Спики. Самые тщательные прикидки не давали ни малейшего повода для опасений; насколько вообще можно просчитывать будущее, настолько оно было просчитано, и в пределах допустимых погрешностей Симагин видел, что исчезновение этих объектов не повлечет никаких нежелательных последствий ни для Вселенной в целом, ни для какой бы то ни было, сколь угодно дробной, ее части. Но что было делать с этой прорвой доступной энергии, он пока не знал.

После короткого замешательства он понял, что ночной гость вполне сознательно накидал улики с ошибками и неувязками. Тут не было никакого просчета, никакой небрежности или халатности с его стороны — был четкий и остроумный план. Что ему было бы с того, что версия виновности Симагина выстроилась бы неуязвимо? Что с того, если б все факты сходились в один фокус, а не противоречили друг другу загадочным образом? Именно эти противоречия обеспечили такой широченный веер разнообразных последствий, что взять ситуацию под контроль становилось труднее и труднее с каждой минутой.

Конечно, думал Симагин, он никогда не решился бы рисковать собой, сам убивая людей. Только надежда как следует потрепать меня, обескровить, обессилить, надолго вывести из строя соблазнила его пойти на риск. Опасность непредвиденных последствий довольно-таки абстрактная, а ставка — видимо, весьма высока, хотя почему он так на меня взъелся — ума не приложу... Но получилось, что Кира и Валерий погибли из-за меня. Я не принял его предложение — и это привело к смерти двух людей. Двух дорогих мне — хотя и в разной степени, что греха таить, Аси я ему не прощу... двух дорогих мне людей. А теперь, чем дальше бегут круги по воде, тем больше народу оказывается в экстремальных ситуациях уже по вполне естественным причинам, и этот мой гостюшка, я прямо-таки вижу, наслаждается и похихикивает от наслаждения, демонстрируя мне, как люди либо погибают, либо ломаются и становятся мразью. Как побеждают и радуются жизни мрази — и страдают те, кого я счел бы своими. И каждая смерть или каждый надлом — на мне. На моей совести. Я еще ничего не сделал, только захотел сделать, только-только начал делать — а вокруг уже сплелась и продолжает, что ни час, с нарастающей стремительностью все плотнее сплетаться и скручиваться паутина боли, пелена боли, силки и сети боли, отгораживающие меня от мира, высасывающие силы... если не разорвать их в ближайшее время, они меня спеленают намертво, я ни рукой, ни ногой пошевелить не смогу, будет паралич, как у Бероева... только навсегда.

Конечно, он спит и видит, чтобы я начал всех спасать. Я же не могу бросить своих, израненных, погибающих, — на

произвол судьбы. Чтобы я начал метаться к одному, к другому, наворотил бы черт знает чего... Киру воскресил бы, принялся бы с должной кропотливостью восстанавливать стертую из ее мозга информацию, собирать ее по крохам, потом вкрапливать в ее нейроны... тем временем — еще пара-тройка трупов и восемь-десять трагичнейших пожизненных сломов, и все на мне, и я — еще слабее, еле дышу. Бросился туда, выручил кого-то из последних сил, Вайсброду, скажем, сердце залатал — и снова наворотил, потому что без настоящего просчета, в истерике и спешке, каждое вмешательство просто по элементарной статистике будет иметь среди стремящегося к бесконечности числа последствий по меньшей мере половину плюс одно последствие, губительное для меня, или, по крайней мере, присоединяющее свое воздействие на мир к той паутине, пелене, к тому изолирующему кокону, который и без того вокруг меня ткется не по дням, а по часам... по минутам... Мука бессилия. Удушить меня задумал гостюшка.

И в то же самое время я действительно никого из них не могу бросить на произвол судьбы, оставить погибать без помощи и без надежды, без помощи и без надежды... оставить уже погибшими без помощи и без надежды. Хотя бы потому, что оставить их так — это для меня самоубийство. Не говоря о моральной стороне дела — вернее, именно в силу моральной стороны дела не спасти тех, кто пострадал из-за меня, — значит, поставить на себе крест. Я никогда не выберусь обратно в реальность. Меа кульпа, меа максима кульпа... и шабаш. Паралич от вины. Горе от ума у нас уже было в классике... да и без классики, в реальной жизни, тоже хватало... а вот до паралича от вины — покамест никто не допер. У нас все правые, виноватых нет. Мой приоритет.

Да если бы не теплилась надежда все поправить — я уже сейчас растекся бы по полу камеры малоаппетитным и ни на что не способным студнем.

Антон. Ася. Кирочка. Валерий. Вайсброд.

А Листровой? Да, не праведник, не подвижник — и хорошо, ведь если бы человечество состояло только из подвижников и праведников, оно вымерло бы, ибо ни один подвижник ни в чем не может договориться ни с каким другим...

До чего он к утру дойдет? Ведь он уже почти уверен в моей невиновности — а его за руки, за ноги тянут меня немедленно засудить. А Бероев? Ну кагэбэшник, подумаешь, — но ведь нарочитых, сладострастных, корыстных подлостей не творил, только то делал, что было необходимо по долгу службы, да еще и старался, насколько сил и разумения хватало, делать это помягче... мой же человек-то, мой! А благородный, блистательный Аристарх? Что с ним стало, господи ты боже мой! И что еще станет... что еще он сам с собой сделает... А сын его, а милая Верочка? Спасать их, спасать!

Как?

Только не порознь! Только не гоняться за каждым! Он меня на этом удавит. Нужна некая комбинация, которая принципиально изменит положение в целом, а уж это изменение, в свою очередь, автоматически должно дать веер локальных побед. Один, только один удар у меня в запасе — и либо пан, либо пропал. Либо я этим ударом выручу всех — либо грош тебе цена, Симагин. Отваливай в свой спокойный слезливый паралич. Ася только плюнет вслед воспоминанию о тебе; и будет права.

А Кира и Антон останутся мертвыми.

Переженить бы их, вот что. Она бы и при мне осталась — и не валандалась бы с пожилым и уже, в сущности, занятым мужиком, а хорошего свободного парня получила... Или буду к сыну ревновать?

Один удар у меня, один.

В половине первого Ася поняла, что Симагин сегодня уже не проявится. Конечно, не было никакой уверенности, что именно сегодня он зайдет — он же сказал вчера: завтра или послезавтра, — но она все равно ждала и очень нервничала. С сыщиком ей удалось изобразить олимпийское спокойствие, она даже не попыталась спросить его о чем-нибудь — но сердце грозило выпрыгнуть из горла и лягушкой поскакать по полу коридора, потому что ведь что-то серьезное происходило с Андреем, а возможно — уже и с Антоном, а она знать не знала, ведать не ведала и даже гадать боялась, чтобы не довести себя до полного умоисступления. Повторяла только, как заклинание, потому что, на самом-то деле, это и было заклинанием охранным, оберегом: Антон —

жив... Антон — жив... Вот ось вращения мира. Ася и была мир. Все остальное — лишь вихри вокруг вращения. И был еще Симагин, который этот мир согрел. А никаких следователей я не боюсь. Он сказал не бояться — я и не боюсь.

Немножко она посердилась и некоторое время даже раздраженно выговаривала в душе то ли Симагину, то ли кому-то о Симагине. Ну конечно. Что с Симагина взять! Только лишняя головная боль. За него теперь еще переживай! Будто мне переживать больше не за кого! Теперь, когда за Антона можно было не беспокоиться так исступленно и безысходно, как последние несколько месяцев, — а в словах Симагина она не сомневалась ни на волос, не тот человек Симагин, чтобы зря ее обнадежить или сказать что-то не наверняка, — ей на какой-то момент показалось, будто она уже соскучилась по той одинокой свободе и независимости, которые еще позавчера были ей столь верным, столь привычным прибежищем. Антон — жив, раньше или позже я и сама бы это узнала. А так — надела себе на шею еще и Симагина. Она попыталась было заставить себя пожалеть, что вообще к Симагину обратилась... что встретилась с ним, о чем-то попросила...

И когда ей это почти удалось, ей стало вдруг так тошно, так тоскливо, как давно уже не было. Давным-давно.

Все, Аська, сказала она себе окончательно. Кончай дурить. Колесо судьбы свершило свой оборот. Тебе остается только надеяться и ждать. И верить. Потому что, помимо всего прочего, тебе это нравится. Тебе приятно ждать и верить. Ждать Симагина и верить ему. Хватит дурить, хватит закрывать на это глаза. И вдруг опять в голове всплыло: совершенное на себя ненадеяние, дерзновенная вера в Бога и твердое на него упование... Она чуть усмехнулась и покачала головой.

Эх, Симагин. Вот как жизнь-то повернулась.

Остаток вечера прошел в холодной, враждебной обстановке. Никто Листрового не упрекнул за очередное опоздание с работы на целых четыре часа, никто ни о чем не спросил и вообще даже не попытался заговорить. Апофеозом явилось то, что жена решила опробовать какую-то новую косметическую маску и, ничуть не стесняясь, будто мужа во-

все дома нету, ходила по дому вся болотно-зеленая, даже бугорчатая какая-то, жуткая до невозможности. Только глаза моргали, как у театрального негра. Чем Фантомаса из себя изображать, вконец раздражаясь, подумал Листровой, лучше бы, ёхана-бабай, на задницу похудеть попробовала. Эта вон сегодняшняя красотка полузамученная... тягловая Семирамида, небось вообще не знает, что такое все эти примочки и зачем они, носит свои набрякшие веки и синяки под глазами, точно ордена... видно, что некогда ей идиотством заниматься, да и незачем, хоть мешки у ней как у запойной... а все ж таки иные. Да и в них разве дело? Я бы тебе путевку какую-нибудь выбил бы, ты бы у меня отдохнула...

Давно ему не снились бабы. Ни свои, ни чужие. А в ту ночь привиделась какая-то помесь придурошной женщины Аси и его собственной благоверной. То есть помесь заключалась в том, что была это, по сути, женщина Ася, но не придурошная, а просто его жена. И даже с виду похожа на его жену. Только по сути женщина Ася. И что характерно: он с нею отнюдь не трахался, а... в университетском коридоре, что ли, снова беседовал... И она взглянула этак... преданно... и говорит: я для тебя в лепешку расшибусь.

Никогда Листровой не слышал от женщины подобных слов. А услышав, усмехнулся бы и отмахнулся: дескать, чего баба не ляпнет, когда в одном месте свербит. Имеется в виду, конечно, палец — на который не терпится надеть обручальное кольцо. И главное, Листровой даже во сне с иронией этак подумал: может, дорогая, сейчас ты и впрямь так думаешь, а шарахнет в голову что-то другое — с тем же святым, абсолютно искренним видом будешь говорить прямо противоположное. Но тут его осенило: ну и что? Ведь действительно — сейчас она и впрямь так думает.

И оттого, что женщина с такими глазами и без зелени на роже хотя бы вот сейчас — а продлить это ее состояние на всю оставшуюся жизнь зависело, так ему приснилось, уже от него самого — могла бы, правда могла, ради него расшибиться в лепешку, — он почувствовал себя неуязвимым, всемогущим и чуть ли не бессмертным. А уж бессмертный и всемогущий он пришел назавтра на работу, так ему приснилось, и, наконец-то, ничего не боясь и не скрывая, от души

врезал Вождю и кагэбэшнику, что по их поводу думает и что думает по поводу подозреваемого. И еще во сне он вдруг вспомнил, почему показался ему знакомым, показался кем-то уже проведенным и даже запротоколированным вчерашний неуклюжий допрос. Потому что эта женщина, прекрасная помесь, жена, сказала: не делай ему ничего плохого, Симагину. Я и так из-за него уже настрадалась. Здесь тоже было что-то удивительно знакомое, но когда он проснулся утром, то опять не мог вспомнить что.

Четвертый день

Граница прошла по Каме.

Поначалу никто не относился к ней всерьез. Мало ли какую бредятину на нашей памяти начальники выдумывали? Третий решающий, четвертый определяющий — ладно, давай. Укрепление трудовой дисциплины — а чего, и укрепим. В двадцать первый век без ядерного оружия — да уж кто-кто, а мы тут точно без ядерного! Долой застой, даешь перестройку — раз надо, значит, надо, только жить не мешай. Демократия и народовластие — а-а-атлично; хоть то, хоть другое, хоть и то и другое разом. Чрезвычайное положение — давно пора! Соль — и ту днем с огнем не сы... Ох, да какого же черта опять все в Москву везут? Суверенная государственность — ну пес с ней, проголосуем, раз уж вам наверху приспичило. Все природные ресурсы и промышленные предприятия являются национальным достоянием Уральского Союза Социалистических Республик — слушайте, а ведь верно, а вдруг и нам чего перепадет?

Но, коли на пригородной электричке приезжал с российского берега свояк или кум повечерять, как встарь, и пихал соседа за столом локтем в бок, ухмыляясь хитро: ну, дескать, что, не ус-срались вы тут в УССР от обилия ресурсов? — то нечего было ему ответить. Национальным достоянием Уральского Союза ресурсы, может, и стали, кто проверит, — но легче от этого не сделалось.

Поначалу только похохатывали, и сразу, буквально в несколько недель, целая гроздь новых анекдотов вызрела и рассыпалась по школам, заводам, квартирам, даже детским садам — один другого смешней и забористей; но вскоре нов-

шества начали раздражать помаленьку. В магазинчиках оказавшихся за границей пригородов, и прежде-то почти пустых, стало окончательно шаром кати; ведь не обязаны же мы снабжать иностранные деревни, когда самим не хватает, правильно? Ну а Краснокамск прокормить административно перекочевавшие к нему населенные пункты, видать, тоже не мог. И пошли, как прежде только в Первопрестольную ходили, из-за моста в Пермь хлебно-колбасные электрички. Саранча саранчой выхлестывали из них вроде бы и не такие многочисленные — но это раньше так казалось — деревенские, штурмом брали привокзальные продуктовые и хозяйственные магазины и отступали обратно, с боями защищая трофеи от вагонного ворья, вконец распоясавшегося в неимоверных, невообразимых давках. А если учесть, что чуть ли не у четверти города в деревнях родственники, свойственники, знакомые... и всяк норовит за счет молодого, не окрепшего еще государства своих ненаглядных попасти...

Ввели пограничную стражу, ввели таможни.

Если в сумке едущей из города за реку бабки оказывалось больше одного батона или одного кочана капусты, сами больше всех остервенелые от гнусной своей работы таможенники сумку рвали у нее с руками и с деньгами: расхищение национальных ресурсов!

Стало не до анекдотов. Уже откровенно злобно, костеря начальство на чем свет стоит, метались пермяки среди наспех начирканных указателей и транспарантов: «Паспортный контроль», «Пограничный досмотр», «На пригородные поезда Горнозаводского направления билеты продаются только при наличии удостоверяющих личность документов и документов, удостоверяющих целесообразность данной поездки (командировочное предписание, родственный вызов, загородная прописка и пр.)», «При наличии заверенной врачом справки о тяжелой болезни или смерти родственника разовые визы оформляются вне очереди. Необходимо также предъявлять справку о том, что тяжело больной или умерший родственник проживает (проживал) именно в том населенном пункте, куда оформляется виза». Нечто подобное, как припомнил какой-то ветеран, он в сороковых в погранвойсках как раз служил — и слова его на все лады повто-

ряли в городе и окрестностях, — переживали после войны деревеньки в Карпатах, в Бессарабии, когда Сталин по-живому кроил завоеванные земли; но тут-то, возмущались люди, ни войны, ни Сталина, сами же, бляха-муха, бумажки в урны кидали! И от того, что — сами, становилось еще тошней, и потому злости на тех, кто не кидал, потому что жил за рекой, в Российском Союзе, делалось еще больше.

К осени же оказалось что, наоборот, в деревнях урожай поспел, а в город товарищ всенародно избранный президент завезти продовольствие забыл, не до того ему, у него по-настоящему серьезных дел невпроворот: какому дальнему зарубежью какой из национальных ресурсов УССР продать за немедленную валюту... и покатилась саранча теперь уже из города в деревни — по трем веткам, одна из которых волей-неволей вела за кордон. И у кого хоть какая-то родня могла найтись в Гурье, Ласьве, Мысах, Лешаках и дальше, дальше... словом, в чужедальней стороне; кто хоть припомнить мог какую-нибудь седьмую воду на киселе — с воем сносили, как вода в паводок, наспех понастроенные на вокзале контроли и досмотры и уже безо всяких билетов облепляли идущие к мосту электрички, и электрички эти приходилось в государственных целях отменять, и прущих на перроны горожан — отгонять с милицией и с ОМОНом. А сволочи, жирующие на российском берегу, спохватились и, позабыв, что мы их, паскуд, всю зиму и всю весну кормили, начали строить свои контроли и таможни уже у себя, в Перми Сортировочной, и, даже если удавалось горожанам на законном и полузаконном основании вырваться со своего берега, их безо всякого, понимаете ли, права тормозили на том.

Ну а если действительно всерьез заболел кто-то? Ведь в Перми же все больницы, хоть ты тресни, в Перми! А если не в Перми, то где? Опять Краснокамск несчастный — да сколько в том Краснокамске койко-мест, сколько врачей? Да и какого они, извините за выражение, качества — не сравнить! Но разве что блаженный возьмет к себе лечить иностранца, и разве что блаженный ни с того ни сего повезет его за кордон. Повезешь — на КПП настоишься; не ровен час, права отнимут за чужака, а привезешь — его не примут,

значит, обратно вези с тем же посвистом? Ну уж, дудки! А если кто-то по большому блату или за большую мзду попадал все ж таки в городскую больницу — его буквально помирать там оставляли: сестер не хватает, лекарств не хватает, шприцов не хватает, бинтов — и тех не хватает! Ну и в подобных условиях, натурально, сперва своим, а уж потом — так называемым россиянам. Чего с иностранцами возиться, от них все равно доброго слова не дождешься. У них своя страна есть, вон до сих пор здоровенная какая!

А преступность? Бандитам и жуликам ведь на законы плевать, значит, и на границу плевать тоже с высокой колокольни, бандит-жулик свое дело сделал и шасть за кордон! А ментам нельзя, им надо запрос подавать в консульский отдел с указанием причин преследования — а как, если ты преступника еще не задержал, а только гонишься за ним, указать причину, он же еще не пойман, значит, вина его не доказана!.. Потом, если ухитрился убедительно запрос составить, жди разрешения, потом оформляй проездные документы... Словом, можно уже и не суетиться, ищи после всех процедур ветра в поле. Некоторые ретивые блюстители порядка попробовали поначалу относиться к государственному рубежу, как бандиты, — рубежи, дескать, президенты напридумывали, у них свои игры, а нам надо людей защищать... ну, таким быстро рога пообломали. Кого понизили, кого уволили... Граница есть граница, правовое же государство строим! Мы наших бандитов чужакам в обиду не дадим! Что это получится, если ихние мусора у нас шнырять будут? И зачем нашим мусорам в ихнюю страну лазать? Пусть они сами со своими бандярами разбираются... Главное — не пускать ихних бандяр к нам! А хоть бы и огнем отгонять! Поэтому и менты, и погранцы стали, чуть что, постреливать — и с той стороны, и с другой. Ну и готово дело, пошли один за другим неспровоцированные обстрелы суверенной территории, потом — пограничные инциденты...

Странно и дико было вспомнить, что еще год назад ездили туда-сюда и, не задумываясь об уже упавшей на реку границе, дружили, как всю предшествующую жизнь; посмеиваясь, трунили друг над другом: фу-ты ну-ты, иностранец! А костюмчик-то на той же фабрике пошит, что и у меня!

У вас за границей хлеб почем? А водка? Смотри ты, все в точности как у нас! Ха-ха-ха!

Нет, уже не в точности. Совсем не в точности. Загрохотала, дробя в кровавое месиво и в костную муку все живое, сверхпрочная сталь экономики, легированная извечной нашей способностью переносить верховное самодурство тем с большим смирением, чем с большей яростью его поносят в пустопорожних приятельских и семейных разговорах; извечной нашей страстью на ближних, таких же бесприютных и сирых, срывать зло за унижения и тяготы, наносимые дальними, до которых все равно, хоть на цыпочки встань, не дотянешься... Прямому политическому давлению люди с совестью и чувством чести противостоять могут. Подчас — могут долго противостоять. А люди сильные иногда способны противостоять ему долго и даже успешно, ведь проводниками давления, как правило, являются живые, конкретные противники, требующие сообщить, сознаться, отречься, предать; и, борясь с их домогательствами, упорно отвечая: «Никогда!», смеясь в ответ на запугивания и пытки, человек может гордиться собой, чувствовать себя крепостью света в царстве тьмы, защитником и спасителем тех, чьей крови жаждут дорвавшиеся до власти бандиты. Но некого спасать порядочностью в экономической душедробилке, некому противостоять, некому гордо плевать в лицо — кругом лишь такие же загнанные, обессиленные и одураченные сумасшедшей сутолокой люди, и верность близким приходится проявлять не мужественным хрипением следователю в лицо: «Они не знали... Они не читали...» — но всего только унизительным стоянием в бесконечных, часа за два до открытия магазинов собирающихся очередях, каждодневным хитроумным добыванием то аспирина, то ботинок, то подсолнечного масла... и без конца, днем, ночью, за завтраком, в постели, с книжкой в руках или перед телевизором — деньги, деньги, деньги неотвязно... От этой изматывающей и подлой игры — тебе не отказаться, потому что в ней как бы и нет ничего подлого, просто нормальная жизнь, не политика, не идеология — быт; крутись-вертись, и все будет, а вот отказ от нее — действительно подл, и самые дорогие тебе люди рано или поздно

тебя же назовут размазней, рохлей, чистоплюем и эгоистом и будут где-то правы, ибо по твоей милости, не по чьей-то, у них меньше денег, чем у таких же, как они и ты, соседей, они голоднее и хуже одеты, они чаще и тяжелее болеют, чем соседи, — такие же, как они и ты... и мало-помалу эти самые соседи и начинают казаться тебе единственными противниками — хитрыми, алчными, беспощадными, в борьбе с которыми дозволены любые средства.

Разнобережные цены то на один товар, то на другой, то на несколько разом поползли друг от друга сперва как две отвратительные, но медлительные улитки, однако вскоре — уже как два шустрых навозных жука. Выгодным оказалось возить, скажем, ту же водку с берега на берег; сначала каждый старался сам по себе, кустарно, дико, просто чтобы не скатиться в нищету — потом, как всегда в мире преступном, победили организованность и централизация. Перевозчики начали уже всерьез отстреливаться от погранцов, привыкших безмятежно, безнаказанно и безответно палить поверх голов нарушителей, рвущихся кто сестренку навестить в городской больнице, кто пользительных ягод в деревне для ребенка прикупить — отстреливаться уже и из автоматов, и из гранатометов, и погранцы, осатанев от нежданно настоящих потерь, теперь по любому случаю стреляли уже на поражение; уже привлекали то и дело войска; уже вот-вот должны были ввести собственную валюту...

К тому времени, когда и всенародно избранные, и единолично назначенные столичные деловары обеих стран, поделив наконец территорию, поделив заводы и руду, сообразили, что в одиночку и тем и другим — шатко, и запели об общности стратегических интересов, о необходимости интенсифицировать интеграционные процессы; к тому времени, когда волнами пошли президентам на подписи и Верховным Советам на ратификации всевозможные договоры о всевозможном сотрудничестве; к тому времени, когда пресса и телевидение разом, будто по команде — собственно, почему «будто»? — принялись умильно — и тошнотворно для всех, кто хотя бы слегка знал, как все происходит на самом деле, — восхищаться тем, что, скажем, пограничник с одной стороны, рискуя собой, спас тонущего в реке ребенка со стороны другой или что врачи одной страны бескорыстно оказали помощь случайно подвернувшемуся им под руку болящему другой страны, — уже ничего нельзя было поправить. Люди начали ненавидеть друг друга, и семеро из десяти были уверены, что на том берегу — дармоеды, воры, паразитирующие на наших бедах, а потому всеми силами их усугубляющие. И то и дело слышалось и там и здесь: эти сволочи из-за речки... гады, гады, гады, вот так прямо подошли, стрельнули и убили!.. да побожусь, нет у меня там брата!..

Родители Симагина осели в родной деревеньке — в получасе езды электричкой от границы, на российской стороне. И мотаться взад-вперед на старости лет, да еще при нынешних сложностях и дороговизнах, было им уже не под силу, и свежий воздух да работа на земле казались куда как лучше для пожилого здоровья, чем бессмысленное пенсионерское сидение в городской сутолоке и духоте, и еда со своего огорода ощутимо была пользительнее и доступнее, чем дорогая магазинная гниль. Да еще — они не говорили об этом, но молчаливо надеялись оба, мама — целомудренно и робко («может, он девушку захочет пригласить...»), отец — с мужской прямотой («вдруг он как раз в кровать кого затащит, а у старухи моей опять астма разыграется, или со мной чего...»), что, располагая квартирой одиноко и безвозбранно, их помаленьку стареющий сынок с большей вероятностью сумеет все-таки наладить свою личную жизнь.

После завтрака Андрей Симагин-старший неторопливо, с удовольствием, в сопровождении степенно обнюхивавшей и метившей углы Жульки, сходил по воду — к милому сердцу колодцу, странным образом расположившемуся на холме, с которого упоительно распахивались лесистые, всхолмленные синие горизонты, — Симагин-старший всегда там останавливался на минутку и любовался; потом — в единственный в деревне магазинчик, притулившийся метрах в полусотне за переездом, думая, может быть, купить хлеба, но купил просто немного серой, комковатой муки, потому что ничего иного в магазине и не было — разве что очередь и древнее, от руки написанное объявление на весах: «Инвали-

ды и ветераны ВОВ обслуживаются в неочереди» — именно «в неочереди», так там было написано, и Симагин-старший всякий раз, торча тут, с внутренней ухмылочкой пытался представить, как существует очередь, а существует еще и неочередь. Стоит, дескать, терпеливо такая длиннющая неочередь... Анастасия Симагина тем временем мыла после завтрака посуду в ручье на краю участка — участок был большой, но не очень удобный, склоном; выходящий длинной стеной на улицу огромный, почернелый и за полтора века своего тут стояния перекосившийся дом грелся на солнышке на самом верху и в самом широком месте, а две ограды тянулись от него вниз, постепенно сходясь, и в нижнем углу из-под одной ограды вытекал и под другую тут же утекал чистый ручеек с песчаным ложем. Хорошо было, подстелив телогрейку, примоститься на дощечке и, слушая нескончаемое мирное журчание, размеренно и без суеты тереть с песочком миски, ложки, тарелки... Колодезную воду они употребляли только пить.

Потом Анастасия Симагина завела какое-никакое печево из купленной мужем муки, а Андрей Симагин-старший, как обычно, занялся картофелем. Колорадский жук, мерзкая скотина, про которую в их местах еще лет пять-семь назад и слыхом никто не слыхивал, свирепо жрал ботву все лето напролет, и обязательно надо было, чтобы сберечь второй хлеб, изо дня в день обходить поле борозда за бороздой, одной рукой держа баночку, на донце которой был налит бензин, керосин или, на худой конец — вода, а другой крутя-вертя картофельные листы и при необходимости ногтем, аккуратненько, чтоб, не дай бог, не раздавить тварь на листке — листок повреждается отравой, чернеет, — сковыривать в баночку отвратительные, прожорливые, уже самим видом и цветом своим ядовитые личинки; одни здоровенные, жирные, с полногтя ростом, другие едва вылупившиеся, мелкие, как тли. Листочек, на котором обнаруживалась кладка, приходилось отрывать весь. Иногда за день набиралось полсотни личинок, иногда — полтораста... После каждых двух борозд Симагин-старший с трудом разгибался — поясница хрустела, — поправлял вечно норовящие свалиться и потому

укрепленные на ушах резинками очки, присаживался на лавочку и отдыхал, слушая птиц. Курить он бросил еще тот год — и дорого, и не достать; и говорят, вредно.

Он прошел уже шесть борозд и отдыхал в третий раз — Настя, на минутку оставив стряпню, принесла ему попить, а потом вернулась в дом, и только старая Жулька рядом осталась, прилегла с тяжким вздохом, умостивши голову на лапы, прикрыв глаза и с рассеянным дружелюбием постукивая хвостом об землю — когда с улицы, из-за забора, донесся приближающийся клекот безрадостно карабкающейся на подъем машины. Машины здесь часто ездили — одна-единственная улица пересекала деревню в длину, параллельно железке; раньше по ней то и дело гремели в поле — с поля комбайны, так что дом ходуном ходил и стекла дребезжали; теперь комбайнов стало меньше, но больше зудливо, будто пилой по мозгам, завывающих мопедов. Однако сейчас, судя по звуку, была именно машина, и не грузовик даже, а легковая.

Остановилась.

Громко, от души помолотили кулаком в запертые изнутри ворота. Жулька вскочила с лаем. Кого это принесло? — подумал Симагин-старший, поднимаясь и сдвигая очки на темя.

— Хозяева! — нетерпеливо закричали с улицы. — Есть кто?

— Есть, есть! — тоже на повышенных тонах отозвался Симагин-старший. — Иду, не спеши! Тихо, Жуля! Тихо! Кому сказал!

Он подошел к воротам и отпер крепкую деревянную задвижку прорезанной в левой воротине калитки, не без труда вытащив ее из массивной железной скобы. Не собираясь нынче уже никуда выходить, он привычно заперся, вернувшись из магазина. Мало ли что... Он по склону спустится, Настя дома одна, ничего с кухни не видит из-за печи — заходи кто хочет, бери что понравилось. Прежде так и жили — да теперь времена не те.

На улице стоял «газик», заляпанный дорожной грязью, — дождливо было в последние недели, дождливо и прохлад-

но, — а прямо перед калиткой стояли знакомый милиционер из Краснокамска и трое молодых, крепких ребят в штатском.

— Здорово, дядя Андрей, — явно стесняясь, сказал милиционер и козырнул.

— Здравствуй, Семеныч, — ответил Симагин-старший.

— Тут, дядя Андрей, такое дело... — промямлил милиционер и, сдвинув фуражку на затылок, вытер ладонью лоб. Один из стоящих чуть позади него штатских выступил вперед и скучливо-официальным голосом спросил:

— Вы Симагин Андрей Петрович?

— Я, — ответил Симагин-старший. Тогда штатский одним летящим движением добыл откуда-то чуть ли не из воздуха просторный лист бумаги, махнул им перед лицом Симагина-старшего и тут же испарил опять невесть куда.

— Вот постановление на обыск.

И, буквально отодвинув Симагина-старшего плечом, как легкую мебель, он мимо него пошел во двор, остальные — за ним следом. Милиционер прошел мимо старика последним, беззвучно сделав ему отчаянное лицо и чуть разведя руками — дескать, ничего не понимаю и ничего не могу сделать.

Только тут у Симагина-старшего обмякли ноги. Он оперся ладонью о воротину. Воротина домашне скрипнула. Но сейчас родной звук прозвучал не успокоительно, а наоборот — сиротливо и беззащитно.

Дом перестал быть убежищем.

И тогда из-за «газика» выступили братья Архиповы из углового дома под кедром и, стараясь не глядеть на Симагина, не глядеть даже в его сторону, юркнули вслед за милиционером. Понятые, понял Симагин.

— День добрый, Архиповы! — громко сказал им вслед Симагин, еще не в силах оторваться от опоры. Не оборачиваясь, братья одинаковым движением присели и втянули головы в плечи, на миг сбившись с шага, а потом старший сдавленно крутнулся на Симагина и, раздернув губы, так что на миг обнажились два верхних резца, сказал торопливо:

— Здрасьте, дядя Андрей!

— Что-то тарахтелка ваша давно мне плешь не проедала, — сказал Симагин. — Или сломалась опять? Прикатывайте, сызнова погляжу.

— Бензину нет, дядя Андрей, — ответил старший Архипов, и они, семеня, побежали за милицией в дом.

А Настенька там одна, вспомнил Симагин, оттолкнулся от воротины и потопал вслед.

Настя сидела на ветхом венском стуле посреди комнаты и уже, как сразу понял Симагин, задыхалась. А перед нею стоял скучающе-официальный старший штатский и сухо читал ей по той, видать, бумаге, которую показал Симагину лишь мельком:

— ...*Ввиду близости государственной границы Российского Союза Советских Социалистических Республик и вызываемой этим обстоятельством угрозы национальному достоянию Союза подлежат безусловно изъятию все имеющие отношение к научной тематике бумаги, книги, справочники, записи и черновики, а также обнаруженные при обыске приборы, детали приборов, модели, детали моделей...*

Сумасшествие какое-то, подумал Симагин, слыша официального будто сквозь вату. Как они собираются отличать имеющие отношение книги от книг, не имеющих отношения? Или как они отличат детали моделей от моего слесарного набора? Это ж просто чего хошь, то и хватай... Настеньке-то как худо, господи! Архиповы, по-прежнему втянув головы в плечи, нерешительно озирались.

— Да что стряслось-то? — крикнул Симагин.

Старший штатский обернулся к нему.

— Вот ордер, — ответил он и опять махнул в его сторону своей бумажонкой — словно это объясняло все.

— Ну, — сказал другой штатский, — поехали, что ли? И так провозимся тут...

Провозиться им действительно грозило. Дом был большой, когда-то Симагины имели крепкое хозяйство. Но теперь жилых комнат осталось только две, другие пустовали; основную же часть домины занимали всевозможные погреба, чуланы да клети, где какой только пыльной рухляди не скопилось за десятилетия. Атомный котел тут было, наверное, не спрятать, но приборы и в особенности детали прибо-

ров сотнями могли таиться среди пересохших, с до войны, наверно, висящих хомутов, закопченных керосинок, ржавых пил, сломанных стульев без ножек...

Штатские споро принялись за книги. Архиповы переминались с ноги на ногу, потом принялись тоскливо, с прискуливанием зевать. Озираться им вскоре надоело, и они попросту окаменели, подпирая спинами стену и глядя в пол. Милиционер маялся. Потом вдруг просветлился лицом, будто найдя наконец выход из весьма затруднительного положения, и, сказавши: «Перекурю пойду на крылечко», скатился вниз и надолго пропал. Штатские поначалу работали молча — наводили порядок не за страх, а за совесть: трясли, раздирали, разбрасывали, даже простукивали... Потом постепенно отмякли; старший начал посвистывать сквозь зубы, двое других принялись вполголоса, но чем дальше, тем темпераментнее обсуждать последний футбол.

Симагины не разговаривали. О чем тут говорить? Бред и страх. Что с Андрюшей? Вот все, о чем старики могли бы сейчас говорить — но не при этих же. Симагин, набычась, стоял у двери и время от времени взглядывал на жену, но незаметно, украдкой; он не хотел, чтобы она видела, что он за нее беспокоится. Вроде бы ей полегче стало. Успокоилась маленько.

И, стоило ему это подумать, Настя всколыхнулась на стуле и даже всплеснула руками, как бы что-то ловя в воздухе:

— Это же Андрюшины письма!

Штатский, будто не слыша, пару раз подбросил на ладони изъятую из верхнего ящика комода толстую связку писем, перетянутую завязанной красивым аккуратным бантиком розовой ленточкой, протрещал большим пальцем по ее краю, словно по краю колоды карт, и кинул всю связку в большой полиэтиленовый мешок, стоящий на полу и сыто проседающий прямо на глазах.

— Да что ж вы делаете! — крикнула Настя.

— Не волнуйтесь, мамаша, не волнуйтесь... — пробормотал старший штатский, не отрываясь от своей работы.

Настя затихла — но через минуту Симагин почувствовал ее взгляд. Повернулся к ней. Она, бессильно распла-

ставшись на стуле и виновато улыбаясь, делала ему глазами знаки и беззвучно шевелила губами: задыхаюсь. Симагин, вздрогнув, стремительно шагнул в кухню, где жила их аптечка.

— Стойте на месте! — повелительно гаркнул старший штатский. Архиповы одинаковым и одновременным движением подняли головы смотреть.

— Жене нужно принять лекарство, — сдерживаясь, сказал Симагин.

— Какое лекарство?

— Не помню, как называется... иностранное. Чтоб дышать.

— Покажите. И без глупостей, Симагин!

Мама, паляще почувствовал Симагин в камере. И тут же раздался голос из-за двери:

— Симагин, на допрос!

Приступ астмы он снял мгновенно, еще дверь камеры не успели раскупорить. Это-то уж он мог позволить себе. Но ведь опять чуть не проворонил! Автономный защитный кокон, поставленный им над родителями, прикрывал от любых мыслимых потусторонних воздействий — но против людей он был бессилен. И потому, если б Симагин не успел вмешаться, дело могло окончиться худо.

Разумеется, для него не составило бы труда идиотски испепелить вторгшихся в дом непрошеных гостей или перебросить их в Антарктиду или на Альфу Эридана... да что говорить. Но дальше-то? На том поединок и кончился бы, потому что вместе с этими тремя задохнулся бы или превратился в ледышку он сам. У них родители — а они кормильцы. У них дети — которые их любят. Лет через двенадцать одному из них суждено... И прочее, и прочее. Паралич от вины — полный и мгновенный.

Ощутив себя на какую-то долю секунды в знакомом с детства огороде, Симагин слегка размяк и, пока его вели, позволил себе минуту отдыха. Дышать было больно, особенно стоя, и тем более при ходьбе; а в пах словно закачали сгусток расплавленного свинца, тяжко и нестерпимо мотающийся влево-вправо. Хоть о чем-то приятном необходимо

было подумать, а то уж совсем беспросветно. А чувство, что все беспросветно, — гарантия поражения. И он вспомнил себя маленького — как он, едва приехав с родителями из Ленинграда, едва дойдя с электрички до дому и переодевшись в вольготное деревенское, обеими руками, на манер снегоочистителя, сосредоточенно и стремительно метет малину, потом красную смородину, черную смородину, опять красную смородину, опять малину, крыжовник — до оскомины во рту и урчания в животе... а над ним — необозримое, полное солнца и птиц небо без этажей и проводов! А тут бабушка, грузно переваливаясь, выходит на крыльцо и кричит: «Ондрюша! Шанежки стынут! Ватрушки стынут!» И как в единственное лето, когда они приехали туда на отпуск втроем с Антоном и Асей, те же ягоды метет уже Антон, и бабушка, пекущая ватрушки и шаньги, — уже мама Симагина, а прежняя бабушка давно переселилась на запущенное деревенское кладбище, отстоящее от деревни километра на полтора, и идти все вверх, вверх, среди лугов, потом близ опушки, по красноватой земле проселочной дороги, правее знаменитого холма, с которого на закате так сладко, сидя в цветах по самый подбородок, смотреть на проходящие внизу поезда... дотошный Антошка все пытался выяснить у местных, как правильно холм пишется, через какую букву — Чалпан, Чолпан или Челпан, но никто не мог ему сказать; какие тебе буквы, господь с тобой — все на слух, из века в век... И как славно они тогда катили на поезде — то и дело чем-нибудь закусывая, перекусывая, а потом затевая трапезу всерьез, и Ася так заботливо, так ласково и радостно расстилала на столике салфетку, чистила обоим мужчинам, а потом уж себе неизменные дорожные яички, сваренные вкрутую, а Симагин резал истекающие соком помидоры и благоуханные, хрустящие свежие огурцы, и на всех остановках они выходили подышать свежим воздухом и размяться — в ту пору совсем еще не страшась, что вещи украдут или обчистят карманы, — и смаковали удивительные, исконные названия этих остановок, так же отличающиеся от всех этих бесчисленных пристоличных Первомайсков и Черных Речек, как живые люди отличаются от манекенов: Тешемля,

Кадуй, Комариха, Шексна и еще какой-то совсем невероятный, потрясающий Никола-Угол... И на одной из них, уж не вспомнить, на какой именно, из репродуктора прозвучало наконец вместо обычного дистиллированного «Поезд отправляется» родное, распевное «Поезд отправля-атца», и Симагин даже засмеялся от счастья, вожделенно потер ладони: «Ну все, ребята! Урал приближается!» — на что Ася и Антон принялись с хохотом дразнить его: «Урал приближа-атца! Урал приближа-атца!»

— Садитесь, Андрей Андреевич, — проговорил Листровой хмуро.

Симагин неловко, осторожно, стараясь поменьше беспокоить больные места, сел на край стула напротив следователя.

В кабинете стояла духота; предполуденное солнце хлестало снаружи, прожаривая пол и стену, но Листровой не открыл ни окна, ни форточки. Не до того. Что в лоб, что по лбу — он весь взмок от напряжения. Все лицо его было в бисеринах и даже потеках пота.

Ну и больно же ему, подумал Листровой, наблюдая, как Симагин идет и как садится.

— Вы ведь не убивали никого, Андрей Андреевич, — проговорил Листровой.

Подозреваемый вскинул на него взгляд, сразу переставший быть равнодушным. Синяки совсем расцвели, мельком подумал Листровой. Всеми цветами радуги. Мне купили синий-синий презеленый красный шар... А взгляд-то каков!

Симагин молчал.

— И вообще вы не преступник, а жертва. Уж не знаю, кто и как, но кто-то очень хотел свалить на вас свои темные делишки. И вы наверняка знаете кто.

— Знаю, — сказал Симагин.

Листровой вздрогнул. Он очень надеялся, что подозреваемый все-таки заговорит и хоть словом, хоть кивком головы поможет ему. Но он не ожидал, что это произойдет так легко и быстро. Он в отличной форме, несмотря на все наше угощение, подумал Листровой. А может, и впрямь — сверхчеловек?

— Вы не можете мне сказать?

— Могу, но вы все равно не поверите. И чем больше я буду объяснять, тем больше вы будете не верить, а в конце концов вызовете психиатра.

— Вот даже как, — сказал Листровой. Симагин не ответил. Но тут и не на что было отвечать. — Вокруг вас затеялась очень неприятная и очень подозрительная возня. Вчера я полвечера провел с человеком из комитета, с Бероевым. Он сказал, что вы его знаете.

— Лично — только мельком. Я был слишком мелкой сошкой, чтобы наш куратор удостаивал меня непосредственного общения.

— Сейчас он удостоил бы. Он убежден, что преступник — это как раз вы и совершили вы все эти злодеяния каким-то сверхъестественным образом. Связанным, как я понял, с утаенными вами от страны и народа результатами вашей работы в лаборатории слабых взаимодействий.

— Сверхслабых, — машинально поправил Симагин.

— Сверхслабых, — послушно повторил Листровой.

— Ай да Бероев, — задумчиво сказал Симагин.

— Так он что, прав? — почти с ужасом выкрикнул Листровой.

— Нет. Все обстоит с точностью до наоборот.

Листровой помедлил. Медленно закурил, чтобы успокоиться. Руки уже не дрожали. А вот с утра, когда он велел привести Симагина и ждал тут... переломленные спички так и летели в стороны.

— По-моему, Андрей Андреевич, все, что я вам сообщил, не оказалось для вас новостью.

— Огорчу вас, наверное. Да, не оказалось.

— Вы все знаете?

— Да.

— Каким образом?

— Сверхъестественным, — и Симагин чуть улыбнулся. Корка на губе сразу снова треснула, и снова проступила кровь.

— И женщине своей вы звонили из камеры тоже сверхъестественным образом?

— Если вы имеете в виду Асю, то да.

— Что же вы себя не подлечите? — неожиданно для себя самого спросил Листровой. Он еще не успел закончить фразу, а уже пожалел о том, что она вырвалась; она звучала издевательски. Но сидящий напротив него человек не обиделся, а спокойно и серьезно ответил:

— Совестно.

Листровой глубоко, порывисто вздохнул.

— Вы все же как-то виноваты... считаете себя виноватым в происшедшем?

— Да. Косвенным образом.

Листровой подождал несколько секунд, глупо, но страстно надеясь, что Симагин еще что-нибудь скажет, — но не дождался.

— Вас, вероятно, заберут от меня, — проговорил он. — Непосредственно в комитет. Будут разматывать сами, я чувствую. Завтра или, скорее, послезавтра.

— Не успеют, — ответил Симагин. — Если за сегодняшний день я не справлюсь с ситуацией, то...

— То что?

— То, признаться, мне станет все равно, что со мной будут делать. Но я все-таки надеюсь, что справлюсь.

— Кто вы? — тихо спросил Листровой.

— Мой паспорт у вас. Полистайте сызнова.

Листровой несколько раз затянулся дымом. Обколотил труху с истекающего зыбкими сизыми волокнами кончика сигареты.

— Я могу вам чем-то помочь, Андрей Андреевич?

Впервые Симагин помедлил с ответом, и Листровой уже решил, что слишком пережал и потерял все, чего за последние десять минут достиг, что подозреваемый снова замкнулся и не скажет больше ни слова. Но Симагин вдруг опять улыбнулся — улыбка, несмотря на корку крови, у него оставалась такая, что Листровой едва не заулыбался в ответ, — и сказал:

— Вы мне очень помогли. Очень. Вы даже не представляете, насколько мне стало легче.

— Чем помог? — растерялся Листровой.

Симагин чуть наклонился вперед:

— Скажите по совести, если б ваше начальство не торопило вас с моим осуждением и не рвалось бы навесить на меня июльские дела и если бы не вторгся в вашу епархию бедняга Бероев... Ему, кстати сказать, сейчас тоже очень туго, и тоже из-за меня, он тоже перед жутким выбором поставлен... Если бы не все это, вы ведь не заговорили бы со мной сегодня, а еще некоторое время пытались сами разобраться в происходящем? Правда?

Листровой считал, что, прокручивая утром варианты будущего разговора, предусмотрел все и подготовился ко всему — но такого он не ожидал. У него даже слегка отвисла челюсть. Но он быстро взял себя в руки.

— Правда. Да.

Подозреваемый тепло смотрел на него заплывшими от фингалов глазами.

— Вы принадлежите к замечательному типу людей, которые на усиление давления совершенно непроизвольно, не из гордыни, а по внутренней чистоплотности, отвечают усилением сопротивления. Я очень рад, что даже столь мощное... довольно мощное уже, как ни говори... суммарное давление не превысило ваших способностей к сопротивлению. Я буду брать с вас пример, честное слово.

Многое слышал Листровой от сидящих на этом стуле. Очень многое. Однако все былое разнообразие не шло ни в какое сравнение с этим сомнительным, но, возможно, именно поэтому очень лестным комплиментом. Хотя мелькнула в нем и унизительная нотка. Наверное, так король мог бы похвалить своего... даже не барона, а камердинера. Впрочем, чего от них ждать. Если баба у него — царица Савская, то и он — не меньше, чем Соломон... Ненавижу монархический строй.

Листровой только усмехнулся и сказал с иронией:

— Постараюсь оправдать высокое доверие.

— Я серьезно, — возразил Симагин. — Мне сегодня предстоит преодолеть чрезвычайно мощное давление, и я еще не знаю как.

— Вероятно, я только понапрасну извлек вас из камеры и оторвал от дела, — почти обиженно и оттого немного с издевкой сказал Листровой. — Прошу прощения. Я немедленно отправлю вас обратно.

— Я очень рад, повторяю, что мы вот так сейчас поговорили. Что вы сделали именно то, что хотели сделать. За истекшие сутки я потерпел четыре поражения, а поражения не добавляют душевных сил. Вы — моя первая победа... хотя ради нее мне не пришлось и пальцем о палец ударить.

— Вы меня чертовски заинтриговали, — уже по-свойски проговорил все-таки польщенный Листровой.

— Догадываюсь. Увы. Мне действительно очень сложно вам объяснить.

— Да и время, наверное, дорого, — предположил Листровой.

— Ну, со временем я бы управился... — Симагин запнулся, потом его глаза полыхнули так, что Листровой решил, будто у подозреваемого начнется сейчас приступ буйства и все их разговоры окажутся пшиком; перед ним действительно маньяк, который то выглядит как нормальный, только плетет невесть что с серьезным видом, а то слетает с нарезки. — А ведь это мысль!

— Что?

Симагин взял себя в руки. Опять улыбнулся.

— Вот что... Я очень боюсь вас подвести, — проговорил он мягко. — Через несколько часов мне, видимо, понадобится покинуть камеру.

— Ёхана-бабай! — сказал Листровой. — Это как?

— Для дела, — пояснил Симагин. — Мне бы совсем не хотелось, чтобы у вас или у тех, кто меня охраняет, были из-за этого неприятности. Чтобы вам или им, скажем, попытались приписать соучастие в побеге... или что-то в этом роде. Я уверен, что ничего подобного не произойдет, просто не успеет произойти. До завтра, во всяком случае, побег не будет обнаружен, а не позже, чем ночью, вся ситуация окажется, я почти уверен, кардинально изменена. Если это мне не удастся, ночью я вернусь и приму все как должную расплату... как маленький и незначительный довесок к угрызениям совести. И ваш арестант будет в полном вашем распоряжении, навешивайте на него все, что вашей душеньке заблаго-

рассудится... Но если я ошибаюсь и случится непредвиденное, если кто-то попытается уже сегодня вас обвинить, замазать, что называется... потерпите, пожалуйста, несколько часов. Всего несколько часов. Это могут быть неприятные часы, но ни к каким реальным неприятностям они не приведут. Мне очень важно, чтобы вы это знали. Мне будет спокойнее работать. И очень, действительно, хорошо, что мы поговорили — иначе просто непонятно, как я бы... Ладно. Это вам следует помнить — завтра все уже будет иначе. Хорошо?

— По-моему, у меня белая горячка, — проговорил Листровой. Симагин улыбнулся и отрицательно покачал головой. Потом, ни слова не говоря, выставил над Листровым защитный кокон. На всякий пожарный.

Не подозревая об этом, Листровой снова закурил, когда явившийся по его вызову охранник вывел подозреваемого из кабинета, и подумал: как ни крути, а быть того не может, чтоб сверхчеловек хоть третьим, хоть пятым пунктом программы к бабе своей Савской вечерком не явился или хотя бы не повстречался с ней. И почти что не может того быть, чтоб он не заглянул домой. Туда, где сперва наши ребята, а потом этот безопасный красавец так бездарно рылись, но наверняка именно то, что могло бы представлять интерес, проморгали. Выставить бы посты наблюдения у квартиры женщины Аси и у его квартиры... да не на улице, а прямо при дверях как-нибудь, у соседей через лестничную площадку... а лучше даже внутри, мало ли как он будет внутрь попадать... Не знаю для чего — просто чтобы понять, что он может и чего хочет. А зачем мне это понимать? Может, не моего ума это дело? А кто определяет, моего или не моего? Я сам и определяю. Раз мой ум этим интересуется — стало быть, это моего ума дело. Другой вопрос, как я воспользуюсь знанием, если и впрямь узнаю, что он может и чего хочет... ну да это — потом. В зависимости от того, что именно я узнаю, сей вопрос и будет решаться.

Или я ввязываюсь сейчас в игру, где ставками служат такие ценности, такие величины, которых я даже представить себе не в состоянии? Нет, не так — плевать мне на ценности и величины; если они действительно существуют, уж

как-нибудь я их себе представлю, не пальцем делан, и смогу, сумею оценить их, если увижу своими глазами... но просто-напросто при таких ценностях и человеческие жизни то и дело отлетают вправо-влево переломанные, как спички у меня отлетали полчаса назад... Может, и впрямь не лезть? Что называется, не выеживаться — целее буду?

Кто же он такой? И насколько мне врет? Голова идет кругом... пытаюсь я мыслить своими привычными категориями — выяснения, посты, обыски... а на самом-то деле...

Да я именно и пытаюсь понять, что на самом-то деле происходит! И не хочу бросать на полдороге! А то ведь театр какой-то получается! Встреча постового с Сатаной...

Огорошил он меня. Ошеломил. Если пытаться анализировать его высказывания всерьез, получается, что он в курсе всего, чем я занимался вчера, о чем и с кем говорил, и в курсе еще многого, о чем я даже не знаю, но что с происходящим явственно связано. Четыре поражения. Девчонка, писатель, а еще два? На какие-то проблемы Бероева намекал... Черт, так воры в законе из любого лагеря ухитряются управлять своими бандами! Но этот на вора в законе, прямо скажем, не тянет... Мягонько так предупредил меня, что собрался свалить отсюда, и еще извинился за могущие у меня возникнуть в связи с этим неприятности. Ну, дела!

И что же? Молиться мне теперь за это на него, да?

Нет, погоди, сказал себе Листровой. Два вопроса возникают основных: как он качает снаружи информацию и как он собирается наружу свалить. Либо у него завелись прямо у меня под носом какие-то великолепные каналы — но что ж это за каналы должны быть! Это ж он, считай, купил уже весь изолятор, только мне почему-то ничего не предложил, а предпочел пыль в глаза пускать: дескать, супермен я!.. Либо он... кто? Получается, действительно нехилые он в своей лаборатории сбацал себе способности, и прав кагэбэшник, что его ловит из последних сил! Разобраться! Разобраться!

А ведь он мне поверил...

Если только не сделал из меня полного дурака.

Поверил. Предупредил. А я вот собираюсь его... предать? Получается так.

Листровой медленно курил и не спешил ни тянуться к телефону, ни отворять разбухшую, как покойник-утопленник, папку с делом.

Обыск в доме родителей Симагина продолжался, и не видать ему было конца.

Минуты не прошло после того, как Симагина вернули в его каземат, когда волосы его легонько перебрал короткий порыв невесть откуда взявшегося ветра. Симагин поднял голову.

Давешний ночной гость его, одетый теперь уже не по-домашнему, а будто в насмешку — словно с дипломатического приема на минутку забежал, присел напротив Симагина на краешек того, что здесь называлось столом, скрестил руки на груди и с веселой издевкой в прекрасных черных глазах смотрел сверху вниз. От него легко и пряно пахло то ли заморским одеколоном, то ли просто южными цветами, раскрывшими тяжелые бутоны в томном ночном саду, под ослепительными звездами; и зыбко, нежно перезваниваются цикады...

— Эк они тебя, — сказал он.

Симагин не ответил.

— Больно? — сочувственно спросил гость, но губы его подрагивали от едва сдерживаемого смеха.

Симагин не ответил.

Гость голосом Жеглова свирепо спросил, не скрывая веселья:

— Ты еще не угомонился?

Симагин не ответил.

— Я так понял, ты что-то измыслил? Насчет времени? Тотальную инверсию будешь пробовать?

В его голосе буквально слышалось: «А я догадался! Я тебя расколол!» Симагин не ответил.

— Ну-ну, попробуй. Увидишь, чем это кончится.

Симагин не ответил.

Гость немного подождал. Потом картинно потянулся, демонстрируя сладкое удовлетворение, и сказал:

— Как все-таки приятно убивать порядочных людей. Почти никакого риска. Доставляешь всем исключительно горе. Уже сутки с лишним прошли, а ни малейших нежелательных для меня последствий не обнаружилось, и даже намека нет, что они возникнут. А приятных последствий — вагон. Вот мерзавца какого-нибудь попробуй тронь — такой позитивный веер раскидывается сразу, что и заболеть можно... А тут — красота! Писатель твой — не подарок, конечно, личность мятущаяся, сложная, от таких лучше подальше держаться, а то ненароком во время поисков идеала наступит, раздавит и не заметит... но не подлец, не мерзавец, не убийца. Ну, а девочка — та вообще святая. Влюблена была в тебя-а... — смакующе протянул он и даже глаза на миг прикрыл, словно рекламирующий свои блюда повар. — Твое чистоплюйское нежелание напрямую залезать людям в мысли все время играет с тобой дурные шутки. Сначала Асю проворонил, теперь Кирочку... А знаешь, я ей тебя показал. Ох, и удивилась она, увидев, как ты без штанов, тряся хозяйством, прибежал к ней из кухни, угрожающе захрипел: «Не открывай дверь!» — а потом полез на нее! — Гость коротко, жизнерадостно захохотал. — И знаешь, раздеваться-то она, поняв твои очевидные намерения, сама начала и только спрашивала дрожащим таким голосочечком: «А вы меня правда любите, Андрей Андреевич? Вы меня правда хоть немножко любите?»

Верить нельзя было ни единому его слову. Но и правдой все это оказаться могло.

— Потом, сознаюсь, ей стало не до любви. Один раз даже выкрикнула: «Ну не надо же так грубо, пожалуйста!» Все еще пыталась с тобой как-то контакт наладить... А потом уж без слов кричала, до хрипоты... хотя... забавно, только сейчас я сообразил... все равно ни одного ругательного слова в твой адрес не высказала. М-да. Любят девки, когда их насилуют, любят... А как стал ты ее ножиком ковырять — совсем обалдела.

Симагин не ответил. Гость еще немного подождал.

— Энергию, как я понял, ты себе все-таки отыскал... на досуге. — Он выразительно обвел камеру взглядом и опять насмешливо уставился на Симагина. — Я попробовал притушить твои звездочки, но ты их уже заэкранировал заблаговременно. Молодец. Предусмотрительный. Так, глядишь, и впрямь научу тебя драться. На свою голову.

— Не исключено, — уронил Симагин.

— О! Великий немой заговорил! Тогда, извини, могу тебя обрадовать, что ты совершенно напрасно тратишь силы на защиту Листрового. Он не твой человек. Он тебе поддакнул, сделал вид, будто рассиропился и отпустил тебя, — а сам сидит сейчас и прикидывает, как получше расставить посты, чтобы подловить тебя сегодня у Аси.

— Мы живем не столько в мире событий и поступков, — сказал Симагин, — сколько в мире их интерпретаций нашим сознанием. Для формирования поведения человека то, что он думает по поводу того или иного события, более важно, чем то, что это событие на самом деле собой представляет. В одном и том же поступке ты видишь одно, а я — другое, и с этим ничего нельзя поделать. Чтобы я увидел так, как видишь ты, мне нужно перестать быть собой и стать тобой. Ты мне, кажется, это уже предлагал недавно, и мне не понравилось. Стоит ли сызнова это мусолить?

— О-о, — разочарованно сказал гость, — опять проповедь.

— Нет, — ответил Симагин, — просто понимание. Почти каждый поступок человека столь же многозначен и многослоен, сколь и сам человек, в нем содержатся самые разные семена. Какое именно взойдет — не в последнюю очередь зависит от того, что в поступке увидели окружающие. Увидели подлость — и сам человек ощутит привкус подлости, и дальше все пойдет по одному сценарию. Увидят подвиг — и сам человек почувствует привкус подвига, и все пойдет уже по-иному. Один и тот же поступок будет иметь совершенно разные последствия — в том числе и для внутреннего мира человека, который этот поступок совершил.

— Значит, вопрос интерпретаций сводится к банальному вопросу, каких именно последствий ты от чьего-то поступка ожидаешь?

— Ну, можно сказать и так.

— А если последствия окажутся несколько менее... возвышенными, чем ты ждал? — с улыбкой спросил гость. — Люди, как тебе, вероятно, известно... только ты упорно на это закрываешь глаза по принципу: тысячу раз не получалось завести вечный двигатель, но из этого отнюдь не следует, что его не удастся завести при тысяча первой попытке... люди, как тебе известно, чрезвычайно склонны именно таким образом обманываться. Но, когда обман всплывает, начинают люто ненавидеть того, кто обманул их ожидания... хотя он на самом деле вовсе и не обманывал — они сами обманулись. Хотели обмануться, чтобы остаться в радужном, но лживом мирке иллюзий и не сталкиваться с правдой. Я уж не говорю о ситуациях, когда те, кого ты назвал бы подонками и подлецами, умышленно и корыстно обманывают людей, эксплуатируя именно придуманные такими, как ты, красивости. Никакого улучшения мира не получается — просто растут взаимное недоверие и взаимная ненависть. И уже почти инстинктивная неприязнь ко всему, что можно обозвать, например, такими словами, как «высокий порыв». Лучше не обманываться ни на свой, ни на чужой счет. Принимать все таким, как оно есть на самом деле.

— Ты уверен, что ты или кто-то еще знаете, какое оно все на самом деле?

— Опять эта софистика, — с картинной усталостью, будто отчаявшись втолковать некую элементарную истину умственно отсталому ребенку, вздохнул гость. Потом, хохотнув и назидательно наставив на Симагина указательный палец, сказал: — Практика — критерий истины!

— О-о! — будто бы сдаваясь, Симагин поднял руки вверх. Бок ударило тупой болью. — Но вот только практика бывает разная. Удалось зарезать или растлить — одна практика. Удалось обмануть — другая практика. Удалось вылечить — третья практика. Удалось воспитать — четвертая...

— Нет, — уже совершенно серьезно возразил гость. — Все гораздо проще. Ты победил — одна практика. Тебя победили — другая. Ты добыл жратвы для себя и своей самки — или тебя добыли на жратву. И третьей нет.

— Вот в чем разница, — задумчиво сказал Симагин. — Можно гнить в яме и не мечтать ни о чем ином. А можно карабкаться, срываться...

— Да не гнию я в яме! — возмущенно воскликнул человек напротив. — Я стою на земле! — Он даже притопнул, а потом даже подпрыгнул и с силой ударил каблуками изящ-

ных туфель в цементный пол камеры. — Твердо стою на земле-матушке!

— Земля-матушка, знаешь ли, мало того что круглая — она еще и неровная.

— Охотно верю, что залезть на Монблан, Эльбрус или, скажем, пик Коммунизма — интересно и где-то даже полезно для здоровья. Но всю жизнь там жить — холодно и уныло, ты не считаешь?

— Это только потому, что тело наше, поднимаясь на гору, удаляется от той высоты, к которой наилучшим образом приспособлено. А для души та высота, на какую она поднялась, и является самой естественной.

— Ну-у-у... — с утрированным разочарованием протянул человек напротив и слегка развел руками. — Когда начинается разговор о душе, совести, бескорыстии и прочих явлениях, существование которых, мягко говоря, не доказано, я умолкаю. Мне мое время дорого.

— Не я начал этот разговор, — пожал плечами Симагин и чуть сморщился от боли — сломанные ребра даже при этом невинном движении тут же напомнили о себе. А ведь когда начну работать, все-таки придется регенерировать все повреждения, подумал Симагин. Да и не годится к Асе в таком виде показываться. — Не я тебя сюда звал, чтобы поболтать...

— Намек удалиться, — улыбнулся гость. — Хорошо. Значит, не позже как сегодня вечером или, самое позднее, в ночь я должен ожидать нападения. Гляжу на тебя и не верю. Вот он ты, как на ладони. Единственно что — мыслей твоих я прослушать не могу, не то что у Листрового или у святой девочки Кирочки. Или у Аси твоей, — он бросил на Симагина испытующий взгляд, но тот был невозмутим. — Запасся энергией, да. Нелепо затеял обернуть время вспять. Хоть бы заэкранировался от меня, чтоб я не знал, где ты, что предпринимаешь... Ведь у тебя хватило бы возможностей.

— Разумеется, хватило бы. Большого ума тут не надо. Но пока я ничего не придумал — какой смысл?

— Да элементарно! Ты что, не можешь себе представить, как я беспокоился бы, тыркался во все углы, пытаясь тебя нащупать, прозванивал бы мироздание по косвенным признакам, паниковал бы?.. Следил бы за мной и удовольствие получал! Сил запасал!

— У меня другие удовольствия. И сил мне такие увеселения не прибавляют. Наоборот, — Симагин помедлил. — Не хватало еще начать тебя жалеть... как, дескать, он беспокоится, как мечется, бедняга, как страдает... может, поговорить с ним еще разок, объяснить — он же не глупый, поймет...

Гость откровенно захохотал, запрокидывая голову. Симагин тоже улыбнулся. На губе проступила кровь.

— Да, — сказал гость, отсмеявшись и аккуратно промокнув кружевным носовым платком углы глаз. — Давненько так не веселился. Все-таки есть в вас, праведниках, что-то извращенное. Противоестественное. Никогда мне вас не понять, — вздохнул, окончательно успокаиваясь после приступа смеха. — Ладно. Значит, как я понимаю, завтра утром встречаемся и подводим итоги, да?

— Согласен, — ответил Симагин, и гость исчез.

Ася ждала.

Рабочий день тянулся невыносимо медленно. Она то и дело ошибалась, все путала. По десять раз переспрашивала одно и то же. Постоянно теряла что-нибудь. Если телефон звонил, прыгала к нему, как тигра, а если его занимал кто-то из своих, готова была из собственной шкуры вывернуться и уж в таком вот окаянном виде, окончательно остервенев, загрызть болтуна. Или болтунью. Словом, как вполне самокритично констатировала она, краешком сознания наблюдая себя со стороны, налицо все признаки отчаянной юной влюбленности, и только совершенно непонятно, куда при этом девать седые волосы, гастрит, тахикардию, скачущее давление, а также довольно длинную и мало располагающую к новому сотворению кумиров биографию. Но наблюдать-то себя со стороны она еще могла, а вот сделать что-нибудь с собой — уже нет.

Почему-то она была совершенно уверена, что Симагин не подведет. Обещал появиться вчера или сегодня. Вчера не появился. Значит, сегодня.

Домой она неслась. Но по дороге пробежала по магазинам, как встарь, чтобы было чем попотчевать мужика, ежели

тот и впрямь соизволит. Смех и грех. Взмокла, как кобыла на скачках. Ну не дура ли ты, Аська, говорила она сама себе, а душа с восторгом пела в ответ: дура, дура! За каких-то два дня, да и видевшись-то, по сути, один вечер, на старости лет по уши втрескаться в собственного бывшего мужа! Не смешно ли? А солнце сверкало и подмигивало: смешно, ага. Ну конечно, смешно! И она смеялась, в мелькающем ритме чикая на потемневшей от времени дощечке приправы для подливки в какой-никакой, а настоящий гуляш. В хлебнице лежал купленный в последнюю минуту заветный кр-рэндель. Пусть мука стала не та, пусть не так вкусно. Я его достану, и на столе все будет как тогда, и он поймет, что все — как тогда. И я — как тогда.

Потом затеяла свирепую высокоскоростную уборку. Перестелила — тьфу-тьфу-тьфу, чтоб не сглазить! — постель, снабдила ее всем свежим. Булькало и шипело на четырех конфорках, ревел пылесос; раковины, ванна и унитаз засверкали, как свежевставленные зубы. Жизнь была прекрасна. Поколебавшись несколько секунд — а вдруг он именно сейчас и позвонит, — все-таки нырнула в душ. Невозможно его встречать так — склеившись от старушечьего своего пота. Нет, невозможно. Невозможно. Как встарь, плясала под тугими горячими струями, полировала кожу мыльной пеной и ошалело представляла себе его ладони — и здесь, и здесь, и вот здесь. И сердце падало, как у двадцатилетней. Вроде еще не очень дряблая. Не слишком жирная. Пригодна к употреблению. Не с кем-нибудь, с кем все равно, а — с возлюбленным. А, Аська? Пригодна? Дошла женщина, чувствовала она. Созрела. Позавчера еще не созрела... хотя... Но теперь уже точно созрела. А если он не догадается? Намекнуть — или это разврат? Или это безнравственно — пытаться самой соблазнить того, кого предала? Может, он испытывает к тебе непреодолимое отвращение, и только долг по отношению к ребенку заставляет его... Она кокетничала, когда думала так. В глубине души она знала, знала точно и наверняка, что он — не испытывает к ней отвращения. Просто в тот раз она еще не созрела. Если бы он попытался что-то... она не знала, как повела бы себя. Скорее всего, вздохнула и уступила бы.

Но возник бы некий привкус, будто она платит ему за его обещание помочь.

А сегодня — не возникнет привкус, будто она расплачивается за то, что он что-то... да не что-то, а — самое главное!.. уже выяснил? В один вечер сделал то, чего она не могла сделать несколько месяцев? И авансирует на будущее?

Ох, только бы не начал размышлять на эти темы он. А то с него станется — зайти, чаю выпить скромненько, отчитаться о проделанной работе и ускакать с последним трамваем. И сделать вид, что ему ничего от нее не надо, — лишь бы не выглядеть корыстным. Лишь бы его не заподозрили в личной заинтересованности, да еще несколько отличающейся от чисто духовной. А ведь станется. Ох станется! И самой навязываться никак нельзя. Надо, чтоб он хоть как-то дал понять: прощаю. Не просто помогаю, не просто жалею, не просто пришел подставить плечо, а — прощаю. И тогда я честно скажу то, что чувствую теперь сама: а я себя никогда не прощу.

Ох, Аська, размечталась ты не в меру. А если у него молоденьких десяток? Она тщательно вытерлась, выскочила в комнату, показавшуюся после ванной очень прохладной — нет, не звонят. Ни в дверь, ни в телефон. Принялась наскоро унавоживаться косметикой. Ну и физиономия... мисс Освенцим. А кожа-то на руках — наждак наждаком. Компания скелетов... Если бы скелетов! Наоборот, вон на боках как трясется, будто жру прям в три горла, а не заглатываю на бегу... Ну и что же, что десять молоденьких? Это было бы только естественно. Что ж ты думаешь, Аська, он так и сох по тебе столько времени? Это тебе не кино сталинских времен. Каким ты был, таким остался — я всю войну тебя ждала... То есть, может, где-то в глубине души даже и сох, он человек душевный — но одно другому не мешает. Если позовет — пойду в одиннадцатые, что уж... а там как-нибудь разберемся. Может, семь-восемь постепенно отсеем; ну а с двумя-тремя — уживемся, ничего. Вновь обратим все свои помыслы к вечному жениху. Ох не женится на тебе женишок твой вечный, Аська, ох не женится! А мы все равно все помыслы обратим! Она улыбалась до ушей, и ерничала, и смея-

лась над собой — и ничего не могла поделать с оголтелым, бесшабашным счастьем, свалившимся вдруг.

И что мы наденем? Надо серьезно продумать, что мы наденем для приема высокого гостя. Когда-то ему мини-юбки девчачьи нравились, но извини, Симагин, рада бы... для тебя, родимого, что угодно... но вот в девочки я уже не гожусь никак. Самой жалко, так что не сердись. А вообще-то я твои непритязательные вкусы помню. Постараюсь сейчас, насколько это в моих силах, прийти с ними в соответствие.

Это же надо — третьего дня в это самое время еще не помнила, как его зовут. Сережей обозвала, идиотка.

Все-таки, похоже, я малость сумасшедшая. Хожу-хожу дерево деревом, потом бац по башке. И все извилины уже в другую сторону. И с тем первым так было... ну не хватало только этого! Она даже засмеялась. Теперь забыла, как того звали! Начисто! Погоди, что за бред. Да боже ж мой, я же Антона в его честь назвала! Ну, Аська, ты ва-аще! Значит, Антоном и звали!

Она едва закончила с увлажняющим кремом — вода наша водопроводная так шкуру сушит, что потом буквально лохмотьями лезешь, будто кислотой ошпарился, — когда телефон зазвонил. Ася будто окаменела. Телефон звонил. Она медленно положила тюбик, забыв, разумеется, навинтить на него лежащую рядом крышечку, и на обмякших ногах потащилась к аппарату. Телефон звонил. Ну вот, подумала она. Ну вот. Он же обещал. И — вот он. А вот я. Она подняла трубку и, теряя дыхание, сказала:

— Это я.

— Кто это — я? — подозрительно спросил старушечий, действительно совсем уже старушечий, квакающий и дребезжащий, голос. — Мне Мусечку.

— Мусечку? — обалдело переспросила Ася.

— Ну да. Самого.

Ах, Мусечка еще и мужского рода...

— Какого Мусечку?

— Как какого? — не теряясь, ответила ведьма. — У вас их там что, много? Моего Мусечку.

— Тут такого нет, — стараясь сохранять вежливое спокойствие, сказала Ася.

— Как нет? — сварливо осведомилась ведьма. — А куда вы его дели?

— Съела, конечно, — ответила Ася. — Уж не обессудьте. Время сейчас голодное. Вот так взяла и съела, я ж не знала, что он ваш.

И повесила трубку.

Идиотство какое, подумала она. Вот уж действительно ведьма, другого и слова-то не подберешь. Что за Мусечка? Что она с ним сделать хочет? Может, сама собралась съесть, карга? А может, за любимого-родного беспокоится, но по-своему, по-хамски. Ох, не дай мне боже когда-нибудь так за кого-нибудь беспокоиться...

Почему-то эта нелепость сильно на нее подействовала, почти испортила настроение. Придавила как-то. Удалая, ухарская веселость куда-то утекла, испарилась. Старость все-таки дает себя знать. Раньше, в предыдущую-то симагинскую эру, мне бы такое было — тьфу. Ничем бы не прошибли. А теперь такая сделалась ранимая, просто тошнит. Наверное, потому что тогда я все-таки была увереннее. Жизнь — стабильная, ребенок — маленький, при юбке трется, Симагин каждый день под рукой... Ну, вернее, каждый вечер. А теперь все не то. Каждый день сюрпризы. Да, поманежит он меня сегодня, я чувствую. Чтоб девка прочувствовала и прониклась. К полуночи заявится, не раньше. Надо чем-то заняться таким не быстро заканчивающимся, чтоб не сидеть как дура в трепетном ожидании. Стирку затеять, что ли? Ну да, стоило мыться и мазаться. Нет уж. Буду пить девичью чашу до дна. Буду сидеть как дура. В трепетном ожидании. Что тут поделаешь — любовь. Широкий выбор: или одна как перст, или сиди у окошка и высматривай, когда ненаглядный покажется. А царица у окна села ждать его. Одна.

Восхищенья не снесла и к обедне умерла.

Ну вот уж это фиг вам всем! Только теперь и жить.

Она и впрямь придвинула стул к окошку и уселась, положив сцепленные ладони на подоконник, а на них — подбородок. Снаружи уже вечерело, янтарно смеркалось. Дома напротив стали бесплотно-красивыми, будто не на питер-

ской улице задыхались, медлительно прокисая и растворяясь в воздушных кислотах, а проклюнулись из пряничной сказки.

Как, на самом-то деле, донести до мужчины нешутейно воскресшие нежность и преданность? Один раз они уже были — и подвели. Он же больше не поверит... в лучшем случае решит, что я вежливо их разыгрываю из благодарности. Не понимаю. И вот от этого затянутого непонимания действительно можно истрепетаться насмерть.

Возбужденное предвкушение встречи выгорало впустую.

А если с ним все-таки действительно что-то случилось?!

Вот этого не надо. О чем угодно можно думать, хоть про Мусечку, хоть про... хоть про стирку. Ну, я не знаю. Хоть про марсианские каналы. Только ни на секунду, ни на секунду, Аська, пожалуйста, умоляю тебя... не надо воображать ужасы. Иначе через полчаса начнется истерика. Ты все равно ничего знать не можешь. И даже если что-то не в порядке — все равно помочь не можешь. Хотела бы, да. Конечно. Еще бы. Но пока вы еще не совсем вместе — можешь только ждать и верить. Ты это умела когда-то. Учись сызнова. Иначе нет тебе места нигде, кроме одиночества. Ничего не случилось. Следователь ничего плохого ему не сделал. Никто ничего плохого ему не сделал. Просто он... ты же помнишь, он времени не замечает, если чем-то увлечен. Сколько раз так было. Не смей сердиться, не смей беспокоиться, не смей, не смей. Не смей выдумывать ничего плохого. Выдумывай лучше ласковые слова. А то ты их все забыла. Какая, к черту, из тебя женщина, если ты забыла ласковые слова?

К тому моменту, когда дребезжаще зажужжал дверной звонок, ей совсем взгрустнулось. Сердце скользнуло в ледяной погреб, Ася рывком выпрямилась на стуле, а потом замерла. Звонок зажужжал снова. Задыхаясь, она медленно встала. Было почти десять вечера.

Все мысли выдуло из головы, все слова, которые она с грехом пополам припомнила за едва ли не час покорного бдения. Снова стало страшно. Насколько безопаснее грезить — никакой ответственности. Но вот сейчас он войдет живой, неимоверно сложный, со всеми своими днями, проведенными без нее, со всеми переживаниями и мыслями, в которых ей нет места, в которых ей только придется еще искать какое-то местечко для того, чтобы пустить корни, и нет никакой гарантии, что его удастся отыскать... Со всеми своими делами, проблемами, болячками и болезнями, неудачами и, возможно, катастрофами, которые не имеют ни к ней, Асе, ни к Антону отношения — и ей надо будет как-то становиться ему помощницей во всех этих делах, врачом всех этих болячек, как стал ей врачом и помощником он...

Она даже остановилась, но тут же ей стало стыдно; и, лихорадочно побегав взглядом влево-вправо, она отыскала оправдательную зацепку — зеркало. Не будем возноситься в эмпиреи, иначе ни рукой, ни ногой пошевелить не смогу, ни слова не выдавлю. Все просто: мужик к своей бабе пришел. Только он еще не знает, что к своей... может, и предполагает, но не уверен. И все проблемы. И быстро убедила себя, что просто перед зеркалом остановилась, надо же напоследок утвердить дизайн. Поправила прядку волос. Строго, но с намеком. Встряхнула руками — рукава легли посвободнее. Никакой фривольности. Года не те; и вообще, не собираюсь я тебя вульгарно манить кожей. Во всяком случае, пока.

Пока не пойму, пока не почувствую наверняка, что, если поманю, — ты приманишься.

Ну!

Она подошла к двери и, уже положив руку на защелку замка, спросила, стараясь, чтобы голос звучал весело и непринужденно — будто она просто старого друга встречает, а не едва дышит и едва стоит от волнения и радости:

— Кто?

— Свои, — раздался чужой, но знакомый голос.

Успев омертветь, но не успев ничего сообразить, она отдалась на волю мышц, которые, как им и полагалось еще секунду назад, оттянули защелку и гостеприимно, настежь распахнули дверь. Алексей с «дипломатом» в одной руке и букетом в другой — светлая, православного вида бородка его буквально лежала на пышных бутонах — с готовностью улыбнулся в открывшийся проем и шагнул вперед. Ася едва успела посторониться.

— Привет, — сказал он, протягивая ей букет. Ася машинально взяла. Он, как всегда, аккуратно поставил «дипломат» в угол и искательно огляделся по полу. Потом снова поднял глаза на Асю. — Вот, выдался свободный вечерок... да я и был тут рядом по делам товарищества. Позвонил — а у тебя занято. Ну, думаю, значит, точно дома. Уж не прогонит, наверное... А где мои тапочки?

— Не помню, — сказала Ася, с трудом приходя в себя. — Сейчас посмотрю.

Она, буквально кинув букет на ближайший стул, присела на корточки и стала рыться в обувной тумбе. Нашла; с невольной брезгливостью держа тапки за краешки задников кончиками большого и указательного пальцев, словно боясь испачкаться, она поставила их перед Алексеем.

— Ты прекрасно выглядишь, — сказал Алексей, разуваясь.

— Спасибо, — ответила Ася. — Стараюсь.

Их связь длилась уже несколько лет — бесполезно было бы спрашивать Асю, сколько именно: три, четыре или четыре с половиной. Здесь она была любовницей в классическом смысле этого слова — женщиной, к которой бегают от жены, когда «выдается свободный вечерок». Вечерки выдавались нечасто; раз в месяц, иногда реже. Задумываясь порой — впрочем, она предпочитала вообще не думать о чреватых огорчениями пустяках, потому что и настоящих неприятностей было пруд пруди, — она вообще не могла понять, как попала в этот треугольник и что в нем, собственно говоря, делает. Никогда, даже поначалу, она ни в малейшей степени в Алексея не была влюблена, и все получилось у него, когда он попробовал Асю закуканить, как-то невзначай, с легкостью необычайной — он-то, вероятно, с вполне естественной толикой тщеславия относил эту легкость на счет своих дарований и своей мужской неотразимости, а на самом деле причина была исключительно в Асином равнодушии.

Впрочем, любовницей она была образцовой: не капризной, не ветреной, не корыстной, не честолюбивой; никогда не закатывала сцен, никогда ничего не просила и даже отказывалась, если он, с чего-то расчувствовавшись, пробовал сам предложить ей денег или какую-нибудь иностранную

тряпку из тех, что проходили через склады товарищества «Товарищ», где он работал кем-то вроде экономиста. Если он сообщал о своем приходе заблаговременно, она обязательно старалась приготовить более-менее приемлемый ужин, поставить на стол что-нибудь вкусненькое — не потчевать же мужчину бутербродами или кашей, на которых сидели они с Тошкой. Антон, вероятно, догадывался об их отношениях, но виду не подавал; Ася же старалась по возможности беречь сына от этих коллизий, особенно когда тот начал мужать. Если же Антон отбывал, скажем, в лагерь на каникулы, или на воскресный день здоровья, или убегал на целый вечер с друзьями — она, коли «свободный вечерок» выдавался именно в такой момент, никогда не возражала против прихода любовника.

О себе она ему почти ничего не рассказывала, да он и не стремился слушать — он стремился говорить; по десять раз живописал ей, и, надо отдать ему должное — довольно забавно, каждую мелочь из того, что произошло с ним за истекшее с последнего предыдущего «вечерка» время, то и дело перемежал сводки текущих событий дорогими ему, видимо, воспоминаниями детства или ранней молодости — похоже, дома ему не очень-то дают распространяться о собственной персоне, кивая и поддакивая, думала Ася. Когда же до времени ухода оставался час или минут сорок, он переходил к делу — Ася и тут, так сказать, кивала и поддакивала, в тысячный раз думая про себя: ну зачем мне все это? Наверное, так она инстинктивно пыталась — а для чего? непонятно — сохранить в себе женщину, не дать себе окончательно превратиться в ломовую мать без полу, без пламени. Но — тщетно. Ни на волос удовольствия она не получала ни от разговоров, ни от постели и подчас принималась клясть себя последними словами: ледышка бесчувственная! Месяц мужика не видела, не нюхала — вся на мыло изойти бы должна! Или прыгать до потолка от радости, из одежды рваться, или помойным ведром его огреть за то, что почти пять недель носу не казал; но не сидеть пень пнем и не лежать колода колодой! Терпеливо, однако не слишком затягивая «вечерочек», она подчинялась ему во всем и порой честно старалась быть ему приятной — если не очень выма-

тывалась за день; но даже когда он стонал, не могла отделаться от мысли, что гораздо с большим удовольствием посидела бы спокойно перед телевизором, или насладилась бы в тишине отложенной из-за его прихода на полуслове книжкой, или уж хотя бы простирнула бы то, что уже два дня дожидается стирки, а руки все никак не доходят, но стирать все равно придется, никто за нее не выстирает... Почему-то вот именно этих трех-четырех часов в месяц ей было жалко, очень уж они нарушали привычный распорядок и очень бездарно проходили; он разливался соловьем или тискал ей ягодицу, а она думала: вот уйдет, я еще полчасика успею перед сном почитать. И действительно, наскоро приняв после ухода любовника душ, а если Антон был в городе — встретив его из кино или с тусовки, она со вкусом заваливалась на диван, сладостно вытягивала ноги, которые можно было уже не раздвигать надлежащим — чтобы заезжему владыке было поудобнее — образом, а класть, как ее, Асиной, душеньке угодно, и полусонно переворачивала несколько страниц, перед тем как отключиться; чтобы завтра опять бегать, высунув язык, и совершенно не вспоминать среди реальных забот о проведенном накануне вечере, так сказать, любви.

Иногда ей даже приходило в голову покончить с этой лишней, совершенно лишней ерундой, но в последний момент становилось вроде бы и жалко. Иногда ведь все-таки проскальзывало в ощущениях что-то... женское. Уже хорошо. Да и зачем? Какая разница? И не раз мужик в кино говорил ей: ляжьте на пол, вам, гражданка, все равно... Все равно.

— Погода какая установилась, — говорил он, первым делом нырнув в ванную, чтобы помыть руки. Никогда он даже не пробовал ее обнять с ходу, немытыми руками. Гигиенист. Шевелюра у него была уже изрядно поредевшая, неопределенного цвета, а лицо — маленькое и щекастое, как у грызуна. И вообще он был похож, особенно когда говорил, на свистящего суслика в степи — Дроздов показывал когда-то в «Мире животных», и Ася еще тогда поразилась сходству: сложит лапки на пузике, щечки раздует и фь-фь-фь... секундочку послушает собеседника и опять: фь-фь-фь... Вроде бы и симпатично, и даже погладить хочется, но — суслик...

— Здорово было бы сейчас вместе, скажем, выбраться за город, да? — спросил он.

— Да.

— Знаешь, возможно, что это не такой уж дохлый номер... Каким полотенцем можно?..

— Вот, розовое.

— Ага. Возможно, говорю, это и не такой уж дохлый номер. В воскресенье Алка с девчонками на какую-то супервыставку собирается, а я попробую отлынуть. В очереди они там простоят часа полтора, если не два, да потом часа два будут бродить меж икс-панатов. — Когда уже совсем не о чем было пошутить, а хотелось, он просто-напросто начинал якобы забавно коверкать слова и сам улыбался, приглашая своей улыбкой поулыбаться и Асю; и если она сохраняла серьезность, это уж были ее проблемы, он для создания легкой, непринужденной атмосферы сделал все, что мог. — Да еще дорога туда и обратно часа полтора. Можем попробовать выбраться, скажем, в Озерки. Позвонить тебе?

— Да не знаю... — промямлила она, а сама думала в это время, заледенев внутри: если вот сейчас придет Симагин, я погибла. Погибла навсегда. Конечно, Андрей сделает вид, что ничего и не произошло, у него на меня никаких прав, и просто он явился, как обещал, поподробнее рассказать о том, что я просила выяснить. Но я погибну. И вот именно теперь она, сколько раз говорившая Алексею «Нет» по самым разным поводам, не могла выдавить этого слова раз и навсегда.

Он тщательно вытер руки и вышел из ванной.

— Я тебя очень огорошил своим неожиданным визитом? — чуть самодовольно, но в то же время явно не на шутку беспокоясь о том, каким будет ответ, спросил он. Неужели у него нет моего равнодушия? — подумала Ася. Неужели я ему как-то... дорога? И он боится меня потерять? Странно, мне это никогда не приходило в голову. Об этом я никогда не думала. Никогда не смотрела на наши дела под таким углом зрения... его глазами. Тешу его самолюбие? И не нужна вовсе, но для коллекции сгодится? Или нужна именно я?

И действительно все так, как он канючил в первый год, когда мы еще заводили пару-тройку раз эти бессмысленные разговоры с выяснением отношений и их перспектив: ты же понимаешь, Аська, ну ты же умница, ну ты же понимаешь, ну там же две дочки, двенадцать и восемь годков, ну не бросать же мне их, ну такое время тяжелое, ну как я их брошу... Ох, гадость какая, вспомнила она.

Время для нее всегда немного замедлялось, когда он являлся, — и она иногда изумлялась даже: вроде давно уже сидит, а еще только полчаса прошло. Но теперь оно неслось галопом. Он еще до комнаты не дошел, а просвистело уже минут двадцать, и в каждую из шестидесяти секунд этих минут — мог позвонить Симагин. Хорошо, если в телефон. А если — в дверь? Он ведь так и сказал: приеду.

— Ну, куда? — спросил он. — В кухню, в комнату?

— Куда хочешь.

— Тогда в комнату. На работе я поел, так что по еде не соскучился. А вот по тебе... — Он со значительным видом уставился ей в глаза. — А ты действительно прекрасно выглядишь. Помолодела тут без меня. Вот что значит хорошая погода.

— Наверное.

— Антошка не нашелся? — спросил он.

— Нет.

— Странно... Знаешь, я по своим каналам тоже пытался что-то выяснить. Есть у меня один знакомый журналист, он как раз последнее время пишет о наших отношениях с Уральским Союзом. Большой приятель пресс-секретаря тамошнего президента. Но он пока тоже ничего не узнал. По-моему, он в сентябре туда поедет в командировку, я ему напомню, если хочешь.

Странно он ставит вопрос. Еще бы мне не хотеть!

Если бы я уже не знала всего, как бы я отреагировала, интересно, на его «если хочешь»? Как будто про поездку в Озерки речь идет... Если бы у него дочь исчезла... да не на несколько месяцев, а просто вовремя не вернулась от подружки... он тоже так бы выяснял, что с нею случилось?

Ох, Аська, не надо. Не заводись. Вот именно теперь тебе захотелось, чтобы он был тебе настоящим сопереживающим

другом. Чтобы он за твоего сына переживал, как за свою дочь. Не всем же быть Симагиными.

А ведь Симагин тебя опять разбаловал. За каких-то два дня. Теперь тебе уже симагинская реакция кажется естественной, а эта — мерзковатой. А все эти годы — было вроде бы и ничего. У тебя не было вообще никаких претензий.

— С ним, кстати, весной случилась одна забавная история при переезде границы. Пермяки — они же все сумасшедшие, так вот, представь...

Он удобно уселся напротив Аси, едва не касаясь ее коленок своими, и затоковал. Не могу, думала Ася. Как странно — не могу. Мне его жалко. Человек пришел почти как домой, и это я сделала так, что он себя чувствует здесь почти как дома, а в чем-то, наверное, даже лучше, чем дома, иначе бы не ходил... И вмазать ему ни с того ни с сего — не могу. Никогда бы не подумала, что вот именно сейчас мне станет его жалко.

Если окажется, что я опять обманула Симагина, я помру. Даже не надо будет голову совать в духовку — просто помру от ужаса и тоски.

Симагин — тоже пермяк почти.

А я смогла бы так — как мне хочется, чтобы за Тошку Алексей сейчас вдруг переживать начал, — переживать, скажем, за дочку Симагина, которая у него, скажем, родилась от кого-нибудь, пока меня не было?

Это вопрос. Как говорил Симагин, зэт из зэ куэсчн. Потому что если вдруг я по поводу близких Симагину людей когда-нибудь заговорю вот таким вот тоном, как этот Алексей... Ох, лучше бы мне тогда на свет не рождаться. Позорище. Это вот и есть смерть — так поговорить и тут же перейти на забавные истории.

А вдруг Симагин не придет?

А вдруг он такой же, только притворяться выучился лучше?

Так ловко озабоченный вид на себя напустил, и по телефону сказал именно и только то, что я услышать мечтала, — я и уши развесила, я и рассиропилась... ах, Симагин, ах, лучший из людей! Поди-ка проверь, правду он мне сказал или нет! Зато явится теперь спасителем!

А поверить вот в это — тоже смерть.

— Аська, — сказал Алексей, — ты меня совсем не слушаешь. И правильно делаешь. Я и сам с трудом разговариваю. Разговаривать и с сослуживцами можно, правда? — и он потянулся к ней. Пальцы его шевелились, словно уже по дороге начиная что-то расстегивать.

Ася отпрянула.

— Алеша, ты извини. Но ты, вообще-то, полный чурбан, если не почувствовал...

Зря это, зря! При чем тут чурбан! Ну конечно, чурбан, если болтает, как глухарь на току, и не замечает, что баба другого ждет... ну ведь и пусть чурбан, зачем обижать лишний раз, мне ж с ним не детей крестить! Вот это точно. Не крестить.

— Я вернулась к мужу, — с отчаянной храбростью сказала она.

Не сглазить бы...

То-то смеху будет, если Симагин так и не явится!

Какой там смех! Это значит, с ним что-то случилось! И я либо спозаранку, либо вот прямо к ночи поскачу опять на Тореза, проверять, здоров ли он, дома ли... На лестнице спать буду, а дождусь! Ведь следователь же, ведь что-то там происходит.

А я, потаскуха, лясы тут с любовником точу.

Алексей успел по инерции произнести еще, наверное, слова три, а то и четыре, прежде чем до него дошло. Глаза у него обиженно округлились, словно у ребенка, которому вместо конфетки дали пустой фантик. Была в свое время такая идиотская шутка, за которую, всегда считала Ася, взрослым надо руки отрывать.

Впрочем, всей стране уже несколько раз вместо обещанной конфетки давали пустой фантик — а руки отрывали только тем, кто посмел заметить, что фантик пустой... Вот и дожили.

— Ася, — проговорил Алексей неловко. — Ась... ну ты же говорила сколько раз, что мужа у тебя никогда не было.

Как будто в этом все дело. Поймать на противоречиях и доказать, что сказала неправду именно сейчас.

— Извини, Алеша. — Асе было ужасно стыдно. — Ну мало ли ты мне врал... мало ли я тебе врала... Все мы люди. Был муж. Есть и будет.

Ох, не сглазить бы!!

Был, есть и будет есть. Симагин, приходи скорей, гуляш невкусный станет!

Сердце кровью обливалось смотреть на Алешу. Такой был говорливый, уверенный, самодовольный, причесанный... Так ему хорошо было — пришел после рабочего дня отдохнуть, султаном себя почувствовать за бесплатно...

Честное слово, у него даже волосы как-то сразу разлохматились. Жалостно.

Да нет, не так все просто. Дело не в султане, наверное; дело не только в столь стимулирующем мужиков гаремном разнообразии сексуальных блюд, а в том, что здесь, с любовницей, он был уверен: его любят просто за него самого — не за редкостные тряпки, утащенные из пресловутого «Товарища», не за то, что он все деньги в дом приносит, не за то, что в поликлинику ходит с младшей и к директору школы из-за старшей, не за то, что проводку чинит и бытовая электроника у него такая, какой ни у кого из приятелей нет, — просто за него самого. За то, какой он сам по себе славный человек, интересный собеседник и замечательный мужчина.

Ведь это так важно!

Ведь тогда, по большому-то счету, и деньги приносить куда легче, и к директору ходить, и вообще все. Потому что, когда тебя любят за тебя самого, ты готов сделать все, что угодно. А когда тебя любят только за то, что ты что-то делаешь, ты готов делать лишь ровно столько, сколько необходимо, чтобы тебя любили.

Ох, это я от Симагина заразилась любовью к возвышенным, умным и обобщенным рассуждениям. На самом-то деле все куда как проще. Могучий и гордый самец пришел перепихнуться на халяву — а я ему серпом по...

— Это Антонов отец, что ли? — уныло спросил Алексей.

— Да, — сказала Ася. Не вдаваться же сейчас в подробности. Алексею-то какая разница. И, положа руку на сердце, Симагин был Антону куда лучшим отцом, чем этот... как его... Антон.

— Ну, понял... — протянул Алексей. — Понял... — Он нерешительно ерзал на стуле; надо было вставать и уходить, но не хватало решимости подняться, потому что, стоит только это сделать, сесть снова уже не доведется никогда. — Ну, смотри... Может, конечно, это и к лучшему. А вдруг... Знаешь, я тебе позвоню месяца через два...

— Не надо, — сказала Ася. Она прекрасно поняла, к чему он клонит. — Если ты надеешься, что мы с ним опять разбежимся, то... В общем, не звони.

Он все-таки попытался взять себя в руки. Даже кривовато улыбнулся.

— Не пожалей, — сказал он, изо всех сил стараясь сберечь лицо. Надо же как-то дать дуре понять, подумала Ася, какое сокровище она теряет. — Ты уж, как я понимаю, полжизни пробросалась. Может, хватит журавлей-то ловить?

Вот как он заговорил! Ну что за мелкая душонка!

— Лешенька, — сказала она и с удивлением поняла, что, пожалуй, так ласково и не называла его никогда до сих пор. — Не обижайся и не сердись. Хоть постарайся. Ты очень хороший. Извини меня, пожалуйста.

И тогда он все-таки встал. Тут же вскочила и она.

— Ладно тебе, — желчно сказал он. — Совет да любовь, желаю здравствовать.

Глаза побитой собаки... побитого суслика. Господи, да как же жалко его! Да хоть раздевайся, чтобы чуток его успокоить! Никогда еще она не чувствовала к нему такой нежности. Вообще никогда не чувствовала к нему нежности — только сегодня. Да что же это такое!

— Лешенька, — умоляюще сказала она, — ну извини. Ну дура-баба, ну что с нее возьмешь!

Он не ответил, только уголок губы раздраженно дернулся. Он пошел было в коридор, но остановился и, оглянувшись, напоследок оглядел ее с головы до ног. На ноги глядел особенно долго — и она не мешала ему; терпела, стояла спокойно. Платье она сегодня надела хоть и не мини, но все-таки в обтяжку и сантиметров на пять выше колен; много лет она не позволяла себе таких развратных маскарадов.

— Красивая ты, — сказал он каким-то новым голосом, мужским — сдержанно и спокойно. — И совсем еще молодая... — запнулся. — Вот почему ты сегодня такая красивая. Счастливо, Ася.

Она заботливо подняла и подала ему его «дипломат», потом, не зная, как еще приласкать выгоняемого, зачем-то подала ему его полуботинки. Потом открыла перед ним дверь. Потом — закрыла ее за ним. Они не сказали друг другу больше ни слова; она подумала, что, наверное, надо бы его хоть в щеку поцеловать на прощание — сколько лет все ж таки он был ей не совсем чтобы чужим человеком... но побоялась обидеть. Да, сказать по совести, не хотелось ей его целовать. Ей хотелось целовать не его.

А когда дверь захлопнулась за ним, Ася поняла, что мосты действительно сожжены. И не потому, что она прогнала любовника. И не потому, что, если Симагин ее обманет, она останется теперь совсем одна; с Алексеем она и так была совсем одна. А потому, что каким-то чудом снова обрела способность сострадать даже чужим, даже тем, кто ей не нужен — и кому, в сущности, совсем не нужны ни она, ни ее сострадание.

Именно это значило, что жить как прежде она уже не сможет.

А Симагин все не шел.

И она поняла. Это оказалось проще простого.

Он хочет прийти так же поздно, как она к нему третьего дня, — чтобы уже невозможно было уехать, чтобы она сама наверняка предложила ему остаться. Как приятно будет сказать ему: оставайся, Андрюша, я тебе постелю... Какая он умница, какой он молодец! Никуда он сегодня от меня не денется!

Умиротворенная, благостная, она достала сигареты — ожидая Симагина с минуты на минуту, она не решалась закурить, зная, как он не любит эту отраву, а теперь в запасе оказалось по меньшей мере еще с полчаса, а скорее, и больше того, дым успеет выветриться, — уселась снова перед окошком, закурила неторопливо и стала преданно, терпеливо ждать.

Растерянный и злой, и словно бы очень усталый, буквально выпотрошенный усталостью, навалившейся ни с того ни с сего, Алексей вышел из подъезда и остановился на

тротуаре, ожидая, когда можно будет перейти улицу и двинуться к метро. Несмотря на поздний час, машины шли одна за другой. Пробросается, думал Алексей. Пожалеет еще. А я ведь и действительно собирался Яшку попросить повыяснять про ее Антона, когда он поедет в Свердловск... или как там теперь его называют, запутался уже от переименований... Екатеринбург? Или опять уже Свердловск? В общем, собирался, честно собирался... прилгнул ей немножко, правда, будто уже это сделал, — но ведь разницы никакой. Ну кто еще будет о ней так заботиться? Тоже мне, сокровище!

Может, вернуться? Поговорить еще? Может, она немножко покривила душой и не так уж у нее гладко с этим... мужем, или кто там? Может, она просто на понт меня, что называется, взяла — элементарно подразнить решила, как это у них, у женщин, бывает иногда. Просто чтобы поревновал. Благоверная его не гнушалась такими штучками. В гостях вот недавно притворилась, что ей плохо, испортила вечер, он побежал машину ловить, чуть с ума не сошел, пока до дому ее довез, — а она и говорит: мне интересно было, как ты станешь реагировать... Нормально. А он, дурак, сразу на Асю расфырчался и ушел...

Обязательно ей позвоню через пару недель. Или даже просто через неделю. В выходные позвоню, через четыре дня, как собирался, — может, она уже решит, что достаточно его помучила, и поедем в Озерки. Так бывает — подурит баба и потом, как ни в чем не бывало, снова ластится. Сколько раз он это дома терпел. Нормально.

Жалко ее терять. Яркая женщина и какая-то... настоящая. Уж если радостно ей, так радостно. Уж если интересно, то интересно. Уж если ждет — так на всю катушку ждет, а если уж не ждет... то не ждет. Он печально усмехнулся. А ведь она сейчас явно ждет того своего. Как я сразу не догадался, ид-диот! Четыре с лишним года... и так вот мордой об стол... Конечно, никогда она не была в меня влюблена безумно, это я понимаю, — но относилась неплохо. А в постели какова! Нет, не в смысле всяких штучек, вся эта сексодромная аэробика, наверное, только бзикнутым на телесном здоровье

американцам и нужна, они даже из постели жаждут устроить спортзал — так зато в этом, как его, «Основном инстинкте», что ли... герой вместо объяснения в любви героине заявляет: «Ты трахаешься лучше всех в мире!» — и это уже повод, чтобы предлагать руку и сердце. То есть так надо понимать, каждый остается сам по себе, но в трахе совпали более, чем с кем-либо другим из испробованных. Вполне жизненная ситуация. Нормально. А вот Ася какая-то... самостоятельная вполне... но самозабвенная. Не просто сношается, а отдается; есть разница. Сразу чувствуешь себя главным. Ч-черт, если она со мной такова, то какова же с тем, кого и впрямь всерьез, всем сердцем... Он даже зубами скрипнул от зависти и унижения. Нет, не может быть, чтобы вот так. Хоть бы этот ее идеал на нее плюнул с высокой горки!

Из-за угла навстречу ему вышел человек; если бы Алексей знал Симагина, то понял бы, что это он. Но он и Симагина не знал, и вообще был настолько увлечен своей обидой и желанием хоть как-нибудь отомстить Асе, унизить ее, победить и снова завладеть, что вообще не смотрел по сторонам; машины на проезжей части он еще как-то отслеживал на рефлексе, но рассматривать, кто там идет навстречу, кто мимо, кто догоняет и кто отстает, — это увольте, это не сегодня. И потому он лишь краем глаза отметил нечто расплывчато странное: как идущий ему навстречу щупловатый мужчина роста чуть повыше среднего вдруг вынул из кармана нелепо знакомый, но абсолютно неуместный здесь, на обыденной улице предмет — и тут же исчез. Только через мгновение Алексей сумел вынырнуть из бурлящих глубин своих мыслей и толком оглядеться; только тут у него прорисовалось, что нелепо знакомый предмет был — пистолет. Незнакомца и след простыл, и вообще все было обыкновенно: катили автомобили, пронзительно и нервно расчерчивая сумерки красными габаритами, мельтеша и временами задевая друг друга, шли люди... А какой-то человек стоял на той стороне и смотрел на него. Алексей посмотрел на человека — человек опустил взгляд и даже отвернулся. Но это был совсем другой человек — не тот, который привиделся... Дожил, подумал Алексей. Вернее, довели. Глюки уже.

Человек на той стороне был Листровой, заступивший на пост у Асиного дома на свой страх и риск, чтобы проверить, появится ли Симагин, и если появится, то — как. Уже часа два следователь топтался на тротуаре напротив парадного, то куря, то разглядывая витрины, то как бы ожидая все никак не подъезжающего троллейбуса, — маялся. А когда увидел Симагина, то даже не сразу его узнал: Симагин был свеж как огурчик, ни малейших следов насилия на морде, и шел вполне бодренько. Листровой подобрался, и в душе у него запели фанфары. И увидел, что Симагин резко пошел наперерез неизвестному лощеному, но несколько траченному мужчине, вышедшему как раз из того парадного, за которым Листровой вел наблюдение, и ловко выдернул, кажется, натуральный пистоль. Ёхана-бабай! Листровой бросился было через проспект... и тут же оказалось, что нет никакого Симагина, и только хлыщ растерянно крутит залысой головой, и вид у него несколько обалделый...

Пожалуй, подумал Листровой, и у меня сейчас вид не лучше. Он перевел дух и снова закурил. Жара. Помороки. А может, нормальная мистика, собственно, ее-то я и жду. Хлыщ пошел себе поперек опустевшего после перемены сигнала светофора проспекта и через минуту скрылся за углом. Листровой, невольно формулируя его словесный портрет и затверживая его на всякий случай, проводил хлыща взглядом, потом снова уставился на окна, которые он предполагал Асиными. Света в окнах не было, но, похоже, какая-то жизнь там шла — время от времени колыхался призрак занавески, угадываемой в темном провале отсвечивающего стеклом окна, словно кто-то то подходил к окошку, то опять отходил.

Именно для Листрового и игрался частично замеченный следователем аттракцион. Конечно, не Симагин застрелил Алексея, а его ночной гость, снова принявший симагинский облик. Листровой хочет посмотреть, что, попав загадочным образом на свободу, примется вытворять так пришедшийся ему к душе маньяк-убийца — пожалуйста! Он порешит очередного мужика прямо у дома своей женщины. Не понадобится длительного расследования, чтобы выяснить: убитый мужик вышел от Аси, и был ее любовником в течение нескольких лет, и только что находился у нее в течение почти часа — чем они там занимались, какие цветы собирали, Листровой может представлять в меру своей мужской подготовленности. Очевидно, что Симагин всего-то навсего методически истребляет хахалей бывшей своей подруги. Да на этот раз еще, если вам угодно, товарищ Листровой, — неизвестно как похищенным из вашей же, уважаемый товарищ Листровой, квартиры, вашим же именным оружием. Это уже к утру однозначно покажет баллистическая экспертиза. Правда, весело? Вот каков, доверчивый товарищ Листровой, ваш якобы невинно пострадавший!

И между прочим, дополнительная, но очаровательная музыка: Асе-то каково будет опознавать труп! Да еще когда ей опишут приметы убийцы, а она признает своего Симагина! Вот когда цирк начнется!

То, что и над Алексеем обнаружился хранительный кокон, оказалось для ночного гостя полным сюрпризом. Он даже вообразить себе не мог, что Симагин уже выявил Алексея и бережет теперь это ничтожество, этого кобелишку, на все лады трахавшего его ненаглядную Асю уже несколько лет, — бережет наравне, скажем, с собственными родителями. Но факт остается фактом — аттракцион не удался; кокон легко сожрал больше пяти секунд, предшествовавших выстрелу, и кинул стрелка метров на двадцать в сторону.

Помимо злобного изумления и досады от неудачи, в глубине души покушавшийся на Алексея хитрец испытал и облегчение. Он шел на третье лично осуществляемое убийство уже не со столь легким сердцем, как в первых двух случаях; здесь риск непредвиденных и нежелательных последствий оказывался весьма серьезен. Алексей был даже не Вербицкий, и чем хорошим для окружающих чревата его смерть — совершенно невозможно было предвидеть. Фактически со стороны ночного гостя это был акт отчаяния. Через два часа после разговора в камере он начисто потерял Симагина, а это значило, что тот все-таки перешел к активным действиям, и какого рода это будут действия, просчитать не удавалось. Несмотря на старательно демонстрируемую уверенность, ночной гость отнюдь не был уверен в себе. Он не знал, кто такой Симагин, и не знал его возможностей. И вот

теперь — потерял. Этим довольно-таки нелепым, наскоро импровизированным убийством он надеялся заставить Симагина хоть как-то раскрыться и вдобавок выиграть хотя бы несколько очков косвенно — травмировать Симагина еще одним поражением и тем ослабить его наступательную мощь, какова бы она ни была. Поскольку, противу всех ожиданий ночного гостя, исход бероевского дела до сих пор оставался сомнителен, было особенно важно побыстрее сломить хотя бы Листрового, и самый галантный красавец в мире надеялся, что, убедившись в маниакальных наклонностях Симагина, следователь сдастся. Признает свою ошибку. Изверится и возненавидит убийцу, так ловко обманувшего его, прикинувшись невинной жертвой неких полумистических сил.

Но проклятый праведник своим гуманизмом опять перепутал ему все карты. Застукать жену с любовником — и начать беречь его как зеницу ока от посторонних посягательств! Конечно, самый остроумный собеседник в истории человечества не рассчитывал на то, что его противник в припадке ревности снизойдет, скажем, до того, что лично оторвет яйца сопернику; но то, как заботливо он запеленал поганца в ватку ровно той же плотности и интенсивности, что и ватка, укутавшая самых близких ему людей, доказывало: Симагин опасался за него, как за родного, как, скажем, за Асю, как за Киру мог бы опасаться, если бы вовремя допер до того, что ей тоже грозит опасность, и явно боялся в случае его смерти снова угрызаться, казниться, терять силы... Такое могло привидеться разве лишь в кошмарном сне. Над сколькими же еще посторонними, совершенно случайными людьми он, наученный горьким опытом, поразвесил своих ангелов-хранителей? Над всем человечеством, что ли?

Нет, конечно; такое Симагину было не под силу. Но, действительно наученный горьким опытом и не желая больше отвлекаться на бессмысленный, изматывающий и отвлекающий обмен тактическими ударами, он прозвонил все связи всех людей, которых только смог припомнить как хотя бы когда-то ценных для себя, и теперь растопыривал в разные стороны мира больше двух тысяч постоянно действующих силовых коконов, чтобы раз и навсегда застраховаться

от случайностей. Больше половины этого числа приходилось на тех людей, которых он вообще в жизни ни разу не встречал — но которые были в каких-то отношениях с теми входившими в первый круг близости, которых Симагин вспомнил как своих. Конечно, долго это продолжаться не могло, внимания и энергии такая перестраховка отнимала изрядно. Возможно, теперь он слегка переусердствовал — на молоке обжегшись, на воду дуют — но он не хотел больше угрызений. Надо было сосредоточиться.

Грубо говоря, самый действенный и, в сущности, единственно действенный способ принципиально изменить всю ситуацию разом — это прокрутить ее от начала с какой-то поправкой. Что это значит, если речь идет не о сборке, например, какого-то механизма, когда по завершении ее, как это часто бывает у начинающих кустарей, вдруг остаются лишние детали и надо заново разбирать механизм и пытаться вогнать избыточные загогулинки на какое-нибудь подходящее место; и не о написании, например, книги, где можно взять да и скомкать последний десяток страниц, а потом начать эпизод с новой первой фразы; и не об ошибочно выбранной после перекрестка улице, когда можно вернуться хоть на пятьдесят, хоть на пятьсот шагов назад и попробовать другой маршрут... Но — о жизни в целом?

Первое, что приходит в голову — и что первым и единственным пришло в голову ночному гостю, когда он пытался предугадать действия Симагина, — это повернуть время вспять к тому моменту, который ощущается как момент ложного выбора, а потом, скорректировав этот выбор, вновь запустить часы в обычном направлении и с обычной скоростью. Такой маневр называется темпоральной инверсией, и при небольших удалениях от точки ошибки он стопроцентно спасителен. Он уже применялся Симагиным в автоматическом режиме, когда охранные коконы реагировали без его специального вмешательства на попытку взорвать Асю, на попытку застрелить Алексея... Но в этих ситуациях сшивалась прореха между прошлым и будущим длительностью в какие-то секунды, и вдобавок — лишь для сугубо ограниченных масс. Волочь чуть ли не целый город в прошлое на двое-трое суток, чтобы аннулировать развитие общей ситуа-

ции и запустить ее развитие с начала, с момента, скажем, ухода Аси от Симагина в первое утро — задача, конечно, посильная, но неблагодарная. Потому что, во-первых, такая грандиозная работа потребует сама по себе предельных усилий и может уже не остаться ресурсов для коррекции ошибки. Во-вторых, совершенно непонятно, как эту ошибку корректировать и что противопоставить следующей атаке противника — а в чем будет заключаться эта атака, тоже еще неизвестно. В-третьих, основная задача, то есть то, из-за чего разгорелся весь сыр-бор — Антон, — останется так же далека от разрешения, как и в самом начале. В лучшем случае поединок войдет в состояние автоколебаний, и в перспективе все равно будет только проигрыш, потому что коверкать мир точно направленными булавочными уколами, предоставляя ему дальше, после каждого укола, скатываться к дальнейшему ухудшению уже самостоятельно, под влиянием его собственных законов, энергетически и оперативно куда проще и легче, чем потом всякий раз целиком оттаскивать изуродованную область к тому моменту, который предшествует первому уколу, и, утирая пот с чела, едва дыша после такого напряжения, снова отдавать ее на волю того, кто колет, — отдавать, понятия при этом не имея, как и где кольнут теперь. В худшем же случае уже на второй попытке противник найдет возможность ударить так, что инверсия окажется невозможной или, по крайней мере, не все проигранное сможет спасти.

Теоретически есть еще один способ. Дело в том, что история не постоянно катит по вероятностной плоскости, когда, пихай ее не пихай, нипочем не спихнешь с наиболее вероятного пути. Встречаются время от времени участки, напоминающие как бы скользкий мостик, по которому жизнь проносится исключительно по инерции, в состоянии более или менее неустойчивого равновесия; дунь легонечко, и все повалится влево или вправо. Достаточно переменить исход двух-трех не слишком даже значимых случайностей — и переменится направление всего движения. Значит, можно не тащить против течения времени тяжеленный невод с миром к моменту сопряжения с мало-мальски удовлетворительным

прошлым. Вместо этого можно вслепую, почти наугад запустить руки в ушедшие времена, предшествующие всем событиям, которые необходимо отменить или изменить, нащупать там какую-то вероятностную вилку и перещелкнуть стрелки общего развития так, чтобы к нынешнему моменту и следа не осталось от всего того, что искорежил своим воздействием противник. Получится, что он долго и старательно корежил то, чего не было и нет.

Этот головоломный трюк чудовищно опасен. Прежде всего потому, что изменению, причем одному-единственному для данной вилки возможному, подвергнется весь мир. Избирательность воздействия и тщательность дополнительной корректировки будут стремиться к нулю. После того как стрелки на рельсах щелкнут, мир снова начнет развиваться по своим собственным законам, и подправлять развитие в тех или иных ограниченных областях, чтобы точнее добиваться поставленных целей, окажется невозможно. Просто лавина покатится несколько в ином направлении, нежели в первый раз. Да, говорил себе Симагин, новое направление кажется тебе сейчас лучшим, чем прежнее, и по основным параметрам, таким, например, как жив там Антон или нет, ты способен его с достаточной степенью точности оценить — но только по основным параметрам; какие сюрпризы помимо этого поджидают на новом пути, выяснится только тогда, когда путь будет пройден. Сам оставаясь здесь, в этом дне и в этом мгновении, ты получишь трансформированный мир, докатившийся именно до этого дня и этого мгновения, а каков он окажется, от тебя уже не будет зависеть, ты — стрелочник. Но ты в то же время — и причина этого мира; а потому все, что в этом мире будет тебе не нравиться, будет вызывать в тебе неприязнь, отвращение, боль, — ляжет на твою, и только на твою, совесть.

Вдобавок развилку можно искать только в строго ограниченных временных рамках. Она не может предшествовать времени зачатия Антона, потому что, запустив течение вероятностного хаоса в иное русло, я могу попросту убить Антошку — невольно послужить причиной того, что Ася не повстречается с его отцом вообще, или повстречается, но не-

сколько иначе, или ребенок у них родится в иное время — в общем, значит, это будет уже не Антон. Может быть, получится тоже неплохо — но не этого я добиваюсь.

И разумеется, она не может располагаться позже времени разгрома Целиноградского котла.

Пожалуй, ответ был очевиден. Однако Симагин, практически уже будучи уверенным, за какой рычаг ему придется тянуть, три с лишним часа потратил на бережное выщупывание едва ли не каждой секунды этих лет, чтобы убедиться наверняка. И чтобы, насколько это вообще возможно, представить себе хотя бы основные черты того несбывшегося мира, который он собирался, чего бы это ему ни стоило, превратить в сбывшийся и единственно существующий. Он покончил с этим минут примерно за пять до того, как Алексей позвонил в Асину дверь. А у Симагина тогда возникло еще одно дело.

В одиночной спецкамере Лефортовской тюрьмы в Москве, невыносимо скучая, медленно умирал грузный седой человек. Он, в общем-то, знал, что умирает. Предполагал даже, что умирает не просто так, а чьими-то вкрадчивыми, неторопливыми стараниями. Волей тех, кто держал его здесь и оттягивал, оттягивал суд, да так и оттянул до того, что все про всё забыли. Поначалу он готовился к суду и даже ждал его и надеялся, потому что всяко могло случиться, у него было еще немало сторонников; оттачивал фразы, обдумывал аргументы, пытался делать зарядку, чтобы хватило сил и чтобы не подвело в главный момент сердце. Потом, когда ему любезно сообщили — а до его сведения вообще очень любезно доводили все способное его огорчить, — что Янаев ушел в отставку и президентом Союза демократическими двухступенчатыми выборами избран Крючков, пожилой человек понял, что надежды нет; и стал равнодушен ко всему. Он знал теперь наверняка, что никакого суда не будет. Жизнь державы текла дальше по своему извилистому руслу, дробилась и бурлила на порогах, ветвилась узкими причудливыми рукавами в откалывающихся областях, гнила и цвела от гнили в заводях и затонах — никто даже в мыслях не хотел возвращаться вверх по течению. Зачем? Ни хлеба, ни электричества, ни пороха от таких возвращений не прибавится. За три года антисталинского треска, которым Горбачев нагло и глупо пытался накормить народ, народ это прекрасно понял.

Содержали человека, в сущности, неплохо. Кретины, развалившие страну — но иначе, чем он бы разваливал: не по-умному, не с пользой, а просто вдребезги; так, лохматой лапой стиснув хрупкую фарфоровую вазу в потугах ее удержать, вдребезги давит ее безмозглая горилла, — кретины эти не поглупели до того, чтобы унижать его физически: духотой, вонью, грязью, голодом. Нет. Им, вероятно, куда как приятнее было, чтобы он, отнюдь не в робе и отнюдь не с нар, смотрел «Время» и «Вести» по телевизору «Сони» из мягкого кресла, надев свой любимый свитер и любимые широкие брюки, — и в полном сознании молча бесился, кусал губы, слеп от бешенства и бессилия. И бессильно бы умирал.

Но он постепенно приучил себя — знать бы только зачем, с какой такой великой целью? — не кусать губы, не беситься и не слепнуть, а смотреть все эти окаянные, словно специально для накручивания массовой паранойи выпекаемые новости, как какую-нибудь «Рабыню Изауру», отрешенно, свысока и с усмешкой. Спасительное равнодушие начало посещать его к концу третьего года в камере — а к середине четвертого не осталось, кроме равнодушия, ничего.

Адвокат не появлялся с полгода. Даже правовую комедию — такую, в общем-то, недорогую и необременительную — ломать им стало уже лень. Незачем.

Домашних к нему тоже давным-давно не пускали. Он не знал, что им говорят о причинах прекращения свиданий. Ему не говорили ничего. Нельзя — и конец трепотне.

Теперь он часто задремывал днем или под вечер; ему не мешали и не требовали соблюдать режим. Не режим дня, разумеется; не режим, тщательно разработанный лучшими медиками для поддержания столь драгоценного для державы здоровья, — тюремный режим, тюремный. И по тому, как наплевательски теперь относились к таким нарушениям охранявшие его и следившие за ним офицеры, грузный седой человек окончательно понял, что он для них уже — не жилец.

Однажды под вечер он в очередной раз забылся мелким, поверхностным стариковским сном, а когда уже чуть ли не ночью открыл глаза, то напротив него, в его же кресле, сидел незнакомый ему мужчина и смотрел на него.

Мужчине было лет тридцать пять или больше; или меньше. Трудно было сказать. Много переживший мальчик. До неприличия моложавый старик. Жизнерадостный дурачок, которому отчего-то смертельно взгрустнулось. У него были густые волосы и большие, свободные, ясные глаза. Они ощущались как скорбные и веселые одновременно; но вслух седой человек никогда не произнес бы столь претенциозного словосочетания. Это все литература, презрительно думал он, когда вообще думал на такие темы. Когда вообще думал — а не прикидывал и примеривался, как бы половчей сыграть и обыграть. Лужниковские толпы требуют простых слов и коротких фраз, а кремлевские коридоры требуют простых мотиваций и коротких ударов.

Сначала седой человек подумал, что еще спит. Но ему никогда не снились сны про собственную тюрьму, и слава богу; было бы совсем нелепо и во сне смотреть на эти осточертевшие стены и эту проклятую мебель. В снах, от которых так не хотелось возвращаться к снулой и скудной реальности, он чаще всего видел себя в клокочущем вихре лета девяносто первого, когда он, взбудораженный и почти уже всемогущий, чувствовал себя чуть ли не Лениным: власть валяется в грязи, и надо просто ее поднять. Только Ленин был упырь, думал человек, кровосос и вдобавок видел не больше чем на пять-семь лет вперед; а я, думал он, буду настоящий.

Потом седой человек решил, что сошел с ума; точнее, конечно, не он сошел, а его начали сводить — подмешивать к пище какой-нибудь галлюциноген или что-нибудь в милом таком роде. Очередной этап медленного и мучительного уничтожения, уважительного по всем формальным признакам. Откуда здесь мог бы взяться хоть кто-то? Да вдобавок — незнакомый? Жене и то путь закрыт навсегда. И если даже предположить, что некто сюда проник — что фиксируют сейчас недреманные телекамеры под потолком? Почему молчит сигнал тревоги?

Потом он решил, что все гораздо проще. Его действительно накормили какой-то дрянью, расслабляющей волю, — эта химия, как он слышал, зачастую имеет побочным своим действием снотворные эффекты, — а тем временем тихохонько вошел и будет теперь прямо со сна его тепленького дрючить какой-нибудь новый офицерик, специально подобранный из-за мордочки, на которой буквально с нарочитостью, даже утрированностью какой-то, будто на иконе, написано: мне можно верить, я не подведу, не продам, я честный и добрый! И начнет требовать в чем-то признаться, что-то подписать и от чего-то отречься. Это было наиболее вероятным, и ни малейшей мистики. Вопрос только, по какому ведомству этот тяжко раненный младенец работает: если по идеологии, то будет требовать признаться в коррумпированности, работе на иностранные разведки, принадлежности к кругу высших агентов влияния, которым Тель-Авив и Вашингтон специально поставили задачу погубить непобедимый и могучий Союз изнутри, а кроме как Тель-Авиву, понимаешь, Союз и губить некому; если же по экономике, то опять начнет требовать номера счетов в иностранных банках, куда моя антипартийная клика переводила партийное золото. Все это мы уже проходили — только мордочки такой еще не видели. Не кадровый. Из переметнувшихся интеллигентов, конечно. На молодого Сахарова похож.

Тех времен, когда тот еще сверхбомбы тачал для горячо любимой социалистической Родины.

— Ну? — спросил седой человек.

Мужчина напротив чуть улыбнулся. Ну конечно, на такой мордочке и улыбка должна быть соответственная. Светлая и грустная. Мудрая, понимаешь, и всепрощающая. Артист, что ли, бывший? Не помню такого артиста.

Он был в гражданском, разумеется; вельветовые джинсы, рубашка, расстегнутая на горле, и легкий джемперок. Вполне демократично в тюрьму явился. Демократия на марше. Была, кажется, такая телепередача в оттепельные времена. Что-то наподобие «Прожектора перестройки», но на полтора-два десятка лет раньше.

Только у нас на Руси, мельком подумал седой человек, могут возникать подобные словесные уродцы. Ляпнут — и

даже не слышат, как это смехотворно и дико и как уши вохровцев торчат. Демократия на марше. Народные избранники на этапе. Свобода на зоне. Прожектор на вышке перестройки.

— Вы кто? — спросил седой человек угрюмо.

— Мое имя вам ничего не скажет. Скажем так: интеллигент.

Ну я же так и понял, подумал седой человек удовлетворенно.

— Один из тех, кого запросто именуют научниками — то есть из тех, кто целиком зависит от состояния государства. Еще в большей степени, чем, например, армия. И потому кровно заинтересован в том, чтобы состояние это было хорошим. Дееспособным.

Говорливый какой, подумал седой человек с неудовольствием.

— Один из тех, кто так поддержал сначала Горбачева, а потом едва не привел к власти вас.

Ничего не понял, подумал седой человек с раздражением.

— Привел, понимаешь, привел... — недовольно пробурчал он. — А вот не привел!

— Есть возможность все поправить, — спокойно сказал сидящий напротив незваный ночной гость и опять слегка улыбнулся.

Седой человек напрягся, а потом резко сел, спустив ноги с койки. Вот оно как, подумал он. Сна и расслабления будто не бывало. Вот они теперь меня чем будут...

— Нет-нет, — сказал гость, будто прочитав его мысли. Впрочем, угадать их было несложно. — Это не провокация. Я не Бабингтон.

«Какой еще баб?» — подумал седой человек.

— Бабингтон, — снова угадав, что делается у него в голове, произнес ночной гость, — это наивный молодой англичанин, который совершенно искренне пытался освободить находящуюся в заключении Марию Стюарт. Тогдашний английский комитет госбезопасности его засек и использовал, чтобы спровоцировать Марию на призывы к заговору против царствующей королевы Елизаветы и к перевороту.

На основании этих высказываний, которых Мария сама бы, вероятно, и не сделала никогда, ее судили и обезглавили. Так вот у нас с вами ситуация совсем иная.

Седому человеку стало не по себе. Просто-таки жутковато стало. Это не было похоже ни на что знакомое ему по предыдущим играм. Он не понимал, что происходит. Наверное, все-таки сплю, подумал он. Ведь не может этот хмырь и впрямь читать мои мысли.

— Ну почему же не могу, — сказал ночной гость.

— Так, — властно проговорил седой человек, потому что сердце у него провалилось в ледяную полынью и зашлось там от мистического ужаса. И уже как за спасение, потому что лишь так можно было — путем пусть страшной, но частной уступки — сохранить в неприкосновенности картину мира в целом, он ухватился за отчаянную мысль: неужто у Крючкова построили-таки агрегат для телепатии?

— Нет-нет, — произнес ночной гость самым успокоительным тоном. — Этого не будет, не беспокойтесь.

Вот теперь стало просто жутко. По-настоящему.

— И вообще вы можете быть совершенно спокойны, — сказал ночной гость. — Это звучит немножко издевательски, простите... Вы были совершенно спокойны как раз до моего прихода, а сейчас, наоборот, в высшей степени беспокойны. Только это быстро пройдет. Можете быть спокойны в том смысле, что нас никто не видит, никто не слышит, телекамеры передают на мониторы изображение мирно похрапывающего старика... А мы можем поговорить. Совсем чуть-чуть, у меня мало времени.

— Кто вы? — снова спросил седой человек хрипло.

— Я вам уже отвечал, только вы совсем не вслушивались. — Гость опять улыбнулся. — Вы так в нас нуждаетесь и так нас не слушаете... это просто удивительно. Это добром не кончится.

— Что вам надо? — прохрипел седой человек.

— Вас.

— Меня?

— Да.

— Что теперь с меня взять?

— А почему вы думаете, что я пришел брать? Что за унылый стереотип — всякий, кто приходит, приходит брать? Это отнюдь не обязательно.

— То есть вы намекаете... что пришли что-то... давать, что ли?

— Именно. Только сначала хочу поговорить... А вы — вы... можете для собственного спокойствия считать, что и впрямь спите. Спите все эти годы после августа. Мысли я слышу, конечно, — но главным образом те, которые думаются в данный момент. Вот мы и подумаем немножко на заданные темы. — Гость каким-то удивительно уютным, домашним жестом почесал щеку. — Как вы относитесь к КПСС?

Скулы седого человека медленно выдавились двумя буграми наружу. Ну как этому щуплому объяснишь в двух словах? Потому с вами, с интеллигентами, никто и не хочет разговаривать всерьез, подумал он; простые вещи вы пытаетесь изобразить неимоверно сложными, а сложные норовите упростить донельзя. И тут он внутренне дернулся, а потом съежился: ведь слышит! Но гость не подал виду; он спокойно, доброжелательно ждал ответа.

Как можно, уже выйдя на пенсию, относиться к своей октябрятской звездочке, к пионерскому галстуку? Одновременно и умиляешься, и морщишься брезгливо. Какой же я, дескать, был дурак... а в душе что-то восторженно поет против воли: какой я был молодой!

Конечно, он еще, кажется, в семидесятых читал... этого, как его... югослава... ну вот, уже совсем память начала сдавать. Про новый класс, что ли... Джиласа, кажется. И еще какие-то запретные для простых смертных труды, убедительнейшим образом и экономически, и политически доказывающие, что диктатура одной организации, на верхних этажах сугубо замкнутой и фактически отупляюще полурелигиозной, для страны — губительное бремя. Эти книжки тогда многие почитывали в партийных верхах — из тех, кто хоть чем-то еще интересовался, кроме того, как бы удержаться лет ну еще пяток... из тех, кто еще читать не разучился. Ну, почитывали. Беседовали тишком, как все обычные советские люди: куды котимся? Чаво будет?

Нужно было публично получить по мордасам на партконференции в ответ на униженнейшую мольбу о политической реабилитации, чтобы не головой начать понимать какую-то там губительность для страны, а начать всеми потрохами испытывать сугубо личную, живую ненависть. Лютую.

Чтобы принимать решения, поступки чтобы совершать — нужны переживания, а не рассуждения.

— Не люблю, — сдержанно сказал седой человек.

— Понял, — ответил ночной гость. — А что вы любите?

— Россию, — без колебаний ответил седой человек. Пусть проверяет, подумал он, пусть в мозги лезет, если может. Каков вопрос, таков ответ. Вопрос дурацкий. Может, я пиво с воблой люблю.

— Прекрасно, — с каменным лицом произнес ночной гость. — А вы уверены, что иначе, как через развал страны, КПСС не разгромить? Уверены, что разгром компартии стоит развала России?

— Никакого развала не будет! — повысил голос седой человек. — Не допущу!

— Как? — цепко спросил гость.

— Да уж не как Горбачев в Тбилиси! И уж не как Крючок принялся, — усмехнулся седой человек. — Не силком, не танками. Чем больше на танках в любви объясняешься — тем быстрей от тебя все бегут. Экономика и культура! После разрушения партийного контроля над производством начнется резкий и быстрый экономический рост. И все опять стянутся вокруг России, потому что без нее, без этого мощного ядра, ни одной из окраин все равно не прожить. А взлет культуры обеспечит и укрепит роль именно русского народа как цементирующей силы. Все просто, если, понимаешь, не мудрить.

Ночной гость запустил пристальный взгляд седому человеку в глаза. Седой человек выдержал.

— Вы сами-то верите в то, что это получится? — тихо спросил ночной гость.

А хрен его знает, подумал седой человек.

Сейчас было бесполезно и мысли-то его выслушивать, не было мыслей; только напряженное биение эмоций — нутряных, как кровавые мышечные волокна, туго скручен-

ные в один напряженный безмозглый мускул: стремление победить... стремление спасти... стремление владеть... стремление опередить всех... стремление быть всеми шумно любимым... Симагин чуть покачал головой. Он уже думал, что не дождется внятного ответа. Но седой человек чуть склонил голову — упрямо и угрожающе, будто собираясь бодаться; и глухо произнес:

— Я бы попробовал.

— Хорошо, — решительно сказал Симагин. — Вы попробуете. Только помните, пожалуйста, все, что вы мне тут наговорили. И камеру эту... Я постараюсь, чтобы вы запомнили. Никто ничего помнить не будет, а вы... вы будете.

И Асе оставлю ощущение этих дней, подумал Симагин. Только ощущение. Там уж пусть сама решает.

— А если начнете забывать, я буду приходить к вам во сне и смотреть в глаза. Договорились?

Седой человек не ответил. А в главном этаже его мыслей Симагин услышал только неопределенное и чуточку настороженное, чуточку презрительное: ну-ну... Но в подполье под «ну-ну» жирной и наглой крысой пробежало большевистское: давай-давай, еще и не таких ломали. Дыхание этой крысы и выперло в бельэтаж сознания как, казалось бы, необъяснимое и ничем не спровоцированное презрение. Симагин опять качнул головой.

— Теперь скажите мне вот еще что...

Совсем стемнело, но Листровой, накурившийся так, что щипало язык и нёбо, не покидал поста. Он сам уже не знал, чего именно ждет. Следующих чудес. Тот поморок, свидетелем которого он был пару часов назад, был не поморок, конечно, — но отголосок неких невообразимых, Листровой отчетливо это понимал, процессов, идущих бог знает в какой бездне. Он уже не мечтал понять и стать участником. Он хотел быть хотя бы просто свидетелем еще хоть чего-нибудь. Он не хотел ни загадок, ни разгадок. Он ждал чудес. За одно лишь открытие того, что чудеса все-таки, оказывается, еще бывают, он был благодарен Симагину так, как с детства никому благодарен не бывал. С тех самых детских времен, когда выяснил раз и, казалось, навсегда, что — не бывает чудес.

Окна женщины Аси оставались темными. Остальные почти все уже давно осветились. Надсадно-алые огни машин длинно и часто полосатили сумеречную пустыню проспекта плавными полосами, время от времени — чуть ломаными, когда машины подскакивали на выбоинах как всегда, как везде отвратительного покрытия. Шуршание и стук, шипение и стук. По временам — нестройное бухое пение издалека. Листровой уже давно перестал волноваться по поводу того, что он застанет дома, как его встретят и чем. Ему было до лампочки, как и чем встретит его завтра Вождь. Он ждал.

— Добрый вечер, — раздался голос сзади. Листровой резко обернулся. В свете уличных фонарей, редких и тусклых, Листровой различил Симагина. И снова Симагин, даже в мертвенном, белом свечении, так похожем на освещение морга, был как огурчик — ни синяков, ни опухолей...

— Быстро же вы подлечились. И где ж это у нас такие лекари? — спросил Листровой. На жалость меня, что ли, брал? А на самом деле и не бил его никто... Но нет, ребята определенно говорили, что отоварили паскуду от души...

Чудеса. Чудеса! Вот они, чудеса!!

— Да на мне как на собаке все заживает. — Симагин улыбнулся, и Листровой подумал, что с этим человеком он хотел бы подружиться. Таким, наверное, добрый кудесник и должен быть. Глаза. И улыбка. И конечно, именно вот к такому такая именно женщина, как Ася, и обязана была прилепиться так, что хоть расстреливай. Ну, понятно.

— Как у вас с победами? — спросил Листровой.

— У нас с победами хорошо, — серьезно ответил Симагин, пришпорив голосом слова «у нас». — По очкам мы его переигрываем уже. Осталось врезать как следует напоследок... Чтоб с копыт долой, скотина.

Впервые в его голосе почудилась Листровому настоящая ненависть. И это было приятно Листровому. А он, понял Листровой, вовсе не равнодушно-добрый Дед Мороз. Боец.

— А кого — его? — не удержавшись, спросил он, хотя понимал, что ответа, вероятнее всего, не будет. А если и будет — то такой, что его не понять.

Симагин потыкал указательным пальцем вниз.

Листровой, казалось, ждал этого; он совсем не удивился. Но спросил, цепляясь за обыденность и сам не понимая, на кой ляд ему, собственно, эта обыденность сдалась и чем она ему так дорога:

— С метростроем, что ли, борьба?

— Угу, — улыбнулся Симагин и кивнул. — С метростроем.

— Ну и как — врежете? — спросил Листровой.

— Да, — ответил Симагин. — Вот буквально через час-полтора. Вы идите отдыхать уже... Господи, я ведь так и не знаю, как вас зовут... гражданин следователь.

— Павел Дементьевич, — сказал Листровой.

— Андрей Андреевич, — будто Листровой этого не знал, ответил Симагин и протянул ему руку. Листровой помедлил мгновение, не решаясь — потом протянул свою, и они обменялись рукопожатием. Рука у кудесника была как рука — небольшая, теплая и не слишком-то мускулистая. Дружелюбная.

— Вы идите отдыхать уже, Павел Дементьевич. Отбой на сегодня. А завтра все будет совсем иначе.

— Лучше?

— По-моему, лучше... Иначе.

— Я вас уже видел тут сегодня, — зачем-то сказал Листровой. — Как-то странно так... С пистолетом.

— Да, я знаю. Это был не я.

— Он?

— Да.

— Я почему-то почти сразу так и подумал. Вы теперь к ней?

— К ней.

— Она вас, — чуть-чуть стесняясь, сказал Листровой, — любит очень. Она тоже... волшебница?

Симагин засмеялся:

— Она-то и есть волшебница. А я — просто ученый. Естествоиспытатель.

Они помолчали. Было странно на душе и тепло, но говорить дальше не получалось — надо было или говорить много, долго, обо всем; либо расходиться, еще раз пожав друг другу руки и отложив разговор до мирных времен. Потому что в перестрелке болтать нельзя. Да к тому же Листровому было очень неудобно задерживать Симагина — его влюбленная женщина ждет. И они действительно снова как следует тряхнули друг другу руки и разошлись в разные стороны, и больше уже никогда не виделись.

В квартире было совсем темно, только кое-где призрачно и чуточку страшно отблескивали темные стекла — настенные часы, которые давно перестали идти, стекла в книжном шкафу, стекла в серванте... Из открытого окна медленно чадил в квартиру ночной воздух улицы, пахнущий пылью, асфальтом и бензином. Но все равно просторный, и от этого приятный. Теплый. Ася сидела, как и вначале, сложив ладони на подоконнике и уложив на них подбородок, и смотрела на человека, который вот уже час, или полтора, или больше — с тех самых пор, как она уселась тут и растворила рамы пошире, — стоял на той стороне. Она не так хорошо видела, тем более ночью, в этом свете, который вроде бы и свет, и даже слепит, если смотреть прямо на него, — но ничего не высвечивает, намекает только. Однако ей казалось, это следователь, приезжавший к ней в деканат. Ничего не кончилось. Он то и дело взглядывал на ее окна.

А потом, возникнув прямо из темноты — будто не подойдя, а просто сконденсировавшись, — за спиной у него появился Симагин. Его Ася узнала бы в любой толпе, с любого расстояния. Сердце сжалось, Ася перестала дышать. Потом зачастило. Вот он. А вот — я. Что сейчас будет там, между двумя мужчинами внизу? Симагин явно что-то сказал следователю, тот обернулся к нему. Они о чем-то поговорили недолго, потом — вот странно! — обменялись рукопожатием, как друзья, и Симагин пошагал через проспект к Асиному дому, а следователь повернулся и ушел куда-то в сторону метро.

Только бы не подсунуть ему по рассеянности те тапочки, которые надевал сегодня Алексей.

Ася глубоко вздохнула несколько раз и встала. Половицы рассохшегося пола отчаянно скрипели, почти завывали в тишине ночной квартиры, когда она медленно шла к двери Симагину навстречу. Потом она вдруг заторопилась. Вытащила из обувной тумбы тапки, лежащие на самом верху. Как

и в прошлый раз, кончиками пальцев, брезгливо, зацепила их за задники и бегом бросилась к окну. Наспех выглянув наружу — не дай бог еще пришибить кого-то, — вытянула обе руки с тапками за окно и разжала пальцы. Через секунду в шипящей от машин тишине снизу раздался отчетливый двойной шлепок. Тогда она, снова бегом, порскнула в ванную и торопливо, но тщательно, дважды намыливая, вымыла руки. К тому моменту, когда Симагин позвонил, она уже стояла у двери, стараясь выровнять дыхание, — и открыла ему сразу.

— Я тебя увидела, — сказала она, стараясь говорить спокойно и ровно. Просто дружелюбно, и все. Но когда лестничная дверь закрылась, отрубив падающий с лестничной площадки свет, и они остались в темноте — только чуть теплились отсветы уличных фонарей где-то в неимоверно далекой комнате, — Ася, уже не сдерживаясь и не размышляя, буквально упала Симагину на грудь; прижалась всем телом, как третьего дня к стене Антошкиной комнаты прижималась и льнула, обняла за плечи и прошептала: — Я так по тебе соскучилась за эти дни.

— Я тоже, — ответил он и принялся гладить ее, как девочку, по голове своей теплой плоской ладонью, — по тебе соскучился за эти... дни.

И она сразу поняла, что он хотел сказать своей едва уловимой паузой. Что он — скучал не только эти дни. А эти годы.

В горле у нее заклокотало, слезы брызнули, как это иногда у кукол показывают смеха ради — буквально струями. Она уткнулась лицом ему в ключицу и, судорожно вздрагивая, забормотала:

— Прости, Андрей... Андрюшенька, ну прости меня... прости...

— Ася... Ася...

И все гладил ей волосы, и поклевывал мальчишескими поцелуями лоб, висок, темя...

— Ася, подожди... ну подожди, Асенька.

— Да, да, сейчас перестану... Ты голодный? Андрюша, ты голодный? Я ужин вкусный сготовила, только он остыл, я сейчас разогрею... Сейчас. Сейчас перестану плакать. Ой, да

что же они... так текут-то. Уж я малевалась, малевалась к твоему приходу... все прахом. Знаешь, — она тихонько засмеялась, так и не отрывая от Симагина лица, — я тебя охмурять готовилась... слегка так, чтобы, если ты не охмуришься, можно было сразу на попятный... Андрей. Андрей. Ты охмуришься?

— Я охмурюсь, — ответил он, и она по голосу поняла, что он улыбается.

— Ты ведь никуда сегодня не уедешь, да? — с испугом вспомнила она и крепче ухватилась за его плечи. — Ведь уже поздно ехать, ничего не ходит!

— Не уеду.

— Я так и поняла, — она всхлипнула и улыбнулась, — что ты хитрый. Весь вечер не шел, чтобы приехать уже в поздноту и нельзя было обратно идти. Чтобы я сама тебе предложила остаться. Я предлагаю, Андрей. Я прошу. Я умоляю. Оставайся, пожалуйста. На сколько хочешь.

— Ася... подожди, я ведь главное-то сказать никак не успеваю. Завтра вы встретитесь с Антошкой.

Она даже плакать перестала; слезы сразу высохли. Она шмыгнула носом.

— Что?

— Завтра вы встретитесь с Антошкой.

— Где?

— Еще не знаю. Не знаю точно. Но точно, что завтра.

— Он что? В городе уже?!

— Да... или где-то рядом. Рядом.

— Тебе утром надо будет еще куда-то позвонить, чтобы все точно узнать, да?

— Да. — Она услышала, что он опять улыбнулся. — Да, позвонить.

— Андрей! — У нее вдруг новая ледышка кристаллизовалась и жесткими гранями вспухла в груди. — Стой... почему ты так странно сказал: вы встретитесь? А ты?

— А мне можно? — спросил он. — Ты же ему запретила...

Она легонечко ударила его кулаком.

— Ну ты дурак совсем. — У нее опять навернулись слезы. — Да? Дурак совсем?

— Наверное, — сказал он. — Ася, на самом-то деле я не уверен, что смогу. Просто не знаю. Выяснится утром.

— Опять какие-то сложности?

— Не исключено.

— Скрытный. Хитрый и скрытный Андрюшка. Ты мне когда-нибудь расскажешь, в чем там дело было, или так и будешь туман напускать до конца дней моих?

— Думаю, что когда-нибудь расскажу.

— С собой мне надо будет что-то собрать? Еда, одежда...

— Нет.

— Точно?

— Точно.

— Странно... что и где, ты не знаешь, но знаешь, что ничего собирать не надо.

— Да, звучит странно, но это факт.

— А вставать рано?

— Когда проснешься.

— Так мне что, и на работу не ходить?

— Думаю, нет. Какая уж тут работа.

— А ты, значит, на свою собираешься.

Он помолчал, а потом ответил, и она опять услышала его улыбку:

— А мне с моей не отпроситься.

Некоторое время они молчали. Не хотелось говорить. Было темно и безмятежно, Ася прижималась к нему, вцеплялась, приклеивалась, врастала... а он бережно — стараясь, наверное, не помять ей прическу; он такие вещи всегда понимал с не свойственной мужчине чуткостью, и иногда ей это даже не нравилось, хотелось порой, чтобы он был погрубее — гладил, как заведенный, ее волосы; потом, словно стесняясь или еще не веря, что ему это можно, что ему все можно, провел медлительной ласковой ладонью по ее плечу, по спине. Ее пробрала дрожь — уже не от слез.

— Как давно я тебя не чувствовал, — тихо сказал он. — Рука вспоминает.

— Прости меня, Андрюша, — опять сказала она.

— О том, кто из нас виноват, я тебе тоже когда-нибудь расскажу, — глухо проговорил он, и она почувствовала виском, как у него напряглись и опали желваки. — Но одно могу сказать сейчас: не смей просить у меня прощения. Ты не виновата ни в чем.

— Да ты знаешь ли, о чем говоришь? Да я...

— Все знаю, все знаю, Асенька, все знаю... столько всего знаю...

И опять они молчали минут, наверное, пять. Потом Ася спохватилась все-таки. Она была, помимо прочего, хозяйка — а мужчина пришел так поздно; и наверняка ему негде было даже перекусить.

— Пойдем, я кормить тебя буду, — тихо попросила она.

— А ты?

Она вспомнила, что тоже не ужинала. Есть не хотелось совершенно. Хотелось стоять вот так, прильнув. Только ноги не держали.

— И я чего-нибудь перехвачу... Только сначала потеки ликвидирую. Разревелась же...

— Вот ерунда какая, — услышала она улыбку.

— Нет, не ерунда! Не ерунда! Думаешь, мне легко? Я и так на сколько лет состарилась! Ты вон как был, так и остался, прям Вечный Жид какой-то. А мне что делать? Я же тебе нравиться хочу. Не по старой памяти, а вживую, чтоб ты просто хотел меня!

Она осеклась. Раскаленная кровь хлестнула по щекам изнутри так, что они чуть не лопнули; чуть глаза не вылетели, как пробки. Грубо, как ты грубо! Совсем шалавой стала, Аська! Ой, грубо! Ты же с Симагиным!

— Я хочу тебя, — негромко ответил он. Она обмерла, потом ее снова заколотило.

— Все в твоей власти, — сказала она почти шепотом. — Можешь делать со мной что угодно, в любой последовательности. Ужин, потом я. Я, потом ужин.

— Трудный был сегодня день, — сказал он, чуть поразмыслив. — Я ужасно вымотался. Очень хочется прилечь.

— Пойдем, — сразу сказала она. — Отдыхай. Я... — засмеялась тихонько и удовлетворенно, — я свежие простыни постелила, наволочки, всё... Только давай никакой свет не будем зажигать, даже свечи, хорошо?

— Почему?

— Я стесняюсь... — беспомощно призналась она. — Столько лет прошло, Андрюша, я... Ты помнишь меня ту?

Он только усмехнулся.

— Вот представь. И все. Давай так сегодня.

— Хорошо, Асенька. Хорошо.

И не увидел, как я для него оделась, мельком сообразила она. Жалко. Он бы одобрил. Ну ничего. Не в последний раз. Не в последний раз. Не в последний раз. Она твердила это, будто заклинание, — так, как до этого уже почти двое суток твердила: Антон жив, Антон жив... Не в последний раз. Сдергивая покрывало, потом одеяло откидывая... Не в последний раз. Неловкими стремительными извивами, как из куколки бабочка, выдергиваясь из облегающего платья... Не в последний раз. Казалось, она в первый раз — но не в последний раз! — раздевается для мужчины с тех давних пор, как Симагин перестал быть рядом. Ничего не было. Вообще ничего. Жизни не было.

И так страшно не понравиться ему...

— Ася. Асенька моя. Ты нежная. Добрая. Самая нежная и самая добрая...

— Нет... Нет, Андрей.

— Самая красивая. Самая ласковая. Самая чуткая и самая чистая.

— Нет. Ради бога, не требуй так много, я не могу.

— Ты лучше всех. Ты умница. Ты светлячок в ночи.

— Господи, Андрюшенька, ну что ты... Родной мой, не надо...

— Ты мое солнце.

— Ну зачем это опять, зачем? Нет!

— Ты моя земля. Ты мой воздух.

Она захлебывалась. Дыхания не хватало, и уже почти не было слов — только клекот в гортани и рвущийся стон.

— Ну что же ты делаешь?! Милый мой, родненький, любимый, не говори так, прости, я не смогу! Прости! Андрюша, ну правда! Ну отодрал бы бабу попросту! А это не под силу! Не требуй так! Я не смогу! Я боюсь! Я БОЛЬШЕ НЕ ХОЧУ ТЕБЯ ПРЕДАВАТЬ!!!

— Ты звезды. Ты деревья. Ты ветер.

Она закричала, забилась под ним, царапая ему спину.

— Да! Да!! Да, да, да, да, да!

А когда Ася уснула, он осторожно откинул одеяло и встал.

Было совсем тихо, проспект внизу опустел и замер. И было совсем темно. Только едва заметное серебристое свечение легким туманом стояло у окна, возносясь к потолку и кидая на него смутно светлое пятно — отсвет уличных фонарей. Симагин отчетливо видел, как разгладилось Асино лицо, стало юным, почти девчачьим. Она улыбалась во сне. Девочка. Маленькая моя девочка.

Не одеваясь, он сел к столу, положил голову лицом на уложенные на стол кулаки, закрыл глаза и начал работать.

Как описать словами то, для чего еще не создано слов — а возможно, и не будет создано никогда? Наверное, гениальные шахматисты испытывают нечто подобное тому, что испытывал голый Симагин, неподвижно сидя в тишине и темноте маленькой Асиной квартиры, зажмурившись, уткнувшись в собственные кулаки и уже почти не слыша умиротворенного, легкого дыхания жены. Испытывают, проводя сеанс одновременной игры... испытывали бы, если б играть им пришлось сразу на нескольких тысячах досок. За всем уследить, все помнить, реагировать мгновенно на те изменения, которые, оказывается, произошли на восемьсот пятой и три тысячи семьсот седьмой досках за те минуты, пока смотрел в другую сторону, — и, не задерживаясь, сразу дальше, дальше... С той лишь разницей, что у Симагина не было никакого дальше, он не мог отвести себе даже шага от стола до стола на отдых ума; все эти тысячи досок пучились и кипели перед ним — в нем — одновременно, беспорядочно перемешанные друг с другом. Хаос чужих фигур нескончаемо шевелился и пульсировал, и каждая своя фигура весила пуды, так что приходилось — то, что шахматистам неизвестно на их поединках, — ворочать пешки, как весла на галере, до хруста в мышцах и костях; толкать слонов, будто они и впрямь были едва ли не слонами... и еще с той разницей, что проиграть нельзя было ни на едином поле из всех.

Может быть, сталинские ткачихи-многостаночницы, если они и впрямь существовали где-либо, помимо фильма «Светлый путь», могли бы отчасти понять, что творилось с

Симагиным — но только отчасти. Ведь им, ошалело мечущимся от станка к станку, следя за всеми ими и управляя всеми ими, думать-то много не приходилось, им достаточно было успевать совершать лишь строго ограниченный набор операций, на рефлексах, на мышечном чувстве; а здесь каждая нить была не похожа ни на какую другую: одна — шелковая, другая — проволока под напряжением, третья — человеческий капилляр, четвертая — щупальце гигантского спрута; каждый станок был то гоночный автомобиль на трассе, то оперируемый мозг, то вулкан, то голодный тигр... и вдобавок нельзя было допустить обрыва ни единой нити из всех.

Те, кто знаком с парусным спортом, быть может, смогут представить себе, каково пытаться в одиночку управлять тяжелым фрегатом в шторм, близ рифов, в незнакомых водах. В исступлении смертельной битвы уже почти забыв и о цели путешествия, и о пассажирах, и о золоте в трюме; работая за всю команду, которая то ли вымерла от подхваченной в дальнем порту чумы, то ли от капитана до кока упилась вусмерть, уж и не вспомнить, что с ними, да и неважно это пока, надо шкуру спасать! — носиться под свирепым ледяным ветром по уходящей из-под ног, лихо заваливающейся то влево, то вправо скользкой палубе; в кровь раздирая ладони, цепляться за леера, чтобы не смыло за борт многотонным кипением очередной нахлестнувшей волны; перелетать с реи на рею; выбирать, надсаживаясь, то этот канат, то другой; ежесекундно закидывать лот с бушприта, ведь надо же знать, сколько еще осталось под килем; тянуть, отпускать, вязать узлы, брасопить... чтобы не распался на уже ничего и никого не способные куда-то привезти и от чего-то спасти отдельные доски, тряпки и веревки этот колоссальный плавучий дом.

Где-то около трех ночи Симагина охватило отчаяние. Потом он и про отчаяние забыл.

Если бы он не обещал Асе, если бы не сказал ей про завтра — он бы не выдержал.

Светало, когда фрегат мира затанцевал высоко-высоко на пенном, опрокидывающемся гребне последней волны — и, едва чиркнув хрупким днищем об острый, словно жадная бритва, риф бифуркации, плавно развернулся и пошел другим галсом.

— В малый зал, пожалуйста... В малый зал, направо... Вам в малый зал.

Опоздавшие, вполголоса договаривая не договоренное по дороге, спешно примеряя скорбные мины на лица и заблаговременно, уже в коротком коридоре, замедляя шаги, втягивались в малый зал крематория.

Народу было не много, почти все — в милицейской форме, с фуражками в опущенных руках. Отдельной жалкой кучкой, резко отличной от остальных и по одежде, и по лицам, стояли сами будто мертвые родители, вся в черном, в черной косынке жена с покрасневшими от слез глазами, уткнувшаяся ей под мышку дочь и трое каких-то незнакомых штатских — то ли родственники, то ли школьные друзья.

На настоящие похороны, на кладбище, в семье не нашлось денег, и ни коллеги, ни друзья помочь не смогли ничем.

Гражданская панихида уже началась. Уже сказал несколько вводных слов служитель, уже предложил отдать покойному последнюю память, вспомнив еще раз, напоследок, каким замечательным человеком, каким замечательным мужем, отцом, соратником он был. Бескомпромиссным бойцом, храбрым и неподкупным. Уверен, товарищи не раз еще вспомнят его и его дела добрым словом; и когда им станет трудно, память о Павле Дементьевиче Листровом, их Паше, вновь поможет им, как когда-то своим твердым, надежным плечом помогал он сам...

Теперь от лица сослуживцев говорил Вождь Краснорожих.

— ...Трагическая, нелепая случайность вырвала из наших рядов чудесного человека и великолепного работника. Он, не раз рисковавший своей жизнью и без страха вступавший в единоборство с вооруженными бандитами, он, не знавший колебаний в самые ответственные мгновения своей трудной, но такой необходимой нашему больному обществу жизни... в ту пору, когда преступный беспредел захлестнул страну, которую безжалостно развалили так называемые демократы... отдал свою жизнь. Но его жизнь всегда принадлежала стране, народу, нашему делу. Уверен, и рискну, това-

рищи, сказать об этом вслух: если бы Павел мог сейчас говорить, он пожалел бы лишь о том, что... отдал свою жизнь не в перестрелке с врагом общества, не в погоне за убийцей или бандитом, а так...

— Неправда!! — вдруг отчаянно выкрикнула жена; бессильная ярость, и обида, и тоска душили ее. — Неправда! Вы же все знаете, что неправда! Он же до этих бумажек докопался, до этих фирмачей, потому его и задавили! Купить не смогли! У всех на глазах, во дворе у самого дома — автобус наехал! Разве так бывает?!

Вождь, побагровев, сбился. Собравшиеся завертели головами и негодующе зашумели вполголоса. Было совершенно непонятно, по какому поводу они негодуют — то ли на коррупцию, то ли на жену Листрового.

— Мама, не надо! — завизжала дочь, изо всех сил дергая мать за руку. — Не надо, молчи! А то и нас убьют!!

Родственники едва смогли утихомирить женщин. В конце концов жена Листрового уткнулась в плечо его отцу и, обняв дочку одной рукой, буквально спрятав ее, заплакала почти беззвучно.

— Мы... мы, товарищи по ору... оружию, всегда будем помнить... — как бы забыв текст и с трудом его припоминая сызнова, растерянно забормотал Вождь, нервно тиская и крутя в руках фуражку.

И эта кровь теперь на мне, опаляюще ощутил Симагин.

Грузный седой человек веско уселся перед десятками нацеленных на него объективов и микрофонов, напротив полного зала корреспондентов, сбежавшихся на его очередную пресс-конференцию, поздоровался с ними густым угрюмым басом и принялся врать. Политики без вранья он себе не мыслил — и был, вероятно, по-своему прав. Если бы эти борзописцы, глядящие сейчас на него снизу кто уважительно, кто насмешливо, кто настороженно, знали хоть половину из того, что знал и должен был постоянно держать в голове он, — добрую треть из них на месте хватил бы кондратий, а еще треть, невзирая на присутствие дам или, наоборот, мужчин, немедленно облевалась бы от отвращения к жизни. Седой человек нынче неважно чувствовал себя. Под утро ему опять снился пристально и спокойно глядящий ему в

глаза молчаливый гость; проснувшись, седой человек никогда не мог припомнить, откуда он знает этого странного, смахивающего на святого, но вполне современно одетого субъекта, однако во сне он все знал отлично, и знание это было настолько страшным, что раз за разом, в течение вот уже нескольких лет, от проникавшего в душу и вообще в потроха взгляда — невыносимо доброго, но понимающего все до донца и оттого не прощающего ничего из того, что нельзя прощать, — седой человек просыпался с криком «Я все исправлю!». Перебарывая конвульсии ночной жути и облегченно чувствуя, как высыхает на лбу ледяной пот, он начинал люто злиться и на себя, и на свои сны, и в особенности на этого глазастого молчуна; он напоминал себе в эти минуты придурошного, жалкого сценариста из виденного давным-давно, еще в сибирские времена, фильма «Раба любви»; сценарист при первом же критическом взгляде режиссера немедленно принимался комкать и рвать свои идиотские странички и скороговоркой вопить: «Я все перепишу, я сейчас же все гениально перепишу!»

Но, злись не злись, смешно это все или нет, если бы не надежда хоть как-то подлатать творящуюся кругом похабель, седой человек, наверное, уже сдался бы — спился или умер.

— ...Независимая, свободная Россия всегда стояла и стоит на позициях, чтэ-э необходимо мирно разрешить конфликт. А то, понимаешь, находятся писаки... — с привычной грозной торжественностью, уже почти не задумываясь над произносимым текстом, говорил седой человек и думал в это время: мирное, мирное... Где взять деньги на это мирное? Ни на военное нет, ни на мирное. Налог, что ли, новый ввести? Какой? И усмехнулся внутри себя: с освобождаемых из плена. Они-то отдадут, да только у них нет ни хрена. А у тех, у кого есть, хрен возьмешь. Да если и возьмешь — уже из казны разворуют.

Смутно и погано было у него на душе, будто даже наяву ухитрялся со своей безмолвной укоризной заглядывать в нее безмолвный святой... но седой человек мужественно, непреклонно работал — и тянул свои «чтэ-э», даже не собираясь отвыкать от них, потому что они так ли, сяк ли, а уже стали

историей державы. Жгучая, ничуть не притупившаяся зависть, до сих пор совершенно необъяснимо питаемая им к тому, кто его стараниями давно стал политическим трупом, выедала нутро. Мишка, ничтожество, столько фраз оставил — говорят, ни одна пьянка в стране без них не обходится. Процесс пошел... Есть консенсус...

И он выпекал, угрожающе и внятно выпекал одно за другим свои «понимаешь» с почти детской настойчивостью и старательностью, словно более всего на свете боялся, что пародисты их забудут.

Вначале Симагин его не узнал. Даже подойдя почти вплотную, он решил поначалу, что это просто какой-то понуривший голову ранний пьянчужка, успевший уже и изваляться в грязи, и поправиться грамм на сто, и облеваться, и слегка почиститься, безмерно и горько страдает на лавке мирно купающегося в утреннем солнце сквера. Впрочем, Симагин и сам был едва живой от бессильной тоски и боли, и видел все как сквозь мутное волнистое стекло. Мир ускользал.

Только когда пьянчужка поднял голову, Симагин его узнал. Это с ним они вчера так лихо договаривались повстречаться сегодняшним утром.

На его ночного гостя жутко было смотреть; казалось, он состарился лет на семьдесят. Состарился отвратительно и бесповоротно. Так иногда бывает с красивыми мужчинами южного типа, ведущими, мягко говоря, неправильный образ жизни; когда они достигают преклонных лет, то заживо превращаются в рыхлые, полуразложившиеся чудовища.

— А-а... — безжизненно сказал бывший красавец. У него едва разлеплялись обметанные больной коркой губы. — Победитель... Привет.

— Привет, — ответил Симагин и сел на скамейку рядом с побежденным.

Тот несколько секунд вглядывался в лицо Симагина маленькими, заплывшими, словно от запоя или водянки, подслеповатыми глазками. Потом слегка улыбнулся.

— Тоже, я смотрю, не сладко, — сказал он без всякой радости.

— Да, — ответил Симагин.

Бывший красавец тяжело, с нутряным сипением дышал ртом; от него и впрямь пахло перегаром.

— Кто же ты, а? — тихо спросил он.

Симагин пожал плечами и стал смотреть на воробьев, весело скачущих по дорожке, которая вела к двум обкорнавшим скверик громадным рекламным стендам: на одном холеный, с иголочки одетый деловар, с изяществом потомственного фата держа сигарету у рта, брал свободной рукой за коленку такую же высококачественную шалаву западного типа, очевидно, из гостиничных шлюх; шалава молчала и тоже дымила вовсю. Под ними было крупно написано: «Ты, Я и Ротманс!» На другом стенде жизнерадостный дебил жрал — с таким изумленно-восторженным видом, будто увидел что-то съедобное впервые в жизни. Под ним было крупно написано: «Передохни! «Кит-Кэт» отломи!» Гомонили выгуливаемые дети, потявкивали выгуливаемые собаки. Было тепло.

— Симагин, — ответил Симагин.

Бывший красавец тоже уставился вдоль дорожки, на стенды.

— Передохни, — сказал он, сделав ударение на «о». Симагин не ответил.

— Мне даже в голову не могло прийти, что ты совершишь такую глупость, — прохрипел, дыша дрянью, бывший красавец.

Симагин опять пожал плечами.

— Впрочем, у меня все равно не хватило бы сил помешать...

Симагин не ответил.

— Ты же не только меня раздавил. Ты сам себя буквально по стенке размазал! И это не на день, не на два!

— Да, я чувствую.

Двое насмерть уставших мужчин сидели рядом на исчирканной ножиками, облупленной и истоптанной скамейке: неопрятный, жирный, отвратительный старик, насквозь проеденный всеми пороками, какие только можно вообразить, в когда-то роскошной, а теперь будто из прокисшей помойки вынутой тройке — и словно только что вывезенный из блокадного Ленинграда старшеклассник, одетый в

первое, что под руку подвернулось при поспешной эвакуации. Ни один посторонний человек, глянув на них, не смог бы понять, кто победил.

— Что теперь будешь делать? — спросил отвратительный старик.

— Не знаю, — ответил изможденный мальчик. — Ничего не хочется. Паралич от вины.

Старик усмехнулся.

— Упаду, наверное, на колени и буду прощения просить у них...

— А мне у кого прощения просить? — немощно вспылил старик. — Мне даже прощения просить не у кого! Уже одно то, что здесь на пятьдесят семь тысяч меньше народу на фронтах погибло!.. Впрочем, у них тут даже фронтов нет. Только эти... горячие точки. И подумать только — я сам эту кашу заварил! Поучить тебя вздумал!!

Его передернуло от унижения. Рыхло встряхнулись студни живота, груди, щек.

— И обратно не перекинуть, я уж думал... Во-первых, ты вероятностную вилку так зацементировал — Галактику сжечь, и то энергии не хватит. А во-вторых... да уже одно то, что там жив любимый твой Листровой и я своими руками его верну к жизни...

Симагин молчал.

Старик покосился на него. Чувствовалось, как старательно он пытается накачать себя хотя бы злорадством, раз уж больше ничего не осталось ему.

— Только учти, — сказал он, так и не в силах избавиться от поучающего тона, — как раз тех, кто просит прощения, эти твари никогда не прощают.

— Я знаю, — ответил Симагин. — Почти никогда. Потому что им очень тяжело жить. А я их опять обманул.

Не получилось даже злорадства. Старик хотел было еще что-то добавить, даже кадык под небритой, обвисшей кожей шеи у него уже заходил — но осекся и только похлопал Симагина ладонью по колену.

— Ты, я и Ротманс, — сказал Симагин.

Старик криво усмехнулся, а потом, все-таки сорвавшись, обеими руками с силой ударил себя по щекам.

— Ну как это получилось? — почти закричал он, старчески надрывая голос, и какая-то смешная коричневая пуделица испуганно шарахнулась от них, размашисто болтая в воздухе мохнатыми ушами. Бабушки, стрекочущие на лавке напротив, с потешной одновременностью подняли на них подозревающе-обвиняющие взгляды. — Ведь моя брала!

Симагин повернулся к нему и улыбнулся почти с симпатией. Во всяком случае, с состраданием.

— Потому что ты — самодостаточный, — сказал он мягко. — А значит, только о себе думаешь — ведь больше просто не о ком. Чтобы самому от себя кусок отрезать... кусок силы, власти, красоты... для этого надо иметь за душой что-то побольше, чем только самого себя.

— Опять ты про душу, — с досадой сказал старик.

— Пожертвовать частью себя, чтобы кого-то спасти, — это можно. А пожертвовать частью себя, чтобы ради собственного же удовольствия кому-то напакостить, — так не бывает. Поэтому такие, как я, всегда будут побеждать таких, как ты.

— Чтобы потом падать на колени перед теми, ради кого побеждал, и просить у них прощения? — со злобой спросил старик.

— Да, получается так, — ответил Симагин.

— Не понимаю... — пробормотал старик. — Не понимаю.

— Боюсь, уже не поймешь.

— Не дразни меня! — вспылил старик. — А то плюну сейчас на осторожность, как ты вот... брошусь, очертя голову, потрошить их налево и направо! И виноват будешь ты, потому что ты меня спровоцировал — значит, на тебе окажется их кровь! Вот уж я посмотрю, как ты завертишься!

— Не плюнешь, — сказал Симагин. — Не сможешь.

Старик помолчал, взгляд его стал отсутствующим; он словно бы прислушивался к себе, спрашивал себя о чем-то сокровенном. Потом жалко улыбнулся и сказал с горьким удивлением:

— Да. Не смогу. Я что же, трус?

— Нет, — проговорил Симагин, — не думаю. Тебе просто не для кого. Ведь нельзя же стать героем ради уничтожения, скажем, человечества? Правда?

— Да я ради этого... ради этого... — лихорадочно забормотал старик, возбужденно задышав. — Но они должны сами! Понимаешь? Сами! По своим соображениям, как бы совсем простым: здоровье, выгода, торжество идеалов, жизненное пространство... Не своими же руками мне их!.. Это нелепо! Ради них так рисковать... а через миллион лет вдруг выяснится, что гибель этой цивилизации была, например, благом для Галактики, — так я же костей не соберу! Мокрого места не останется!

Они помолчали. И Симагин вдруг с изумлением заметил, что старик плачет. Жирно отблескивающая влажная струйка высунула хвостик из-под коричневого морщинистого века, почти нахлобученного на помутневший глаз, и застряла на щетинистой щеке.

— Ты куда сейчас? — спросил Симагин.

— Понятия не имею, — ответил старик, всхлипнув от жалости к себе. — Мне бы от лавки от этой оторваться... Сил же совсем не осталось, тоска...

— Хочешь, пошли вместе? — неожиданно для себя предложил Симагин. — Обопрешься на меня...

Старик яростно отшатнулся, широко раскрыв глаза и буквально отпихнув Симагина взглядом.

— Я еще гордый! — крикнул он, и снова бабульки на лавке напротив, с одинаковой укоризной поджав губы, вскинулись лицами на раскричавшихся алкашей.

Симагин поднялся. Ноги едва держали.

— Ну, бывай тогда, — сказал он. — Я пойду.

— Еще увидимся, — ответил старик. Он, видимо, хотел сказать это грозно, с намеком на грядущий реванш — но голос предательски выдал подлинные чувства; в нем читался самый обыкновенный страх перед тем, что, вероятнее всего, они действительно когда-нибудь увидятся.

— Приятно было познакомиться, — сказал Симагин, а потом, повернувшись, побрел вон из сквера. Голова кружилась, и все казалось очень далеким и плоским. Мир ускользал неудержимо.

Машин-то сколько... Ни пройти, ни проехать, и все иномарки... «Мерседесы», «мерседесы», а я пьяненький такой... Сердце-то молотит! А ведь не дойду. Никуда не дойду. А я, собственно, уже никуда и не иду. Как там Ася? Все в порядке у Аси. Ну и хорошо.

Сплошная реклама. Домов за щитами не видать — и на всех что-то жрут или что-то пьют. Дорвались до хавки. Впрочем, в советских «Книгах о вкусной и здоровой пище» тоже красивой жратвы хватало — а на деле-то кто ее ел? Ага, вот и впрямь пьяненький. Лежит, штаны мокрые... А вот бабка без ног, милостыню ждет. А на той стороне девчонка-беженка, тоже с кепкой перевернутой, чумазая... нет, это уже нарочитая чумазость. А вот две, наоборот, ухоженные, лакомые красотки идут. Голосочки тоненькие, совсем девчачьи; класс девятый, наверное, — но все уже вполне.

— ...А этот мудила опять приебался. Я ему говорю: ты, пиздобол, совсем уже, что ли?

— Ну а он?

У Симагина от рывком накатившей слабости подломились ноги; чувствуя нестерпимую, раздирающую боль в груди, он медленно повалился на заплеванный асфальт.

Стайка мальчишек, лет по десяти, с гомоном пронеслась мимо; у одного — футбольный мяч в руках.

— С деньгами — все, а без денег ничего, дурилка! Чем ебалом щелкать, кругом глянь!

Трое крепких ребят в одинаковых варенках прошли мимо; один, не глядя, перешагнул через ноги Симагина. Другой, достав из пачки, видимо, последнюю сигарету, сунул ее себе в губы, а пачку, скомкав одним движением пальцев, привольно откинул в сторону — Симагину в плечо. Ротманс.

— Это еще полтонны баксов. Ну, я, конечно, вызверился: где ты, сучара, говорю, видел, чтоб к движку от «мерса»...

Прошли. Опираясь на руку, Симагин кое-как перевернулся; встал на колени.

— Это я! — надрываясь, закричал он. Дыхания не хватало. — Я не смог! Ничего не придумал лучше! Простите меня! Простите!!

И понял, что его уже никто не видит и не слышит.

«Дорогой папа прилетаю одиннадцатого на всю декаду не встречай береги себя вместе пойдем маме твой Даня».

Трясущейся рукой Вайсброд снял очки, надетые специально, чтобы прочесть только что полученную телеграмму.

Теплой, умильной волной окатило сердце, и оно даже биться стало как-то ровнее. Он положил очки на стол, аккуратно сложив их дужки, чтобы, не дай бог, не зацепить по рассеянности и не уронить. И все мял в дрожащих пальцах бланк телеграммы, все похрустывал им, все разглаживал его и разглядывал, хотя невооруженным глазом ни единого слова не мог разобрать; да и в очках бы уже не разобрал, потому что от счастья плакал.

Прекрасное было утро, солнечное, тихое, и вечеринка удалась на славу накануне — весело протрепались целый вечер, музыку слушали и танцевали всласть, до полного удовлетворения, а потом смотрели смурные видики; и ребята даже не очень надрались. Так, в меру; только этот нувориш — новораш, как теперь говорят, новорусский, если перевести в этом слове с английского то, что в нем есть английского, — совсем себя, как коньяк показал, вести не умеет. Зато его и вывели по-быстрому. Он, правда, кричал, что всех тут купит, а кого не купит, того застрелят его знакомые кавказцы, — ну, это песенки известные. А как он отвалил, так и вовсе приятно стало. И Валька так ухаживал классно, без хамства. Ничего ему не обломилось, да и не могло обломиться, и он это, похоже, понимал — и тем не менее все-таки ухаживал. Редкое свойство, славный парень. Деньжищ — прорва. Утром подвез Киру на своем «Ауди» до дому, проводил до подъезда, удостоверился, что она вошла сквозь все коды, электронно охраняющие их лестницу, и только тогда, на пороге раскрывшейся двери, попрощался. И Кира настолько была ему благодарна за человечность, что даже чмокнула в щеку. А он, будто граф Монте-Кристо какой-нибудь, только улыбнулся этак печально и сказал: «Я все равно буду надеяться».

Кира устало раздевалась, бродя по громадной пустой квартире. Отец вместе с матерью — после того как зимой мать в гостях накурилась какой-то дряни, он ее одну не оставляет, таскает с собой — уехали в столицу с документами из мэрии проворачивать какую-то очередную супермахинацию — для города и для себя. Там Кира оставляла один носочек, там другой, там платье, там лифчик, а в ванну тем временем, соблазнительно дымясь, набиралась горячая, отфильтрованная специальным ароматизирующим фильтром вода.

Конечно, думала Кира, примерно я представляю себе, как там Валька будет надеяться — три любовницы у него уже, говорят; и четвертая ему, прямо скажем, не позарез нужна. Может и подождать. А все-таки славный парень. Но ей почему-то было очень грустно. Наверное, от усталости, от бессонной ночи — после веселья всегда тоска. Но в последнее время ей все время было как-то уныло, одиноко — и после веселий, и перед... по правде сказать, даже во время. Кого-то не хватало, просто до боли не хватало, только она не могла понять кого — все вроде есть, кого можно представить. Вообразить. Значит, не всё я могу вообразить, думала она, пробуя стройной ножкой воду, а потом со сладострастными вздохами и стонами медленно опускаясь в ванну. Кого-то не хватало ей очень, кого-то не было. И судя по всему, не будет. Да. Раз она даже вообразить не могла, кого не хватает, — значит, даже непонятно, чего ждать и что искать. «Виконт оторвался от ее губ и, безмятежно улыбнувшись, одним легким, изящным движением извлек шпагу из ножен», — вспомнила она белиберду, читанную вчера за завтраком. Это, что ли? Нет, даже не это — хотя уж дальше от реальной жизни вроде и ехать некуда... Но это просто белиберда. А вот... Что? Непонятно. Она придирчиво, с требовательной любовью разглядывала сквозь голубую, кристально чистую воду свое тело. Очень даже ничего. Вполне уже женщина, и женщина в высшей степени аппетитная. Дать уже Вальке, что ли?

Карамышев поставил тяжелый, набитый бумагами «дипломат» у двери и с наслаждением стащил пиджак. От пота Карамышев был мокрый, как мышь. Духота и нервы, и переполненный транспорт. Сначала в душ. Он раздернул удавку непременного галстука — никогда он не мог понять тех, кто ходит в институт, словно на приусадебном участке чаи гоняет: свитерок, джинсики... шпана шпаной! — и принялся расстегивать рубашку.

— Как самочувствие, Верок? — громко спросил он.

Задержавшаяся на кухне Верочка уже бежала к нему навстречу. Он обнял ее, с наслаждением чувствуя, какая она

все еще стройная и преданная; она с удовольствием поцеловала его в подбородок.

— Погоди, Веронька, погоди, лапушка, — сказал он. — Я септический и, боюсь, вонючий. В автобусе об доктора наук, равно как и заведующего лабораторией, только что ноги не вытирали.

— Ерунда какая, — сказала Верочка, но послушно отпрянула. Прислонилась плечом и головой к косяку двери. — Отличное самочувствие, — отрапортовала она, с привычной внимательностью следя, как Карамышев выпрастывается из липнущей к влажной коже рубашки, потом стряхивает штанины с ног; сначала с одной, потом с другой... — Выше тридцати семи и трех сегодня не поднималась. Витамины ела.

— Ну, — сказал Карамышев удовлетворенно, — уже неплохо. Еще пара дней — и человеком станешь.

— Я думала уже завтра стать.

— А куда торопиться? Нет уж, ты как следует залечись, пожалуйста...

— А ты грустный, Арик. Почему?

Как ласково, как по-детски произносила она это столь памятное ему «Арик»! Пока она говорит так, подумал Карамышев, мы не состаримся.

— Известно почему, — сказал он, стоя в одних трусах на пороге ванной. — Зарплату опять не дали, и теперь уже и не обещают. Институт получил только треть бюджета. И знаешь, слух идет, что зато — зато! — город нам иск предъявил за весь год. За воду, электричество... знаешь на сколько?

— На сколько? — уже заранее с ужасом спросила Верочка.

— Я уж не ведаю, какие умники там считали и как, но только за эти коммунальные удобства мы, оказывается, должны в восемь с половиной, кажется, раз больше, чем вообще весь наш бюджет за этот самый срок.

— С ума все посходили, — сказала Верочка, озабоченно мотая головой, и ее прекрасные, тяжелые черные волосы, одним видом своим навевавшие Карамышеву что-то из романтичных и жутких и весьма, надо сказать, возбуждающих сказок о царице Тамаре, заходили из стороны в сторону. — Честное слово, пока всякие министерства обороны и комитеты безопасности за нами присматривали, жить и работать по-коммунистически было гораздо легче.

— Это точно, — ответил Карамышев и все-таки закрыл дверь и влез в хлесткую раскаленную струю. Симагинские точки, думал он, симагинские точки... Почему же вы открываться-то перестали, стоило Симагину уйти? Булгаковщина какая-то, роковые яйца... профессор, понимаете ли, Персиков. Нет, конечно. Просто я чего-то не понимаю.

Конечно, он опять полотенце забыл взять; змеевик в ванной который день был холодный, и все полотенца сушились на кухне над плитой. Но Верочка, лапочка, про это вспомнила раньше, чем Карамышев заметил отсутствие своего купального полотенца на подобающем ему крючке, и торжественно внесла его к Карамышеву в ванную, как только услышала, что вода перестала течь; и принялась сама вытирать Карамышева всего с головы до ног, а он только барственно стонал и нежился от души. А пока все это происходило и длилось, вернулся с гулянки Олежек.

— Пап, пап! — сразу закричал он, увидев выползающего из ванной благостного, распаренного Карамышева в истертом почти до сквозного свечения халате. — Я все спросить тебя хочу — что такое ширево?

— Дурь, — не задумываясь ответил Карамышев. — Дураки всякие принимают или колются... они это называют: ширяться... чтобы совсем поглупеть. Понимаешь, Олежек, — сам увлекшись, он принялся развивать мысль дальше, — они все-таки немножко чувствуют, что дураки, что ничего им не интересно, никого они не любят, и очень этого стесняются. И ширяются дурью, чтобы совсем поглупеть, — так, чтобы уже и ни вот настолечко не чувствовать, что они дураки. Усек, дружище?

— Угу, — ответил Олег, удовлетворенно кивая.

— Это у вас там кто-то балуется, да?

— Венькин старший брат с нами сейчас часто играет, — объяснил Олег со взрослой обстоятельностью. — Его кореша на лето все разъехались, а одному ему скучно. И он то и дело говорит: ширево. А я не понимаю.

— Надеюсь, ты ширяться не надумал еще?

— Что я, дурак? — обиделся Олег.

— Идемте, мужчины, — сказала Верочка, выходя из кухни, — перекусим, чем бог послал, со мной переслал. Ничего особенного не обещаю, но брандахлыст, который не слишком перенапрягает наш бюджет, я сварганить все-таки ухитрилась. Только это надо растянуть на пять дней, поэтому порции строго ограничены. Сама наливаю, сама слежу.

— Я давно собираюсь похудеть, — сказал Карамышев.

— Получила сегодня письмо от дяди Тенгиза, — сказала Верочка, взяв половник и принимаясь разливать суп по тарелкам.

— Так, — заинтересованно сказал Карамышев, садясь за стол с ложкой наперевес и принюхиваясь. Брандахлыст пахнул неплохо. Олег, тщательно копируя все его движения, тоже взял ложку и уселся напротив отца. — Что пишет?

— Пишет, что ничего хорошего. Но что зовет в отпуск к себе, хоть на солнышке погреться и винограда поесть. Может, сдюжим, Арик, а? Очень хочется. Я там сколько лет не была...

— На какие шиши? — возмутился Карамышев. — Ты знаешь, сколько сейчас один билет стоит?

— Знаю, — уныло ответила Верочка.

— Разве только, — лукаво улыбнулся Карамышев, — раз уж за границу едем, то — за счет приглашающей стороны...

— Хо, — с изумленным возмущением сказала Верочка, — какой умный выискался! Это тебе не Германия! — И с великолепным грузинским прононсом вдруг заговорила: — Ми — савсэм бэдная страна! Такой-та цар каторый год палучку нэ платыл, ур-род!

И они засмеялись — а Олежек, хоть «Мцыри» еще и не читал, хохотал так, что уронил ложку в тарелку. Он ужасно любил, когда мама говорит с акцентом. И пока Верочка выуживала его ложку, волнами гоняя суп влево-вправо, он дергал ее за рукав и возбужденно требовал:

— Мам! Скажи еще! А мам! Ну скажи еще!

Пришлось Верочке, к общему восторгу, исполнить свою импровизацию на бис.

Проснувшись не так уж и поздно, где-то после десяти, Вербицкий сразу понял, что чувствует себя сегодня утром на редкость хорошо. Как будто вчера весь день в бору гулял да в

лесных озерах купался, а не сидел на прокуренной кухне Лящишева с то и дело наполняемой рюмкой в руке.

Кухня эта, признаться, за последние годы Вербицкому осточертела, но больше было негде. Неудержимая поступь демократии перевела литературу, вместе с прочими мало нужными народу интеллигентскими забавами, на самоокупаемость — материальную поддержку великой России получали теперь, похоже, только те, кто по-великому ее обворовывал, но все равно не успевал украсть столько, сколько ему нужно; те же, кому воровать было нечего, должны были самоокупаться. С этого момента встречаться друг с другом и с иностранными коллегами, обсуждать дела, учить молодняк и общаться за чашечкой или рюмочкой в десятилетиями принадлежавшем Союзу писателей великолепном особняке, среди бездны уникальных книг, среди картин и интерьеров, писателям стало не по чину.

Множество банд закрытого типа с ограниченной ответственностью в течение полутора лет выкуривали литераторов из памятника архитектуры, но, не успев выкурить, не поделили уже и между собой — и по принципу «не доставайся же ты никому» неторопливо, в несколько приемов спалили национальное достояние дотла. И — никто ничего. Так и надо.

Во всяком случае, так гласили, с некоторыми незначительными вариациями, все слухи. А им теперь снова стало доверие такое же, как и при застое — абсолютное.

Хорошо, что не надрался я вчера, с удовлетворением подумал Вербицкий. Вот какой я молодец.

Отмечали как бы выход очередного Сашенькиного боевика-бестселлера, посвященного разоблачению деятельности уж-жасного КГБ в последние брежневские годы. Мордобой, пальба, звери в советских мундирах и вежливая, наивная, беззащитная Европа под невидимой пятой русского монстра, неведомо для себя купленная на золото партии вся, чуть ли не вплоть до Эйфелевой башни.

Это был уже какой-то том, Вербицкий давно им счет потерял, но на лотках они лежали, куда ни пойди, по три, по четыре. Ужас. Кто это читает, кому этот КГБ нынче сдался — Вербицкий никак не мог уразуметь. Впрочем, коли про

пальбу, то раскупается помаленьку — и не все ли народу равно, кто в кого... Назывался бестселлер почему-то «Труба» — «Труба-1», «Труба-2», «Труба-3»... Когда вчера Вербицкий по пьяни спросил Сашеньку, почему именно «Труба», Сашенька ответил тоже с вполне хмельной мрачной откровенностью: «Потому что всем порядочным людям в этой стране — труба». Ляпа, разумеется, тут же вскинулся: а ты, дескать, чего тут сидишь, а не валишь в Израиловку? На что Сашенька, удобно развалясь в кресле непосредственно напротив Вербицкого, ответил с удовольствием: «А я не порядочный».

Поговорить Ляпа, конечно, не дал. Почти сразу приволок приемник, врубил на всю катушку очередные нескончаемые новости — одна другой гаже — и, послушав с полминуты, тут же принялся комментировать и возражать, обличать и клеймить стоящую у власти антинародную банду. Оккупационный режим. Помянули по радио Крым некстати — Ляпа прямо взвился до потолка, да еще винтообразно, как штопором раскрученный: «Весь Крым хочет в Россию! Там же сколько русских живет — а в самой России их уже не хватает! Всех русских разбазарили! Они к нам хотят — а вождям хоп-хны! Наплевать и забыть! А вот Чечню эту кромешную, где одни уже черные остались, — это нам обязательно надо, чтоб территориальную целостность сблюсти! Это же только нарочно можно: плевать на тех, кто в тебе нуждается, кто тебя любит и к тебе хочет — они, дескать, и так никуда не денутся! И навязываться тем, кому ты на хрен не нужен! Вот навяжешься, дескать, кому не нужен — это победа! А мы побеждать любим! Как можно победить того, кто тебя и без победы любит? Никак! А вот навязаться тому, кто тебя терпеть не может, — это победа! И во всем так! Свои великие артисты медяки считают последние, голодают, мрут как мухи от инфарктов — и плевать! Свои же! Значит, стерпят! А эту кривоногую сучку из «Богатых» встречали, будто Риббентроп приехал! Ну а Ковалев этот ваш несгибаемый? Чего права своих человеков защищать! Они и без прав — свои останутся. А вот права чужих, каких угодно ублюдков, но обязательно чтоб чужих, от своих русских защитить — это моментом, это до хрипоты! До полного героизма!»

Ну почему, с отчаянием и тоской думал Вербицкий, почему, когда несчастный Ляпа даже то говорит, что я и сам думаю, он ухитряется озвучить это так, что уж и не возражать ему хочется, а просто заткнуть? Потому ли, что он любую мысль доводит до лохматого, буквально пещерного абсурда и становится как на ладони видна ее однобокость и напоенность злобой?

Но ведь те, кто свысока цедит вещи прямо противоположные, — гундосят не менее пещерно и однобоко. Косорыло. Какого же черта их косорылость считается интеллигентностью, а Ляпина косорылость — вспучиванием великорусского шовинизма? Имперских амбиций каких-то? Тут немудрено озлобиться... Странно, подумал он потом, Сашенька-то почему это слушает? А Сашенька слушал терпеливо, внимательно и даже кивал... Да у него сочувствие в глазах!

Вербицкий поднялся и, чтобы отдохнуть от пенноротой политики, вышел в ванную, поплескал себе холодной водицей в морду, а потом из любопытства зашел в Ляпин кабинет.

На столе у того, как всегда, был кавардак. Листы бумаги с каракулями и почеркушками лежали, разбросанные так живописно, словно Ляпа лихорадочно отбирал бумаги для уничтожения перед арестом или экстренной эвакуацией, а что не уничтожил — так и оставил валяться. Словари, какие-то справочники, непонятно зачем нужные писателю — синонимов, омонимов, антонимов... зачем-то карта Тихого океана... Господи, да что же это детский писатель Ляпа пытается сляпать такое? Каких детей нынче заинтересуешь Тихим океаном? Всякой этой романтикой? Поди объясни им теперь, что «Баунти» — это название изящного кораблика под белоснежными парусами, на коем капитан Блай со товарищи плавали в Южные моря, и товарищи взбунтовались, решили не возвращаться в поганую Англию, посадили самодура-капитана с горсткой верных на баркас и отправили вплавь до Австралии — ежели доплывет! — а сами устроили на благословенном затерянном острове полный коммунизм, вплоть до общих женщин; да только женщины не выдержали своей общности и в сердцах перебили нескольких особо

отличившихся мужей, зато остальных распределили промеж себя и жестко закрепили, кто чей... р-райское наслаждение!

Хорошо, что вчера не надрался.

А ведь совсем недавно, думал Вербицкий, умываясь, совсем недавно, кажется, сидели втроем... да и не только втроем!.. и грезили, и предвкушали, будто знали наперед, что это вот-вот случится... Вот убрали бы цензуру, вот убрали бы социальные заказы — мы такое бы написали! Такое!! Сашенька-то утверждал, что потянул бы, как не фиг делать, «Гамлета» забацать — если б не связывали по рукам и ногам партейные редактора! Из-за них, окаянных, погубителей культуры, растлителей интеллигенции и всего народа в целом, приходится гнать халтуру! Хорошо у нас на БАМе в молодом задорном гаме, в гуле рельс и шпал бетонных, в реве КрАЗов многотонных! Только вот прораб наш новый слишком тон забрал суровый. Он неопытен, да строг — еле держит молоток... Это ведь Сашенька писал. Вынужденно, как он утверждал тогда, исключительно вынужденно; а сам хотел бы «Гамлетов» творить!

И вот — мечты сбылись. Да только что-то «Гамлетов» не видно. На рожи авторов посмотришь — вроде все Гамлеты, как один; а посмотришь на то, что они выкакивают на лотки и как потом эту каку жуют в метро простые граждане, жители самой читающей в мире страны...

Ладно, с меня взятки гладки, я вообще молчу. Не знаю, о чем писать. А потому — переводики, статейки... мараться не хочется об «Трубы» и всевозможные прочие «Банды» и «Транзиты». А Ляпа? Русские народные сказки о том, что, кроме русских, никаких, собственно, наций на планете и нет. Просто русские время от времени изгоняли, исторгали из своего чистого тела всевозможные нечистоты: один выродок оказался слишком корыстолюбив, его изгнали за тот темный окоем, куды Ярило уседает, и от него пошли европейцы; другой с детства любил мучить животных, отрезать кошкам хвосты, языки и уши, выдавливать глаза, потом попытался так же поступать с людьми, но такие товарищи нам не товарищи, и его, естественно, изгнали в безводную пустыню — получились мусульмане... Теперь вот, видать, до Тихого океана добрался.

На что он истратил вдруг свалившуюся на него свободу?

А Сашенька?

Господи, да что литература? Все мы — на что истратили как снег на голову свалившуюся свободу? Каин, Каин, где сестра твоя, свобода? Не сторож я сестре своей...

Откуда берутся темы? Конечно, если берутся они не из последней судебной хроники и не из свежей газеты?

Кто знает. Вербицкий никогда не знал. Мистический это процесс, божественный. Еще секунду назад и мыслей-то об этом не было никаких, и вдруг продергивается через подсознание тоненький, уязвимый — чуть дунь, и лопнет, еще не облекаемый в слова проволочный стерженек, и на него начинают нанизываться и навинчиваться воспоминания и новости, старые раны, свежие плевки, былые любови, теперешние одиночества... Будто в воронку смерча, все быстрее всасывается с нарастающим гулом в разбухающий на глазах ураганный хобот все, до чего только успевает в этой лихорадке дотянуться мысль... и тело трясет сладкая дрожь, словно прикасается к тебе кончиками пальцев кто-то из горних владык, подтверждая: вот, вот оно, это может получиться. Это — может!!!

Я не сторож сестре своей...

Вербицкого кинуло в дрожь.

Медленно он уселся напротив окна и медленно закурил. Плохо, конечно, что натощак... ну да бог с ним. Не каждый день осеняет.

Каково было бы Христу глядеть сверху на то, как страстные его приверженцы поносят и истребляют друг друга из-за единственного так или этак понятого слова? Из-за разного понимания обрядовой роли той или иной глиняной плошки?

Каково бы ему смотрелось, как страстные приверженцы его кромсают, режут, жгут невинных? Как фанатичные родители, ежеминутно поминая Бога всуе и по любому поводу стращая адским огнем: штанишки порвал — геенна, выкупался в речке без спросу — геенна, утаил от мамы, что девочка понравилась, — геенна!.. растят сумасшедших детей — и

те вырастают маньяками, потрошителями, исступленными богоборцами, нацистами? Да, мне отмщение, и аз воздам, всё так; и невинные, принявшие безысходные страдания и мученическую смерть, прямиком, вероятно, отправляются в рай, где ждет их справедливая награда за пережитое, — но те, другие? Которые совершали зверства, веруя в богоугодность свою, а то и богоизбранность? Бескорыстно, не за папские тиары, константинопольские венцы или патриаршьи ризницы, преступников мы вообще не берем в расчет... от чистоты сердца, от пламени веры в душе губили малых сих, истребляли агнцев и тем — с именем Христа на устах! с хоругвью его в десницах! — ввергали себя сами, не ведая того, в пучины смертного греха? Не кем иным, как им самим, Христом, введенные во страшное это искушение? Мучился ли совестью Иисус, глядя на несчастных? И если мучился, то как? И что уготовил им за гробом? Неужели и впрямь карал, словно он тут ни при чем? Равнодушно этапировал недоумевающих рабов своих в преисподнюю усиленного режима? Что это такое — нечистая совесть Бога? Каков он — Бог, уязвленный совестью?

Мы знаем, что здесь, в тварном нашем мире, чистой совестью способны похвастаться лишь те, у кого совести вовсе нет; у кого она есть, у того на ней непременно лежит что-то. Лицемером является всякий, кто смеет говорить: я с чистой совестью могу... От кого услышите такое — бегите того человека, отвратите от него взор свой, отвратите от него слух свой...

Но — Бог?!

Ведь не может же столь тщательно продуманный совершенным разумом поступок, каков описан в Евангелиях, иметь столько неожиданных, непредвиденных, нежелательных для самого Бога последствий? Явно не тех, в расчете на которые сей поступок вершился? А если даже и может, если просто ничего лучше не придумал даже Бог, и вся последующая кровь и грязь двух тысяч лет входила в расчет с тем, чтобы легче отщеплялись агнцы от козлищ, — как там все-таки с совестью?

Или у Бога совести — нет?

Может, для этого человеческого слюнтяйства он слишком совершенен? Как, скажем, Чингисхан или Сталин? Я, дескать, всеведущ и всеблаг, лучше меня и нет никого, а ежели что неладно получилось, так это людишки-муравьишки поганые виноваты по слабости и греховности своей... Вот и фюрер вопил в последние свои денечки: если германская нация оказалась неспособна уничтожить даже славянские народы, она вообще не заслуживает права на существование!

Но такого не может быть.

Значит — каково ему терпеть все это...

Дрожь.

И, как всегда, но с каждым разом все сильнее и острее — страх. Не смогу. Уже не смогу, я теперь не тот. Незачем даже приниматься, мучиться попусту; только мучением и обернется этот рывок — всегда неожиданный и всегда в неизвестность. Больше ничем. Ибо: старость, тупость, черствость, онемение души, немота сердца...

Но попробовать я должен. Иначе незачем жить, иначе — в петлю. Да собственно, даже и в петлю лезть не понадобится, потому что не пробовать — это уже и будет петля. Должен. Не знаю кому; всем. И себе. А может быть, еще двум-трем самым близким... или тем, кто мог бы стать близкими... Кого я хотел бы назвать близкими, но кого никогда, никогда, даже если напишу — но об этом пока думать не надо, об этом можно будет подумать, только если счастливо напишу и потом запью как раз от этих мыслей, от этого самого «никогда» — даже если напишу, уже не смогу никогда назвать близкими...

Но может быть, Симагин хотя бы прочтет. И — Ася.

Здесь, наоборот, в эти дни лило, как, наверное, никогда за все лето. Маленький, изгвазданный по самую крышу «пазик» торчал на сочленении расквашенной, жирно блестящей грунтовки — по которой он, бороздя и утюжа жидкую грязь брюхом, дополз сюда и по которой ему еще предстояло как-то выползать обратно — и асфальтового шоссе, влево уходящего к Грозному, а вправо к Ачхой-Мартану. «Пазик» и приполз от Грозного, из Ханкалы — но отрезок шоссе слева был до полной непроходимости разрушен взрывами. Пришлось ехать к точке встречи кружным путем.

Резкий, душный и влажный ветер несся над чуть всхолмленной равниной, шипя в трясущихся ветвях придорожных кустарников и то морща, то распуская, то морща вновь коричневую воду в лужах. Тяжелые черные тучи медленно ворочались на небесах, и каждая, казалось, старалась задавить другую, они словно боролись за власть над небом — хотя что им, таким одинаково черным, было делить? А когда между ними вдруг мелькал слепящий голубой просверк, над горами, едва угадывавшимися в плывущей серой мути, тихо загоралась нездешне прекрасная радуга.

Ася давно уже перестала выбирать, где посуше, и заботилась теперь только о том, чтобы вязкая грязь не стащила с ног сапоги. Она стояла на обочине шоссе, метрах в семи впереди «пазика», не решившегося выехать на асфальт и только задравшего нос на крутом подъеме с грунтовки на насыпь настоящей дороги, — а рядом стояли еще две женщины, такие же, как она. Ветер трепал их немилосердно, но они не замечали ветра; не замечали и друг друга, хотя успели в пути и познакомиться, и подружиться, и пореветь друг у друга на плече. Теперь все трое молчали и неотрывно смотрели на шоссе вправо. Чеченцы опаздывали; ну разумеется, должны же они показать, кто тут хозяин. Два боевика, которых обменивали сегодня, и охранявшие их ребята оставались покамест в «пазике», и головы их виднелись сквозь заляпанные глинистыми брызгами стекла. Боевики оставались совершенно спокойны, несмотря на задержку; они-то были уверены, что свои их не подведут.

Когда вдали справа показался автобус — поначалу из-за расстояния казалось, что он едет неторопливо, — Ася перестала дышать.

Процедура обмена прошла мимо нее. Она словно смотрела на мир через тоненькую длинную трубочку, в которую уже не было видно ни гор, ни равнины, ни автобусов, ни охранников с их неприятным железом, никого — только Антон. Похудел. Загорел. Оброс щетиной... Она как вцепилась в него, как зажмурилась, как уткнулась лицом ему в плечо, так и стояла невесть сколько — не говоря ни слова, не плача, не оборачиваясь, даже когда сопровождающий попытался что-то ей пояснить, а потом даже похлопал легонько по локтю, чтобы привести в себя... Это было как столбняк, как паралич. Как судорога. Горячий и жесткий, весь из костей и мышц, давно толком не мытый Антон был у нее в руках.

Потом она начала медленно приходить в себя. Оказалось, рядом стоит еще третий человек — смуглый, горбоносый, по-восточному красивый парень, не старше Антона — хотя выглядит старше, солиднее, резче, — в камуфляже, с характерной повязкой поперек лба и руками, положенными на висящий поперек груди автомат.

— Женщина, очнись, — мягко сказал он. — Очнись, время.

— Да-да, — пробормотала Ася. — Уже все.

И оторвалась наконец от Антошки.

— Это твой сын?

— Это моя мама, — баском сказал Антон. — Мама, это Тимур.

— Здравствуй, — проговорил Тимур и, сняв с автомата правую руку, протянул ее Асе. Ася подала свою. Рука у Тимура была твердой, как, наверное, его автомат. Глаза смотрели прямо и уверенно; и с уважением. — Я специально поехал, чтобы тебя увидеть и сказать тебе: спасибо. Ты вырастила мужчину. Гордись. И передай то же его отцу. Да пошлет вам Аллах побольше таких сыновей!

И непонятно было, кого он имеет в виду: то ли Асю — но ведь видно же, что она уже в летах; впрочем, здесь до старости рожают... то ли всю Россию.

Ася смолчала. Но похоже, Тимур и не ждал от нее никаких слов. Он просто сказал то, что он хотел сказать сам.

Высунувшись из «пазика», что-то крикнул сопровождающий — порыв ветра отнес его слова, и Ася не расслышала, но увидела, что две другие женщины со своими сыновьями двинулись к двери; первая браво вспрыгнула на заляпанную грязью ступеньку и, поскользнувшись, едва не упала. Вторая еще никак не могла отплакаться — сын, обросший в плену бородой на восточный манер, сам сильно хромая, вел ее под руку, как слепую.

— Ну, прощай, — всем телом повернувшись к Тимуру, сказал Антон.

— Прощай, — ответил Тимур. Они постояли секунду неподвижно, вплотную друг напротив друга, и Асе показалось, что они хотели обняться; оба даже как будто чуть качнулись навстречу... но помешал висящий на груди у Тимура автомат. Лица у обоих были как каменные и чем-то почти одинаковые. Только мягкие светлые волосы Антона клокотали на ветру, а жесткая смоль Тимура, прихваченная ленточкой, лишь упруго плющилась от самых сильных порывов и тут же распрямлялась вновь.

— Слушай, Тимур, — негромко сказал Антон, — вот в Америке этой пресловутой... Дакота, Омаха, Айова — это же все названия индейских племен были когда-то. А теперь — штаты. В переводе с английского «штат» и значит «государство». Свой губернатор, свой сенат, свои законы... но ведь живут вместе, не стреляют... Почему мы так не можем?

Какое-то мгновение казалось, что Тимур просто не слышал его слов. Потом его выпуклые большие глаза хищно сощурились, и остро встали скулы.

— Потому, что мы вам, — непримиримо отчеканил он, — не индейцы!

И, повернувшись резко, так что автомат с уложенными на него руками замотало влево-вправо, он пошагал к своим. Из чеченского автобуса слышались громкая чужая речь и хохот. Тимур и его команда, почему-то подумала Ася. И снова на какое-то время отключилась.

«Пазик», завывая и исступленно вертя колесами, елозил по разводьям грязи, пробуксовывал; его несло то вправо, то влево. На соседних сиденьях смеялись, плакали, курили, ругались и молчали. Снова принялся моросить дождь, явно грозя усилиться и вовсе потопить упрямо плывущего жестяного жука; стекла покрылись дрожащими изломчатыми струйками, и все, что было снаружи, пропало совсем.

— Он кто? — спросила Ася. Антон ответил не сразу. Появилось в нем какое-то металлическое спокойствие. Ладони его обнимали мамину руку и гладили ее, баюкали — но отвечал он, будто... будто его враги допрашивали, что ли.

— Солдат.

— А как это вы с ним так... сдружились?

И опять Антон долго молчал.

— Не убили друг друга.

Асю заколотило, но она сумела сдержать себя и, стараясь спрашивать так же спокойно, как цедил свои ответы Антон, уточнила:

— Когда?

Пауза.

— Я в июне чуть не убежал. — Пауза. — Все уже шло как надо... ночь, я снаружи, автомат в руках... — Пауза. — А тут он. Я его на мушку, и — руки заколодило. Не могу... в безоружного. Постояли так с минуту, наверное, потом я ствол опустил... и тогда он перехватил со спины. Я стою как дурак, уже сам теперь на мушке, и думаю: привет! Еще с минуту стоим. Потом он свой обратно закинул и говорит: иди назад. И я пошел.

Дождь и впрямь усиливался. Крупные капли, словно летящие по ветру пули, длинными кучными очередями секли боковые стекла.

Наверное, не надо было об этом спрашивать... но и не спрашивать нельзя. Нельзя бояться того, что было. И нельзя бояться знать то, что было.

— А до плена, — спросила Ася, — в бою... Мог?

Пауза.

— Стрелял, — нехотя сказал Антон. — И даже попадал.

Пауза. Слышно было, как, обернувшись из водительской кабины к одному из военных, водитель орет, пытаясь перекричать отчаянный вой перегретого мотора: «До асфальта еще километра два! Повязнем, не доедем!»

— Вернемся в Питер — я креститься буду, — вдруг сказал Антон.

Тут уже Ася не сразу нашлась, что ответить.

— Ты уверовал? — спокойно спросила она потом.

— Не знаю... — Впервые в голосе Антона проглянуло что-то мальчишеское, почти детское. — Верую, Господи, помоги моему неверию... Обещал. С нами там один молодой батюшка попал... мы с ним много разговаривали. Я ему обещал. Если живым выберусь и тебя увижу — обещал креститься.

— Бог в помощь, — проговорила Ася тихо, едва слышно в шуме. — А он... его не отпустили?

Пауза.

— Его замучили, — сказал Антон нехотя. И через несколько мгновений добавил для полной ясности: — Он умер.

— Тошенька, — чуть помедлив, нерешительно спросила Ася, — а когда ты... не стрелял в Тимура, ты... это уже знал?

— Да, — отрывисто ответил Антон.

«Пазик» увяз окончательно. Колеса еще повизжали и порычали под днищем, звучно плюхая в него волнами грязи, потом все затихло. Только тупо рокотал по стеклам и крыше дождь.

— Все, ребята! — Голос шофера показался в рокочущей тишине оглушительным. — Кто в состоянии — на выход без вещей! Толкать будем.

Уже смеркалось, когда они выбрались на асфальт, и Антон, насквозь мокрый, весь в грязи до воротника и выше — даже в волосы ему крутящееся колесо зашлепнуло бурый ком, и теперь плохо стертая жижа, чуть ссохнувшись, склеила несколько прядей, — снова вернулся к Асе. Он старался теперь не прижиматься к ней, чтобы не испачкать, и скромно сидел на краешке сиденья, и с ног его сразу натекла мутная лужа. Автобус с ощутимым облегчением покатил по гладкому, а Ася — плевать ей было на грязь, она сама вывозилась по колено, пока ждали обмена — вцепилась в руку Антона снова и спросила:

— Антон, ты адрес Симагина помнишь?

Антон медленно повернулся к ней и, пожалуй, впервые глянул ей прямо в глаза. Некоторое время он молчал, но не так, как прежде. Прежде он не хотел отвечать. А теперь не знал, что ответить.

— Честно, а? — сказала Ася.

— Конечно, — ответил он наконец.

— И я вроде тоже вспомнила, — проговорила Ася как бы запросто, очень стараясь, чтобы голос не начал снова дрожать. — Вернемся — надо будет к нему сходить, как ты думаешь? — Она нерешительно помолчала, теребя его пальцы, а потом закончила так, чтобы все сказать и рассказать ему про себя сразу, одной фразой, а не тянуть резину: — Тимур же просил ему передать, чтобы он тобой гордился.

Пауза. Дождь затихал. Однообразно зудел бегущий под протекторы асфальт; время от времени ровный звук взрывался коротким ревом, когда автобус, распуская на стороны мутные косые фонтаны, вспарывал глубокие лужи. На сиденье впереди хромой парень спал на плече матери, и та, чтобы голова сына не моталась от толчков, мягко прижимала ее щекой.

— Вы виделись? — спросил Антон тихо.

— Нет, — ответила Ася. — Но он мне снится все время. Я очень по нему соскучилась.

Антон глубоко вздохнул.

— Лучше поздно, чем никогда, — пробормотал он.

Пауза.

— А если он женился? — спросил Антон. — Если у него дети?

— Если у него есть еще дети, — решительно сказала Ася, будто Антон и впрямь был у нее от Симагина, — значит, и у меня есть еще дети, только я про них пока не знаю. А если женился... между мужчинами и женщинами много всякого бывает, ты, наверное, это уже понимаешь.

— Да уж понимаю, — хмуро сказал Антон.

— Хочу к нему, — сказала Ася. — Хоть как. Хоть просто рядом быть. Без него у меня души нет.

— Ну, мам, ты даешь, — проговорил Антон.

А чуть помедлив, он повернулся к ней и улыбнулся. В первый раз. Какой-то симагинской улыбкой — до ушей. Симагин так улыбался давным-давно, когда все они еще были счастливы.

— Ох, мама, — сказал Антон с любовью и обнял Асю за плечи. — Ох!

Автобус катил, иногда подскакивая на неровностях и выбоинах.. В сизой, мутной мгле впереди проглянули закопченные пожарами окраины. Шофер включил фары.

— Притормаживай, — сказал сопровождающий офицер водителю. — За поворотом опять пост.

— Не нарваться бы на мину, — сказал Антон. — Сейчас это было бы уж совсем некстати.

ЭПИЛОГ

ВНЕ ВРЕМЕНИ

Симагин неподвижно висел, широко раскинув руки, в до твердости густой беспросветной тьме. Он был вклеен, впаян, как муха в смолу, в этот литой, будто резиновый, антрацит. Шевелиться он не мог, не мог даже моргать или просто закрыть глаза — и веки, и сухие глазные яблоки, уставленные в одну точку, не повиновались ему так же, как и все его обнаженное тело, и он вынужден был непрестанно смотреть и смотреть в черноту, которая то ли облепляла его лицо, то ли была удалена в бесконечность. Ее прикосновений он не ощущал, не ощущал вообще ничего; не существовало ни верха, ни низа, ни холода, ни тепла, ни движения, ни звуков. Ни ветра, ни даже самого воздуха — он не дышал.

Он не знал, как долго находится здесь, и не знал тем более, сколько ему еще предстоит оставаться невесомо распятым на неощутимой тверди этой абсолютной пустыни. Он даже приблизительно не мог оценивать протяженность уходящего времени, хотя бы по ударам сердца, потому что и сердце не билось. Он не жил.

В общем-то, он был спокоен. Он не чувствовал ни одиночества, ни тоски, ни даже скуки; вспоминая детство, вспоминая любимые книги, любимые поляны в лесу и любимые ягодные кусты, вспоминая родителей, или Антона, или Асю, или Киру, или удивительные прорывы к истине вместе с Вайсбродом и Карамышевым, или — он не отказывал себе в удовольствии вспоминать ее часто и до самых незначительных мелочей — их последнюю с Асей раскаленную ночь, он не испытывал ни малейшего сожаления, что этого нет сейчас, а только нежность ко всем, и радость, и гордость от того, что все это было.

Он совсем не был всеведущ и не имел даже понятия о том, кто и когда снова простит его и позовет. Простит за то, что мир, который он создал — опять, в который уже раз, оказался на деле вовсе не таким совершенным, каким представлялся ему, Симагину, в его рабочих грезах и мечтательных расчетах. И позовет, чтобы Симагин помог сделать следующий шаг, подняться на следующую ступень, которая, конечно, тоже обманет почти все ожидания — и все-таки окажется хотя бы чуточку выше.

Симагин уже теперь был благодарен неизвестному пока человеку, который найдет в себе мужество и мудрость не осатанеть и не отупеть от трагизма и нелепости вновь воздвигнутого мира, не спрятаться от него ни в огульную ненависть, ни в безукоризненно-сладкий обман или самообман — но и не примет его как единственно данный и лучший из возможных, к которому надо только приспособиться пошустрей да поухватистей, и все будет в порядке.

Хорошо, если бы это была, например, снова Ася.

А пока он просто отдыхал и пытался копить силы. Они ему понадобятся еще, в этом он был убежден. Потому что следующий бой, конечно, тоже окажется на пределе возможностей. Чем обширнее возможности, тем более сложные задачи ты берешься — и не можешь не браться — решать; и потому, сколько бы ни отпустила тебе сил судьба, выкладываться приходится полностью. До седьмого пота, до хруста в мышцах и костях, до того, что лопаются сосуды и сердце взрывается, как пошедший вразнос реактор...

Он ждал — и мечтал о времени, когда снова начнет дышать.

Но человек и сам себе вокзал. Он сам нередко встречает себя из странствий, и провожает, уезжая в новую жизнь, и убегает от себя, ныряя в первый подвернувшийся вагон и не ведая даже, куда повезут... Не проходит, пожалуй, и дня без того, чтобы человек не отправил себя куда-то.

Сболтнул кому-то на бегу: я сделаю — и не сделал... и начинаешь искать и наворачивать одно на другое оправдания, объяснения, обоснования тому, что не смог, или не сумел, или не успел выполнить обещанное; и вскоре веришь в эти объяснения и оправдания уже и сам — возможно, оставаясь единственным, кто в них поверил, но с тем большим апломбом, с пеной у рта, повторяя их на любом углу всем и каждому, и злишься на тех, кто не верит твоей лжи... стоишь на ней тем тверже, чем она менее убедительна, и гордо называешь это: я последователен, я остаюсь самим собой, несмотря ни на что, я верен принципам... но через некоторое время, озираясь вокруг, только всплескиваешь руками и диву даешься: куда это меня занесло? Ведь я сюда не шел, в эту адскую мглу с ее налетающими из темноты порывами прокаленного жгучего ветра и багровыми сполохами несчетных то ли жаровен, то ли взрывов вдали; я только хотел, чтобы меня не корили, не совестили, хотел защититься — а оказался вон где...

Или, наоборот, решил остаться честным перед кем-то, во что бы то ни стало остаться честным, сколько бы усилий это

ни потребовало; а это значит, хотел остаться таким, каким представляет тебя этот кто-то — но оглянуться не успел, как оказался под капельницей. Позвольте, я хотел отправить себя к чистой совести, а вовсе не к реаниматорам; так почему я не смог вовремя затормозить, почему не выскочил из пошедшего под откос состава? Но, положа руку на сердце, вспомни и ответь: и впрямь ли хотел ты выскочить или просто жалеешь о том, что состав, бросить который ты так и не сумел захотеть, пошел под откос?

Если возможно, да минует меня чаша сия, просил я когда-то с простительной для едва вступившего в пору зрелости человека толикой неосознаваемого кокетства... впрочем, пусть будет не так, как я хочу, а так, как Ты хочешь, говорил я Долгу — но кто послал меня: Он или я сам? Невозможно разделить, немыслимо. Разве можно не хотеть того, что ты должен делать? Это все равно, что не хотеть дышать. Чтобы жить, человек должен дышать; но разве быть должным дышать и быть должным двадцатку — одно и то же? Должен не в смысле извне наваленных на тебя, загромождающих твою жизнь и придуманных невесть кем обязательств типа «Взялся за гуж — не говори, что не дюж», «Крути педали — иначе упадешь», «Ни малейшего спуска врагам», «Не выноси сор из избы», «На чужих не заглядывайся», «Не уверен — не обгоняй»... от таких долженствований очень легко избавляться, да и нет в том избавлении греха. Если нельзя, но очень хочется, то можно, запросто говорят в таких случаях в Третьем Риме, столь же великом и несчастном, сколь и первые два; ибо все они были порождены великими цивилизациями, каждая из которых возникла из великой мечты — и не сумели эти цивилизации сберечь, истрепав мечту до того, что она сначала превратилась в иллюзию, а та, в свою очередь, обернулась обманом. Не в смысле этих ядовитых ножниц, денно и нощно корнающих все живое, навеки отравляя оставляемый и кое-как дотягивающий до могилы обрубок чувством беспомощности и стыда — но в смысле ощущения правильности сцепки себя с рычагами и приводными ремнями небес, ощущения зависимости от тебя и твоих поступков грядущего вознесения или краха тех, кто вру-

чен твоей любви. Сколько бы их ни было — двое или двести миллионов.

Когда я чувствую в себе для этого достаточно сил, я повторяю первую и главную свою — такую, в сущности, короткую — прогулку по Виа Долороса, в которую, что бы там ни говорили и кого бы ни винили, я отправил себя сам, только сам; и пытаюсь понять: те изменения, что претерпел с той поры мой тогдашний путь, и те, что претерпел я сам, — связаны ли они друг с другом хоть как-то? Отражаются ли друг в друге? Или две ленты беспрерывно перетекающих одна в другую перемен летят сквозь время каждая сама по себе, не перехлестываясь и даже не соприкасаясь?

Но чаще я сызнова прохожу крестный путь другими душами — теплыми, наивными несмышленышами, похожими на веселых и храбрых младенцев, которые даже не догадываются о великой мере своей беспомощности; душами, не ведающими, что это за путь и что за тяжесть плющит им плечи и спину, отчего так часто никого нет рядом и зачем, собственно, они отправились — отправили-сь! отправили себя! — в эту дорогу, круто бегущую вверх; но идущими по ней, сколько хватает сил.

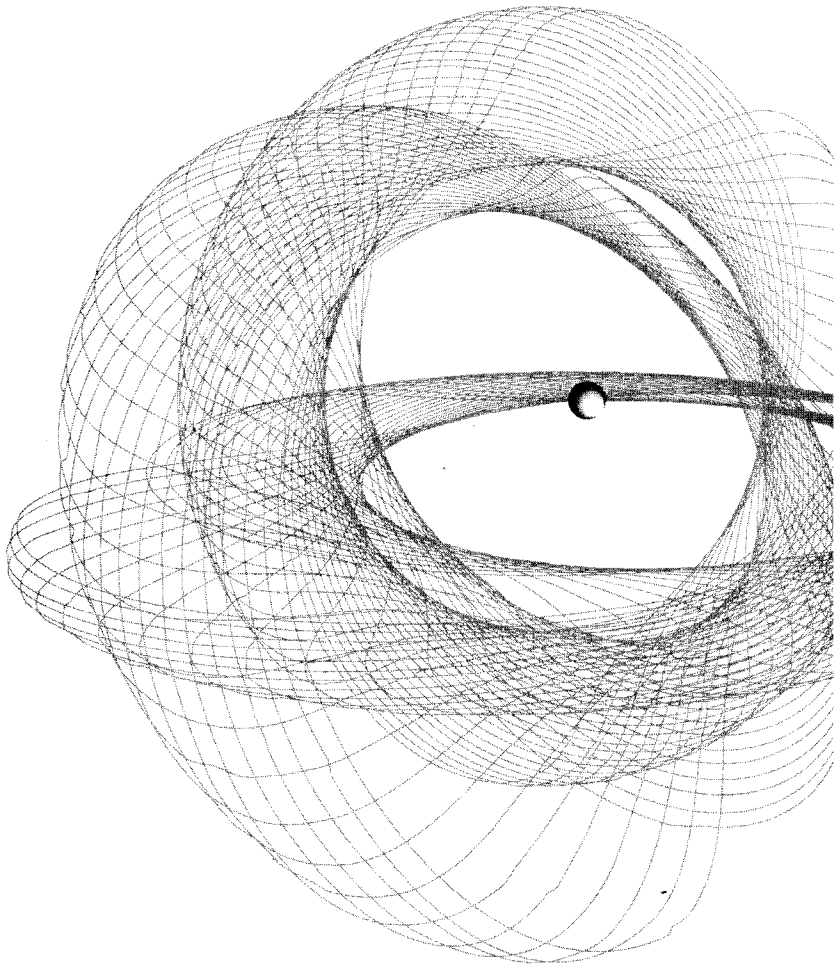
Иногда уезжаю.

Иногда — возвращаюсь.

Сентябрь — ноябрь 1996
Коктебель — Санкт-Петербург

НА ЧУЖОМ ПИРУ, С НЕПРЕОБОРИМОЙ СВОБОДОЙ

РОМАН



Государь рассмеялся:
— Людей талантливых всегда достаточно. Помнишь ли ты время, когда их не было? Талант — всего лишь орудие, которое нужно уметь применять. А посему я и стараюсь привлекать к себе на службу способных людей. Ну, а коли не проявляют они своих талантов — и нечего им на свете жить! Если не казнить, то что прикажешь с ними делать?

Бань Гу

Пьяной валяется ограблен на улице, а никто не помилует... Проспались, бедные, с похмелья, ано и самим себе сором: борода и ус в блевотине, а от гузна весь и до ног в говнех.

Протопоп Аввакум

ПРОЛОГ. И Я ПОПЛЫЛ

Они помирились. Они вновь стали вместе. Я думал, это просто счастье, а это оказалась — судьба.

Я не сразу понял. Поначалу... долго... попросту млел оттого, что у меня теперь семья. Не только мама — в любви и надрыве и всегда с закушенной губой; а семья. Мужчина и женщина, родные тебе, рядом с тобой, и любящие друг друга. Смотришь на них изо дня в день, топчешься бок о бок и потихоньку понимаешь, как надо жить.

Тогда уже и не столь важно, что тебя — они тоже любят.

Когда тебе двадцать лет, то, что родители любят тебя, воспринимается как некий само собой разумеющийся и явно второстепенный довесок к главному, сиречь к собственной персоне и глубокомысленным размышлениям о ней. Приятный туман, дурман. Иллюзия вседозволенности. Адаптируешься к сверстникам, к миру вокруг, а к любящим родителям можно не адаптироваться — они вне формирующей среды, для них какой угодно сойдешь.

Но основной микроэлемент, на котором растет и зреет душа, постепенно приобретая способность стать человеческой, — то, что родители любят ДРУГ ДРУГА. Только от их огня можно зажечься умением любить самому.

Наверное, именно за это — и я их полюбил. Уже не как ребенок, а как взрослый, прошедший... многое.

То есть, конечно, нельзя сказать: «за это». Любят не за что-то; за что-то конкретное полюбить невозможно, лю-

бовь — не оценка по поведению и не кубок на чемпионате. Брак может стать оценкой или кубком, даже удачный брак может стать оценкой или кубком; любовь — нет. Но можно сказать хотя бы «поэтому»? Или приверженцы разухабистой свободы, снабженные широко трактуемой и оттого донельзя удобной фразой «поскольку ветру и орлу...», сочтут, что даже простая констатация причинности унижает человеческое достоинство и ограничивает полнокровное волеизъявление да страстеизлияние? Не властны мы, дескать, в самих себе — и отвали, моя черешня. Я миленка полюбила, а наутро разлюбила. Почему да почему? Похмелюсь — тады пойму...

Но в таком случае уж простите, мне плевать. Поэтому. Вот ПОЭТОМУ и я их так полюбил.

Конечно, вначале пришлось тяжеловато. Можно интегрально боготворить и при всем том что ни день лезть на стенку из-за мелочей. Притирка.

Меня и то порой скручивало; нервишки после грозненской бойни и урус-мартановских зинданов, мягко говоря, оставляли желать лучшего. А уж как срывалась мама, привыкшая к беспощадно пустой свободе, к исступленному одиночеству наготове к бою, будто она единственный страж золотого запаса страны и к стражу этому кой уж год не приходит смена... не просто привыкшая — пропитавшаяся всем этим насквозь.

Только па Симагин не срывался. Огорчался, мрачнел, когда срывались мы, и чувствовалось, как у него обессиленно опускаются руки, — да; но сам не срывался. И потому, едва-едва остыв, можно было подойти к нему и по-мужски попросить прощения: будто ничего не произошло, спросить о чем-то или совета попросить, а потом внимать с подчеркнутым вниманием и уважением, будто мальчишка-козопас седому аксакалу, главе рода и верховному владыке табунов и отар. Это было совсем не трудно, он всегда говорил интересно и дельно, и при том — ничего лишнего.

Хотя, должен признаться, немного странно подчас.

Ну, а мама просила прощения по-женски, и если она медлила хоть на пять минут относительно минимально приемлемого для ее достоинства срока, я мысленно уже начинал подгонять ее в выражениях едва ли не окопных. И до чего же

легко делалось на сердце, когда я слышал, как она торопливо шлепает, скажем, из кухни в комнату и кричит еще с порога, то ли смеясь, то ли плача: «Андрюшка, ну прости дуру! Ну милый! Столько лет одна сидела — озверела и человечью речь забыла, как Селкирк. Мы ведь это уже проходили — помнишь, молодые. Ты же знаешь, я на самом деле не такая. Спаси меня от ненастоящей меня, пожалуйста...» А потом слов было не разобрать. Они ворковали, сидя рядышком — будто и впрямь взмывали в первый свой год, который плотным солнечным сгустком сверкал у меня в памяти — даже ярче, быть может, чем у них. По-летнему сверкал.

Лето Господне...

Из детства мне помнилось, что он — удивительный человек. И когда увидел его по прошествии этих лет, был, признаться, разочарован. Ну, приятный, ну, умный, ну, явно добряк... И лишь после первой ссоры — случилась она, к счастью, весьма скоро, и я тут не кривлю душой, потому что благодаря ей это чувство вернулось скоро; а ведь чертовски приятно чувствовать, что твоя мама живет в любви с удивительным человеком, и он тебе теперь снова отец...

После первой же их ссоры я понял, что он и впрямь удивительный человек.

Потому что ни она, ни потом я не испытывали ни малейшей неловкости, когда отправлялись мириться. Не знаю, как объяснить. Он и не кочевряжился, теша гордыню и пытаясь продлить удовольствие момента, когда провинившиеся низшие твари ползают на коленях; но и не снисходил, давая понять, что, конечно, ладно уж, этак равнодушненько все прощу, потому что все ваши выходки мне тьфу, чего от вас иного ждать, глупая самка и ее одичавший отпрыск... Он всерьез, до отчаяния страдал от размолвок; зато, когда все вставало на свои места, сразу радовался весь.

И поэтому его особенно хотелось радовать.

Нет, кажется, не сумел объяснить. Но, думаю, кто знает, о чем я, тот поймет, а кто по этим смутным словесным наворотам не понял — тому бесполезно объяснять, ибо тот вообще не знает, о чем речь, не ведает подобных чувств.

Вот. Он всегда был открыт навстречу. Для примирения никогда не нужно было преодолевать его. Только себя. И, стоило

пересилить, скажем, гордыню и ткнуться к нему, ощущалось всей кожей, как стремительно восстанавливается треснувшее от нелепой случайности прекрасное, светлое, всем нам позарез необходимое единство.

Нет. Чем больше жую, тем хуже. И, разумеется, сразу от полной беспомощности пошел навинчивать одну красивость на другую: прекрасное, светлое... вот ведь бодяга. То ли дело помойки и умертвия описывать — сколько экспрессии! Кишки волочились поверх закопченных кирпичей, и он, еще пытаясь бежать, отчаянно старался запихнуть их обратно... в горле распахнулся, казалось, второй рот, из которого выхлестнуло густое черное... Таким текстом можно за пару недель выстлать путь от Питера до Владивостока, а потом еще вечерок — и через океан, через океан, поперек; к каменным истуканам Пасхи, им такое в самый раз. Менее физиологичным текстом этих ушастых не прошибить.

Вообще-то я решил надиктовать рассказ об определенных событиях, и только; да и то оговорил, что с утайкой, а не просто так. О тончайших движениях души — увольте. Вот вам несколько выписок из Сошникова — о текстах с его дискеты еще много будет впереди, и цитировать я буду обильно. «В мире том нет взаимосопротивления, а только — взаимопроникновение... Там нет никакого разделения, как на земле, там — единство в любви и целое выражает частное, а частное выражает целое... И замечают себя в других, потому что все там прозрачно, и нет ничего темного и непроницаемого, и все ясно и видимо со всех сторон». Если верить Сошникову — я, как вы понимаете, не проверял, не до того было, — это из Плотина. Из «Мыслимой красоты», что ли...

Плотин — мастер слова, мягко говоря, покруче меня, в веках известен; но стало ли вам яснее?

То-то.

А вот с той же дискеты, но совсем из другой, казалось бы, оперы — хотя, в сущности, о том же самом. У нас до этой степени, слава богу, несчастья не доходили, но при любом напряге поведение родителей исчерпывающе описывалось одной-единственной фразой из японца по имени Камо-но Тёмэй. Это когда он рассказывает про жуткий голод, поразивший страну где-то там в затертом веке: «И еще бывали и

совсем уже неслыханные дела: когда двое, мужчина и женщина, любили друг друга, тот, чья любовь была сильнее, умирал раньше другого. Это потому, что самого себя каждый ставил на второе место и все, что удавалось порою получить, как милостыню, прежде всего уступал другому...»

Только вот милостыни они никогда не просили. Это уж из цитаты, как из песни, слова не выкинешь. Справлялись без милостыни, как бы ни гремела и ни ревела, как бы ни пузырилась тупая социальная стихия снаружи.

Вы представляете, как спокойно и надежно жить в такой вот семье? Сколько сил... сколько уверенности — безо всякой самоуверенности! — в сегодняшнем и даже завтрашнем дне? Насколько подвластным и невраждебным представляется будущее?

Хотя такого будущего, конечно, мне и в самом сладостном кошмаре привидеться не могло.

Я не оговорился. Кошмар-то кошмар, действительно, но до чего же я рад, что все произошло именно так. Что я хотя бы это смог! Не получается сейчас припомнить точное число тех, кому я и мои друзья вернули полноценную жизнь... да, жизнь, ведь полноценность — это не только коленки, хребет и почки-селезенки; это способность создавать, оставлять после себя НЕЧТО. Как человек потом распорядится возвращенной способностью — его ответственность, его счастье и проклятие, но способность-то снова с ним. Ему снова есть чем распоряжаться. Двести? Сто восемьдесят? Двести сорок? Это немало. Особенно если речь всякий раз идет именно о том, для кого жизнь — это не только почки-селезенки-семенники, но и пресловутая, трижды проклятая им же самим потребность и способность оставлять после себя нечто. Немало.

Только такой мелочный, дотошный подсчет — сколько конкретных людей? сколько конкретных дел? — и дает реальную картинку. Без него столь любезные нашему сердцу масштабные препирательства и проповеди о путях развития, о социальном благоустройстве — не более чем треск сучьев в костре, который не тобою зажжен и горит не для тебя.

Даже самые убедительные проповеди. Даже те, в которые я сам поверил.

Сбился.

Не могу точно вспомнить, когда па Симагин познакомил меня с Александрой Никитишной. Для меня это произошло настолько на периферии бытия, что обратить особое внимание на кого-то одного — ну пусть одну — из его знакомых мне и в голову не пришло. Хотя, должен признаться, жили мы довольно замкнуто. Не то чтобы мой дом — моя крепость; скорее, мой дом — мой храм... церковь. Монастырь. Очень редко па Симагин созванивался или, тем паче, встречался с кем-то из друзей. Мама, как и положено нормальной женщине, больше нас, вместе взятых, висела на телефоне; встречаясь же с подругами, она чаще уходила к ним, нежели приглашала к нам. Иногда уходила одна, иногда с па Симагиным. Ну, а я тоже не спешил восстанавливать отроческие связи, прервавшиеся пару лет назад и, в сущности, совершенно стушевавшиеся перед вдруг возрожденной из пепла ослепительной жизнью в той комнате, где я когда-то был маленький мальчик, с теми же, что и тогда, папой и мамой.

На именины, что ли, он к ней с подарочным тортом поехал и взял меня с собой, коротко объяснив: она очень хороший человек, и, кроме того, мы с мамой ей многим обязаны. В смысле, не я и мама, а мама и он. Чем именно, даже не намекнул. Он ведь очень немногословен, на самом деле, мой па Симагин.

Александра Никитишна уже в ту пору была очень плоха. Совсем еще не старая, она выглядела... как это у Цветаевой о Казанове: ничего от развалины, все — от остова.

Эта женщина производила впечатление, что правда, то правда. Она могла кое-как себя обиходить, и делала это с поистине фанатичным тщанием. В комнатушке — ни малейшей затхлости, ни малейшего запаха болезненно распадающегося пожилого женского тела. Накрахмаленные салфеточки, скатерочки; массивные ряды и стопы строгих и малопривлекательных для малограмотных, без рыночной размалеванности, еще не лотковых книг; а в открытую — похоже, раз и навсегда, навечно — форточку затекает бодрый воздух из крохотного дворового сквера, настоянный на мокрых осенних листьях хоть и трех с половиной, да все равно живых деревьев. Но матерый дух табака, въевшийся в каждую из бесчисленных скатерочек и книжек, даже эту свежесть превращал, чуть отойди от фортки, в прокуренный холод вагонного тамбура. Натужно передвигаясь, но назло падающему в смерть здоровью куря сигарету, обутую в старомодный мундштук, Александра неторопливо угостила нас прекрасно сваренным кофе. Иссохшие руки — буквально птичьи косточки, обтянутые пергаментной кожей почти уже без вен — заметно дрожали, но каким-то чудом ухитрялись не проливать ни капли. Манеры, манеры! Па Симагин церемонно, всем ее действиям под стать, ее поздравил и извлек торт.

Они общались друг с другом с какой-то поразительной, ненарочитой корректностью и уважительностью, которые явно призваны были заменить им дружескую непринужденность, невозможную при очевидной разнице в возрасте и физическом состоянии. Мне это понравилось, очень.

Мне сразу захотелось здесь бывать.

Па меня ей официально представил — как престарелой королеве. Она, наверно, и сама догадалась, кто есть сей вьюнош, но до официальной церемонии меня как бы не замечала. А тут приветливейшим образом улыбнулась своим иссохшим, почти уже безгубым лицом, и пристально, оценивающе оглядела. Как-то слишком пристально. Слишком оценивающе. Что-то она про меня знала, чего я сам, быть может, не знал — и знала, разумеется, со слов па Симагина, больше неоткуда. Потому что, когда немного позже я, словно бы невзначай, упомянул ее имя в разговоре с мамой, оказалось, что мама, хоть и знает ее имя от па Симагина, сама с нею не встречалась ни разу. Похоже, мама и не подозревала, что чем-то этой Александре Никитишне обязана. Приходилось верить па Симагину на слово. Впрочем, если ему не верить, то кому вообще?

Разумеется, со слов па Симагина... Это мне тогда разумелось. Сейчас я знаю, что ничьи слова ей не были нужны, она знала сама.

Наверное, уже в тот день она положила на меня глаз.

Любопытство во мне взыграло с первого визита. Я не мог понять, какие отношения связывают па Симагина и эту гордо умирающую почти старуху. Знакомство по бывшей рабо-

те? Не похоже. Я знал, что, когда па встряхивает своей невеликой стариной и выходит на контакт с кем-нибудь из бывших коллег, они так заводятся, что через пять минут нормальному человеку в разговоре их не понять ни слова. И на бывшую школьную учительницу не похоже. О чем говорить с бывшей учительницей? Во-первых, рассказывать о своих нынешних достижениях ей и, во-вторых, узнавать о расползшихся по своим отдельным жизням одноклассниках от нее. Здесь этим тоже не пахло. И уж совсем невозможно было предположить, скажем, некую застарелую боковую любовь или, по крайней мере, роман, от которых, скажем, остались вполне искренние дружба и уважение. Беседа шла такая в полном и первозданном смысле этого слова светская, что теперь даже не вспомнить, о чем говорилось. Похоже, им просто нравилось быть друг с другом — и они аккуратно, не спеша прихлебывали кофеек и обменивались мнениями, скажем, о погоде.

О политике не было ни слова, это я помню, потому что меня это порадовало. Зато, кажется, долго говорили о травяных чаях и о том, какой сбор от чего и какой при этом вкуснее пьется. Я еще подумал тогда: а па на высоте! Хотя тема для него была... не свойственная, так мне подумалось. Во всяком случае, со мной он никогда не разговаривал о чаях. К счастью для меня; я бы такой разговор поддержать не сумел.

Где-то через час стало явным, что она устала. И от удовольствия можно устать, особенно если ты стар и болен — и мы начали прощаться. Но тут она затрудненно поднялась со своей старорежимной кочковатой кушетки — слышали бы вы, как в утробе кушетки трубили пружины! — прошаркала к книжным полкам и со словами: вот я вам замечательную книгу дам о лекарственных травах, вы такой теперь уже нигде не найдете, сняла с полки затертую брошюрку и протянула па Симагину. Тот уважительно принял. Александра же покосилась на меня умным круглым глазом и добавила: только с возвращением не затягивайте, видите, какая я стала. Пусть через недельку мальчик ваш мне ее занесет.

Вот так это было. Так произошло.

Здесь тоже была судьба, но уже вторая ее производная от первой, главной.

А я, разумеется, не мог этого понять и попросту обрадовался, потому что суровая ведунья мне понравилась.

Понял ли па?

Не знаю. Не спрашивал и никогда не спрошу. Отцу таких вопросов не задают.

Иногда мне думается, что он все просчитал заранее и нарочно познакомил нас за восемь месяцев до ее смерти, четко имея то, что потом произошло, в своем дальновидном виду. Иногда мне кажется, что он попросту вел меня, а тогда, значит, не исключено, что каким-то образом вел и дальше и, возможно, ведет до сих пор.

А иногда мне кажется, что думать так — просто паранойя.

А иногда — что, конечно же, ведет, что он все для меня расчислил на годы и десятилетия и это — ошеломляющее унижение, словно я живу свою жизнь не сам, а по программе, которую беспардонно составил для меня и нечувствительным образом в меня вложил один из самых любимых мною людей.

А еще иногда — что ничего тут зазорного и чудовищного нет; чем грешен отец, который не силком, а незаметно, неощутимым дуновением в локоть помогает сыну избрать направление жизни — настолько неназойливо и тактично, настолько невзначай, что даже по прошествии лет невозможно с уверенностью сказать, сделал он это или не сделал? И если сделал, то ведь — спасибо с поясным поклоном, потому что все сложилось, повторяю, как нельзя лучше, сладостным кошмаром!

Молодость — время прицеливания. Это интереснее всего — выбирать себе цель; и это легче всего, ведь тянуться к уже избранной цели гораздо труднее. Вдобавок чувство свободы выбора удесятеряет иллюзию широты возможностей и прав. Куда бабахнуть жизнью, во что? А потом только летишь по инерционной траектории, выстреленный много лет назад, и, как болванка, ни на какую свободу не способен; только валишься, валишься вниз, от секунды к секунде все более на излете... Вперед, но вниз. Ни вправо, ни влево.

И любой успех, как бы далеко ты ни улетел, сколько бы ни сорвал восхищения и зависти, для тебя самого свидетельствует лишь об одном: все, ты уже попал в цель и дальше лететь некуда, инерция иссякла. Попал — значит, упал.

Но стократ хуже так и прожить всю жизнь с разбегающимися от обилия целей глазами, упоенно водя из стороны в сторону дулом своего бытия, но так и не решившись нажать на спусковой крючок.

Чем же он виноват передо мной, если и впрямь как-то спровоцировал обретение мною преимуществ? Ведь я смог выбрать такое, чего никто не мог, кроме меня. Мог выбрать многое другое, обыкновенное, хотя тоже обогащенное преимуществами, но мог выбрать то, чего вообще не мог никто, — и выбрал именно это.

И смог полететь по выбранной траектории куда дальше, чем смог бы кто-либо иной, и еще неизвестно, как далеко улечу, — я, вы знаете, далек от мысли, что уже попал и упал. Хотя положение мое нынче... да. Противоречиво и прекрасно.

Спасибо, па.

Однако, если подумать спокойно, ты тут ни при чем. Невозможно это, как ни крути. Откуда тебе было знать? Просто так сложилось.

Наверное, пролог следовало назвать «Дар Александры». Но немного вычурно звучит, нет?

Словом, я побывал у нее раз, потом два, потом три. Иногда бегал для нее в магазин, иногда — в аптеку.

Заболтался, кажется. Это все еще только преамбула. Не нужны пока подробности, не нужны, они лишь мне самому ценны и важны... например, то, как странно было приходить и всякий раз в первые две-три минуты, по контрасту с предыдущей встречей, понимать, что она буквально тает на глазах, но тут же забывать об этом, потому что она сохраняла достоинство, уважительность, ясность рассудка, остроумие... Мне было интересно с ней. Для меня она оказалась единственным и последним осколком целой эпохи, эпохи поразительной и, в сущности, таинственной — Ленинграда двадцатых — тридцатых годов, кое-как сохранявшего то ли традиции, то ли атавизмы рабочего Петербурга царских времен. Традиции не дворцов и особняков, опупевших от столоверчения, разврата и кокаина, взрастивших на сих благодатных китах так называемый Серебряный век, — но великих заводов и блистательных лабораторий и КБ. Ленинград, оказывается, ухитрялся сохранять их и при Зиновьеве, и при Кирове, даже до войны донес, и никак не удавалось заменить их на систему ценностей грозной толпы перепуганных одиночек, насаждавшуюся скрупулезно и кроваво... но тут Гитлер помог; а потом так просто оказалось не давать возвращаться домой тем, кто был именно отсюда эвакуирован широкой россыпью, зато щедро дарить прописку кому ни попадя, кого прислали восстанавливать руины.

Да. Вот в основном об этом мы и беседовали. О системах ценностей, скажем так.

Никакая, оказывается, не дворянка она была со своей аскетичной статью, изысканной речью, строгими одеяниями, потрясающим пониманием человеческой души и вечной сигаретой в мундштуке и вовсе не косила под салонных графинь, как показалось мне поначалу. Наследница династии мастеров и квалифицированных рабочих, вот смех-то по нашим временам! И, похоже, этой династии суждено было на ней пресечься, потому что хоть и был у нее где-то сын, но общались они редко и безо всякого, мягко говоря, душевного подъема. Как я понял — толстолобик в малиновом пиджаке.

На хилых, но упорных тополях под окошком распускались клейкие листья, и бесчисленные алые сережки увесисто болтались на ветвях, будто зардевшиеся от стыда лохматые гусеницы, — когда мы виделись в последний раз.

Каюсь, у меня и в мыслях не было, что этот раз — действительно последний. Я уже привык к тому, что она больна. Мне казалось, что так будет вечно. Мне даже в голову не приходило, насколько она сама-то устала, измучилась даже и, в сущности, заждалась.

Но я быстро ощутил, что обычного разговора не получится. Ее железное самообладание дало трещину, и лихорадка возбуждения лучилась наружу. И речь ее стала бессвязной и торопливой — посторонний человек и не заметил бы изме-

нений, но я уже не был посторонним, мне было с чем сравнивать.

Ни с того ни с сего она заговорила о том, как мало мы знаем даже о самых близких и самых любимых людях, как плохо их понимаем; как было бы чудесно, если бы мы проникали в чувства и настроения ближних. Я, в общем, поддакивал; я и впрямь был с нею согласен. И она это почувствовала, конечно. Уверен, она давным-давно сообразила, что в глубине души я сам чувствую потребность понимать и ощущать больше. Нет, нет, старательно подчеркивала она, конечно, мысли читать нельзя, это хамство, это мерзость, это сплошное Гипеу... так забавно в просторечии двадцатых преобразилась знаменитая аббревиатура ГПУ, я это уже знал. Не конкретная информация, но состояние, ощущение, настроение, отношение. Образ.

А потом, уже откровенно спеша, спросила в лоб: ты бы так хотел?

Мне даже в голову не пришло насторожиться. Если бы двадцатилетнего парня спросили, хочет ли он уметь летать или плавать под водой, как рыба, — причем спросили не в лаборатории, где угрожающе поблескивают жутенькие приборы и инструменты для какого-нибудь там хирургического обрыбления... я пересадил ему жабры молодой акулы, как выражался доктор Сальватор... а попросту, за кофейком со сливками, в обыкновенной комнатенке, полной книг и горькой от табака, а за стеной гикают и скачут под небогатый руладами рэп соседи по коммуналке... Кто бы ответил «нет»?

Хотя, положа руку на сердце, если бы я что-то заподозрил, если бы хоть на миг вообразил, что разговор идет всерьез...

Боюсь, я ответил бы «да» еще проворней.

Правда хотел бы? И она плеснула мне в глаза возбужденным, страстно ждущим согласия взглядом.

Ну конечно, мечтательно ответил я.

У тебя чудесный отец, осторожно сказала она. Вот уж с чем я согласился мгновенно и безо всякой задней мысли. Но он — где-то за облаками, мне даже подумать страшно где. Ты похож на него, такой же чистый. Но — ты при всем том

здешний, ты на земле, значит, тебе нужнее. Я помотал головой; я не понимал. А она завела сызнова: у тебя замечательный отец. Но даже самому замечательному отцу не обязательно говорить все. Я с ним не советовалась и не уверена, что он бы меня теперь одобрил. А мне это нужно позарез. Не хочу, чтобы это на мне прервалось. Поэтому не говори ему.

Вот тут я в первый раз подумал, что она не в себе и, быть может, даже бредит. Спросил еще, дуралей: как вы себя чувствуете? Вы не устали? Может, дескать, мне уйти, и договорим в другой раз?

Как чувствую? Умираю, решительно ответила она. И другого раза не будет.

Эти слова лишь уверили меня в том, что она действительно бредит.

Но прощаться мы не станем, продолжала она торопливо, а вместо этого займемся делом. Нам лучшим памятником будет построенный в боях социализм. И она засмеялась коротко и хрипло — будто придушенно каркнула несколько раз. Я подумал, что это цитата, но не знал откуда, и почему-то именно в тот момент собственная серость меня редкостно раздосадовала. Дай сюда руки. Я повиновался. А что было делать? Сказавши «а», нельзя не сказать «б». Да и как откажешь человеку, который в таком состоянии? Уважаемому тобою человеку, глубоко симпатичному тебе человеку... Вот так, вот сюда прижми пальцы. А я тебе свои — вот так. Не дергайся. Теперь смотри мне в глаза. Смотри, смотри... попробуй почувствовать, где мне больно. В глубине ее зрачков пылало по какому-то Чернобылю; где-то далеко-далеко окнами ада рдели раскаленные, излучающие безумные дозы осколки твэлов. У меня мурашки побежали по коже. Ну? Постарайся! Где? Мне ведь очень больно, Антон! Очень! Где?!!

Трудно описать... Как если бы я, скажем, в болотных сапогах бродил по колено в ледяной воде, и ноги, сухие и вполне прикрытые плотной резиной, все же стынут — но вот где-то резина разъехалась, и понимаешь сразу, мгновенно, в какой именно точке стынь от воды за тканью сменилась мокрым холодом воды, попавшей внутрь. Я дернулся, кажется, ахнул даже. Попытался пальцем показать, куда во-

ткнулся грызущий сгусток — но она закричала страшно: не отнимай пальцев! Теперь почувствуй остальное!

И я почувствовал.

Наверно, труднее всего совершить изначальный, инициирующий прорыв той пелены, что спасает людей друг от друга. Затем она делается податливее. И Александра безошибочно избрала для прорыва свое страдание и мое сострадание.

Потом пошло легче, а потом — и совсем само собой.

Она устало уронила руки и откинулась без сил. Глаза ее закрылись. Вот такой дар, прошелестела она едва слышно. Мне он достался сам собой, не знаю, почему и как. Но я не могла допустить, чтобы вместе со мной он пропал.

И замолчала.

А я уже все чувствовал, она могла бы не говорить.

И поцеловал ее легкую и сухую, будто птичью, сморщенную руку.

Потом я почувствовал: она уже хочет быть одна. Все сделано, все кончилось, и человеческие привязанности остались там, где остается жизнь. Но она молчала, а я еще не привык вот так, без слов. Вы устали, нелепо пролепетал я. Я, наверное, уже пойду теперь, а завтра обязательно снова... проведать...

И почувствовал: она благодарна мне за то, что я понял. А еще почувствовал, что она чувствует про завтра.

Ничего.

Я действительно прибежал назавтра, даже раньше обычного. Но смог лишь удостовериться — другого слова не подберешь, ведь я чувствовал это, только еще не научился доверять своим откровениям, — что она умерла ночью.

На похороны мы пошли все втроем, там мама впервые, уже в гробу, увидела ту, которой, по словам па Симагина, они были так обязаны. Но я уже не был в полном недоумении; я уже что-то чувствовал от па — некую смутную, подспудную благодарность за то, что, если бы не Александра, они с мамой не помирились бы год назад. Почему так произошло? Я не мог уловить. Но и этого было достаточно, чтобы... чтобы... Чтобы помнить ее всю жизнь, даже если бы не было ЭТОГО дара. Был другой дар — семья, а все остальное — производные от него. Я долго прижимался губами к ее восковому лбу, а окружающие, я чувствовал, недоумевали, кто я такой и чего ради этак выкаблучиваюсь — внебрачный сын, что ли?

Худощавый камергер шепнул, что этот молодой офицер ее побочный сын, на что англичанин отвечал холодно: О?

М-да.

На похоронах я увиделся с ее сыном. Действительно, толстолобик. Как это так получается? У нее — такой... Загадочно. Он был очень встревожен тем, что я увиваюсь вокруг; он, оказывается, знал, что я у нее бываю, и сильно подозревал, что я либо хочу спереть что-то, либо за комнатой охочусь. На какое-то мгновение мы встретились взглядами, и я почувствовал, что вот в эту самую секунду он решается решительно пойти ко мне и заявить, что я напрасно трачу время, все документы на жилплощадь у него прекрасно и однозначно оформлены. Я повернулся спиной.

Но это было через три дня — а в тот первый вечер...

На улице был просто кошмар, в какой-то момент я всерьез испугался, что не выдержу и спячу. И одергивал себя: она-то выдерживала, выдерживала годами и десятилетиями этот гам, какофонию налетающих вихрями, способных с ног свалить страхов, вожделений, похотей, нетерпений, подозрений... не перечислить, чего еще. Хаос.

По большей части, хаос отвратительный.

А дома...

Вы можете представить, что это: понимать про любимых родителей столько?

Нет, ничего не буду говорить.

Нет, одно скажу. Про па Симагина.

Он был совсем не весь здесь.

Правильно Александра сказала: где-то за облаками, страшно представить где. В какой-то душной тугой мгле и духоте, зажат и стиснут, и неподвижен — странно, ведь здесь, у нас на глазах, он ходит, садится, наливает чай. Насильственно неподвижен, будто связан, и задыхается все время. Я не мог понять, что это значит, только чувствовал — и мне было страшно за него.

Он ни с кем не мог об этом поговорить.

Он спорил, балагурил, шутил, смеялся... с мамой они любили друг друга и могли беседовать о многом таком, о чем нельзя было со мной, — но об этой главной для него боли, главной муке, главном несчастье ему не с кем было даже словом перемолвиться.

Это открытие потрясло меня, пожалуй, не меньше, чем сам свалившийся с небес невероятный дар.

И, по-моему, он не принимал этого мира. Напрочь. Будто возможен другой!

Прежде я всегда был уверен, что другой мир — это нелепость, потому что, если бы мир вдруг изменился, мы не заметили бы изменений. Мысли и чувства, претензии и надежды остались бы, по сути, теми же самыми.

Мир меняется лишь тогда, когда ты сам его меняешь.

Конечно, существуют объективные характеристики. Уровень рождаемости и уровень смертности, средняя продолжительность жизни и средний доход. Но если бы в том обществе, где продолжительность жизни в среднем на десять процентов больше, люди в среднем ощущали себя на десять процентов счастливее... Ничуть не бывало!

Хотя все это к слову.

Открытие меня потрясло. Буквально душу вывернуло. Любя нас, переживая за нас и вообще живя вместе с нами, я же знаю, что не вчуже, а вместе, — он висит, спеленатый натуго, в каком-то черном аду.

Мне захотелось его обнять.

Но было нельзя. Ведь нельзя было дать понять, что я почувствовал.

Правда, мне казалось, он и без того что-то понял. И, когда мы, уютненько умостившись втроем вокруг стола и болтая о пустяках, пили чай вприкуску с кр-рэнделем и вприглядку с каким-то импортным дюдиком из не очень дебильных, посматривал на меня особенно выжидательно.

Мне захотелось ему помочь.

Но было непонятно как. Другой мир, другой мир...

Мне ли не помнить, как десяток лет назад он увлеченно рассказывал о светлом будущем, как он радовался и нас радовал своими грезами... Смешно.

А та душная мгла отчасти и была — утрата способности грезить.

И мне захотелось вернуть ему эту способность. Прежде всего — ему, кого я любил. Ни о ком ином я тогда не думал.

Но это тоже была судьба. Третья производная. Дальше уже пошла прямая. Прицеливание кончилось, начался выстрел.

А в тот вечер, когда мама с традиционной, даже ритуальной стыдливостью спряталась от нас на кухне покурить и мы вдвоем остались созерцать скачущих сквозь напалмовое пламя мордобойцев, я сказал только: па, а ведь мне много дано, оказывается. Верю, ответил он. Значит, сказал я, и спрошено будет много. Тогда, серьезно ответил он, тебе надо срочно становиться мастером одиночного плавания. Потому что, как правило, люди вполне удовлетворяются, если им много дано, и о второй стороне этой карусели предпочитают не думать — значит, коль скоро ты об этом задумался, ты уже оказался в изоляции. Я переспросил: одиночного, ты уверен?

Он помолчал, и я почувствовал, что он, поняв меня несколько превратно и решив, что я намекаю в первую очередь на него самого, остро переживает свое не вполне для меня вразумительное бессилие. Я не смогу помогать тебе так, как хотел бы, сказал он честно. Надорвался в свое время, прости. А тут еще телевизор, газеты, разговоры кругом — и от всего, что видишь и слышишь, сам все виноватей и виноватей. Как будто всех убитых я убил, всех ограбленных я ограбил, все утраченное я расточил...

Странный был разговор.

Я его понимал едва-едва, да почти и не понимал. И он меня почти не понимал. Но какой-то энергией, каким-то единством мы заряжали друг друга. Противников с возможностями, превышающими обычные человеческие, у тебя не будет, сказал он, помолчав. Хотя бы это могу тебе гарантировать. Тут уж я совсем опешил. А он добавил будто нехотя, на самом же деле просто стесняясь хвастаться: в свое время мне удалось... и дальше опять замолчал. И, помолчав, лишь повторил: учись рассчитывать только на себя. Но я хлестко ощутил в нем отголосок некой чудовищной и, что самое по-

разительное, — совсем недавней, битвы... мамин ужас мелькнул, тревога, что меня нет. Странно, в маме я этого совсем не чувствовал. Я едва не спросил его, но сдержался. Таких вопросов отцу не задают.

И другие миры там мелькнули. Которых, как я всегда считал, быть не может.

Хорошо рассчитывать только на себя, подумал я, если тупо уверен, что твоя правота — самая правая, а твоя совесть — самая чистая.... Единственно правая и единственно чистая. Но если нет такой уверенности? Если и к чужой правоте, и к соседской совести относишься с уважением и доверием?

Хорошо, когда уверен, что выше тебя нет никого. Никого, кто глядел бы не СВЫСОКА, а именно С ВЫСОТЫ, сверху, точно зная, что происходит в каждый данный момент в иных, невидимых тебе, но туго сплетенных с твоими жилах и капиллярах невообразимо огромного организма жизни...

Ну что ж, сказал я и улыбнулся, делая вид, что понял и принял его слова как юмор. Хотя, сказать по совести, был совсем не уверен, что это юмор или даже просто какое-то иносказание, метафора. Сверхчеловеческих противников не будет — редкий случай. Обычно они кишмя кишат. Будем считать, мне здорово повезло, что у меня такой заботливый родитель.

Тогда плыви, сказал он.

И я поплыл.

1. ПОСЛЕДНИЙ ОСМЫСЛЕННЫЙ РАЗГОВОР С СОШНИКОВЫМ

— Знаете, я сильно подозреваю, что в шестидесятых и семидесятых годах архитекторы планировали размеры кухонь, руководствуясь исключительно какой-нибудь, например, закрытой директивой КГБ пресечь кухонные антисоветские разговоры. Проще пареной репы — сделать кухню такой, чтобы больше одного человека там уже не помещалось. И конец диспутам... А, ну вы, вероятно, не помните тех времен...

— Да, не застал.

— Я все забываю, что вы человек следующего поколения. Все ловлю себя, что отношусь к вам, как к... э-э... ровеснику. Странно, правда?

— Но я понимаю, о чем речь, — отвечал я, осторожно усаживаясь на табуреточку и экономно распределяя колени под столом, на котором каким-то чудом уже поместились две чашки, розетка с вареньем, заварочный чайник, сахарница... Марианна, подожми пятку! Поджал. Обе. Все равно колени уперлись в противостоящую табуреточку; она, словно бы сама собой, легковесно скрипя по линолеуму пола, выплыла из-под стола и уперлась Сошникову в ноги. Сошников чуть отступил и с привычной осторожностью, чтобы не воткнуться локтем в стену или в навесной шкафчик, снял с огня чайник.

В эту однокомнатную живопырку на Ветеранов он перебрался после размена, закономерным образом последовавшего за разводом пять лет назад.

— А ничего, — приговаривал он. — Поместимся. Всегда помещались и теперь поместимся. А скоро я с этой клетушкой распрощаюсь навсегда, хотя... Жалко. Не представляю, как без нее. Вот потому мне и захотелось с вами именно здесь повстречаться напоследок. Вы знаете... Не знаете, наверное... А может, все ж таки по пятьдесят?

— Ради бога, — ответствовал я, делая широкий жест рукой. — Только без меня. Я совсем не пью.

— Жил в Японии в восьмом веке поэт Отомо Табито, — нерешительно сказал Сошников. — Большой певец винопития. Среди его стихов есть такой: «Как же противен умник, до вина не охочий! Поглядишь на него — обезьяна какая-то...»

И виновато хихикнул, замерев с чайником в руке и глядя на меня чуть искоса и с опасливым ожиданием. Я засмеялся, а потом несколько раз нечеловечески гыкнул и рьяно, обеими руками, почесался под мышками, подпрыгивая на табурете, — все на манер обезьяны из «Полосатого рейса», который после очередного многолетнего перерыва опять вдруг вспомнили и за каких-то полгода трижды или четырежды прокрутили по разным программам. На лице Сошникова

проступило облегчение, и он засмеялся теперь от всей души, легко и безмятежно, как ребенок.

— Надо же... — будто сам себе удивляясь, проговорил он. — Еще пару месяцев назад я бы и не посмел... Если бы даже и смог вовремя сообразить пошутить, сразу себе рот зажал бы из страха обидеть собеседника неумным, грубым, хамским... выпадом. И в итоге со мной всем было скучно. Зато я на всех обижался, кто шутил... А вот ничего страшного... — Он напряженно и оттого неловко, до смерти боясь брызнуть горячим, разлил кипяток по чашкам. — Как интересно усилилась поляризация привычек и образов жизни в вашем поколении. — Избавившись от чайника, он тоже принялся усаживаться, явно очень опасаясь задеть, сбить, разбить, пролить, ошпарить... Он усаживался как бы поэтапно, по складам; в том числе и в буквальном смысле этого слова — складываясь, будто складной метр. Но в конце концов мы торкнулись коленками друг об друга, и он перепуганно крутнулся на табуретке на пол-оборота влево. — В наше время понемногу пили, понемногу не пили, в среднем одинаково. А теперь если уж не пьют или не курят — то железно, стопроцентно. Будто назло себе и всем окружающим. Ни глотка, ни сигаретки. А уж если курят и пьют, то...

— От всей души! — понимающе сказал я. Он засмеялся.

— Вот именно. И так во всем. Казалось бы, та усредняющая сила, которая заведовала нами в советское время, на еду, питье и курево не распространялась, ей это было все равно. И тем не менее усреднение сказывалось даже в не подведомственных ей областях... Много болтаю, да? Социолог на холостом ходу. Уже и незачем, уже и самому незачем, а башка все жужжит...

— Ну, будет вам, честное слово.

— Нет-нет, это я не грущу, — задумчиво проговорил он. — Просто... Фантомные боли. Варенья положите себе...

Я положил себе варенья.

— Я почему хотел по пятьдесят? Чисто символически. Ведь под чай у нас тосты произносить как-то не принято... а я хотел...

Да, за последние несколько месяцев он сильно изменился к лучшему. Говорил он застенчиво и сбивчиво, но это не

шло ни в какое сравнение со спертой, удавленной речью, что характерна была для него в ту пору, когда я как бы случайно познакомился с ним в метро. Это была удивительная речь. Его неуверенность в себе дошла до того, что, едва открыв рот, он тут же сам себя одергивал: наверное, меня неинтересно слушать, наверное, я порю ерунду. Все, что я говорю, — невпопад, все — банальность, глупость или неправда. Что бы я ни говорил — слушать не станут; обязательно прервут или перебьют, не запомнят и не поймут. Что бы я ни пообещал, я исполнить не сумею, у меня не получится, как бы я ни старался, и я окажусь обманщик.

И он то и дело обрывал себя на середине фразы или, выговорив несколько совсем не шутливых слов, вдруг начинал приглашающе похохатывать над сказанным, сам заблаговременно предлагая собеседнику не относиться к услышанному всерьез... С ним очень тяжело было тогда.

Он даже двигался так, словно был уверен: шагну и упаду... попытаюсь взять и выроню... понесу и не донесу...

А теперь от всего этого осталась лишь некая легкая и даже обаятельная академическая неуклюжесть.

Жизнь, конечно, у всех не сахар — но этот человек удесятерил ее давление, буквально расплющив себя завышением требований к себе. Буквально отжав из себя все соки по принципу «кисонька, еще тридцать капель!». Если ты всегда сам устало и безнадежно разочарован тем, что сумел и смог, потому что считал себя обязанным сделать вдесятеро больше и лучше, — не надорваться невозможно, в каких бы идеальных и тепличных условиях ни жил; пусть хоть теплица, но радости ничто не доставляет, только раздражение. А ведь реальность — ох, не теплица; и если ты вечно видишь себя недодавшим, недодарившим, недоделавшим — все вокруг с превеликим удовольствием именно так и будут к тебе относиться: да, ТЫ недодал!.. ТЫ недоделал! У ТЕБЯ не получилось, у ТЕБЯ не удалось!

А был талантлив.

И, надеюсь, снова стал.

— Я не знаю, в чем тут дело... — говорил он. — Я вообще очень давно, буквально с юности, ни разу не сходился так с новыми людьми, как сошелся с вами. И почему-то... может

быть, это совпадение... то есть конечно же, совпадение! Но именно с того времени, как мы познакомились, у меня все пошло иначе. Лучше. Правильнее. Не исключено, конечно, что и те три сеанса в вашем «Сеятеле» помогли, вы так на них настаивали... но, откровенно говоря, думаю, дело не в них. Я будто опять начал дышать по-настоящему, кислородом, что ли, а не угаром, от которого задыхался так долго...

Задыхался. Какая избитая метафора. Но я опять вспомнил ту вязкую душную тьму, в которой ощутил па Симагина в первый вечер эры подарка Александры. Не метафора это. Если тело дышит, то почему не предположить, что душа тоже должна дышать?

И если ей дышать нечем, человек задыхается.

— Понимаете?

Еще бы мне не понимать. Мы протащили его через шестнадцать психотерапевтических горловин, через первые — буквально волоком, за уши и за шкирку...

Как я за это взялся? Как мне пришло это в голову и как я сумел это реализовать?

Нужны были организаторские и почти мафиозные таланты, унаследованные мною, вероятно, от моего спермофазера, во времена моего зачатия — факультетского комсомольского вождя, а нынче — то ли еще директора какого-то банка, то ли уже покойника. Внахлест с ними — благоприобретенная от па Симагина твердокаменная любовь к людям, спокойная и без самолюбования, без отбора «этот достоин, а этот нет», не ориентированная ни на гласность, ни, тем более, на благодарность; способная довести хоть до полного одиночества, хоть до мизантропии, хоть до противопоставления себя всему человечеству, ежели оно вдруг возжелает гармонии именно на слезинке ребенка, а не просто так. И оба реагента следовало хорошенько пропарить в одном, так сказать, флаконе. В чеченской яме. А потом — один вечер посидеть с тихо стареющим, насмерть усталым человеком, которого любишь, и захотеть ему помочь.

Частный психотерапевтический кабинет «Сеятель». Было во времена былинные, помнится, такое издательство — «Посев». Уж не знаю, чего оно тут насеяло, сколько злаков, а сколько, наоборот, плевел — что сделано, то сделано; дело

давнее. Мы не претендовали на то, что сеем МЫ. Мы занимались теми, кто способен сеять САМ, но у кого перестало получаться. Восстановление творческих способностей, скромно значилось в проспектах и пресс-релизах; к услугам теле- и радиорекламы, равно как к любой иной шумихе, мы не прибегали никогда. Не нужна нам была массовость. Не тот клиент. Штат — четыре человека: психолог, бухгалтер, секретарша и директор, он же владелец, он же вся вообще, как говорили когда-то, организующая и направляющая сила. Это я.

Аутотренинг, ролевые игры, индивидуальные программки домашних упражнений... Я спокоен, я абсолютно спокоен, у меня все хорошо, я уверен в себе... Все как у людей.

Это — крыша. И одновременно — предварительный фильтр. Несмотря на отсутствие широкой рекламы, к нам часто приходили восстанавливать творческие способности люди, никогда и в помине их не имевшие. На кабинете мы работали со всеми, кто обращался. То были деньги.

Но.

«Вы психолог милостью Божией!» — неоднократно говорил мне Борис Иосифович, пожилой и опытный наш психотерапевт, сам нанятый мною из депрессии, из долгого простоя, в который попал, потому что не желал бессовестно играть с пациентами в гороскопы, в сглаз, в ауру. Он и не подозревал, что никакой я не психолог, просто я ЧУВСТВУЮ...

Так вот если во время первого собеседования я понимал, что передо мною и впрямь сеятель — кем-то замученный, или надорвавшийся от непосильных нош, или отупевший от невостребованности, но все же отмеченный пресловутой искрой, тогда в дело вступали иные люди и начиналась совсем иная игра.

Когда я задним числом задумываюсь над тем, какую кашу заварил, больше всего меня изумляет, пожалуй, то, что у меня нашлись единомышленники. Нашлись, ха. Как будто они сами собой нашлись.

Их было тоже очень немного. И они не состояли в штате «Сеятеля» — наоборот, работали кто где. В «Сеятеле» о них никто и не подозревал. Один в милиции, один на заводе...

Моя жена — заканчивала аспирантуру, и именно она...

Нет, о Кире — потом. Отдельно.

А вот что говорю сразу. Я упоминаю здесь лишь тех людей и те события, без которых невозможно рассказать саму историю. И хотя в то время мы ухитрялись работать еще пятерых пациентов, вы не найдете здесь упоминаний ни о них, ни о работавших их моих друзьях. Я совершенно не собираюсь засвечивать связанных с этой, мягко говоря, эпопеей тех людей, которым посчастливилось так или иначе избежать огласки во время последовавшей вскоре шумихи в СМИ. Избежали — и слава богу. Просто имейте в виду, что в те дни происходило по крайней мере вдвое больше событий и делалось по крайней мере вдвое больше дел, чем описывается здесь.

А кроме того, уж совсем не собираюсь я рассказывать, КАК именно мы работали. Во-первых, методики формирования последовательностей психотерапевтических горловин — моя интеллектуальная собственность. Во-вторых, сколько мне известно — за ними и без того идет напряженная и мне совершенно не симпатичная охота.

Пользуюсь случаем еще раз заверить охотников — исчерпывающей информацией никто, кроме меня, не располагает. Более того — никто, кроме меня, не сможет ею осмысленно пользоваться. Александра, вероятно, смогла бы — но Александры, светлая ей память, нет. Так что можете не суетиться.

Вкратце. Патологическое — не возрастное, не органическое, именно психопатологическое — угасание творческих способностей в девяноста случаях из ста обусловлено утратой уверенности в себе. Компенсирующим эту утрату оптимальным воздействием опять-таки в девяноста случаях из ста является провоцирование в жизни пациента необходимости помочь кому-то, кто пациенту дорог, причем желательно в некоей весьма сложной, даже экстремальной ситуации. Как ни парадоксально — впрочем, Гамлет говаривал: раньше это считалось парадоксом, а теперь доказано, — для психики человека гораздо полезнее, когда он помог кому-то, нежели когда помогли ему. Почему-то силы прибывают именно от первого, а не от второго. Хотя по элементарному

закону сохранения энергии должно бы быть наоборот — один передал энергию, другой ее получил; но в мире душ все сложнее. Кто истратил энергию, тот и обогатился ею вдвое; а кто воспользовался — тот, зачастую, потерял. И мы, как некие тайные агенты, разыгрывали вокруг ничего не подозревающих людей целые спектакли длительностью иногда до нескольких месяцев, в десяток, а то и в два десятка актов — мы называли их горловинами, поскольку конструировались они так, чтобы человек, угодив в некую коллизию, мог выкарабкаться, лишь совершив тот единственный поступок, который был ему, так сказать, рецептурно прописан, в противном же случае ситуация подвисала на неопределенный срок.

Иногда мне думалось: вот бы всю страну протащить через серию психотерапевтических горловин...

Но я тут же одергивал себя: увы, на такое способен только Бог. Если он есть, разумеется. А если есть, то, похоже, серия эта уже состоялась — и страна не выдержала. Застряла в очередной горловине, не в состоянии отыскать спасительный поступок, который выволок бы ее на простор, дал бы силы...

Или не в состоянии на этот поступок решиться.

Впрочем, возможно, дело в том, что горловинные методики пасуют, если пациент никого не любит, кроме себя. Его нечем напрячь. А что внешнее по отношению к себе может любить целая страна?

На уровне индивидуальном все, конечно, проще. Когда меня спрашивали, как в двух словах определить алгоритм поиска выхода из горловины, я отшучивался: выход всегда посредине; иди прямо, дескать, и упрешься. Вот только история живет в неевклидовом пространстве. Стоит возникнуть невиданному прежде центру тяготения, источнику новой энергии — и мировые линии скручиваются в отчаянно напряженные, перепутанные пружины, и не разобрать уже, где прямая, а где кривая...

И вот тут я свои философствования всегда обрывал, потому что когда вместо конкретного планирования начинается суемудрие и блудомыслие насчет тождественности прямых и кривых — пора мыть окна и пылесосить книги.

В итоге наших спецопераций, как правило, происходило вот что: пациент, усталый, но довольный, вытирал пот со лба и, счастливо отдуваясь, говорил себе: ай да я молодец! Никто бы не справился, а я справился!

Дать человеку почувствовать себя этаким Гарун-аль-Рашидом. Пусть ненадолго. Пусть микрорайонного масштаба. Забавно, но масштаб на интенсивности переживаний не сказывается. Масштаб под характер подбирать надо. Тот, кто спас дворнягу от злых мальчишек, может раздуваться от гордости и ощущения своей незаменимости для мироздания покруче того, кто спас набитый под завязку пассажирский лайнер.

И откуда ни возьмись, в давно, казалось бы, ссохшихся извилинах вновь начинают заводиться и ползать мысли.

Что нам и требовалось.

Забавно, что попутно я и Бориса Иосифовича поднял после его простоя и депрессии. При комплексном применении методик — обычной кабинетной и горловинной — он, о второй-то ни малейшего представления не имея, но отмечая, как его пациенты буквально на глазах, за считаные сеансы становятся новыми людьми — сам буквально на глазах расцвел и окреп, и сделался психологом гигантской силы и высочайшей квалификации. Просто потому, что к нему вернулась уверенность в себе. Может быть, достигла такого уровня, какого прежде у него и не было никогда. И поскольку он был хорошим человеком и хорошим специалистом, пошла она не в самодовольство, а в качество работы.

Вот только к па Симагину сию панацею оказалось невозможно применить; учуяв это в свое время, я грустил долго и мучительно. И с уверенностью в себе у него дела обстояли отнюдь не провально, и в стимуляции типа «во я, блин, даю» он не нуждался. Какой огонь в нем погас и почему — я так и не смог понять.

И погас ли...

Сошников же был сейчас уверен, что всем препонам судьбы назло сумел воспользоваться своими старыми академическими связями, пробудить в прежних коллегах прежнее к себе уважение и помочь любимой дочери поступить на вдруг ставший ей позарез желанным — не без нашего неявного влияния — факультет. Чего произойти, строго говоря, на самом деле никак не могло.

Пикантность ситуационного ряда заключалась в том, что жена и дочь давным-давно с Сошниковым не жили, и, более того, бывшая супруга не разрешала ему с дочкой видеться — совсем как в свое время мама не разрешала мне видеться с па Симагиным. Конечно, сходство чисто формальное; сошниковская благоверная была на самом деле редкостная стерва. Хотя, положа руку на сердце, должен признать: Сошников сам способствовал ее превращению в стерву, буквально растлив обыкновенную, не шибко паршивую и не шибко замечательную тетку тем, что слишком много требовал от себя и практически ничего — от нее. Под занавес их супружества она уже запредельно боготворила себя и дочку, в грош не ставя мужа. Благодатный оказался материал для растления бескорыстием и покладистостью, чрезвычайно благодатный. Чего стоила фраза, сказанная ею на прощание: я думала, ты перспективный гений, а ты просто малахольный гений!

Вот только Сошников их по-прежнему... ну, любил, можно сказать... хотя, по глубокому моему убеждению, задавленный самим собой и жизнью человек не способен на столь энергичное и размашистое чувство, как любовь; но, во всяком случае, ему фатально не хватало возможности что-то ДЛЯ НИХ ДЕЛАТЬ. Он, похоже, и сам не отдавал себе в этом отчета, относя свою апатию на ситуацию в стране, на отсутствие общественного уважения к науке и мышлению вообще, и все это, безусловно, были вполне реальные факторы, что правда, то правда, — но чем дольше он не мог ничего делать для оторвавшейся семьи, тем глубже проваливался в яму самоуничижения и утрачивал способность делать вообще что бы то ни было.

Поначалу, непосредственно после разрыва, он превратил себя буквально в мальчика на побегушках у своих дам — дочке тогда было двенадцать. Некоторое время бывшую жену это даже устраивало, но был-то он совсем не ушлый; ну, в прачечную для нее сбегает, ну, квартиру ей пропылесосит... от него не быт, а душу хорошо было бы подпитывать — светлый человек был, покуда не запалил, не загнал себя. И она

вскоре начала снова пилить его, словно он ей так мужем и остался, за то, что он мало для них делает и по большому счету ничего, в сущности, не может дать семье. Она инстинктивно нащупала совершенно безошибочную тактику: поддерживать в нем постоянное чувство вины перед ними. Виноватый не имеет никаких прав и несет все обязанности; она же не имела никаких обязанностей и имела все права. В конце концов он не выдержал и сорвался с крючка, то есть, ни слова не говоря, перестал вообще появляться на их горизонте — чем, по правде говоря, совсем их не огорчил, жена месяца полтора ходила злая и разобиженная на подлеца (я всегда, всегда знала, что он подлец — он подлецом и оказался!), но этим ее переживания и ограничились. Дочери пришлось потуже, но, в принципе, и ей было на него плевать. А он страдал до сих пор.

Вот тут мы и подоспели.

Он не пришел к нам сам. Ему бы и в голову не пришло обращаться за помощью, поскольку он не находил, что утратил некие способности, а был убежден, что они у него просто были мизерные и сами вполне закономерно иссякли. Но у нас были и иные методы отслеживания тех, кто нуждается в нас. Сверкал-сверкал человек, публиковался, выступал, вызывал интерес — и внезапно стушевался куда-то. Исчезла фамилия из сетей, из оглавлений, из реферативных сборников... Стало быть, надо проверить. И я случайно познакомился с ним в метро.

Правда, потом я уговорил его и на кабинете пройти несколько сеансов, чтобы сделать его психику более восприимчивой и эластичной, динамичной, что ли... оптимизировать основное воздействие. Но денег у него было с гулькин нос, и, хотя якобы благодаря уже завязавшейся дружбе аж с самим директором мы провели его по самой льготной графе — тремя занятиями пришлось ограничиться. Впрочем, Борис Иосифович свое дело знал, и этого хватило.

И вот Сошников опять семье помог. Да еще как!

— Мне кажется, я сумел бы сейчас работать... — говорил он, кончиком ложечки бережно подцепляя себе чуток варенья из розетки. Как будто стеснялся взять у себя свое варенье. Как будто в любой момент сам готов был негодующе

рявкнуть на себя: обжора! — Да, собственно, что я говорю. Я уже немножко работаю... только это атавизм. Но все же разогнулся, кажется, слегка. Набрасываю на дискетку... Еще месяц назад это было бы просто невозможно. Просто невозможно. Знаете, ведь мне буквально спрятаться хотелось, в угол забиться. Чтобы никто-никто не видел, какой я... жалкий и как у меня не получается ничего... Мне же все время, если я был на глазах хоть у кого-то из знакомых, приходилось притворяться, будто я в состоянии телепаться не хуже всех, а такое притворство хуже каторги... Да мне казалось, будто все машины двигаются так, чтобы меня задавить или перегородить мне дорогу. Всегда именно передо мною лезли без очереди... всегда именно мне в лицо чихали, сморкались, кашляли, будто я пустое место... Вот улица, идет кто-то издалека навстречу, но именно поравнявшись со мной, вдруг, не прикрываясь даже, будто меня попросту нет — чихает прямо мне в лицо... На лбу у меня написано, что ли, что на меня можно чихать! Что бы я ни решил — ошибочно, что бы ни выбрал — надо было наоборот, что бы ни сказал — не к месту, что бы ни попросил — проявил жуткий эгоизм. Ситуация прямо как из стругацковского «Миллиарда лет»... Впрочем, вы, вероятно, не знаете... Это наше поколение их книгами зачитывалось...

— Отчего же, — ответил я, прихлебывая чай, — знаю.

Отчего же. Читывал. В свое время еще па Симагин, заметив у меня на кресле или под подушкой очередное «Кольцо тьмы», или «тумана», или «ужаса», или «жути», или еще какой-нибудь мути, говаривал: «Если уж хочешь развлекаться небылицами, читай Стругацких. Не согласишься — так хоть думать научишься. А с этими нынешними так дураком и помрешь в полной уверенности, что по истинной жизни ты не Антон, а какой-нибудь эльф Мариколь или вовсе дракон...»

Читывал. И, пожалуй, именно оттуда между строк вычитал, почему оттепельные свободолюбцы так бездарно прогадили все на свете, когда их вынули на воздух. В том числе и самих себя. Потому что каждый из них считал себя одиноким Руматой в Арканаре. А любой соседний Румата казался не более чем каким-нибудь доном Рэбой; ну, Будахом в луч-

шем случае. И они, до слез умиляясь собственному дружелюбию, в пароксизмах стремления выпрыгнуть из осточертевшего одиночества пели «Возьмемся за руки, друзья», — но каждый с потаенной улыбочкой косился на соседей: а я все про вас знаю...

Правда, когда я поделился этими соображениями с па Симагиным, он неожиданно усмехнулся и прокомментировал спокойно: ну, я же говорил. Не согласился, зато задумался.

И я отполз в свой угол. Он опять оказался прав.

— А теперь это прошло, понимаете? Такой груз с души свалился... Даже если... ну и подумаешь, например, не сработал турникет — может, и не передо мной одним!

Как мало человеку надо для счастья.

Нет, тут грех иронизировать. Нормальному человеку даже близко не вообразить, какая внутренняя давильня включается при каждом столкновении с подобной случайностью, если человек маниакально связывает ее связью причинности со свойствами собственной персоны. Можно сойти с ума. Когда мы познакомились с Сошниковым, все эти мании цвели в нем пышным цветом — господи, как больно было даже находиться рядом с ним!

А он жил с этим постоянно, час за часом, месяц за месяцем...

— Я никогда не был суеверен. Но как-то так получается, что в приметы, в символы какие-то... и не верю, а все-таки верю. И понимаете, Антон Антонович...

Да. Антон Антонович Токарев — это был я. Беззаветная моя мама сдала меня тому, кого любила, и по имени, и по отчеству, и по фамилии. Я не в осуждение говорю, упаси бог; как можно вообще в таких делах осуждать мам. Она, верно, надеялась, что спермофазер рано или поздно поймет, какую ошибку совершил, ее бросив, и снизойдет — и ему сразу будет сюрприз: сына зовут, как отца, и отчество с фамилией, как у отца; то-то ненаглядному приятно и лестно станет, то-то он обрадуется!.. А может, наоборот, докатится до него, непонявшего и ушедшего, слух о моих выходных данных — он и растает, и сообразит, как велика любовь, которой он было пренебрег, и порулит назад...

Одна из наиболее загадочных и трагичных закономерностей, по которым функционирует психика, — неизбывное стремление задабривать преданностью тех, кому на нас плевать, то есть тех, перед кем мы беззащитны, и наотмашь предъявлять претензию за претензией к тем, кому мы дороги, то есть к тем, кто беззащитен перед нами. И чем порядочнее и щедрее человек, чем больше у него сохранилось веры в какие-нибудь там идеалы и прочие высшие материи — тем, как правило, большую дань сему извращению он платит.

В этом смысле Сошников, последние силы отдававший тем, кто буквально уже издевался над ним: то не так! это не этак! — отнюдь не был какой-то аномалией; напротив, самой что ни на есть нормой. Просто он и тут ухитрился выдать пятьсот процентов сверх плана.

Нелепое создание — человек. Как нарочно сконструирован так, чтобы мучиться побольше.

Мама поступила так, как только и могла поступить прекрасная и очень влюбленная юная женщина, — но я-то... Понимаю, в первой жизни с па Симагиным они просто не успели об этом подумать; я был еще совершенно мелкий, а у них, казалось, миллион лет счастья впереди, потому ни про мое отчество, ни про мою фамилию подумать и в голову не пришло. А когда после почти десятилетнего мрака каким-то чудом началась вторая жизнь, я был уже и с паспортом, и с военным билетом, и еще с кучей проклятых бумажек, прикалывающих живого человека, как сушеное насекомое, к тому или иному потертому фону той или иной коллекции. И что по фамилии, что по имени — ни малейшего отношения, будто некий вегетативный гибрид, ни к па Симагину, ни к маме не имел!

Мне было бы приятно быть Симагиным. И наверняка ему тоже было бы приятно. Но он не заводил об этом разговора; а сам я... м-да. Иногда мне даже хотелось — ну попроси! Вот тут уж я пойду напролом, все бумажки перебелю!

Но он был невозмутим. Во всяком случае, внешне. Теперь я понимаю: о таком нельзя просить. Я должен был сам. То, что я этого не сообразил вовремя, свидетельствовало явно и однозначно: в ту пору я так еще и не повзрослел по-на-

стоящему, хотя, помнится, уже считал себя прошедшим все тяготы земные зрелым мужем.

Стрелять уже умел, а любить — еще нет. Довольно частая вещь по нынешним временам.

А теперь уже все равно.

Антон Антонович, и хрен с ним. В смысле, со мной.

— Понимаете, тот момент, когда у меня хоть что-то стало получаться... ну, не буду сейчас рассказывать, что именно...

Он думал, я не знаю.

— И тот момент, когда мы познакомились с вами, уважаемый Антон Антонович, так совпали, буквально с точностью до нескольких дней... что с вами у меня накрепко ассоциируется процесс какого-то... оживания, что ли... Я глупости говорю?

— Нет, — ответил я.

— Мы теперь вряд ли увидимся...

— Почему?

Я чувствовал, что он прощается, что всем своим существом он уже где-то в дальней дороге, но конкретных деталей не понимал.

Он нервно разгладил несуществующую складку на клеенчатой скатерке, покрывавшей стол.

— Понимаете, я... меня уже в третий раз зовут поехать в Сиэтл, прочесть несколько курсов лекций. Я отказывался, потому что мне вообще было рукой-ногой не шевельнуть, но теперь, кажется, я в состоянии. Значит, надо попробовать? Вдруг получится? Ведь здесь я никому не нужен... Если есть шанс встряхнуться и окончательно взять себя в руки... грех не воспользоваться, правда, Антон Антонович?

Я понимал. Но это был сюрприз.

Вот вам профессиональный риск в натуральную величину.

Умом всегда понимаешь, что врач не может и не должен пытаться влиять на будущую жизнь пациента. Подлечил — и отойди, не мешай. Дальше пациент будет жить так, как сочтет нужным. В конце концов, всякая мать рискует родить убийцу или жулика, но это еще не повод для того, чтобы женщины перестали рожать. И вероятно, Сошников прав,

радикально сменить обстановку для него сейчас — самое лучшее, чтобы закрепить результат.

А все равно обидно.

Восстановленный талант уйдет невесть в какую даль, и результаты его деятельности нас не коснутся. Или коснутся через длинную кишку посредников, в полупереваренном виде... Неизвестно, что хуже.

Я улыбнулся.

— Что же вы там будете делать? Вы не атомщик, не электронщик, не биолог...

Сошников помолчал, вертя чашку на блюдце. При каждом обороте чашка тихонько взвизгивала донцем, и чай ходил в ней ходуном. Но не выплескивался.

Он смотрел мимо меня. По-моему, он чувствовал себя виноватым. Возможно даже — передо мной.

— Понятия не имею, — сказал он наконец. — Что предложат. Видимо, социологи и историки там тоже нужны. Денег хватает даже на столь никчемных... — Он мимолетно, но очень печально усмехнулся. — Мне все равно. Мне сейчас вдруг захотелось наконец пожить для себя. А здесь у меня это не получится, я знаю. Здесь мне все время хочется кого-то спасать... чушь полная, правда, Антон Антонович?

— Ну, как сказать, — осторожно произнес я.

— Да как ни скажи. И это вдобавок при том, что я на самом-то деле никому не нужен... ни семье, ни стране. Да и не могу я для них ничего... Что бы я ни начинал, в башке молотит: это никому не нужно. А там мне будет плевать — нужно то, что я делаю, или нет.

Тут я его понимал вполне. И он зря воображал, что подобная беда — удел ученых лишь его области. Мы работали и компьютерщиков, и ракетчиков, которые страдали тем же самым — будто сговорившись, твердили: не могу работать, это все никому не нужно.

Недавно у нас по горловинам проходил один... Специалист по оптоволоконным технологиям, скажем так. На два года старше меня он был, нашего уже поколения. Талантливейший парень. Так ведь изнылся: что бы я ни придумал — никому не потребуется. Руки опускаются, понимаете? Ну да,

платят... теперь платят, ну и подумаешь. Но в дело все равно не идет. В лучшем случае за кордон удается продать. Скучно!

— Там я буду честно делать ту работу, которую мне поручат, на одном ремесле, безо всяких страстей и упований... и думать лишь о том, чтобы результат и вознаграждение соответствовали. Понимаете?

Я понимал.

— Я чувствую, что сейчас смогу работать. Ну и надо поработать несколько лет, а потом... может, вернусь. Еще не знаю, Антон Антонович. Мне это сейчас неважно. Важно избавиться от... наваждения. От желания, чтобы результат не просто приносил доход мне, но был бы востребован людьми и... как-то воздействовал...

Он замолчал, и я не стал ломать паузу. Прихлебнул чаек, положил на язык варенья. Умом я понимал, что варенье хорошее и вкусное — но сладкого не люблю, и потому ограничился лишь пробной, буквально гомеопатической, дозой.

За быстро блекнущим окном, уставленным в мутное небо, вдруг зароились серые пятна. Снег пошел. Первый снег года.

Дожили.

— А бывшая семья? — спросил я.

Он будто ждал этого вопроса. Но, скорее всего, просто сам все время задавал его себе.

— Ну, что семья. Если я буду зарабатывать побольше... что весьма вероятно, надо признать... от меня им куда больше станет пользы, когда пойдут переводы. Говорят, через «Вестерн Юнион» это просто и быстро. Я им уже позвонил, пообещал, жена обрадовалась... Она давно так не радовалась — все-таки деньги. Пусть хотя бы деньги... — Он запнулся, и я почувствовал, что он едва поймал себя за язык: хотел предложить выпить, но вспомнил, что уже предлагал. — Я ведь, когда тоска начала отпускать помаленьку... попробовал взяться за ум. Хотел, как встарь, знаете. Но оказалось, что совершенно утратил способность работать для себя. Как когда-то говорили: в стол. Не могу в стол. Раньше мог, а теперь нет. Потому что сам я и так знаю, что будет написано — а никому, кроме меня... даже когда я отмучаюсь и выведу все из головы в реальный текст, это не станет интересно. Мне

теперь, чтобы заставлять себя сидеть, надо твердо знать: это либо принесет пользу кому-то, либо принесет деньги мне... и, в конечном счете, тоже принесет пользу, только гораздо более локальную — дочке. А раз ни то, ни другое не светит...

— Наперед нельзя знать, — сказал я.

— Можно... — с полной безнадежностью в голосе возразил он. — Можно, Антон Антонович... А знаете что? — вдруг встрепенулся он. — Только не отказывайтесь. Не захотите — не станете, пусть просто у вас валяется, может, если я вернусь, найду вас и возьму назад, у вас сохраннее будет. Благоверная-то моя наверняка попытается эту хатку для дочери приспособить, в целях устроения самостоятельного девичьего житья-бытья, и за сохранность моих архивов никак нельзя будет поручиться... А вы, я чувствую, человек ответственный.

— О да, — улыбнулся я, примерно уже понимая, о чем он.

Он воспринял это как согласие. Суетливо вскочил, едва не опрокинув коленками легкий столик, и, протиснувшись мимо меня, сияя, убежал в комнату.

Обаяние и беззащитность. Что тут поделаешь — он нравился мне. Он был старше меня лет на двенадцать, но я не мог относиться к нему иначе, как к ребенку — талантливому, пожилому, но так и не повзрослевшему; самое страшное, что ему некуда было взрослеть. Такие, как он, взрослыми не бывают. Академиками бывают, а взрослыми — никогда.

Далеко не всех моих пациентов мне так хотелось опекать и пестовать. Далеко не за всех я так переживал.

Он быстро вернулся, держа двумя пальцами — как-то то ли бережно, то ли опасливо, — серую вербатимовскую дискету.

— Вот... — И протянул дискету мне. — Это... последние наброски и выписки. Вряд ли я их когда-нибудь возьмусь систематизировать и выстраивать... Не для кого.

Вот зануда, прости господи.

Я взял. Невозможно было не взять.

Да и любопытно было. Ранние его работы были очень нетривиальны и совершенно не вписывались ни в какой из потоков. А при нашей демократии, точь-в-точь как при бывшем тоталитаризме, такое являлось недопустимым. Просто

тогда поток был один, а нынче — несколько. Все партии гомонили о великой России — но каждая под Россией имела в виду лишь себя, а под россиянами — свой, мягко говоря, электорат. Сошников в свое время пустил — по аналогии с пушечным мясом военизированных времен — емкий и ядовитый синоним нелепому электромеханическому словцу: «урновое мясо». Этого, разумеется, никто ему не мог простить, будь то левокруты, любители закручивать гайки, будь то надутые от упоения своей правотой праводелы...

Хотя публицистикой он оттягивался нечасто. Только когда совсем уж становилось невмоготу от новостей.

— Стало быть, получается, что я — никто? — улыбнувшись, спросил я.

Он не сразу понял, а потом мучительно, как юноша, покраснел.

— Я совсем не то... Боже... Антон Антонович, я имел в виду...

— Я все понимаю. Спасибо, — сказал я и улыбнулся снова. — Постараюсь оправдать высокое доверие. Вот только не уверен, что успею до вашего отъезда. Вы когда трогаетесь? Уже известно?

Он помолчал, несколько раз вскидывая на меня смущенный, виноватый взгляд и тут же его опуская.

— Да... — проговорил он наконец. — Скоро. В четверг.

— Приду вас проводить, — сказал я. Он всплеснул руками.

— Конечно... если у вас найдется время, я буду очень рад! Правда, Антон Антонович!

— Созвонимся поутру, — предложил я.

— Да, в десять или в половине одиннадцатого, например...

Давно мы с ним не виделись. Дней пятнадцать, похоже, или даже шестнадцать... В тот раз ничего подобного я не ощутил в нем — а нынче чемоданным настроением несло от него, будто ураганом.

Ну, дай ему бог.

— У меня ведь совсем не осталось людей, с которыми мне хотелось бы как-то... по-товарищески проститься, — вдруг проговорил Сошников негромко. — Со старыми

друзьями... коллегами... с теми, с кем пуд соли, казалось бы, съел еще на рубеже веков и эпох... встречаться тягостно, даже по телефону невмоготу. Кто адаптировался и преуспел — способны говорить лишь о том, кто их купил и почем. Мне скучно. А кто мается — те лишь обвиняют всех и вся... Тоже скучно. Никто уже не думает... Это бедствие какое-то. Все долдонят о возвращении на путь, прерванный век назад большевиками, — но в чем этот путь заключался, так никто толком и не понимает, и не дает себе труда попробовать понять... И я больше не буду. Хватит. Вот с вами мне... легко и тепло. Хотя, честно говоря, вы почти все время молчите, только я мемекаю — тем, наверное, и счастлив, — он застенчиво улыбнулся. — Завтра вот с Венькой Коммунякой выпью... немножко. А Алене просто письмо напишу и перекину перед самым уходом, чтоб она отреагировать не успела уже... Хотя она, наверное, и не станет реагировать. Ну, чтобы самому не маяться — отреагирует или нет. Перекину — и вон из дому, все.

— Понимаю, — проговорил я.

— Верю, — в тон мне ответил он. — Вы действительно... мне кажется, понимаете все. Все.

— К сожалению, не все, — сказал я, а потом, почуяв некие котурны в своих словах, некую выспренность, усмехнулся и добавил: — Например, не понимаю, зачем вам пить перед самым отъездом.

— Слегка, Антон Антонович, слегка! Обещал Веньке... Это сосед, двумя этажами ниже... Мы с год назад познакомились. Я, знаете, на лавочку присел пивком разнежиться, и он тоже, ну и разговорились... Презабавный молодой человек, возраста вашего или даже чуть меньше, но неистовый коммуняка, знаете ли... Футболка с Брежневым, на все проблемы жизни один ответ — долой олигархов, ешь богатых, все народное... Мы с ним, бывает, так забавно спорим. Он, разумеется, ничего на своей шкуре не попробовал... Но иной раз высказывает чрезвычайно интересные суждения, я просто диву даюсь и запоминаю. Например: Сталин всю жизнь поступал бессовестно, вытравливал совесть из себя и из своего окружения — но он по старой памяти знал, что такое совесть, какая сила в ней и как она функционирует, и зачастую

поступал по совести именно благодаря тому, что все время с нею в себе боролся. И в других умел, когда надо, совесть пробудить. И потому был велик. А нынешние вообще даже представления об этой категории не имеют, нет ей места в рыночных условиях — и потому такие мелкие, и страна потому при них так измельчала... Что-то в этом есть, правда?

— Вам виднее, — сказал я.

— Когда я ему сказал, что отъеду в Штаты минимум на несколько лет, он так огорчился... и просто-таки вырвал у меня обещание перед отъездом посидеть вдвоем как следует... Ну, а я что? Я с удовольствием, в общем-то... Нахрюкаться не нахрюкаюсь, с этим покончено, а поболтать напоследок этак, знаете, ни о чем, об общих проблемах и судьбах страны... С кем еще? Вы же не станете болтать о судьбах страны, правда?

— Правда, — усмехнулся я и отхлебнул чаю. Чай остыл.

— И американцы не станут... А мне это иногда необходимо... пока. От всей души надеюсь, что там я с этим покончу.

— Может получиться наоборот. Говорят, бывают такие нелинейные эффекты.

— Ну... ну, уж тогда я не знаю... тогда я там совсем спячу — сидеть в такой дали и переживать... еще более попусту, чем теперь. Нет, нет! Не должно так случиться. Не должно...

Он замолчал, с трагической миной уставившись в стену. Снег за окном валил все гуще, и в кухне совсем стемнело.

2. ТЕНЬ, ТАК СКАЗАТЬ, МИНУВШЕГО

Да-да. Пытаясь в свое время проникнуться внутренним миром па Симагина и понять, чем дышал он в детстве, я и до Ефремова добрался, поскольку пару раз слышал от па эту фамилию, припомненную не без уважения. Даже сподобился почитать — «Тень минувшего» в том числе. Блеск. Особенно блестел апофеоз: горняки, рабочие каменоломен, колхозники и охотники доверчиво и бескорыстно, не спрашивая о конечной цели, уважая в нем известного ученого, помогали ему... Цитирую по памяти, поэтому за точность не ручаюсь. Обворожительно, правда? Откуда охотники и рабочие каменоломен прознали, что сей искатель истины есть известный ученый, а не шарлатан? А если не шарлатан, то тем более невероятно. Шарлатан хоть чего-нибудь живенького наплетет: тарелки, Шамбала, яйцекладущие колхозницы — и за ним пойдут; а настоящий... подумаешь, смола застывшая, и в ней гнусных тварей видать. На фига нам твои твари? Потом: кто компенсировал им непроизводительные затраты потраченного на бескорыстную помощь времени — ведь чтобы как-то сводить концы с концами, и двадцати часов в сутки не всегда хватает? Кто спонсировал самого этого известного в его многолетних факультативных поисках и поездках?

Я понял одно: мир, каким па Симагин и такие, как он, его представляли себе в отрочестве, существовать просто не может. Если его силком на минутку создали, он должен был рухнуть обязательно. Но вернее всего, на самом деле его и не было никогда, он таким просто притворялся — и, в конце концов, рухнул с облегчением и удовольствием, просто оттого, что притворяться устал.

Хотя иногда я думаю: а кто меня и моих друзей финансировал, спонсировал да компенсировал? Мы сами, никто кроме. Какого рожна мы бескорыстно, не спрашивая о конечной цели, помогали — уважая, так сказать, в своих пациентах... далее по тексту?

Нет ответа. Нам хотелось, и все.

Да, наверное, так может жить и действовать один человек, два, максимум — небольшая группа единомышленников. Однако не целая же страна!

Хотя, положа руку на сердце — жаль, что не может.

Но мало ли чего нам жаль! Прыгнув с крыши, ты, как бы тебе ни хотелось, отнюдь не полетишь, курлыча, в жаркие страны пирамидами любоваться, а брызнешь мозгами по асфальту. Жаль? Конечно, жаль. Ну и жалей на здоровье, пока не надоест.

Назавтра я пришел в контору пораньше, чтобы поколдовать над финансовой документацией. Этому ответственному и тайному делу я отдавал все свободное время. В принципе бухгалтер у нас экстра-класса — но ему же невдомек, что часть средств, получаемых за кабинетную рутину с аутотре-

нингом и прочими апробированными процедурами, утекает на финансирование спецопераций!

Наше счастье, что восстанавливать творческие способности, как я уже говорил, к нам зачастую приходили кошелькастые трудящиеся, отродясь этих способностей не имевшие и вдруг взалкавшие стать знаменитыми учеными или писателями. Милости просим, господа, вам здесь всегда рады. Моя правая рука тяжелая и теплая... моя левая рука тяжелая и теплая... вот счет за сеанс. Угодно ли вам продолжить? А-атлично! Вот этой вот вашей денежкой мы, нигде ее не оприходуя, тихохонько проспонсируем дочку Сошникова — а Сошников будет гордиться собой и думать, что сумел победить судьбу. И что-нибудь после этого напишет для веков, чего в противном случае нипочем бы не написал.

Или, например, частные фирмы отваливали нам немалые деньги за интеллектуальную реабилитацию своих измотанных потогонной системой специалистов. С ними мы работали по высшему разряду, и, проводя обычные сеансы на кабинете, нередко дополняли их двумя-тремя терапевтическими горловинами в поле. Чтобы человек действительно очухался и начал сызнова плодоносить. Так создавался и поддерживался престиж «Сеятеля». Надо сказать, это удавалось. Престиж был совершенно уникальным.

Был у нас недавно пациент — блестящий архитектор неповторимых особняков для депутатов, финансистов, киллеров и прочих остро нуждающихся в улучшении жилищных условий полноправных граждан возрождающейся державы. И вдруг что-то надломилось у него в душе — погнал штамповку. «Крыша» его в панику ударилась: конец заказам, конкуренция-то в этой области жесткая. Пришли ко мне. Вам сколько нулей после циферки? пять? шесть? Лучше шесть, скромно, но с достоинством сказал я тогда.

А архитектор в кризисе жестоком. Осточертело, нервно прикуривая сигарету от сигареты, говорил он мне на предварительном собеседовании. Хочу обсерваторию построить! Или больницу! Позарез хочу построить оздоровительный лагерь для детей беженцев, понимаете, Антон Антонович? А мне показывают в мэрии, сколько они выделить на него

могут — этого на остекление и то не хватит, разве что сочинить северную стену глухой, без единого оконца...

Как такого человека лечить? Ему в ножки поклониться за удивительные его достоинства да вербануть к нам в команду, очень бы мог быть полезен... Так и этак присматривался я к нему — нет, не решился. Тщеславен. Отнюдь не патологически, нормально для талантливого художника тщеславен — но у нас, бойцов невидимого фронта, и этого нельзя. Раньше или позже похвастается кому-нибудь не тому, какие благие дела творит втайне, — и все, завертелось-закрутилось; прощай, конспирация. Отступился я. Бились мы полгода, но ввели мужика в нормативное русло — делай, за что платят, и не дури. Опять начал чертить шале да шато, лучше прежних.

А мы остались. Со смешанными чувствами печали и радости, с улыбкой и в слезах. Добились, понимаешь, успеха — из человека с совестью сделали высокоэффективный эвристический механизм. Вся бизнесменская конница и вся депутатская рать не смогли — а вот мы, елы-палы, уж такие мастера!

Частные фирмы были основным источником дохода.

Но ломтик этого дохода, уж извините... Тачка, например, у нас каждому в команде нужна, иначе работать просто невозможно — сдохнешь в транспорте во время бесконечных и совершенно неизбежных метаний.

И конечно, если незаявленное финансирование или утайка части доходов выплывут на белый свет, то, как говаривал в «Бриллиантовой руке» Папанов, спокойно, Козлодоеу, сядем усе.

Кто нас заставлял рисковать? Никто. Самим хотелось. Охотники и колхозники.

А главным жуликом в команде приходилось быть тоже мне.

Честно скажу: это ни с чем не сравнимое удовольствие — видеть, как изжеванный и остывший человек вдруг снова начинает звенеть и сверкать. Понимаете? Попробуйте понять. Удовольствие и радость. В сущности, из-за них все делалось.

Радости-то хочется. Мало ее.

Примерно с час я процеживал окаянные цифры и даты, пристально вдумываясь в каждую. Потом на столе у меня курлыкнуло, и голос секретарши Катечки сказал слегка виновато:

— Антон Антонович, время.

— Да-да, — ответил я. — Что у нас?

— Один новенький на собеседование.

— Записывался заранее?

— Да, еще позавчера.

— Запускай.

Я успел занять уверенную позу и сделать умное лицо. Дверь неторопливо отворилась, и передо мною предстала тень минувшего. Гаже всякого динозавра.

Я даже глаза прикрыл, чтобы совладать с собой, не видя его отвратительного лица.

Он меня, разумеется, не узнал. Сколько мне было, когда мы виделись в последний раз? Он бы на этот вопрос ответить не смог. Ни до кого ему не было дела, кроме своей драгоценной персоны.

Кто бы ведал, как я ненавидел его тогда! Кто бы ведал, сколько раз, заслышав из маминой комнаты сдавленные рыдания среди ночи, я его убивал — и в сладостных детских грезах наяву, и, тем более, когда ухитрялся уснуть наконец!

Подробностей я, разумеется, не мог в ту пору ни выяснить, ни понять, да они мне и теперь не известны, — но уже тогда, восьмилетний, я знал совершенно точно, что мой мир взорвался из-за него.

Он не выглядел постаревшим. Не выглядел и посолидневшим. Он лишь разбух, обесцветился и увял, будто его долго вымачивали. Одутловатое лицо без возраста, погасшие глаза... И веяло от него уже не апломбом и самолюбованием, а пустыней. Пока он неторопливо шел от двери к креслу посетителей, я вникал в него и так, и этак и не чувствовал ничего. Только пепел.

И одежда под стать. Униформа доперестроечного интеллигента средней руки. Сразу возникло впечатление, что она куплена еще при Совдепе, пиджачок за тридцать два рубля, рубашка за девять — а теперь все это так и донашивается вот уж кой годок, аккуратно стирается, штукуется, штопается...

В ней и похоронят. Мне показалось, что именно в этом костюмчике он приходил к нам. Воротник у рубашки протерся до основы, но был чистым. Локти пиджака лоснились и светились там, где ткань совсем уже просеклась. Брюки пузырились на коленях, штанины понизу будто поросли мхом — так одряхлела и истерлась ткань.

Но не было в нем наивной сошниковской прибитости напуганного нежданной бомбежкой малыша. Только брезгливое равнодушие. И, садясь в кресло для посетителей, он изящно поддернул свои штаны, находящиеся на исходе периода полураспада.

— Здравствуйте, — произнес он сдержанно. Ни малейшего волнения, столь естественного для человека, в первый раз пришедшего к врачу. Ни малейшей, как бы это сказать, надежды, что ему помогут. — Мне порекомендовала обратиться к вам Алла Александровна Костенко. Она сказала, вы ее наверняка вспомните.

Да, разумеется. Алла. Она была поколения мамы, но мы быстро отказались от отчеств, это как-то само собой произошло. Славная женщина, энергии невероятной и со способностями намного выше средних. За помощью она к нам не обращалась, мы познакомились действительно случайно — хотя, честное слово, я был бы рад ей помочь и без ее обращения. Но тут имел место редкий случай, когда все мои экстравагантные методики никуда не годились. При Советах муж ее был довольно крупным конструктором оборонки, потом быстро, по-молодежному перестроился и теперь опять процветал в совместной со шведами и немцами фирме, чего только не выпускавшей. Так что материально она не нуждалась. Числилась она всю жизнь в биологическом каком-то институте Академии наук и, если бы там и впрямь оставалась хоть мизерная возможность работать, достигла бы, вероятно, немалого; вполне серьезную кандидатскую она защитила, если я правильно помню, чуть ли не в двадцать пять лет. Но академические институты, господа, это ж такие странные заведения, которые и разгонять нельзя, потому что неловко, и цацкаться недосуг, а распускать, между прочим, это тоже цацкаться; но и роскошь реально их фи-

нансировать страна никак не может себе позволить, до них ли нынче... Кому он нужен, этот Васька?

Затосковав от бессмысленности существования, Алла задолго до того, как мы чиркнули жизнями друг об друга, инстинктивно нащупала ту же панацею, что и я, и всю свою бешеную энергию и умение крутиться-вертеться и крутить-вертеть окружающими кинула на вспомоществование — сама при этом относясь к своему нетривиальному и трудоемкому хобби в высшей степени иронично. То она выбивала место в больнице для двоюродной тети школьного приятеля. То посреди ночи подкатывала на своем «Рено» последней модели к облупившейся от матюгов вонючей ментовке и, хладнокровно кутаясь в миллионную шубку, вызволяла из вытрезвителя извалявшегося в лужах вдрызг пьяного стихоплета, с которым и встречалась-то доселе лишь единожды, на его творческом вечере у кого-то на квартире. То вдруг ее заносило в предвыборный штаб какого-нибудь занюханного — разумеется, самого честного из всех, ему во что бы то ни стало надо помочь! — депутата то городского собрания, то районного...

Это ее засосало. Она выматывалась так, как никогда на работе не выматывалась, но получаемые ею положительные эмоции были настолько интенсивны, что она, хотя вслух время от времени тосковала по спокойной лабораторной работе, на самом деле уже ни о чем ином и не мечтала — только бы кто-нибудь сломал, например, ногу, и можно было бы по большому знакомству, зато, благодаря ее уникальным способностям торговаться, без переплаты втридорога, снабдить его какими-нибудь экспериментальными швейцарскими фиксаторами вместо допотопного нашенского гипса...

Я ее уважал. Ее рекомендация немалого стоила.

— Мы с нею давние, очень давние друзья. Она сказала, что если кто-то мне и сможет помочь, так только вы.

Я сдержанно пожал плечами.

— Посмотрим, — проговорил я. — Я пока ничего про вас не знаю.

— Я и сам уже ничего про себя не знаю, — чуть улыбнулся он.

— Звучит красиво, но вы же сюда не дамочку охмурять пришли, — отрезал я и сам почувствовал, что запредельно

хамлю. Не сдержался. Надо взять себя в руки, подумал я и глубоко вздохнул. Впрочем, он остался совершенно равнодушным. Ему, похоже, не показалось, что я хамлю. — Мне нужна информация, а не интерпретация. Интерпретировать буду я.

Нет, мне положительно не удавалось взять верный тон. Слишком уж внезапно тень рептилии выросла посреди моего кабинета.

Чтобы из минувшего выволочь урода, не нужны ни охотники, ни колхозники. Само вынырнет.

— Да, конечно, — сказал он. — Разумеется. Простите. Меня зовут Валерий Аркадьевич Вербицкий. Возраст — сорок восемь лет. — Он опять чуть усмехнулся. Улыбка была странная: одновременно и жалкая, и снисходительная. Она тоже полна была пепла. — Да уж почти сорок девять... Профессия — писатель. Боюсь, что бывший. Алла именно поэтому меня к вам и отправила, и еще пинком ускорила, надо признаться. Я бы сам не пошел. Спекся так спекся. Многие, на самом деле, телесно живут дольше, чем живет в них искра, но Алла... Честное слово, не подумайте, что я хвастаюсь. Просто ей нравится то, что я когда-то писал... мне — нет, сразу должен оговориться, мне — давно уже нет. А вот Алла никак не хочет смириться с мыслью, что мне конец. Что вас еще интересует?

Я даже опять глаза прикрыл, чтобы в них совершенно бесстыдным образом не сверкнуло варварское торжество. Я понял, что судьба ему за нас отомстила.

Ну и что толку? Мы и так давно уже счастливы. Сами.

И если б не отомстила — от нас бы не убыло.

Злая радость отступила, потушенная этой простой мыслью легко и надежно, словно костерок ушатом воды. Передо мной был пациент. Просто пациент.

Я открыл глаза и тихо сказал:

— Многое.

Я по-прежнему не чувствовал в нем ни надежды, ни волнения, ни даже простого недоверия ко мне как к врачу. Бывает такое — приходит человек, а сам думает только об одном: вот сейчас этот хитрован начнет из меня тянуть мои деньги. Не дам деньги, не дам деньги, не дам деньги! Даже

этого в Вербицком не ощущалось. Ему было все равно, что с ним будет. Он поставил на себе крест.

Па Симагин всегда считал, что он талантлив.

Ну-ну, подумал я.

— Видите ли... э...

— Меня зовут Антон Антонович, — сказал я.

— Видите ли... доктор. Я не знаю, как у вас принято заявлять о себе. Может быть, вы лучше меня поспрашиваете?

— Валерий Аркадьевич, — проговорил я как можно мягче, стараясь не усложнять положения собственными эмоциями. — Ведь не я к вам пришел.

— Да, разумеется. — Он несколько раз кивнул. — Простите. Но честное слово, я не знаю, что говорить. По-моему, мне невозможно помочь, потому что я тут ни при чем. Если бы не Алла...

Как он спешит даже эту ответственность с себя снять, подумал я. Даже ответственность за то, что пришел к врачу за помощью. Не корысти ради, а токмо волею пославшей мя...

— Мы теряем время, — сказал я.

Он откинулся на спинку кресла и закинул ногу на ногу. Нет, он вовсе не был раздавлен. Он просто ничего не хотел.

— Курить у вас можно? — спросил он.

И я, конечно, вспомнил, как в первый же его приход к нам мама и па Симагин поссорились, решая, позволять ли ему курить. Мне уже тогда стало страшно, я отчетливо помню. Я все слышал. Мама и па повышали голос друг на друга и говорили злобные слова. Это уже само по себе воспринималось, как трещина в мироздании. Как предвестье. Прежде они не ссорились ни разу — и начали из-за проклятых сигарет этого проклятого...

Я выдвинул ящик стола, вынул оттуда незапятнанную пепельницу и пустил ее поперек стола. С затухающим скользящим шипением пепельница переехала на его край и замерла.

— Пожалуйста.

Он немедленно задымил какой-то дешевкой. Вежливо протянул пачку в мою сторону: угощайтесь, мол, доктор. Я покачал головой и чуть развел руками: не курю, мол, не

обессудьте. Он внимательно посмотрел мне в глаза и, поспешно ткнув сигарету в пепельницу, размял ее в прах.

— Извините, доктор.

Я молча ждал.

— Ну что я могу сказать о себе. Дело же совсем не во мне. — Он глубоко вздохнул, словно собираясь не то с силами, не то с мыслями. — Вы знаете, доктор, что литература в школах почти повсеместно стала платным факультативом? Нет, не знаете. Вам это неважно, правда? С две тысячи второго процесс пошел... Вам, наверное, и эта фраза ничего не говорит: процесс пошел. Слишком вы молоды, доктор. Вы любите читать книги? Беллетристику?

— Да. Только времени на это почти нет.

Он усмехнулся.

— Вот-вот. То же самое говорили и апологеты очередной ползучей реформы. В наше трудное время все силы ребенка нужно сосредоточить на тех предметах, которые помогут ему выстоять в жизни, овладеть профессией, которая обеспечит его материально. Словоблудие и мудрование относительно нравственных поисков могли себе позволять бездельники-дворяне в своих поместьях и бездельники-интеллигенты в советских НИИ. Теперь пришло время конкретных результатов. Получил результат — значит, прав, значит, молодец, вот вам и вся нравственность! Да вы, дескать, вспомните сами литературу в школе. Что вам дало тогда изучение «Войны и мира»? Только отвращение к классике! Зачем нам это при нынешнем дефиците времени у школьников? Кто захочет — сам прочитает! — Он перевел дух. — Как вы думаете, доктор, каков процент родителей, которые хотят и, главное, могут оплатить подобные факультативы? При том, что во всех мало-мальски приличных школах деньги и без того летят?

Я помолчал. К такому разговору я не был готов. Фибрами-то своими я ощущал, что он решился наконец заговорить о себе — и то, что он говорил, было, как он сам понимал, — о нем. Лично о Вербицком. Я почувствовал, как в слежавшемся мокром пепле шевельнулось нечто живое. Он, оказывается, в состоянии был переживать не только за самого себя.

Более того, именно и только за самого-то себя он и не переживал ни вот настолечко. Уже сыт был, видимо, своей особой. Не пропащий человек, что ли?

— Думаю, немногие.

— Правильно. А как вы думаете, писателю это все равно или ему неприятно?

— Думаю, что какому как.

Он улыбнулся.

— Правильно. Мне вот, к сожалению, неприятно, и я ничего с этим поделать не могу. Мне больно. Даже если отрешиться от того, что лично мне совершенно не о чем своими текстами говорить с читателем, который к книгам обращается, лишь коротая время в метро. Даже если отрешиться... Мне вообще больно. Верите?

— Верю.

Я действительно верил. Потому что чувствовал его.

— Разве психиатрия тут может помочь, доктор? Ну, заставите меня как-то забыть обо всем этом, перестать об этом думать, вот и все. Та же водка.

— Продолжайте, — сказал я.

— С удовольствием. — Он даже чуть порозовел. Он заводился. И это, несмотря на всю разницу между ним тогдашним и нынешним, снова напомнило мне, как заводился он, токуя, будто глухарь, у нас на кухне, и начинал говорить громче, ярче, интереснее, эмоциональнее, убежденнее... безапелляционнее...

Почти два десятка лет грохнуло куда-то, бож-же мой...

Если бы не этот человек, сейчас мой брат или сестра заканчивали бы школу.

Где не проходят литературу.

— Но обратите, пожалуйста, еще раз внимание на то, что я вас отнюдь не уговариваю воспользоваться нашими услугами, — добавил я. И опять в голосе моем совершенно неуместно для беседы врача и больного звякнул металл.

Он, явно уже готовый к следующей тираде, запнулся.

— Простите, — проговорил он потом. — Я действительно веду себя глупо. Знаете, как это бывает. Хочешь быть поскромнее, но если перестарался хоть на волос — это, наоборот, выглядит как неимоверная гордыня. Так и тут. Я все

тщусь изобразить, что отнюдь вам не навязываюсь и если вы меня пошлете подальше, как симулянта, совершенно на вас не обижусь. А получается, будто провоцирую вас на уговоры: нет, вы уж полечитесь у нас, будьте так любезны... Простите. Беру ситуацию под контроль.

Однако. Это выглядело опять-таки достойным уважения. И, самое главное, он был совершенно искренен, я чувствовал. Я начал понимать, почему славная женщина Алла принимала в нем такое участие. Странно, правда, что она его сюда за ручку не привела.

И тут же я почувствовал, что она и собиралась — Вербицкий не позволил.

— Или вот еще, — сказал он. — Мои же коллеги-литераторы... целое движение, кажется, уже возникло — за переход на латиницу. Доводы: сейчас, когда благодаря компьютерам мы и так уже в латинице по уши — нам предоставлен исторический шанс воссоединиться наконец с настоящей культурой. Реально стать европейской нацией нам никогда не даст кириллица; только избавившись от нее, мы преодолеем барьер и покончим с варварством. Все время цитируется Сомерсет Моэм: «Если эти русские хотят, чтобы их считали цивилизованными людьми, почему они не говорят на языках цивилизованных наций?» При этом уже тут лицемерие — будто те, кто откопал цитату, не обратили внимание, что у автора ее произносит напыщенный болван! И последний довод, убойный: правда, таким образом мы потеряем всю свою литературу, уже для следующего поколения она станет мертвой, как ныне мертвы для большинства из нас церковно-славянские тексты... а уж эти-то тексты и вообще превратятся в нечто вроде шумерской клинописи... НО ВЕДЬ ЭТО И К ЛУЧШЕМУ! Понимаете? К лучшему! Опять очередное проклятое: вас, кто меня уничтожит, встречаю приветственным гимном! Э-э... вам что-нибудь говорит эта фраза, доктор?

Он упорно не называл меня по имени-отчеству. Ему неприятно было произносить имя Антон. Он не отдавал себе в этом отчета, но избегал. Его пугало имя Антон, я это почувствовал. Подсознание колет совесть шилом из-под низу...

— Брюсов.

— Да. Как, по-вашему, писателю подобная перспектива помогает писать?

— Думаю, нет.

— Как, по-вашему, если это движение начато и организовано коллегами, литераторами же — что писателю думать о литературе и ее роли?

— Думаю, что это не его работа. Делать литературу и думать о литературе — вещи взаимосвязанные, разумеется, но, если мысли о литературе мешают ее создавать, следует предпочесть создание.

Он качнул головой.

— Роскошно сформулировано, но... не греет.

— Вы хотите сказать, что утратили квалифицированного читателя и теперь вам приходится как бы кричать в пустоту? Но есть же, говорят, элитарная литература...

— Элитарная литература кончилась еще в девяностых, — резко ответил он. — Например, когда комитеты, которые присуждают премии, вдруг решили, что если в книжке есть диалоги, она уже не может относиться к большой литературе. И авторы, вроде бы только вчера воевавшие с цензурой за полную свободу самовыражения, едва прослышав об этом, принялись изворачиваться, чтобы не было прямой речи, а только косвенная... А еще, сказала, не будет, сказала, вам этого никогда, сказала — и пошла. Правда, высокохудожественно? В прошлом году абсолютным чемпионом стала поэма в прозе «Вина!». По слухам, ее и на Нобелевку выдвинули, за концептуально объективное и художественно новаторское изображение русского национального характера — да-да, именно с такой формулировкой. Уже от самого названия критика восторженно сходит с ума: дескать, нельзя понять, что имеется в виду — то ли речь идет о виновности, то ли о требовании принести еще бутылку, и эта, как они пишут, полифония и амбивалентность есть признак гениальности. Вот я вам сейчас процитирую начало... э-э... Спозарань встань вся срань такая наша страньда она странна страна вина она безвинно повинна... И далее в том же духе, семьдесят страниц без единого знака препинания.

— Сильно, — согласился я.

— Но, помимо прочего, обратите внимание, алкогольная тема на форсаже. Все эти особенности охот и рыбалок... Заголовки в газетах: водка нас спасет! Ежегодные гулянья в Петушках на деньги щедрых спонсоров — пропивается там за неделю годовой бюджет Пулковской обсерватории! Почему-то зарубежным культурным фондам на водку денег не жалко. Воистину Веничка как в воду смотрел: пусть янки занимаются своей галактической астрономией, а немцы — психоанализом, пусть негры строят свою Асуанскую плотину! А мы займемся икотой. И ведь они действительно занимаются, черт их возьми, и астрономией, и психоанализом, и всем!

У него стал дрожать и срываться голос от волнения.

— Или вот еще. Другой мой, с позволения сказать, коллега пишет и публикует некую фантасмагорию, где, как матрешки, одна из одной выскакивают так называемые альтернативные истории. Александра не взорвали... Столыпина не убили... Керенский объединился не с большевиками, а с Корниловым... И для каждого варианта, даже не утруждая себя выстраиванием хоть сколько-нибудь связного сюжета, дает нагромождение разрозненных, но в равной степени мрачных эпизодов. Я его спросил на одной пьянке честно: это надо понимать так, что, как бы ни складывалась российская история, хуже России все равно нет? И он очень честно ответил: да, вы совершенно правильно меня поняли. Россия — клоака, царство тьмы, всегда такой была и всегда останется, пока ее не уничтожат или не расчленят между нормальными странами. Нормальными! И не то отвратительно, что он это написал, его текст — это его личное дело... а то, что с ним немедленно начали носиться как с писаной торбой! Это какой-то групповой мазохизм, коллективное стремление к самоубийству... хотя бы — духовному.

Ну, его понесло.

Что ж. Такая наша, мягко говоря, страньу психотерапии. Прежде всего дать пациенту выговориться.

— Вы понимаете, доктор, можно кричать, что Псковщину надо отдать прибалтам, Сибирь китайцам, Приморье, Камчатку и острова — японцам, все равно, мол, мы сами их содержать и обустроить не способны, так зачем людей му-

чить и мир смешить. Раздать все к чертовой матери! И будешь просто интеллектуал с широкими взглядами, по ящику то и дело тебя будут показывать, как очередную Новосортирскую какую-нибудь... Но попробуй скажи, что этого ни в коем случае делать нельзя — и сразу среди своих окажешься русопятом, шовинистом и имперцем. А потом искренне изумляемся и негодуем: с чего это простой народ так не любит интеллигенцию и с такой подозрительностью к ней относится... у, какой тупой народ, чурается образования, не любит тех, кто мыслит!

— Хорошо, — сказал я, начиная терять терпение. — Я все понимаю. Но это, Валерий Аркадьевич, не предмет медицины, вы правы. Хватит о литературе. Давайте пойдем глубже.

Он опять покачал головой.

— Глубже, — повторил он, будто пробуя это слово на вкус. — Глубже... Вы про меня разговаривать хотите? Не надо, доктор. Нет смысла. Да и неинтересно.

— Люди интереснее социальных процессов, — уже с напускной, а не искренней жесткостью отрезал я.

— Да разве же можно разделять? — всплеснул он руками.

— Нужно и должно. Иначе никогда никого в чувство привести не удастся. Все будут исключительно стенать хором и рассказывать друг другу, кто где какую грязь заметил. И поскольку страна покамест все еще большая, рассказывать можно очень долго.

— А, вот вы как к этому подходите... Вы, стало быть, думаете, что это только литературы коснулось? А многолетняя тлеющая кампания «ученые во всем виноваты»? Началось опять-таки еще в прошлом веке, когда вдруг выяснилось, что именно космические запуски и персонально станция «Мир» оставили страну без хлеба и ботинок, ибо все деньги ушли на никому не нужные ракеты. Физики все богатства страны спустили. Экономисты развалили экономику. А вал книг с сенсационными открытиями-разоблачениями... Кто их пишет? Шизофреники? Ушлые фальсификаторы? Античности не было, Грецию и Рим в монастырях двенадцатого века придумали католические попы в назидательных целях. Китая не было вплоть до маньчжурского завоевания, Великую стену построили при Мао для пропаганды. Древние тексты вообще измышляются историками — кто чего насочинял сам, чтоб степень заработать, тот и говорит, будто перевел с древнего. В космос, тем более — на Луну и дальше, вообще никто никогда не летал, все обман, чтоб жрать в три горла и ни хрена не делать. А вирусов нет и не было никогда, и если вы почувствовали недомогание, лучше всего, уж бабка-то Пелагея знает — стакан горячей водки с медом и чесноком по утрам и вечерам в течение четырех дней. Так похоже на Третий рейх, доктор! У них тоже вдруг выяснилось, что в космосе ничего нет, кроме льда, и звезды — это просто лед блестит, а всю астрономию наворотили хитрые евреи, чтобы одурманить нацию... И, доктор — гляньте, что читают в транспорте! Это глотается с наслаждением! Вот, дескать, настоящие открытия! Не ученые там какие-то, а просто нормальные люди, как ты да я, подчитали книжек, подумали маленько — и поняли! Мы, мол, всегда подозревали, что высоколобые нас дурят, и вот теперь, слава богу, нашлись люди, не побоявшиеся об этом сказать!

Он меня уже утомил немножко. Однако я понимал, что если думать об этом постоянно и с болью, как, видимо, думал он, — можно легко додуматься до мозговой сухотки.

А у Вербицкого вся эта карусель раскручивалась на глазах.

И у па Симагина тоже.

Они-то в детстве из умных книжек знали, что колхозники и охотники, уважая настоящий талант...

— Знаете, — передохнув и сбавив тон, добавил Вербицкий, — я ведь несколько лет назад свихнулся настолько, что решил, будто это и впрямь целенаправленный, кем-то срежиссированный процесс растления. Но все проще, к сожалению. Коль скоро пороть злобную и завистливую ахинею оказалось престижнее и выгоднее, нежели работать всерьез — дальше все уже катится само собой. Рынок. — Он глубоко вздохнул. — И мне, значит, если поступать честно, хотя бы в текстах — надо все время идти против течения. А у меня духу не хватает. И потом... — Он вздохнул опять и сцепил пальцы нервно. — Всегда хочется, чтобы тебя прочел тот, с кем, сложись жизнь иначе, ты мог бы оказаться вместе...

Мне показалось, что этот куплет совсем из другой песни. Я почувствовал это отчетливо — он попросту проговорился, увлекшись. Но тут же вырулил на прежнюю мелодию:

— А с кем из этих я могу быть вместе? Ни с кем!

Я демонстративно отдулся, будто скинул тяжелый груз, с которым долго взбирался по узкой и крутой лестнице.

— Об этом давайте тоже не будем, Валерий Аркадьевич. Ну какой смысл? Я будто перед телевизором сижу, и мне его, извините, никак не выключить.

У него дрогнуло лицо. Наконец мелькнуло что-то, кроме мертвенного самозабвения. Все-таки мне удалось его задеть, растормошить слегка — и это было хорошо.

— Вы сами-то чего хотите?

— Чтобы этого не было.

— Нет, вы меня не так поняли. Чего вы сами про себя и для себя хотите? Представим на минутку: все остальное — так, как есть, но относительно самого себя вы можете что-то изменить. Что?

Он сник. Он был не пентюх и не пустобрех и понимал, что я по-своему тоже прав сейчас — невозможно же действительно устроить тут думское слушание по вопросам культуры. Пора было переходить к чему-то более конкретному, тем более что в определенной степени выговориться ему я все-таки дал. Пар спущен, теперь и за дело бы неплохо... Но этого-то ему и не хотелось. Категорически не хотелось, я чувствовал это всей кожей.

Он этого боялся, как боялся имени Антон.

— Я... — начал он, и у него вдруг сел голос. Он покрутил головой, тихонько кашлянул, а потом даже потер загривок и шею. Да, он сильно изменился. Не внешностью, внешность-то как раз редкостно уцелела, а повадкой, состоянием. — Я ничего не хочу. Я устал хотеть! — вдруг отчаянно выкрикнул он. — Я боюсь хотеть! Все, чего я хотел, оборачивалось вредом кому-нибудь... кому я совсем не хотел вреда! Если бы я не боялся хотеть, господи! Какое это счастье — захотел и сделал! Или захотел — но осознанно не стал делать, предвидя, что получится вред. А тут захотел, сделал — и обязательно вина. Захотел чего-то другого — опять вина. Захотел — и мука, мука, захотел — и всегда потом жалеешь об этом! Разве так можно жить?

Ого, подумал я.

— Вот слушайте теперь... Требовали — так слушайте теперь эту чушь!

— Слушаю, — тихо произнес я. — Слушаю, Валерий Аркадьевич.

— Я как будто и не живу, а только... как бы сказать. Только прощения прошу. Думаю не о том, что мне надо и чего не надо, чего я хотел бы и чего — нет, а только о том, не подумали бы обо мне худо. Только и знаю, что доказываю: я не подонок! Не подонок я! И ведь понимаю, что это бессмысленно, — те, из-за кого эта истерика, про нее и не узнают никогда. Но ничего поделать не могу.

Он замолчал, тяжело дыша. Лицо его пошло пятнами, глаза лихорадило.

— Паралич, полный паралич воли. Вот как это называется. Я разучился вообще радоваться и получать удовольствие. Головой понимаю — вот это должно бы меня порадовать, я же это любил. Ничего подобного. Только саднит, что если мне хорошо — значит, я это у кого-то украл, значит, кого-то поранил, замучил. Может, оттого и писать не могу. Доктор, — вскинулся он вдруг, — я же и текстами своими ухитрялся ранить! В голову бы не пришло! А мне говорят — ты меня вот тут вывел, ты меня оскорбил! — помолчал. — Единственное, что окупает мучения над бумажками — удовольствие от работы. Не ожидание гонорара, не предвкушение читательского восхищения — наслаждение процессом. И надежда поделиться собой. Главным в себе — мыслями, чувствами... с близкими людьми. А близкие знай себе обвиняй — на самом деле все не так, мол. И вот ни надежды, ни наслаждения. Страх...

Я наклонил голову и взглянул на него исподлобья. Этого хватило, чтобы он осекся буквально на полуслове.

— А если бы вы смогли преодолеть этот страх, Валерий Аркадьевич, — сказал я, — что бы вы сделали? Вот так вот, первым делом?

Я едва не отшатнулся. Тоска взорвалась в нем из-под пепла так, будто в кабинете взорвалась осветительная ракета.

Еще несколько мгновений он продолжал смотреть мне в глаза, потом сгорбился и уставился в пол. Стало настолько тихо, что слышно было его хрипловатое, прокуренное дыхание.

Я почувствовал, что именно он сейчас ответит. Но не посмел поверить себе.

И напрасно.

— Я... — едва слышно выговорил он. — Я попросил бы прощения... нет, это слабо сказано. Я постарался бы покаяться. Есть одна женщина и один мужчина, я их очень давно не видел. Я бы их нашел и...

Он умолк. Я выжидал долго, но понял, что он ничего больше не скажет.

— Вы думаете, этого хватило бы? Валерий Аркадьевич, а? Чтобы все те колоссальные проблемы отступили для вас на задний план?

— Нет, — сам будто размышляя и у меня на глазах нащупывая ответ, по-прежнему с опущенным лицом, медленно произнес он. — Они не отступили бы на задний план. Но, если бы она сказала: ты не подлец, я получил бы право... говорить. Не только с психиатром. Я получил бы право чувствовать себя правым. Вы понимаете?

Я помолчал.

— У меня было бы, что противопоставить, чем возражать. Понимаете?

Я еще помолчал.

Потом откинулся на спинку своего кресла и чуть улыбнулся.

— Так что же мешает, Валерий Аркадьевич?

Он вскинул на меня растерянный, совсем беспомощный взгляд.

— Попытка ведь не пытка.

— Пытка, Антон Антонович. Какая пытка! Это просто невозможно.

— Хуже-то не будет.

— Вы думаете? — спросил он.

Я пожал плечами. Он все-таки назвал меня по имени.

Он долго сидел неподвижно, пытливо вглядываясь мне в лицо и поскрипывая на выдохах своими бурыми сушеными бронхами. Потом медленно, со стариковской натугой поднялся.

— Сколько я вам должен?

Я коротко оглядел напоследок его лучший костюм.

— Мы проговорили сорок восемь минут, — медленно ответил я. — За предварительное собеседование, длившееся меньше часа, у нас плата не взимается.

Какое-то время он стоял передо мною неподвижно, а потом пошел к выходу. У самой двери вновь повернулся ко мне, с несколько старомодной вежливостью поклонился и отворил дверь.

Ушел.

Я встал и несколько раз прогулялся по кабинету вдоль, да поперек, да зигзагом. У меня дрожали руки.

Одна женщина и один мужчина...

Про меня он, разумеется, и думать забыл. Скотина. Несчастная скотина. Ну-ну.

3. ЗАВЕРТЕЛОСЬ-ЗАКРУТИЛОСЬ

У Сошникова не отвечали.

Я начал звонить минут за сорок до урочного времени, потому что сердце у меня скакало не на месте. Тревожно мне было за Сошникова. Еще с ночи волноваться начал; зная его, я понимал, что в такой ответственный момент, как отъезд невесть насколько невесть куда, у него нервы могут пойти вразнос. Документы потеряет, или билет, или неторопливо пойдет под троллейбус, размышляя о дальнейшей своей судьбе.

И вот впрямь — нет ответа.

А ведь я не знал ни рейса, ни времени отлета или отъезда. Может, он все-таки поехал помаячить у прежней супруги под окнами? На прощание. Я знал и адрес ее, и телефон; однажды, месяца два назад, мне довелось свидеться с его бывшей супругой и дочкой. На меня они вроде тогда не залаяли.

Поколебавшись, набрал — но там не отвечали тоже. Хотя это было как раз нормально: жена на работе, дочь на лекциях или уж где там она коротает время первой пары...

Предупредив Катечку, что меня не будет часа полтора, я ссыпался вниз, на стоянку. С усилием спихнул ладонями тяжелую клеклую корку мокрого снега с ветрового стекла, нырнул в кабину и рванул так, что тормоза заверещали. Будто в крупноблочном боевике типа «собери сам»: спецназ, кишки, постель; погоня. Будто это я опаздывал на трансатлантический рейс в новую жизнь.

Впрочем, в аэропорт ехать было бессмысленно, я ведь даже не знал, летит он или сначала в Москву катит поездом. Ну даже в голову не пришло узнать у него поточнее. Договорились созвониться, и все. Договорились, что провожу, и шабаш. Ан чего получилось.

По питерским узостям и летом-то не шибко разгонишься — при том, что у нас теперь полтора десятка транспортных средств на квадратный метр покрытия и полгорода перерыто, а полгорода перекопано; ну, а уж по ноябрьской жиже, под то и дело срывающимся тяжелым сырым снегопадом и паче того. Только ошметки летели в стороны... впрочем, и от окружающих они летели отнюдь не меньше, то и дело расплескиваясь, будто коровьи лепешки, у меня перед носом, так что время от времени я непроизвольно бодался головой вниз или в сторону, уворачиваясь от летящих, казалось, прямо в лицо комьев и брызг. А если мимо ухитрялся проскочить, скажем, какой-нибудь «камазюка» — впору останавливаться. Но я не останавливался. Лишь дворники принимались лихорадочно гонять жирную грязь вправо-влево.

Добирался я больше получаса.

На мои остервенелые звонки в дверь тоже не отозвался никто. Пританцовывая на лестничной площадке, я отчетливо слышал сквозь дверь, как звонок озверелым шмелем жужжит внутри. Но это был единственный звук, доносившийся изнутри. С минуту я трезвонил, потом понял, что схема действий бесперспективна.

Опрос соседей... Нет, подождем. Не стоит светиться. Мы договаривались созвониться в половине одиннадцатого — сейчас десять сорок восемь. Стало быть, телефонить я начал еще до десяти, и Сошников уже не подходил. Если он все-таки внутри и просто по каким-либо причинам не отзывается, то я все равно здесь и мимо меня он не проскочит. Так что не будем пороть горячку.

Я еще потоптался у двери, а потом, уже неторопливо, окончательно вгоняя и вклепывая себя в спокойствие, пошел вниз.

Ход оказался правильным. Под козырьком у парадного, поставив раздутые хозяйственные сумки на присыпанную снегом лавку, стояли три бабульки и оживленно обсуждали нечто животрепещущее.

— Вона тут он и валялся, вона, в снегу припечатался...

Я рассеянно остановился, как бы выйдя из лестничной духоты и с наслаждением вдыхая свежий, пахнущий снегом воздух. Прищурился якобы с удовольствием. Скосил взгляд влево и вниз: действительно. Отчетливо читалась полузатоптанная последующими передвижениями трудящихся сложной конфигурации вмятина. Выраженная проплешина от задницы, смазанный отпечаток спины и ямка локтя, словно человек сел и сидел тут довольно устойчиво и долго, но в какой-то момент — возможно, в первый момент, садясь — потерял равновесие и опрокинулся на спину, но тут же вернулся к положению, менее расслабленному и предосудительному. Но ни следов крови, ни следов рвоты, ни следов борьбы.

Речь шла о Сошникове.

На какое-то мгновение я его даже увидел, поймав картинку, мерцавшую перед мысленным взглядом бабульки-свидетельницы во время рассказа. Он был в жутком состоянии, я не видел его таким никогда.

Бабульки не обратили на меня ни малейшего внимания.

— И не поздно еще было-то, «Пора любви» не началась... Я иду, а он уж валяется. — Бабулька и вообще упивалась своей теперешней ролью, но слово «валяется» произносила с особенным наслаждением. — Пьянущи-ий! Ну прям лыка не вяжет! Я ему: Пал Андреич, вам помочь? Пал Андреич, простудитесь, шли б домой! А он только улыбается и поет чего-то...

Самое парадоксальное, что она действительно совершенно искренне квохтала и кудахтала над ним в сумерках вчерашнего вечера. Я отчетливо видел, как она даже пыталась поднять его и ушла, лишь совершенно запыхавшись и

отчаявшись. И все это отлично уживалось в ее душе с незамысловатой радостью от того, что высоколобый сосед, про которого то в газетах помянут, то в телевизоре интервью возьмут, НАКОНЕЦ-ТО ВАЛЯЕТСЯ — хотя он просто сидел, обхватив колени руками — и лыка не вяжет. Точь-в-точь как каждую субботу племянник, сантехник Толенька...

— Ну это ж надо, это ж надо, — изумлялась другая бабулька. — А ведь вроде приличный человек, ученый. Всегда вежливый такой.

— Да он и вчера не матюкался. Вообще ничего не говорил, только чего-то пел тихонько так. Буру-буру, буру-буру.

— Ну это ж надо, это ж надо...

— Оне все пьють по-черному, кто ученые-то, — сообщила третья. — Только тайком, чтоб людя́м не видать. На людя́х-то оне чин-чинарем, а как в квартеру войдуть, так путан по телефону скличуть — и водки, водки...

Петербурженки.

Двадцать первого века.

— А раньше вы его пьяным видали?

Какой жгучий и какой болезненный интерес.

А ходил ли Христос до ветру? А не был ли Сергий Радонежский педиком? И, разумеется, спрос порождает предложение, клиент всегда прав, рынок — мгновенно отыскиваются эрудиты: ходил до ветру, ходил, у Луки об этом прямо написано, только при Никоне из синодального текста это место вырезали, чтоб народ не смущать. Был, был педиком, Пересвет его перед Куликовской битвой в зад употреблял, это в одной польской хронике достоверно записано — но ссылаться на это нельзя, вы ж понимаете, на православии государство сейчас свихнулось!

Еще одна драматическая особенность функционирования психики: все давление подсознания и все уловки сознания направляются вдруг на то, чтобы доказать: признанный авторитет — не авторитет, а авторитет тот, кто лучше это докажет.

И вот вместо восхищения оттого, что кто-то, мучаясь телом, как и любой другой, будучи, как и все, подвержен голоду и боли, соблазну и недугу, сумел, несмотря на это все,

СДЕЛАТЬ нечто — заведомое и сладострастное пренебрежение этим сделанным. Именно и всего лишь потому, что этот кто-то остался подвержен голоду и боли, соблазну и недугу... Как если бы однорукий или одноногий калека ухитрился вскарабкаться на Эверест, но ценители взвыли от разочарования, словно увечье не удесятеряет ошеломительность подвига, а, напротив, урезает взятую высоту в десяток раз...

Я пошел к машине. Здесь я узнал все, что можно было узнать. Перед глазами жутко висело виденное бабулькой лицо вчерашнего Сошникова — лицо счастливого дебила с пустыми глазами без зрачков, отваленной челюстью и струйкой слюны на подбородке.

Это не алкоголь.

Хотя он же сам говорил, что собирается выпить с кем-то... как его... с Венькой Коммунякой. Я даже не спросил, кто это.

Так навтыкаться накануне отъезда в Америку обетованную...

Да, собирался выпить. Возможно, выпил. Но такие глаза... нет, не алкоголь.

Венька.

Я утвердился за баранкой, захлопнул дверцу, но не стал заводить мотор, а попытался сначала сообразить, что мне сейчас делать.

Бабулька так и оставила его сидеть. Покудахтала, попугала: простудитесь, шли бы вы домой, спать, завтра пивка, все хорошо станет... Сошников не реагировал, и она, попытавшись его приподнять, надорвалась, отчаялась и ушла. Что было дальше, она не знала.

С достаточной степенью вероятности можно предположить, что до квартиры Сошников так и не дошел. Удивительно, как он до своего парадного дошел. Возможно, его довели. Возможно, тот самый Венька. Дальше — бросил.

Глаза.

Это не алкоголь!

Но любой решит, что алкоголь.

Обзванивать легавки?

Сталкивался я с ними, там редко удостаивают ответами. Нету такого и не было — и не мешайте работать. Я глянул на

часы: одиннадцать ноль семь. В такую позднoту, сколько мне известно, из легавок уже выталкивают в шею.

А если случилось нечто более серьезное, должны были дать знать бывшей семье. Хотя бы потому, что больше некому. Хотя бы для того, чтобы удостоверить личность. Я знал, что Сошников, раз и навсегда напуганный, похоже, еще андроповскими облавами — для меня легенда, как ежовщина или дело петрашевцев, а для него лучезарная юность — не выходит из дому без вороха документов, среди которых при желании вполне можно отыскать адрес и телефон отшелушившейся благоверной.

Ах, Сошников, Сошников. Вечно с тобой не все слава богу. Уж, казалось бы, вот он — счастливый финиш. Что ты еще отчудил?

Куда, интересно, я дел его дискету? Мемориальную, так сказать...

А вот она так и лежит в кармане. Напрочь забыл. Не вынул даже.

Ну и ладно, это не к спеху.

Я выдернул из нагрудного кармана куртки сотовик и снова набрал номер, по которому надлежало бы откликнуться хоть одной из сошниковских дам.

И действительно, на сей раз трубку подняли. Девичий нежный голос сказал без интонаций, подражая компьютеру:

— Хак-хак.

Вот оно что. Когда мы в тот раз виделись, дочка еще не хак-хакала.

— Воистину хак-хак, — ответил я. — Можно сказать, алейкум хак-хак.

Там прыснули вполне по-человечески. Но очень коротко.

— Быстрый поиск на процера, — сказал я. — Дата есть, нет?

Секундная заминка на том конце. Потом мрачно:

— У него винч полетел. Увезли на переформатирование.

Вот даже как. Я зажмурился на миг. Ну, Сошников...

— Куда?

— Памяти не хватает.

— Быстрый поиск на плату.

— Плата найдена.

— Плата экзэ.

— Загружаю.

Было слышно, как трубку небрежно уронили на что-то твердое.

Вся страна говорит на жаргонах. В основном на блатном. Я уж не говорю о матюгах. Бывает, на профессиональном — но значительно реже и уже. Даже отсутствие жаргона у подобающе воспитанного могиканина воспринимается как еще один жаргон — совсем уж выпендрежный и никчемушный, ибо ничей, ни с кем не объединяет и не демонстрирует групповой принадлежности. Куда делись люди, знающие русский язык хотя бы в пределах школьной программы? Ведь они, наверное, не умерли и не эмигрировали все разом! Почему даже московские теледикторы путают, скажем, «довлеть» с «давить», так что слово «самодовлеющий» они, видимо, понимают не как «самодостаточный», а как «самодавящий»? «Надо мной довлеет...» Почему они с числительными вообще уже перестали справляться, из вечера в вечер вываливая на страну перлы типа «около двести пятидесяти боевиков» или «подписи были поставлены более чем трехсот тысячами»? Почему наш интеллигентный президент, стремясь, видимо, быть максимально понятным народу, пахан паханом заявляет перед камерами: «По ним на зоне нары плачут»? Почему корявый, гунявый, дебильный пиджин-рашн сделался мало того, что нормой — знаком причастности к большинству? К свободе и силе?

Странно, что Вербицкий еще и об этом не поговорил... Не успел, наверное.

И вот предельный на данный момент отрыв от нормальной речи и одновременно явный вызов фене и матерщине: индейцы племени хак-хак. Вообще по возможности ни слова живого, лишь компьютерная лексика. Знак принадлежности к группе избранных, продвинутых, более всех иных подготовленных к подъему на следующую ступень цивилизации.

Ну, например, есть такая железяка — материнская плата. Давным-давно ее в просторечии сократили до мамки. Но, когда понадобилось как-то называть обыкновенную живую

маму, которая рожала и кормила грудью, двух мнений быть не могло: плата. В пару к плате нужно нечто мужского рода. Очень просто: процессор. Но слишком длинно говорить — стало быть, коротко и веско: процер. «Родители вместе не живут» будет «плата с процером в разъеме». И упаси вас бог от ненормативной лексики, хотя, например, слово «разъем», да еще в таком контексте, буквально провоцирует заменить одну буковку для вящей эмоциональности. Но вот эмоциональности-то хак-хаки и не приемлют; художественную литературу они, например, не читают принципиально — благо школьные программы это теперь позволяют с легкостью. Я сам видел, как чистили нюх одному юному неофиту именно за «разъемную» шутку и приговаривали: «Запускаем Эн-Дэ-Дэ! Раз бэд кластер!» Плюх! «Два бэд кластер!» Плюх! «Три бэд кластер!.. Четыре... пять... Фатальная ошибка исправлена!»

С две третьего года они стали уже заметным молодежным движением. И пошли куда-то вбок.

Как раз в ту пору американцы опять принялись вещать о своих успехах в создании искусственного интеллекта и о том, какое счастье и гармония всех ожидают, если людей поголовно подключить к единому информирующе-координирующему центру. Приезжал один из первых пропагандистов этой идеи, старик Болонкин, ускакавший в свое время из Союза, потому что тут был ужасный тоталитаризм и полное подавление личной свободы, — и сладко пел в прессе и по ящику: «Возникнет органичное соединение отдельных человеческих особей как бы в единый организм, напоминающий новый вариант царства Божьего. Нечто подобное реализуется в рое пчел или в муравейнике. Каждый получит возможность войти в контакт с любым человеком, будь то популярный актер, политический деятель или просто понравившаяся девушка. Вы сможете общаться с ними, хотя на самом деле вы будете общаться лишь с компьютерными образами этих людей. Учитывая очевидные преимущества такого рода отношений, так же как и риск размолвок, измен и инфицирования, можно предположить, что в недалеком будущем семейные отношения, в том числе и сексуальные, станут преимущественно компьютерными. Методами генной ин-

женерии программа полового влечения вообще будет стерта в генетическом коде как устаревшая. Навсегда исчезнут проституция, ревность и сексуальное насилие. До тех же пор, пока все это существует, искусственному интеллекту будет трудно контролировать мир человеческих страстей».

Это я не отказал себе в удовольствии процитировать свободолюбца по своим записям. Уж очень текст богатый, для психоаналитика — клад.

В порядке реализации стратегического партнерства американцы всерьез — не официально, конечно, а так, без галстуков — предлагали опробовать систему, как только она будет создана, в России. Дескать, она поможет наконец преодолеть глубокий раскол постсоветского общества. И вот перед посольством в Москве и у нас в Питере перед консульством на Фурштадской выстраивались сотни и тысячи мальчишек и девчонок, увешанных, будто рождественские елки роботов, пришитыми или пристегнутыми к одежде дискетами и лазерниками, и стояли, молча уставившись на развевающиеся звездно-полосатые полотнища, под лозунгами вроде: «Вставьте нам чипы, нам все равно думать не о чем!» А дипломатические сошки снисходили к недорослям по мраморным ступеням и гуманитарно раздавали самым активным десяток-другой мелкого, но фирменного счастья — от самоновейших аудиодисков до жвачки...

Молодые патриоты-скины́ не раз пытались молодых хак-хаков разгонять и бить. Однако словарный запас у скино́в был на уровне «Америка — параша» и «Мочи пидорасов!», контрдоводы и того беднее, а позитивная программа сводилась вообще неловко сказать к чему — что и понятно, ведь люди с более обширным словарным запасом бить, как правило, не ходят, им просто некогда, они слов набираются; зато кулаки у них всегда, так сказать, в оперативной памяти.

Не помогало. Побить получалось, а переубедить — нет.

Стратегические партнеры от великих щедрот, наверное, и рады были бы всем желающим аборигенам понавставлять всевозможные чипы куда ни попадя, но быстро оказалось, что до искусственного интеллекта опять далеко, как до звезд, и демонстрации рассосались. Однако дело хак-хаков жило и, судя по всему, где-то подспудно побеждало. Вот и

вполне нормальная, хоть и вполне балованная девчонка Сошникова сбрендила...

А ведь, возможно, через несколько лет и мой станет обо мне вот так — равнодушно и абсолютно вчуже. Пристрелят меня, а он кому-то сообщит: процеру железо попортили. Когда, кто? Не знаю, памяти не хватает.

— Алё? — спели в трубке.

— Алена Арсеньевна, здравствуйте, — поспешно проговорил я. — Вы меня, возможно, помните — меня зовут Антон Токарев. Ваш бывший муж знакомил нас пару месяцев назад. Мы должны были с ним сегодня пересечься...

— С ним какое-то несчастье, — с несколько преувеличенным, педалированным трагизмом в голосе произнесла Алена.

И было в ее голосе еще что-то.

Словно она ждала какого-то несчастья, словно знала — несчастье с бывшим мужем обязательно приключится. А его все нету и нету, день нету, два — но вот, наконец-то...

— Вы уже знаете?

— А вы тоже знаете?

— Нет, только какую-то ерунду от его нынешних соседей.

— А нас разбудили по телефону ни свет ни заря, — трагизм в ее голосе испарился, сменившись ощутимым раздражением и обидой на Сошникова за то, что их разбудили так рано.

— Я тоже пытался вас вызвонить часа полтора назад.

— Ох, мы с дочкой после того, как нам позвонили из больницы, уснули снова и вот только сейчас в себя приходим, Антон...

— Из какой больницы?

— Сейчас, — неподалеку от трубки зашуршала бумажка, и затем Алена с трудом, едва ли не по складам, сообщила, куда отвезли Сошникова. Наверное, спросонок так записала, что теперь прочесть не в силах, подумал я.

— Вам сказали, что с ним?

— Нет, толком ничего.

— Я сейчас туда еду, и у меня машина, — сказал я. — Вы к нему собираетесь? Заехать за вами?

Трубку тут же прикрыли ладонью, но сквозь заглушку угадывался оживленный нечленораздельный щебет. Все было ясно. Она, или даже они обе, исключительно под проклятущим давлением рудиментарной этики, дабы в больнице не подумали о них плохо и дабы самим не утратить уверенности в том, что они очень хорошие люди, и впрямь — хоть и с натугой, нога за ногу — собирались его навестить. Но теперь меня Бог послал.

Трубка открылась.

— Вы знаете, Антон, я действительно собиралась к нему поехать, все-таки не чужой человек, но такое трагичное совпадение, дочка загрипповала. — Голосок был теперь ханжески жалобный. Лицемерить она так толком и не научилась. Впрочем, для Сошникова, вероятно, и столь дурной игры хватало; а меня, поскольку мы с ее бывшим мужем, похоже, корешковали, она мигом поставила с ним вровень. — Уже сейчас высокая температура, а ведь еще только утро. Я хотела бы вызвать врача. Если вы направляетесь туда, передайте Паше, что я постараюсь к нему заглянуть, как только девочка поправится. И отзвоните мне потом, — приказала она. — Я хочу знать, что, в конце концов, произошло. Нас совершенно перепугали. Мол, он совсем не в себе... Ах, он же такой пьющий! Как мы в свое время с ним намучились! Чего я только не делала!

— Хорошо, Алена Арсеньевна, — с трудом расцепив непроизвольно стиснувшиеся от отвращения зубы, самым вежливым образом ответствовал я. — Обязательно передам и обязательно отзвоню.

На том мы и расстались.

Сошников действительно был совершенно не в себе. Все с той же блаженной улыбкой, которую я словил еще с памяти наткнувшейся на него ввечеру бабульки, но со свежим фингалом под глазом и со следами запекшейся крови вокруг ноздрей, он сидел на голой койке в приемном покое и тихонечко, на одной ноте, что-то тянул себе под нос. И слегка раскачивался в такт — хотя движения были очень неловкие, болезненные. Глаза оставались пустыми, как у младенца, и слюна по-прежнему поблескивала на подбородке.

Кошмар.

— Вы его заберете? — шмыгая носом, с нескрываемой надеждой спросил молодой врач, возившийся с ним все утро.

— Вообще-то я просто знакомый, — ответил я нерешительно и пересказал слово в слово всю отмазку, которой меня снабдила Алена. Врач сокрушенно внимал. — Хотелось бы сначала послушать, что, на ваш взгляд, стряслось.

— А шут его знает, — в сердцах ответил врач.

История Сошникова, насколько мне удалось реконструировать ее по рассказу врача, а затем — мента из вытрезвителя, была такова.

«Хмелеуборочная» подобрала его около половины девятого на улице. Это значило, что после того, как соседка отчаялась его поднять и ушла, он просидел в снегу недолго, но, поднявшись, пошел не домой, а куда-то. Куда — этого, вероятно, никто никогда не узнает. Во всяком случае, его, натурально, сочли вдрызг пьяным, обласкали обычным образом, утрамбовали в зарешеченную клеть и, покатав по городу минут сорок — вплоть до полного заполнения клети, — сгрузили в легавку. В отличие от остальных, он вел себя тихо, но запредельно невменяемо, и уже этим — как первым, так и вторым — был подозрителен. Попытка оформить документы на задержание согласно регулярным процедурам успехом не увенчалась — ни на один вопрос он не то что даже не отвечал, а попросту не реагировал. Как бы не слышал. Сидел на манер достигшего нирваны йога, рассеянно страдал от уже полученных травм, тихохонько пел и раскачивался из стороны в сторону.

И при этом совершенно не походил на пьяного — ни агрессии, ни сонливости, ни вихревого стремления добавить. Хотя спиртным от него и впрямь припахивало слегка. Весьма слегка.

Люди в легавке опытные, хотя долго разбираться в нестандартных случаях — не склонные. Быстро сообразив, что дело тут, пожалуй, не в водке, а в чем-то более серьезном, серьезные же дела всегда чреваты лишними проблемами, дежурный лейтенант склонился к гуманизму. «Отпустим мы тебя, понял? — сказал он. — Отпустим! Вали!» Отпускать в ночной, с вымершим транспортом, ноябрьский город невменяемого по неизвестным причинам человека — тот еще гуманизм. Но он был проявлен.

И, вероятно, Сошников к утру просто замерз бы, блаженно возлежа в сотне метров от человеколюбивой легавки, но один из молодых рядовых, еще не вконец осатаневший от каждодневного общения с буйными заблеванными трудящимися, упросил непосредственного своего начальника взять Сошникова в очередной рейд. Доктора наук, попихав ему обратно в карманы обнаруженные там бумажки, сызнова определили в ту же зарешеченную клеть и повезли по черным улицам с тем расчетом, чтобы раньше или позже проехать мимо дежурной больницы. Проехали, разумеется, позже, а не раньше — клеть к этому моменту уже была полнехонька, и кто-то из клиентов успел на Сошникова помочиться, а кто-то, обидевшись на явно высокомерное нежелание Сошникова беседовать, от души вмазал в рыло и огрел по балде. Милиционер клялся и божился, что следы насилия на Сошникове не милицейские, а алкашеские, и я сразу ему поверил, потому что чувствовал, как шло дело. На совести блюстителей порядка были только полуоторванный рукав — и травмы ребер, кажется, вплоть до перелома; но они к следам насилия не могли быть отнесены, их без рентгена не видать.

Словом, Сошникова-таки выгрузили у больницы. Однако принимать его там категорически не хотели. После бесплодных уговоров милиция плюнула и, оставив потерпевшего на ступеньках перед приемным покоем, попросту поехала дальше по своим действительно многотрудным делам. Сошников посидел немножко, а потом прилег и подремал, оставив в снегу у подъезда след уже не сидящего, а именно лежащего человека. Около трех часов ночи над ним сжалились и взяли внутрь.

В общем, ему несколько раз крупно повезло. Ему попадались действительно добрые, способные к сочувствию люди. В больнице ему дали еще подремать — но, проснувшись, он отнюдь не переменился к лучшему. Только глаз совсем заплыл. Ему даже сделали промывание желудка. Спохватились!

Кошмарнее всего было то, что я, на пределе своих возможностей вслушиваясь в Сошникова — не слышал и не чувствовал ничего. Он был чист и пуст, как дитя в утробе. И, как у всякого ребенка в этом минусовом возрасте единственным впечатлением является теплая уютная тесная тьма, так и в Сошникове жило одно-единственное впечатление, которое я мог разобрать лишь на грани восприятия: скупо, но уютно освещенное помещение и негромкая боевитая песня — которую он и продолжал уже сам тянуще мурлыкать на одной ноте: «Аванти... ру-ру-ру... ру-ру-ру-ру... ру... бандьера росса... бандьера росса...»

— Что это он наяривает? — непроизвольно спросил я.

Молодой полупростуженный доктор досадливо шмыгнул носом.

— Все время так. По-испански, что ли... Наверняка из какого-нибудь мексиканского сериала, их же как собак нерезаных. Не знаю.

— И я не знаю, — сказал я.

В приемном покое было холодно, как в морге или мясном складе. Сошников в академическом своем костюме, при галстуке, изгвазданный, мятый, босой, в каких-то заскорузнувших потеках и кислых пятнах, с отдельно плещущим рукавом, сидел на койке, классически застеленной коричневой клеенкой до половины, и зябко поджимал пальцы на кафельном полу. Рефлексы не барахлили. Но меня он не узнавал. То стоячими, то расхлябанно болтающимися глазами почти без зрачков он благодушно смотрел перед собой — я покрутился перед ним и так, и этак, позвал его несколько раз, сам назвался... по нулям. Ру-ру-ру-ру.

То-то супруге и доченьке радость.

А ведь они нипочем сюда не явятся. И его отсюда не возьмут.

— Ну, хорошо, — сказал я врачу, распрямляясь после относительно недолгих попыток наладить с Сошниковым хоть какой-то контакт. — Хорошо, Никодим Сергеевич. Вот вы с моим коллегой провозились уже пару часов. Вы можете хотя бы приблизительно... и, разумеется, неофициально... сказать, что с ним такое приключилось? Повторяю, мы с ним

виделись совсем недавно, и он был в прекрасном расположении духа и вполне нормальном состоянии.

Молодой медик со старорежимным именем Никодим, клокоча и булькая переполненным носом, тяжело вздохнул. Глядел он на меня безо всякой симпатии.

— Наркотиками ваш приятель не баловался?

— Нет, — ответил я. — Совершенно определенно — нет.

— Шут его знает, — снова сказал Никодим. — То есть выпить-то он явственно выпил, но аккуратно. Однако понимаете, сейчас столько развелось всевозможных психотропных средств... Надо быть сугубым специалистом именно в этой области, чтобы в таких вот ситуациях отвечать ответственно и определенно. Может, он в водку себе чего-то добавил, чтоб шибче цепляло, и перестарался, не сообразив, что психотомиметик и алкоголь могут подействовать кумулятивно. А может, случайно что-то попало, — совсем уж неуверенно добавил он. — По крайней мере, следов иглы нет.

— А почему он поет так долго одно и то же?

— Ну, опять-таки я не специалист. Возможно, последнее внешнее впечатление так сказалось. Последнее перед тем, как химия ему впаяла по мозгам.

— Анализы вы делали? Кровь, мочу... Какая, в конце концов, химия?

— Анализы у нас платные, — огрызнулся Никодим. — Вообще вот так, с улицы, мы не берем. Нужно направление, нужна справка с работы или по месту жительства, нужно заявление ближайших родственников... Вы понимаете, что ваш приятель у нас находится фактически противозаконно? И, — его наконец прорвало, — если с ним что-то случится, я буду отвечать, как проводивший нелегальное лечение! Никто не станет разбираться, наркоман он или не наркоман. Раз есть следы действия наркотика — значит, наркоман. А я — соучастник. Мне это надо? Вы вот сами говорите, что друг, коллега, а пришли и ушли. А я, человек совершенно посторонний, — шею подставляй!

Все было ясно. Рынок.

Я неторопливо и невозмутимо извлек из внутреннего кармана пиджака бумажник, оттуда — стодолларовую бумажку.

— Где у вас оплачивают госпитализацию?

Никодим нервно облизнул губы.

— Да вы знаете... Собственно, ваш друг еще не зарегистрирован у нас поступлением, и я не вижу смысла запирать его тут... к нам ведь если попадешь — потом не скоро выберешься. Я мог бы оставить его, скажем, на сутки и провести все анализы неофициально. Частным, так сказать, порядком.

— Двое суток, — сказал я. — Мне надо подготовить его семью.

И с каменной ряшкой, достойной крестного отца всей психиатрической мафии города Питера, сронил купюру в стремительно вскинувшуюся Никодимову ладонь. У Никодима екнул кадык, купюра куда-то рассеялась, и врач стал похож на врача — деловитый, целеустремленный, опытный.

— Послезавтра я смогу ответить на все ваши вопросы, Антон Антонович. Найдете меня на седьмом отделении или в лаборатории. Скорее, думаю, уже на отделении. В прошлом квартале у нас как раз установили замечательный швейцарский аппарат...

— Подробностями меня, ради бога, не обременяйте, — перебил я. — Только результаты.

Никодим понимающе кивнул:

— Да-да. Понимаю. Извините.

Счастливый Сошников продолжал петь.

Судя по всему, его уже мало беспокоило то, что он совсем ничего не может дать семье. И что его мозг никому не нужен. И то, что его ждут не дождутся в обетованном Сиэтле, тоже оказалось, если сделать правильный глоток, не слишком-то важным. Ру-ру-ру-ру-ру...

Из машины я честно позвонил Алене. Как ни странно, она откликнулась.

— У вашего мужа... простите, бывшего мужа — сильнейший стресс, — сказал я.

— Он что-нибудь мне передавал? — опасливо спросила она. — Просил?

— Нет. Врачи рекомендуют ему полный покой, по крайней мере до тех пор, пока они не найдут причину стресса.

Поэтому сейчас они стараются держать его в полной изоляции.

— А вы его правда видели? — почему-то спросила она.

Некая странность была в ней. Некий микрозазор между тем, как следовало бы ей при ее характере и их отношениях вести себя в данных обстоятельствах — и тем, как она себя на самом деле вела. Чего-то я не понимал, и меня это раздражало.

— Нет, меня не пустили, — ответил я. Я не хотел оставлять ей ни малейшего шанса увидеть его таким. Смешно, но я бы хотел, чтобы ему дали Нобелевку, он бы приехал к бывшей жене на белом коне, сронил деньжат с тем видом, с каким я — Никодиму и, весь в объективах телекамер, убыл с какой-нибудь юной нимфой в Сен-Тропез. За него хотел. Вместо него.

Мечтать так он еще в детстве, наверное, разучился.

В трубке раздался отчетливый вздох. Словно далеко-далеко за излучиной ночной пароход прогудел — так примерно я почувствовал: по моим последним словам она поняла, что я чего-то главного не знаю. И вдруг раздался поспешный и очень ненатуральный стрекот:

— Надо же, беда какая! Ведь он на днях должен был за границу уехать, на работу, а вот поглядите... Ах, судьба! Он так ждал. Что же это могло приключиться с ним такое ужасное? Ах, он такой неприспособленный...

— Всего вам доброго, — сказал я.

Потом я навестил легавку, номер и адрес которой честно сообщил санитару молодой милиционер, ломившийся в приемный покой ночью. Там я выяснил все, что оставалось выяснить, и с абсолютно искренней благодарностью пожал сошниковскому спасителю руку. У того глаза слипались после рабочей ночи, но до конца дежурства оставалось еще два часа, и он рад был хоть пять минут скоротать, поговорив о хорошем. О хорошем себе. Из-за дверной решетки выли, ругались, угрожали и хохотали, как в безумном обезьяннике, дежурный лейтенант с кем-то опять разбирался, потел и явственно мечтал всех убить — а мы беседовали о нравственном законе, о помощи ближним... Честно говоря, мент не меньше Никодима заслужил какое-нибудь материальное по-

ощрение — но я сразу почувствовал, он бы не взял. Совсем зеленый. Как доллар.

Потом я посидел немного в машине, размышляя, и позвонил Коле Гиниятову — тоже милиционеру, но совсем из другой епархии, и к тому же члену нашего тайного общества. Удостоверившись, что он дома, я рванул к нему.

С Колей мы знакомы были сто лет. Он принадлежал к тем абсолютно нормальным славным людям, у которых все идет нормально и всегда как бы к лучшему. Все тяготы бытия, которых, конечно, избежать он не мог, были ему по щиколотку. Отлично, честно воевал — и ни царапины. Вернулся без никаких синдромов и истерик, не озверев и не отчаявшись, просто с нормальными седыми висками. Быстро нашел работу. Удачно женился, и, хотя с его Тоней, на мой взгляд, можно было потолковать лишь о предметах конкретно-вещных, что где почем и какой завтра обед, — я видел: Коля счастлив, пуговицы на рубашках и стрелки на брюках у него всегда в состоянии идеальном, в доме всегда чисто, уютно и есть, чем поживиться и где уединенно прилечь, если голоден и устал. Иногда я ему даже завидовал. В конце концов, парный духовный поиск, в отличие от щей да каши, штука далеко не каждодневная; а вот штопать самому себе носки подчас бывает некогда, а подчас — обидно.

С ним было легко и просто дружить. А когда я рассказал ему свой замысел — он только восхищенно поцокал языком, от души пожал мне руку и коротко сказал: «Тошка, ты человек с большой буквы. Если перейдешь от слов к делу — я в команде».

Тони дома еще не было, а у Коли нынче оказался свободный день. Грех так говорить теперь, но тогда я подумал: повезло. Мы расселись, по интеллигентскому обыкновению, на кухне, он стремглав разметал чашки по столу. Беден выбор у людей, если они не хотят надираться: чай да кофе. Не минералку же для разнообразия разливать на двоих? То ли дело у выпивающих: пиво, вино сухое, вино мокрое, коньяк, водка, джин, виски, бурбон-одеколон...

Прихлебывая густую, сбитую с сахарной пенкой растворяшку, я кратенько обрисовал нежданно-негаданно возникшее интересное положение. В работе по Сошникову Коля самым непосредственным образом участвовал и теперь испытывал такую же отчаянную, сродни отцовской, обиду, как и я.

— Ну, и откуда этот сволочизм? — угрюмо осведомился он, когда я закончил.

— Ясно, что Сошку траванули. Но кто, зачем и как — непонятно. Химические частности, возможно, выяснят в больнице, хотя, откровенно говоря, не уверен. Похоже, химия хитрая. Не клофелин. В обычной больнице такую вряд ли расколют. Но, может, хоть в чувство Сошку приведут. Столь частные частности нам, в конце концов, не так важны. А вот кто и зачем — придется выяснять. Нам придется. Кроме нас, больше некому.

— Венька? — сразу взял он быка за рога.

— Да. Это единственная зацепка. Найти его, думаю, будет несложно: сосед, двумя этажами ниже, так сказал Сошка. Просто тебе это по должности и по навыкам сподручнее...

— Разумеется, — согласился Коля и несколько раз увлеченно кивнул. Я чувствовал разгорающийся в нем азарт.

— Версия такова: тебе его имя назвал сам Сошников. Скажем, в ментовке, куда его привезли. И посмотрим реакцию. Во-первых, на то, что у Сошникова совсем не весь разум отшибло и, во-вторых, что мы так скоренько на названное имя вышли. Ведь вариантов не столь уж много: либо Венька сам работал, либо видел, кто работал, поскольку при этом присутствовал. Вероятность того, что он ни при чем, разумеется, есть, но крайне малая.

— Абстрактная, — добавил Коля, сделав пренебрежительный пасс левой рукой. Кулаком правой он подпирал щеку. — Совершенно абстрактная. Сошников шел надираться с этим Венькой, так? С алкоголем ему был подан некий препарат, так? Мог он в один вечер квасить в двух местах? Теоретически — да, теоретически человек может за вечер вдеть и в пяти местах, и в десяти... я и сам, покуда не обженился, так поступал, — со скромным достоинством вставил он. — Но практически такой человек, как Сошников — вряд ли.

— Сюрпризы всегда возможны, — предусмотрительно ответил я.

Ни черта я не был предусмотрителен. Я был преступно беспечен.

Я и не подозревал, насколько своей фразой о сюрпризах попал в точку. Я и не подозревал, в какую игру вляпался. И Колю вляпал. Этак простенько — взял и послал посмотреть реакцию...

И потому его гибель — на моей совести.

Взгляд сверху

Мутно-серая хлябь за окошком и сумерки в комнате, загустевающие с каждой минутой. Словно это не комната, а батисфера, неторопливо, но бесповоротно соскальзывающая на ниточке троса в ледяную бездну.

От прикуриваемых одна от другой сигарет, которые Вербицкий уже не садил даже, а буквально жрал, щипало язык.

Телефон, слегка раскачиваясь, дрейфовал по волокнистым сизым волнам.

Фраза, бездумно брошенная твердым, веским и ледяным, словно металлическим, юнцом, — превратилась за прошедшие два дня в манию.

Еще одной манией стали попытки понять, кого этот юнец напоминает. То ли Вербицкий мельком встречал его когда-то совершенно в другой обстановке, при других обстоятельствах — то ли он просто был на кого-то похож. Это ощущение нестерпимо зудело под черепом, жужжало, как назойливая оса на оконном стекле. Но память за стекло не могла уцепиться и бессильно съезжала к исходной точке. Бессилие бесило.

Телефон лез в глаза и бесил еще отчаяннее.

Вчера, выкурив больше пачки, описав по комнате вокруг проклятого аппарата километров восемь сложных петель, Вербицкий позвонил ей в деканат. Поразительно, но среди бумажного барахла, давным-давно безнадежно мертвого, остывшего еще В ПРОШЛОМ ВЕКЕ, но так и плесневеющего по дальним ящикам, у него сохранилась двадцатилетней давности записная книжка. Он ее отыскал. Книжка сберегла ТОТ номер.

Но он был навешен уже кому-то совсем другому, какой-то загадочной, как там сказали, мясной диспетчерской.

Тогда он, совсем озверев и постановив себе, что не сдастся, позвонил в справочное и узнал телефон деканата. Потом на последних каплях высокооктанового озверения позвонил и в деканат. Но в деканате сказали, что она здесь больше не работает.

Но у кого-то отыскали ее домашний телефон.

Все приходилось начинать сначала. Повторить попытку немедленно — у него недостало сил, горючее кончилось. Отложил на завтра.

Завтра превратилось в сегодня еще ночью. А уже опять вечер.

Он решительно ткнул окурок в ворох горько пахнущей трухи в пепельнице и тряским пальцем принялся крутить вихляющийся диск. Сердце лупило под левую лопатку, как стенобитная машина, все тело сотрясалось, и в глазах темнело от ударов.

Он узнал ее голос сразу.

Но не сразу смог ответить. Только когда она уже чуть утомленно сказала «Слушаю» в третий раз и, похоже, собралась повесить трубку, он сумел наконец продавить сквозь горло ее имя:

— Ася...

— Да... — немного удивленно сказал ее голос.

— Ася. Это, — он судорожно улыбнулся, точно она могла его видеть, — Валерий Вербицкий. Может быть, вы помните... такого?

Пауза была едва уловимой.

— Конечно, помню, — ровно сказал ее голос.

— Я звоню, потому что... похоже, не могу так больше жить. Давно не могу. Я хочу попросить у вас прощения.

Ее голос не ответил.

— Ни для чего, — спохватился и поспешно заговорил он. — Честное слово, ни для чего. Просто мне невмоготу дальше скрываться как ни в чем не бывало. Я давным-давно мучаюсь, честное слово. И вот надоумил один добрый человек. Взять да и позвонить и просто сказать: простите меня.

Он умолк.

— Весной я прочитала вашу книгу, — произнес вдруг ее голос. — «Совестливые боги». Мне очень понравилось, Анд-

рей. Сейчас редко кто пишет настолько просто и от сердца. Либо заумь, либо кровь да помойки.

Вербицкому показалось, что пол комнаты из-под него выдернули. Началось свободное падение. Но — свободное. Свободное!!!

— Потом я посмотрела: она издана еще в две втором. Неужели у вас с тех пор ничего?

— Ничего, — хрипло подтвердил он, продолжая рушиться сквозь сигаретный дым.

— Ужас, — сказал ее голос. В нем не было ни грана издевки, только сочувствие. — Ужас, что творится...

— Ася, нет! — панически крикнул он. — Вы не знаете ничего... — Он готов был уговаривать ее не прощать. Ему стало жутко, что она простит, не ведая, что именно прощает; и он так и останется НЕРАСКАЯННЫМ. — Мне сначала надо... так же невозможно!

— Да я знаю все, Валерий, — сказал ее голос. — Андрей мне рассказал давным-давно. И про ваш визит к нему в институт, и про портфель, и про излучатель... Знаю.

Падение кончилось, и удар был страшен. Лязгнули зубы. Позвоночник хрустнул.

— Он знал? — вырвалось у Вербицкого.

Ее голос молчал.

— Вы снова вместе? — тихо спросил Вербицкий.

— Да.

— Слава богу, — облегченно вырвалось у него. С души будто свалился камень, о существовании которого Вербицкий даже не подозревал. Так давно носил, что привык и перестал замечать. — Слава богу... Как же вы сумели?

— Сначала было очень тяжело, — честно сказал ее голос. — А потом мы снова повстречались... собственно, я к нему пошла. Вот как вы говорите — не могла больше жить в пустоте, и все. Думаю, была не была. Прогонит — так хоть буду точно знать, что не нужна. А он ждал. Так легко получилось... — Она коротко, глубоко вздохнула. — Целый вечер, помню, сидели на кухне и все рассказывали друг дружке. Каялись. И в тот же вечер друг дружку простили. И, знаете, было бы ужасно, если бы не простили. Так и не узнали бы, насколько от всего происшедшего стали умнее, добрее, тверже... — Голос запнулся на миг. — Да, собственно, если бы не простили, то и не стали бы. Это очень трудно объяснить. А приходите в гости, Валера.

Пол опять разъялся, и воздух засвистел в ушах.

— Ася...

— Это никакая не вежливость, — сказал ее голос. — Нелепо нам было бы после всего быть вежливыми. Я серьезно.

— Но... Андрей...

— Андрей будет рад. Вы же такие друзья были!

Вербицкий снова скрипнул зубами.

Ее голос, несколько приглушенный, как если бы она отвернулась от трубки, позвал:

— Андрей! Подойди, пожалуйста. Представляешь, это Валера Вербицкий!

Вербицкий с перепугу едва не кинул трубку на рычаги. Успевшие слегка подсохнуть ладони снова вспотели.

— Здравствуй, Валера, — сказал его голос.

— Здравствуй, Андрей, — сипло ответил Вербицкий.

— Валера, я вот что хочу... сразу, — вдруг напрягшись и став, как в давнюю пору, чуть застенчивым, сказал его голос. — Сразу. Прости меня, Валер. За ту кассету. Я был... Жизнерадостный кретин, вот кто я был. Очень прошу: прости. Если можешь.

Комната, поддавая Вербицкого по пяткам, запрыгала мячиком.

— Андрюха... — выговорил Вербицкий.

4. ЗАДАНИЕ МОЕЙ ЖЕНЫ

И все-таки, наверное, некое предчувствие у меня было. Никогда я не давал таких напутствий, а тут вдруг будто само собой сорвалось:

— Ты поосторожнее там. Ничего с ним вместе не ешь и не пей. И почаще мне сообщайся.

— Разумеется, — беззаботно ответил Коля. — Сегодня ввечеру доложусь. Я свободный нынче. Немедленно и начну.

— Хорошо. С соседями поговори. Впрочем, не мне тебя учить.

— Да уж да, — засмеялся Коля.

И тут из моей куртки, висящей на вешалке в прихожей, призывно запищал телефон. Я вскочил. Почему-то, сколько себя помню, я не мог откликаться на звонки неторопливо и с достоинством — всегда подпрыгивал и бегал, сломя голову и колотясь об мебель, будто всю жизнь ждал какого-то чрезвычайно важного сообщения. «Христос воскрес!»

«И на сколько же процентов наметились позитивные сдвиги?»

Впрочем, па Симагин, когда я ему принес этот анекдот, сказал, что он с бородой, да с такой седой, что в старом варианте фигурировал еще Брежнев. Только там на сообщение ему о Христе ответ был другой, сейчас не помню, какой именно.

— Извини, — сказал я Коле уже на бегу. Он сделал понимающее движение рукой, а потом взялся за свою чашку с кофе, совсем забытую на время обсуждения задания.

Звонок действительно был важным. Это позвонила Кира, а зачем бы она ни позвонила — хоть спросить, как пройти в библиотеку или сколько сейчас градусов ниже нуля, — для меня все было важным. Я любил ее до сих пор. Любил так, что...

Стоп.

Это никого не касается. Да и речь сразу становится бессмысленной. Ну как любил, как? Даешь незатасканную метафору! А где я ее возьму? Читатель ждет уж рифмы *розы*...

Я жить без нее не мог.

А с нею — не мог тоже.

Как и она.

— Привет, Тоша.

— Привет, ненаглядная.

— Все иронизируешь, жестоковыйный. Каменносердый.

— Никогда и ни единым словом. Посмеиваюсь сквозь слезы иногда, вот и все. Помнишь, в свое время Петросян свои смехопанорамы вечно начинал цитатой из кого-то великого: я смеюсь, чтобы не заплакать.

— Если бы выставить в музее плачущего большевика... Ладно. Я вот чего: ты не мог бы заскочить сегодня? Есть разговор.

— Разумеется. По первому зову — у ваших ног. Только, если не секрет, — про что разговор? Хочу, знаешь, морально подготовиться.

— Вообще-то я собираюсь представить господину начальнику рапорт о проделанной работе. И попутно задать несколько методологических вопросов относительно текущей операции.

— Понял. Через минут сорок буду. Хлебчик с тобой?

Это мы Глеба так звали иногда.

Я отвозил Киру в родилку. Мы уже знали, что ежели будет сын — то он будет Глеб. И вот подъезжаем, а Кира — она волновалась, конечно, но держалась молодцом, — бережно гладя живот, взмолилась как бы в шутку: «Глеб наш насущный даждь нам днесь...»

И появился на свет Глебчик-Хлебчик.

— Мама с ним в гости ушла к Антонине Витальевне.

Понятно.

— Это надолго. Как ты, возможно, помнишь. Старушки языками зацепятся про то, как хорошо жилось при Леониде Ильиче, а дети уже давно собирались какую-то гигабайтовую игрушку обнюхать.

— Выезжаю, — после короткой паузы сказал я и дал отбой. Аккуратно засунул телефон в карман и вернулся к Коле. Он поставил пустую чашку на стол и опять сделал понимающий жест.

А мне что-то не уходилось. Я помялся у стола, не садясь, и пробормотал, сам не понимая, зачем сорю словами попусту:

— Ну, давай, что ли. Счастливо. И не ешь там... Впрочем, я это уж говорил.

Коля засмеялся и вылез из-за стола меня проводить. Говорить было не о чем; пустопорожней болтовни мы с ним не терпели оба, а о деле все возможное было сказано. Теперь, пока не получена новая информация, можно лишь воду в ступе толочь, но на это всегда жалко времени, да и мозги шерстью обрастают. У порога мы обменялись рукопожатием, я вышел на лестницу, и дверь за мной захлопнулась. Больше я Колю не видел.

Подмораживало. Усиливался ветер, и утренние тучи — сырые, вислые — сделались теперь слепящими и неслись, как из-под кнута, кое-где уже порезанные лезвиями синего света. Сырой снег покрывался коркой, а истоптанные тротуары, кочковатые от рыхлых комьев и продавленных до черного асфальта следов, быстро стекленели. Оскальзываясь, я торопливо добрался до машины, с минуту погрел мотор, а потом, стараясь помнить об осторожности на явно грядущем гололеде — до чего же он осточертел! — покатил к Петровской набережной.

Родители Киры, вполне высокопоставленные и при большевиках, и ныне, обитали в некогда чрезвычайно престижном доме напротив стерегущих Неву китайских львов, и в первое время после знакомства с Кирой я тихо, но вполне по-пролетарски недоумевал: каким чудом в такой семье выросла такая девочка? Как говаривали древние китайцы о Тао Юаньмине, ухитрившемся оказаться едва ли не самым добрым и мечтательным из их бесчисленных гениальных стихотворцев, при всем при том жизнь свою прожив во время чудовищно долгой и кровавой междоусобицы: в грязи вырос лотос. Так и тут. Это уж потом — к чести своей должен сказать, что весьма скоро — я послал ко всем свиньям классовое чутье и разглядел, что отец Киры прекрасный мужик, работяга; на таких людях держался и большевистский режим, иногда позволяя им подниматься до среднего руководящего уровня, и нынешний на таких держится. Ни хрена не изменилось, откровенно говорил он мне во время редких наших неторопливых бесед, выхлебывая обязательную вечернюю рюмашку чего-нибудь безумно породистого и крепкого — мне эти названия были смутно знакомы лишь по зарубежной литературе. Ни хренища. Как раньше работать не давали, так и теперь не дают. Только раньше — по идеологическим соображениям, а теперь при помощи трудовой и финансовой дисциплины. Что произвол партократии, что неукоснительное соблюдение законности... Будто, если у чиновной гниды партбилета нет, перед ним сразу становится слаще прогибаться! Где раньше один шиш торчал, которому отдаться надо, там теперь десять надуваются... И, если

дам наших рядом не оказывалось: бля! Бля-бля-бля! Трам-там-там!

Последние полтора года Кира с Глебом время от времени отъезжала пожить у родителей, пытаясь этими квазиразлуками спасти между нами хотя бы добрые товарищеские отношения. Сейчас снова был такой период, и мы оба знали, что больше не съедемся никогда.

Мы познакомились, смех сказать, в одном из канонических мест съема — в библиотеке. Правда, это была не просто библиотека, а Библиотека Академии наук — на Васильевском, в конце Менделеевской линии. Оба по оплошности прискакали на абонемент, когда там как раз началось так называемое проветривание, и надо было как-то скоротать полчаса, что ли — ну, и разговорились, то да се. Молодые, болтливые.

Впрочем, честно: я влюбился сразу и наповал.

В нее нельзя было не влюбиться. Веселая, добрая... солнечная. Нежная, заботливая...

Так.

Все сказал, нет?

Мы были счастливы. Мы все успевали. У нас все получалось. Мир оказался прекрасен.

А его отдельные последние недостатки мы, чуть постаравшись, совместными усилиями вполне в состоянии были устранить радикально и навсегда. Я как раз придумывал «Сеятель» и взахлеб пел канцоны о нем ежеутренне и ежевечерне — а Кира восхищенно внимала, умно и дельно советовала, ласково кормила вкуснятиной, гладила рубашки и любила. А я ее обожал.

У меня был дом. У меня был тыл. У меня была преданная до мозга костей единомышленница и помощница, которой можно доверить все. У меня была младшая мама. Что еще мужчине надо, когда он лбом прошибает стены?

Потом родился Глеб, и материнский инстинкт, доселе безраздельно направленный на меня, сориентировался наконец на тот объект, для которого он природой и предназначен. А я этого даже не заметил. Мне бы поискать себе иное, принципиально отличное от приемлемого лишь в паре, место во вновь возникшем треугольнике отношений. А я как

раз дошлифовывал состав спецгруппы и одновременно доводил математический аппарат расчета горловин. Я был слишком занят, слишком увлечен удивительными перспективами и упоен тем, какой я гений... Слишком — даже для того, чтобы заметить и понять происходящее, и уж подавно, чтобы действительно пытаться искать.

Двух лет не прошло — и мы оба, со все возрастающей натугой держа семью и все с большим напряжением улыбаясь и воркуя как бы ни в чем не бывало, в глубине души считали друг друга законченными эгоистами. Кира, уезжая по выходным обедать к родителям, перестала брать меня с собой и там на пару часов давала волю слезам. А я принялся с мрачным и яростным фанатизмом работать по двадцать часов в сутки и тешить себя идиотской мыслью, что вот я учиню некий совсем уж несусветный успех, и жена вновь станет меня уважать.

И еще два года мы боролись. Отчаянно. Изо всех сил. Мы ведь продолжали любить друг друга. Лучше бы уж разлюбили — легче было бы. Отчуждение осыпалось не на пепелище — оно рухнуло прямо на нежность, прямо на сумасшедшую потребность друг в друге!

Но против перемены полярностей в душе — все усилия тщетны. Против базовой системы ценностей не устоят даже самые светлые и пылкие чувства. Система ценностей их перемелет. Она что-то вроде BIOSa в компьютерах: машина работает либо так, либо никак.

Вставьте нам чипы...

Иногда и впрямь хочется.

Разница лишь в длительности и мучительности перемалывания. Мелкое чувство — будто фурункул вскрыли: чик — и пошел. Глубокое чувство — будто обе ноги размесило гусеницей неторопливо и злорадно наехавшего танка.

Мораль: не позволяйте себе глубоких чувств, живите мелко.

Большинство так и поступает.

Но у нас не получилось.

Наверное, все могло бы пойти иначе, если бы Глеб души в папке не чаял, если бы льнул ко мне, как в свое время я льнул к Симагину; если бы приставал с вопросами и в глаза

глядел неотрывно, если бы, как я когда-то, бросался к двери с радостным визгом, заслышав скрежет моего ключа...

Неужели мне настолько хотелось повторить собственное детство, прожить его сызнова, только так, чтобы я был Симагиным, а Глеб — мною? Возможно. Моего детства у меня было слишком мало. Непозволительно, калечаще мало. Каких-то полтора года.

Но он не бросался и не льнул. Маленький ребенок относится к отцу в точности так, как относится к нему мать этого ребенка — особенно если видит отца не так уж много, фактически лишь по выходным, да и то чуть не весь выходной отец молчит, работает. И тут даже неважно, родной это отец или нет. В точности так, как относится мать. А у нас все сделалось принужденно, вымученно, обескровленно и болезненно — и Глеб, разумеется, это ощущал. И к четырем годам уже совсем во мне не нуждался.

Я ничего не в состоянии был поделать — ни словом, ни поступком. Словом — это значило бы совершенно не по-мужски, бессмысленно и до отвратительности жалко низать укоризны и плакаться в жилетку родному человеку, который, хоть ты всю душу изведи на шелестящие гирлянды пустых, как покинутые коконы, слов, ничем ПОМОЧЬ НЕ СМОЖЕТ, ибо тут не единовременный товарищеский поступок нужен — нужно разительно перемениться, стать иным человеком... но если тебе требуется иной — не честнее ли и не добрее попросту, не мучая никого, пойти искать этого другого? А поступком — это значило молча, без объяснений прогнать ничем, в сущности, не провинившуюся передо мною подругу. Что, конечно, с общепринятой точки зрения вполне по-мужски, но с моей — как-то непорядочно.

А тут еще мой проклятый дар! О котором я никому никогда не мог рассказать. Мои знания — которых я никогда ни перед кем не имел права обнаружить. Они вообще не позволяли отмякнуть ни на миг. Мы засыпали рядом, Кира панически прижималась ко мне, будто встарь; тоненькая, хрупкая, горячая — тут уж, казалось бы, можно впасть в безмятежность. Но я-то отчетливо помнил сверкающее облако самозабвения, на котором почивал вначале! Я-то еще хлестче ощущал, что рядом со мной — уже не она, не та моя жен-

щина, что прежде; что той моей уже нет вообще, нигде, и никогда не будет больше, словно она умерла! Словно это я сам ее убил! Мне-то зазор между поведением и чувством был ощутим ежесекундно!

В первое воскресенье октября мы презрели все неотложные дела и поехали гулять на острова — имелось там у нас задушевное местечко неподалеку от дворца. Было пасмурно, и пронзительно задувало с моря, обдирая праздничную листву с перепуганно скачущих ветвей. Зябко тряслась рябь на серых протоках. Я разрывался. Мы с Глебом кидали в воду веточки и смотрели, чья скорее плывет, и каждый громко и азартно, жестикулируя и приплясывая, болел за свою. Веточки капризничали, вели себя непредсказуемо и причудливо; то одна вырывалась вперед, то ее вдруг закручивало на месте и вырывалась вперед другая, я пытался рассказывать Глебу про парусность, течения и прочую гидродинамическую науку — а самому мне вспоминались наши игры в летней парковой канаве с па Симагиным и то, как он мне вкручивал про уравнения Бернулли; а я, ничего почти не понимая, слушал завороженно, потому что за его словами роились удивительные тайны, и он их знал и отдавал мне. Как все по форме было похоже — и не похоже ни на вот столечко по сути. Потому что теперь было ветрено, и серо, и сыро; и Глебу было не интересно, он то и дело прерывал меня. А Кира мерзла. Я обнимал ее, упаковывал под руками, распластывал и раскатывал по себе, чтобы спасти от промозглого ветра, — она была такая маленькая и тонкая, что, казалось, вся может уместиться у меня на груди. И она сама втискивалась в меня, спасалась... Потом мы принялись целоваться так исступленно, словно только что открыли для себя это занятие, словно в первый раз — хотя на самом деле в последний раз. Но стоило нам заняться друг другом, Глеб тут же принимался ревниво дергать меня за руку и требовать внимания, и тащить наблюдать за нескончаемо длящимся состязанием веточек, прыгающих на серой ряби... И я шел за ним, заискивающе пытаясь приголубить его плечо ладонью — а он, как всегда, выворачивался из-под моей руки и, отступив на шажок, взросло и укоризненно заглядывал мне в глаза, как бы говоря: ну неужели тебе до сих пор невдомек,

что меня обнимать можно только маме? И я опрометью возвращался, снова отогревал ее, целовал ей руки — и она целовала мне руки, но чего-то главного уже не было ни в ней, ни во мне; а Глеб, пыхтя, пытался нас разнять, раздвинуть и сварливо, как старший, делал замечания: «Вы что, с ума сошли? У вас руки немытые! Вон же люди смотрят! Как вам не стыдно!»

И делалось очевидным, что надо кончать, надо прощаться с надеждой, чтобы не мутила она душу и не мешала отстригать не оправдавшие себя варианты жизни... и вспоминался кто-то из великих, Мамардашвили, кажется: «Дом разваливается, а мы его чиним, потому что надеемся: он будет хороший. Вместо того чтобы построить другой дом. Или — бесконечно чиним семью, которая уже явно распалась, потому что надеемся: завтра будет хорошо. Решительности, которую может дать только отказ от надежды, у нас нет. Решительности уйти и начать сначала. Надежда — как тот пучок сена перед мордой осла, что вечно идет за этим пучком». От собственной образованности иногда выть хочется. Но вместо того чтоб завыть, только твердишь себе: это — не более чем интеллигентский выверт, выпендрежная лажа, ибо на самом деле если бы, например, первобытные люди в свое время не ПОНАДЕЯЛИСЬ посредством долгих и неблагодарных трудов добыть огонь трением — мы до сих пор бы ели бифштексы лишь после лесных пожаров...

Надежда — мой комплекс земной. Сказал психолог.

Вечером Кира спокойно собралась и вместе с Глебом уехала к родителям. На время. Мне надо дописывать диссертацию, а это же, ты сам, Тоша, понимаешь, удобнее делать у них, чтобы тебе не мешать и Глеба на тебя не навешивать. Там неработающая бабушка, так что сам бог велел.

И я поблагодарил ее за заботу. И мы клятвенно пообещали друг другу хоть на пять минут созваниваться ежедневно — чего, разумеется, не смогли исполнять ни я, ни она.

И вот прошел месяц.

Зарезервированные за мной крюки и штыри на царственной вешалке в головокружительной прихожей были предупредительно свободны. И мои шлепки стояли, ожидая ме-

ня, в полной боевой готовности — пятки вместе, носки врозь.

Когда Глеб был дома, Кира, встречая меня, всегда командовала: «Глебчик! Тапочки папочке!» И Глеб, маленький и деловитый, словно ученый щенок, садился на корточки и начинал рыться в изящной просторной тумбе с ворохами домашней обуви внутри — снисходительно повинуясь непонятно зачем играющим в безмятежность взрослым; вытягивал из пересыпающихся недр мои шлепанцы и, неся их на вытянутых руках, будто крысят за хвосты, аккуратно ставил передо мною. Я воспитанный, говорил его взгляд, я тоже знаю, что такое ритуал. Я тоже умею делать вид, что все в порядке.

Кира ждала меня, прислонившись плечом к косяку двери в гостиную. Она улыбалась. Наверное, можно было бы ради встречи по-дружески чмокнуть ее в щеку.

— У тебя усталый вид, Тоша, — сказала она. — Ты голодный? Пообедаешь?

— А ты?

— Без меня не станешь?

— Не стану.

— Я же растолстею. И ты меня разлюбишь.

Я смолчал. Она смешалась.

— Правда, мне нельзя лопать с тобой наравне, — беспомощно потянула она тему дальше, чтобы поскорее заколеровать некстати выскочивший блик любви и нелюбви. — Я же должна беречь фигуру... В стройном состоянии я ведь гораздо более ценный кадр нашего подполья, разве не так?

— Так, конечно, так, — сказал я, старательно улыбаясь, и, затолкав ноги в шлепки, пошлепал в ванную мыть руки. Она следовала за мной.

— Я могу салатик съесть за компанию, — сообщила она.

— Смилуйся, государыня рыбка, скушай птичку.

— Птичка, скушай рыбку! — с готовностью засмеявшись нашей древней присказке, тут же подхватила Кира.

— Договорились.

— Тогда айда ближе к камбузу. Или как? На улице холодает, иди в душ нырни погреться, пока я на стол собираю.

— Да нет, я ж на машине, что мне холода.

А чувствовал я, как она разрывается между желанием, чтобы я повел себя, как... как соскучившийся муж — и страхом, что я себя так поведу. И заранее терялась, не в силах решить, как быть, если такое случится.

Но я старался даже ненароком не коснуться ее. Совесть. Дурацкая совесть.

Совесть — дура, штык — молодец...

М-да. Пошутил.

Впрочем, приняться за суп так, что затрещало за ушами, совесть мне не помешала, увы. Я действительно оголодал, мотаясь по городу, а было уже около четырех. К тому же готовила Кира отменно.

Да вообще Кира...

Стоп.

— Как диссертация? — с безукоризненно тактичным уважением к официальной версии осведомился я, когда ложка моя выброшенным на песок карасем забилась по дну тарелки.

— Хорошо. — Кира клевала свой салат и улыбалась, поглядывая, как лихо и стремительно я побеждаю первое. Перехватив мой взгляд, улыбнулась еще шире. — До чего же славно Антошенька кушает! Нет, правда, приятно смотреть, как ты ешь. Ты не пытаешься скрыть своих эмоций. А хозяйке это такая радость...

Она изо всех сил старалась сказать мне что-нибудь приятное. И не кривила душой, я чувствовал. Но она этим как будто прощения просила. Как будто прощалась.

— Диссертация движется. Но вообще-то, я не о ней хотела...

— Да это уж я понимаю, — засмеялся я, отставляя тарелку. — Что я смыслю в ваших...

Она вскочила так стремительно, что вилка от ее руки едва не прыгнула со стола.

— Ты погоди отодвигать-то, еще мясо будет...

Словом, к тому моменту, когда она начала свой важный разговор, я несколько размяк от уюта и, главным образом, еды. Химия, ничего с ней не сделаешь.

Мне вспомнились глаза Сошникова.

Химия химии рознь.

Все-таки неправильно устроен наш мир, если капля какой-то отравы, поточным образом сваренной какими-то работягами под трепотню о кабаках и тетках, способна вот так неотвратимо и, возможно, необратимо аннулировать в умном, мягком, добром человеке его неповторимую душу. Со всеми ее сложностями, мучениями, прозрениями. Падениями и взлетами. Вдохновением и раскаянием. Возможно, богоданную. И, по слухам, бессмертную.

Смешно.

— Ну, вот, — сказала Кира. — Вот теперь можно разговаривать. Да погоди, не мой посуду, потом.

— Не могу, — ответил я, вставая.

Посуда — это была моя постоянная нагрузка. Я ее перехватил еще на заре нашей совместной с Кирой жизни — и Киру тогда это крайне порадовало. Квалификации тут не требовалось ни малейшей, а процесс мне нравился. Не то что наука или, скажем, психотерапия наша. Результат сразу виден, и результат прекрасный, вдохновляющий: было грязное, и вот через минуту, стоило чуть поскрести — уже чистое. В жизни бы так.

Но в жизни это настолько же сложнее, насколько человек сложнее тарелки.

Я с маниакальным, почти истерическим наслаждением умывал керамику и расставлял в ячейки просторной, роскошной сушилки. Впрочем, по моим критериям в этом доме все было просторным и роскошным — и, когда я вошел сюда мужем, мне никак не удавалось приучить себя к мысли, что оно, в определенной степени, теперь мое. Во всяком случае, и мое тоже.

Как оказалось на поверку — правильно не удавалось.

— Значит, так, — деловито сказала Кира, когда я завертел блистательный кран, вытер руки и вернулся к столу. — Теперь у нас в программе рапорт и желание посоветоваться. Сначала рапорт. — На столе перед нею, пока я брызгался над раковиной, появились лист бумаги и аккуратно отточенный карандаш. — Вторую горловину мы с Кашинским прошли наконец. С трудом, но прошли. Психоэнергетический градиент составил, — она начала неторопливо, но быстро и четко, как все, что она вообще делала, чертить график, — по моим прикидкам, ноль тридцать шесть, а то и ноль сорок...

Некоторое время мы работали, как в старые добрые времена, и постепенно и отчуждение, и грусть, и боль, и обида куда-то отступили. Все-таки общее дело сближает. И хотя я ни на миг не забывал о том главном, ради чего поручил Кире именно эту операцию и именно этого пациента, профессиональный навык взял свое; мы принялись, как ни в чем не бывало, уточнять ее предварительные расчеты нынешних значений базовых параметров, потом взялись за преобразование каждого из них поэтапными коэффициентами и так набросали вполне пристойный цифровой каркас следующей горловины... Я отмечал краем сознания: она отлично поработала. Точно и профессионально. При минимуме ситуационных касаний, при минимуме контактного времени; высший пилотаж. Умница моя...

Не моя.

Своя. Сама по себе.

— Но вот что я хотела, — нерешительно произнесла она потом, когда мы отложили листки с расчетами. — Понимаешь... Как ни мало мы общались напрямую, мне кажется, он начал... как бы это выразиться попроще. По мне сохнуть.

Давно пора, подумал я и едва не спросил вслух: а ты? Но я и без вопросов чувствовал, что сегодня она ЖАЛЕЕТ его куда глубже и сердечней, чем каких-то две недели назад. Куда глубже, чем полагалось бы в нормальной связке типа «врач — пациент».

Она начала относиться к нему НЕ КАК К ПОСТОРОННЕМУ.

Вадим Кашинский обратился в «Сеятель» пять недель назад. Назвался биофизиком, сказал, что прочел о нас в рекламном проспекте, попросил помочь. Я беседовал с ним часа два. История вроде бы обычная: полтора десятка лет интересной и любимой работы псу под хвост, никому ничего не надо, денег не платили, лаборатория распалась-рассыпалась, все в конце концов от бескормицы брызнули кто куда в погоне уж не за длинным, а хоть за каким-нибудь рублем. Тоска, ничего не хочется, мыслей нет... Даже в той прикладной фирмашке, куда он попал теперь, работать с пустой го-

ловой становится все труднее. Новая генерация, молодые дрессированные ремесленники, которым плевать, интересно им или неинтересно, творчество у них или конвейер, лишь бы вовремя бабки капали, — дышат в затылок и вот-вот сожрут.

Не понравился мне Кашинский. Не ощущал я в нем угасших творческих способностей — не было их у него, пожалуй, никогда. Разве лишь вот такусенькая искорка, давным-давно задавленная и затравленная им самим по неким *не вполне для меня отчетливым, но отнюдь не возвышенным* — в этом я мог поручиться — мотивам.

Да и не в этом даже дело, честно говоря. Что я, Свят Дух, чтобы штангенциркулем мерить диаметры искр. У этого, дескать, диаметр достойный, будем лечить, а у этого не дотянул полутора миллиметров, так что пусть пойдет и умоется. Нет. Он мне как человек категорически не понравился. Ощущалась в нем некая сладострастная разжиженность. Он был сломан, да — но он был с его же собственным удовольствием сломан. Настоящий сеятель всегда тоскует о свободе, ему ее всегда мало; и чем сильнее в нем творческий посыл, этот жизненный стержень, вокруг которого, как небосвод вокруг Полярной звезды, неважно и подчиненно мотается все остальное — тем ему радостнее, когда этого остального делается поменьше. И тем возрастает опасность слома, если остального становится побольше. А Кашинскому, казалось, в радость именно когда жизнь, будто лошадь в яслях, хрумкает этим его стержнем, хилым и хрупким, как хвощ; именно когда его ломают, он ощущает себя наиболее свободным — *от способности и необходимости думать, предвидеть*, понимать... Какое уж тут творчество.

И еще — он был не вполне искренен, я это чувствовал. Конечно, это не криминал, не обязан же он был совсем раздеваться передо мной. Но все же что-то он скрывал существенное, и это было неприятно.

Долгая мука, долгая пытка унижением в этом человеке, во всяком случае, ощущалась отчетливо. Но и мириады мелких предательств висели на нем, и горестная смесь вины и гордости за них разъедала ему душу, словно кислота, — как и

у всех, кто убедил себя, будто предает вынужденно, от необходимости и безвыходности...

Он был очень слабым человеком — но, в конце концов, и Сошников был очень слабым человеком; однако иначе. И Сошников мне нравился, я готов был защищать его от всего света, как птенца своего. А вот Кашинского — нет.

И я взъярился на себя. Что за снобизм, в конце концов! Этот мне нравится, а этот нет — с какой стати вообще брать подобные соображения в расчет! Подумаешь, неприятны слабые. А не фашист ли вы, Антон Антонович? Белокурая бестия нашлась, фу, ты ну, ты! Да мама тебя бы попросту отшлепала, доведись ей это узнать. А па Симагин так бы посмотрел...

Словом, за то, что он мне не понравился, я себя же и виноватым почувствовал надолго. И поклялся, что из кожи вон вылезу, а сделаю из него конфетку. Эйнштейна хотя бы дворового масштаба.

Он же, при всей своей внутренней трухлявости, сидел передо мною печальный и вальяжный, с интересной бледностью на челе, *жестикулировал скупо и отточенно, говорил негромко и неторопливо, интеллигентно, складно...* такой благородно несчастный, такой невинно поруганный — что у меня возникла еще одна мысль.

А надо иметь в виду, что на тот момент прошло каких-то два дня с тех пор, как Кира отъехала. Писать диссертацию. Я лез на стену со скрежетом зубовным и понимал, что надо что-то решать, иначе мы так всю жизнь и промучаемся, нетрезво вихляясь то поближе друг к другу, то подальше, и оба с ума сойдем. И Глеба сведем.

И еще надо иметь в виду одну очень интересную деталь.

Решаюсь говорить об этом лишь потому, что для истории моей это весьма существенно. Коротенько. Когда я привел ее в первый раз к нам в гости и познакомил с родителями, я не мог всеми своими фибрами не почувствовать, что ей... как бы это...

Словом, так.

Если бы не наши с Кирой безоблачные, на самом подъеме находившиеся отношения, она влюбилась бы в па Симагина, как я в нее полгода назад, — с первого взгляда и напо-

вал. В лепешку бы для него расшибалась. Баюкала и нянчила. Вот такие пироги.

Что я почувствовал в па — не могу рассказать. Я совершенно не понял того, что почувствовал. Редко со мной такое бывало — а тут на уровне бреда. Будто он уже знал ее в какой-то иной жизни... Чистой воды, извините за выражение, метемпсихоз. Но во всяком случае, с меня хватило ощущения того, что сейчас она ему приятна скорее как дочка, нежели как юная красивая женщина; и на том спасибо. Ни к ней, ни к нему я, разумеется, не стал от всего этого хуже относиться — но постарался некоторое время приглашать ее в гости пореже. А через месяц мы сняли крохотную однокомнатную квартирку на Голодае — и было нам с Кирой так хорошо, что от всех посторонних влияний мы отгородились надолго. И разваливаться стали изнутри, а не под воздействием какой-либо внешней силы.

Но я отметил тогда для себя, что Кира, как и подобает благополучной, утонченной и одаренной красавице — правда, не нашей эпохи, не рыночной, — питает явную слабость к поверженным титанам и к пожилым обессилевшим гениям. Строго говоря, это характеризовало ее с самой лучшей стороны. Просто я в эту категорию никак не входил.

А сидящий передо мною Кашинский, сколько я в этом вообще смыслил, был просто вылитый лысый Прометей без зажигалки.

Сколько душераздирающей, надрывной и сопливой лирики я по молодости исчитал! А лучше всех то, что я чувствовал тогда, сформулировал в свое время, как ни странно, Суворов, человековед далеко не блестящий — сформулировал с четкостью и лаконизмом добротной разведсводки: «И еще есть выражение любви. Высшее. Уйти от существа любимого. Навсегда. Бросить. Порвать. Чтобы всю жизнь потом вспоминать. С горечью и болью».

Так и хочется эти отрывистые, как из шифровки, фразы дополнить шапкой типа «Юстас — Алексу»...

Одного недочувствовал и недоговорил изменник — потому, вероятно, что, вживаясь в характер своей героини, волей-неволей сделал ее эгоистичной себе под стать. Если это и впрямь любовь, а не наспех замаскированное красиво парадоксальными словами трусливое бегство за выгодой — ни почем не уйдешь, покуда хоть как-то не позаботишься, чтобы существо любимое поскорее оклемалось после этакого, с позволения сказать, высшего и, во всяком случае, нетривиального выражения любви. Самое простое — это не произносить гарных, но явно припозднившихся речей о чувствах, а наоборот, полной сволочью себя напоследок поставить, чтобы не тосковали о тебе, а возненавидели... Но можно и получше придумать.

И я, прописав Кашинскому несколько вполне обычных сеансов на кабинете, в рекордные сроки набросал план-график восстановления его трухлявой искры, лет по меньшей мере двадцать назад затоптанной им же самим, потом тщательнейшим образом рассчитал первую горловину, прикидочным — вторую и, позвонив Кире, поручил их реализацию ей.

Положа руку на сердце: я колебался. Презрев занятость, я отправился за решением в паломничество по святым местам — к той квартирке на первом этаже, которую мы снимали с Кирой в начале совместной жизни... потом умерла мамина мама, мама осталась с па Симагиным, а нам с Кирой достались бабушкины апартаменты — тогда мы оставили изначальную обитель.

Глупо было это делать, и совсем уж глупо рассказывать об этом — но я туда изредка ездил. Приникал, так сказать, к истокам.

Лучше бы я этого в тот раз не делал. Ничего там не изменилось, только сильно разрослись кусты, высаженные между приземистой серой пятиэтажкой и тротуаром, так что первого этажа и не видно было почти. Я лишь по коричневым раздвижным решеткам, еще до нас навешенным внутри кем-то из предыдущих жильцов для вящей безопасности, узнал наши окна. Но даже не замедлил шага. Миновал засиженного юношеством бронзового юнгу на КИМа. Продефилировал мимо магазинов — куда во времена оны я радостно бегал за снедью, где мы с упоением покупали наши первые общие вещи, ерунду всякую вроде ситечка для кофе или комнатной антенны... И пошел обратно.

Паломничество, против ожиданий, на этот раз лишь ожесточило меня. Раньше подобные свидания — вот этот кирпичик! вот эта щербинка в асфальте! вот эта ветка! вот эта дверь, ну вот же! — сладко подчеркивали нерасторжимую связь с былым, намекали на возможность возвращения, возобновления — и на сердце возгоралась светлая тихая печаль с изрядной толикой надежды. Вся — сродни надежде. Теперь омертвевшие декорации исчерпанного, сработавшегося счастья лишь подчеркивали окончательную и бесповоротную оторванность тех дней от дня сего, полную невозможность их возврата ни под каким видом, ни в какой доле — и вызвали одно только раздражение, даже злость, как надругательство над самым святым, как всякий явный и наглый обман: по видимости все то же, а по сути другое.

Это ощущение и было решением. Невозможность так невозможность. Стало быть, если не назад, то вперед.

Спецоперация, таким образом, пошла в три уровня. На первом проводился нормальный курс терапии с обычной целью повысить динамичность психики. На втором — был начат ряд психотерапевтических спектаклей с целью вернуть Кашинскому уверенность в себе и в своих силах. А на третьем, предназначенном уже не столько для него, сколько для Киры, я ожидал, что она, своими собственными стараниями залечив Прометею печенку и вложив утерянную зажигалку в его персты, СВОИМИ РУКАМИ ЕГО СДЕЛАВ, с ним и останется. Будет пестовать и баюкать. Материнский инстинкт. И станет ей не до меня. И перестанет она мучиться из-за меня. Не мог я больше терпеть, что она из-за меня мучается. Не мог.

Он в ее стиле, да и, видимо, человек действительно пристойный.

А он... Ну, Киру просто нельзя не полюбить.

А я... Я, если буду мучиться один, уж как-нибудь сдюжу. Это легче.

И вот лед тронулся.

— А ты не ошиблась? — спросил я недоверчиво.

Она чуть качнула головой.

— Я бы не стала тебе говорить, если бы не была уверена.

— Ой, тщеславие бабье! — засмеялся я. — Иду это я, красивая, а мужики кругом так и падают, так и падают, и сами собой в штабеля укладываются!

У Киры замкнулось лицо.

— У меня возникло такое подозрение, — сухо произнесла она. — Это не планировалось. Это сбой. Я сочла своим долгом тебя предупредить.

— Пренебрежем, — сказал я легкомысленно. — Во всяком случае, пока. Даже если ты и права, легкая влюбленность делу не помешает, наоборот. Мужчинам, а в особенности творцам, это полезно. Музы там, все такое прочее...

— Антон, — взволнованно сказала она. — Я тебя не понимаю. Ты никогда не был ни жестоким, ни даже недальновидным. Всегда максимум лечебного эффекта при максимуме безболезненности. А теперь... Я никогда не сталкивалась с таким поворотом, и теперь мне не по себе. Я не знаю, как быть.

— Кира, — сказал я, напустив серьезность, — я, прости, тоже не понимаю. Из-за чего сыр-бор? Тебе что, неприятно, что тобой, скажем, восхищаются или неровно дышат?

Она с силой провела ребром ладони по скатерти. На меня она уже не смотрела. У нее вдруг стали пунцовыми щеки, лоб, даже шея.

— Я, видишь ли, к этому чувству... которое любовью называется... отношусь, Антон, с чрезвычайным пиететом. С чрезвычайным. Он неплохой человек, по-моему. Замотанный, измученный, очень кем-то когда-то униженный. Наверное, наделавший ошибок — как всякий хороший человек. Это парадоксально, да? Подонки творят свои подлости нарочно и ни секундочки не мучаются потом, и все как бы в порядке вещей. А хорошие, стремясь к каким-то идеальным кренделям, такого, бывает, наворотят — потом всю жизнь не расхлебать... Он очень хороший и очень несчастный. Добрый, веселый, умный.

О ла-ла, с предсмертной веселостью подумал я.

— Знаешь, он даже на твоего отца чем-то похож, по-моему.

Почему-то она никогда не называла па Симагина моим отчимом, только отцом. Что, в общем-то, и правильно.

— Я не хочу, чтобы он из-за меня вдруг начал страдать. В конце концов, посмотри на это с точки зрения нашей задачи. Он только глубже в депрессию свалится.

— Полагаю, нет, — ответил я.

— Ну, тебе виднее, — нехотя сказала она. — Как знаешь. Но у меня в связи с вышесказанным вопрос более мировоззренческий. Прежде я как-то не очень задумывалась на эту тему, но теперь, при перспективе доставить кому-то боль... Вот что. — Она глубоко вздохнула, словно собиралась нырять. — Насколько порядочно то, что мы делаем?

Это был вопрос.

Я и сам уродовался над ним не одну бессонную ночь в ту пору, когда нащупывал путь. Выкручивал совесть так и этак, ставил на ребро и плющил на наковальне — и вслушивался в ее писк, пытаясь понять, что она там пищит и имеет ли она право пищать, когда речь идет о материях столь серьезных.

Почему интрига и обман, с неимоверной легкостью прощаемые тем, кто напропалую пользуется ими в личных и своекорыстных целях, вызывают такое негодование, если к ним прибегают во имя целей благих? Потому ли, что всякий нормальный человек вполне знаком с первым вариантом — сколько раз сам подличал и врал по мелочам, это в порядке вещей, без этого не проживешь... Но к тому, кто толкует о благе, всегда относятся с подозрительностью, как к заведомому лицемеру, и рады-радешеньки уличить его, ниспровергнуть, стащить с пьедестала в грязь.

А еще потому, что к тебе относятся так, как ты к себе относишься. И ты, верно уж, человек-то хороший, коли к благу устремился, именно потому, что хороший, жестоко и мучительно совестишься оттого, что подчас вынужден пускаться во все тяжкие. Тут-то тебя и ловят за руку. Тебе совестно — стало быть, ты и впрямь виноват. Вот, скажем, ради жилплощади нормальному человеку никогда ничего не совестно — он никогда и не виноват поэтому!

А главным образом потому, что твое благо отнюдь не обязательно будет признано благом теми, кто тебя обсуждает и выставляет оценки. Вот в чем дело. Буханка хлеба, или тетка посисястей, или навороченный «Чероки» — это всем понятное, очевидное, бесспорное благо. А вот твои измышления и грезы — манят далеко не всех. И, стало быть, для очень многих из формулы уходит множитель «благо» — и остается одна голая неприглядность.

Ладно, бог с ним, с благом. Не надо громких слов. Я совершаю нечто не ради благих целей, а просто ради своих целей. Я не стану обсуждать, хороши эти цели или нет, являются они благом или не являются. Я следую им и буду им следовать. И, как любой иной человек, пойду ради них на... многое. Кто-то идет на многое ради жилплощади, а я — ради того, чтобы сеятели сеяли. Все.

Для того чтобы сделать что-либо, нужно соблюдать всего лишь три условия. Во-первых, нужно начать это делать, во-вторых, нужно продолжать это делать и, в-третьих, нужно завершить это делать.

В такие минуты мне до тоски отчетливо, как совсем недавний, вспоминался последний день детства. Как мы с па Симагиным бодро топаем в химчистку, — знать не зная и ведать не ведая, что через несколько часов мама так страшно и необъяснимо заболеет и потом рухнет мир. И он рассказывает что-то про неразрешимые вопросы и необратимые действия. Как страшно их совершать. Как не с кем посоветоваться. Что это за кошмар — когда ответственность ни с кем нельзя разделить. На каком-то созвучном той эпохе примере — про революцию. И я тогда даже понял кое-что...

Мудрый па Симагин.

Вот что я подумал сейчас. Наверняка найдутся трудящиеся, которые заподозрят меня, как в свое время принца датского Гамлета заподозрили, в гомосексуальной влюбленности в отца. Ну, в отчима. Уж слишком часто я его поминаю. И слишком, дескать, в превосходных степенях по отношению ко всему остальному, которое, дескать, как колос, пораженный спорыньей, в сравнении с чистым... Отдаю себе в этой опасности отчет.

И плюю на нее.

— Кира, — сказал я проникновенно. — Это мы когда-то очень подробно обсуждали. И, как мне казалось, пришли к полному единодушию. И работали вместе пять лет. Не было у меня в этом деле человека ближе по духу. Неужели ты тогда

так горячо соглашалась со мной единственно потому, что ЛУЧШЕ КО МНЕ ОТНОСИЛАСЬ?

Это был запрещенный удар, и я прекрасно это знал. Но мне нужно было, чтобы она, во-первых, некоторое время еще работала с Кашинским и, во-вторых, в очередной раз убедилась, что я гораздо хуже, чем ей мнилось прежде.

У нее задрожали губы. Какое-то мгновение мне казалось: она заплачет. Но она сдержала себя.

— Я к тебе, — вздрагивающим голосом сказала она, — и теперь очень хорошо отношусь, Антон. И если ты мне не веришь, это беда.

Я ей верил. Но беда была в том, что никакое, даже самое замечательное отношение друг к другу уже не могло нам помочь.

Последняя фраза, пожалуй, как раз и исчерпала до донца ресурс ее преданности, и она, сама того не ощутив, стала значительно от меня свободнее, чем минуту назад. Мой отвратительный выпад буквально отшвырнул ее прочь — как легкую щепочку грубо отшвыривает буруном от проревевшего рядом катера.

Какое-то мгновение она еще всматривалась в меня прежним взглядом. Ждала обратной волны. Потом ее лицо замкнулось, как бы захлопнулось.

— Да, — сказала она. — Похоже, нельзя долго играть людьми безнаказанно. Пусть даже и в благих целях. Привычка смотреть на людей, как на шахматы, до добра тебя не доведет, Антон. Не доведет, — встряхнула головой. — Наверное, ты уже спешишь... как всегда. Иди, не трать время. Мы обо всем поговорили, я все поняла. Глебу передать привет?

— Разумеется, — сказал я.

— Я так и думала, — ответила она.

Лифт неторопливо спускал меня с эмпиреев, когда сотовик снова запищал.

— Значит, такие дела, — произнес азартный голос Коли мне в ухо. — Я покамест вокруг да около хожу. С соседями поговорил, с участковым с их... Действительно, есть такой сосед двумя этажами ниже. Вениамин Петрович Каюров, двадцать восемь лет. Работает в статистическом отделе горбюро по трудоустройству. Запомнил?

— Да.

— Отзывы самые положительные. Ни пьянок, ни приводов, ни шума в доме... Никаких подозрительных знакомств и связей. Похоже, пустышку тянем. Но я еще посуечусь. Сейчас продумываю, под каким соусом выходить на прямой контакт. Вечер у меня будет, скорее всего, занят всем этим плотно — так что следующая связь, наверное, утром завтра.

— Хорошо, — ответил я. — Отлично, спасибо. Завтра так завтра. Тогда до завтра.

Дискета Сошникова

Различие понятий «свободы» и «воли».

Слово «свобода» мы начали трепать лет двести назад всего лишь, и, как правило, синонимично исконному своему слову «воля».

Однако!

То, что называется свободой, стало возможным лишь тогда, когда один-единственный человек стал самостоятельным и самодостаточным вне племени, клана, общины, семьи, цеха или иного объединения. Свобода — это возможность действовать согласно индивидуальным побуждениям при обязательной индивидуальной же ответственности. Поэтому свобода индивидуума не нарушает свободы других индивидуумов, а коли нарушает — вот тебе и ответственность: сам виноват, суд идет. Поэтому же свобода — состояние, дающее душевный комфорт и уверенность в будущем. Это состояние нормальное и при нормальных условиях — неотъемлемое. И оно совершенно не противоречит религиозной идее посмертного спасения, что во времена формирования представлений о свободе было крайне ценным. Да и по сей день сильно облегчает пользование свободой.

Воля же — это возможность действовать согласно своим желаниям вопреки установкам того объединения, в которое человек влит, как его ЛИЧНО НЕСАМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ фрагмент. Воля — это всегда предательство, совершенное по отношению к своему коллективу, всегда восстание против него. Она по самой природе своей направлена против иных индивидуумов того же коллектива. И следовательно, она — безответственность за свои действия. Поэтому она всегда

конечна, и за нее всегда ожидается расплата. Поэтому состояние воли всегда сопряжено с чувствами вины и страха, которые кого ограничивают в привольном безумии, а кого, напротив, окончательно приводят в мрачный экстаз. Эх, погуляю напоследок — а после хоть в острог, хоть на плаху! Прости, народ православный! Год воли — а потом, если жив остался, десятилетия в схиме, в замаливании греха и в исступленной благотворительности. И даже если удастся протянуть волю до физической смерти — все равно ощущается неизбежность расплаты за гробом. Поэтому даже во время самой невозбранной воли откуда ни возьмись возникают судорожные пароксизмы покаяния, доброты, милосердия. Но отсюда же и невероятные зверства, волю сопровождающие, — все равно терять уже нечего, остается лишь куражиться напоследок. Воля — состояние внутренне противоречивое и потому неизбежно истерическое.

Свободы мы никогда не хотели и до сих пор не знаем, что это за зверь и с чем его едят. Дальше мечтаний о воле мы не ушли. И поэтому, когда подавляющее большинство населения буквально свихнулось на стремлении к воле, лопнули все объединяющие структуры.

Свобода и организация ДОПОЛНЯЮТ друг друга, воля и организация ИСКЛЮЧАЮТ друг друга.

* * *

Американские писатели, как правило, даже сцены любви описывают, как производственный процесс. Джон расстегнул тугую пуговицу ее лифчика. Мэри опрокинулась на спину и согнула ногу в колене. Он взял ее своей мускулистой правой рукой за ее тугую левую грудь. Она глубоко и часто задышала... Идет нормальная работа, и надо выполнить ее как можно более квалифицированно.

А у нас даже в самых поганеньких производственных романах застойных времен даже процесс плавки чего-нибудь железного описывался не то как миг зачатия, не то как литургия. Директор Прохоров затаил дыхание, сердце его билось часто-часто. Вот оно, наконец-то! Сбылось, сбылось! Священный трепет охватил парторга Гусева, когда первый металл сверкающей рекой хлынул в... Не просто дело сделано — шаг в будущее сделан, шаг в самосовершенствовании сделан. Поэтому насколько квалифицированно и высокотехнологично сделан этот шаг — уже не столь важно.

В каких только мелочах не проявляется поразительная разница культур! Имеющий глаза да увидит...

* * *

Национальная идея.

Ортодоксальные демократы продолжают уверять, будто все развитые страны живут себе безо всякой национальной идеи — и прекрасно живут. Немцы, пока имели национальную идею, были фашисты, а теперь вся их национальная идея — как бы выиграть в футбол, и поэтому у них получилось благоденствующее общество.

Двойная подтасовка.

Во-первых, всякая национальная идея здесь сводится к идее националистической.

Во-вторых, на самом деле без идеи живут только страны, находящиеся в цивилизационном кильватере, а страны — становые хребты цивилизаций (Хантингтон называет их сердцевинными) — не выдерживают внешних нагрузок и внутренних напряжений.

* * *

Кстати: отними у американцев десятки лет культивировавшуюся веру в то, что они суть Народ — Демократияносец и что поэтому они самые умные, самые сильные и самые богатые, — тогда не поручусь за территориальную целостность и организационную монолитность их державы. Думаю, кризис 60-х годов — то, что называют критическим десятилетием Америки — был вызван не в последнюю очередь тем обстоятельством, что СССР на пике своего могущества и влияния на какой-то момент пошатнул эту веру.

* * *

Одна из основных ошибок реформаторов первого призыва, повторяемая теперь по долгу службы их формальными последователями, — знак равенства между мракобесием и

автономной культурной традицией. По-человечески понятно. Прежде чем начать повышать квалификацию в Сорбоннах и Гарвардах, все они зубрили обществоведение в советских школах и истмат в советских вузах. И оказались, по Шварцу, лучшими учениками.

Вслед за марксистами-ленинцами они сочли евроатлантический вариант социального устройства венцом развития, а все остальные цивилизационные очаги — лишь ступенями восхождения от варварства к культуре по единой столбовой дороге человечества. Поэтому схема действий казалась им очевидной: надо лишь преодолеть варварство, и на его место придет культура. Искоренить плохое свое, и на обширном опустевшем пространстве само собой воцарится чужое хорошее.

Результатом борьбы с идеократией явилось, однако, лишь то, что для подавляющего большинства граждан нашей страны понятие культуры свелось к понятию культуры потребления. И коль скоро аскетические цивилизации всегда проиграют на этом поле гедонистическим, результат сопоставления был предрешен. Россия в глазах самих же россиян предстала страной дикарей. И разочарование в своей культуре потребления перечеркнуло в глазах очень многих всю свою культуру целиком.

* * *

Существует миллион определений культуры. Еще одно: это СОВОКУПНОСТЬ ДЕЙСТВЕННЫХ МЕТОДИК ПЕРЕПЛАВКИ ЖИВОТНЫХ ЖЕЛАНИЙ В ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ. То есть желаний, связанных с непосредственными задачами биологического выживания, в желания, как бы отвлеченные от мира сего.

Данная формулировка вовсе не подразумевает дискриминации предметных желаний по отношению к отвлеченным, не подразумевает замены всех материальных желаний на идеальные. Культура творит из животных же желаний (потому что, кроме как из них, желаний творить не из чего) желания иного качества. Не высшего и не низшего — просто иного. Человеческого. Не так, чтобы животных желаний не

осталось, а так, чтобы возникло что-то помимо них — да вдобавок из них же.

Различные цивилизации на протяжении тысячелетий мучительно вырабатывали методики такой переплавки, но — разные. Бессмысленно говорить, какая методика лучше, а какая хуже.

Это как с цветом кожи. Черный лучше или белый? Бессмысленно спрашивать. Сразу контрвопрос: ДЛЯ ЧЕГО лучше?

Значит, во-первых, если животные желания практически у всех людей одинаковы, то желания человеческие несут на себе печать своеобразия той или иной цивилизации. Во-вторых, методики одной цивилизации совсем не обязательно подойдут другой. Они неразрывно связаны с основной ценностью цивилизации, с ее ИДЕЕЙ. Они апеллируют к ней и опираются на нее.

В самом общем виде этот процесс можно описать формулировкой «ради чего».

Например, на заре своего существования все мировые культуры так или иначе пришли к принципу «не делай другим того, чего не хочешь себе». Это краеугольный камень любой этики. Но в канонических текстах мировых религий фраза, где он формулируется, никогда не оставляет его в изоляции и не провозглашает в голой бездоказательности.

«Не делай человеку того, чего не желаешь себе, и тогда исчезнет ненависть в государстве, исчезнет ненависть в семье». Конфуций, «Луньюй».

«И так во всем, как хотите, чтобы с вами поступали, так поступайте и вы с ними; ибо в этом закон и пророки». Евангелие от Матфея, глава 7, стих 12.

«Не злословь тех богов, которых призывают они опричь Аллаха, дабы и они, по вражде, по неразумию, не стали злословить Аллаха». Коран, сура «Скот», аят 108.

Простенькая, но абсолютно интегральная, общечеловеческая истина категорического императива и суперавторитеты, присущие только данной цивилизации, сплетены так, что не разорвать.

В христианстве — закон и пророки.

Кстати: уже здесь, одной этой фразой, похоже, была предрешена неизбежность распада на католическую и православную ветви и соответственно на евроатлантическую и византийско-восточнославянско-советскую цивилизации. На чем однажды под влиянием тех или иных обстоятельств сделали акцент — на том и начал держаться главный регулятор совместного существования. Закон — и получили в итоге правовое общество, ибо в нем, в законе — религиозном поначалу, светском впоследствии, — и содержится гарантия того, что тебе никто не сделает того, чего ты не хочешь себе. Пророки — получили общество, где главным хранителем и защитником этического императива служит харизматический лидер. «Президент, отдай зарплату!»

Казалось бы, и конфуцианство чревато подобной же двойственностью. Семья или государство? Государство или семья? Но идеологи и юристы имперского Китая ухитрились преодолеть это противоречие, срастив то и другое воедино: государство есть лишь очень большая семья, семья есть минимально возможное государство. И тогда ипостаси суперавторитета не только не разорвали императив, а, наоборот, принялись поддерживать его под обе руки. Чисто светский, посюсторонний суперавторитет благодаря своей увязке с семьей — категорией тоже посюсторонней, но естественной, не давящей человека, а, напротив, только и делающей его человеком полноценным — оказался столь же вечным, как понятие семьи, и не подверженным превратностям любви или нелюбви отдельного человека к государству, превратностям государственной исторической судьбы, государственных удач и неудач.

А вот в исламе — полная теократия. И конечный субъект, и конечный объект этического императива вынесены по ту сторону реальности. Со всеми вытекающими последствиями.

Для общества в целом наиболее важно выживание традиционно доминирующей ценности. Ибо она — ценность большинства.

И, кроме того, соответственно тому, какая именно ценность традиционно доминировала в данном обществе ДО его модернизации, СОВРЕМЕННЫЕ ее замены окажутся в сильнейшей степени модифицированы. Носитель православной традиции, даже если индивидуально его кинет вдруг в индуизм, будет понимать карму совсем не так, как оказавшийся в том же состоянии носитель традиции католической. Буддист, считающий себя атеистом, будет представлять себе светлое будущее совершенно иначе, нежели считающий себя атеистом иудаист.

* * *

Все искусство, во все времена — это не более чем нескончаемая, словно история, попытка нащупать связки, сформулировать компромиссы между долговременными интегральными идеалами данной культуры и их сиюминутным и индивидуальным претворением в поведении. Особенно литература.

Кстати: при таком подходе момент выбора личного компромисса исчерпывал содержание данного произведения. Нынешнее торжество сериалов — однозначное свидетельство того, что верхняя, идеальная составляющая пары исчезла, а чисто рефлекторное, бессмысленное поведение стало самоценным и превратилось в дурную бесконечность.

* * *

Кризис культуры — это ситуация, когда действенность цивилизационных методик очеловечивания людей резко уменьшается. Основная ценность, пресловутая НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ, по тем или иным причинам перестает быть ценной для большинства населения. Тогда методики возгонки сразу перестают срабатывать и превращаются в лучшем случае в мертвые и подчас даже извращенные ритуалы, которые до поры до времени исполняются по привычке или по карьерным соображениям, но никого ни от чего не спасают.

Взгляд сверху

Кабинетик был тесным и убогим, как и подобает административному помещению маленького третьеразрядного кафе. Обшарпанный письменный стол, заваленный разбросанными бумагами. Кособокий, белесый книжный шкаф из

тех, что выпускала отечественная мебельная промышленность лет тридцать назад — на одной из полок томики и блокноты, на другой — плохо помытые, с коричневыми потеками, чашки для досужих кофепитий. Застарелый календарь двухтысячного года с упруго изогнувшимся рыжим драконом; кнопки, на которых календарь держался, насквозь проржавели от горячего кухонного пара. За полуоткрытой дверью приглушенно шипело и кряхтело в засыпающих трубах; остро и неприятно пахло сырым и вареным.

На кухне, чуть поодаль от двери в кабинет, в тусклом свете дежурного освещения двое дюжих мужчин — один в замурзанном комбинезоне техника, другой в белой куртке и белом колпаке, какие носят повара, — вяло играли в карты.

В кабинете тоже играли в свою игру двое. Пожилой человек с серым невыразительным лицом, в сером поношенном костюме и старомодных бухгалтерских нарукавниках сидел за столом, время от времени принимаясь рассеянно перебирать и теребить какие-то акты и накладные. На левой руке у него не хватало трех пальцев. Молодой и насмерть перепуганный стоял перед ним едва ли не навытяжку.

— Да, я испугался. А кто бы не испугался? Так внезапно свалилось... Я же говорил: нельзя мне это поручать! Я вам информацию даю, я один! Как можно было мной так рисковать, комбриг?

— Товарищ комбриг, — негромко и равнодушно поправил молодого тот, что сидел за столом, и вновь, не поднимая глаз, переложил с места на место несколько заполненных бланков со смутными оттисками печатей.

— Товарищ комбриг... — растерянно повторил молодой.

— К вопросу о качестве той информации, которую ВЫ ОДИН нам даете, мы еще, знаете, вернемся, — бесцветно сообщил пожилой, выделив слова «вы один» с некоей неопределенной иронией. Намекая то ли на то, что отнюдь не один молодой дает информацию, то ли на то, что он дает ее как-то не так. Молодой уловил иронию и занервничал еще больше. Облизнул губы. — Сначала мне все-таки хочется разобраться, как это вы, ни с кем не посоветовавшись, столь скоропалительно решились на ликвидацию.

— Ну не успел я посоветоваться! Когда мне было? Ведь впопыхах... — почти канюча, затянул молодой.

Он врал. Он успел посоветоваться — но не с комбригом. У него был и другой шеф, куда более страшный; но и гораздо более выгодный, ибо не пичкал завиральными идейками с легким рублевым довеском, а конкретно платил от души, большими баксами. И он, этот настоящий, тоже занервничал оттого, что какая-то там милиция села на хвост ценному перевертышу. Не хватало, чтобы она по этому следу дальше пошла. Например, к этому вот комбригу. И озаботился спешным, почти лихорадочным санкционированием действий, которые сразу порвали бы едва схваченную ментами нитку.

Впрочем, сейчас молодому гораздо более страшным казался комбриг. Он был рядом. Он был недоволен.

Он что-то подозревал.

— И меня совсем с толку сбило, что ему, оказывается, мозги-то не вовсе отшибло. Если он меня назвал... так, может, он и где мы квасили сказал — а это уже след к вам, товарищ комбриг... — попытался он подольститься и одновременно припугнуть.

Комбриг наконец посмотрел на молодого прямо. Взгляд был страшен.

— Вы думаете, данное убийство — не след к нам? — сказал он по-прежнему бесцветно. — По-моему, как раз след, только еще более заметный. ВЫ, боец Каюров, этот след.

— Он обмолвился, что беседовал с Сошниковым именно он, один на один, и никому пока...

— Так обмолвиться он мог. А вот так ли это на самом деле — вы подумали?

— Ну зачем ему врать? — хлюпнул размокшим от страха носом боец Каюров.

— Зачем люди врут? Вы не знаете?

Боец Каюров не ответил — язык прилип.

— А препарат... Препарат — это тоже интересный вопрос, боец Каюров. Препарат не мог не подействовать. Почему это он всегда действовал, а именно в случае с Сошниковым, о котором сообщили нам НЕ ВЫ, — не подействовал?

— Ну не знаю я! — уже в полной панике воскликнул молодой. — Откуда я знаю! Все сделал, как приказали, всю дозу...

— А может, не всю? А может, и вообще дело было иначе? Может, по каким-то причинам вы решили на этот раз сберечь дезертира для его, знаете, будущих хозяев? И информацию о нем утаили, и препарат ему не дали?

Молодой только опять губы облизнул.

— Честно скажу вам, боец Каюров — ставя вам задачу на обработку, каких-то накладок я ожидал. Но чтобы они оказались настолько вопиющими — этого у меня и в мыслях не было. Подумайте как следует над объяснением всего происшедшего, подумайте. — Он помедлил и уронил без каких-либо интонаций: — Только быстро.

— Нечего мне объяснять! — рыдающе выкрикнул молодой. — Я в этих делах не мастак и никогда ими не занимался — вот и все объяснение!

Человек в белом поварском колпаке, услышав донесшийся из кабинета жалобный вопль, усмехнулся и чуть качнул головой.

— Пас, — глядя в карты, сказал сидящий напротив него человек в замурзанном комбинезоне.

— Так уж нечего? — чуть поднял брови комбриг. — Давайте посмотрим вместе. Присядьте.

Молодой нерешительно потоптался, но теперь комбриг смотрел на него доброжелательно и только чуточку нетерпеливо. Молодой присел на край стула. Стул отчетливо скрипнул.

— В течение более чем двух лет вы, пользуясь как предоставляемыми вашей прямой службой возможностями, так и, если верить вашим словам, обмолвками вашей подружки, работающей в отделе виз, выявляли дезертиров, — словно лекцию читая, неторопливо и размеренно начал комбриг. — Но в течение последнего года я, знаете, поначалу с недоверием, потом с удивлением, а потом с растущей подозрительностью к вам начал отмечать случаи дезертирства не указанных вами и потому не обработанных нами лиц. Уже это очень, очень неприятно. Однако это можно было понять — стопроцентный учет дезертиров при ваших возможностях практически исключен. Но дважды совершенно случайно я

узнал, что указанные вами и поэтому обработанные нами лица вовсе даже не собирались дезертировать! Это уж из рук вон плохо, боец Каюров!

У бойца Каюрова ссохлось в горле от этих новостей.

Ничего этого он не знал.

Он все это время был уверен, что списки правильные.

Теперь ему пришло в голову, что другой его шеф только делал вид, будто выполняет его просьбу и передает ему время от времени перечни необходимых комбригу фамилий — в обмен на информацию о кодле комбрига, которую давал Каюров, и для повышения его, Каюрова, авторитета в этой кодле. А на самом деле просто использовал его в какой-то более серьезной и сложной игре.

Тогда — конец. Можно даже не дергаться. Подстава полная. С-суки. Все суки.

— Случай же с Сошниковым просто вопиющ. Он ваш приятель, вы часто проводили время вместе. Вы не могли не знать о его намерениях. Но я узнаю о них не от вас, а фактически от совершенно посторонних людей, фактически — опять-таки благодаря счастливому случаю. Смешно сказать: от племянницы, у которой дочка Сошникова стрижется! Ставя перед вами необычную для вас задачу, я — теперь могу вам это сказать — хотел вас проверить. И что же выясняется? Что якобы препарат не сработал! Что в органах охраны правопорядка сразу оказалось известно ваше имя — ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ ваше. И что вы совершили глупейшее и подлейшее, ничем не оправданное убийство представителя законной власти России. — Он перевел дух. — Вот как много вам надлежит объяснить.

Каюров молчал. По спине у него бежал ледяной пот. Губы и пальцы тряслись.

— Может, это психиатр тот уговорил Сошникова слинять, — пробормотал он. — Мне Сошников ничего не говорил, клянусь!

Он врал.

— Клянусь! Он теперь со мной почти не встречался, у него теперь этот... Токарев в корешах!

— Какой Токарев? — снова чуть подняв брови, спросил комбриг.

— Да ну я ж рассказывал! От Сошникова последнее время только и разговору, что про доктора этого! Ах, он такой, ах, он сякой! А психиатры — они ж евреи все! Он его и подбил, верняк! Иначе с чего бы Сошникову так от меня таиться — ведь он ни словом мне не обмолвился! Кто с евреем поведется...

Комбриг поджал тонкие синеватые губы.

— Перестаньте, — брезгливо сказал он. — Антисемитизм, знаете, отнюдь не красит бойца Российской Коммунистической Красной Армии. Более того — антисемитам в рядах РККА не место.

— Да какой я антисемит!

— Бытовой. — Комбриг позволил себе чуть улыбнуться, и его собеседник нерешительно улыбнулся ему в ответ. — Да, я припоминаю. «Сеятель».

— Ну! — обрадованно подхватил боец Каюров, довольный тем, что, кажется, нашел, на кого спихнуть хотя бы часть ответственности или, по крайней мере, навести тень. Выиграть время. Выбраться. Лишь бы выбраться отсюда, дать знать ТУДА — ТАМ спасут. — Они же в своем кабинете сплошь высоколобыми занимаются — так уж, наверное, неспроста!

— Наверное... — задумчиво повторил комбриг. Глаза его на несколько мгновений затуманились и уставились в пространство. Потом он очнулся. — Но это отнюдь не объясняет всего.

Боец молчал.

Комбриг исподлобья оглядел его тяжелым, тягучим взглядом и, похоже, принял некое решение. Лицо его посветлело.

— Идите домой, боец, — сказал он, — и как следует подумайте. Завтра утром я жду ваших исчерпывающих объяснений.

Не веря себе, боец Каюров на трясущихся ногах поднялся.

— Я могу?..

— Да-да, — нетерпеливо сказал комбриг, уже углубляясь в какие-то бумаги из тех, что лежали перед ним. — Вы свободны. До утра.

Спасен, билось в голове Каюрова, когда он суетливо и неловко выбирался из сумеречных узостей словно вымершей кухни. От пережитого ужаса и внезапного освобождения он утратил всякий разум, всякую осмотрительность. Ну с чего бы его после этаких-то обвинений отпускать? Но сердце скакало в горле. Спасен!

Комбриг же, будто строгий, но справедливый папаша, сын которого заехал мячом в соседское окошко, озабоченно покачал головой и встал. Высунулся наружу и едва заметно кивнул поднявшему на него вопросительный взгляд человеку в поварском колпаке. Тот проворно вскочил, отбросив карты. Сидевший к двери кабинета спиной человек в замурзанном комбинезоне, не оборачиваясь, с готовностью поднялся вслед.

А комбриг вернулся в кабинет и позвонил.

— Шурочка, — совсем другим, вполне живым голосом, сказал он. — Прости, дорогой, я понимаю, что поздновато, но мне важно. Я тебя озадачу, а там уж смотри — завтра, послезавтра... Но не позже, чем послезавтра. Мне нужно узнать побольше о таком, знаешь ли, частном психиатрическом... или психотерапевтическом, что ли, кабинете. Да, их, как грибов, наросло на скорых деньгах. Всё нервы себе лечат, пиявки. Чтоб кошмары по ночам не мучили. А то, не приведи бог, голодные дети из подвалов привидятся — потом не ту акцию можно купить с перепугу... Значит, кабинет «Сеятель». И его директор — Антон Токарев. Этот человек мне стал крайне интересен.

Венька Коммуняка исчез бесследно и навсегда. Лишь весной, когда сошел лед, в одной из заводей Охты нашли чей-то труп, но так и не смогли опознать.

Дискета Сошникова

Трагическая уникальность России состоит в том, что после гибели Византии она осталась единственным политически суверенным представителем отдельной, самостоятельной цивилизации — православной. И она же поэтому являлась ее становым хребтом.

* * *

Кстати: страны, которые могли бы при ином раскладе оказаться политически самостоятельными цивилизационными партнерами России, волею судеб либо веками изнывали под иноверческим игом, самим этим фактом провоцируя в России тягу к благоносной экспансии (Балканы), либо, кто еще оставался более-менее независим, истекали кровью в борьбе с иноверцами и опять-таки то косвенно, то прямо взывали о помощи и о включении в империю (Закавказье, Украина).

Практически все последние оказались внутри границ России, а затем СССР. Это намертво врезалось в национальный характер русских, которым история постепенно отвела тяжкую и неблагодарную роль приводного ремня и смазки между национальными деталями имперского механизма.

Роль оказалась для них естественной. Вероятно, потому, что сама-то Россия возникла в результате синтеза Орды и Московии, то есть изначально появилась как мощная смазка.

Когда бензин в моторе кончился — смазка оказалась не нужна.

* * *

Долгое двуипостасное бытие — страны и цивилизации в одном лице — привело к специфической форме общественного устройства: и не к прямой теократии, и не к чисто светской монархии. К их гибриду.

Церковь относилась к государству как к хранителю и защитнику истинной веры от всевозможного левославия и кривославия, бесчинствующего по ту сторону всех без исключения государственных границ. Государство же относилось к укреплению и распространению истинной церкви и истинной веры, к защите всех истинно верующих ВНУТРИ И ВНЕ госграниц как к основным своим задачам, осуществление которых только и придает государству смысл.

Воцерковленные люди называют это «симфонией властей». Разные оркестры, разумеется, играли ее с разной степенью вдохновения, мастерства и бескорыстия. Не обходилось

без фальшивых нот. Именно они дают теперь возможность обвинять то церковь в продажности и пресмыкательстве перед государством, то государство в неизбывном стремлении оправдывать свои самые злодейские деяния самыми красивыми словами.

Православная цивилизация оказалась единственной в мире ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОЙ цивилизацией. Вся структура стимулов, ценностей, поведенческих стереотипов сложилась так, что в фокусе всегда — некая общая духовная цель, формулируемая идеологией и реализуемая государственной машиной. Ради достижения цели можно и даже рекомендуется отринуть все земное. Достаток, комфорт, личная безопасность по сравнению с продвижением к цели — пренебрежимы.

Петр, попытавшись сконцентрировать все усилия населения исключительно на военно-политическом могуществе государства, фактически сделал целью государства само государство — другими словами, ЛИШИЛ ГОСУДАРСТВО ЦЕЛИ. Потому-то с той поры государство и превратилось на Руси в монстра.

Отрыв от традиции и утрата высокой цели привели к тому, что бытие государства стало бессмысленным, и, следовательно, насилие, которое оно творило над подданными, — ничем не оправданным.

* * *

Кстати: на ранних стадиях существования государство может быть целью себя — но лишь в период становления. Цель всегда должна быть качественно более высокой и масштабной, нежели средство ее достижения.

Человек может жить ради своей страны — это выводит его на надындивидуальный уровень. Но страна ради себя самой жить не может — замыкается, теряет способность к усвоению новой информации и стимулы к развитию.

Ровно то же самое происходит с живущим ради самого себя человеком.

Только не надо сводить развитие к чисто количественному накоплению вооружения и материальных благ — какое же это развитие? Это застой!

Петровское сосредоточение государства на самом себе явилось сделанным из-под палки шагом назад, потому что Россия к тому времени уже прошла начальный этап жизни государства для себя.

Изжив попытку растворить свою державу в некоем общеевропейском доме, эту же петровскую ошибку — со всеми вытекающими из нее последствиями — делают руководители нынешней России. Кто по недомыслию, а кто, боюсь, и нарочито. Явно и неявно каждому человеку внушается, что высшей ценностью и целью каждый является сам для себя. А высшей ценностью и целью России, согласно этой же схеме, является сама Россия, наконец-то, дескать, независимая и освободившаяся — ни от чего, на самом-то деле, кроме смысла своего национального бытия.

* * *

Государство продолжало стягивать на себя помыслы и усилия подданных, а подданные придумывали и пытались навязать государству тот или иной высокий смысл — от которого самовлюбленное государство шарахалось как черт от ладана и видело во всех таких попытках государственную измену.

Постепенно и государство, и общество разочаровались в этих усилиях и к началу XX века, по сути, махнули друг на друга. И только злорадно радовались каждой неудаче и трудности партнера. Государство само уже устало от себя и не знало, что с собой делать — а интеллигентное общество, само уже давно вывалившись из традиции, тоже потеряло способность к конструктивному целеполаганию.

Серьезная новая цель была предложена лишь большевиками.

Они модифицировали в пирамиде ценностей один-единственный, зато самый верхний, самый значимый элемент, предложив в качестве общей цели штурм небес, силовое построение царствия небесного в мире сем — и получили свою

религию, которая худо-бедно осуществляла свои функции на протяжении более полустолетия.

Четверть века назад практически ту же операцию проделали диссиденты, подставив на место коммунизма демократию. В сущности, ради демократии все земное было в значительной степени отринуто — в очередной раз. Именно ради нее, привычно идеализированной нашим сознанием до иконного сияния ровно так же, как прежде идеализирован был коммунизм (то ли светлое будущее, иное ли; светлое будущее впереди, благая цель, вот что главное!), мы без враждебности, по-семейному, с шутками и прибаутками терпели и очереди, и талоны. Пока верили, что это — НЕ ПРОСТО ТАК.

Ныне в расшатанное постоянными, все более частыми заменами гнездо всякая группочка норовит запихнуть свою побрякушку. Но сама пирамида остается неизменной. Там же, где она не выдерживает и разрушается, возникает полное скотство.

* * *

Кстати: государственное единство оказалось одним из параметров единства цивилизационного. Попытка запросто сменить цивилизационную парадигму, косвенно давшая всем понятную отмашку: никакой общей цели больше нет! — первым делом привела к совершенно непроизвольному, но повальному бегству из империи, совершенному всеми без исключения — в том числе и самой Россией — внутрицивилизационными национальными блоками.

Если не стало никакого общего дела и общего смысла, а задача теперь — хапнуть побольше у своих и выклянчить побольше у соседских, и то и другое лучше всего делать порознь.

Когда человек или народ предают цель, которой уже якобы нет (ох не факт это, ох не факт! Расстройство способности к целеполаганию есть психический недуг, а не доказательство того, что без цели человек свободен, а с целью — зэк), когда они изменяют тому, что якобы ушло в прошлое — понятия измены и предательства теряют смысл, а отвратительное стремление к наживе оборачивается естественным стремлением к достойной жизни.

* * *

Вне зависимости от своей политической и военной силы или слабости Российская империя — и такие ее рудименты, как РФ — цивилизационный конкурент атлантическому миру. Чтобы Запад стал относиться к России действительно как к своему, а не как к чуждому, как к партнеру, а не как к сопернику, она должна либо перестать быть собой, либо перестать быть.

Культура России не признает не одухотворенного высокой целью материального производства. Не признает бессмысленной жизни и деятельности (и как раз поэтому наша жизнь и деятельность так часто кажутся нам бессмысленными). Не понимает, что такое эффективность, если не понятно, зачем она, а тем более, если понятно, что она — невесть зачем.

Атлантический же мир счел, что главной целью материального производства является все более полное и изощренное удовлетворение потребностей человека просто как биологического объекта. Всех. Любых.

* * *

Это не очередной голосок в кликушеском хоре упреков Западу в пресловутой бездуховности. Лишь демагог или дурак может не видеть его великой культуры и не преклоняться перед ней. Речь только об ОРИЕНТИРОВАННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА.

Хотя малевать великолепных мадонн с применением герцогских шлюх в качестве натурщиц, просто для вящей красоты картинки — такого на Руси даже в голову бы никому не пришло. Где Богородица и где срамные девки! На кой ляд такая красота!

Да и выдумать, будто кто поработал и разбогател, того и любит Бог, — это надо было того... крепко головкой приложиться.

Казалось бы, тот же самый Христос и у них, и у нас. Но одни себя пытались подшлифовать к нему — со всеми сопутствующими срывами и отчаянными судорогами, задача-то

не из простых! А другие — его шлифовали под себя, под свое здешнее удобство, здешнюю ЭФФЕКТИВНОСТЬ.

Протестантское «служение», при всей его прагматической полезности, сформулированной выше характеристики атлантической цели не отменяет, ибо объект протестантского служения всегда посюсторонен, предметен.

Голсуорси: «Забавно все-таки: религия почти мертва, потому что практически больше никто не верит в загробную жизнь, но для нее уже нашелся заменитель — идеал служения, социального служения, символ веры муравьев и пчел!»

В точку.

Порочность посюсторонних суперавторитетов показала еще история Римской империи.

У Рима был единственный суперавторитет — он сам. Держава. Там тоже было служение. И когда экспансия державы захлебнулась, когда молиться на принцепса стало жалко и стыдно, суперавторитет перестал срабатывать.

Чем купили христиане римских патрициев? У тех было все: достаток, культура, максимальная для данного уровня цивилизации личная безопасность... А вот смысла жизни уже не было. Христиане им его предложили. И патриции пошли за христианами, и «сим победиши». Действительно «победиши», потому что жизнь империи была продлена еще на целых три века, а если считать с Византией — на тысячу лет.

Плохо это или хорошо? Нет ответа, ибо у истории нет плохих и хороших. Но для самого Рима и самой Византии это было, безусловно, хорошо.

Хотя, разумеется, при желании всегда можно отыскать какую-нибудь Парфию, в которой Рим слыл империей зла.

* * *

Кстати: аналогичным образом марксисты купили российскую интеллигенцию. И продлили бытие империи еще на семьдесят лет — несмотря на цивилизационные разломы, иссекавшие ее вдоль и поперек. Одним лишь насилием это бы им не удалось.

* * *

Уваровская триада исчерпывает набор возможных государственных суперавторитетов. Чуть осовременив ее звучание, получим «идеология — самодержавие — народность». И только такая иерархия дееспособна. Если поставить на первое место самодержавие, используя остальное как его обслугу, — получим тоталитаризм, это сделал Сталин. Если народность — получим нацизм, это сделал Гитлер. Но если оставить идеологию центром стяжения остальных сил — получим идеократическое общество, что тоже выглядит не современным и опасным.

Атлантический мир пытается выйти из этого противоречия, дробя посюсторонние авторитеты и увязывая их с индивидуальным благосостоянием (не семейным, в отличие от старых китайцев, а именно индивидуальным), — и получает служение: юридически оформленной на данный момент семье, фирме-кормилице, демократически избранному президенту... Но даже на самом Западе это многими воспринимается как отвратительная и безысходная суета сует.

Тот же Голсуорси, в том же «Конце главы» сокрушался: «Какое кипение, какая путаница людей и машин! К чему, к какой тайной цели они движутся? Чего ради суетятся? Поесть, покурить, посмотреть в кино на так называемую жизнь и закончить день в кровати! Миллион дел, выполняемых порой добросовестно, порой недобросовестно, — и все это для того, чтобы иметь возможность поесть, немного помечтать, выспаться и начать все сначала!»

В конце концов, служение есть принесение блага, а как его приносить, если система ценностей не дает ответа на вопрос, в чем оно заключается? Или дает смехотворные — благо есть процветание моей фирмы, удовлетворение моего начальника. Убытки фирмы и недовольство начальника — конец света. Так можно жить? Нет.

Для тех, кто устал от бессмысленной потребительской гонки и тягомотной толчеи вокруг посюсторонних микроавторитетов, российская, а затем и советская тяга к осмысленности, к признанию ненужным, лишним и нелепым всего, что не работает на высокую цель, давала пример возможности идти «другим путем». Такая тяга являлась наглядной и

мощной альтернативой того, что воспринимается многими как пустота жизни.

Для тех, кто на Западе когда-либо восхищался Русью как неким притягательным, непонятным, но удивительно манящим экзотическим явлением, в основе восхищения лежало именно это.

Зато для всевозможных клеветников России именно эта черта трансформировалась в то, что они видели как вечную леность русских или их сладострастное стремление в рабство.

Сильно подозреваю, что миф о том, будто русский раб грязен и ленив, придумали и запустили в европейские просторы обыватели откуда-нибудь из Кукуйской слободы. Как наблюдатели они, вероятно, были правы. В свое время парижане и лондонцы тоже вольготно плескали из окон нечистоты и учились гигиене у арабов. Но наблюдатель сопоставляет вещи синхронно, ему и дела нет до того, что Европа начала заниматься бытовыми удобствами на пару веков раньше. А раскрепощение индивидуума началось с еще большим упреждением. И вообще НЕСКОЛЬКО ИНАЧЕ из-за разницы культур.

* * *

Кстати: это не беда. Мало ли высмеивают обычаи соседних народов обыватели.

Беда пришла, когда ополоумевшие от петровских палок россияне начали высовываться в прорубленное государем-плотником окошко и хотеть стать европейцами. Услышанный из-за окна тезис о рабстве и лености приобрел знаковую ценность. Стоило произнести: мы, русские, как есть грязные скоты, работы не любим, страна рабов, страна господ, сверху донизу все рабы — и сразу как бы получалось, что тот, кто это произнес, уже тем самым передовик труда и вымытый до блеска гражданин, свободный всеми местами и членами. Европеец. Не настоящий европеец, разумеется, а из российского интеллигентского мифа о европейцах. Но ему, произносящему-то, сие невдомек, и его единомышленникам тоже невдомек. Ах, как верно, восхищенно всплескивали руками они. Ах, какая смелость мысли! Ни капли квас-

ного патриотизма! И, отреагировав таким образом, уже вся компания ощущала себя европейцами.

Беда пришла, когда сложился стереотип утверждения нового, подразумевавший обязательное отсутствие преемственности между старым и новым, обязательную расчистку места для нового — до полного нуля. Кажется, будто расчистка под нуль головокружительно увеличивает возможности для быстрого качественного обновления, а на самом деле именно из-за этого любое новшество висит в воздухе, часто-часто суча ножками на манер пропеллера, и — так и не укоренившись, не созрев, не успев свершить ничего — валится наземь, чуть дунь.

* * *

Что это такое — «несколько иначе из-за разницы культур»?

Вот знаменитая история с крыльцом в барском доме Обломовых, которое который год не соберутся починить. Для западного человека, для западно ориентированного даже — например, для маленького Штольца — история дичайшая. Сами же ходите, сами ногами собственными рискуете — ну как это не собраться починить? Ведь для себя! Для кого ж еще и шевелиться-то? Своя рубашка ближе — или чья еще? Вот ведь бездельники дремучие!

Но есть и иная правда. Если предмет сей ну хоть как-то еще функционирует, если им хоть как-то еще можно пользоваться, то для себя — сойдет. Этого слова не понять никому, кто мыслит в рамках системы ценностей «своей рубашки». ДЛЯ СЕБЯ — СОЙДЕТ!

Вот если бы по этому крыльцу предстояло подняться кому-то для меня качественно более ценному, нежели я сам — вне зависимости от того, с какой исповедуемой мною сверхценностью, православной ли, державной, коммунистической или даже просто гуманистической какой-нибудь, этот конкретный кто-то связан, — крыльцо было бы починено мигом, с благоговейными похохатываниями. Бесплатно. Безо всякого давления со стороны какого-нибудь ГУЛАГа.

Но работать на кого-то с большим удовольствием, чем на себя любимого, — ведь это, с определенной точки зрения, и есть сладострастное стремление в рабство!

* * *

Святой Василий Великий: «Они в равной мере и рабы, и господа друг другу, и с непреоборимой свободой взаимно оказывают один перед другим совершенное рабство — не то, которое насильно вводится необходимостью обстоятельств, погружающей в великое уныние плененных в рабство, но то, которое с радостью производится свободою произволения, когда любовь подчиняет свободных друг другу».

В точку.

* * *

Отсюда: разговоры о русской лени и о нации рабов стоят на одном уровне с разговорами о маце, замешенной на крови христианских младенцев. Но кто заговорит про этакую мацу — тот сразу окажется полным антисемитом и руссофашистом. А кто заговорит про лень и тупость — тот просто высказывает свое личное мнение, и не смейте затыкать ему рот, у нас свобода слова! Кто возразит — тот уже и затыкает, и значит, обратно же руссофашист.

* * *

Всякий раз, когда у нас вдруг начинает культивироваться убеждение, что личный прижизненный успех есть высшая ценность бытия и высший его смысл — наши методики переплавки животных желаний в человеческие пасуют. Установка на индивидуальный успех и установка на сверхценность не совмещаются. И многие из тех, кто продолжает работать словно встарь, все равно уже работают иначе — не делают, а отделываются, и даже в редкие дни выплат глухо ощущают не облекаемую в слова, но фатально отражающуюся на качестве труда бессмысленность унылых усилий.

Впрочем, на других многих именно такой эффект оказывало искусственное нагнетание стремления к светлой суперцели. Но штука в том, что те, кто к этому грядому миру по

якобы наивности и доверчивости своей действительно стремился, сворачивали горы. А те, кто стремится, вырвавшись из-под пресса идеологии, пожить наконец для себя, — сворачивают челюсти и шеи. Не себе, разумеется.

* * *

Еще о рабстве: общеизвестно, что рабский труд непродуктивен и несовместим ни с каким мало-мальски сложным производством, ибо раб не заинтересован в результате своего труда. Но что такое эта заинтересованность? Только ли надежда на получку? Раб тоже получал получку, пусть, как правило, натурой — в чем разница? А в том, что оптимальный вид заинтересованности именно В ПРОДУКТЕ труда, а НЕ В ОПЛАТЕ его — это и есть заинтересованность В ЦЕЛИ, ради которой этот труд осуществляется. Все для фронта, все для победы — заинтересованность в продукте труда. Нашим товарищам наши дрова нужны, товарищи мерзнут — заинтересованность в продукте труда. Построим для наших детей счастливое и безопасное общество — заинтересованность в продукте труда.

Когда ничего этого нет — тогда, вне зависимости от размера оплаты, труд становится рабским.

Когда, например, современный авиалайнер готовят к полету рабы — авиалайнер падает на город. Когда рабы запускают спутники — хоть ты их озолоти, носители будут валиться через раз.

В России без общей цели ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НЕ РАБОТАЮТ ЗАВОДЫ.

В России без общей цели ВСЕ НА ВСЕХ ОБИЖЕНЫ И ВСЕМ КАЖЕТСЯ, ЧТО ИМ ВСЕ НЕДОДАЛИ.

Потому что любой действительно необходимый труд и любое объективно необходимое усилие ощущаются бесцельными и, следовательно, навязанными, рабскими.

* * *

Конечно, человек, избравший себе цель, — раб этой цели. Непреоборимо свободный.

А мы теперь свихнулись на свободе и самодостаточности. Больше всего на свете боимся в чьих-то глазах оказаться

рабами — пусть глаза эти недобры и лукавы, все равно. Даже слова «раб Божий» вызывают гнев: а вот ни за что! Рабом не буду! За это рабство-то религию я и не приемлю!!

И становимся рабами собственной физиологии.

* * *

Новая цель не должна повторять уже скомпрометированные или изжившие себя варианты.

Например, укрепление военной мощи государства как хранителя, защитника и распространителя веры — цель, действительно способная обеспечивать форсированную посюстороннюю деятельность. Но сейчас такая цель уже не может быть основной.

Или, например, цель — забота об убогих в мировом масштабе. Благородно, достойно и вполне в традициях культуры. Но, во-первых, в здоровом обществе нет и не должно быть столько сирых и убогих, чтобы загрузить экономику и индустрию великой страны, а во-вторых, эта забота не подразумевает никаких высоких технологий. Сирым и убогим и подойдет-то лишь все самое сирое и убогое, от остального они шарахаться будут, или ломать нарочно, потому что владеть чем-то красивым и мощным — слишком хлопотно и ответственно, и вообще не соответствует привычному образу жизни. Едва ездящая лохматка с негреющей печкой — на нее все равно никто не позарится, и сломать не жалко. Кривой пиджак — который незачем беречь и ни к чему чистить. Чудовищный зловонный сортир, где можно с привычным отвращением, зато вольготно, гадить хоть на потолок... Какие уж тут технологии. И потому, если такой казус вдруг произошел бы, вскоре о самой заботящейся державе пришлось бы заботиться, как о нищей и убогой, ибо ничего, что умеет современная техника, она не научилась бы делать и даже от уже усвоенного отвыкла бы. Собственно, зачем я все время повторяю «бы»? Сослагательное наклонение тут ни при чем.

Удовлетворение страсти к познанию окружающего материального мира. Фантасты в 60-х годах так это себе и представляли — не страна, а сплошной НИИ. Но это оказалось далеко не для всех. И людей нельзя в этом винить — естественно-научное любопытство, увы, слишком не духовно,

чтобы быть высшей ценностью для многих. Оно ведь тоже — средство, а не цель, и цели, получается, опять нет. Конечно, просто точить гайку за гайкой куда менее увлекательно и почетно, чем точить те же самые гайки для полета на Луну. Но — а зачем, собственно, на Луну? И если не будет дано удовлетворительного ответа — увлеченности и трепета как не бывало. А что такое удовлетворительный ответ? Это постановка цели, для которой полет на Луну — лишь средство. Причем такой цели, которую примет как заманчивую и желанную тот, кто гайки точит.

* * *

Однако: нарочно цели не придумываются. С потолка не снимаются. Чтобы зацепить души — цель должна быть модернизированной ипостасью традиционной цивилизационной цели, ее адаптацией к реалиям XXI века. Но ипостасью действительно модернизированной, а не гальванизируемым мертвяком.

Однако: идея, не подразумевающая цели производительной деятельности, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО обречена оказаться не более чем очередным призывом увольнять, сажать или резать по какому-нибудь из хорошо нам известных признаков: национальному, классовому, имущественному, образовательному и т. д.

К тому же: материальное производство, ориентированное на удовлетворение биологических, а не ментальных потребностей, универсально, оно — для всех, и в нем в принципе могут быть заинтересованы все, вне зависимости от убеждений, образования, партийной или конфессиональной принадлежности и т. д. Одухотворенное же не животной целью материальное производство всегда оставит незаинтересованными тех, для кого данная цель не является ценной.

Те, кто сейчас жаждет для России национальной идеи, должны отдавать себе отчет, что, если таковая идея и впрямь народится, российское общество в той или иной степени вновь должно будет стать идеократичным.

Но если этого не произойдет, в концерте представленных на нашей планете культур Россия станет подобна замолчавшему, сломавшемуся инструменту. В спектре цивилизаций она окажется мутной, бесцветной и лишь мешающей слиянию цветов в свет полосой — то есть сделается лишней. Значит, будет обречена на долгое и мучительное сползание в очередную могилу на кладбище цивилизаций. На окончательную утрату самостоятельности, жизненной энергии и исторической перспективы, на возрастание хаоса и распад.

* * *

Боземан: «Политические системы — это преходящие средства достижения целей, находящиеся на поверхности цивилизации, и судьба каждого сообщества, объединенного в языковом и духовном отношениях, в конечном свете зависит от выживания определенных первичных структурирующих идей, вокруг которых объединяются сменяющие друг друга поколения и которые таким образом символизируют преемственность общества».

В точку.

5. НАСТОЯЩИЙ ЖУРНАЛИСТ И НЕНАСТОЯЩИЙ ЖУРНАЛИСТ

Я читал Сошникова допоздна. Не хотелось спать. Сердце было не на месте — бог весть отчего. Может, все-таки из-за Киры. Принять-то решение я принял, но пока ситуация не стала совсем уж необратимой, меня то и дело тянуло послать сей умозрительный, вычурный и, что греха таить, весьма сомнительный гуманизм к чертовой матери, взять свою женщину за волосы и... м-да. И — что? Непонятно. Вот эта неопределенность и останавливала, наверное. За волосы взять — не штука...

Соображения Сошникова показались мне любопытными, но донельзя умозрительными — вроде вот этого моего гуманизма. Ну, ты придумал очередной гуманизм, и я придумал очередной гуманизм, и что нам с ними делать теперь, каждому со своим? На ум даже пришло невесть как попав-

шее на свалку памяти сакраментальное марксистское: философы только объясняли мир, а надо его переделать... или как-то так. Боюсь, Сошка мой просто-напросто сам всегда чувствовал потребность в цели — и под неосознаваемым давлением личной потребности измыслил, как бы от строгой логики, теорию якобы для всех. Так часто бывает.

Вообще говоря, некое рациональное зерно в его рассуждениях было. Очень точно наши странные достоинства и очевидные недостатки в эту схему укладывались. Но ведь *серьезная теория начинается не тогда, когда удается гарно* объяснить опытный материал, но когда она начинает предсказывать эффекты, впервые наблюдаемые уже после ее создания. Мне неясно было, какова предсказательная сила схемы Сошникова и можно ли вообще каким-то образом оценить эту силу.

Некое созвучие я уловил здесь своим размышлениям о благих целях и деятельности ради оных. Насколько дело упрощается, если это ОБЩИЕ благие цели!

Но хоть убейте, тут как раз, наверное, тот случай, когда простота хуже воровства. Если человека упростить — получится манекен. Если манекен упростить — получится вонючее пластмассовое варево. А если народ упростить — получится муравейник.

Как раз по старику Болонкину с его чипами: «Возникнет органичное соединение отдельных человеческих особей как бы в единый организм, напоминающий новый вариант царства Божьего...»

Пятерых единомышленников найдешь за пять лет — и то спасибо. А уж чтобы целый народ... Дудки. Не верю.

Хотя почему-то считается, например, что как раз целый народ, нация, государство — это всегда благая цель. Для всех. ОБЩАЯ. Разведке, например, прощается и подкуп, и шантаж, и убийство. Потому что, дескать, на благо Родины.

Моя команда, если подумать, — это первая в истории человечества спецслужба, которая работает для отдельных, конкретных людей, а не для окаянного Левиафана. Для людей, которых я считаю хорошими. Достойными. Самыми нужными. Так что все-таки спасибо, Сошников. Мне простой этот довод как-то не приходил в голову. Вот только мало кто со мною согласится насчет нужности моих пациентов.

Как же его самого-то измордовали, Сошникова! Как вывернули душу наизнанку, если он, с этакими взглядами, решил удрать туда, где, по его же словам, нету целей!

Или он просто-напросто слишком сам уверовал в то, что измыслил — и замучил себя необходимостью жить ради цели, на которую всем, кроме него единственного, давно уже начхать?

Или замучил себя необходимостью жить ради цели, сам не понимая, В ЧЕМ ИМЕННО она состоит?

Трудно искать черную кошку в темной комнате, особенно если она уже сбежала, — спору нет. Но еще труднее — что было мочи, из сил выбиваясь, скакать к финишу, не зная, где он и не забыли ли судейские канальи вообще его обозначить...

Очень мне понравилась цитата из Василия Великого. С непреоборимой свободой взаимно оказывают один перед другим совершенное рабство. Красиво сказано, и так глубоко, что не вдруг нырнешь следом. Было в этом нечто очень важное.

С непреоборимой свободой...

С непреоборимой свободой я и уснул без задних ног, а, продрав глаза, изумился, как далеко в день забежали стрелки часов. За окошком-то было еще вполне темно — тучи, да и до самого короткого дня оставалось не больше месяца...

Первым делом я совершенно непроизвольно проверил телефон. Нет, гудит. Стало быть, Коля еще не звонил — вряд ли я спал с таким уж энтузиазмом, что меня даже звонок не сумел разбудить. Что-то он увлекся, с раздражением и беспокойством подумал я.

Не теряя минут, но и не торопясь, я попрыгал-поскакал, потом принял душ. Звонка не было. Позавтракал. Звонка не было. Четверть часа послонялся по пустой квартире...

Звонка не было.

В десять я сам позвонил ему домой.

Подошла Тоня.

— Нет его дома, не ночевал и не звонил, — сказала она нервно. — Не знаю, что и думать. Никогда такого не было на

моей памяти. Бывает, заночует у кого из друзей, но тогда обязательно предупредит. Он же знает — даже если выпил чересчур, я не ругаюсь. Антон, если вдруг он к вам как-то прорежется, вы скажите ему...

Голос у нее дрожал.

Ее волнение и мне передалось. Уж не знаю, как он там ее предупреждал, если чересчур выпил, но в делах он был чрезвычайно аккуратен. Ежели обещал позвонить утром — трудно себе представить, что ему могло помешать. Единственное приходило на ум — разработка Веньки продолжается по сию пору, и именно с применением тяжелого алкоголя. Но тогда он тем более должен был с вечера отзвонить Тоне, и именно при собутыльнике, чтобы возлияние выглядело максимально естественным.

В общем, я поехал на работу.

Как обычно, когда ждешь важного звонка, принялись трезвонить все, кому не лень. И из вневедомственной охраны, что мы до сих пор деньги за октябрь не перевели. И из Ассоциации менеджмента и консалтинга — не соглашусь ли я прочесть для начинающих предпринимателей доклад о своих таких успешных методах. И из юридической конторы, что с будущего года несколько изменятся правила подтверждения лицензий. И бог еще знает откуда. Меня уже трясло, но не подходить я не мог себе позволить, и Катечке передоверить предварительный отсев не мог, потому что, наоборот, к каждому звонку бросался, как вратарь на мяч.

Около полудня включилась Катечка и сказала:

— Антон Антонович, к вам посетитель.

Я едва не зарычал.

— Записан?

— Нет. Но это не на прием и не на собеседование. Это журналист, интервью хочет взять.

Трам-там-там, едва не сказал я, но в этот момент зазвонил телефон.

— Минутку, — бросил я, подхватывая трубку. И уже в нее: — Да?

— Антон! — раздался голос на том конце. Но это был не Коля, и потому, ожидая его уже в полном исступлении, я не сразу понял, кто говорит. А говорил один из нашей спец-

команды, не буду его называть. Он жив и здравствует и на своем месте до сих пор хорош, так что называть мне его незачем. Журналист. Отличный журналист. Но специализируется он на криминальных хрониках и всевозможных кровавостях и злоупотреблениях в кровавых сферах.

Мне это сразу не пришлось по душе. Не расположен я был к его кровавостям. У меня и так предчувствия.

— Да, я... — буркнул я, сладострастно предвкушая: а пошлю-ка я сейчас его к черту. Благо мы давние друзья. С давними друзьями можно не церемониться, если уж чересчур припекло.

Но даже это у меня не получилось, потому что он сразу спросил, и голос был как из преисподней:

— Ты с Колей Гиниятовым давно виделся в последний раз?

Сердце у меня так с дуба и рухнуло.

Я повернулся к микрофону и, не думая, на одних рефлексах, велел Катечке:

— Через пять минут.

Потом отключил ее и сказал в трубку:

— Вчера.

— Вот как... — пробормотал журналист.

Они с Колей несколько раз на пару крутили мои горловины, хорошо знали друг друга и дружили.

— Ты его, — он осторожно подбирал слова, и я догадался, что он говорит откуда-то, где не может называть вещи своими именами, — о чем-то вчера просил?

— Да, — скрипуче ответил я. Горло вконец пережало тревогой и предчувствием.

— Понимаешь, — на том конце тоже давились словами. — Я сейчас из центра по общественным связям звоню. Заехал поутрянке, как обычно, сижу на компе, просматриваю сводку за истекшие сутки...

— Ну?

Он хрипло подышал там.

— Убили Колю, — сказал он.

Ноги у меня подогнулись и сами собой усадили меня в кресло.

— Проникающее ножевое ранение в область печени. Этак, знаешь, сзади или сбоку. Утром нашли на улице. Кровью истек.

— Так, — бессмысленно сказал я.

Верить надо предчувствиям, кретин самодовольный, верить!

Послал друга проверить реакцию...

— Менты сейчас просто землю роют. Их кадра замочили этак походя — распоясались совсем! Хотя он был вполне в штатском, но документы все при нем, их даже свистнуть не побеспокоились. Денег нет ни рубля, вроде как ограбление, что ли, — но из-за документов даже на ограбление не похоже.

— Слушай, надо пересечься, — сказал я, понемногу беря себя в руки. — Сейчас разговаривать не могу.

— Я тоже. Говори, где и как.

— Через три часа у памятника «Стерегущему». Годится?

— Да. Я к тому времени постараюсь разузнать побольше.

— Узнай первым делом, где нашли.

— Обижаешь. Новаторов, четная сторона.

Совсем неподалеку от обиталища Сошникова.

И Веньки.

— До встречи, — сказал я, но он опять хрипло задышал и спросил сдавленно, будто совсем уже из петли:

— Тоне... мне?.. или ты?

Господин директор, подумал я. Ты приказ давал? Ты все это придумал, дебил? Ты. Никто иной. Вот и работай.

— Я сообщу, — сказал я. Он напоследок еще раз вздохнул с того конца, теперь уже с явным облегчением, и повесил трубку.

Я встал. Прошелся по кабинету взад-вперед, напряженно думая и отчаянно кусая губы. Проблема выплаты вспомоществований и пенсий вдовам друзей, погибших на моих войнах, передо мной до сих пор еще не вставала, и я не имел ни малейшего навыка, как ее решать.

Потом вернулся к столу и тронул переключатель.

— Богдан Тариэлович, — позвал я.

Да. Вот такой у нас работал бухгалтер. Лет сорок назад он был, вероятно, писаный жгучий красавец, свинарка и пастух

в одном лице; южноукраинская кровь, схлестнутая с грузинской, — это, я вам доложу, нечто.

— Слышу вас, слышу, Антон Антонович, — чуть надтреснуто, но вполне еще браво отозвался тот по громкой связи.

— Как у нас с деньгами, Богдан Тариэлович?

— С деньгами у нас хорошо, — ответствовал он. Не помню, у кого я вычитал замечательный образ: и «г» у него было по-хохляцки мягкое, как галушка. — Вот без денег — да, без денег — плохо.

И сам же захохотал. К счастью, коротенько.

— Мне срочно нужна наличка. Тысяч двадцать — двадцать пять выжмем?

— О! — сказал дед Богдан. — Кровь играет молодая, просит денег дорогая. Уж такая дорогая — как с ней быть мне, я не знаю...

Я на миг напрягся, непроизвольно желая ответить ударом на удар. Как писал в свое время Лем, дракон трясся-трясся и все-таки извлек из себя квадратный корень... Я, увы, дракону и в подметки не годился; на экспромты, даже такого вот уровня, всегда был слаб. Потрясся какую-то секунду и, бросив это пустое занятие, продекламировал, играя в акцент — боюсь, не в грузинский, а в некий обобщенный; в акцент, так сказать, кавказской национальности:

— Другу верный друг поможет, не страшит его беда! Сердце он отдаст за сердце, а любовь — в пути звезда!

— Вах, — уважительно подытожил дед Богдан. К великому Шота из Рустави он относился с высочайшим пиететом, тем более что витязь в тигровой шкуре приходился тезкой его бате. — Другу верный друг поможет — денежку в карман положит. А в штанишки — не наложит!

— Сдаюсь, Богдан Тариэлович, сдаюсь.

— Уважительна ли причина, осмелюсь осведомиться?

Строг старик Тариэлыч, ох, строг. Я запнулся. Придумать-то я придумал, но не шло с языка. Грустно, братцы! Как я потом задний ход-то отрабатывать стану?

Но деда Богдана, по крайней мере за ту часть его крови, которая кавказской национальности, я этим зацеплю намертво. Тогда он в лепешку расшибется, а сделает.

— Только вам и только под строжайшим секретом — у меня, похоже, ожидается прибавление семейства. Тише! Поздравления — после. А вот деньги — и после, и во время, и, главное, до.

— Указание получено, осмыслено и принято близко к сердцу, — сказал Богдан потеплевшим голосом.

Рифмоплетствовать он сразу перестал. Хороший старик, и обманывать его было просто срамно.

— Рад за вас... молчу, молчу. Конечно, выжмем, Антон Антонович. Через полчасика зайдите платежки подписать. Но, сразу говорю, обналичить смогу только послезавтра.

— Годится, — сказал я и отключился. Ну, вот. Есть предлог до послезавтра Тоне не звонить.

Гадость какая. Обязательно позвоню сегодня же.

Позвонить ей сегодня я не смог. И не по своей вине.

Дверь осторожно отворилась, и в кабинет не спеша, безо всякой скованности вошел человек средних лет, среднего роста и средней упитанности.

— Пять минут прошли, господин Токарев, и ваша очаровательная секретарша сделала мне легкий взмах изящной ручкой, — проговорил он. — Я посмел войти.

— Тогда посмейте сесть. — Я королевским жестом указал на кресло для посетителей. — С кем имею честь?

Перестроиться столь стремительно было довольно сложно. Хорошо, что дед Богдан лица моего не видел во время веселого нашего разговора. Глаз, например. Менее всего, я полагаю, был я похож на счастливого и гордого владыку семейства, ожидающего в семействе сем очередного прибавления. У меня еще слегка дрожали губы. Я, пытаясь привести их в чувство, неопрятно утерся тыльной стороной ладони — будто втихаря жрал тут чего-то... спецпаек, что ли, — покуда один в кабинете и подчиненные не видят.

— Корреспондент еженедельника «Деловар» Евтюхов Сергей Васильевич, — сказал вошедший, протягивая мне руку. Мы обменялись коротким рукопожатием — он едва-едва шевельнул мускулами кисти и тут же удалил ладонь. Имя и фамилия были не настоящие, я это сразу ощутил.

— «Деловар» не вынесет двоих, — сказал я. Евтюхов вежливо улыбнулся и утвердился в кресле для посетителей. Извлек диктофончик и ловко, пролетающим профессиональным движением, утвердил его на столе между нами.

— Прежде всего позвольте вас поблагодарить, Антон Антонович, за то, что вы нашли для меня время, — церемонно сказал он. — Я прекрасно понимаю, как вы заняты.

В его словах ощутилась некая издевка. И, уверен, нарочитая. Он утонченно меня поддел.

Но я, пока не уяснил для себя, в чем дело, прикинулся шлангом. Как бы ничего не заметив, ответил с широкой бесхитростной улыбкой:

— Ну что вы, я занят не больше других. Сейчас эпоха такая — все заняты. Расплата за советское безделье. Богадельня рухнула, пора бы и поработать.

— Ах, так вы ЭТИХ взглядов, — отреагировал Евтюхов, вложив в слово «этих» буквально бездну чувства, только не понять какого.

Он и боялся меня, и презирал. Боялся, что я что-то про него пойму, чего мне, и вообще кому бы то ни было, понимать никак нельзя. И презирал, потому что был уверен: мне нипочем и никогда этого не понять.

Как интересно.

— А вы каких? — невинно осведомился я.

Он снова чуть улыбнулся и сделал пренебрежительный жест — дескать, сейчас неважно, каких взглядов я, у вас же интервью берут, не у меня.

— В нашем издании есть регулярная медицинская страничка, — проговорил он. — Наряду, скажем, с регулярной компьютерной страничкой, регулярной мебельной страничкой и так далее. Мы стремимся знакомить читателей с конкретными достижениями нашего здравоохранения, но не вообще, не абстрактно, а с теми, которые нашим читателям могли бы оказаться особенно полезны. Мы стараемся давать серьезную информацию о том или ином явлении в медицине и о сдвигах в общественном сознании, которые это явление обусловили. И которые, в свою очередь, это явление способно вызвать уже само. Вот в этом ключе, если вы не возражаете, мы и поговорим.

Ни черта я не понял из его вводной части. Пыль в глаза. А там Коля... Но я только приложил руки к груди и кивнул:

— Никоим образом не возражаю.

Он включил диктофон.

— Известно, что среди состоятельной части населения нашей страны в последние годы забота о своем здоровье стала едва ли не культом, — начал он, лицом устремившись ко мне, но то и дело скашивая глаза на свою машинку — смотрел, нормально ли пишет. И я почувствовал, что интерес не праздный и не показной, ему действительно почему-то важно, чтобы запись получилась качественной. Ага... Похоже, он собирался самым серьезным образом анализировать магнитограмму: микромодуляции голоса, пересыхание гортани... ого!

Я всеми фибрами ощущал его предвкушение: как он будет меня, дурака болтливого, препарировать и потрошить на послушной, верной, умной электронике.

Ну-ну.

— В том числе и о психическом здоровье. Мне не раз приходилось наблюдать, что и на приемах или презентациях, и на дружеских попойках впрямую произносятся тосты «за наше психическое здоровье». Как вы, профессионал в этой сфере, могли бы такое явление прокомментировать?

Он вел себя, как настоящий. И задавал вопросы так, как и подобает акуле пера — издалека, беря собеседника в вилку, будто артиллерист. Но вот не повезло ему со мной. Я-то чувствовал, что ему абсолютно не интересно то, о чем он спрашивает, и то, что я примусь говорить в ответ. Даже нет, не так — журналисту тоже не все собственные вопросы одинаково интересны, бывают и проходные, связочные, бывают и такие, которые задают лишь с тем, чтобы разговорить собеседника. Но чувствовалось, что весь намечающийся разговор о психическом здоровье и о том, чем я занимаюсь и почему, не имел ни малейшего отношения к действительной цели прихода этого лже-Евтюхова. К тому, что он на самом деле хочет узнать. Чувствовалось: он станет долго меня мурыжить видимостью интервью — с тем лишь, чтобы я пребывал в уверенности, будто это и впрямь интервью, и в конце концов ответил на те вопросы, ответы на которые он действительно хочет получить, даже не заподозрив, что вот они — настоящие-то вопросы.

У меня возникла шкодливая мысль в ответ помурыжить его, начав долго и с энтузиазмом комментировать то, о чем он сделал вид, что спросил. Было бы любопытно посмотреть, когда и как он закипит. Но у меня у самого лишнего времени не было. Да и настроение, мягко говоря, не то. Лучше поиграть с ним в поддавки.

— А что тут комментировать? — развел я руками. — Это совершенно естественно. Что, на самом-то деле, может быть естественнее и достойнее уважения, нежели забота о своем здоровье? Здоровы люди — здорова страна. Мы и так по всем показателям в ужасающем положении. Средняя продолжительность жизни у нас на одном из последних мест в мире. Не знаю даже, превышает ли естественный прирост населения его естественную убыль. В этих условиях, если хотя бы кто-то, хотя бы небольшой процент населения способен заняться собой — это уже колоссальный прогресс.

Ответ вызывающий. Просто-таки подлый ответ. За него он должен был ухватиться. И он ухватился.

— Не секрет, Антон Антонович, что психиатрическая статистика по стране тоже весьма печальна.

— Не секрет, — согласился я.

— Но наиболее печальна она для неимущих классов. На эти классы приходится основная часть психических расстройств и недугов.

Я легкомысленно, как последняя сволочь, для которой, ежели сам сыт-пьян, ни единого страждущего нет, опять развел руками и улыбнулся:

— Ну, а что вы хотите? Если малообеспеченные и необеспеченные составляют восемьдесят три процента населения, логично, что девяносто пять процентов всех болезней придутся именно на них, не так ли?

— Вы настолько легко к этому относитесь?

— От того, любим мы или не любим законы природы, они не меняются. В том числе — и социальные законы.

— Понимаю вашу позицию, — он покивал. Прежнего равнодушия не стало в нем. Хотя он поджимал губы и вообще всячески демонстрировал, как моя позиция ему претит, — чем-то она ему на самом деле понравилась. Поддавки получались. Вот только в какой игре?

— То есть вас совершенно не беспокоит тот факт, что, скажем... поправьте меня, если я, как неспециалист, что-то напутаю... что, скажем, среди пожилого поколения — каждый второй страдает теми или иными психическими отклонениями? Что молодежь призывного возраста, даже не знакомая с наркотиками — хотя таких становится все меньше, — почти вся страдает депрессиями вполне уже патологического уровня или легкими формами паранойи и шизофрении? Что повышение градуса агрессивности в обществе вызвано едва ли не в первую очередь именно этим? Что мы фактически вот уже многие годы живем в одном огромном сумасшедшем доме?

Какой пыл.

— Конечно, беспокоит! — раскатисто ответствовал я с улыбкой. — Конечно! Но, помилуйте, господин... э... Евтюхов. Если даже федеральный бюджет не в состоянии сколько-нибудь всерьез позаботиться об этой неисчислимой армии страждущих, то чего вы хотите от частного заведения, в котором работает один-единственный профессиональный психолог и которое существует только на заработанные этим психологом деньги?

— Безусловно, я понимаю, что вы способны помочь лишь очень немногим, — кивнул Евтюхов. — Но почему вы заведомо сужаете круг пациентов, устанавливая столь высокий имущественный ценз? Фактически вашими услугами могут пользоваться лишь люди бизнеса, не так ли?

— С чего вы взяли? — Я возмущенно откинулся на спинку кресла. — Хорошенькое дело! Ежели вам угодно, господин Евтюхов, то... Сколько я помню, среди наших пациентов вообще до сих пор не было ни единого финансиста, ни единого директора предприятия. Ни единого!

Хочешь, чтобы я начал горячиться, — я погорячусь. Посмотрим, что из этого выйдет.

— Что ж, — хладнокровно и безжалостно дожимал меня корреспондент, — значит, дело обстоит еще хуже. Элитный клуб интеллектуалов! Голубая кровь, белая кость. Восстановление творческих способностей! А баба Нюша, всю жизнь проработавшая гардеробщицей и заработавшая от постоянного унижения манию преследования, или дед Иван, потомственный токарь, доработавшийся до нарушения концентрации внимания, — они заведомо за бортом! Не так ли? Откуда такой снобизм?

Ему бы речи с трибун валять. Он меня корил, а чувствовал ко мне все возрастающую симпатию типа: да этот директор, похоже, нормальная сволочь, если он мне понадобится, его можно купить, узнать бы только... Но вот что он хотел узнать — в таких подробностях я не чтец.

Интересно.

Я никогда не сумел бы столь красно трубить о высоких материях вслух. И это при том, что, в отличие от лже-Евтюхова, всерьез за них переживаю.

Впрочем, тут, видимо, вечный закон природы. Эрудиция моя родная, свалка памяти ненасытная! Как бишь в «Дао дэ цзине» констатировал старик Лао-цзы: «Верные слова не изящны. Красивые слова не заслуживают доверия. Добрый не красноречив. Красноречивый не может быть добрым».

Он явно провоцировал меня, мой красноречивый лже-Евтюхов, но на что — я не мог уловить. Во всяком случае, на то, чтобы я завелся и начал лепить сгоряча, от сердца.

Ну, заяц, погоди. Ты меня разозлил. Сейчас тебе понадобится все твое терпение.

— Погодите, господин Евтюхов, давайте сначала выясним, о чем все-таки мы говорим. Если о стоимости лечения — это одно. Если о его ориентации — это другое.

Он хотел что-то ответить, но я остановил его резким движением ладони — и указал на магнитофон: мол, получай интервью. Или ты сам сюда трезвонить пришел? Он осекся мгновенно.

А мне пришла в голову странная мысль.

Если ты живешь, как жил, ни одного нетривиального поступка не совершая, но вокруг тебя внезапно, буквально в течение суток, происходят по меньшей мере три непонятных, из ряда вон выходящих события — вполне логичным будет допустить, что они связаны друг с другом. Природа этой связи — где-то вдали, и выяснить ее можно лишь постепенно и лишь по косвенным признакам. Но удостовериться, что связь эта есть — можно, и очень даже просто.

Стоит лишь назвать фамилию: Сошников.

Потому что, как ни крути, началось с него.

Во всяком случае, надо в этом удостовериться.

Но для начала, господин Евтюхов, я тебя все-таки помурыжу.

— Сначала об ориентации. Это старый спор, в котором, конечно же, правы обе стороны, но все-таки одна права относительно, а другая — абсолютно. Кого поддерживать в первую очередь, если в поддержке, в силу экстремальности условий, нуждаются едва ли не все? Тех ли, кто уже выработал, так сказать, свой ресурс и просто доживает свои дни, имея все свои трудовые подвиги и заслуги в героическом и давнем прошлом...

От злости я тоже запел соловьем. Не ожидал от себя подобной велеречивости. Между прочим, господин Евтюхов, у меня друга убили. А вы тут с ерундой.

А не вы ли, кстати, убили?

— ...Или тех, кому именно вот сейчас бы и совершать свои подвиги, но кто совершенно не в состоянии этого делать, потому что за трудовые подвиги не платят, а платят совсем за иное. А между прочим, от этих-то вот людей во цвете способностей и лет зависит благосостояние как более молодого поколения — то есть их несовершеннолетних детей, так и более пожилого поколения — то есть их престарелых родителей. Знаете, — я устроился в кресле поудобнее с видом человека, который нашел наконец благодарного слушателя и теперь уж не отпустит его живым, — среди наших пациентов был один весьма знающий востоковед. Он рассказывал, что, например, в средневековом Китае, где вообще чрезвычайно заботились о стариках, было отлично налажено пенсионное обеспечение. Но совершенно иначе, нежели у нас. Государство не брало на себя сизифов труд каждому старику совать медяк в руку — отдавая себе, в частности, отчет в том, что по меньшей мере две трети таких медяков будет разворовано именно теми низовыми служащими, которым по их должности как раз и полагается подходить к каждому конкретному старику и говорить: примите, отец, дань признательности за труды.

Железный человек был Евтюхов. Он сидел с непроницаемым видом и вежливо внимал. Но я чувствовал: он стервенеет.

— Государство возвело скупое содержание родителей, равно как и дурной за ними уход, в ранг уголовных преступлений, положило за него весьма суровое наказание, а затем ввело такие нормы, при которых связь между людьми, находящимися в расцвете трудовых способностей, и их престарелыми родственниками стала нерасторжимой. Если, скажем, некто был единственным работоспособным сыном в семье, а кто-либо из его стариков достигал, так сказать, пенсионного возраста, то такой сын не мог даже на государственную службу поступить, а должен был сидеть при семье, возделывать семейное поле и заботиться о безмятежной старости предков. Если такой сын совершал преступление, его ни в каторгу, ни в ссылку не могли отправить, наказание откладывалось, пока престарелый родственник не помрет или пока в семье не подрастет другой мужчина, который возьмет бремя забот на себя. И так далее. Разумно, не правда ли? Никакого воровства из пенсионного фонда. Никакой путаницы в отчетности. Никаких собесов и собесовской волокиты. Тот, кто может работать, должен работать, и забота государства — дать ему такую возможность. Все! А уж он прокормит тех, кто работать не может, — прокормит от души, потому как родная кровь.

Евтюхов, уже не в силах сдерживаться, едва слышно вздохнул. Лед тронулся.

— Я это к тому, — милосердно закруглился я, — что оптимальным выходом из всех подобных коллизий мне видится забота о том, чтобы наиболее деятельное поколение, то, которое растит детей и ухаживает за стариками, получало как можно более широкие возможности растить и ухаживать. То есть для того, чтобы работать с полной отдачей и зарабатывать по максимуму. Тогда остальное приложится. И государству польза, и старикам несчастным. А вбухивать деньги от государства впрямую в стариков — это, во-первых, вбухивать их, главным образом, в пенсионных чиновников и, во-вторых, сажать на голодный паек тех, кому бы работать и работать при соответствующем вознаграждении. Кому бы содержать как государство, так и стариков.

Евтюхов с ледяной неторопливостью положил ногу на ногу.

— Все это, конечно, просто, если под работой мы понимаем почти исключительно работу на семейном поле, — продолжал я без зазрения совести, как бы не замечая его напряженной, натужной медлительности. — В наше время это, увы, нуждается в каких-то модификациях. В частности, коль скоро есть у нас, увы... Да-да, увы! Возможно, вы помните — был после Октябрьского переворота такой большевистский поэт Сельвинский, его потом большевики расстреляли, кажется. Он замечательно писал, мне это смолоду врезалось в память: «Чтобы страну овчины и блох поднять на революционном канате, хотя бы на уровень, равный Канаде, нужен рычаг, ворот и блок, поэзия скобок и радикала; дабы революция протекала, нужно явленье — увы! — неминуемое, интеллигенцией именуемое». Так вот: УВЫ! У нас же теперь тоже, можно сказать, революция, пусть не социалистическая, пусть капиталистическая, но ХОТЯ БЫ на уровень, равный Канаде, нам все-таки следовало бы когда-нибудь подняться, не так ли?

Евтюхов сцепил пальцы на коленях. Напряженно сцепил. Демонстративно скосил глаза на диктофон — не кончается ли, дескать, пленка? Пленки было вдоволь.

— Коль скоро, увы, сохранилась у нас еще группа лиц, способных зарабатывать исключительно интеллектуальным трудом, кто-то должен взять на себя заботы о том, чтобы они могли трудиться именно в этой сфере с полной отдачей. И, таким образом, а: сводить концы с концами, бэ: уделять от этих концов кое-что детям и родителям, чтобы те не перемерли с голоду в ожидании подачек со стороны Отчизны, и вэ: поднимать эту самую Отчизну на уровень, ХОТЯ БЫ равный Канаде. Я, кстати, совсем недавно был свидетелем забавной сцены: группа молодежи вываливается из «Макдоналдса» и поет... эрудиты, я просто поразился... этакий модификат одного из шестидесятнических гимнов, я его от матери слышал в детстве. Поют: хоть похоже на Канаду — только все же не Канада!

Я жирно засмеялся, явно довольный собой и своим остроумием. Евтюхов опять вздохнул. Шумно.

— Теперь о стоимости. Мы избрали систему оплаты, сходную, так сказать, с прогрессивным налогом. Во-первых,

к нам обращаются, или даже приходят по прямой рекомендации своих работодателей, творческие работники процветающих предприятий и фирм. Самого различного профиля. От архитекторов и дизайнеров до биологов и физиков. Для этих работников стоимость наших услуг весьма велика. Весьма.

— Какова? — не утерпел Евтюхов.

— Это не предмет интервью. У нас избирательный подход, и в каждом конкретном случае стоимость курса оплачивается по договоренности с руководством организации, где работает пациент. Во-вторых, к нам обращаются, зачастую стараясь сохранить инкогнито... забыл сказать: у нас вообще очень строго с обеспечением приватности услуг... более или менее высокопоставленные работники системы Академии наук или вузов. Здесь оплата лечения делается на порядок более щадящей. По меньшей мере на порядок. Ведь эти люди платят нам из своей получки. И наконец, в-третьих, к нам обращаются люди свободных профессий, зачастую оказавшиеся в отчаянном положении, или талантливые, но не выбившиеся ни на какие хлебные посты ученые. Также находящиеся в отчаянном положении. Подчас — вообще без работы. Или по традиции числящиеся в штате своих учреждений, но давным-давно и навсегда по доходам своим оказавшиеся заведомо ниже прожиточного минимума. Навсегда, потому что вы же понимаете: каждый дополнительный рубль люди кой уж год берут с бою, но, в то же время, если забастуют, например, железнодорожники — это видно всем, а если забастуют, например, вирусологи — этого никто не заметит сто лет. Для таких пациентов у нас разработана система льгот: дотированное лечение, лечение в кредит... Вот, скажем, один из последних наших пациентов... э... Павел Андреевич Сошников...

Все стало совершенно ясно в единый миг. Утомленный и усыпленный моей болтовней Евтюхов несколько расслабился, и когда в потоке словесного поноса неожиданно полыхнула эта фамилия — он не совладал с собой. Даже если бы не дар Александры, элементарная наблюдательность подсказала бы мне, что дело нечисто. В глубине глаз лже-Евтюхова отчетливо мигнуло.

— Вам, скорее всего, эта фамилия ничего не говорит. — Я позволил себе уже совершенно откровенно потешить себя издевкой, которую он, конечно, понять не мог. — Он прошел у нас три сеанса, и даже этот, в сущности, чрезвычайно короткий курс оказался ему весьма полезен. Так вот, плата была чисто символической. Чисто символической. Правда, — я сокрушенно покачал головой, — лечение не пошло ему впрок. Трагическая нелепость...

Я унялся наконец. Надо было дать ему отреагировать. И как следует вслушаться в него теперь, когда в его подноготной пошли бурные процессы.

Он действительно был железным человеком. Он настолько конспирировал цель прихода, что даже не ухватился за предложенную мною возможность. Судя по его поведению, у него действительно впереди была вечность. Он нервничал — но не позволял себе дать волю желанию ускорить томительный процесс и не допускал ни единого демаскирующего прокола.

Его следующий вопрос не имел к Сошникову ни малейшего отношения.

Он не был корреспондентом. Ни «Деловара», ни какого-либо еще издания на белом свете. Никогда не был. Я еще не присягнул бы в этом, но ощущение у меня к данному моменту проклюнулось такое — он из ФСБ.

— То, что вы рассказываете, Антон Антонович, — это весьма существенно. Весьма существенно. — Он со значением несколько раз покивал. — А то, буду с вами откровенен, мне встречались и такие расхожие мнения о вашем учреждении: это очередные шарлатаны, на американский манер выманивающие деньги у бесящихся с жиру высоколобых, психоаналитическая дурилка, фрейдисты-скоробогачи импортного кроя, с запредельным уже бесстыдством прикрывающиеся заботой о людях. Только с высоколобыми дело имеют? Конечно, у высоколобых долларцы!

Он говорил и внимательно следил, возьмет ли меня эта напраслина за живое.

— Бесящиеся с жиру ученые — это надо сильное воображение иметь, — задумчиво сказал я. — И очень сильно не любить всех, кто хотя бы таблицу умножения помнит. А что

касается так называемых долларцев, то мы как учреждение ни малейшего дела с ними не имеем. Лишь как частные лица и лишь на общих основаниях.

— А вот кстати, Антон Антонович. Кстати. Долларцы. Ведь, наверное, немало народу из ваших подопечных какое-то время работало, или работает, или намеревается поработать в развитых странах. А то и вовсе сваливает, как говорили прежде, за кордон. От иностранных фирм-работодателей вы разве не получаете валютной оплаты?

И я почувствовал, что лже-Евтюхов наконец-то начинает выруливать к действительно интересующей его теме. Странно. Неужели тема сведется к финансам? Тогда при чем тут Сошка?

— Нет. Никогда, — честно ответил я. — Не было случая, чтобы за помощью обратился человек, работающий за рубежом. Ни единого случая.

— Помнится, одно время вошло в моду поветрие: те, кто собирался отъехать, заблаговременно шли тут, именно тут, например, к зубному и лечили все, что только можно вылечить. Потому что тут это гораздо дешевле. С вашим учреждением аналогичных ситуаций не возникает?

— Что вы имеете в виду?

— Я имею в виду, что люди, собирающиеся на время или навсегда покинуть страну, перед тем как это сделать и приступить где-то за границей к работе по своей оч-чень творческой специальности, — он не сдержал саркастической усмешки или изобразил ее нарочито, — вероятно, стараются перед самым отъездом максимально активизировать творческие способности у вас, чтобы, во-первых, оказаться там в более выгодном положении при поисках работы и, во-вторых, в случае возникновения каких-то... э-э... коллизий не платить чрезвычайно дорогим тамошним медикам. Поступать так было бы вполне здраво.

— Вероятно, — поскучнев, ответил я. Евтюхов наконец-то подобрался к предмету разговора. И мне обязательно следовало заскучать, утратить интерес и заговорить односложно, чтобы он задавал как можно больше вопросов. Так он больше рассказал бы мне о цели своих расспросов. — Мне это не приходило в голову. Вероятно, потому, что я по-

нятия не имею, где и как находят себе применение наши пациенты после лечения.

— Неужели вы так мало заинтересованы в результатах своих трудов?

— Это любопытно, конечно, и время от времени до нас доходит какая-то информация — однако специально мы не интересуемся. Ну, а если человек или направившее его предприятие вполне довольны, они так или иначе доводят свое удовлетворение до нашего сведения.

Я выглядел теперь в его глазах классическим болтуном. То звенел без удержу о ерунде вне всякой связи с предметом интервью — то теперь, по делу, из меня буквально клещами приходилось вытягивать каждое слово.

— И пациенты никогда не делятся с вами планами на будущее?

— Да нет, пожалуй. Не припомню.

— Но все-таки бывает? — Его настойчивость, если посмотреть непредвзято, становилась уже неприличной, на грани подозрительного. Немножко он заигрался, похоже. Но ему очень важно было то, что он пытался выяснить сейчас.

— Как вам сказать. — Я, не скрываясь, скосил глаза на часы и даже головой чуть качнул: ой-ой, мол, сколько времени прошло попусту.

— А фирмы-работодатели ваших пациентов в тех документах, с которыми они направляют к вам своих оч-чень творческих работников, никак не указывают, где и как будет после лечения пациент использоваться? Например, чтобы сориентировать вас относительно наиболее желательной для них направленности восстанавливаемых творческих способностей?

— Нет, никогда. Такое попросту невозможно. Желательное направление творческих способностей — вы, вообще-то, слушаете сами себя?

— Ну, вероятно, я не очень точно выразился.

— Хотите посмотреть документик-другой?

— Упаси бог, мне вполне достаточно вашего рассказа. — Он спохватился и одернул себя. — В конце концов, не это главное в нашей беседе. Мне просто любопытно в качестве

характеристики отношений, устанавливающихся между врачами и пациентами.

— Ну, разве что в качестве характеристики. Иногда бывает, что устанавливаются очень доверительные, подчас дружеские отношения.

— Но ведь при дружеских отношениях было бы естественно пациенту обсудить с вами — со спасителями, так сказать, — перспективы будущей деятельности?

— Да что вы! Они, как и всякий выздоровевший человек, рады-радешеньки отсюда ноги унести и никогда нас больше не видеть!

— А вот Фрейд писал, что пациент, проходящий психоанализ, на определенной стадии лечения всегда начинает неровно дышать по отношению к аналитику. Женщины даже, как правило, влюбляются.

— Фрейд нам не указ. Здесь гораздо более современные методики.

Судя по всему, сам фамилию Сошникова он не мог назвать. Но и я не хотел ему подыгрывать во второй раз. Это могло показаться слишком уж нарочитым.

Да, похоже, не в самом Сошникове было дело. Почему-то его вообще интересовали пациенты, собирающиеся уехать из страны, — и то, знаю я об их планах или нет. А Сошников был только конкретным и ближайшим по времени примером.

Или не только?

— А вам было бы жаль, если бы кто-то из ваших пациентов весь свой талант, воскрешенный вами, поставил на службу какой-либо иной державе?

Опаньки!

Да что ж это он так вокруг отъездов-то? Весь внутри аж трясется. И на самом деле интересует его вот что: а не пришиб бы я Сошникова за то, что он собрался после лечения у меня уезжать?

Ох, как интересно!

Я опять посмотрел на часы. Но Евтюхов, прекрасно это видевший, и тут оказался железным человеком.

— Как вы отнеслись бы, — с видимым раздражением ответил я, — к тому, что хирург, чикающий аппендиксы изо

дня в день, стал бы каждого оперируемого спрашивать: ты где после операции будешь работать? Здесь, мол, или за рубежом?

— Выглядит довольно нелепо, — согласился Евтюхов.

— Психолог — просто врач. Отнюдь не духовник, не гуру, не сэнсэй какой-нибудь. Он не несет ответственности за то, как будет жить выздоровевший бывший пациент.

— Понимаю вашу позицию... Боюсь, я уже надоел вам, — улыбнулся Евтюхов.

— Ну, что вы! — с максимальной неубедительностью и ненатуральностью возразил я. Он улыбнулся еще шире.

— Благодарю за чрезвычайно интересную беседу, Антон Антонович. Я полагаю, публикация этого интервью разрушит некие предвзятости, с которыми кое-кто относится к вашему учреждению. А возможно, и послужит некоторой рекламой.

— Мы в рекламе не нуждаемся.

Он поднялся. Перебросил ремень сумки на плечо. Потертая, набитая... Имидж сочинен аккуратно. Диктофон работал.

— Да, — сказал он тут, — это уже, как в песне пелось, не для протокола. Вы обмолвились о какой-то трагической случайности, произошедшей с этим вашим пациентом, как его... Сошиным.

Ха-ха. Изобразил.

— Сошниковым.

— Да, Сошниковым. Она как-то связана с лечением, которое он получал в вашем учреждении?

Я горько усмехнулся.

— Самым прямым образом, если можно так сказать. Слишком хорошо лечим. Депрессии его мы ему сняли — так он на радостях где-то так надрался, что в вытрезвитель попал, а там ему, похоже, отвесили по полной. Теперь в больнице...

Его лицо стало хищным. Не сдержался все же.

— Получается, что после окончания лечения вы все же поддерживаете какие-то связи с вашими больными.

Как ни в чем не бывало, я развел руками.

— Подчас приходится поневоле, — и запустил еще один пробный шар: — Сошников мне дал почитать дискету со своими последними работами, которые не смог или не захотел публиковать. Отказаться я был не вправе — знакомство с творчеством пациента, знаете ли, это одна из основных методик проникновения в его внутренние проблемы. Но времени у меня мало, читаю я долго — не успел. И вот позвонил, чтобы договориться, как вернуть — а он пропал. Я человек щепетильный в таких вопросах, обязан дискету вернуть, так что принялся Сошникова искать...

Нет, дискета лже-Евтюхова не заинтересовала. На творчество Сошникова ему было глубоко плевать. Интерес был связан с чем-то иным.

— Но с ним вы его виды на будущее тоже не обсуждали?

Вот с чем он связан. Поразительно.

— Нет, — честно глядя Евтюхову в глаза, ответствовал я.

— Всего вам доброго, — произнес Евтюхов и тут как бы заметил оставшийся на столе диктофон. — Господи, ну и голова у меня. Чуть не забыл...

Когда он вышел, я встал и подошел к окну. Опять валил снег, уже настоящий, зимний.

Рано в этом году что-то.

Внизу громыхали на выбоинах машины, продавливаясь по ломаной кишке наполненного коричневой жижей проспекта, чуть не вполовину обуженного бесконечными парковками — под окнами и витринами, на доброй трети которых красовались масштабные объявы «Фор рент», «Фор селл».

Белые мягкие крыши горбатых петербургских домов неторопливо летели сквозь лиловато-сизую мглу.

Он мне поверил. Я почувствовал совершенно определенно — он ушел, уверившись, что я ничего не знал о предстоящем отъезде Сошникова. А если бы и знал — то было бы мне плевать.

Конечно, он еще будет анализировать запись — но, думаю, она его не разуверит. Похоже, я перестал быть для него интересен.

Странно.

А вот он мне — стал интересен.

Очень кому-то вдруг понадобились мои пациенты. Никому не нужные, мучающиеся невостребованностью, задыхающиеся от бессмысленности бытия своего. Очень вдруг кому-то понадобились.

Чтобы сложить два и два, большого ума не надо. Весь этот разговор, все это, с позволения сказать, интервью было затеяно с одной лишь целью: выяснить, знал ли я о планируемом Сошниковым отбытии — и если знал, то как к этому относился. Отчасти еще: узнать, в курсе ли я вообще, кто из моих пациентов собирается отбывать. Но главное — знал ли я о Сошникове.

Более того. Похоже, он уже был в курсе несчастья, что случилось с Сошниковым — и поначалу не исключал, что я к этому несчастью причастен.

Чудны дела Твои, Господи...

Что же все-таки с моим великовозрастным птенцом произошло и где? Кто и как ему мозги отшиб?

Все придется делать самому. Никем больше рисковать я не вправе. Ах, Коля...

Платежки.

Я посмотрел на часы. Время до встречи у «Стерегущего» еще было.

Я зашел в бухгалтерию, изобразил все, что полагалось, выслушал очередную пару экспромтов в свой адрес, посмеялся — кажется, довольно естественно, — и вернулся к себе. Снова встал у окна.

Любование первым снегом. Самурайские штучки.

Повторять путь Коли Гиниятова нельзя. Во-первых, это, как выяснилось, смертельно опасно...

Коля, Коля... Тоня...

...а во-вторых, наверняка не получится. Этот Венька, Вениамин Каюров теперь наверняка затаился, исчез. Не доберешься до него. Конечно, если то, что произошло, связано с ним. Но удостовериться, так это или нет, можно, только выяснив, ЧТО ИМЕННО произошло. Покамест из простой осторожности следует исходить, что это с Венькой связано.

Стало быть, надо искать иной путь.

Чем мы располагаем, чтобы этот путь нащупать?

«Завтра вот с Венькой Коммунякой выпью».

Раз.

«Аванти ру-ру-ру... бандьера росса... бандьера росса...»

Два.

«А почему он поет так долго одно и то же?» — «Возможно, последнее внешнее впечатление так сказалось. Последнее перед тем, как химия ему впаяла по мозгам. Что-то по-испански, что ли... Наверняка из какого-нибудь мексиканского сериала, их же как собак нерезаных».

Три.

«Похоже, химия хитрая. Не клофелин. В обычной больнице такую вряд ли расколют».

Четыре.

Лже-Евтюхов из ФСБ или какой-то аналогичной конторы.

Пять.

Больше ничем мы не располагаем.

Мелодия вот только не сладкозвучная, не навевает трепетной любовной неги. Скорее маршевая. Не тянет на сериал. Хоть эта продукция отшибает мозги не хуже химии — все равно не тянет.

Выпьем с Венькой.

Последнее впечатление.

Окаянство, не хватает эрудиции. Не знаю я испанского, итальянского аналогично, португальского — тож.

Маме позвонить?

Маму впутывать туда, где трупы бывают? Ну, ты даешь, Антон Антоныч. Токарев ты после этого, как есть Токарев.

Росса... что-то знакомое все-таки. Мартини бьянко... мартини россо. Бандьера. Или бандьеро, на слух не понять. Красное что-то. Очередное заморское винище? Ну, в картах вин я совсем профан. И почему оно поется? Рекламный слоган? Где мог Сошников услышать рекламу заморского породистого вина? Телевизор он практически не смотрит, это я знаю...

Скорее по наитию, нежели от великой логики, я потянулся к неподъемному тому «Весь Петербург» и раскинул его почти на середине. Хотя нет, вряд ли рестораны — кишка тонка, дорого; да и не любит Сошников великосветского выпендрежа, нет у него смокингов-фраков, ненавидит он

напрягаться на предмет того, когда которую вилку как держать. Ему куда ближе что-нибудь простенькое: колбаска на газетке, газетка на пенечке, водочка из одноразового стаканчика... так душевней, так ритуалу внимания меньше, общению — больше. Скорее забегаловка какая-нибудь, из тех, что в народе зовут гадюшниками.

Для надежности я повел пальцем по строкам. Но далеко пальцу ехать не пришлось.

Как просто.

«Бандьера росса».

Кафе. Телефон для справок. Телефон дирекции.

Адрес.

6. ВЫПИЛ РЮМКУ, ВЫПИЛ ДВЕ — ОКАЗАЛОСЬ ДВАДЦАТЬ ДВЕ

На рандеву к настоящему журналисту я едва не опоздал, потому что, решив уже, куда и зачем направлюсь после встречи с ним, к «Стерегущему» поехал не на машине, а, что называется, на метле. То бишь на метро.

Встреча эта практически ничего не дала. Помимо того, что уже было известно с утра, не появилось никакой принципиально новой информации. Один произошел плюс — кто-то из официальных следователей волей-неволей сообщил о происшедшем Тоне. Я почувствовал гаденькое облегчение. Ужасно — но факт. Из песни слова не выкинешь, а из исповеди — и подавно.

Как держалась Тоня — этого мой информатор не знал.

Я чувствовал: ему очень хочется спросить, что именно Коля делал для меня. Но вопросы у нас не приняты. Задание — оно задание и есть. Если бы участие журналиста понадобилось — я бы предложил ему участвовать, а уж затем, при условии его согласия, ввел бы в курс дела. Нет — так и нет. Все-таки надежные у меня товарищи, благодарно и чуть виновато думал я, когда мы, в какие-то полчаса став похожими на снеговиков, обменялись прощальным рукопожатием и разошлись. Вполне по Сошникову — дружба, замешенная на единой цели. Самая сталь. Журналист не задал мне ни единого вопроса.

Ранние сумерки наколдовали мир, где свет шел не сверху, а снизу. Из серо-сиреневой мглы над головами неторопливо и нескончаемо вываливался белый снег, и пушистое покрывало, укутавшее землю, ветви и стволы, парапеты и провода, было светлее пропавшего неба. Даже звуки города умиротворенно изменились, даже трамваи звенели глуше, и без надсада, и словно бы издалека. Мне не хотелось обратно в духоту. По-детски загребая рыхлый, воздушный снег ногами, совсем медленно, я брел к «Горьковской» и пытался заставить себя еще раз продумать операцию, в которой — уникальный случай! — планировался лишь один исполнитель, я сам. Но уже не мог. Время прицеливания кончилось; в сущности, я выстрелил пару часов назад и летел теперь по инерции. Долго это продлится, или нет — знать мне было не дано. Попаду — упаду.

Веселый разговор.

Это было своеобразное кафе. При гардеробе сидел дородный пожилой охранник, сразу вперившийся в меня с подозрением; когда я стащил куртку, он неспешно, но значительно поднялся и сделал шаг ко мне:

— Я вас тут прежде не видал.

Я набычился.

— Что, русскому человеку на своей земле уже и выпить нельзя без бумажки от Сороса? — нагло и донельзя идейно ответил я.

Это охранника парализовало. Но ответ мой, видимо, показался ему достойным, ибо, поразмыслив несколько мгновений, он столь же неспешно вернулся на место, а я отдал куртку в окошечко гардероба и уже безо всяких проблем получил взамен обыкновенный, чуть помятый номерок.

Войдя внутрь, я сразу узнал то скупо, но уютно освещенное помещение, которое уловил как последнее осмысленное впечатление Сошникова. Я был там, где был он. Я был там, где он перестал быть.

Прямо при входе с несколько мрачной торжественностью полыхало в свете специального светильника бордовое, с золотыми кистями переходящее красное знамя. Рядом, под стеклом — диплом лучшего предприятия пищевого обслуживания, выданный неразборчиво кем в мае позапрошлого

года, в канун, как явствовало из красиво вытисненной шапки, дня рождения Ленина. Над дипломом гордо и празднично сиял золотыми буквами алый транспарант: «Мы придем к победе коммунистического труда!»

И так далее. Крепи мир трудом! Новой пятилетке — высокую эффективность труда! Жить и трудиться по-ленински, по-коммунистически! Высшая цель партии — благо народа! Партия — ум, честь и совесть нашей эпохи! Дети — наше будущее! Сохраним природу для грядущих поколений!

Ни одной фразы без восклицательного знака.

Отстоим Отчизну в схватке с буржуазией! Деньги не для нас — мы не для денег! Достойно встретим Столетие Краснопресненского восстания!

Просторные портреты вождей и генсеков отблескивали аскетично и авторитетно. Траурные ленты на углах. Под каждым — имя, годы жизни, перечень достижений и клятва: «Что ты не успел — мы успеем!» Только под двумя последними не было ни перечней, ни клятв. Потому что завершал печальную вереницу Ельцин, никогда, сколько я помнил, генсеком не бывший, но для полноты картины кооптированный в эту компанию. Под его портретом коротко чернело: «Предатель».

А под портретом его обаятельного и нелепого предшественника — еще короче и беспощадней: «Дурак».

Фотографии воинов-освободителей. От самых первых — в буденновках, марширующих пред очами Ильича с шашками наголо, но пешком, до обнимающихся десантников на узких улицах Кабула.

Танки, танки, танки... Но исключительно — засыпанные цветами.

Берлинскими, будапештскими, пражскими...

Фотографии космонавтов. В траурной ленте — Гагарин со своей великой улыбкой, которая, наверное, сама по себе способна была прекратить холодную войну уже в шестьдесят первом, если бы Никите не шарахнуло все ж таки по-быстренькому победить Америку; в траурной ленте — Комаров...

Ничего тут не было криминального или хотя бы шокирующего. По улицам до сих пор бродит немало людей, у которых в душах творится то же, что творилось здесь на стенах;

обязательно должен был найтись некто, взявшийся бы организовать подходящие стены для таких душ. Рынок.

Интерьер впечатлял. Чувствовался прекрасный дизайнер — возможно, наш бывший пациент, мы работали двух питерских дизайнеров экстра-класса. Будь я лет хотя бы на десять постарше, от ностальгии у меня, наверное, затрепетало бы сердце, в зобу дыхание бы сперло; я едва застал Совдеп, да и то на полном его излете — и все равно мгновенно сработали некие таинственные гены; уже с порога я ощутил себя невинным дитятей, которого великая и добрая страна с отеческой лаской поднимает в светлое завтра на кумачовых ладонях. Каково же, наверное, тем, у кого с кумачами навеки связалась юность — удивительное, и такое короткое, и такое невозвратимое время всемогущества и вседозволенности, время прицеливания... А на прицельную планку им одна за другой садились сверкающие мушки: Братск! Луна! Дивногорск! Венера! Атомные ледоколы! Термояд! Догнать и перегнать Америку! Контакт с иными цивилизациями! Африка освобождается! В Большой Космос могут выйти лишь расы, построившие справедливое общество! Бомбе — нет!!! Ни единой без восклицательного знака...

И многим грезилось, как па Симагину, что уже не за горами СВОБОДА. Время, когда добрый интеллигентный Шурик вместе со своей кавказской пленницей получат невозбранную возможность читать запретных Гумилева, Волошина и даже Солженицына, а при необходимости жаловаться на товарища Саахова в справедливый и бескорыстный обком — но в целом все будет идти, как шло...

Поэтому нынче столь многие и ненавидят столь отчаянно то время и все, что с ним связано. Собственной доверчивости простить себе не могут. И это бы ладно — но они ее НИКОМУ теперь не прощают, борются неистово с доверчивостью и верой как таковой; это у нас завсегда — собственные непоправимые ошибки гордо поправлять, ставя на правеж тех, кто ни сном ни духом...

Знаменосный мужской голос — даже голос был весь какой-то тогдашний, даже мелодика, сейчас таких просто не бывает — пел приглушенно и ненавязчиво, так, чтобы не мешать разговаривать тем, кто пришел поговорить, но и не по-

зволяя вовсе перестать слышать себя: «Будет людям счастье, счастье на века — у Советской власти сила велика...»

Я пошел к стойке.

Здесь, разумеется, было самообслуживание. Никаких официантов. Равенство.

Бармен, крепкий молодой парень в униформе и лихо сдвинутой набок пилотке — вроде бы он косил под бойца интербригад времен испанской эпопеи, но не поручусь, я не историк, — тоже воззрился на меня с несколько настороженным любопытством, но демаршей себе не позволил. Я уже здесь — и я прав, как полагается клиенту. Новенький, да. Но клиент.

Я неторопливо, как бы со знанием дела, раскрыл книжечку меню — тощую, зато со стилизованным изображением Спасской башни с сияющей звездой на шпиле. Углубился. Ну, разумеется, ничего импортного. Ни в напитках, ни в названиях блюд.

«Сегодня мы не на параде, мы к коммунизму на пути...» — втолковывала песня.

— Бутылку водки «Вышинский» и... суп, — раздумчиво сказал я по длительном размышлении. — Скажем... да. Вот этот, «Урал-река».

— Не маловато ли одного супа под целую бутылку, товарищ? — заботливо осведомился бармен.

— Я, может, потом еще что-нибудь соображу...

Бармен с компанейской улыбкой понимающе кивнул.

— Хлеба сколько?

— Три. — И для пущей убедительности я выставил три пальца.

— Понял. Водку немедленно?

— Разумеется.

Он опять кивнул, уже с сочувствием, и проворно нырнул в холодильник. Одним стремительным движением свернул бутылке башку.

— Неприятности?

— Есть немного, — рассеянно ответил я, озираясь в поисках свободного столика.

— Вон слева, — предупредительно подсказал бармен, — у Константина Устиновича свободно.

Он поставил бутылку и стопку на небольшой подносик. Пообещал:

— Когда первое поспеет, я вас позову.

— Благодарю. — Я кивнул и, неся добычу, пошел под портрет Черненко.

Песня иссякла, пылкие завершающие аккорды медленно остыли, и сделалось тихо. Сделались слышны разговоры. В мягком сумраке соседей было плохо видно, но реплики раздавались вполне отчетливо; хотя никто не орал.

Вообще публика была весьма приличной, и не сказать, что одни старики. Никто не обсуждал сравнительных достоинств «Хонд» и «Судзуки», «Саабов» и «Вольво». Никто не бубнил, уткнувшись в стакан: «Он эту точку откупил, козел, и уже назавтра — наезд, а я, в натуре, обратно крайний...» Даже цен на бензин не обсуждали. Даже не пели хором, размахивая бутылками пива: «Я знаю — у красотки есть тормоз от яйца!..» Никто не хвастался с идиотской гордостью — фраза подлинная, я поймал ее каких-то две недели назад в студенческой компании, когда, в очередной раз мотаясь по городу, заскочил перекусить в кафе на Университетской, возле филфака: «У меня есть тетка одна, ее звать Глория. Так она любит, когда ее называют Гонорея...»

— Он у них умным работает. Только я его в конце концов перехитрил — послал подальше.

— Рашид, пойми одну вещь: упавший камень, конечно, может случайно раздавить, например, зайца, но все равно любой заяц умнее камня.

— Дорогой Юра, все так. Но того зайца, который попал под камень, эта истина уже не может интересовать...

И молодежь:

— А вот еще: песня о малочисленных народностях российского Севера. Ну? Кто знает? Нет? Нивхи печальные, снегом покрытые!

Общее ха-ха.

— И выпил-то он дэцил, а ни бэ, ни мэ — полный офлайн. Зазиповали в углу. Так мне оверсайзно с них стало — тут же и мувнулся оттель, и ноги моей больше в этом ресайкле никогда...

— Гайдаки, Чубаки и папа Ельцырос. Три грека в Россию везут контрабанду!

— Да будет вам жевать прошлогоднее сено. Где они — а где до сих пор мы!

— А вот еще: и Божья благодать сошла на Чехию — она цвела под сенью натовских штыков, не опасаясь дураков!

Общее ха-ха.

— Дураки вы, дядьки, все вам хаханьки. А у меня там подружка школьная. Едва выпускные сдала в девяносто четвертом, так и выскочила туда замуж. Как все это грянуло — сразу писать перестала. Я ей открытки, поздравления... целый год бомбардировала, наверное — все как в прорву какую. Вот и гадай, отчего.

— Лапочка, я бы постарался тебе заменить твою подругу, но ты для меня слишком каратична...

Ха-ха.

Грянул марш — по природе своей какой-то немецкий, эсэсовский даже. Но текст был русскоязычный: «Товарищи в тюрьмах, в застенках холодных — вы с нами, вы с нами, хоть нет вас в колоннах...» Разговоры пропали, заслоненные отрывистой, строевой мелодией.

Я налил себе водки.

Ни на что определенное я не рассчитывал — просто хотел поиграть в поддавки и здесь. Разговор с лже-Евтюховым довольно очевидно показал, какая это полезная игра. Ловить невесть что на одного-единственного живца, находившегося в моем распоряжении, то есть на самого себя, — других методик поиска у меня нынче не было.

Ибо, в сущности, я даже понятия не имел, что именно ищу.

Чтобы быть хоть сколько-нибудь убедительным, надо пить всерьез и быть пьяным всерьез.... Никакое притворство не поможет, никакие предварительные таблетки не помогут. Вернее, помогут — засыпаться. Те, для кого ты играешь, кем бы они ни были — не идиоты.

По-настоящему помогут лишь ненависть к убийцам да желание победить. Даже на автопилоте, даже в полном угаре — тот перепьет, кто ненавидит сильнее.

Хотя покамест перепивать мне было некого и ситуация походила скорее на бой с тенью.

Я, мысленно перекрестившись, плеснул в себя содержимое стопки. Ледяной огонь вальяжно покатил по пищеводу вниз, в желудке завис и там уже неторопливо взорвался. Давненько не брал я в руки шашек...

И сразу налил по второй. Угрюмо сгорбился, глядя прямо перед собой и вертя стопку то по часовой стрелке, то против. Все должны были видеть, что я подавлен. Кто именно? Я не знал. Все.

Сразу пить не стал. Должно было пройти хотя бы минут пять-десять, чтобы первая доза оросила мозг.

Марш отмаршировал свое, и снова проявились разговоры.

— Коммунизм они провалили, так? Ну, пересели из обкомов в банки. Теперь провалили и капитализм. У них же опыт одного проваливания, а больше никакого. Драть три шкуры со всех, кто защититься не может, и пугать их — то лагерем да расстрелом, то банкротством да безработицей, смотря по строю. Чуть слово против — что, вам Советская власть не нравится, вы вредитель, шпион? В лагерь! Или: что, вам демократия не нравится, вы сталинист, красно-коричневый? На улицу! Только нынче они совсем уж опытные и потому, чтоб застраховаться от идейной оппозиции, ухитрились обгадить идейность вообще. Нынче просто одни голые задницы из витрин — и лишь в том идея, стоит у тебя на все или на некоторые. Если только на некоторые — ты меньшевик, если на все — большевик...

— Ну, пусть, я согласен, в семнадцатом верх взяло не большинство, а быдло. Большинство хотело совсем другого. Быдло было в меньшинстве. Быдло, на самом деле, всегда в меньшинстве. Но ведь и теперь взяло верх оно, меньшинство, быдло! Большинство опять же хотело совсем не того! Теперь дальше. Само по себе быдло взять верх не может, кто-то должен его вести... и ему платить. Про большевиков нынешнее быдло не устает на всех углах кричать насчет германского золота. Но про нынешних... попробуй скажи хоть что-то об источниках их пыла и жара! Сразу: ах, это просто борьба компроматов, ах, нечего кивать на внеш-

них врагов, ах, это у вас со сталинских времен привычка везде видеть происки. Ах, на самом деле мы сами виноваты, все зло — в нас самих, каждый народ имеет то правительство, которого заслуживает. Всем нам пора покаяться! А быдло хихикает и ручки греет...

— Президенты, как и прочие одноклеточные, размножаются делением. Только делят они не свои драгоценные телеса, а страну...

— А вот песня членов коммерческого Совета РАО ЕЭС! Знаете? Нет? Ты комсомолец? Да! Давай не попадаться никогда!

— Перестройка начиналась с лозунга: надо сократить аппарат. Сколько, мол, непроизводительно занятого народу! Так, слушай меня, этот самый аппарат страну и развалил, чтоб не сокращаться. Теперь, куда ни плюнь — президенты, думы, избиркомы, партии, таможни, пограничники... В десять раз больше тунеядцев, чем при Советской власти! И все, слушай меня, как сыр в масле катаются!

— Мы тут... мы тут никто. Но и те, кто с красными флагами шатается кругом Думы, да и в самой Думе — либо шуты, либо нормальные выжиги... Не знаю. Никого не осталось.

— Ну, пусть Шеварднадзе висюльку эту нацепил. Так он открыто хвастал, что, когда министром был, нарочно Союз разваливал. Но Горбачев-то! Принимать, как ни в чем не бывало, фрицевский орден за сдачу Европы, за развал страны, за то, что солдатиков в голые степи загнали! Если ты тоже нарочно разваливал — так под суд тебя за измену Родине и под расстрел со всей компанией, и весь сказ! Полицаев несчастных до самой старости по погребам шукали, бессрочно, а они большей-то частью детишек своих спасали от смерти, когда к фрицам шли... и сколько те полицаи предавали? Ну пятерых, ну, десятерых... а эти-то все двести миллионов разом! Ну, а если не нарочно, если не понимал, чего творишь — так поклонись народу честно и хоть крест этот сраный у фрицев не бери, на кой ляд он тебе, с голоду опух, что ли?!

Грянула величавая мелодия.

Несчастные люди, с безнадежной и уже чуть хмельной тоской думал я. Как это парень сказал? Будет вам жевать прошлогоднее сено. Прошлогоднее сено... Слаб я в сельском хозяйстве, опять не хватает эрудиции — прошлогоднее сено съедобно или нет?

Ну, навесили всем сестрам по серьгам. Усе правильно, граждане, усе справедливо. Дальше-то что?

Стул под моим седалищем и стол под моими локтями осторожно и согласованно, будто на пробу, колыхнулись на один борт, потом, после короткой паузы — на другой, и романтично поплыли. Отлично. Процесс пошел.

«Люблю Украину, Кавказ и Поволжье...»

Ну и правильно, подумал я. И я люблю. Всегда именно так и чувствовал, хотя ни в пионерлагере, ни, скажем, на ударной комсомольской стройке не бывал никогда, по горну не вставал и слышу эту, извините за выражение, ораторию впервые в жизни. У каких подонков от таких слов могло возникать ощущение тюрьмы? Воли захотелось! Как это Сошников про волю писал? Предательство по отношению... Надо перечесть.

«И где бы ни жил я, и что бы ни делал — пред Родиной вечно в долгу...»

Ага. Вот этим, стало быть, они все отравили. Они, кто заказывал и визировал тексты таких вот песенок, — Родина, а мы, то есть народонаселение, электорат, — хворост для обогрева Родины, планктон для пропитания Родины...

Вторая стопка отправилась за первой вдогон.

Но ведь именно это и происходит теперь сызнова! Только ленивый не твердит о подъеме великой России — то есть их, великих в России. А ДАЛЬШЕ-ТО ЧТО?

Ай да Сошников. Нет, надо перечесть. Сразу не взяло — а вот так походишь, поразмыслишь, посмотришь под определенным углом...

И градусом.

— Товарищ, ваш суп! — без особого напряжения перекрыв торжественное течение музыки, крикнул мне бармен. Я встал. Стою. Значит, все еще впереди; вон в бутылке сколько. Для того чтобы сделать нечто, нужно соблюдать три условия: во-первых, начать, во-вторых, продолжать и,

в-третьих, завершить. Впрочем, возможно, завершат без меня. Завершат — меня. Как это я советовал Коле? Не ешь там и не пей... А его ножиком в бок. А я вот теперь пью и сейчас вот стану есть.

Я поблагодарил и расплатился, честно пояснив, что делаю это на всякий случай, вдруг потом завинчусь и забуду — бармен отнесся к объяснению с добродушным пониманием. Оказалось весьма недорого. Все для блага человека! Несколько уже напрягаясь, чтобы не расплескать, не выронить и не споткнуться, я донес до столика поднос с замечательной тарелкой, по краю которой трижды было написано «Общепит», и тускло-серой, легкой и мягкой ложкой — живописно погнутой в самую меру, чтобы образ не стушевался. Поставил. Сел. Суп оказался вкусным.

Ну, под вкусный суп с чапаевским наименованием «Урал-река» да не дослать еще полтинничек — это не по-русски.

Состояние легкого одинокого опьянения приятно тем, что возникает абсолютно достоверная иллюзия — собственно, то, что это была иллюзия, понимаешь только наутро... дескать, вот-вот ухвачу истину, запредельное понимание, которое кой уж год не дается, только брезжит, проклевывается, дразнит и манит; и вот наконец сейчас, еще через минуту, еще после граммульки...

Народ, перефразируя оперного Германна, давно сформулировал это так: она пуста, а тайны не узнал я.

Гнаться за истиной я не собирался, я знал цену подобным погоням. Но некоторое безделье и некоторое расслабление, состояния крайне редкие в жизни, грех было терять попусту. Минутная стрелка стала неважной, стальной стержень в душе прореагировал со средой и растворился, а покрытые антикоррозийкой пружины обессиленно провисли, раскачиваясь... Я с хмельной решимостью спрыгнул в прошлое и принялся рвать себе душу сладкой болью воспоминаний.

В апреле девяносто девятого выдалось несколько поразительно теплых и тихих дней, летних в лучшем смысле этого слова — потом-то опять весь май оказался просвистан ледяными ветрами, а там, в районе именно вот дня рождения

не то Ленина, не то Гитлера, уже листья молодые полезли, уже запорхали совсем живые июньские бабочки... То была изначальная наша с Кирой весна. Я ухаживал самозабвенно, ни себе, ни ей не давая ни малейшего продыху — и вот позвал ее промотать денек и съездить насладиться уникальным теплом на природе. Мне еще памятны были наши вылазки на перешеек с мамой и па Симагиным, уж так мы весело чудили тогда...

Близ Комарова, за Щучьим озером, затаилась на плоском холме, среди прямых, как всплески, сосен, укромная райская полянка; без травы, без ягодника, лишь сплошная подушка мягкой хвои да заросли вереска по боковинам. И туда мы пошли, и, оказалось, можно уже загорать, настолько там сухо и солнечно, настолько успела прогреться земля — хотя в тени еще плавились и млели влажно поблескивающие груды мелкозернистого твердого снега в гаревых разводах поверху. Отогретый лес просыпался, ползали деловитые жуки, и гудели деловитые шмели, а мы то разлагались на теплой хвое, то принимались, как были, практически нагишом, играть в снежки — никогда такого не было у меня в жизни, ни до, ни после, чтобы в одночасье и загорать, и играть в снежки! Господи, как мы хохотали! До чего же нам было безмятежно и вместе. Это было ВМЕСТЕ. Именно там и тогда — нате, нате вам пикантную подробность наконец! — мы сделались мужем и женой...

Я прихлебнул.

А как Кира вывезла меня к теплому морю, в Крым! Тут уж без финансовой помощи ее родителей было не обойтись. «Сеятеля» тогда не существовало, он лишь дозревал в моем мозгу, воспаленном от сострадания к убогим талантам. Но вояж того стоил. Я, бедный, но гордый, встал было в позу, но Кира меня нейтрализовала с неодолимой хитростью идеальной жены: Тоша, а если ты вдруг соблаговолишь мне в будущем сезоне Глеба сделать, мне же надо перед этим как следует набрать здоровья?

Попробуй возрази...

Мне и самому, признаться, хотелось хоть разок еще побывать там, где жарко и красиво, — но чтобы вдобавок при этом не стреляли и под ногами не путались мины. Памятуя

мамины рассказы о ее детской поездке, я настоял, чтобы это был Судак, и только Судак. Кире было все равно, Судак так Судак — в школьные годы родители ее по всему Южнобережью прокатали; вот между четвертым и пятым классами вывозили как раз в Судак, в санаторий. Батька Кирин и тут предлагал поселить нас прямо в некоем «Полете», построенном ни много ни мало для космонавтов, что ли; времена нынче свободные — плати, и ты уже космонавт... Но тут я уперся рогом: во-первых, пришлось бы денег брать у него втрое, а во-вторых... глупо, я в этом и не признавался никому, взрослый мужик в таком неспособен даже любящей жене признаться; но мне хотелось с наивозможной точностью повторить мамин маршрут — так, чтобы именно в Судаке, и именно на Спендиарова, и завтракать именно в той мороженице, про которую мама столько раз мечтательно рассказывала...

И мы не пожалели. По сравнению со временами маминого детства ситуация с курортным жильем изменилась кардинально — едва ли не с каждой двери и калитки кидались в глаза объявы насчет сдачи комнат и квартир под ключ, со всевозможными капиталистическими удобствами, от горячего душа до гаражей. Мы привередливо прошлись туда-сюда и — наугад, но вполне счастливо — сняли комнату в центре, но поодаль от шумной осевой улицы и ревущих чуть ли не до утра набережных кабаков и танц-плясов, в уютном, аккуратном пансиончике. Хозяйка, славная деловая Оксана с великолепным отчеством Теодозьевна — для меня оно звучало удивительно по-гриновски, по-зурбагански, что ли, — в визитных карточках с украинской скромностью именовала свое заведение «Private Hotel». Правда, мороженица нас не дождалась, несколько лет назад ее взорвали во время каких-то разборок; но улица, как таковая, была налицо.

Кира с вдохновенным энтузиазмом, объяснимым лишь наслаждением от долгожданного главенства в паре, работала моим гидом преданно и неутомимо. Все-то она тут уже знала и помнила, все-то, девчонка-сорванец, излазила — и подносила мне свое детство с навек впечатанными в него здешними красотами, как себя. О, лазурный простор, сверкающий и раскаленный! О, прохлада и нега Одиссеевых вод, о, чувственная ласка прозрачных, как жидкое стекло, колыханий! О, живописнейшее место мира — Новый Свет; о, бухты Разбойничья, Царская и Веселовская, о горы Сокол и Перчем, о, Караул-Оба и Долина тавров! О, благоуханные длинношерстые сосны и реликтовые можжевельники! О, дегустации вин в Коктебеле и Архадерессе! О, голицынское шампанское!

Что говорить — немотствуют уста. Ни одной фразы без восклицательного знака — будто на лозунгах большевиков. Как безмятежно, как ВМЕСТЕ мы там жили! Точь-в-точь по Плотину — пусть хихикнут пошляки, мне плевать. Не было взаимосопротивления, а только — взаимопроникновение...

Я прихлебнул как следует.

Между прочим, от алкоголя я отказался именно из-за крымских возлияний, а вовсе не по каким-либо идейным или санитарным соображениям. После тамошних божественных напитков не возникало ни малейшего желания поганить рот и прочий организм нашей гадостью. Со времен той незабвенной поездки я пил, лишь когда этого однозначно требовала работа — вот как нынче в «Бандьере», например.

Похоже было, что перебором посмертных слепков невозвратного счастия я уже вполне привел себя в мрачно-слезливое состояние, которое требовалось для дальнейшего прохождения службы. Я неловко положил ложку на край тарелки — ложка вывернулась и, брызнув остатками супа, упала на скатерть. Я подпер голову кулаком, а затем попытался налить в стопку еще — и налил, но не только в стопку, на скатерть тоже.

— Твари... — пробормотал я невнятно. — Мелкие, ничтожные твари...

Но тут тишина исчерпалась, и прошлое вновь зазвучало из динамиков. И зазвучало в самую точку. Все наконец разъяснилось окончательно.

Потому что «Бандьера росса» — это оказалась песня.

Мне, однако, нужна была тишина.

Стало быть, можно понадрывать сердце еще немного...

А день, когда я забирал Киру с Глебом из родилки!

Словно полководец перед генеральной баталией, накануне я долго запасал все, что считал мало-мальски необхо-

димым. С опасливым и удивленным уважением ощущая себя беспрецедентно взрослым, пропутешествовал несколько раз от дома к «Аисту» и обратно, благо разделяла их лишь одна остановка метро. До сих пор, если судьба проносит мимо, при виде углового входа в этот магазинчик для малышни сердце мне будто окатывают густым теплым маслом...

С каменным лицом, не подавая виду, что творится в душе, я ждал появления мадонны, а чуть поодаль мама, глядя на меня с восхищением, с обожанием даже, время от времени принималась смеяться восторженно и чуточку грустно: «Андрей, ты представляешь? Я — бабушка! Ну, я не могу поверить! Я — бабушка!» — и прижималась к па Симагину и как-то виновато заглядывала ему в глаза. Потому что па Симагин, конечно, тоже мог теперь считать себя дедушкой — но все же не совсем, мама это понимала; но не радоваться не могла — и па обнимал ее, улыбаясь ласково. А Кирины родители прикатили-прибыли на очередном «Мерседесе», и батька ее устроил мне форменный допрос на предмет подготовленности к приему возросшего семейства, причем путался в самых очевидных вещах...

Я прихлебнул. Кажется, это уже пятая приканчивалась. Или шестая. Я опьянел.

Чувствуя, что песня идет на убыль, я опять горестно замотал головой, едва не падающей с кулака под щекой, и прихлебнул еще. Шевельнул онемевшими губами. А когда стало тихо, невнятно и зычно забубнил в пространство:

— Во-во... вот эту он теперь и поет, алкаш проклятый... всю жизнь ее теперь, тля, петь будет!! Менты в вытрезвителе ему, что ли, мозги вправили... — прихлебнул. — Да я же врач! Специализируюсь на них, на творцах. Ох, какая мелкая все это тварь! Лечишь их, лечишь. Втолковываешь, будто отец родной, какие они хорошие, добрые, милые, талантливые, необходимые... А они потом так поддают на радостях, что им обратно башку отшибает! И вся работа... вся работа... В задницу!.. — рявкнул я. На меня слегка обернулись из-за соседних столиков, но тут же тактично оставили наедине с настроением.

Я громко шмыгнул носом. Бармен в интербригадовской пилотке присматривался пытливо. А потом сделал едва заметный, но для меня вполне отчетливый знак кому-то. Плохо, если вышибале. Шум, скандал и драка не входили в комплекс первоочередных мероприятий. Но я чувствовал: нет. Кто-то меня откуда-то слушал, и слушал со все возрастающим интересом. Я не мог понять кто. Просто: из пространства прилетало ощущение подставленного уха. Ухо росло.

— Или за кордон линяют — так лучше бы они тут в дурке гнили, лучше бы сдохли в ней! Ох, ненавижу! Этих — вообще ненавижу! Ехал бы, да и лечился! Нет, дорого!.. А потом, свеженький, с иголочки — драп-драп! За долларами... Творец! Чего он там натворит? Против меня же, против нас же всех и натворит!

Я смотрел в стол, одной рукой подпирая съехавшую на ухо щеку, другой вертя и крутя стопку. Я бубнил. Долго бубнил. Запели снова, и умолкли снова, но я уже не прерывался на пустяки, а вовсю беседовал с самым замечательным, самым понимающим собеседником на свете — с самим собой. Разговор шел вовсю; я то умолкал, мотая головой и соглашаясь, то снова высказывал свое мнение. Язык у меня заплетался, и в глотке клокотали сухие слезы злой мужской обиды.

— Эгоисты. Тщеславные, самовлюбленные, на весь свет обиженные, а на свою страну — больше всего. Недодали им, понимаете! Все им всегда недодали! Они только всем додали... Вожусь из года в год с ними. А они — мелкая тварь. Ты их лечи! А они потом либо кутить до одури, либо за бугор, они умные, только ты дурак...

Просеивание, господа, просеивание и процеживание! А дальше уже операция как операция — тщательно спланированный случайный контакт, провокация — гонись за мной, не то уйду; потом зацеп и раскрутка....

Впрочем, до зацепа еще далеко... А до раскрутки и подавно.

Выйти на врага надо. Но подсечь он должен тебя сам — уверенный, что это его инициатива. Что это ОН ловко пользуется счастливой случайностью, а ты — подвернувшийся лох.

Есть в Крыму такая порода деревьев — лох серебристый. Один растет прямо у могилы Волошина на горе над Кокте-

белем. Мы были там с Кирой, и, когда она обогатила меня этим знанием, я, помню, подумал, неуместно хихикнув: вот ведь подходящая кликуха для покойника и вообще для всех титанов культуры серебряных предоктябрьских лет.

А почему, собственно, только тех лет? Едва ли не все наши таланты... м-да.

Вот только кто не серебристые лохи — те почему-то мигом начинают учеными обезьянками приплясывать то перед Гипеу, то перед первым попавшимся кошельком поувесистей...

За спиной у меня возник и встал столбом появившийся, кажется, откуда-то из подсобки человек; я ощутил его появление, но не поднял головы и даже не прервался.

— Как дальше работать с ними, как? Ведь тошнит...

— Товарищ, у вас не занято?

Молодой. Симпатичный. Дюжий весьма и весьма. Не хотел бы я с ним схватиться.

Особенно в теперешнем состоянии.

Максимально неопрятно, но словно бы с максимальным напряжением интеллекта и воли беря себя в руки, я вытер ладонью подбородок и нетвердо поднял голову.

— Да... да, пожалуйста, — ответил я, стараясь говорить внятно. В руках у гостя был двухсотграммовый графинчик с коньяком, пустая рюмочка и тарелка с чем-то холодным мясным. — Пожалуйста.

Он сел. Капнул себе коньяку из графина.

— Мне очень неудобно, — сказал он, — вам мешать, вы явно хотели побыть один. Но некуда.

— Ах, оставьте, товарищ, — сказал я. — Оставьте! Пор-рядок.

Я выглядел, как человек, который от отчаяния распахнулся на миг, уверенный, что никто его не видит и не слышит, но тут же принялся, путаясь в собственных пальцах, вновь застегиваться.

— У вас неприятности? — осторожно спросил парень.

— Хуже, — ответил я. — Хуж-же! Неблагодарность!

— Товарищ! — взмахнул рукой парень и проворно плеснул мне коньячку. — Да если из-за этого всякий раз переживать и мучиться! Давайте выпьем чуть-чуть. За то, чтобы они нас не доставали.

— Всегда давайте, — согласился я, и мы чокнулись. Коньячок пролетел амурчиком.

— Геннадий, — сказал парень слегка перехваченным голосом и протянул мне руку через стол.

— Антон, — икнув, ответил я. Мы обменялись рукопожатием. Да, весьма дюжий.

— Я вас прежде здесь не видел, — сказал он, принявшись разделывать свой ломоть. — Как вам это кафе?

Я обвел мерцающие в сумерках портреты и лозунги умильным взглядом.

— Как в детстве...

Парень улыбнулся.

— Случайно набрели?

— Не совсем. Пациент один... посоветовал. — Я желчно скривился. — Сволочь. Сидит и поет: бандьера росса! Ни бэ, ни мэ, а это вот — поет. Говорят, последнее впечатление перед тем, как надрался вусмерть. А потом менты ему по башке звезданули... В вытрезвоне. Поет теперь. Уче-оный! Гнида... Трус. Сиэтл ему подавай! Тут из последних сил... с ним... а ему — Сиэтл!

— Странный случай. И больше ничего?

— Нич-чего. Не узнает, не реагирует. С кем был, о чем говорил — ни гу-гу. Пьянь. Аванти, дескать, популо... Попандопуло... Ру-у, ру-у... бандьера... Мар-разм! Мы на него три недели угробили! — Я, будто с удивлением, тронул кончиками пальцев свою опустевшую бутылку. — Вот блин, трезветь не хочется.

— А вы не трезвейте, — посоветовал Геннадий. — Время от времени человек должен разрешать себе расслабиться, иначе... В тридцать лет от инфарктов умирают.

— Умирают, — мотнул я головой. — От чего нынче только не умирают.

— Да, правда, — ответил он, с аппетитом жуя.

Я отпустил бутылку и сказал:

— Не... Хватит.

— Ну, вот, — покаянно проговорил парень. — Я, похоже, все-таки перебил вам настроение. Может, еще по одной? — торопливо предложил он, видя, что я неопределенно заворочался на стуле, пытаясь на ощупь вспомнить, как с него встают. Он категорически не хотел, чтобы я уходил.

— Нет, — выговорил я. — Буду тормозить. Не казнитесь, товарищ... Геннадий. Все в порядке. Все в порядке. Мне действительно... Только хуже будет. Знаете, какая злость берет на утонченных! — Я от полноты чувств скребанул себя скрюченными пальцами по груди. Шерсть свитера захрустела. — Сам в Америку собрался, дерьмо... Вот ему Америка!

Я поднялся и стал падать, куролеся в воздухе руками. Парень переиграл и выдал себя. Он заботливо меня поддержал — но, ничего не опрокинув и даже не задев, с такой выверенной неторопливой плавностью вдруг оказался уже не за столом сидя, а стоя, и там, где надо, что за версту запахло профессионалом. Я поблагодарил и зигзагом двинулся к гардеробу. Я узнал все, что хотел, и сделал все, что хотел. Парень смотрел мне вслед, и бармен смотрел мне вслед. Уютный сумрак мягко и задушевно пел: «Жила бы страна родная — и нету других забот...»

Гонись за мной, не то уйду.

Не погонится сейчас — придет потом. Мне оставалось только ждать. Протрезветь и ждать.

Выжить и ждать.

Этот тактичный милый парень вчера в паре с кем-то, мне неизвестным, убил человека, вышедшего из этого самого кафе. Скорее всего, человек тот был — Коля Гиниятов.

А может быть, и... Неловко продевая размякшие руки в рукава куртки, я еще раз прислушался к своим ощущениям.

А может быть, и Венька.

Дискета Сошникова

В третьей четверти прошлого века Запад отчетливо столкнулся с угрозой утраты большинством населения смысла жизни. Опасность мельтешения вокруг сиюминутных микроавторитетов была наконец понята.

Никсон, публично: «Мы богаты товарами, но бедны духом!»

Понадобились идеалы покрупнее. Демократия, например. Тогда и начала широко культивироваться мессианская концепция Народа-Демократияносца — ничем, по сути, не уступающая миллион раз осмеянному мессианству большевиков.

Потому и рвутся они — может, даже непроизвольно, может, подчас даже наперекор собственному рассудку — к мировому господству. Не могут они действовать иначе, нежели под давлением парадигмы «мы — самые сильные, самые умные, самые богатые», а она подразумевает одну-единственную масштабную государственную задачу: подчинение Ойкумены. Не приведи бог, подчинят — тогда на протяжении одного, от силы двух поколений скиснут от наркотиков, потому что задача окажется выполненной, а ничего иного, менее материального и утилитарного, эти духовные преемники великих гангстеров и истребителей индейцев придумать наверняка окажутся не в состоянии.

* * *

Как служить демократии, если ты не юрист, не сенатор? Да самое верное — учить демократии грязных азиатов и прочих дремучих русских. То есть в первую голову тех, чьи социально-политические механизмы наилучшим образом способны функционировать лишь в иных, отличных от евроатлантических, ценностных координатах.

Но ни в коем случае по-настоящему так и не выучить. Потому что, не дай бог, они и впрямь выучатся, создадут у себя стабильные режимы и постараются начать жить комфортно, как при демократиях положено. А тогда настоящим-то демократиям никаких ресурсов не хватит.

Значит, пусть сытые и благодушные обыватели, окрыленные любовью к людям, с искренним чувством глубокого удовлетворения пакуют посылки с гуманитарной помощью для жертв посттоталитарной неразберихи, пусть солдатики от души геройствуют, на крыльях крылатых ракет неся демократию, куда прикажут. Государственные мужи и дамы твердо знают, что задачей любых видов воздействия (от посылок

до бомбежек) на тех, кто не успел войти в так называемый «золотой миллиард», является разрушение у них всех сколько-нибудь сильных и самостоятельных властных структур и недопущение их возрождения — ни в традиционном виде, ни в модернизированно-демократическом — в преддверии близящегося Армагеддона. Ведь Армагеддон этот будет не финальной схваткой Добра и Зла, но всего лишь финальной схваткой за остатки природных ресурсов, за сырье для изготовления продуктов удовлетворения простеньких, но чрезвычайно обширных потребностей налогоплательщиков. И самое разумное, самое дешевое, самое бескровное — выиграть эту схватку еще до ее начала.

Ничего в такой политике нет зазорного. Государство обязано заботиться о своем народе, и уж по остаточному принципу, если эта второстепенная забота не входит в противоречие с первой — может заботиться о народах остальных. Альтруизм может быть свойствен отдельным людям, но не государствам. Ведь альтруист в той или иной степени жертвует собой ради другого, и тут он в своем праве, если ему так нравится. Но государству-альтруисту пришлось бы жертвовать своим народом ради других народов.

Значит, тот или иной человек у власти жертвовал бы не собой ради других, но другими ради третьих — а вот чужими жизнями, вдобавок жизнями людей, которые тебе доверились и за которых ты в ответе, этак распоряжаться уже безнравственно. Да вдобавок и неразумно: жертвовать народом, который тебя кормит и которым ты правишь — ради народа, *которым правишь не ты и который кормит не тебя.*

* * *

Кстати: опять-таки уникальность — единственная нация в мире, которая несколько раз совершала эту благородную с виду безнравственность и глупость: мы.

Заставь дурака Богу молиться — он лоб разобьет.

Вечный позор в мире сем, равно как и адские сковороды посмертно, тем вождям, которые еще во времена относительного могущества и благосостояния СССР все ресурсы величайшей и богатейшей страны кинули на производство всевозможных армад.

Получилось: душу любого среднего подростка или призывника можно стало купить за джинсы, любого майора, инженера или литератора — за дубленку для жены, любого генерала, министра или секретаря обкома — за комфортабельную дачу. При том, что ВНУТРИ СТРАНЫ не производилось, по сути, ни джинсов, ни дубленок, ни бытовой техники для домашнего комфорта!

С них, с тех вождей,.все началось, а не с перестройки и не с Беловежской пущи.

Ведь не от недостатка патриотизма простые советские люди, от души радовавшиеся за Гагарина и Кастро больше, чем за самих себя, начали бегать, скажем, за импортной обувью — а оттого, что в отечественной было больно и уродливо ходить. И еще оттого, что начальство уже тогда принялось щеголять во всем импортном — им за вредность их работы это полагалось от государства.

В таких условиях только дурак не купил бы их на корню со всеми их лучшими в мире танками. Даже и покупать не надо, сами ответственные работники вздыхали: Европа, о-о! Америка, о-о! Ну, а простых смертных уже начальники, в свою очередь, приучили к подкупу, раскидывая заказы на заводах и в НИИ: на заработанные деньги цейлонский чай купить нельзя, но получить от партии как благодеяние, как подачку за верность — можно.

А теперь изумляемся, что процвела коррупция! Конечно, процвела! Бесчисленные танки, так и не принеся Отечеству ни безопасности, ни величия, пошли в переплавку (что требует новых усилий, но отнюдь не вдохновляет на новые трудовые подвиги), ботинок и дубленок своих все равно так и не появилось — зато появилась демократия.

А они там, вдали, точно знают, что такое должна быть наша демократия!

Кучка бандитов провозгласила суверенитет и выпустила кишки тем, кто попытался их урезонить, — демократия. ОМОН подъехал и пульнул в ответ — тоталитаризм. Порнографию или секты пытаются ограничить — тоталитаризм, бомбами его... а если и не бомбами, так перестанем денег давать — для начальства это хуже бомб.

* * *

Противодействовать экономическому и культурному подавлению со стороны Запада при нынешнем мировом раскладе золотишка и харчей можно, лишь подавляя в той или иной степени собственные демократические институты.

Если правительство не поймет этого и не сделает этого сверху, с осторожностью и тактом, в равной степени для всех — оно неизбежно вызовет к жизни патриотический и, уж как водится, наряду с ним — псевдопатриотический, экстремизм, который начнет ограничивать демократию уже по-своему, снизу, в соответствии со своими представлениями и выборочно.

Люди честные, ответственные, ориентированные на традиционные идеалы — по сути, опора страны — вынуждены будут защищать ценности своей культуры НЕЛЕГАЛЬНО. С юридической точки зрения они начнут становиться преступниками, а затем и срастаться с настоящими преступниками — потому что заниматься преступной деятельностью, не вступая в контакт и не переплетаясь с уже наличествующим преступным миром, невозможно.

Рабочие не отдают свой завод неприметно купившим его по бросовой цене иностранцам — преступники, хулиганье. Инженер прячет дома уникальный прибор, который по невесть кем и зачем заключенному договору он обязан демонтировать — преступник, вор. И так далее. И при этом с постной миной: все по закону, никакого произвола. У нас правовое государство.

Государство это рискует таким образом выпихнуть в криминал свой последний оплот и последнюю надежду.

Впрочем, если страна и впрямь продана уже вся, именно так власти и будут поступать.

* * *

Камо-но Тёмэй: «У кого могущество — тот и жаден; кто одинок — того презирают; у кого богатство — тот всего боится; кто беден — у того столько горя; кто поддерживает других — раб этих других; привяжешься к кому-нибудь — сердце станет не твоим; будешь поступать, как все, — самому радости не будет; не будешь поступать, как все, — станешь похож на безумца».

7. ХМУРОЕ УТРО

Разумеется, поутру голова у меня, мягко говоря, не лезла ни в какие ворота. Ни в прямом смысле, ни в переносном. Помимо вполне объяснимого пульсирования травмированных мозговых сосудов я ощущал под черепом некий часто и неритмично бьющий колокол. По ком звонит колокол? Ох, не спрашивай: он звонит по тебе. Об тебя. Бум-бум-бум! Как показала экспертиза, череп был пробит изнутри.

Некоторое время я, не открывая глаз, только морщился и крутился, пытаясь уложить башку поудобнее, пока не сообразил, что это просто капель за окном. Вот те раз, я в бессознанке до весны провалялся, что ли, подумал я, пытаясь, будто заботливый комвзвода — солдатиков перед атакой, приободрить себя шуткой перед тем, как сбросить ноги на пол. Славно кутнул... Я уже сообразил, что питерскую погоду опять развернуло на сто восемьдесят, и мягко светящийся пушистый покров, столь элегически укутавший город вчера, истекает теперь горючими слезами от обиды и превращается в бурую грязь.

Первым делом две таблетки растворимого аспирина. Так. Не будем ждать, пока пузырьки совсем осядут, пусть внутри шипит — хуже не станет. Теперь — в душ. Обычные полчаса утреннего рукомашества и дрыгоножества мы нынче, увы, отменим по техническим причинам. Хорошее выражение все-таки: рукомашество и дрыгоножество, я его от па Симагина ухватил, а он откуда — не ведаю, вроде бы вычитал где-то... Пять минут кипятка, минута ледяного. Потом снова пять минут кипятка и снова минута ледяного. Голову отпустило, но слегка зажало сердце. Совсем хорошо. Как сказали бы вчерашние веселые вариаторы стихов и песен: давай, миокард, потихонечку трогай...

Вредная у нас работа.

А откуда, кстати, цитатная основа? Ожесточенно шкуря и наждача себя грубым полотенцем, я рассеянно рылся на свалке памяти. Да, это с одной из маминых — вернее, еще

бабушкиных — доисторических грампластинок, которые я так любил слушать в ранней молодости: давай, космонавт, потихонечку трогай. Как там дальше? И песню в пути не забудь.

Я, не особенно задумываясь, негромко замурлыкал себе под нос первое, что взбрело на ум, и, лишь заливая кипятком растертую с сахарным песком растворяшку, сообразил, что пою-то я ту самую «Бандьеру». Тьфу! Первый симптом, что ли? Опоили Янычара?

Безудержное цитирование — верный признак алкогольного отравления. Но специфика ситуации заключалась в том, что именно алкогольное отравление, в отличие от иных, я мог в то утро рассматривать как счастливый жребий. Раз в состоянии цитировать, стало быть, что-то помню. Стало быть, меня пока не того.

Словом, если у вас долго и сильно болит голова — радуйтесь: вам ее еще не удалили. Если это, конечно, не фантомные боли.

Сегодня кончался столь лихо оплаченный мною срок пребывания Сошникова под присмотром жалкого и алчного Никодима. Помимо того, что мне надлежало непременно заехать в больницу, следовало подумать и над тем, куда везти Сошникова оттуда. Хотя, собственно, вариантов было один: к себе. Жена бывшая не возьмет ни за какие доллары. Прощупать иные медицинские заведения города я физически не успею, такие дела в одночасье не делаются. Наваливать, скажем, на Киру — исключено. Мама с па Симагиным не отказали бы и действительно сделали бы все в лучшем виде, людей заботливее не видел свет, но — неловко.

Здесь у меня две комнаты. Постелю ему в бывшей бабушкиной. А там видно будет.

Долго я с ним, однако, не протяну. Некогда, мотаться-то мне предстоит изрядно. Если все пойдет нормально. А если со мной что-то... тьфу-тьфу-тьфу... Он же один в пустой квартире с голоду помрет.

М-да, придется думать.

Что у нас еще на сегодня? Нет, ничего. Ждем-с.

Когда придут-с.

В больницу было рано, и я присел к ноутбуку почитать Сошникова дальше.

Я читал и все больше поражался, насколько вовремя — до издевки вовремя — попала ко мне сошниковская дискета. Еще до «Бандьеры» я воспринимал бы ее совсем иначе. Равнодушней. А теперь перед глазами у меня маячили во всей своей неприглядности, тошнотворности даже — и в то же время во всей своей плачевной трогательности — вчерашние кумачи.

Я, кажется, требовал от Сошникова предсказательной силы? Ее есть у него. Вот: люди, ориентированные на традиционные идеалы, будут защищать их нелегально.

С бодуна только и анализировать этакие проблемы. Пошибче пива оттягивает.

Между прочим, мы тоже нелегально защищаем вполне традиционные, еще докоммунистические идеалы: уважение к талантам, сострадание к убогим.

Это что же, стало быть, я, ни много ни мало, функционирую... как бишь... в рамках парадигмы православной цивилизации?

Ни фига себе пельмешечка.

Изумление сродни изумлению господина Журдена: это что же, я, оказывается, всю жизнь разговариваю прозой?

А я еще понять не мог толком: зачем, дескать, я во все это ввязался? Дескать, просто нравится мне, и все. А оно вон чего: парадигма.

Вот прекрасная была бы цель для государства: обеспечение невозбранных возможностей творчества для своих серебристых лохов. Для малахольных, как выражалась сошниковская бывшая, гениев. Содержание для них этаких домов призрения. Пусть бы они там вне хлопот о БЫТЕ И СБЫТЕ творили, что им в голову взбредет...

Впрочем, эти дома уже были и назывались шарашки.

Не все так просто.

А станет ли Отчизна выпихивать нас в криминал?

Закона подходящего нет. Не приходило в голову творцам уголовных кодексов, что отыщутся этакие вот гуманисты. Впрочем, если возникнет желание... Коли обнаружат нас и захотят пресечь — мигом найдут статью. Дело нехитрое и, не

побоюсь этого слова, привычное. Блаженных упекать — не с мафией бороться.

Веселый разговор.

Поколебавшись, я решил двигаться в больницу на машине. Я уже достаточно прочухался, чтобы это не было слишком рискованным — не более, чем всегда; а ехать назад с Сошниковым в метро и троллейбусе мне совершенно не улыбалось. Формально оставались еще леваки, акулы, как выражался Кирин отец, частного извоза — но у меня было сильное подозрение, что, когда на руках у меня окажется столь живописный трудящийся, как Сошка, они от нас примутся, не замечая светофоров, зайцами порскать.

Ехал я максимально осторожно. Чудовищные контейнеровозы и автобусы с остервенелым рыком, норовя всех расплющить и одним остаться, чадили дизелями и, будто дождевальные установки, развешивали в воздухе густые облака липкой взвеси, надежно залеплявшей стекла — подчас я ощущал себя летящим в коллоидном тумане пилотом Бертоном из столь любимого па Симагиным «Соляриса»; а к слепым полетам я нынче на редкость не был склонен. Если Бертон накануне полета за Фехнером усидел бутыль водки да коньячком полирнул, ясно, какой такой разумный Океан ему мерещился... От дизелей я шарахался плавно и без ложной гордыни. Но зато, вспомнив читанные в юности детективы, малость поиграл в обнаружение хвоста.

Ничего я не обнаружил из ряда вон выходящего. Копчик как копчик.

А вот доктор Никодим меня поразил.

Я действительно нашел его на отделении. Больница была как больница — тесный душный лабиринт, пропахший нечистой кухней и несвежей пищей, и неопрятные люди в мятых несоразмерных халатах. Процедурная напротив туалета, столовая напротив кабинета рентгеноскопии...

— Ага, — деловито сказал Никодим, углядев, как я приближаюсь. — Я вас ждал. Идемте на лестницу, там курить можно. Я боялся с вами разминуться и не курил, а очень хочется.

Мы вышли на лестницу, где на площадке между этажами, прикрученная проволокой к перилам, косо висела застарелая, в корке и напластованиях пепла, жестянка из-под какого-то лонг-дринка. В распахнутую перекошенную форточку садил сквозняк. Несколько раз нервно щелкнув своим «Крикетом» — то пламя сбивало тягой сырого ветра, то не попадал огнем в сигарету, — Никодим поспешно закурил. Пальцы у него дрожали, будто это он вчера бухал, а не я. На его худом, костистом лице с плохо пробритым подбородком изобразилось блаженство.

— Ну вот, теперь я человек, — сообщил он и с энтузиазмом шмыгнул носом. — Да и отвлекать здесь не будут. Значит, так. Ничего я не нашел. И так, и этак... Никак.

— Вот тебе раз, — после паузы ответил я.

— Это ничего не значит, — нетерпеливо проговорил Никодим. — Вернее, это значит только, что вся дрянь мгновенно вывелась. Это значит, что ваш друг и вы — а с вами за компанию, вероятно, и я — классно влипли.

— Не понимаю.

— Чего тут не понимать! — Он возбужденно засмеялся. — Ни малейших следов — и это при том, что удар был нанесен. Что это значит? Это значит, что применено было какое-то спецсредство, созданное в каких-то темных закоулках со специальной целью отшибать честным людям остатки разумения, да еще так, чтобы никакие лишние гаврики вроде врачей потом ни до чего не докопались. Дескать, сам человек свихнулся, с него и спрос. Если б сейчас пришлось проводить какую-то официальную экспертизу для суда, для следствия — мы бы облажались. Ничего нет! Сам допился до ручки, подумаешь, реакция нетривиальная. Индивидуальная непереносимость, мало ли нынче странных аллергий... И нет состава преступления. Понимаете? Так могут действовать лишь очень серьезные конторы. Я не буду ничего называть по буквам. Просто-таки ОЧЕНЬ серьезные. Для вас это новость?

— Да как сказать, — признался я. — Подозревал слегка.

— В таком случае большое вам спасибо за то, что вовремя поделились со мною своими подозрениями, — с издевательской вежливостью проговорил Никодим и сделал широкий жест сигаретой.

— Черт, — сказал я. — Мне и в голову не пришло, признаться. Не было никаких оснований...

— Ну, да блекотать уже поздно, — прервал меня Никодим. — Я, что называется, в доле. С вашим другом... коллегой, протеже поступили по последнему слову гуманизма образца двадцать первого века. Убить не убили, не обагрили рук своих невинной кровью, а этак попросту удалили из головы все лишнее. Под себя он, слава богу, не ходит, а если возникает нужда — начинает хныкать. Хватай его за руку тогда и веди в сортир. Там он более-менее справляется, смывать вот только разучился.

— Никодим Сергеевич... — прочувствованно начал я, но он опять сделал нетерпеливый взмах сигаретой.

— Вы, я так понимаю, определенное участие принимаете в его судьбе?

Я понял, что разговор начинается серьезный и честный. Никодим лучился какой-то веселой злостью. Я усмехнулся:

— Скорее — неопределенное. Я понятия не имел, что дело так обернется.

— Как и я. — Никодим тоже усмехнулся и кивнул. — Но вы ведь не врач. Вы... — Он выжидательно умолк, но я не собирался ничего разъяснять. — Вы, как я понимаю, тоже из какой-то конторы.

— Не совсем, — уклончиво сказал я. Я, честно скажу, растерялся.

— Он, видимо, был славным человеком и умницей, — задумчиво проговорил Никодим. — Это чувствуется. Даже по тому, извините, как он хнычет, это чувствуется. Вы прикончите тех, кто это с ним сделал? — просто спросил он.

Я только варежку развалил. Правда, совсем ненадолго; сразу сконцентрировался и поджал губы.

— Это было бы совершенно правильно, — пояснил Никодим свою нехитрую, но несколько неожиданную для меня мысль.

Я молчал. Никодим тоже помолчал, потом выжидательно шмыгнул носом, потом помолчал еще.

— Ну, понял, — проговорил он наконец. — По обстановке, видимо. Тогда вот что. Я его понаблюдаю здесь несколько дней. Или дольше. Я почему-то надеюсь, что он постепенно начнет восстанавливаться, хотя бы минимально. Речь, контактность... С начальством я договорился. Сослался на тяжелую черепно-мозговую травму, на вас, пардон — что он не бомж анонимный, а уважаемый доктор наук, с которым беда приключилась. На ментов — как они его бескорыстно спасли, а мы, дескать, хуже, что ли... В общем, это теперь не ваша забота. Ваша, как сказали бы друзья-чечены, забота... вы были в Чечне?

— Был, — негромко ответил я.

— Я почему-то еще позавчера догадался. Хотя, простите, поначалу решил, что вы оба нарки и один другого хочет мне сбросить после случайной передозировки. Я тоже был. В девяносто девятом и далее до упора. Вы, наверное, на тот свет отправляли? А я с того света потом обратно сюда вытаскивал. Так вот, друзья-чечены сказали бы: ваша забота — наточить свой кинжал и выползти на тот берег. — Он коротко и иронично улыбнулся; мелькнули неровные, желтые от никотина зубы. — Кроме шуток, попался как-то раз такой, Лермонтова цитировать — обож-жал.

Я все не мог прийти в себя. Вот те, бабушка, и дар слышать насквозь. Придя, я почувствовал, конечно, что Никодим взвинчен до последней крайности и упоен собственной порядочностью, но с какой такой радости — это было как гром с неба. Ясного.

— И вот еще что. — Никодим, будто вспомнив о чем-то неприятном, но важном, задрал полу халата и суетливо полез в карман брюк. Потом протянул мне ладонь. На ладони лежали доллары.

— Здесь сорок два, — сказал он. — Остальное улетело. Возьмите.

Я заглянул ему в глаза. В них были только бесшабашная решимость — и неотчетливое, возможно, даже неосознаваемое, но явно НЕПРЕОБОРИМОЕ желание сделать мир лучше.

— Простите меня, — повторил он, — что я позавчера так с вами прокололся.

— И вы меня, — ответил я. — За то же самое.

Он удивленно моргнул.

И я взял деньги. И мы договорились, что я заеду сюда через три дня на четвертый, если у меня ничего не случится. Бывшей жене, возникни у нее вдруг желание как-то проявиться — она покамест так и не проявилась, — Никодим пообещал ничего не говорить. На всякий случай мы обменялись телефонами.

Больше в тот день ничего не случилось. Но все равно — из-за Никодима это уже оказался хороший день.

8. ТЕЛЕФОН И ДРУГИЕ

Вернувшись домой, я первым делом навернул супу. Спозаранку я есть не мог, только кофе кое-как продавил — а вот оголодал, проехавшись. Суп, конечно, был не «Урал-река», а обычный пакетный, холостяцкий. Но мне и это оказалось сладко.

Потом я решил отзвонить сошниковской бывшей супруге и коротенько ее успокоить. И дать телефон справочной, чтобы уж больше сей мадаме не надоедать, мягко говоря, по пустякам и не мараться; я чувствовал себя полным идиотом и в каком-то смысле даже предателем Сошникова, когда для чистой проформы вынужден был хоть в двух словах рассказывать о его беспомощном положении людям, коих оно нисколько не волновало и не интересовало.

Однако разговор пошел иначе. Подошла дочь.

— Хак-хак.

— Воистину хак-хак. Плата экзэ.

— Доступ закрыт. Пользуется другой юзер.

Я сначала подумал: чего обычней — мужик к бабе пришел. Но у дочки голос был не тот. Мрачноватый.

— Заверши задачу, — на пробу предложил я.

Девчонка помолчала, подбирая слова, а затем вполголоса, как партизанка Зоя, сообщила:

— К нам запущен антивирус.

Я торопливо и не очень грамотно перебрал несколько возможных вариантов перевода этого откровения на общерусскую мову. Потом меня как ударило:

— В погонах?

— Виртуально.

Угадал. Вот сюрпризы катят...

— На что поиск?

Она опять некоторое время молча подышала в трубку. Видать, и у нее подчас возникали сложности с синхронным переводом себя.

— Кто с платы снимал информацию об муве процера в компьютеркантри.

— И кто?

Девчонка хихикнула.

— Скрин в пальто! Ей оверсайзно было, что он мувнется, куда все рвутся, потому запаролилась в три слоя. Это я.

— И что теперь плата?

Говорить о человеческих переживаниях на хак-хакском диалекте было невозможно, и девочке постепенно пришлось с этим фактом смириться. Хак-хаки между собой, сколько я знал, столь низменных тем вообще не касаются. Но со взрослыми приходилось иногда.

— У платы глаза, как плошки. Я же, говорит, вам сама... и стоп, дальше молчок. И теперь сидит в перепуге, не знаю, с чего. А тот — дыр-дыр-дыр, работает. Будто, знаешь, пытается читать диск, который не вставлен.

— С тебя еще не считывал?

— Не-а.

— Скажешь ему?

— А чего не сказать?

— А мне?

— А и тебе. Парикмахерше своей скачала.

Парикмахерш даже для самых совершенных своих машинок Гейтс пока не придумал. Приходилось называть по старинке. Я секундочку еще подумал.

— Сравни версии, — предложил я потом и набросал портрет лже-Евтюхова. Сопя в трубку, девчонка слушала до конца, потом солидно помолчала, осмысляя, и ответила:

— Версии идентичны.

— Хак-хак, — сказал я с благодарностью.

— Хак-хак, — задорно ответила она и повесила трубку, даже не спросив, с кем, собственно, говорила. Свой, это ясно — ну и, стало быть, все в порядке, и хак-хак в натуре.

Чудны дела твои, Господи...

Но я слишком умотался, чтобы всерьез анализировать новую ошеломляющую информацию. Успею, лицемерно утешил я себя, и подремал четверть часа на любимом своем еще с детских лет диване — девяносто процентов всех книжек в жизни было прочитано на нем. Потом, очнувшись и ощутив настоятельную необходимость в стимуляции, снова принял душ. Вчерашнее безмятежное и безудержное веселье еще давало о себе знать — отвратительной квелостью.

Горячая вода расширяет сосуды и тем подстегивает работу мозга. Сколько раз замечал. Именно под душем мне пришла в голову довольно очевидная мысль относительно того, как играть дальше. Поддавки поддавками, но надо же сориентироваться и насчет того, чем играем — шахматами, шашками, картами, домино... костями. Пока похоже, что костями. Свеженькими.

Коля...

Тоня.

Нет, завтра. Деньги будут завтра — вот завтра и позвоню.

Смогу ли я завтра позвонить?

Жив буду — смогу. А нет, так и ладно. Тогда уж с меня взятки станут весьма гладки.

Жаль, что светлая мысль не посетила меня чуть раньше, в машине, например. Теперь, наверное, придется опять идти из дому вон, а я, честно сказать, уже пригрелся на диванчике под торшерчиком...

Прежде всего я позвонил на работу.

— Как обстановка?

— Нормальная, Антон Антонович, — бодро ответствовала Катечка. — Новых не было. Первую психогруппу Борис Иосифович уже отпустил, все нормально прошло, сейчас обедаем. Вторая — по плану.

— Молодцы. А я сегодня не приду.

— Вовремя сообщили, Антон Антонович, — почти до предела выбрав дозволенный мною в моем заведении ресурс демократичности, иронически сказала Катечка. — А то мы до сих пор не догадались!

— Важные дела возникли.

— Ну, разумеется! Как же иначе!

— Иронизируешь, дитя природы? Вот тебе за это пеня. Пообедаешь когда... Да обедай не торопясь, со вкусом, прожевывай пищу тщательно и переваривай с любовью...

— Будет вам, Антон Антонович! Я вас слушаю!

— У меня идея. А у тебя — лишняя работа, довольно нудная и хлопотная.

— Поняла, — без энтузиазма ответила она.

— Хочу завести статистику на наших бывших пациентов. Это, как ты понимаешь, чтобы лучше себе представлять эффективность лечения.

— У, ё! — старательно произнесла Катечка. Она была славная девушка и никогда не матюгалась, во всяком случае — в присутствии сотрудников-мужчин; но тут была явная нарочитость. Таким образом она дала мне прочувствовать свое отношение к моей идее. И тем самым выбрала ресурс демократичности окончательно и на двое суток вперед.

— Смир-рна! — негромко сказал я.

— Яволь. Роняю ложку и встаю, — угрюмо откликнулась она. И через мгновение: — Встала.

Врала, конечно. Но условности были соблюдены.

— Вольно, — разрешил я. — Продолжать питание. Так вот. Мне нужны самые общие сведения: здоров ли, работает ли по специальности и, если удастся выяснить, успешно ли. Если не работает, то остался ли в городе или съехал куда. Тут важны не подробности, а широта охвата. Статистика, сама понимаешь. Так что покончишь с питанием — и садись на телефон. Надеюсь, архив ты не потерла?

— Нет! — возмущенно фыркнула Катечка. — Натюрлихь, нет!

— Значит, координаты всех бывших пациентов у тебя под рукой. Так что тебе и трубка в руки. Полученные данные, золотая моя, по мере поступления протоколируй, но домой мне не перебрасывай. Сегодня, когда закончишь, скинь все, что успела, на дискетку, а из машины удали. Хакер не дремлет. Завтра приду с утра и посмотрю. Вопросы есть?

— Вопросов нет... товарищ Сухов.

— Вот и славно. Творческих успехов, Катечка.

— Антон Антонович, вы млекопитающий? — не утерпела она. И пока я думал, что ответить на этот неожиданный вопрос, ехидно сказала: — В таком случае приятного млекопитания.

И повесила трубку.

Это какая-то цитата, как и Сухов, сообразил я. Только Сухова я понял, а млекопитание — нет. Я принялся набирать новый номер, краем сознания вспоминая выдернутый из памяти упоминанием Сухова мамин рассказ о том, как кто-то из ее факультетской демократии во времена перестроечных самоуничижений интеллигентно горячился: пройдет еще год-два, и вы поймете, что этот фильм порядочному человеку просто нельзя смотреть! Вы поймете, что этот Сухов ваш — бандит, профессиональный убийца, у него руки по локоть в крови! Не такие ли вот порядочные, подумал я вдруг, считаные годы спустя ляпали на басаевские деньги кинище, немедленно получившее — в отличие, кстати, от «Белого солнца» — уйму отечественных и заграничных премий... как его бишь... будто наш солдатик, волею судеб принявший ислам, возвращается в родное село, и там его терроризируют дрынами страшные и тупые, вечно пьяные русские за то, что он не потребляет алкоголя и, в отличие от них, как и всякий, понимаешь ли, нормальный мусульманин, не корыстолюбив совсем и за долларами не гоняется...

Ох, понимаю Вербицкого, не к ночи он будь помянут. Как это он лихо формулировал: коллективное стремление к духовному самоубийству...

Интересно, позвонил он маме или слабо?

Как жизни людям калечить — так мужества выше крыши, а как исправлять — ой, живот схватило.

— Привет, — сказал я. Чуть не сказал хак-хак.

— Привет, — сказал настоящий журналист.

— Есть подвижки?

— Ни малейших. Все говорит за то, что он случайно напоролся на каких-то обкуренных. Ни мотива, ни свидетелей, ничего. Но ты же понимаешь — на это вообще практически все убийства, кроме самых громких, можно списать с легким сердцем. Менты пока не хотят сдаваться. Но дело осложняется тем, что никто, даже Тоня, не знает, как он оказался в то время в той части города. Зачем его на юг понесло? — Он запнулся, потом сказал: — Один ты, наверное, знаешь. Но молчишь.

В его голосе был явственный упрек.

— Я уж думал об этом, — честно ответил я. — Но не знаю, как можно было бы информацию перекинуть ментам и при этом остаться в тени. А потом, я уверен, что это им не поможет. Я бы тебе рассказал, а ты, может, как-то попробовал бы пустить дальше. Но не хочу по телефону.

— Ничего себе ты ввязался в дела, — сказал журналист.

— Да, — согласился я.

— Я могу чем-то помочь? — подышав и поразмыслив, спросил он.

— Да, — ответил я. — Нам надо встретиться, и как можно скорее. Куда скажешь, туда и подъеду. Я сейчас бездельничаю.

Мы встретились минут через сорок. Раньше не получилось — начинался час «пик», и было не протолкнуться. Бедная моя «ладушка», когда я ее покинул, напоминала жертву селевого потока. Не то что днище — и крыша, и даже, по-моему, антенны жалобно истекали бурой дрянью.

Мы взяли по мороженому и медленно пошли вдоль Фонтанки. Впереди посередь мутных небес угадывалась над крышами скругленная тень — купол Троицкого собора.

— Вид у тебя несвежий, — пытливо взглянув мне в лицо, сказал журналист.

— Вечор согласно легенды, утвержденной ГРУ, необходимо кушал водку.

Он немного принужденно засмеялся.

— Какие теперь легенды славные! Надеюсь, расходы оплатят?

— Фига с два, за свои. Так вот. Коля должен был вступить в контакт с неким Вениамином Каюровым, соседом одного нашего пациента, попавшего в странную беду. Незадолго перед несчастьем пациент сказал, что собирается с этим Каюровым дружески посидеть. А наутро его нашли на улице в устойчиво невменяемом состоянии, без памяти и речи.

Журналист присвистнул.

— Более того. У меня есть непроверенная информация, что сразу после этого и сам Каюров приказал долго жить.

— Змеюшник какой-то зацепили... — пробормотал журналист.

— Похоже на то.

— Знаешь... Мне почему-то всегда казалось, что раньше или позже это должно случиться. Нелегальщина к нелегальщине тянется, подполье в России большое, но узкое. С кем-нибудь да стукнешься локтями.

А я вспомнил Сошникова опять: заниматься преступной деятельностью, не переплетаясь с уже наличествующим преступным миром, невозможно... Я его скоро чаще родителей вспоминать начну и цитировать, как китайцы — Мао, подумал я и, конечно, разозлился на себя. Слава богу, это пока не про нас. Скорее уж про «Бандьеру».

— Ссылаться на тебя и твои слова, если вдруг затеется журналистское расследование, мне, конечно, нельзя, — почти без вопросительной интонации сказал он.

— Упаси тебя бог, — ответил я. — Вообще не суйся в это дело. А вот если изыщешь способ сориентировать ментов на Каюрова — будет славно. Правда, вряд ли они его найдут, но хоть дело сдвинется.

— Помозгую, — ответил журналист, задумчиво глядя на черную воду. Помолчал. — А тебя, значит, не упаси бог. Ты, значит, сунулся.

— Так получилось, — ответил я. — Сам не рад.

— Рад, не рад... Не в этом дело. — Голос у него был почти равнодушный. — Если тебя завтра где-нибудь найдут в столь же прохладном состоянии, мне-то что делать?

— Да перестань, — с досадой ответил я.

— Мне перестать несложно, — в голосе появились нотки раздражения. — Но перед дуэлью ты, как порядочный человек, обязан, пользуясь выражением предков, привести в порядок свои дела. В частности, оставить мне хоть какие-то инструкции.

— Какой ты деловой, — сказал я.

— Дурак ты, Антон, — ответил он. — Я же переживаю.

— А ты не переживай, — посоветовал я.

Он снова помолчал.

— Слушай, — проговорил он уже совершенно иным тоном. — Я тебя знаю. Только ради того, чтобы осчастливить меня этой актуальнейшей, но для меня практически бесполезной информацией, ты бы задницу от дивана не оторвал. Что от меня требуется?

— Действительно, мне кое-что нужно — но так, ерунда, тебе это раз плюнуть, — льстиво залопотал я. Он только покосился на меня. Взгляд был полон дружелюбной иронии.

— Ну, похоже, придется мне по меньшей мере начинать газетную кампанию за эксгумацию Андропова, — сказал он. — И желательно к утру чтобы было готово. Угадал?

— Нет. Мне нужны слухи и сведения о несчастных случаях, странных заболеваниях, исчезновениях и прочем подобном среди творческой братии города. Пока, во всяком случае, только города. Года за два последних. И отдельно разложить вот по какому параметру: кто из таких вот пострадавших собирался отчаливать за бугор, на время или навсегда — все равно. А кто — нет.

Журналист, словно бы и не услышав меня, продолжал некоторое время смотреть на гладкую и черную, будто нефть, воду Фонтанки, медленно и тяжело прущую к заливу. Потом опять присвистнул.

— Вот даже как, — сказал он.

— Похоже, так, — ответил я. — И ты совершенно точно предугадал — к утру чтоб было готово. На комп мне данные не сбрасывай. Распечатку передашь из рук в руки — договоримся, где пересечься завтра в первой половине дня.

— Черт знает что, — пробормотал он. — Слушай, Антон, пошли пива выпьем. Для конспирации хотя бы. А, — вспомнил он, — тебе же сегодня... — мазнул меня вызывающим взглядом. — А может, тебе как раз сегодня...

— Нет, — я улыбнулся. — Я же на колесах. Запой отложим.

— Знаешь ты, что такое запой... — пренебрежительно сказал он.

Ни страха, ни вообще какой-либо слабины даже не мигнуло в нем, когда я все это рассказывал, — только ненависть к подонкам и желание победить. Я чувствовал гордость за

него. Сам я не мог похвастаться такой решимостью. Запах недавнего убийства, которым веяло от моего вчерашнего собеседника... Опасности тогда я не чувствовал, на меня у них смертяжкиных видов покамест не было — это факт. Но сам этот запах...

Что же все-таки происходит?

Нет, мало данных. Не сметь думать. Схему какую-нибудь дурацкую измыслю, потом ломай ее. Ждать надо. Хотя бы еще сутки.

Уже смеркалось, когда я вернулся в свою нору и разложился наконец на диване, от всей души надеясь, что в третий раз вылезать наружу мне нынче больше не придется. Устал я. И психически, и физически. Хотелось чего-то спокойного, большого и чистого. И стройного. И лучше в неглиже.

Господи, Кира, как ты мне нужна. Да, в суете и замоте я об этом часто забываю; но если накатывают тоска и беспомощность, и в общем-то где-то даже — страх... если провисаешь в пустоте, если в жутких потемках пытаешься нащупать хоть что-то определенное...

Понятно было, что не дадут мне там ни спокойного, ни тем более чистого в неглиже, причем я же сам и виноват в этом — но я все-таки позвонил Кире. Хоть голос услышать. Может, Глебчик подойдет, перекинемся парой фраз.

Никто не взял трубку.

Сумерки размеренно откачивали из комнаты свет, а я лежал, заложив за голову руки, и тупо глядел в потолок. Почитать что-нибудь от мозгов? Музыку послушать? Баха, например, или Генделя. Кого-нибудь из тех времен, когда не знали ни героина, ни, скажем, лоботомии, а вместо шарашек были блистательные дворы просвещенных монархов.

Кто бы нынче взялся печатать, например, Вольтера — разумеется, при условии, что это не переиздание уж двести лет всем известного бабника, а неопробованный свежак, новье? Убыточная же литература!

А он в ответ сотовик свой цап! — и прямо к Фридриху Великому. Але, Фриц, тут одни козлы требуют под «Кандида» полную предоплату! Сделаешь? Блин, отвечает из Сан-Суси Фридрих, нет вопросов, Франсуа Мари Аруэ! Я им, в натуре, такую на двух пальцах предоплату сделаю — будут не жить, а тлеть!

Так началась Шестилетняя война...

Или — Семилетняя?

Чего-то я вдруг засомневался. Не хватает эрудиции — даже для того, чтоб грамотно пошутить. Мамино, скажем, поколение в этом смысле нашему сто очков даст вперед, свалка памяти у них забита не в пример обильнее. Иногда — завидно.

В комнате вконец смерклось.

Это сколько же развелось черных кошек в нашей комнате! Уму непостижимо. Куда ни встань, наступишь на какой-нибудь хвост. И сразу — невесть чей истошный мяв, и когти из мрака...

Наверное, я снова чуток придремнул, потому что курлыканье телефона прозвучало, как набат; меня буквально подкинуло над диваном. И такая тоска меня, видно, взяла по жене, так мне хотелось, чтобы это был от нее звонок, что, когда в трубке раздался мужской голос, я спросонок поначалу подумал, будто кто-то ошибся номером.

— Антон Антонович? — заговорщически произнесли там.

— Да, — буркнул я, торопливо пытаясь сконцентрироваться.

Как выражаются, по слухам, вьетнамцы — сконцентрируем идеологию.

— Это Никодим Сергеевич, доктор.

Сконцентрировал. Аж в брюхе похолодело. На всякий случай, будто ожидая, что вот сейчас придется немедленно куда-то бежать, я даже спустил ноги с дивана и отчаянно завозил ими по полу, нащупывая тапки.

— Слушаю, доктор. Что-то случилось с нашим пациентом?

— Нет, с пациентом как раз все по-прежнему. А вот у вас появился, — он иронически шмыгнул носом, — конкурент.

— То есть как?

— Приходил один господин и очень интересовался.

— Чем?

— Всем. Что случилось, да каковы предположения, да покажите результаты анализов... Представился, между прочим, адвокатом, которого нашла супруга для горячо любимого бывшего мужа, невинно пострадавшего от милицейского произвола.

— Врет.

— Я так и понял, что врет. Поэтому сразу насторожился.

— Что вы сказали?

— Что все анализы, проведенные на предмет обнаружения следов наркотического воздействия, дали отрицательные результаты. Что нельзя с достоверностью утверждать, кто нанес какие травмы — то ли менты, то ли он еще до вытрезвона в какую-то драку на улице ввязался, так что судиться, увы, не получится. Что серьезных повреждений на башке не выявлено, но, с другой стороны, ничем, кроме как травмой черепа, нынешнее состояние потерпевшего медицина объяснить не может.

— Никодим Сергеевич, а я бы с вами пошел в разведку.

— Спасибо, не надо. Мой героизм имеет строго очерченные границы. Они совпадают со стенами медицинских учреждений, пусть даже прифронтовых.

— Понял. Что он?

— Подчистую забрал бумажки с анализами.

— А разве это можно?

— Оставил расписку, все чин-чинарем. Адвокат же. Ха-ха. Сказал, что для разговора с супругой ему нужны документы на руках. Еще очень интересовался, кто навещает больного. Я сказал, что вы.

— Теперь я вам очень признателен. Мой героизм, знаете ли...

— Я сказал, что посещал больного директор заведения, в котором больной проходил курс психотерапии. Интерес естественный, поскольку нынешнее странное состояние потерпевшего может быть связано с тем его расстройством, с которым он обращался к вам. Или, по крайней мере, усугублено им.

— Тогда ладно, беру свои слова назад. Как он выглядел, адвокат этот? Вот послушайте...

И я принялся набрасывать подробный портрет лже-Евтюхова. Некоторое время Никодим внимательно слушал, потом вздохнул с таким разочарованием, что в мембране оглушающе зашелестело.

— Ничего похожего. Довольно молодой парень, челюсть, скулы, плечи... Интеллигентная бородка, искусствоведческая такая. Глаза синие.

М-да. И на Геннадия из «Бандьеры» тоже не похож.

— Ладно, мимо... Что-нибудь еще?

— Да. Он аккуратненько так намекнул, что неплохо бы потерпевшего перевести в больницу получше. Что он даже взял бы это на себя. Я отказал категорически: нетранспортабелен, и шабаш.

— Сильно. А ведь, судя по тому, что я у вас, Никодим Сергеевич, видел, к вам хоть пять, хоть десять человек с автоматами явятся и начнут зачистку палат — никто не заметит.

— Не совсем так. Беззащитных членов семей, которые в неурочное время прорываются родственников навестить, мы гоняем довольно успешно. Особенно когда они без сменной обуви... Вот если террористы со своими тапками придут — тогда все, хана.

Мы с удовольствием посмеялись, потом Никодим спросил:

— Нет, Антон Антонович, вы это серьезно — насчет автоматов? У меня же тут, помимо Сошникова, сорок три человека больных на отделении. И персонал. Если начнется пальба...

— Не думаю, что в нашем случае автоматы актуальны, Никодим Сергеевич. Тут дело, похоже, тонкое. Лобзиком будут пилить.

— Знающие люди говорят, это еще приятнее...

Вот так мы балагурили, чтобы нехорошие мурашки перестали бегать по коже. Удалось. Постепенно острота ощущений снизилась до степени этак предэкзаменационного мандража — когда два, в общем-то, вполне подготовленных студента, то ли считая мандраж хорошим тоном, то ли чтобы излишней уверенностью своей не гневить и не искушать богов, весело трясутся у входа в аудиторию и зубоскалят напропалую.

Тогда только попрощались.

Получается, отстаю я, причем даже не знаю, на сколько ходов. Вообще ничего пока не знаю. Мяв и когти из мрака. Тоска, кошмар...

Я снова позвонил Кире. И там снова никто не подошел. Кира работает, отец ее работает, Глеб гуляет или у приятелей сидит... Все могу понять. Но тещу-то где носит?

Кира работает... Но коль скоро дома ее нет в такое время, то — НЕ НАД ДИССЕРТАЦИЕЙ. По нашему пациенту она работает.

Тоска, господа, тоска.

Но, может, и к лучшему, что никого. О чем теперь говорить-то нам? О работе только — но я сейчас работой сыт по горло. Как выразились бы хак-хаки — оверсайзная она уже какая-то стала, работа эта; а запускать драйв-спэйс нету масти.

Ожидать услышать чего-то вроде: миленький, замечательный мой Антошенька, да как же я люблю-то тебя, родной мой, да как же я по тебе соскучилась — не приходится. С чего бы это Киру так понесло теперь?

Принял решение, совершил несколько поступков, этим решением обусловленных — так и нечего теперь душу рвать себе и ей. Был в Керчи — так молчи.

В Судаке.

Чтобы хоть как-то облегчить себе жизнь на остаток вечера, я попробовал подергать памятью мрачные обугленные четки связанных с Кирой НЕПРИЯТНЫХ воспоминаний. Обидных. Отчуждающих и отторгающих. Как она, прекрасно зная мое культовое отношение к нашей исходной обители, к махусенькому Эдему нашему с коричневыми раздвижными решетками на окнах, которые мы ни разу не сдвигали — хладнокровно и вроде бы даже нарочито замечала: никаких, честно сказать, приятных воспоминаний у меня с этим карцером не связалось, Антон. Тесно, душно. А уж когда Глеб появился — и вовсе невыносимо...

Или как однажды она сорвалась едва ли со злобой: ну нет у меня теперь той беззаветной любви, нет; но я та же, что была!

Интересный ход мысли.

Или...

Но, хоть убей, не вспоминалось плохого. Ощущалось нечто бесформенное и тяжелое, вроде как угрюмый черный бегемот топтал сердце; но конкретно — нет. Как назло, наоборот, заплескалось яркое, солнечное... За одно я мог поручиться: солнечного было больше в трех начальных годах — собственно, ничего иного там и не было; а черное, как на дрожжах, разрослось в течение трех последних лет, став нынче едва ли не основным.

И в одной этой статистике уже был приговор. Мне. Главным образом — мне. К высшей мере. Обжалованию не подлежит.

Ах, Кашинский, Кашинский... Чуешь ли, какое сокровище тебе вот-вот может достаться? Не проворонь, лапша ты этакая!

Взгляд сверху

Когда то ли на излете перестройки, то ли в первый год шоковых примочек — уж не вспомнить точно — Комитет про него забыл, Кашинский поначалу боялся поверить в привалившее счастье. Чтобы именно так, как ему мечталось все эти годы, безо всяких с его стороны усилий и жертв, естественным образом и вследствие внешнего хода вещей, удалось избавиться от унижения, уже казавшегося вечным... Вот так вот само по себе все ползло, расползалось — и доползло до свободы. Сказка! Сердце пело.

Недолго оно пело.

Да, всем оказалось несладко, все растерялись и не знали, как быть дальше. Ушел на пенсию после очередного инфаркта Вайсброд; сразу после путча растворился обманчивый гений Симагин... Лаборатория разваливалась на глазах — и развалилась вскоре. Карамышев что-то еще пытался вытворять, но это уже никого не интересовало, ни дирекцию, ни органы. Вот откуда свалилась свобода. Как в старом анекдоте про Неуловимого Джо: неужто и впрямь Неуловимый? Да нет, просто не нужен никому.

Никому не нужен. Не нужен как мужчина. Не нужен как ученый. Не нужен как стукач. Даже как стукач стал не нужен!

Именно это неожиданным образом оказалось горше всего.

Ведь именно ЭТО у него получалось лучше всего. Именно вокруг этого, как на поверку-то выяснилось, денно и нощно крутились мысли и переживания; если бы не это, понял Вадим однажды, у них вообще не осталось бы оси. Именно этому он отдавал более всего эмоций — пусть горьких и тягостных, все равно: то и был его внутренний мир, его духовная жизнь, которой ни в малейшей мере не могли ему обеспечить ни наука, ни секс, ни вообще что бы то ни было.

Ведь не только тягостными они бывали, не только горькими. Они давали и чувство полноценности, чувство превосходства хотя бы в чем-то — а без превосходства ХОТЯ БЫ В ЧЕМ-ТО человек жить не может. Ты лучше бегаешь — я лучше прыгаю, значит, все в порядке, никому не обидно, можем дружить. Ты лучше вычисляешь — я лучше за этим слежу... Гармония. Теперь гармония рухнула. Жизнь стала пустой.

Он сменил место работы, потом еще раз сменил. Но это не помогало. Какое-то всем заметное проклятие, наверное, висело над ним; наверное, эти годы оставили свой неизгладимый след, и он, вроде бы еще живой, вроде бы еще не старый и не глупый человек, догнивал во вмятине этого следа расплющенным ошметком. И к нему относились соответственно. Не сразу — поначалу он производил впечатление: обаятельный, интеллигентный, остроумный, начитанный, с какой-то романтической усталостью, с тайной бедой на сердце... но обязательно, непременно, неотвратимо через какие-нибудь два-три месяца его начинали держать за человека второго сорта. За сявку. Уверенные и наглые, не отягощенные никакой рефлексией пацаны, которым он вежливо говорил «вы», начинали бросать ему «ты»; он им по-прежнему, подчеркнуто: «вы» — а они ему по-прежнему, будто и не замечая его потуг поставить себя: «ты»...

От одного этого можно было повеситься или взбеситься.

Прошло много лет, и девяностые успели смениться нулевыми, прежде чем он вдруг ощутил, что груз, о давлении которого он и думать забыл... который, оказывается, все еще громоздился у него на плечах, — начал легчать.

Поначалу он не поверил себе. Это происходило настолько медленно, настолько подспудно, что он долго относил происходящее не к климатическим, а к погодным изменениям души; ну, сегодня вроде нет такой тоски, наверное, потому, что скоро отпуск, можно будет уехать и никого не видеть; а потом опять будет тоска. Однако изменения оказались климатическими.

Оледенение сменилось потеплением.

Пришел день, когда он отчетливо понял, что оставшиеся впереди годы можно, оказывается, прожить, а не со скукой пережидать, пока курносая положит опостылевшему состоянию конец. В этом ожидании не было позерства; он никогда не думал о самоубийстве, тем более — никогда не пугал им окружающих, но подчас, прикидывая возраст, думал устало и безнадежно: это сколько же мне еще тянуть. А вот теперь...

Теперь надо было наверстывать.

И, вспомнив, как мечтал когда-то в детстве поразить мир выдающимися открытиями, он в безумной надежде записался на некие курсы психотерапии, где якобы умели возвращать утраченные творческие способности. И исправно ходил на них, и то индивидуально, то в группе честно валял там дурака. И ни пожилой психолог, симпатичный, хоть и еврей; ни молодой волчара директор, своей ничем не сдобренной каменной цельностью неприятно напомнивший Кашинскому чекиста Бероева, под которым пришлось ходить долгие годы; ни даже шмакодявка-секретарша, наверняка любовница директора, — никто там, в этом «Сеятеле», не говорил Вадиму «ты».

И, вспомнив, каким когда-то грезил стать, он наконец принялся систематически пытаться вести себя увереннее и решительнее. Смешно сказать — принялся следить за осанкой. Принялся стараться не сутулиться! Принялся сгонять обрюзглый тряский жир!

То ли курсы были виноваты, то ли груз потихоньку продолжал отпускать и время приспело, но буквально за несколько последних недель он, дважды попав в довольно нервные и сложные коллизии, выбрался из них с честью. Может быть, даже с блеском. Он не помнил такого с аспирантских времен. Вечно он плыл по течению, вечно лишь

рукой махал — будь что будет; сокрушительная какая-нибудь катастрофа, дескать, все равно вряд ли случится, а сияющих вершин все равно, дескать, вряд ли удастся достигнуть... И вот — нет. Он и впрямь начал делаться хозяином своей жизни. Сколько бы ее там ни осталось впереди.

У него крылья выросли за спиной.

И он влюбился.

Смешно сказать. Ему давно перевалило за сорок, он облысел, он страдал колитом и гипотонией, у него уже ломило суставы перед дождем — но он влюбился. Теперь он понимал, что влюбился впервые. Теперь он понимал, что только с крыльями за спиной человек и может влюбиться. У раздавленных ошметков в лучшем случае бывает только похоть.

Как и у лишенных рефлексии волчар. Противоположности сходятся.

Он почти ничего не знал об этой женщине. Они пересеклись совершенно случайно, на пролете, и он ей чуточку помог. И поначалу даже не представлял, чем это обернется.

Она была молода. Она была красива. Она была умна и остроумна, и умела слушать, и умела отвечать. Она была, как олененок. Она была, как солнечная дорожка на море.

Она была замужем.

Теперь он это знал. Теперь он знал, что ее сыну скоро пять.

Теперь она с нескрываемым удовольствием ела маслины. Кафе было довольно пристойным, и потому маслины были пухлые и без косточек. От излучины к излучине неторопливо текла спокойная, равнинная музыка — молодежь, случайно знал Кашинский, называет такие мелодии «медляками». Впрочем, вероятно, это выражение тоже успело устареть с той поры, когда Кашинский его услышал, и ныне следовало говорить как-то иначе. Вероятно, эта женщина знала как.

— Конечно, что-то было. Только, Кира, очень, очень давно. Молодость... — с мужественной печалью говорил Кашинский. — Я-то думал, как это здорово, как славно, что меня любят просто так. Не за то, что я деньги в дом тащу, не за то, что я сопли чадам подтираю денно и нощно, — просто за то, что я, оказывается, вот такой замечательный сам по себе. Ведь из того, что меня любят просто так, очевидно следует то, что я замечателен сам по себе. Логика! Смешно, правда? Но, что греха таить, от этого и сил прибавлялось, и ума, и вдохновения.... Свинство природы в том, что от этого действительно становишься немножко замечательнее!

Они впервые были вместе так непринужденно и неторопливо. Собственно, это вообще была лишь их четвертая встреча, и Кашинскому стоило больших усилий решиться позвать эту женщину поужинать. Но так хотелось, чтобы они наконец перестали быть случайными знакомыми, фактически — до сих пор совсем чужими.

И он решил быть абсолютно откровенным, насколько это возможно. Он решил, что сегодня решится все. И потому нельзя было кривить душой; если какие-то связи завяжутся, они должны завязаться между правдой и правдой, а не между приукрашенными образами. Ведь связи между макияжем и макияжем распадаются, стоит только случайному дождю смыть косметику.

И вот он раздевался, а она слушала и понимала его с полуслова. Он был в этом уверен.

Только про Бероева нельзя было рассказать.

— А вот однажды я всей шкурой вдруг понял, что любят-то просто в ожидании, когда я брошу распускать свой не бог весть какой яркий хвост, и потащу наконец получку в дом, и начну родившимся наконец-то детям подтирать сопли. И все! Ни за какие там замечательные мои качества!

— Вадим, простите, — перебила она.

Она говорила ему «вы». За одно это он готов был целовать ей туфли. Она смотрела на него мягко и участливо, как мама. И чуть улыбалась.

— В этом не было ничего унизительного для вас, поверьте женщине. Ведь ждали все-таки вас! Не кого-то вообще. Не десятерых одновременно, по принципу кто-то да поймается. Вас, вы сами сказали. А это уже немало.

Он покачал головой. Он очень старался быть искренним; но он не умел. Он хотел говорить правду — но понятия не имел, какова она на самом деле. Как поведать ее, чтобы и не приукрашивать себя, и не впадать в самоуничижение? Приукрашивать было нельзя — Кашинскому впервые за много лет хотелось, чтобы эта юная женщина общалась именно с

ним, а не с размалеванным рукою льстивого чучельника комком стареющего белка о двух ногах. Он устал притворяться лучше себя. Но ведь и возводить напраслину на себя было сейчас нелепо!

— Кира, наверное, я поначалу вполне мог бы стать и заботливым мужем, и заботливым отцом. Что я, не человек? И получку бы носил, и сопли бы вытирал. Но однажды до меня дошло с ужасающей какой-то, знаете, ясностью: меня никогда не любят и только всегда хотят замуж.

Потому теперь на замужних потянуло, подумала Кира. Словно порыв ветра, налетела неприязнь. И, словно порыв ветра, улетела. То, что он рассказывал ей все это, было знаком беспредельного, почти детского доверия, а такое доверие нельзя обмануть. В том числе — обмануть неприязнью. Нет, нет, я не должна. Он хороший, но ему очень не повезло смолоду, в этом все дело.

И пахло от него прохладно и чисто.

Она чувствовала себя очень виноватой перед ним. Словно она совершила подлость.

А разве нет?

Все эти сомнительные Антоновы игры...

Надо с ними кончать.

Но Антон ведь их не бросит. Он, понимаете ли, мир спасает. Значит — и С НИМ кончать. А разве я этого хочу?

— Думаю, вам только казалось, — проговорила она. — Вы слишком зациклились на этом.

Она говорила то, что чувствовала, говорила от всей души. Но сама ненавидела то, что говорит. Нечестно! Нечестно! С каждым словом ощущение вины лишь усиливалось. Раньше, пока они не бывали вот так, Киру не тяготили ложность и лживость ее положения, но теперь оно обернулось кошмаром. Самые простые и искренние фразы приходилось вымучивать, будто графоманом написанный и скверно выученный текст.

— Нет-нет. Я вскоре понял, в чем дело. Со своей проклятой уступчивостью я выглядел как человек, которого очень легко можно сделать удобным. Ведь когда двое становятся вместе, они оба меняются, это неизбежно. Если кто-то из них меняется недостаточно или не меняется вовсе, они, как правило, перестают быть вместе, правда?

— Правда, — согласилась она, и ему показалось, что подумала она о чем-то своем.

— Так вот, меня всегда принимали за человека, ради которого можно меняться минимально, а меня менять максимально. Вот что было ужасно. Именно из-за этого, я полагаю, и только из-за этого ждали, как вы выразились, именно меня. Тех, кто уже как следует погулял либо, наоборот, никому не понадобился, я привлекал. Потому, что со мной можно было не считаться. Делай, как нам надо, — или прощай. Как мне самому надо — это мои собственные проблемы, и если я хоть словом о них заикнусь, значит, я эгоист. А кроме меня, эгоистов нет, все просто живут и добиваются своего. И, Кира, всю свою жизнь я, чтобы не обидеть... Меня почему-то никто никогда не боялся обидеть. Понимаете, Кира? В голове осталось лишь одно: меня никто не любит. Меня только используют. Когда такое гвоздит, можно совершить очень страшные вещи...

И я совершил их. Мне велели; пришли и просто велели — и я совершил. Совершал много лет.

Неужели она не поймет, с тоской и надеждой думал он. Неужели ей не захочется хотя бы из чувства противоречия, хотя бы из жалости доказать мне, что со мной можно считаться? Что мне можно подчиняться хотя бы отчасти?

— Ведь когда двое делаются вместе, они оба начинают отвечать друг за друга, правда?

— Правда, — негромко и очень отрешенно проговорила она, глядя куда-то мимо, и снова ему показалось, будто, соглашаясь с его словами, она думает совсем не о нем.

Как он хорошо сказал, думала она. Отвечать друг за друга. Не просто любить друг друга или нуждаться друг в друге — в конце концов, любое одомашненное животное нуждается в своей кормушке и, как правило, любит того, кто сыплет туда еду.

Сколько лет вместе — и вот вдруг выяснилось: я не знаю, отвечает ли Антон за меня.

А я за него? Даже этого не знаю...

— Так вот почему-то получалось так, что я должен был отвечать — а за меня отвечать никто и не думал. И я от этого просто осатанел. Просто осатанел. И от себя — потому что ощущал себя про́клятым. И потому еще, что ведь вдобавок я сам себя считал подлецом всякий раз, когда пытался не уступать. Ведь я, видя, что меня пусть и не любят, но хотят замуж, уже сознательно делал вид, будто этого не понимаю. И тот мизер, который мне давали В ОЖИДАНИИ, я брал — а брать был НЕ ВПРАВЕ, ведь я-то знал, что НЕ ДОЖДУТСЯ! Ох, давайте немножко выпьем, Кира.

— Давайте, — по-прежнему негромко и отрешенно согласилась она. И подняла свой бокал. — Давайте, Вадим, выпьем за то, чтобы ответственность никогда не была нам в тягость, а безответственность никогда не была нам в радость.

— Какой тост, — проговорил Кашинский с неподдельной дрожью в голосе. — Согласен всеми потрохами, Кира.

Они выпили. Помолчали, с нерешительным пониманием улыбаясь друг другу. Потом она сказала:

— Наверное, есть еще третье. Это вот и следует вам искать. И не восхищенная раба, и не клуша в ожидании... интересного положения. Просто человек, который хочет помочь.

Он только руками всплеснул.

— Да с какой это стати — помочь? Экий гуманизм!.. Тот, кто якобы за так хочет помочь, — просто обманывает тебя с какой-то совсем уж мерзкой целью, о которой и сказать-то тебе открыто не решается. Либо обманывает себя, а когда поймет, что себя обманывал, — за эту самую помощь тебя же и возненавидит! — Он вздохнул. — Какая же вы еще молодая, Кира... Помочь! Видели вы эти бесконечные афиши с призывами: господа, будьте благоразумны — не оказывайте никакой помощи незнакомым людям на улице, в транспорте или в общественных зданиях, не выполняйте ничьих просьб. Не принимайте от посторонних помощи и по возможности не обращайтесь за помощью ни к кому, кроме официальных лиц. Нарушение этих правил может привести к непоправимым последствиям для вашего здоровья, благополучия и благосостояния...

— Жизнь — не общественное здание.

— Она еще хуже, Кира!

Она покачала головой.

— Я знаю людей, которые стараются помогать совершенно бескорыстно. На свой страх и риск. Не рассчитывая даже на простейшую благодарность. Тайком. — Она, пригубив, помолчала; он ждал. Уронила: — В меру своего разумения, конечно.

— Ну, не знаю... Познакомьте.

— Вряд ли это возможно.

— Вот видите. Вы сами в них не уверены.

— Я в них уверена. Я в себе, Вадим, не уверена... Что-то я не то делаю.

У него перехватило горло от нежности.

— Наверное, вам самой нужна помощь?

Она помолчала, потом сказала тихонько:

— Наверное.

Он мгновение выждал, чтобы не показаться слишком назойливым. Потом осторожно спросил:

— Я не мог бы?..

Она не ответила. И вдруг безо всякого тоста взяла бокал и сделала несколько больших глотков.

— Я вас очень понимаю, Вадим. Казалось бы, у мужчины и женщины именно тут взгляды должны особенно расходиться. Но мне так понятно, до чего это больно и безнадежно — все время быть без вины виноватой!

Ее глаза затуманились, размякли черты лица.

Какие глаза!

— А вы?.. — вдруг решился он спросить с откровенностью, которая испугала его самого прежде, чем он закончил фразу. — Вы не хотели бы мне помочь? — Помолчал. Она не прервала его. Значит, можно было продолжать. — Бескорыстно. — Он чуть улыбнулся, возвращая ей ее слова. — На свой страх и риск. Не рассчитывая даже на простейшую благодарность. Вы мне, я вам... так и помогли бы друг другу.

Она, конечно, поняла, что он имеет в виду. Ее губы чуть дрогнули, и лишь через мгновение она ответила:

— Наверное, нет, Вадим.

— Почему?

— Боюсь, это было бы нечестно.

— Почему? — настойчиво повторил он. Но она не ответила. — Расскажите теперь вы о себе, — попросил он. Но она замотала головой так, что ее длинные волосы залетали и заплясали вокруг лица. — Ну почему же опять нет?

— Не могу. Нельзя.

— Устав тайного ордена не велит? — улыбнулся он.

Она затравленно глянула на него.

— В каком-то смысле.

— Кира!

— Это все звучит ужасно пошло, Вадим. Как в сериале каком-то. Но пожалуйста, не спрашивайте!

— О вас спрашивать нельзя. О гуманистах ваших спрашивать нельзя. О чем же можно? Хорошо, я вот что спрошу: почему же эти гуманисты ВАМ не помогут, если они готовы всем-всем так бескорыстно помогать?

Тонкой рукой, уже немного потерявшей точность движений, она тронула свой бокал, но не взяла.

— Потому что сапожник без сапог, — с горечью сказала она. — Потому что никто не может помочь тому, кто сам помогает. — И вдруг ее прорвало: — Если бы ему хоть на секунду в голову пришло, что я тоже нуждаюсь! Что мне тоже вот-вот потребуется восстанавливать способности! И творческие, и прочие!!

В голове у Кашинского медленно провернулся некий тяжелый, настывший на долгом морозе маховик.

— Кира. Вы как-то связаны с этим... с «Сеятелем»?

Она вздрогнула. И неубедительно произнесла:

— С каким «Сеятелем»?

— Кира... — потрясенно проговорил Кашинский.

Она решительно подняла бокал и спрятала за ним лицо.

— Вадим, нам лучше не видеться больше, — с усилием сказала она. — Вы мне симпатичны, это правда. Я очень понимаю вас и сочувствую вам, и хочу, чтобы у вас все было хорошо. Это тоже правда. Но лучше нам уже не видеться. Я, собственно, согласилась поужинать с вами именно для того, чтобы это вам сказать. Я не могу. Совестно.

Опять будто из сериала, подумалось ей. Она готова была сквозь землю провалиться. И зачем я только пошла на этот ужин! Надо было сразу, просто. А теперь... Пошлятина.

— Почему? — тихо спросил он.

— Я не могу вам сказать.

И осеклась. Пошлятина! Пошлятина!

Вообще ничего нельзя было сказать. Все ненастоящее. Каждый жест, каждый сорвавшийся с губ звук были от крови, из сердца — но Киру душило смердящее чувство, будто она и теперь непроизвольно, привычно шьет для Вадима очередную горловину. И делалось насмерть обидно за изуродованную этим чувством близость.

Покончить с наваждением можно было лишь одним-единственным способом.

В конце концов, я не изменяю и не предаю. Я просто отказываюсь участвовать в его играх. Я столько лет боролась за единство, подчинялась ему, словно раба, — а он даже не видел этого. Теперь мне надо спасать свою жизнь. Не то я так и буду шарахаться от людей, чувствуя постоянный привкус того, что не живу, а только мерзостно и подло притворяюсь. Обманываю. Верчу-кручу людьми.

Да как же у Антона на это духу хватает? Неужели он — ПЛОХОЙ ЧЕЛОВЕК?

— Понимаете, есть люди... очень хорошие, — добавила она, будто сама стараясь убедить себя в том, что говорит, — которые решили, что традиционных способов лечения, всех этих ролевых игр, аутотренинга, внушений — мало. Бывает, что те, кто мог бы еще очень многое сделать, оказываются не в состоянии творить, потому что по тем или иным причинам устали, обессилели, сломались. Им надо помочь. И, договорившись между собою, держа все в секрете, эти люди, будто ангелы-хранители, носятся вокруг человека, который нуждается в помощи, и на первых порах многое делают за него так, что ему кажется, будто все это он сам. И одновременно провоцируют на усилия, которые человек сам бы поленился совершать. Там сложные методики... Конечно, с точки зрения морали это неоднозначно, но...

Кашинский слушал, напряженно распрямившись и окаменев. Слушал и не мог поверить. А она говорила и говорила; поначалу более-менее спокойно, потом — волнуясь и горячась. Ей тоже оказался нужен добрый слушатель, который все поймет.

— ...Это помогает, Вадим, действительно помогает! Вы не представляете, скольких талантливых людей мы вытащили! Из апатии, из отчаяния, из запоев, из полной, казалось бы, утраты ума...

Маховик в мозгу Кашинского провернулся еще раз. А потом из ледяного вдруг стал раскаленным.

— И все, что со мной в последнее время...

— Нет, Вадим, нет! — отчаянно закричала она. Из-за соседнего столика на нее обернулись с гадливым, ироничным удивлением. — Все сделали вы сами! Только незаметная помощь, коррекция...

— О господи, — сказал Кашинский.

Давным-давно он не чувствовал себя игрушкой в чужих руках. И вот — вернулось.

— Да вы хоть понимаете, что творите?

Она не ответила.

— И вы тоже этим занимались? — спросил он.

Она не ответила.

— Это что-то запредельное, — сказал он. — Чудовищное. Это же преступление!

— Нет, — беспомощно сказала она. — Нет.

— Это хуже Сталина. Хуже психушек. Хуже доносов.

— Нет, Вадим, нет. Вы хотели откровенного разговора — вы его получили. — В ее голосе появилась отчужденность. — Я, в конце концов, слушала вас. Слушала сочувственно, старалась понять. Откровенность одного немыслима без бережности другого. Постарайтесь и вы. Постарайтесь ответить мне тем же.

— Да что тут понимать! Манипулирование людьми!..

— В ваших интересах, Вадим! Только в ваших!

— Кто может в этом поручиться?

— Я. Ведь вы буквально ожили за последний месяц. Буквально другим человеком стали!

— Сволочи!! — выкрикнул он, сорвавшись на отвратительный нутряной визг.

Сволочи, они украли у него все, чего он добился. Это, оказывается, не его, а их заслуга!

Он тяжело вздохнул, пытаясь взять себя в руки.

— Вас надо спасать, Кира. Вас надо вытаскивать оттуда. Я так понимаю, что вы фанатично преданы... или, по крайней мере, БЫЛИ преданы тому, кто все это творит. Я даже догадываюсь, кому именно. Токареву! Директору вашему! Я помню его, с первого собеседования запомнил! Этакий Наполеончик!

— Не смейте! — выкрикнула она.

Но Кашинский просто называл своими именами то, что она сама начала робко подозревать.

— Почему? Очень похож! Чей-то карманный Берия, вот он кто! И надо бы выяснить — чей именно... Я его игру порушу. Это же вопиющее нарушение прав человека, в конце концов. Надо подключить прессу, милицию! А может, даже международные организации, если эти ваши как-нибудь заручились поддержкой силовиков. Ох, да они наверняка давным-давно работают на них.

— Вадим, вы с ума сошли. — Она тоже попыталась овладеть собой и урезонить его, говоря хладнокровнее. — Мы лечим людей.

— У эсэсовцев в лагерях тоже лечили. На Лубянке тоже лечили. В психушках лечили вовсю.

— Да при чем тут Лубянка и психушки?

— При том!

Почему-то когда то, что она лишь начала подозревать, громогласно сформулировал он — это стало выглядеть надругательством и злобной клеветой. Ей стало страшно.

— Послушайте, Вадим. Если бы я кому-то разболтала все, что вы мне в порыве откровенности поведали, — как бы вы к этому отнеслись?

— Это другое. Я никому не принес вреда. Я никому не принес вреда! — закричал он; на сей раз уже он будто старался убедить себя в том, что говорит. — Весь вред, который я, быть может, нанес, — не на моей совести! Он на совести таких, как вы!

— О чем вы, Вадим? Бред какой-то...

— Нет, не бред. Играть людьми, притворяться, расчетливо и хладнокровно врать...

— Врачи притворяются и подчас лгут.

— Да какие вы врачи! Вы фашисты! — Он осекся. — Кира, простите. Я не о вас. Вы жестоко запутались, я чувствую. Иначе вы ни за что бы мне этого не рассказали. Я не психолог, не врач, — он издевательски скривил губы, — но даже мне понятно: в глубине души вам самой хочется, чтобы кто-то выволок вас из этой грязи. Так получилось, что это буду я.

— Вы с ума сошли, — беспомощно повторила она.

— Я этого так не оставлю.

— Вадим, пожалуйста, никому ни слова!

— Кира, вы сама не понимаете, что говорите. Вы действуете среди людей, играете ими — и еще смеете просить о сохранении ваших мерзких тайн! Узнать о преступлении и молчать! Да просто долг мой...

У нее слезы проступили на глазах. Но его это уже не трогало. Он чувствовал себя настолько сильнее и выше ее... У него действительно крылья хлопали за спиной. Безответственность больше не будет мне в радость, думал он, спокойно и твердо отвечая на умоляющий взгляд ее глаз. А ответственность — никогда не будет мне в тягость. Ты сама хотела так.

Кашинский уже не помнил, что жаждал связи правды и правды. На самом деле ему нужна была всего лишь связь между ним, каков он есть, — и ею, такой, какая ему нужна.

Если она иная — нужно ее изменить, вот и все.

Эта женщина теперь зависела от него всецело. От единого слова его зависела, как когда-то он — от единого слова Бероева. ТАКИХ крыльев у него не было еще никогда. После долгих пустых лет справедливость восторжествовала. Теперь он властвовал, и он спасал.

Он наконец-то получил шанс расквитаться с тайной полицией, в какие бы одежды ее ни рядили новые времена.

— Кира, — сказал он. — Я должен подумать. Если вас интересует, что именно я решу, позвоните мне... нет, лучше приходите ко мне, и мы спокойно все обсудим у меня дома, там никто не сможет нам помешать.

Ему понравилось, как расширились ее глаза. В них уже не было материнской снисходительности. В них был ужас понимания того, что роли поменялись. Я-то не злоупотреблю своей властью, подумал Кашинский, я-то знаю, как надо. Я знаю, как надо!

Я — не им всем чета.

9. ОН НА ЗОВ ЯВИЛСЯ

Конечно, статистика, которую я получил наутро, не была шибко репрезентативной. Прямо скажу, пробелов в ней было больше, чем сведений. Но кое-какую пищу для ума она тем не менее дать могла.

Среди ста двух наших бывших пациентов, о которых Катечка успела что-то выяснить, были такие, что продолжали вполне успешно и плодотворно работать в тех учреждениях, в которых мучились тогда, когда им пришлось обратиться, или они были направлены, к нам. Некоторые из них получили повышения, а некоторые из этих некоторых получали их неоднократно. Были такие, что сменили место работы, как правило — удачно и в творческом, и в финансовом плане. Трудящиеся из числа вольных художников успешно продолжали таковыми оставаться.

Были и такие, что свалили за границу, и сведений о дальнейшей их карьере, разумеется, этак вот запросто было не раздобыть. Катечка и не пробовала.

А меня благополучно свалившие и не интересовали.

Примечательным и, как мне сразу показалось, имеющим отношение к делу было тут вот что. Семнадцать человек из этих ста двух в течение буквально последних полутора лет пострадали от разнообразных и не всегда понятных стечений несчастных и роковых обстоятельств. Кто-то менингитом заболел, или энцефалитом, что ли, — врачи не всегда бывали тверды в диагнозах. Жить-то живут-поживают, а вот творить — слабо стало; дай бог вспомнить, как звали. Кто-то с лестницы упал, кто-то в автокатастрофу попал...

Семеро из этих семнадцати отравились недоброкачественным алкоголем. То есть именно такое предположение высказывалось относительно всех семерых — по каждому, разумеется, абсолютно независимым образом; и высказывалось, как я понял, потому только, что больше предполагать было нечего. Где-то пригубил — и привет, тяжелая интоксикация, потеря разумения, рвота-кома... а потом — мозги от-

шиблены, будто не было. В одном случае милиция просто-таки землю рыла, пострадавший был из высокопоставленных; по нулям. Праздничное застолье в хорошем ресторане, пили только качественное хлёбово, ели только качественную хавку... Из кожи вон лезли сыскари в течение нескольких недель, пытаясь определить, кто и как торгует столь освежающим напитком и каков этот напиток конкретно, — ничего не выяснили.

Легко узнать, кто из России уже уехал: спросил, и тебе ответили. А вот узнать, кто собирался уехать, но по тем или иным причинам остался, — куда труднее; дело тут интимное, и мало кто начинает прежде, чем билет в кармане и багаж в чемодане, тарахтеть о том, что привалила позволяющая расплеваться с Отчизной удача. Тут и чисто суеверная боязнь сглазить, и вполне материалистическая боязнь, что друзья-коллеги ножку подставят... да и застарелые страхи, укоренившиеся еще со времен борьбы с сионизмом — была, говорят, такая. Но добросовестной Катечке удалось выяснить, что аж четверо пострадавших от злого рока трудящихся получали приглашения кто из страны Мальборо, кто из иных, почти столь же вожделенных. Эти приглашенные принадлежали к совершенно разным епархиям, и уразуметь что-либо из перечня их профессий оказалось совершенно невозможно; физик, археолог, социолог и астроном — в огороде, что называется, бузина, а в Киеве Кучма.

Я, напуганный жуткими прозрениями Сошникова о патриотах, яро и бескомпромиссно защищающих свои идеалы криминальными средствами, уже рисовал себе перспективу столкновения с товарищами, которые по принципу «так не доставайся же ты никому» травят и калечат интеллектуалов, собирающихся сдать свои извилины в пользование мировой буржуазии. Даже гуманизм в их действиях определенный подмечал, хоть и весьма специфический: до смерти не убили ни одного, только привели в состояние, для буржуазии неинтересное... Хотя и умысел умный тут тоже можно было найти: убийства все ж таки хоть как-то расследуют, на заметку берут, регистрируют хотя бы — а такие вот казусы суть дело житейское. Явно меньше вероятность привлечь внимание.

Ну, и надо заметить вдобавок: еще и поэтому эти казусы никого не беспокоили, что ни за одним из них не просматривалось заметных финансовых махинаций. А раз не видно драки за жирный кошель, значит, и преступления-то нет, и действительно произошла не более чем неприятная случайность — так у нас привыкли рассуждать.

Однако — увы, полный с этой моей гипотезой получился пролет.

Потому что, как нарочно, среди этих абсолютно нерепрезентативных четверых двое на приглашающий щелчок пальцами из-за океана отреагировали тривиальным образом, то есть, сверкая пятками, бросились в консульство за визами, и злой рок настиг их буквально в последний их миг на родной земле — вот как Сошникова; а ровно двое же, напротив, отреагировали нетривиально, то есть вежливо под тем или иным предлогом отказались. И тем не менее рок настиг и их. Так что один выпил рюмку то ли коньяку, то ли бренди, и, так и не проспавшись, спятил, один непонятно почему свалился в плохо закрытый канализационный люк и, видимо, от сотрясения мозга — а от чего еще? — стал скорбен слабоумием, один подвергся нападению грабителей в двух шагах от дома и, опять-таки получив как следует по кумполу, безнадежно поглупел, а один прямо посреди города подцепил, во всей видимости, энцефалит и стал неработоспособен и до крайности молчалив.

Вообще-то нас всем этим не удивишь; весной, например, много писали о мужике, который очень следил за своим здоровьем и совершал ежедневный моцион по пустырю где-то за Шуваловским, что ли, парком, строго одним и тем же маршрутом — и лучевую болезнь заработал, бедняга. Повезло проторить свою тропу аккурат над забытым могильником начала пятидесятых.

Но, во всяком случае, два — два. В итоге — ноль.

Журналист, разумеется, смог собрать сведения о гораздо меньшем количестве персон. Но зато собирал их более целенаправленно, только о пострадавших. Пятеро из упоминаемых у журналиста числились и в списке Катечки; два перечня частично перекрыли друг друга, что было, в общем, нормально. Остальные были сами по себе — и поскольку всех

наших бывших пациентов я, разумеется, помнить был не в состоянии, на тот момент осталось неизвестным, лечились ли когда-то эти остальные у нас, но Катечка просто не успела о них ничего выяснить, или они не были отягощены комплексами и безбедно сеяли без «Сеятеля», пока судьба-злодейка не сделала им козью морду.

И тут результаты оказались приблизительно пятьдесят на пятьдесят. На семерых, правда, информация о зарубежных поползновениях вообще отсутствовала — хотя из этого никоим образом не следовало, что этих поползновений на самом деле не было; просто информация отсутствовала, и все. Но касательно девятерых было известно, что их либо приглашали, либо они сами долго добивались и наконец добились, и вот уже шнурки завязывали, как... И касательно двенадцати опять-таки было известно, что их манили и звали, а они — на хрен послали. И все равно увяли.

То есть налицо опять были две взаимоисключающие тенденции. То есть тенденции не было.

Или все-таки были две взаимоисключающие?

Как оказалось, не одному мне пришла в голову богатая мысль о кознях страшных русских органов. Полтора года назад, оказывается, после трагического и, по словам родственников, абсолютно этому человеку не свойственного запоя, счастливо разрешившегося сильной интоксикацией, бытовой травмой и, в конце концов, полным слабоумием, один аккредитованный у нас корреспондент из Филадельфии высказал в сенсационной статье подобную догадку. Пострадавший, как сходились все, был классным генетиком, и его звали в Штаты весьма настойчиво. Филадельфиец собирался даже затеять некое расследование, даже что-то начал предпринимать, у статьи вышло продолжение... и шабаш. Нет, ничего с журналистом с этим не случилось, как сидел в Питере, так и продолжал сидеть, но — обрезало. Утратил интерес в одночасье. Даже не вспоминал.

Никаких однозначных выводов сделать из полученных мною материалов, конечно, нельзя было. Но некие странности ощущались.

Во-первых, какое-то аномально большое число несчастных случаев на единицу площади талантов. Во-вторых,

странное поведение филадельфийца; если бы я про это в детективе читал, я, как книголот искушенный, тут же сообразил бы, что случайно угадавшему правду лоху заткнули рот некие могущественные силы.

Вот только кто? Нашим до американских ртов дотягиваться несподручно; вернее, что затычку ставили свои. Но какой смысл американцам ставить затычку своему же журналисту, который вот-вот докажет в очередной раз и с убойной убедительностью, что злее да подлее русских и на свете-то нет никого? Какой хай можно было бы поднять, если б оказалось, что и впрямь ФСБ травит ученых, лишь бы не отпускать их за границу? Да такого даже при большевиках не было! Да за это мы вам все кредиты срежем! И так далее.

А вот нет.

И в-третьих. Вертя распечатки и так, и этак, я вдруг додумался посмотреть распределение роковых случаев а: относительно лишь тех, о ком было достоверно известно, собирался он уезжать или нет, и бэ: по времени. Так вот, в-третьих: на первом этапе неприятности происходили исключительно с теми, кто СОБИРАЛСЯ уезжать, а на втором — исключительно с теми, кто уезжать НЕ СОБИРАЛСЯ или ОТКАЗЫВАЛСЯ.

Это была уже закономерность. Пусть не очень убедительная по узости статистической базы — но в границах данной базы просто-таки вопиюще однозначная.

Причем, так сказать, в-четвертых: журналистское расследование, столь подозрительно прервавшееся, по времени пришлось как раз на период, когда одна тенденция сменилась другой. Просто-таки с точностью до пары месяцев.

Вот и думайте, господа.

И в-пятых: случай с Сошниковым — ни в том, ни в другом списке, разумеется, не отраженный и лишь мне известный — похоже, был единственным за почти полтора года, когда рок настиг человека, который СОБИРАЛСЯ уезжать. Что бы это ни значило — нарушение некоей закономерности присутствовало. И именно данное обстоятельство, вероятно, могло объяснить всю эту жутко закипевшую подземную суету, всю эту пляску троллей... То есть даже должно

было бы объяснить — если бы мне удалось выяснить, какого именно рода закономерность была нарушена.

Это я сейчас рассказываю и немножко ерничаю для оживляжа. А тогда я попросту сомлел. Честно скажу: шерсть дыбом встала. Не понравилось мне это в-третьих и особенно в-четвертых. А уж про в-пятых и говорить нечего.

Потом я еще подумал: если я, частное лицо, вот так элементарно, менее чем за сутки, при помощи одного друга, одной секретарши и двух телефонов собрал этот пусть и не говорящий ничего определенного, но весьма настораживающий материал — куда смотрят наши бравые стражи государственной, равно как и общественной, безопасности? Как это было у Рыбакова в «Тяжелом песке»: если муж человек ученый и все время смотрит в книгу, то куда остается смотреть жене? Жене остается смотреть направо и смотреть налево...

И тут же вспомнил про лже-Евтюхова.

Ага. Значит, и стражи пляшут где-то поблизости. Совсем хорошо.

Я-то им на кой ляд сдался?

Такое впечатление, что ФСБ смотрит куда угодно — и направо, и налево, только не в книгу!

Впрочем, этим нас тоже не удивишь. Как и лучевой болезнью с доставкой на дом. Мы привыкши. Мы, блин, притерпемши.

А все-таки обидно.

Еще некоторое время я предавался неопределенным, но вполне мрачным раздумьям, а потом позвонил Борис Иосифович, чтобы я пришел за вожделенными дензнаками. И стало мне уже совсем невмоготу, потому что все предлоги исчерпались, и надлежало мне теперь брать ноги в руки и ехать к Тоне выражать соболезнования, и как-то втереть ей деньги, которые были, так сказать, пенсией от командования вдове погибшего бойца... но командование на этом поле такое уродилось, что даже объяснить вдове ничего не могло. Придется врать насчет старого долга, который мне все было не собраться отдать, а вот теперь, елы-палы, нашел удобный момент, собрался...

Хоть волком вой, честное слово.

Жаль, у меня любовницы нету. Поехал бы потом к ней, она бы мне водочки поднесла, или даже коньячку, смотря по чувствам; я бы отказался, конечно, — а впрочем, может, и нет; выпил бы, тельник бы на себе порвал и сердце измученное выкатил для обозрения, а она бы меня поутешала... чего ей не поутешать-то, я ж уйду скоро — она опять вздохнет свободно.

Потом позвонила Катечка.

— Антон Антонович, к вам посетитель на собеседование.

— Кто?

— Мужчина, Антон Антонович, — исчерпывающе сообщила Катечка. — Некто Викентий Егорович Бережняк. Шестьдесят восемь лет.

— Однако... Заранее записывался?

— Нет. Четверть часа назад пришел. Я сказала, что вы примете только при наличии свободного времени, а если не примете, то запишу его на вторник.

Я глянул на часы. Тоня, может, еще на работе. И вообще, поеду попозже, чтобы сюда уже и не возвращаться...

И вообще — поеду попозже.

Я сгреб распечатки и сказал:

— Приму.

Так, вероятно, Сократ, или кто там, мог сказать о чаше с ядом, поднесенной ему благодарными согражданами.

Через минуту дверь открылась, и он вошел.

Росту и телосложения был он нешибкого. Невыразительное, как бы затушеванное лицо. Запавшие глаза. Легкая хромота. И трех пальцев на левой руке не хватало. Не очень-то он был похож на ученого с угасшими творческими способностями. То есть что-то погасшее в его облике было, но не совсем то, к чему я привык. Добрый, невзрачный и неловкий старичок.

А в душе он был совсем иным.

Напряжен, будто мощная, до упора взведенная пружина.

И застарелая ледяная ненависть, отточенная, как бритва. И уверенность, граничащая с фанатизмом. И безнадежное, свирепое одиночество. И отчаянная боль сострадания не понять к кому.

И я был ему позарез нужен. Не понять для чего.

Он на зов явился.

Моя пьяная истерика в «Бандьере» сработала.

Надеюсь, я не изменился в лице. Как сидел в расслабленной, несколько утомленной позиции, так и остался: посетителем, дескать, больше, посетителем меньше; все они одинаковы, когда торчишь тут кой уж год.

Дрожишь ты, дон Гуан... Я? Нет. Я звал тебя и рад, что вижу.

Дай руку.

Щ-щас. А ногу не хочешь?

— Присаживайтесь, — сказал я, довольно убедительно делая вид, что он застал меня врасплох и я, уважая его появление, с трудом сдержал зевок. — Прошу вас. — И коротко повел рукой в сторону кресла для посетителей. — Здравствуйте, Викентий Егорович.

Судя по его внутренней реакции на мое обращение, старательно кинутое ему с первой же фразы, — имя и фамилия были настоящие.

— Здравствуйте, доктор, — сказал он негромко. Голос тоже был стертый, спокойный и глуховатый. Но я уже понял, что это годами шлифовавшаяся маска.

— Ну, какой я доктор. — Я неопределенно повел рукой снова. — Я так... Доктор будет с вами работать, если собеседование покажет, что мы в состоянии вам помочь. Зовите меня просто Антон Антонович.

— Хорошо, Антон Антонович. Как скажете.

Он сел и несколько мгновений пристально смотрел на меня — будто не зная, с чего начать. Присматривался. Дуэль? Пристрелка? Разведка боем?

— Я биофизик. Хотя следует, наверное, сказать — бывший биофизик. Я, знаете, не работаю по специальности давным-давно, — он чуть усмехнулся.

Он не врал.

— Я, грешным делом, думал, что все, конец настал старику. В сущности, ничего страшного, пора и честь знать. Но слухом земля полнится. Узнал про вас...

— Если не секрет откуда?

Он снова пристально глянул на меня.

— Я всегда стараюсь это выяснить, — простодушно пояснил я. — Мы очень мало прибегаем к обычной рекламе, но зато очень интересно и полезно бывает выяснить, как распространяется информация. Обратные связи, знаете ли. Надо знать, что о нас говорят.

— Понимаю, понимаю. Не волнуйтесь, только хорошее. Случайность, знаете. Племянница моя работает в парикмахерской, а дочь одного из ваших бывших пациентов у нее регулярно стрижется.

Он не врал.

У меня будто штопор в голове завертелся. Где-то недавно мелькала парикмахерская... совсем недавно. Да господи, где же...

Так. Дочь Сошникова, индианка хак-хакающая. Парикмахерше своей скачала, сказала она, отвечая на вопрос, кому рассказывала о близком отъезде отца. Так. Ну и ну. Тесен мир.

— Знаете, молодые девушки как зацепятся языками: тра-та-та-та-та! И обеим не так скучно — ни той, что сидит, ни той, что с ножницами кругом нее скачет. Обо всем успеют... И вот о вас — тоже. И о вашем заведении, и о вас лично, Антон Антонович. А уж племяшка — мне... Все в превосходных степенях, так что не волнуйтесь. Говорят о вас, знаете, хорошо.

— Давно у нас был этот пациент? — спросил я почти равнодушно.

— Нет. Разговор недавний. Как его... племяшка называла же... Сошников.

Ну что ж. Будем играть в полную откровенность? Тогда и я.

Я сделал печальное лицо.

— Ах, вот как, — упавшим голосом проговорил я. Он внимательно следил за моим лицом. Чуточку чересчур внимательно для пациента.

— А что такое?

— С ним произошел несчастный случай, — сухо сказал я. Что это он врачебные тайны выведывает! Так не делается! — От этого, увы, никто не застрахован.

А потом решил сменить гнев на милость.

— Представьте, он мне дал дискету со своими последними работами, я прихожу, чтоб вернуть, — а он пропал. Я туда, я сюда. А он уже в больнице...

Нет, дискета и его не заинтересовала. Как и лже-Евтюхова. Видимо, дело было не в работах Сошникова, а в самом Сошникове. А вот мы с другой стороны попробуем...

— И ведь обида какая, — продолжал я болтать. — Он буквально на днях должен был уехать в Штаты, уже и приглашение получил в Сиэтл.

В нем полыхнуло. Виду он не показал, правда, но я понял: для него очень важно то, что я знал об отъезде.

Однако для него самого это известие не было новостью. Он-то тоже знал. Ему важно было именно то, что об этом знаю я. И я определенно почувствовал, что его желание наладить со мною контакт усилилось.

Свихнулись они все, что ли?

— Какого же рода несчастный случай? — настойчиво спросил Бережняк.

— Ну, это врачебная тайна, — ответил я. — Давайте все-таки о вас.

— Давайте, — согласился он. У меня было отчетливое впечатление, что в мысленном перечне вопросов, которые он пришел сюда выяснять, против номера первого он поставил аккуратный жирный плюс.

Я посмотрел ему в глаза. Он помедлил.

— Я, знаете, патриот, — сказал он и усмехнулся со стариковским беспомощным добродушием. Но глаза остались холодными и цепкими, и он буквально буравил меня: как я отнесусь к его словам?

Я пожал плечами.

— Я тоже, — сказал я. — И не стесняюсь этого. А вы, по-моему, стесняетесь.

Ага. Попал. У него екнули скулы.

— Я не стесняюсь, — отчеканил он. И сразу овладел собой. — Просто мне кажется, что в интеллигентной, знаете, среде к этому слову относятся с определенным предубеждением. Что патриот, что идиот... что фашист. Сходные, прямо скажем, понятия. Нет?

— Нет, — спокойно ответил я. — Люди, Викентий Егорович, разные. Что бы ты ни сделал — всегда найдется кто-то, кому твой поступок покажется неправильным, глупым, непорядочным. Ну и пусть покажется.

— Вы, Антон Антонович, молоды, — почти не скрывая зависти, произнес он. — Уверенность в себе, крепкие нервы, вера в будущее, которое у вас есть просто в силу возраста. Мне труднее.

Мне показалось, что он сидел. Давно. Еще, скажем, при Совдепе. Что-то такое мелькнуло у него в памяти, когда он говорил о будущем. Ого.

— Я понимаю.

— Хорошо. Так вот. Лет тридцать назад наша с вами страна, по глубочайшему моему убеждению, во множестве наук обгоняла весь остальной мир годков этак, знаете, на двадцать. Демократическое вранье, что ученому лучше всего работать на свободушке.

— Вы думаете? — вежливо уточнил я.

— Думаю, Антон Антонович! — убежденно повторил он. — И думы свои подтвердил экспериментально. Лучше всего ученые работают за решеткой. Там, где с них сняты заботы и о быте, и о досуге. И о покупках, и о ценах. И об отпусках, и о подругах, и о всяких там хобби. Но зато и самоутверждаться больше нечем, как только, знаете, работой. Спасаться от унижения и тоски больше нечем. И ум, и душа, и силы телесные, ежели учесть полное отсутствие подруг, — все в одну точку бьет. Лично для ученых это, знаете, ужасно, отвратительно и смертельно подчас. Но для науки это черт знает, как хорошо!

— Интересная мысль, — сказал я. — Но вот тогда вопрос — зачем, в таком случае, вообще наука?

Он запнулся. Я пожалел, что его прервал, — и зарекся на будущее вплоть до особого распоряжения. Надо было дать ему выговориться. Он не врал и не выдумывал даже. Забавно — он говорил сейчас о самом сокровенном. Я чувствовал, что ему об этом поговорить, в сущности, не с кем; давным-давно не с кем. Он был не лже-Евтюхову подлому чета. Он меня вовсе не провоцировал и прощупывал — он искал реального контакта.

Он единомышленника искал, господи!

— Об этом чуть позже, — сказал он. — Сначала обо мне.

— Простите, — совершенно искренне проговорил я.

— Потом было некоторое, исторически весьма короткое время, когда НИИ стали малость посвободней тюрем. На ученых свалился проклятый быт. Все эти хлопоты, сопряженные со свободной жизнью, — жены, дети, пропитание, отпуска, поликлиники... Но зато, знаете, выручало то, что наука не была ориентирована на немедленный применимый результат. В семидесятых, знаете, мы торчали в очередях, но взахлеб спорили о внеземной жизни, о кварках, о темпоральных спиралях... Не за деньги, а потому, что нам это было интересно, интереснее очередей! А, скажем, американцы, которые не торчали в очередях, непринужденные беседы за коктейлями вели в лучшем случае о спорте — какая же все-таки команда какую отлупит в будущую среду, «Железные бизоны» или, понимаете, «Бешеные крокодилы». И потому быт, при всей его омерзительности, не мешал тем, кто хоть чуть-чуть имел извилин подо лбом и за душой. Наоборот — помогал. Помню, от очередей, знаете, лучше всего было отключаться размышлениями. Именно в очередях мне приходили в голову самые замечательные мысли.

Ну-ну.

Я тут же вспомнил, как па Симагина осенило нечто совершенно гениальное в ТОТ день, поутру казавшийся таким чудесным, а на поверку оказавшийся таким ужасным. Когда мама заболела. Когда кончилось детство.

В очереди в химчистку его осенило!

Мы с ним часа два, наверное, парились там — и вот, жужжа, налетела откуда ни возьмись муза с логарифмической линейкой!

Что-то в рассуждениях Бережняка было. Неужто он прав? Но действительно, чего ради тогда...

Какой сошниковский вопрос вдруг выскочил. Чего ради — что?

Не о том мне сейчас надо думать.

Поддавки.

— Не буду спорить, — сказал я угрюмо. — Я еще мелковат был, но охотно вам верю. Все говорит за это. Только что проку теперь судить да рядить о том, что не сбылось. И какое отношение...

— Как вы хорошо, уважаемый Антон Антонович, это сказали. Что проку? Есть прок, есть. Сейчас вы поймете, к чему я клоню. Пока нам важно понять, что именно благодаря столь специфической обстановке наука наша ушла, знаете, так далеко вперед, что сейчас это просто даже не оценить. Просто не оценить. Только беда-то была в том, что все эпохальные открытия оставались втуне и просто складывались в тайную копилку на случай, как пел когда-то Высоцкий, атомной войны. А когда погиб СССР, сверхсекретность сыграла злую шутку. Разворовывалось достояние двадцать первого, а то и двадцать второго века не самими учеными, а либо полуграмотными, знаете, начальниками институтских первых отделов, либо совсем неграмотными секретарями, знаете, райкомов. Ученые, правда, получили свободу разговаривать про свободу, но она им быстро опостылела, ведь им от этого не только, знаете, личных яхт и самолетов не перепало, но даже советская пайка перестала перепадать. А собственники их открытий торопливо распродавали все первым попавшимся покупателям — даже не очень понимая, что именно продают, и о цене, знаете, имея представление самое слабое. Самое слабое. И потому продавали втридешева. Только бы, знаете, успеть схватить хоть сколько-то зеленых за вот эти файлы, или эти ампулы, или эти формулы, или эти ящички... А покупатели хватали тоже впопыхах, мелкой нарезкой. И потому-то, заметьте, воспользоваться покупками... да что там воспользоваться — разобраться! — не имеют ни малейшей возможности. Ах, любезный Антон Антонович, голубчик! Что там было и утекло? Антигравитация? Механика предотвращения землетрясений и тайфунов? Системы сверхсветовой коммуникации? Создание дешевых и неотторгаемых искусственных трансплантатов? Полная расшифровка генов? Принципиально новое понимание того, как играет с нами исторический процесс? Никто не знает. Понимаете? Никто не знает! Мне вот в свое время довелось работать под началом замечательного ученого — вам его имя ничего не скажет, разумеется, а тогда он был одним

из корифеев так и не состоявшейся науки, биоспектралистики так называемой...

Вот тут я едва не потерял лицо.

Упоминание термина, который я в детстве слышал чуть ли не по двадцать раз на дню, меня едва из кресла не вышибло. Тесен мир? Бережняк попал в точку — то есть все эти дела давно минувших дней были для него, видимо, ясны предельно, и он отнюдь не просто бредил. Не совсем бредил. А может, и совсем не бредил?

На самом-то деле я ведь действительно так и не ведаю, что в конечном счете стряслось с этой, например, биоспектралистикой, о которой па рассказывал нам с мамой столько прекрасных сказок.

— Разработки начинались перспективнейшие, поверьте. И куда все делось? Опять-таки, никто не знает.

Честно говоря, я совсем не такого разговора ожидал от долгожданного своего каменного гостя. Я даже растерялся слегка и на какое-то время совсем перестал вставлять полагающиеся мне медицинские и директорские реплики. Куда ж это его несет? Мужик-то симпатичный, вот беда!

— Викентий Егорович, — мягко сказал я и откинулся на спинку кресла. — Я понимаю вас. Я понимаю вашу горечь и боль. Но поближе бы к тому, что вас лично беспокоит. Или я, простите, задам прямой вопрос: вы зачем пришли?

Он помолчал, вглядываясь в меня испытующе — но по-человечески испытующе, отнюдь не как на рубанок, который то ли пригодится, то ли нет, то ли покупать его, то ли оставить на прилавке...

— А вас лично, Антон Антонович, это все не беспокоит? — вопросом на вопрос ответил он.

Я поколебался. Мне не хотелось с ним играть — ни в поддавки, ни во что иное. Он, наверное, все-таки бредил — но он был честен, и это подкупало. Его хотелось защищать, как Сошникова.

— Не травите душу, — сказал я.

Он сочувственно улыбнулся.

— Потерпите еще немного, доктор, — ответил он. — Вот вы упомянули только что некоего пациента, который получил приглашение и должен был бы вскоре уехать из страны.

Вы, уважаемый Антон Антонович, никогда не задумывались, каким принципом руководствуются западные коллеги всевозможных наших талантов, одних приглашая поработать к себе, а других вообще как бы не замечая?

— Честно говоря, не задумывался, — сказал я.

— А не хотели бы попробовать задуматься?

— Викентий Егорович. Зачем вы пришли?

Он уставился мне в глаза требовательно и горько.

— Чтобы попросить вас задуматься.

Я вздохнул, сгорбившись в своем кресле.

— Хорошо. Задумаюсь. Дело обстоит довольно просто, полагаю. Кто успел себя как-то подать и отрекламировать, чаще всего через ту или иную диаспору — тот заморский пирожок и скушает. А кто только пашет, будь он хоть семи пядей во лбу, так и будет сохранять тут поджарую фигуру на щедротах Родины, равных трети прожиточного минимума...

Он покивал.

— Взгляд правильный, честный — но обывательский. Возможно, так было еще каких-то пять-семь лет назад. Возможно, в какой-то весьма небольшой, знаете, степени это и по сей день так. Но я абсолютно убежден, что основной принцип изменился. За время, прошедшее после той дикой скупки, наши зарубежные коллеги сумели кое-как разобраться, что именно они купили и чем это ценно. Но воспользоваться не в состоянии в силу разрозненности и хаотичности материалов. Разведка же у них работает вполне, знаете, удовлетворительно. Вполне удовлетворительно. Выяснив, кто из наших специалистов участвовал в работах над тем или иным особенно заинтересовавшим их непонятным осколком, они теперь любезно, этак делая милость, приглашают их в свой рай. Поучиться у них, знаете, деловитости... Гуманитарную заботу проявляют. — Он перевел дух. Пальцы рук его нервно подрагивали. — Им там отчаянно нужны люди, которые им объяснят толком, что же такое они накупили, и доведут скупленное до ума! Им же самим такую задачу не вытянуть!

Господи, потрясенно подумал я. Бедный мужик.

— Вам не обидно? — тихо спросил он. — Вам не тошно от такой перспективы?

— Какой? — столь же тихо ответил я.

— Что наши, не побоюсь этого слова, исторические соперники, вечные враги — станут, да еще и с высокомерной миной, как, знаете, благодетели, пользоваться наработками наших гениев, практически бескорыстно и с полной отдачей творивших в советскую эпоху! А неблагодарные, вскормленные и воспитанные рынком ученики этих гениев, подросшие, наработавшие кой-какие ремесленные рефлексы, за двойную пайку им еще и растолкуют все!

Я помолчал. Надо было срочно выбирать линию поведения. Он меня вербовал, это ясно. Вернее, готовил к вербовке. Чутье у него, судя по всему, — дай бог всякому. Одно неверное слово — и вербовки не будет; и я так и не узнаю, для чего ему нужен.

Честность — лучшая политика? Чего проще!

— Тошно, — совершенно искренне проговорил я. — Да, тошно, Викентий Егорович. Ну, и что с того?

Он молчал. И тут меня будто поленом вразумили.

А ведь, пожалуй, можно догадаться, что ему от меня нужно.

Я резко наклонился в кресле вперед и, пристально уставившись Бережняку в глаза, негромко отчеканил:

— У меня возникло такое чувство, Викентий Егорович, что вы не лечиться ко мне пришли.

Он выдержал взгляд. И через несколько очень долгих секунд ответил:

— Вы правы, голубчик Антон Антонович. Мне нужна от вас помощь совершенно иного свойства.

— Слушаю вас, — проговорил я.

— Запад ведет против нас необъявленную войну. Мне неведомы причины его идиосинкразии к России — чтобы в этом разобраться, нужно быть историком, культурологом, я же всего лишь простой биофизик. Но то, что такая идиосинкразия существует исстари, давно не вопрос. Давно не вопрос. Это просто не подлежит сомнению.

Он говорил теперь совсем иначе. Говорил, как вождь.

— Наша экономика, наши властные структуры Западом уже полностью съедены, и что-то поделать с этим в обозримый период мы не можем. Единственный ресурс, который у нас еще остался и который, в отличие, скажем, от минералов или лесов, кое-как все ж таки возобновляется, — умы. Умы, Антон Антонович, голубчик! Именно от наличия или отсутствия умов будет впоследствии зависеть, удастся ли переломить ситуацию, или стране действительно конец на веки вечные, безвозвратно. Не от нефти, не от конфигурации границ, не от своевременности выплаты пенсий старикам — только от этого фактора, одного-единственного! И наши враги это прекрасно понимают. И у них, знаете, все козыри в этой игре.

Он держал спину очень прямо и глядел мне в глаза прямо. Твердо. С отчаянной горечью всего лишь.

— Если бы я был президентом, я постарался бы остановить утечку мозгов экономическими средствами. Всю экономику бы бросил на это, клянусь. Потому что нет у страны сейчас важнее задачи. Но в моем положении у меня такой возможности нет. Ничего нет, кроме понимания, что утечка должна быть прекращена любой ценой! И в первую очередь — утечка тех, кто даже не по собственной инициативе едет на ловлю счастья и чинов, а кого, так сказать, любезно приглашают! Кто в ближайшее время будет растолковывать и сдавать противнику лучшие из наших открытий!

Глаза у него уже полыхали наркотическим пламенем. Но то был не героин, то был пламень веры. Игнатий Лойола... Будет людям счастье, счастье на века! Вот ужо будет!

— Я вас понимаю, — медленно проговорил я.

— Надеюсь, — ответил он, смягчив тон. — Надеюсь, что понимаете. Мне посчастливилось быть случайным свидетелем того, как позавчера вы, несколько перебрав, кажется, водки... в сущности, печалились именно об этом.

А вот тут он соврал. Не было его в зале кафе. Но ему, конечно, передали — сначала бармен, потом тот парень, который ко мне подсел.

— Да, был такой казус, — я чуть усмехнулся. — Я очень расстроился из-за несчастного случая с моим последним пациентом, с Сошниковым, я вам говорил. И, конечно, мне было очень обидно, что пациент, который оказался мне весьма симпатичен и в которого мы вложили определенную толику усилий, решил покинуть страну.

— Он решил сам или его позвали?

— Он мне сказал, что получил приглашение. Но он историк и социолог, вряд ли он ценен для оборонки. — Я вдруг, словно бы глянув на наш диалог сверху, сообразил, что с какого-то момента мы уже беседуем как соратники. С точки зрения развития спецоперации это было неплохо. Даже хорошо. Но с моральной... С моральной — тошнехонько.

— Не скажите, — возразил Бережняк. — Я повторяю: понимание хода истории подчас может оказаться более мощным оружием, чем атомная бомба. Ближайший пример: Сталин. Пока он оставался, знаете, марксистом и понимал, куда и как идет мир, пока осаживал своих вояк, Троцкого или Тухачевского, — в политике его никто не в состоянии оказался переиграть, ни внутри страны, ни вне. А стоило ему свихнуться на чисто военных методиках — сразу, понимаете, ошибка на ошибке.

Ну-ну.

Он помолчал.

— Как вы думаете, Антон Антонович, если бы году этак в сорок третьем ученые, занятые в «Манхэттенском проекте», решили вдруг по приглашению немецких, знаете, коллег переехать на время поработать к Гитлеру, как отнеслась бы к этому американская демократия?

— Думаю, — медленно ответил я, — этим ученым всячески постарались бы воспрепятствовать.

— Вот именно. Вся-чес-ки! — по слогам повторил Бережняк. — На войне как на войне! Не правда ли?

Честно? Договорились, будем честными. Игра у нас нынче такая.

— Не знаю, — сказал я.

Теперь пришла его очередь, впившись взглядом мне в лицо, резко наклониться в кресле ко мне — так что он едва не ударился грудью о край разделявшего нас стола.

— Насколько мне известно, вы однажды имели уже счастье защищать Родину. И, несмотря на молодость, делали это вполне достойно. Вам предоставляется шанс сделать это снова — и на войне куда более серьезной. От которой зависит выживание России в целом.

Да что ж это меня от него так вдруг затошнило?

Из-за патетики, наверное. Если бы он все это же произнес по-человечески, я отнесся бы к его словам серьезнее. Но шаблонным пафосом он все сгубил.

Не все. Но многое.

— Чего вы от меня хотите? — глухо спросил я.

— Ничего, голубчик Антон Антонович, ничего. Продолжайте работать, как работали. Открою вам небольшой секрет с целью укрепления взаимного доверия: волею судеб человек, который давал мне основную долю информации о том, кто, когда и куда собирается уезжать, к великому моему сожалению, более не сможет этого делать.

От него отчетливо пахнуло смертью, и я сообразил: это же он про Веньку! Вот кто был его информатор! Точно, он же статистик... был. А они его — того. За что?

Какие-то тени прежних по поводу Веньки чувств — настороженности и тревоги, лютого недоверия, отвращения — время от времени долетали от Бережняка, периодически чуть разнообразя валившую из него лавину мрачной, безумной правоты; но разобраться в тонкостях у меня пока не получалось.

— Мне нужен новый информатор. А через ваше учреждение проходит львиная доля интеллектуальной элиты города. Да и не только нашего города, насколько мне известно. Поэтому о каждом из ваших пациентов перед окончанием курса лечения вы будете выяснять точно: не собирается ли он уезжать, не приглашают ли его. И, выяснив, сообщать мне.

— Вопрос о доверии — вопрос не праздный, — медленно проговорил я через несколько мгновений после того, как он закончил. — Откуда мне знать, не провокатор ли вы?

Он задрал голову и глянул на меня как бы сверху вниз.

— Ниоткуда, — ответил он. — Чутье гражданина России должно вам подсказать.

Да, подумал я. Самый человечный человек. В натуральную величину.

— В конце концов, и я перед вами беззащитен, — сказал он. — Я ведь тоже не могу исключить, что в момент нашей следующей с вами встречи меня не будет поджидать, ска-

жем, засада ФСБ или, знаете, Интерпола какого-нибудь. Но я иду на риск. Ради России я иду на риск.

— И что вы будете делать с этими данными? — спросил я.

Он сплел пальцы рук на остром тощем колене, обтянутом тонкой серой тканью поношенных брюк. Плечи его ссутулились, и лоб пошел морщинами.

— Все это, голубчик, вас совершенно не должно касаться. Совершенно не должно касаться. Едет — не едет, вот и все. Дальше уж моя забота. Только моя, — тяжело повторил он. — Но крови мы с вами проливать никогда не будем. Никогда не будем. Даю вам, знаете, слово.

Он помолчал. Весь его апломб вдруг улетел куда-то, и на миг я ощутил его ужас. И ту безысходность, безвыходность ту, в которой он жил.

— Я ведь все понимаю, Антон Антонович, — тихо и с жуткой тоской проговорил он. Словно волк завыл на луну перед смертью. — Если бы вы знали, как я бы хотел брать их под белы руки и вести, будто юных новоселов, будто новобрачных счастливых, в светлые просторные лаборатории, в библиотеки. Если бы вы только знали... Но ведь война, Антон Антонович! Война! И мы с вами — не более чем партизаны на оккупированной территории!

Меня в пот ударило.

Не будь я навек осчастливлен предсмертным подарком Александры, то мог бы еще засомневаться — искренен он или играет. Уж так театрально это звучало, так театрально...

Он был искренен. Он душу раскрывал передо мной. И это было самым страшным — что он ВОТ ТАК искренен.

— Я должен подумать, — глухо ответил я.

— Подумайте. Подумайте хорошо и мужественно. Я скоро приду снова, и тогда вы мне ответите.

— А если я отвечу отказом? — медленно спросил я.

Он помедлил.

— Тогда мне будет очень жаль, — сказал он. — До свидания, Антон Антонович. — Он встал. И подал мне руку.

И мне пришлось ее пожать!

О, тяжело пожатье каменной его десницы...

— Всего вам доброго. Желаю вам принять правильное решение.

— Я себе этого тоже желаю, — вымученно улыбнулся я. Тут я сказал ему чистую правду.

Он взялся за ручку двери и снова повернулся ко мне.

— До свидания, Антон Антонович, — повторил он.

Когда он вышел, я верных минут пять сидел и обалдело смотрел на закрывшуюся дверь. У меня у самого будто мозги отшибло дубинкой той правоты, которую он излучал. Всяких я в этом кабинете видал, но вот вождей — не приходилось.

А ведь многое у него перекликалось с Сошниковым.

Но они ни в коем случае не нашли бы общего языка. Потому что Сошников старался понять и не лез воевать, убивать и калечить. А этот, наоборот, лезет воевать, а понимать с легкостью необыкновенной отказывался. Это, дескать, дело историков, а я простой биофизик, но факт есть факт, война идет, посему — пли!

И, как оно водится у вождей, — пли прежде всего по врагу внутреннему, по изменникам и дезертирам, а враг внешний пусть уж обождет, пока у нас до него дойдут руки.

А потому, как оно почти всегда бывает, — беспомощный Сошников пускает слюни и поет «Бандьеру» в настывшей промозглой палате, а этот трудящийся отдает приказания и уверен, что чутье граждан России должно подсказывать этим гражданам кидаться на вражьи амбразуры по первому его слову.

Как сказал бы, вероятно, наш интеллигентный президент — урою. За Сошникова — урою.

Но сразу в ушах зазвучала эта смертная тоска: я все понимаю, Антон Антонович... Я даже вздрогнул.

Встал и, как обычно в моменты тяжких раздумий о судьбах мироздания, подошел к окну. Но там было уже неинтересно — темнело; и зажигались разноцветные и потому, несмотря ни на что, какие-то праздничные окна в квартирах напротив.

Получается все-таки, что во всем и впрямь виноваты злобные русские патриоты? Элементарно, Ватсон!

Не складывается. Не складывается.

Во-первых, очень уж просто. Я допер до сей глубокой мысли через полчаса работы со своей отнюдь не исчерпы-

вающей статистикой. А они года три по меньшей мере шуршат в своем подполье — и до сих пор их не повязали, лапушек. Парадокс?

Во-вторых, перемена вектора сюда не вписывается. Какого же рожна сей патриот начал гвоздить именно те умы, кои попытались сохранить Родине верность?

Мысль будто билась о стекло. И надо было ехать к Тоне. Тоска справа, тоска слева... Я гибну, донна Анна!

Честно говоря, странно, что этого не произошло прежде, — но после общения с этим хоть и израненным, но все равно замшелым командором я совершенно отчетливо встревожился за Киру и Глеба. Вчера я был, видимо, слишком упоен собой и своими играми, нет их дома — ай-ай, ну и ладно, бродят где-то. А игры-то пошли такие, какие нам до сей поры и не снились.

Словом, я немедленно позвонил Кире. И подошла теща.

Ну, я поздоровался, перекинулся парой фраз. Как-то она неуверенно говорила — словно стеснялась, или ей давали знаки со стороны, что отвечать. Я спросил Киру.

— Она сейчас не расположена, очень устала...

— Но с ней все в порядке?

— Да, с ней все в полном порядке...

— На пару слов хотя бы.

Теща загугукала в сторону, ощутимо прикрыв трубку ладонью. Казалось, она в чем-то убеждает Киру, просто-таки уговаривает.

— Здравствуй, Антон, — произнес голос Киры. Я ее едва узнал. Совершенно больной голос.

— Кира! — сказал я встревоженно. — Ты не заболела, Кира?

— Почему ты так решил? — хрипловато и с явственным усилием произнесла она.

— По голосу.

— Нет, Антон. Я здорова.

— А Глеб?

— И Глеб здоров.

— Как диссертация?

— И диссертация здорова.

— Кира, у тебя что-то случилось?

— Нет.

Это была не она.

Это была она, очень похожая на маму, когда мама заболела, а потом ушла от па Симагина и рыдала о Вербицком.

Кашинский, я ведь тебя урою, если ты Киру обидишь. Я сейчас в заводе. Я Сталина видел, теперь мне сам черт не брат!

Таким вот тоном, такими вот отрывистыми фразами мама разговаривала с па в последние дни совместной жизни. Уже только формально совместной. Я все помню.

К сожалению. Лучше бы забыть. Ничего не понимал тогда — но какой это был ужас... Мир рушился. Медленно так, неторопливо и основательно: трещины, крошево, густые клубы цементной пыли... Почему я тогда не спятил?

— Как операция? — спросил я, изо всех сил постаравшись, чтобы хоть меня голос не выдал. Чтобы вопрос шел в одном строю с предыдущими. Как диссертация? Как операция?

— Антон, я больше с тобой не работаю. — Голос у нее просто-таки рвался. То ли от слез, то ли от ангины, то ли... не знаю. — И с Кашинским больше встречаться не намерена. Ни с Кашинским, ни с кем. Прости. Считай, я тебя... — у нее зажало горло. Она прервалась, и я услышал странные сдавленные звуки, то ли бульканье, то ли горловое квохтанье... Я лишь через секунду сообразил, что она едва сдерживает истерику. Справилась. — Считай, Антон, я тебя предала. Одним сотрудником у тебя стало меньше.

Двумя, подумал я, почему-то сразу вспомнив о Коле. Проникающее ранение в область печени... Избави бог.

— Киронька, да что случилось? Может, мне приехать? Хочешь?

Трубка стукнула, положенная, видимо, на телефонный столик, а еще через мгновение раздался чуть растерянный голос тещи:

— Антон, извините Кирочку, но она убежала к себе. У нее какие-то огорчения. Я и сама толком не знаю — и стараюсь не приставать с расспросами. Ей нужно прийти в себя.

— Понимаю. На работе?

— Вероятно. Хотите с Глебом поговорить?

— Н-нет, — после короткого колебания ответил я. — Я тоже тут... на бегу.

— Я так и думала, — с достоинством и даже несколько торжествуя, проговорила теща и повесила трубку.

А о чем я мог бы сейчас с ним говорить? Будь умницей, слушайся маму, вспоминай меня пореже? Так он и сам все это делает.

Так.

Так-так-так. Что-то я, кажется, не то сделал.

Только этого сейчас не хватало.

Я прижался кипящим лбом к холодному стеклу окна и стоял в этой позиции, верно, с минуту. Вот тебе и донна Анна.

Ладно. Как учил нас в окопе близ станицы Знаменской старшина, назидательно воздев короткий и лохматый кубанский палец: «Шо есь баба? Баба есь мина замедленного действия. То она лежить себе тихохонько, полеживаеть, а то удруг кэ-ак бабахнеть! Усе кругом удребезги. И хрен поймешь, с чего она бабахнула. Ни с чего, просто момент у ней в механизьме натикал...»

Ладно. Живы, здоровы — и слава богу, по нынешним временам это уже немало.

А поеду-ка я к родителям, со сладостной оттяжкой подумал я. Вот уж где можно отмякнуть. Всегда.

Я надел куртку, попрощался с Катечкой и вышел в слякоть. Побрел к стоянке, запихнув руки поглубже в карманы и стараясь не глядеть по сторонам, на бесконечные «Фор рент», «Фор селл» в пустых витринах. Партизан под оккупантами, елы-палы. Маша, Маша, тридцать третий больше не выбивай, все выдули, алкаши проклятые! Лэдиз энд джентльмен, зе портвайн намбер серти сри из солд аут, сэнк ю!

Сдается, продается...

Не бьется, не ломается. А только кувыркается.

Я не стану рассказывать, как был у Тони. К делу это не имеет ни малейшего отношения — а у меня до сих пор перехватывает горло, стоит только вспомнить, как она на плече ревела у меня, как... нет, не стану.

Деньги я ей втюхал, разумеется.

И, пожалуй, не стану я рассказывать, как провел вечер у мамы и у па Симагина. Это тоже не имеет отношения к делу, а пытаться на словах изобразить тепло и безмятежность... Великий писательский дар надо иметь. Полвека назад были фантасты, до мозговых грыж тужившиеся описать светлое коммунистическое будущее, — читать невозможно их дребедень. Страница бредятины — страница сюсюканья. Потом опять страница бредятины — и опять страница сюсюканья. Не стану я опошлять своего коммунизма, своего рая. Своей колыбели.

Разумеется, они меня поили, и кормили, и оставляли ночевать. Разумеется, счастливая мама тараторила, сама спрашивая и сама отвечая, и штопала мне правый носок, каким-то чудом углядев, что он уже засветился на большом пальце и вот-вот прохудится; а па больше помалкивал да смотрел серьезно, и о чем-то, по-моему, догадывался — но насчет па у меня всегда было странное чувство, будто он про что-то мое самое главное и самое тяжкое непонятно каким образом догадывается, но по-мужски не подает виду, хотя и подмигивает слегка: мол, если сам захочешь поговорить, я к твоим, сынище, услугам, а первый не начну, не приставуч. Конечно, я, как обычно, и сам не заметил, когда вдруг перестал ощущать себя самодостаточным взрослым, у которого проблем выше крыши, и опять превратился в счастливого и в меру балованного ребенка, в подростка при любящих и любимых родителях — чудесное, замечательное чувство, если им не злоупотреблять. И мы сидели перед приглушенно бубнящим ящиком и без конца пили вкуснющий чай.

Три момента.

На столике у изголовья их постели я обнаружил книгу Вербицкого «Совестливые боги». Она была подписана в подарок и датирована вчерашним числом — значит, дядя, так сказать, Валерий был тут у них накануне, и один бог знает, сколько они просидели и как. Ухитрившись украдкой, пока никто не видит, добраться до подарочной надписи, я с чувством, как когда-то говорили, глубокого удовлетворения прочел: «Ася, Андрей! Вы это, я слышал, читали, но пусть у вас будет своя. Спасибо вам за то, что могу вам ее подарить.

Теперь, наверное, смогу и что-нибудь написать. Как я рад, что вы снова вместе! Ваш Вербицкий».

Все-таки родители у меня, подумал я, где-то тоже серебристые лохи. Но вот вопрос: будь они иными, кем бы я был сейчас? «Мерсами» бы торговал? Да боже упаси!

А еще я подумал, что, с какой стороны ни глянь, писатели да прочие художники суть народ инфантильный до крайности. Как для любого карапуза нет большего счастья, чем гордо облагодетельствовать того, кого он более всех любит, продемонстрировав или, паче того, подарив горшок со свеженькой, только что сотворенной какашкой — так и упомянутые творцы предпочитают в знак особого расположения дарить исключительно продукты своего духовного метаболизма. Больше им нечего, что ли? Или они таким образом родственные души ищут и прикармливают? В таком случае худо им придется, конец настает этому утонченному способу национальной рыбалки. Бросай уду, фраер, доставай гранату!

Ох, человек, человек, любимая погремушка Всевышнего...

Бряк-бряк-бряк. Нет, плохо, давай сызнова. Бряк-бряк-бряк! Нет, глуховато звучит. А ну, как следует: бряк-бряк-бряк-бряк-бряк!

Какие звуки Он кой уж век пытается из нас вытрясти, если бы знать...

Потом, попозже, я все ж таки попробовал разговорить па Симагина. И, как обычно, это не составило ни малейшего труда — только обратись.

Я выяснил, что да, манили его за рубеж, когда здешние дела пошли враздрай. И в лабораторию Маккензи в Штаты, и к фон Хюммелю в Германию, и в Японию к Такео — и от всего он отказался, мотивируя это тем, что бросил занятия биоспектралистикой вовсе. Но было это давным-давно, году в девяносто втором — девяносто четвертом, минимум лет за восемь до первого несчастного случая из моей статистики. Так что в обнаруженные мною последовательности он не укладывался — ни в ту, ни в другую.

И третье: я помянул фамилию Бережняка — дескать, приходил такой на собеседование ко мне и биоспектралистику случайно помянул. Па сощурился, стараясь припомнить подробности и одновременно коротенько прикидывая, как получше ответить. До чего славно было чувствовать, что он прикидывает, именно как лучше и точнее рассказать, — а вовсе не взвешивает, например, о чем рассказать и о чем умолчать. Есть разница. И поведал, что да, действительно, был у Эммануила такой коллега поначалу, когда па еще только аспирантуру заканчивал. И, по словам Эммануила, коллега далеко не бездарный. Незаурядный коллега. Я его даже помню, задумчиво проговорил па. Такой невзрачный, нелюдимый. Но мы и двух слов сказать друг другу не успели, а поработать бок о бок — и вовсе не пришлось.

Времена были странные, тебе понять трудно, сказал па. Даже Родину любить надлежало только предписанным образом, а ежели ты ухитрялся делать это как-то не по лекалу, то запросто мог оказаться среди идеологических врагов. Хотя поскольку, с другой стороны, все ж таки не тридцать седьмой год стоял на дворе, для этого надо было постараться — не просто что-то там в душе испытывать, в голове мыслить и на кухне трендеть, но засветиться действиями. И вот Бережняк засветился: участвовал в каких-то патриотических рукописных изданиях, подписывал чего-то... Оказался Бережняк в конечном счете диссидент со славянофильским уклоном в сталинизм, вот такая икебана. Даже член какой-то группы, разносившей партократию в пух и прах одновременно и за небрежение русским народом, и за буржуазные послабления. И было против них заведено уголовное дело, явно надуманное; и получил Бережняк сколько-то там лет. А потом следы его потерялись, в лабораторию он вернуться не пытался, и Вайсброд, как ни тужился, ничего не узнал о его послелагерной судьбе.

Па сам этого всего толком не знал и не наблюдал, мелкий был. Все рассказал ему Вайсброд, причем уже довольно поздно — в больнице, незадолго до ухода на пенсию и фактического распада лаборатории. И говорил он о Бережняке весьма уважительно. С пиететом говорил. Например, тот ни разу, скажем, никогда никого не подставил и не обманул. Никогда не участвовал в институтских играх и дрязгах. Даже толикой антисемитизма себя не попачкал. Исключительно порядочный и надежный человек. Когда о самом Вайсброде

поползли тщательно инспирированные слухи, дескать, вот-вот в Израиль отчалит — за редкими исключениями едва ли не все средненормальные вольнодумцы в институте, любители под кофеек почесать языки за Солженицына, за Сахарова да за зверства КГБ, вдруг как-то разом перестали Эммануила замечать. Бережняк же, никогда с Вайсбродом не бывший шибко близок, взял за обычай подчеркнуто, выбирая момент так, чтобы кругом было побольше народу, подходить к нему поперек толпы и церемонно здороваться за руку. И жутко полюбил беседовать с ним о долгосрочных перспективах: через год-полтора вы сможете... думаю, буквально через пару лет мы с вами... При этом, скажем, когда Галича шандарахнуло в его Париже телевизором и трудящиеся принялись игривым шепотком, как тогда водилось, предполагать, что это опять происки злых чекистов-ликвидаторов, Бережняк заметил коротко и, похоже, не рассчитывая ни в ком найти ни малейшего понимания: «Собаке — собачья смерть». Что с ним будешь делать? Портрет Сталина на столе держал. Убеждения такие у человека!

Жаль, сказал па, Вайсброд умер — он рад был бы узнать, что Бережняк жив и даже творить собрался...

Ох, не знаю, подумал я, не знаю, был бы Вайсброд рад...

Но смолчал, разумеется.

Вот такая была получена мною информация. Интересная, что говорить, и добавляющая некие немаловажные для психолога штрихи. Ты с ним помягче, предупредил па. Ему, надо полагать, досталось изрядно. Я в ответ рассказал про три отсутствующие пальца. Жуть, согласился па. Но в душе у него может отсутствовать еще больше. Или, наоборот, присутствовать много нового.

Опять как в воду смотрел.

Дискета Сошникова

Конфуций: «Если управление неправильное, государев престол непрочен. Если государев престол непрочен, крупные вассалы восстают, а мелкие воруют. Если наказания строги, но нравы испорчены, не сохраняется постоянство в применении законов. Если не сохраняется постоянство в применении законов, мораль и долг теряют смысл. Если мораль и долг теряют смысл, служилый люд ничего не делает. Если наказания строги, но нравы испорчены, в народе много страха, но мало преданности. Такое государство называют больным».

Все уже было.

Можно придумать самые справедливые и гуманные законы. Но в условиях дефицита порядочности у законников-исполнителей эти законы в самый миг их принятия, безо всякой паузы, будут становиться таким же объектом купли-продажи, как, скажем, презервативы или макароны. Порядочность же не существует вне культуры. А культура — это вовсе не начитанность, эрудированность, внешняя воспитанность и так далее. Это устойчивая сориентированность на традиционные внематериальные ценности.

* * *

В благополучных обществах возможности для проявления лучших человеческих качеств уменьшаются, поскольку их и применять-то особо негде; а возможности для проявления худших остаются, по крайней мере, на прежнем уровне.

* * *

С начала времен до наших дней главная мечта государства: сделать так, чтобы на все раздражители подданные реагировали одинаково. В идеале — поголовно все. Чтобы сто процентов населения на каждый чих правителя, на каждое дуновение из-за кордона, на каждое облако в небе реагировали с единообразием солдат в строю, заслышавших: налево! направо!

Эта мечта особенно влияет на поведение государства по отношению к подданным, когда оно пытается навязать им себя в качестве их главной цели.

Древний Китай, середина IV века до нашей эры, реформа Шан Яна: раз все люди стремятся к выгоде и избегают ущерба, следует положить им награду за старательное и успешное соблюдение предписанного и наказание — за несоблюдение. Что именно предписано — народу должно быть все равно.

Так возникло право, абсолютно свободное от морали. Нацеленное исключительно на то, чтобы поставить каждого человека один на один с государством и его аппаратом подавления и поощрения. Человек, словно марионетка, должен был быть подвешен на ниточках наград и наказаний.

Это — первая в истории человечества серьезная попытка создать тоталитарный режим.

* * *

На пути всех подобных попыток, от Шан Яна до Сталина и Гитлера, вставала культурная традиция. Именно она обусловливала недолговечность тоталитарных режимов. На идеологизированность обычно кивают как на питательную среду тоталитаризма — но она-то как раз и является основной реальной помехой диктатуре и вожделенному для нее единообразию.

Помимо требований государства, реализуемых им при помощи законов, существуют требования морали, поддерживающие срабатывание в обществе традиционных связей: богов и верующих в них, родителей и детей, учеников и учителей, мужчин и женщин, друзей... Награды и наказания, получаемые внутри этой системы, в значительной степени лежат в сфере переживаний — нематериальной и зачастую прямо антипрагматической: человек либо чувствует себя хорошим, либо угрызается совестью.

Поэтому в идеократических обществах, как правило, есть чем ответить на бесцеремонное насилие государства: религиозным фанатизмом, верностью отеческим богам или иным идеалам и принципам, преданностью клану или индивидуально кому-либо из родственников, учителей, друзей и пр., чувствами индивидуальной чести и порядочности, исступленным бессребреничеством и подобными духовными противовесами.

То есть в них существуют ценности, которые можно с успехом противопоставлять прагматическим ценностям пользы и вреда, ценностям осязаемых, съедобных наград и каторжных, палочных и голодных наказаний, при помощи которых подчиняло себе человека государство. И, что не менее важно, ориентация на такие ценности всегда могла дать референтную группу, коллектив единомышленников. Человек, презревший казенные награды и наказания и потому выброшенный из государственного коловращения, никоим образом не был обречен на полное одиночество.

* * *

Пример: хотя бы трагедия Антигоны.

По введенному государством закону хоронить братьев нельзя. Наказание — смерть. Антигона нарушает закон ради традиции и идет на смерть. У нее есть РАДИ ЧЕГО это делать. Она ощущает себя честной, правильной, выполнившей свой долг. Совесть ее чиста. Довольны боги, довольны предки. Государственная польза — тьфу. И симпатии на ее стороне (в том числе и наши, хотя мы не верим ни в тогдашних богов, ни, тем более, в тогдашних предков). Она — героиня.

* * *

Парадоксально, что в постиндустриальных, деидеологизированных обществах, априори считающихся царствами свободы уже потому только, что власть идеологии в них разрушена, эти противовесы исчезают и перестают срабатывать.

Личная выгода и невыгода, МАТЕРИАЛЬНЫЕ награды и наказания становятся единственными ДУХОВНЫМИ ценностями. В условиях господства религии индивидуального прижизненного успеха, который к тому же измеряется лишь в доступных массовому сознанию величинах — то есть количественных и вещных, человеку нечего противопоставить ему в сердце своем, ибо в этом сердце уже ничего иного нет.

И человек становится-таки марионеткой на ниточках наград и наказаний. То есть наконец-то становится стопроцентно управляемым и вдобавок сохраняет при этом иллюзию свободы.

При архаичных фашизмах насилуемые подданные, как правило, имели духовную альтернативу государственному подкупу привилегиями, повышением в должности или увеличением зарплаты, которые государство сулило в обмен на

безоговорочную покорность. Им было РАДИ ЧЕГО сопротивляться, РАДИ ЧЕГО отказываться от соблазнительно висящих перед носом посюсторонних благ. Именно поэтому соблазн награды государству приходилось форсировать страхом наказания. Не клюешь на привилегию — тогда расстрел. Не клюешь на повышенную должность — тогда лагерь. Не клюешь на увеличение зарплаты — тогда увольнение, отсутствие зарплаты вообще и полная нищета.

Но ведь именно массированное применение насилия для нас, по сути, и является тем единственным качеством нацизмов, фашизмов и тоталитаризмов, которое делает эти режимы столь неприглядными и нежелательными. Только оно. Отнюдь не государственные цели, которые при помощи такого насилия достигаются.

Эти цели нас интересуют в весьма малой степени, а зачастую и вовсе не интересуют — тем более что у государств, вне зависимости от господствующих в них режимов, цели, как правило, однотипны. Критерием оценки режима, отнесения его к царству свободы или царству насилия служат лишь применяемые этим режимом к своим подданным средства.

* * *

Привычка до сих пор так сильна в нас, что нам и в голову не придет назвать тоталитарным режим, в котором насилие не применяется массово, в котором нет, например, СС или НКВД.

И мы не разглядим тоталитаризм, который достиг наконец предела своих мечтаний и так подвесил подавляющее большинство своего населения на ниточках материальных наград и наказаний, что в применении массированного насилия он ПРОСТО НЕ НУЖДАЕТСЯ. Потому что единого на всех соблазна личного жизненного успеха и столь же единой на всех угрозы личного жизненного неуспеха достаточно, чтобы заставить граждан, лишенных альтернативных ценностей, реагировать на тот или иной внешний раздражитель единообразно. А если кто-то все же ухитрится выбиться из строя, он окажется в полной изоляции. Его не будут арестовывать и пытать те, кому это положено по работе. Над

ним будут просто смеяться — все, сами, от собственной души. Это, пожалуй, пострашнее.

И мы с готовностью будем называть тоталитаризм ТОТАЛЬНОГО РЫНКА так, как он сам себя называет — свободным миром. Ибо поведение индивида действительно свободно. Выбор уступить соблазну или пойти ему наперекор предоставлен как бы ему самому.

Но кто предпочтет голодать НИ РАДИ ЧЕГО? Кто предпочтет голодать собственной волей, кто выберет нищету и одиночество сам, если это ЛИШЕНО СМЫСЛА?

* * *

Представим Антигону, которой за похороны братьев грозит понижение в окладе на триста восемьдесят рублей (или долларов, если дело происходит в противоположном полушарии), а за предписанное поведение — премия в размере двух МРОТ (или оплаченной поездки на Гавайи). И она чешет в затылке: два МРОТ на дороге не валяются! А с другой стороны, вот так запросто подарить казне триста восемьдесят рублей? Да с какой стати? Да на эти деньги я... И далее следует долгий и весьма квалифицированный мысленный перебор того, что можно сделать на эти деньги и что надлежит сделать в первую очередь, приоритетно. Более ни в какие сферы пытливая мысль современной Антигоны, стоящей перед этим жестоким выбором, не заносится.

А тут еще подружки подзуживают: два МРОТ! Да я бы на твоем месте ни секунды не колебалась, дурында ты этакая, идеалистка недоделанная...

* * *

Не только рабочая сила — а даже это в свое время так не нравилось Марксу — становится товаром. Это еще пустяки. Товаром становятся ДУШЕВНЫЕ КАЧЕСТВА.

Тот, кто еще не принялся выставлять на честный, открытый, всем доступный, АБСОЛЮТНО НЕ ЗАЗОРНЫЙ рынок свою порядочность, достоинство, мужество, слабость,

хитрость, нечистоплотность, сексуальность, фригидность и т. д., — в глазах всех окружающих выглядит полным дураком, с которым приличному человеку не следует иметь дела.

* * *

Кэнко-хоси, средневековая Япония: издревле среди мудрых богатые — редкость.

Но наше время родило прямо противоположную мудрость: если вы такие умные, то почему не богатые? В одной этой трансформации, как в капле — океан, угадывается направленность прогресса, предложенная евроатлантической цивилизацией.

В милитаризованное советское время эта же максима звучала чуть иначе: если вы такие умные, то почему строем не ходите?

Тоже хороши.

Правда, в советском варианте ощутима изрядная доля иронии, которая наглядно демонстрировала отстранение от вдалбливаемой государством шкалы ценностей. Даже издевательство над ней, противодействие ей — замаскированное лишь едва-едва. Так, что сама маскировка служила дополнительным смеховым фактором. Нынешний же вариант год от году произносится со все более искренним недоумением. Мало-помалу люди действительно перестают понимать, как может ум не конвертироваться в бабки. Если не конвертируется — значит, не ум. Представление об уме все более сужается до представления о деловой сметке и хватке, оборотистости, хитрости, подлости; все иное — уже не ум, а блажь, неполноценность. Как может быть горе от ума, вы чё, офонарели? Горе бывает только от глупости!

* * *

Многочисленность философских школ и религиозных сект, сколь угодно бьющая в глаза и являющаяся, казалось бы, неоспоримым признаком идейного плюрализма, ничего не доказывает и ничему не помогает.

Если приверженцы и буддизма, и иудаизма, если и агностики, и фанатики Последнего Дня, если и маоисты, и либералы, выйдя из своих храмов и проголосовав на своих съездах, ВЕДУТ СЕБЯ ОДИНАКОВО — что толку в их богословских и философских расхождениях? Наш КГБ в свое время это вполне понимал. Говорили, что в СССР преследуют инакомыслящих. Враки. Мыслить ты мог все, что на ум взбредет, — пока вел себя, как положено. Вот когда твое поведение приходило в соответствие с твоими убеждениями — тогда ты, что называется, высовывался. Преследовали только инакодействующих; а этим, вообще-то, грешат все государственные образования.

А если разница в исповедуемых ценностях не обусловливает различий в поведении, если единственным плюсом общесоциального силового поля служит денежная прибыль, а единственным минусом служит денежная убыль, то, какие бы молитвы ни произносились людьми, жестко и единообразно в этом поле сориентированными, все их убеждения — не более чем индивидуальные вкусы в области туалетных освежителей воздуха. Свобода.

Легальное разнообразие идейных течений и духовная гомогенность общества прекрасно уживаются друг с другом.

* * *

Свобода печати тоже не способна быть панацеей. При нынешнем обилии информационных потоков отбор предлагаемых потребителям сведений, их фильтрация становятся совершенно неизбежными — уже потому хотя бы, что ВСЮ информацию предложить невозможно, ее слишком много, ее некогда потреблять. Но всякий, кто фильтрует (фильтруй базар!), не может фильтровать иначе, нежели руководствуясь какими-то критериями: что важно, что неважно? что дать в эфир, чем пренебречь? Однако фильтрация согласно критерию — это уже манипулирование сознанием урнового мяса. В лучшем случае — совершенно непроизвольное, совершенно невинное; но даже в этом лучшем случае все равно — манипулирование.

Многочисленность независимых друг от друга источников, по идее, должна обеспечивать разнообразие методик фильтрации. Предполагается, что потребитель будет находить информацию, отобранную по наиболее симпатичному

для него критерию, и уже ею, как наиболее достоверной, руководствоваться при совершении собственных поступков. Однако с течением времени критерии отбора У ВСЕХ без исключения СМИ нивелируются, приходят к единому знаменателю, и знаменатель этот: критерий ширпотребного успеха.

Просто данный суперавторитет внедряется в сознание потребителя информации (который и так уже к материальной выгоде приник, будто к святым мощам, а от материального ущерба шарахается, как от Сатаны) на разных примерах.

В наше время тоталитаризм и даже нацизм вполне могут обойтись без тоталитарных структур и нацистских методик достижения государственных целей. Без архаично тоталитарных и архаично нацистских способов самосохранения и самовоспроизводства государства.

* * *

Есть ли еще у человека ЧТО-ЛИБО, к чему он в силах апеллировать, не желая совершать вынужденные па? Или уже нет?

Только ответом на сей вопрос теперь определяется, что мы видим и имеем перед носом: тоталитаризм или государство, которое, быть может, тщится при помощи сколь угодно жестоких средств им стать — но обречено им не стать, ибо есть у его граждан это самое ЧТО-ЛИБО.

* * *

Обречено им не стать.

Действительно, насилующий тоталитаризм всегда непрочен и недолговечен — именно потому, что у подвластных ему людей есть что противопоставить насилию в душах своих и в поведении. Но свободный тоталитаризм проклят. Он стабилен. Он не может быть разрушен изнутри. Он не может даже просто развиваться в силу внутренних факторов, ибо этих факторов нет; чисто экономическое развитие, то есть накопление материальных благ в идеологической пустыне — вот это и есть ЗАСТОЙ.

Именно поэтому неизбывно присущее любому и каждому режиму стремление продлить свое неизменное существование в вечность в наиболее свободных странах принимает форму додавливания неотмирных, идеальных, сказочных ценностей.

Именно поэтому в сфере внешней политики у этих стран основной задачей становится преобразование на свой лад всех государственных образований, еще существующих в системе иных цивилизационных парадигм. И чем более отличается шкала ценностей того или иного традиционного общества от шкалы ценностей тотального рынка, тем большую нетерпимость со стороны государств рынка оно ощущает на себе.

В этом смысле беловежский переворот и его последствия есть лишь звено глобального процесса. Коммунизм оказался наиболее влиятельной сказкой века — и принял основной удар на себя.

Но и сам-то он был не более чем исторически краткоживущей ипостасью базисной системы ценностей православной цивилизации. Поэтому он и не оказал нигде, кроме России, сколько-нибудь серьезного влияния. Его и давили-то уже не столько как коммунизм, сколько как могущественную форму антипрагматизма. И его крах действительно для многих означал доказательство несостоятельности антипрагматизма вообще.

Кажется, Бурбулис (уточнить!): мы должны провести страну через экономическую катастрофу, чтобы покончить с господством идеократического мышления.

В точку.

Умри, лучше на скажешь. Именно за тем все и было.

После такого шока Россия, при всей ее нищете (а во многом как раз благодаря ей, потому что гнаться приходится не столько за роскошью, сколько за хлебом насущным), по темпам движения к тотальному рынку, пожалуй, начала обгонять прежде безусловного лидера этой гонки в никуда — США.

* * *

Рост националистических и прямо фашистских настроений и организаций в Европе (в Швейцарии, во Франции, в Дании и во многих иных благополучных и сытых странах ос-

вастикованные партии — уже одни из крупнейших в парламентах) есть не более чем агониальная судорога, отчаянная попытка противопоставить наступлению тотального рынка с его полной духовной однородностью хоть какую-то сказку, способную сделаться значимой для многих. Беда давным-давно секуляризованной и давным-давно прагматичной Европы в том, что единственная сказка, которую она оказалась в состоянии выдумать в новейшую эпоху, оказалась столь черной. Собственное племя как высшая цель. Неандертальский уровень мечты.

Кстати, по этой же причине у нас до сих пор столь активно голосуют за коммунистов. Им не то что симпатизируют, или разделяют их убеждения, или восхищаются их вождями — просто еще живо ощущение, что именно и только они являются единственной действенной альтернативой наступлению инстинктивно ненавидимого царства всеохватной купли-продажи.

* * *

Конец истории человека — это момент, когда в человеческом сознании окончательно перестанут функционировать идеальные, выдуманные сущности. Когда носители одних идеальных образов перестанут взаимодействовать с носителями иных.

Разговор тогда пойдет лишь о лучшей или худшей реализации профессиональных, ремесленных или, скажем, спортивных навыков. По сути — животных навыков. Олень, который бегает медленнее, и олень, который бегает быстрее. Волк, который прыгает дальше, и волк, который прыгает короче... Все. Человек превратится обратно в животное. Пусть в индустриальное животное — от этого не легче.

Вопрос ЗАЧЕМ или РАДИ ЧЕГО сделается не просто неприятным или нелепым — он станет непонятным.

Конец истории человека настанет с окончанием диалога-поединка между различными вариантами выдумок, придающих человеческой жизни смысл.

* * *

Феномен российской интеллигенции.

Действительно. Подобного племени — исключительно, как правило, порядочного по своим личным качествам, исключительно талантливого по своим научным и гуманитарным дарованиям, и в то же время отвратительно бестолкового и плаксивого, нескончаемо обвиняющего свою страну и свое государство во всех смертных грехах, в том числе и в своих личных невзгодах, — нет и не было больше нигде в мире. Это давно подмечено и доказано.

На протяжении последних ста лет именно интеллигенция наиболее рьяно и неистово требовала изменения существовавшего в стране строя, наиболее настойчиво работала кислотой, разъедавшей основы этого строя, и дважды добивалась-таки изменений — во всяком случае, в огромной мере им способствовала. И оба раза оказывалась за бортом общества, которое после долгожданного изменения возникало.

И в очередной раз с недоумением и обидой всплескивала руками — и, едва оклемавшись, возобновляла скулеж.

* * *

Дело, думаю, опять в специфике православной цивилизации — волею исторических судеб единственной ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОЙ цивилизации планеты. Общество, вся система ценностей которого построена на стремлении к некоей цели — и потерявшее цель! Государство, призванное быть не более чем хранителем веры — утратившее эту веру!

Что может быть уязвимее и нелепей!

* * *

Три века назад государство начало навязывать себя обществу как единственную и конечную цель посюсторонней деятельности. Возникло непримиримое противоречие между воспроизводящейся через искусство, фольклор, семейное воспитание культурной традицией, согласно которой государство есть не более чем материальный инструмент идеальной деятельности — и внутренней политикой. Государственной идеологией.

Те, кто в прежних условиях, при сохранении традиционной системы ценностных координат по своим врожденным качествам становились бы великими аскетами, подвижниками, апологетами и реформаторами — точно свора, разом потерявшая след, принялись беспомощно тыкаться влево-вправо в беспорядочных индивидуальных потугах отыскать эрзац-ориентиры.

В первые десятилетия, когда государство одержало столько побед и добилось стольких успехов — главным образом военных и внешнеполитических (ликует храбрый росс!) — упоение внезапно обретенной мощью вскружило головы многим. Но уже начиная, пожалуй, с Радищева, и уж во всяком случае с декабристов и с Чаадаева, начался этот роковой, без начала и конца поиск, мало-помалу вывихнувший в ту или иную сторону мозги всякого сколько-нибудь мыслящего человека.

* * *

Кстати: да и не-мыслящего тоже. С течением времени иметь какой-нибудь внутричерепной вывих стало в образованной среде чрезвычайно модным. Без вывиха тебя и за умного-то, за интересного-то не считали. Серый человечек. Ничтожество. Раб.

* * *

С этого времени поиски смысла жизни приобрели в России характер национального спорта.

Сильно смахивающего на онанизм.

А государство неустанно и яро продолжало навязывать себя как финальную цель. Что именно для тех, кому на роду были написаны духовные подвиги, оказывалось совершенно неприемлемым и невыносимым.

Кстати: нет в формулировке «на роду написано» никакого мракобесия. Мы же не отрицаем врожденных предрасположенностей к математике или музыке.

И вследствие этого давления все искатели, вне зависимости от разительных отличий в позитивном содержании своих рецептов, сходились на полном неприятии государства. На требовании разрушить его до основания — а уж затем... В крайнем случае начинали свои программы с того, что государство ДОЛЖНО то-то и то-то. Но государству было глубоко начхать, что ему советуют — даже если случайно ухитрялись посоветовать что-то дельное. Это ВЫ мне должны, отвечало оно. Стр-ройсь! Разговорчики!

Но главная отрава зрела даже не в этом — а в том, что цель у каждого ищущего оказывалась СВОЯ. Обусловлена-то она была лишь личными склонностями, темпераментом, профессиональными навыками и прочим личным.

Вне обусловленной традиционным суперавторитетом системы ценностей любая придуманная индивидуумом цель обречена оставаться скроенной исключительно для него самого, по его образу и подобию. Человек не изыскивает наилучший, по его мнению, путь к цели, но просто-напросто цель непроизвольно придумывает под себя.

А для остальных она, к изумлению того, кто ее предлагает, оказывается чудовищно искусственным, чисто рациональным построением, лишенным всякого эмоционального содержания и тем более притягательности.

Поэтому каждый скатывался либо в мизантропию, либо в насильственное навязывание своей цели остальным. Мизантропы горестно блаженствовали в полном и окончательном высокодуховном одиночестве. Выйти из одиночества можно было только путем навязывания.

Но всем остальным, тоже давно уже придумавшим по себе цель, любая попытка даже сколь угодно мирного УБЕЖДЕНИЯ болезненно напоминала осточертевшее давление государства. И ее априори встречали в штыки, не особенно вдумываясь в то, что предлагалось.

Поэтому все эти люди — лично весьма, как правило, добродушные, в быту вполне склонные к компромиссам, к взаимопониманию, к миру в самом широком смысле этого слова — относительно целей друг с другом никогда не могли договориться.

И если вдруг изредка государство все-таки спрашивало их: так что делать-то? — они, десятилетиями дравшие глотки горестными воплями о том, что власть к ним не прислушивается, испуганно отбегали в сторонку, прошептав: сейчас

посоветуемся. И лихорадочно советовались, быстро начиная лупить друг друга по головам зонтиками и фолиантами. А самый хитрый, у кого вывих под черепом был больше для моды, кидался к власти и подмигивал: значит, так, делать вот что: во-первых — вон тех вон умников всех посадить.

* * *

Те, кто по призванию своему суть единственная преграда наступлению тотального рынка, те, чьи духовные усилия должны были бы препятствовать перевариванию России рынком — раз за разом устраивали такой разброд, что насмерть КОМПРОМЕТИРОВАЛИ САМО ПОНЯТИЕ духовной деятельности и духовного поиска.

* * *

Практически все так или иначе вводили в свой идеал понятие свободы. Но о правовой свободе они не имели ни малейшего представления. Она им и не нужна была. И вовсе не ее они имели в виду — хотя не сознавали этого, пожалуй, ни на мгновение.

Их интересовала лишь свобода от целеполагающего давления государства — то есть личная СВОБОДА ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ.

За редчайшими исключениями — ЕДИНСТВЕННО в этой сфере они чувствовали себя угнетенными.

Все предоставляемые государством блага — достаток, безопасность, защищенность от внешних врагов, внутренняя стабильность — их устраивали как нельзя лучше. В подобных условиях искать смысл жизни гораздо удобней, чем среди неразберихи, скажем, гражданской войны или навалившегося тотального рынка. Поэтому в любой из предлагавшихся ими альтернативных идеалов все эти блага перекочевывали как бы сами собой. Благам, которые обеспечивались государством В НАСТОЯЩЕМ ЕГО СОСТОЯНИИ, ничего в их программах не делалось, хотя само государство тихонько пропадало пропадом.

А остальные — те, кто не склонен был к поиску альтернативных целей, — вообще не чувствовали угнетения и понять не могли, с какой такой радости эти малахольные мечутся и стонут. Их стоны начинали проникать в массовое сознание лишь тогда, когда государство докатывалось до лагерей или резких экономических, политических, военных неудач. И тогда простой люд запросто подхватывал: даешь свободу! Долой самодержавие! Партия, дай порулить! Свобода воспринималась как самодостаточная и конечная панацея то от нехватки снарядов на фронтах, то от ГУЛАГа, то от самодурства начальника, то от очередей, то от отсутствия импортных шмоток, то от антиалкогольной кампании.

* * *

Однако этот бесцельный призыв к несуществующей цели было очень удобно использовать тем, кто, в отличие от идеалистов, прекрасно знал, чего хочет. Именно потому, что призыв этот был бессмыслен и реально никуда не вел, он просто-таки напрашивался на то, чтобы его использовали ради чего-то куда более простого. Просто уничтожения государства. Просто разрушения страны. Просто захвата власти, наконец.

Два грандиозных катаклизма прошлого века — мертвая зыбь от второго вовсю мотает нас и по нынешний день, в начале века сего — были подготовлены теми, кто хотел свободы исключительно от целеполагающего давления государства, но оба раза их подготовительная работа была использована теми, кто добивался краха государства как такового.

Снова и снова с упорством, достойным лучшего применения, интеллигенты завоевывали себе возможность как следует помучиться похмельем на чужом пиру.

В самой обыкновенной политической борьбе самых обыкновенных государств и клик, знать не знающих и слышать не желающих ни о каких идеалах, целях и прочей интеллигентской белиберде, — они играли достойную то ли сострадания, то ли презрения роль фактора мощного, но несамостоятельного и ничего в реальном раскладе сил не смыслящего.

Трудолюбивые и незлобивые творцы, каждый из которых сам по себе оказался способен осчастливить мир кто новой теорией кварков, кто новой турбиной, кто новым лекар-

ством, кто новой поэмой, — парадоксальным образом все вместе служили разрушению.

В первом случае из этих двух интеллигенция оказалась у разбитого корыта потому, что вдруг — для нее вдруг! — настало, наоборот, время куда более жесткой унификации общей цели. Большевики ухитрились-таки найти и предложить ее, и она, в отличие от интеллигентских, попала в русло традиции и явилась не более чем осовремененной модификацией извечной цели православной цивилизации: защиты и распространения истинной веры от кишмя кишащих со всех сторон более сильных и богатых басурман — посредством всей мощи государства, ТОЛЬКО РАДИ ЭТОЙ ЗАЩИТЫ и существующего. Но те, кто исповедовал иной идеал, сразу оказались государству врагами.

А во втором — потому, что все цели разом оказались не нужны, нелепы, смешны, а все высоколобые с их потугами служить хоть каким-то идеалам — разом остались в прошлой эпохе.

* * *

И тут не может не встать еще один извечный вопрос: кому выгодно?

Тотальный рынок способен скупить и применить в своих интересах любой идеал — и стремление к свободе в том числе. ДУШЕВНЫЕ СВОЙСТВА становятся товаром. Причем вне зависимости от желания покупаемого. Зачастую даже незаметно для него.

Но слишком сильна еще во мне самом интеллигентская закваска третьей четверти прошлого века, когда, скажем, о происках какого-нибудь Вашингтона порядочному человеку своей волей говорить — было просто стыдно. Совсем с ума сбрендил: повторяет лапшу, которую нам на комсомольских собраниях на уши вешают...

Пусть тот, кто помоложе, в ком нет уже такого тормоза, с этого места продолжит.

Однако вот что пусть обязательно учтет: славянофильско-патриотическое крыло диссидентства, возникнув одновременно с западническим, очень быстро сгинуло напрочь, разбитое Комитетом наголову. Почему? Потому что оно было нужно лишь самому себе; даже от коллег по очередям на допросы любой, кто произносил слова «интересы России» или «русский народ», — мгновенно имел ярлык «черносотенца». Слыть в интеллигентной среде западником было престижно и модно, это свидетельствовало об уме; слыть славянофилом — убого и зазорно, свидетельствовало о дремучей тупости. Западническое крыло прекрасно продержалось весь застой вплоть до перестройки, стало в какой-то момент рупором реформ, совестью нации, властителями дум и помаленьку рассосалось лишь после того, как дорвалось в конце Горбачева и в начале Ельцина до реальной власти, на деле продемонстрировав свою полную неспособность хоть как-то проанализировать стоявшие перед страной проблемы и, тем более, — хоть как-то справиться с ними. Да и рассосались эти граждане очень странно: став директорами новоиспеченных (в то время как вымирала вся остальная наука) социологических институтов и фондов, независимыми экспертами и осевшими в Европах вольными мыслителями, то есть опять-таки невесть на чьи дотации с очевидным удовольствием критикуя любое решительное решение и любое дельное дело любой российской власти; ума-то у них действительно палата, и вполне настоящие недостатки они способны мгновенно найти в чем угодно, было бы желание. Именно западники с самого начала получали моральную и интеллектуальную, издательскую и финансовую подпитку извне страны.

То есть на рынок, механически стремящийся все перекроить и перелопатить по своему образу и подобию, были предложены два типа товара, но спросом пользовался лишь один, и производство другого быстро зачахло, став уделом фанатичных и безграмотных кустарей, вконец его скомпрометировавших своими жуткими поделками. Можно, конечно, сказать, что патриотическое направление было архаизмом, а западническое угадало магистральный путь развития, потому так и получилось. Но вот в братских же республиках именно прозападническое диссидентство было шутя разгромлено Конторой и испарилось, а националистическое, несмотря на репрессии, расцвело — и после распада Союза стремглав пришло к власти, лишь после этого начав стано-

виться в той или иной степени прозападническим. Почему? Да потому, что именно оно являлось наиболее опасным и разрушительным для наднациональной идеологии и интернациональной структуры страны. Западники разных республик могли сохранить единство; националисты обязательно его разорвали бы. И потому внешнюю подпитку в республиках получали не западники, но националисты. То есть опять-таки было предложено два товара — и опять-таки был востребован лишь один; а уж потом он начал модифицироваться на потребу вкусу потребителей.

Важно еще вот что понять. Государства, как и отдельные люди, и группы людей, ежели они осознают некую цель и переживают некий смысл своего существования, вполне способны, затрачивая определенные усилия, использовать рынок для себя, применять его, как собственный инструмент, подчинять его. При отсутствии смысла и цели они, напротив, сами становятся безвольными инструментами рынка и РАБСКИ (вот еще, кстати, о рабах) идут у него на поводу. Вся законодательная и исполнительная мощь государства совершенно естественно направляется тогда на тотальное искоренение того, что не рынок, того, что не продается и не покупается за обыкновенные деньги.

* * *

Две цитаты. Бань Гу:

«Государь рассмеялся.

— Людей талантливых всегда достаточно. Помнишь ли ты время, когда их не было? Талант — всего лишь орудие, которое нужно уметь применять. А посему я и стараюсь привлекать к себе на службу способных людей. Ну, а коли не проявляют они своих талантов — и нечего им на свете жить! Если не казнить, то что прикажешь с ними делать?»

Протопоп Аввакум:

«Пьяной валяется ограблен на улице, а никто не помилует.... Проспались, бедные, с похмелья, ано и самим себе сором: борода и ус в блевотине, а от гузна весь и до ног в говнех».

В сущности, это два полярных состояния интеллигенции — между которыми ее и крутит, время от времени выбрасывая аж за край.

Прикормленность и сравнительное благополучие при том или ином деспоте, возможность работать — не для себя, разумеется, а для него, — но все-таки неоспоримая возможность реализовывать свои способности и таланты; зато, однако, полная от него зависимость, вплоть до живота своего. Ну действительно, если не проявил таланта с пользой для деспота — что с тобой делать? Не оставлять же самого по себе! Делать-то с тобой владыка что-то должен — ведь он ЧТО-ЛИБО ДЕЛАЕТ ПОСТОЯННО И СО ВСЕМИ.

И на другом полюсе — полная ошеломленность после опьянения свободой, которая наутро оказалась совсем не похожа на ту, долгожданную... Полная личная ненужность в новом мире. Никто не помилует.

Потому что НЕ ДЛЯ ЧЕГО.

10. ТОВАРИЩ БЕРОЕВ

Я читал допоздна.

Под конец башка уже малость опухла от этих умствований — видимо, крупноватую дозу я попытался усвоить зараз. А усваивалось непросто. То одинаковость плоха, то, наоборот, разброд; впрочем, я тут не новость — еще на заре цивилизации один из героев «Махабхараты», раздражаясь, что мир слишком сложен и неоднозначен, восклицал: «Противоречивыми словами ты меня сбиваешь с толку! Говори мне лишь о том, чем я могу достигнуть Блага!»

А, так? Ну слушай, проще не бывает: магазин примкнуть! Огонь во время комендантского часа открывать сразу на поражение. Патрулирование местности производится...

И тогда, разумеется, из каждой подворотни аналогичная простота: получай, фашист, гранату!

Вот и получился диалог равных. Думские прения. Беседа прошла в деловой, конструктивной обстановке. Стороны обсудили... И главное, все только тем и занимаются, что достигают Блага. Стопроцентная занятость.

Однако оставлять текст на полуслове — вернее, полумысли — мне было невмоготу. Увлекся. Заразился.

Умен ты, Сошников, думал я, в начале четвертого укладываясь спать. Умен, лох ты мой серебристый.

Но дальше-то что?

Ценностные координаты...

А ведь он надорвался, Сошников. Надорвался под неподъемным грузом высших задач, которые сам себе придумал; теперь в этом сомневаться уже невозможно. И побежал на рынок отдохнуть. Быть таким, как он описал, он не хотел, но... Понять ошибку — значит, начать ее исправлять, да, конечно; однако чтобы завершить ее исправлять, надо не только понять, в чем ошибка. Не худо бы еще понять, в чем ее нет.

Я перевернулся с боку на бок.

Дальше-то что? Он тоже не знал.

Нанизать такую уймищу умных слов и фраз и доказать неопровержимо: нужна вера. Вера нужна!

А вот ее-то и нет. От умных мыслей и неопровержимых доказательств ее все равно не прибавляется.

Тогда — геть на рынок.

А у меня с этим как?

Опять перевернулся.

А Бережняк?

Вот уж ему веры не занимать — но во что? Так сразу и не сообразишь. В государство? Нет. Как я понял, для него государство российское, при всей к нему не поймешь какой любви, лишь средство, инструмент — то есть, по Сошникову, он тоже функционирует в рамках этой самой парадигмы православной, только в ее грубо усеченном, без неба, большевистском варианте. Может, в классовую борьбу? Нет. И ему очень легко вообще отмазаться от необходимости понимать, ради чего идет он на свои странные дела: партизаны мы, партизаним помаленьку... Вот оккупанту кишки выпустим, сразу заживем, как в раю.

Лучше рынок, чем такая вера.

Наверное, не я один до сей глубокой мысли додумался. За последние полтора века примеров, ее доказывающих, была такая убойная прорва, что и слепой-глухой мог ее усвоить — на ощупь. Даже если пальцев после лагеря некомплект.

Потому рынок и побеждает. Не он всемогущ — мы безоружны.

Хорошо ли, что он побеждает? Сошников утверждает, что нет. Складно утверждает, но вряд ли его складные фразы меня бы тронули, если б я сам не ощущал: что-то тут не то. Некрасиво как-то, не по-людски.

А утром, занимаясь рукомашеством, я понял, что в навороте последних событий мелькнула еще одна странность — такая мелкая, что я ее, собственно, и не отследил, только занозил душу. И вот теперь заноза догнила до того, что сознание обратило на нее внимание. Странность вот какая: жена Сошникова была готова к тому, что с ее бывшим мужем должна произойти какая-то беда. И очень ненатурально сокрушалась о срыве его зарубежной поездки.

Жена-то тут при чем?

А дочка сказала: жене отнюдь не по нраву был отъезд Сошникова.

И антивирус в виртуальных погонах. Его интересовало — как и в случае со мной, кстати! — кому жена говорила о готовящемся отъезде.

Искал утечку?

Так кустарно искал утечку фээсбэшник? Держите меня трое...

Ну и клубок.

И, со слов дочки, мама сказала антивирусу какую-то очень странную фразу, обрывок фразы... Я же вам сама. А потом, как выразилась дщерь, осеклась и сидит в перепуге.

Жену придется прояснить. Не хочу я оставлять в тылу такое.

Вот так я спозаранку решил, но мне не дали. Все разъяснилось само собой в рабочем, так сказать, порядке.

Репродуктор на кухне пропиликал девять ровно и принялся вываливать очередной ворох тошнотворных новостей, когда в комнате заблеял телефон. Я двинулся туда, поспешно дожевывая и доглатывая. Почему-то мне казалось, что это Кира, и нарочито осаживал себя, не бежал, хотя пуститься вскачь ноги так и норовили. Умом я знал, что это не может быть Кира. Просто очень хотелось. Но опять-таки умом я соображал, что, даже если это она звонит и вот сейчас я

подниму трубку и услышу ее голос, — какие слова мы начнем говорить друг другу?

Никаких.

Так что это не могла быть она.

— Алло? — спросил я.

Конечно, голос был мужской. Серьезный, крепкий голос. Незнакомый.

— Могу я попросить Антона Антоновича Токарева?

— Я у телефона.

— Очень приятно. Извините за несколько ранний звонок, но дело довольно спешное, а вчера я, хоть и звонил вам несколько раз, вас не застал.

— Вчера я был у родителей и вернулся очень поздно.

Чего это я объясняюсь неизвестно перед кем, одернул я себя. Странно. Мне это не было свойственно.

— С кем имею честь? — светски осведомился я.

— Полковник федеральной безопасности Денис Эдуардович Бероев, к вашим услугам, — не менее светски ответили с того конца.

Так. Гость пошел просто-таки косяком. И все специфический какой!

— Очень приятно, — сказал я, по возможности напитав голос иронией. — Хотя, сколько я понимаю, скорее я к вашим услугам.

— Надеюсь, обоюдно. Мне бы очень хотелось с вами побеседовать.

— Заезжайте, — ответил я, уже совершенно обнаглев.

Кто бы знал, как меня эта каша достала за какие-то несколько дней! Тут, понимаешь, личная жизнь рушится, надо угрюмо и печально пребывать в прострации....

— Безусловно, — отвечал Бероев с полной невозмутимостью, — я почел бы за честь посетить вас.

Экий Монплезир. Впрочем, я сам виноват, задал тон.

— Думаю, однако, удобнее было бы у нас. Нам могут по ходу разговора понадобиться какие-то справки, уточнения, которые легче делать из моего кабинета.

— Понимаю, — сказал я. — Командуйте, Денис Эдуардович.

Почти Эдмундович, подумал я мельком. Ну-ну.

— Помилуйте, Антон Антонович, я всего лишь прошу. А в случае вашего согласия выполнить мою просьбу — начну предлагать.

— Предлагайте, — сказал я. — Уже можно.

Он и предложил.

Ровно в одиннадцать я был у проходной, и пропуск меня уже дожидался. С чувством не из приятных я миновал несколько уровней заграждения, на каждом демонстрируя паспортину и каменным лицом выдерживая тягучие сличающие взгляды; в генах, что ли, застряло нечто не располагающее оказываться в подобных заведениях. Как, по слухам, любили повторять в тридцатых: у нас зря не сажают. С тех пор, наверное, и укоренилось в извилинах: лучше с ними даже взглядами не встречаться, а то икнуть не успеешь — и уже сидишь не зря.

Бероев, однако, мне понравился, вот парадокс. Крупный и массивный, красивый, пожилой. Да не в этом дело. От него веяло непритворным стремлением разбираться и натуральным желанием делать это вместе. Уже немало.

— Присаживайтесь.

— Благодарю.

— Еще раз прошу простить за ранний звонок.

— Ничего. Я понимаю, служба.

— Вероятно, я несколько нарушил ваши планы на этот день.

— Сманеврирую. Лишь бы польза была.

— Польза, надеюсь, будет. Закуривайте, пожалуйста.

— Благодарю, не курю.

— Ага, так мне и сообщали. Но, с вашего позволения, я курю. И закурю.

— Ради бога, Денис Эдуардович.

— Надеюсь, у вас нет аллергии на сигаретный дым и не курите вы просто из спартанских свойств характера?

— У меня курящая мать и некурящий отец. Импринтинг. Я же мужчина.

— Браво, Антон Антонович...

Вот так мы выкрутасничали минут, наверное, семь. Я, естественно, не собирался взваливать на себя инициативу перехода к делу — это его забота, раз уж это он меня звал.

Хотя интересно мне было не передать как. А ему было, я чувствовал, очень трудно взять быка за рога. Я понял так, что разговор нам предстоял тягостный — и для него, похоже, значительно более тягостный, чем для меня.

— Я успел немало о вас выяснить за истекшие сутки, — честно сообщил он затем. — Не скрою, чем больше я этим занимался, тем больше вы оказывались мне симпатичны. И буквально в последний момент я решил построить нашу беседу на очень редко применяемом и совершенно бессовестном приеме: на полной откровенности. Причем, коль скоро беседу начинаю я, мне и придется показать пример. Я не стану брать с вас никаких подписок о неразглашении и просто буду надеяться на вашу уникальную порядочность.

С Кирой или, еще лучше, с тещей ему бы про мою порядочность проконсультироваться, мельком подумал я. Много услышал бы.

— Звучит, как райская музыка, — ответил я, опять подпустив в голос иронии. Но он действительно делал над собой колоссальные усилия. Даже если б не дар Александры, я, наверное, почувствовал бы это по тому, как он курил, то взглядывая на меня, то напряженно и мрачно уставляясь перед собой.

— Позавтракать вы успели? — вдруг спросил он.

— Так точно.

Он вымученно улыбнулся и наконец спрыгнул в разговор по существу. По-моему, чуть неожиданно для себя. По-моему, он наделся еще потянуть, предложив мне, например, чашку кофе.

— Лет пятнадцать назад, — мертво лекционным голосом и заранее подготовленными фразами начал он, не глядя на меня и то и дело присасываясь к сигарете, — в нашем ведомстве, с понятной целью создать очередной эликсир правды, был синтезирован весьма неприятный и сильнодействующий препарат. Я не биохимик, вы не биохимик, и я не буду останавливаться на частностях. При даже самой легкой передозировке он не выплескивал вовне содержание памяти... э-э... подследственного, но попросту стирал ее. Оставались лишь самые начальные рефлексы и какая-нибудь ерунда, осколки...

Очень характерные эмоции Бероев испытывал. Он говорил правду, и это стоило ему серьезных усилий — разглашал неподлежащее, по-видимому. Но это первый слой, а второй: как он относился к сим изысканиям своего ведомства. Как к малоприятной, но рутинной неизбежности. Как хирург к необходимости хирургических вмешательств. И ему было сейчас противно и стыдно не более, чем хорошему врачу за бездарных коллег: дескать, выдумали тоже — циркульной пилой фурункулы вскрывать...

— Препарат признали неудачным и опасным, работы с ним прекратили, но опытные образцы, естественно, были сохранены. И вот четыре года назад они исчезли.

Он сделал паузу. Я молчал, слушая с доброжелательным спокойным интересом. Он мельком вскинул на меня угрюмый взгляд и опять уставился в стол.

— Ну, что значит исчезли... Довольно быстро выяснилось, что их просто-напросто продали. Нашли, кто продал. Нашли даже часть проданного. И все виновные понесли заслуженное наказание. И, в знак особого к вам доверия, могу даже сказать: не все по суду. Отхватившему основной куш майору-химику мы просто...

— Не надо, — поспешно прервал я его. — Не надо подробностей. А то вам потом, боюсь, по долгу службы меня ликвидировать придется.

Бероев помолчал, опять вскинув на меня взгляд исподлобья. И прикурил новую сигарету — прямо от предыдущей.

— Мрачновато вы смотрите на последствия моих отчаянных попыток наладить конструктивное взаимодействие, — глухо сказал он. — Хорошо, учту.

— Не обижайтесь, — с искренним раскаянием попросил я.

— Ни в коем случае. Итак, вкратце. Примерно треть препарата исчезла бесследно. Мы уже начали надеяться, что она и впрямь исчезла... тьфу, пристало! — Он неподдельно нервничал. — Однако чуть больше года назад у нас возникло подозрение, что препаратом кто-то пользуется.

Сошников, подумал я. Вот чем его...

— Одной из моих персональных обязанностей, Антон Антонович, исстари является присмотр за, как бы это сказать, мозгами. Времена изменились, мы теперь эти мозги не

промываем и в секретности их не топим, что они хотят, то и вытворяют, если деньги есть... но присматриваем. Учет и контроль. Вернее, просто учет. И вот один из отъезжавших за рубеж господ, не так давно еще связанный с тематикой довольно щекотливой, после банкета в дружеском кругу внезапно превратился в... э... крыжовинку на кусту, капусточку на грядке. Точь-в-точь как полагалось бы после передозировки нашего эликсира. А был тот господин, между прочим, одним из ваших пациентов.

— Тематикой ученых занятий своих пациентов мы специально не интересуемся, — сразу заявил я. — У нас иные критерии.

— Понимаю. Тематикой как раз мы интересуемся и только благодаря тематике случившееся заметили. Поздновато заметили. Когда мы до упомянутой крыжовинки добрались, прошло уже несколько дней, и выяснить, чем его обработали, если и впрямь обработали, не представлялось возможным. Убедиться ни в чем не удалось. Обмен веществ свое дело знает туго. Следствия были налицо, но причины давно ушли в канализацию.

— Знаю, о ком вы, — сказал я и назвал фамилию из перечня, подготовленного для меня моим журналистом.

Но на Бероева это не произвело впечатления.

— Был уверен, что вы вспомните.

— Мне нечего вспоминать. О том, что с ним случилось после окончания лечения, я узнал лишь вчера.

— Ага. Хорошо. Возможно, вы расскажете мне, почему вы этим вчера заинтересовались. Но сначала я закончу.

— Извольте, — содрогаясь, как говорится, от светскости, уступил я.

— Вопрос, таким образом, оказался открытым. Однако мы себе этот случай отметили, — он глубоко затянулся. — Заподозрили неладное. И вот, по счастливой случайности, повтор. Случайность состояла в том, что собирающийся отъехать человек попал в поле нашего зрения заранее, и наш сотрудник смог его навестить буквально через сутки после обработки. А анализы вашими стараниями были сделаны и того раньше. Взять его к нам для более углубленных изысканий без форсирования ситуации не получилось, но и полу-

ченных данных хватило, чтобы понять: опять ничего. А это, доложу я вам, является прекрасным косвенным подтверждением, что оказавшееся на больничной койке следствие обязано своим появлением именно нашей причине. Потому что как раз нашу причину уже вскорости после обработки подследственного обнаружить в крови, моче и прочем — невозможно.

Ай да Никодим, подумал я. Как он это дело мигом просек!

— Быстрая разлагаемость и выводимость была одним из старательно достигавшихся положительных качеств препарата. Она означает, что буквально сразу после обработки, которой подследственный, разумеется, сам не помнит, никакими способами нельзя выяснить, что где-то его обработали и что-то из него вытянули. При прочих равных такой препарат для конспирации полезней. Я не слишком длинно излагаю?

— Все это чрезвычайно интересно, — искренне сказал я. Полковник не врал ни единым словом. Стеснялся говорить, злоупотреблял фиоритурами и эвфемизмами, избегал, как я его и просил, подробностей — но кололся, как на духу. Поразительно. — Речь идет, как я понимаю, о Сошникове.

— Именно о Сошникове, Антон Антонович. И, что любопытно — он тоже ваш пациент!

— А, — сказал я понимающе. — Так это ваш сотрудник был в больнице буквально сразу после меня?

— Да.

— А какого рода была та счастливая случайность, о которой вы столь любезно упомянули?

Бероев испытующе поглядел на меня.

— Вы, кажется, сами просили избегать детализации...

Он не хотел говорить. Вот как раз об этом — он явно не хотел говорить.

— Это как раз та подробность, которую я хотел бы знать.

Он отчетливо, хотя и недолго, колебался. Но, видимо, раз решившись, теперь шел до конца.

— На него бывшая жена настучала, — нехотя сказал он. — Откуда эта гадость в людях до сих пор — ума не приложу. Классический донос в органы: мой бывший муж по роду

своей деятельности имел доступ к архивам партии и правительства и собирается вывезти копии многих еще не рассекреченных документов за рубеж за большие деньги... Сволочная баба. Я тут поразбирался с этим немного. Видно, ей до слез обидно стало, что ее бывший, которого она за недоделанного держала, вдруг выберется в землю обетованную, а она-то, дура, тут останется! А если бы не развелись, так с ним бы в Америке шиковала! Невыносимо женщине такое, а, Антон Антонович?

— Пожалуй, — сказал я.

Вот и еще один кусочек мозаики встал на место. У меня в ушах прямо-таки явственней явного зазвучали ее причитания: надо же, беда какая... ах, судьба... ах, он очень неприспособленный... И так бывает в семейной жизни. То есть постсемейной. Конфликт в рублевой зоне постсемейного пространства. Когда я сказал, что меня к нему не пустили, она поняла, что я не из органов, про донос не знаю и ей надо изображать соответствующие чувства. А если б я сказал, что с ним виделся, — она бы решила, что я из Гипеу. Интересно, как бы она себя повела.

— А ведь, Денис Эдуардович, она уверена, что это вы его отоварили.

Несколько секунд Бероев молча курил и смотрел на плавающие в воздухе дымные мятые простыни.

— Пальцы бы ей отрезать, которыми телегу писала, — мечтательно сказал он потом. — И ведь, понимаете, Антон Антонович — сигнал получен, мы обязаны реагировать. Пошли с Сошниковым разбираться, а он уже — того, — помолчал. — Вот такие наши счастливые случайности.

А у меня будто расстегнули молнию на темени и щедро полили обнаженные полушария крутым кипятком.

— А к ней вы разбираться не ходили?

— А на хрена... — мрачно пробормотал Бероев.

Я покосился на него даже с неким недоверием. Но он, странное дело, опять не врал.

Тогда значит, антивирус, лже-Евтюхов мой, которого я совершенно точно ощутил как из ФСБ... Полушария дымились под гуляющим влево-вправо носиком неумолимого чайника. Она ему сказала: я же вам сама...

И осеклась! И перепугалась!

Ну еще бы! Он к ней пришел выяснять, не говорила ли она кому о его близком отъезде!!! И про донос ее — не знал!!!

Ох, поразмыслить бы, ох, поразмыслить! Какая жалость, что я, на досуге почитывая детективы, всегда интересовался главным образом, ЧТО и КУДА движет героев, и по диагонали проскакивал — КАК оно их движет... Схемку бы нарисовать!

— Денис Эдуардович, а не могло случиться так, что без вашего ведома, в обход вас или по собственной инициативе, кто-то из ваших сотрудников беседовал с Сошниковой?

Он только покосился на меня, как на слабоумного, и не ответил.

— Что же вас теперь интересует, Денис Эдуардович?

Он вздохнул.

— Каналы распространения и применения препарата, — сказал он.

— Вы полагаете, что это мы? Скажем, заметая следы неправильного лечения, что ли? Или еще по каким-то...

— Не скрою, — процедил Бероев, — возникала такая мысль. Хотя теперь я ее уже отбросил. И позвонил вам, рассчитывая на вас уже совершенно в ином, отнюдь не подследственном качестве.

— Вот так ходишь-ходишь, — сказал я, — и до последнего момента уверен, что страшней всего — это с женой поругаться... Вас интересуют, вероятно, знакомства и контакты Сошникова?

— Не просто знакомства и контакты. А знакомства и контакты в связи с лечением у вас. Рабочая гипотеза такая: ваша психотерапия как-то пересекается с нашей химией. Устойчиво пересекается. Приглашаю вас подумать со мною вместе, где, как и зачем это происходит. Если происходит. В конце концов, никто лучше вас не может знать обстановку, в которой ваше заведение работает.

Тут он в точку попал.

— Понял. Айн момент. Скажите, а наших других пациентов, которые ничем секретным и, как вы выразились, щекотливым не обременены, — вы не совали под микроскоп?

— Нет.

— А вообще не приходило в голову посмотреть статистику разнообразных несчастных случаев, за последние годы имевших место в среде интеллигенции, — скажем, во время пьянок?

— По-моему, вы надо мной издеваетесь.

— Ни в коем случае.

— Тогда вы превратно представляете себе наши современные функции. — Он опять закурил. — В свое время небезызвестный товарищ Андропов на горе и унижение честным офицерам КГБ и на радость подонкам... подонкам не только в конторе, но и среди интеллектуалов, заметьте — организовал специальное подразделение, которое должно было заниматься исключительно интеллигенцией. Сам он, по слухам, был уверен, что сделал это от бережного к интеллигентам отношения: не хочу, дескать, чтобы одни и те же громобои занимались и настоящими шпионами, и, скажем, писателями, которые чего-то не то пишут.

Он вдруг неторопливо воздвигся из своего кресла и пошел наискось по кабинету — руки в карманах, окурок на губе. У стены повернул и пошел обратно. Лицо его стало буквально черным.

— Сомнений относительно того, что писателями и прочим контингентом вообще надлежит кому-то из конторы заниматься, у него, как и у старших коллег его из Политбюро, не было ни малейших, — продолжил он наконец, перехватив недокуренную сигарету левой рукой. — Умные люди ему объясняли: если возникнет подразделение, которое только этим станет заниматься, оно уж, будьте благонадежны, сделает все, чтобы объектов для упражнений у него наблюдалось как можно больше, а выглядели они для страны как можно опасней. Оставьте демагогию, был ответ... — Он помолчал. — Довольно долгое время мне довелось быть среди этих несчастных. И на скольких же мелких подонков из вашей среды я насмотрелся... Но, — он глянул на меня едва ли не испуганно, или даже виновато, и тут же отвел взгляд, — именно тогда мне довелось заочно познакомиться с вашим отчимом и... и я был бы, честно говоря, счастлив познакомиться по-человечески. Он... он знал, зачем живет.

— Он и сейчас знает, — сказал я. — Только мне пока не говорит.

— У нас скажет, — страшным голосом произнес Бероев, и я сразу почувствовал, что этой несколько нелепой шуткой он пытается сбить разговор с котурнов, на которые тот грозил взгромоздиться. Но я даже не улыбнулся. Бероев, неловко съежившись, сделал еще круг по кабинету, потом проговорил: — Кажется, попытка съюморить оказалась неуместна. Простите. Я это к тому, что был бы рад, если бы нам с ним как-то удалось оказаться представленными друг другу.

— Я вам верю, Денис Эдуардович. Но все-таки еще не знаю, как к вам относиться.

Он опять помолчал, а потом немного по-детски пробормотал:

— Я и сам не знаю.

На этот раз пауза оказалась особенно долгой.

— Иногда мне кажется, что по крайней мере мрачное чувство гордости можно было бы испытывать за тогдашние подвиги, — негромко проговорил он. — Дескать, защищали державу, держали диссиду в узде. А как выпустили ее из узды, так и пошло все вразнос. Но не получается гордиться. Наоборот, тошнит. Не всех, конечно — некоторым до лампиона... Меня вот тошнит. Даже виноватость иногда подступает. Как-то не так мы ее защищали, державу эту.

Он был искренен. Я чувствовал его смятение и боль. Он прошелся еще, но так и не смог сдержаться.

— Господи, — с мукой выговорил он, — ну хоть бы один умный человек нашелся, сказал бы, как ее на самом деле защищать! ЧТО В НЕЙ защищать и ОТ ЧЕГО!

— Вот наш с вами Сошников свой труд последний оставил мне на память, — помедлив, осторожно сказал я. — Он там утверждает, и довольно здраво, что под давлением парадигмы православной цивилизации...

Совсем неубедительно у меня это зазвучало, и я сразу осекся. Что-то литературное напомнило. Я не сразу сообразил — а когда сообразил, меня просто скрючило.

Расположение звезд Аш-Шуала и Сад-ад-Забих, завел Ходжа Насреддин старую песню еще бухарских времен...

И Бероева тоже скрючило. Буквально перекосило.

— Антон Антонович, — воскликнул он с какой-то даже обидой в голосе. — Ну вы-то хоть! Это же кошмар какой-то, конец света: никто не верит, но все крестятся!

— Верит кое-кто.

— Ну, а даже и верит. Мне-то что! У меня жена русская, и дети, и живу я тут всю жизнь, но родственники все — в Казани и в татарской глубинке. И уж если бы я верил в кого — так, наверное, в Аллаха, представьте. И что мне тогда эта ваша парадигма?

Действительно, подумал я в некотором ошеломлении. Я об этом совсем забыл по запарке. Да и Сошников в азарте от открывшейся истины, похоже, запамятовал. Хоть Союз и распался, цивилизационные разломы никуда не делись и внутри России.

Вот так. Посюсторонние цели оказываются миражами — и у людей руки опускаются. А потусторонние разделяют и разводят по конфессиям. И что можно придумать еще? Сошников! Надо дальше думать!

Тут я сообразил, что Сошников вряд ли что-то умное теперь придумает. Если меня так взяли за живое его писульки — то и придумывать теперь мне.

— И все-таки вам надо это прочесть, — сказал я.

— Ну, прочту, если вы советуете... — без энтузиазма сказал Бероев. Он, похоже, уже пожалел о своей вспышке. Вернулся к столу, сел. — Я это к тому, что теперь всю уйму интеллигентов мы, разумеется, не отслеживаем.

А я вдруг подумал: в каком-то смысле коммунизм, наверное, был всего лишь попыткой перекинуть на носителей неправославной традиции православную систему посюсторонних ценностей — в том ее виде, в каком она была усвоена самим коммунизмом. Через коммунистическое воспитание обезбоженное православие надстраивалось на неправославные фундаменты. И так пыталось втянуть иные культуры в свою цивилизационную орбиту...

И, судя, скажем, по этому Бероеву — небесполезно и небезуспешно.

Эх, с Сошкой бы обсудить!

— Я понял, — сказал я, тоже старательно переключая себя с кухонно-философского тона на деловой. — И вот что я вам в порядке обмена любезностями покажу.

Я достал распечатки, взятые вчера с работы. Я их не хотел оставлять в столе и запихнул зачем-то во внутренний карман. А вот пригодились.

— Это, как вы понимаете, далеко не вся статистика. Только та, что была мне доступна, причем с пожарной скоростью. Посмотрите.

А пока он углубился — срочно подумать. Самому подумать. С учетом новых данных.

Во-первых. Сошников действительно потому так взволновал всех, что он — исключение из правила, или, точнее, некое возвращение к неким прежним правилам. То есть давно уже что-то случалось с теми, кто не едет, а он грохнулся, как в первое время, когда грохались те, кто едет.

Во-вторых. Бережняку нужен канал информации, чтобы знать, кто едет. Зачем? Примем как рабочую гипотезу, весьма похожую на правду, — ему это надо для того, чтобы не давать уехать. Гуманненько так, не проливая крови, превратить в дурачка. При этом учтем: нужда в канале возникла лишь совсем недавно, после того, как порешили Веньку, который был информатором прежде.

В-третьих. Это принципиально, и этого я не знал еще утром. Антивирус лже-Евтюхов ходит сам по себе, никого не посылая и никому не передоверяя, с риском засветиться, и выясняет... что? Фактически вот что: откуда пошла информация, что Сошников едет. То есть, в сущности: откуда такая информация пришла к Бережняку. При этом учтем: я могу поручиться, что он из ФСБ. И сошниковской бывшей он, судя по всему, так представился. При этом учтем еще: Бероев о лже-Евтюхове не знает. А лже-Евтюхов даже не знает о доносе на Сошникова!

Мы можем из этого предположить — что? Что? Скользит, зар-раза, егозит и зудит в извилинах, а на зуб не дается...

Систематизируем, систематизируем... последовательно...

Опять-таки, во-первых: если Бережняк, явный вождь, стремился травить и увечить тех, кто едет, действуя при этом на основании полученной от Веньки информации, и с какого-то времени получалось, что травились и увечились те, кто не едет, значит... значит, Венька зачем-то на белое говорил: черное, а на черное — наоборот. Причем реальной информацией располагал — иначе не смог бы с такой точностью менять черное и белое местами. Правдоподобно? Да. Кроме того, учтем: информация о Сошникове пошла ВЕРНАЯ и пришла НЕ ЧЕРЕЗ ВЕНЬКУ, а, как мы можем предположить, через дочку Сошникова, ее парикмахершу и как-то далее... то есть траванули Сошникова, так сказать, в соответствии с истинной доктриной, и как раз тут Венька приказал долго жить. Следовательно, когда начали травить тех, кто не едет, Венька и начал играть какую-то свою игру. То, что их начали травить в пику начальной доктрине, как раз и свидетельствует об этом. А полученная окольным и случайным путем информация о Сошникове вывела Веньку на чистую воду, и он получил от вождя по заслугам.

Так. Ай да я. Логичен, как фокстерьер.

Во-вторых, если антивирус так настойчиво ищет, через кого ушла Бережняку ВЕРНАЯ информация относительно Сошникова, похоже, он как-то причастен к ДЕЗИНФОРМАЦИИ. Которая шла, как мы предположили, через Веньку. Иначе чего бы ему из-за верной информации волноваться. Причем, сравнивая персоны антивируса и Веньки, можно предположить: антивирус в этой паре занимал более высокое положение. Значит, скорее всего, Венька был лишь каналом, через который антивирус подбрасывал дезинформацию Бережняку. Логично? А шут его знает, вроде — да. Весьма, правда, бездоказательно.

И антивирусу крайне важно выявить посторонний, неподконтрольный ему канал верной информации и оный пресечь.

А Бережняк уже пресек канал дезинформации.

При этом снова: антивирус из конторы, отсюда. Но сейчас действует на свой страх и риск.

Логика — страшная наука.

Ох, клубок...

Нет, нет, все уже просто. Почти. Главное... главное... что-то мелькнуло...

Кипяток на извилины!!! С одной стороны: кому выгодно? Руками Бережняка, который фанатично уверен, что изничтожает изменников Родины, травить тех, кто как раз на Родине-то и остается? Угадайте с трех раз, если духу хватит. С другой стороны — заткнутое журналистское расследование филадельфийца. Заткнутое именно в тот момент, когда канал информации был каким-то образом оседлан, пошли дезы и Бережняк начал героически травить своих. Может, и грубовато заткнутое; может, следовало его для маскировки продолжить, только направить куда-нибудь в сторону; но они, видно, попроще предпочли — вообще не привлекать к проблеме внимания. И, в сущности, преуспели — никто ничего не заметил, только я — да и то задним числом, зная уже, что искать. Кто мог этак запросто заткнуть АМЕРИКАНСКОГО журналиста? Опять-таки — ну, с трех раз?

Так что ж, получается, что лже-Евтюхов — грязный наймит империализма?

Фи, как это банально и пошло звучит для интеллигентного человека.

— Интересно, — проговорил Бероев, слегка даже осипнув от гончего экстаза. Вот он, след, вот он! — Чрезвычайно интересно. Вы это давно?

— Вчера.

— В связи с событиями заинтересовались?

— Да. Прежде никогда не пробовал следить за своими пациентами после окончания лечения.

— И как вы это интерпретируете?

— Сейчас я с вами еще одной тайной поделюсь. Коли уж такой разговор пошел товарищеский...

Он коротко глянул на меня, будто проверяя, ерничаю я, издеваюсь — или всерьез. А я и сам не знал. И в мыслях никогда не было, что вот так вот за каких-то полтора часа столкуюсь-сработаюсь с гипеушником. Разговор товарищеский, отношения товарищеские... М-да. Товарищ Бероев.

Почему-то мне это было приятно.

Может, оттого, что переел утративших смысл жизни, колеблющихся, утонченных и невостребованных.

Я не стал к ним хуже относиться. И уважал, и жалел, и хотел помочь — все, как прежде. Просто, похоже, переел. А Бероев, к вящему моему удовольствию, никаким местом не мог быть отнесен к серебристым лохам. Мне с ним работалось.

И я рассказал ему про Бережняка.

Когда я закончил, он долго сидел молча и только чуть покачивал головой вправо-влево. Задумчиво и немного печально.

— Надо же, — тихо проговорил он потом. — Сколько лет... А ведь я его помню, Антон Антонович. Помню... Союз Русских Коммунистов, весна восемьдесят второго года. Нет, процесс их не я готовил, а коллега мой, Васнецов, — он опять помолчал, потом чуть улыбнулся. — Он давно ушел от нас. Руководит теперь службой безопасности какого-то Крюгер-холдинга и все хихикает надо мной, что на один оклад живу. Третий особняк строит... Мы, в сущности, дружили, а не так давно выпивали вместе, поэтому знаю, — вздохнул. — Бережняк... — Слегка развернулся на своем вращающемся кресле и включил компьютер. Бодро защелкал было, потом коротко покосился на меня, проверяя, виден ли мне дисплей.

— Я не смотрю, Денис Эдуардович, не смотрю, — сказал я. Он дернул плечом.

— Ну конечно. Один из руководителей так называемой РККА. Российская Коммунистическая Красная Армия, создана три с половиной года назад. Какая крепость убеждений у человека, а? Какая верность идее... — вздохнул, похоже, с восхищением или с тайной завистью какой-то. — Мы за ними присматриваем, но так, без напряга, они тихие. Культура, социалистический быт, спорт, изучение классиков и истории СССР... Нет, Антон Антонович, это не они. Тут недоразумение какое-то. Взгляните сюда, — он приглашающе повел рукой и развернул дисплей ко мне, — может, это не он, только назвался так?

Я оценил доверие.

Посмотрел.

— Натуральный Бережняк.

Он покачал головой. Опять защелкал.

— Ну, конечно. Курирует их, как и прочих левых незарегистрированных, один наш очень дельный работник... Вот! Там у них даже наш осведомитель внедрен. Вернее, перевербован — уже почти что два года назад... Нет, это не они.

Кипяток.

Чуть больше полутора лет назад Венька стал путать черное с белым, а филадельфиец утратил всякое любопытство.

Вот тут уже логики не было. Просто сегодня все разрозненные странные мелочи так отчаянно потянулись друг к другу, что стало возможным просто пальцем тыкать: где факты из двух доселе независимых рядов вдруг сцепляются — там и есть истина.

— Не Каюров ли Вениамин с бытовым прозвищем Коммуняка?

Это я рисковал. Сильно рисковал. Бероев медленно выпрямился в кресле, оторвался от экрана и воткнул в меня препарирующий взгляд,

— Откуда вы это знаете, Антон Антонович? — тихо и очень спокойно спросил он.

Тут уже следовало докручивать до конца. Пан или пропал, третьего не дано.

— А курирует их, значит, ваш работник. И все его курирование...

У Бероева прыгали скулы.

— Объясните, Антон Антонович, — еще тише попросил он. — Мне было бы жаль в вас разочароваться.

— А мне в вас, — ответил я. — История, которую я расскажу, очень может оказаться для вашей конторы обидной. Чрезвычайно обидной. И поэтому для начала, чтобы не рисковать обидеть вас понапрасну... Для начала прошу вас еще об одном одолжении. Если потом мои объяснения вас не удовлетворят, Денис Эдуардович, можете меня расстрелять. Я сам напишу просьбу о высшей мере.

— Перестаньте паясничать.

— Перестаньте хамить, — ответил я ему в тон. — Одолжение такое: покажите мне дельного работника.

Несколько мгновений Бероев молча смотрел мне в лицо. Потом неторопливо закурил. Потом коротко пощелкал по клавке.

— Расстреляют, скорее, меня, — бесстрастно сообщил он в пространство. — Прошу любить и жаловать, капитан Жарков.

А с экрана, тускло мерцая капитанскими погонами, уставился антивирус лже-Евтюхов.

Вот и все, подумал я, почему-то проваливаясь в жуткую и вязкую усталость. Наши, как всегда, победили. Сила Гипеу во всенародной поддержке.

И вообще, как там... Достойно встретим Столетие Краснопресненского восстания!

Дальше — дело техники. И, вероятно, не моей.

Очень хотелось обнять Киру. И почему-то именно теперь, от черной, наверное, этой усталости — до меня окончательно и бесповоротно дошло: это мне уже совсем не светит.

Надо же быть таким козлом. Постелить любимую жену невесть кому — и, главное, из самых гуманных соображений.

Как гуманист Бережняк.

Бероев выжидательно смотрел на меня и не торопил.

Ладно, возвращаюсь сюда. Но эту свежую мыслишку вечером надо как следует продумать. Лишь бы не забыть в суете. Мысль такая: это же надо оказаться настолько козлом!

— Я так и знал, — сказал я с тяжким вздохом. — Теперь слушайте. Только... У вас на Востоке, говорят, есть старый добрый обычай, вроде как специфическая разновидность гостеприимства. Гонцу, принесшему дурные вести, в глотку заливают расплавленное олово. Или свинец, кому что нравится. Так вот чур мне не лить.

— Посмотрим, — серьезно ответил Бероев.

Взгляд сверху

«Ну, вот, думал Симагин, несясь к химчистке. Ну, вот. Вокруг все сияло. В золотом мареве рисовались странные видения — чистые, утопающие в зелени города, небесно-голубая вода причудливых бассейнов и каналов, стрелы мостов, светлых и невесомых, как облака. Сильные, красивые, добрые люди. Иллюстрации к фантастическим романам начала шестидесятых шевельнулись на пожелтевших страницах и вдруг начали стремительно разбухать, как надуваемый к празднику воздушный шарик. Лучезарный дракон будущего в дымке у горизонта запальчиво скрутился нестерпимо сверкающими пружинистыми кольцами, вновь готовясь к броску на эту химчистку и этот ларек. А ведь, пожалуй, накроет, сладострастно трепеща, прикидывал Симагин».

Много лет он не творил столь безоглядно. Страницы слетали с каретки, как вылетают из клеток птицы в ослепительную лазурь. В полуденную свободу неба. Сердце готово лопнуть — но страха нет, восторг, прорыв; клокочущее торжество извергающегося протуберанца — не в пустоту безответности, не в затхлый склеп немоты, не в кристаллические теснины незатейливых, апробированных клише, сквозь которые продергиваешься извилистой безмолвной змеей, оставляя черные лоскутья змеиной кожи на острых холодных гранях... Сами собой, инстинктивно и безошибочно, вскидывались над бумагой живые люди, разворачивались один из другого, набухали кровью — его кипящей расколотой кровью, осколков которой хватало на всех; осколки рвались соединиться, но обретали единство лишь в те мгновения, когда живые люди на белой бумаге начинали прощать и болезненно боготворить друг друга.

Вербицкий откинулся на спинку кресла и, не торопясь, закурил. Его била сладкая дрожь. Я это обязательно напишу, думал он, победно выдувая в сумрак зыбко мерцающую струю. И буду ко всем понимающе беспощаден. Сострадающе беспощаден. Только одному человеку я не стану сострадать. Себе. Понять попытаюсь — и то будет довольно.

Обязательно напишу о временах, когда мы были молодыми и нам еще дозволялось мучить друг друга, потому что будущее сияло радугой далеко впереди, а не хрустело под каблуками.

Как скорлупа от не нами сожранных яиц.

Из которых, хоть мы до них и добрели за двадцать лет, ничто уже не может вылупиться.

Он, ленясь вставать, потянулся к стеллажу и выскреб из ряда книг одну, а потом, сызнова осев в любимом кресле, открыл ее на закладке. «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не

будет; ибо прежнее прошло. И сказал Сидящий на престоле: се, творю все новое».

Вербицкий нагнулся и с полу поднял тонкую белесую брошюру. Открыл на закладке.

Читать подряд наукообразную тягомотину величественной, как принято было говорить, Программы — не было никаких человеческих сил; глаза, как бойкие лягушки, сами собой запрыгали по строчкам, слизывая мух пожирнее. «Коммунизм — это бесклассовый общественный строй... с полным равенством... где вместе с всесторонним развитием людей... свободных и сознательных тружеников... все источники общественного богатства польются полным потоком...»

Вербицкий выронил брошюру, и та рыхлым комом глухо шмякнулась об пол.

Лезть в статьи Сахарова и, тем более, в бесчисленные нынешние речи и программы он не стал. Это уж совсем мелко. Третья и четвертая производные. Суть везде и у каждого одна: се, творю все новое.

На то, что мы, выкручивая один другого, как белье выкручивают, отжимая — вдруг сотворим все новое, и тогда оно уже само всех нас осчастливит, рассчитывать теперь не приходится. Только на себя — и друг на друга. Пора. Сегодня и самим.

Он аккуратно положил недокуренную сигарету на край пепельницы и снова наклонился над пишущей машинкой, которая так и жила с ним единственной его опорой — с тех самых светлых, странных и по-своему тоже жестоких времен.

И продолжение потом напишу. И про сына их напишу. Надо спросить, где он теперь, я же ничего о нем не знаю.

«Резкими фехтовальными взмахами, звеня, соударялись и перехлестывались судьбы. Казалось, опрокинуло некую плотину, и все, что он узнал или почувствовал за эти годы, вдруг обрело смысл, получило наконец вещество и лихорадочно принялось распоряжаться им, строя себя. Даже то, что, пока он — в одиночестве и прокуренной трескучей тишине, она — там, кормит того, спит с тем, вызывало лишь добродушную улыбку, ибо самое главное, что может женщина, она все равно делала здесь, и он лился в нее, как муж, падал в нее, как зерно, как звезда, и через нее — в полуденную свободу неба, в ослепительную лазурь. В людей».

Теперь это было правдой.

11. ГРЯЗНЫЙ НАЙМИТ ИМПЕРИАЛИЗМА

И выпал снег, и растаял снег, и выпал снова.

И я шагал по серой полупрозрачной слизи, расшмякивая ее толстыми подошвами предусмотрительно надетых теплых башмаков. Мне сегодня долго ходить.

Кишел час «пик». И уже смеркалось. И все было серым — даже воздух, мокрый насквозь и мутный от серой влаги. Меня то и дело толкали измученные толчеей люди, вконец сатанеющие от малейшей дополнительной преграды — особенно в горячих точках: у выходов из метро, возле остановок... И я толкал; ничего не попишешь, идти-то надо.

— Первый троллейбус, подходит к остановке, — сказал голос Бероева из ворса моей шапки, прямо над ухом.

А когда из присевшего на остановке троллейбуса, заваленного на бок весом прущей на выход толпы, принялись, как мокрая картошка, вываливаться люди, я пошел напролом и толкнул одного из прыгнувших в слякоть особенно сильно. Он едва не упал, и я поддержал его:

— Простите...

Он обернулся.

— Ба! — воскликнул я. И обрадовался. И остановился, продолжая на всякий случай поддерживать его за локоть. — Ну и ну! Вот так встреча!

У него заморгали глаза — не веками, а где-то внутри в подноготной; он очень быстро ерзнул взглядом вправо-влево, словно проверяя что-то.

Например, один ли я.

Или: нет ли щелки, чтобы юркнуть.

Но коловращение толпы приплюсовало нас друг к другу.

— А я ведь вас искал, Сергей... Сергей Васильевич, правильно?.. Искал, да! Я даже звонил в вашу редакцию, только мне сказали, что такой не работает. Вы там внештатным, что ли?

Все. Есть зацеп. Локоть можно выпускать, теперь не убежит. Сам за мной поскачет, ведь надо же узнать, зачем я его искал. Да вдобавок и выяснил уже, что в редакции он не числится.

Теперь толпа только мешала. Она свое дело сделала, не дала разомкнуться в первые мгновения. Теперь, наоборот, могла растащить.

— Сергей Васильевич, простите, но раз уж так получилось — давайте отойдем на пять минут, если вы не против. Вы не очень спешите? — просительно, даже как-то умоляюще сказал я. Вальяжный барин, привыкший к комфорту, уюту и достатку, но нежданно попавший в невразумительную беду.

Это я о себе. Вернее, о своей маске.

— Нет, совсем не спешу, — ответил антивирус, приходя в себя. Нервы у него были высший сорт. Пока я выдавливал униженные обрывки начальных фраз своей роли, он успел настолько взять себя в руки, что сумел приветливо мне улыбнуться. — Что такое стряслось, Антон... э-э... Антон Антонович?

— Ох, сейчас расскажу. — И я, снова взяв его за локоть — но теперь уже с демонстративной целью: чтобы показать, как боюсь с ним разминуться, — поволок Жаркова подальше от свалки при содрогающихся перепонках троллейбусных дверей.

— Я проверял... — растерянно и обескураженно лепетал я, пока мы в лавировку пробирались к углу ближайшего дома, где людской поток не грозил нас смести и растолочь. — Я проверял, ваша статья в «Деловаре» еще не вышла...

— Так быстро дела не делаются, — с достоинством, совсем уже придя в себя, отвечал Жарков. — Послезавтра, может быть.

— Со мною после вашего ухода странные дела твориться стали, — сбивчиво заговорил я, когда мы остановились. Жарков пристально уставился мне в лицо. — И кто-то явно втягивает меня в игру, которая мне совершенно непонятна. Но, по-моему, очень неприятную игру, опасную...

Бероев мне и поверил, и не поверил. По-человечески поверил — но как полковник конторы не смог поверить, не

смог заставить себя поверить НАСТОЛЬКО, чтобы немедленно заняться Жарковым всерьез. Тут он должен был быть уверен не на сорок, а на девяносто процентов. Потому что — коллега. Одного муравейника. Чтобы взять в разработку, скажем, меня, хватило бы и тридцати процентов, это товарищ Бероев честно признал, по-товарищески — но тут...

А время дорого.

Впрочем, оно всегда дорого.

И мы, не отходя от кассы, вместе придумали простой, как мычание, план. Но, собственно, набор шаблонов у спецслужб не так велик, и очень редко каким-нибудь гениям удается его хоть как-то разнообразить. Суть, как я понял, не в принципиальной новизне — именно экстравагантные методики, как я понял, легче всего раскалываются противником; суть в применении того или иного штампа там, тогда и таким манером, чтобы он наверняка сработал. Простенько, правда? Но, поразмыслив, в это можно поверить; в конце концов, люди практически одинаковыми движениями дают друг другу в нюх уже много тысяч лет, и коллизия эта в каждом конкретном случае для каждого конкретного потерпевшего оказывается совершенно внове.

План был: провокация. Провокация такая: надо Жаркова напугать. Напугать тем, что вот-вот случайно случится то, что на самом деле случайно уже случилось. А именно: я попаду в контору и как-то его там дешифрую. В данный момент сам я не понимаю ничего, лох серебристый обыкновенный; но стоит мне в конторе изумленно сказать: так это ж он ко мне приходил, вот этот журналист, и спрашивал про отъезды — как граждане с опытом ужо поймут все, и так поймут, что костей журналисту не собрать. И следовательно, времени на то, чтобы обмыслить план действий, который почти наверняка сведется к плану бегства, — у него ровно до того момента, как я попаду на первую беседу.

Конечно, тут некий для меня риск. Убрать дурака психиатра — и нет вопросов. Но мы надеялись, что от первых импульсов его удержит обилие народа кругом, а потом он возьмет себя в руки и сообразит, что и это не выход. Да и меня уже под руками не будет.

И, таким образом, мы с максимально возможной быстротой выясним все. Если Жарков на меня посмотрит, как на придурка, и посоветует, например, обратиться к компетентным органам — стало быть, моя фокстерьерская логика завела меня не в ту нору. А вот если засуетится...

Тут уж нет сомнений: камни, и под каждым камнем рак.

Но осуществить сей хитроумный план нам надлежало с Бероевым исключительно вдвоем, не ставя покамест в известность никого. Чтобы убедиться, понимаете ли. Честь мундира и все такое прочее. Бля-бля-бля, как в подобной ситуации закончил бы Кирин отец.

Впрочем, именно благодаря такой самодеятельности определенная новизна в нашем штампе все-таки возникала, только Бероев про то не ведал.

Дар Александры.

— Понимаете, я просто вынужден обратиться к защите прессы... — лопотал я.

Насчет прессы я, кстати, наворожил.

— И это просто-таки очень кстати, что ваша статья уже как бы, я надеюсь, на выходе... Просто в нее надо вписать немножко. Вы могли бы?

— Да скажите же вы толком, в чем дело, Антон Антонович! — не выдержал Жарков.

Для меня сомнений уже не было. Когда я толкал его пять минут назад — были, честно скажу. Но теперь — нет. Я чувствовал, слышал, видел — да, порой я считывал и визуальные образы, мелькающие перед мысленным взглядом собеседника, вот недавно очумелое лицо Сошникова из бабульки считал — как Жарков изнывает: ну, что там случилось? что этому докторишке стало известно? неужели Сошников, как Венька и предупреждал, после обработки не полностью утратил память и действительно что-то сболтнул в больнице? но некого было в больницу послать, некого! а самому — это уж слишком рискованно...

Такой вихрь у него крутился — я едва поспевал. Полнокровный протокол допроса.

А Бероев сидел в «Волге» без шофера на дистанции абсолютно безопасного и незасекаемого удаления, метрах в трехстах, и слушал, как я лопочу.

— Понимаете, мне очень трудно рассказывать толком. — Я жалко улыбнулся. — Чтобы рассказать толком, надо понимать, в чем толк заключается, правда ведь? Надо хоть немножко понимать, что происходит... Значит, так. Буквально следом за вами появляется у меня некий мрачный тип, громила, право слово, и говорит, что он из какой-то там, я не знаю — Коммунистической Армии.

Ох, какой от этих слов штопор закрутился у Жаркова в потрохах! Любо-дорого! Лицо осталось неподвижным, но в потрохах — ах. Жаль, не видно Бероеву.

— Что послал его какой-то, прости господи, комбриг. И начинает меня шантажировать. Причем я толком даже не понимаю чем! То говорит, будто у них есть данные, что часть денег мы прикарманиваем, и на меня донесут в налоговую, и я сяду на много лет. А этого быть не может, у нас довольно чисто все. Как у всех. То вдруг заявляет, что они украдут моего сына, ведь он сейчас со мной не живет, и молодая беззащитная женщина им, мол, не помеха, они и ее... Понимаете?

— Пока нет, — ответил Жарков, и у него был уже голос особиста, а не журналиста. И взгляд тоже. Цепкий, ледяной, расчленяющий.

— Ну, они действительно живут сейчас отдельно, и Кира такая безалаберная, такая балованная... а этот — ему ничего не стоит! А он вдруг заявляет, что неприятностей можно избежать, если я... и вот почему я о вас-то сразу вспомнил, вы тоже меня все пытали, кто из пациентов едет за рубеж, помните?

— Нет, — машинально ответил Жарков. Это был прокол, он действительно об этом много спрашивал, да потом еще якобы расшифровывал интервью и статью писал; не мог он забыть. Но в нем уже вспенился страх, и он понимал: то, что он меня настойчиво спрашивал о перспективах зарубежных поездок, — нитка. Знак. Признак. — Мы, Антон Антонович, о многом с вами говорили, так что, может, и эта тема как-то всплывала — но меня интересовала главным образом финансовая сторона вашего предприятия. Его социальная ориентация.

Пой, родимый, пой.

Но он сам, видимо, почувствовал ненатуральность своей реакции, потому что вдруг воскликнул:

— А, вспомнил! Вы, значит, так это поняли... Мы говорили о том, принимаете ли вы какое-то участие в судьбах бывших пациентов после лечения. Следите ли, как сложилась их дальнейшая карьера. Странно вы меня поняли, — со значением повторил он.

— Ну, возможно. — Я буквально отмахнулся от его занудных поправок. Меня-то оттенки эти мало волновали, у меня земля горела под ногами! — Во всяком случае, взамен он потребовал, чтобы я как раз выяснял, кто из пациентов собирается за, как он выразился, бугор. И им сообщал регулярно. Понимаете?

— Зачем?

Ну, вот и ладушки. Судя по заинтересованности, клиент потек.

— В том-то и дело! Нам, говорит, необходимо это знать в целях борьбы с империализмом. Ну бред просто! У нас, говорит, был свой человек, но скурвился, мы его убрали, а предварительно еще допросили с пристрастием, попытали слегка... Вы понимаете? Я, мирный предприниматель средней руки...

Представляю, как сейчас веселится в своей «Волге» Бероев. Послушайте, я не узнаю вас в гриме. А, ну как же: Иннокентий Смоктуновский!

— ...Такое должен был выслушивать! Уж не знаю, пытали они кого или нет, это не мое дело, но он же меня перепугал, просто перепугал! И он это нарочно! И ему это удалось! Перепугал!

— Что им рассказал тот... кого убрали?

Очко, товарищ Бероев, очко. Уже одним этим вопросом наш пациент себя с головы до ног и ниже... Ничего, понимаете ли, журналиста в моем рассказе не заинтересовало — только то, что выдал на пытке расколотый информатор.

— Да не помню я, чушь всякую! Не в этом же дело!

— А вы постарайтесь, — жестко сказал Жарков. — Мне писать надо будет, значит, понадобится как можно больше вопиющих фактов.

Он меня уже совсем за дурочку взял. Впрочем, в такой панике, в какой находился сейчас мирный предприниматель, средний и потому беззащитный, люди действительно остатки ума теряют.

— Ну, что, мол, он на самом деле осведомитель ФСБ и что фамилии тех, кто едет за бугор, ему списками время от времени давал его шеф из конторы... Ужас! Он нарочно меня пугал! Все с ухмылочкой, с подробностями с жуткими...

— Экое криминальное чтиво выдумали, — проговорил Жарков и улыбнулся побелевшими губами. А внутри: горю! горю!

— Я в милицию — они меня на смех. Я, извините, на вас сослался, что об этом скоро статья будет, так что все всерьез...

Антивирусу тут как молнией раскололо череп: докторишка меня уже засветил!

И последний штрих.

— А наутро мне повестка! И впрямь из ФСБ, понимаете? Явиться завтра, понимаете, прямо вот завтра... Мне не к кому обратиться. Я же не банкир! Я не нефтью торгую! Напишите об этом, умоляю, это хоть какой-то шанс. Они же меня втянут! Они же меня убьют! Или жену! Или сына! Или налоговиков натравят!

— Какое безобразие, — чуть сипло сказал Жарков и как бы невзначай откашлялся. Горлышко у бедняжки перехватило. — Конечно, у вас одна защита, Антон Антонович — гласность. Я постараюсь. Давайте... а что мы здесь стоим? Я живу рядом, давайте зайдем, и вы мне поподробнее расскажете, под диктофон.

Ну уж дудки. Я еще не успел как следует продумать мысль, как можно было оказаться таким козлом, а ты уже хочешь меня прекратить. Не согласен.

— Да я все, собственно, рассказал... — Я виновато заморгал, поводя плечами и ежась от неловкости. — Я, собственно, в «Вавилон» — вот, за угол, а парковка паршивая... Я там всегда жене подарки покупаю. Срочно мириться надо, а то они с сынишкой и впрямь одни, понимаете?

Вот заодно и свое появление возле его хаты замотивировал.

— Не бывал, — сразу утратив ко мне интерес, сказал Жарков. — Я ведь даже не средней руки предприниматель. Для меня там дороговато.

И опять покрутил по сторонам нехорошим взглядом. Час «пик». Не получится. Собственно, для профессионала час «пик» не помеха, но нужен какой-никакой инвентарь. А откуда вдруг? Кто мог знать, что он понадобится?

Все. Отыграли. Минут пять я еще погундосил, поумолял, потом расшаркался и рассыпался, он — взаимно, и все обещал. Все и сразу, и в лучшем виде. И пошел, солнцем палимый.

Пока мы играли, совсем свечерело. Рубиновые трассеры бесчисленных габаритов шили и стегали тесные сумерки улиц, полные смутных отблесков шевелящегося железа. Поток трудящихся на слизистых тротуарах поредел. Но все равно не разгуляешься; знай крутись, лавируй. И скользко. Не прогулка — работа.

Теперь мне предстояло напрячься предельно. Вести аспида визуально я не мог; тут и профессионалу лучше было не рисковать, поскольку Жарков был на взводе и полном алерте. Не знаю, как в таких случаях поступают в конторе, когда все делается по теории — наверное, ведут попеременно. Но я был один, и Бероев в машине был один. Мне предстояло водить Жаркова исключительно на слух. Фибрами.

Сейчас Жарков шел до хаты. Ему было близко, но шел он медленно — проверялся, кажется. Здорово я его... В хате он задерживаться не собирался, дождусь.

— Вы его видите? — озабоченно спросил голос Бероева у меня между шапкой и черепом.

— Да, — сказал я одним горлом себе в воротник.

— Врете. Невозможно видеть на таком расстоянии. Я сейчас проехал мимо него, и вы его видеть не можете.

— Не валяйте дурака, Денис! — зашипел я, словно кот во гневе. — Обговорили же все! Стоит ему засечь ваш «Волгешник», и конец!

— Я уже отъехал. А поток тут адов.

— Я его вижу. — Я прислушался. — Он повернул направо. Остановился на переходе, горит желтый. У него перед носом — тумба с афишами, на афише — Мотя Сучкин со

своим банджо. Вот свет сменился на зеленый, объект пошел. Достаточно?

Я смотрел сейчас глазами Жаркова. Мыслей я, увы, не читал — но вот устремления мне были ясны: спасаться! Дать сигнал! Какой сигнал — я не знал и считать из вражины не мог. Ничего, узнаю. Как только он начнет думать о сигнале конкретно, сработает его моторика, как бы легонечко репетируя будущие движения, и я мышцами своими пойму, что это за зверь — его сигнал.

Бероев молчал.

— Достаточно? — еще раз спросил я. Не приведи бог, не сдюжит связь. Если дистанция как-нибудь случайно перевалит за четыреста...

— Да, — сказал Бероев. Еще помолчал. — Это феноменально. Это невозможно. По-моему, Антон, вы не всеми своими секретами со мной поделились.

— Вы со мной тоже не всеми, — ответил я.

— Я держу при себе множество секретов, но не своих, а государственных.

— А я — своих. Из вашей, Денис, фразы имплицитно следует, что ваша скрытность простительна и достойна уважения, а моя — непростительна и достойна наказания. Поскольку секреты государства — это всегда что-то очень важное, а секреты индивидуума — всегда что-то плевое. Я патриот и понимаю, что так часто бывает. Но и вам пора понять, что так бывает далеко не всегда. А то вам, например, с па Симагиным будет очень трудно разговаривать.

Бероев опять помолчал, и я испугался, что его обидел. Да, конечно, у нас уже возникло нечто вроде фронтового братства — и все же познакомились-то мы меньше шести часов назад!

— Как сказал бы, — ехидно произнес Бероев у меня между шапкой и черепом, — великий русский писатель Фазиль Искандер: абанамат!

У меня *отлегло от сердца*.

— Понял, — сказал я. — Это мне за восточное гостеприимство со свинцом в глотке.

— Приблизительно, — подтвердил он. — А вообще-то, я буду думать вашу мысль. Но позже. Работаем.

— Работаем, работаем... — проворчал я. — Вы уверились наконец или еще нет?

Он помедлил; а когда ответил, голос его был мрачен, и я понял, что всем предшествовавшим балагурством он просто оттягивал миг... даже не поражения, а просто признания вслух того, что ему так больно было признавать.

— Я полагал, что в ходе последней интерлюдии ваша, Антон, правота стала настолько очевидной, что даже и говорить-то об этом излишне.

— Мне очень жаль, — искренне сказал я.

— Да при чем тут... Это мне надо всенародно каяться. Я с ним работал двенадцать лет, а не вы. Пусть он не был в моем непосредственном подчинении — все равно. С-сука!

— Как сказал бы великий русский поэт Муса Джалиль, — добавил я.

Он фыркнул. Связь была превосходной; я даже услышал, как он закуривает: щелканье зажигалки, затяжка, потом затяжной кашалотский выдох узким дыхалом губ, собранных в гузку.

— В свое время я вычитал у Житинского фразу: есть ли за границей иностранцы? Ее можно инвертировать. Есть ли в России русские?

— И Достоевский с Шульгиным были евреи, — сообщил я.

Он опять фыркнул.

— Все-таки вы типичный интеллигент, Антон. Только бы повитийствовать да поглумиться. Вы объект-то не потеряли?

— Нет. Он вошел в дом.

— Будем ждать?

— Непременно.

Я-то чувствовал, что он поднимется в квартиру буквально на пять минут. Что-то взять. Такое небольшое, прямоугольное, шероховатое и светлое... чем чертить, да. Мелок! Именно этим мелком, сиреневым, надо чертить, когда «сос».

— Не мерзнете? — словно отец родной, вдруг спросил Бероев.

— Стакан с вас, — ответил я.

— Заметано. Как объект, не появился?

Я чуть не ляпнул в ответ: вот-вот появится, уже обратно на лестницу вышел. При том, что стоял снаружи, на противоположной стороне улицы и наискось, метров за полста. Что бы подумал Бероев, даже гадать не хочу.

— Нет пока.

— Может, мы все-таки ошибаемся? — спросил Бероев с надеждой.

— Может быть, — уклончиво ответил я. Мне правда было Бероева жалко. — Вышел. Озирается. Идет налево.

Объект шел метрах в восьмидесяти впереди, и я держался за ним, как пристегнутый, не ближе и не дальше. Дальше я его перестал бы слышать, я и так уже выбивался из сил — далековато, и вдобавок кругом толпа, круговерть эмоций, какофония. Ближе было опасно: он профессионал, а я нет. Десять минут... пятнадцать... Долго я в таком режиме не протяну. Либо пожалею себя, перестану тужиться и тут же потеряю его, — либо в обморок свалюсь, прямо в грязь. Еще один пьяный... нет, не пахнет... ну значит, ширнутый, грузи его! Объект шел к какому-то определенному месту. К некоему предмету, я еще не мог понять точно, длинному такому и твердому, на него он хотел опереться и поправить как бы развязавшийся шнурок — тоже свежая мысль, наверняка войдет в сокровищницу разведок мира. Дальше я пока не чувствовал. А вот почему он шел именно к этому определенному предмету, почему именно там следовало подать этот пресловутый знак... Нет, не будем торопить события. Вот, вот уже...

Столб! Обыкновенный столб с фонарем и проводами. Так. Прислонились. Боком, спиной, ладонью. Шнурок, понятно. Чирк! Прямо под задницей, никто ничего не видел.

Пошел дальше.

— Есть, — сказал я.

— Что?

— Погодите-ка, дойду сейчас, удостоверюсь.

Ну, конечно. Я поравнялся со столбом. Как мычание... опять как мычание.

— Третий столб направо от парфюма «Риччи». Подруливайте, я дальше пошел.

— Что там? — у Бероева от охотничьего азарта срывался голос.

— На уровне чуть выше колена появилась горизонтальная черта. Объект оперся на столб и, поправляя шнурок, мазнул сиреневым мелком. Дети, понимаете ли, балуются...

— Сигнал! — застонал Бероев. — Кому, зачем? Знать бы!

Я чувствовал, что по этой черте тот, кто может спасти Жаркова, поймет, что его надо спасать. Кто-то, кто этот столб видит каждый день, проезжая мимо. Это знал Жарков, и я теперь узнал. Вернее, почувствовал — если бы я мог узнавать, я бы все тут же прояснил: кто, откуда, как...

Но с этим кем-то, похоже, сначала надо еще встретиться? Нет, не встретиться, Жарков не личной встречи ждет, а... Трудно описать. Невозможно описывать физиологию, нет для нее слов — а ощущения были чисто на физиологическом уровне. И вдобавок смутно. Где болит? Вот тут где-то... А может, тут? Может, и тут. А как? Стреляет? Нет. Ноет? Нет. Ломит? Да нет же!

— Повернул, — сказал я. — Обратно повернул.

— Похоже, к дому.

— Да. На сегодня представление окончено.

Я чувствовал, что окончено. Тот, кто должен был увидеть сигнал, мог это сделать только завтра утром, Жарков это понимал и не ждал чудес. Только завтра утром. Проезжая мимо. На работу? На работу.

— Денис, — сказал я.

— Да, Антон, — немедленно ответил он.

— У меня, конечно, представления обо всех ваших делах — на уровне книжек, что в ранней молодости читал...

— По-моему, врете. Я это еще буду думать. Не могли вы так вести человека впервые в жизни. В принципе не могли. Вы наружник мирового класса.

Вот и нашла Родина применение моим уникальным дарованиям, подумал я с легкой и, что греха таить, горьковатой иронией. А то, понимаешь, психология, психология... Кому она нужна, твоя психология? Только психам. А кому психи нужны? Только Бережняку, да и то с известной целью. А вот Родине нужней и милей наружники, топтуны...

А мы — привыкши. Мы, блин, притерпемши.

Ведь не то что обидеться — а даже слегка гордиться собой начинаешь. Дескать, во какой я топтун классный, во какую пользу принес! Служу трудовому народу! Служу Советскому Союзу! Служу Отечеству!

Кому только не служу.

— Ладно. Думайте, Денис, что хотите. Я не к тому. Я к тому, что не мне давать вам советы, но...

— Разрешаю, — важно сказал он.

— Так вот, в четвертом классе я из «Библиотечки военных приключений» почерпнул, что в те времена, когда у нас было совсем уж недемократическое государство, ваша антинародная контора, например, просто навскидку могла ответить: кто из чьих иностранных дипломатов по какой дороге каждое утро ездит на работу. Что-нибудь столь же ужасное у вас хоть в каком-то виде уцелело — или все развалили?

Бероев некоторое время молчал, но за связь я не беспокоился — я слышал, как он опять закуривает и шумит своим жадным до никотина дыхалом.

— Правильно мыслишь, Шарапов, — сказал он потом.

— Так ты ж у меня понятливая, — ответил я.

12. ДВА СЮРПРИЗА — ОДИН ОТ МЕНЯ, ДРУГОЙ МНЕ ОТ ЛЮБИМОЙ

Разумеется, никакими стаканами мы реально греться не стали — и он вымотался, и я. То есть я просто не чаял до дому доехать, тем более был без колес. Хорошо, что товарищ мой новый меня подбросил — и все равно я пришел, и ослабел, и лег. Даже не нашел в себе ни малейших сил продумать пресловутую мысль о том, как можно было оказаться таким козлом.

Зато поутру меня как боднуло в начале шестого. Глянув на часы и не понимая, какого рожна просыпаться в такую рань, я, старательно жмурясь, покрутился с боку на бок — и понял, что сна нет уже ни в одном глазу. Как это Вербицкий цитировал: спозарань встань... во-во.

Пришлось вставать.

И к счастью. Потому что едва я успел кофе пригубить, как в дверь позвонили. Повезло, что я был уже не в трусах,

а — как порядочный, только без галстука. Поспешно доглатывая мелкими глотками раскаленную каву, я прямо с чашкой пошел открывать.

Опасности я не чувствовал. За дверью стоял кто-то, кого я знал; и он хотел со мной поговорить; и был это... Дверь открылась.

Это был Бережняк.

— Доброе утро, Викентий Егорович, — невозмутимо сказал я и отступил на шаг в сторону, пропуская его внутрь.

— Доброе утро, Антон Антонович, — ответил он, входя. — Как вы, однако, храбро...

И подал мне руку. И я ее пожал.

В сущности, это была честь для меня — пожать руку человеку, который в ситуации, например, с Вайсбродом против всех пошел, против всех предрассудков пошел. Который за убеждения в тюрьму пошел.

Только вот с ума сошел.

— Вы обещали подумать.

— Да. Проходите. Хотите кофе?

Он, при всем своем самообладании, внутренне несколько ошалел. Не та была реакция у меня, не та, что ему нужна. Непроизвольно он даже заозирался.

— Я один, — успокоил я его, — и только что встал. Пойдемте.

— На улице очень грязно, — застенчиво сказал он и нога об ногу, неловко, стащил старенькие заляпанные башмаки. Снял свое видавшее виды пальто и аккуратно повесил на свободный крючок.

Мы уселись. Я налил ему кофе, предложил бутерброд.

— Благодарю, Антон Антонович, я завтракал. А вот от кофе не откажусь.

— Вам сколько сахару, Викентий Егорович?

— Без сахара, пожалуйста.

— Покрепче?

— Да, прошу вас, покрепче.

Монплезир.

Да что там Монплезир; научный руководитель, заботливый и строгий, и аспирант, почтительный и серьезный. Аспирант — это, разумеется, я.

— В нашем предыдущем разговоре вы, Викентий Егорович, упомянули науку биоспектралистику, — проговорил я с улыбкой, — и этим, честно скажу, всколыхнули во мне самые теплые и добрые чувства.

Бережняк едва не выронил чашку.

— Это слово мне необычайно дорого, потому что в самую счастливую пору детства я слышал его от отца по сто раз на дню. Вам, Викентий Егорович, от него, кстати, большущий привет. Не от слова, разумеется, а от отца.

Бережняк смотрел на меня, как загипнотизированный. Я даже испугался за его сердце; не случилось бы инфаркта часом. Слишком сильный эффект получился.

— Тесен мир, — мягко и будто не замечая его шока, продолжал я. — Ужиная позавчера с родителями, я упомянул о новом пациенте — ничего, разумеется, не говоря о ваших предложениях. Пациенте, который знает слово биоспектралистика и носит фамилию Бережняк. И уже то, что эта фамилия оказалась настоящей, поверьте, меня сильно расположило в вашу пользу, Викентий Егорович. Отец сказал, что он вас помнит, вы были у Вайсброда чуть ли не правой рукой, когда па у него диссертацию писал. Симагин его фамилия.

— Но вы... — хрипловато перебил Бережняк, и я его сразу понял. Впрочем, мне ли не понять.

— Вас фамилия моя дезориентировала, Викентий Егорович. Она по матери. У нас в ту пору было довольно запутанное семейное положение... формально. По сути как раз тогда оно было чудесным.

Я сделал паузу. Не хотелось форсировать, честно говоря. Пусть придет в себя. Я даже отпил глоточек; потом покрутил чашку, дорастаивая сахар на дне, потом сделал еще глоточек.

— А Эммануил Борисович, к сожалению, умер, — продолжил я по-прежнему неторопливо. — Папа еще сказал: жаль, Эммануил не дожил, он рад был бы узнать, что с вами, Викентий Егорович, все в порядке. Он ведь вас пытался отыскать, Эммануил...

Бережняк медленно ссутулился, уставясь в пол.

— Как звучит, — пробормотал он после долгой паузы. — Эммануил... Симагин... — чуть качнул головой, и мне мимо-

летно показалось, что он сейчас заплачет. Губы у него затряслись, и он вдруг сделался совсем старым. — Знаете, голубчик, а я вашего батюшку, стало быть, тоже помню. Такой... мальчик. Восторженный и добрый. Эмма говорил, очень талантливый. Как он теперь?

— Лучше многих, не отчаялся. Хотите зайти к нам на чаек?

— Вы серьезно?

— Абсолютно. Па был бы рад. Он вообще очень уважительно о вас говорил, Викентий Егорович. Рассказал, например, как вы вели себя с Вайсбродом в то время, когда о нем распространяли всякие гадкие по тем временам слухи...

— Слухи всегда гадки, — тихо, но жестко сказал Бережняк, и возле глаз его собрались фанатичные морщинки. — Особенно такие. Подоплека моего поведения вашего батюшку разочаровала бы, Антон Антонович... погодите. И отчество не симагинское.

— И отчество не симагинское, — ответил я, продолжая улыбаться. Боюсь, несколько деревянной улыбкой. Бережняк опять качнул головой: дескать, чудны дела твои, Господи...

— Просто я очень, знаете, не хотел, чтобы Эмма уезжал, — пояснил он. — А если человека травить пусть даже одним ожиданием: вот завтра подаст документы, вот послезавтра... ну, уж в понедельник-то наверняка — так можно его лишь поторопить с отъездом, правда?

— Истинная правда. Все равно. Сколько я представляю себе те времена, такое поведение требовало немалого мужества.

— Минимального, Антон Антонович, минимального. Просто наши вольнодумцы даже на подобные толики мужественности совершенно, знаете, были не способны. Дальнейшие события потребовали от меня, уважаемый Антон Антонович, куда большего... напряжения воли.

— Догадываюсь, — сочувственно проговорил я. Он презрел мое сочувствие и даже чуть губы поджал.

— Я не жалею.

— А о последних годах?

Он долго и внимательно вглядывался мне в лицо. Потом перевел взгляд на кофе. Чуть дрожащей рукой тронул чашку, но не взял.

Репродуктор на кухне приглушенно пропиликал семь.

— Перейдем к делу, пожалуй, — с усилием проговорил Бережняк.

— А мое приглашение?

— В зависимости. — Он холодно улыбнулся, и я понял, что он вполне овладел собой и готов к бою. Бедный старик. Это все были еще цветочки.

— Тогда, Викентий Егорович, еще чуть-чуть относительно моего, как вы выражаетесь, батюшки, — с приятной улыбочкой ответил я. Бережняк попытался прервать меня манием руки:

— Я рад, что у него все хорошо.

Я только повторил его жест.

— Да будет вам известно, Викентий Егорович, что за эти годы, я спросил специально, его приглашали и к Маккензи в Штаты, и к Хюммелю в Германию, и к Такео в Японию, и всем он отказал.

— Это делает ему честь, — сказал Бережняк. — Это поведение настоящего человека.

— Да, но именно благодаря этому поведению он легко мог закончить свои дни раньше времени. Усилиями вашими и ваших нынешних КОЛЛЕГ, Викентий Егорович! — Я говорил уже совсем без тепла и пощады. — Скажу больше: он уцелел лишь благодаря тому, что на все три означенных предложения успел ответить отказами несколько раньше, чем вы, уважаемый Викентий Егорович, взялись за свою патриотическую миссию!

Он выставил челюсть вперед. Его взгляд стал презрительным и гордым. Дернулись пальцы его лежащих на столе ладоней.

— Объяснитесь.

— Охотно.

И откуда у меня речь-то ему в тон взялась? Вот ведь обезьяна, с удивлением подумал я о себе.

— Я, не желая вслепую говорить вам ни да, ни нет, постарался по доступным мне каналам провести выборочный

анализ. Примерно под таким углом зрения: кого и как за последние полтора-два года не пустили объяснять тупым западным недоучкам, чем они располагают. И вот что, Викентий Егорович, оказалось...

Я встал — Бережняк дернулся, но сразу снова взял себя в руки. В прихожей я вынул из внутреннего кармана пиджака сложенный вчетверо лист бумаги. Это был итоговый перечень, составленный вчера днем уже с использованием возможностей Бероева — наглядный и простой, в две колонки. Вернулся. Бережняк, откинувшись на спинку стула, задрав подбородок, высокомерно следил за моими действиями.

— Вот что оказалось! — Я буквально кинул ему листок через стол. Листок, трепеща и дергая крылышками, сделал попытку распахнуться, но не успел. — Почитайте, посмотрите. Можете сейчас уйти и по всем доступным ВАМ каналам проверить истинность этих сведений. И потом приходите снова, Викентий Егорович, и мы снова поговорим. Только о чем мы с вами сможем говорить? О биоспектралистике? О светлой памяти Вайсброда? Или о невинно загубленных светлых головах?

Я был, наверное, страшен в гневе: глаза метали молнии, голос перекрывал рев бури. Не узнаю вас в гриме...

Мне позарез надо было его переубедить. Извините за выражение, перевербовать. В громадье моих планов на ближайшее будущее от этого многое зависело.

Как это обычно и бывает, псу под хвост пошло мое громадье.

У Бережняка опять мелко-мелко затряслись его узкие губы. Кажется, он уже чувствовал, к чему идет. Он взял лист — ему это удалось лишь со второй попытки. Близоруко поднес чуть ли не к носу. Глаза его медленно поползли по строчкам.

Не хочу рассказывать, что я в нем чувствовал в эти мгновения.

Не приведи мне бог когда-нибудь испытать такую тоску. Она поднималась в нем, накатывала постепенно, как неумолимый ледяной прилив: сначала по щиколотку — он еще не верил, читал дальше; потом по колено — он изо всех сил еще не верил, читал; потом по пояс... Может, он бы так и не поверил, и молниеносно уверил бы себя, что бумажка сфабрикована, — и уж стоял бы на том, как на Малаховом кургане каком-нибудь... Но он уже сам, прежде, сталкивался с несколькими несовпадениями, и уже сам отдал приказ ликвидировать информатора, начавшего нечестную игру.

Мне казалось, он может закричать. Как в старых трагедиях показывают: вскочить, запрокинуть голову, воздеть руки — и закричать страшно и протяжно. Но у нашего человека все ж таки закваска покрепче. Мы привыкши. Он только выронил листок и поднял на меня помутневшие глаза.

— Венька... — беспомощно пробормотал он.

Он понял. Сразу.

Нет, хватит орать на него. Мне не орать — мне его, как ребенка, побаюкать хотелось. Все пройдет, все образуется. Усни, маленький; старенький, усни...

Я сел на свое место.

— Я не буду говорить о том, стоило ли вообще уродовать и калечить людей, — снова совсем тихо и мягко сказал я. — Вы, Викентий Егорович, свой выбор, полагаю, выстрадали, и не мне вас в пять минут переубедить. Но полтора года вы уродовали и калечили НЕ ТЕХ! Сто семь российских талантов, простите меня за пафос, сто семь, оставшихся верными своей стране, — вы превратили в дебилов или уродов. На войне, как на войне, вы сказали позавчера? Вот вам ваша война.

Все. Некуда Бережняка дожимать. Он умница и уразумел все. Я ощутил, что он как-то даже угадал подноготную, хотя я ни слова о ней не сказал и говорить не собирался, чтобы не впутывать ФСБ в наш и без того сложный разговор. В Бережняке само забрезжило: информатор был перевербован; давно перевербован, а я, старый осел, преступник — теперь и впрямь обыкновенный ПРЕСТУПНИК, безо всяких идейных и патриотических оправданий, этого не разглядел...

И даже не просто преступник, не просто. Пособник врага! Моими руками враг уничтожал...

И вот тут он сотрясся — и заплакал.

Так и сидел — щуплый, прямой и гордый, задрав голову, будто на шесте; а из широко открытых глаз катились слезы.

Я вышел в другую комнату. Мне было худо. Не представляете, как худо. Наверное, легче было бы кого-нибудь отравить по его указке, честное слово.

А впрочем... Я вспомнил Сошникова. Нет уж.

И в этот момент закурлыкала трубка, валявшаяся в кресле. Я кинулся на нее, как вратарь на мяч.

Звонил Бероев.

— Доброе утро.

— Доброе утро. Я не могу сейчас разговаривать. Перезвоню.

— Не один?

— Да.

— Понял. Сотрудник по культурным связям консульства США Ланслэт Пратт. Все, пока. Жду отзвона.

Отбой. Занятые мужчины говорят коротко, но емко. Я перевел дух. Значит, угадали мы вчера. Теперь надо... Нет, это уже не мое дело. Ничего мне не надо. Мне не до них.

У меня на руках больной старик.

Когда я вернулся, он уже не плакал. Даже щеки просохли, и только в морщинах, в складках бессильно провисшей кожи — проблескивало.

— Как же это получается, Антон Антонович? — спросил он чуть дрожащим голосом, но уже совсем спокойно, словно мы некие тонкости биоспектралистики обсуждали. — Как же это так получается всегда?

Я помолчал. Потом сел напротив него.

— Я мог бы, Викентий Егорович, начать нести банальщину насчет того, что насилие, пусть даже применяемое с благой целью, очень быстро начинает работать не то что мимо желанной цели, а буквально-таки на прямо противоположную цель. Очень быстро становится игрушкой в руках самых что ни на есть подонков, о благородных целях и понятия не имеющих. Но вы, Викентий Егорович...

Весь разговор я старательно вдавливал его имя и отчество чуть ли не в каждую фразу, чтобы хоть так подчеркнуть свое уважение, сострадание свое к этому человеку, так страшно погубившему себя — но, к сожалению, не только себя.

— Вы, Викентий Егорович, живете на белом свете вдвое дольше меня и слышали все эти истины, наверное, раз в десять больше меня. Поэтому я вам просто вот что скажу: нельзя птичек убивать. Пусть поют и щебечут где могут и как могут. Лишь бы пели. Не так их много на белом свете осталось, настоящих-то певчих. Шумных навалом. Певчих дефицит.

Он встал. Тщательно оправил старомодный, потертый свой серый пиджак — похожий на него самого. Казалось, он оправил китель.

— Вы в войну не воевали? — спросил я негромко.

— Я тридцать седьмого года рождения, Антон Антонович, так что только в Венгрии успел. В пятьдесят шестом, — помолчал. — Подробности вас интересуют?

Я смолчал.

— Порабощал. Имел две боевые награды и ранение в живот. Едва не умер от перитонита, — чуть помедлил. — А теперь получается — жаль, что не умер? — с каким-то отстраненным удивлением спросил он сам себя.

Я смолчал.

— Это можно взять? — Он кончиками пальцев, будто боясь обжечься, тронул мой листок.

— Разумеется, — ответил я и встал проводить.

У двери он долго застегивал пальто, потом нахлобучил поплотнее вытертую зимнюю шапку — обыкновенный старик-пенсионер, какие балуют внучат и с редких пенсий покупают им шоколадки подешевле, но обязательно хотя бы в обертке поярче; какие в шахматы играют на скамейках и между ходами судачат о политике: Союз развалили, теперь Россию разваливают! так их же стрелять надо! а куда органы смотрят? да там все продано-перепродано!

Только вот ему, пенсионеру Бережняку, в отличие от прочих — пострелять удалось.

— Надеюсь, внизу засады нет?

— Помилуйте, Викентий Егорович. За кого вы приняли меня.

Он спрятал глаза и неловко покрутил птичьей шеей в комках залегшем кашне.

— Простите, Антон Антонович. Не то сказал.

И ушел.

А я еще некоторое время стоял у двери, прижимаясь к ней лбом, и нескончаемо видел, как он плачет.

Яду мне, яду...

Сию секундочку-с! А закусывать чем будете?

Я после первой не закусываю...

Неделю спустя я получил заказную бандероль и, когда вскрыл, — не сразу понял, что это. Там были списки и структуры РККА. И по каждой ячейке и каждому человеку — тщательный перечень функций и реально совершенных действий. Организация действительно была мирной и скорее культурно-просветительской, что ли, хотя и играла в подполье, навроде тимуровцев каких; была в ней, правда, и жуликоватая секция, деньги откуда-то брать надо — но в крупных аферах она не участвовала. Потайная экстремистская бригада, которой руководил в звании комбрига сам Бережняк — всего комбригов было пять, по числу лучей пятиконечной звезды, — насчитывала лишь семерых, а реальных исполнителей в ней было двое. Один — профессиональный киллер, минимум пятнадцать душ на нем, в розыске еще с девяносто шестого. Вот так.

Когда я, слегка ошалев, разбирался с пришедшими бумагами, самого Бережняка уже не было на свете. Вернувшись после нашего разговора к себе, он проверил наугад несколько фамилий с моего листа — все совпало; потом написал и отправил свое признание; и досуха выхлебал остатки отравы, путь которой к нему так и остался невыясненным. Наверное, Бережняку просто не пришло в голову его расписать — иначе расписал бы; его послание было, вообще говоря, пунктуально исчерпывающим — видно, что работал привыкший к систематическому мышлению ученый.

Это было его покаяние. Его епитимья.

Совершенная, хоть он и не подозревал об этом, опять-таки в рамках той же пресловутой, извините за выражение, парадигмы. Забавно, как исподволь она работает: ведь Бережняк даже не совершил греха самоубийства — что при епитимье никак бы не смотрелось. Просто воздал себе тою же мерою.

Передозировка была чудовищной, и приблизительно трое суток спустя он умер. То был не сошниковский вариант; врачи утверждали, что все это время мучился он страшно. Сознание распалось, даже рефлексы распались... Его нашли уже мертвым; соседи обратили внимание на смрад. Жил-то он в коммуналке, после лагеря так и не восстановился толком.

Я узнал все это от Бероева много позже. А тогда, закрыв за Бережняком дверь, я еще уверен был, что мы с ним увидимся, — и то на душе было ох погано. Дюже погано. Я вернулся на кухню, сделал себе еще кофе — руки дрожали, как у старика. Как у только что ушедшего старика. С четверть часа не мог я прийти в себя, тупо глотал и тупо смотрел в стену. Лечить люблю, лечить! Слышите? Чтобы людям становилось лучше, чем было — а не хуже, чем было!

Хотелось хоть простым физическим удовольствием как-то заглушить муку души, и я, бобыль и трезвенник, ничего лучше не придумал: снова залез в душ и снова сварился там, а потом снова обледенел. Чуток помогло.

А потом все-таки начал со скрежетом переключать мозги на очередные дела.

Я и не подозревал, какими окажутся мои очередные дела!

Ланслэт Пратт, бормотал я, одеваясь, Ланслэт Пратт... Ланслэт. По-нашему — Ланселот. Рыцарь Круглого стола отыскался. Драконоборец. А не кажется ли тебе, сэр Ланселот, что твое место — возле параши?

В начале десятого я отзвонил Бероеву, но абонент уже был недоступен. Я еще раз выпил кофе и поехал на работу.

Опять какая-то интуиция меня вела, что ли, — едва войдя, я сызнова принялся проверять всю отчетность года. Думал просто мозги занять — а, как через несколько дней выяснилось, очень кстати.

Я успел выявить несколько мелких нестыковок, дать соответствующие вводные деду Богдану, выслушать череду его блистательных импровизаций, дважды отзвонить Бероеву, причем во второй раз он ответил, но еще короче, чем ответил ему утром я: «Сейчас не могу. Ждите звонка»; я даже слова вставить не успел, полковник говорил так, словно бежал вверх по лестнице, причем уже, скажем, этажа с сороко-

вого на сорок первый. Мне и Катечка нужна была, чтобы дать ей вводную по одной из нестыковок, но она что-то задерживалась, красотка наша...

А когда она появилась наконец, мне стало не до вводных.

Она вошла в кабинет неожиданно, кажется, даже без стука. Я, весь в себе и своих проблемах, сначала не обратил внимания на то, что глаза у нее распахнуты, словно от сильной боли, и закушена губа; уловил, правда, волну смятения, но заговорил делано бодро, полагая, что смятение это связано не более чем с новым ее поклонником каким-нибудь:

— Катечка, ты мне нужна. Я тебя жду не дождусь...

И понял, что она меня даже не слышит.

— Антон Антонович, — едва не рыдая, напряженно выговорила она с порога, а потом пошла ко мне. И шла-то не своей танцующей походочкой-лодочкой, а словно бы получив по темечку и будучи движима единственной мыслью: до койки добраться. — Антон Антонович! Посмотрите! Вы только посмотрите! Какие гадости про вас пишут!

И протянула мне стиснутый в кулачке длинный и мятый раструб газеты.

Я развернул, разгладил — и сразу понял Катечку. Кресло подо мной так и поехало в никуда. На меня смотрела моя фотография, скопированная, как я сообразил после секундного замешательства, из не вспомнить какого делового журнала, где я года два назад давал полурекламное, полупросветительское интервью о «Сеятеле». А рядом с фотографией красовался заголовок, кидающийся в глаза размером шрифта и свежестью мысли: «Наследники доктора Менгеле».

Неужели, подумал я, кто-то полагает, что широкие читательские массы помнят до сих пор, что за фрукт был доктор Менгеле. Наивный все ж таки народ. Это ведь даже не сразу сообразишь, в которую энциклопедию лезть за справкой.

И текст был, что говорить, богатый. В наивности автор с налета обвинял как раз всех читателей.

«Наивные люди полагают, будто времена изуверских экспериментов над людьми канули в прошлое вместе с разгромом фашистского рейха, вместе с крахом чудовищного нацистского режима. Будто в тот миг, когда открылись ворота концентрационных лагерей Майданека и Бухенвальда, Освенцима и Дахау, садистам, обрядившимся в белые халаты, был поставлен надежный заслон, и простые люди оказались застрахованы от того, чтобы оказаться объектами испытаний новых препаратов или нового оружия. Напрасные надежды. Времена Гитлера могут показаться патриархальным раем по сравнению с тем, что творят наследники тогдашних докторов-палачей с населением нашей страны. Вся она грозит стать, а может быть, уже стала, одним громадным концлагерем, границами которого служат ее оплетенные колючей проволокой государственные и административные границы. Начать с теперь уже полузабытой истории бесчеловечных испытаний инфразвукового оружия на улицах Минска, когда в давке погибли десятки ни в чем не повинных людей, по версии властей якобы просто испугавшихся летнего дождика!»

И так далее. Цитирую я, разумеется, не по памяти — по вырезке. И весь текст, разумеется, не стану приводить. Торопливо проглядывая первые абзацы про Гитлера да про Минск, я никак не мог уразуметь, в чем дело, и недоумевал все сильнее — но быстро дошел до сути. А Катечка, насмерть обиженная за меня и перепуганная, наверное, тоже насмерть, так и стояла рядышком, кусая губы и едва сдерживая слезы.

«...прикрытые, словно бандитской «крышей», так называемым частным кабинетом вивисекторские психологические эксперименты человека, являющегося пасынком некоего Андрея Симагина. А между тем и сам этот Симагин, как нам любезно сообщил его бывший коллега, ныне плодотворно работающий в лаборатории профессора Маккензи в США, еще в советское время навсегда запятнал себя участием в разработке психотронного оружия. Он до сих пор живет в нашем городе, в незарегистрированном и не освященном Церковью сожительстве с матерью психиатра-выродка, женщиной без определенных занятий...»

«...негласный заказ российских спецслужб — разработка и отработка методик скрытого манипулирования сознанием, выполнялся Антоном Токаревым не за страх, а за со-

весть, можно сказать, по велению сердца. Если только предположить, что у этого человека есть сердце...»

«...вопиющее нарушение элементарных человеческих прав и свобод, длящееся годами...»

«...число искалеченных судеб. Трудно вообразить количество сломанных жизней. Невозможно представить размер интеллектуальных, моральных и просто житейских утрат. Больно даже думать...»

«... рассказал нам один из подвергшихся этому гнусному тайному воздействию. Но вопреки ему этот незаурядный человек нашел в себе силы...»

«...будем продолжать информировать читателей...»

Видимо, в редакции решили, что материал попался на редкость калорийный и совершенно беспроигрышный, поэтому оттягивались по полной программе. Откуда утечка, лихорадочно пытался понять я, совсем уж по диагонали дочитывая морализаторскую концовку. Откуда, ради бога, утечка? От ответа многое зависело — собственно, все зависело. Ни одной фамилии занятых в спецоперациях людей названо не было, хорошо. «Сеятель» в сечку не пошел, только раз упомянут как «крыша», то есть работающие в нем люди как бы и ни при чем — хорошо. Знать бы только, откуда утечка? Только тогда можно понять: вся это уже информация, или блюстители свобод придерживают козыри для следующих выпусков. Я так и этак перебирал имена друзей. Ничего не приходило в голову. Никто не мог. Мистика какая-то.

— Что за издание-то? — пробормотал я и перевернул газетную страницу. — А... Последний оплот думающих папоротников...

Клянусь, я это не сам придумал. Так главный питерский орган бронелобых, как коммунисты, демократов называют в народе уже давно; а фраза, сколько я понимаю, позаимствована из какой-то старой хохмы, еще восьмидесятых, кажется, годов прошлого века — то ли Жванецкого, то ли Карцева...

Все бы ничего. Но за родителей — ур-рою!

Я подумал так и тут же вспомнил, как собирался за Сошникова урыть Бережняка — и как сегодня едва не принялся этому Бережняку вытирать слезы и сопли...

М-да. Я опустил газету.

— Катечка, — сказал я ласково, — вот тут у нас обнаружилась небольшая неувязочка. Пойдем глянем. Надо срочно ее...

Нет, не получалось. Она меня просто не слышала.

— Антон Антонович, что же это такое?

— Классовая борьба, Катя. Или межцивилизационная. Борьба, словом.

— Какая еще борьба? — Юмор до нее тоже пока не доходил. — Да как они... как они смеют! Вы же... вы...

И она лихо разрыдалась, без колебаний кинувшись мне на грудь — и уткнувшись в шею будто разбрызгивателем включенного на всю катушку душа. Я принялся ласково гладить ее по голове. Чего-то перебор плачущих у меня сегодня, подумал я мельком, а сам все не мог перестать гадать совершенно вхолостую: кто? Кто? Катечка бессвязно лепетала, давясь слезами. Кажется, она мне пыталась объяснить, какой я замечательный и как меня в «Сеятеле» все любят.

Надо же.

Когда девочка начала успокаиваться, я перестал гладить ее по роскошной прическе, опустил руки и стал просто с некоторой неловкостью в душе и в позе ждать, когда наше положение станет менее предосудительным для постороннего наблюдателя. Каковой, к счастью, отсутствовал.

— Катя, — сказал я потом, — а Катя.

— Да, Антон Антонович.

— Я ведь не шучу насчет неувязочки. Нам буквально в несколько часов надо всю документацию привести в идеальное состояние. Чтобы комар носу не подточил. Бог знает, вдруг нагрянут.

— А?

— В чем бы нас ни обвиняли — в государственной измене, в тоталитарном культе, в свальном грехе — проверять все равно в первую голову начнут финансы.

— А?

— Сейчас ты посмотришь, что я уже выявил, а потом общий сбор, пятиминутная летучка — и аврал. Полную явку обеспечивать будешь ты.

— Слушаюсь, Антон Антонович, — неожиданно по-военному ответила она и шмыгнула носом. И мы наконец разлепились. А потом она опять шмыгнула носом и сказала: — Вы только не сомневайтесь. Мы за вас в огонь и в воду.

— А уж я-то за вас... — начал было я, еще не зная, как продолжу фразу, и чувствуя, что у меня от усталости и обилия колотящихся вокруг меня эмоций начинает свербеть в носу, будто и я готов зарыдать. Но она меня прервала:

— А вы не должны быть за нас. Вы должны быть за всех тех, кого мы лечим. А мы — за вас.

— Кончай философию, начинай приседание, — сказал я, чтобы в носу перестало свербеть. И Катечка ответила, безнадежно попытавшись прищелкнуть каблуками:

— Цум бефель!

Вот тут меня все-таки пробрало — не слезами, так хохотом. Совершенно, должен признать, истерическим. Меня скрючило и повело по кабинету зигзагом.

— Катя! Ты только... ты... — Я обессиленно тыкал пальцем в стиснутую в кулаке газету и не мог ничего сказать мало-мальски связно. — Ты, если вдруг комиссия какая придет... не шути по-немецки! Мы ж и так уже Гитлеру наследники!

Она растерянно похлопала глазами, не сразу врубаясь — и тоже начала хохотать.

Вот это было красиво. Хохотать ей шло.

Наверное, смеяться идет всем. К сожалению, не всем удается.

— Мы их под суд отдадим! — так я закончил свою пламенную речь. — Просто и аккуратно, всех под суд. И поскольку они ничего доказать не смогут, я с сегодняшнего дня объявляю конкурс на лучшее использование пяти миллионов рублей, которые мы с них взыщем по суду в качестве компенсации морального и делового ущерба. Мой вариант: поездка всей компанией на Канары.

— Пять миллионов еще на пути туда, над океаном, кончатся, — серьезно внес поправку грамотный Борис Иосифович. — И нас выкинут из самолета.

— Нет проблем. Богдан Тариэлович, уточните стоимость четырех путевок на Канары, чтобы я знал, сколько с трепачей требовать.

— Будет сделано, — кивнул дед Богдан. Он даже перестал сыпать импровизами, настолько был выбит из колеи прочитанной мною вслух статьей.

В душе я не был так уж уверен, что борзописцы ничего не смогут доказать. Все зависело от того, какова утечка. Грубо говоря, кто стукнул. И собирается ли стучать дальше, продавая, быть может, подробность за подробностью в обмен на дополнительные выплаты.

Но внешне оптимизм из меня так и брызгал. И Катечка мне подыгрывать вдруг взялась — то ли я и впрямь ее вполне успокоил и, по сути, мозги ей запудрил иллюзией пустячности происходящего, а то ли, поплакав у меня на плече, она вообразила, что нас теперь связали некие невидимые узы, и принялась в качестве особо доверенного лица помогать мне ободрять остальных. Не знаю. Даже с даром Александры не всегда разберешься в чужой душе. Особенно если в ней переживания сложные, человеческие; не то что крысиные вчера у Жаркова: замочить! сбежать! мелок скорей из дома вынести!

Стреляя глазками, с игривостью необычайной, она спросила:

— А вас, Антон Антонович, жена отпустит на Канары с нами и без себя?

— А мы ей не скажем, — мрачновато ответствовал я.

Действительно, при той интенсивности общения, что у нас установилась в последнее время, Кира вполне могла не заметить моего отсутствия в городе в течение, скажем, недельки, а то и двух.

Дед Богдан, когда все стали расходиться, задержался и буквально с отеческой заботой спросил вполголоса:

— Супруга видела?

Я неопределенно повел головой.

— Вы бы не показывали ей, Антон Антонович. В ее положении такие стрессы совсем ни к чему.

Я только через мгновение вспомнил, что днями по секрету рассказал ему об ожидающемся прибавлении семейства — и едва на стену не полез с воем.

— Попробую, — пообещал я.

Когда экипаж занял места по боевому расписанию, я взялся было за телефон, чтобы под теми или иными предлогами («Старик! Сто лет не виделись! А не раздавить ли...»; «Красивая женщина, а красивая женщина! Ты как насчет повидаться? Розочку хошь?») прямо отсюда обзвонить весь спецконтингент и попробовать выяснить место утечки. Я от потрясений уже худо соображал, и мысль была, надо признать, не самая умная. Потому что, если бы кто-то к моему телефону уже подключился, он, как бы я ни шифровал разговор, просто судя по тому, кому именно я звоню, уяснил бы круг сопричастных и пошел копать дальше уже не вслепую, а со знанием дела; а если подключившихся не было, то и шифровать тему было ни к чему. Начав набирать номер, я это все-таки сообразил — и замер с трубкой возле уха и трясущимся пальцем над клавкой. А потом медленно положил трубку на место. Нет, это не метод. Не стоит суетиться; что произошло — то все равно уже произошло.

Одним словом, я начал трудиться над тем же, на что сориентировал остальных. И трудился часа два. Потом понял, что — все. Мягко говоря, не выспался я сегодня.

Было около четырех, когда я попрощался с коллегами; все наперебой старались меня как-то ободрить и снять с меня какую ни на есть пушинку. Бероев так и не звонил, и я уже не хотел его дергать сам. В конце концов, наше вчерашнее единение могло оказаться и преходящим. Все ж таки он полковник, да еще из Гипеу. Мало ли, может, уже гнушается. Хотя с утра звонил и раскрыл, в общем-то, оперативный материал, демонстративно и подчеркнуто...

Ладно. Домой.

Под низким клубящимся небом, в исподволь меркнущем сером свете, на пронизывающем ветру возле моего дома толпился народ. С лозунгами. С пивными бутылками в руках и возле уст, естественно. В основном жвачная молодежь, но и пожилых хватало. Демонстрация была из нешибких, человек восемьдесят, от силы девяносто, но — демонстрация. На одном из упруго скачущих по ветру длинных транспарантов, который, надрываясь, держали за концевые шесты сразу двое, я промельком углядел свою фамилию и три восклицательных знака.

Игра шла по нарастающей.

Я медленно проехал мимо, постаравшись никого не потревожить, и сделал кружок вокруг дома напротив. Парусящий транспарант напомнил мне картинку четырехлетней давности, пойманную в Первопрестольной нашей, в Москве. Я шел через любимый свой мостище между гостиницей «Украина» и трехлепестковым небоскребом, который, с легкой руки па Симагина, иначе как сэвом не называл; прямо по курсу у меня был Калининский проспект, гордость шестидесятнической архитектуры — а в столице происходил какой-то очередной саммит-муммит, и город принарядился по этому поводу. Дул свежий апрельский ветер, солнце блистало, и по обеим сторонам моста, над каждой секцией парапета, радостно плясали на ветру российские флажки — все, как солдаты на смотру, слева направо. И тут, с удовольствием подставив лицо сияющей весенней голубизне и невольно глянув выше обычного, я аж с шага сбился. Я все понимаю, бывает ветер низовой, по реке — и бывает верховой, на высотах, и совсем не обязательно они совпадают по направлению — но. Это все скучная наука. А зрелище было мистическое. Зрелище было символическое. Зрелище было достойно, вероятно, элевсинских мистерий — о коих никто ничего толком не знает, но все сходятся: впечатление они производили неизгладимое.

Над Белым домом, что сахарно сиял слева за рекой, гордо реял один громадный главный российский триколор, и реял он СПРАВА НАЛЕВО! Точнехонько в противоположном направлении! Прямо против ветра!

Что тут добавишь...

И никто, кроме меня, не обращал на чудо внимания. На меня обращали — чего это тут, дескать, человек памятником работает, когда надо бегать и дела варить. А на фантасмагорию — нет. Глаз поднять некогда. А может, видели, да ничего особенного не усматривали.

Минут пять я стоял, не в силах двинуться дальше; и многое мне в те минуты открылось.

Ладно, это к слову.

Оставив машину поодаль, я пешком приблизился к демонстрантам. Они стояли довольно смирно — уже скучали.

Курили. Мерзли и ежились. Хлебали «Афанасия», и «Калинкина», и «Бочкарева», и прочее. На них отчаянно лаял выведенный на прогулку симпатичный эрдель из сорок седьмой квартиры — впрочем, избегая приближаться; хозяин эрделя делал вид, что ничего не замечает. Молодая мама с коляской — кажется, с пятого этажа, не помню, как звать, но здороваюсь, — торопливо катила к парадному и испуганно оглядывалась.

У демонстрантов в тылу, привалившись задом к капоту джипа, из открытой задней дверцы которого неаккуратно торчали черенки еще не розданных лозунгов, покуривал рыжий парень. Сигарета то и дело срывалась искрами в ветер. Увидев меня, одиноко и неприкаянно бредущего мимо в своей куртяжке — руки в карманах, чтоб не мерзли, голова не покрыта, — парень сделал широкий приглашающий жест.

— Эй, умник!

Я подошел.

— Работаете? — спросил я. Он заржал.

— Ну! Кто с лопатами — а мы с плакатами! Бабки нужны?

— Конечно, — в сущности, вполне искренне ответил я.

Он с готовностью отшвырнул недокуренную сигарету и, чуть развернувшись, принялся неспешно и барственно, даже с некоторой брезгливостью дергать один из черенков.

— Тогда поработай с нами. Сейчас слоган тебе дам, погодь...

— А санкционирована демка-то ваша?

— Не дергайся, все схвачено. Оплата почасовая...

Плакат за что-то зацепился. Парень лениво продолжал дергать.

— Из своего кармана платишь? — спросил я.

— Зачем? Хорошие люди платят, денежные... Ради прав человека кому хочешь яйца вырвут. Да помоги, что ли, — видишь, не лезет.

Я не вынул рук из карманов.

— А почем?

— Не дергайся, говорю. Ты в своем институте за год столько не заработаешь, сколько у меня за вечер.

Он безошибочно опознал во мне высоколобого. Классовое чутье.

— А чего демонстрируем-то?

— Вот умник! Тебе что за половая разница? Маньяк тут живет какой-то, с кодлой ходит по улицам и из людей психов делает, а менты, суки, его арестовывать боятся, он с фэсбэшниками снюхался. Газеты читай!

Я достал из внутреннего кармана газету и показал ему свою фотографию. Уже глядя то на нее, то на меня, он на автомате еще несколько раз дернул черенок, с каждым движением все слабее, как бы засыпая; доходило до него медленно. Потом сказал:

— Ёб-тыть!

И заржал, совершенно не смущаясь. И совершенно беззлобно.

— Ну, тогда проваливай! Тебе тут не обломится.

Я вот думаю теперь, уже зная о судьбе Бережняка: а хватило бы духу воздать себе тою же мерою хоть кому-нибудь из тех, кто когда-то действительно от души, честно, и даже несколько рискуя собой, начинал критиковать недостатки своей страны, чтобы она избавилась от них и сделалась лучше... и вдруг с удовольствием обнаружил, что за это зарубежные единомышленники зовут их погулять по Елисейским Полям, подкладывают им валютных премий — за свободу мышления, защиту человеческого достоинства, личное мужество и не перечесть еще за что; и целые партии от них заводятся, и свежеиспеченные отечественные миллионеры начинают уважительно прибегать к их услугам... И в обмен ожидают лишь одного: жарь дальше! Не задумываясь, до чего язык дотянется! Концлагерь! Царство тьмы! Оплот насилия! Грядет диктатура! Непреходящая угроза мировому сообществу!

И они жарят, с каждой новой поездкой и новой премией радостно и гордо чувствуя себя все более свободными и мужественными...

Впрочем, какова тут ТА МЕРА?

Я пришел домой и лишь в полутемной безжизненной квартире понял: я не знаю, зачем сюда пришел. Я не мог ни читать, ни спать, ни таращиться в ящик.

И мне совершенно нечем было себя порадовать. Разве что в очередной раз забраться в душ.

История повторялась, как ей и полагается, фарсом. Но, может быть, оттого лишь, что время трагедий прошло и все трагедии давно уже сыграны. Теперь и трагедия воспринимается, как фарс. А может быть, дело в том, что изрекший истину про трагедии и фарсы мудрец был на самом деле еще глупее, чем это нынче принято думать, и совсем забыл о том, что история не дискретна. А значит, всякое событие, всякое — есть фарс относительно некоей предшествовавшей трагедии и в то же время трагедия относительно некоего последующего фарса, никому не ведомо — какого... Только тот, кто смотрит сверху, это знает — но не поделится своим знанием ни с кем.

Впрочем, если принять такую точку зрения, придется признать, что жизнь действительно опошляется и мельчает с каждым годом и, тем более, веком.

Кашинский встретил Киру едва ли не там, где почти два десятка лет назад в режущих настильных лучах сухого и стылого октябрьского солнца встречал Асю Симагин, в последний раз пытаясь сделать бывшее небывшим и повернуть жизнь вспять вместо того, чтобы дать ей течь своим чередом к никому не ведомым новым порогам. Тогда на асфальте сияли золотые и алые листья; они то дремали, то, стоило шевельнуться ветру, принимались с шуршанием ползать, как живые. Теперь под ногами была слякоть, и ноябрьская морось, мерцая, неслась по ветру в черном воздухе. Горели необъятные университетские окна, и горели на набережной оранжевые огни, за которыми угадывалась во мраке громадная, плоская пустыня Невы; но под голыми мокрыми ветвями, которые нависали над Менделеевской и тупо, глухо принимались молотить друг о друга, когда налетал особенно злобный порыв, — под ними было почти темно.

— Я знал, что вы в библиотеке. Мне сказали ваши, я звонил вам домой...

Кира молча шла своей дорогой.

— Кира, пожалуйста, постойте. Я должен объяснить.

Она не замедлила шага. Он суетливо пытался пристроиться рядом, но никак не мог попасть в ногу — то отставал, то забегал вперед, беспомощно заглядывая ей в лицо. Как когда-то — Симагин Асе.

— Вы, наверное, уже прочитали... или вам кто-то сказал? Если вы не читали, я принес газету, посмотрите!

Она шла, даже не глядя в его сторону. Словно не видела и не слышала. Оскальзываясь, Кашинский продолжал семенить рядом.

— Они там чуть перехлестнули пару раз, но это неизбежно, когда люди горячатся... а ведь они возмущены. Они действительно приняли все, что я рассказал, близко к сердцу... и, по правде сказать, это нельзя не принять близко к сердцу, Кира! Ведь то, что вы... что Токарев ваш творит, — поистине чудовищно! Они, в редакции, уже сами связались с Америкой, нашли бывшего сослуживца — это все правда. Я только от них узнал, что его отец — Симагин... Я ведь знал его, Кира! — Он задохнулся. — Знал! Обманщик... Я мог бы вам много рассказать! Но я не об этом сейчас. Я об их негодовании. Мне даже не пришлось их уговаривать — наоборот, я пытался... да-да, Кира, поверьте, я честно пытался убедить их быть более бережными, более снисходительными и осторожными. Но ведь это люди с убеждениями!

Набережная приближалась неумолимо.

— Кира! Ну постойте же! — отчаянно выкрикнул он. — Нельзя так! Хотя бы постойте! Я ведь тоже человек!

Она остановилась и повернулась к нему. На какое-то мгновение ему показалось, что ему — удалось.

— Кира, я вас... — начал было он, желая наконец сказать «люблю», но она, хоть и вняла его мольбе, слушать не собиралась.

— Знаете, Вадим, раньше были такие люди — осведомители, — спокойно и бесстрастно сказала она. — Хорошо, что мы с вами их уже не застали.

Под Кашинским затрясся заляпанный слизью непогоды асфальт.

— Стоило возникнуть чему-то человеческому, настоящему — они тут как тут. Кто-то хранит фотокарточку отца, которого посадили, — надо сообщить. Кто-то на свой страх и риск читает книги по запрещенной генетике — надо сооб-

щить. Так я это себе представляю... Никакой Берия без них ничего бы не смог.

Она запнулась, и тут самообладание ей изменило.

— Стукач!! — крикнула она свирепо.

И Кашинскому показалось, что она сейчас его ударит или оттолкнет, он даже отшатнулся заблаговременно — и, потеряв равновесие, едва не упал сам.

Ася тогда ударила Симагина. Но Кире было мерзко даже ударить.

— Стукач!! — с невыразимым отвращением повторила она. Лицо ее исказилось так, что Антон, наверное, ее бы не узнал — такой он никогда не видел жену. Даже когда они ссорились, казалось, насмерть.

Резко повернувшись, Кира пошла к залитой половодьем рыжего света набережной; и больше не останавливалась.

А Кашинский еще некоторое время стоял там, где она его убила. Сердце зажало, и не получалось вздохнуть. И тошно было доставать валидол. Ни к чему. Потом Кашинскому сделалось немного легче, и он немощно, будто старик, на подламывающихся ногах побрел в темноту, где не горели фонари, где плач и скрежет зубовный. Навсегда.

Другой взгляд сверху

— Надо же. И тэвэшники уже поспели.

— А хилая демонстрация. Народу немного, и не буянят. Так, отрабатывают свое...

— Боюсь, это только начало.

— Не бойся. Это наверняка только начало.

— Мне бы твои нервы, Андрей.

— На, — улыбнулся Симагин и подал ей две открытые ладони. — Из себя и то готов достать печенку, мне не жалко, дорогая — ешь.

— Кстати о еде. Ты ведь голодный, наверное.

— Не очень. Я перекусил на факультете. А вот чайку — всегда с удовольствием.

— Пойду поставлю.

— Поставь.

Ася небрежно ткнула в сторону телевизора ленивчиком, и экран с готовностью погас. Тогда она встала и неторопливо пошла на кухню. А Симагин остался сидеть, задумчиво глядя в окошко, уставленное во тьму ноябрьского вечера. Где-то по то сторону крутящейся измороси мутно светились разноцветные окна — будто лампочки на далекой елке.

Ася вернулась.

— Может, все-таки позвонить ему? — спросила она.

— Асенька, он совсем большой мальчик, — сказал Симагин. — Если мы ему понадобимся, он сам позвонит. А докучать не надо. Он справится.

Ася села на диван рядом с ним, и он ласково обнял ее за плечи. Она потерлась носом о его щеку.

— Знаю, что справится, — сказала она. — Дело же не в этом. Как-то поддержать, посоветовать...

— Ну что тут можно посоветовать? И, главное, что можем посоветовать МЫ? Наше время ушло... ну, уходит. Теперь ему работать.

Она прильнула к нему плотнее и закрыла глаза. Как тепло, подумала она, как хорошо. А Антошке сейчас? Как-то Кира сможет его поддержать? Она, конечно, славная и сильная, и любит его, но тут... Ай, ладно. Матерям всегда кажется, что жены сыновей не дотягивают до нужных высот заботы и самопожертвования. Андрей прав, это уже их жизнь. Но и мы... Нет, Симагин, подумала Ася. Наше время еще не ушло. Пока ты можешь меня взять... и пока я могу... Ладно. Раньше времени не буду даже думать об этом. Тьфу-тьфу-тьфу. Тьфу-тьфу-тьфу. Не исключено, что я тебе еще устрою сюрприз, еще удивлю на старости лет. Напоследок.

И себя удивлю, честно говоря.

Я уж думала, после всех тех дел я ничего не могу — а вот поди ж ты. В мои-то годы... Жутковато.

Один раз я уже отняла у тебя твоего ребенка. Пусть не только по своей вине — но и по своей тоже, я ведь все-таки не чашка, которую так легко переставить с полки на полку. А повела себя, как чашка.

Один раз отняла, но теперь сделать такую мерзость меня не заставит никакая сила на земле. Разве что смерть.

— Давай музыку поставим, — попросила она.

— Давай, — тут же согласился он.

— Рахманинова хочу.

— Давай Рахманинова. Вокализ?

— Угу. Нину Муффо.

— Ставь.

— Ну что такое, Симагин? В кухню я, за пластинкой я...

— А мне нравится смотреть, как ты ходишь.

Против этого возразить было нечего. Она улыбнулась и встала. Неторопливо и чуть позируя, как когда-то — десятиклассница Таня, пошла к проигрывателю. Обернулась на миг. Он смотрел на нее; он так смотрел на нее, что, казалось — даже смерть ничему не преграда, досадная задержка всего лишь. И оттого ей совсем не было страшно. Жутковато, да. Но совсем не страшно. Люблю тебя, Симагин, подумала она. Люблю. Вот. И в какой уже раз ей показалось, что он все знает и понимает, никакого сюрприза не получится, он только молчит по известному своему принципу: не докучать и не приставать, покуда не позовут сами.

— Какая ты стройная, — сказал он.

13. ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ДУМАЛ, ЧТО ОН ХОЗЯИН

Телефон опять курлыкнул.

На сей раз это звонил Никодим — взволнованный и даже слегка ошалелый.

— Антон Антонович, вы не могли бы приехать сейчас?

Честно говоря, у меня душа ушла в пятки. Мне в тот сумасшедший день не хватало только еще каких-нибудь сюрпризов с Сошниковым.

— Никодим Сергеевич, что случилось?

— Вам лучше самому... — Никодим шмыгал вечно мокрым носом и от обилия непонятных мне чувств буквально приплясывал там, на той стороне проводов. За нос я его не мог корить — проведя пять минут у них в больнице, я понимал, что, сидя в ней целыми днями, не быть вечно простуженным нельзя. Но вот за это бестолковое подпрыгивание мне всерьез хотелось его вздуть. Взрослый же человек, скажи толком, в чем дело!

Злой я был — донельзя. Отвратительное настроение, а от переутомления еще и раздражительность подскочила выше крыши.

— Вам лучше приехать и посмотреть самому.

— Никодим Сергеевич, объясните. Я очень устал. И я не хочу лишний раз выходить из дому. Вы что, газет не читаете?

— Конечно, не читаю. Что я — рехнулся, газеты читать... Да вы не бойтесь. Тут ничего худого не стряслось, наоборот. Просто я не хочу вам портить впечатление. Это надо видеть.

Ладно, в конце концов — что я теряю? Здесь торчать в унынии, то и дело бегая к окошку смотреть, редеет ли толпа, или, наоборот, прибывает — тоже не отдых.

— Буду, — угрюмо сказал я.

— Вот и замечательно! — обрадовался Никодим. Я вместо ответа повесил трубку.

Меня задержали. Когда я вышел на улицу, и сырой ветер, нашпигованный колкой, зябкой моросью, окатил меня с головы до ног, и я побрел ему наперерез, не чая добраться до своей машины — из аккуратной, ухоженной «Тойоты», которой прежде я у нас во дворе никогда не видел, навстречу мне вышел моложавый и поджарый, не по-нашенски спортивного вида человек средних лет и пристально, как бы сопоставляя мою физиономию с неким мысленным прототипом, уставился на меня.

Процесс сопоставления оказался недолог. Человек приветливо заулыбался.

— Антон Антонович? — проговорил он с едва уловимым акцентом. — Я был уверен, что я вас застану. Я приехал посмотреть эту странную демонстрацию, и уже я решился вам позвонить, но вот и вы. Как у вас говорят, на ловца и зверь бежит... Позвольте представиться — Ланслэт Пратт, сотрудник американского консульства. Занимаюсь культурными связями.

Опаньки, сказал я себе.

— Я хотел бы спросить у вас несколько вопросов. У вас найдется четверть часа?

— Разумеется, — ответил я.

Опасности я не чувствовал.

— Очень ветрено сегодня, — сообщил он. — Я предложу вам, например, укрыться в моей машине? Не бестактно?

— Не бестактно. Хотя мы можем, например, подняться ко мне, весь путь займет пару минут.

— Благодарю за гостеприимство. Но мне не хотелось так вот сразу доставлять вам какие бы то ни было хлопоты. Возможно, чуть позже... Чуть позже — почту за честь.

— Что ж, — проговорил я, — вольному воля.

— Спасенному — рай, кажется, так? — ослепительно улыбнулся Пратт. Эх, и зубы у них там куют, на вольной Оклахомщине, или откуда он...

Мы спрятались в салоне «Тойоты», и я выжидательно воззрился на шпиона.

Он медлил, как бы не зная, с чего начать. Я был усталый, злой и раздраженный и потому решил ему помочь, чтоб не мучился излишней светскостью.

— Почему демонстрация кажется вам странной? — спросил я, тоже по возможности ярко оскалившись. — Разве она не ваших рук дело?

У него в душе завертелись вихри образов. Ага, подумал я. Надо слушать во все фибры. Пратт, видимо, отличался большой систематичностью и четкостью мышления. Наверное, его не раз за это хвалило начальство. Теперь похвалю и я — слушать его было одно удовольствие. Не то что Жаркова вести с удалением чуть не в сотню метров.

— Итак. Вы еще более интересный человек, чем я думал, — сказал, опять улыбнувшись, Пратт. Весь этот разговор мы, сколько я помню, проулыбались дружка дружке. — Нет, представьте, пока не моих. Ваши сограждане, как у вас говорят, и сами с усами. Для меня все это полная неожиданность. Но, раз уж пошла, как у вас говорят, такая пьянка — в пару дней, я догадываюсь, подключится «Эмнести интернешнл», «Общество памяти жертв холокоста»... Много можно придумать. Короче, на вашей деятельности вы ставьте крест.

Он замолчал, выжидательно глядя на меня. Я молчал, выжидательно глядя на него. Стоящие к нам затылками люди с лозунгами редели, очень уж было холодно. Остававшиеся мало-помалу начинали согреваться напитками покрепче,

нежели пиво, и время от времени вскидывали быстро мутнеющие взгляды на те или иные окна моего дома, пытаясь, видимо, угадать, где обитает гнойный пидор, по которому на зоне нары плачут.

— Я вас слушаю, — сказал я. Маяк... маленький маячок, твердо стоящая кишка, белая и гофрированная, с алым свечением на маковке; а рядом широкое асфальтовое поле и гладь Невы... Невки. Это же Парк Победы! Вон по левую руку наш с Кирой Голодай, светлые массивы домов за серой водной гладью! Яхт-клуб на Петровской косе, растопырившийся, как гигантский белый паук в полуприседе! Узнал, узнал! Зеленый забор, пляж... камни... отдельно лежащий камень у забора — тяжелый, да, но все-таки какой-то неправильно тяжелый, я его чувствую праттовской рукой. Ну, разумеется, место довольно уединенное; как-бы-камень на пляже, у самого забора, делящего общепрогулочную часть парка и какие-то разгороженные жестяными барьерами трассы — для картинга, что ли. В этом вот как-бы-камне Жарков получал упакованные туда Праттом списки фамилий, которые передавал затем Веньке, а тот перебрасывал, как лично добытый материал, Бережняку.

Уже неплохо поговорили. Ну, валяй, сэр Ланселот, продолжай.

— Я должен сказать, что вы довольно давно в поле моего зрения. Я очень сильно интересуюсь российской культурой и, в частности, культурой вашего замечательного города. Но, только прочитав эту поражающую глупостью статью, я заинтересовался всерьез и понял, что допустил непрощаемую оплошность. Ошибку. Мне давно бы следовало обратить внимание на то, что среди русских психотерапевтических салонов ваш занимает яркое положение по результатам.

Я вслушивался так, что едва слышал то, что он говорит вслух.

Сегодня Пратт послал к камню кого-то другого. Увидев утром жарковский сигнал, он подстраховался — и правильно поступил, раз Бероев уже к семи утра вычислил его безошибочно.

Какой-то ответ на свой сигнал Жарков в камне получит сегодня, но ездил сегодня к тайнику не Пратт!

— Чего вы хотите? — спросил я.

— Как у вас говорят, быка за рога, — улыбнулся Пратт. — Понимаю. Каждая минута на счету. Итак, я догадываюсь, что вы, вероятно, гений.

— Ваши заблуждения — ваше личное дело.

Первых действий Жаркова после получения посылки Пратт ждет сегодня между одиннадцатью и двенадцатью вечера. Не могу, хоть лопни, считать, каких именно действий. Не могу считать, что именно в посылке. Вот время — слышу. Так.

— Хорошо, — улыбнулся Пратт. — Во всех случаях, вы весьма одаренный человек.

Я улыбнулся в ответ:

— Не буду с вами спорить.

— Вот и отлично, потому что факты, как у вас говорится, упрямая вещь. Итак. Все одаренные люди мира заинтересованы в одном. В том, чтобы иметь наиболее благоприятные условия для жизни и для работы. А страна, которая лучше всех способна обеспечить эти условия, заинтересована в том, чтобы все одаренные люди мира стали ее гражданами. Я достаточно четко формулирую?

— Бесподобно четко, я бы так не смог.

— В лучшем случае все должны сами постепенно съехаться к нам. Естественно, это не значит, что мы всем можем немедленно гарантировать институты, кафедры, собрания сочинений немедленно. Понадобится нам использовать данного человека или нет — это вопрос. Сумеет он сам проявить себя или нет — это еще более вопрос. Но лучше уж ему заблаговременно быть, как у вас говорят, под руками... — Он улыбнулся.

Государь рассмеялся, сразу вспомнил я.

— Однако в исключительных случаях — например, ваш — мы готовы звать сами и гарантировать много.

— А если какой-то одаренный человек предпочитает реализовывать свои дарования пусть и в худших условиях, но у себя? Что тогда?

— По-разному бывает. Смотря чем и в какой степени он одарен. Итак, будем говорить конкретно. Насколько можно судить по газете, если читать, как у вас говорят, между строк, — вами разработаны экстремально уникальные методики скрытого воздействия на психику через воздействие на рутинное поведение. По сущности, через внешнее моделирование поведения — моделирование новых внутренних поведенческих матриц. Мы в таких методиках очень сильно заинтересованы. Очень сильно.

Ага, вот зачем я так им понадобился. Вставьте нам чипы... Понятно.

— Вы со мной говорите не только очень конкретно, но и очень откровенно. Как с заведомым покойником, — улыбнулся я. Он улыбнулся в ответ: фехтование полыханием зубов. Увы, тут у меня заведомый проигрыш, альбедо слабовато. Прошу не путать с либидо.

— Что вы! Об этом и речи пока нет. — Пратт помедлил, проверяя, оценил ли я это «пока». — Но работать вам не дадут. Вообще не дадут. Не исключено, что возмущенная общественность доведет дело до суда. Я не очень сильно представляю себе условия ваших тюрем, но даже то, что знаю... — Он, насколько позволял салон, развел руками. — Кроме того, разгневанные толпы русских фанатиков могут иметь серьезную опасность для вашей жены и вашего ребенка. Вы знаете это лучше меня.

Точно по Сошникову. В структуре, которая пытается стать тоталитарной, соблазн награды приходится форсировать страхом наказания — не клюешь на повышенную должность, тогда лагерь, не клюешь на увеличение зарплаты, тогда увольнение и полная нищета...

Ну-ну.

— А если я тоже вполне русский фанатик? — спросил я. — Плюну на безопасность жены и сына, решусь в тюрьму пойти, лишь бы не продаваться? Тогда как — ликвидация?

Он посмотрел на меня совсем уж внимательно, будто пытаясь взглядом душу из меня откачать с целью взятия на анализ; и, судя даже по глазам его, тем более по стремительно пролетающим лоскутьям прозрачных, будто капроновые

косынки, эмоций, которые я успевал уловить, — впервые за время нашего разговора он смутился.

Ему жутко почудилось на миг, что я и впрямь что-то такое ЗНАЮ; и ИГРАЮ с ним.

— Я догадываюсь, — осторожно сказал он на пробу, — что у вас самих так много экстремистов, которые жаждут кого-нибудь ликвидировать. И нам, как у вас говорят, грех возиться самим, — он чуть помедлил, присматриваясь. — Чуть направить — и, как у вас говорят, в дамки.

Я глядел на него с самым невинным видом. Нет, понял он, я ничего не знаю. Разумеется. Откуда мне.

— Мы же не убийцы, — облегченно сказал он и улыбнулся. — Ну что вы. Мы же цивилизованные люди. Странно, как вам пришло это в ваш ум. Конечно, если предположить, что у вас возникла бы очередная, — он подчеркнул последнее слово, сызнова старательно показывая, какое дерьмо вся эта ваша Россия, — очередная черносотенная банда, которая вздумала бы убивать, например, не просто евреев, а вообще ученых...

Хороший поворот мысли: не просто евреев, а вообще ученых. Миляга парень.

Знаток России.

— ...со стороны наших спецслужб, насколько я понимаю их специфическую работу, — он полыхнул зубами, — было бы совершенно непрощаемо не воспользоваться этим благоприятным обстоятельством. Вероятно, они обязательно постарались бы направить деятельность этой банды в наиболее выгодное для нашей национальной безопасности русло.

Он уже сам со мной играл. Аккуратно и с виду совершенно невинно мстил мне за то, что на долю секунды испугался, будто я играю с ним. И конечно, попутно чуток запугивал.

— Полагаю, наши спецслужбы обязательно использовали бы эту счастливо не существующую банду для ликвидации наиболее перспективных ваших голов. Не всех, разумеется. Зачем всех голов? Лишь наиболее перспективных. Чем вы слабее, тем нам спокойнее. Вы же прекрасно понимаете: какие бы события у вас ни происходили, как бы ни менялись ваши правительства, Россия для всего цивилизованного сообщества средоточие сильного ли, бессильного ли — только

такая разница — абсолютного зла. Оплот и защитница всех реакционных режимов, тренировочная площадка всех бандитов и террористов...

— За исключением тех бандитов и террористов, которых тренируете вы.

Он искренне оскорбился.

— Мы тренируем защитников свободы!

— Мы угрожаем вашей свободе?

Он помедлил секунду.

— У вас, Антон Антонович, есть хорошая поговорка...

— Я смотрю, вы их собираете.

— Да, люблю. Вековая мудрость народа... Не полезная мудрость вымирающего народа, отдадим себе в этом отчет. Нам следует ее сберечь. Поговорка в этот раз пришла в мой ум такая: на молоке обжегшись, на вымя дуют.

Хорошая шутка, оценил я. И очень образная. Молодец шпион. То ли он решил продемонстрировать на сей раз недостаточное знание русской идиоматики, то ли, напротив, столь хорошее ее знание, что, дескать, может даже осмысленно шутить на этом поле. И тут я понял. Конечно, оговорка была намеренной. Потому что вода, на которую дуют в подлиннике, была сейчас ни при чем. Пратт в очередной раз давал мне понять, что социализм ли у нас, капитализм ли, холодная ли война или стратегическое пресловутое это партнерство — все сие не более чем молоко; а вот Россия — и есть вымя, истекающее тем ли, иным ли, но вечно и навечно нежелательным для них млеком.

— А еще у нас говорят: не дуй в колодец, пригодится молока напиться, — ответил я.

И он понял, что я понял.

— Ну, разумеется! — улыбнулся он. — Бриллиантовая поговорка! Мы это помним и понимаем. Этот колодец мы будем беречь. Мы прекрасно отдаем себе отчет, насколько он нам нужен и полезен. Мы его постепенно вычистим и отремонтируем, я обещаю вам. Но взамен мы наполним его той ВОДОЙ, которую предпочитаем пить мы.

И улыбнулся опять. Чи-из!!

— А тот, кто нам поможет в этом, проявит сильный ум, широту взглядов и умение перспективно мыслить, — доба-

вил он. — Естественно, и большое личное мужество. А все эти качества нами уважаемы и заслуживают материального и морального награждения. Так что, может быть, закончим с теорией и перейдем к разговору?

— Методики разработаны мной и известны только мне, — решительно сказал я.

— Мы согласны их купить и оставить вас на покое в вашем колодце. Хотя нас, безусловно, волнует не только вопрос обладания ими, но и вопрос, чтобы никто ими не обладал, кроме нас. Однако такая покупка, возможно, была бы наилучшим выходом для вас. Возмущение общественности так скомпрометирует вас, что вы никому здесь уже не сможете предложить свои услуги. Но останетесь на Родине, если уж это для вас...

— Не продается, — быстро сказал я. Надо было кончать этот треп. И мне срочно нужен был Бероев — а не при этом же хмыре ему названивать!

Пратт кивнул. Ему показалось, что он успешно провел прелиминарии и теперь разговор вошел в конструктивное, как обтекаемо выражаются дипломаты, русло. То есть превратился в торг.

— Может быть, все зависит от суммы?

— Исключено. Нет на планете таких денег, извините меня.

— О! — на сей раз он не просто улыбнулся, а засмеялся даже, поражаясь моей наивности. — Вы просто не представляете, сколько на планете денег!

Тут уж и я засмеялся. Его самоуверенность, его наивная наглость просто поражали. И возникла обычная в разговорах с американцами коллизия, я не раз в нее уже попадал и всегда умилялся — каждый из собеседников считал другого великовозрастным ребенком. Остановившимся в развитии недорослем. И симпатичный, и глупый, и пороть вроде нельзя — а надо бы ума вогнать, потому что элементарных же вещей человек не понимает, но свою голову не приставишь...

Наверное, потому так получается, что взрослый — это человек, адаптированный к своему миру, уже всей плотью влитый в него. И каждый из нас был вполне адаптирован к

СВОЕМУ миру. Но ИНОГО, привычного для собеседника мира напрочь не представлял — а потому видел своего визави просто-напросто еще не вполне адаптированным, еще не совсем влитым в единственно возможный мир; то есть растущим, как говорится, организмом, подлежащим воспитанию.

Ужас. А еще гуманоидов ждем. Радиосигналы посылаем к иным звездам, доисторическими культурами занимаемся. Дебилятник полный.

Он расценил мой смех как признак близкой капитуляции. Счастливый смех человека, впервые узнавшего, что денег на планете — много. Ну, дескать, если уж их действительно так много, тогда и вправду есть о чем говорить!

— Разумеется, однако, — развернул он еще более заманчивую перспективу, — мы предпочли бы, чтобы не только сами методики оказались у нас, но и их уникально одаренный разработчик выбрал бы свободу.

— Что такое свобода? — спросил я.

— Антон Антонович! Понтий Пилат тоже интересовался, что есть истина — и чем кончил?

Я уже просто расхохотался. Ну как такого уроешь? Нанашки ему, максимум. Он еще будет меня Новому Завету учить! Это я, значит, Пилат, а он — Христос!

Как говаривал один мой друг, большой эрудит: ну что англосаксы могут понимать в христианстве, если даже Иоанн Креститель по-ихнему будет всего лишь Джон Баптист!

Надо закругляться.

— Газета вышла только сегодня, — как бы мысля вслух, сказал я. — О моих подпольных плясках вы узнали лишь вместе вот с этими беднягами. — Я мотнул головой в сторону кучки работающих из последних сил, совсем уже продрогших, но, видимо, совсем уже изнищавших трудящихся, осененных последним лозунгом, на котором я с такого расстояния, да в темноте, да на ветру, мог разобрать лишь начальное «Не позволим...». — Так что, сколько я понимаю, серьезных полномочий у вас нет.

— Ах, вот что вас беспокоит, — буквально обрадовался он. Как же ему не радоваться, болезному: базар пошел, ба-

зар! Настоящая жизнь! — Но я успел установить связь со своим непосредственным начальством...

— Ваше непосредственное начальство, мистер Пратт...

— Можете звать меня Ланслэт. Нам еще, как я понимаю, встречаться много раз.

— Очень приятно, Ланслэт. Тогда уж и вы меня — Антон.

— С удовольствием, Антон.

— Так вот ваше непосредственное начальство, Ланслэт, мало того, что звучит это расплывчато донельзя — оно для меня не авторитет.

— Я понимаю. Но поймите и вы меня. Чтобы выходить в более высокие инстанции, мне нужны минимальные гарантии. Вы пока ничего конкретного мне не сказали. Вообще ничего.

— А каких конкретных слов вы ждете? Конкретной суммы? Конкретного места, где я хотел бы жить? Калифорния, Луизиана, Мэн... Конкретной должности в конкретном университете?

— Это разговор, — серьезно подтвердил он.

Я помолчал. Потом сказал со старательной угрюмостью, на всякий случай играя в человека, припертого к стенке:

— Похоже, надо подумать.

— Это часто необходимо, — согласился он. — Хоть не всегда приятно.

— Я люблю думать. В том числе и о собственном будущем.

— Это очень полезное качество, Антон. Очень полезное. Итак, конец, как у вас говорят — делу венец. Мне известны ваш адрес и телефон, я вас побеспокою снова в несколько дней. Если вы придете к какому-то решению быстрее, тогда вот вам моя визитка.

Он и впрямь достал визитную карточку и подал мне. Я аккуратно упаковал ее в бумажник.

— Но я даю вам мой совет — не затягивайте. Русские любят думать десятилетиями, — он улыбнулся. — Как правило, о вопросах, не стоящих выеденного яйца. Давно уже решенных всем остальным миром. Такой подход к жизни очень ее укорачивает, — и он со значением посмотрел мне в глаза.

— Договорились, — сказал я. — Приятно было познакомиться, Ланслэт.

— Счастливо, Антон. Бай-бай.

— Бай-бай, — ответил я машинально.

Неужели они действительно так у себя говорят, мельком засомневался я, выползая из угретого салона на промозглый ветер. Или это он русское представление об американцах уважил?

Уважительный какой.

Я побежал к своей «ладушке». Мне срочно нужен был Бероев.

14. МЫ

Я едва успел утвердиться на сиденье и завестись, как телефон у меня в кармане подал голос сам.

— Алло?

Это и был Бероев.

— Приветствую вас, Антон. Наговорились с Праттом?

Я аж передернулся, как вылезший из мутной речки старый кобель.

— Кого пасете — меня или его?

— Его, разумеется.

— Слышали разговор?

— Слегка. «Жучка» еще не вогнали, к сожалению, но лазерным микрофоном стекло машины слушали. Он, увы, тоже не фраер — мотор-то все время работал на обогрев, вибрация здорово мазала...

— Вы где?

— Неподалеку. Но уже становлюсь дальше — Пратт поехал, мы за ним. Я так понял, он вас покупал.

— Да. Вообще-то мне конец, меня в газете засветили.

— Демонстрацию я, представьте себе, заметил. Вы та еще штучка, Антон. Сколько меня ждет новых сюрпризов?

— Не до шуток, Денис. Впору с собой кончать, на самом-то деле.

— Не надо. Вы мне нужны, я еще не нашел истину.

— Я тоже.

— Вместе легче.

— Быть с вами вместе, Денис, как я погляжу, себе дороже. Надеюсь, мою квартиру вы своими микрофонами слушать не станете?

Я спросил и сразу вспомнил, как утром Бережняк спросил меня: надеюсь, внизу засады нет?

Вот житуха пошла. Куда ни кинь...

— Нет, разумеется, — ответил Бероев.

Скажет он, держи карман шире. Это я мог Бережняку ответить честно; а Бероев, как бы он лично ко мне ни относился, — на работе. Хуже того — на ОКЛАДЕ. Всего можно ожидать.

Хоть он мне и нравится — но это вот обстоятельство надо постоянно иметь в виду.

— Антон, нет, — будто угадав мои мысли, повторил он. — Нет. Честное слово.

— Ладно, — сказал я, — проехали. Дурацкий вопрос. Как Жарков?

Бероев засопел.

— Пропал.

— То есть что значит пропал?

— Вот то и значит. Лучше не травите душу, не злите меня, я и так злой. Мы вычислили Пратта, это его ездка на работу, где сигнал Жарков поставил. Водили его весь день, но он — никуда. А спохватились — дома Жаркова нет, на работе нет... Вилы!

— М-да, — сказал я. — Через месячишко вынырнет где-нибудь в Люксембурге и начнет интервью раскидывать и книжки писать, как у нас все продано-куплено, испачкано-измызгано, но все равно он любит свою великую Родину шибче всех, кто тут остался...

— Почитаем, — сказал Бероев и, поразмыслив, добавил: — Если не поймаем.

Потом подумал еще и сказал:

— Хотя я предпочел бы поймать.

Ну и выбор у меня. Опять.

Была не была, пусть думает, что хочет! Пусть просвечивает меня своими лазерами. А вот Жаркова я урою. Жаль, не считалось у меня с Пратта, сколько и на какой счет Жарков получал за каждый переданный Веньке список... Да и вряд

ли он только этим занимался. Ценный кадр был, наверное. Урою. Будь что будет.

Конечно, даром мне это не пройдет. Товарищ Бероев из меня потом всю душу вынет этак по-товарищески, выясняя, как я ухитрился...

Все одно пропадать. А Жаркову прощения нет. За сирот и вдов, за слезы матерей... За Сошникова, за Бережняка. Словом, за Пятачка-а-а!!!

Будь что будет.

— Денис, — сказал я, — сейчас вам будет еще сюрприз. Извините, что по телефону, но время поджимает. Кто услышит — я не виноват.

— Ну? — опасливо спросил Бероев.

— Давайте так считать. Вы ведь сами сказали, что слышали отнюдь не весь наш разговор с Праттом, да? Так вот я его малость расколол.

— Что?! — вырвалось у Бероева. Очень смешная была интонация. То ли возмущение, то ли презрение к штафирке...

— Дело вот в чем. — Я не обратил на крик его души никакого внимания. — Пратт тертый оказался. Увидев сигнал Жаркова, он на всякий случай отреагировал не лично, а через кого-то из сошек. Некая инструкция оставлена Жаркову в тайнике. В нем же, кстати, Жарков получал списки фамилий для передачи Веньке и далее к Бережняку. Тайник замаскирован под длинный такой, с полкило весом, камень, на огурец похож. А лежит сей бел-горюч камень на пляже напротив яхт-клуба, вплотную у зеленого забора. От Петровского моста налево до упора, и дальше снова влево, к речке по песочку. Там есть немалый шанс взять Жаркова с камушком в руке. По темному ему больший резон к тайнику идти, нежели днем.

Я говорил и все больше удивлялся, что Бероев меня не прерывает. Даже опять встревожился, не разъединилось ли. Закончил, а он все молчал. Но связь работала, я слышал в трубке какие-то звуки — дыхание, сопение, курение...

— Вы предлагаете мне вот так вот вам поверить? — напряженно спросил Бероев потом.

— Я предлагаю ехать туда немедленно! — заорал я. У меня уже нервы рвались, проклятый день. — И брать эту сволочь с поличным! Ничего я не предлагаю, решайте! Все!

Он долго молчал. Долго курил, долго.

— Знаете, Антон... То, что я вам сейчас подчиняюсь, сам я могу объяснить лишь комплексом вины, который, оказывается, во мне за эти годы расцвел пышным цветом. Перед вашим отчимом, перед... — даже в телефон было слышно, как скрежещут у него голосовые связки. — Перед всеми вами. Проклятое ваше племя, никогда не знаешь, чего от вас ждать. Еду. Провались все пропадом, еду.

С непреоборимой свободой взаимно оказывают один перед другим совершенное рабство...

— Цигиль, цигиль, ай лю-лю, — сказал я. Он фыркнул и отключился. Я отдулся, с силой провел ладонью по лицу и положил ладонь на рукоять скоростей.

Да, похоже, я пропал, как-то отстраненно размышлял я, буквально на автопилоте руля по вечернему городу. Расплываясь в мороси, плыли назад уличные огни, на обгоне продергивались мимо габариты лихачей. А вообще-то — тьма. Равнодушие к себе меня просто изумляло; казалось, мне уже нет до себя ни малейшего дела. Из этих жерновов, думал я, целенькими не выпрыгивают. Нет, не выпрыгивают. Машину затрясло и заколотило на трамвайных путях. Прыг-скок — подвеска йок. Способна ли православная парадигма хоть раз уложить асфальт как следует? Хотя бы в двадцать первом веке от Рождества Христова — если уж в двадцатом не смогла? Или, по формулировке Сошникова, и в двадцать первом тоже ТАК СОЙДЕТ? Целенькими не выпрыгивают... Прыг-скок. Говорят, страдания и невзгоды облагораживают. «На конька Иван взглянул и в котел тотчас спрыгнул — и такой он стал пригожий...» Это сказка. А вот реализм: «Два раза перекрестился, бух в котел — и там сварился!»

Кажется, крыша едет.

Все, берем себя в руки. Чем-то сейчас порадует Никодим?

— Ну, я уж думал, вы передумали, — шмыгая носом, сказал он. Врачу, исцелися сам. — Идемте.

— Вы можете толком сказать, в чем дело? Я теперь в таком состоянии, Никодим Сергеевич, что запросто укусить вас могу. И мне ничего не будет, потому что я маньяк.

Он, похоже, и не вслушивался. Сопел и тащил меня за рукав в палату, как муравей соломинку.

— Идемте, идемте...

Похудевший, заросший по щекам редким и длинным серым ворсом Сошников сидел на кровати, храбро глядя в неведомую даль.

— Ну? — спросил я. Убью Никодима, убью...

— Да вы что? — возмутился Никодим.

И тут до меня дошло.

Сошников МОЛЧАЛ.

На его подбородке и недоразвитой бороде не было ни малейших признаков слюны. И он не пел свою проклятую «Бандьеру». Губы его были вполне осмысленно сжаты, и он смотрел. Слепые глаза не болтались расхлябанно туда-сюда, а всматривались во что-то впереди.

— Никодим Сергеевич... — обалдело прошептал я. Почему прошептал — понятия не имею. От благоговения, по всей вероятности. Боясь спугнуть чудное виденье.

— Ну! — воскликнул Никодим с восторгом и тоже вполголоса. — Врубились? То-то. Я днем прихожу... Молчит. Молчит! И вы знаете — смотрит! Вы в глаза-то ему загляните!

Я сделал шаг влево и чуть нагнулся, чтобы лицом попасть прямо в поле зрения Сошникова. Несколько мгновений он еще вглядывался в свое прекрасное далёко — а потом его взгляд ощутимо зацепился за меня. Неторопливо и пытливо пополз, осматривая мою, кажется, щеку; потом лоб.

— Смотрит... — прошептал я.

— Угу, — прошептал Никодим.

— Говорил что-нибудь?

— Нет. Просто молчит. Рот закрыл. Смотрит.

— Добрый вечер, — отчетливо и мягко произнес я. — Добрый вечер, Павел Андреевич.

Губы Сошникова шевельнулись. Он величаво — совсем теперь, к счастью, не думая, насколько он смешон или жалок — поднял худую руку, нелепо торчащую из необъятного

рукава больничного халата, и тонкими пальцами взял меня за плечо. Так могла бы взять меня за плечо синица.

— Спаситель, — немного невнятно сказал Сошников.

— Ё-о-о... — потрясенно высказался Никодим и сел на пустую койку позади.

Я накрыл холодные, влажные пальчики Сошникова своей ладонью, продолжая глядеть ему в глаза. И он продолжал меня разглядывать.

— Ну какой же я спаситель, — негромко и спокойно проговорил я, не шевелясь и не отводя взгляда. — Я, Павел Андреевич, в лучшем случае просто предтеча.

— От скромности вы не умрете, Антон Антонович, — ехидно шмыгнув, сказал у меня за спиной Никодим.

— Я от нее уже умер несколько лет назад, — не оборачиваясь, ответил я все так же негромко. — Теперь я просто зомби.

— Зомби тоже может играть в баскетбол, — понимающе шмыгнул Никодим.

— Во-во.

— Спаситель, — повторил Сошников уже четче.

Я вернулся домой в начале десятого, как-то странно успокоенный и умиротворенный. Вряд ли Сошников поправится полностью. Возможно даже, что он придет в себя именно настолько, чтобы осознавать бедственность своего положения, и не более. Это будет для него лишь ужаснее. А может, и нет, может, я чересчур мрачно смотрю. Во всяком случае, хоть что-то сместилось к лучшему, хоть на миллиметр — и оттого на душе полегчало. И даже некая символичность тут мерещилась: уж если даже он, вконец одурелый, после буквально нескольких дней не бог весть какой златообильной, зато искренней человеческой заботы все же перестал бубнить, как заведенный, про красную бандьеру и сдюжил осмысленно сфокусировать взгляд — может, и все мы раньше или позже сможем? Во всяком случае, мертвенная измотанность моя превратилась в здоровую усталость, от которой хочется много есть и долго спать. А для меня уже и это теперь было блистательным достижением.

Хорошо, что Никодим меня заставил приехать в больницу.

Рассеянно и с некоторой даже ухмылкой мурлыча себе под нос «Бандьеру», я принялся ляпать себе торопливую яичницу. Потом, поразмыслив, достал из холодильника ломтик сала, который приберегал для ситуаций, когда есть надо шустро и сытно, и мелко порезал, чтобы спровадить в сковородку. Говорят, еда — естественный транквилизатор. Вот мы и накатим вместо колес.

Когда я поднес ко рту первую ложку жарко и вкусно дымящейся пищи, зазвонил телефон. Я аж ложку выронил, подскочив на стуле; первой мыслью было: Бероев! Взяли?!

— Антон, ты дома? — сказал из трубки голос Киры.

Замученный голос. Без жизни, без света...

— Да, — сказал я.

С учетом того, что звонила она не по мобильному, это явно был уже разговор двух сумасшедших.

— Ты можешь разговаривать?

— Вполне.

— С тобой все в порядке?

— Конечно. А ты? У тебя голос больной, Кира...

— Что ты думаешь с этим делать?

— В суд подавать, — сразу поняв, о чем она, наотмашь ответил я. — Знать бы только, какая зараза стукнула. Ждать мне еще утечек, или это все.

— Это все.

— Откуда ты знаешь? — оторопел я.

Она помолчала.

— Антон, это я.

— А это я, — ответил я, еще не понимая.

— Это я стукнула. Так получилось. Если ты сможешь со мной общаться теперь, я тебе потом расскажу подробно.

Я не стоял, а уже сидел. И сказать «Ё-о-о!» в беседе с женою не мог. Поэтому просто одеревенел.

— Антон, — позвала она.

— Да, Кира. Я тут, тут.

Но я уже был не совсем тут. Не весь. Я уже думал о том, как я сам-то от великой мудрости и доброты сдал ее какому-то там Кашинскому; и попробовал бы я объяснить ей, как это произошло.

— Не надо рассказывать подробно, — сказал я.

— Антон.

— Да, Кира.

— Знаешь, говорят, если кого-то простишь, то как бы становишься к нему гораздо ближе. Можно даже опять полюбить того, кого простил. Ты не хочешь попробовать меня... простить?

Все-таки общими усилиями они довели меня до слез нынче. Отчаянно защипало переносье, и в углы глаз будто пипеткой накапали кислоты.

Я проглотил тяжелую, разбухшую пробку в горле и сказал:

— А ты меня?

— А я тебя уже простила. И, ты знаешь, люди все правильно говорят. Так и получилось. Полюбила.

Я молчал и только, будто Никодим, шмыгал носом, стараясь делать это как можно аккуратней и тише.

— Знаешь, я вдруг сообразила наконец, что за тебя отвечаю. Даже если мы поссоримся, все равно отвечаю. И рождение Глебки с этим вовсе не покончило... Не только за то, чтоб ты был начищен-выглажен, — она прерывисто вздохнула. — За то, чтобы ты смог сделать то, что хочешь. До меня это прежде как-то не доходило. За судьбу. Победишь ты жизнь или надорвешься. Останешься собой или не сдюжишь. Сохранишь цель или сил не хватит. Вот за все это.

— Кира...

— Мы хотим к тебе. Хотим быть с тобой, когда эти завтра опять под окна придут. Ты не мог бы за нами заехать? Сейчас вот прямо, если только ты не...

— А Глеб не против? — вырвалось у меня.

— Он по тебе очень соскучился. Но он же гордый, Антон, очень. Как ты.

Я помолчал.

— Если не хочешь, так и скажи. Но я все равно за тебя отвечаю.

— Хочу. Но дай мне четверть часа...

— На размышление, — договорила она за меня.

— И сборы.

— Хорошо. Мы ждем. Если ты звонишь — значит, не едешь. Если едешь — мы ждем, когда ты войдешь, можешь и

не звонить, только приезжай скорее. И как бы ты ни решил — можешь смело подавать в суд, утечек больше не будет, и единственный свидетель откажется от показаний.

Она первой положила трубку.

Ну и денек...

Я вытер глаза и взялся за ложку. Некоторое время подержал ее у рта, потом опять отложил и опять потянулся к телефону. Что же я за падла такая, даже родителям не отзвонил, что жив-здоров; они ведь наверняка волнуются.

— Привет, — сказал я как ни в чем не бывало, когда па Симагин знакомо и уютно алекнул с той стороны.

— О! — обрадованно сказал он.

— У вас порядок?

— Да. А ты как?

— Ну, сам понимаешь... Прессу читаешь, ящик смотришь?

— Не отрываемся.

— Мама как переносит?

— Стойко. Рвется позвать тебя переехать к нам, пока все не уляжется.

— Пока не стоит. А у тебя какие соображения?

— В детстве мы говорили: кто как обзывается, тот сам так называется.

— Мы, представь, говорили так же.

— А есть еще вот какая мудрость: блажен принявший хулу за Господа.

— Считай, я приободрился. Приблаженился.

Па засмеялся и сказал:

— Я на это и рассчитывал.

Хорошо с ним все-таки разговаривать. И без котурнов, и без сю-сю. По-товарищески.

Товарищ Симагин...

— А вот скажи, па. Бог все может простить?

— Нет, — серьезно ответил он. Я несколько опешил. Честно говоря, я ждал совершенно иного ответа.

— Нет?

— Нет. Только то, в чем человек искренне и исчерпывающе покается.

— Ах, вот как Бог это делает...

— Да. Не ерничай. Тут довольно тонкая вещь. Я в молодости сам не мог понять, как это так: одному раскаянному грешнику Господь радуется больше, чем десятку смиренных праведников. С точки зрения обыденного здравого смысла некрасиво получается по отношению к праведникам, да? А с точки зрения информационных структур? Почему раскаянный грешник ценнее? Потому что он уходил из системы, но вернулся в нее и способен ее обогатить чем-то, не бывшим в ней прежде. А конформным братьям блудных сыновей не на что обижаться: скорее всего, они столь смирны не от праведности своей, а из корысти и лености духовной. А если б волею обстоятельств ушли, то опять-таки по безвольности своей никогда не сумели бы, не решились бы вернуться. Просто были бы конформистами уже в каком-то новом месте. И, по сути, ничего не могли бы дать там — так же, как нечего им было дать и по прежнему месту жительства. Чтобы оказаться способным духовно обогатить свое гнездо, надо развиваться самому, а значит, нельзя не стать отличным от гнезда, нельзя не пройти через момент измены гнезду. Нельзя перед ним не провиниться. Однако и гнездо в таких ситуациях всегда виновато. Оно ведь не может не начать непроизвольно выталкивать того, кто стал от него отличен. И затем лишь акт покаяния-прощения, всегда — обоюдный, восстанавливает разрушенную связь и делает возможным обогащение системы.

— Ну ты даешь.

— Спросил — так слушай. Пригодится. Великие богословы откуда-то ловили крупинки этого знания. Как именно — трудно сказать, бывает иногда всякое.

Уж нам ли с Александрой не знать, как это бывает, подумал я. Только вот что-то с горних высей я покамест ничего не улавливал.

Или улавливал, да не понимал, что это — ОТТУДА?

— Ну, например, Плотин: в мире том нет взаимосопротивления, а только — взаимопроникновение. Все там — красота, соединяющая все и вся с ее источником — Богом. Там нет никакого разделения, как на земле, там — единство в любви и целое выражает частное, а частное выражает целое... И замечают себя в других, потому что все там прозрачно, и нет ничего темного и непроницаемого, и все ясно и видимо со всех сторон.

— Ты тоже этот текст знаешь? — вырвалось у меня. Я читал выдержки из него на сошниковской дискете.

— Ну, а почему бы и нет? — спросил он, и по голосу было слышно, что он улыбается. — Это же описание взаимодействия информационных пакетов, способных к комбинации в единую сложную структуру. — Он помолчал несколько секунд. Странно: я даже забыл, что тороплюсь. Секунды и минуты уже ничего не решали. Решали не они.

Как это сказал Бероев: я еще не нашел истину?

— Мы тут суетимся, кочевряжимся — и создаем эти пакеты в душах своих. Что способно влиться в единую структуру, не будучи, в то же время, повтором того, что уже в ней существует, — то и вливается. Что не способно — не обессудьте. Одинаковое не вписывается — и не способное к взаимодействию не вписывается. Помнишь, у Иоанна Богослова: и кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное... Имя озеру — забвение. Вечное исчезновение. Ад. Информация, не взаимодействующая с единством, утрачивается уже необратимо, навсегда. А книга жизни — вот эта самая единая информационная структура, которая из нас всех помаленьку строится. Где все элементы, не сдавливая друг друга, в реальном своем состоянии, без прикрас и притворства, сочетаются каждый с каждым. И каждый новый — со всеми предыдущими и со всей системой в целом. Не устал?

— Еще терплю.

— Молодец. Я даже вот что думаю: именно по книге жизни структурируется потом следующая Вселенная. Ну, после очередного Взрыва, понимаешь. Эта структура и есть Творец. Бог. Вселенную создает ее Бог, но Бога каждой последующей Вселенной общими усилиями создают души существ, населяющих каждую предыдущую. Потому так важно одновременно и необозримое разнообразие элементарных пакетов, и их комбинаторное единство. Представь, что было бы с миром, если бы, например, постоянная Планка и по-

стоянная Хаббла оказались бы тождественны? Или, наоборот, скорость света и масса фотона не простили друг друга за то, что они такие разные, и не согласились бы работать вместе?

Еще один разговор двух сумасшедших, мельком подумал я, боясь пропустить хоть слово. Ну и денек.

— Это структурирование материи последующей Вселенной после конца света, то есть схлопывания предыдущей, наверное, и есть то воскресение телесное, которого чают в молитвах. Весь веер мировых констант, которые так браво дополняют друг друга, так изящно и точно сочетаются — но ни в коем случае не сводятся к одной или нескольким немногочисленным. Или, например, ДНК.

— Как-то не очень соблазнительно праведнику воскресать всего лишь в виде нуклеиновой кишки, а, па?

— А откуда ты знаешь, как выглядели и что из себя представляли праведники предыдущей Вселенной?

Да, тут он опять меня уел. Невозможно представить.

— Нам этого не вообразить, как не вообразить доквантового и доволнового состояния материи вообще. Ровно так же вся мудрость нынешней церкви не способна вообразить, каким будет телесное воскресение праведников нынешних. Чаем воскресения, ведаем, что станем неизмеримо прекраснее нынешних тел — и все. Будет что-то качественно иное. А какое именно — это мы, сами того не ведая, предопределяем сейчас. И не камланием каким-нибудь, а самой своей жизнью.

И умолк.

— Па, — сказал я, поняв, что продолжение последует, только если я сам о том попрошу, — а вот вопрос на засыпку. Откуда ты все это знаешь?

— Ответ на засыпку, — ответил он, и я понял, что он опять улыбается. — Не скажу.

Вот так, наверное, было Бероеву слушать мои невесть откуда взявшиеся откровения. Знаю — и баста. Несовременно, в высшей степени несовременно.

Но он мне — поверил.

И, если не опоздал — правильно сделал, что поверил.

— Ну, ладно, — сказал па. — Кире привет передавай.

И мне, как часто бывало, показалось, что он подсматривает откуда-то сверху и знает все, что у нас тут с Кирой накрутилось. Наваждение...

— Маму позвать? — спросил он.

— Конечно, па, — ответил я. — Спасибо.

Разговора с мамой я пересказывать не буду. Все разговоры с мамами одинаковы. Одинаково прекрасны и одинаково благотворны для души. Собственно, все или почти все разговоры с папами тоже одинаковы — но на этот раз па, честно скажу, просто себя превзошел.

Гены как телесное воплощение праведников предыдущей Вселенной... До такого и Сошников бы не додумался. Это выглядело настолько безумно, что и впрямь могло оказаться истиной.

Мне не суждено было съесть свою заскорузлую яичницу. Я опять замер с ложкой у рта, потому что мне сызнова плеснули под череп кипятком.

А не помочь ли Богу?

Знать как можно больше, помнить и понимать как можно больше — и прощать как можно больше... И в сошниковскую доктрину цивилизационной цели это впишется. Знать и помнить — это колоссальное развитие информационных технологий, электроники, средств связи и слежения, разведки, наконец... обеспечивает вполне высокотехнологичную суету промышленности. А прощать — на это компьютеры не способны, это национальный характер, широкая душа. Кто обиду лелеет — тот не русский... Кто старое помянет — тому винч вон!

М-да.

Вот только стоит преобразовать сие в унифицирующий код государственной идеологии — икнуть не успеешь, как по просьбе трудящихся прощеные воскресенья сделают еженедельными, да еще субботники введут по дням рождения каждого из апостолов. А ночами тебя начнет вызывать какой-нибудь оберштурмпроститель с добрым голосом и ледяным взглядом, в белоснежных ризах и белом венчике из роз с вплетенными алыми лепестками — знаками различия, сажать перед собой и, поигрывая карандашиком, вопрошать: «Наша лучшая в мире аппаратура, брат Антон, показала, что

сегодня вы прощали врагов своих недостаточно искренне. Что вы можете сказать в свое оправдание?»

Проходили.

Вряд ли Бог нуждается в этакой помощи. Он уж лучше как-нибудь сам, своими силами...

И все же тут есть что-то. Просто надо додумать. Я опять, в который уже раз на дню, начал переодеваться из домашнего в уличное, бормоча: «Завтра встану на рассвете — и решу проблемы эти; право слово, не брешу — все проблемы я решу...»

Но — завелся. И остановиться уже не мог.

Значит ли это, что использовать государство для созидания будущего невозможно и, следовательно, вся традиция ошибочна? Неужели максимум, которого можно добиться, — это сделать государство средством защиты НАШЕГО будущего от НЕ НАШЕГО настоящего?

Но это тоже немало — и, в сущности, значит, что традиция все-таки верна, только нельзя требовать от нее слишком многого. Нельзя требовать от государства, чтобы оно создавало будущее ЗА НАС. Нельзя ему это передоверять.

Между прочим, сообразил я, накидывая куртку, если строго держаться сошниковской схемы, передоверять-то стали лишь начиная с большевиков.

Я так и оставил тарелку с иссыхающей яичницей и испачканной ороговевшим желтком ложкой посередь стола. Приеду с Кирой и Хлебчиком — пусть видят, как я торопился. Подозрительно обвел квартиру взглядом — как тут насчет лазерных микрофонов? Вибрация, говорите, мешает? Сестра, включи погромче телевизор...

И пошел из квартиры вон.

Вот, собственно, и все пока.

Что было дальше? Много чего, но все такое неважное... Самым важным в этой истории, не поверите, — оказался звонок Киры. Самым важным.

Ну, если уж кому невмоготу — взяли, взяли Жаркова с его камнем за пазухой. Я и доехать-то до Киры не успел — позвонил Бероев, изможденный и радостный, будто его только что телесно воскресили.

А вот что будет дальше?

Не знаю. Никто не знает. Что-нибудь да будет. Мы с Кирой, и с мамой, с па Симагиным и с Бероевым, с Никодимом, и с журналистом моим, и с коллегами из «Сеятеля», и, между прочим, с Вербицким... и, надеюсь, когда-нибудь — с Глебом... мы об этом позаботимся. Пусть писатель Замятин перевернется в гробу, пусть хоть ротором там завертится — МЫ.

ОБ ЭТОМ.

ПОЗАБОТИМСЯ.

Сентябрь — ноябрь 1999

Коктебель — Судак — Санкт-Петербург

СОДЕРЖАНИЕ

ОЧАГ НА БАШНЕ. *Роман* 5
ЧЕЛОВЕК НАПРОТИВ. *Роман* 245
НА ЧУЖОМ ПИРУ, С НЕПРЕОБОРИМОЙ СВОБОДОЙ. *Роман* 615

Литературно-художественное издание

Рыбаков Вячеслав Михайлович

ОЧАГ НА БАШНЕ

Издано в авторской редакции

Ответственный редактор *В. Мельник*
Художественный редактор *Е. Савченко*
Технический редактор *О. Куликова*
Компьютерная верстка *С. Птицына*
Корректоры *В. Авдеева, И. Федорова*

В оформлении переплета использована работа художника *M. Stawicki*

ООО «Издательство «Эксмо»
127299, Москва, ул. Клары Цеткин, д. 18/5. Тел.: 411-68-86, 956-39-21.
Home page: **www.eksmo.ru** E-mail: **info@eksmo.ru**

Оптовая торговля книгами «Эксмо» и товарами «Эксмо-канц»:
ООО «ТД «Эксмо». 142700, Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное, Белокаменное ш., д. 1, многоканальный тел. 411-50-74.
E-mail: **reception@eksmo-sale.ru**

Полный ассортимент книг издательства «Эксмо» для оптовых покупателей:
В Санкт-Петербурге: ООО СЗКО, пр-т Обуховской Обороны, д. 84Е.
Тел. отдела реализации (812) 265-44-80/81/82.
В Нижнем Новгороде: ООО ТД «Эксмо НН», ул. Маршала Воронова, д. 3.
Тел. (8312) 72-36-70.
В Казани: ООО «НКП Казань», ул. Фрезерная, д. 5. Тел. (8435) 70-40-45/46.
В Самаре: ООО «РДЦ-Самара», пр-т Кирова, д. 75/1, литера «Е». Тел. (846) 269-66-70.
В Екатеринбурге: ООО «РДЦ-Екатеринбург», ул. Прибалтийская, д. 24а.
Тел. (343) 378-49-45.
В Киеве: ООО ДЦ «Эксмо-Украина», ул. Луговая, д. 9. Тел./факс: (044) 537-35-52.
Во Львове: Торговое Представительство ООО ДЦ «Эксмо-Украина», ул. Бузкова, д. 2.
Тел./факс (032) 245-00-19.

Мелкооптовая торговля книгами «Эксмо» и товарами «Эксмо-канц»:
117192, Москва, Мичуринский пр-т, д. 12/1. Тел./факс: (495) 411-50-76.
127254, Москва, ул. Добролюбова, д. 2. Тел.: (495) 745-89-15, 780-58-34.
Информация по канцтоварам: **www.eksmo-kanc.ru** e-mail: **kanc@eksmo-sale.ru**

Полный ассортимент продукции издательства «Эксмо»:
В Москве в сети магазинов «Новый книжный»:
Центральный магазин — Москва, Сухаревская пл., 12 . Тел. 937-85-81.
Информация о магазинах «Новый книжный» по тел. 780-58-81.
В Санкт-Петербурге в сети магазинов «Буквоед»:
«Магазин на Невском», д. 13. Тел. (812) 310-22-44.

По вопросам размещения рекламы в книгах издательства «Эксмо» обращаться в рекламный отдел. Тел. 411-68-74.

Подписано в печать 25.01.2006
Формат 84×108 $^{1}/_{32}$. Гарнитура «Таймс». Печать офсетная.
Бумага тип. Усл. печ. л. 50,4.
Тираж 5000 экз. Заказ 7332.

ОАО «Тверской полиграфический комбинат»
170024, г. Тверь, пр-т Ленина, 5. Телефон: (4822) 44-42-15
Интернет/Home page - www.tverpk.ru Электронная почта (E-mail) - sales@tverpk.ru

ISBN 5-699-15273-3
9 785699 152735 >

Вячеслав Рыбаков – популярный писатель-фантаст, ученый-востоковед, публицист, киносценарист. Обладатель множества литературных премий, лауреат Государственной премии РСФСР за сценарий фильма «Письма мертвого человека» (1987).
Автор идеи и один из участников книжного проекта «Хольм ван Зайчик. “Плохих людей нет (Евразийская симфония)”».

